

М.Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

М.Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

14



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»**

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах



Редакционная коллегия:

А. С. БУШМИН, В. Я. КИРПОТИН,
С. А. МАКАШИН (*главный редактор*), Е. И. ПОКУСАЕВ,
К. И. ТЮНЬКИН

Издание осуществляется
совместно с институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1972

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четырнадцатый

*

ЗА РУБЕЖОМ

1881

ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ

1881—1882

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1972**

P1
C16

Подготовка текста

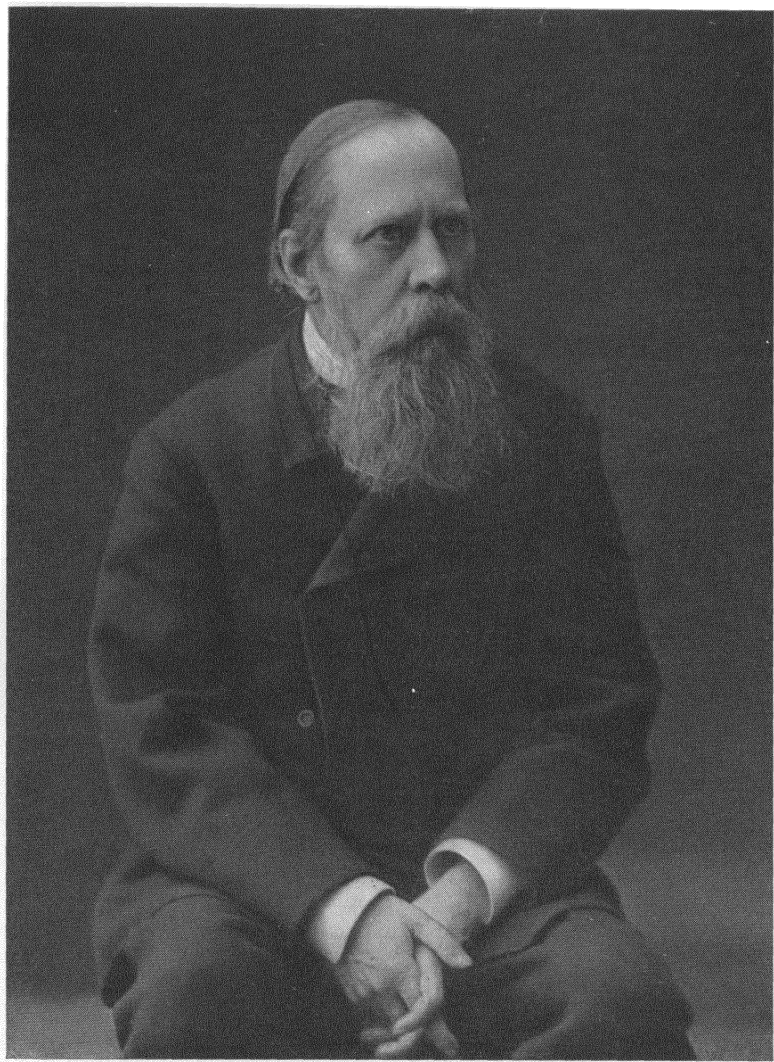
Т. М. Велембовской и М. И. Маловой

Примечания

С. А. Макашина

Оформление художника

И. ЖИХАРЕВА



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография. 1880-е годы

ЗА РУБЕЖОМ

I

Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех — это заставить человека посвятить себя культу самосохранения. Решившись на такой подвиг, надлежит победить в себе всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень бесцельного мелькания на все то время, покуда будет длиться искус животолюбия.

Но, во-первых, чтоб выполнить такую задачу вполне добросовестно, необходимо, прежде всего, быть свободным от каких бы то ни было обязательств. И не только от таких, которые обуславливаются апелляционными и кассационными сроками, но и от других, более деликатного свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безответственным, и вдобавок совсем праздным человеком. Ибо, во время процесса самосохранения, всякая забота, всякое напоминание о покинутом деле и даже «мышление» вообще — считаются не *kurgemaess*¹ и препятствуют солям и щелочам успешно всасываться в кровь.

Среди женщин субъекты, способные всецело отдаваться праздности, встречаются довольно часто (культурно-интернациональные дамочки, кокетки, бонапартистки и проч.). Всякая дамочка самим богом как бы целиком предназначена для забот о самосохранении. В прошлом у нее — декольтé, в будущем — тоже декольтé. Ни о каких обязательствах не может быть тут речи, кроме обязательства содержать в чистоте бюст и шею. Поэтому всякая дамочка не только с готовностью, но и с наслаждением устремляется к курортам, зная, что тут дело

¹ несообразными с лечением.

совсем не в том, в каком положении находятся легкие или почки, а в том, чтоб иметь законный повод по пяти раз в день одеваться и раздеваться. Самая плохая дамочка, если бог наградил ее хоть какую-нибудь частью тела, на которой без ожесточения может остановиться взор мужчины, — и та заранее разочтует, какое положение ей следует принять во время питья Краепчен, чтоб именно эту часть тела отрекомендовать в наиболее выгодном свете. Я знаю даже старушек, у которых, подобно старым ассигнациям, оба нумера давно потеряны, да и портрет поврежден, но которые тем не менее подчиняли себя всем огорчениям курсового лечения, потому что нигде, кроме курортов, нельзя встретить такую массу мужских панталон и, стало быть, нигде нельзя так целесообразно освежить потухающее воображение. Словом сказать, «дамочки» — статья особая, которую вообще ни здесь, ни в другом каком человеческом деле в расчет принимать не надлежит.

Но в среде мужчин подобные оглашенные личности встречаются лишь как исключение. У всякого мужчины (ежели он, впрочем, не бонапартист и не отставной русский сановник, мечтающий, в виду Юнгфрау, о коловратностях мира подачек) есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком. Развязаться с этим чувством, даже временно, ужасно тяжело; и я положительно убежден, что самый культ самосохранения должен от этого пострадать. Легко сказать: позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и гряди; но выполнить этот совет на практике, право, не легко.

Недавно, проезжая через Берлин, я заехал в зоологический сад и посетил заключенного там чимпандзе. При случае советую и вам, читатель, последовать моему примеру. Вы увидите бедное дрожащее существо, до того угнетенное тоской по родине, что даже предлагаемое в изобилии молоко не утешает его. Скорчившись, сидит злосчастный пленник под теплым одеялом на соломенном одре и, закрывши глаза, дремлет предсмертною дремотой¹.

Какие сны снятся старику — этого, конечно, нельзя угадать, но, судя по тоскливым вздохам, ясно, что перед умственным его взором мелькает нечто необыкновенно заманчивое и доро-

¹ Замечательно, что тут же, за решеткой, у самого изголовья старого чимпандзе, заключен маленький чимпандзе, родившийся несколько месяцев тому назад, уже в Берлине. Этот ребенок стоит, ухватившись передними лапами за решетку, и положительно глаз не сводит с умирающего старика. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

гое. Быть может, там, в родных лесах, он был исправником, а может быть, даже министром. В первом случае он предупреждал и пресекал; во втором — принимал в назначенные часы доклады о предупреждении и пресечении. Без сомнения, это были доклады не особенно мудрые, но ведь для чимпандзе, по части мудрости, не особенно много и требуется. И вот, теперь он умирает, не понимая, **зачем** понадобилось оторвать его от дорогих сердцу интересов родины и посадить за решеткой в берлинском зоологическом саду. Умирает в горьком сознании, что ему не позволили даже подать прошения об отставке (просто поймали, посадили в клетку и увезли), и вследствие этого там, на родине, за ним числится тридцать тысяч неисполненных начальственных предписаний и девяносто тысяч (по числу населяющих его округ чимпандзе) произведенных обысков! Не знаю, как подействует это скорбное зрелище на вас, читатель, но на меня оно произвело поистине удручающее впечатление.

Во-вторых, мне кажется, что люди науки, осуждающие своих клиентов выдерживать курсы лечения, упускают из вида, что эти курсы влекут за собой обязательное цыганское житье, среди беспорядка, в тесноте, вне возможности отыскать хоть минуту укромого и самостоятельного существования. Из привычной атмосферы, в которой вы так или иначе обдержались, вас насильственно переносят в атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами, иными привычками, иным говором и даже иным разумом. Перед глазами у вас снует взад и вперед пестрая толпа; в ушах гудит разноязычный говор, и все это сопровождается таким однообразием форм (вечный праздник со стороны наезжих, и вечная лакейская беготня — со стороны туземцев), что под конец утрачивается даже ясное сознание времен дня. Это однообразие маятного движения досаждаст, волнует, вызывает ежеминутный ропот. Нет ничего изнурительнее, как не понимать и не быть понимаемым. Я говорю это не в смысле разности в языке — для культурного человека это неудобство легко устранимое, — но трудно, почти невыносимо в молчании снестать боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась где-нибудь на берегах Иловли и по пятам пришла за вами к самой подошве Мальберга¹. Там, в долине Иловли, эта боль напоминала вам о живучести в вас человеческого естества; здесь, в долине Лана, она ровно ни о чем не напоминает, ибо ее давно уже пережили (может быть, за несколько поколений назад), да и на бобах развели. Мало того, эта боль

¹ Гора, командующая над Бад-Эмсом. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

становится признаком неблаговоспитанности с вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и роптать среди людей, которым, в качестве восстанавливающего средства, прописано постоянное душевное спокойствие. Не ясно ли, что те катаральные улучшения, которые достигаются глотанием и вдыханием подлежащих щелочей, должны в значительной мере ослабляться полным отсутствием условий, составляющих обычную принадлежность той жизни, с которою вы, по крайней мере, лично привыкли соединять представление об оседлости.

В-третьих, наконец, культ самосохранения включает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном животолюбии. Русская пословица гласит так: «жить живи, однако и честь знай». И заметьте, что, как все народные пословицы, она имеет в виду не празднотлюбца, а человека, до истощения сил тянувшего выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человеку тягла, надо «честь знать», то что же сказать о празднотлюбце, о бонапартисте, у которого ни назади, ни впереди нет ничего, кроме умственного и нравственного декольтё? Клянусь, надо знать честь, господá! Подумайте! миллионы людей изнемогают, прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких и зная только одно: что они повинны работе,— и вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднотлюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтоб почки действовали у них в исправности! Ах, господá, господá!

Все это я отлично понимал, и все эти возражения были у меня на языке прошлой весной, когда решался вопрос о доставлении мне возможности прожить «аридовы веки». Но — странное дело! — когда люди науки высказались в том смысле, что я месяца на три обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того чтоб всецело посвятить себя нагуливанию животов, то я не только ничего не возразил, но сделал вид, что много доволен. Я знал, что, ради восстановления сил, я должен буду растратить свои последние силы,— и промолчал. Я очень хорошо провидел, что процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разоренный организм,— и сказал: помилуйте! куда угодно, хоть в тартарары! Я — человек дисциплины по преимуществу и твердо верую, что всякое «распоряжение» клонится к моему благу.

Словом сказать, я сел в вагон и поехал.

Но так как факт совершился, и нелегкая принесла уже меня на берега вонючего Лана, то я считаю себя вправе поделиться с читателями вынесенными мною впечатлениями. Пишу не для дамочек и не для бонапартистов, а для тех, кои, сидя на бере-

гах Лопани, Вороны и Хопра, не ослабляючи вздыхают над вопросами об акклиматизации саранчи, колорадского жучка и гессенской мухи. Пусть дойдет до них мой голос и скажет им, что даже здесь, в виду башни, в которой, по преданию, Карл Великий замуровал свою дочь (здесь все башни таковы, что в каждой кто-нибудь кого-нибудь замучил или убил, а у нас башен нет), ни на минуту не покидало меня представление о саранче, опустошившей благословенные чембарские пажити. И пусть засвидетельствует этот голос, что, покада человек не развяжется с представлением о саранче и других расхитителях народного достояния, до тех пор никакие Краенчен и Kesselgrüppen «аридовых веков» ему не дадут.

Но если бы и действительно глотание Краенчен, в соединении с ослиным молоком, способно было дать бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первых, мне кажется, что бессмертие, посвященное непрерывному наблюдению, дабы в организме не переставаячи совершался обмен веществ, было бы отчасти дурацкое; а во-вторых, я настолько совестлив, что не могу воздержаться, чтоб не спросить себя: ежели все мы, культурные люди, сделаемся бессмертными, то при чем же останутся попы и гробовщики?

В заключение настоящего введения, еще одно слово. Выражение «бонапартисты», с которым читателю не раз придется встретиться в подлежащих эскизах, отнюдь не следует понимать буквально. Под «бонапартистом» я разумею вообще всякого, кто смешивает выражение «отечество» с выражением «ваше превосходительство» и даже отдает предпочтение последнему перед первым. Таких людей во всех странах множество, а у нас до того довольно, что хоть лопатами огребай.

В одно прекрасное утро, часов около одиннадцати, всех нас, «отпущенных по пачпорту», в Вержболове обыскали и, по сделании надлежащих отметок, переправили, как в старину пелось, «в гости в братьям пруссакам». Но нынешние братья пруссаки уж не те, что прежде были, и приняли нас не как «гостей», а как данников. Прежде всего они удостоверились, что у нас нет ни чумы, ни иных телесных озлоблений (за это удостоверение нас заставляют уплачивать в петербургском германском консульстве по 75 копеек с паспорта, чем крайне оскорбляются выезжающие из России иностранцы, а нам оскорбляться не предоставлено), а потом сказали милостивое слово: der Kurs 213 пф., то есть русский рубль с лишком на марку стоит дешевле против нормальной цены. В заключение, обыскав наши багажи (весьма, впрочем, деликатно) и удосто-

верившись по нашим простодушным физиономиям, что отныне все марки и пфенниги, сколько бы таковых у нас ни оказалось, мы не токмо за страх, но и за совесть обязываемся сполна расходовать на пользу германского отечества, объявили нас от митирогнозии свободными.

Странное дело! покада мы пробирались к Вержболову (немцы уж называют его Wirballen), никому из нас не приходило в голову выглядывать в окна и любопытствовать, какой из них открывается пейзаж. Как-то самой собою предполагалось, что все известно и переизвестно. «Мокрое место, по которому растет ненастоящий лес» — вот картина, которую ожидал встретить взор и во избежание которой всякий старался убить время независимо от впечатлений родной природы. Одни, не разгибая спины, «винтили». Другие во всеуслышание роптали, что никакой «заграницы» не нужно и что всю эту «заграницу» выдумали их дамочки, которые, под предлогом исправления супружеских почек и легких, собрались ловить по курзам бонапартистов всех наименований. Третьи всеминутно тосковали, «каким-то нас курсом батюшка-Берлин наградит».

— Кажется, мы нынче смирно сидим... Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар — ничего за нами нет! Пора бы уж и нам милостивое слово сказать! — слышалось в одном углу.

— Ну, батенька, и за саранчу тоже не похвалят! — где-то по соседству раздавалось в ответ.

Даже два старца (с претензией на государственность), ехавшие вместе с нами, — и те не интересовались своим отечеством, но считали его лишь местом для получения присвоенных по штатам окладов. По-видимому, они ничего не ждали, ни на что не роптали и даже ничего не мыслили, но в государственном безмолвии сидели друг против друга, спесиво хлопая глазами на прочих пассажиров и как бы говоря: мы на счет казны нагуливать животы едем!

Живя в Петербурге, я знал об этих старцах по слухам; но эти слухи имели такой определенный характер, что, признаюсь, до самого Эйткунена я с величайшим беспокойством взирал на них. Я так и ждал, что они вынут казенные подорожные и скажут: а нуте, предъявляйте свои сердца! И тогда прощай, Эмс, прощайте, Баден-Баден, Интерлакен, Париж! Один был малого роста, сложен кряжем и назывался по фамилии Дыба; другой был длинен, сухощав, взвивался и сокращался, словно змей, и назывался по фамилии Удав. Оба состояли в чине бесшабашного советника, и у каждого было по трещине вдоль черепа. Один прошел школу графа Михаила Николаевича в качестве чиновника для преступлений; другой прошел

школу графа Алексея Андреевича в качестве чиновника для чтения в сердцах. Оба служат представителями новой департаментско-курьерской аристократии. У одного в гербе была изображена, в червленом поле, рука, держащая серебряную урну с надписью: *не пролей!* у другого — на серебряном поле — рука, держащая золотую урну с надписью: *содержи в опрятности!* Из чего дозволялось заключать, что оба происходят не от Рюрика. Оба в юных летах думали скончать жизнь в столоначальнических должностях, но, благодаря беззаветной свирепости при исполнении начальственных предписаний, были замечены, понравились и удостоены повышения в чинах и должностях. И, в довершение всего, у обоих, по смерти, вместо монументов будет воткнуто на могилах по осиновому колу. Спрашивается: в виду столь жестоковыйных идолов можно ли было не трепетать, пока Эйдткунен не предстал перед нами в качестве несомненной действительности?

И в самом деле, в Эйдткунене картина изменилась, как бы волшебством. Винтившие бросили русские карты и на первых порах как бы совестились продолжать винт в немецком вагоне. Пассажиры, роптавшие на жен, смирились, а те, которые ожидали милости от «батушки-Берлина», прочитавши: *der Kurs 213*, окончательно убедились, что за саранчу не похвалят. Что же касается до государственных старцев, то я просто их не узнал. Как только с них сняли в Эйдткунене чины, так они тотчас же отлучились и, выпустив угнетавшую их государственность, всем без разбора начали подмигивать. И шафнеру немецкого вагона, и француженке, ехавшей в Париж за товаром, и даже мне... И всем, казалось, говорили: не таите помышлений ваших, ибо нынче у нас в Петербурге... вольно!

И вот едва мы разместились в новом вагоне (мне пришлось сесть в одном спальном отделении с бесшабашными советниками), как тотчас же бросились к окнам и начали смотреть.

Природа, которая открывалась перед нами, мало чем отличалась от только что оставленной мною природы русско-чухонского поморья, в песках которого ютилось знакомое читателю Монрепо. Та же низменная равнина, те же рудо-желтые пески, вперемежку с торфяными низинками. Но ни кочкарника, ни мхов, ни лезущего отовсюду лозняка, ни еле дышащей, одиноко стоящей и во все стороны гнущейся березки — и в помине нет. И справа и слева тянутся засеянные поля, к которым гораздо более идет эпитет «необозримых», нежели, например, к полям Тверской или Ярославской губерний и вообще средней полосы России. Я видал такие обширные полевые пространства в южной половине Пензенской губернии, но, под опасением возбудить в читателе недоверие, утверждаю, что репу-

тация производства так называемых «буйных» хлебов гораздо с большим правом может быть применена к обиженному природой прусскому поморью, нежели к чембарским благословенным пажитям, где, как рассказывают, глубина черноземного слоя достигает двух аршин. В Чембаре так долго и легкомысленно рассчитывали на бесконечную способность почвы производить «буйные» хлеба, что и не видали, как поля выпахались и хлеба присмирели. Здесь же, очевидно, ни на какие великие и богатые милости не рассчитывали, а, напротив, и дено и ношно только одну думу думали: как бы среди песков да болот с голоду не подохнуть. В Чембаре говорили: а в случае ежели бог дожжичка не пошлет, так нам, братцы, и помирать не в диковину! а в Эйдткунене говорили: там как будет угодно насчет дожжичка распорядиться, а мы помирать не согласны!

Почему на берегах Вороны говорили одно, а на берегах Прегеля другое — это я решить не берусь, но положительно утверждаю, что никогда в чембарских палестинах я не видал таких «буйных» хлебов, какие мне удалось видеть нынешним летом между Вержболовом и Кёнигсбергом, и в особенности дальше, к Эльбингу. Это было до такой степени неожиданно (мы все заранее зарядились мыслью, что у немца хоть шаром покати и что без нашего хлеба немец подохнет), что некто из ехавших рискнул даже заметить:

— Вот увидите, что скоро отсюда к нам хлеб возить станут!

На что другой ехавший патриотически-задумчиво пробормотал:

— Ну, это уж, кажется, не тово... Этак, брат колбаса, ты, пожалуй, и вовсе нас в полон заберешь!

Но этого мало, что хлеба у немца на песках родятся буйные, у него и коровам не житье, а рай, благодаря изобилию лугов. При тех же самых условиях (тот же торф) выйдешь, бывало, в Монрепд посмотреть, как оно там произрастает, — и разом делается как-то нестерпимо скучно. Кажется, все было сделано: и каналы в прошлом году по осени чистили, и золото из Кронштадта целую зиму возили и по полянкам разбрасывали, а все проку нет. Куда ни глянешь — либо мох сплошной, либо какая-то бурая болячка, либо целая щетка молоденьких березок выскочила, и только где-где занялась настоящая трава. Ну, разумеется, сейчас следствие.

— Иван! да точно ли вы золото из Кронштадта здесь валили?

— Помилуйте! вот и бумажки-с!

— Ну, стало быть, каналы осенью не прочистили как следует?

— И канавы нельзя лучше чистили, только в них вода, вишь, стоит...

— Отчего ж она не стекает?

— Да стёку ей нет — оттого. Еще спервоначалу Иван Павлыч (прежний вотчинник), как только эти самые луга затеял — все стёку искал. Сыщет, ан на следующую вёсну его песком затаянет — давай песок разгрести. До воли мужик-от дешёв был, разгребут стёк, канавы наново вычистят, — трава-то и уродится; а как подошла воля, разгрести-то и нёкем стало. По канавкам лозняк пошел, по полянкам мох выскочил, затаивает каждый год, да и шабаш. Ну, Иван Павлыч-то видит, что ежели тут хозяйствовать, так последние штаны с себя снять придется, — осердился, плюнул и продал всю палестину. «Пропадайте, говорит, вы пропадом, а я на теплые воды ездить стану!»

И точно, как ни безнадежно заключение Ивана Павлыча, но нельзя не согласиться, что ездить на теплые воды все-таки удобнее, нежели пропадать пропадом в Петергофском уезде. Есть люди, у которых так и в гербах значится: пропадайте вы пропадом — пускай они и пропадают. А нам с Иваном Павлычем это не с руки. Мы лучше в Эмс поедем да легкие пообчистим, а на зиму опять вернемся в отечество: неужто, мол, петергофские-то еще не пропали?

— Послушай, однако ж, Иван! как же мужики-то? у них ведь надел... обеспечение, братец, ведь это! Неужто ж и они стёку не могут сыскать?

— И мужики тоже бьются. Никто здесь на землю не надеется, все от нее бегут да около коё-чего подбираются. Вон она, мельница-то наша, который уж месяц пустая стоит! Кругом на двадцать верст другой мельницы нет, а для нашей вряд до Филиппова заговенья помолу достанет. Вот хлеба-то здесь каковы!

Таковы порядки в Монрепд. А здесь, под Инстербургом, сумели и стёк отыскать, и луга расчистить, и коровье житье устроить. Везде канавы чистые, без лозняка, и везде вынутый из канав торф сформован и сложен в стопки. Этим торфом и отапливаются, и сдабривают поля. Даже лес — и тот совсем не так безнадежно здесь смотрит, как привыкли думать мы, отапливающие кизяком и гречневой шелухой наши жилища на берегах Лопани и Ворсклы. С чего-то мы вообразили себе (должно быть, Печорские леса слишком часто нам во сне снятся), что как только перевалишь за Вержболово, так тотчас же представится глазам голое пространство, лишенное всякой лесной растительности. «Кабы не мы, немцу протопиться бы пёчем» — эта фраза пользуется у нас почти такую же популяр-

ностью, как и та, которая удостоверяет, что без нашего хлеба немцу пришлось бы с голоду подохнуть. В действительности же все горы Германии покрыты отличнейшим лесом, да и в Балтийском поморье недостатка в нем нет. Вот под Москвой, так точно что нет лесов, и та цена, которую здесь, в виду Куришгафа, платят за дрова (до 28 марок за клафтер, около 1½ саж. нашего швырка), была бы для Москвы истинной благодатью, а для берегов Лопани, пожалуй, даже баснословием. И заметьте, что если цена на топливо здесь все-таки достаточно высока, то это только потому, что Германия вообще скупа на те произведения природы, которые возобновляются лишь в продолжительный период времени. А припустите-ка сюда похозяйничать русского лесничего с двумя-тремя русскими лесопромышленниками — они разом все рынки запрудят такой массой дров, что последние немедленно подешевеют наполовину...

Мне скажут, может быть, что прусское правительство истари производило в восточной Пруссии опыты разработки земли в обширных размерах и тратило на это громадные суммы без всякой надежды на их возврат... Что ж! против этого я, конечно, ничего возразить не имею.

Между тем наш поезд на всех парах несся к Кёнигсбергу; в глазах мелькали разноцветные поля, луга, леса и деревни. Физиономия крестьянского двора тоже значительно видоизменилась против довержболовской. Изба с выбеленными стенами и черепичной крышей глядела веселее, довольнее, нежели довержболовский почерневший сруб с всклокоченной соломенной крышей. Это было жилище, а не изба в той форме, в какой мы, русские, привыкли себе ее представлять.

Я смотрел вместе с прочими на эту картину и невольно задумывался. Я не скажу, чтоб сравнения, которые при этом сами собой возникали, были обидны для моего самолюбия (у меня на этот случай есть в запасе прекрасная поговорка: моя изба с краю), но не могу скрыть, что чувствовалась какая-то непобедимая неловкость. Передо мной воочию метался тот «повинный работе» человек, который, выбиваясь из сил, надрываясь и проливая кровавый пот, в награду за свою вечную страду получит кусок мякинного хлеба. Есть что-то мучительно загадочное в этом сопоставлении мякинного хлеба и вечной страды. Каким образом выработалось это сопоставление, и почему оно вылилось в такую неподвижную форму, что скорее можно разбить себе лоб, чем видоизменить ее? Ужели на этот вопрос никогда не будет другого ответа, кроме: не твое дело?

Пусть читатель не думает, однако ж, что я считаю прусские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим

из смертных. Я очень хорошо понимаю, что среди этих отлично возделанных полей речь идет совсем не о распределении богатств, а исключительно о накоплении их; что эти поля, луга и выбеленные жилища принадлежат таким же толстосумам-буржуа́, каким в городах принадлежат дома́ и лавки, и что за каждым из этих толстосумов стоят десятки кнехтов, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства.

Я нимало не сомневаюсь, что в звании кнехта очень мало лестного, но разве кнехты рождаются, только начиная с Эйткунсна? разве политико-экономические основания, которые практикуются под Инстербургом, не совершенно равносильны тем, которые практикуются и под Петергофом? Увы! я совершенно искренно убежден, что в этом отношении обе местности могут аттестовать себя равно способными и достойными и что инстербургский толстосум едва ли даже не менее жаден, нежели, например, купец Колупаев, который разостлал паутину кругом Монрепо. Я знаю, что многие думают так: мы бедны, но зато у нас на первом плане распределение богатств; однако ж, по мнению моему, это только одни слова. Поверьте, что в Петергофском уезде распределение богатств гораздо в большей степени зависит от господина Колупаева, нежели в Инстербургском уезде от господина Гехта (Hecht — шука). И я убежден, что если бы Колупаеву даже во сне приснилось распределение, то он скорее сам на себя донес бы исправнику, нежели допустил бы подобную пропаганду на практике. Стало быть, никакого «распределения богатств» у нас нет, да, сверх того, нет и накопления богатств. А есть простое и наглое расхищение.

И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но говорящие таким образом прежде всего забывают, что существует громадная масса мещан, которая истари не имеет иных средств существования, кроме личного труда, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса бывших дворовых людей, которые еще менее обеспечены, нежели мещане. А кроме того, забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства, и ежели не зовет еще «обеспеченных» кнехтами, то уже довольно откровенно отзывается об мужике, что «в ём только тогда и прок будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

Вместо того чтоб уверять всуе, что вопрос о распределении уже разрешен нами на практике, мне кажется, приличнее было

бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопивственного процесса, которому они предаются без всякой опаски, при свете дня. *Cur? quomodo?*¹ и в особенности — *quibus auxiliis?*² Вот, если это *quibus auxiliis* как следует выяснять, тогда сам собою разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?

А то выдумали: нечего нам у немцев заимствоваться; куда-де они над «накоплением» корпят, мы, того гляди, и политическую-то экономию совсем упраздним. Так и упразднили... упразднители! Вот ужò прослышит об вашем самохвальстве купец Колупаев, да *quibus auxiliis* и спросит: а знаете ли вы, ребята, как Кузькину сестрицу зовут? И придется вам на этот вопрос по сущей совести ответ держать.

Вообще я полагаю, что у нас практически заниматься вопросом о «распределении богатств» могут только Политковские да Юханцевы. Эти не поцеремонятся: придут, распределят, и никто их ни потрясателями основ, ни сеятелями превратных толкований не назовет, потому что они воры, а не сеятели. Да и теоретически заняться этим вопросом, то есть разговаривать или писать об нем, — тоже дело неподходящее, потому что для этого нужно выполнить множество подготовительных работ по вопросам о Кузькиной сестре, о бараньем роге, о Макаре, телят не гоняющем, об истинном значении слова «фюить» и т. п. Спрашивается: много ли найдется людей, которым такой труд по силам? Напротив того, в Инстербурге подготовительные работы этого рода уже упразднены, так что теоретической разработкой вопроса о распределении можно заниматься и без них. Ибо это вопрос человеческий, а здесь с давних пор повелось, что человеку о всех, до человека относящихся вопросах, и говорить, и рассуждать, и писать свойственно. У нас же свойственно говорить, рассуждать и писать: ура!

Итак, в Эйдткунене кнехты и в Вержболове кнехты; в Эйдткунене — господин Гехт, в Вержболове — господин Колупаев; в Эйдткунене нет распределения, но есть накопление; в Вержболове тоже нет распределения, но нет и накопления. Вот в каком положении находятся дела. Однако ж я был бы неправ, если бы скрыл, что на стороне Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно: общее признание, что человеку свойственно человеческое. Допустим, что признание это еще робкое и неполное и что господин Гехт, конечно, употребит все от него зависящее, чтоб не допустить его чрезмерного распростране-

¹ Почему? каким образом?

² с чьей помощью?

ния, но несомненно, что просвет уже существует и что кнехтам от этого хоть капельку да веселее.

Мне кажется, что это признание есть начало всего и что из него должно вытечь все то разумное и благое, на чем зиждется прочное устройство общества. Только тогда, когда это признание сделается совершившимся фактом, смягчатся нравы, укротится людская дикость, исчезнут расхитители, процветут науки и искусства и даже начнут родиться «буйные» хлеба. И ежели раз общество добилось этого признания, то нужно, чтоб оно держалось за него крепко и помнило всеминутно, что, чем шире прольется в жизнь струя «человеческого», тем светлее, счастливее, благодатнее будет литься существование самого общества. Но, во всяком случае, достижение этого признания должно быть первою и главнейшею целью всего общества, и худо рекомендует себя та страна, где сейчас слышится: отныне вы можете открыто выражать ваши мысли и желания, а следом за тем: а нуте, посмотрим, как-то вы будете открыто выражать ваши мысли и желания! Или: отныне вы будете сами свои дела ведать, а следом за тем: а нуте попробуйте и т. д. Такому обществу ничего другого не остается, как дать подписку, что члены его все до единого, от мала до велика, во всякое время помирать согласны.

Надо сказать правду, в России в наше время очень редко можно встретить довольного человека (конечно, я разумею исключительно культурный класс, так как некультурным людям нет времени быть недовольными). Кого ни послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует, другой — на то, что власть чересчур достаточно действует; одни находят, что глупость нас одолела, другие — что слишком мы умны стали; третьи, наконец, участвуют во всех пакостях и, хохоча, приговаривают: ну где такое безобразие видано?! Даже расхитители казенного имущества — и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет. И всякий требует лично для себя конституции: мне, говорит, подай конституцию, а прочие пусть по-прежнему довольствуются ранами и скорпионами.

Эта всеобщность недовольства, сопряженная с пожеланием самых приятных проектов лично для себя и с полнейшим равнодушием относительно жизненной обстановки соседа, представляется для меня фактом тем более замечательным, что фрондерство, по-видимому, заползает в сердце самых твердых. И вдобавок фрондерство до того разношерстное,

что уловить оттенки его (а стало быть, и удовлетворить капризные требования этих оттенков) нет никакой возможности. За примерами ходить недалеко. Когда делили между чиновниками сначала западные губернии, а впоследствии Уфимскую, то мы были свидетелями явлений, поистине поразительных. Казалось бы, уж на что лучше: урвал кусок казенного пирога — и проваливай! Так нет же, тут-то именно и разыгрались во всей силе свара, ненависть, глумление и всякое бесстыжество, главною мишенью для которых — увы! — послужила именно та самая неоскудевающая рука, которая и дележку-то с тою специальною целью предприняла, чтоб угробить господ чиновников и, само собой разумеется, в то же время положить начало корпорации довольных. Пускай, мол, хоть малый прыщ вначале вскочит, а потом, не торопясь да богу помолясь, и большого волдыря дождемся...

А между тем вышло совсем, совсем напротив.

Я помню, иду я в разгар одного из таких дележей по Невскому и думаю: непременно встречу кого-нибудь из знакомых, который хоть что-нибудь да утащил. Узнаю, как и что, да тут же уж кстати и поздравлю с благополучным похищением. И точно, едва я успел сойти с Аничкина моста, смотрю, его превосходительство Петр Петрович идет.

— Урвали? — спрашиваю.

— Помилуйте! на что похоже! выбросили кусок, да еще ограничивают! Говорят, пользуйся так-то и так-то: лесу не руби, травы не мни, рыбы не лови! А главное, не смей продавать, а эксплуатировать постепенно сам! Ведь только у нас могут *проходить даром* подобные нелепости.

— Сс... да ведь, я думаю, это больше на бумаге, а на деле, вероятно...

— Еще бы! Поймите, разве естественно, чтоб человек сам себе зложелательствовал! Лесу не руби! ах, черт побери! Да я сейчас весь лес на сруб продал... ха-ха!

Пройдя еще несколько шагов, встречаю его превосходительство Ивана Иваныча.

— Урвали?

— Получил, между прочим, и я; да, кажется, только грех один. Помилуйте! плешь какую-то отвалили! Ни реки, ни лесу — ничего! «Чернозём», говорят. Да черта ли мне в вашем «чернозёме», коли цена ему — грош! А коллеге моему Ивану Семенычу — оба ведь под одной державой, кажется, служим — тому такое же количество леса, на подбор дерево к дереву, отвели! да при реке, да в семи верстах от пристани! Нет, батенька, не доросли мы! Ой-ой, как еще не доросли! Оттого у нас подобные дела и могут *проходить даром!*

— Ваше превосходительство! да вы бы на место съездили, осмотрелись бы, посоветовались бы, да и тово... В старину гоняли: по нужде и закону премена бывает, а нынче то же изречение только в другой редакции выразить — смотришь, и выйдет: по нужде и чернозёму премена бывает?! И будет у вас вместо плеша густорастущий лес!

— А что вы думаете, ведь это идея! съездить разве в самом деле... ха-ха! Ведь у нас... Право, отличная штука выйдет! Все была плешь, и вдруг на ней строевой лес вырос... ха-ха! Ведь у нас волшебства-то эти... ха-ха! Благодарю, что надоумили! Съезжу, непременно съезжу... ха-ха!

Еще несколько шагов — идет навстречу его превосходительство Терентий Терентьич. Этот даже вопроса не выкидает, прямо заливается-хохочет.

— Ха-ха! ведь и меня наделили! Как же! заполучил-таки тысячи две чернозёмцу! Вот так потеха была! Хотите? — говорят. Ну, как, мол, не хотеть: с моим, говорю, удовольствием! А! какова потеха! Да, батенька, только у нас такие дела могут даром проходить! Да-с, только у нас-с. Общественного мнения нет, печать безмолвствует — валяй по всем по трем! Ха-ха!

Вот какие результаты произвел факт, который в принципе должен был пролить мир и благоволение в сердцах получателей. Судите по этим образчикам, насколько наивны должны быть люди, которые мечтают, что есть какая-нибудь возможность удовлетворить человека, который урывает кусок пирога и тут же выдает головой и самого себя, и своих убоготворителей?

Но ежели такое смешливое настроение обнаруживают даже люди, получившие посильное угобжение, то с какими же чувствами должны относиться к дирижирующей современности те, которые не только ничего не урвали, но и в будущем никакой надежды на угобжение не имеют? Ясно, что они должны представлять собой сплошную массу волнуемых завистью людей.

— Сказывают, что в Вятской губернии еще полезные лесочки втуне лежат? — говорил мне на днях один бесшабашный советник, о котором при дележках почему-то не вспомнили.

Перед этим он только что сквернословил, роптал и вопил. Рассказывал расхитительные анекдоты, цитировал свой формулярный список, перечислял по пальцам свои формулярные преступления и доказывал как дважды два, что преступления, совершенные теми, которым судьба полагала при дележке, ничто в сравнении с теми, которые выпали на долю его, обделенного бесшабашного советника. И вдруг, в самом

разгаре сквернословия, вспомнил, что остается еще в резерве Вятская губерния, и умилился. Ласковыми глазами глянул он мне в глаза, как бы ища в них подтверждения, что Вятская губерния еще не ушла. Глядел и как-то покорно ждал. Однако ж я, по совести, не мог доставить ему искомого утешения. Во-первых, я должен был указать ему, что ныне начальство строгое и никаких территориальных усовершенствований ради него, бесшабашного советника, в Вятской губернии не допустит; во-вторых, я вынужден был объяснить, что хотя и действительно слыхивал о полезных лесочках в Вятской губернии, но это было уж очень давно, так что теперь от этих лесочков, вероятно, остались одни пеньки.

— Ну вот!— воскликнул он горестно,— не говорил ли я вам! Где это видано! где допустили бы такое расхищение! давно ли такая, можно сказать, непроходимость была — и вдруг налицо одни пеньки!

И вновь во всю мочь принялся сквернословить, роптать на начальство и вопиять об отмщении.

Вообще было бы и любопытно и поучительно изучить современную культурную Россию с точки зрения сквернословия. Рассмотреть в подробности этих алчущих наживы, вечно хватающих и все-таки живущих со дня на день людей; определить резон, на основании которого они находят возможным существовать, а затем, в этой бесшабашной массе, отыскать, если возможно, и человека, который имеет понятие о «собственных средствах», который помнит свой вчерашний день и знает наверное, что у него будет и завтрашний день. Увы! я вполне искренно убежден, что работа будет трудная, так как люди второй категории составляют положительную диковину.

Петербург полон наглыми, мечущимися людьми, которые хватают и тут же сыплют нахватанным, которые вечно глотают и никогда не насыщаются, и вдобавок даже не дают себе труда воздерживаться от цинического хохота, который возбуждает в них самих их безнаказанность. Могут ли эти люди сознавать себя довольными? Могут ли они не скрежетать зубами, видя, что жизнь, несмотря на то, что они всячески стараются овладеть ею, все-таки не представляет вполне обеспеченного завтрашнего дня? Нет, по совести, не могут. Ибо самое беспорядочное положение вещей — и то не в состоянии удовлетворить той беспредельной жажды стяжания, той суеты и беспорядочности, которые в их глазах составляют истинный идеал беспечального жития. Вечный праздник, вечное скитание на чужой счет — очевидно, что никакое начальство, как бы оно ни было всемогуще, не может бессрочно обеспечить подобное существование.

Что же касается до провинций, то, по моему мнению, масса ропщущих и вопиющих должна быть в них еще компактнее, хотя причины, обуславливающие недовольство, имеют здесь совершенно иной характер. Все здесь соединилось, чтоб из бесконечного нитя сделать обычный провинциальный *modus vivendi*¹. И голодное житье, и неспособность приспособиться к новым условиям жизни, и насильственная праздность, и удаленность от пирога, и отсутствие правильных устоев жизни — все идет навстречу провинциалу, все ставит ему непреодолимые препоны на пути, все запутывает, заставляет останавливаться в недоумении. Выкупные ссуды проедены или прожиты так, что почти, можно сказать, спущены в ватерклозет. Железнодорожными концессиями воспользовались немногие шустрые, которые украли и удрали в Петербург. Правда, остаются еще мировые суды и земства, около которых можно бы кой-как пощечиться, но, во-первых, ни те, ни другие не в силах приютить в своих недрах всех изувеченных жизнью, а, во-вторых, разве «благородному человеку» можно остаться довольным какими-нибудь полуторами-двумя тысячами рублей, которые предоставляет нищенское земство? Мне скажут, может быть, что и в провинции уже успело образоваться довольно компактное сословие «кровопивцев», которые не имеют причин причислять себя к лику недовольных; но ведь это именно те самые люди, о которых уже говорено выше и которые, в одно и то же время и пирог зубами рвут, и глумятся над рукою, им благодееющею.

— Ну, уж времечко! — говорит купец Колупаев соседу своему купцу Разуваеву, удивляясь, что оба они сидят на воле, а не в остроге.

— Такое время, Иван Прокофьич, что только не зевай! — поясняет купец Разуваев.

— Так-то так, а только... И откуда только они берутся, эти деньги, прах их побери!

И оба уходят, каждый под свою смоковницу, оба продолжают кровопивствовать, и каждый в глубине души говорит: «Ну, где ж это видано! у каких таких народов слыхано... ах, прах те побери!»

Нет, даже Колупаев с Разуваевым — и те недовольны. Они, конечно, понимают, что «жить ноне очень способно», но в то же время не могут не тревожиться, что есть тут что-то «необнакавенное», чудное, что, идя по этой покатоости, можно, того гляди, и голову свернуть. И оба начинают просить «констинтунциев»... Нам чтоб «констинтунциев» дали, а толокн-

¹ образ жизни.

ников чтоб к нам под начал определили, да чтоб за печатью: и ныне и присно и во веки веков.

Натурально, я понимал, что около меня целый вагон кишит фрондерами, и только ожидал отвала из Эйткунена, чтоб увидеть цветение этого фрондерства в самом его разгаре. Но, признаюсь, всего более меня интересовали в этом отношении бесшабашные советники. Наравне с другими, они любознательно вглядывались в расстилавшуюся по обеим сторонам дороги долину, и почему-то мне казалось, что они делают это неспроста. Наверное, думалось мне, они смотрят и в то же время какое-нибудь мероприятие выдумывают. Не вроде тех, какие у нас, «в прекрасном далеке», через час по ложке прописывают, а такое, чтоб сразу совсем тошно сделалось. Ужэ за границей, на досуге, выдумают, а домой приедут, изложат. Сколько смеху-то будет!

Говоря по совести, бесшабашные советники не только мне не претят, но я чувствую к ним почти непозволительную слабость. Все в них мне нравится: и неожиданность суждений, и безыскусственная несвязность речей, и простодушная готовность во всякое время совершить какое угодно мероприятие. Даже трещина в черепе, которая постепенно, по мере утолщения формулярного списка, у каждого из них образовывается, — и та не представляется мне зазорною, ибо я знаю, что она установлена для того, чтоб предписания начальства быстрее доходили по назначению. Бояться бесшабашных советников я, конечно, считаю своею прирожденною обязанностью, но боюсь не потому, чтоб они представлялись мне преисполненными злобы, а потоплику, поколику они являются вместителями казенного интереса. По казенной надобности они воспламеняются и свирепеют с изумительной легкостью, но в домашнем быту, и в особенности на водах за границей, они такие же люди, как и прочие. У большинства их есть семейства, в которых они являются нежными супругами и любящими отцами, а у некоторых, сверх того, имеются и француженки, которых они, разумеется, содержат на казенный счет. В качестве партикулярных людей многие из них не прочь почитать и даже «писнуть» что-нибудь, в карамзинско-державинском роде. Затем все вообще любят получать хорошие содержания и аренды. Словом сказать, это обыкновенные «русские люди», у которых брюхо болит, если где плохо лежит. Разумеется, однако ж, если б меня спросили, могу ли я хоть на один час поручиться, чтоб такой-то бесшабашный советник, будучи предоставлен самому себе, чего-нибудь не накуролесил, то я ответил бы: нет, не могу! Но так как никто об этом меня не спрашивает, то я

ограничиваюсь тем, что озираюсь по сторонам и шепчу: тво-ри, господи, волю свою! И затем, когда встречаюсь с бесша-башным советником лицом к лицу, то сто́ит только мне пред-ставить себе, что я иду мимо монумента, который, того гляди, на меня упадет,—и я спокоен. Ну, упадет, ну, раздавит — только и всего. А может быть, и не на меня упадет, а на дру-гого, или и совсем ни на кого не упадет, а просто останется сто-ять на страх врагам. Ибо, повторяю, тут все зависит от того, какая в данную минуту казенная надобность на очереди со-стоит.

Вообще я весьма неохотно завиняю людей и знаю очень мало таких, которые были бы с ног до головы противуестест-венны. Но не могу умолчать, что деятельность большинства встречаемых нами нежных супругов и любящих отцов очень мало мне симпатична. Есть между ними такие, которые пред-ставляют собой как бы неистощимый сосуд вреднейших меро-приятий, и есть другие, которые хотя самостоятельно меро-приятий не выдумывают, но имеют специальностью усугублять вредоносную сущность чужих выдумок. Бывают даже такие личности, которые, покуда одеты в партикулярное платье, пе-релагают Давидовы псалмы, а как только наденут вицмун-дир, так тотчас же начинают читать в сердцах посторонних людей, хотя бы последние совсем их об этом не просили. Вот почему я не со всяким встречным связываюсь и предпочитаю быть осторожным с людьми, не помнящими родства. Однажды со мной, по неопытности, ужаснейший случай был. Ходил я в Эмсе вокруг курзала и, по обыкновению, «жалел» об отече-стве. И вдруг подходит ко мне простодушнейший мужчина, в теплом картузе с козырьком, точно вот сейчас из-под Гадяча выскочил. Словом сказать, один из тех, о которых в песне по-ется:

У огороди — бузина.
У Києви — дядя,
Я за то тебе люблю,
Що у тебе перстень...

Так вот этот самый «киевский дядя» подходит и голосом, исполненным умиления, говорит:

— Так и вы нашу Россию жалеете? Ах, как приятно! При-знаюсь, я на здешней чужбине только тем и утешаюсь, что вместе с великим Ломоносовым восклицаю:

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь человек...

Не успел я опомниться, как он уж держал мою руку в сво-их и крепко ее жал. И очень возможно, что та́к бы и привел

он меня за эту руку в места не столь отдаленные, если б из-за угла не налетел на нас другой соотечественник и не закричал на меня:

— Вы это что делаете? вы кому руку-то жмете? ведь это...

И он назвал его «постоянное занятие»...

Как я уже сказал выше, мне пришлось поместиться в одном спальном отделении с бесшабашными советниками. Естественно, мы некоторое время дичились друг друга. Старики вполголоса переговаривались между собой и, тихо воркуя, сквернословили. Оба были недовольны, оба ссылались на графа Михаила Николаевича и на графа Алексея Андрейча, оба сетовали не то на произвол власти, не то на умаление ее — не поймешь, на что именно. Но что меня всего больше огорчило — оба искали спасения... в конституции!!

— Таковую нам конституцию надо,— либеральничал Удав,— чтоб лбы затрещали!

А Дыба, с своей стороны, присовокуплял:

— Покойный граф Михаил Николаевич эту конституцию еще когда провидел! Сколько раз, бывало, при мне самолично говаривал: я им ужó пропишу... конституцию!

И в заключение, не входя в дальнейшие разъяснения, оба порешили, что «как там ни вертись, а не минёшь что-нибудь предпринять, чтоб «лбы затрещали». А затем, грозя очами по направлению к Вержболову, перешли к вопросу о «кушах». Как известно, «конституция» и «куши» составляют большое место русской современности, но «конституцию» понимают смутно и каждый по-своему, а «куши» всеми понимаются ясно и одинаково. Так было и тут. Как только зашла речь о «кушах», бесшабашные советники почувствовали себя как рыба в воде и сразу насытили воздух вагона рассказами самого игривого свойства. С одной стороны, приводились бесчисленные примеры благополучного казнокрадства; с другой — произносились имена, высчитывались суммы, указывались лазейки. Без утайки, нараспашку. Одним словом, повествовалось что-то до такой степени необъятное и неслыханное, что меня чуть не бросило в лихорадку. И в заключение опять:

— Именно конституцию прописать надо! такую конституцию, чтоб небу было жарко!

Наконец, наговорившись и нахохотавшись досыта между собой, бесшабашные советники нашли своевременным и меня привлечь к интимному сквернословью.

— Вот здесь хлебá-то каковы!— сказал Дыба, подмигивая мне,— и у нас бы, по расписанию, не хуже должны быть, а вместо того саранча... Ишь ведь! саранчу ухитрились акклиматизировать! Вы как об этом полагаете... а?

К счастью, я вспомнил про «киевского дядю» и его «постоянное занятие» и потому отвечал твердо, хотя и почтительно:

— Я так полагаю, ваши превосходительства, что ежели у нас жук и саранча даже весь хлеб поедят, то и тогда немец без нас с голоду подохнет!

Дыба с недоумением взглянул на меня.

— Гм... да,— произнес он, как бы поняв,— это ежели с точки зрения «предостережений» и розничной продажи.. Но согласитесь сами, что здесь, под Инстербургом, подобного рода опасения...

— И с розничной продажей, и без розничной продажи, одинаково утверждаю: подохнет немец без нас!— воскликнул я еще с большею настойчивостью.

Столь любезно-верная непреоборимость была до того необыкновенна, что Удав, по старой привычке, собрался было почитать у меня в сердце, но так как он умел читать только на пространстве от Восточного океана до Вержболова, то, разумеется, под Эйдткуненом ничего прочесть не сумел.

— Но для чего же вы непременно настаиваете, чтобы немец подох?— спросил он в недоумении.

— Собственно говоря, я никому напрасной смерти не желаю, и если сейчас высказался не в пользу немца, то лишь потому, что полагал, что таковы требования современной внутренней политики. Но если вашим превосходительствам, по обстоятельствам службы, представляется более удобным, чтоб подох русский, а немец торжествовал, то я противодействовать предначертаниям начальства даже в сем крайнем случае не считаю себя вправе.

— Но почему же? почему?

— А потому, ваши превосходительства, что, во-первых, я ничего не знаю. Может быть, для пользы службы необходимо, чтоб русский подох или, по малой мере, обмер? Конечно, если бы он весь подох, без остатка — это было бы для меня лично прискорбно, но ведь мое личное воззрение никому не нужно, а сверх того, я убежден, что поголовного умертвия все-таки не будет и что ваши превосходительства хоть сколько-нибудь на раззавод да оставите. А во-вторых, я отлично понимаю, что противодействие властям, даже в форме простого мнения, у нас не похваляется, а так как лета мои уже преклонные, то было бы в высшей степени неприятно, если б в ушах моих неожиданно раздалось... фюить!

— Что так? новых-то впечатлений, стало быть, уж не ищите?— любезно осклабился Дыба.

— Довольствуюсь старыми, ваши превосходительства. Люблю свое отечество, но подробно изучать его статистику предпочитаю из устных и печатных рассказов местных исследователей.

— Гм... да... А ведь истинному патриоту не так подобает... Покойный граф Михаил Николаевич недаром говаривал: путешествия в места не столь отдаленные не только не вредны, но даже не без пользы для молодых людей могут быть допускаемы, ибо они формируют характеры, обогащают умы понятиями, а сверх того разжигают в сердцах благородный пламень любви к отечеству! Вот-с.

— Знаю я это, ваши превосходительства,— ответил я кротко,— но думаю, что и независимо от путешествий люблю свое отечество самым настоящим манером. А именно: люблю ваши превосходительства и считаю священной обязанностью исполнять все ваши предначертания. Знаю, что вам наверху виднее, и потому думаю лишь о том, чтоб снискать ваше расположение. Ежели я в этом успею, то у меня будет избыточествовать и преизбыточествовать; если же не успею, то у меня отнимется и последнее. Вот в каком смысле я понимаю любовь к отечеству, а все прочие сорта таковой отвергаю, яко мечтательные. Полагаю, что этого достаточно?

— Гм... однако ж, в литературе не часто приходится читать подобные благоразумные мнения,— приятно огрызнулся Дыба.

— Ваши превосходительства! позвольте вам доложить! Я сам был много в этом отношении виноват и даже готов за вину свою пострадать, хотя, конечно, не до бесчувствия... Долгое время я думал, что любовь к отечеству выше даже любви к начальственным предписаниям; но с тех пор как прочитал брошюры г. Цитовича, то вполне убедился, что это совсем не любовь к отечеству, а фанатизм, и, разумеется, поспешил исправиться от своих заблуждений.

Это было высказано с такою горячею искренностью, что и Дыба и Удав — оба были тронуты.

— Может быть! может быть!— задумчиво молвил Дыба,— мне самому, по временам, кажется, что иногда мы считаем человека заблуждающимся, а он между тем давно уже во всем принес оправдание и ожидает лишь случая, дабы запечатлеть... Как вы полагаете, ваше превосходительство?— обратился он к Удаву.

— На этот случай я могу рассказать вашему превосходительству следующее истинное происшествие, о котором мне передавал мой духовник,— отвечал Удав.— Жили в одном селеции две Анны, и настал час одной из них умирать. Только по-

слал бог к ней по душу своего ангела, а ангел-то и ошибись: вместо того, чтоб взять душу у подлежащей Анны, взял ее у другой. Хорошо-с. Та ли Анна, другая ли Анна — все равно приходится попам хоронить. И что ж! только что стали новопреставленную Анну на литии поминать, как вдруг сверху голос: Анна, да не та! Так точно, думается мне, и в настоящем случае: часто мы себе человека нераскаянным представляем, а он между тем за раскаяние давно уж в титулярные советники произведен. Федот, да не тот!

Высказавшись таким образом, мы подивились премудрости и на минуту смолкли.

— А впрочем, по нынешнему времени и мудреного мало, что некоторые впадают в заблуждения, — задорливо начал Дыба, — нельзя! Посмотрите, что кругом делается? Где власть? где, спрашиваю вас, власть? Намеднишь прихожу за справкой в департамент Расхищений и Раздач — был уж второй час — спрашиваю: начальник отделения такой-то здесь? — Они, говорят, в три часа приходят. — А столоначальник здесь? — И они, говорят, раньше как через час не придут. — Кто же, спрашиваю, у вас дела-то делает? — Так, поверите ли, даже сторожа смеются!

— И после этого жалуются, что авторитеты попораны! основы потрясены!

— Нет, хорошо, что литература хоть изредка да подбадривает... Помилуйте! личной обеспеченности — и той нет! Сегодня — здесь, а завтра — фюить!

Сказавши это, Удав совсем было пристроился, чтоб непременно что-нибудь в моем сердце прочитать. И с этою целью даже предложил вопрос:

— Ну, а вы... как вы насчет этой личной обеспеченности... в газетах нынче что-то сильно об ней поговаривают...

— И на этот счет могу вашим превосходительствам доложить, — ответил я, — личная обеспеченность — это такое дело, что ежели я сижу смирно, то и личность моя обеспечена, а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумеется, никто за это меня не похвалит. Сейчас за ушко да на солнышко — не прогневайся!

— Не прогневайся! — словно эхо, хотя вполне машинально, повторили Дыба и Удав.

— Потому что, по мнению моему, только то общество можно назвать благоустроенным, где всякий к своему делу определен. Так, например: ежели в расписании сказано, что такой-то должен получать дани, — тот пусть и получает; а ежели про кого сказано, что такой-то обязывается уплачивать дани, — тот пусть уплачивает. А не наоборот.

— А не наоборот!— повторили бесшабашные советники, дивясь моему разуму.

— Если же мы станем фордыбачить, да не захотим по расписанию жить, то нас за это — в кутузку!

— В кутузку!— повторило эхо.

Но, испустив это восклицание, бесшабашные советники спохватились, что, по выезде из Эйдткунена, даже по расписанию положено либеральничать, и потому поспешили поправиться.

— Но по суду или без суда?— почти испуганно спросил меня Дыба.

— И по суду, и без суда — это как будет вашим превосходительством угодно. Но что касается до меня, то я думаю, что без суда, просто по расписанию, лучше.

— Од-на-ко?!

— Я знаю, вашим превосходительствам угодно, вероятно, сказать, что в последнее время русская печать в особенности настаивала на том, чтоб всех русских жарили по суду. Но я — не настаиваю. Прежде, грешный человек, и я думал, что по суду крепче, а теперь вижу, что крепко и без суда. Вместо того, чтоб судиться, да по мытарствам ходить, я лучше прямо к вашим превосходительствам приду: виноват! Вы меня в одну минуту рассудите. Ежели я не очень виноват — сейчас меня мерами кротости доймете, а ежели виноват кругом — фюить! По пословице: любишь кататься, люби и саночки возить... не прогневайся!

— Не прогневайся! — цыркнул было Дыба, но опять спохватился и продолжал: — Позвольте, однако ж! если бы мы одни на всем земном шаре жили, конечно, тогда все равно... Но ведь нам и без того в Европу стыдно нос показать... надо же принять это в расчет... Неловко.

— А если неловко, то надо такой суд устроить, чтоб он был и все равно как бы его не было!

— Вот... это отлично!

— И все это я говорю перед вашими превосходительствами по сущей совести, так точно, как в том ответ перед вышним начальством дать надлежит!

Как ни лестно было для бесшабашных советников это признание, однако ж они сидели друг против друга и недоверчиво покачивали головами.

— Послушайте, однако ж!— сказал Удав,— а как же вы насчет этих расхищений полагаете? Ужели же и это можно... простить?

Он даже не договорил от волнения (очевидно, он принадлежал к числу «позабывших»), и в глазах его сверкнула слеза любостяжания.

— Расхищений не одобряю,— твердо ответил я,— но, с другой стороны, не могу не принять в соображение, что всякому человеку сладенького хочется.

После такого категорического ответа Удаву осталось только щелкнуть языком и замолчать. Но Дыба все еще не считал тему либерализма исчерпанною.

— Вот вы бы все это напечатали,— сказал он не то иронически, не то серьезно — в том самом виде, как мы сейчас говорили... Вероятно, со стороны начальства препятствий не будет?

— У нас, ваши превосходительства, для выражения похвальных чувств никогда препятствий не бывает. Вот ежели бы кто непохвальные чувства захотел выражать — ну, разумеется, тогда не прогневайся!

— Не прогневайся!— подтвердил Дыба.

— Так вы, значит, думаете, что и свобода книгопечатания у нас существует?— попытался подловить меня Удав.

— У нас все существует, ваши превосходительства, только нам не всегда это известно. Я знаю, что многие отрицают существование свободы печати, но я — не отрицаю.

— Да... да! Чего бы, кажется: суды — дали, печать — дали, земство — дали, а между тем посмотрите кругом — много ли найдете довольных?

— А я, ваши превосходительства, так даже по горло доволен!

— Вот хоть бы земство,— молвил Дыба,— ну, разве это... мечта?!

— И насчет земства, ваши превосходительства, скажу: многие сомневаются в его существовании, а я — не сомневаюсь!

— И полагаете, что оно процветет?

— Непременно, ваши превосходительства, процветет. Вообще я полагаю, что мы переживаем очень интересное время. Такое интересное, такое интересное, что, кажется, никогда и ни в одной стране такого не бывало... Ах, ваши превосходительства!

— Ну, дай бог! дай бог!

Бесшабашные советники набожно перекрестились, и тонкие, обесцвеченные губы их машинально шептали: дай бог! дай бог!

— Но чем же вы объясните,— встрепенулся Дыба,— отчего здесь на песке такой отличный хлеб растет, а у нас и на черноземе — то дожжичка нет, то чересчур его много? И молебны, кажется, служат, а все хлебушка нет?

— А тем и объясню, ваши превосходительства, что много уж очень свобод у нас развелось. Так что ежели еще немно-

жечко припустить, так, пожалуй, и совсем хлебушка перестанет произрастать...

*Dixi et animam levavi*¹, или в русском переводе: сказал — и стошнило меня. Дальше этого *profession de foi*² идти было некуда. Я очень был рад, что в эту минуту наш поезд остановился и шафнер объявил, что мы на полчаса свободны для обеда.

Между Бромбергом и Берлином я заснул и видел чрезвычайно странный сон. Спилось мне, что я очутился в самой простой немецкой деревне и встретил семи-восьмилетнего крестьянского мальчика... в штанах! Никогда этого со мной не бывало. Много ездая по нашим деревням, много видал в них крестьянских мальчиков — и всегда без штанов. Бежит кудластый мальчонка по деревенской улице, а ветер так и раздувает подол его замазанной рубашонки. Или шлепает мальчонка босыми ногами по грязи, или, заворотив подол, сидит в луже и играет камешками... ах, бедный! А тут, в немецкой деревне, ни грязи, ни традиционной лужи — ничего такого не видеть, да вдобавок еще штаны! Это до такой степени меня заинтересовало, что я поманил мальчика и вступил с ним в разговор.

— Скажи, немецкий мальчик, — спросил я, — ты постоянно ходишь в штанах?

— Когда я в первый раз без посторонней помощи прошел по комнате нашего дома, то моя добрая мать, обращаясь к моему почтенному отцу, сказала следующее: «Не правда ли, мой добрый Карл, что наш Фриц с нынешнего дня достоин носить штаны?» И с тех пор я расстаюсь с этой одеждой только на ночь.

Мальчик высказал это солидно, без похвальбы и без всякого глумления над странностью моего вопроса. По-видимому, он понимал, что перед ним стоит иностранец (кстати: ужасно странно звучит это слово в применении к русскому путешественнику; по крайней мере, мне большого труда стоило свыкнуться с мыслью, что я где-нибудь могу быть... иностранцем!), которому простительно не знать немецких обычаев.

— Изумительно! — воскликнул я, — и ты не боишься запачкать штаны в грязи? ты решаешься садиться в них в лужу?

¹ Сказал — и облегчил душу.

² исповедания веры.

— Вопрос ваш до крайности удивляет меня, господин!— скромно ответил мальчик,— зачем я буду пачкаться в грязи или садиться в лужу, когда могу иметь для моих прогулок и игр сухие и удобные места? А главное, зачем я буду поступать таким образом, зная, что это огорчит моих добрых родителей?

— Великолепно! Но знаешь ли ты, немецкий мальчик, что существует страна, в которой не только мальчишки, но даже вполне совершеннолетний камаринский мужик — и тот с голой ... по улице бежит?

— Я еще не учился географии и потому не смею отрицать, что подобная страна возможна. Но... было бы очень жестоко с вашей стороны так шутить, господин!

— Я нимало не шучу, и ежели хочешь, то могу теперь же познакомить тебя с одним из таких мальчишков.

— Господин! вы в высшей степени возбудили во мне любопытство! Конечно, мне следовало не иначе принять ваше предложение, как с позволения моих добрых родителей; но так как в эту минуту они находятся в поле, и сверх того мне известно, что они тоже очень жалостливы к бедным, то надеюсь, что они не найдут ничего дурного в том, что я познакомлюсь с мальчиком без штанов. Поэтому если вы можете пригласить сюда моего бедного товарища, то я весь к его услугам.

Тогда, по манию волшебства (не надо забывать, что дело происходит в сновидении, где всякие волшебства дозволяются), в немецкую деревню врывается кудластый русский мальчик, в длинной рубахе, подол которой замочен, а ворот замazan мякинным хлебом. И между двумя сверстниками начинается драматическое представление под названием:

МАЛЬЧИК В ШТАНАХ И МАЛЬЧИК БЕЗ ШТАНОВ

РАЗГОВОР В ОДНОМ ЯВЛЕНИИ

(Эта пьеса рекомендуется для детских спектаклей)

Театр представляет шоссированную улицу немецкой деревни. Мальчик в штанах стоит под деревом и размышляет о том, как ему прожить на свете, не огорчая своих родителей. Внезапно в средину улицы вдвигается обыкновенная русская лужа, из которой выпрыгивает мальчик без штанов.

Мальчик в штанах (*конфузясь и краснея в сторону*). Увы! Иностраннный господин сказал правду: он без штанов! (*Громко.*) Здравствуйте, мальчик без штанов! (*Подает ему руку.*)

Мальчик без штанов (*не обращая внимания на протянутую руку*). Однако, брат, у вас здесь чисто!

Мальчик в штанах (*настойчиво*). Здравствуйте, мальчик без штанов!

Мальчик без штанов. Пристал как банный лист... Ну, здравствуй! Дай оглядеться сперва. Ишь ведь как чисто — плюнуть некуда! Ты здешний, что ли?

Мальчик в штанах. Да, я мальчик из этой деревни. А вы — русский мальчик?

Мальчик без штанов. Мальчишко я. Постреленок.

Мальчик в штанах. Постреленок? что это за слово такое?

Мальчик без штанов. А это, когда мамка ругается, так говорит: ах, пострели те горой! Оттого и постреленок!

Мальчик в штанах (*старается понять и не понимает*).

Мальчик без штанов. Не понимаешь, колбаса? еще не дошел?

Мальчик в штанах. Вообще многое, с первого же взгляда, кажется мне непонятным в вас, русский мальчик. Правда, я начал ходить в школу очень недавно, и, вероятно, не все результаты современной науки открыты для меня, но, во всяком случае, не могу не сознаться, что ваш внешний вид, ваше появление сюда среди лужи и ваш способ выражаться сразу повергли меня в величайшее недоумение. Ни мои добрые родители, ни почтеннейшие наставники никогда не предупреждали меня ни о чем подобном... И, во-первых, с позволения вашего, объясните мне, отчего вы, русский мальчик, ходите без штанов?

Мальчик без штанов. Изволь, смец, скажу. Но прежде ты мне скажи, отчего ты так скучно говоришь?

Мальчик в штанах. Скучно?

Мальчик без штанов. Да, скучно. Мямлишь, канитель разводишь, слюнями давишься. Инда голову разломило.

Мальчик в штанах. Я говорю так же, как говорят мои добрые родители, а когда они говорят, то мне бывает весело. И когда я говорю, то им тоже бывает весело. Еще на днях моя почтенная матушка сказала мне: когда я слышу, Фриц, как ты складно говоришь, то у меня сердце радуется!

Мальчик без штанов. А у нас за такой разговор камень на шею, да в воду. У нас по всей земле такой приказ: разговор чтоб веселый был!

Мальчик в штанах (*испуганно*). Позвольте, однако ж, русский мальчик! Допустим, что я говорю скучно, но неужели это такое преступление, чтоб за него справедливо было лишить человека жизни?

Мальчик без штанов. «Справедливо!» Эк куда хватил! Нужно, тебе говорят; нужно, потому что такое правило есть.

Мальчик в штанах (*хочет понять и не понимает*).

Мальчик без штанов. У нас, брат, без правила ни на шаг. Скучно тебе — правило; весело — опять правило. Сел — правило, встал — правило. Задуматься, слово молвить — нельзя без правила. У нас, брат, даже прыщик и тот должен почестаться прежде, нежели вскочит. И в конце всякого правила или поронцы, или в холодную. Вот и я без штанов, *по правилу*, жожу. А тебе в штанах небось лучше?

Мальчик в штанах. Мне в штанах очень хорошо. И если б моим добрым родителям угодно было лишить меня этого одеяния, то я не иначе понял бы эту меру, как в виде справедливого возмездия за мое неодобрительное поведение. И, разумеется, употребил бы все меры, чтоб вновь возвратить их милостивое ко мне расположение!

Мальчик без штанов. Сопляк ты — вот что!

Мальчик в штанах. И этого я не понимаю.

Мальчик без штанов. Далась тебе эти родители! «Добрая матушка», «почтеннейший батюшка» — к чему ты эту каштель завел! У нас, брат, дядя Кузьма намеднись отца на кобеля променял! Вот так раз!

Мальчик в штанах (*в ужасе*). Ах, нет! это невозможно!

Мальчик без штанов (*поняв, что он слишком далеко зашел в деле отрицания*). Ну, полно! это я так... пошутил! Пословица у нас такая есть, так я вспомнил.

Мальчик в штанах. Однако, ежели даже пословица... ах, как это жаль! И как бесчеловечно, что такие пословицы вслух повторяют при мальчиках! (*Плачет.*)

Мальчик без штанов. Завыл, немчур! Ты лучше скажи, отчего у вас такие хлеба рождаются? Ехал я давеча в луже по дороге — смотрю, везде песок да торфик, а все-таки на полях страсть какие сулоны наворочены!

Мальчик в штанах. Я думаю, это оттого, что нам никто не препятствует быть трудолюбивыми. Никто не пугает нас, никто не заставляет производить такие действия, которые ни для чего не нужны. Было время, когда и в нашем прекрасном отечестве все жители состояли как бы под следствием и судом, когда воздух был насыщен сквернословием и когда всюду, где бы ни показался обыватель, навстречу ему несся один неумолимый окрик: куда лезешь? не твое дело! В эту мрачную эпоху головы немцев были до того заколочены, что они сделались не способными ни на какое дело. Земля обрабатывалась небрежно и давала скудную жатву, обыватели жили, как дикие, в тесных и смрадных логовищах, а немецкие мальчики ходили без штанов. К счастью, эти варварские вре-

мена давно прошли, и с тех пор, как никто не мешает нам употреблять наши способности на личное и общественное благо, с тех пор, как из нас не выбивают податей и не ставят к нам экзекуций, мы стали усердно прилагать к земле наш труд и нашу опытность, и земля возвращает нам за это сторицею. О, русский мальчик! может быть, я *скучно* говорю, но лучше пусть буду я говорить скучно, нежели вести веселый разговор и в то же время чувствовать, что нахожусь под следствием и судом!

Мальчик без штанов (*тронутый*). Это, брат, правда твоя, что мало хорошего всю жизнь из-под суда не выходить. Ну, да что уж! Лучше давай насчет хлеба. Вот у вас хлеба хорошие, а у нас весь хлеб нынче саранча сожрала!

Мальчик в штанах. Слышал и я об этом и очень об вас жалел. Когда наш добрый школьный учитель объявил нам, что дружественное нам государство страдает от недостатка питания, то он тоже об вас жалел. Слушайте, дети! — сказал он нам, — вы должны жалеть Россию не за то только, что половина ее чиновников и все без исключения аптекаря — немцы, но и за то, что она с твердостью выполняет свою историческую миссию. Как древле, выстрадав иго монголов, она избавила от них Европу, так и ныне, вынося иго саранчи, она той же Европе оказывает неоцененнейшую из услуг!

Мальчик без штанов. Нескладно что-то ты говоришь, немчура. Лучше, чем похабничать-то, ты мне вот что скажи: правда ли, что у вашего царя такие губернии есть, в которых яблоки и вишенье по дорогам растут и прохожие не рвут их?

Мальчик в штанах. Здесь, под Бромбергом, этого нет, но матушка моя, которая родом из-под Вюрцбурга, сказывала, что в тамошней стороне все дороги обсажены плодовыми деревьями. И когда наш старый добрый император получил эти земли в награду за свою мудрость и храбрость, то его немецкое сердце очень радовалось, что отныне баденские, баварские и другие каштаны будут съедаемы его дорогой и лояльной Пруссией.

Мальчик без штанов. Да неужто деревья по дороге растут и так-таки никто даже яблочка не сорвет?

Мальчик в штанах (*изумленно*). Но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность?!

Мальчик без штанов. Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил!

Мальчик в штанах. Но, конечно, он это по ошибке сделал?

Мальчик без штанов. Опохмелиться захотелось, а грошика не было — вот он и опохмелился керосином!

Мальчик в штанах. Но ведь он, наверное, болен сделался?

Мальчик без штанов. Разумеется, будешь болен, как на другой день при сходе спину взбондируют!

Мальчик в штанах (*пугаясь*). Ах, неужели у вас...

Мальчик без штанов. А ты думал, глядят?

Мальчик в штанах (*окончательно пугается и хочет бежать домой, но мальчик без штанов удерживает его*).

Мальчик без штанов. Стой! чего испугался! Это нам, которые из простого звания, под рубашку смотрят, а ведь ты... иностранец?! (*Помолчав.*) У тебя звание-то есть ли?

Мальчик в штанах. Я — бауер.

Мальчик без штанов. Это мужик, что ли?

Мальчик в штанах. Не мужик, но земледелец!

Мальчик без штанов. Ну да, известно... мужик!

Мальчик в штанах. Нет, земледелец. Мужик — это русский, а у нас — земледелец.

Мальчик без штанов. На-тко, выкуси!

Мальчик в штанах. Ах, русский мальчик, какие вы странные слова употребляете и как, должно быть, недостаточно воспитание, которое вам дают! Я уверен, например, что вы не знаете, что такое бог?

Мальчик без штанов. А бог его знает, что такое бог! У нас, брат, в селе Успленью-матушке престольный праздник показан — вот мы в спожинки его и справляем!

Мальчик в штанах (*хочет понять и не может*).

Мальчик без штанов. Не дошел? Ну, нечего толковать: я и сам, признаться, в этом не тверд. Знаю, что праздник у нас на селе, потому что и нам, мальчишкам, в этот день портки надевают, а от бога или от начальства эти праздники приказаны — не любопытствовал. А ты мне вот еще что скажи: слышал я, что начальство здешнее вас, мужиков, никогда скверными словами не ругает — неужто это правда?

Мальчик в штанах. Отец мой сказывал, что он от своего дедушки слышал, будто в его время здешнее начальство ужасно скверно ругалось. И все тогдашние немцы до того от этого загубели, что и между собой стали скверными словами ругаться. Но это было уж так давно, что и старики теперь ничего подобного не запомнят.

Мальчик без штанов. А нас, брат, так и сейчас походя ругают. Кому не лень, только тот не ругает, и всё

самыми скверными словами. Даже нам надоело слушать. Исправник ругается, становой ругается, посредник ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче еще урядников ругаться наняли.

Мальчик в штанах (*испуганно*). Но, может быть, это дурная болезнь какая-нибудь?

Мальчик без штанов. То-то что ты не дошел! Правилу такое, а ты — болезнь! Намеднишь приехал в нашу деревню старшина, увидел дядю Онисима, да как вцепится ему в бороду — так и повис!

Мальчик в штанах. Ах, боже мой!

Мальчик без штанов. Говорю тебе, надоело и нам. С души прет, когда-нибудь перестать надо. Только как с этим быть? Коли ему сдачи дать, так тебя же засудят, а ему, ругателю, ничего. Вот один парень у нас и выдумал: в вечерни его отпорили, а он в ночь — удавился!

Мальчик в штанах. Ах, как мне вас жаль! как мне вас жаль!

Мальчик без штанов. Чего нас жалеть! Самн себя не жалеем — стало быть, так нам и надо!

Мальчик в штанах (*с участием*). Не говорите этого, друг мой! Иногда мы и очень хорошо понимаем, что с нами поступают низко и бесчеловечно, но бываем вынуждены безмолвно склонять голову под ударами судьбы. Наш школьный учитель говорит, что это — наследие прошлого. По моему мнению, тут один выход: чтоб начальники сами сделались настолько развитыми, чтоб устыдиться и сказать друг другу: отныне пусть постигнет кара закона того из нас, кто опозорит себя употреблением скверных слов! И тогда, конечно, будет лучше.

Мальчик без штанов. Держи карман! Это, брат, у нас «революцией сверху» называется!

Мальчик в штанах. А мы, немцы, называем это просто справедливостью. Но откуда вы такое выражение знаете?

Мальчик без штанов. А это у нас бывший наш барин так говорит. Как ежели кого на сходе сечь приговорят, сейчас он выйдет на балкон, прислушивается и приговаривает: вот она, «революция сверху», в ход пошла!

Мальчик в штанах. Ах, нет, я совсем не в том смысле...

Мальчик без штанов. А он у нас во всех смыслах... Выкупные он давно проел, доходов с земли — грош; вот он похаживает у себя по хоромам, да и шутит... во всех смыслах!

Мальчик в штанах. Но каким же образом он живет без доходов? Работает?

Мальчик без штанов. У нас дворянам работать не полагается. У нас, коли ты дворянин, так живи, не тужи. Хошь на солнышке грейся, хошь по ляжке себя хлопай — живи. А чуть к работе пристроился, значит, пустое дело затеял! Превратное, значит, толкование.

Мальчик в штанах. Какой, однако ж, странный народ у вас живет! Находят, что полезнее по ляжке себя хлопать, нежели работать... изумительно!

Мальчик без штанов. Да, брат немец! про тебя говорят, будто ты обезьяну выдумал, а коли поглядеть да посмотреть, так куда мы против вас на выдумки тороваты!

Мальчик в штанах. Ну, это еще...

Мальчик без штанов. Верно говорю, и даже пример сейчас приведу. Слышал я, правда ли, нет ли, что ты такую сигнацию выдумал, что куда хошь ее носи — сейчас тебе за нее настоящие деньги дадут... так, что ли?

Мальчик в штанах. Конечно, дадут настоящие золотые или серебряные деньги — как же иначе!

Мальчик без штанов. А я такую сигнацию выдумал: предъявителю выдается из разменной кассы... плюха! Вот ты меня и понимай!

Мальчик в штанах (*хочет понять, но не может*).

Мальчик без штанов. И не старайся, не поймешь! (*Оба мальчика задумываются и некоторое время стоят молча.*)

Мальчик в штанах. Знаете ли, русский мальчик, что я думаю? Остались бы вы у нас совсем! Господин Гехт охотно бы вас в кнехты принял. Вы подумайте только: вы как у себя спите? что кушаете? А тут вам сейчас войлок хороший для спанья дадут, а пища — даже в будни горох с свиным салом!

Мальчик без штанов. Пища хорошая... А правда ли, немец, что ты за грош черту душу продал?

Мальчик в штанах. Вы, вероятно, про господина Гехта говорите?.. Так ведь родители мои получают от него определенное жалованье...

Мальчик без штанов. Ну да, это самое я и говорю: за грош черту душу продал!

Мальчик в штанах. Позвольте, однако ж! Про вас хуже говорят: будто вы совсем задаром душу отдали?

Мальчик без штанов. Ты про Колупаева, что ли, говоришь? Ну, это, брат... об этом мы еще поговорим... Надел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!

Мальчик в штанах (*резонно*). Надоел или не надоел — это ваше дело; но заметьте, что всегда так бывает, когда в взаимных отношениях людей не существует самой строгой определенности. Между родителями моими и г. Гехтом никогда не случалось недоразумений — а почему? Потому что в контракте, ими заключенном, сказано ясно: господин Гехт дает грош, а родители мои — душу. Вот и все. Тогда как вы, русские, всё на какую-то «на водку» надеетесь. И потом, когда вместо «на водки» вас награждают ударами, вы ворчите, что вам... надоело! Сквернословие — надоело, господин Колупаев — надоел... Ну, надоело — что же из этого?

Мальчик без штанов. Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!

Мальчик в штанах. Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Убеждаю вас, останьтесь у нас! Право, через месяц вы сами будете удивляться, как вы могли так жить, как до сих пор жили!

Мальчик без штанов (*с некоторым раздражением*). Врешь ты! Ишь ведь с гороховицей на свином сале подыхал... диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно... Верное слово тебе говорю!

Мальчик в штанах. Что же тут занятного... «шаром покати»!

Мальчик без штанов. Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлеб будет — а вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра — саранча, а потом — выкупные подавай! Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался?

Мальчик в штанах (*хочет что-нибудь выдумать, но долгое время не может; наконец выдумывает*). Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!

Мальчик без штанов. На-тко, выкуси!

Мальчик в штанах. Опять это слово! Русский мальчик! я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковину¹. У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет, — а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: выкуси! Берегитесь, русский мальчик! это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается!

¹ Прошу читателя помнить, что все это происходит в сновидении, и не удивляться, что немецкий мальчик выражается не вполне свойственным его возрасту языком. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

Мальчик без штанов. Нет, это не от высокоумия, а надоели вы нам, немцы,— вот что! Взяли в полон да и держите!

Мальчик в штанах. Но плен, в котором держит вас господин Колупаев, по мнению моему, гораздо...

Мальчик без штанов. Что Колупаев! С Колупаевым мы сочтемся... это верно! Давай-ка лучше об немцах говорить. Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения¹, да вот что худо: к нам-то вы приходите совсем не с этим, а только чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? — немец! кто самый безжалостный педагог? — немец! кто самый тупой администратор? — немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием? — немец! И заметь, что сравнительно ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство — тоже, а ваши учреждения — и подáвно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтоб науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха. Вон вы, сказывают, Берлин на славу отстроили, а никому на него глядеть не хочется. Даже свои «объединенные» немцы — и тех тошнит от вас, «объединителей». Есть же какая-нибудь этому причина!

Мальчик в штанах. Разумеется, от необразованности. Необразованный человек — все равно что низший организм, так чего же ждать от низших организмов!

Мальчик без штанов. Вот видишь, колбаса! тебя еще от земли не видать, а как уж ты поговариваешь!

Мальчик в штанах. «Колбаса»! «выкуси»! — какие песносные выражения! А вы, русские, еще хвалитесь богатством вашего языка! Целый час я говорю с вами, русский мальчик, и ничего не слышу, кроме загадочных слов, которых ни на один язык нельзя перевести. Между тем дело совершенно ясное. Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже

¹ Со стороны русского мальчика этот способ выражаться еще неестественнее, но, опять повторяю, в сновидении нет ничего невозможного. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

и о каком-то «новом слове» поговаривают — и что же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах!

Мальчик без штанов. Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное!

Мальчик в штанах. Решительно ничего не понимаю!

Мальчик без штанов. Где тебе понять! Сказывал уж я тебе, что ты за грош черту душу продал, — вот он теперь тебе и застит свет!

Мальчик в штанах. «Сказывал»! Но ведь и я вам говорил, что вы тому же черту задаром душу отдали... кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчик без штанов. Так то задаром, а не за грош. Задаром-то я отдал — стало быть, и опять могу назад взять... Ах, колбаса, колбаса!

Но тут разговор внезапно порвался, потому что я проснулся. Кто-то в нашем отделении вскочил с своего ложа и благим матом кричал: караул! грабят! Это вопиял Удав, которому приснилось, что произошла третья дележка и что его и при этой дележке... опять позабыли!

Через час мы уже подъезжали к Берлину.

II

ПЕРЕЕХАВШИ ГРАНИЦУ, русский культурный человек становится необыкновенно деятельным. Всю жизнь он слыл фатюем, фетюком, фалалеем; теперь он во что бы то ни стало хочет доказать, что по природе он совсем не фатюй, и ежели являлся таковым в своем отечестве, то или потому только, что его «заела среда», или потому, что это было согласно с видами начальства. Он рано встает утром, не спит после обеда, не сидит по целым часам в ватерклозете, и с Бедкером в руках с утра до вечера нюхает, смотрит, слушает, глотает. С лихорадочною страстностью переезжает он с места на место, всходит на горы и сходит с оных, бродит по деревням, удивляется свежести горного воздуха и дешевизне табльдотов, не морщась пьет местное вино, вступает в собеседования с кельнерами и хаускнехтами и наконец, с наступлением ночи, падает в постель (снабженную, впрочем, дерюгой вместо

белья и какими-то кисельными комками вместо подушек), измученный бегом и массой полученных впечатлений. Сегодня он едет во Франкфурт и восклицает: вот место рождения Гете! а завтра, в Страсбурге, возвещает: вот, брат, так колокольня! Сегодня, в Интерлакене, не сводит глаз с Юнгфрау, а завтра любит люцернским раненым львом с надписью: *Helvetiorum virtuti ac fidei*¹, каковую надпись, в шутовском русском тоне, переводит: «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1790 году, за поденную плату, французское престол-отечество». Не успев познать самого себя — так как насчет этого в России строго, — он очень доволен, что никто ему не препятствует познавать других. Поэтому нет ничего мудреного, что, возвратясь из дневной экскурсии по окрестностям, он говорит самому себе: вот я и по деревням шлялся, и с мужичками разговаривал, и пиво в кабачке с ними пил — и ничего, сошло-таки с рук! а попробуй-ка я таким образом у нас в деревне, без предписания начальства, явиться — сейчас руки к лопаткам и марш к становому... ах, подлость какая! Словом сказать, с точки зрения подвижности, любознательности и предприимчивости, русский культурный человек за границей является совершенной противоположностью тому, чем он был в своем отечестве.

Но здесь я опять должен оговориться (пусть не посетует на меня читатель за частые оговорки), что под русскими культурными людьми я не разумею ни русских дамочек, которые устремляются за границу, потому что там каждый кельнер имеет вид наполеоновского камер-юнкера, ни русских бонапартистов, которые, вернувшись в отечество, с умилением рассказывают, в какой поразительной опрятности парижские кокетки содержат свои приманки. Равным образом я не стану говорить ни о действующих сановниках, которые, на казенный счет, ставят в тупик Вефура, Бребана и Маньи² несбыточностью своих кулинарных мечтаний, ни о сановниках опальных, которые поверяют Юнгфрау свои любезно-верные вздохи и пробуждают жалость в сердцах людей кадетской мудростью своих административно-полицейских выдумок. Я говорю о среднем культурном русском человеке, о литераторе, адвокате, чиновнике, художнике, купце, то есть о людях, которых прямо или косвенно уже коснулся луч мысли, которые до известной степени свыклись с идеей о труде и которые три четверти года живут под напоминанием о местах не столь отда-

¹ Доблести и верности швейцарцев.

² Содержатели известных в Париже ресторанов. Впрочем, заранее извиняюсь: быть может, есть имена и более известные. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

ленных. Понятно, что они рады-радехоньки хоть два-три месяца прожить вне этого напоминания.

Я искренно убежден, что именно только это последнее обстоятельство может побуждать этих людей такими массами устремляться в «чужое место», и именно там, а не на берегах Ветлуги или Чусовой искать отдыха от треволнений трудовой жизни. Ужасно приятно прожить хоть несколько времени, не боясь. Необходимость «ходить в струне», памятовать, что «выше лба уши не растут» и что с «суконным рылом» нельзя соваться в «калашный ряд»,— это такая жестокая необходимость, что только любовь к родине, доходящая до ностальгии, может примириться с подобным бесчеловечием. Кажется, что может быть проще мысли, что жить в среде людей довольных и небоющихся гораздо удобнее, нежели быть окруженным толпою ропщущих и трепещущих несчастливцев,— однако ж с каким упорством торжествующая практика держится совершенно противоположных воззрений! И сколько еще встречается на свете людей, которые вполне искренно убеждены, что с жиру человек может только беситься и что поэтому самая мудрая внутренняя политика заключается в том, чтоб держать людской род в состоянии более или менее пришибленном! Что же удивительного, что на такие воззрения и жизнь дает вполне соответствующий ответ. С одной стороны, она производит людей-мучеников, которых повсюду преследует представление о родине, но которые все-таки по совести не могут отрицать, что на родине их ожидает разговор с становым приставом; с другой — людей-мудрецов, которые раз навсегда порешили: пускай родина процветает особо, а я буду процветать тоже особо, ибо лучше два-три месяца подышать полною грудью, нежели просидеть их в «холодной»...

Решительно невозможно понять, почему появление русского культурного человека в русской деревне (если бы даже этот человек и не был местным обывателем) считается у нас чем-то необыкновенным, за что надо вывертывать руки к лопаткам и вести к становому. Почему желание знать, как живет русский деревенский человек, называется предосудительным, а желание поделиться с ним некоторыми небезопасными сведениями, которые повысили бы его умственный и нравственный уровень,— превратным толкованием? Ведь надо же, наконец, чтоб мужик когда-нибудь что-нибудь знал, надо же, чтоб он осознал себя и свое положение и когда-нибудь пожелал для себя лучшего удела, нежели тот, на который он осужден в данную минуту. Говорю: «надо» совсем не в смысле ублаговторения мужицкой прихотливости, а просто потому, что без этого знания, без этого стремления к лучшему не мо-

жет преуспевать страна. Уничтожьте идеалы (хотя бы и мужицкие), заставьте замереть желание лучшего, и вы увидите, как быстро загрубеет окружающая среда. А между тем благосостояние этой среды необходимо и для вас лично, потому что им, и только им одним, обуславливается ваше собственное благосостояние.

Мне скажут, может быть, что во всех этих беседах с «мужицком» и хождениях около него кроется достаточная доля опасности, так как они могут служить удобным орудием для известного рода происков, которые во всех новейших хрестоматиях известны под именем неблагонамеренных. Допустим, пожалуй, что подобные случаи не невозможны, но ведь дело не в том, возможна ли та или другая случайность, а в том, нужно ли эту случайность обобщать? нужно ли крутить руки к лопаткам всякому проходящему? нужно ли заставлять его беседовать с незнакомцем, хотя бы он назывался станковым приставом? Ведь не делают же этого под Висбаденом, под Вюрцбургом или под Фонтенеблò. Везде — сначала ожидают поступков, и ежели поступков нет, то оставляют человека в покое, а ежели есть поступки, то поступают согласно с обстоятельствами. Но даже и в последнем случае не сажают с закрученными руками в «холодную», а спокойно исследуют. Помилуйте! что это за манера такая — не говоря худого слова, крути руки к лопаткам! ведь это наконец подло! Неужто нельзя обойтись без тумачков, особливо если еще неизвестно, с чем имеешь дело, с превратным или с полезным толкованием?

Я знаю очень много полезных и даже приятного образа мыслей людей, которые прямо говорят: зачем я в деревню поеду — там мне, наверное, руки к лопаткам закрутят! В городе я гораздо меньше рискую. Я пишу, вчиняю иски, апеллирую, торгую, играю в карты — все это внешним образом берет мое время и вместе с тем дает мне возможность прятать мысль и избегать возмездий. Если в городе меня спросят, какого я образа мыслей насчет Успленья-матушки, я могу ответить: пасс! восемь в червях, шлем без козырей! — и всякий похвалит мою скромность. Напротив того, в деревне я непременно должен вести партикулярный разговор об Успленья-матушке и непременно иметь собеседником мужика. Не говоря уже о том, что иначе я пропаду со скуки, одичаю, но, сверх того, я положительно не понимаю, почему я обязан воздерживаться от беседований с мужиком? Почему я, видя человека беспомощным, не имею права подать ему руку помощи? почему, имея возможность сообщить человеку полезный совет, обязываюсь вместо того осквернять его мозги благонамерен-

ными благоглупостями? Ведь наконец в самой природе человеческой есть стремление симпатизировать своему ближнему и желать поднять его духовный уровень до своего духовного уровня! Почему я должен отказать себе в удовлетворении этого естественного требования? Почему, в случае отказа, я обязан иметь по сему предмету объяснение с станковым приставом? С человеком, которого супруге я не имел чести быть представленным? Лучше я совсем не поеду в деревню; пускай она процветает... без меня!

Жалуются, что русская деревня страдает от культурного абсентеизма, но разве может быть иначе? Возьмите самые простые сельскохозяйственные задачи, предстоящие культурному человеку, решившемуся посвятить себя деревне, каковы, например: способы пользоваться землей, расчеты с рабочими, степень личного участия в прибылях, привлечение к этим прибылям батрака и т. п.— разве все это не находится в самой несносной зависимости от каких-то волшебных веяний, сущность которых даже не для всякого понятна? А между тем эти веяния пристигают человека и в самом процессе его деятельности, и во всех последствиях этого процесса. Везде подозрение, везде донос, везде на страже стоит тысячокий Колупаев, которому, конечно, невыгодно, чтоб «обеспеченный наделом» человек выскользнул из его заgreбистых рук. Нужно ли, чтобы Колупаев бессрочно оставался владыкою дум «обеспеченных»? Ежели нужно, то не сгуйте на абсентеизм, и пускай страна грубеет, а абориген ее пусть дичает. Если же это нежелательно, то пускай деревня освежится приливом новых, разумных сил, и пускай эти силы не встречаются с первых же шагов с выворачиванием рук и сажанием в «холодную».

Я не говорю, чтоб отношения русского культурного человека к мужику, в том виде, в каком они выработались после крестьянской реформы, представляли нечто идеальное, равно как не утверждаю и того, чтоб благодеяния, развиваемые русской культурой, были особенно ценны; но я не могу согласиться с одним: что приурочиваемое каким-то образом к обычаям культурного человека свойство пользоваться трудом мужика, не пытаясь обсчитать его, должно предполагаться равносильным ниспровержению основ. А у нас, к несчастью, именно этот взгляд и пользуется авторитетом, так что всякий протест против обсчитывания прямо приравнивается к социализму. И, что всего удивительнее, благодаря Колупаевым и споспешествующим им *quibus auxiliis*¹, сам мужик почти убежден, что только вредный и преисполненный превратных

¹ покровителям.

толкований человек может не обсчитать его. Поистине, это ужаснейшая из всех пропаганд. Мало того, что она держит народ в невежестве и убивает в нем чувство самой простой справедливости к самому себе (до этого, по-видимому, никому нет дела), — она чревата последствиями иного, еще более опасного, с точки зрения предупреждения и пресечения, свойства. Ибо ежели в настоящую минуту еще можно сказать, что культурный человек является абсентенстом отчасти по собственной вине (недостаток мужества, терпения, знаний, привычка к роскоши и т. д.), то, быть может, недалекое время, когда он явится абсентенстом поневоле. И тогда... что станет с нашими исконными «опорами»?

Тем не менее я не могу не признать, что со стороны Колупаевых и их попустителей описанный сейчас образ действий не представляет ничего непонятного. Эти люди настолько укоренились под игом стяжания и до того лишены дара провидения, что никакие перспективы будущего не могут волновать их. Но совершенно непонятно, почти страшно, что поощрения в подобном смысле от времени до времени раздаются и в литературе. Признаюсь, я никогда не мог читать без глубокого волнения газетных известий о том, что в такую-то, дескать, деревню явились неизвестные люди и начали с мужичками беседовать, но мужички, не теряя золотого времени, прикрутили им к лопаткам руки и отправили к станковому приставу. В особенности омерзительною казалась мне радостная редакция этих статей. Зачем приходили неизвестные люди, о чем они разговаривали — ничего не видно; достоверно только, что им закрутили руки, чтоб не терять золотого времени. Чему же тут, однако, радоваться? Ведь, может быть, эти «неизвестные» отыскивали способ бороться с саранчой или с колорадским жуком и приходили в деревню затем, чтоб поделиться своим открытием с ее обитателями? Или, быть может, они желали указать на какую-нибудь новую отрасль промышленности, которая могла бы с успехом привиться в этой местности? Или, наконец, просто хотели объяснить мужичкам, что такое бог? Неужто же это не полезно? А между тем этим полезным «неизвестным людям», не теряя золотого времени, скрутили назад руки...

Прошу читателя извинить меня, что я так часто повторяю фразу о вывернутых назад руках. По-видимому, это самая употребительная и самая совершенная из всех форм исследования, допускаемых обитателями российских палестин в наше просвещенное время. И я убежден, что всякий добросовестный урядник совершенно серьезно подтвердит, что если б этого метода исследования не существовало, то он был бы в высшей степени затруднен в отправлении своих обязанностей.

За всем тем, отнюдь не желая защищать превратные толкования, я все-таки думаю, что первая и наиболее обязательная добродетель для тех, которые, подобно урядникам, дают тон внутренней политике, есть терпение. Система быстрого и немедленного заезжания пользуется у нас уж чересчур большим доверием, и, право, она этого доверия не заслуживает. В сущности, это система дурная, и наименее опасный из результатов, к которым она приводит, это отсутствие всяких результатов в смысле предупреждения и пресечения. Если бы дело ограничивалось только этим, то бог бы с нею: пускай утешает бойцов; но есть и существенная опасность, которая ей присуща и которая заключается в том, что «заезжание» может надоесть. Конечно, «мальчик в штанах» был отчасти прав, говоря: «вам, русским, все надоело: и сквернословие, и Колупаев, и тумаки, да ведь до этого никому дела нет?», но сдается мне, что и «мальчик без штанов» не был далек от истины, настойчиво повторяя: надоело, надоело, надоело...

За одним из бесчисленных табльдотов Германии мне случилось однажды обедать в большой компании русских. Я сидел с краю компании, а рядом со мною помещался неизвестный юноша, до такой степени беловолосый, что я заподозрил: непременно это должен быть «скиталец» из котельнического уездного училища, который каким-то чудом попал в Германию. Разумеется, это было с моей стороны только беллетристическое предположение, которое тотчас же и рассеялось, потому что юноша говорил на чистейшем немецком диалекте и, очевидно, принадлежал к коренной немецкой семье, которая с нами же и обедала. Но тут-то именно и случилось действительное чудо. Между тем как в среде русских шла оживленная беседа на тему: для чего собственно нужен Берлин (многие предлагали такое решение: для человекоубивства), мне привелось передать моему беловолосому соседу какое-то кушанье. И вдруг, в ответ на мою любезность, я услышал от него по-русски:

— Благодарю вас!

Это было до того неожиданно, что я чуть не в ужасе воскликнул:

— Однако, брат, ты... угораздило-таки вас, mein Herr!

На что юноша, нимало не смущаясь, скромно ответил:

— Я сольдât; мы уф Берлин немного учим по-русску... на всяк случай!

Так вот оно как. Мы, русские, с самого Петра I усердно «учим по-немецку» и все никакого случая поймать не можем,

а в Берлине уж и теперь «случай» предвидят, и, конечно, не для того, чтоб читать порнографическую литературу г. Цитовича, учат солдат «по-русску». Разумеется, я не преминул сообщить об этом моим товарищам по скитаниям, которые нашли, что факт этот служит новым подтверждением только что формулированного решения: да, Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубивства.

Берлин, как столица Прусского королевства, был для всех понятен. Он скромно стоял во главе скромного государства и, находясь почти в центре его, был очень удобен в качестве административного распорядителя. Несклько скучный, как бы страдающий головной болью, он привлекал очень немного иностранцев, и ежели тем не менее из всех сил бился походить на прочие столицы, с точки зрения монументов и дворцов, то делал это pro domo¹, чтоб верные подданные прусской короны имели повод гордиться, что и их короли не отказывают себе в монументах. Militarистские поползновения существовали в Берлине и тогда, но они казались столь безобидными, что никому не внушали ни подозрений, ни опасений, хотя под сению этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке. Неоднократно Прусское королевство находилось под угрозой распада, но всякий раз на помощь ему являлась дружественная рука, которая на бессрочное время обеспечивала за ним возможность делать разводы, парады и маневры. По временам в Европе ходили смутные слухи о том, что Берлин собирается снабдить Пруссию свободными учреждениями, и слухи эти вливали тревогу в сердца соседей. Но проходили годы, учреждений не появлялось, слухи затихали, и сердца соседей вновь загорались доверием. В 1848 году Берлин даже бунтовал, но непродолжительно и скучно. Были, однако ж, в старом Берлине и положительно-симпатичные стороны. Во-первых, он с незапамятных времен воздерживался от ежовых рукавиц и митирогнозни, что заставляло соседей говорить: да и куда ж им, колбасникам! Во-вторых, сознавая себя не безусловно немецким городом, он из всех сил старался быть немецким. Это вынуждало его состязаться с другими центрами немецкой культуры, приглашать в свой университет лучших профессоров, покровительствовать литературе, искусствам и наукам. Все это, разумеется, делалось довольно экономно (и не без примеси коварства), но, право, даже экономно-коварное покровительство наукам все-таки лучше, нежели натиск и быстрота. Но лучшее право старого Берлина на общие симпатии, во всяком случае, заключалось

¹ для себя.

в том, что никто его не боялся, никто не завидовал и ни в чем не подозревал, так что даже Москва-река ничего не имела против существования речки Шпрее.

В настоящее время от всех этих симпатичных качеств осталось за Берлином одно, наименее симпатичное: головная боль, которая и донныне свинцовой тучей продолжает царить над городом. Все прочее радикально изменилось. Застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость — ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство, скромность — неудачным стремлением подкупить иностранцев мешанскою роскошью новых кварталов и каким-то второразрядным развратом, безобразный цинизм которого тщетно усиливается затмить красивый и щеголеватый парижский цинизм. Уже подъезжая к Берлину, иностранец чувствует, что на него пахнуло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подолов из Орфеума. И так как ни то, ни другое, ни третье не заключают в себе ничего привлекательного, то путник спешит в первую попавшуюся гостиницу, чтоб почиститься и выспаться, и затем нимало не медля едет дальше.

Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка в движении, конечно нет (да и не может не быть движения в городе с почти миллионным населением), но это какое-то озабоченное, почти вымученное движение, как будто всем этим двигающимся взад и вперед людям до смерти хочется куда-то убежать. Каждому удаляющемуся экипажу так и хочется крикнуть вслед: счастливец! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда! Ни гула, напоминающего пчелинный улей (такой гул слышится иногда в курортах и всегда — в Париже), ни этой живой связи между улицей и окаймляющими ее домами, которая заставляет считать первую как бы продолжением последних, — ничего подобного нет. Одно непрерывное и молчаливое маятное движение — и ничего больше.

Нечто подобное можно наблюдать, часов около пяти перед обедом, в Петербурге на Невском, когда чиновники и адвокаты, вырвавшись с каторги, спешат голодные домой. Они не заглядываются по сторонам, потому что не на что смотреть, никуда не заходят, потому незачем заходить. Не до гляденья тут, а как бы подобру-поздорову домой добежать, да чтоб по дороге в участок не свети. Конечно, кроме чиновников и адвокатов, встречаются в это время на Невском еще железнодорожники и кокотки, но и они, по совести, едва ли ответят на вопрос, зачем они суетятся и движутся. Вот этот железно-дорожный хлыщ, который во всю прыть мчится на рысаке, — почему он так озабоченно смотрит? об чем думает? Увы! он

самую простую думу думает, а именно: как бы ему так обожраться, чтоб штаны по целому месту лопнули (этого результата он почему-то не мог до сих пор добиться), или как бы ему «шелюму Альфонсинку» так изуродовать, чтобы она после этого целый месяц сесть не могла. Для чего ему это понадобилось,— он и сам не ведает. Ему просто адски скучно, несмотря на то, что, с точки зрения жранья и Альфонсинок, ему не житье, а рай. Да и эта самая Альфонсинка, которую он собрался «изуродовать» и которая теперь, развалившись в коляске, летит по Невскому,— и она совсем не об том думает, как она будет через час посег¹ у Бореля, а об том, сколько еще нужно времени, чтоб «отработаться» и потом удрать в Париж, где она начнет посег уж взаправду, как истинно доброй и бравой кокотке надлежит...

Ту же щемящую скуку, то же отсутствие непоказной жизни вы встречаете и на улицах Берлина. Я согласен, что в Берлине никому не придет в голову, что его «занапрасно» сведут в участок или обругают, но, по мнению моему, это придает уличной озабоченности еще более удручающий характер. Кажется, что весь этот люд высыпал на улицу затем, чтоб купить на грош колбасы; купил, и бежит поскорей домой, как бы знакомые не увидели и не выпросили.

В соответствие с улицами, и магазины берлинские смотрят уныло, хотя есть между ними достаточное число обширных и заваленных товаром. Это скорее кладовые, нежели магазины. Может быть, в них и спрятано где-нибудь что-нибудь подходящее, да заглядывать-то туда не хочется, потому что, куда отыскиваешь это подходящее (а спросите-ка «дамочку», знает ли она даже, что для нее «подходящее?»), непременно сто раз час своего рождения проклянешь. Представьте себе, что вы хотите знать, каким образом и почему петербургские обер-полицеймейстеры начали именоваться градоначальниками, а вам на это говорят, что для точного уразумения этого события необходимо прочитать «Историю России с древнейших времен» Соловьева. Зачем? ведь это наконец обременительно по поводу самой простой исторической справки каждый раз перечитывать «Историю» Соловьева. А в Берлине каждый магазин так, кажется, и говорит проходящему, что человек, желающий приобрести фланелевую куртку, тогда только получит искомое, ежели предварительно ознакомится с полным курсом «Истории фланелевых курток с древнейших времен». Даже русские культурные дамочки — уж на что охочи по магазинам бегать — и те чуть не со слезами на глазах жа-

¹ кутить.

луются: помиуйте! муж заставляет меня в Берлине платья покупать!

В Берлине можно купить одеяло, но не такое, чтоб им покрывать постель днем; можно купить резиновый мячик, но лишь для детей небогатых родителей; наконец, в Берлине можно купить колбасу, но не такую, чтоб потчевать ею людей, которым желаешь добра, а такую, чтоб съесть ее от нужды одному, при запертых дверях, съесть, и когда желудочные боли утихнут, то позабыть. И за всем тем Берлин торгует, как говорится, в развал, и в особенности шерстяным товаром. Куда расходится эта громадная масса безвкусного, а отчасти и не особенно прочного товара? Разумеется, прежде всего по своим собственным Диршау, Бромбергам, Тарантам и проч., но главное количество все-таки уходит в Россию. Пензы, Тулы, Курски — все слопают, и тульская дамочка, которая визжала при одной мысли отремонтировать свой туалет в Берлине, охотно износит самого несомненного Герсона за самого несомненного Ворта, если этот Герсон будет предложен ей в магазине дамского портного Страхова... в кредит.

Но самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни — это военный. Сравнительно с Петербургом, военный гарнизон Берлина не весьма многочислен, но тела ли прусских офицеров дюжее, груди ли у них объемистее, как бы то ни было, но делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер. Одет он каким-то чудачком, в форму, напоминающую наши военные сюртуки и фуражки сороковых годов; грудь выпячена колесом, усы закручены в колечко... Идет румяный, крупчатый, довольный, точно сейчас получил жалованье, что не мешает ему, впрочем, относиться к ближнему с строгостью и скоростью. Мне кажется, что Держиморда именно был бы таков, если б не заел его Сквозник-Дмухановский и он сам не имел бы слабости к спиртным напиткам.

Когда я прохожу мимо берлинского офицера, меня всегда берет оторопь. Даже в Баден-Бадене, в Эмсе мне делалось жутко, когда, бывало, привезут в курзал из Раштата или из Кобленца несколько десятков офицеров, чтоб доставить удовольствие à ces dames¹. Не потому жутко, чтоб я боялся, что офицер кликнет городского, а потому, что он всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет в меня: я герой! Мне кажется, что если б, вместо этого, он сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать, — мне было бы легче. А то «герой» — шутка сказать!

¹ дамам.

Перед героями простые люди обязываются падать ниц, обожать их, забыть об себе, чтоб исключительно любоваться и гордиться ими,— вот как я понимаю героев! Но как бы я ни был мал и ничтожен, ведь и у меня есть собственные делишки, которые требуют времени и забот. И вдобавок эти делишки, вместе с делишками других столь же простых людей, не бесполезны и для страны, в которой я живу. Неужели же я должен обо всем забыть, на все закрыть глаза, затем только, чтоб во всю глотку орать: ура, герой! Нет, право, самое мудрое дело было бы, если б держали героев взаперти, потому что это развязало бы простым людям руки и в то же время дало бы возможность стране пользоваться плодами этих рук. Пускай герои между собой разговаривают и друг на друга любят; пускай читают Плутарха, припоминают анекдоты из жизни древних и новых героев, и вообще поддерживают в себе вкус к истреблению «исконного» врага (а кто же теперь не «исконный» враг в глазах прусского офицера?). Но пусть они не показываются днем на улице, пусть не напоминают мне, смиренному и скромному колбаснику, что я ежемгновенно могу погибнуть как червь, если за меня не бдит недремлющее око его... героя!

Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше, и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я герой! Русский человек способен быть действительным героем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет тарашить глаза. Он смотрит на геройство без панибратства и очевидно понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить с собою, в числе прочей амуниции. Напротив, пруссак убежден, что раз он произведен, с соизволения начальства, в герои, раз ему воздвигнут на Королевской площади памятник, то он обязывается с честью носить это звание не только на улицах, но и в садах Орфеума. Разумеется, простых людей это стесняет.

Может быть, поэтому-то и берлинская веселость имеет какой-то неискренний, мрачный характер. Как тут искренно веселиться, когда обок с вами торчит «герой», который, того гляди, начнет повествовать об Вёрте или об Седане? А между тем не веселиться — нельзя. Во-первых, современный берлинец чересчур взбаламучен рассказами о парижских веселостях, чтоб не попытаться завести и у себя что-нибудь à l'instar de Paris¹. Во-вторых, ежели он не будет веселиться, то не ска-

¹ по примеру Парижа.

жет ли об нем Европа: вот он прошел с мечом и огнем половину цивилизованного мира, а остался все тем же скорбным главою берлинцем. В-третьих, не скажут ли и самые «герои»: мы завалили вас лаврами, а вы ходите как заспанные — ужели нужно и еще разорить какую-нибудь страну, чтоб разбудить вас? И вот берлинец начинает веселиться. Он заводит шарабан mit einem ganz noblen Lakai¹ и хвастается: wir haben unsere eigenen gamins de Paris!² А затем отправляется в Орфеум, щиплет тамошних кокоток («не знает, как блеснуть очаровательнее», как выражается у Островского Липочка Большова), наливается шампанским точно так же, как отец или предок его наливался пивом, и пьяный отправляется на ночлег в сопровождении двух кокоток, вместо одной. И мечется на своем ложе, видя во сне, что и завтра ему предстоит веселиться точно тем же порядком.

Я с особенной настойчивостью останавливаюсь на уличной жизни, во-первых, потому, что она всего больше доступна наблюдению, а во-вторых, потому, что в городе, имеющем претензию быть кульминационным пунктом целой империи, уличная жизнь, по мнению моему, должна преимущественно отражать на себе степень большей или меньшей эмансипации общества от уз. Основать университет и населить его знаменнейшими и наилучше оплаченными профессорами можно всюду, даже при наличности самых нестерпимейших уз, равно как всюду же можно устроить музеи, коллекции, выставки и проч. Для этого нужны только добрая воля и материальные средства. Но общительность, но мягкость форм общежития нельзя декретировать ни начальственным предписанием, ни громом и блеском побед. Там, где эти свойства отсутствуют, где чувство собственного достоинства заменяется оскорбительным и в сущности довольно глупым самомнением, где шовинизм является обнаженным, без всякой примеси энтузиазма, где не горят сердца ни любовью, ни ненавистью, а воспаляются только подозрительностью к соседу, где нет ни истинной приветливости, ни искренней веселости, а есть только желание похвастаться и расчет на тринкгельд,— там, говорю я, не может быть и большого хода свободе. Я не хочу, конечно, сказать этим, чтоб университеты, музеи и тому подобные образовательные учреждения играли ничтожную роль в политической и общественной жизни страны,— напротив! но для того, чтоб влияние этих учреждений оказалось дей-

¹ с вполне благообразным лакеем.

² у нас свои собственные парижские сорванцы!

ствительно плодотворным, необходимо, чтоб между ними и обществом существовала живая связь, чтоб университеты, например, были светочами и вестниками жизни, а не комментаторами официально признанных формул, которые и сами по себе настолько крепки, что, право, не нуждаются в подтверждении и провозглашении с высоты профессорских кафедр.

Но здесь я не могу воздержаться, чтоб не припомнить одного любопытного факта из моего прошлого. Когда я был в школе, то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово «кнут». Нужно полагать, что это было очень серьезное орудие государственной Немезиды, потому что оно отпускалось в количестве, не превышавшем 41-го удара, хотя опытный палач, как в то время удостоверяли, мог с трех ударов заколотить человека насмерть. Во всяком случае, орудие это несомненно существовало, и следовательно профессор уголовного права должен был так или иначе встретиться с ним на кафедре. И что же! выискался профессор, который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей, внимавших ему, не только не выразился хоть так, что как, дескать, ни печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его, а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление. Мало того: он утверждал, что сама злая воля преступника требует себе воздаяния в виде кнута и что, не будь этого воздаяния, она могла бы счесть себя неудовлетворенною. Но прошло немного времени, курс уголовного права не был еще закончен, как вдруг, перед самыми экзаменами, кнут отрешили и заменили треххвостною плетью с соответствующим угобжением с точки зрения числа ударов. Я помню, что нас, молодых школяров, чрезвычайно интересовало, как-то вывернется старый буквоед из этой неожиданности. Прольет ли он слезу на могиле кнута или надругается над этой могилой и воткнет в нее осиновый кол. Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию сквернословил он перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда, с соизволения высшего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме треххвостной плети, с соответствующим угобжением. Он говорил, и его не тошнило, а мы слушали, и нас тоже не тошнило. Я не знаю, как потом справился этот профессор, когда телесные наказания были совсем устранены из уголовного кодекса, но думаю, что он и тут вышел сух из воды (быть может, ловкий старик

внутренно посменвался, что как, мол, ни вертись, а тумачи и митирогнозия все-таки остаются в прежней силе). Кто же, однако, бросит в него камень за выказанную им научную сновистость? Разве от него требовалось, чтоб он стоял на дороге с свечом в руках? Нет, от него требовалось одно: чтоб он подыскал обстановку для истины, уже отверженной и официально признанной таковою, и потом за эту посылку чтоб получал присвоенное по штатам содержание.

Весьма может статья, что я не прав (охотно сознаюсь в моей некомпетентности), но мне кажется, что именно для этой последней цели собраны в берлинском университете ученые знаменитости со всех концов Германии. Они устраняют обстановочки, придумывают оправдательные теории в пользу совершившихся фактов и скромно пользуются присвоенным им отличным содержанием. Но влияния на ход жизни они не имеют и никого для будущего не воспитывают. Конечно, они не будут распинаться в пользу кнута в том виде, в каком он хранился, за печатями, в губернских правлениях, но ведь бываюот кнуты и иносказательные...

Я не имею никаких данных утверждать, что Берлин *никогда* не сделается действительным руководителем германской умственной жизни, но, судя по современному настроению умов, думаю, что *в настоящее время* для доброй половины Германии Берлин не только не симпатичен, но даже прямо неприятен. Он у всех что-нибудь отнял и ничем за отнятое не вознаградил. И вдобавок везде насовал берлинского солдата с соответствующим количеством берлинских же офицеров. Какое, спрашивается, имел он право смущать сон добродушных баденцев вечно присущим представлением о выпяченных грудях и вытарашенных глазах? И была ли в том надобность?

Одним словом, вопрос, для чего нужен Берлин? — оказывается вовсе не столь праздным, как это может представиться с первого взгляда. Да и ответ на него не особенно затруднителен, так как вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название: *Главный штаб...*

Рассказывают, правда, что никогда в Берлине не были так сильны демократические aspirations, как теперь, и в доказательство указывают на некоторые парламентские выборы. Но ведь рассказывают и то, что берлинское начальство очень ловко умеет справляться с aspirations и отнюдь не церемонится с излюбленными берлинскими людьми...

Само собой разумеется, что каждый здравомыслящий берлинец по поводу сейчас изложенного может сказать мне: если тебе у нас нехорошо, то ступай домой и там наслаждайся! И я не только допускаю возможность такого возражения, но даже понимаю, что в ответ на него я могу только сконфузиться. Но, в сущности, я буду неправ, потому что дело совсем не в том, где и на сколько золотников жизнь угрюмее, а в том, где и на сколько она интереснее. Читатель! подивись! я совершенно без всякой иронии утверждаю, что нигде жизнь не представляет так много интересного, как в нашем бедном, захудалом отечестве.

Конечно, это интерес своеобразный, как говорится, на охотника, но все-таки интерес.

Бывают существования, с личной точки зрения, очень мучительные, почти невозможные, но, с точки зрения исследования и выводов, полные изумительнейших откровений. Наблюдать такие существования со стороны было бы, разумеется, удобнее, нежели знакомиться с ними при помощи собственных боков, но устроить это, без ущерба для полноты самых наблюдений, до крайности трудно. Во-первых, как бы ни было добросовестно и подробно исследование со стороны, никогда оно не заменит того интимного исследования, процесс которого оставляет неизгладимые следы на собственных боках исследователя. Во-вторых, существуют распорядки, при которых, несмотря на самые похвальные усилия остаться на почве объективности, эти усилия оказываются тщетными, и всякий наблюдатель, каковы бы ни были его намерения, силою вещей превращается в наблюдателя, собирающего нужные факты при помощи собственных боков. Поэтому, принимая на себя роль исследователя подобных загадочных существований, необходимо сказать себе: что ж делать! если меня и ожидают впереди некоторые ушибы, то я обязываюсь оные перенести!

Сказать это тем более необходимо, что предмет предстоящих исследований вполне того заслуживает. Каким образом этот предмет мог сделаться интересным, — вопрос довольно затруднительный для решения; но ведь и это уж само по себе очень интересно, что хоть и не можешь себе объяснить, почему предмет интересен, а все-таки интересуешься им. Тут можно сказать себе только одно: чем загадочнее жизнь, тем более она дает пищи для любознательности и тем больше подстрекает к раскрытию тайн этой загадочности. С этой точки зрения, я совершенно разделяю мнение «мальчика без штанов», который на все обольщения, представляемые гороховицей с свиным салом, отвечал: нет, у нас дома занятнее. Ежели можно сказать вообще про Европу, что она, в главных чертах, по-

вторяет зады (по крайней мере, в настоящую минуту, она воистину ничего другого не делает) и, во всяком случае, знает, что ожидает ее завтра (что было вчера, то повторится и завтра, с малым разве изменением в подробностях), то к Берлину это замечание применимо в особенности. В Берлине самые камни вопиют: завтра должно быть то же самое, что было вчера! А мы — разве мы что-нибудь знаем? Каким образом разрешится вопрос об акклиматизации саранчи? Порвется ли когда-нибудь сеть сквернословия и тумачков, осыпавшая нас от верхнего края до нижнего? Произойдет ли когда-нибудь волшебство, при помощи которого народная школа, народное здорovie, занятие сельским хозяйством, то есть именно те поприща, на которых культурный человек может принести наибольшую пользу, перестанут считаться синонимами распространения превратных идей? Кто разрешит эти вопросы? — разумеется, никто... Но разве это не занято?

Я знаю, что жить среди этих загадочностей все равно, что быть вверженным в львиный ров... Но зато какая радость, ежели львы не тронут или только слегка помнут ребра!

«Мальчик в штанах» во многом был прав. Гороховица с свиным салом воистину слаще, нежели мякинный хлеб, сдобренный одною водой; поля, приносящие постоянно сам-пятнадцать, воистину выгоднее, нежели поля, предоставляющие в перспективе награду на небесах; отсутствие митирогнозии лучше, нежели присутствие ее, а обычай не рвать яблоков с деревьев, растущих при дороге, похвальнее обычая опохмеляться чужим, плохо лежащим керосином. Но он был неправ, утверждая, что все эти блага цивилизации настолько ценны, чтоб за них можно было «по контракту» закрепить душу. В этом отношении, по мнению моему, «мальчик без штанов» правее. Он соглашается, что у пруссака чище и вольготнее, но утешается тем, что у него, «мальчика без штанов», по крайней мере, никакого контракта на руках нет. Положим, что его душа, точно так же как и немцева, не принадлежит ему в собственность, но он не продал ее за грош, а отдал даром. Как хотите, а это очень и очень интересная разница!

Как бы то ни было, но первое чувство, которое должен испытать русский, попавший в Берлин, все-таки будет чувством искреннейшего огорчения, близко граничащего с досадой. Прежде всего, он увидит себя вынужденным сравнивать, и выводы, которые получаются путем этих сравнений, покажутся ему не особенно удовлетворительными. Но пусть он не останавливается перед этими первыми выводами, пусть не обольщается даже зрелищем признания прав мысли на оценку благоденствий свободы, первый акт которого несомненно начнется

для него уже под Эйдткуненом. Пусть примет он на веру слова «мальчика без штанов»: у нас дома занятнее, и с доверием возвратится в дом свой, чтобы занять соответствующее место в представлении той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нет.

За Берлином, по направлению к Рейну, начинается ряд лакейских городов. Это — курорты, где в общей массе наезжего люда и русские, по распоряжению медицинского начальства, посвящают себя нагуливанию животов.

Курорт — миниатюрный, живописно расположенный городок, который зимой представляет ряд наглухо заколоченных отелей и въезжих домов, а летом превращается в гудящий пчелиный улей. Официальная привлекательность курортов заключается в целебной силе их водяных источников и в обновляющих свойствах воздуха окружающих гор; неофициальная — в том непрерывающемся празднике, который неразлучен с наплывом масс досужных и обладающих хорошими денежными средствами людей.

Я не могу представить себе зимнее существование этих городков. Ведут ли населяющие их жители какую бы то ни было самостоятельную жизнь и имеют ли свойственные всем земноводным постоянные занятия? пользуются ли благами общности, то есть держат ли, как в прочих местах, ухо востро, являются ли по начальству в мундирах для принесения поздравлений, фигурируют ли в процессах в качестве попустителей и укрывателей и затем уже, в свободное от явок время, женятся, рожают детей и умирают, или же представляют собой изнуренный летнею беготнею сброд, который, считав барыши, погружается в спячку, с тем чтоб проснуться в начале апреля и начать приготовление к новой летней беготне? Вообразить себе обывателя курорта не суетящегося, не продающего себя со всеми потрохами столь же трудно, как и вообразить коренного русского человека, который забыл о существовании ежовых рукавиц. Поэтому я могу только догадываться, что зимою немецкий курорт превращается в сказочную долину, по которой разбросаны посещаемые привидениями дома и в которой не видно никаких признаков человеческой деятельности, кроме прилежной вывозки нечистот, оставленных щедрыми летними посетителями. Не только иностранец исчезает, но и вся разношерстная толпа лакеев, фигурировавшая летом в качестве местного колорита, — и та уплывает неизвестно куда, вместе с последним отбоем иностранной волны. Ибо и она, эта лакейская толпа, была совсем не местная, а

пришлая, привлеченная сюда со всех концов Германии надеждой на иностранный тринкгельд. У нас, в России, наверное, такой город переименовали бы в заштатный, и только летом, в видах пресечения и предупреждения, переводили бы сюда новую квартиру, с правом, на случай превратных толкований, выворачивать руки к лопаткам и сажать в «холодную».

Зато с наступлением весеннего тепла курорт начинает закипать, и чем больше подвигается время в глубь лета, тем гуще и гуще раздается пчелиное гудение вокруг курзала и бесчисленных табльдотов, простирающих свои объятия наезжему люду. Курзал прибодряется и расцветчивается флагами и фонарями самых причудливых форм и сочетаний; лужайки около него украшаются вычурными цветниками, с изображением официальных гербов; армия лакеев стоит, притаив дыхание, готовая по первому знаку ринуться вперед; в кургаузе, около источников, появляются дородные вассерфрау; всякий частный дом превращается в Privat-Hotel, напоминающий невзрачную провинциальную русскую гостиницу (к счастью, лишённую клопов), с дерюгой вместо постельного белья и с какими-то неслепыми подушками, которые расползаются при первом прикосновении головы; владельцы этих домов, зимой уютившиеся в конурах ради экономии в топливе, теперь переходят в еще более тесные конуры ради прибытка; соседние деревни, не покладывая рук, доят коров, коз, ослиц и щупают кур; на всяком перекрестке стоят динстманы, пактрэгеры и прочий подневольный люд, пришедший с специальной целью за грош продать душу; и тут же рядом ржут лошади, режут ослы и без оглядки бежит жид, сам еще не сознавая зачем, но чуя, что из каждого кармана пахнет талером или банковым билетом. Чувствуется, что в воздухе есть что-то ненормальное, что жизнь как будто сошла с ума, и, разумеется, по русскому обычаю, опасаясь, что вот-вот попадешь в «историю». Но чем больше живешь и вглядываешься, тем больше убеждаешься, что, несмотря на всякие ненормальности, никаких «историй» нет, что все кругом испокон веков намуштровано и теперь само собой так укладывается, чтоб никто никому не мешал. Пактрэгеры не спотыкаются, не задевают друг друга, но степенно двигаются, гордые сознанием, что именно *они*, а не динстманы призваны заменять ломовых лошадей; динстманы не перебивают друг у друга работу, не кричат взапуски: я сбегаю! я, ваше сиятельство! меня вчера за Аниоткой посылали, господин купец! но солидно стоят в ожидании, кого из них потребитель облюбует, кому скажет: лоб! У нас (в Москве, например) при таких обстоятельствах, по малой мере, потребителю фалды бы оборвали, и последствием этого было бы пу-

тешестве, в кутузку, а здесь и кутузки нет, и фалды целы. Но ведь с другой стороны, если б мы вздумали подражать немецким образцам, то есть начали бы солидничать и в молчании ждать своей участи, то не вышло бы из этого другой, еще горшей беды? Молчишь — значит, есть что-нибудь на уме... А что же может быть на уме у динстмана, кроме превратных толкований? Ну и опять — марш в кутузку!

Благо странам, которые, в виде сдерживающего начала, имеют в своем распоряжении кутузку, но еще более благо тем, которые, отбив время кутузки, и ныне носят ее в сердцах благодарных детей своих. Достоин похвалы тот, который, видя кутузку очами телесными, согласно с сим регулирует свое поведение; но стократ блаженнее тот, который, видя кутузку лишь очами духовными, продолжает веровать в незыблемость ее руководящих свойств. Русская лошадь знает кнут и потому боится его (иногда даже до того уже знает, что и бояться перестает: бей, несытая душа, коли любо!); немецкая лошадь почти совсем не знает кнута, но она знает «историю» кнута, и потому при первом щелканье бича бежит вперед, не выжидая более действительных понуждений. Так точно и во всем. Тем не менее надобно, к чести людей, сознаться, что кнут все-таки есть только мера печальной необходимости, к которой редко кто прибегает, как к развлечению. Как легко жилось бы русским извозчикам, если бы русские лошади вдруг остепенелись и начали возить не только за страх но и за совесть! И как просто было б управлять людьми, если б, подобно немецким пактрёгерам, все поняли, что священнейшая обязанность человека в том заключается, чтоб, не спотыкаясь и не задевая друг друга, носить тяжести, принадлежащие «знатым иностранцам»! Но, может быть, если бы эта утопия осуществилась, то сами извозчики сбесились бы от жира и ничегонеделания? И, сбесившись, начали бы... Помилуйте! а кутузка на что?

А впрочем, довольно мечтать о том, кто более заслужил похвалы и кто менее. Пускай немецкие извозчики щелкают бичами по воздуху, а наши пускай бьют лошадей кнутами и вдоль спины, и поперек, и по брюху. Пускай немецкие динстманы носят кутузку в сердце своем, а наши, имея в оной жительство, пусть говорят: ах, чтоб ей ни дна ни покрывки! Конечно, от того или другого образа поведения зависит то или другое направление внутренней политики, но ведь за внутренней политикой не угонишься! Иной ведет себя отлично, да сосед напакостил — ан и его заодно ведут в кутузку. И потом: ах, как жаль! какое печальное недоразумение! Это кутузка-то... недоразумение!

Правда, я со всех сторон слышу, что недоразумений больше уж не будет, и вполне верю, что, в дополнение к прежним эмансипациям, возможна и эмансипация от недоразумений. Но, признаюсь, меня смущает вопрос: не будет ли слишком пресна наша жизнь без недоразумений, но с кутузкой? Ведь мы при-выкли! Театры у нас плохие, митингов нет, в трактирах порция бифштекса стóит рубль серебром, так, по моему мнению, лучше *по недоразумению* вечер в кутузке провести, нежели в Александринке глазами хлопать. Но только, ради Христа, не больше одного вечера!

Среднего сословия людей в курортах почти нет, ибо нельзя же считать таковыми ту незаметную горсть туземных и иноземных негоциантов, которые торгуют (и бог весть, одним ли тем, что у них на полках лежит?) в бараках и колоннадах вдоль променад, или тех антрепренеров лакейских послуг, которые тем только и отличаются (разумеется, я не говорю о мощи) от обыкновенных лакеев и кнехтов, что имеют право громче произносить: pst! pst! Может быть, зимой, когда считаются барыши, эти последние и сознают себя добрыми буржуа́, но летом они, наравне с самым последним кельнером, продают душу наезжему человеку и не имеют иного критеріума для оценки вещей и людей, кроме того, сколько то или другое событие, тот или другой «гость» бросят им лишних пфеннигов в карман.

А наезжий человек так со всех сторон и напирает. Каждый день бесчисленные железнодорожные поезда выбрасывают на улицы курорта массы «гостей», которые тут же, с вытаращенными глазами, задыхаясь и спеша, начинают отыскивать себе конуру для ночлега. Это, так сказать, предвкушение ожидающих утех. Тут и человек, всю зиму экспекторировавший, в чаянье, что летом будет лакомиться ослиными сыворотками и «обменивать вещества». Тут и бесшабашный советник, который согласен какую угодно мерзость глотать, лишь бы бог веку продлил и сотворил ему мирным и непостыдным получение присвоенных по штатам окладов и аренд. Тут и юный бонапартист, которому только безмерное безрассудство до сих пор мешало обдумать, в чью пользу и за какую сумму ему придется продать отечество. Тут и пустоголовая, но хорошо выкормленная бонапартистка, которая, опираясь на руку экспекторирующего человека, мечтает о том, как она завтра появится на променаде в таком платье, что всё-всё (*mais tout!*)¹ будет видно. Тут и милая старушка, которая уже теперь не может прийти в себя от умиления при виде той массы панта-

¹ действительно, всё!

лон, которая все больше и больше увеличивается, по мере приближения к центру городка. Тут и замученный хождениями по мытарствам литератор, и ошалевший от апелляций и кассаций адвокат, и оглохший от директорского звонка чиновник, которые надеются хоть на два, на три месяца стряхнуть с себя массу замученности и одурения, в течение 9—10 месяцев составлявшую их обычный *modus vivendi*¹ (неблагодарные! они забывают, что именно эта масса и напоминала им, от времени до времени, что в Езопе скрывается человек!). Тут и шпион. И все они переходят от гостиницы к гостинице, от одного въезжего дома к другому, отыскивая конуру... самую простую конуру! И редко кому из них удается успокоиться в искомой конуре раньше трех-четырёх часов изнурительнейших поисков.

Ночью гостиницы и въезжие дома наполняются звуками экспекторации «гостей» и громкими простестами бонапартисток: *eh bien, augas-tu bientôt fini?*² — на что следует неизбежный ответ: ах, матушка! к-ха, к-ха... хрррр... Но вот легкие малопомалу очищаются, и к полуночи все стихает. Утром, в шесть часов, опять экспекторация и опять протест... А между тем в кургаузе и около него гудит пчелиный рой. Семь часов утра. Одни уже отпили свою порцию, другие только что заручились кружками и спешат к источникам. Всякий народ тут: чиновные и нечиновные, больные и здоровые, каналы и честные люди, бонапартисты и простые, застенчивые люди, которые никак не могут прийти в себя от изумления, какое горькое волшебство привело их в соприкосновение со всем этим людом, которого они не искали и незнание которого составляло одну из счастливейших привилегий их существования. Тут и англичанка-пэреса, которая в Англии оплодотворилась, а здесь заставляет возить себя в ручной колясочке, дабы не потревожить плода. Тут и упраздненный принц крови, который, изнемогая в конвульсиях высокопоставленного одиночества, разыскивает через кельнеров, не пожелает ли кто-нибудь иметь честь быть ему представленным. Тут и рязанский землевладелец, у которого на лице написано: наплюю я на эти воды, закачусь на целую ночь в Линденбах, дам Доре двадцать пять марок в зубы: скидывай, бестья, лишнюю одежду... служи! Тут и шпион. В воздухе стоит разноязычный говор, в общей массе которого не последнее место занимает и русская речь.

— Какими судьбами? вы!!

— Да вот в горле все что-то сверлит.

— С кем это вы сейчас говорили?

¹ образ жизни.

² ну, скоро ли ты кончишь?

— Мошенник! знаете ли, какую он штуку удрал...

Через минуту другая встреча.

— И вы здесь? давно?

— Дней с пять. С легкими справиться не могу.

— С кем вы сейчас говорили?

— Ужаснейшая, батюшка, канала. Знаете ли, какую он вещь с родной сестрой сделал...

Еще через минуту.

— Доктор! я уж третий стакан выпил.

— Ходите, обменивайте вещества!

— Доктор! вчера я получил письмо из России. У нас ведь вы знаете что?.. Са-ран-ча!!

— Я бы особенным повелением запретил писать из России письма больным. Ходите, обменивайте вещества!

— Доктор! а это... можно.

Следует обмен мыслей шепотом.

— Гм... если уж вы... Но вы знаете мое мнение: это положительно не kurgemaess...

— Доктор! чуточку!

— Да, но я все-таки должен предупредить... Удивительный вы народ, господа русские! все вы прежде всего об *этом* спрашиваете... Ну, что с вами делать, можно, можно... А теперь ходите и обменивайте вещества!

И бегут осчастливленные докторским разрешением «знатные иностранцы» обменивать вещества. Сначала обменивают около курзала, надеясь обмануть время и приюхиваясь к запаху жженого цикория, который так и валит из всех кухонь. Но потом, видя, что время все-таки продолжает идти черепашьим шагом (требуется, по малой мере, час на обмен веществ), уходят в подгородные ресторанчики, за полчаса или за сорок минут ходьбы от кургауза.

Подождите еще несколько минут, и вы увидите новый наплыв публики: запоздавших. Вот и вчерашняя бонапартистка, с кружкой в руках, проталкивается сквозь толпу в каком-то вязаном трико, которое так плотно ее облипает, что, действительно, бонапартисты могут пожирать глазами... *все*. Рядом с нею бредет милая старушка, усиливаясь подпрыгивать, вся разрисованная, восхищенная, готовая в огонь и в воду... *toute pimpante!*¹ И вдали, в дверях кургауза, следит за старушкой обер-кельнер, завитой белокурый детина, с перстнем, украшенным крупной бирюзой, на указательном пальце, и на вопрос, что может стоять такой камень, самодовольно отвечает: *das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt*².

¹ во всем блеске!

² это подарила мне одна высокородная русская дама.

Я знаю многих русских дам, которые, наверное, обидятся наглостью обер-кельнера и воскликнут: как он смеет клеветать? С своей стороны, отнюдь не оправдывая нескромности табльдотного Рюи-Блаза и даже не имея ничего против того, чтоб назвать ее клеветой, я позволяю себе, однако ж, один вопрос: почему ни один кельнер не назовет ни *eine englische*, ни *eine deutsche*, ни *eine französische Dame*¹, а непременно из всех национальностей выберет русскую? Уж на что, кажется, повадлива румынская национальность, но и об ней обер-кельнеры умалчивают. Стало быть, есть в русской даме какое-то внутреннее благоволение (вероятно, вполне невинное), которое влечет к ней сердца хаускнехтов и заставляет кельнеров мечтать: уж если суждено мне от кого-нибудь получить перстенок с бирюзой, так не иначе, как от русской «дамы».

Очень может быть, что дело произошло так. Приехала на воды экспекторирующая старушка-вдова, и ни в ком, на чужбине, не нашла участия, кроме обер-кельнера своей гостиницы. Этот человек сразу оказался «золотым» малым. Он допускал, в пользу ее, отступления от правил табльдота; он предоставлял ей лучшее место за столом, придвигал и отодвигал ее стул, собственноручно накладывал ей на тарелку лакомый кусок, наливал в стакан вино и после обеда, надевая ей на плечи мантилью, говорил: *so!*² А вечером лично носил ей в номер поднос с чаем, справлялся, спокойно ли ей почивать и не нужно ли промыслить другую подушку. Словом сказать, самоотвергался. Разумеется, старушка была тронута. Вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенок с бирюзой, который когда-то носил на указательном пальце ее покойный муж, вынула, немножко всплакнула (надо же память покойного «друга» почтить!) и... отдала. Отдавши, уехала на другие воды, где опять встретила точь-в-точь такого же обер-кельнера, вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенок с изумрудом (тоже покойный муж на указательном пальце носил), опять всплакнула и опять... отдала. И, таким образом, объехавши многие курорты, добралась до Швейцарии, но тут запас перстеньков истощился и, в соответствии с этим, истощилось и обер-кельнерское самоотвержение. И вот теперь она живет в деревне Проплёванной и дарит старосте Максимушке, за самоотвержение, желтенькую бумажку...

*Et voilà comme on écrit l'histoire*³.

Около половины десятого кургауз пустеет; гудение удаляется и расходуется по отелям. Это время первого насыщения,

¹ ни английскую, ни немецкую, ни французскую даму.

² так!

³ И вот как пишется история.

за которым наступает время побочных лечений. Позавтракавши, одни идут в Gurgel-cabinet¹, другие в Inhalations Anstalt², третьи — берут ванны. Но те, которые удивляют мир силою экспекторации, — те обыкновенно проделывают все отрадли лечения и продолжают экспекторировать с прежнею силою. Зато им решительно не только нет времени об чем-либо думать, но некогда и отдохнуть, так как все эти лечения нужно проделать в разных местах города, которые хотя и не весьма удалены друг от друга, но все-таки достаточно, чтоб больной человек почувствовал. И во всяком месте нужно обождать, во всяком нужно выслушать признание соотечественника: «с вас за сеанс берут полторы марки, а с меня только марку; а вот эта старуха-немка платит всего восемьдесят пфеннигов». И вся эта история повторяется изо дня в день, несмотря ни на какую погоду. Подумайте! с шести часов дня до часу пополудни ничего, кроме беготни и каких-то бесконечных тринкгельдов, которые, подобно древней дыбе, приводят истязуемого субъекта в «изумление». Как должно это действовать на человека, страдающего, кроме болезни сердца, эмфиземы, воспаления дыхательных путей, астмы — еще мозолями!

Это же время (от десяти до часу) — самое горячее и для бонапартистки, ибо она примеривает костюм, в котором должна явиться к обеду. Процесс этого примеривания она отбывает с самою невозмутимою серьезностью. Наденет одно платье, встанет перед зеркалом, оглядит себя сперва спереди, потом сзади, что-то подправит, в одном месте взбодрит, в другом пригнетет, слизнет языком соринку, приставшую к губе, пошевелит бровями, возьмет маленькое зеркальце и несколько раз кивнет перед ним головой то вправо, то влево, положит зеркальце, опять его возьмет и опять слизнет с губ соринку... И все время мечется у ней перед глазами молодой бонапартист, который молит: ах, эта ножка! ужели вы будете так бессердечны, что не дадите ее поцеловать! Но мольба эта не волнует ее, не вливает ей в кровь отраву... Как истинная котка по духу, она даже *этим* не волнуется, а думает только: как нынче молодые люди умеют мило говорить!.. и начинает примеривать другое платье. Новое стояние перед зеркалом, удаление и приближение к нему; есть что-то неладное назад, именно там, где все должно быть ладно. Что такое? *quel est ce mystère?*³ Ну вот, теперь хорошо... *tout ce qu'il faut!*⁴ И опять бонапартист перед глазами, который успел уже поце-

¹ кабинет по горловым болезням.

² отделение для ингаляции.

³ в чем секрет?

⁴ все как следует!

ловать ножку и теперь вопрошает грядущее... Третье платье и новое повертыванье перед зеркалом. Это платье, по-видимому, уж совсем хорошо, но вот тут... нужно, чтоб было две ноги, а где они, «две ноги»? «За что же, однако, меня в институте учитель прозвал tête de linotte!¹ совсем уж я не такая...» И опять бонапартист перед глазами, но уж не тот, не прежний. Тот был с усиками, а этот с бородой... ах, какой он большой! Опять платье, четвертое и последнее. Пора. Последнее платье надевается наскоро, потому что часы показывают без десяти минут час, и, сверх того, в изгибах tête de linotte мелькает стих Богдановича: «во всех ты, душенька, нарядах хороша...» Это единственное «знание», которое она вынесла из шестилетней мучительной институтской практики.

В это же время бодрствует в своей конуре и шпион. Он приводит в порядок собранные матерьялы, проводит их сквозь горнило своего понимания и, чувствуя, что от этого «понимания» воняет, сдабривает его клеветою. И — о, чудо! — клевета оказывается правдоподобнее и даже грамотнее, потому что образцом для нее послужила полемика «благонамеренных» русских газет...

Бьет час, и весь этот людской сброд, измученный отчасти беготней, отчасти легкомыслием, отчасти праздностью, сосредоточивается за табльдотами. На некоторое время город кажется пустым.

Послеобеденное время — самое тяжкое. До обеда все как-нибудь отличились, отштукатурились и обрядились; после обеда — даже этих ресурсов нет. Возвращаться «домой» неэза чем, да и некуда: никакого «дома» нет, а есть конура. Даже у самого богатого человека, и у того, сравнительно с «домом», конура. Надо где-нибудь прошляться, чтоб погубить остальные шесть-семь часов. Где прошляться? Я сказал выше, что окрестности курорта почти всегда живописны, но число экскурсий вовсе не так велико, чтоб не быть исчерпанным в самое короткое время. Пять-шесть прогулок — вот и весь репертуар. Правда, что в «своем месте» вы каждый день гуляете по одному и тому же саду, любуетесь одними и теми же полями, и вам это не надоедает. Но, во-первых, «свое место» избавляет вас от культурно-кокотских отрав, которые одолевают вас здесь на каждом шагу; а во-вторых, в том-то и чарующая сила «своего места», что там вас интересуется судьба каждого дерева, каждого куста, каждой былинки. И каждая былинка, в свою очередь, как бы хранит память об вас. На что вы ни взглянете, к чему ни прикоснетесь, — на всем легла целая повесть

¹ ветреницей.

злоключений и отрад (ведь и у обделенных могут быть отрады!), и вы не оторветесь от этой повести, не дочитав ее до конца, потому что каждое ее слово, каждый штрих или терзает ваше сердце, или растворяет его блаженством... Тогда как за границу вы уже, по преданию, являетесь с требованием чего-то грандиозного и совсем-совсем нового (мне, за мои деньги, подавай!) и, вместо того, встречаете путь, усеянный кокотками, которые различаются друг от друга только тем, что одни из них въезжают на горы в колясках, а другие, завидуя и вприпрыжку, взбираются пешком.

Часов до четырех дело, однако ж, кой-как идет. На promenade играет порядочная музыка; в ресторане курзала и на столиках около него толпится публика и «потребляет». Кокотка по ремеслу отсутствует (управление вод очень строго изгоняет все, что не *kurgetmaess*, хотя во времена владычества рулетки и отступало от этого правила), но кокотка по духу — царит. Но вот музыканты, один за другим, разбрелся, послеобеденный кофе выпит, мороженое съедено; дальнейшее пребывание под навесом платанов становится нестерпимым. Необходимо гулять. В сущности, еще очень рано; день едва достиг того часа, когда дома приканчиваются дела, и многим по привычке кажется, что сейчас скажут, что суп на столе. Напрасное обольщение! — надобно гулять! — вы до усталости ходили утром, но то было утром, а теперь вечер. Обменивайте вещества! Перед вами *Altes-Schloss*, потом *Eberstein-Schloss*, потом *Rothenfels*¹. Выбирайте любое! А завтра будет *Rothenfels*, *Eberstein-Schloss*, *Altes-Schloss*... А то не хотите ли в Фавориту, десять раз в Фавориту, двадцать раз в Фавориту!

Бонапартисты и бонапартистки плавают в этой суматохе, как рыба в воде. Они всходят и въезжают на горы, жеманятся, провоцируют, мелькают и вообще восполняют свое провиденциальное назначение, то есть выставляют напоказ: первые — покрой своих жакеток и сыотов, вторые — данные им природой атуры. Нельзя себе представить ничего более жалкого, как человеческое существо, с головы до ног погруженное в показывание атуров. А современная культурная женщина почти сплошь занята одним этим. И не только молодая *tête de linotte*, но и старушка. Ничто ее не интересует, ни книга (за исключением порнографической литературы), ни картина (за исключением порнографических фотографий), ни пейзаж (за исключением порнографических *cabinets particuliers*)². Ничто, кроме заботы о том, чтоб наряд как можно меньше скрывал

¹ Прогулки в окрестностях Баден-Бадена. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

² отдельных кабинетов.

ее округлости. Она даже насыщается не ради того, чтоб поддерживать жизнь или удовлетворять своей *gourmandise*¹, а потому, что, как ей сказывали, при помощи хорошего и обильного питания нагуливаются хорошие и обильные атуры. Иметь высокую грудь и выдающуюся поясницу — вот конечная цель ее самолюбия. И, как дополнение к этому, обладать немногосложным, но в высшей степени точным порнографическим жаргоном. Не все ли равно этим двуногим, где выполнять свое провиденциальное назначение, на вершине ли *Schöne Aussicht* или в Линденбахе? Какое ей дело до того, что с вершины *Schöne Aussicht* видны *Siebengebirge* и стальная полоса Рейна, что там благоухает сосна, а Линденбах провонял кухонным чадом. Линденбах, пожалуй, привлекательнее, потому что там есть просторный ресторан, в котором можно прислониться.

Этот бонапартистско-кокотский элемент вместе с особью людей, которые не могут представить оправдательных документов для объяснения средств своего существования, составляют истинную отраву всякого курорта. Рулетка исчезла, но рулеточные обычаи, рулеточный запах еще остались. Всякий курорт есть место неожиданных встреч. Некогда вы знали человека, ходившего чуть не без штанов, потом потеряли его из вида, и вдруг встречаете его здесь и некоторое время думаете, что перед вами мелькнуло сонное видение. У этого человека все курортное лакейство находится в рабстве; он живет не в конуре, а занимает апартамент; спит не на дерюге, а на тончайшем белье; обедает не за табльдотом, а особо жрет что-то мудреное; и в довершение всего жена его гуляет на музыке под руку с сановником. Ясно, что он что-то украл, но здесь, в курорте, в первый раз вам приходит на мысль вопрос: что такое вор? У себя, на берегах Ворсклы или Вороны, или совсем не пришел бы на мысль этот вопрос, или вы совершенно точно ответили бы на него, но среди этой кажущейся жизни, исполненной кажущихся поступков, кажущихся разговоров и даже кажущегося леченья — все самые ясные вопросы принимают какой-то кажущийся характер. Да уж не слишком ли прямолинейно смотрел я на вещи там, на берегах Хопра? думается вам, и самое большое, что вы делаете, — и то для того, чтоб не совсем погрязнуть в тине уступок, — это откладываете слишком щекотливые определения до возвращения в «свое место». Там можно будет и опять в Юханцеве видеть Юханцева, а здесь, на водах...

— С кем вы сейчас говорили?

— Помилуйте, скотина!

¹ обжорству.

Сегодня «скотина», завтра «скотина», а послезавтра и сам черт не разберет: полно, «скотина» ли?

Между тем бьет семь часов, и волна людская опять растет около курзала. Оркестр гремит; бонапартистки, перебившись туалет, скользят между столами; около одной, очень красивой и роскошно одетой, собралось целое стадо *habitués*¹ и далеко, под сводом платанов, несется беззаветный хохот этой привилегированной группы, которая, по всей линии променада, прижилась как у себя дома. Все прочие бонапартистки отчасти завидуют ей, отчасти млеют перед ней в благоговении. Это белокурая испанка от колена Монтихова, которую сама «вдова» благословила летом разъезжать по курзалам, а зимой блистать в Париже и наблюдать за мосье Гамбетта. Она дает тон курорту; на ней одной можно воочию убедиться, до какого совершенства может быть доведена выкормка женщины, поставившей себе целью останавливать на своих атурах вожделеющие взоры мужчин, и в какой мере платье должно служить, так сказать, осуществлением этой выкормки. Да, платье именно должно быть таково. Оно не обязывается ни подчеркивать, ни комментировать, ни увлекаться в область парадоксов, а именно только осуществлять.

Статуя должна быть проста и ясна, как сама правда, и, как правда же, должна предстать перед всеми в безразличии своей наготы, никому не обещая воздаяния и всем говоря: вот я какая! Что же касается до того, какие представления «в случае чего» надлежит иметь относительно этой статуй-правды, то роль путеводителей в этом разе предоставляется перехватам, бантам, цветам и другим архитектурным украшениям. Где бант — там остановка, где перехват — там гляди. Единственное темное пятно в современном женском туалете — это юбка, которую, несмотря на все усилия, никак не могут упразднить «законодатели мод». Она одна оставляет в статуе некоторые неясности, одна служит оградительницей интересов современной семьи. Впрочем, эти неясности отчасти уже устраняются при помощи ноги. Нога (а не ножка, как выражались любезники сороковых годов) должна быть видна во всей своей скульптурной образности; нога и часть икры... Вот вам на первый раз, а остальное, конечно, тоже придет, но нужно же иметь сколько-нибудь терпения!

Толпа гудит, сама не сознавая, к чему она стремится, чего желает. Ничего, кроме праздных мыслей, праздных слов и праздных поступков. Это самое полное, самое беззаветное осуществление идеала равенства... перед праздностью. Если кто

¹ завсегдаев.

«дома» сознавал за собою что-нибудь оригинальное, тот забывает об этом, стушевывается перед общим уровнем ликующей толпы. И это происходит не по принуждению, а незаметно, само собой. Вдруг как-то исчезает всякая гадливость.

Это обезличение людей в смысле нравственном и умственном и, напротив, слишком яркое выделение их с точки зрения покроя жилетов и количества съедаемых «шаторбрианов», это отсутствие всяких поводов для заявления о своей самостоятельности — вот в чем, по моему мнению, заключается самая неприглядная сторона заграничных шатаний. Ежели обязательно суетливая праздность производит скуку, то продолжительное отсутствие проявлений самостоятельности может иметь последствием полнейшую умственную и нравственную анемию. И я убежден, что многие, воротясь домой, не без удивления вспоминают о месяцах, проведенных в чуждой среде, под игом понятий и привычек, о существовании которых они только тут в первый раз узнали.

По крайней мере, я испытал нечто подобное на себе. Представьте себе, вновь встретился с Удавом и Дыбой — и обрадовался. И они мне обрадовались и в один голос воскликнули: Вот как! ну, и слава богу!

Они ходили всегда вместе, во-первых, потому, что были равны в чинах и могли понимать друг друга, и, во-вторых, потому, что оба чувствовали себя изолированными среди курортной толкотни. Хотя и кроме их в курорте была целая масса бесшабашных советников, но Дыба и Удав добыли свои чины еще по старому положению и притом имели довольно странные гербы. Поэтому прочие бесшабашные советники, добывшие свои чины повадливостью и тщательно расчесанными на затылках проборами, перекидывались с ними двумя-тремя учтивостями и устремлялись дальше, как бы задыхаясь в атмосфере старческих грехов, которую распространяли кругом себя вышедшие из употребления сановники. Не было явного пренебрежения, но не было и предупредительности. Однако ж старики в первое время все-таки тянулись за так называемой избранной публикой, то есть обедали не в час и не за табльдом, а в шесть и *à la carte*¹, одевались в коротенькие клетчатые визитки, которые совершенно открывали их убогие оконечности, подсаживались к молодым бонапартистам и жаловались, что доктор не позволяет пить шампанское, выслушивали гривуазные анекдоты и сами пытались рассказать что-то неуклюжее, засматривались на бонапартисток и при этом слюнявили передà своих рубашек и проч. Но все эти усилия ни к чему

¹ по карточке, порционню.

не привели. Избранная публика даже одним ухом не слушала их, но совершенно явно показывала, что совсем ничего не слышит, так что, в конце концов, всегда оказывалось, что, думая обращаться к публике, старики исключительно разговаривали друг с другом. Не раз случалось и так, что «знатные иностранцы», пораженные настойчивостью, с которою старики усиливались прорваться в ряды «милых негодяев», взглядывали на них с недоумением, как бы вопрошая: откуда эти выходцы? — на что прочие бесшабашные советники, разумеется, поспешали объяснить, что это загнившие продукты дореформенной русской культуры, не имеющие никакого понятия об «увенчании здания». К несчастью, старики проведали об этом и огорчились. А в довершение приключилось и еще одно обстоятельство. В курорт прибыл какой-то вновь определенный принц, и некоторый русский сановник, приводивший в это время в порядок свои легкие, счел долгом почтить высокопоставленного гостя обедом. Все «знатные иностранцы» получили приглашения, но Удав и Дыба были забыты. Это тем более их поразило, что они невольно вспомнили дележку в Уфимской губернии, при которой тоже были забыты. Поступят ли в дележку «полезные лесочки» Вятской губернии — это еще бабушка надвое сказала, а Уфимская-то губерния — ау! Словом сказать, старики заскучали и круто переменили свой образ жизни. От обедов *à la carte* в курзале перешли к табльдоту в кургаузе, перестали говорить о шампанском и обратились к местному кислому вину, приговаривая: вот так винцо! бросили погоню за молодыми бесшабашными советниками и начали заигрывать с коллежскими и надворными советниками. По вечерам посещали друг друга в конурах, причем Дыба читал вслух «Ключ к таинствам природы» Эккертсгаузена и рассказывал анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, сопровождая эти рассказы приличным инспекторированием.

Итак, мы встретились и взаимно друг другу обрадовались.

— Вот вы как! — удивился Дыба, — а мы было думали, что вы прямо в Швейцарию стопы направите?

— Да, было-таки предположение, — подтвердил и Удав, но без угрозы, а скорее с шутливою снисходительностью.

— Но почему же ваши превосходительства думали, что я непременно поеду в Швейцарию, а не в Испанию, например?

— Зачем в Испанию? что там делать? Там, батюшка, нынче Изабелла в ход пошла! Ну, да уж что! Кто старое помянет...

И Удав с улыбкой протянул мне руку, в знак забвения, но вслед за этим словно обеспокоился и спросил:

— Не одобряете?

— Не одобряю! — воскликнул я твердо.

— И нельзя одобрить. Хотя, с одной стороны, конечно... однако, тем не менее... Лучше не ездить.

Это было ужасно доброжелательно. Но так как будущее сокрыто от смертных и могло представить надобность в поездке в Швейцарию независимо от всяких превратных толкований, то я все-таки поспешил оградить себя.

— Ваши превосходительства! — сказал я, — вы напрасно считаете Швейцарию месторождением исключительно превратных толкований. Есть, например, в Люцерне «Раненый Лев» — это, я вам доложу, такая штука, что хоть бы и нам с вами!

Я изложил, как умел, смысл и содержание памятника и, разумеется, привел бесшабашных советников в восхищение.

— Так вот они, швейцарцы, каковы! — воскликнул Дыба, который о швейцарцах знал только то, что случайно слышал от графа Михаила Николаевича, а именно: что некогда они изменили законному австрийскому правительству, и с тех пор опера «Вильгельм Телль» дается в Петербурге под именем «Карла Смелого».

— А впрочем, бог с ней, с Швейцарией... Из России, ваши превосходительства, не имеете ли известий? — переменял я разговор.

— Как же! почитываем кое-что; и в своих, и в иностранных газетах; ну, и письма...

— Чай, хорошо теперь там?

— Об «увенчании здания» поговаривают... будто бы без этого никак невозможно...

— Ну, и слава богу!

— Бога благодарить всегда время, — как-то загадочно ответил Удав и затем, наклонившись ко мне, шепотком прибавил: — а только вряд ли...

— Не надеетесь?

— Верно говорю: не будет толку!

— Ах, ваше превосходительство!

— Людей нет-с! И здание можно бы выстроить, и полы в нем настлат, и крышу вывести, да за малым дело стало: людей нет-с! — настаивал Удав.

— И мыслей нет! — добавил Дыба.

— Нас, стариков, фофанами называют, а между тем...

Удав, видимо, хотел сдержаться, но вспомнил, как еще недавно русский сановник (русский-с!) исключил его из числа «знатных иностранцев», и не сдержался.

— Мы, по крайней мере, могли объяснить, кто мы, откуда вышли и какую школу прошли. Ну, фофаны так фофаны... с тем и возьмите! А нынешние... вон он! вон он, смотрите на

него! — вдруг воскликнул Удав, указывая на какого-то едва прикрытого петанлерчиком бесшабашного советника «из молодых», — смотрите, вон он бедрами пошевеливает!

— Это на него «увенчание здания» так действует! — ехидно хихикнул Дыба.

— Спросите у него, откуда он взялся? с каким багажом людей уловлять явился? что в жизни видел? что совершил? — так он не только на эти вопросы не ответит, а даже не сумеет сказать, где вчерашнюю ночь ночевал. Свалился с неба — и шабаш!

— В старину «непомнящие родства» бывали, а нынче, скажут, таковых уж нет! — вновь съехидничал Дыба.

— Приведут, бывало, его, «непомнящего»-то, в присутствие: «откуда родом?» — Не помню. «Отец с матерью есть?» — Не помню. «Где проживание имел?» — Не помню. «Где вчерашнюю ночь ночевал?» — В стогу. — Ну, выслушают, запишут — и в острог!

— А нынче изловят в стогу, да под образа-с!

— И мыслей нынче нет — это его превосходительство верно заметил: нет нынче мыслей-с! — все больше и больше горячился Удав. — В наше время *настоящие* мысли бывали, такие мысли, которые и обстановку имели, и излагаемы быть могли. А нынче — экспромты пошли-с. Ни обстановки, ни изложения — одна середка. Откуда что взялось? держи! лови!

Произнося эту филиппику, Удав был так хорош, что я положительно залюбовался им. Невольно думалось: вот он, настоящий-то русский трибун! Но, с другой стороны, думалось и так: а ну, как кто-нибудь нас подслушает?

— Да вы, может быть, полагаете, что это ихнее «увенчание здания» — диковинка-с? — продолжал греметь Удав.

— По крайней мере, до сих пор я ни о чем подобном не слыхивал.

— А я вам докладываю: всегда эти «увенчания» были, и всегда они будут-с. Еще когда устав о кантонистах был сочинен, так уж тогда покойный граф Алексей Андреич мне говорил: Удав! поздравь меня! ибо сим уставом увенчивается здание, которое я, в течение многих лет, на песце созидал!

— Сколько одних прогонных и подъемных денег на эти «увенчания» было потрачено! — свидетельствовал, в свою очередь, Дыба, — и что же-с! только что, бывало, успеют одно здание увенчать, — смотришь, ан другое здание на песце без покрывки стоит — опять венчать надо! И опять прогонные и подъемные деньги требуют!

— Так вот оно с которых пор канитель-то эта пошла! Возьмем хоть бы вопрос об учреждении губернских правлений...

К счастью, Удав поперхнулся и принялся экспекторировать, а Дыба постоял-постоял и тоже последовал его примеру. Что же касается до меня, то я смотрел на них и чувствовал, что в душе моей поднимается какая-то смута. Несомненно, что до сих пор идея «увенчания здания» ни в ком не встречала такого страстного сторонника, как во мне. Я не только восхищался ею, не только не жалел в пользу ее похвал и трубных звуков, но, по временам, возвышался даже до иллюзий. И вот теперь, каким-то двум жалким старикам выпало на долю посеять в моем сердце плевелы двоегласия! Хорошо-то оно хорошо, думалось мне, а что, ежели и в самом деле вся штука разрешится уставом о кантонистах. Что, ежели встанет из гроба граф Алексей Андренч, отыщет в архиве изъеденный мышами «устав» и, дополнив оный краткими правилами насчет могущего быть светопреставления, воскликнет: шабаш!

— Ах, ваше превосходительство! — рискнул я заметить, — да не сердиты ли вы на что-нибудь?

Что было дальше — я не помню. Кажется, я хотел еще что-то спросить, но, к счастью, не спросил, а оглянулся кругом. Вижу: с одной стороны высится Мальберг, с другой — Бедерлей, а я... стою в дыре и рассуждаю с бесшабашными советниками об «увенчании здания», о том, что людей нет, мыслей нет, а есть только устав о кантонистах, да и тот еще надо в архиве отыскивать... И так мне вдруг сделалось совестно, так совестно, что я круто оборвал разговор, воскликнув:

— Какие вы, однако ж, глупости говорите, ваши превосходительства!

К удивлению, старики не только не обиделись, но на другой же день, встретив меня на той же площадке, опять возобновили разговор об «увенчании здания». На третий день — тоже, на четвертый — тоже... Наконец судьба-таки растащила нас: их увлекла домой, меня... в Швейцарию!!

Но иногда мне думается: что, если бы русского «меньшего брата» перенести на часок в немецкий курорт и показать, как гуляют русские культурные господа?.. Что бы он сказал?

III

Я ехал в Швейцарию не без страха. Думалось, что как только перееду швейцарскую границу, так сейчас же, со всех сторон, и вопьются в меня превратные толкования. За свою личную «совратимость» я, конечно, не боялся — слава богу, не маленький! — но опасался, как бы начальство, по доведению

о сем до сведения, не огорчилось. «Не выдержит!», «погибнет!» — доносились до меня попечительные голоса с берегов Невы. И потом, вдруг строго: «Гм... так вы и в Швейцарии изволили побывать?» — Виноват-с. — «С акушерками повидаться ездили?» — Виноват-с. — «О формах правления изволили рассуждение иметь?» — Виноват-с.

Однако все обошлось благополучно. Я не только не «соблазнился», но даже не имел повода для соблазна. Превратных идей — ни одной. Напротив, русских, коренных русских идей — столько, что не продохнешь. Наступают, берут в полон, рвут на части сердце, прожигают мозг — точь-в-точь как в России. Даже прелестные швейцарские озера и величественные хребты гор — и те застилаются ими, словно пеленою. Риги-Кульм, Пилат, Низен, Фаульгорн — все кажется окутанным туманом. Одна только мысль отчетливо светится: как-то теперь там насчет «увенчания здания» поговаривают?.. Неужто пошабашили?

Ах, право, не до превратных идей в такое время, когда русские идеи, шаг за шагом, без отдыха, так и колотят в загорбок!

Помнится, когда нам в первый раз отворили двери за границу, то мне думалось: напрасно нас, русских, за границу стали пускать — наверное, мы заразимся. И точно, примеры заражения случались в то время нередко. Приедем мы, бывало, за границу, и точно голодные накинемся. Формы правления — прекраснейшие, климат — хоть в одной рубашке ходи, табльдоты и рестораны — и того лучше. Нигде не кричат караул, нигде не грозят свести в участок, не заезжают, не напоминают о Кузьке и его родственницах. Мудрено ли, что при таких условиях ни Валдайские горы, ни Палкин трактир не пойдут на ум, а того меньше крутогорский губернатор Петр Толстолобов.

Ах, и сквернословили же мы в это веселое время! Смешные анекдоты так и лились рекой из уст культурных сынов России. «La Russie... ха-ха!» «le peuple russe...¹ ха-ха!» «les boyards russes...² ха-ха!» «Да вы знаете ли, что наш рубль полтинник стоит... ха-ха!» «Да вы знаете ли, что у нас целую губернию на днях чиновники растащили... ха-ха!» «Где это видано... ха-ха!» Словом сказать, сыны России не только не сдерживали себя, но шли друг другу на перебой, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не успел напаскудить прежде. И ежели репертуар «рассказов из русского быта» оказывался довольно

¹ Россия... русский народ.

² русские бояре.

скудным, то совсем не от недостатка желания сквернословить, а скорее от неумения пользоваться материалом и от недостатка изобретательности.

Само собой разумеется, что западные люди, выслушивая эти рассказы, выводили из них не особенно лестные для России заключения. Страна эта, говорили они, бедная, населенная лапотниками и мякинниками. Когда-то она торговала с Византией шкурами, воском и медом, но ныне, когда шкуры спущены, а воск и мед за недоимки пошли, торговать стало нечем. Поэтому нет у нее ни баланса, ни монетной единицы, а остались только желтенькие бумажки, да и те имеют свойство только вызывать веселость местных культурных людей.

Но с тех пор прошло много лет, и многое, в течение этого времени, изменилось. Увлечение заграничными табльдотами остыло; анекдоты опостытели, хотя запас материалов для них ничуть не истощился. А главное, недобровольная замена рублей полтинниками оказалась далеко не столь смешною, как это сгоряча представлялось. Поэтому ныне мы уже не гарцуем, выгнув шеи, по курзалам, как заколдованные принцы, у которых, несмотря на анекдоты, руки все-таки полны козырей, но бродим понуро, как люди, понимающие, что у них в игре остались только двойки. Даже формы правления не веселят нас, потому что и на этот счет крепко-накрепко нам сказано: делу — время, а потехе — час.

На первый взгляд, все это приметы настолько роковые (должно быть, шкуры-то еще больше на убыль пошли!), что западный человек сразу решил: теперь самое время объявить цену рублю — двугривенный. И были бы мы теперь при двугривенном, если бы рядом с этим решением совсем неожиданно не выдвинулся довольно замысловатый вопрос: «Странное дело! люди без шкур — а живут? Что положено — уплачивают, кого нужно — содержат, даже воровства и те предвидят и следующие на сей предмет суммы взносят без задержания... Каким образом это сходит им с рук? в силу чего?» Но что еще замысловатее: если люди без шкур ухитряются жить, то какую же степень живучести предъявят они, если случайно опять обростут?

Вопросы эти представляются западному человеку в виде загадки, для объяснения которой он ждет поступков. И, в ожидании их, то прибавит копейку к нашему рублю, то две копейки убавит, но сразу объявить рублю цену двугривенный — сомневается...

Мы в этом отношении поставлены несомненно выгоднее. Мы рождаемся с загадкой в сердцах и потом всю жизнь леем ее на собственных боках. А кроме того, мы отлично зна-

ем, что никаких поступков не будет. Но на этом наши пренебрежения и кончаются, ибо дальнейшие наши отношения к загадке заключаются совсем не в разъяснении ее, а только в известных приспособлениях. Или, говоря другими словами, мы стараемся так приспособиться, чтоб жить без шкур, но как бы с оными.

Приспособление это, несомненно, облегчило бы нашу жизнь, если бы оно могло навсегда устранить мелькание «загадки». Но этого-то именно оно и не достигает. Времена уже настолько созрели (полтинники-то ведь тоже не сладость!), что «загадка» с каждым днем приобретает все большую и большую рельефность, все выпуклее и выпуклее выступает наружу... и, разумеется, вводит людей в искушение. Мне скажут, может быть, что на то человеку дан ум, чтоб устраниваться от искушений, но ведь это легче сказать, нежели выполнить. Самая обыкновенная жизненная обстановка — и та на каждом шагу ставит нас лицом к лицу с искушениями. Уж на что, кажется, проще: дани платить — ан и тут навстречу вопрос летит: а откуда ты их возьмешь? Словом сказать, до того дело дошло, что даже если повиноваться вздумаете, так и тут на искушение наскочишь: по сущей ли совести повинуетесь или так, ради соблюдения одной формальности? «Проникни!», «рассмотри!», «обсуди!» — так и ползут со всех сторон шепоты. Шепоты да шепоты — и вдруг... бунт! Куда «проникнуть» собрался? по какому случаю «рассмотреть»? что задумал «обсудить»? Кто это говорит? Кто зачинщик? Тяпкин-Ляпкин зачинщик? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Выходит из рядов Тяпкин-Ляпкин и отдувается. Разумеется, ищут, где у него шкура, и не находят. На нет и суда нет — ступай с глаз долой... бунтовщик! Тяпкин-Ляпкин смотрит веселее: слава богу, отделался! Мы тоже наматываем себе на ус: значит, «проникать», «рассматривать», «обсуждать» не велено. А все-таки каким же образом дани платить? — вот, брат, так штука!

Должно же, однако, чем-нибудь разрешиться это недоумение. В сущности, впрочем, оно и разрешается, но только разрешение-то выходит бесплодное. А именно: разрешается всеобщим недомогательством и какою-то бесформенною, лишенною характерных признаков, тоскою.

Безмерно и как-то тягуче тоскует современный русский человек; до того тоскует, что, кажется, это одно и обуславливает его живучесть. Благодаря тоске он кое-как еще барахтается, бьется и сознает себя человеком. Не будь ее, он, наверное, допустил бы болоту засосать себя. Тоскует он и дома, но не стыдится и в люди свою тоску нести. В надежде, разумеется,

что прикосновение нового жизненного строя хоть сколько-нибудь облегчит измученное сердце. Как бы не так! Эти «новые жизненные строи» не только не освежают и не облегчают, а, напротив, еще больше замучивают. Памяти-то ведь никакими «новыми строениями» не отшибешь...

По крайней мере, нечто подобное случилось недавно со мною. И дома живучи, я не знал, куда уйти от тоски, но как только пропал из глаз вержболовский ручей, так я окончательно почувствовал себя отданным в жертву унынию. Дома мне все-таки казалось — разумеется, это был обман чувств, не больше, — что я что-нибудь могу: наблюсти, закричать караул, ухватить похитителя за руку; а тут даже эта эфемерная надежда исчезла. Тоска, одна тоска — и ничего больше. Думал, что хоть швейцарские «превратные толкования» на время заслонят тоску — ничуть не бывало! Превратных толкований нет и в помине (не нарочно же их разыскивать!), а тоска сосет да сосет. И об чем тоска? — *risum teneatis, amici!*¹ — тоска об деле, вовсе до меня не относящемся.

Позволю себе небольшое отступление.

Было время, когда в литературе довольно ходко пропагандировалось, что России предстоит возвестить миру «новое слово». Мысль эта, сама по себе похвальная, не имела, однако ж, успеха благодаря тому, что никто из провозвестников «нового слова» не дал себе труда объяснить, хотя приблизительно, в чем состоит его содержание. Трубные звуки какие-то, потом многоточия, потом опять трубные звуки — разве это объяснение? Признаюсь откровенно, в числе скептиков был и я. Возвестители «нового слова» представлялись мне вроде чревоушателей, которые урчания собственной утробы принимают за прорицания пифии. Чем-то подозрительным от них отдавало: не то кудесничеством, не то проспектусом о вновь изобретенной мази для ращения волос. Даже не тайною (хотя и тайна в деле пропаганды никуда не годится), а секретом.

Теперь, однако ж, я начинаю догадываться, в чем заключалась причина неуспеха этих людей. А именно: не в отсутствии «нового слова», но в том, что возвестители брали слишком высокую ноту. Они искали *неизвестного* «нового слова» и, не обладая достаточной изобретательностью, чтоб выдумать его, ни достаточным проворством, чтоб осуществить «невидимых вещей обличение», думали заменить это трубными звуками, многоточиями и криком. Тогда как им следовало только осмо-

¹ не смейтесь, друзья!

треться кругом себя, чтобы просто с полу находку поднять, и притом не одну, а целую уйму таких. Именно только осмотреться, без чревоуважительств, без трубных звуков, без науги. Бери полной горстью из кошницы — и сей!

Да, я убежден, что даже на улице, на каждом шагу можно услышать слова, которые для западного человека покажутся не только новыми, но и совершенно неожиданными. Правда, я не скажу, чтоб эти слова были отменные, но, по моему мнению, качество слов — дело наживное. Сегодня нехорошее слово сказали, завтра — и того хуже скажем, а послезавтра — возьмем да и вымолвим. И вдруг объявится просияние, «его же тьма не объят»... Только спрашивается: долго ли оно продержится, просияние-то этс? А нуте, признавайтесь! кто из вас иллюминацию эту устроил? кто зачинщики? Тяпкин-Ляпкин зачинщик? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Возьмем для примера хоть эту фразу: «тоска об неотносящемся деле» — разве что-нибудь подобное известно западному человеку? По западным понятиям, «неотносящимся» делом называется или то, к которому человек недостаточно подготовлен, или то, для успешного ведения которого он не имеет соответствующих способностей, или, наконец, то, из которого он, вследствие своей нравственной испорченности, может сделать источник злоупотреблений. Так, например, берейтор не может творить суд и расправу; идиоту не предоставляется уловлять человеческие сердца; вору не вручается ключ от кассы; расточителю не дозволяется быть распорядителем общественного или частного достояния. Ибо, повторяю, все это, по западным понятиям, дела «неотносящиеся». Напротив того, негодовать по поводу подобных дел, ежели они по временам прорываются в жизнь, требовать их разъяснения и преследования — это не только считается «относящимся» делом, но и для всякого честного человека обязательным.

Я, разумеется, далек от того, чтобы утверждать, что русская жизнь имеет исключительно дело с берейторами, идиотами и расточителями, но для меня вполне несомненно, что всякое негодующее и настойчивое слово, посланное навстречу расхищению и идиотству, неизбежно и как-то само собой зачисляется в категорию «неотносящихся» дел. Такой-то украд... да не у вас ведь — какое вам дело? Такой-то идиотски сгубил целую массу людей... да не вас ведь сгубил — какое вам дело? Такой-то позорным образом расхитил и расточил вверенное его охране имущество... да ведь не ваше — какое вам дело? Вот ответы, какие дает обыденная жизненная практика на негодующие и настойчивые запросы. Она снисходительно отнесется к вору, ходатайствующему по *своему* делу, и

назовет беспокойным, безалаберным (а может быть, даже распространителем «превратных толкований») человека, которому дорого дело *общее*, дело его страны.

Да, нельзя даже на минуту усомниться, что подобные отношения к интересам, мало-мальски выходящим из тесной сферы личных требований, действительно представляют для западного человека «новое слово». Но вопрос: нужно ли ему это слово?

Затем самая «тоска» — разве это не «новое слово» для западного человека? Западный человек может негодовать, ожесточаться, настаивать, но «тосковать» он положительно не умеет. Ни англичанин, ни француз, ни немец не сделают из тоски постоянного занятия и тем менее не будут хвалиться, что вот, дескать, мы страдаем «благородной» тоской. Ибо даже наиболее благороднейшая тоска — и та представляет собой нечто несознанное, безвыходное, свойственное лишь бессильным и недоумевающим людям. Человек ничего другого не видит перед собой, кроме «неотносящихся дел», а между тем понятие о «неотносящихся делах» уже настолько выяснилось, что даже в субъекте наиболее недоумевающим пробуждается сознание всей жестокости и бесчеловечности обязательного стояния с разинутым ртом перед глухой стеной. Очевидно, тут кроется мучительнейшее двоегласие, которое потому только не считается позорным, что оно все-таки составляет шаг вперед сравнительно с самодовольным стоянием с разинутым ртом. Но, чтоб сознать себя воистину человеком, во всяком случае, нужно выйти из этого двоегласия, нужно признать правду одного голоса и несостоятельность другого. Одним словом, нужно начать борьбу. А где же взять сил для борьбы? Увы! героизм еще не выработалось, а на добровольные уступки жизнь отзывается с такою обидною скаредностью, что целые десятилетия кажутся как бы застывшими в преднамеренной неподвижности. Остается один выход: благородным образом тосковать. Несомненно, что ничего подобного не встретишь ни у подошвы Пилата, ни на берегах Сены, ни на берегах Шпрее. Я, конечно, не хочу этим сказать, чтоб западный человек был свободен от забот, недоумений и даже опасностей, — всего этого у него даже более чем достаточно, — но он свободен от обязательного стояния с опущенными руками и разинутым ртом, и это в значительной мере облегчает для него борьбу с недоумениями. Так что в этом смысле наша «благородная тоска» воистину представляет для него «новое слово». Но спрашивается: нужно ли оно ему?

Еще пример (тоже намеченный уже выше). Всякое веяние, сколько-нибудь выходящее из пределов обыденности, всегда

представляется у нас чем-то злостным, требующим не регулирования, но подавления, и притом всегда же сопрягается с с представленном о «зачинщике». Обыкновенно таким зачинщиком является Тяпкин-Ляпкин. Этого Тяпкина-Ляпкина мнут и трут. Сотрут в порошок, думают: ну, теперь слава богу! Смотрят, а он опять вынырнул. И опять начинают мять и тереть. И так до сего дня. Коли хотите, этот вечный Тяпкин-Ляпкин, этот козел отпущения, в лице которого мы стараемся устранить «созревшие времена»,—ведь и это, пожалуй, тоже «новое слово» для западного человека, но опять-таки спрашивается: нужно ли оно ему?

Откровенно говоря, я думаю, что слова эти даже не представляют для западного человека интереса новизны. Несомненно, что и он в свое время прошел сквозь все эти «слова», но только *позабыл* их. И «неотносящиеся дела» у него были, и «тоска» была, и Тяпкин-Ляпкин, в качестве козла отпущения, был, и многое другое, чем мы мним его удивить. Все было, но все позабылось, сделалось ненужным...

Для нас-то нужно ли?

Впрочем, я и сам догадываюсь, что это вопрос праздный. Важность совсем не в том, нужно или не нужно то или другое явление, а в том, что, при известных условиях, и ненужное становится неизбежным. Поди достучись в этой массе дверей, которые сплошь наглухо заперты,—ведь только того и добьешься, что лоб себе разобьешь. Это даже уж не загадка, а какое-то колдовство, которое я назвал бы историческим, если б не боялся, чтоб этот эпитет не послужил прикрытием для всякого рода малодуший. Куда ни обернитесь, на всех лицах вы видите страстное желание проникнуть за пределы загадочной области, и в то же время на тех же лицах читаете какое-то фаталистическое осуждение: нет, не проникнуть туда никогда. Ужели это не колдовство? Ибо, в сущности, что означает это выражение «проникнуть», которое переполняет тоской все сердца? Означает ли оно взлом, насилие, бунт? Нет, оно означает стремление осветить и осмыслить жизнь. Ужели нужно еще доказывать, что такого рода стремление не только вполне естественно, но и не заключает в себе никаких угроз? Доказывать! да разве кому-нибудь доказательства нужны? Так лучше уже прямо, без рассуждений, принять на веру, что все эти стремления, надежды и порывы суть «неотносящиеся дела», которые злоухищренно и преднамеренно выдумал зачинщик Тяпкин-Ляпкин. Пускай он за них и ответит, а вы, не желающие подвергать себя участи Тяпкина-Ляпкина, вы должны позабыть об «неотносящихся делах» и только, в виде неизреченной льготы, можете слегка об них тосковать.

Эта тоска да будет вам во спасение. Пускай она освежает вашу память и не дает вам зачоченеть.

Слушать разглагольствия Удава и Дыбы и не чувствовать при этом глубочайшей тоски можно только под условием несомненного нравственного разложения. Ничему подобному западный человек не подвергается, потому что он во всякое время имеет возможность повернуться к сквернословию спиной и уйти. Но мы не можем так поступить. Мы обязаны выслушивать сквернословие и считаться с ним. И не по тому одному, что легкомысленное отношение к нему может смутить беспечальность нашего жития, но и потому, что некуда нам от него скрыться. В форме ли авторитета или в форме простой обыденности, так или иначе, но оно заставит нас выслушать себя. Слушай и чувствуй, как замирает весь организм под игом подавляющей тоски.

И заметьте, что основание этого сквернословия совсем не фантастическое, а прямо выхваченное из жизни. Ни Дыба, ни Удав ничего не выдумали, а только возвели в перл создания и издали в свет. Вы тоскуете об «увенчании здания», а Удав на это в упор напоминает об уставе о кантонистах. У вас в глазах мерещатся «гарантии», а Дыба подлавливает ваши мечтания и переводит их на свой подьячески определенный язык: учреждение управы благочиния. Каким образом произошли эти превращения? — это тайна; но вы чувствуете, что в основе тайны лежит жизненная практика. Ужели же можно представить себе, чтоб вы, партикулярный тоскующий человек, победили этих сквернословящих мудрецов, устами которых говорит сама жизнь?

Поэтому ежели я позволил себе сказать бесшабашным мудрецам, что они говорят «глупости», то поступил в этом случае, как западный человек, в надежде, что Мальберг и Бедерлей возьмут меня под свою защиту. Я заразился. Конечно, я заразился на самое короткое время и теперь готов принести в том раскаяние, но ужасно подумать, как я был опрометчив и даже несправедлив. Напротив того, они высказали в этом случае милосердие поистине неизреченное, ибо не только предоставили мне, по-прежнему, пользоваться правами состояния, но даже, по приезде в Петербург, никому о моем грубиянстве на зависящее распоряжение не сообщили. И я никогда не забуду этого одолжения. Буду себе потихоньку тосковать; но чтобы прерывать сквернословие особ. за которыми право на таковое признано самими регламентами... никогда!

Никогда, никогда и никогда, потому что, независимо от всяких других соображений, сквернословие это представляет такую неистощимую сокровищницу готовых «новых слов»,

которая навсегда избавляет от выдумок, а прямо позволяет черпать и приговаривать: нà, гнилой Запад, ешь! Только согласится ли он есть?

Итак, тоска, и ни малейшего превратного толкования. Тем не менее мысль, что представление о Швейцарии как-то обязательно отождествляется с представлением о превратных толкованиях, положительно отравляет путешествие по этой стране. Едешь в вагоне и во всяком соседе видишь сосуд злопахательства; приедешь в гостиницу и все думаешь: да где же они, превратные идеи, застряли? как бы их обойти? как бы не встретиться с «киевским дядей», который, пожалуй, не задумается и налгать? Оглянешься кругом — вся природа словно изнемогает под наплывом внутреннего ликования. Все блещет: и небо, и горы, и озёра. Даже гроза — и та летит навстречу, вся блистающая, вся пылающая целым пожаром сверканий. И что же! все это пропускаешь мимо глаз и ушей, ко всему прислушиваешься и присматриваешься вяло, почти безучастно... И почему?.. потому только, что впечатлительность уже заранее загажена предположением о каких-то «превратных толкованиях»... *Risum teneatis, amici!*

Дело было так. Сидел я лунными сумерками под сенью гигантских интерлакенских орешников и по секрету вел разговор с Юнгфрау. Вот, Юнгфрау, говорил я, кабы ты была в Уфимской губернии, и тебя бы причислили к лику башкирских земель. И отдали бы тебя за дешёво какому-нибудь бесшабашному советнику (как в старинной русской песне поется: «отдал меня сударь-батюшка за немилого; за немилого, за старого, за гадёнка»), который смотрел бы на тебя и роптал. Вот, мол, другим леса да поймы достались, а мне, в награду за любезно-верное житие, дылду отвалили — черта ли я с ней поделаю! И стояла бы ты в своей незапятнанной белой одежде, девственная, неоскверняемая взорами «знатных иностранцев», доверяющая сама себе... Но, разумеется, стояла бы до тех пор, пока, с размножением новоявленных башкирских припущенников, опыт не указал бы, что наступил час открыть на твоей вершине харчевню с арфистками. Тогда... ах, что бы мы тогда над тобою, Юнгфрау, сделали!

Так вопрошал я Юнгфрау, а луна между тем все ярче и ярче освещала белый лик Девственницы, и в соответствие с этим пуще и пуще разгоралось мое воображение. Незаметно для себя самого я стал прорицать, и, надо сказать правду, неплохо прорицал. Мнилось мне, будто бы старый бесшабашный советник (или, по выражению песни, «гадёнок»), скупая

скромными доходами, получаемыми с харчевни, ходатайствует о перенесении Юнгфрау в Кунавино, намекая при этом и о потребных на сей предмет прогонных и подъемных деньгах... Шлетя будто бы этот проект в Петербург и, разумеется, прежде всего рассматривается с точки зрения пользы российской промышленности, имеющей, «как известно», главный сбыт на нижегородской ярмарке... Образуется, конечно, комиссия; бесшабашный советник доказывает, что он патриот... Являются евреи... С одной стороны, «тормозят» дело, с другой — «подмазывают»... В городе ходят слухи, что в деле принимает участие баронесса Мухобоева, которая будто бы ездила в Берлин и уж переговорила с Мендельсоном... Остается, стало быть, в «последний раз» подмазать и двинуть... Но только что я было занялся окончательным разрешением вопроса, подлежит ли ходатайство мое удовлетворению или не подлежит, как вдруг мечтания мои оборвались. С соседней скамьи до меня совершенно отчетливо донеслись родные звуки.

— Послужил — и будет! — говорил неизвестный голос, — и заметь, я ни о чем никогда не просил, ничего не ждал... кроме спасибо! Простого русского спасибо... кажется, немного! И вот... Но нет, довольно, довольно, довольно!

Последовало минутное молчание; затем другой голос патетически продекламировал:

— Простого русского спасибо!.. *c'est bien dit... tu es un noble coeur, Théodor!*¹

— Конечно, я знаю, что мой час еще придет, — продолжал первый голос, — но уж тогда... Мы все здесь путники... *nous ne sommes que des pauvres voyageurs égarés dans ce pauvre bas monde...*² Но!

На этой угрожающей ноте голос пресекался. Мимо меня, по направлению к Неве, пронесся густой вздох... и все смолкло.

Можно себе представить, как встрепенулось при этих звуках мое русское сердце! Я жадно начал вглядываться сквозь лунные сумерки и после некоторых усилий успел рассмотреть двух «знатных иностранцев», которых лица показались мне несколько знакомыми. Действительно, собравши мои воспоминания, я, наконец, доискался. То были два графа: граф Твердоонтó и граф Мамелфин. Первый из них, в свое время, был знаменит и, подобно прочим подвижникам русской земли, мечтал об увенчании здания; но, получив лишь скудное образование в кадетском корпусе, ни до чего не мог додуматься,

¹ хорошо сказано... ты благородное сердце, Теодор!

² мы всего только бедные путешественники, заблудившиеся в этом жалком мире.

что было бы равносильно даже управе благочиния. Что-то необычайно смутное мелькало в его голове, чего ни он сам, ни его подчиненные не были в состоянии ни изловить, ни изложить. Какой-то вселенский смерч, который надлежало навсегда и повсеместно водворить и которому предстояло все знать, все слышать, все видеть и в особенности наблюдать, чтобы не было превратных идей и недоумок. Когда он излагал свои мысли,— излагал беспорядочно, с употреблением неподлежащих выражений,— то никто ничего не понимал, но всякий догадывался, что если дать этому безвыходному кадету волю, то он непременно учинит что-нибудь до того неизгладимое, чего впоследствии ни под каким видом не отскоблить. И, может быть, именно в силу этой неотскоблительности он и держался. Был такой момент, когда казалось, что русское общество одержимо сверхъестественным недугом, от которого может избавиться его только смерч. Тот смерч, о котором не упоминается ни в каких регламентах и перед которым всякий партикулярный человек, как бы он ни был злонравен, непременно спасует. Но Твэрдоонтó был кадет, и не спасовал. Настоящего смерча, положим, у него не вышло, но был ужас, было трясение великое. Все в страхе спрашивали себя: «кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто развязал?» — и не находили ответа. А граф Твэрдоонтó между тем гарцевал и все твердил одно и то же слово: смерч, смерч, смерч! К счастью, на пути его встретились препятствия. Во-первых, кадетская полуграмотность и сопряженное с нею неумение дать форму смутности обуревающих чувств и, во-вторых, — что важнее всего — неумение держаться на высоте, не наполнив вселенной болтовней и хвастовством. Не успел еще Удав прийти на помощь мятущемуся кадету, чтобы формулировать учение о вселенском смерче, как кадет уж шарахнулся. Шарахнулся, как мальчишка, которого за лганье и непотребные шашни исключили из «заведения».

Что же касается до графа Мамелфина, то он был замечателен лишь тем, что происходил по прямой линии от боярыни Мамелфы Тимофеевны. Каким образом произошел на свет первый граф Мамелфин — предания молчали; в документах же объяснялось просто: «по сей причине». Этот же девиз значился и в гербе графов Мамелфиных. Но сам по себе граф, о котором идет речь, ничего самостоятельного не представлял, а был известен только в качестве приспешника и стремянного при графе Твэрдоонтó.

Эта встреча произвела на меня двойственное впечатление. Прежде всего меня объял священный ужас. Вспомнились стихи:

Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог...

И в то же время как-то само собою сказалось: а ну, как укусит? Хотя у нас на этот счет довольно простые приметы: коли кусается человек — значит, во власти находится, коли не кусается — значит, наплевать, и хотя я доподлинно знал, что в эту минуту графу Пустомыслову даже нечем кусить; но кто же может поручиться, совсем ли погасла эта сопка или же в ней осталось еще настолько горючего матерьяла, чтоб и опять, при случае, разыграть роль Везувия? Разве не бывало примеров, что и в оставленных храмах вновь раздавались урчания авгуров, что и низверженные кумиры вновь взбирались на старые пьедесталы и начинали вращать слезными очами? Но главную роль, повторяю, все-таки играл священный ужас, который заставляет невольно трепетать при мысли: вот храм, в котором еще недавно курились фимнамы и раздавалось пение и в котором теперь живет домовой!

Но с другой стороны, меня так и подмывало устроить какую-нибудь проказу. Раб ведь я, а потому что же мудреного, что меня привлекают только удовольствия вероломства. Потрясти когда-то злонравного, а ныне бессильного идола за нос: что, мол, небось еще жив? Узнать, чем он теперь пробавляется, и достаточно ли одних воспоминаний о смерче, чтоб поддерживать жизнь в этом идольском организме? Толкнуть его как бы невзначай, посмотреть ему запанибрата в глаза, похлопать по плечу... Одним словом, проделать все, что истинно русское подневольное вероломство повелевает. И в конце концов попытаться, действительно ли это «оставленный храм», а не...

И вдруг меня осенила мысль: скажусь репортером от газеты «И шило бреет» и явлюсь побеседовать. Нынче ведь насчет этого строго: явился репортер — хочешь не хочешь, а распоясывайся! Даже если Подхалимов или «наш парижский корреспондент» зайдет, — и тут держи ухо востро! Ежели спросит: где воспитание получил? — отвечай скромно: воспитание получил недостаточное, но, будучи одарен от природы светлым умом, и т. д. Ежели спросит: что означает слово «смерч»? — отвечай: слово сие русское, в переводе на еврейский язык означающее: Вифезда... Но, может быть, ты не знаешь, что такое Вифезда? — Вифезда, братец, это купель Силоамская. — А купель Силоамская что? — Ах, братец мой, какой же ты...

Обыкновенный партикулярный человек ни за что подобных вопросов не предложит, — не сочтет себя вправе, — а Подхалимов предложит. Подхалимовы — это особенная порода

такая объявилась, у которой на знамени написано: ври и будь свободен от меры! Всюду проникнет Подхалимов; придет к Гамбетте — Гамбетту проэкзаменует; потом съездит к Гладстону — и его обнюхает. А то и не ездивши скажет: был. Чем больше к человеку Подхалимовых шляется, тем несомненное для темного люда, что тот человек славен. А ежели к кому совсем Подхалимов не заезжает, то это означает, что человек тот изображает собой даже не «храм оставленный», а упраздненную ретираду. И в эту ретираду сам «наш парижский корреспондент» не зайдет, а, зажав нос, пробежит мимо.

Гм... а что, ежели и в самом деле прикинуться Подхалимовым?

Сказано — сделано. Не откладывая дела в дальний ящик, я сейчас же отправился в гостиницу и предварил графа о своих намерениях следующим письмом:

«Сиятельнейший граф!

Я — Подхалимов, и завтра, в десятом часу утра, буду у Вашего сиятельства. Нет сомнения, что Вы заранее угадываете значение и цель этого визита. Вы — одна из недавних звезд современного горизонта; я — скромный репортер газеты «И шило бреет». Но в самой скромности я представляю собой силу. Русская публика имеет право знать, как предполагаете Вы поступить с нею в том случае, ежели фортуна вновь улыбнется Вам. Фортуна слепа, сиятельнейший граф! и Вам, больше нежели кому-нибудь, должно быть это известно. Не желая застать Вас врасплох, я даю Вашему сиятельству эту ночь на размышление.

С истинным почтением и проч.

Iwan de Podkhalimoff».

На другой день, в назначенный час, я уже стоял в швейцарской аристократического отеля Jungfraublick (chambres à partir de 4 fr., déj. 2, dîn. 5, serv. 1, boug. 1, omnib. 1 fr. 50 c.)¹ и требовал графа Твэрдоонтò к ответу. Я пришел в черном сьоте, в сиреневого цвета перчатках и в лакированных полусапожках; волосы мои были напомажены, лицо — вымыто. На губах играла улыбка, говорившая, что я обрадован и польщен, но в глазах, на всякий случай, светилась гражданская скорбь. Общее выражение лица внушало доверие. С своей стороны, граф не заставил меня ждать и вышел ко мне, одетый в лег-

¹ «Вид на Юнгфрау» (комнаты для приезжающих от 4 фр., завтраки 2, обеды 5, прислуга 1, свеча 1, омнибус 1 фр. 50 с.).

кую жакетку и в белый однобортный жилет с светлыми пуговицами, застегнутыми сверху донизу à la militaire¹. Это был мужчина средних лет (между 45 и 50), высокого роста, бравый и нимало не отяжелевший. Выражение его лица я затрудняюсь определить, но знаю, что оно напомнило мне свеженаписанный масляными красками портрет, по которому неосторожный прохожий слегка задел рукавом. Нечто смутное и в то же время... как бы благородное. Но подлинно ли благородное — на этот вопрос, по нынешнему времени, трудно ответить. Ибо бывает благородство, так сказать, самою природой на лице человека написанное, и бывает такое, которое «наводится» на лицо тщательными омовениями, употреблением соответствующих духов и мыл, долгими сеансами перед зеркалом и проч. Как бы то ни было, но он был, видимо, взволнован, хотя, подавая мне руку, ни одним мускулом не обнаружил, что это стоит ему усилий. Кажется, это называется на ихнем языке «выдержкой». С своей стороны, я сжал эту руку с почтительностью, к которой, однако ж, на всякий случай, примешал тонкий оттенок наглости. И тогда между нами произошел следующий colloquium².

ГРАФ И РЕПОРТЕР

ДРАМАТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР В ОДНОМ ЯВЛЕНИИ

Действующие лица:

Граф Твердоонтó, странствующий администратор.
Подхалимов, репортер русской газеты «И шило бреет».

Сцена представляет салон в хорошей гостинице; из окон вид на Юнгфрау.

Подхалимов (*в наглом восторге*). Ваше сиятельство! сиятельнейший граф!

Граф. Рад, очень рад. Очень рад с вами познакомиться, мсьё (*делает видимое усилие, чтоб произнести частицу «де»*)... де Подхалимов. Я всегда к услугам прессы. Ведь пресса — это нынче шестая держава, а в том числе и русская... «Печатать дозволяется» — так, кажется? (*Кличет.*) André Vous apporterez un carafon de Gorki pour monsieur^{3... 4} (*К Подхалимову.*) Подребляете?

¹ по-военному.

² разговор.

³ Андрей! Принесите господину графинчик горькой.

⁴ Водка горькая, двойная померанцовая, завода Штритера, продается за границей во всех débits de vins под именем Gorki. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

Подхалимов. Бросил-с... Конечно, путешествуя, например, по Волге... ваше сиятельство сами изволите знать... трудно, чтоб воздержаться совсем.

Граф *(с чувством)*. Я понимаю вас!

Подхалимов. А здесь это не в обычае, да притом и тепло-с...

Граф *(с возрастающим чувством)*. Я понимаю вас... *de Podkhalimoff!* *(Подает Подхалимову руку, которую последний принимает, слегка отделившись от стула.)*

Минутное молчание, в продолжение которого влетает в комнату муха и садится графу на нос. Граф хочет ее изловить, но убеждается, что это гораздо труднее, нежели уловлять людей. Наконец, Подхалимов успевает переманить муху на свой нос.

Граф. Благодарю вас. Ах, эти мухи! Вы, конечно, знаете стих Пушкина:

Красного лета отрава, муха несносная, что ты...

Charmant!¹ Кстати: вы были на этом празднике... в Москве?

Подхалимов *(смущенно, как бы предвидя опасность)*. Был, ваше сиятельство.

Граф *(внезапно вообразив себе, что он вновь призван к делам. Строго)*. И вместе с прочими... а? *(Машет указательным перстом перед носом Подхалимова.)*

Подхалимов *(уклончиво)*. Ваше сиятельство! ведь нынче дозволено-с!

Граф *(спохватившись)*. Да... нынче... я и забыл! А впрочем, я и всегда!.. Pouschkine! quel géant!² *(Декламирует.)*

Красного лета отрава, муха несносная, что ты...

Кстати о Пушкине. Я недавно с одним его родственником познакомился... Представьте себе! изо всего Пушкина знает только стих: «Мне вручила талисман»... Это... родственник!! А впрочем, довольно об этом; приступим к нашему делу. Прощу предлагать вопросы.

Подхалимов *(некоторое время собирается с мыслями)*. Граф! кто ваши родители?

Граф *(изумленно, но покоряясь своей участи)*. Я происхожу от боковой линии. Это несколько странно, но... Словом сказать, я — граф Твёрдоонт! Скажите, однако ж, разве прессе необходимо знать эти подробности?

Подхалимов. Пресса все должна знать, ваше сиятельство. *(Вынимает записную книжку и пишет: «найден в корзине*

¹ Великолепно!

² Пушкин! Что за исполни!

на крыльце; сравнить: *Moïse sauvé des eaux*¹.) Будем продолжать. Где ваше сиятельство изволили продолжать воспитание?

Граф. Я должен сознаться, что воспитание я получил недостаточное... в одном из кадетских корпусов. Но... (*хочет сказать нечто в свою похвалу*).

Подхалимов. Понимаю. Но впоследствии вы, конечно, постарались восполнить недостаток солидного образования чтением известных авторов?

Граф. Да, я читал довольно много. Всего Поль де Кока, всего Феваля и, наконец, «Напа»... Из серьезных писателей — Цитовича.

Подхалимов. Прекрасно-с. (*Записывает: «воспитание получил недостаточное, но, будучи одарен светлым умом, уже в чине поручика решился обогатить оный разнообразным чтением».*) Не имеете ли каких наружных пороков?

Граф (*выпрямляясь и опустив руки по швам*). Без отметин-с.

Подхалимов (*осматривает его*). Действительно! Но будем продолжать наш опрос. Граф! как вы думаете, обильно ли наше отечество?

Граф (*на минуту задумывается, как бы соображая*). Что вам сказать на это? Есть данные, которые заставляют думать, что да, есть и другие данные, которые прямо говорят: нет.

Подхалимов. Однако же, граф!

Граф. Признаюсь вам, я никогда не придавал этому вопросу особенной важности. Мне всегда казалось, что для нашего отечества нужно не столько изобилие, сколько расторопные исправники.

Подхалимов. Так что, например, ежели известную местность постиг неурожай, то, по мнению вашего сиятельства, достаточно послать в ту местность двоих исправников вместо одного, и вредные последствия неурожая устроятся сами собой?

Граф. Не вполне так, но в значительной мере — да. Бывают, конечно, примеры, когда даже экзекуция оказывается недостаточною; но в большинстве случаев — я твердо в этом убежден — довольно одного хорошо выполненного окрика, и дело в шляпе. Вот почему, когда я был при делах, то всегда повторял господам исправникам: от вас зависит — *все*, вам дано — *все*, и потому вы должны будете ответить — *за все!*

Подхалимов (*умиленный*). Ах, ваше сиятельство!

Граф (*одушевляясь*). Скажу вам откровенно: вся наша беда в том именно и заключается, что мы слишком охотно

¹ Моисей, спасенный из воды.

возбуждаем вопросы о неизобилии. Напоминая голодному об еде, мы тем самым, так сказать, искусственно вызываем в нем мысль о необходимости таковой. И притом, непременно в избылии. Тогда как если б мы этого не делали, то, наверное, из десяти случаев в девяти самые неизобильные люди сочли бы себя достаточно изобильными, чтоб, ввиду соответствующих напоминаний, своевременно выполнить лежащие на них повинности.

Подхалимов (*удивляясь премудрости*). Это, ваше сиятельство, в своем роде... идея!!

Граф (*хвастаясь*). В моей служебной практике был замечательный в этом роде случай. Когда повсюду заговорили о неизобилии и о необходимости заменить оное изобилием, — грешный человек, соблазнился и я! Думаю: надобно что-нибудь сделать и мне. Сажусь, пишу, предписываю: чтоб везде было изобилие! И что ж! от одного этого неосторожного слова неизобилие, до тех пор тлевшее под пеплом и даже казавшееся изобилием, — вдруг так и поползло изо всех щелей! И такой вдруг сделался голод, такой голод...

Подхалимов. Но, конечно, ваше сиятельство...

Граф (*играя брелоками*). Через месяц спокойствие было водворено.

Подхалимов. Ах!! (*Хочет бежать.*)

Граф. Успокойтесь, de Podkhalimoff, потому что теперь все это уж сделалось достоянием истории. Но тогда я вынужден был так поступить. Почему вынужден? — а потому просто (*смешивает настоящее с прошедшим*), что для меня главное — чтоб в пределах моего ведомства царствовало спокойствие. И чтоб никто ничего не говорил. Когда все спокойны — и я спокоен; когда я спокоен — и все спокойны. А ежели при этом все довольствуются тем «изобилием», какое кому предназначено — я своим, вы — своим, то лучше и не надо. Такова моя система. Не дальше, как сегодня, призвав моего секретаря (*вдруг вспоминает, что он не более как «достояние истории»*)... Тьфу! Продолжайте, прошу вас.

Подхалимов (*записывает: «об изобилии России думает, что изобильна, но не весьма; недостаток сей полагает устранить, удвоив комплект исправников»*). Граф! какого вы мнения о русском народе?

Граф (*постепенно утрачивает стыд*). Различного. Русский народ добр, гостеприимен и... легковверен. Таковы его хорошие стороны, но и только. Подлинно добродетельным он едва ли может сделаться, ибо чересчур пристрастен к спиртным напиткам.

Подхалимов. Но вы забываете, ваше сиятельство, что

акциз с спиртных напитков представляет собой добрую часть нашего бюджета, и следовательно...

Граф. Не только не забываю, но всечасно о том помышляю. И даже, однажды, быв спрошен по этому предмету, отвечал так: если б русский мужик и добровольно отказался от употребления спиртных напитков, то и тогда надлежало бы кроткими мерами вновь побудить его возвратиться к оным.

Подхалимов. Но, в таком случае, каким образом согласовать ваше требование, чтоб русский мужик был добродетелен, с таким, можно сказать, бюджетным осуждением его на обязательное пьянство?

Граф (*разводит руками*). Вот это именно и есть... наша ахиллсова пята!

Подхалимов. Но так как на этой пяте покоятся все наши упования, то выходит, что и во всех исходящих отсюда распоряжениях должна главным образом господствовать ахиллсова пята? Или, говоря иными словами, русский бюрократ...

Граф. Не доканчивайте. C'est terrible, mais... c'est vrai!¹

Подхалимов (*записывает: «о свойствах русского народа мнения хорошего, но не вполне; полагает, что навсегда осужден пить водку»*).

Граф (*вновь смешивает прошедшее с настоящим*). Много у нас этих ахиллесовых пят, mon cher monsieur de Podkhali-moff! и ежели ближе всмотреться в наше положение... ah, mais vraiment ce n'est pas du tout si trou-la-la qu'on se plaît à le dire!² Сегодня, например, призываю я своего делопроизводителя (*вновь внезапно вспоминает, что он уже не при делах*)... тьфу!

Подхалимов (*почтительно, но не без наглости*). Ваше сиятельство! простите меня, но мне кажется, что вы... огорчены?!

Граф (*с достоинством осматривает Подхалимова с ног до головы*). Чем... сударь?

Подхалимов (*заискивающе*). А хоть бы тем, ваше сиятельство, что вы находитесь в невозможности излить на Россию всю ту массу добра, которую вы предназначили для нее в вашем добром русском сердце?!

Граф (*восчувствовав*). Вы правы... мой друг! (*Подает ему руку.*) Au fond, je suis bon³. И я люблю Россию... La Russie! Swiataïa Rouss! parlez-moi de ça!⁴ (*Хлопает себя по ляжке.*) Сколько беспокойных ночей я провел, думая, что бы такое

¹ Это ужасно, но... это правда!

² ах, но по-настоящему это совсем не такие пустяки, как об этом любят говорить!

³ В сущности, я добр.

⁴ Россия! Святая Русь! Что и говорить!

придумать... И представьте себе — всегда и везде один ответ: ахиллесова пята! Не далее как час тому назад я говорил моему другу, графу Мамелфину: да сделаем же хоть что-нибудь для России... И хоть убей! Смотрите! вон он о сю пору ходит под орехами... Но вряд ли что-нибудь выдумает!

Подхалимов (*смотрит в окно*). Ничего не выдумает, ваше сиятельство. Но, во всяком случае, уже и то приятно, что ваши сиятельства изволите любить Россию и, стало быть, находите ее заслуживающею снисхождения... Не правда ли, граф?

Граф. Ежели вы хотите, чтоб я откровенно выразил мое мнение, то скажу вам: да, Россия виновата. Она во многих отношениях ведет себя неделикатно и, в особенности, не ценит... заслуг! Но я не злопамятен, мой друг! и, разумеется, если когда-нибудь потребуют, чтоб я определил степень ее виновности, то я отвечу: да, виновна, но в высшей степени заслуживает снисхождения. Подхалимов! вы, конечно, имеете понятие об идее, которою я руководился, когда был при делах. Сознаюсь, это была идея несколько суровая. Я хотел все видеть, все слышать, все знать. Разумеется, это было необходимо мне для того, чтоб иметь возможность вырвать с корнем плевела, а добрым колосьям предоставить дозреть, дабы употребить их в пищу впоследствии. Повторяю: это была идея грандиозная, благодетельная, но... чересчур суровая! В настоящее время я понял это и значительно-таки смягчил свою систему. И знаете ли — почему?

Подхалимов. Почему, ваше сиятельство?

Граф. А потому, мой друг, что, думая вырывать плевела, я почти всегда вырывал добрые колосья... То есть, разумеется, не всегда... однако!

Подхалимов (*содрогаясь при мысли, что и он мог быть вырванным*). Ах, ваше сиятельство!

Граф (*восторженно*). И в довершение всего, представьте себе: желая все знать — я ничего не знал; желая все видеть и слышать — я ничего не видал и не слышал. Одно время я просто боялся, что сойду с ума!

Подхалимов. Значит, только напрасно изволили беспокоиться... А впрочем, я полагаю, что и особенно тревожиться тем, что вырвано больше добрых колосьев, чем плевел, нет причин. Ведь все равно, если б добрые колосья и созрели — все-таки ваше сиятельство в той или другой форме скушали бы их!

Граф. Непременно! Только это соображение и утешает меня. Потому что, признаюсь, я порядочно-таки в свое время напроказил.

Подхалимов. Но ныне... Как бы ваше сиятельство поступили, если б отечество вновь обратилось к вам и к графу Мамелфину с ключем: «шестуйте, сыны!»?

Граф. Я думаю, что мы предпочли бы сидеть смиренно и получать присвоенное содержание. Ах, верьте мне, что в наше время это самая плодотворная внутренняя политика!

Подхалимов. Но ахиллесовы пяты, ваше сиятельство! надо же какое-нибудь насчет их распоряжение сделать?

Граф. Я думаю, что они заживут сами собой. Но, впрочем, разумеется, ежели бы...

Подхалимов. То-то вот и есть, что «впрочем»... Трудно, ваше сиятельство! трудно, стоя на известной высоте, воздержаться, чтоб не сделать хоть маленького распоряженьица! Положим, что ахиллесовы пяты и сами собой заживут, но ведь это когда-то будет! А между тем вашим сиятельствам хочется, чтоб поскорее...

Граф. А что вы думаете... ведь это очень-очень верное замечание! Вы глубоко изучили человеческую душу, Подхалимов! Но если б даже было и так... что ж, я готов! (*Неожиданно вынимает из кармана трубу и трубит*):

Рассыпьте, молодцы!
За горы, за кусты!
По-два в ряд!

Подхалимов (*наскоро записывает: «отечество любит и даже находит заслуживающим снисхождения; но, впрочем, готов поступить и по всей строгости законов». Встает*). Ваше сиятельство! не смею больше утруждать вас! Хотя вопросы так и теснятся в голове, но вижу, что ваше сиятельство уже изволите испытывать потребность в иных развлечениях... (*Становится в позытуру.*) Ваше сиятельство! Позвольте вам доложить! Никогда не проводил я времени так приятно и не выносил таких для себя поучений, как в течение сегодняшнего нашего собеседования! И, мне кажется, если б я мог следовать только влечению моего сердца... (*Хочет сделать что-то нехорошее, но только в бессилии машет руками.*) Ваше сиятельство! позвольте, во всяком случае, надеяться, что эта беседа не будет последнею?

Граф (*пристально смотрит на Подхалимова*). Подхалимов! говорите откровенно! вы хотите водки?

Подхалимов (*после мгновенного колебания*). Па-азвольте, ваше сиятельство!

Приносят графин водки и рюмку. Подхалимов наливает.
Занавес медленно опускается.

Следя за современным жизненным процессом, я чаще всего поражаюсь постепенным оскудением нашего бюрократического творчества. И именно за последнее время как-то особенно обострилось это явление. Прежде, бывало, все распоряжения с «понеже» начинались. «Понеже — например — из практики других стран явствует, что свобода книгопечатания, в рассуждении смягчения нравов, а такжеде приумножения полезных промыслов и художеств, зело великие пользы приносит, и хотя генерал-маёр Отчаянный таковой отрицает, но без рассудка. Того ради *признано за благо*: цензурное ведомство упразднить на вечные времена, на место же оного учредить особый попечительный о науках и искусствах комитет, возложив на таковой наблюдение, дабы в Российской империи быстрым разумом Невтонам без помехи процветать было можно». Не длинно, но чрезвычайно хорошо. Или, по протечении времени, наоборот: «Понеже из опыта, а такжеде из полицейских рапортов усматривается, что чрезмерное быстрых разумом Невтонов размышление приводит не к смягчению нравов, но токмо к обременению должностных мест и лиц излишнею перепискою, в чем и наблюдения генерал-маёра Отчаянного согласно утверждают. И того ради *приказали*: Попечительный о разномножении Невтонов комитет упразднить, а на место оного восстановить цензурное ведомство в прежних пределах, предписав таковому наблюсти, дабы впредь Невтонам проявлять себя неповадно было». Опять не длинно и хорошо. Видно, что выдумщик не только сам сознаёт мотивы своей выдумки, но желает, чтоб эти мотивы были признаны и теми, до кого выдумка относится. Было ваше времечко, господа, пожуировали; теперь «времечко» прошло. Почему прошло? — потому что «из опыта и полицейских рапортов усматривается...». Право, хорошо. Напротив того, ныне пишут не длинно, но нехорошо. Оттого ли, что потухло у бюрократии воображение, или оттого, что развелось слишком много кафешантанов и нет времени думать о деле; как бы то ни было, но в бюрократическую практику мало-помалу начинают проникать прискорбные фельдъегерские предания. Ни «понеже», ни «поелику» — ничего уже нет; осталось одно безнадежное слово: пошел!

Но что́ всего замечательнее, это оскудение творчества замечается именно только в сфере бюрократии — и нигде больше.

Начать хоть с законов. Во всей обширной сфере законодательства вы не только не встретитесь с оскудением, но, напротив, скорее найдете излишество творчества. Прочтите указы губернаторам, губернским правлениям, палатам государственных имуществ, врачебным управам — чего только тут не предусмотрено? Затем проштудируйте осьмой, двенадцатый, трина-

дцатый и четырнадцатый томы — какое богатство прозорливости, попечительности и даже фантазии! И везде в выноске либо «понеже», либо «поелику». Человеку предстоит только родиться, а там уж и пошла писать. Так было, по крайней мере, лет пятнадцать, двадцать тому назад, а теперь... я не знаю даже, не упразднены ли все эти законы совсем? Знаю, например, что палаты государственных имуществ, врачебные управы, строительные комиссии и проч. упразднены, но между кем распределены все «поелику» и «понеже», которые были на них возложены, — не знаю. Вероятно, если внимательнее поискать, то в какой-нибудь щелке они и найдутся, но, с другой стороны, сколько есть людей, которые, за упразднением, мечутся в тоске, не зная, в какую шель обратиться с своей докукой?

Или возьмите сферу русского адвокательства. Тут что ни шаг, то богатство фантазии, что ни слово, то вымысел. И, к чести сословия нужно сказать, вымысел — всегда мотивированный. Ни один самый плохонький адвокат не начнет защитительную речь ни с «тем не менее», ни с «а дабы» (а граф Твэрдоонтó так именно и начнет), но непременно какой-нибудь фортель да выкинет. Особенно ежели по соглашению. Соглашение — святое дело; оно подстрекает адвоката, поддерживает в нем бодрость, обязывает быть изобретательным. Ежели сумеешь убедить судей — вот деньги: ешь, пей и веселись! ежели не сумеешь — вот шиш. В сей крайности поневоле будешь выдумывать. А затем, выдумывая да выдумывая, получишь привычку быть изобретательным и в делах по назначению поручаемых. Тогда как чиновнику — какая корысть? Будет ли он мозгами шевелить или не будет — все одно двадцатого числа наравне с другими жалованье получит. А иногда даже и зазорно мозгами шевелить: пусть лучше не я, а какая-нибудь бестия шевелит! Конечно, можно за эти провинности места лишиться, или награды к празднику не получить, но и тут лазеечка есть: тетенька попросит. А в адвокатском сословии даже самые лучшие тетеньки — и те не помогут. Отдувайся, как знаешь, сам...

Об литературе и говорить нечего: известно, что голь на выдумки хитра. Литература живет выдумкой, и чем больше в ней встречается «понеже» и «поелику», тем осязательнее ее влияние на мир. Говорят, будто современная русская литература тоже, подобно бюрократии, предпочитает краткословность винословности, но это едва ли так. Действительно, литература наша находится как бы в переходном положении, именно по случаю постепенного упразднения того округленного пустословия, которое многим принималось за винословность, но, в сущности, эта последняя совсем не изгнана, а только препод-

носится не в форме эмульсии, а в виде пилюли — глотай! Но если бы даже литература и впрямь захудала, то это явление случайное и временное. Для литературы нет расчета «худать», потому что и в ней принцип соглашения с читателями играет главную роль. Хочешь не хочешь, а шевели мозгами, уловляй сердца, убеждай!

Одним словом, везде, куда ни обратитесь, везде вы увидите проникновение возбуждающего начала, которое устраняет преждевременное одряхление. В одной только бюрократической профессии это начало отсутствует. Правда, что все эти «понеже» и «поелику», которыми так богаты наши бюрократические предания, такими же чиновниками изобретены и прописаны, как и те, которые ныне ограничиваются фельдъегерским окриком: пошел! — но не нужно забывать, что первые изобретатели «понеже» были люди свежие, не замученные, которым в охотку было изобретать. То было время насаждения наук и художеств, фабрик и заводов, армий и флотов. И дело было новое, и люди новые — от этого и «понеже» выходило само собой, независимо от надежды на увеличение окладов. А нынче все это примелькалось, прислушалось, приелось. Иной и рад бы «понеже» вернуть — ан у него с души прет. Вот он и тянет канитель, дела не делает, от дела не бегаёт. А прикрикнут на него, заставят какую ни на есть выдумку по начальству представить — он присядет на минуту, начертит: «пошел!» — и готов.

Вероятно, в этих видах начали ныне прибегать к комиссиям. Все, дескать, на народе постыднее будет. Но тут опять другая беда: с представлением о комиссии неизбежно сопрягается представление о пререканиях. Одному нравится арбуз, другому — свиной хрящик. А так как в чиновничьем мире разногласий не полагается, то, дабы дать время арбузу войти в соглашение с свиным хрящиком, начинают отлынивать и предаваться боковым движениям. Собирают справки, раздают командировки, делаются извлечения из архивных дел, а «понеже» тем временем спит да спит непробудным сном. Да вряд ли когда-нибудь и проснется, потому что для того, чтоб осуществилось это пробуждение, необходимо, чтоб оно кого-нибудь интересовало. А кого же оно может интересовать? Те два члена, которые на первых порах погорячились и упорно остались один при арбузе, другой — при свином хрящике, давно уж махнули на все рукой. «Нёчего сказать, — находка! — рассудили они, — собрали какую-то комиссию, нагнали со всех сторон народу, заставили о светопреставлении толковать, да еще и мнений не выражай: предосудительно, вишь!» И кончается обыкновенно затея тем, что «комиссия» глохнет да глох-

нет, пока не выищется делопроизводитель попредприимчивее, который на все «труды» и «мнения» наложит крест, а внизу напишет: «пошел!» И готово.

Сознаюсь откровенно: я никак не могу понять, почему пререкания считаются в настоящее время предосудительными. Пререкания в качестве элемента, содействующего правильному ходу административной машины, издавна были у нас в употреблении, и я даже теперь знаю старых служаек, которые не могут вспоминать об них иначе, как с умилением. Еще недавно Удав объяснял мне:

— В пререканиях власть почерпала не слабость, а силу-с; обыватели же надежды мерцание в них видели. Граф Михаил Николаевич — уж на что суров был! — но и тот, будучи на одре смерти и собрав сподвижников, говорил: отстаивайте пререкания, друзья! ибо в них — наш пантеон!

А Дыба с своей стороны удостоверил:

— Что положение пререкателей было небезопасно — это так; что большинство их кончало служебную карьеру, рассеянное по лицу земли, — и это верно. Но бывали, однако ж, случаи, когда и скромный голос советника губернского правления достигал до ступеней-с...

И затем, застыдившись и крикнув (дело, очевидно, касалось его личности), присовокуплял:

— Я сам один пример такой знаю. Простой советник, а на целую губернию сенаторский гнев навлек-с. Позвольте вас спросить: если б этого не было, могла ли бы истина воссиять-с?

Как хотите, а я положительно стою на стороне Удава и Дыбы. Конечно, я понимаю, что собственно «пантеона» тут нет, но ежели уж ничего другого не выработалось, то пусть остаются хоть пререкания. Если нет подлинной надежды, то пусть будет хоть мерцание надежды. Если нет подлинных перспектив, то пусть остается в перспективе «сенаторский гнев». Не приходится нам быть прихотливыми, и до тех пор, покуда в основании нашей жизни лежит пословица: выше лба уши не растут, то ладно будет, если хоть кой-какие обрывочки «перспектив» на нашу долю выпадут. Если что выпадет — лови! а не выпадет — жди и воспитывай в себе «надежды мерцание». Все-таки хоть что-нибудь, а не голое «ничего». Что же касается до власти, то и в этом отношении я согласен с Удавом: не слабость она почерпала в пререканиях, а силу. Прежде всего, общее правило: ежели надоел пререкатель, то ничего не стоит его расточить — разве это не сила? А затем и другая сила: обыватель, зная, что у него есть за спиной пререкатель, смотрит веселее, думает: пока у нас Иван Иванович в советниках

сидит, опасаться мне нечего. Так что ежели Иван Иванович сидит долго (бывали в старину, по упущению, и такие случаи), то обыватель начинает даже гордиться и впадает в самонадеянный тон. «Совсем уж у нас не такая форма правления, как внутренние враги пишут! нет! у нас чуть немного... Иван Иванович как раз сократит!»

Право, это было очень удобно. И прежде всего удобно для самой бюрократии, потому что смягчало ее ответственность и ограждало ее репутацию от нареканий. А главное, заставляло ее мотивировать свои действия, и в «понеже» и «поелику» искать прибежища от внезапностей. Мысль остепенялась, да и сам бюрократ смотрел осанистее, умнее. А обыватель утешался тем, что он хоть что-нибудь да понимает...

Но опытные служаки идут еще дальше. Удав, например, охотно брал на себя даже защиту ябедников и ябедничества, и опять-таки ссылался на авторитет графа Михаила Николаевича.

— Вы, сударь, не шутите с ябедниками,— говорил он мне,— в древние времена ябедник представлял собою сосуд, в котором общественная скорбь находила единственное и всегда готовое убежище. И без торгу, сударь; бери двугривенный и пиши! За двугривенный человек рисковал, что его и в бараний рог согнут, и в табак сотрут, и туда зашвырнут, куда вóрон костей не заносил! Где нынче таких героев сыщешь! И сколько, спрошу я вас, было нужно скорбей, сколько презрения к жизненным благам в сердце накопить, чтобы, несмотря ни на какие перспективы, в столь опасном ремесле упражнение иметь? Всю жизнь видеть перед собой «раба лукавого», все интересы сосредоточить на нем одном и об нем одном не устаючи вопиять и к царю земному, и к царю небесному — сколь крепка должна быть в человеке вера, чтоб эту пытку вынести! А сколько их погибло... всячески погибло-с! и под бременем презрения от своих, и под начальственным давлением! Полки можно было бы из этих ревнителей поруганной общественной совести сформировать!

— Но какую же пользу они могли приносить, коль скоро с ними так легко можно было по всей строгости поступить? — возражал я.

— А ту пользу, что сегодня, например, десять «ябедников» загублено, а завтра на их месте новых двадцать явилось! А кроме того, смотришь, одного какого-нибудь и проглядели. Сидел он где-нибудь тихим манером в кабачке, пописывал да пописывал — глядь, ан в губернию сенаторский гнев едет! Откуда? как? кто навлек?.. Ябедник-с!

Как это ни странно с первого взгляда, но приходится согла-

ситься, что устами Удава говорит сама истина. Да, хорошо в те времена жилось. Ежели тебе тошно или Сквозник-Дмухановский одолет — беги к Ивану Иванычу. Иван Иваныч не помог (не сумел «застоять») — недалеко и в кабак сходить. Там уж с утра ябедник Ризположенский с пером за ухом ждет. Настроил, запечатал, послал... Не успел оглянуться — вдруг, динь-динь, колокольчик звенит. Кто приехал? Иван Александров Хлестаков приехал! Ну, слава богу!

Я не утверждаю, конечно, чтоб все это, вместе взятое, представляло настоящие гарантии; я говорю только, что было мерцание надежд. Были пререкания (даже два чиновника специально для пререканий: прокурор и жандармский штаб-офицер; им же предоставлялось отирать слезы), были ябедники. Теперь пререкания признаны предосудительными, а ябедники, с распространением хороших манер, извелись сами собой. Вместе с ними извелось и исчезло достопочтенное «понеже», которое так или иначе, но все-таки остепеняло разнузданную бюрократическую мысль и налагало на нее известные обязанности. Все прочее осталось. То есть остался граф Твэрдоонтó с теорией повсеместного смерча и с ее краткословной формулой: пошел!

Мне скажут, быть может, что теория смерча оказалась, однако ж, несостоятельною, и вследствие этого граф Твэрдоонтó ныне уже находится не у дел. Стало быть, правда воссияла-таки...

А сколько он народу погубил, покуда его теория оказалась несостоятельною? И кто же поручится, что он не воспрянет и опять? что у него уж не созрела в голове теория кукиша с маслом, и что он, с свойственною ему ретивостью, не поспешит положить и эту повинку на алтарь отечества при первом кличе: шествуйте, сыны!

По-настоящему мне следовало бы, сейчас же после свидания с графом Твэрдоонтó, уехать из Интерлакена; но меня словно колдовство прищипило к этому месту. В красоте природы есть нечто волшебно действующее, проливающее успокоение даже на самые застарелые увечья. Есть очертания, звуки, запахи до того ласкающие, что человек покоряется им совсем машинально, независимо от сознания. Он не анализирует ни ощущений своих, ни явлений, породивших эти ощущения, а просто живет как очарованный, чувствуя, как в его организм льется отрада.

Нечто подобное испытал и я. Всякая дребедень лезла мне в голову: и теория смерча, и теория кукиша с маслом, и еще

какая-то совсем новая теория умиротворения, но не без участия строгости и скорости. Но и за всем тем чувствовалось хорошо. Эти тающие при лунном свете очертания горных вершин с бегущими мимо них облаками, этот опьяняющий запах скошенной травы, несущийся с громадного луга перед Hohenweg, эти звуки иодля, разносимые странствующими музыкантами по отелям,— все это нежило, сладко волновало и покоряло. И я, как в полусне, бродил под орешниками, предаваясь пестрым мечтам и не думая об отъезде.

Само собой разумеется, что в этих мечтаниях немалое место занимала и литература. Русские газеты получают и в Интерлакене, а тут, как раз кстати, и в иностранных и русских журналах появились слухи о предстоящих для нашей печати льготах. Натурально, я взволновался: но что всего страннее, мне показалось, что вместе со мною взволновался и весь Интерлакен. Думалось, что на меня все смотрят с каким-то напряженным любопытством, словно у всех — даже у кельнеров — одна мысль в голове: освободят его или окончательно упекут?

Что касается до меня лично, то я не только не ставил себе никаких вопросов, но просто-напросто заранее предвкушал. Мне нравился молодой задор русских газет, которые в один голос предвещали конец административному произволу и громко призывали на печать кары суда. Все глаза как-то разом раскрылись, и жизнь без суда вдруг оказалась нестерпимейшей из обид, когда-либо ниспосланных разгневанным небом для усмирения бунтующей человеческой плоти. Одно только смущало: ни в одной газете не упоминалось ни о том, какого рода процедура будет сопровождать предание суду, ни о том, будет ли это суд, свойственный всем русским гражданам, или какой-нибудь экстраординарный, свойственный одной литературе, ни о том, наконец, какого рода скорпионами будет этот суд вооружен. Я знал, что русская печать вообще скромна и потому о многом умалчивает; но тут мне показалось, что скромность как будто и не совсем уместна. Разумеется, нам, как литераторам, оно понятно, что по суду и скорпиона приятно проглотить,— особенно ежели он запущен на точном основании,— но ведь надо же, чтоб и публика поняла, почему судебный скорпион считается более подходящим, нежели скорпион административный. Поэтому восторг восторгом, а все-таки не худо было хоть сторонкой заявить: от суда, мол, мы не прочь, но только нельзя ли постараться, чтоб оный вместить было можно.

Виноват: было и еще одно смущающее обстоятельство. Радуясь предстоящему пришествию судебных скорпионов,

газеты, к сожалению, не воздержались от издевок над скорпионами административными. Вот, мол, сколько вы ни старались, а в результате все-таки получили шиш! Если вы изыскивали средства, то и литература изыскивала средства. Выдумаете вы, бывало, какую-нибудь выдумку и воображаете себе: ну, теперь будет крепко! а литература возьмет да другую выдумку выдумает, и окажется, что вы палите из пушек по воробьям. А потому уходите-ка лучше вы с глаз долой, бессильные, постылые, неумелые! и очистите место другим, кои это дело в аккумуляте поведут!

Признаюсь откровенно: этого даже и я, литератор, не понял. Положим, что административные скорпионы были бессильны и что литература находила возможность ускользать от них... Но в чем же тут неудобство? и для чего, вместо мнимых скорпионов, понадобились скорпионы подлинные?..

Я почти тридцать пять лет литераторствую, не пользуясь покровительством законов, но и за всем тем не ропщу. Бывали, правда, огорчения, и даже довольно сильные — иногда казалось, что кожу с живого сдирают, — но когда приходила беда, то я припоминал соответствующие случаю пословицы и... утешался ими. Бывало, призовут, побранят — я скажу себе: брань на восток не виснет. Или, бывало, местами оцщиплют, а временем и совсем изувечат — я скажу себе: до свадьбы заживет. В моих глазах, произвол имеет ту выгодную сторону, что он для всех явно несомнителен. Он не может ни оскорбить, ни подлинно огорчить, а может только физически измучить. Никому не придет в голову справляться, правильно или неправильно поступил произвол, потому что всякому ясно, что на то он и произвол, чтоб поступать без правил, как ему в данную минуту заблагорассудится. Так что ежели у произвола и была жестокая сторона, к которой очень трудно было привыкнуть, то она заключалась единственно в том, что ни один литератор не мог сказать утвердительно, что он такое: подлинно ли литератор или только сонное мечтание. Дунул — и нет его.

Тем не менее для меня не лишено важности то обстоятельство, что в течение почти тридцатипятилетней литературной деятельности я ни разу не сидел в кутузке. Говорят, будто в древности такие случаи бывали, но в позднейшие времена было многое, даже, можно сказать, все было, а кутузки не было. Как хотите, а нельзя не быть за это признательным. Но не придется ли познакомиться с кутузкой теперь, когда литературу ожидает покровительство судов? — вот в чем вопрос.

Я боюсь кутузки по двум причинам. Во-первых, там должно быть сыро, неприятно, темно и тесно; во-вторых — кутузка,

несомненно, должна воспитывать целую тучу клопов. Право, я положительно не знаю такого тяжкого литературного преступления, за которое совершивший его мог бы быть отданным в жертву сырости и клопам. Представьте себе: дряхлого и больного литератора ведут в кутузку... ужели найдется каменное сердце, которое не обольется кровью при этом зрелище?

Тем не менее покуда я жил в Интерлакене и находился под живым впечатлением газетных восторгов, то я ничего другого не желал, кроме наслаждения быть отданным под суд. Но для того, чтоб это было действительное наслаждение, а не перифраза исконного русского озорства, представлялось бы, по мнению моему, бесполезным обставить это дело некоторыми иллюзиями, которые прямо засвидетельствовали бы, что отныне воистину никаких препон к размножению быстрых разумом Невтонов полагаемо не будет. А именно:

1) Чтобы процедура предания суду сопровождалась не сверхъестественным, а обыкновенным порядком.

2) Чтобы суды были тоже не сверхъестественные, а обыкновенные, такие же, как для татей.

3) Чтобы кутузки ни под каким видом по делам книгопечатания не полагались. За что?

Ежели эти мечтания осуществляются, да еще ежели денежными штрафами не слишком доносить будут (подумайте! где же бедному литератору денег достать, да и на что?.. на штрафы), то будет совсем хорошо.

Я помню, эта триада так ясно сложилась в моей голове, что, встретив в тот же вечер под орешниками графа Твэрдоонтò, я не выдержал и сообщил ему мой проект.

С первого абцуга он даже одобрил.

— Вы логичны, Подхалимов! — сказал он мне, — и, в сущности, быть может, даже правы. Я удивляюсь полету вашей фантазии и нахожу ваш вымысел в высшей степени благородным... но!

Но потом вдруг засверкал глазами и забормотал:

— Но пресса... вы понимаете?.. вы говорите, что это сила... прекрасно!.. но сила... и притом... Откуда, спрашиваю вас, зло?.. Но положим, однако ж... допустим, что это сила... пусть будет по-вашему... Но это сила... О! го-го-го!

Он не выдержал и, вынув из кармана трубу, протрубил:

Трубят в рога!
Разить врага!
Давно пора!

И зачем только я этот разговор завел?!

Но вопрос об оскудении бюрократического творчества продолжал терзать меня. Я видел пагубные последствия этого поветрия на графе Твёрдоонтò и не мог не трепетать за будущее России. Этот человек дошел наконец до такой прострации, что даже слово «пошел!» не мог порядком выговорить, а как-то с присвистом, и быстро выкрикивал: «п-шёл!» Именно так должен был выкрикивать, мчась на перекладной, фельдъегерь, когда встречным вихрем парусило на нем полы бараньего полушубка и волны снежной пыли залепляли нетрезвые уста. Но замечательно, что тот же самый Твёрдоонтò, как только речь касалась предметов его компетентности, говорил не только складно, но и резонно. Так, например, однажды при мне зашел у него с Мамелфиным разговор о том, что есть истинная кобыла и каковы должны быть у нее статьи? — и я решительно залюбовался им. Совсем другой человек стоял передо мной. Умен, образован, начитан и... доброжелателен. И он знал кобылу, и кобыла знала его. Общие положения, выводы, цитаты — так и сыпались...

Как бы то ни было, но я решился от самого графа Твёрдоонтò добиться разъяснения этой тайны.

— Граф! — сказал я, встретившись с ним, — будьте так добры разрешить мое недоумение: отчего наше бюрократическое творчество до такой степени захудало?

— Я вас не понимаю, — ответил он холодно, оглядывая меня с ног до головы.

— Позвольте пояснить примером. Отчего, например, как только дело коснется вопросов внутренней политики, или благоустройства, или, наконец, экономии, — вы ничего не имеете сказать, кроме: «п-шёл!»

Он вновь пылливо взглянул на меня, как бы подозревая, не расставляю ли я ему ловушку. Но в голосе моем не слышалось и тени озорства; одна душевная теплота — и ничего больше. Он понял это.

— Вы правы, мой друг! — сказал он с чувством, — я действительно с трудом могу найти для своей мысли приличное выражение; но вспомните, какое я получил воспитание! Ведь я... я даже латинской грамматики не знаю!

— Ах, ваше сиятельство, это ужасно!

— Вот Мамелфин — тот счастливее меня! Он Евтропия в своем «заведении» переводил!

— Но если вас не учили латинской грамматике, то в чем же состояло ваше воспитание?

— Нас заставляли танцевать, фехтовать, делать гимнастику. В низших классах учили повиноваться, в высших — повелевать. Сверх того: немного истории, немного географии,

чуть-чуть арифметики и, наконец, краткие понятия о божестве. Вот и все. Виноват: заставляли еще вытверживать басни Лафонтена к именинам родителей...

— Ваше сиятельство! не помните ли какой-нибудь басенки? — вдруг разохотился я.

— Помню и даже с удовольствием прочитаю.

И он, не выжидая дальнейших просьб, начал:

*Maître corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage...¹*

Он декламировал так мило и так детски отчетливо, что даже посторонние прохожие останавливались и любовались.

— Прекрасно! — похвалил я, — но понимаете ли вы, граф, смысл этой басни?

Он на минуту задумался.

— До сих пор, — сказал он, — я не думал об этом; но теперь... понимаю! Знаете ли вы, Подхалимов, что в этой басне рассказана вся моя жизнь?

— Это весьма возможно, граф!

— Именно так. Было время, когда и я во рту... держал сыр! Это было время, когда одни меня боялись, другие — мне льстили. Теперь... никто меня не боится... и никто не льстит! Как хотите, а это грустно, Подхалимов!

— Бог милостив, ваше сиятельство!

Он не отвечал и некоторое время, понутив голову, шел рядом со мной по аллее.

— Моя жизнь — трагедия! — начал он опять, — никто не видел столько лести, как я, но никто не испытал и столько вероломства! Ужасно! ужасно! ужасно!

— Ваше сиятельство! позвольте вам доложить! Это всегда так бывает. Коль скоро человек взбирается на высоту, не зная латинской грамматики, то естественно, что это наводит на всех страх. А где страх, там, конечно, и лесть. Зато потом, когда обнаруживается, что без латинской грамматики никак невозможно, и когда, вследствие этого, человек оказывается несостоятельным и падает, тогда, само собой разумеется, страх и лесть исчезают, а вместо них появляется озорство и вероломство. По крайней мере, так идет эта процедура у нас.

— Понимаю я это, мой друг! Но ведь я человек, Подхалимов! Homo homo, как говорит Мамелфин... то бишь, как дальше?

— Homo sum et nihil humani a me alienum puto², — подска-

¹ Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

² Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.

зал я,— то есть: человек есмь и ни один человеческий порок не чужд мне...

— Вот видите ли! Разве легко мне примириться с моим настоящим положением?

— Знаю, что не легко, граф, но, по моему мнению, слишком огорчаться все-таки не следует. Фортуна слепа, ваше сиятельство, а бог не без милости. Только уж тогда нужно покрепче сыр-то во рту держать.

— Натурально!

— Но ежели, ваше сиятельство, это случится... Позвольте надеяться, сиятельнейший граф!

— Натурально! И даже... непременно! Вы будете, так сказать... Но только с одним условием... скажите, вы не будете льстить мне, Подхалимов?

— Никак нет-с, ваше сиятельство!

— И вы будете всегда говорить мне правду? одну только правду?

— Точно так, ваше сиятельство!

— Touchez la! ¹

Он протянул мне руку и затем вдруг дрогнул всем телом и... обнял меня! Это было до того несогласно с обычаями Интерлакена, что Юнгфрау мгновенно закутала свою вершину в облако, а сидевшая поблизости англичанка вскрикнула: shocking! ² — и убежала.

— Но довольно об этом! — сказал граф взволнованным голосом,— возвратимся к началу нашей беседы. Вы, кажется, удивлялись, что наше бюрократическое творчество оскудевает... то есть в каком же это смысле? в смысле распоряжений или в другом каком?

— Нет, ваше сиятельство, не в смысле распоряжений. Распоряжений и нынче очень довольно, но мотивировки у распоряжений нет. Трудно понять-с.

— Гм... да; но как же, по вашему мнению, помочь этому?

— Конечно, необходимо прежде всего обратить внимание на воспитание...

— Да, но ведь это длинная история! Покуда вы воспитанием занимаетесь, а между тем время не терпит!

— Точно так, ваше сиятельство. И я, в сущности, только для очистки совести о воспитании упомянул. Где уж нам... и без воспитания сойдет! Но есть, ваше сиятельство, другой фортель. Было время, когда все распоряжения начинались словом «понеже»...

— «Понеже»... это, кажется, «поелику»?

¹ По рукам!

² неприлично!

— Браво, граф! Именно оно самое и есть. Так вот, извольте видеть...

И я изложил ему в кратких словах, но ясно, всю теорию «понеже». Показал, как иногда полезно бывает заставлять ум обращаться к началам вещей, не торопясь формулированием изолированных выводов; как это обращение, с одной стороны, укрепляет мыслящую способность, а с другой стороны, возбуждает в обывателе доверие, давая ему возможность понять, в силу каких соображений и на какой приблизительно срок он обязывается быть твердым в бедствиях. И я должен отдать полную справедливость графу: он понял не только оболочку моей мысли, но и самую мысль.

— Как же, по-вашему, я поступать должен? — спросил он меня.

— Очень просто, граф. Каждый раз, как вы соберетесь какое-нибудь распоряжение учинить, напомните себе, что надо начать с «понеже», — и начните-с!

— Поясните, прошу вас, примером.

— Примером-с? ну, что бы, например? Ну, например, в настоящую минуту вы идете завтракать. Следовательно, вот так и извольте говорить: понеже наступило время, когда я имею обыкновение завтракать, завтрак же можно получить только в ресторане, — того ради поеду в ресторан (или в отель) и закажу, что мне понравится.

— Но ежели я не голоден?

— Ах, ваше сиятельство! Тогда извольте говорить так: понеже я не голоден, то хотя и наступило время, когда я имею обыкновение завтракать, но понеже...

— Вот видите! два раза понеже!

— Это от поспешности, граф. А результат все один-с: того ради в отель не пойду, а останусь гулять в аллее...

— По-ни-ма-ю!

— И увидите, ваше сиятельство, как вдруг все для вас делается ясно. Где была тьма, там свет будет; где была внезапность, там сама собой винословность скажется. А уж любить-то, любить-то как вас все за это будут!

— Вы говорите: будут любить?.. за что?

— Ах, ваше сиятельство! да ведь, благодаря вам, все свет увидят! Ведь и в кутузке посидеть ничего, если при этом сказано: понеже ты заслужил быть вверженным в кутузку, то и ступай в оную!

— По-ни-ма-ю!.. Однако вы напомнили мне, что и в самом деле наступило время, когда я обыкновенно завтракаю... да! как бишь это вы учили меня говорить? Понеже наступило время...

— Того ради... так точно-с! с богом, ваше сиятельство!

— Прощайте, Подхалимов... до свидания!

Он сделал мне ручкой и, насвистывая: поне-е-же! пошел перевалочкой по направлению к курзалу. Я тоже хотел отправиться восвояси, но вдруг вспомнил нечто чрезвычайно нужное, и поспешил догнать его.

— Ваше сиятельство! — спросил я, — знаете ли вы, что такое рубль?

Он взглянул на меня с недоумением, как бы спрашивая: это еще что за выдумка?

— Я знаю, — продолжал я, — вы думаете: рубль — это денежный знак...

— Но... *sapristi!*¹ надеюсь...

— В том-то и дело, что это не совсем так. Чтоб сделаться денежным знаком, рубль должен еще заслужить. Если он заслужил — его называют монетною единицей, если же не заслужил — желтенькою бумажкой.

— Гм... но если б это было даже и так, для чего мне это нужно знать?

— Ах, ваше сиятельство! вам обо всем необходимо необременительные сведения иметь! бог милостив! вдруг, паче чаяния, не ровён час...

— Да; но даже и в таком случае... Рубль так рубль, бумажка так бумажка...

— А вы попробуйте-ка к этому делу «понеже» приспособить — ан выйдет вот что: «Понеже за желтенькую бумажку, рублем именуемую, дают только полтинник — того ради и дабы не вводить обывателей понапрасну в заблуждение, *Приказали*: низшим местам и лицам предписать (и предписано), а к равным отнестись (и отнесено-с), дабы впредь, до особого распоряжения, оные желтенькие бумажки рублями не именовать, но почитать яко сущие полтинники».

— Ну-с, дальше-с.

— А дальше опять: «Понеже желтенькие бумажки, хотя и по сущей справедливости из рублей в полтинники переименованы, но дабы предотвратить происходящий от сего для казны и частных лиц ущерб, — того ради *Постановили*: употребить всяческое тщание, дабы оные полтинники вновь до стоимости рубля довести»... А потом и еще «понеже», и еще, и еще; до тех пор, пока в самом деле что-нибудь путное выйдет.

— Позвольте! а ежели ничего не выйдет?

— Ну, тогда уж как богу угодно...

— По-ни-ма-ю!

¹ черт побери!

Одним утром, не успев я еще порядком одеться, как в дверь ко мне постучалась номерная прислужница («la fille»¹, как их здесь называют) и принесла карточку, на которой я прочитал: Théodor de Twerdoontò. Он ожидал меня в читальном салоне, куда, разумеется, я сейчас же и поспешил.

— Подхалимов! — сказал он мне, — вы литератор! вы это можете... Напишите из моей жизни трагедию!

— С удовольствием, граф, — ответил я.

— Таковую трагедию, чтоб все сердца... ну, буквально, чтоб все сердца истерзались от жалости и негодования... Подлецы, льстецы, предатели — чтоб все тут было! Одним словом, чтоб зритель сказал себе: понеже он был окружен льстецами, подлецами и предателями, того ради он ничего полезного и не мог совершить!

— Понимаю, ваше сиятельство! Только все-таки позвольте подумать: надо эту мину умеючи подвести.

— Я рассчитываю на вас, Подхалимов! Надо же, наконец! надо, чтоб знали! Человек жил, наполнил вселенную громом — и вдруг... нигде его нет! Вы понимаете... нигде! Утонул и даже круга на воде... пузырей по себе не оставил! Вот это-то именно я и желал бы, чтоб вы изобразили! Пузырей не оставил... поймите это!

Он быстро повернулся и пошел к выходу, очевидно, желая скрыть от меня охватившее его волнение. Но я вспомнил, что для полного успеха предстоящей работы мне необходимо одно очень важное разъяснение, и остановил его.

— Ваше сиятельство! позвольте один нескромный вопрос, — сказал я, — когда человек сознаёт себя, так сказать, вместилищем государственности... какого рода чувство испытывает он?

Он остановился против меня и глубоко взволнованным голосом произнес:

— C'est un sentiment... ineffable!!²

Первый акт был через час кончен мною. Содержание его составляло воспитание графа Твэрдоонтò. Молодой граф требует, чтоб его обучали латинской грамматике, но родители его находят, что это не комильфò, и вместо латинской грамматики, заставляют его проходить науку о том, что есть истинная кобыла? Происходит борьба, в которой юноша изнемогает. Действие оканчивается тем, что молодой граф получил атте-

¹ «девушка».

² Это чувство... невыразимо!!

стат об отличном окончании курса наук (по выбору родителей) и, держа оный в руках, восклицает: «Вот и желанный аттестат получен! но спросите меня по совести, что я знаю, и я должен буду ответить: я знаю, что я ничего не знаю!»

Граф прочитал мою работу и остался ею доволен, так что я сейчас же приступил к сочинению второго акта. Но тут случилось происшествие, которое разом прекратило мои затеи. На другой день утром я, по обыкновению, прохаживался с графом под орешниками, как вдруг... смотрю и глазам не верю! Прямо навстречу мне идет, и даже не идет, а летит обнять меня... действительный Подхалимов!!

Вся эта сцена продолжалась только одно мгновение. В это мгновение Подхалимов успел назвать меня по фамилии, успел расцеловать меня, обругать своего редактора, рассказать анекдот про Гамбетту, сообщить, что Виктор Гюго — скупердьяй, а Луи Блан — старая баба, что он у всех был, мед-пиво пил...

Граф смотрел на эту сцену и понимал только одно: что я не Подхалимов. Казалось, он сбирался проглотить меня...

И он непременно проглотил бы, если б я не распорядился заблаговременно провалиться сквозь землю...

.....
Само собой разумеется, что через полчаса я уже оставил Интерлакен, а вместе с тем и Швейцарию.

Но для чего мне понадобилось быть в оной?

IV

С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание.

Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этот лагерь уже не имел ни малейшего влияния на подрастающее поколение, и мы знали его лишь настолько, насколько он являл себя прикосновенным к ведомству управы благочиния. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которое за-

нималось популяризирова­нием положений немецкой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабё, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда.

В России — впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорились, имели «образ жизни». Ходили на службу в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для беседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции. Россия представляла собой область, как бы застланную туманом, в которой даже такое дело, как опубликование «Собрания русских пословиц», являлось прихотливым и предосудительным; напротив того, во Франции все было ясно как день, несмотря на то, что газеты доходили до нас с вырезками и помарками. Так что когда министр внутренних дел Перовский начал издавать таксы на мясо и хлеб, то и это заинтересовало нас только в качестве анекдота, о котором следует говорить с осмотрительностью. Напротив, всякий эпизод из общественно-политической жизни Франции затрогивал нас за живое, заставлял и радоваться, и страдать. В России все казалось поконченным, запакованным и за пятью печатями сданным на почту для выдачи адресату, которого заранее предположено не разыскивать; во Франции — все как будто только что начиналось. И не только теперь, в эту минуту, а больше полустолетия сряду все начиналось, и опять и опять начиналось, и не заявляло ни малейшего желания кончиться...

Наверное, девяносто девять сотых из нас никогда не бывали ни во Франции, ни в Париже. Следовательно, нас не могли восхищать ни бульвары, ни кокотки (в то время их называли еще лоретками), ни публичные балы, ни съестное раздолье. Все это пришло уже потом, когда Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию, когда люди странным образом обезличились, измельчали и потускнели и когда всякий интерес, кроме чревного, был объявлен угрожающим. Но ежели наши сердца не изнывали тоской по шатобрианам или *barbue sauce Mornay*¹, зато мы не могли без сладостного трепета помыслить о «вели-

¹ камбале под соусом Морнэ.

ких принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда пронестало. А так как местожительством этих «принципов» предполагался город Париж, то естественно, что симпатии, ощущаемые к принципам, переносились и на него.

Но в особенности эти симпатии обострились около 1848 года. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана. Теперь, когда уровень требований значительно понизился, мы говорим: «Нам хоть бы Гизо — и то слава богу!», но тогда и Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшатель, и Тьер — все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л. В. Дубельт), успех которых огорчал, неуспех — радовал. Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо по этому поводу, палата, составленная из депутатов, нагло называвших себя *conservateurs endurcis*¹, наконец, февральские банкеты, — все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера.

Я помню, это случилось на масляной 1848 года. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми. Именно всеми, потому что хотя тут было множество людей самых противоположных воззрений, но, наверно, не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии (и даже, благодаря принятым мероприятиям, очень скоро) сделалось как бы нормальной окраской русской интеллигенции. Старики грозили очами, бряцали холодным оружием, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала бескорыстные восторги. Помнится, к концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобного рода известия доходили до публики как-то неправильно и по секрету). Затем, в течение каких-нибудь двух-трех дней, пало регентство, оказалось несостоятельным эфемерное министерство Одилона Барро (этому человеку всю жизнь хотелось кому-нибудь послужить и наконец удалось-таки послужить Бонапарту), и в заключение бежал сам Луи-Филипп. Провозглашена была республика, с временным правительством во главе; полились речи, как из рога изобилия... Но даже ламартиновское словесное распутство — и то не претило среди этой массы крушений и рождений. Громадность события скрадывала фальшь отдельных подробностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес.

¹ закоренелыми консерваторами.

Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этой неистощимостью жизненного творчества, которое вдобавок отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства. И вот, вслед за возникновением движения во Франции, произошло соответствующее движение и у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте, я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат вятского губернского правления. Все это, конечно, сделалось не так быстро, как во Франции, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился в Петербург лишь через семь с половиной лет, когда не только французская республика сделалась достоянием истории, но и у нас мундирные фраки уже были заменены мундирными полукафтанами.

Словом сказать, мыслительный процесс шел совсем обратным путем, нежели теперь. Мысль искала пищи в сферах отдаленных, оставаясь совершенно равнодушною к родным сферам. Судьбы министра Бароша интересовали не в пример больше, нежели судьбы министра Клейнмихеля; судьбы парижского префекта Мопà — больше, нежели судьбы московского оберполицеймейстера Цынского, имя которого нам было известно только из ходившего по рукам куплета о брандмайоре Тарновском¹. Человек того времени настолько прижился в атмосфере, насыщенной девизом «не твое дело», что подлинно ему ни до чего *своего* не было дела. Так что избирательная борьба между Кавеньяком и Бонапартом, несомненно, больше занимала русские мыслящие умы, нежели, например, замена действительного тайного советника Перовского генералом-от-инфантерии Бибиковым 1-м.

В таком положении нас застала севастопольская кампания.

Это было время глубокой тревоги. В первый раз, из крошечной тьмы, выдвинулось на свет божий «свое» и вспугнуло

¹ Вот этот куплет:

Брандмайор Тарновский
Тем себя представил,
Что красы Санковской
Цынскому представил.

Этим немногими строками, по-видимому, исчерпывались все «отличные заслуги» и Тарновского и Цынского: один представил (может быть, при рапорте), другой — получил. Весь же остальной «кондуит» представляет гарнир из сквернословия, зуботычин и нагаек, настолько общеизвестный, что даже куплета не стоило сочинять. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

не только инстинкт, но и умы. До тех пор это «свое» пряталось за целою сетью всевозможных формальностей, которые преднамеренно были комбинированы с таким расчетом, чтоб спрятать заправскую действительность. Теперь вся эта масса формальностей как-то разом оказалась прогнившею и истлела у всех на глазах. Из-за прорех и отребьев тления выступило наружу «свое», вопиющее, истекающее кровью. Вся Россия, из края в край, полна была стонами. Стонали русские солдатики и под Севастополем, и под Инкерманом, и под Альмою; стонали елабужские и курмышские ополченцы, меся босыми ногами грязь столбовых дорог; стонали русские деревни, провозжая сыновей, мужей и братьев на смерть за «ключи».

Останься равнодушным к этим стонам, не почувствовать, что стонет «свое», родное, кровное,— было немисливо. Но лучезарный лик Франции все-таки мало пострадал при этом. Казалось (да и в действительности так было), что причина всех бедствий заключается единственно в Бонапарте, этом постыднейшем из бандитов, когда-либо удручавших мир позором своего тяготения. Он один был виноват; он, бесчестный, ненавистный и втайне презираемый, но упитанный и самодовольный; он и шайка бандитов, помогшая ему зарезать Францию. У ног его лежало пораженное испугом людское стадо, а массы «лучших людей» изнывали в ссылках и в изгнании. Но именно к ним, к этим лучшим людям, и стремились все наши помыслы. И ежели мы не смешивали Францию с Луи-Филиппом и его министрами, то тем меньше были склонны смешивать ее с Бонапартом и его шайкой. Франция являлась перед нами растоптанною, но незапятнанною, и продолжала светить в лице ее изгнанников.

Тем не менее, повторяю, сознание «своего» уже теплилось. И ежели бы обстоятельства сложились благоприятнее, то, несомненно, оно прошло бы и через дальнейшие стадии развития. Но тогдашние времена были те суровые, жестокие времена, когда все, напоминающее о сознательности, представлялось не только нежелательным, но даже более опасным, нежели бедственные перипетии войны. По крайней мере, такого мнения держался тот безыменный сброд, который в то время носил название русского «общества». Благодаря своекорыстному и пустомысленному настроению этого сброда, незаметно потонули первые, робкие проблески сознательного отношения русской мысли к русской действительности. Рядом с величайшей драмой, все содержание которой исчерпывалось словом «смерть», шла позорнейшая комедия пустословия и пустохвальства, которая не только застилала события, но положительно придавала им нестерпимый колорит. Люди, заве-

домо презренные, лицемеры, глупцы, воры, грабители-пропойцы, проявляли такую нахальную живучесть и так укрепились в своих позициях, что, казалось, вокруг происходит нечто сказочное. Не скорбь слышалась, а какое-то откровенно подлое ликование, прикрываемое рубрикой патриотизма. Никогда пьяный угар не охватывал так всецело провинцию, никогда жажда расхищения не встречала такого явного и безнаказанного удовлетворения. Кости старого Политковского стучали в гробе; младенец Юханцев задумывался над вопросом: ужели я когда-нибудь превзойду? Среди этой нравственной неурядицы, где позабыто было всякое чувство стыда и боязни, где грабитель во всеуслышание именовал себя патриотом, человеку, сколько-нибудь брезгливому, ничего другого не оставалось, как жаться к стороне и направлять все усилия к тому, чтоб заглушить в себе даже робкие порывы самосознательности. Лучше было совсем не знать «своего», нежели на каждом шагу встречаться лицом к лицу с постыднейшими его проявлениями.

С окончанием войны пьяный угар прошел и наступило веселое похмелье конца пятидесятых годов. В это время Париж уже перестал быть светочем мира и сделался сокровищницей женских обнаженностей и съестных приманок. Нечего было ждать оттуда, кроме модного покроя штанов, а следовательно, не об чем было и вопрошать. Приходилось искать пищи около себя... И вот тогда-то именно и было положено основание той «благородной тоске», о которой я столько раз упоминал в предыдущих очерках.

В 1870 году Франция опять напомнила о себе, но и тут между ею и людьми, симпатизирующими ей, стоял тот же позорный бандит. Дилемма была такова: если восторжествует Франция, то, вместе с нею, восторжествует и бандит; ежели восторжествует Пруссия, то, боже милостивый, каким истязаниям подвергнет она ненавистную «страну начинаний», которая в течение полустолетия не уставаючи была тревогу? Наконец, однако ж, бандит пал. Целых осемнадцать лет ругался он над трупом им же убитой Франции и теперь предоставил Пруссии довершить дело поругания. Но этого мало: как бы мстя за свою осемнадцатилетнюю безнаказанность, бандит оставил по себе конкретный след, в виде организованной шайки, которая и теперь изъявляет готовность во всякое время с легким сердцем рвать на куски свое отечество.

Лично я посетил в первый раз Париж осенью 1875 года. Престол был уже упразднен, но неподалеку от него сидел Мак-Магон и все что-то собирался состряпать. Многие в то время не без основания называли Францию Макмагоншей, то

есть страну капралов, стоящих на страже престол-отечества в ожидании Бурбона. С первых же шагов, и именно в Аврикуре (по страсбургской дороге), я слышал капральские окрики. Ни медленности, ни проволочек со стороны пассажиров не допускалось, ни пол, ни возраст, ни недуги — ничто не принималось в оправдание. Капрал действовал с полным неразумием и держал себя тупо-неумолимо. Это был капрал наполеоновского пошиба (*à roigne*¹), немыслимый ни в какой другой стране. Русский капрал непременно начал бы калякать, объяснять, что он тут ни при чем, а во всем виновато начальство. Немецкий капрал — принял бы талер и уронил бы благодарную слезу. Один французский капрал-бонапартист в состоянии тарачить глаза, как идол, и ничего другого не выказывать, кроме склонности к жестокому обращению.

На человека, которому с пеленок твердили о пресловутой *urbanité française*², эти капральские окрики действуют ужасно неприятно. С досады приходит на мысль нечто не совсем великодушное. Вот, думается, если б эти капралы с такою же неуклонностью поступали в 1870 году с Пруссией, — может быть... Но кто же может сказать, что бы тогда вышло! Вероятнее всего, сидел бы Бонапарт и увенчивал бы да увенчивал здание... А теперь в это здание затесался Мак-Магон и делает оттуда пруссаку книксен, а на безоружных пассажиров покрикивает: *les voyageurs — dehors!*³

Но Париж все-таки пришелся мне по душе. Чистый город, светлый, свободно двигающийся, и, главное, враг той немотивированной, граничащей с головной болью, мизантропии, которая так упорно преследует заезжего человека в Берлине. Самый угрюмый, самый больной человек — и тот непременно отыщет доброе расположение духа и какое-то сердечное благоволение, как только очутится на улицах Парижа, а в особенности на его истинно сказочных бульварах. Представьте себе иностранца, выброшенного сегодняшним утренним поездом в Париж, человека одинокого, не имеющего здесь ни связей, ни знакомств, — право, кажется, и он не найдет возможности соскучиться в своем одиночестве. Солнце веселое, воздух веселый, магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади — все веселое. Я никогда не мог себе представить, чтоб можно было ощущать веселое чувство при виде площади; но, очутившись на *Place de la Concorde*⁴, поистине убедился, что ничего

¹ крепкой хватки.

² французской учтивости.

³ пассажиры — выходите!

⁴ площади Согласия.

невозможного нет на свете. И тут же рядом, налево — веселый Тюльерийский сад, с веселыми группами детей; направо — веселая масса зелени, в которой, как в мягком ложе из мха, нежится квартал Елисейских полей. Затем пройдите через Тюльерийский сад, встаньте спиной к развалинам дворца и глядите вперед по направлению к Arc de l'Etoile¹. Клянусь, глаз не оторвете от этого зрелища. Какая масса пространства, воздуха, света! И как все в этой массе гармонически комбинировано, чтоб громадность не переходила в пустыню, чтоб она не подавляла человека, а только пробуждала и поддерживала в нем веселую бодрость духа!

Веселое солнце льет веселые лучи на макадам улиц, и еще веселее смотрится и играет в витринах ресторанов и магазинов. В Париже, кроме Елисейских полей, а в прочих кварталах, кроме немногих казенных домов и отелей очень богатых людей, почти нет дома, которого нижний этаж не был бы предназначен для ресторанов и магазинов. Представьте себе, какую массу всякого рода товара должны ежедневно выбрасывать из себя мастерские, фабрики и заводы, чтобы наполнить это бесчисленное множество помещений, из которых многие, по громадности, не уступают дворцам! И какую еще большую массу уверенности нужно иметь в том, что этот товар не залежится, а дойдет до потребителя!

И он дойдет — в этом не может быть сомнения. Товар этот так весело расположен в витринах и так весело освещен, что и купить его любо. Прогулка по улицам Парижа, в смысле разнообразия, не уступает прогулке по любой выставке. Каждая магазинная витрина представляет изящное сочетание красок и линий, удовлетворяющее самым прихотливым требованиям вкуса. На каждом шагу встречается масса вещей, потребности в которых вы до тех пор не подозревали, но которые вы непременно купите, потому что эти вещи так весело смотрят, что даже впоследствии, где-нибудь в Крапивне, будут пробуждать в вас веселость и помогут нести урядническое иго. Из мельхиоровых ложек парижский магазинщик ухитряется сделать целое серебряное солнце, которое чуть не за полверсты манит к себе прохожего. Из мужских шляп-цилиндров устраивает такой милый пейзаж, что человеку, даже имеющему на голове совсем новый цилиндр, непременно придет на мысль: а не купить ли другой? Все кругом изящно, легко и, главное, весело. Прежде чем глаз пресытится всеми этими уличными изяществами, какая возможность скуке проникнуть в сердце даже одинокого человека? А в запасе еще музеи, галереи, сады,

¹ Арка Звезды.

окрестности, которые тоже необходимо осмотреть, потому что, кроме того, что все это в высшей степени изящно, интересно и весело, но в то же время и общедоступно, то есть не обуславливается ни протекцией, ни изнурительным доставанием билетов через знакомых чиновников, их родственниц, содержанок и проч.

А потом — звуки. Нигде вы не услышите таких веселых, так сказать, натуральных звуков, как те, которые с утра до вечера раздаются по улицам Парижа. *Les cris de Paris*¹ — это целая поэма, слагающая хвалу неистощимой производительности этой благословенной страны, поэма, на каждый предмет, на каждую подробность этой производительности отвечающая особым характерным звуком. И все это звуки коренные, свежие, родившиеся на месте, где-нибудь в глубине Бретани или Оверни (быть может, поэтому-то они так и нравятся детям), и оттуда перенесенные на улицы всемирной столицы. Так что, вместе с образчиком местной производительности, вы видите и представителя ее, да сверх того, слышите и образчик местных музыкальных мелодий. Эти звуки перекрестной волной несутся со всех сторон, образуя, вместе с дразнящими криками «гаврошей»², гармоническое целое, до такой степени веселое, что оно несомненно должно благотворным образом действовать и на нравы обывателей. Даже полициант, с утра до вечера выслушивающий эти крики, нимало не волнуется ими и не видит в них оскорбления свойственного полицейским чинам чувства изящного. По крайней мере, я не знаю ни одного случая, чтобы *gardien de la paix*³, доведенный до неистовства назойливостью крикунов, дал в зубы какому-нибудь *marchand de coco*⁴ или назвал «курицыной дочерью» *marchande de quatre saisons*⁵.

Но этого мало: вы видите людей, которые поют «Марсельезу», — и им это сходит с рук. На первых порах это меня ужасно смутило. Думаю: сам-то я, разумеется, не пел — но как бы не пострадать за присутствие! И что ж оказалось! — что тут дело идет совершенно наоборот русской пословице, гласящей: «Что русскому здорово, то немцу — смерть». Французу петь «Марсельезу» здорово, а нам — смерть. Все это очень обязательно объяснил мне один из *gardiens de la paix*,

¹ Голоса Парижа.

² *Gavroches* — существа, которые в недавние годы были известны под именем *gamins de Paris*. (Прим. М. Е. Сытыкова-Щедрина.)

³ полицейский

⁴ продавцу настойки из лакрицы.

⁵ уличную торговку фруктами и овощами.

к которому я обратился с вопросом по этому предмету. «Поживете, говорит, у нас, может быть, и вы привыкнете». И точно: пожил, и стал пробовать; сначала першило в горле, а потом привык. И даже многих тайных советников видел, которые губами подражали трубным звукам, напевая:

Contrrrrrre nous della tyrrrrrrranie...¹

И — ничего; сошло с рук и мне и им. Не дальше как на днях встречаю уже здесь, на Невском, одного из парижских тайных советников и, разумеется, прежде всего интересуюсь:

— А что, ваше превосходительство, не призывали к ответу... за «Марсельезу»-то... помните?

— Представьте себе... прошло!

— Представьте! и мне — тоже!

Разумеется, мы обнялись, и затем — ни гугу!

А вечером весь Париж горит огнями, и бульвары, и главные улицы, которые гудят, как пчелиный рой. Время от 8 до 12 часов — самое веселое. Это — время, когда отработавшийся люд всей массой высыпает на улицы, наполняет театры, рестораны, *débits de vin*² и т. п. Происходит во всей форме уличный раут, веселый, красивый, живой. Разумеется, тут скучать некогда. Театров масса, и во всяком нужно побывать. Французы сами жалуются на упадок драматической литературы, и эти жалобы, в существе, безусловно справедливы, но для иностранца не столько важно то, что представляется на сцене, как то, как представляется, и в особенности, как относится к представляемому публика. В этом отношении он не встретит в целом мире ничего подобного. В особенности не встретит такой публики. Это именно та чуткая, нервная публика, которая удесятерит силы актера и без которой было бы невысказимо для актера каждодневное повторение, двести раз сряду, одной и той же роли, как это сплошь бывает на парижских театрах.

Помню, я приехал в Париж сейчас после тяжелой болезни и все еще больной... и вдруг чудодейственно воспрянул. Ходил с утра до вечера по бульварам и улицам, одолевал довольно крутые подъемы — и не знал усталости. Мало того: иду однажды по бульвару и встречаю русского доктора Г., о котором мне было известно, что он в последнем градусе чахотки (и, действительно, месяца три спустя он умер в Ницце). Разумеется, удивляюсь.

¹ Против нас тираны...

² винные погребки.

— Что вы это делаете?

— Да вот, хожу!

— Помилуйте! вам бы дома сидеть, да «средствице» принимать...

— Нельзя, батюшка, тянет на улицу...

И точно: «тянет на улицу» — и шабаш. Ибо парижская улица действительно всякого «средствица». Озлобленному она проливает мир в сердце, недугующему — подает исцеление. И я наверное знаю, что не Лурдская богоматерь это делает, а именно веселая парижская улица.

В Париже все живут на улице. Не говоря уже об иностранцах и провинциялах, которые массаами, с каждым из бесчисленных железнодорожных поездов, приливают сюда и буквально покидают улицу только для ночлега, даже коренной парижанин — и тот, с первого взгляда, кажется исключительно предан фланерству. Между тем, на деле, нигде не найдется более ретивого, спорого (или, как у нас говорится, дошлого) работника, как парижанин. Немец работает усердно, но точно во сне веревки вьет; у парижанина работа горит в руках. Нечто подобное представляет русский работник в страдную пору, но ведь это уж мученик. Парижанин работает много, но с добрым духом и никогда не имеет усталого вида. Достаточно присмотреться к прислуге любого отеля, чтоб убедиться, какую массу работы может сделать человек, не утрачивая бодрости и не валя, как говорится, через пень колоду. Я останавливался в небольшом отеле, в пяти этажах которого считалось 25 комнат, и на весь отель прислуживал только один гарсон. Часам к восьми утра он успевал уже вычистить для всех квартирантов сапоги, ботинки, мужское и дамское платье, а с восьми часов начинал летать по этажам, разнося кофе и завтрак. Затем убирал комнаты, а некоторым жильцам сервировал и обед. Сколько раз в день он, подобно мухе, взлетал из rez-de-chaussée¹, где помещались контора и кухня, на пятый этаж — это даже определить невозможно. Только, бывало, и слышишь раздающееся сверху: Emile! — и отвечающее внизу: voilà! voilà!² И за всем тем этот молодой человек находил возможность еще выполнять комиссии жильцов, что он делал гуляя. И никогда я не видал его унылым или замученным, а уж об трезвости нечего и говорить: такую работу не совершенно трезвый человек ни под каким видом не выполнит.

Одним словом, ежели и нельзя сказать, что парижанин своєю ретивостью практически доказал, что вопрос о travail

¹ нижнего этажа.

² тут! тут!

attractant¹ не праздная мечта, то, во всяком случае, мысль о труде уже не застаёт его врасплох. Зато каждый момент, который ему удается урвать у работы, он уже всецело считает своим и отдает его беспечно, планированию и веселью. Три предмета проходят через всю жизнь парижского ouvrier:² работа, веселье и, от времени до времени... революция. Все это он умеет делать чрезвычайно ловко, скоро, горячо, но отнюдь не бестолково. Оттого-то, быть может, и кажется приезжему иностранцу (это еще покойный Погодин заметил), что в Париже вот-вот сейчас что-то начнется.

Но, наглядевшись вдоволь на уличную жизнь, непросто было бы не заглянуть и в ту мастерскую, в которой вершатся политические и административные судьбы Франции. Я выполнил это, впрочем, уже весной 1876 года. Палаты в то время еще заседали в Версале, и на очереди стоял вопрос об амнистии.

Дорога от Парижа до Версаля промелькнула очень весело. Во-первых, на всем пути — прелестнейшие зеленые окрестности; во-вторых, я попал в вагон, наполненный gauchiers и centre-gauchiers (членами левой и левого центра). Все говорили без умолку. Соглашались почти единодушно, что, в принципе, амнистия — мера не только справедливая, но и полезная; что после пяти лет несомненного внутреннего мира было бы согласно с здравой политикой закончить процесс умиротворения полным забвением прошлых междоусобий. Но, наговорившись на эту тему досыта, собеседники как бы по команде подносили к носу указательные персты, произносили: mais!³ — и глубокомысленно умолкали.

Признаюсь, загадочность этого «mais!» чрезвычайно неприятно поразила меня. Я было думал, что если уж выработалось: «понеже амнистия есть мера полезная» и т. д. — то, наверное, дальше будет: «того ради, объявив оную, представить министру внутренних дел, без потери времени» и т. д. И вдруг, вместо того... mais! Повторяю, сгоряча я чуть было не рассердился, но потом вспомнил: ба, да ведь французское «mais» — это то самое, что по-русски значит: выше лба уши не растут! Вспомнил — и сделалось мне так весело, так весело, что я не воздержался и сообщил о своем открытии соседу (оказалось, что это был Лабулё, автор известного памфлета «Paris en Amérique»⁴, а ныне сенатор и стыдливый клерикал). Он, в свою очередь, подтвердил мою догадку и, поздравив меня

¹ привлекательном труде.

² рабочего.

³ но!

⁴ «Париж в Америке».

с тем, что Россия обладает столь целесообразными пословицами, присовокупил, что по-французски такого рода изречения составляют особого рода кодекс, именуемый «la sagesse des nations»¹. Через минуту все пассажиры уже знали, что в среде их сидит un journaliste russe², у которого уши выше лба не растут. И все наперерыв поздравляли меня, что я так отлично постиг la sagesse des nations.

Как малый не промах, я сейчас же рассчитал, как это будет отлично, если я поговорю с Лабулё по душе. Уж и теперь в нем заблуждений только чуть-чуть осталось, а ежели хорошенько пугнуть его, призвав на помощь sagesse des nations, так и совсем, пожалуй, на путь истинный удастся обратиться. Сначала его, а потом и до Гамбетты доберемся — эка важность! А Мак-Магон и без того готов...

И вот, как только приехали мы в Версаль, так я сейчас же Лабулё под ручку — и айда в Hôtel des Reservoirs³.

— Господин сенатор! Monsieur le sénateur! un verre de champagne...⁴ по-русски: чем бог послал! прошу!

— С удовольствием! — согласился он, и на лице его выразилась живейшая радость при мысли, что ему предстоит позавтракать на чужой счет.

В французе-буржуа мне сразу бросились в глаза две очень характерные черты. Во-первых, въявь он охотно любит покощунствовать, но, по секрету, почти всегда богомолен, и ежели можно так сделать, чтоб никто не видал, то, перед всяким принятием пищи, непременно перекрестится и пошевелит губами. Вероятно, он рассуждает так: «Верить я, разумеется, не могу — это, брат, дудки! Вольтер не велел! — но, на всякий случай, отчего не покреститься и не пошептать?.. ведь от этого ни руки, ни голова не отвалятся!» Во-вторых, француз-буржуа не прочь повеселиться и даже кутнуть, но так, чтоб это как можно дешевле ему обошлось. Примерно возьмет в карман гривенник и старается уконтентовать себя на рубль. Во всяком маленьком ресторане можно увидеть француза, который, спросив на завтрак порцию салата, сначала съест политую соусом траву, потом начнет вытирать салатник хлебом и съест хлеб, а наконец поднимет посудину и посмотрит на обратную сторону дна, нет ли и там чего. Таким образом, и сердце у него играет, и для кармана обременения

¹ «мудрость народов».

² русский журналист.

³ Само собой разумеется, что вся последующая сцена есть чистый вымысел. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

⁴ Господин сенатор! бокал шампанского...

нет. Точь-в-точь по этой программе поступал и Лабулè. Сначала повернулся к окошку и притворился, что смотрит на улицу, хотя я очень хорошо заметил, что он, потихоньку, всей пятерней перекрестил себе пупок. Затем, когда принесли *gigot de prèsalé*¹, то он, памятуя, что все расходы по питанию приняты мной на себя, почти моментально проглотил свой кусок, совершив при этом целый ряд поступков, которые привели меня в изумление. Во-первых, начал ножом ловить соус, во-вторых, стал вытирать тарелку хлебом, быстро посылая куски в рот, и, наконец, до того рассвирепел, что на самую тарелку начал бросать любово-страстные взоры... Когда же я, испугавшись, сказал ему: — Зачем вы это делаете, господин сенатор? Ведь если вы голодны, то я могу и другую порцию приказать подать... — то, к удивлению моему, он отвечал следующее:

— О нет, я достаточно сыт! Это я не от жадности так поступаю, а чтоб соблюсти принцип. Ибо таким только образом достигается «накопление богатств».

Чудак!

Когда бутылка шампанского была осушена, язык у Лабуле развязался, и он пустился в откровенности, которые еще раз доказали мне, какая странная смесь здравых понятий с самыми превратными царствует в умах иностранцев о нашем отечестве:

— Вы, русскис, счастливы (здравò!), — сказал он мне, — вы чувствуете у себя под ногами нечто прочное (и это здравò!), и это прочное на вашем живописном языке (опять-таки здравò!) вы называете «каторгой» (и неожиданно, и совершенно превратно!..).

— Позвольте, дорогой сенатор! — прервал я его, — вероятно, кто-нибудь из русских «веселых людей» ради шутки уверил вас, что каторга есть удел всех русских на земле. Но это неправильно. Каторгою по-русски называется такой образ жизни, который присвоивается исключительно людям, не выполняющим начальственных предписаний. Например, если не приказано на улице курить, а я курю — каторга! если не приказано в пруде публичного сада рыбу ловить, а я ловлю — каторга!

— Однако!

— Тяжеленько, но зато прочно. Всем же остальным русским обывателям, которые не фордыбачут, а неуклонно исполняют начальственные предписания, предоставлено — жить припеваючи.

¹ филе из барашка.

— Mais le «pripévaïoutchi» — c'est justement ce que j'ai voulu dire! La «katorga» et le «pripévaïoutchi»...¹

— Совершенно два различных понятия, любезный господин де Лабулё. Значение слова «каторга» я сейчас имел честь объяснить вам; что же касается до слова «припеваючи» — это то самое, об чем вы, французы, в романсах поете: aimons, dansons et... chantons!²

— Благодарю вас. Но, во всяком случае, моя мысль, в существе, верна: вы, русские, уже тем одним счастливы, что видите перед собой прочное положение вещей. Каторга так каторга, припеваючи так припеваючи. А вот беда, как ни каторги, ни припеваючи — ничего в волнах не видно!

— Лабулё! да неужто у вас до того дошло?

— Пхе!

— Прошу вас, объясните вашу мысль!

— Очень просто. Ни один француз, ложась на ночь спать, не может сказать себе с уверенностью, что завтра утром он не будет в числе прочих расстрелян!

— Что ж! по-моему, это спасительный страх — и ничего больше!

— Oh! pardon...³

— Послушайте, мой друг! Вы, французы, народ легкомысленный. Надо же вашему начальству хоть какое-нибудь средство иметь, чтоб нейтрализовать это легкомыслие!

— В существе, я, разумеется, с вами согласен, но...

— Без «но», Лабулё! и будем говорить по душе. Вы жалуетесь, что вас каждодневно могут в числе прочих расстрелять. Прекрасно. Но допустим даже, что ваши опасения сбудутся, все-таки вы должны согласиться, что это расстреляние произойдет не иначе, как с разрешения Мак-Магона. А ну-те, скажите-ка по совести: ужели Мак-Магон решится на такую крайнюю меру, если вы сами не заслужите ее вашим неблагонадежным поведением?

Лабулё, вместо ответа, поник головой.

— Вы не отвечаете? очень рад! Будемте продолжать. Я рассуждаю так: Мак-Магон — бесспорно добрый человек, но ведь он не ангел! Каждый божий день, чуть не каждый час, во всех газетах ему дают косвенным образом понять, что он дурак!!! — разве это естественно? Нет, как хотите, а когда-нибудь он рассердится, и тогда...

— И прекрасно сделает!

¹ Но «припеваючи» — это именно то, что я хотел сказать! «Каторга» и «припеваючи»...

² давайте любить, танцевать и... петь!

³ Ах! извините...

— Очень рад, что вы пришли к такому здравому заключению. Но слушайте, что́ будет дальше. У нас, в России, если вы лично ничего не сделали, то вам говорят: живи припеваючи! у вас же, во Франции, за то же самое вы неожиданно, в числе прочих, попадаете на каторгу! Понимаете ли вы теперь, как глубоко различны понятия, выражаемые этими двумя словами, и в какой степени наше отечество ушло вперед... Ах, Лабулè, Лабулè!

Я высказал это довольно строго, но, чтоб не смутить моего собеседника окончательно, сейчас же смягчил свой приговор, сказав:

— А не выпить ли нам еще бутылочку? на мой счет... а?

— С удовольствием! — поспешил согласиться он и, взяв со стола опорожненную бутылку, посмотрел через нее на свет и сказал: — Пусто!

Принесли другую бутылку. Лабулè налил стакан и сейчас же выпил.

— Скажите, Лабулè, ведь вы клерикал? — начал я.

— То есть, как вам сказать...

Он что-то пробормотал, потом покраснел и начал смотреть в окошко. Ужасно эти буржуа не любят, когда их в упор называют клерикалами.

— Впрочем, я думаю, что вы больше по части служителей алтаря прохаживаетесь? их преимущественно протежируете? — продолжал я допрос.

— То есть, как вам сказать! Конечно, служители алтаря... Алтаря! *mais j'espère que c'est assez crâne?*¹

— А бога... любите?

Лабулè вновь поник головой.

— И бога надобно любить, Лабулè! служителей алтаря надо любить ради управы благочиния, а бога — для него самого!

Но он угрюмо молчал.

— Бог — он царь небесный! так-то, Лабулè!

Но он и на это не отвечал. Однако я видел, что в душе он уже расканваается, а потому, дабы не отягощать его дальнейшим испытанием на эту тему, хлопнул его по колену и воскликнул:

— А вот я и еще одну проруху за вами заметил. Давеча, как мы в вагоне ехали, все вы, французы, об конституции поминали... А по-моему, это пустое дело.

— *Saperlotte!*²

¹ однако я надеюсь, что это достаточно смело?

² Черт возьми!

— Знаю я, что вам, французам, трудно без конституции обойтись! Уж коли бог послал крест, так надо его с терпением нести... ну, и несите, бог с вами! А все-таки язычок-то попридержать не худо!

— Да, но согласитесь, что трудно избежать в разговоре слова «конституция», если речь идет именно о том, что оно выражает? А у нас с семьсот восемьдесят девятого года...

— Знаю и это. Но у нас мы говорим так: иллюзии — и кончен бал. Скажите, Лабулё, которое из этих двух слов, по вашему мнению, выражает более широкое понятие?

Это открытие так поразило Лабулё, что он даже схватился за бока от восторга.

— Иллюзии... ха-ха! — захлебывался он, — и притом в особенности ежили... *illusions perdues*...¹ ха-ха!

— Вот то-то и есть. Вы об нас, русских, думаете: северные медведи! а у нас между тем терминология...

— Но знаете ли вы, что это изумительно! то есть изумительно верно и хорошо!

— А я об чем же говорю! Я говорю: нужда заставит и калачи есть...

— Это еще что такое?

— Очень просто. При обыкновенных условиях жизни, когда человек всем доволен, он удовлетворяется и мякинным хлебом; но когда его пристигнет нужда, то он становится изобретательным и в награду за эту изобретательность получает возможность есть калачи.

— Продолжайте, прошу вас. Я весь внимание.

— Итак, продолжаю. Очень часто мы, русские, позволяем себе говорить... ну, самые, так сказать, непозволительные вещи! Такие вещи, что ни в каком благоустроенном государстве стерпеть невозможно. Ну, разумеется, подлавливают нас, подстерегают — и никак ни изловить, ни подстеречь не могут! А отчего? — оттого, господин сенатор, что нужда заставила нас калачи есть!

— Изумительно!

— А вы, французы, — зудите. Заладите одно, да и твердите на всех перекрестках. Разве это приятно? Возьмем хоть бы Мак-Магона, — разве ему приятно, что вы ему через час по ложке конституцией в нос тычете? Ангел — и тот сбесится!

— Что правда, то правда!

— Так вот что, Лабулё. Обещайте вы мне, что впредь об конституции — ни гугу! Пускай Гамбетта Подхалимову насчет конституций открывается, а мы с вами — шабаш!

¹ утраченные иллюзии.

— Прекрасно... чудесно! я совершенно... Русский! вы... очаровали меня!

— Нет, Лабулè, вы не виляйте, а говорите прямо: обещаете или нет?

— Отлично! очаровательно! Vive Henri Cinq!.. c'est ça! ¹ Но ведь он... смоковница-то... сказывала мне намеднись m-Ile Круазетт...

По-видимому, Лабулè намеревался излиться передо мной в жалобах по поводу Шамбора, в смысле смоковницы, но шампанское уже сделало свое дело: собеседник мой окончательно размяк. Он опять взял опорожненную бутылку и посмотрел на свет, но уже не смог сказать: пусто! а как сноп грохнулся в кресло и моментально заснул. Увидевши это, я пошевелил мозгами, и в уме моем столь же моментально созрела идея: уйду-ка я за добра́ ума из отеля, и ежели меня остановят, то скажу, что по счету сполна заплатит Лабулè.

Так я и поступил.

Я шел в палату депутатов и вдвойне радовался. Во-первых, мне удалось поймать депутата в сети благонамеренности такую крупную рыбку, как сенатор французской республики. Во-вторых, я успел в этом, не затратив ни одного сантима, а, напротив, сам довольно плотно позавтракав на счет повообращенного. Воображаю, как он вытаращит глаза, когда проснется и увидит перед собой addition! ² Вот-то, я думаю, выругается! Пожалуй, еще процесс, подлец, затеет! Ну, нет, не посмеет! Пьян был... сенатор! сенатору, брат, пьяным быть не полагается. А впрочем, ежели и затеет процесс, так ведь у меня и на этот случай «sagesse des nations» в запасе есть. Скажу: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик — поди, уличай! Кто больше выпил? кто больше съел? Ты! ты, сенатор, и выпил, и съел! — стало быть, ты и плати! Словом сказать, очень мне было весело. Когда я проник в трибуну иностранных журналистов, Клемансò ³ уже разглагольствовал. Суконным языком он произнес суконную речь, которая продолжалась не меньше трех часов и каждый период которой вызывал в слушателе только одну мысль: никого, братец, ты разглагольствиями своими не удивишь! Так что если уже утром, едучи в Версаль, я сомневался в успешном исходе дела, то теперь, слушающая Клемансò, чувствовал, что и сомнения не может быть. Он

¹ Да здравствует Генрих Пятый!.. вот именно!

² ресторанный счет.

³ Клемансò — вожак крайней левой. Как оратор, он считается соперником Гамбетты. Его речь в пользу амнистии собственно и составляла интерес заседания, потому что самый вопрос уже заранее был предрешен против амнистии. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

стоял на трибуне, прямой, самодовольный, обложенный грудю книг и фолиантов: сначала брал одну книгу, потом другую и, как чадолюбивая насадка, выклевывал одну цитату за другой, думая насытить ими голодное стадо зверей. Сзади его сидел президент палаты Гревй (нынешний президент республики) и, грозно взглядывая на бонапартистов, с заучено-деревянным жестом протягивал руку к колокольчику всякий раз, как Кассаньяки, отец и сын, начинали подвывать. Лицом к оратору сидели: напротив — министры Бюффё, Деказ и прочие сподвижники Мак-Магона и своими деревянными физиономиями как бы говорили: хоть кол на голове теши! За ними и по обе стороны — депутаты. Из них выделялись: направо — Кассаньяк-отец, которому доставало только бубнового туза на спину, чтоб быть в полной парадной форме; налево — Гамбетта, который, как капельмейстер оркестром, ловко дирижировал «левою» и «республиканским союзом».

Повторяю: Клемансо говорил ordinarily, бесцветно, вяло. Скучно была уже сама по себе мысль говорить три часа о деле, которое в таком только случае имело шансы на выигрыш, если бы явилась ораторская сила, которая сразу сорвала бы палату и в общем взрыве энтузиазма потопила бы колебания робких людей. Но такой ораторской силы в настоящее время в палате нет, да ежели бы она и была, то вряд ли бы ей удалось прошибить толстомясых буржуа, которых нагнал в палату со всех концов Франции пресловутый *scrutin d'arrondissements*¹, выдвинувший вперед исключительно местный элемент.

Я думаю насчет этого так: истинные ораторы (точно так же, как и истинные баснописцы), такие, которые зажигают сердца людей, могут появляться только в таких странах, где долго существовал известного рода гнет, как, например, рабство, диктатура, канцелярская тайна, ссылка в места не столь отдаленные (а отчего же, впрочем, и не в отдаленные?) и проч. Под давлением этого гнета в сердцах накапливается раздражение, горечь и страстное стремление прорвать плотину пскудства, опутывающего жизнь. В большинстве случаев, разумеется, победа остается на стороне гнета, и тогда ораторы или сгорают сами собой, или кончают карьеру в местах более или менее отдаленных. Но бывает и так, что гнет вдруг сам собою ослабнет, и плотину с громом и треском разнесет. Вот тогда-то вылезают из всех щелей ораторы. Во Франции это случилось во время «великой французской революции». Много до того времени накопилось: и барщина, и общая экономическая

¹ принцип выборов по округам.

неурядица, и всякие расхищения. И все не было да не было ораторов, как вдруг — Мирабò! А за ним, как из рога изобилия, посыпались: Дантон, Сен-Жюст, Камилль Демулен, Верньè... какую массу гнета нужно было накопить, чтоб разом предъявить миру столько страстности, горечи, раздражения, сколько было вылино устами этих людей!

Но люди благополучные, невымученные, редко чувствуют потребность зажигать человеческие сердца и в деле ораторства предпочитают разводить канитель. Адвокат, который ничего не получил вперед, всегда защищает порученное ему дело с большим азартом, нежели адвокат, который половину денег взял вперед, а насчет остальной половины обеспечил себя хорошею неустойкой. В словах первого слышится и горечь опасения, и желание прельстить и разжалобить клиента: вот я как в твою пользу распинаюсь, смотри же и ты не надуй! Все эти чувства сообщают его речи живой и взволнованный характер, который не может не действовать и на чувствительного судью. Напротив того, в словах адвоката благополучного слышится только одно: я свои деньги получил. То же самое явление повторяется и здесь, в палате депутатов. Люди всходят на трибуну и говорят. Но не потому говорят, что слово, как долго сдержанный поток, само собой рвется наружу, а потому, что, принадлежа к известной политической партии, невозможно, хоть от времени до времени; не делать чести знамени. Тот внутренний очаг, из которого надлежало бы вылетать словесному пламени, ежели не совсем потух, то слишком вяло поддерживается и изнутри, и извне.

*Oratores fiunt*¹ — очень справедлив этот латинский афоризм. То есть Демосфены, Мирабò, Демулены, Дантоны — *pascuntur*;² а Цицероны, Тьеры, Клемансò, Гамбетты и некоторые русские *langues bien pendues*³ — эти *fiunt*⁴. Современный французский политический оратор отяжелел и ожирел; современные слушатели его — тоже отяжелели и ожирели. Первый потерял способность зажигать; второй утратил способность быть зажигаемым. В области материальных интересов, как, например: пошлин, налогов, проведения новых железных дорог и т. п., эти люди еще могут почувствовать себя затронутыми за живое и даже испустить вопль сердечной боли; но в области идей они, очевидно, только отбывают повинность в пользу того или другого политического знамени, под сень которого их поставила или судьба, или личный расчет.

¹ Ораторами делаются.

² рождаются.

³ с хорошо подвешенными языками.

⁴ делаются.

Говорят, будто так именно и нужно. Пора, дескать, надзвездные-то сферы оставить, а обратиться к земле и так устроиться, чтобы долу жилось хорошо. Но мне кажется, что этой последней, конечной цели мы именно только тогда достигнем, когда в надзвездных сферах будет учрежден достаточно прочный порядок. Конечно, это, как говорится, шиворот-навыворот, но что же делать, коли так уж издавна повелось, что из хаоса природы прежде выделилось начальство, а потом уж, ради обстановки, и прочие обыватели. По-моему, нельзя не иметь этого в виду, ибо если не устроиться как следует в надзвездных сферах, то непременно придет генерал-майор Отчаянный (по-французски Мак-Магон), крикнет: а кто вам, такие-сякие, разрешил не в свое дело нос совать... брысь все! И полетели прахом все наши благоначания и труды!

Сверх того, для нас, иностранцев, Франция, как я уже объяснил это выше, имела еще особое значение — значение светоча, лишнего свет согат hominibus¹. Поэтому как-то обидно делается при мысли, что этот светоч погиб. Да и зрелище неязущное выходит: все был светоч, а теперь на том месте, где он горел, сидят ожиревшие менялы и курлыкают. Точь-в-точь как у нас журналист Менаандр, который в «Старейшей Пенкоснимательнице» все надседался-курлыкал: наше время не время широких задач! курлыкал да курлыкал, а пришел тайный советник Петр Толстолобов, крикнул: ты что тут революцию распространяешь... брысь! — и слопал Менаандра!

Но как ни мало привлекательна была речь Клемансо и вообще вся обстановка палатского заседания, все-таки, выходя из палаты, я не мог воздержаться, чтоб не воскликнуть: вот кабы у нас так! Что делать! такие уж у нас, русских, глаза завистливые, что не можем мы в чужом глазу сучка видеть, чтоб себе того же не пожелать. Даже тайный советник Куроцапов, встретившись со мной на бульваре и насмотревшись на здешние порядки, — и тот воскликнул: «Вот так правительство! Смотрите-ка, какими щетками грязь с улиц счищают». И действительно, отчего бы у нас своих Клемансо, своих Касаньяков и Гамбетт не завести? Ведь и во Франции Клемансо удовлетворения не получал, и у нас бы не получил; стало быть... А что касается до гвалта и криков, которые зачастую развлекают внимание посетителей палаты, то ведь это одна форма: пошумят, поругаются в честь знамени — а потом и опять как с гуся вода. И у нас драки зачастую случаются, так в чем же, спрашивается, опасность? Так вот нет же, скорее миллион щеток для очищения улиц от грязи заведут, а уж

¹ перед человечеством.

Гамбетте не дадут рта разинуть — шалишь! Оттого-то и весело в Париже, что все там есть и все можно видеть, обо всем говорить и даже поврать. Даже у русских там сердце играет. А у нас дома ничего нет, стало быть, и глядеть не на что, и язык не из-за чего шевелить. Правда, иногда и у нас случается слышать, будто в таком-то месте, еще с времен царя Гороха, заседает такая-то комиссия — ну, и пушай ее заседает! А я пойду в портерную или в питейный, налакаюсь досыта, ворочусь домой и лягу спать! Вот тебе и комиссия!

Разве можно сказать про такую жизнь, что это жизнь? разве можно сравнить такое существование с французским, хотя и последнее мало-помалу начинает приобретать меняльный характер? Француз все-таки хоть над Гамбеттой посмеяться может, назвать его *le gros Léon*¹, а у нас и Гамбетты-то нет. А над прочими, право, и смеяться даже не хочется, потому что... Ну, да уж Христос с вами! плодитесь, множитесь и населяйте землю!

Я возвратился из Версаля в Париж с тем же поездом, который уносил и депутатов. И опять все французы жужжали, что, в сущности, Клемансё прав, но что же делать, если уши выше лба не растут. И всем было весело, до такой степени весело, что многие даже осмелились и начали вслух утверждать, что Мак-Магон совсем не так прост, как это может казаться с первого взгляда.

В то время было принято называть Мак-Магона «честною шпагой» (кажется, Тьер первый окрестил его этим прозвищем), но многие к этому присовокупляли, что «честная шпага» есть прозвище иносказательное, под которым следует разуметь очень-очень простодушного человека. Сверх того, по поводу того же Мак-Магона и его свойств, в летучей французской литературе того времени шел довольно оживленный спор: как следует понимать простоту (опять-таки под псевдонимом «честной шпаги»), то есть видеть ли в ней гарантию вроде, например, конституции или, напротив, ожидать от нее всяких угроз?

Разумеется, до моего мнения никому во Франции нет дела; но ежели бы, паче чаяния, меня спросили, то я сказал бы следующее. С одной стороны, простота заключает в себе очень серьезную угрозу, но, с другой стороны, она же может представлять и известные гарантии. А за всем тем не представлялось бы для казны ущерба, если б и совсем ее не было.

Опасность, представляемая простотою, заключается в том, что она имеет все свойства воды, а потому от нее можно ожи-

¹ толстяк Леон.

дать всяких видов, кроме тех, которые свидетельствуют о сознательности. Как в воде случайно отражается и лучезарное небо, и небо угрожающее, так и в глупости случайно отражается и благоволение и ехидство. А так как речь идет о глупости властной, которую в большинстве случаев окружают всевозможные своекорыстия и алчности, то ехидство встречается несомненно чаще, чем благоволение.

В пример того, как опасна глупость, могу представить действительного статского советника Губошлепова. Покуда был у него правителем канцелярии Пантелей Душегубцев, то он без всякой нужды вверенный ему град спалил, а сам, стоя на высоте и любясь пожаром, говорил: пускай за мое злочестие пострадают! И тот же Губошлепов, когда, по обстоятельствам, вынужден был взять в правителю канцелярии Пону Добромыслова, то опять свой град, иждивением граждан, даже краше прежнего выстроил. Но так как и то и другое действие он допустил не от разума, а от глупости, то обыватели, сколько мне известно, и поднесь нового пожара ждут.

Что касается гарантии, которую может представлять простота, то она состоит в том, что простодушный человек не только сам не сознает чувства ответственности, но и все доподлинно знают, что ничему подобному нѣоткуда и заползти в него. Поэтому бессовестные люди, стоящие вокруг простодушния, пользуются им лишь до известных пределов. Самый наглый злодей, действуя в союзе с глупостью, понимает, что последняя отнюдь не представляет надежной защиты. Глупых людей редко ненавидят, а иногда даже жалуют, видя в них лишь жалкое орудие посторонних козней. Злодей понимает это и сдерживается; а партикулярные люди благодарят бога и говорят: покуда у нас Мак-Магон, мы у него как у Христа за пазухой.

Но в настоящем случае вопрос усложнялся тем, действительно ли Мак-Магон только прост или же он, сверх того, и тупоумен. Ибо если простодушный человек еще может представлять гарантию, то со стороны тупца ничего, кроме угроз, ожидать нельзя. Идея общего блага равно чужда и глупому человеку, и тупоумцу, но последний уже дошел до понимания личного блага и, следовательно, получил определенную цель для существования. В основу этого личного блага легли самые низменные инстинкты, но не надо забывать, что именно они-то и давят на человека наиболее настоятельным образом. До такой степени давят, что тупец начинает смешивать свое личное благо с общим и подчинять последнее первому. И вот, когда он таким образом доведет свое мирозерцание до наглости, тогда-то именно и наступает действительная опасность. Ибо

тупец, в деле защиты инстинктов, обладает громадной силой инициативы и никогда ни перед чем не отступает. Если ему покажется, что необходимо, в видах его личного самосохранения, расстрелять вселенную — он расстреляет; ежели потребуются вавилонскую башню построить — он построит. Насколько несложны цели, которые он преследует, настолько же несложны и средства для их достижения. Все в нем потухло: и воображение, и способность комбинировать и продолжать будущее, все, кроме немолчно вопиющих инстинктов.

Что же такое, однако ж, Мак-Магон? Расстреляет ли он или не расстреляет? Вот вопрос, который витал над Парижем в мае 1876 года.

Но, по-видимому, Мак-Магон действительно был только «честная шпага», и ничего больше. Рассказывают за достоверное, что все уже было как следует подстроено, что приготовлены были надежные войска, чтобы раскассировать палату, и подпряжены парадные кареты, в которых Шамбор имел въехать в добрый город Париж...

Я понимаю, как эти слухи должны были волновать французов, которые хоть сколько-нибудь помнили и понимали прошлое Франции. Черт знает что такое! Сделать одну великую, две средних и одну малую революцию, и за всем тем не быть обеспеченным от обязанности кричать (или, говоря официальным языком, *pousser des cris d'allégresse*¹): *vive Henri Cinq!*² как хотите, а это хоть кого заставит биться лбом об стену. И действительно, французы даже друг другу боялись сообщить об этих слухах, которые до такой степени представлялись осуществимыми, что, казалось, одного громко произнесенного слова достаточно было, чтобы произвести взрыв.

Но в решительную минуту Шамбор отступил. Он понял, что Мак-Магон не представляет достаточного прикрытия для заправского расстреливания «доброе города Парижа». И Мак-Магон с своей стороны тоже не настаивал. Но, сверх того, и того и другого, быть может, смутило то обстоятельство, что палата, с раскассирования которой предстояло начать «реставрацию», не давала к тому решительного повода.

Будь палата несколько более нервная, проникнись она сильнее человеческими идеалами, Шамбор, наверное, поступил бы с нею по всей строгости законов. Но так как большинство ее составляли индейские петухи, которые не знали удержу только

¹ испускать ликующие крики.

² да здравствует Генрих Пятый!

в смысле уступок, то сам выморочный Бурбон вынужден был сказать себе: за что же я буду расстреливать сих невинных пернатых?

Положим, что Клемансò виноват; положим, что, кроме Клемансò, наберется и еще человек десять, двадцать зачинщиков, которые сдобривали его суконную речь криками: «bravo! très bien!»¹ — но что же из этого? Во-первых, и Клемансò, и его укрывателей сама палата охотно во всякое время выдаст для расстреливания; во-вторых, допустим даже, что вы расстреляете Клемансò, но с какой стороны вы подступитесь к индюкам, у которых на все подвохи уже заранее готов ответ: *la république sans républicains*;² а в-третьих, ведь и самый Клемансò — разве он буянил, или грубил, или угрожал? Нет, он скромно ходатайствовал: коли любите — прикажи, а не любите — откажи! Таким кротким манером и перед самим Шамбором ходатайствовать не возбраняется.

Одним словом, ежели в древности Рим спасли гуси, то в 1876 году Францию спасли — индюки.

Под этим впечатлением я и оставил Париж. Я расставался с ним неохотно, но в то же время в уме уже невольно и как-то сама собой слагалась мысль: ах, эти индюки!

Я возвратился в Париж осенью прошлого года. Я ехал туда с гордым чувством: республика укрепилась, говорил я себе, стало быть, законное правительство восторжествовало. Но при самом въезде меня возмутило одно обстоятельство. Париж... вонял!! Еще летом в Эмсе, когда мне случалось заметить, что около кургауза пахнет не совсем благополучно, мне говорили: это еще что! вот в Мариенбаде или в Париже, ну, там действительно...

В Мариенбаде — страждущее человечество; в Париже — человечество благополучное. Два противоположных явления, а результат один — вонь! Какая богатая антитеза и сколько блестящих страниц написал бы по поводу ее Виктор Гюго! Я же скажу кротко: пути, которыми ведет нас предопределение, неисповедимы.

Действительно, приехавши в конце августа прямо в Париж, я подумал, что ошибкой очутился в Москве, в Охотном ряду. Там тоже живут благополучные люди, а известно, что никто не выделяет такую массу естественных зловоний, как благополучный человек.

¹ bravo! отлично!

² республика без республиканцев.

Что ему! щи ему дают такие, что не продуеть; каши горшок принесут — и там в середине просверлена дыра, налитая маслом; стало быть, и тут не продуеть. И так, до трех раз в день, не говоря об чаях и сбитнях, от которых сытости нет, но пот все-таки прошибает. Брюхо у него как барабан, глаза круглые, изумленные — надо же лишнюю тяжесть куда-нибудь сбуть. Вот он около лавки и исправляется. А в лавке и товар подходящий: мясо, живность, рыба. Придет покупатель: что у вас в лавке словно экстренно пахнет? — а ему в ответ: такой уж товар-с; без того нельзя-с.

Я знаю Москву чуть не с пеленок; всегда там воняло. Когда я еще на школьной скамье сидел, Москва была до того благополучна, что даже на главных улицах вонь стояла коромыслом. На Тверской, например, существовало множество крохотных калачных, из которых с утра до ночи валил хлебный пар; множество полпивных («полпиво» — кто нынче помнит об этом прекрасном, легком напитке?), из которых сидельцы с чистым сердцем выплескивали на тротуар всякого рода остатки. По улице свободно ходили разносчики с горячими блинами, грешниками, гороховиками, с подовыми пирогами «с лучком, с перцем, с собачьим сердцем», с патокой с имбирем, которую «варил дядя Симеон, тетушка Арина кушала-хвалила», с моченой грушей, квасом, сбитнем и проч. Воняло и от продуктов, и от продавцов, и от покупателей. Воняло от гостиниц Шевальдышева, Шёра, а пониже от гостиниц «Париж» и «Рим». В этих приютах останавливались по большей части иногородные купцы, приезжавшие в Москву по делам, с своей квашеной капустой, с соленой рыбой, огурцами и прочей соленой и копченой снедью, ничего не требуя от гостиницы, кроме самовара, и ни за что не платя, кроме как за «тепло». И так как в то время о ватерклозетах и в помышлении ни у кого не было, то понятно, что весь этот упитанный капустою люд оставлял свой след понемногу везде. Точно то же самое, в большей или меньшей мере, представлялось и на Никитской, и на Арбате, и на Кузнецком мосту. А к Охотному ряду, к Ильинке и к купеческим усадьбам даже приступить не было: благодать видимо почивала на них.

Но тогда этим как-то не отягощались и даже носов не затыкали. Казалось совершенно естественным, что там, где живут люди, и пахнуть должно человечеством. В самых зажиточных помещичьих домах не существовало ни вентиляторов, ни форточек, в крайних же случаях «курили смолкой». Я живо помню: бывало, подъезжаешь к Москве из деревни, то верст за шесть уж чувствуешь, что приближаешься к муравейнику, в котором кишат благополучные люди. «Москва близко! Моск-

вой пахнет!» — говорили кучера и лакеи и набожно снимали картузы, приветствуя золотые московские маковки. И что ближе, то пуше и гуще. И не было тогда ни дифтеритов, ни тифов, ни болезней сердца, а был один враг телес человеческих: кондрашка. Поэтому говорили кратко: вчера Сидор Кондратьич с вечера покушали, легли почивать, а сегодня утром смотрим, а они приказали долго жить.

Вообще я думаю, что и болезни, и самая смертность получают развитие по мере усовершенствования врачебной науки. Или, говоря другими словами, врачебная наука популяризует болезни, делает их общедоступными. Покуда врачебная наука была в младенчестве, болезни посещали человека случайно. Иногда он «бился животом», иногда — кашлем, зубами, головой; иногда — кровь «просилась». Выпьет человек квасу с солью или, напротив, съест фунта два моченой груши — «пройдет» живот; поставит к затылку горчишник — «пройдет» голова; накаплет на синюю сахарную бумагу сала и приложит к груди, или обернет на ночь шею заносенным шерстяным чулком — пройдет кашель; «кинет» кровь — перестанет кровь «проситься». В более важных случаях, как, например, при водянке, желтухе и проч., ели тараканов, мокриц и даже тех паразитов, которые населяют, по преимуществу, головы меньшей братии. Но того, чтоб как только родится человек, так сейчас же хлопотать о приписке его к какому-нибудь органическому повреждению — этого не было. Случались, правда, и тогда моровые поветрия, но и на это опять-таки была воля божия. Прегрешит помпадур, в разврат впадет — сейчас на губернию налетит или черная немочь, или огневица, или оспа. Тогда архиерей приказывает заложить в колымагу четверку вороных и едет, с двумя иподиаконами на запятках, к помпадуру печаловаться за сирот, и молит его путь прегрешений оставить. Обыкновенно помпадур уступал, то есть Дуньку толстомясую ссылал в дальнюю вотчину или Варьку пучеглазую выдавал замуж за правителя канцелярии, и тогда черная немочь прекращалась. Но ежели помпадур не уступал, то болезнь продолжала неистовствовать и, наконец, достигала таких размеров, что всполошенное начальство само сменяло помпадура. Тогда опять становилось тихо. Но, повторяю, не было ни такого разнообразия болезней, ни такой неизбежности их, ни такой точности в расписании людей по роду повреждений. Все это ввела уже усовершенствованная врачебная наука и поставила этот вопрос на таком незыблемом основании, что укрыться от «приписки» стало совсем нёкуда. Так что, взирая, например, на младенца, не о том нужно помышлять, поврежден он или не поврежден (это уж вне сомнения), а о том, что

именно в нем повреждено и к какому нарочитому доктору следует обратиться, чтоб дать младенцу возможность влачить постыдное существование.

Ибо и в смысле врачебной практики совершился прогресс. Более подробное изучение болезней, удручающих род человеческий, породило большую дробность в их определении и в то же время дало место множеству отдельных специальностей. В прежнее время «лекарь» лечил *всех* и от *всего*. Лечил и старых и малых, и дворян и меньшую братию, и мужеск и женск пол. Лечил и от головы, и от живота, и от зубов, и кровь «бросал». Нынче первый палец правой руки приписан к собственному медику, живущему в Разъезжей, а первый палец левой руки — к медику, живущему на Васильевском Острове. Одно ухо лечит один врач; другое — другой. Приехали вы с пальцем правой руки к медику пальца левой руки — он вам скажет: конечно, я могу вам средствами прописать, а все-таки будет вернее, если вы съездите на Васильевский Остров к Карлу Ивановичу. И что ж! за всем тем без смерти не обойдешься. Ибо при таком множестве болезней и при таком разнообразии специальностей одно только и остается прибежище: умереть.

Но этого мало: изумительные успехи врачебной науки внесли существенные изменения и в наш домашний обиход, в наши, так сказать, основы. Ограничусь только одним примером: прежде, бывало, вознамерится человек адюльтер совершить, сейчас становится перед дамой сердца на колени и в этом положении ожидает дальнейших инструкций. И никаких произвольных скандалов при этом не возникало, даже если муж дамы сердца находился в соседней комнате. Нынче медицинская наука открыла, что человек, становясь на колени, может сделать неловкое движение и повредить себе седалищный нерв. Именно так на днях и случилось. Только что встал молодой человек на колени для ходатайства, как вдруг невзвидел света и заорал. Разумеется, сбежался весь дом, и прежде всех прибежал муж. Оказалось, что молодой человек повредил себе седалищный нерв! И вот из-за подобного вздора возникает целый процесс. Оскорбленный муж доказывает, что седалищный нерв был поврежден «по», невинная жена утверждает, — что «до». Разумеется, на суде будут вызваны эксперты, которые, в свою очередь, станут приводить доводы *pro* и *contra*;¹ потом то же самое будут развивать в своих речах адвокаты Балалайкин и Подседалищников; потом вступятся в это дело газеты. А в конце концов окажутся три разбитых

¹ за и против.

существования... Обращаюсь ко всем *jeunes premiers*¹ сороковых годов: кто из них подозревал, что у него есть какой-то седалищный нерв, который может наделать переполоха в столь обыкновенном деле, как «чуждых удовольствий любопытство»?

Нет, тысячу раз был прав граф Твёрдоонтò (см. предыдущую главу), утверждая, что покуда он не ворошил вопроса о неизобилии, до тех пор, хотя и не было прямого изобилия, но было «приспособление» к изобилию. А как только он тронул этот вопрос, так тотчас же отовсюду и напоззло неизобилие. Точно то же самое повторяется и в деле телесных озлоблений. Только чуть-чуть поворошите эту материю, а потом уж и не расстанетесь с ней.

Извиняюсь перед читателями за это отступление, но оно было необходимо, чтоб объяснить, в какой мере отцы наши были более благополучны, нежели мы. А если были благополучны, то, стало быть, от них пахло. И от них, и от их жилищ.

Далеко ли то время, когда в московском трактире в коридор нельзя было выйти, чтоб не воскликнуть: что это, братцы, у вас как будто того... чрезвычайное что-нибудь! Давно ли мне, при созерцании рук местных половых, думалось: ах, эти руки! каких тайн они были укрывателями! А между тем где в другом месте так сладко пилось и елось, как в московском трактире? Где больше говорилось умных и свободных речей? Где больше лгалось? И точно: выпьешь, бывало, листовки (рюмка, две рюмки, три рюмки, скороговоркой выговаривали половые), закусишь янтарнейшим балыком — и не воняет! И руки у половых внезапно сделаются чистые, и скатерти... ах, какие бывали там скатерти! Не поймешь, что тут совершалось: яичницу ли ели, дитё ли сидело... даже половые — и те, бывало, стыдились! И то же самое происходило и в Новотроицком, в «Саратове», в Охотном ряду у Воронина. И все они были переполнены народом, везде пили и ели!

Да и не в одной Москве, а и везде в России, везде, где жил человек, — везде пахло. Потому что везде было изобилие, и всякий понимал, что изобилия стыдиться нечего. Еще очень недавно, в Пензе, хозяйственные купцы не очищали ретирад, а содержали для этой цели на дворах свиней. А в Петербурге этих свиней ели под рубрикой «хлебной тамбовской ветчины». И говорили: у нас в России трихин в ветчине не может быть, потому что наша свинья хлебная.

А нынче пройдитесь-ка по Тверской — аромат! У Шевалдышева — ватерклозеты, в «Париже» — ватерклозеты... Да и

¹ любовникам.

те посещаются мало, потому что помещик ныне наезжает легкий, неблагополучный. Только в Охотном ряду (однако и там наполовину против прежнего) пахнет, да еще на Ильинке толстомясые купцы бьются-урчат животами... Гамбетты!

Да что тут! На днях получаю письмо из Пензы — и тут разочарование! «Спешу поделиться с вами радостной весточкой, — сообщает местный публицист, — и мы, пензяки, начали очищать нечистоты не с помощью свиней, а на законном основании. Первый, как и следовало ожидать, подал пример наш уважаемый» и т. д. Ну, разумеется, порадоваться-то я порадовался, но потом сообразил: какое же, однако, будет распоряжение насчет «гамбовской хлебной ветчины»? Ведь этак, чего доброго, она с рынка совсем исчезнуть должна!

Теперь сопоставьте-ка эти наблюдения с известиями о саранче, колорадском жучке, гессенской мухе и пр., и скажите по совести: куда мы идем? уж не того ли хотим добиться, чтоб и на крестьянских дворах ничем не пахло?

Конечно, это своего рода идеал. Но придется ли дожждаться его осуществления — это еще вопрос. По-моему, на крестьянском дворе должно обязательно пахнуть, и ежели мы изгоним из него запах благополучия, то будет пахнуть недонмками и урядниками.

Итак, прежнее московское благополучие перешло ныне в Париж. Конечно, оно выразилось не в тех простодушно ясных формах, в каких проявлялось на полном, как чаша, дворе пензенского гражданина, но все-таки достаточно определенно, чтоб удовлетворить самым прихотливым требованиям.

С тех пор как во Франции восторжествовало «законное правительство», с тех пор как буржуа, отделавшись от Мак-Магонских угроз, уже не думает о том, придется ли ему предать любезное отечество или не придется, Парижу остается только упитываться и тучнеть. Такова характеристическая черта его существования за последнее время. А следуя его примеру, упитывается и тучнеет и остальная Франция. Никогда палата депутатов не видала в стенах своих таких сытых и жирных сынов отечества, как те, которые заседают в ней после неудавшихся попыток Мак-Магона и его сподвижников.

Республика, по-видимому, отыскала для себя твердую почву, республика сытая, солидная, без республиканцев. Одним словом, осуществление идеала, излюбленного «маленьким буржуа», которому недавно воздвигнут памятник в С.-Жермене. Этот человек сделал все, чтоб примирить пугливого буржуа с словом «республика». Он до срока и без усилий уплатил пруссакам контрибуцию, затем разгромил коммуну и, в заключение, уничтожил национальную гвардию. Но, главное, он

указал новый исход для французского шовинизма, выяснив, что, кроме военной славы, есть еще слава экономического и финансового превосходства, которым можно хвастаться столь же резонно, как и военными победами, и притом с меньшей опасностью.

О шовинизме идейной инициативы он, разумеется, благо-разумно умолчал, да, признаться, после восемнадцатилетнего срамного пребывания под бандитской пятой, было как-то не к лицу и напоминать об идеях. Во всяком случае, установившейся таким образом республике без республиканцев удивительно повезло. Во-первых, скромностью своею она снискала уважение всей Европы; во-вторых, почти сразу свела на нет внутренние политические партии. Из них крайние левые были поражены в самое сердце, одновременно с разгромом коммуны; династические же партии оказались беспредметными. Шамбор бесплоден; Орлеаны плодovitы и многочисленны, но лишены предприимчивости, и хотя достаточно бессовестны, но не в том смысле, какой потребен для уловления вселенной; и в довершение благополучия во цвете лет погиб Монтихин отпрыск. Таким образом, монархические партии, то есть те, которые, вследствие сочувствий влиятельных сфер, имели возможность действительно вредить республике, поставлены в необходимость бездействовать. Коли хотите, они и теперь еще продолжают протестовать, но делают это вяло, очевидно, только ради формы. Поздравляют Шамбора со днями ангела и рождения, служат парадные панихиды в дни казней Людовика XVI и Марии-Антуанетты и проч. Но чуть коснется дело чего-нибудь более существенного, вроде, например, субсидий отощавшему Шамбору, в результате как-то всегда оказывается пустое место. Что же касается до бонапартистов, то, со смертью Лулу, в среде этих людей началась такая суматоха, которая несомненно кончится тем, что шайка эта, утратив последние признаки политической партии, просто-напросто увеличит собою ряды обыкновенных хищников, наказуемых общими судами.

Одним словом, никто, кроме выживших из ума Гаварди и Бодри д'Ассона (первый — сенатор, второй — депутат; оба — рьяные легитимисты), серьезно на нынешнюю французскую республику не претендует. Даже Бисмарк — и тот относится к ней без озлобления, хотя и не без любопытства. По-видимому, он совсем не того ожидал. Он рассчитывал, что пойдут в ход воспоминания 1789 и 1848 годов, что на сцену выдвинется четвертое сословие в сопровождении целой свиты «проклятых» вопросов, что борьба партий обострится и все это, вместе взятое, даст ему повод потихоньку да полегоньку раз-

нести по кирпичу очаг европейских беспокойств. И вдруг, вместо «проклятых» вопросов, самая благонадежная каплунья мудрость! Не прошло и десяти лет, а уж Франция заняла «надлежащее» место в «советах» европейских держав и вместе с прочими демонстрирует, в водах Эгейского моря, в пользу Греции. А газеты ее с гордостью возвещают, что город Париж удостоился посещения графа Твёрдоонтò и других distinguished кадетов. Разумеется, Бисмарк должен сознаться, что это совсем не входило в его расчеты.

Вообще француз-буржуа как нельзя больше доволен, что он занял «надлежащее» место в концерте европейских держав, и не нарадуется на своих дипломатов. В Берлине у него — Сен-Валье, в Риме — Ноайль, еще где-то — Даркура... совсем как при Людовике XIV! И все они верой и правдой служат ему, буржуа, торгующему овошным товаром где-то в rue de Sèze и твердо верующему, что французское благополучие гораздо успешнее покорит мир, нежели французское оружие. Каким же образом графу Твёрдоонтò, вместе с прочими кадетами, не почтить Парижа своим посещением? Как не пройти ему гоголем по boulevard des Italiens? ¹ как не сообщить мосьё Гамбетте о своих видах и предположениях насчет харчевенно-ресторанного союза, который, по его мнению, должен еще более скрепить сердечные узы, соединяющие Россию с Францией? Ведь это значило бы обидеть Сен-Валье и Даркура, с которыми вместе он, Твёрдоонтò, предназначен судьбою петь в концерте европейских держав...

Но ежели доволен буржуа, то мосьё Жюль Гревн действительно должен быть вне себя от восторга. Подумайте! он уже имеет в услужении «гарсонов» вроде Даркура и Ноайля — отчего ж не мечтать о «гарсонах» из породы Монморанси, Роган и Кондè. Придет время — и сам Мак-Магон не откажется еще и еще послужить. «Что, брат, задумался, — скажет ему Гревн, — переходи-ка в республиканцы!» И перейдет. Гревн терпелив и понимает, что все эти переходы только вопрос времени. А покуда он угощает графа Твёрдоонтò охотой в бывших императорских и королевских резиденциях и прикапливает сокровище из остаточков от президентского содержания. Так что если что-нибудь и омрачает его скромное благополучие, так это мысль, что отторжение Эльзаса и Лотарингии мешает достойным образом чествовать в стенах Парижа Бисмарка и Мольтке.

Словом сказать, все в восторге от современной французской республики, начиная с графа Твёрдоонтò и кончая кня-

¹ Итальянскому бульвару.

зем Бисмарком, который, как говорят, спит и видит хоть на часок побывать в Париже и посмотреть на «La femme á para»¹. Одно только вредит ей: это название «республика», а впрочем, и это дело скоро уладят календари. Да ведь и есть такая форма государственного общежития, есть. Чтò делать! даже в учебниках, для средних учебных заведений изданных, об этой форме правления упоминается (так прямо и пишут: форма *правления*); даже в стенах Новороссийского университета тайному советнику Панютину, в Одессе сущу, провозглашалось: четыре суть формы правления: деспотическая, монархическая неограниченная, монархическая ограниченная и... республиканская! И тайный советник Панютин огорчался, но не возражал...

Повторяю: все довольны французской республикой, никто не протестует против нее, но доволен ли ею французский рабочий — об этом я ничего сказать не могу. Не знаю. Вообще говоря, в предлагаемом этюде о французах я исключительно разумею французскую буржуазию, которая в настоящее время представляет собой управляющее сословие. С жизнью французского народа, в тесном значении этого слова, с его верованиями и надеждами, я совсем незнаком и даже городского рабочего знаю лишь поверхностно. Я допускаю, конечно, что «народ» представляет собой матерьял, гораздо более заслуживающий изучения, нежели угрожающий лопнуть от пресыщения буржуа, но дальше общих и довольно туманных догадок в этом смысле идти не могу.

Во французских газетах довольно часто случается встречаться с очень дробными и любопытными рубриками, на которые, в политическом смысле, подразделяются в современной Франции «сыны народа». Существуют рабочие-бонапартисты, рабочие-легитимисты, рабочие-оппортунисты, рабочие-социалисты, рабочие-клерикалы, рабочие — свободные мыслители и даже рабочие, не признающие ничего, кроме спиртных напитков (замечательно, впрочем, что никто никогда не слыхивал о рабочем-орлеанисте). Нередко в Париже организуются сборища, на которых трактуются близкие для рабочих вопросы и на которых, в качестве непременных членов, присутствуют полицейские комиссары, вспомоществуемые соответствующим количеством *gardiens de la paix* и мушаров. И одновременно с этими сборищами в процессиях, предпринимаемых по поводу всевозможных богомолий и дней ангелов (Шамбора, Наполеона, Евгении), тоже фигурируют более или менее компакт-

¹ «Папашина женка».

ные группы «сынов народа», распеваящих приличные случаю кантаты.

Итак, с одной стороны, социально-демократическая пропаганда, а с другой — поздравления с ангелом. С одной стороны — «Марсельеза» и красное знамя, с другой — *Vive Henri IV*¹ и знамя с белыми лилиями. И все это идет рядом и выливается из одного и того же до краев переполненного источника. Что *благородный* бонапартист уживается рядом с *благородным* социалистом — в этом еще нет чуда, ибо и тот и другой живут достаточно просторно, чтоб не мозолить друг другу глаза. Но ведь рабочий люд живет скученно, тесня друг друга и следуя друг за другом, так сказать, по пятам. Каким же образом в этой скученной среде выделяются столь несовместимые разновидности, и сколько в них, в этих разновидностях, есть искреннего и сколько театрального, подкупного?

Признаюсь, эти вопросы немало интересовали меня. Не раз порывался я проникнуть в Бельвиль или, по малой мере, в какой-нибудь *débit de vins*² на одной из городских окраин, чтоб собрать хотя некоторые типические черты, характеризующие эти противоположные течения. Но, по размышлении, вынужден был оставить эту затею навсегда.

Для путешественника (и в особенности русского) подобного рода предприятия почти недоступны. Во-первых, интимная жизнь рабочего люда в Париже, как и везде, сосредоточивается в таких захолустьях, куда иностранцу нет ни желания, ни даже возможности проникнуть. Парижский рабочий охотно оказывает иностранцу услуги и, видя в нем денежного человека и верного заказчика, смотрит на прилив чужеземного элемента, как на залог предстоящего торгового и промышленного оживления, которое может не без выгоды отразиться и на нем. Во всех других отношениях иностранец для него безличное существо, ноль. Помочь он ему не может, уж по тому одному, что голос его не имеет *здесь* ни малейшего авторитета. Кровно заинтересоваться его нуждою тоже не имеет повода, потому что эта нужда есть результат бесчисленного множества местных и исторических условий, в оценке которых принимают участие не только ум и чувство, но и интимные инстинкты, связывающие человека с его родиной. Ведь у этого самого иностранца на родине остались массы рабочего люда, которые тоже могут дать пищу самой широкой любознательности, а он вот приехал в Париж. Очевидно, он явился сюда совсем не ради

¹ Да здравствует Генрих Четвертый!

² винный погребок.

рабочего вопроса, а для того, чтоб жуировать, заказывать, покупать, любоваться произведениями искусств. Но он, пресытившись всем этим, задумал проникнуть в рабочую среду. Очень возможно, что это только назойливый празднлюбвец, вроде Герольштейнского принца, но кто же поручится, что он и... не шпион? Да, и шпион, и не кем другим подосланный, а именно Бисмарком. С тех пор как пруссаки побывали в Париже, убеждение о вездесущности прусского шпиона до того утвердилось в умах французской меньшей братии, что никакими доказательствами его не сокрушишь.

Во-вторых, для русского путешественника есть еще и особенная причина, которая заставляет его воздерживаться от прошикнувания в рабочую среду. Нельзя дотронуться до рабочего человека без того, чтоб из этого не вышло превратного толкования. А у нас на этот счет так заведено: если есть превратное толкование, то, стало быть, есть и соответствующее оному мероприятие. Разумеется, было бы преувеличенно утверждать, чтоб логика событий всегда действовала в этих случаях с строгою неумолимостью, но если даже применить сюда в качестве ободряющего обстоятельства пресловутое «как посмотреть», то все-таки выйдет порядочный риск. Я охотно допускаю, что, например, в настоящую минуту, не найдется ничего предосудительного в том, что зрелых лет мужчина интересуется рабочим вопросом... на Западе; но ведь причина этого благополучного отношения заключается не в самой непредосудительности факта, а в том, что общее правило «как посмотреть» случайно приняло менее суровый характер. Еще вчера то же самое правило стояло гораздо солиднее, а завтра, быть может, запрос на благополучие и совсем прекратится. На сцену выступит запрос на вывороченные к лопаткам руки, на шивороты и другие процессуальные подробности русской просветительной деятельности, воспоминание о которых не оставляет русского человека и за границей. С какими глазами предстанет тогда, по возвращении в дом свой, «зрелых лет» человек, который, понадеявшись на поднявшийся курс «благополучия», побывал на сходах рабочих в цирке Фернандо да, пожалуй, еще съездил с этою целью в Марсель на рабочий конгресс?

Нет, лучше уже держаться около буржуа. Ведь он еще во времена откупов считался бюджетным столпом, а теперь, с размножением Колупаевых и Разуваевых, пожалуй, на нем одном только и покоятся все надежды и упования.

Итак, говоря об унаследовании современным Парижем благополучия дореформенной Москвы, я разумею, по преимуществу, парижского буржуа, которого, благодаря необычно-

венно счастливому стечению обстоятельств, начинает уж рас-
пирать от сытости.

Со времени франко-прусской войны матерьяльное благосо-
стояние Франции не только не умалилось, но с какою-то невиданной выпуклостью выступило наружу, на зависть всем. Денег — не клюют куры; заводская и фабричная производительность едва успевает удовлетворять требованиям заказчиков; баланс — прелестнейший; бюджет — прихотливый и не знающий дефицита; железнодорожная сеть проникает в самые отдаленные уголки; забастовки рабочих хотя и нередки, но непродолжительны и всегда кончаются к обоюдному удовольствию. Буржуа до такой степени сыт, что чувствует потребность поделиться и с меньшим братом. Поэтому когда рабочие начинают предъявлять требования, то он, конечно, для формы покобенится, но именно только для формы, в конце же концов благодушно скажет: нате! рвите мои внутренности... ненасытные! И вот, в результате обоюдное удовольствие.

В довершение всего, в Париже отовсюду стекается такая масса всякого рода провизии, что, кажется, если б у буржуа, вместо одной, было две утробы, то и тут он всего бы не уместил.

Окрестности Парижа доставляют тончайшие овощи и фрукты; Нормандия и Турень — фрукты, молочные скопы и живность; Бретань — всякого рода мясо и самых молочных кормилиц, Перигё — пироги с начинкой, Гасконь — душистые трюфли, душистое вино и лгунов; Бургонь — вино и живность; Шампань — шампанское, Лион — колбасу, Прованс — оливковое масло, Ницца — фрукты в сахаре, Пиренеи — красных куропаток, Ланды — перепелок и ортоланов, океан и Средиземное море — всевозможные сорта рыб, раков и устриц... Когда буржуа начинает перечислять все эти богатства, то захлебывается слюнями и глаза у него получают какой-то неблагонадежный блеск: так и кажется, что вот-вот сейчас он перервет собеседнику горло. Даже о потере Страсбурга нынешний буржуа жалеет не столько по причине его знаменитой колокольни, сколько с точки зрения страсбургского пирога, которого не заменил даже пресловутый перигорский пирог. В одном только пункте буржуа чувствует себя уязвленным: нет у него русского рябчика, о котором гостившая в России баронесса Каулла («la fille Каoulla», как называли ее французские газеты) рассказывала чудеса (еще бы! сам Юханцев кормил ее ими). Но и тут у него есть луч надежды: Гамбетта, как слышно, уж шепчется о чем-то с графом Твёрдонто! В начале осени они вместе завтракали в café Anglais, и на завтраке инкогнито присутствовал принц Уэльский (платил

Твёрдоонтò). А в соседнем cabinet, в это же самое время, Каулла завтракала с генералом Сиссэ. И хотя на другой день в газетах было объявлено, что эти завтраки не имели политического характера, но буржуа только хитро подмигивает, читая эти толкования, и, потирая руки, говорит: «Вот увидите, что через год у нас будут рябчики! будут!» И затем, в тайне сердца своего, присовокупляет: «И, может быть, благодаря усердию республиканской дипломатии возвратятся под сень трехцветного знамени и страсбургские пироги».

Но повторяю: сытость настолько благотворно действует на человеческое сердце, что этому общему правилу не может не подчиниться и буржуа. Не будучи в состоянии заглотать все, что плывет к нему со всех концов любезного отечества, он добродушно уделает меньшей братии, за удешевленную цену, то, что не может пожарть сам. Эти остатки, в виде обедков пирогов, котлет, жареного мяса, живности и даже в виде застывших подливок, продаются в особенном отделении Halles centrales¹ и известны под именем bijoux². Они-то собственно и составляют главное основание стряпни в тех маленьких ресторанах, в которых питается недостаточное население столицы мира. Приправленные пряностями, облитые разогретыми подливками и поданные в виде дымящихся рагу и паштетов, они, с одной стороны, ласкают обоняние, с другой — производят изжогу. Но бедняк охотно забывает второе, чтоб всецело предаться благодарным впечатлениям о первом. Впрочем, и первое, и второе уже настолько вошли в его жизненный обиход, что не составляют для него неожиданности, а следовательно, не вызывают ни особенной радости, ни особенного огорчения.

Известно ли рабочему человеку родоприсхождение этих рагу? Знает ли он, что вот этот самый обрывок сосиски, который как-то совсем неожиданно вынырнул из-под груди загадочных мясных фигурок, был вчера ночью обгрызен в Maison d'Or³ генерал-майором Отчаянным в сообществе с la fille Каулла? знает ли он, что в это самое время Юханцев, по сочувствию, стонал в Красноярске, а члены взаимного поземельного кредита восклицали: «Так вот она та пропасть, которая поглотила наши денежки!» Знает ли он, что вот этой самой рыбьей костью (на ней осталось чуть-чуть мяса) русский концессионер Губошлепов ковырял у себя в зубах, тщетно ожидая в кафе Риш ту же самую Каулла и мысленно ропща: сколько тыщ уж эта шельма из меня вымотала, а все только одни раз-

¹ Центрального рынка.

² обедки.

³ «Золотом доме» (ночной ресторан).

говоры разговаривает! Знает ли он, что вот этот волос, который прилип у него на языке, принадлежит девице Круазетт и составляет часть локона, подаренного ею на память герцогу Омальскому? Знает ли он, наконец, что этот песок, который сию минуту хрустнул у него на зубах, составляет часть горсти земли, взятой рьяным бонапартистом с могилы Лулу и составлявшей предмет пламенных тостов на вчерашнем банкете в Hôtel Continental?

Я думаю, что он знает все это, но, разумеется, делает вид, что не знает. Ибо, не притворись он незнающим, ему просто по чувству приличия пришлось бы отказаться от рагу и от мясной пищи вообще. Быть может, ему предстояло бы даже познакомиться с подспорьем в виде мякины, потому что, как ни благодушен буржуа, но он поступаетя мясцом только в форме обедков, за натуральное же мясо и цену дерет натуральную. Между тем мясо необходимо меньшему брату, даже если б оно являлось в еще более неожиданных очертаниях. ибо оно поддерживает необходимую для труда бодрость и силу. И вот он глотает свои рагу и — *risum teneatis, amici!*¹ — даже пускается в их расценку... Лакомка!

Но ежели меньший брат знает родословную обедков, то благодарен ли он за них буржуа? На этот вопрос я удовлетворительно ответить не могу. Думаю, однако ж, что особенного повода для благодарности не имеется, и ежели бедняк въявь не выказывает своей враждебности по поводу обедков, то по секрету все-таки прикапливает ее. Да, доглотать обглоданную Губошлеповым рыблю кость — это-таки штука не последняя! но до поры до времени приходится подчиняться даже этой горькой необходимости, ибо буржуа хитер. Он окружил Париж бастионами, распустил национальную гвардию и ввел такую дисциплину в военном персонале, составляющем местный гарнизон, что только держись! И, совершивши все это, блаженствует.

Тем не менее, как ни приятна сытость, но и она имеет свои существенные неудобства. Она отяжеляет человека, сообщает его действиям сонливость, его мышлению — вялость. Чересчур сытый человек требует от жизни только одного: чтоб она как можно меньше затрудняла его, как можно меньше ставила на его пути преград и поводов для пытливости и борьбы. Самые наслаждения в глазах сытого человека приобретают ценность лишь в том случае, когда они достигаются легко, приплывают к нему, так сказать, сами собой. Мы, русские сытые люди, круглый год питающиеся блинами, пирогами и калачами, кое-что знаем о том духовном остолбенении, при котором един-

¹ не смейтесь, друзья!

ственную лучезарную точку в жизни человека представляет сон, с целою свитой свистов, носовых заверток, утробных сно-видений и кошмаров. Оттого-то, быть может, у нас и нет тех форм обеспеченности, которые представляет общественно-политический строй на Западе. Но зато есть блины.

Француз-буржуа хотя и не дошел еще до столбняка, но уже настолько отяжелел, что всякое лишнее движение, в смысле борьбы, начинает ему казаться не только обременительным, но и неуместным. Традиция, в силу которой главная привлекательность жизни по преимуществу сосредоточивается на борьбе и отыскивании новых горизонтов, с каждым днем все больше и больше теряет кредит. Буржуа ищет не волнений, а спокойствия, легкого уразумения и во всем благого поспешения. В деле религии он заявляет претензию, чтоб бог, без всяких с его стороны усилий, *motu proprio*¹ посылал ангелов своих для охраны его. В деле науки он ценит только прикладные знания, нагло игнорируя всю подготовительную теоретическую работу и предоставляя исследователям истины отыскивать ее на собственный риск. В деле публицистики он любит газетные строчки, в которых коротенько излагается, с кем завтракал накануне Гамбетта, какие титулованные особы удостоили своим посещением Париж, и приходит в восторг, когда при этом ему докладывают, что сам Бисмарк, в интимном разговоре с Подхалимовым, нашел Францию достойною участвовать в концерте европейских держав. В деле беллетристики он противник всяких психологических усложнений и анализов и требует от автора, чтоб он, без отвлеченных околичностей, но с возможно большим разнообразием «особых примет», объяснил ему, каким телом обладает героиня романа, с кем и когда и при каких обстоятельствах она совершила первый, второй и последующие адюльтеры, в каком была каждый раз платье, заставляла ли себя умолять или сдавалась без разговоров, и ежели дело происходило в *cabinet particulier*², то в каком именно ресторане, какие прислуживали гарсоны и что именно было съедено и выпито. Даже в своих любовных предприятиях он не терпит запутанности и лишних одежд, а настаивает, чтоб все совершалось чередом, без промедления времени... сейчас!

Разумеется, эта сонливая простота воззрений не может не отражаться и на целом жизненном строе современной Франции.

Начать с бога, который положительно стесняет буржуа. Попы требуют, чтоб буржуа ходил к обедне, и тем, которые

¹ по собственному почину.

² в отдельном кабинете.

ходят, обещают вечное блаженство, а тем, которые не ходят, — вечные адские мѹки. Всякий буржуа — вольнодумец по преданию, но в то же время он трус и, как я уже заметил выше, любит перекрестить себе пупок — так, чтоб никто этого не заметил. Однако ж он делает последнюю уступку лишь потому, что она ничего не стѹит, а сверх того, не ровен случай, может и пригодиться. Но чтоб поп позволял себе публично угрожать ему или соблазнять наградами — этого он уж никак потерпеть не может. На этой почве он издавна, с неравным успехом, но упорно борется с попом, а с легкой руки Вольтера эта борьба приняла очень яркий и даже торжествующий характер. До сих пор, однако ж, это все-таки была только борьба, самое существование которой свидетельствовало о гадательности исхода. Ныне буржуа почувствовал себя настолько окрепшим, что ему кажется уже удивительным, стѹило ли об этом так долго и много хлопотать. Гораздо проще — упразднить поповского бога совсем, а для домашнего обихода декретировать бога лаицизированного (без знаков отличия). Сказано — сделано. Сначала буржуа поручил это дело своему министру Фрейсинэ, а когда последний оказался чересчур податливым, то уволил его в отставку и ту же задачу возложил на министра Ферри. И вот теперь в целой Франции действует бог лаицизированный. Сколько веков этот вопрос волновал умы, сколько стрел было выпущено по этому поводу одним Вольтером, а буржуа взял да в один миг решил, что тут и разговаривать не об чем. Правда, что он еще не вычеркнул окончательно слова «бог» из своего лексикона, но очевидно, что это только лазейка, оставленная на случай могущей возникнуть надобности, и что отныне никакие напоминания о предстоящих блаженствах и муках уже не будут его тревожить.

Я слышал, однако ж, что вопрос о конгрегациях, с такую изумительной легкостью и даже не без комизма приведенный к концу прошлѹю осенью, чуть было не произвел разрыва между Гамбеттой и графом Твэрдоонтѹ. Граф случился в это время в Париже и был до глубины души скандализован. Он вспомнил, как во дни его юности его вывели mit Skandal und Trompeten¹, из заведения Марцинкевича, и не мог прийти в себя от сердечной боли, узнав, что тот же самый прием допущен мосье Кобе (chef de sѹreté², он же и позитивист) относительно отцов «реколлетов». Ну, разумеется, вступился. Выбрал час завтрака и отправился к Гамбетте.

¹ со скандалом и шумом.

² начальник охранной полиции.

— Нельзя без бога, Гамбетта! — усовещивал он президента палаты депутатов, — вы сами скоро убедитесь, что нельзя! Скажу вам, со мной в корпусе такой случай был. Обыкновенно, не приготовив урока, я обращался к богу, прося, чтоб учитель не вызвал меня. И хотя это случалось довольно часто, но бог, по неизреченному ко мне милосердию, а может быть, и во вниманье к заслугам моих родителей, никогда не оставлял моей молитвы без исполнения. И вдруг однажды я возгордился. Урока-то не приготовил, да и богу помолиться пренебрег. И что же произошло? Прежде всего, учитель сейчас же меня вызвал и поставил мне ноль; вслед за тем я был пойман в курении, потом напился пьян и нагрубил дежурному офицеру. А к вечеру был уже высечен. Что вы скажете об этом?

Но Гамбетта уклонился от прямого ответа и только сочувственно произнес: ссс...

— Не думайте, впрочем, Гамбетта, — продолжал Твёрдоонтò, — чтоб я был суеверен... нимало! Но я говорю одно: когда мы затеваем какое-нибудь мероприятие, то прежде всего обязываемся понимать, против чего мы его направляем. Если бы вы имели дело только с людьми цивилизованными — ну, тогда я понимаю... Ни вы, ни я... О, разумеется, для нас... Но народ, Гамбетта! вспомните, что такое народ! И что у него останется, если он не будет чувствовать даже этой узды?

Но Гамбетта только качал головой и время от времени произносил: ссс... Как истинно коварный генуэзец, он не только не раздражил своего собеседника возражением, но даже охотно уступил ему, что без бога — нельзя.

— Так за чем же дело стало? — радостно воскликнул Твёрдоонтò, протягивая руки.

Однако Гамбетта и тут нашелся: не говоря ни слова, позвонил и приказал сервировать завтрак. Подали какой-то необычайной красоты руанскую утицу и к ней совершенно седую бутылку Понтè-Канè. Разумеется, Твёрдоонтò только языком щелкнул.

И таким образом разрыв был устранен. Съели утицу, выпили Понтè-Канè, и о боге — ни гугу! Вот как ловко действует современная французская дипломатия.

Ту же самую несложность требований простирает современный буржуа и к родной литературе. Было время, когда во Франции господствовала беллетристика идейная, героическая. Она зажигала сердца и волновала умы; не было безвестного уголка в Европе, куда бы она не проникла с своим светочем, всюду распространяя пропаганду идеалов будущего в самой общедоступной форме. Люди сороковых годов и доселе не

могут без умиления вспоминать о Жорж Занде и Викторе Гюго, который, впрочем, вступил на стезю новых идеалов несколько позднее. Сю, менее талантливый и теперь почти забытый,—и тот читался нарасхват, благодаря тому, что он обращался к тем инстинктам, которые представляют собой лучшее достояние человеческой природы. Даже в Бальзаке, несмотря на его социально-политический индифферентизм, невольно просачивалась тенденциозность, потому что в то тенденциозное время не только люди, но и камни вопияли о героизме и идеалах.

За эту же героическую литературой шла и русская беллетристика сороковых годов. И не только беллетристика, но и критика, воспитательное значение которой было едва ли даже в этом смысле не решительнее.

Современному французскому буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу. Он слишком отяжелел, чтоб не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтоб нуждаться в расширении горизонтов. Он давно уже понял, что горизонты могут быть расширены лишь в ущерб ему, и потому на почве расширения охотно примирился бы даже с Бонапартом, если б этот выход был для него единственный. Но, во-первых, ему навернулось нечто другое, более подходящее и в смысле горизонтов столь же вожаделенное; а во-вторых, дух авантюризма в соединении с тупоумием — свойства, в высшей степени украшавшие бандита, державшего в течение осмнадцати лет в своих руках судьбы Франции,—испугали буржуа. Обуреваемый жаждою приключений, бандит никогда не мог определить, во что обойдется предполагаемое приключение и куда оно приведет. И таким образом дошел до прусского нашествия. Буржуа не может без злости вспомнить, что пруссаки выпили все вино, хранившееся в его погребах, выкурили все его сигары, выкрали из его шкапов платье, посуду и серебро и даже часы с каминов. Он может забыть гибель сынов Франции, изменническую сдачу Метца, панику худо вооруженных и неодетых войск, но забыть пропажу часов, за которые он заплатил столько-то сотен франков, *gubis sur l'ongle*¹ — никогда! И вот это-то вечно присущее воспоминание о выпитом вине и исчезнувших часах и уничтожило весь престиж наполеоновской идеи. А тут же, кстати, вспомнилось, что не худо бы посчитать, во что обошлись Франции приключения бандита. Посчитали, и оказалась такая прорва, что буржуа даже позеленел от злости при мысли, что эту про-

¹ чистоганом.

рву наполнил он из собственного кармана и что все эти деньги остались бы у него, если б он в 1852 году, с испуга, не предал бандиту февральскую республику. Но зато теперь он республику уже не предаст. Теперь у него *своя собственная* республика, республика спроса и предложения, республика накопления богатств и блестящих торговых балансов, республика, в которой не будет ни «приключений», ни... «горизонтов». Эта республика обеспечила ему все, во имя чего некогда он направо и налево расточал нудины поцелуи и с легким сердцем предавал свое отечество в руки первого встречного хищника. А именно, обеспечила сытость, покой и возможность собирать сокровища. И, сверх того, она же бдительно следит за легкого поведения девицами, не ради торжества добродетели, а дабы его же, буржуа, оградить от телесных повреждений.

И буржуа, действительно, так плотно засел в своей сытости и так прочно со всех сторон окопался, что отныне уже никакие «приключения» не достигнут его.

Но эта безыдейная сытость не могла не повлиять и на жизнь. Прониклась ею и современная французская литература, и для того, чтоб скрыть свою изменчивость, не без наглости подняла знамя реализма. Слово это небызвестно и у нас, и даже едва ли не раньше, нежели во Франции, по поводу его у нас было преломлено достаточно копий. Но размеры нашего реализма несколько иные, нежели у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область *всего* человека, со *всем* разнообразием его определений и действительности; французы же главным образом интересуются торсом человека и из всего разнообразия его определений с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах. С этой точки зрения Виктор Гюго, например, представляется в глазах Золя чуть не гороховым шутком, да, вероятно, той же участи подверглась бы и Жорж Занд, если б очередь дошла до нее. По крайней мере, никто нынче об ней не вспоминает, хотя за ней числятся такие создания, как «Орас» и «Лукреция Флориани», в которых подавляющий реализм идет об руку с самою горячею и страшною идейностью.

Во главе современных французских реалистов стоит писатель, несомненно талантливый — Золя. Однако ж и он не сразу удовлетворил буржуа (казался слишком трудным), так что романы его долгое время пользовались гораздо бoльшею известностью за границей (особенно в России), нежели во Франции. «Ассомуар» был первым произведением, обратившим на Золя серьезное внимание его соотечественников, да и то

едва ли не потому, что в нем на первом плане фигурируют представители тех «новых общественных настроений», о близком нашествии которых, почти в то же самое время, несколько рискованно возвещал сфинкс Гамбетта (Наполеон III любил, чтоб его называли сфинксом; Гамбетта — тоже) в одной из своих речей. Любопытно было взглянуть на этого дикаря, вандала-гунна-готфа, к которому еще Байрон взывал: *arise ye, Goths!*¹ и которого давно уже не без страха поджидает буржуа, и даже совсем было дождался в лице Парижской коммуны, если б маленький Тьер, споспешествуемый Мак-Магоном и удалым капитаном Гарсенем², не поспешил на помощь и не утопил готфа в его собственной крови.

И точно, Золà настолько испугал буржуа, что в самое короткое время «Ассомуар» разошелся во множестве изданий. Но все-таки это был успех испуга, действительным же любимцем, художником по сердцу буржуа и всефранцузскою знаменитостью Золà сделался лишь с появлением «Нанà». Представьте себе роман, в котором главным лицом является сильно действующий женский торс, не прикрытый даже фиговым листом, общедоступный, как проезжий шлях, и не представляющий никаких определений, кроме подробного каталога «особых примет», знаменующих пол. Затем поставьте, в *pendant*³ к этому сильно действующему торсу, соответствующее число мужских торсов, которые тоже ничего другого, кроме особых примет, знаменующих пол, не представляют. И потом, когда все эти торсы надлежащим образом поставлены, когда, по манию автора, вокруг них создалась обстановка из бутафорских вещей самого последнего фасона, особые приметы постепенно приходят в движение и перед глазами читателя завязывается бестиальная драма... Спрашивается: каких еще более возбуждающих услад может требовать буржуа, в котором сытость дошла до таких геркулесовых столпов, что едва не погубила даже половую бестиальность?

Все в этом романе настолько ясно, что хоть протягивай руку и гладь. Только лесбийские игры несколько стушеваны,

¹ восстаньте, готы!

² Капитан Гарсен — тот самый, который во время торжества версальских войск над коммуной расстрелял депутата Милльера за «вредное направление» его литературной деятельности» (а мы-то жалеемся!). В виду войск и толпы он велел поставить его на колени на ступенях Пантеона (боюсь ошибиться, но кажется, что там) и наклонить ему голову в знак того, что он просит прощения за причиненный его литературной деятельностью вред. И когда это было выполнено, приказал застрелить Милльера. Капитан Гарсен и поныне состоит на службе. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

³ в соответствие.

но ведь покуда это вещь еще на охотника, не всякий ее вместит. Придет время, когда буржуа еще сытее сделается — тогда Зола и в этой сфере себя мастером явит. Но сколько мерзостей придется ему подсмотреть, чтоб довести отделку бутафорских деталей до совершенства! И какую неутомимость, какой железный организм нужно иметь, чтоб выдерживать труд выслеживания, необходимый для создания подобной эксcrementально-человеческой комедии! Подумайте! сегодня — Нанà, завтра — представительница лесбийских преданий, а послезавтра, пожалуй, и впрямь в герои романа придется собирать производительниц и производителей эксcrementов!

Но тогда, разумеется, буржуа еще при жизни поставит ему монумент.

Оговариваюсь, впрочем, что в расчеты мои совсем не входит критическая оценка литературной деятельности Зола. В общем я признаю эту деятельность (кроме, впрочем, его критических этюдов) весьма замечательною и говорю исключительно о «Нанà», так как этот роман дает мерило для определения вкусов и направления современного буржуа.

Около Зола стоит целая школа последователей, из которых одни рабски подражают ему, другие — выказывают поползновение идти еще дальше в смысле деталей. Но тут псевдо-реализм приобретает характер скудоумия тем более яркий, что даже нагота торсов не защищает его. Скучно, назойливо, бездарно, и ничего больше. Перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей, не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой, подробностей, ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных сами по себе. Вот, например, перед вами Альфред. Бедный Альфред! Возьмись за него писатель сильный, вроде Жорж Занда, Бальзака, Флобера — из него вышел бы отличный малый. А так называемый реалист едва прикоснулся к нему, как уже и погубил!

Судите сами.

Альфред встает рано и имеет привычку потягиваться. Потягиваясь, он обдумывает свой вчерашний день и находит, что провел его не совсем хорошо. Ночью он ужинал с Селиной и заметил, что от нее пахнет теми же духами, какими обыкновенно прыскается Жюль! Когда он спросил об этом, то она только рассмеялась (*un petit rire*¹ или *un gros rire*² — это безразлично). Надо, однако ж, эту тайну раскрыть. Раскрыть так раскрыть, но для чего он будет раскрывать? вот в чем

¹ смешок.

² хохот.

вопрос. Задавши себе этот вопрос. Альфред решает, что затеял глупость. Говоря по совести, ни с какой Селиной он вчера не ужинал, а пришел вечером в десять часов домой, съел кусочек грюйеру и щелкнул языком. Уличивши себя во лжи, Альфред решается встать. Разумеется, сначала умывается (страница, посвященная умывальнику, и две, посвященные мылу), потом начинает одеваться. Денных рубашек у него всего три: одна у прачки, другую он надевал вчера, третья лежит чистая в комоде. Надо быть осторожным. Рассматривая вчерашнюю рубашку, он замечает порядочное пятно на самой груди. Это, должно быть, Селина вчера за ужином капнула вином! говорит он, и на этом первая глава кончается. Вторая глава начинается с того, что Альфред припоминает, что ни Селины, ни ужина, ни вина вчера не было. Стало быть, происхождение пятна на рубашке должно быть иное. Ба! да ведь я вчера купаться ходил! — восклицает Альфред и приходит к заключению, что, куда он был в воде, а белье лежало на берегу реки, могла пролететь птица небесная и на лету сделать сюрприз. Но, придя к этому выводу, он припоминает, что ни вчера, да и вообще никогда не купался. Стало быть, и опять соврал, и так как с этим враньем надо покончить, то автор проводит черту и приступает к 3-й главе. В этой новой главе Альфред все еще одевается. Разумеется, описание одежды строго соотнобразяется с теми правами состояния, которыми пользуется герой. Ежели он человек салонов, то всякая часть его одежды блестит и покроем свидетельствует, что в постройке ее участвовали первые мастера Парижа; если он *un homme déclassé*¹, то на каждой части его туалета оказывается пятно, что заставляет его нюхать и рубашку, и жилет, и штаны, дабы не поразить добрых знакомых запахом благополучия. Допустим, что наш Альфред принадлежит к последнему разряду молодых людей. Он нюхает и отчищает, но дело у него решительно не спорится. Сначала приходит *portier*², с которым нужно сказать несколько ненужных слов, потом вбегает соседка, которая просит одолжить коробочку спичек и которой тоже нельзя не сказать несколько любезностей. За тем да за сём время летит, и наступает минута кончить третью главу. В четвертой главе Альфред идет завтракать в кафё; там его встречает гарсон (имярек). Разговор. Гарсон предлагает сперва одну газету, потом другую, третью — Альфред отказывается; потом Альфред начинает спрашивать сперва одну газету, потом другую, третью — гарсон отвечает, что кафё этих газет не полу-

¹ деклассированный человек.

² швейцар.

чает. Потом гарсон спрашивает, почему Альфред так давно не был в кафе, на что последний отвечает, что получил наследство. Но так как он наследства не получал, то спешит переменить разговор и говорит, что ездил в Москву. На этом 4-я глава кончается. В пятой главе Альфред идет на бульвар. Идет и думает: а ведь у меня нет почтовой бумаги — найду и куплю. Но по дороге ему попадается торговка с фруктами. Сочные груши, сочная торговка (описание торговкиной груди), а из-под груш выглядывает сочный гроздий винограда. «Эк тебя разнесло!» думает Альфред, смотря не то на торговкину грудь, не то на виноград. Ибо и виноград своим видом способен пробуждать в нем вожделение. Альфред решается начать с груши и ест ее, а тем временем ему садится на нос муха. Пятой главе конец. В шестой главе он споняет муху, которая опять садится на то же место. Это повторяется до трех раз; тогда он догадывается, что муху привлекает сок груши, и он бросает последнюю на мостовую. Муха улетает. А между тем торговка, в форме маленьких строчек, предлагает ему то грушу, то персик, то фигу, но он на всякий ее вопрос отвечает односложно: *non!*¹ Наступает седьмая глава. Альфред идет на бульвар, забывши, что он хотел купить почтовой бумаги; вместо того он вспомнил, что у него нет перчаток, и идет к перчаточнице. У перчаточницы грудь колесом, а поясница — ума помраченье. Он вспоминает, что точь-в-точь такая же поясница у Селины, но тут же спохватывается, что еще утром было решено, что он никакой Селины никогда не знал. «Где же бы, однако, я эту поясницу видел?» говорит сам себе Альфред и, начиная всматриваться в перчаточницу, узнает в ней свою тетку. «*Ma tante! quel bonheur!*»² Седьмая глава кончилась. В восьмой главе Альфред вспоминает о своем детстве. «А помните, *ma tante*, как я раз подсмотрел вас купающеюся в Марне?» — Молчи, шалун! — грозит ему *ma tante* и требует, чтоб он пришел к ней обедать. Осьмая, девятая, десятая и прочие главы посвящены описанию тетенькиной квартиры, тетенькинова мужа и блюд, подающихся за обедом. Тетенькин муж — араб, который служил когда-то Абделькадеру, но передался Франции, полюбил Париж и женился на тетушке. У него один недостаток: он кусается в порыве страсти; но есть и достоинство: тетушка не имеет от него детей. Оттого-то и поясница у нее в том же виде, в каком запомнил ее Альфред, когда она купалась в Марне. Еще глава — и Альфред идет в театр, а оттуда — ужинать в кафе. Там он совершает адюльтер, но тут

¹ нет!

² Тетя! какое счастье!

выходит нечто в высшей степени непостижимое. Оказывается, что адюльтер совершил не он, а Жюль, а он, Альфред, ни у тетушки, ни в театре, ни в кафе не был... где же он, однако, был? Интерес возбужден в высшей степени. Первой части конец.

Далее я, разумеется, не пойду, хотя роман заключает в себе десять частей, и в каждой: не меньше сорока глав. Ни муха, ни торговка, ни перчаточница, ни Селина в следующих томах уже не встретятся. Они были нужны, потому что без них невозможно производить строчки, а без строчек не было бы построчной платы. Реалист французского пошиба имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет, а знает только, что сколько посидит, столько и напишет. И никто его обуздать не может; ни обуздать, ни усовестить, потому что он на все усовещания ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор — говорю: забор; вижу поясницу — говорю: поясница. И при этом непременно обляет Виктора Гюго, назовет его старым шутком, и т. д.

Но для современного буржуа это мелькание мысли совершенно по плечу. Ему любы литераторы, которые не затрудняют его загадками, а излагают только его собственные быденные дела. Собственно говоря, он и читает единственно для того, чтоб не прослыть неучем, и вот, на его счастье, нашелся чародей, который облегчил ему и эту задачу. Этот чародей пишет строки коротенькие, а главы — на манер водевильных куплетов. Купит буржуа книжку (и цена ей — грош), принесет ее домой — и сам рад, и в семье все рады. Все от рождения сыты, и всем лестно коротеньких строчек почитать. А иногда и смешные эпизоды встречаются. Пил человек пиво и залил новый жилет; или: казалось, что у перчаточницы грудь колесом, а, по исследованию, вышло, доска доской. «Вот наши общественные недуги!» — восклицает буржуа и, обращаясь к жене, прибавляет: «А у тебя, мой друг, без обману!»

Такова вторая стадия современного французского реализма; третью представляют произведения порнографии. Разумеется, я не буду распространяться здесь об этой литературной профессии; скажу только, что хотя она довольно рьяно преследуется республиканским правительством и хотя буржуа хвалит его за эту строгость, но потихоньку все-таки упивается порнографией до пресыщения. Особливо ежели с картинками.

Убедиться в том, что современный властелин Франции (буржуа) — порнограф до мозга костей, чрезвычайно легко: стоит только взглянуть на модные покрои женских одежд. В этой области каждый день приносит новую обнаженность, и ежели, например, сегодня нет ничего неясного под мышками,

то завтра, наверное, такая же ясность постигнет какую-нибудь другую разжигающую часть женского бюста. Театр, который всегда был глашатаем мод будущего, может в этом случае послужить отличнейшим указателем тех требований, которые предъявляет вивёр-буржуа к современной женщине, как носительнице особых примет, знаменующих пол. Действительно, в парижских бульварных театрах покррой женских костюмов до такой степени приблизился к идее скульптурности, что ни один гусарский вахмистр, наверное, не мечтал о рейтузах, равносильных, по выразительности, тем, которые охватывают нижнюю часть туловища m-lle Myeris в «*Pilules du diable*»¹. И надо видеть, как буржуа, весь в мыле и тяжко сопя, ловит глазами каждое движение этих рейтуз!

Сами французы жалуются, что старинная французская *causerie*² постепенно исчезает. И точно: салонов, в которых маркиза разыгрывала бы «провербы», а маркиз, в умеренных размерах, предавался бы фрондерству и кощунству, в настоящее время в Париже нет и в помине. Их заменили клубы (но не *clubs*, а *cercles*, так как по-французски *club* означает нечто равносильное тому, что у нас понимается под названием обществ, составляемых с целью ниспровержения и т. д.), в которых господствует игра, и *cabinets particuliers*³, в которых господствует обжорство и адюльтер. Да и мудроно требовать разговора от людей, у которых нет никаких слов в запасе, а имеются только произвольные движения, направляемые с целью ниспровержения женских туалетов. Представить их себе разыгрывающими провербы — все равно, что ждать от бывшего крепостного владыки утонченных манер относительно девки Палашки или от железнодорожного хлыща, упомянутого мной во 2-й главе настоящих этюдов, — кроткого обращения с девицей Альфонсинкой. Все, что буржуа может, — это, подобно последнему, «изуродовать» Альфонсинку или, в добрую минуту, дать ей по спине «разá».

Я, впрочем, не держусь мнения, чтоб следовало жалеть о пресловутых французских *causeries*. В первой половине прошлого столетия они сделали свое дело, ознаменовав начало умственного возрождения и дав миру Вольтеров, Дидро, Гольбахов и проч. Но как только «возрождение» встретилось с 1789 годом, так тотчас же *causeries* утратили фрондерско-кощунственный характер и просто-напросто превратились в высшую школу паскудства. Впрочем, и доселе образчики

¹ м-ль Миэрис в «Чертовых пилюлях».

² беседа.

³ отдельные кабинеты.

этих *causeries* от времени до времени появляются на сцене французских комедий в форме «*proverbes*», в которых девица Круазетт показывает свои паливные плечи и поражает великолепием туалетов. Но, несмотря на привлекательность этих приманок, современные «провербы» точно так же мало удовлетворяют они и буржуа-вивёра наших времен. Первый нашел бы их чересчур однообразными и не встретил бы в них ни аттической соли, ни элемента возрождения; второй говорит прямо: ведь все равно развязка будет в *cabinet particulier*, так из-за чего же ты всю эту музыку завела?

Не об этом надо жалеть, а о том горении мысли, которое в течение слишком полувека согревало не только Францию, но чрез ее посредство и мир. Но пришел бандит и, не долго думая, взял да и погасил огонь мысли. Он ничего не страшился, ни современников, ни потомков, и с одинаковым неразумением накладывал гасильник и на отдельные человеческие жизни, и на общее течение ее. Успех такого рода извергов — одна из ужаснейших тайн истории; но раз эта тайна прокралась в мир, все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое, — все покоряется гнету ее.

И вот, в результате — республика без республиканцев, с сытыми буржуа во главе, в тылу и во флангах; с скульптурно обнаженными женщинами, с порнографической литературой, с избытком провизии и *bijoux* и с бесчисленным множеством *cabinets particuliers*, в которых денно и ночью слагаются гимны адюльтеру. Конечно, все это было заведено еще при бандите, но для чего понадобилось и держится доднесь? Держится упорно, несмотря на одну великую, две средних и одну малую революции.

На это возражают, что за республикой остается одно капитальное и неотъемлемое приобретение: *suffrage universel*¹. Конечно, против этого ничего сказать нельзя; даже у нас ничего подобного нет. Но, во-первых, *suffrage universel* существовал и во времена бандита, и неизменно отвечал «да», когда последний этого желал. Во-вторых, ведь и теперь продукты *suffrage universel*, заседающие в палатах, едва ли многим отличаются от продуктов *suffrage restreint*², которыми щеголяли *chambres introuvables*³ времен Карла X и Луи-Филиппа. Это тоже тайна истории и, конечно, не из утешительных.

И еще говорят, что в последнее время в Париже уже начинается движение, имеющее положить конец владычеству бур-

¹ всеобщее избирательное право.

² ограниченное избирательное право.

³ «бесподобные палаты».

жуазии. Действительно, рабочие кварталы, с осуществлением амнистии, как будто оживились, но размеры движения еще так ничтожны, что ни цели его, ни темперамент, ни шансы на успех — ничто не выяснилось. Покуда имеются в виду только страшные слова, которые, впрочем, не производят особенного впечатления, потому что за ними не слышится той жизненности и страстности, которые одни могут дать начало действительному движению.



P. S. В ту самую минуту, когда я дописываю настоящие строки, со стен петропавловской крепости раздается пушечная пальба, возвещающая, что галлы изгнаны. Но как, однако ж, это давно было!

25-го декабря, 1880 года.

V

В предыдущей главе я говорил, что в Париже и одинокому человеку, без связей и знакомств, трудно пропáсть со скуки. Но, разумеется, в подходящей компании еще веселее. Хорошо и одному пообедать у Биньона или у Маньи́, но вдвоем, втроем проштудировать приличествующий обеденный *menu*¹ — куда лучше.

В особенности слаще естся и пьется, живее чувствуются всякие скульптурности — в обществе соотечественников. Сердце сердцу весть подает. Никто так благовременно не щелкнет языком, никто так целесообразно не посмотрит на свет сквозь вино, так умно не вдохнет ноздрями, так сладостно не зажмурит глаза, так вкусно не захлебнется собственной слюною, как соотечественник. Обжоры и *gouignets*² всех стран и национальностей проделывают все эти движения; но только соотечественник выполнит это так, что у земляка все нутро взиграет. Все тут скажется: и писанная история, и устные предания, и педагогические особенности, и институт урядников, и внутренняя политика, и «не белы снеги»... Да, «не белы снеги», и даже по преимуществу. Едите вы *sòle au vin blanc*³, а в ушах раздается «кболокольчик, дар Валдая», а в глазах стелется бесконечная снеговая степь. И в довершение, среди захлебываний, вдыханий и щелканий, вдруг вырвется слово... ах, какое слово!

¹ меню.

² лакомки.

³ камбалу в белом вине.

Клянусь, оригинальнее этой приправы представить себе ничего нельзя!

С кем поделиться впечатлениями, вынесенными из «*Pilules du diable*»? на чьей груди излить тревогу чувств, взволнованных чтением последнего номера «*Avènement parisien*»?¹ кому рассказать: вот, батюшка, я давеча в musée Cluny² инструментик, придуманный средневековыми рыцарями для охранения супружеской верности, видел — вот так штука! Разумеется, всё ему, всё соотечественнику! Кто, кроме соотечественника, примет к сердцу эти впечатления, тревоги и рассказы? Кто, как не он, ощутит именно *то*, что вы сами ощущаете? Кто делает именно *такую* оценку, какую вы сами делаете?

А потом и еще: формы правления, внешняя и внутренняя политики, начальство, военные и морские силы, религия, бог — с кем обо всем этом по душе поговорить? Кто, кроме соотечественника, поймет те образные уподобления, те внезапные переходы и умозаключения, которые могут быть объяснены только интимным мирозерцанием, свойственным той или другой национальности? Кто с большею выпуклостью, так сказать, при помощи собственных боков, пустит в ход сравнительный метод, который, в деле оценки форм общежития, представляет самое веское и убедительное доказательство?

Словом сказать, в обществе соотечественника всякое ощущение приобретает двойную и тройную цену, всякое удовольствие возвышается до степени наслаждения.

Но ежели высказанные сейчас замечания верны относительно скитальцев вообще, то относительно русских скитальцев из породы культурных людей они представляют сугубо непреложную истину. Попробую объяснить здесь причины, обуславливающие это явление.

Во-первых, в целом мире не найдется людей столь общительных, как русские. Ошибочно утверждают, будто бы на родине нам предоставлено молчать. Совсем напротив. Молчание считается у нас равносильным угрюмости, угрюмость же равносильною злоумышлению: стало быть, ни для кого нет расчета добиваться от нас молчания и торжествовать по его поводу. Не молчать предоставляется нам, а только говорить пустяки — вот в чем состоит наша внутренняя политика. Что же касается до того, будто бы легкость, с которою мы по самому ничтожному поводу призываемся к ответу, заставляет нас быть осторожными, то и это справедливо лишь отчасти.

¹ «Призвание Парижа».

² Музей Клуни.

Несомненно, что вся наша жизнь есть всеминутное предъявление чувств и помышлений на зависящее распоряжение; несомненно также, что в оценке этих чувств и помышлений принимают участие даже урядники, что придает оценке чересчур уж общедоступный характер. Но перспектива всеминутного ответа отнюдь не вызывает в нас чувства ответственности, а только погружает в массу отупения и ошалелости. Ибо ответственность, низведенная до урядника, точно так же равняется безответственности, как необеспеченность, доведенная до лебеды, равняется обеспеченности.

Конечно, все это сообщает нашему существованию довольно острый характер случайности, но немало не обуздывает нашей общительности. И это вполне объяснимо. Когда человек, занося ногу, чтоб сделать шаг вперед, заранее знает, что эта нога станет на твердом месте, а не попадет в дыру и не увлечет туда своего обладателя, то для воображения его не представляется никакой роли. Напротив, ежели человек не знает, что именно означает расстилающаяся перед ним мурава, то воображение его естественным образом раздражается. С одной стороны, его обуревают страх быть поглощенным бездною, с другой — ласкает надежда как-нибудь обойти ее. Разве возможно оставить эти чувства неразделенными? Но, кроме того, вечно живя под страхом провалиться сквозь землю, разве можно удержаться, чтоб не пожаловаться! Да, наконец, ведь оно и смешно. И в других странах существуют чины, подобные урядникам, однако никто об них не думает, а у нас, поди, какой переполох они произвели?! как же не изложить всенародно, в шутовском русском тоне, ту массу пустяков, которую вызвала эта паника в сердцах наших?!

Во-вторых, вся жизнь русского «скитальца» есть сплошной досуг, который мог бы развиться в безграничную тоску, если б не принималось мер к его наполнению. Праздность приводит за собою боязнь одиночества, потому что последнее возбуждает работу мысли, которая, в свою очередь, вызывает наружу очень горькие и вдобавок вполне бесплодные разоблачения. В ряду этих разоблачений особенно яркую роль играет сознание, что у него, скитальца, ни дома, ни на чужбине, словом сказать, нигде в целом мире нет ни личного, ни общественного дела. Такие разоблачения могут измучить, и хотя я не говорю, чтоб на всех одинаково лежала печать подобных нравственных страданий, но думаю, что в скрытом виде даже в отъявленном шалопае от времени до времени шевелится смутное ощущение неклеяности и бесцельности жизни. Поэтому, чтоб избавиться от гнетущего ропота, необходимо прежде всего уйти от одиночества и устроить существование таким образом,

чтоб досуг был как можно больше разделен. Дома это достигается довольно легко с помощью игры в винт, юридических рефератов о силе земской давности, блудных разговоров об увенчании здания и т. д.; но за границей — труднее. Западный человек сознаёт за собой и личное и общественное дело, так что у него совсем нет времени для собеседовательного празднества. Разумеется, человек со средстами и тут может вывернуться, то есть нанять собеседника, который ни на минуту не даст ему опомниться. Однако ж и это дело рискованное, во-первых, потому что наемник, наверное, будет лгать, во-вторых, потому что он, сверх того, может и обокрасть. Поди потом судись с ним в police correctionnelle¹.

Русские знают это и потому всегда находятся в поисках за соотечественниками. Этим объясняется и легкость, с которою русские сходятся между собой за границей, и те укоры, которые они впоследствии адресуют самим себе по поводу своих заграничных связей. «И мне нечего делать, и тебе нечего делать» — вот первое основание для сближения. Затем следуют проекты о том, как ловчее вместе убивать бесполезное время, переходя от Биньона к Вуазену, от Вуазена к Вашетту и так далее без конца. И начнется у них тут целодневное метание из улицы в улицу, с бульвара на бульвар, и потянется тот неясный замоскворецкий разговор, в котором ни одно слово не произносится в прямом смысле и ни одна мысль не может быть усвоена без помощи образа...

В-третьих, никто так не любит посквернословить — и именно в ущерб родному начальству, — как русский культурный человек. Западный человек решительно не понимает этой потребности. Он может сознавать, что в его отечестве дела идут неудовлетворительно, но в то же время понимает, что эта неудовлетворительность устраняется не сквернословием, а прямым возражением, на которое уполномочивает его и закон. Мы, русские, никаких уполномочий не имеем и потому заменяем их сквернословием. В какой мере наша критическая система полезнее западной — этого я разбирать не буду, но могу сказать одно: ничего из нашего сквернословия никогда не выходило. Мы сквернословны, но отходчивы. Иногда такое слово вдогонку пустим, которое целый эскадрон с ног сшибет, и тут же, сряду, шутки шутить начнем. Начальство знает это и снисходит. Да и нельзя не снисходить, так как, в противном случае, всех бы нас на каторгу пришлось сослать, и тогда некому было бы объявлять предписания, некого было бы, за невыполнение тех предписаний, усмирять. Во всяком случае,

¹ исправительной полиции.

и по части сквернословия у русского человека собеседником может быть только такой же русский же человек. Вот почему с такою чуткостью русские следят за всяким словом, сказанным по-русски на улицах и в публичных местах.

— Так вы русский? да вы слышали ли, у нас-то что делается? нет, вы послушайте...

В-четвертых, никто так страстно не любит своей родины, как русский человек. После того, что сейчас высказано мною по поводу сквернословия, может показаться странною эта ссылка на любовь к родине, но в действительности она не подлежит сомнению. Разумеется, я не говорю здесь о графе Твердоонто, который едва ли даже понимает значение слова «родина», но средний русский «скиталец» не только страстно любит Россию, а положительно носит ее с собою везде, куда бы ни забросила его капризом судьба. Везде он чувствует себя в каком-то необычном положении, везде он недоумевает, куда ж это ежовые-то рукавицы девались? и везде у него сердце болит. Болит не потому, чтоб ежовые рукавицы оставили в его уме неизгладимо благодарные воспоминания, а потому что вслед за вопросом о том, куда девались эти рукавицы, в его уме возникает и другой вопрос: да полно, нужны ли они? Ах, бедные, бедные!

И вдруг какая-то колючая жалость так и хлынет во все фибры существа. Именно бедные! Везде мальчик в штанах, а у нас без штанов; везде изобилие, а у нас — «не белы снега»; везде резон, а у нас — фюить! Везде люди настоящие слова говорят, а мы и поднесь на езоповских притчах сидим; везде люди заправскою жизнью живут, а у нас приспособляются. А потом и то еще приходит на ум: Россия страна земледельческая, и уж как-то чересчур континентальная. Растянулась она неуклюже, натуральных границ не имеет; рек мало, да и те текут в какие-то сомнительные моря. Ах, бедные, бедные!

Всегда эта страна представляла собой грудь, о которую разбивались удары истории. Вынесла она и удельную поножовщину, и татарщину, и московские идеалы государственности, и петербургское просветительное озорство и закрепощение. Все выстрадала и за всем тем осталась загадкою, не выработав самостоятельных форм общежития. А между тем самый поверхностный взгляд на карту удостоверяет, что без этих форм в будущем предстает только мучительное умиранье...

В качестве русского я поступаю совершенно так, как и все русские. То есть, приезжая даже в Париж, имею в виду главное: как можно скорее сойтись с соотечественниками. И до сих пор это мне удавалось. Во-первых, потому, что я посещал Па-

риж весною и осенью, когда туда наезжает непроглядная масса русских, и, во-вторых, потому, что я всегда устраивался найдешевейшим способом: или в *maison meublée*¹, или в таком отельчике, против которого у Бедекера звездочки нет. Приедешь и вступишь с хозяйкою («хозяин» в такого рода заведениях предпочитает сибаритствовать, ежели он «Альфонс», или живет под башмаком и ведет книги) в переговоры:

— Есть у вас русские?

— Oh! monsieur! mais la maison en est remplie! Il y a le prince et la princesse de Blingloff au premier, m-r de Blagouine, négociant, au troisième, m-r de Stroumsisloff, professeur, au quatrième. De manière que si vous vous installez dans l'appartement du deuxième, vous serez juste au centre².

Таков был прошлою осенью состав русской колонии в одном из *maisons meublées*, в окрестностях *place de la Madeleine*. Впоследствии оказалось, что *le prince de Blingloff* — петербургский адвокат Болиголов; *la princesse de Blingloff* — Марья Петровна от Пяти Углов; *m-r Blagouine* — краснохолмский купец Блохин, торгующий яичным товаром; *m-r Stroumsisloff* — старший учитель латинского языка навозненской гимназии Старосмыслов, бежавший в Париж от лица помпадур Пафнутьева.

Конечно, я ни минуты не колебался и через полчаса уже распоряжался в предоставленных мне двух комнатах. Зато можете себе представить, как взыграло мое сердце, когда, через несколько минут после этого, выйдя на площадку лестницы, я услышал родные звуки:

Голос сверху. Матрена Ивановна! ползешь, что ли?

Голос со дна. Ах, уж так-то я нынче взопрела! так взопрела, что, кажется, хоть выжми!

Голос Матрены Ивановны вдруг осекся; она поравнялась со вторым этажом и заметила меня.

— Русские? — обратилась она ко мне.

— Русский-с.

— Ну, вот. А я-то распелась! Не взыщите уж, сделайте милость! Все думается, француз кругом, не понимает по-нашему. Ан русский.

— Матрена Ивановна! Машина готова! — раздалось опять сверху.

¹ меблированный дом.

² Ах! сударь! Дом прямо-таки наполнен ими! Здесь князь и княгиня Бленгловы на втором этаже, г-н де Блягуин, negociant, на четвертом, г-н Струмислов, профессор, на пятом. Таким образом, если вы поселитесь в комнате второго этажа, вы окажетесь как раз в центре.

— Чайку попить собрались! — добродушно пояснила она мне, взбираясь наверх.

«Чайку попить!» — так все нутро и загорелось во мне! С калачиком! да потом щец бы горяченьких, да с пирожком подовеньким! Словом сказать, благодаря наплыву родных воспоминаний, дня через два я был уже знаком и с третьим и с четвертым этажами.

Не дождался ни рекомендации, ни случая, просто пошел и отрекомендовал сам себя. Прежде всего направился к Старосмыслову. Стучу в дверь — нет ответа. А между тем за дверью слышатся осторожные шаги, тихий шепот. Стучусь еще.

— Захар Иваныч! вы?

— Нет, не Захар Иваныч.

Голос смолк; послышался шорох удаляющихся шагов; затем опять ходьба, шуршанье бумагами. Наконец дверь открылась, и в ней показался бледный и отошальный человек с встревоженным лицом. В боковых дверях, ведущих в соседнюю комнату, мелькнул конец удаляющегося черного платья.

Я назвал себя.

— А! ну вот... вчера, что ли, приехали? — бормотал он сконфуженно, — а я было... ну, очень рад! очень рад! Садитесь! садитесь, что, как у нас... в России? Цветет и благоухает... а? Об господине Пафнутьеве не знаете ли чего?

Он торопливо жал мою руку и, казалось, с большим трудом успокоивался.

— Слышать-то слышал, да что вам вдруг Пафнутьев на ум пришел?

— Пафнутьев-то! ах! да вы знаете ли, что я чуть было одно время с ума от него не сошел!.. Представьте себе: в Пинегу-с! Каково вам это покажется... В Пинегу-с

— Конечно, в Пинегу... еще бы! Но здесь-то, в Париже, можно бы, кажется, и позабыть об господине Пафнутьеве.

— Здесь-то-с? а вы знаете ли, что такое... *здесь? Здесь!!* Стоит только шепнуть: вот, мол, русский нигилист — сейчас это менотки на руки, арестантский вагон, и марш на восток в deutsch Avricourt!¹ Это... *здесь-с!* А в deutsch Avricourt'e другие менотки, другой вагон, и марш... в Вержболово! Вот оно... *здесь!* Только у них это не экстрадицией называется, а экспульсированием... Для собственных, мол, потребностей единой и нераздельной французской республики!

— Послушайте, однако ж! Вы что-то такое странное говорите. Я полагаю, что Гамбетта...

¹ немецкий Аврикур.

— Гамбетта-с! Да ведь это, батюшка, тоже в своем роде Пафнутьев! Сделайте милость! Назначь-ко его у нас исправником, он вам покажет, где раки зимуют... да!

— А я так, напротив, думаю, что он был бы отличным исправником. И совсем не в смысле показывания раков, а именно в качестве умного и просвещенного исполнителя предначертаний. У него бы эти революции... да-с, господа! аттанде-с!.. Он сам был оным! Он и входы, и проходы, и выходы — все самолично проник! Не знаю, каков из него выйдет президент республики, но исправник... Вот наш соломенский исправник Колпаков, тот, как исправник, никуда не годится,— помилуйте! весь уезд распустил! — а как президент республики, вероятно, был бы неоценим!

— Ну, что уж! Нет, вы только представьте себе... в Пинегу! Есть такой город? а?

Он даже закружился от боли при этом воспоминании.

— Это все Екатерина Вторая! — крикнул он почти восторженно.— Она этих городов понастроила... для господ Пафнутьевых!

— Да, но, вероятно, она не имела в виду, что ее мероприятия послужат на пользу только для господ Пафнутьевых...

— Не имела в виду! разве это резон? У нас, батюшка, все нужно иметь в виду! И все на самый худой конец! Нет, да вы, сделайте милость, представьте себе... ведь подорожная была уж готова... в Пинегу!! Ведь в этой Пинеге, сказывают, даже семга не живет!

— Семга — это в Мезени.

— Но какое разпузданное и отчасти и распутное воображение нужно иметь, чтоб выбрать... Пинегу!

— Действительно... Говорят, правда, будто бы и еще хуже бывает, но в своем роде и Пинега... Знаете ли что? вот мы теперь в Париже благодушествуем, а как вспомню я об этих Пинегах да Колах — так меня и начнет всего колотить! Помилуйте! как тут на Венеру Милосскую смотреть, когда перед глазами мечется Верхоянск... понимаете... Верхоянск?! А впрочем, что ж я! Говорю, а главного-то и не знаю: за что ж это вас?

— Вот-вот-вот. Был я, как вам известно, старшим учителем латинского языка в гимназии — и вдруг это наболело во мне... Всё страсти да страсти видишь... Один пропал, другой исчез... Начитался, знаете, Тацита, да и задал детям, для перевода с русского на латинский, период: «Время, нами переживаемое, столь бесполезно жестоко, что потомки с трудом поверят существованию такой человеческой расы, которая могла оное переносить!»

— Ах! — невольно вырвалось у меня.

— Да? Ну, и прекрасно... Действительно, я... ну, допустим! Согласитесь, однако ж, что можно было придумать и другое что-нибудь... Ну, пригрозить, обругать, что ли... А то: Пинега!! Да еще с прибаутками: морошку собирать, тюленей ловить... а? И это ад-ми-ни-стра-торы!! Да ежели вам интересно, так я уж лучше все по порядку расскажу!

Но в эту минуту дверь соседней комнаты отворилась, и оттуда появилась т-те Старосмыслова. Это была маленькая особа, очень живая и делавшая над собою видимые усилия, чтоб показать, что она не разделяет уныний своего мужа. Наружность она имела не особенно выдающуюся, но симпатичную, свидетельствующую о подвижной и деятельной натуре. Словом сказать, при взгляде на Старосмыслова и его подругу как-то невольно приходило на ум: вот человек, который жил да поживал под сению Кронебергова лексикона, начиненный Евтропием и баснями Федра, как вдруг в его жизнь, в виде маленькой женщины, втерлось какое-то неугомонное начало и принялось выбрасывать за борт одну басню за другой. Тут-то вот и сочинился сам собой период от слов: «время, которое мы переживаем», до слов: «оное переносить», включительно. А из периода, в виде естественного привеса, явилась — Пинега!!

— Федор Сергеич, вероятно, вам на судьбу жалуется? — обратилась она ко мне после взаимных представлений, — и охота, право! Забыть надо, а он себя все пуще да пуще раздражает. Кончилось ведь?

— Кончилось ли оно — это еще бабушка надвое сказала! да и не в этом дело: факт-то, факт-то какой! Фраза... ну, положим, пустая! ну, вредная, что ли! Но каким же образом из фразы вдруг выскочила... Пинега?! — оправдывался Старосмыслов.

— Но ведь мы не в Пинеге, а в Париже!

— Позвольте, Капитолина Егоровна, — вступился я, — ваш муж начал рассказывать... Конечно, Пинега, сама по себе взятая, есть лишь административный термин, настолько вошедший в наш административный обиход, что немногие администраторы в состоянии понять всю жестокость его. Я лично знал на своем веку одного администратора, который в полюсы не верил и для которого поэтому все города были равны. Вот он и говорит, бывало: ты ступай в Пинегу, ты — в Пустозерск, а ты — в Верхоянск! Но Пинега, превратившаяся в Париж, — это что-то уж чрезвычайное! Федор Сергеич! объясните, сделайте милость!

— Да-с, так вот сидим мы однажды с деточками в классе

и переводим: «время, нами переживаемое»... И вдруг — инспектор-с. Посидел, послушал. А я вот этой случайности-то и не предвидел-с. Только прихожу после урока домой, сел обедать — смотрю: пакет! Пожалуйте! Являюсь. «Вы в Пинеге бывали?» — Не бывал-с. — «Так вот познакомьтесь». Я было туда-сюда: за чтò? — «Так вы не знаете? Это мне нравится! Он... не знает! Стыдитесь, сударь! не увеличивайте вашей вины нераскаянностью!»

Старосмыслов остановился и смотрел на меня в упор, тяжело дыша.

— Понимаете... точно сон! — вымолвил он задавленным голосом.

— Ах, голубчик! ты видишь, как это волнует тебя! — с участием вступилась Капитолина Егоровна, — лучше бы уж ты мне предоставил рассказать!

— Нет, это только я могу рассказать... я! Кто сам испытал это впечатление, только тот и может его передать!

Последовало несколько минут тяжелого молчания.

— Но как же вы, вместо Пинегги, в Париже очутились? — продолжал настаивать я.

— И опять словно во сне. Уж совсем было ехать в Пинегу собрался, да вдруг случайно... вот она напомнила, что лет пять тому назад давал я уроки сыну одного власть имеющего лица. Ну, думаю: последнее средство... Посылаю телеграмму-с... Смотрю, на другой день — тихо, на третий — опять тихо. А через неделю вызывает меня уж мой собственный начальник: «Знаете ли вы, говорит, правило: *Tolle me, tu, mi, mis, si declinare domus vis?*...»¹ — Знаю, ваше превосходительство! — Так вот, говорит, нам необходимо удостовериться, везде ли в заграничных учебных заведениях это правило в такой же силе соблюдается, как у нас... Извольте получить паспорт!

Старосмыслов опять остановился, как бы вопрошая, как я об этом полагаю. Но рассказ этот до того спутал все мои расчеты, что я долгое время ровно ничего не мог полагать. И вдруг у меня в голове сверкнула мысль:

— А прогоны и порционные вам выдали?

Старосмыслов недоумело взглянул на меня: очевидно, он никак этого вопроса не ожидал.

— Ну... чтò уж! — как-то уныло отозвался он. Однако я подметил, что в самой унылости его уже блеснула как бы надежда.

— Нет, вы этого не говорите! — ободрил я его, — я согласен, что рассказ ваш походит на сновидение, но, с другой сто-

¹ Возьми те, ты, ми, мис, если хочешь склонять domus (дом).

роны, какое же русское сновидение обходится без прогонов и порционов?

— Так-то так...

Старосмыслов задумался и вдруг — хихикнул! Разумеется, я воспользовался этим поворотом, чтоб еще более утвердить его на этом пути.

— Нет, Федор Сергееч! вы этого не оставляйте! вы подумайте об этом! — повторил я.

— А что ты думаешь, Капочка! — отозвался он уже весело, — ведь это в своем роде...

Капитолина Егоровна только потихоньку засмеялась в ответ. Она не решалась прямо открыться, но мое предположение, очевидно, разогрело и ее.

— По моему мнению, и откладывать нечего, — настаивал я, — самое лучшее, сейчас же берите лист бумаги и пишите: «Просит... а о чем, тому следуют пункты... *Первое*: был, дескать, я тогда-то командирован с ученою целью, но распоряжения об отпуске прогонных денег, по упущению, не сделано. *Второе*: а так как, мол, для вящего успеха возложенного на меня поручения»... Вот только поручение-то какое-то странное на вас возложили. «Tolle me, tu, mi, mis...» согласитесь, что это даже для сновидения несколько рискованно! Вот если б вам поручили изучить и описать мундиры, присвоенные учителям латинского языка, или, например, собственными глазами удостовериться, к какому классу эти учителя причислены по должности и по пенсии... и притом, в целом мире! А то подумайте: «Tolle me, tu, mi, mis» — на что похоже! И как это вы в ту пору не догадались!

— Помилуйте! до догадок ли мне было! я, как ошалелый, бегаю, денег искал...

— Ну, так вы вот что сделайте. Напишите все по пунктам, как я вам сказал, да и присовокупите, что, кроме возложенного на вас поручения, надеетесь еще то-то и то-то выполнить. Это, дескать, уж в знак признательности. А в заключение: «и дабы повелено было сие мое прошение»...

— И вы полагаете, дадут?

— Не только полагаю, но совершенно утвердительно говорю: не могут не дать. Вот если б вы, при вручении паспорта, попросили — ну, тогда, может быть, вам сказали бы: а в таком случае не угодно ли вам получить подорожную в Пинегу? Но теперь... теперь, батюшка, ваше дело верное! Человек вы легальный и командированы на законном основании; а коль скоро все произошло на законном основании, следовательно, вы имете право воспользоваться и всеми естественными последствиями этой законности. Вы уже теперь даже не Старо-

смыслов, а просто Х., без выдачи прогонных денег которому дело в архив сдать нельзя.

— А что вы думаете! ведь и в самом деле!

— До такой степени «в самом деле», что, даже в эту самую минуту, я убежден, сам столоначальник, у которого ваше дело в производстве, тоскует о том, какую бы формулу придумать, чтоб вам прогоны всучить! А тут вы как раз с прощением: вот он я! Капитолина Егоровна! да поддержите же вы меня!

— Что ж, попробуй, мой друг! — томно отозвалась Капитолина Егоровна.

Так мы и сделали. Вместе сочинили прошение, которое он зарукоприкладствовал и сейчас же отправил с надписью *gecommandé*¹. Признаюсь, я с особенной любовью настаивал, чтоб прошение было по пунктам и написано и зарукоприкладствовано. Помилуйте! одно то чего стоит: сидят люди в Париже и по пунктам прошение сочиняют! Чрезвычайность этого положения до такой степени взволновала меня, что я совсем забылся и воскликнул:

— Ну, а теперь возьмите малую толику подмазочки — и айда в земский суд прошение подавать!

Разумеется, все, а в том числе и я первый, рассмеялись моей рассеянности. Но я был и тому уж рад, что мне удалось хоть на минутку расцветить улыбкой лицо этого испуганного человека.

От Старосмысловых я направился к Блохиным и встретил совсем другого сорта людей. Передо мной предстал человек еще молодой, лет тридцати, красивый, крепко сложенный, с румяным лицом и пушистою светлою бородой. Словом сказать, во всех статьях «добрый русский молодец». Под стать ему была и жена его, Зоя Филиппевна, женщина рослая, сложенная на манер Венеры Милосской, с русским круглым и смугло-румяным лицом, на котором алели пунцовые губы и несколько чересчур пристально выглядывали из-под соболиных бровей серые выпученные глаза. С ними же была и старшая сестра Блохина, пожилая девица, сырой комплекции (в форме средних размеров кулебяки), одержимая легким удушьем, но замечательно добродушная, общительная и повадливая. Вообще при взгляде на эту семью думалось: вот-вот они сейчас схватятся руками и начнут песни играть. Сперва запоют: «Как по морю да по Хвалынскому, да выплывала лебедь белая»; потом начнут: «Во поле березынька стоя-а-ала», потом и еще запоют, и будут не переставаячи петь вплоть до заутрени. И спляшут при этом: она пройдет серой утицей, он — сизым селезнем. Но

¹ заказное.

как и зачем они попали в Париж? — это была загадка, которую они и сами вряд ли могли объяснить. Во всяком случае, они адски скучали в разлуке с Красным Холмом.

— Главная причина, языка у нас нет, — сразу пожаловался мне Блохин, — ни мы не понимаем, ни нас не понимают. Надо было еще в Красном Холму это рассудить, а мы думали: бог милостив! Вот жена хоть и на пальцах разговаривает, однако, видно, бабам бог особенное дарование насчет тряпья дал — понимают ее. Придет это в магазин, сейчас гарсон встречу: мадам! Понравится ей вещь — она ему палец покажет, а он ей в ответ — два пальца. Потом она полпальца прибавит, а он четь пальца отбавит: будьте, значит, знакомы! Смотришь — и снюхались. Ишь вороха натаскала!

Я огляделся кругом и действительно изумился. Вся комната была буквально загромождена картонками, тючками, платьями, мантильями и прочим женским хламом. Только и было свободного места, где мы сидели.

— Кабы не Капитолина Егоровна с Федором Сергеем — и голодом, пожалуй, насиделись бы! — в свою очередь пожаловалась Матрена Ивановна.

— Да и с Федор Сергеем нелады вышли. Мы-то, знаете, в Париж в надежде ехали. Наговорили нам, в Красном-то Холму: и дендо, и пердрò, тюрбò... Аппетит-то, значит, и вышлифовался. А Федору Сергеичу в хороший-то трактир идти не по карману — он нас по кухмистерским и водит! Только уж и еда в этих кухмистерских... чистый ад!

— А попробовали раз сами собой в трактир зайти, стали кушанье-то заказывать, а он, этот... гарсон, что ли, только глаза тарашит!

— Да еще что вышло! Подслушал этта наш разговор господин один из русских и заступился за нас, заказал. А после обеда и подсел к нам: не можете ли вы, говорит, мне на короткое время займы дать? Ну, нечего делать, вынул пяти-франковик, одолжил.

— Да вы бы в русский ресторан сходили?

— Были-с. Помилуйте — биток! Затем ли мы из Красного Холма сюда ехали, чтоб битки здешние есть?

— Ни в театр, ни на гулянье, ни на редкости здешние посмотреть! Сидим день-денской дома да в окошки смотрим! — вступилась Зоя Филиппьевна, — только вот к обедне два раза сходили, так как будто... Вот тебе и Париж!

— Но отчего ж бы вам с Старосмысловыми в театр не сходить?

— То-то, что сердцами, значит, не сошлись, да и не то, чтоб сердцами, а капиталом они против нас как будто отощали.

Чудной ведь он! Ото всех прячется, да высматривает, какого-то, прости господи, Пафнутьева поджидает...

— Ах, боже мой! вот чудак-то!

— И я тоже пытал говорить. Как, говорю, возможно, чтоб господин Пафнутьев в Париже власть имел! И хошь бы что! «Бреслеты, говорит, на руки, и катать по всем по трем!» Очень уж его там испугали, в отечестве-то! А человек-то какой отличнейший! И как свое дело знает! Намеднись идем мы вместе, и спрашиваю я его: как, Федор Сергенч, на твоём языке «люблю» сказать? — Ато, говорит. «Ну, говорю, ато и тебя, и Капитолину Егоровну твою, и я, и жена, и все мы — ато!» Ну, усмехнулся: коли все, говорит, так уж не ато, а атамус! И за что только такая на них напасть!

— Ну, бог милостив!

— И я тоже говорю. Только сердитые нынче времена настали, доложу вам! Давно уж у бога милости просим — ан все ее нет!

— Вам-то, впрочем, грешно бы пожаловаться.

— Мы-то — слава богу. Здоровы, при капитале — на что лучше! А тоже и мы видим. Вот хоть бы на Федора Сергенча поглядеть — чего только он не вытерпел! Нет, доложу вам, и прежде строгости были, а нынче против прежнего вдвое стало. А между прочим, в народе амбиция в ход пошла, так оно будто и скучненько стало на строгости-то смотреть. Еще на моей памяти придет, бывало, к батюшке-покойнику становой-то: просто, мило, благородно! Посидит, закусит... Делов за нами нет, а по силе возможности... получи. А нынче он придет: в кепе да в погонах... ах, распостылый ты человек!

— Ну, это уж ваше личное чувство говорит.

— Нет, и не во мне одном, а во всех. Верьте или нет, а как взглянешь на него, как он по улице идет да глазами вскидывает... ах ты, ах!

— Ах, Захар Иваныч!

— Знаю, что нехорошо это... Не похвалят меня за эти слова... известно! Только уж и набалованы они, доложу вам! Строгости-то строгостями, ан смотришь, довольно и озорства. Все «духу» ищут; ты ему сегодня поперек что-нибудь сказал, а он в тебе завтра «дух» разыскал! Да недалече ходить, Федор Сергенч-то! Что только они с ним изделали!

— Уж так нам их жалко! так жалко! — подтвердила и Матрена Ивановна.

— Истинно вам говорю: глядишь это, глядишь, какое нынче везде озорство пошло, так инда тебя ножом по сердцу польснет! Совсем жить невозможно стало. Главная причина: приспособиться никак невозможно. Ты думаешь: давай буду жить

так! — бац! живи вот как! Начнешь жить по-новому — бац! живи опять по-старому! Уж на что я простой человек, а и то сколько раз говорил себе: брошу Красный Холм и уеду жить в Петербург!

— За чем же дело стало?

— Своё места жалко — только и всего.

— Известно, жалко: и дом, и заведение, и все... — подтвердила и Матрена Ивановна.

— А вам жалко? — обратился я к Зое Филипповне.

— Мне что! я мужняя жена! вон он, муж-то у меня какой!

— Ах, умница ты наша! — похвалила Матрена Ивановна.

— Вы долго ли думаете в Париже пробыть?

— Да свое время отсидеть все-таки нужно. С неделю уж гостим, еще недели с две — и шабаш.

— Так знаете ли, что мы сделаем. И вам скучно, и Старосмысловым скучно, и мне скучно. Так вот мы соединимся вместе, да и будем сообща скучать. И заведем мы здесь свой собственный Красный Холм, как лучше не надо.

— И прелюдно! — разом воскликнули Блохины.

— Я буду вас и по ресторанам и по театрам водить. И все по таким театрам, где и без слов понятно. А ежели Старосмыслову прогоны и порции разрешат, так и они, наверное, жаться не будут.

Я рассказал им, какую мы утром просьбу общими силами соорудили и какие надежды на нее возлагаем. И в заключение прибавил:

— А в Париже надоест, так мы в Версаль, вроде как в Везьёгонск махнем, а захочется, так и в Кашин... то бишь, в Фонтенблò — рукой подать!

Итак, осуществить Красный Холм в Париже, Версаль превратить в Везьёгонск, Фонтенблò в Кашин — вот задача, которую предстояло нам выполнить.

С первого взгляда может показаться, что осуществление подобной программы потребует сильного воображения и очень серьезных приспособлений. Но в сущности, и в особенности для нас, русских, попытки этого рода решительно не представляют никакой трудности. Не воображение тут нужно, а самое обыкновенное оцепенение мысли. Когда деятельность мысли доведена до минимума и когда этот минимум, ни разу существенно не понижаясь, считает за собой целую историю, творящуюся в мраке времен, — вот тут-то именно и наступает человека блаженное состояние, при котором Париж сам собою отождествляется с чем угодно: с Везьёгонском, с Пошехоньем,

с Богучаром и т. д. Мыслительная способность атрофируется и вместе с этим исчезает не только пылливость, но и самое простое любопытство. Старое, насиженное, обжитое — вот единственное, что удовлетворяет обессиленный ум. И это насиженное воспроизводится с такою легкостью, что само собою, помимо всякого содействия со стороны воображения, перемещается следом за человеком, куда бы ни кинула его судьба.

Восстановить Красный Холм в Париже положительно ничего не стоит. Нужно только разложиться с вещами и затем начать жить да поживать. Правда, что житье в отеле, сравнительно с Красным Холмом, покажется тесновато, но зато в Париже имеются льготы, которых не найдешь не только в Красном Холму, но и в Кашине. И льготы именно в краснохолмском смысле, то есть такие, которых на месте не сыщешь, но которые краснохолмским воображением не отвергаются. Таковы, например: пулè, дендò, пердрò, тюрбò, славу о которых на всю Россию искони протрубили предводители дворянства. Затем: магазины всевозможного женского тряпья, от которых без ума все предводительши, макадам на улицах, отличное уличное освещение, писсуары и т. д., о которых с благосклонностью отзываются все уездные исправники, как о таких реформах, которые не ведут к потрясанию основ. И в довершение всего, есть для мужчин кокотки, вроде той, какую однажды написал в Кашин 1-й гильдии купец Шомполов и об которой весь Кашин в свое время говорил: ах, хороша стерва!

В Париже отличная груша дюшес стоит десять су, а в Красном Холму ее ни за какие деньги не укупишь. В Париже бутылка прекраснейшего Понтè-Канè стоит шесть франков, а в Красном Холму за Зызыкинскую отраву надо заплатить три рубля. И так далее, без конца. И все это не только не выходит из пределов краснохолмских идеалов, но и вполне подтверждает оные. Даже театры найдутся такие, которые по горло уконтентуют самого требовательного краснохолмского обывателя.

Когда воображение потухло и мысль заскорбла, когда новое не искушает и нет мерила для сравнений — какие же могут быть препятствия, чтоб чувствовать себя везде, где угодно, матерым краснохолмским обывателем. Одного только недостает (этого и за деньги не добудешь): становой квартиры из окна не видать — так это, по нынешнему времени, даже лучше. До этого-то и краснохолмцы уж додумались, что станové только свет за́стят.

— Как пошли они, в позапрошлом лете, по домам шарить, так, верите ли, душа со стыда сгорела! — говорил мне Блохин, рассказывая, как петербургские «события» отразились в районе вышневолоцко-весьегонских палестин.

И он говорил это с неподдельным негодованием. Несмотря на то, что его репутация в смысле «столпа» стояла настолько незыблемо, что никакое «шаренье» или отыскивание «духа» не могло ему лично угрожать. Почему он, никогда не сгоравший со стыда, вдруг сгорел — этого он, конечно, и сам как следует не объяснит. Но, вероятно, причина была очень простая: скверно смотреть стало. Всем стало скверно смотреть; надоело.

Как бы то ни было, но, раз решившись воспроизводить исключительно краснохолмские идеалы, мы зажили отлично. Единственную не краснохолмскую роскошь, которую я лично себе дозволил, — это газеты. Я покупал их ежедневно и притом самые страшные: «L'Intransigeant», «Le Mot d'Ordre», «La Commune», «La Justice». Что делать! идешь мимо кноски, видишь: разложены, стало быть, велено покупать — купишь. Сначала я боялся, думал, начитаюсь, приеду в Россию — чего доброго, революцию произведу. Однако, с божьей помощью, в короткое время так наметался, что все равно, что читал, что нет. Зато все остальное времяпровождение было воистину краснохолмское. Часов до 12-ти утра мы исправлялись дома, то есть распивали чай и кофе по своим углам. После 12-ти выходили на улицу и начинали, по выражению Захара Иваныча, «путаться» и «воловодиться».

Брали под руки дам и по порядку обходили рестораны. В одном завтракали, в другом просто ели, в третьем спрашивали для себя пива, а дамам «граниту». Когда ели, то Захар Иваныч неизменно спрашивал у Старосмыслова: а как это кушанье по-латыни называется? — и Федор Сергеевич всегда отвечал безошибочно.

— Никогда не скажет: не знаю! — изумлялся Блохин, — и эдакого человека... в Пинегу!

В промежутках между кушаньями вспоминали о Красном Холме, старались угадать: рыжики-то уродились ли ноне?

Часа в три компания распалась. Дамы предпринимали путешествие по магазинам, а мужчины отправлялись смотреть «картинки». Во время процесса смотрения Захар Иваныч взвизгивал: ах, шельма! и спрашивал у Федора Сергеевича, как это называется по-латыни. Но однажды зашли мы в пирожную, и с Блохиным вдруг сделалось что-то необыкновенное.

— Она... она самая! — шепнул он мне, указывая на рослую и совершенно рыжую женщину, которая стояла у конторки. — Наша... кашинская!

И не успел я сообразить, в чем дело, как у него уж и глаза кровью налились.

— В Кашине... была? — спросил он ее в упор.

Конторщица взглянула на него с недоумением, но по лицу ее пробежала чуть заметная улыбка: ей, очевидно, польстило, что «доброе русского молодца» так сразу прошибло.

— В Кашине... была? — настаивал Захар Иванович.

Насилу мы его увели.

Часов около шести компания вновь соединялась в следующем по порядку ресторане и спрашивала обед. Ели и пили мы всласть, хотя присутствие Старосмысловых несколько стесняло нас. Дня с четыре они шли наравне с нами, но на пятый Федор Сергееч объявил, что у него болит живот, и спросил вместо обеда полбифштекса на двоих. Очевидно, в его душу начинало закрадываться сомнение насчет прогонов, и надо сказать правду, никого так не огорчало это вынужденное воздержание, как Блохина.

— Ведь вот и добрый человек, а сколь жесток! — жаловался он мне, — не хочет понять, что нам не деньги его нужны, а душа.

После обеда иногда мы отправлялись в театр или в кафешантан, но так как Старосмысловы и тут стесняли нас, то чаще всего мы возвращались домой, собирались у Блохиных и начинали играть песни. Захар Иванович затягивал: «Солнце на закате», Зоя Филиппевна подхватывала: «Время на утрате», а хор подавал: «Пошли девки за забор»... В Париже, в виду Мадлены, в теплую сентябрьскую ночь, при открытых окнах, — это производило удивительный эффект!

Иногда обычный репертуар дня видоизменялся, и мы отправлялись смотреть парижские «редкости». Ездили в Jardin des plantes¹ и в Jardin d'acclimatation², лазили на Вандомскую колонну, побывали в Musée Cluny и, наконец, посетили Луврский музей. Но тут случился новый казус: увидевши Венеру Милосскую, Захар Иванович опять вклепался и стал уверять, что видел ее в Кашине. Насилу мы его увели.

— При тебе только мы и свет узрили! — открывался мне Захар Иванович, — кабы не ты, что бы мы, приехадчи в Холм, про Париж рассказывать стали?

Насладившись вдоволь Парижем, нельзя было оставить без внимания и окрестности. Разумеется, прежде всего отправились в Версаль. Дорогой я, конечно, не преминул рассказать, какую я, пять лет тому назад, выкинул тут штуку с Лабулэ. Все так и ахнули.

— То-то, чай, глаза вытарашил, как проснулся! — похвалил меня Блохин.

¹ Ботанический сад.

² Зоологический сад.

И, помолчав немного, прибавил:

— Только через тебя мы свет узрили! ишь ведь ты... на все руки!

В Версали мы обошли дворец, затем вышли на террасу и бросили общий взгляд на сад. Потом прошлись по средней аллее, взяли фляжки и посетили «примечательности»: Parc aux cerfs¹, Трианон и т. п. Разумеется, я рассказал при этом, как отлично проводил тут время Людовик XV и как потом Людовик XVI вынужден был проводить время несколько иначе. Рассказ этот, по-видимому, произвел на Захара Иваныча впечатление, потому что он сосредоточился, снял шляпу и задумчиво произнес:

— Стало быть, в эфтим самом месте энти самые короли...

— Именно так,— подтвердил я.

— Все короли да все Людовики... И что за причина такая? — с своей стороны затужила было Матрена Ивановна, но Захар Иваныч не дал ей продолжать.

— Шабаш!—сказал он,—царство небесное—и кончен бал!

Однако ж через несколько минут он вновь возвратился к тому же сюжету.

— И как эти французы теперича без королей живут? Чудаки, право!

— А как живут! Известно: день да ночь — сутки прочь! — объяснила Матрена Ивановна.

— Не иначе, что так. У нас робенок, и тот понимает: несть власть аще... а француз этого не знает! А может, и они слышат, как в церквах про это читают, да мимо ушей пропускают! Чудаки! Федор Сергенч! давно хотел я тебя спросить: как на твоём языке «король» прозывается?

— Rex.

— А инператор?

— Imperator.

— А который, по-твоему, больше: rex или imperator?

— Imperator — уж на что выше!

— Ну, так вот ты и мотай себе на ус... да!

Блохин выговорил эти слова медленно и даже почти строго. Каким образом зародилась в нем эта фраза — это я объяснить не умею, но думаю, что сначала она явилась так, а потом вдруг, во время самого процесса произнесения, созрел проект: а попробую-ка я Старосмыслову преднику сказать! А может быть, и целый проект примирения Старосмылова с Пафнутьевым вдруг в голове созрел. Как бы то ни было, но Федор Сергенч при этом напоминании слегка дрогнул.

¹ Олений парк.

А Блохин между тем начал постепенно входить во вкус и подпускать так называемые обиняки. «Мы-ста да вы-ста», «сидим да шипим, шипим да посиживаем», «и куда мы только себя готовим!» и т. д. Выпустит обиняк и посмотрит на Федора Сергеича. А в заключение окончательно рассердился и закрычал на весь Трианон:

— Свины — и те лучше, не-чем эти французы, живут! Ишь ведь! Королей не имеют, властей не признают, страху не знают... в бога-то веруют ли?

Насилу мы его увели.

На другой день мы отправились в Фонтенблò, но эта резиденция уже не вызвала ни той сосредоточенности, ни того благоговейного чувства, каких мы были свидетелями в Версали. Благодаря краснохолмскому приволью, Захар Иванович настолько был уже преисполнен туками, что едва успели мы осмотреть перо, которым Наполеон I подписал отречение от престола, как он уже запыхался. Ни знаменитого Фонтенблòского леса, ни прочих достопримечательностей мы так и не осматривали, потому что Блохин на все предложения твердо отвечал: ну их к ляду! И только дорòгой, едуци в Париж, молвил:

— Пожил, новоевал — и шабаш! Умный был человек, а вот... И какая этому причина?!

Во всяком случае, впечатления этих двух дней не прошли для Блохина даром. Тени Людовиков как бы остепенили его; до сих пор он выказывал себя умеренным либералом, теперь же вдруг сделался легитимистом.

Воротившись из экскурсии домой, он как-то пришíпился и ни о чем больше не хотел говорить, кроме как об королях. Вздыхал, чесал поясницу, повторял: «ему же дань — дань!», «звезда бо от звезды», «сущне же власти» и т. д. И в заключение предложил вопрос: ма́занные ли были французские короли, или немáзанные, и когда получил ответ, что ма́занные, то сказал:

— Ну, стало быть, не так их мазали, как прописано. Потому, если б их настояще мазали, так они бы и сейчас в этой самой Версали сидели, и ничего бы ты с ними не поделал... ау, брат!

Покончив таким образом с Людовиками, перешел к Наполеону и не одобрил его.

— Знал ведь, что законный король в живых состоит, а между прочим и виду не подавал, что знает... все одно что у нас Пугачев!

И, наконец, до того довел необузданность чувств, что пожелал познакомиться и с Гамбеттой.

— Одно бы мне ему только слово сказать! только одно слово... и аминь!

Внимая Захару Иванычу, все остальные как-то присмирели: Вообще я давно уж заметил, что как только заведется разговор о том, как и кто «мазан», так даже у самых словоохотливых людей вдруг пропадает словесность. Не знаю, понимают ли краснохолмские первой гильдии купцы, что в это время с их слушателями происходит нечто не совсем ладное, но, во всяком случае, они с изумительным инстинктом пользуются подобными минутами замешательства. Уж на что, кажется, добродушен Захар Иваныч, а посмотрите, как он распелся, как только напал на подходящий мотив! Сразу догадался, что он хоть до завтра калякай, а мы все-таки будем его слушать. И в Красном Холму выслушаем, и в Париже выслушаем. Потому что эти первой гильдии купцы... кто же их знает, что у них на уме! Сейчас он об Старосмысловых печалуется: «что они с ним изделали?», а вслед за тем вдруг по поводу того же Старосмыслова сбесится и закричит: караул! сицилист!

И действительно, начал Блохин строго, а кончил еще того строже. Говорил-говорил, да вдруг обратился в упор к Старосмыслову и пророческим тоном присовокупил:

— А ты, парень, все-таки на ус себе наматывай!

Чуть было я не сказал: ах, свинья! Но так как я только подумал это, а не сказал, то очень вероятно, что Захар Иваныч и сейчас не знает, что он свинья. И многие, по той же причине, не знают.

Часа четыре сряду я провозился на кровати, не смыкаячи очей, все думал, как мне поступить с Старосмысловым: представить ли его самому себе или же и с своей стороны посодествовать его возрождению? В последнее время с Старосмысловым происходило нечто очень странное: он осунулся, похудел и до такой степени выцвел, как будто каждый день принимал слабительное. Сверх того, я заметил, что и Капитолина Егоровна, по временам, появляется с красными глазами, как бы от слез. Ясно, что между ними возник вопрос, и именно вопрос о раскаянии. По-видимому, Федор Сергеич готов сдаться; напротив того, Капитолина Егоровна — крепится. И по целым часам ведут они между собой бесконечно тяжкий разговор: как тут быть? — и ни до чего не могут договориться...

Разумеется, самая трудная сторона для разрешения — это материальная. Какне перспективы может иметь учитель латинской грамматики? какую производительную силу представляет он собой? И притом такой учитель латинской грамматики, которому не выдали даже прогонных денег?! Вот, ежели вышлют прогоны, тогда можно, пожалуй, и воспрянуть; но если

не вышлют... Но положим, что даже и вышлют — разве можно бессрочно жить в Париже, исполняя поручения на тему *Tolle me, tu, mi, mis...* Когда женибудь придется и опять в Навозный с отчетом ехать... И не одному Старосмыслову, и всем придется туда ехать, всем с чистым сердцем предстать. Вот это-то мы и забываем. Гуляем да гуляем, думаем, что и конца этому гулянию не будет, и вдруг рассыльный из участка: пожалуйте!

И охота была Старосмыслову «периоды» сочинять! Добро бы философию преподавал, или занимал бы кафедру элоквенции¹, а то — на-тко! — старший учитель латинского языка! да что выдумал! Уж это самое последнее дело, если б и туда эта язва засела! Возлюбленнейшие чада народного просвещения — и те сбрендили! Сидел бы себе да в Корнелие Непоте копался — так нет, подавай ему Тацита! А хочешь Тацита — хоти и Пинегу... предатель!

И ведь отлично он знал, что за это у нас не похвалят. С пеленок заставляли его лепстать: «сила соломѹ ломит» — раз; «плетью обуха не перешибешь» — два; «уши выше лба не растут» — три; и все-таки полез! И географии-то когда учили, то приговаривали: Кола, Пинега, Мезень; Мезень, Мезень, Мезень!.. Нет-таки, позабыл и это! А теперь удивляется... чему?

Ясно, что он Капочке понравиться хотел, думал, что за «периоды» она еще больше любить станет. А того не сообразил, милый человек, что бывают такие строгие времена, когда ни любить нельзя, ни любимым быть не полагается, а надо встать, уставившись лбом, и закоченеть.

Удивительно, как еще Тацита Пафнутьев в покое оставил, как он и его в Пинегу не сослал? Истинно, Юпитер спас!

Ах, надо же и Пафнутьева пожалеть... ничего-то ведь он не знает! Географии — не знает, истории — не знает. Как есть оболтус. Если б он знал про Тацита — ужели бы он его к чертовой матери не услал? И Тацита, и Тразею Пета, и Ликурга, и Дракона, и Адама с Евой, и Ноя с птицами и зверьми... всех! Покуда бы начальство за руку не остановило: стой! а кто же, по-твоему, будет плодиться и множиться?

И все-таки надо как-нибудь подкрепить Старосмылова в его новом душевном настроении. Не так грубо, как взялся за это Захар Иваныч, а как-нибудь стороной, чтоб ему в самый раз было, да и Капитолину Егоровну не очень бы огорчило. Но как это сделать? Ежели начать с «чин чина почитай» — он-то, может быть, и найдет в своем сердце готовность воспринять эту истину, да Капитолина Егоровна, чего доброго, за-

¹ красноречия.

плачет. По какой причине она заплачет — об этом двояко можно сказать. Может быть, оттого, что с прежней либеральной позицией жалко расстаться, а может быть, и оттого, что она и сама уж понимает, что музыка ее не выгорела. Но и в том и в другом случае несомненно, что она заплачет оттого, что на сердце кошки скребут.

Но потому-то именно и надо это дело как-нибудь исподволь повести, чтобы оба, ничего, так сказать, не понимая, очутились в самом лоне оного. Ловчее всего это делается, когда люди находятся в состоянии подпития. Выпьют по стакану, выпьют по другому — и вдруг наплыв чувств! Вскочут, начнут целоваться... ура! Капитолина Егоровна застыдится и скажет:

— Что ж, ежели все... попробуй, Федя!

А Захар Иванович поощрит:

— Валяй!

Вот оно, какие дела могут из «пернода» на свет божий выскочить!

Но тут мысли в моей голове перемешались, и я заснул, не придумавши ничего существенного. К счастью, сама судьба бодрствовала за Старосмыслова, подготовив случай, по поводу которого всей нашей компании самым естественным образом предстояло осуществить идею о подпитии. На другой день — это было 17 (5) сентября, память Захарии и Елисаветы — едва я проснулся, как ко мне ввалился Захар Иванович и торжественно произнес:

— Бог милости прислал. Прямо из церкви-с. Просим покорно сегодня пирога откусать.

— По какому случаю?

— По случаю дня ангела-с. Хоть и в иностранных землях находимся, а все же честь честью надо ангелу своему порадоваться. В русском ресторане-с.

И вдруг словно луч меня осветил. Все, что я тщетно обдумывал ночью и для чего не мог подыскать подходящей формулы, все это предстало передо мною в самой пленительной ясности!

«Русский ресторан» помещается недалеко от Итальянского бульвара, против Комической Оперы, и замечателен, по преимуществу, тем, что выходит окнами на обширный и притом совершенно открытый писсуар. Из русских кушаний тут можно получить: *tschy russe*, *koulibak* и *bitok au smétane*¹, все остальное совершенно то же, что и в любом французском ресторане средней руки. Посетитель этого заведения немногочислен и стыдлив. Заходит больше средний русский человек, и не в

¹ щи русские, кулебяка, биток в сметане.

обычный парижский обеденный час, а так, между двумя и тремя часами. Спросит порцию шей или биток, пообедает, а знакомым говорит, что завтракает. И знакомые тоже обедают, но уверяют, что завтракают. И таким образом, политиканят и лгут совершенно так же, как в России, а зачем лгут — сами не знают. Из «особ» сюда приходят (и тоже говорят, что завтракают) те немногие сенаторы, которые получают жалованье по штату и никакими иными «присвоенными» окладами не пользуются. На Париж-то ему посмотреть хочется, а жалованье небольшое и детей куча — вот он и плетется в русский ресторан «завтракать».

Да, есть такие бедные, что всю жизнь не только из штатного положения не выходят, но и все остальные усовершенствования: и привисляное обрусение, и уфимские разделы — все это у них на глазах промелькнуло, по усам текло, а в рот не попало. Да их же еще, по преимуществу, для парада, на крестные ходы посылают!

Сидит он, этот в штат осужденный, где-нибудь на Васильевском острове, рад бы десять таких жалованьев заглотить, и не дают. Вспомнит, как в свое время Юханцев жил, сравнит свои заслуги с его заслугами и заплачет. Обидно. А всего обиднее, что не только прибавки к штатному содержанию, но даже дел ему на просмотр не дают: где тебе, старику! Вот ужё крестный ход будет, так пройдешься! А между тем он, ей-богу, еще в полном разуме... Хоть сейчас испытайте! Ваше превосходительство! да вы попробуйте!.. Ну, что там пустое молоть!

И чего-чего только он не делал, чтоб из штата выйти! И тайных советников в нигилизме обвинял, и во всевозможные особые присутствия впрашивался, и уходящих в отставку начальников подходя костил, новоявленных же прославлял... Однажды, в тоске смертной, даже руку начальнику поцеловал, ан тот только фыркнул! А он-то целуя, думал: господи! кабы тысячку!

Говядина нынче дорогая, хлеб пять копеек за фунт, а к живности, к рыбе и приступу нет... А на плечах-то чин лежит, и говорит этот чин: теперь тебе, вместо фунта, всего по два фунта съесть надлежит!

И вдруг он надумал в Париж... сколько смеху-то было! Даже экзекутор смеялся: так вы, Иван Семеныч, в Париж? А он одну только думу думает: съезжу в Париж, ворочусь, скажут: образованный! Смотришь, ан тысячка-другая и набегит!

И вот он бежит в русский ресторан, съест биток au steack — и прав на целый день. И все думает: ворочусь, буду на

Петровской площади анекдоты из жизни Гамбетты рассказывать! И точно: воротился, рассказывает. Все удивляются, говорят: совсем современным человеком наш Иван Семеныч приехал!

Но ждет он месяц, ждет другой — нет против штатного положения облегчения, да и на-поди! Господа! да обратите же, наконец, внимание! Анна-то Ивановна ведь уж девятым тяжела ходит!

Вот в этот самый ресторан и привлек нас Блохин. Вероятно, он руководился соображением, что имениннику без кулебяки быть нельзя, а в другом месте этого кулинарного продукта не отыщешь.

Я не буду останавливаться на обеденном тэпи: Захар Иванович из всех сил выбился, чтоб сообщить ему вполне краснохолмский характер. Ради вящего сходства, он даже прихватил парочку тайных советников, из русских ресторанных *habitués*¹, которые, должно быть, еще накануне пронюхали, что русский купчина будет справлять именины, и с утра, выбритые и с подвитыми висками, подстерегали нас. Я, впрочем, потому позволяю себе эту догадку, что тайные советники явились во фраках, и как только окончательно уверились, что их пригласили, то вынули из боковых карманов по звезде и возложили их на себя по установлению. За столом тайные советники поместились по обе стороны Зои Филипповны, причем когда кушанья начинали подавать с одного тайного советника, то другой завидовал и волновался при мысли, что, пока дойдет до него черед, лучшие куски будут уже разобраны. Сверх того, я заметил, что тайные советники всякого кушанья накладывали на тарелки против других вдвое: одну порцию лично для себя, а другую — ради чина. Но так как они поступали таким образом не из жадности, а по принципу, то Захар Иванович не только не тяготился этим, но даже упрашивал взять еще по кусочку — на звезду.

Ели и пили мы целых полтора часа. И вот, когда тайные советники впали, от усиленной еды, во младенчество, а прочие гости дошли до точки, я улучил минуту и, снявшись со стула, произнес спич.

— Захар Иванович! — сказал я, — торжествуя вместе с вами день вашего ангела, я мысленно переносюсь на нашу милую родину и на обширном ее пространстве отыскиваю скромный, но дорогой сердцу городок, в котором вы, так сказать, впервые увидели свет. Этот город был свидетелем ваших младенческих нгр; он любовался вами, когда вы, под руководством масти-

¹ завсегдаеяв.

того вашего родителя, неопытным юношей робко вступили на попрнице яичного производства, и потом с любовью следил, как в сердце вашем, всегда открытом для всего доброго, постепенно созревали семена благочестия и любви к постройке колоколен и церквей (при этих словах Захар Иваныч и Матрена Ивановна набожно перекрестились, а один из тайных советников потянулся к амфитриону и подставил ему свою голую и до скользкости выбригую щску). И вот теперь, когда родитель ваш уже скончался («царство небесное!» — шепчет Матрена Ивановна), родной город может засвидетельствовать, что ваше яичное производство не только не умалилось, но распорядительностью вашею доведено до размеров, дотоле не слышанных.

Исполать вам, Захар Иваныч! ибо надобно знать, что такое яйцо и какую роль оно играет в жизни человеческих обществ; надобно собственным опытом убедиться, как этот продукт хрупок и каким опасностям он подвергается при перемещениях, чтоб вполне оценить вашу заслугу перед отечеством. Если б приказчики ваши не разъезжали круглый год по деревням нашим, то крестьянин, этот первый производитель яйца, — куда бы, спрашивается, он девался с ним? А с другой стороны, если б вы, ценою неустанных трудов, не переместили яйца из деревни в столицу, каким бы другим равносильным продуктом мог заменить его житель последней? Таким образом, освобождая жителя деревни от продукта, который представляет для него ценность лишь потолику, поколику он служит подспорьем для исправной уплаты податей, вы снабжаете оным жителя столицы, который любит яйцо уже ради яйца и ценит оное, потому что понимает в нем толк. Но этого мало! К яичному производству вы постепенно присоединили производство курятное, а ежели подойдет хороший случай, то не возбраняете себе и скромные операции коровьим маслом. Я знаю, Захар Иваныч, что все эти операции вы производите при содействии любезнейшей супруги вашей, Зои Филипповны, и почтеннейшей вашей сестрицы, Матрены Ивановны (Матрена Ивановна крестится — и говорит тайным советникам: кушайте, батюшки!), но это приносит лишь честь вашей коммерческой прозорливости и показывает, как глубоко вы поняли смысл старинной латинской пословицы: *Concordia res parvae crescunt*¹, а без конкордии и *magnae res dilabuntur*². Поэтому, поздравляя вас с днем ангела, мы поступим вполне согласно с обстоятельствами дела (тайные советники, слышав этот

¹ При согласии удаются и малые дела.

² великие дела разрушаются.

достолюбезный оборот речи, кивают головами), ежели в этом поздравлении соединим наш сердечный привет и верным общницам вашим на поприще яичного и курятного производства. Захар Иваныч! Зоя Филиппьевна! за вас поднимаю бокал мой! Плодитесь! Плодитесь смело и беззаботно, ибо в размножении купеческих детей заключается существеннейшее назначение краснохолмского 1-й гильдии купца! Вы же, милая Матрена Ивановна, яко добрая сестра и будущая тетка, старайтесь, и не имея собственного плода, проводить время с пользой!

Я на минуту остановился, и мы начали целоваться. Сознаться откровенно, самым вкусным мне показался поцелуй Зои Филиппьевны, а самыми невкусными и даже противными — поцелуй тайных советников, у которых, от старости, и губы как будто изныли, а вместо них остался тонкий рубец, тщательно подбритый снизу и сверху. Когда же обряд целованья кончился, я продолжал:

— Но я не выполнил бы своей задачи, если б, ввиду настоящего умилительного торжества, не упомянул и о другой, вечно присущей сердцам нашим, имениннице — о нашей дорогой, далекой родине. Я не буду говорить здесь о благодеяниях, которые она щедрою рукою изливает на нас: мы все, здесь присутствующие, слишком явственно испытываем на себе выражение этих благодеяний. Одних из нас она произвела в тайные советники; другим в перспективе показывает звание коммерции советника, а в ожидании такового предоставляет пользоваться правами 1-й гильдии купца; перед третьими раскрывает тайны латинской грамматики; наконец, дам наделяет скромностью и свойственными женскому полу украшениями. Но не забудем, что ежели, с одной стороны, отечество простирает над нами благодеющую руку свою, то, с другой стороны, оно делает это не беспощадно, но под условием, чтоб мы повиновались начальству и любили оное. Ибо, в сущности, что такое отечество, Захар Иваныч (Захар Иваныч оттопыривает губы)? Отечество, Захар Иваныч, это есть известная территория, в которой мы, по снабжении себя надлежащими паспортами, имеем местожительство. Вот что такое отечество. Но я не могу скрыть от вас, Захар Иваныч, что территория, о которой я говорю, нередко изменяет свои очертания, отчасти вследствие военных удач или неудач, отчасти же вследствие дипломатических договоров и конвенций. Так, до 1871 года, Страсбург был французским отечеством, ныне же, вследствие парижского договора, он сделался немецким отечеством. Подобно сему, Измаил долгое время состоял нашим отечеством, потом перестал быть оным, а ныне опять сделался таковым.

Кто знает, быть может, со временем мы увидим мервских исправников, подобно тому как уже видим исправников карсских, батумских и иных? Благодаря этим изменяемостям, любовь к отечеству приобретает несколько абстрактный характер, вследствие чего многие, при упоминании об отечестве, только оттопыривают губы. И вот, для того чтоб мы не оттопыривали губ, но понимали этот предмет во всей его ясности, нам предлагается начальство. Начальство, Захар Иваныч, есть нечто уже совершенно определенное, имеющее границы явственные и непрерываемые: от коллежского регистратора до действительного тайного советника включительно. И в этих границах мы всем должны повиноваться и всех любить. Конечно, горько бывает повиноваться коллежским регистраторам, но горечь эта несомненно и с избытком уравнивается сладостью повиновения тайным и действительным тайным советникам...

Я опять прерываю на минуту речь, но на этот раз не по собственному движению, а потому, что тайные советники, возгордившись похвалой, обходят присутствующих и всем по очереди подставляют свои скользкие щеки для наложения поцелуя. Наконец движение прекращается, и я продолжаю:

— Но практика, Захар Иваныч, представляет нам по временам примеры поразительнейших заблуждений. Большинство людей охотно и горячо любит отечество даже в том случае, когда не может с точностью определить его границ: любит и с Измаилом и без Измаила, и с Батумом и без него. Напротив того, очень немногие возвышаются до страсти к начальству. Очень возможно, что это происходит оттого, что отечество никогда не обременяет нас предписаниями, тогда как начальство не может шагу ступить без таковых; но возможно также, что тут есть и другая причина, а именно: отечество называет нас просто детьми, начальство же к этому нередко присовокупляет: «курицыными». Я думаю, однако ж, что это только недоразумение, и, одобряя любовь к отечеству с Измаилом и без него, никак не могу одобрить тех, которые в сердце своем рассматривают отечество отдельно от начальства. Начальство, Захар Иваныч, это продукт отечества, отечество же, в свою очередь, продукт начальства. Одно немисливо без другого, другое немисливо без одного — вот я как это дело понимаю. Одним словом начальство и отечество — это... вот (я вкладываю пальцы одной руки промежду пальцев другой руки и делаю вид, что никак не могу растащить)! И ежели я сейчас сказал, что отечество производит одних из нас в тайные советники, а другим обещает в перспективе звание ком-

мерцни советников то сказал это в переносном смысле, имея в виду, что отечество все эти операции производит не само собой (что было бы превышением власти), но при посредстве естественного своего органа, то есть начальства.

Захар Иваныч, ввиду вторичного упоминания о перспективе коммерции советника, не выдерживает и кричит: шампанского! Остальные подхватывают и троекратно провозглашают: ура!

— Тем не менее я убежден, что шероховатости и недоразумения, о которых я сейчас упоминал, суть не что иное, как горький плод слабого человеческого естества. Вся штука в том, Захар Иваныч, что человек слаб, и так как эта слабость произвольная, то мы не имеем права не принимать ее в расчет при оценке человеческих действий. Но, кроме того, мы не должны забывать, что бывают минуты в жизни народов, когда действия начальствующих лиц приобретают как бы нарочито изнурительный характер, и что именно в эти-то минуты подначальный человек и отыскивает в себе охоту прегрешать. Все это, разумеется, может и даже должно в значительной мере служить оправданием для невинно падшего; но... Но в том-то и дело, Захар Иваныч, что у всякой штуки всегда имеется в запасе еще две штуки, не одна, а именно две, и притом диаметрально противоположные. Так что если, с одной стороны, мы не имеем права не принимать в соображение смягчающих обстоятельств, то, с другой стороны, обязываемся не упускать из вида и того, что провидение, усеивая наш жизненный путь спасительными искушениями, в то же время приходит к нам на выручку с двумя прекраснейшими своими дарами. Первый из этих даров есть твердость в действиях; второй — раскаяние, сопровождаемое испрошением прощения. О первом распространяться не буду, ибо оно достаточно известно всем здесь присутствующим; что же касается до второго, то дар сей практически может быть формулирован так: люби кататься, люби и саночки возить. Я уверен, что каждый из нас, ежели только он искренно вникнет в смысл этой формулы, найдет, что в ней не только нет ничего обременительного, но что, напротив, она во многом развязывает нам руки. Что стоит сказать: пардонё — формально ничего! а между тем едва вы произнесли это слово, как уже все забыто! Одно слово — только одно слово, Захар Иваныч! — и какие безграничные перспективы открываются перед нами! Не знаю, как вы, Захар Иваныч, но если б очередь прегрешать дошла до меня, то я, выполнив этот невольный долг, налагаемый на меня природою, непременно сказал бы: пардонё! А потом и опять бы своевременно прегрешил, и опять — пардонё! И делал бы я это тем охотнее,

что, в сущности, куда бы я ни обернулся, куда бы ни пытался уйти — нигде от начальства спрятаться не могу. Везде оно меня отыщет и покарает; и следовательно, ежели я могу отвертеться от него с помощью коротенького «пardonè» — ужели же я не воспользуюсь этим? Итак, поднимем бокалы наши! И пусть те, которые чувствуют себя прегрешившими, из глубины сердец воскликнут: pardonè! — и затем пусть вновь на здоровье прегрешают!

Речь моя произвела потрясающее действие. Но в первую минуту не было ни криков, ни волнения; напротив, все сидели молча, словно подавленные. Тайные советники жевали и, может быть, надеялись, что сейчас съезнова обедать начнут; Матрена Ивановна крестилась; у Федора Сергенча глаза были полны слез; у Капитолины Егоровны покраснел кончик носа. Захар Иваныч первый положил конец молчанию, сказав:

— Pardonè — и шабаш! Ну, парень, прошиб ты меня! Поцелуемся!

Слова эти послужили сигналом для наплыва чувств. Федор Сергенч бросился ко мне и, обнимая, прерывающимся голосом говорил:

— Вы облегчили... вы сняли бремя с души... Ах, если б вы знали, как я измучился! Капочка! милая!

В ответ на этот крик сердца Капитолина Егоровна улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Чтò ж, ежели все... попробуй, мой друг!

А Захар Иваныч присовокупил:

— Валяй!

Словом сказать, все произошло точь-в-точь, как я предвидел.

И вот, как бы в ответ на совершенный нами подвиг смирения и добра, вечером того же дня произошло чудо.

Старосмыслов получил прогоны...

Он получил их при любезном письме от самого Пафнутьева, который, в согласность с полученными начальственными предписаниями, просил забыть его недавние консервативные неистовства и иметь в виду одно: что отныне на всем лице России не найдется более надежного либерала, как он, Пафнутьев. Но в иллюзии все-таки убеждал не верить.

Одним словом, как-то так случилось, что не Старосмыслову пришлось раскаиваться, а раскаялся сам Пафнутьев.

Я считаю излишним описывать радостный переполох, который это известие произвело в нашей маленькой колонии. Но для меня лично к этой радости примешивалась и частичка

горя, потому что на другой же день и Блохины и Старосмысловы уехали обратно в Россию. И я опять остался один на один с мучительною думой: кого-то еще пошлет бог, кто поможет мне размыкать одиночество среди этой битком набитой людьми пустыни...

VI

Главное, чего русский гулящий человек должен всего больше опасаться за границей,— это одиночества и в особенности продолжительного. Одиночество дает человеку поблажку мыслить — вот в чем беда. Мыслить, то есть припоминать, ставить вопросы, а буде не пропала совесть, то чувствовать и уколы стыда. Так что в результате непременно получится какое-то гложащее уныние. Это уныние приведет к нулю всю работу мысли; оно парализирует возможные решения, заслонит возможные перспективы и будет лишь безнадежно раздражать до тех пор, покада счастливый случай не подвернет под руку краснохолмского купца или всероссийского бесшабашного советника. Или, говоря другими словами, покада пустяки и праздное мелькание вновь не займут той первенствующей роли, которая, по преданию, им принадлежит.

Но для того, чтобы сделать мою мысль по возможности ясной, считаю нелишним сказать несколько слов о пустяках.

В среде, где нет ни подлинного дела, ни подлинной уверенности в завтрашнем дне, пустяки играют громадную роль. Это единственный ресурс, к которому прибегает человек, чтоб не задохнуться окончательно, и в то же время это легчайшая форма жизни, так как все проявления ее заключаются в непрерывном маятном движении от одного предмета к другому, без плана, без очереди, по мере того как они сами собой вытекают из бездны случайностей.

Предаваясь этому движению, человек совершает простую обрядность, не только не требующую помощи мыслящей силы, но даже идущую прямо в разрез ей. В этой сутолоке нет и не может быть места для мысли. Подавленная целой массой случайных подробностей, мысль прячется, глохнет, а ежели, от времени до времени, и настают для нее минуты пробуждения, то она не помогает, не выводит на дорогу, а только мучительно раздражает. Она ставит вопросы, взбудораживает совесть, но в то же время постыдно ослабевает перед всякой серьезной работой разъяснения. Вопросы остаются обнаженными, в том зачаточном виде, в каком они возникли; совесть бесконечно поет — только и всего. Даже компромиссов не является, на

которых, хоть с грехом пополам, можно было бы примириться. Одно желание: уйти, забыть, на все махнуть рукой...

Повторяю: при таких условиях одиночество лишает человека последнего ресурса, который дает ему возможность заявлять о своей живучести. Потребность усчитать самого себя, которая при этом является, приводит за собой не работу мысли в прямом значении этого слова, а лишь безнадежное возвращение в пустоте, возвращение, сопровождаемое всякого рода враньями, отступничествами, малодушиями.

Плод жизни, в основе которой лежат одни пустяки, — пустота, и эта пустота только пустяками же и может быть наполнена. Вопросы встают, но внушают болезненный страх; воспоминания плывут навстречу, но вызывают отчаяние; совесть пробуждается, но переходит в смуту. В силу какого-то ужасного предания, ничто не задерживает мысли, не вызывает ее на правильную работу. Остаются — пустяки. Они представляют собой жизненный фонд, естественное продолжение всего прошлого, начиная с пеленок и кончая последнею, только что прожитою минутой, когда с языка сорвалось — именно сорвалось, а не сказалось — последнее пустое слово. В одних пустяках человек ощущает себя вполне легко; перед ними одними он не чувствует надобности трусить, лицемерить, оглядываться в страхе по сторонам. Пустяки представляют подавляющую силу именно в том смысле, что убивают в человеке способность интересоваться чем бы то ни было, кроме самого низменного бездельничества. Является неудержимая потребность потонуть в пустяках, развеять жизнь по ветру, существовать со дня на день, слоняться от одного предмета к другому, ни во что не углубляясь...

Понятно, что там, где жизнь слагается под бременем массы пустяков, никакие твердые общественные устои не могут быть мыслимы. Те редкие проблески энергии, которые по временам пробиваются наружу, и они приобретают какие-то чудовищные, противочеловеческие формы. Причина простая: в кисельных берегах никакое истинно жизненное течение удержаться не может. Когда жизнь растекается и загнивает, то понятно, что случайные вспышки энергии могут найти себе выход только или в изуверстве, или в презрении. Ничего не жаль, нечего и некого воззвать к деятельности. Над всем опочила плесень веков; все потонуло в безразличной бездне, даже не отведав от плода жизни. Возможна ли, при подобных условиях, иная деятельность, кроме такой, которая ничего другого не приносит, исключая личного самомнения, ненависти и презрения?

Кто, не всуе посящий имя человека, не испытал священных

экзальтаций мысли? кто мысленно не обнимал человечества, не жил одной с ним жизнью? Кто не метался, не изнемогал, чувствуя, как существо его загорается под наплывом сладчайших душевных упоений? Кто хоть раз, в долгий или короткий период своего существования, не обрекал себя на служение добру и истине? И кто не пробуждался, среди этих упоений, под окрик: цыц... вредный мечтатель!

Мы, сходящие с жизненной сцены старики, мы настолько уже отдалены от упоений мысли, что с трудом можем воспроизвести даже внешние признаки их. Поэтому и бездна, лежащая между упоением и пробуждающим его окриком, не заставляет нас метаться от боли. Но несомненно, что и мы в свое время испытали все фазисы этих упоений. Однако ж пришли пустяки и заволокли их. Каким образом заволокли? -- мы даже последовательности этого процесса теперь наметить не можем. Мы можем только сказать: заволокли, и затем, как бы под гнетом глубокой обиды, поспешить уйти от случайно выплывающих воспоминаний. Но, клянусь, даже и теперь становится жутко, когда спросишь себя: ужели с такою же легкостью пустяки заволокут и тех, которые призваны сменить нас?

Как бы то ни было, но для нас, мужей совета и опыта, пустяки составляют тот средний жизненный уровень, которому мы фаталистически подчиняемся. Я не говорю, что тут есть сознательное «примирение», но в существовании «подчинения» сомневаться не могу. И благо нам. Пустяки служат для нас оправданием в глазах сердцеведцев; они представляют собой нечто равносильное патенту на жизнь и в то же время настолько одурманивают совесть, что избавляют от необходимости ненавидеть или презирать...

Счастливыцы!!

Тоска настигла меня немедленно, как только Блохины и Старосмысловы оставили Париж. Воротившись с проводин, я ощутил такое глубокое одиночество, такую неслыханную наготу, что чуть было сейчас же не послал в русский ресторан за бесшабашными советниками. Однако на этот раз воздержался. Во-первых, вспомнил, что я уж больше трех недель по Парижу толкаюсь, а ничего еще порядком не видал; во-вторых, меня вдруг озарила самонадеянная мысль: а что, ежели я и независимо от бесшабашных советников сумею просуществовать?

Целых два дня я бился, упорствуя в своей решимости, и скажу прямо: это были одни из мучительнейших дней моей

жизни. Вся беда в том, что я сейчас же принялся мыслить. Начал с того, что побывал на берегах Пинеги и на берегах Вилюя, задал себе вопрос: ужели есть такая нужда, которая может загнать человека в эти волшебные места? — и ничего на вопрос не ответил. Потом, тут же сряду, спросил себя: а что, если б Старосмыслова не на шутку... сначала на конях, затем на оленях, наконец на собаках... а? — и опять ничего не ответил. По сцеплению идей, с берегов Пинеги и Вилюя я перенесся на берега Невы и заглянул в квартиру современного русского либерала. Увы! он сидел у себя в кабинете один, всеми оставленный (ибо прочие либералы тоже сидели, каждый в своем углу, в ожидании возмездия), и тревожно прислушивался, как бы выжидая: вот-вот звякнет в передней колокольчик. Лицо его заметно осунулось и выцвело против того, как я видел его месяц тому назад, но губы все еще по привычке шептали: в надежде славы и добра... И куда это он все приглашает? на что надеется? Или это такая уж скверная привычка: шептать, надеяться, приглашать? удивился я про себя и опять ничего не ответил. От либерала мысленно зашел на квартиру консерватора и застал там целое сборище. Шумели, пили водку, потирали руки, проектировали меры по части упразднения человеческого рода, писали вопросные пункты, проклинали совесть, правду, честь, проливали веселые крокодиловы слезы... Должно быть, случилось что-нибудь ужасное — ишь ведь как гады закопошились! Быть может, осуществился какой-нибудь новый акт противочеловеческого изуверства, который дал *гадам* радостный повод для своекорыстных обобщений? Все это мелькнуло у меня в голове, мелькнуло и заплыло без ответа. Затем я направился в курную избу сарматского мужика, но тут, даже не формулировавши вопроса, без оглядки побежал дальше. Углубился в историю, вспоминал про Ермака, подарившего России Сибирь, про новгородскую вольницу, отыскавшую Вятку, Соликамск, Чердынь, Пермь; про Ченслера, указавшего путь к устьям Северной Двины, воскликнул: эк вас угораздило! и до такой степени оставил это восклицание без последствий, что даже и теперь не могу обстоятельно объяснить, каким образом и зачем оно у меня сложилось.

Одним словом, ширял сизым орлом по поднебесью, рыскал серым волком по земле и даже растекался мыслью по дереву. Совсем как во сне. Отчего я ни на одном вопросе не остановился, ни на один не дал ответа? я и на этот вопрос ответить не могу. Может быть, потому, что мысль, атрофированная продолжительным бездействием, вообще утратила цепкость; но, может быть, и потому, что затронутая мною материя предста-

вляла нечто до того обыденное, что и вопросы и ответы по ее поводу предполагаются фаталистически начертанными в человеческом сердце и, следовательно, одинаково праздными. Не то, чтоб не было ответов, но не было потребности ни отыскивать, ни формулировать их...

Несколько настойчивее и как будто определеннее останавливался я на вопросе о сердцеведах и сердцеведении; но и тут, едва доходило дело до живого мяса, как мысль моя сейчас же впадала в позорное двоегласие.

Вопрос о содержании сердец во всегдашней готовности для прочтения — один из самых мучительных в нашей жизни. И я полагаю, что потому именно он так обострился у нас, что нигде в целом мире не найдется такой массы глупых людей, для которых весь кодекс политической благонадежности выразился в словах: что ж, если у меня душа чиста — милости просим! Да и не только за себя таким образом говорят эти глупцы, но и к посторонним людям обращаются: «Ведь у вас, господа, души чистые: отчего же не одолжить их для прочтения?..» Ах, срам какой!

Хуже всего то, что, наслушавшись этих приглашений, а еще больше насмотревшись на их осуществление, и сам мало-помалу привыкаешь к ним. Сначала скажешь себе: а что, в самом деле, ведь нельзя же в благоустроенном обществе без сердцеведцев! Ведь это в своем роде необходимость... печальная, но все-таки необходимость! А потом, помаленьку да полегоньку, и свое собственное сердце начнешь с таким расчетом располагать, чтоб оно во всякое время представляло открытую книгу: смотри и читай!

Приливы предупредительно-пресекательного энтузиазма, во время которых сердце человеческое, так сказать, само собой летит навстречу околоточному, до такой степени вошли в наши нравы, что сделались одною из самых обыкновенных обрядностей нашего существования. Мы так мало верим в себя, что даже не пытаемся искать защиты в самих себе, а прямо вопнем: господа сердцеведцы! милости просим! Очевидно, мы сами в этом контроле видим единственное средство обелить себя не только в глазах любопытствующих, но и в своих собственных...

Само собой разумеется, что я лично ничего против приливов этого рода не имею. Напротив того, я в этом случае даже привередлив: сам и страницы помогаю перевертывать, потому что ведь у него, у сердцеведа, пальцы-то черт знает в чем перепачканы... Но, говоря по совести, все-таки не могу скрыть, что любители подобного чтения подчас бывают очень для подлежащего прочтению человека неприятны. Причина тому про-

стая: в человеческом сердце не одни дела до благоустройства и благочиния относящиеся, написаны, но есть кое-что и другое. И вот когда начинают добираться до этого «другого», то, по мнению моему, это уже представляется равносильным вторжением в район чужого ведомства. Все равно как при обыске или прочтении писем частных лиц. Я знаю, конечно, что ежели у меня «искомого» ничего нет, то и опасаться мне нечего; но, к сожалению, кроме «искомого», у меня может оказаться и нечто «неискомое». Это «неискомое» я имел слабость считать своею личною неприкосновенною тайностью, и вдруг на него глянул глазок-смотрок. «Помнишь ли, милый друг, как ты, как я...» — кажется, в этом ничего нет «искомого»? А между тем когда это «неискомое» делается обретенным, то чувствуется ужасная, почти несносная неловкость. Сначала думается: «вот оно какое дело случилось!», а потом думается и еще: «эх, руки-то коротки!..» Право, с ума сойти можно... И сходят.

Не знаю, может быть, меня упрекнут, что, рассуждая таким образом, я обнаруживаю крайнюю неспособность держаться на высоте положения. Виноват, действительно, этой способности во мне нет. Будь у меня она, я стоял бы себе да постаивал на высоте положения — и горюшка мало! Но раз что высоты для меня недоступны, я поневоле отношусь скептически к полезным свойствам сердцеведения. И потому, когда замечаю, что большинство сердцеведов не только смешивает «искомое» с «неискомым», но даже сопровождает подобные смешения веселыми прибаутками, то эти последние нимало не кажутся мне восхитительными. Иной, например, сразу видит, что читать нечего, но заметит где-нибудь в уголке: «Помнишь ли, как ты, как я...» — и вцепится. А бывают и такие, что прежде всего норовят отыскать, не написано ли где: «Извлечение из высочайшего манифеста о кредитных билетах», и как только отыщет, так сейчас: «эти страницы я уж у себя на дому прочту-с...»

Неужто это резон?

Вот почему иногда и думается: не лучше ли было бы, если б в виде опыта право читать в сердцах было заменено правом ожидать поступков... Но тут же сряду представляется и другое соображение: иной ведь, пожалуй, так изловчится, что и никогда от него никаких поступков не увидишь... неужто ж так-таки и ждать до скончания веков?

Нет, воля ваша, а это тоже не резон.

Или возьмем другой пример того же порядка. Многие публицисты пишут: ежели-де на песчаном морском берегу случай просыпал коробку с иголками, то нужно-де эти иголки все до одной разыскать, хотя бы для этого пришлось взбудоражить весь берег...

Многие, однако ж, полагают, что это не резон.

Но, с другой стороны, как размыслишь, да к тому же еще и с околоточным переговоришь, то представляется и такое соображение: иголки имеют свойство впиваться, причинять общее беспокойство и т. д.— неужто же так-таки и оставить их без разыскания?

Нет, как хотите, и это не резон.

Резон — не резон; не резон — и опять резон. Вот вокруг этих-то бесплодных терминов и вертится жизнь, как белка в колесе.

В сей крайности, мне кажется, самое лучшее: отложив всякое попечение, сидеть и молчать. Только и тут опять беда: пожалуй, молчавши, измучаешься!

Слово — серебро, молчание — золото; так гласит стародавняя мудрость. Не потому молчание приравнивается злату, чтоб оно представляло невесть какую драгоценность, а потому что, при известных условиях, другого, более правильного, выхода нет. Когда на сцену выступает практическое сердцеведение, то я, прежде всего, рассуждаю так: вероятно, в данную минуту обстоятельства так сложились, что без этого обойтись невозможно. Но в то же время не могу же я заглушить в своем сердце голос той высшей человеческой правды, который удостоверяет, что подобные условия жизни ни нормальными, ни легко переживаемыми назвать не приходится. И вот, когда очутишься между двумя такими голосами, из которых один говорит: «правильно!», а другой: «правильно, черт возьми, но несносно!», вот тогда-то и приходит на ум: а что, ежели я до времени помолчу! И помолчу, потому что и без меня охотников говорить достаточно...

Тяжелое наступило ныне время, господа: время отравления особого рода ядом, который я назову *газетным*. Ах, какое это неслыханное мучение, когда газетные трихины играть начинают! Ползают, суматошатся, впиваются, сыскивают, тчат. Наглогаешься с утра этого яду, и потом целый день как отравленный ходишь...

Какой же, однако, выход из этого лабиринта двоесловий? Неужто только один и есть: помолчу?

.....

Но положение мое ухудшилось еще больше, когда, наскучив бесплодным пребыванием в мире конкретностей, я самонадеянно попытался сизым орлом взлететь в сферу отвлеченностей. В старину я дельвал подобные полеты нередко. Вместе с прочими сверстниками я охотно баловал себя экскурсиями в ту область, где предполагается «невидимых вещей обличье»

ние», и, помнится, экскурсии эти доставляли мне живейшее удовольствие. Не скажу, чтоб я видел эту область вполне отчетливо, но, во всяком случае, созерцание ее возбуждало во мне не страх, а положительно сладостное чувство. Вообще тогда жилось дерзновеннее (я, конечно, имею в виду только себя и своих сверстников), хотя не могу не сознаться, что основной жизненный фонд все-таки был поражен непоследовательностью, граничащей с легкомыслием. Две жизни шли рядом: одна, так сказать, *pro domo*¹, другая — страха ради нудейска, то есть в форме оправдательного документа перед начальством. Сидишь, бывало, дома и всем существом, так сказать, уходишь в область «невидимых вещей обличения». И вдруг бьет урочный час — беги в канцелярию. Надел штаны, ещмундир, и через четверть часа находишься уж совсем в другой области — в области «видимых вещей утверждения». Естественно, и там и тут — вопросы совсем разные. В первой области — вопрос о том, позади ли нужно искать золотого века или впереди; во второй — вопрос об устройстве золотых веков при помощи губернских правлений и управ благочиния, на точном основании изданных на сей предмет узаконений. Посидишь, поскребешь пером, смотришь, опять бьет урочный час. Снова бежишь домой, переменяешь штаны, надеваешь сюртук или халат и опять попадаешь в область «невидимых вещей обличения». Так и прошла молодость...

Нынешнему поколению может показаться не совсем складною эта беготня из одной области в другую, но тогда — жилось и неловкостей не ощущалось.

И вот теперь, спустя много-много лет, благодаря случайному одиночеству, точно струя молодости на меня хлынула. Дай, думаю, побегаю, как в старину бывало.

Однако бегать не привелось, ибо как ни ходкоплыли навстречу молодые воспоминания, а все-таки пришлось убедиться, что и ноги не те, и кровь в жилах не та. Да и вопросы, которые принесли эти воспоминания... уж, право, не знаю, как и назвать их. Одни, более снисходительные, называют их несвоевременными, другие, несомненно злобные, — прямо вредными. Что же касается лично до меня... А впрочем, судите сами.

Вопрос первый: утешает ли история? Лет сорок тому назад — я знаю это наверное — я, по сущей правде, ответил бы: да, утешает. А нынче, что я скажу? Ведь я даже мыслить принципиально, без вводных примесей, разучился. Начну с мрака времен и, только что забрезжит свет, сейчас наткнусть либо на

¹ для себя.

Пинегу с Вилюем, либо на устав о пресечении, да тут и за- грязну. Именно это самое и теперь случилось. Едва выглянул на меня вопрос, едва приступил я к его расчленению, как вдруг откуда ни взялся генерал-маиор Отчаянный и так сверкнул очами, что я сразу опешил. Нет, уж лучше я завтра... — смущенно ответил я сам себе и в ту же минуту поспешил с таким расчетом юркнуть, чтоб и ушей моих не было видно.

Вопрос второй: можно ли жить с народом, опираясь на оный? Сорок лет тому назад я наверное ответил бы: не только можно, но иначе и жить нельзя. Нынче... Только что начну я рассказывать и доказывать «от принципа», что человеческая деятельность, вне сферы народа, беспредметна и бессмысленна, как вдруг во всем моем существе «шкура» заговорит. Выглянут молодцы из Охотного ряда, сотрудики с Сенной площади и, наконец, целая масса аферистов-бандитов, вроде Наполеона III, который ведь тоже возглашал: *tout pour le peuple et par le peuple*...¹ И, разумеется, в заключение: нет, уж лучше я завтра...

Вопрос третий: можно ли жить такую жизнью, при которой полагается есть пирог с грибами исключительно затем, чтоб держать язык за зубами? Сорок лет тому назад я опять-таки наверное ответил бы: нет, так жить нельзя. А теперь? — теперь: нет, уж я лучше завтра...

Словом сказать, на целую уйму вопросов пытался я дать ответы, но увы! ни конкретности, ни отвлеченности — ничто не будило обессилевшей мысли. Мучился я, мучился, и чуть было не крикнул: водки! но, к счастью, в Париже этот напиток не столь общедоступный, чтоб можно было, по произволению, утешаться им...

Так я и лег спать, вынеся из двухдневной тоски одну истину: что, при известных условиях жизни, запой должен быть рассматриваем не столько с точки зрения порочности воли, сколько в смысле неудержимой потребности огорченной души...

Мой сон был тревожный, больной. Сначала мерещились какие-то лишенные связи обрывки, но мало-помалу образовалось нечто связное, целый *colloquium*², героиней которого была... свинья! Однако ж этот *colloquium* настолько любопытен, что я считаю нелишним поделиться им с читателем, в том виде, в каком сохранила моя память.

¹ все для народа и через народ.

² разговор.

ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ,
ИЛИ
РАЗГОВОР СВИНЬИ С ПРАВДОЮ

Прерванная сцена

Действующие лица:

Свинья, разевшееся животное; щетина ошерилась и блестит, вследствие непрерывного обхождения с хлевой жидкостью.

Правда, особа, которой, по штату, полагается быть вечно юною, но уже изрядно побитая. Прикрыта, по распоряжению начальства, лохмотьями, сквозь которые просвечивает классический полный мундир, то есть нагота.

Действие происходит в хлеву.

Свинья (*кобенится*). Правда ли, сказывают, на небе солнышко светит?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?

Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создавая, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!

Свинья. Ой ли? (*Авторитетно.*) А по-моему, так все эти солнца — одно лжеучение... ась?

Правда *безмолвствует и сконфуженно поправляет лохмотья. В публике раздаются голоса: правда твоя, свинья! лжеучения! лжеучения!*

Свинья (*продолжает кобенится*). Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу — и горюшка мало! Чтò мне! Хочу — рылом в корыто уткнусь, хочу — в навозе кувыркаюсь... какой еще свободы нужно! (*Авторитетно.*) Изменники вы, как я на вас погляжу... ась?

Правда *вновь старается прикрыть наготу. Публика гогочет: правда твоя, свинья! Изменники! изменники! Некоторые из публики требуют, чтоб Правду отвели в участок. Свинья самодовольно хрюкает, сознавая себя на высоте положения.*

Свинья. Зачем отводить в участок? Ведь там для формы подержат, да и опять выпустят. (*Ложится в навоз и впадает в сантиментальность.*) Ах, нынче и участковые одним языком с фельетонистами говорят! Намеднись я в одной газете вычитала: оттого-де у нас слабо, что законы только для формы пишутся...

Правда. Так ты и читаешь, свинья?

Свинья. Почитываю. Только понимаю не так, как написано... Как хочу, так и понимаю!.. (К публике.) Так вот что, други! в участок мы ее не отправим, а своими средствами... Сыскивать ее станем... сегодня вопросец зададим, а завтра — два... (Задумывается.) Сразу не покончим, а постепенно чавкать будем... (Сопя, подходит к Правде, хватая ее за икру и начинает чавкать.) Вот так!

Правда *пожимается от боли; публика грохочет. Раздаются возгласы: ай да свинья! вот так затейница!*

Свинья. Что? сладко? Ну, будет с тебя! (Перестает чавкать.) Теперь сказывай: где корень зла?

Правда (растерянно). Корень зла, свинья? корень зла... корень зла... (Решительно и неожиданно для самой себя.) В тебе, свинья!

Свинья (рассердилась). А! так ты вот как поговариваешь! Ну, теперь только держись! Правда ли, сказывала ты: общечеловеческая-де правда против околоточно-участковой не в пример превосходнее?

Правда (стараясь изловчиться). Хотя при известных условиях жизни, невозможно отвергать...

Свинья. Нет, ты хвостом-то не верти! Мы эти момò-то слыхивали! Сказывай прямо: точно ли, по мнению твоему, есть какая-то особенная правда, которая против околоточной превосходнее?

Правда. Ах, свинья, как изменнически подло...

Свинья. Ладно; об этом мы после поговорим. (Наступает плотнее и плотнее.) Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать, потому-де что, в противном случае, человеческое общество превратится в хаотический сброд враждующих элементов... Об каких это законах ты говорила? По какому поводу и кому в поучение, сударыня, разглагольствовала? ась?

Правда. Ах, свинья!

Свинья. Нèчего мне «свиньей»-то в рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я — Свинья, а ты — Правда... (Хрюканье свиньи звучит иронией.) А ну-тко, свинья, положи-ка правду! (Начинает чавкать. К публике.) Любо, что ли, молодцы?

Правда *корчится от боли. Публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь ведь, распостылая, еще разговаривать вздумала!*

На этом colloquium был прерван. Далее я ничего не мог разобрать, потому что в хлеву поднялся такой гвалт, что до

слуха моего лишь смутно долетало: «правда ли, что в университете...», «правда ли, что на женских курсах...» В одно мгновение ока Правда была опутана целой сетью дурацки предательских подвохов, причем всякая попытка распутать эту сеть встречалась чавканьем свиньи и грохотом толпы: давай, братцы, ее своим судом судить... народным!!

Я лежал как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял: бог не попустит, свинья не съест! — я вдруг во все горло заорал: съест свинья! съест!

В эту минуту сильный стук в дверь заставил меня проснуться.

Стучалась хозяйка. Кто-то добрый человек проходил по лестнице и слышал мои стоны. Хозяйка прибежала испуганная — ей представилось, что от нечего делать, я произвожу опыты самоубийства, — и, разумеется, очень обрадовалась, как узнала, что весь переполох произошёл оттого, что мне приснилась свинья.

— Mais cela m'arrive tous les jours! ¹ — воскликнула она и сейчас же самым естественным образом объяснила это явление.

Дело в том, что меблированная квартира была как раз расположена над рынком Мадлёны, и так как туда каждую ночь привозили транспорты свиней, то обстоятельство это не могло не действовать соответствующим образом на воображение квартирантов.

— В первое время, когда мы сняли наше заведение, это было очень тяжело, — добавила она, — я, впрочем, довольно скоро привыкла, но мой бедный муж чуть с ума не сошел. Однако теперь все пришло в порядок. Всякий день мы видим во сне каждый свою свинью, и это уж не смущает нас.

Тем не менее она ужасно изумилась, когда я, в свою очередь, объяснил ей, что нам видятся во сне совершенно различные свиньи: ей — такие, которых люди едят, а мне — такие, которые сами людей едят.

— У нас таких животных совсем не бывает, — сказала она, — но русские, действительно, довольно часто жалуются, что их посещают видения в этом роде... И знаете ли, что я заметила? — что это случается с ними преимущественно тогда, когда друзья, в кругу которых они проводили время, покидают их и, вследствие этого они временно остаются предоставленными самим себе.

¹ Но это со мной бывает каждый день!

Я должен был согласиться, что это правда. Одиночество вынуждает нас думать, а мы к думанью непривычны. Сообща мы еще можем как-нибудь проваландаться: в винт, что ли, засядем или в трактир закатимся, а как только останешься один, так и обступит тебя...

— Очень мы оробели, *chère madame*,— прибавил я.— Дóма-то нас выворачивают-выворачивают— всё стараются, как бы лучше вышло. Выворотят наизнанку— нехорошо; налицо выворотят— еще хуже. Выворачивают да приговаривают: паче всего, вы не сомневайтесь! Ну, мы и не сомневаемся, а только всеминутно готовимся: вот сейчас опять выворачивать начнут!

— Но ведь, приехавши за границу, *mon cher monsieur*...

— И за границей тоже. Как набойшься дóма, так и за границей небо с овчинку кажется. В ресторан придешь— гарсона боишься: какое вы, скажет, имели право меня не дельными заказами беспокоить? В музей придешь— думаешь: а что, если я ничего не смыслю? В библиотеку завернешь— думаешь: а ну как у меня язык сболтнет, дайте, мол, водевиль «Отец, каких мало» почитать, буде он цензурой не воспрещен! Так-то, *chère madame*! Взвесьте-ка все это, да и спросите себя по совести: можем ли мы другие сны видеть, кроме самых, что называется, экстренных?

Признания мои, видимо, тронули добрую женщину. Глаза ее отуманились, и до слуха моего не раз долетало тихое, но глубоко прочувствованное: *saperlotte!*¹

— Единственное средство избавиться от видений,— продолжал я,— это вновь подыскать компанию, которая не давала бы думать. Слышал я, будто в Париже за сходную цену собеседника нанять можно? Не знаете ли вы, *chère madame*?

Она задумалась на минуту, как бы ища в своих воспоминаниях.

— *C'est ça j'ai votre affaire!*— воскликнула она, хлопнув себя по ляжке.— *Ah, vous serez bien, bien content mon cher monsieur! je ne vous dis que ça!*²

И точно: через полчаса она уже вновь стучалась в мою дверь, ведя за собой «собеседника».

— *Le général Capotte!*³— отрекомендовала она пришельца и оставила нас вдвоем.

Передо мной стоял крупный, плечистый и сильный детина, достаточно пожилой (впоследствии оказалось, что ему 60 лет),

¹ черт возьми!

² Что ж, я устрою ваше дело!.. О, вы будете вполне, вполне довольны, мой дорогой господин! поверьте!

³ Генерал Капотт!

но удивительно сохранившийся. В построении его тела замечалось, однако ж, нечто в высшей степени загадочное. Голова выдалась вперед, грудь — тоже, между тем как живот представлялся вдавленным и вся нижняя часть тела искусственно отброшенную назад. Руки выворочены, левая представляется устремленною, с выдавшимися указательным и третьим пальцами; правая — согнута в локте и как бы нечто держит в сжатом кулаке. Ноги тоже изумительные: левая — держит позицию, правая — осталась позади и слегка приподнята. Где-то я видывал подобные фигуры (впоследствии выяснилось, что на вывесках провинциальных трактиров). И лицо у него было знакомое, как бы специально приспособленное: белые хрящевидные щеки; один глаз прищурен и всматривается, другой — задумался; рот — перекосило. И в довершение загадочности на плечах — вицмундир ведомства народного просвещения.

Он молча подал мне карточку, на одной стороне которой значилось:

Jean-Marie-François-Archibald Capotte.

Conseiller d'Etat Actuel.

Ancien professeur de billard¹.

А на другой:

Иван Архипович Капотт.

Действительный статский советник.

Педагог.

Карточка эта разом объясняла все загадочности телесного построения. Одно только сомнение представлялось уму: говорить ли ему «ваше превосходительство» или просто: Капотт? Несомненно, что в том кафе, при котором он состоит, в качестве всегда готового к услугам посетителей бильярдного партнера (за это он ежедневно получает от буфета одну котлету и две рюмки *gogki*), его зовут не иначе, как «*général*»; но почему-то мне показалось, что, по совести, он совсем не генерал,

¹ Жан-Мари-Франсуа-Аршибальд Капотт, действительный статский советник, бывший преподаватель игры на бильярде.

а прохвост. Мы, русские, на этот счет очень щекотливы. Охотно признавая заслуги, оказываемые государству отлично-усердным ведением входящих и исходящих регистров, мы подозрительным окомзираем на заслуги, приносимые бильярдной игрой, фехтованием и хореографическим искусством. Да ведь оно и в самом деле как будто странно. Сидишь, например, в балете, спрашиваешь соседа, а кто, мол, это сию минуту такое изумительное антрашà отколол? — и вдруг ответ: это действительный статский советник Мариюс Петипа...

А в Париже это уж и совсем никуда не годится, ибо там даже Гамбетта не дослужился до действительного статского советника.

Как бы то ни было, но, взглянув еще раз на вывернутые Капоттовы ноги, я сразу порешил, что буду называть его просто: *mon cher Capotte*¹.

— Ну-с, *mon cher Capotte*, — начал я, — так вы изъявляете готовность быть моим собеседником... Какие же ваши условия?

Разумеется, он не сразу ответил мне, но предварительно начал лгать. Из слов его оказывалось, что все «знатные иностранцы» (конечно, из русских) непременно обращаются к нему. Ибо он не только приятный собеседник, но и муж совета. Все проекты, которыми «знатные иностранцы», воротившись из Парижа, радуют Россию, принадлежат ему, Капотту. Так, например, не очень давно князь Букиазбà проект публиковал: как поступить с мужиком? — и выдал его за собственный, а, в сущности, главным руководителем в этом деле был Капотт.

— Князь даже совсем не того хотел, что потом вышло, — объяснил Капотт, — он думал, что мужика необходимо в кандалы заковать. Но я убедил его передать это дело на обсуждение в наше кафè — мы там всё демократы собираемся...

— Но и шпионы, Капотт?

— Гм... вы понимаете, что ежели в интересах истины необходимо...

— Продолжайте, Капотт.

— И мы, по внимательном рассмотрении, решили: мужика расковать, а заковать интеллигенцию, поручив молодцам из Охотного ряда иметь бдительнейший за нею надзор...

— Послушайте, Капотт! как вы, однако ж, чисто по-русски говорите!

Замечание это, видимо, ему польстило.

— О, душою я и до сих пор русский! — воскликнул он и в доказательство произнес несколько неупотребительных в

¹ мой дорогой Капотт.

печати выражений с такою отчетливостью, что по комнате в одно мгновение распространился смрад.

— Прекрасно! — перебил я его, — но не будем увлекаться. Стало быть, если б и у меня, чего боже сохрани, что-нибудь на-вернулось... вы мне поможете, Капотт?

— Несомненно, — ответил Капотт.

— Но, главное, вы поможете мне убить время... Время — это злейший из наших врагов! Скучно нам, Капотт, ах, как скучно!

— Русские, действительно, чаще скучают, нежели люди других национальностей, и, мне кажется, это происходит оттого, что они чересчур избалованы. Русские не любят ни думать, ни говорить. Я знал одного полковника, который во всю жизнь не сказал ни одного слова своему денщику, предпочитая объясняться посредством телодвижений.

— Ах, Капотт! но ведь это-то и есть...

— Идеал, хотите вы сказать? — Сомневаюсь. В сущности, разговаривать не только не обременительно, но даже приятно. Постоянное молчание приводит к угрюмости, а угрюмость — к пьянству. Напротив того, человек, имеющий привычку пользоваться даром слова, очень скоро забывает об водке и употребляет лишь такие напитки, которые способствуют общительности. Русские очень талантливы, но они почти совсем не разговаривают. Вот когда они начнут разговаривать...

— Благодарю вас, Капотт!

— Вообще России предстоит великая будущность; но все зависит от того, в какой мере и когда будет ей предоставлено воспользоваться даром слова. Так, например, ежели это случится через тысячу лет...

— Благодарю вас, Капотт!

— Мы во Франции с утра до вечера говорим, — не унимался Капотт, — говорим да говорим, а иногда что-нибудь и скажем. Но если б нас заставили тысячу лет молчать, то и мы, наверное, одичали бы...

— Еще раз благодарю вас, Капотт, но я считаю подобные разговоры преждевременными. Возвратимся к предмету нашего свидания. Ваши условия?

— Условия мои всегда одинаковы. Десять франков в день — это мой гонорар. Затем, куда бы мы с вами ни пошли — в театры, рестораны и проч. — вы предоставляете мне те же удобства, какими будете сами пользоваться. Если, по обстоятельствам, вам придется где-нибудь остаться одному, то я буду ожидать вас в ближайшем кафе, и вы уплатите за мою консоммацию. Я же, с своей стороны, обязываюсь быть в вашем распоряжении от одиннадцати часов утра вплоть до за-

крытия театров. Но в крайнем случае вы можете задержать меня и дольше.

Эти условия были положительно тяжелы для моего бюджета, но страх вновь увидеть во сне свинью был так велик, что я, не долго думая, согласился.

— В принципе я ничего не имею против ваших условий,— сказал я,— но предварительно желал бы предложить вам два вопроса. Во-первых, об чем мы будем беседовать?

— Я могу говорить обо всем. Я выжил тридцать лет в России; следовательно, если вы захотите говорить об язвах, удручающих вашу страну,— я могу перечислить их вам по пальцам; если же, напротив, вы пожелаете вести речь исключительно о доблестях — я и тут к вашим услугам. Затем я знаю очень много «рассказов» из жизни достопримечательных русских деятелей и уверен, что рассказы эти доставят вам удовольствие. Такова моя программа относительно России. Что же касается Франции, то вы можете предлагать мне какие угодно вопросы — я на всё имею самые обстоятельные ответы.

— Отлично. Во-вторых, ответьте мне откровенно, Капотт!! Вы не шшш... то бишь pardon! — не сердцеведец?

Я ждал, что Капотт смутится, но он смотрел на меня ясно и почти благородно. Очевидно, подобный вопрос уже не раз был обращаем к нему.

— В смысле постоянного занятия — нет,— отвечал он твердо,— но не скрою от вас, что когда обстоятельства призывают меня, то я всегда застаю себя стоящим на высоте положения!

Тем не менее, говоря это, он привстал, как бы приготовляясь ретироваться. Такова сила предрассудка, сопряженная с представлением о сердцеведении, что даже этот крупный и сильный мужчина опасался: а ну как меня за это не похвалят! Разумеется, я поспешил успокоить его.

— Капотт! — сказал я,— не опасайтесь! Вообще говоря, сердцеведение, конечно, не особенно для меня симпатично; но так как я понимаю, что в благоустроенном обществе обойтись без этого нельзя, то покоряюсь. Но прошу вас об одном: читайте в моем сердце, но читайте лишь то, что действительно в нем написано! Не лгите! а ежели чего не поймете, то не докладывайте, не объяснившись предварительно со мною!

Он с радостью согласился исполнить эту просьбу, и мы окончательно поладили.

Биография Капотта была очень трогательна. Он был внук сестры Марата и много пострадал от людской несправедливости по случаю этого несчастного родства. Уже родители Капот-

товы старались примерным поведением и чистосердечным раскаянием смыть наследственное пятно, но все усилия их остались тщетными: ни Наполеон, ни Бурбоны не доверяли их искренности. Нередко пробовали Капотты предавать своих кровных, оставшихся верными бездельным Маратовым преданиям, но их предательства называли недостаточными и своекорыстными; когда же они проливали слезы боли и раскаяния, то их слезы называли крокодиловыми. Со вступлением на престол Луи-Филиппа сердца Капоттов на мгновение оживились надеждою; но хотя Луи-Филипп был возведен на трон не *parce que*¹, а *quoique*² Бурбон, однако ж, в отношении к Маратовским преданиям оказался еще больше Бурбоном, нежели самые истые Бурбоны. Он даже «извещений» не велел принимать от Капоттов, «яко от людей бездельных и доверия не заслуживающих». Тогда Капотты окончательно пали духом и долгое время жили в полном отчуждении, находя утешение только в религии. Наконец, в 1840 году, юный отпрыск этого дома Jean-Marie-François-Archibald Capotte принял героическое решение. Это был двадцатилетний юноша, сильный, цветущий, полный надежд и в совершенстве постигший тайны бильярдной игры. Наскучив унылым прозябаньем в отечестве и возмущенный несправедливостью сограждан, он отряс прах с ног своих и переселился в снега России.

В России словно только и ждали его приезда. Прибыв в Петербург, он чистосердечно объяснил свое родство с Маратом, присовокупив при этом, что постарается искренним раскаянием смыть с себя это пятно. Поступок этот был найден благородным. Признано было, что внук не должен отвечать за поступки деда, хотя бы то был Марат. Когда же на вопрос: что он может делать? — Капотт с твердостью ответил: все что угодно! — то было сочтено за удобнеее пристроить его в качестве педагога. А дабы сообщить этому устройству нарочитую прочность, Капотт изъявил готовность присоединиться к единой истинной православной греко-российской церкви. Узнав об этом, русские дамы вдруг словно сбесились. Графиня Мамелфина, княгиня Букиазба, маркиза де Санглю, генеральша Бедокурова наперебой переманивали его друг у друга для воспитания детей. Благодаря их ходатайствам, Капотт был зачислен на службу разом по трем ведомствам: у старого князя Букиазба по части изобретения пристойных законов, у маркиза де Санглю — по части распространения пристойного просвещения и у генерала Бедокурова — по какой-то не вполне яс-

¹ потому что.

² хотя (он был).

ной части, в титуле которой можно было, однако ж, разбрать: «строгость и притом быстрота». И по всем трем ведомствам получал пристойное жалованье.

Между тем юные питомцы были тоже без ума от Капотта, ибо последний, посевая в их сердцах семена религии, в то же время обучал их веселым романсам и игре на бильярде. Кроме того, имея в виду, что питомцам его предстоит великое будущее, он издал «Краткие правила для изобретения мероприятий и немедленного их осуществления», которые и до сих пор остаются незаменимыми. Словом сказать, Капотт до того преуспел, что когда, по истечении двадцати пяти лет, маркиз де Санглю объявил ему, что он произведен в генералы, то, несмотря на свое французское легкомыслие, он хлопнул себя по ляжке и прослезился. Но, на свою беду, он в то же время узнал, что, на основании каких-то сокращенных сроков, выслужил разом три пенсии, и... пожелал выйти в отставку.

Это была важная ошибка с его стороны, ибо она отвратила от него сердца родителей. Дело в том, что он успел сколотить изрядный капиталец и, подобно всем французам, легкомысленно увлекся идеей о независимой жизни. Открывши школу бильярдной игры, он надеялся, что молодое поколение поддержит его. И, действительно, в первое время дела его пошли блистательно, потому что, независимо от бильярдной, он содержал еще маркитантскую, из которой в долг отпускал закуски и вино. Но через год, совсем непредвиденно, прибыл из Парижа француз Сан-Кюлотт (слухи ходили, что его, из мщения к Капотту, выписала генеральша Бедокурова, а злые языки, кроме того, прибавляли: «с производством в коллежские регистраторы») и стал распевать такие песенки, что кадеты разом ошалели. А через месяц на помощь к Сан-Кюлотту явилась девица Альфонсинка (Капотт был на этот счет строг и Альфонсинок в своем «заведении» не допускал) и те же песни начала распевать уже с пристойными иллюстрациями. В сей крайности Капотт попытался было обратиться с жалобой на Сан-Кюлотта к родителям и даже заговорил о нравственности, но родители (или, точнее, родительницы), вместо ответа, напомнили ему об измене, а некоторые даже дозволили себе жестокий намек на происхождение от Марата. Кадеты между тем рассеялись по лицу земли, не уплатив долгов, и Капотт окончательно прогорел. Тогда, продав за бесценок свое заведение тому же Сан-Кюлотту, он вновь отряс прах с ног своих, тайно воссоединился к единой истинной римско-католической церкви и переехал в Париж.

Теперь он скромно живет в Париже на свою пенсию, которая, однако ж (по трем ведомствам), представляет для него

верный ресурс в количестве семи тысяч франков ежегодно. Большую часть времени он проводит в кафе, играя на бильярде, но, кроме того, всегда имеет к услугам «знатных иностранцев» разнообразный выбор соблазнительных картинок и секретных принадлежностей туалета. Бывшие питомцы не забывают его, и это составляет его утешение и гордость. Некоторые из них уплатили ему долги по бильярдной, но большинство ограничивается тем, что сообщает ему свои проскты. Когда эти проекты скопляются во множестве, тогда Капотт временно исчезает из кафе и весь отдается государственным соображениям.

Между тем местные демагоги, в свою очередь, не забывают, что Капотт олицетворяет собою последний отпрыск пресловутого Маратова корня. В день рождения Марата они сходятся в кафе и качают Капотта. А в день Маратовой смерти тоже сходятся в кафе и качают Капотта вторично. Причем называют его *général* и слушают его рассказы о том, как он был однажды сослан на каторгу, как его секли кнутом, как он с каторги бежал к бурятам, *dans les steppes*¹, долгое время исправлял у них должность шамана, оттуда бежал — в Китай... *et me voilà à Paris*².

Целых четыре дня я кружился по Парижу с Капоттом, и все это время он без умолку говорил. Часто он повторялся, еще чаще противоречил сам себе, но так как мне, в сущности, было все равно, что ни слушать, лишь бы упразднить представление «свиньи», то я не только не возражал, но даже механическим помахиванием головы как бы приглашал его продолжать. Многого, вероятно, я и совсем не слышал, довольствуясь тем, что в ушах моих не переставаячи раздавался шум.

Первый день мы беседовали об язвах, удручающих Россию. До завтрака Капотт говорил:

— Главная ваша язва в том состоит, что вы никогда не представляете себе ясно, чего вы хотите. Сегодня вы выражаете чувства, всем вообще человекам свойственные, а завтра вдруг пустите такую душину, что хоть топор повесь. И это происходит не от ренегатства, а оттого, что, вследствие недостаточной подготовки для познания вещей, вы не различаете добра от зла. К тому же, на ваше несчастье, вы восприимчивы и потому легко воспаляетесь. Но вы увлекаетесь без разбору, без критики, и, к сожалению, чаще всего тем, чем уж никто в целом мире не увлекается. Сегодня, видя человека, которому тяжело дышится, вы великодушно говорите: надо ему по-

¹ в степи.

² и вот я в Париже.

мочь! А завтра, едва только начал этот человек дышать легче, как вы уже сердитесь и восклицаете: надо его подтянуть! Ясно, что при такой неустойчивости взглядов и чувств не может существовать ни малейшего доверия к будущему. Боязнь завтрашнего дня — вот червь, который точит вашу жизнь. Но смею думать, что покуда вы будете заниматься только трепетанием, ваш национальный гений особенно блестящих свойств не предъявит.

Я слушал эту преднку и возмущался духом. Но так как я раз навсегда принял за правило: пускай Капотты с Гамбеттами что угодно рассказывают, а мы свою линию будем потихоньку да полегоньку вести! — то и ограничился тем, что сказал:

— Врете вы всё, Капотт! Я уверен, что после завтрака вы совсем другое будете говорить!

И точно, после завтрака, выпивши на свой пай бутылку бургонского, Капотт говорил:

— Вы, русские, чересчур настойчивы в преследовании ваших целей — вот ваша главная язва. *Vous êtes trop logiques*¹. Жизнь требует уступок, а вы хотите только реформ. В такое короткое время — и такой прогресс! — какой организм это выдержит! А вы не только выдерживаете, но еще говорите: мало! Вам дали свободу слова, а вы как будто и не подозреваете этого, и всё жалуетесь: когда ж нам свободу слова дадут? Нет, *mon cher monsieur*, так нельзя! Конь и о четырех ногах, да спотыкается, а человек... Человека вот как надо держать, *cher monsieur*, чтоб он не спотыкался!

Говоря это, он показывал, как надо «держать» человека: одной рукой натягивал воображаемые вожжи, другою — стискивал воображаемый бич.

Перед обедом в ушах моих раздавалось:

— Подобно древним римлянам, русские времен возрождения усвоили себе клич: *rapem et circenses!*² И притом чтобы даром. Но *circenses* у вас отродясь никогда не бывало (кроме секуций при волостных правлениях), а *rapem* начал поедать жучок. Поэтому-то мне кажется, старый князь Букиазба был прав, говоря: во избежание затруднений, необходимо в них сию прихоть истреблять.

А после обеда (три рюмки *gorki* и две бутылки «орди-нёра») я слышал следующее:

— Тем не менее скажу вам откровенно: тридцать лет сряду стараюсь я отличить русские язвы от русских доблестей — и, убей меня бог, ничего понять не могу!

¹ Вы слишком логичны.

² хлеба и зрелищ!

Выговоривши это коснеющим языком, он повалился на диван и заснул. Я же отправился в «Variétés» и в третий раз с возрастающим удовольствием прослушал «La femme à para»¹. Но как, однако ж, заматерела Жюдик!

— А как любит русских, если б вы знали! — рассказывал мне сосед по креслу, — представьте себе, прихожу я на днях к ней. — Так и так, говорю, позвольте поблагодарить за наслаждение... В Петербурге, говорю, изволили в семьдесят четвертом году пообывать... — Так вы, говорит, русский? Скажите, говорит, русским, что они — душки! Все, все русские — душки! а немцы — фи! И еще скажите русским, что они (сосед наклонился к моему уху и шепнул что-то, чего я, признаюсь, не разобрал)... Это, говорит, меня один кирасир научил!

Второй день мы с Капоттом посвятили доблестям. До завтрака, впрочем, дело шло довольно вяло, но за завтраком Капотт постепенно разогрелся.

— Нигде я не едал таких прекрасных рыб, как в России! — ораторствовал он. — Oukha au sterlet — ah! c'est quelque chose d'ineffable!² Однако ж когда я поступил воспитателем к молодому графу Мамелфину, то мне долгое время не давали этого божественного кушанья! Всем, бывало, подают уху стерляжью, а мне — из окуней. Но когда графиня ближе ознакомилась с моими нравственными качествами, то мне стали давать две тарелки с лучшими кусками, а старого графа перевели на уху из окуней. Вот тогда я узнал... Да, впрочем, одна ли уха? а осетровый янтарный балык? а тающая провесная белорыбица? а икра банкетная, салфеточная и зернистая? Я долгое время не мог разобрать, что это такое, но когда понял... о!!!

За обедом Капотт вспоминал:

— Тем не менее рыбами далеко не исчерпываются дары, которыми наделил Россию ее национальный гений. Вспомним о румяной кулебяке с угрем, о сдобном пироге-курнике, об этом единственном в своем роде поросенке с кашей, с которым может соперничать только гусь с капустой, — и не будем удивляться, что под воспитательным действием этой снеди умолкают все вопросы внутренней политики. Самых лучших поросят я ел у маркизы де Сангльо, самые лучшие кулебяки — у генеральши Бедокуровой. Что же касается до княгини Букиазбâ, то она приготавливала для меня особый напиток, называемый «ломпопò». Ah, c'est bien, bien barbare, cette boisson-là!³ В первое время я подумал, что это одна из тех

¹ «Папочкина женушка».

² Стерляжья уха — о! это нечто невыразимое.

³ О, это очень, очень варварский напиток!

жестоких мистификаций, которым так охотно предаются русские «бояре» относительно беззащитных иностранцев, но когда я понял... о!!!

Наконец, после ужина, перед отходом на сон грядущий, он сказал:

— Есть у вас и еще одна доблесть: вы тверды в бедствиях. Ежели есть у вас поросенок — вы едите поросенка, ежели нет ничего — вы довольствуетесь хлебом, смешанным с лебедой... *C'est ça!*¹ Никто этого не ест... ну, вот ей-й-богу, никто! ха-ха!

Последние слова он произнес заплетающимся языком и затем, взглянув на меня с какой-то неисповедимой иронией, дико захохотал. Увы! то были естественные последствия полубутылки *fine champagne*², выпитой на ночь!

Третий день был посвящен нами чертам из жизни достопримечательных деятелей.

По словам Капотта, оказывалось, что русские вельможи давно уже сомневались в непререкаемости основ, на которых покоилось крепостное право. Так, например, однажды за обедом маркиз де Сангльо выразился так: «Хотя крепостное право и похваляется многими, яко согласное с требованиями здравой внутренней политики, но при сем необходимо иметь в виду, что и оные люди, провидением в наше распоряжение для услуг предоставленные, суть, подобно нам, по образу и подобию божью созданы!» А присутствовавший при этом генерал Бедокуров присовокупил: «Сие есть несомненно, хотя с некоторым в физиономиях повреждением!» В другой раз князь Букиазба высказал такое мнение: «Сия мысль, что Иван (камердинер князя) служит мне токмо за страх, весьма для меня прискорбна, хотя не могу скрыть, что и за сим я пользуюсь его услугами с удовольствием». Наконец старый граф Мамелфин чуть было совсем не проговорился. «Тогда лишь я счастливым почитать себя буду...— начал он, но, вспомнив, что за сие не похвалят, продолжал: — «А впрочем, если б и впредь оное продолжать за нужное было сочтено, то мы и за сие должны благодарить и оным без критики пользоваться».

— И эти люди назывались либералами и состояли в подозрении! — присовокупил в заключение Капотт.

Некоторые из этих достопримечательных людей не чужды были и литературным занятиям. Так, князь Урюпинский-Доезжай написал сочинение: «О чае и сахаре и удовольствиях, ими доставляемых», а князь Серпуховский-Догоняй, в ответ на это, выпустил брошюру: «Но наипаче сивухой». Граф Пустомыслов

¹ Не правда ли?

² коньяку.

печатно предложил вопрос: «Куда девался наш рубль?», а граф Твёрдоонтò тоже печатно ответил: «Много будешь знать, скоро состаришься». Наконец, генерал-маюр Отчаянный вопрошал тако: «Следует ли ввести кобылу в ряды кавалерии?» — и отвечал на вопрос утвердительно: «Следует, ибо через сие был бы достигнут естественный коневой ремонт». А генерал Правдин-Маткин на это возражал: «Сие столь же разумно, как если б кто утверждал, что необходимо в ряды армии допустить генерал-маюрш, дабы через сие достигнуть естественного ремонта генерал-маюров». Одним словом, шла непрерывная и живая полемика по всем отраслям государственного ведения, но полемика серьезная, при равном оружии: князь с князем, граф с графом, генерал-маюр с генерал-маюром. Буде же в полемику впутывался коллежский регистратор, то на таковой делалась надпись: «Печатать не дозволяется. Цензор Красовский-Бируков-Фрейганг. При сем с духовной стороны депутатом был и такжежде к печатанию не одобрил смиренный Иона Вочревебывший».

— Однажды военный советник (был в древности такой чин) Сдаточный нас всех перепугал, — рассказывал Капотт. — Совсем неожиданно написал проект «о необходимости устройства фаланстеров из солдат, с припущением в оных, для приплода, женского пола по пристойности», и, никому не сказав ни слова, подал его по команде. К счастью, дело, разрешилось тем, что проект на другой день был возвращен с надписью: «дурак!»

Но с особенным сочувствием, как и следовало ожидать, Капотт относился к своим бывшим питомцам, относительно которых он был неистощим, хотя и довольно однообразен. Так, молодой князь Букназба, уже в четырнадцатилетнем возрасте, без промаху сажал желтого в среднюю лузу; и однажды, тайно от родителей, поступил маркером в Малоярославский трактир, за что был высечен; молодой граф Мамелфин столь был склонен к философским упражнениям, что, имея от роду тринадцать лет, усомнился в бессмертии души, за что был высечен; молодой граф Твёрдоонтò тайком от родителей изучал латинскую грамматику, за что был высечен; молодой подпрапорщик Бедоуров, в предвидении финансовой карьеры, с юных лет заключал займы, за что был высечен. Что же касается до молодого маркиза де Санглò, то он, с семилетнего возраста, готовил себя по духовному ведомству.

— Теперь это бодрая молодежь в цвете сил и надежд, — восторженно прибавил Капотт, — и любо посмотреть, как она поворачивает и подтягивает! Один только де Санглò сплоховал: поехал на Афон, думал, что его оттуда призовут (каких, мол, еще доказательств нужно!), а его не призвали! Теперь он си-

дит на Афоне, поет на крылосе и бьет в бѣло. Так-то, *mon cher monsieur!* и богу молиться надо умеючи! Чтоб видели и знали, что хотя дух бодр, но плоть от пристойных окладов не отказывается!

На четвертый день мы занялись делами Франции, причем я предлагал вопросы, а Капотт давал ответы.

Вопрос первый. Воссияет ли Бурбон на престоле предков или не воссияет? Ежели воссияет, то будет ли поступлено с Гриви и Гамбеттой по всей строгости законов или, напротив, им будет объявлена благодарность за найденный во всех частях управления образцовый порядок? Буде же *не* воссияет, то неужели тем только дело и кончится, что не воссияет?

Ответ Капотта. Виды на воссияние слабы. Главная причина: ничего не приготовлено. Ни золотых карет, ни белого коня, ни хоругвей, ни приличной квартиры. К тому же бесплоден. Относительно того, как было бы поступлено, в случае воссияния, с Гриви и Гамбеттой, то в легитимистских кругах существует такое предположение: обоих выслать на жительство в дальние вотчины, а Гамбетту, кроме того, с воспрещенным баллотироваться на службу по дворянским выборам.

Вопрос второй. Не воссияет ли кто-либо из Наполеонидов?

Ответ. Трудно. Но буде представится случай пустить в ход обман, коварство и насилие, а в особенности в ночное время, то могут воссиять. В настоящее время эти претенденты главным образом опираются на кокоток, которые и доньше не могут забыть, как весело им жилось при Монтихином управлении. Однако ж республика, по-видимому, уже предусмотрела этот случай и в видах умиротворения кокоток установила такое декольтѣ, перед которым цепенела даже смелая «наполеоновская идея».

Вопрос третий. Не воссияют ли Орлеаны?

Ответ. Не воссияют.

Вопрос четвертый. Но что вы скажете о Гамбетте и о рара Trinquet? не воссияют ли они? Или, быть может, придет когда-нибудь Иван Непомнящий и скажет: а дайте-ка, братцы, и я воссияю?

Ответ. О первых двух могу сказать: их воссияние сомнительно, потому что ни один *gavroche*¹ не согласится кричать *vive l'empereur Gambetta*², а тем менее: *vive l'empereur Trinquet!*³ Правда, были времена, когда кричали: да здравствует царь Горох! — но, кажется, эти времена уже не возвратятся. Что же касается до Ивана Непомнящего, то он не воссияет...

¹ уличный мальчишка.

² да здравствует император Гамбетта!

³ да здравствует император Тренке!

наверное! Хотя же у вас в Москве идет сильная агитация в пользу его, но я полагаю, что это только до поры до времени. Обыкновенно принято с Иванами поступать так: ты, дескать, нам теперь помоги, а потом мы тебе нос утрем! И точно: не успеет Иван порядком возвеселиться, как его уж опять гонят: ступай свойственные тебе телесные упражнения производить. Так-то, mon cher monsieur!

Вопрос пятый, дополнительный. И вы полагаете, что правильно так с Иванами поступать?

Ответ. На это могу вам сказать следующее. Когда старому князю Букиазба предлагали вопрос: правильно ли такой-то награжден, а такой-то обойден? — то он неизменно давал один и тот же ответ: о сем умолчу. С этим ответом он прожил до глубокой старости и приобрел репутацию человека, которому пальца в рот не клади.

Прослушав эти ответы, я почувствовал себя словно в тумане. Неужели, в самом деле, никто? Ни Бурбон, ни Тренкё... никто!!

— Послушайте, Капотт — воскликнул я в смущении, — но подумали ли вы о будущем? Будущее! ведь это целая вечность, Капотт! Чтò ждет вас впереди? Какую участь готовите для себя?

Я говорил так горячо, с таким серьезным и страстным убеждением, что даже кровожадный отпрыск Марата — и тот, по видимому, восчувствовал.

— Вероятно, придется прожить без воссияния, — сказал он уныло, — конечно, быть может, будет темненько, но...

Голос его дрогнул, и на глазах показались слезы.

— *Ainsi soit-il!*¹ — произнес он торжественно и, хлопнув себя по ляжке (он всегда это делал, когда находился в волнении), разом выпил на сон грядущий две рюмки *gorki*.

На пятый день Капотт не пришел. Я побежал в кафё, при котором он состоял в качестве завсегдатая, и узнал, что в то же утро приходил к нему un jeune seigneur russe² и, предложив десять франков пятьдесят сантимов, увлек старого профессора с собою. Таким образом, за лишнюю полтину меди Капотт предал меня...

Медлить было нечего. Я сейчас же направил шаги свои в русский ресторан, в уверенности найти там хоть одного бесшабашного советника. И, на мое счастье, нашел ту самую пару, с которой не очень давно познакомился на обеде у Блохиных.

¹ Да будет так!

² молодой русский барин.

Они сидели у самого окошка, за столиком друг против друга, и, по-видимому, подсчитывали прохожих, останавливавшихся у писсуара Комической Оперы. Перед ними стояли неубранные тарелки, с которых только что исчезли битки au smétane. Не спрашивая их дозволения, я тотчас же заказал еще три порции зраз и три рюмки очищенной; затем мы поздоровались, уселись и замолчали. Несколько раз старики взглядывали на меня, разевали рты, чтоб сказать нечто, но ничего не говорили. Но, от времени до времени, то тот, то другой поворачивался по направлению к улице и произносил:

— Сто двадцать седьмой!

На что другой кратко отзывался:

— Однако! сегодня что-то уж не на шутку...

Наконец подали водку и зразы; и то, и другое мы мгновенно проглотили и вновь замолчали. Я даже удивился: точно все слова у меня пропали. Наверное, я хотел что-то сказать, об чем-то спросить и вдруг все забыл. Но наконец один из стариков возгласил: Сто сорок третий! и, повернувшись ко мне, присовокупил:

— Вот у нас этих удобств нет.

Тогда и другой почувствовал себя свободнее и тоже высказался:

— Здесь насчет этого превосходно. Сошел с тротуара, за-вернул в будочку и прав.

— И, надо сказать правду, здешнее население пользуется этим удобством с полным сознанием своего права на него. Представьте себе, невступно час мы здесь сидим, а уж сто сорок три человека насчитали. Семен Иваныч! смотрите-ка, смотрите-ка! Сто сорок четвертый! сто сорок пятый!

— А вон и сто сорок шестой бежит!

Я сейчас же догадался, что это статистики. С юных лет обуреваемые писсуарной идеей, они три года сряду изучают этот вопрос, разъезжая по всем городам Европы. Но нигде они не нашли такой обильной пищи для наблюдений, как в Париже. Еще год или два подробных исследований — и они воротятся в Петербург, издадут том или два статистических таблиц и, чего доброго, получат премию и будут избраны в де-сиянс академию.

Но так как это были только догадки с моей стороны, то, конечно, я поспешил проверить их.

— Исследованиями занимаетесь? — спросил я.

— Да, исследуем, — ответили они в один голос.

Из дальнейших расспросов оказалось, что в этом деле заинтересован, в качестве мецената, капиталист Губошлепов, который, на приведение его в ясность, пожертвовал миллион

рублей. Из них по пяти тысяч выдал каждому статистику вперед, а остальные девятьсот девяносто тысяч спрятал в свой письменный стол и запер на ключ, сказав:

— По окончании видно будет...

— А ключ он вам отдал?

— Нет, в карман положил

— Ах, братцы!

Старики тревожно переглянулись и даже побледнели. Но, к счастью, они до того прониклись своею идеей и принесли ей столько жертв, что никакие опасения уже не могли сбить их с истинного пути. Не успели они надлежащим образом сосредоточиться на моей догадке, как уж один из них радостно воскликнул:

— Николай Петрович! ваше превосходительство! Сто сорок седьмой, сто сорок восьмой, сто сорок девятый!

Затем они подробно изложили мне план работ. Прежде всего они приступили к исследованию Парижа по сию сторону Сены, разделив ее на две равные половины. Вставши рано утром, каждый отправляется в свою сторону и наблюдает, а около двух часов они сходятся в русском ресторане и уже совместно наблюдают за стеною Комической Оперы. Потом опять расходятся и поздно ночью, возвратясь домой, проверяют друг друга.

— И много берет это у вас времени? — полюбопытствовал я.

— Да как вам сказать! вот пять месяцев живем в Париже, с утра до ночи только этим вопросом и заняты, а между тем и десятой части еще не высмотрели.

— И любопытных результатов достигли?

— Да вот как-с. Теперь я, например, Монмартрским бульваром совсем овладел, так верьте или не верьте, а даже сию минуту могу сказать, в какой будке есть гость и в какой — нет!

— Черт побери!

— Это так точно, — подтвердил и Семен Иваныч, — то же самое и я могу сказать о бульваре Бонн-Нувельль...

— Законы статистики везде одинаковы, — продолжал Николай Петрович солидно. — Утром, например, гостей бывает меньше, потому что публика еще исправна; но чем больше солнце поднимается к зениту, тем наплыв делается сильнее. И, наконец, ночью, по выходе из театров — это почти целая оргия!

— И заметьте, — пояснил Семен Иваныч, — каждый день, в одни и те же промежутки времени, цифры всегда одинаковые. Колебаний — никаких! Такова неизыблемость законов статистики!

— Бесподобно. Но что же вы, кроме наблюдений, в Париже делаете? В театрах бывали?

— Собираемся, да все недосуг...

— В Лувре, в Люксембургском дворце, на выставке художественных произведений были? Венеру Милосскую видели? с Гамбеттой беседовали? В ресторане *Fuà turbot sauce Morney*¹ ели? В *Jardin d'acclimatation*² на верблюдах ездили? — сыпал я один вопрос за другим.

— То-то, что недосуг еще...

— Стало быть, только с предметом своих исследований и познакомились?

Собеседники мои поникли головами.

— Ну, а насчет республики как? Поправилась?

Но и на этот вопрос ответа не последовало.

— Я взглянул на этих трудолюбивых и скромных стариков, и сердце мое вдруг умилилось. «Вот люди! — воскликнул я мысленно, — которые наверное не знают ни уныния, ни вопросов, кроме того, который задан им Губошлеповым! Живут они себе в Париже и, не засматриваясь по сторонам, выполняют полегоньку провиденциальное свое назначение. И благо им! Именно только так и можно жить в наше смутное время! И если бы мы все следовали их примеру, если б всякий из нас глядел только в ту точку, которая у него перед носом, — насколько человечество было бы счастливее! Насколько самая жизнь была бы удобнее и приятнее! Устройте, например, писсуары, удовлетворите хоть в этом отношении справедливые требования публики, какой вдруг получится переворот в жизни целой массы пешеходов! Как все будут довольны! Как повеселеют и расцветут лица! Какая появится в движениях свобода и уверенность!»

— Господа, да не возьмете ли вы и меня...

К счастью, я не успел договорить, потому что в эту минуту Николай Петрович в каком-то неистовом восторге закричал:

— Семен Иванович! смотрите! целая компания! Сто пятьдесят девятый! сто шестидесятый! сто шестьдесят первый... ах!

Я поспешил уплатить за зразы и водку и воспользовался восторженным состоянием бесшабашных советников, чтоб улизнуть из ресторана.

Весь вечер я просидел один и потому ночью опять видел во сне свинью.

На другой день я уже мчался на всех парах в Петербург.

¹ камбала под соусом Морнэ.

² Зоологическом саду.

VII ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Октябрь уж начался, и признаки осени выказывались довольно явственно. Несколько дней сряду стояла переменная погода, солнце показывалось накоротке, и ежели не наступили настоящие холода, то в воздухе уже чувствовалась порядочная сырость. Тянуло на север, в печное тепло, за двойные рамы, в страну пирогов с грибами и держания языков за зубами... Хорошо там!

Я собрался мигом, но момент отъезда был выбран не совсем удачно. Кёльнский поезд выходил из Парижа вечером; сверху сыпалось что-то похожее на нашу петербургскую изморозь, туман стлался по бульварам и улицам, и, в довершение всего, платформа железнодорожной станции была до крайности скудно освещена. Все это, вместе взятое и осложненное перспективами дорожных неудобств, навредило уныние и тоску.

Вообще русский культурный человек не имеет особенной склонности к передвижениям, а за границей он, сверх того, встречается при переездах множество неудобств, которые положительно застают его врасплох. Главное неудобство — недостаток железнодорожной прислуги. Приходится не только самому нести свой ручной багаж, но самому отыскать свой вагон, самому сесть на место и самому сказать: ну, сели — теперь с богом! У тамошних людей все это не считается неудобством. Не потому, что там нет охотников получать пятиалтынные за мелкие услуги по переноске коробок, чтоб эта монета утратила свой престиж в глазах кабального большинства, а потому, что нет охотников давать эти пятиалтынные. Предполагается, что всякий сам сумеет найти свое место и устроить себя. Все равно как в жизни вообще. Бывают обстановки, при которых можно получить следующее даром, а бывают и такие, при которых следующее можно получить, только сунув в руку желтенькую или зелененькую бумажку. И когда люди привыкают к этим последним обстановкам, то всегда держат подачки наготове и только тогда чувствуют себя обнадеженными, когда всё, что следует, отдадут.

Заграничный человек идет и прямо садится на место, как будто оно и в самом деле его. А мы, русские, в этом не уверены. Все думается: сесть-то я сяду, да усидеть-то придется ли? А вдруг генерал Отчаянный крикнет (да еще в темноте!): знай сверчок свой шесток — ну, и снимайся с места, разыскивай, где он, этот «свой» шесток, обретается? Поэтому мы, как и во всех случаях жизни, прежде всего суем в руку двугривенный и спрашиваем, можно ли сесть? Русские кондукторы

знают это и снисходят, а заграничные кондукторы не понимают, и только покрикивают: *en voitures, les voyageurs, en voitures!*¹ Как будто это так уж легко: взял да и сел!

Но, сверх того, большинство из нас еще помнит золотые времена, когда по всей Руси, из края в край, раздавалось: эй, Иван, платок носовой! Эй, Прохор, трубку! — и хотя, в течение последних двадцати лет, можно бы, кажется, уж сродниться с мыслью, что сапоги приходится надевать самолично, а все-таки эта перспектива приводит нас в смущение и порождает в наших сердцах ропот. Единственный ропот, который, не будучи предусмотрен в регламентах, пользуется привилегией: роптать дозволяется.

Именно это чувство неизвестности овладело мной, покуда я, неся под мышками и в руках какие-то совсем ненужные коробки, слонялся в полумраке платформы. Собственно говоря, я не искал, а в глубоком унынии спрашивал себя: где-то он, мой шесток («иде домув мой?» как певали братья славяне на Минерашках у Излера), обретается? Не знаю, долго ли бы я таким манером прослонялся, если б в ушах моих не раздавался, на чистейшем русском диалекте, призыв:

— Вы русский, и я русский; давайте вместе искать.

И действительно, ободряя друг друга и напоминая, что на Париж действие регламентов не распространяется, мы вдвоем нашли довольно скоро и так ловко уселись на местах, как будто и в самом деле эти места были наши собственные. Да и пора было, потому что, едва я успел сказать: теперь — с богом! как паровоз засвистел, запыхтел, и мы покатали.

Нас ехало в купе всего четыре человека, по одному в каждом углу. Может быть, это были всё соотечественники, но знакомиться нам не приходилось, потому что наступала ночь, а утром в Кёльне предстояло опять менять вагоны. Часа с полтора шла обычная дорожная возня, причем мой *vis-à-vis*² не утерпел-таки сказать: а у нас-то что делается — чудеса! — фразу, как будто сделавшуюся форменным приветствием при встрече русских в последнее время. И затем все окунулось в безмолвие.

Но мне не спалось. Как только я сознал себя одиноким, так тотчас навстречу поплыли «мысли». Вспомнилось тоскливое, бесцельное заграничное шатание, в сопровождении потухшей любознательности и отсутствия интереса ко всему, исключая трактиров; вспомнилось и серое житьишко дома, полное беспредметных и неосмысленных тревог... И как-то

¹ пассажиры, займите свои места, займите свои места!

² сидевший напротив спутник.

невольно, само собою сказалось: ах, какая это ужасная вещь — жизнь!

В конечных результатах, жизненные тревоги последнего времени настолько уж развратили нас, что каждый в своих действиях и суждениях почти исключительно выходит из представления о «шкуре». Боязнь за «шкуру», за завтрашний день — вот основной тезис, из которого отправляется современный русский человек, и это смутное ожидание вечно грозящей опасности уничтожает в нем не только позыв к деятельности, но и к самой жизни. На первый взгляд тут кроется как бы противоречие. Ежели человек тревожно цепляется за свой завтрашний день — стало быть, он жаждет жить. Ничуть не бывало. Не жажда жизни заставляет трепетать, а просто инстинктивная сердечная смута, которая, помимо сознания, каждоминутно сосет и терзает. Сама по себе, жизнь и ненавистна, и посылна, но так как она привязалась, то приходится ее выносить. Да об ней как-то и не думается, а думается только об этой несносной смуте, которая до такой степени всем завладела, все заслонила, что уничтожила даже силу взглянуть смело в глаза смерти. Не завтрашнего дня жаль, а жутко при мысли, что, может быть, он будет, а может быть, и не будет.

«Шкурный» инстинкт грозит погубить, если уже не погубил все прочие жизненные инстинкты. Ужасно подумать, что возможны общества, возможны времена, в которых только проповедь надругательства над человеческим образом пользуется правом гражданственности. Уши слышат, очи видят — и веры не имут. Невольно вырывается крик: неужто все это есть, неужто ничего другого и не будет? Неужто все пропало, все? Ведь было же когда-то время, когда твердили, что без идеалов шагу ступить нельзя! Были великие поэты, великие мыслители, и ни один из них не упоминал о «шкуре», ни один не указывал на принцип самосохранения, как на окончательную цель человеческих стремлений. Да, все это несомненно было. Так неужто же и эти поэты, и эти мыслители, Шекспир, Байроны, Сервантесы, Данты, были люди опасные, подлежащие упразднению?

В смысле свободы мышления мы, конечно, не можем похвататься, чтоб наше прошлое было изобильно благоприятными днями. Но даже в самые трудные времена злобная ограниченность, пошлость и приниженность стремлений не выступали так нагло вперед, *не выказывали так явно своей властности*. Чувствовалась общая суровость жизненных тонов, но не было подлого ликования с поддразниваньями, науськиваньями и проч. Правда, действующая в кварталах,

представлялась обязательно, но никому не приходило в голову утверждать, что нет солнца, кроме солнца, сияющего из будки, и что правду высшую, человеческую, следует заковать в кандалы. Полезность Псоя Стахица Замухрышкина рекомендовалась к неременному признанию, но никто не позволял себе сказать, что Пушкин — разбойник, а Псой Стахиц — идеал человек. Право, мне кажется, что даже цензура того времени не пропустила бы ничего подобного. Потому что ведь проповедь всеобщего одичания, по малой мере, столь же опасна, как и проповедь всеобщего равенства перед домашним обыском.

А нынче — послушайте, какая трель всенародно раздастся из любого литературного клоповника! Мысль не полагается! добрый же сын отечества обязывается предаваться установленным телесным упражнениям и затем насыщаться, переваривать и извергать. Всякий же, кто обнаружит попытку мышления, будет яко пособник, укрыватель и соучастник злодейских замыслов... Неужто же мы так и останемся при этих хлевных идеалах?

Неужто это будет?..

Всякий, конечно, совершенно ясно понимает практическую несостоятельность подобных опасений, и всякому в то же время становится жутко, потому что хлевные идеалы формулируются уже чересчур решительною и беззастенчивою рукой. Страшно подумать, что может выдаться хоть одна минута подобного торжества, что возможны даже сомнения в этом смысле. Помилуйте! ведь нас, наконец, всех, от мала до велика, вша заест! Мы разучимся говорить и начнем мычать! Мы будем в состоянии только совершать обрядные телесные упражнения, не понимая их значения, не умея ни направлять их, ни пользоваться какими-нибудь результатами! Мы будем хлеб сеять на камне, а навоз валить вó щи...

Да, это тоже своего рода крамола. Это крамола против человечества, против божьего образа, воплотившегося в человеке, против всего, что человечеству дорого, чем оно живет и развивается. И к ужасу, это крамола не подпольная, а явно и вслух проповедуемая. Обитательница хлевов не знает солнца — и отрицает его; не знает вольного воздуха — и удостоверяет, что это выдумка злонамеренных людей. А Правда слушает это бессмысленное бормотание и пожимается. Она ощупывает свою «шкуру» и боится, как бы до нее дело не дошло! Как тут не воскликнуть: вша источит нас, вша! Мычать будем! щи с навозом будем хлебать!

Я помню, покойница бабушка говаривала: и мужичка, мой друг, без ума пугать не надо; запугаешь его — он и будет

сохой вавилоны по пашне водить, и сам-то из сил выбьется, да и пользы от этого никакой! Милая бабушка! точно она провидела!

Вот тут и рассуждай, утешает ли история. Несомненно, такие личности бывают, для которых история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире; но ведь это личности исключительные, насквозь проникнутые светом. Их точно так же подавляют идеалы будущего, как других пригнетает прах прошедшего. Это личности до того верующие, что для них осуществление идеалов не составляет даже вопроса времени. Они уже осуществились, эти идеалы, они носятся перед глазами, их можно осязать руками, и никакие уколы неумолимой действительности не в силах поколебать в них эту блаженную уверенность... Конечно, тут не может быть даже вопроса о том, утешает ли история.

Этот изумительный тип глубоко верующего человека нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильною. Нужно иметь и громадную подготовку, и почти сверхъестественное художническое чутье, чтоб отыскать неисчерпаемое богатство содержания в этом внешнем однообразии веры. Часто представлял я себе человека, забытого, затерянного и все-таки обращающего глаза к востоку. Он ясно видит, как горит и пламенеет этот восток, и совсем не замечает, что на самом деле и восток и запад, и север и юг — все кругом охвачено непроглядной тьмою. Но ведь это картина — и только; картина, характеризующая лишь момент известного душевного настроения. Повторите этот момент хотя бесчисленное множество раз, вы не выйдете из пределов однообразия, не получите ничего, кроме утомительных перифраз. Чтобы выйти из этого однообразия, необходимо прежде всего понять, что тут главным действующим лицом является «вера» и что представление о «вере» объемлет собой не только всего человека, но весь мир, всю область знания. И вот тот, кто сумеет раскрыть всю беспредельность этого содержания, кто найдет в себе мощь воспроизвести все разнообразие идеалов, которое составляет естественный вывод этого содержания, — тот, несомненно, напишет картину, бесконечное разнообразие и яркость которой зажжет все сердца. Слово утратит вялость, образы будут полны жизни и огня. Но спрашиваю по совести: где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?

Повторяю: не об этих исключительных натурах может идти здесь речь, а о простой злобе дня. Герой этой злобы —

заурядный деятель современности, устроитель ее будничных отношений, человек относительной правды, относительного добра, относительного счастья. Он живет, потому что схвачен тисками жизни; но раз он живет, лукавые мудрствования уже не смущают его. Он вникает в обстановку современности и делает все усилия, чтоб примениться к ней; он ищет не абсолютной правды, а *возможной*, и примиряется с нею; наконец, он охотно признаёт «удобство» за синоним счастья и подчиняется этому определению. Вообще это человек несложных требований, невыспрненных идеалов, который в случае нужды пойдет на компромисс: только не добивай до конца! Понятно, что для этого человека утешения, преподаваемые историей, составляют не вопрос экзальтированной веры, а конкретнейшую задачу самого обыкновенного будничного обихода.

Несомненно, что и между этими средними деятелями современности встречается очень много честных людей, которые совершенно искренно верят, что история представляет неистощимый источник утешений. Но средний человек всегда инстинктивно отличает теорию от практики. Не будучи даже малодушным, он отводит для исторических утешений скорее отдаленное будущее, нежели ближайшее настоящее. В настоящем процесс нарастания правды нередко кажется ему равносильным процессу сдирания кожи с живого организма. Туго приходит в мир правда, и притом ценою неслыханных жертв. Самоотверженность не в нравах среднего человека, да ведь она и не обязательна. Средний человек не прочь даже, в видах самооправдания, сослаться на ненормальность самоотверженности вообще и в принципе будет, пожалуй, прав. И хотя ему можно возразить на это: так-то так, да ведь в ненормальной обстановке только ненормальные явления и могут быть нормальными, но ведь это уж будет порочный круг, вращаться в котором можно до бесконечности, не придя ни к какому выводу.

Поэтому ежели в глазах человека веры безразличны все виды и степени относительной правды, оспаривающие друг у друга верх, то для человека среднего борьба этих правд составляет источник глубоких и мучительных опасений. Он не подавлен ни будущим, ни прошедшим; он всеми своими помыслами прикован к настоящему и от него одного ждет охранного листа на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование. Программа его скромна и имеет очень мало соприкосновения с блеском и полнотою исторических утешений...

И вот, когда у него оспаривается право на осуществление даже этой скромной программы, он, конечно, получает полное

основание сказать: я охотно верю, что история *должна* утешать, но не могу указать на людей, которых имеют коснуться ее утешения. Что касается до меня лично, то я чувствую только одно: что история сдирает с меня кожу.

А между тем этот средний человек именно и есть действительный объект истории. Для него пишет история свои сказания о старой неправде; для него происходит процесс нарастания правды новой. Ради него создаются религии, философские системы, утопии; ради него самоотвергаются те исключительные натуры, которые носят в себе зиждительное начало истории. Каким же образом ему примириться с утешениями истории, каким образом уверовать в них, когда он ежеминутно встречает осязательные доказательства, что эта самая история на каждом шагу в кровь разбивает своего собственного героя?

Дело в том, что история дает приют в недрах своих не только прогрессивному нарастанию правды и света, но и необычайной живучести лжи и тьмы. Правда и ложь живут одновременно и рядом, но при этом первая является нарождающеюся и слабо защищенною, тогда как вторая представляет собой крепкое место, снабженное всеми средствами самозащиты. Легко понять, какого рода результаты могут произойти из подобного взаимного отношения сторон.

Вообще ложь имеет за собой целую свиту преимуществ. Во-первых, она знает, что торжество правды не влечет для нее за собой никаких отмщений. Правде чужда месть; она приносит за собой прощение, и даже не прощение, а просто только восстановление действительного смысла явления. Во-вторых, цикл правды до сих пор никогда не представлялся завершившимся, и даже сомнительно, можно ли ждать, чтоб он когда-нибудь завершился. Правда способна развиваться до бесконечности, открывая новые и новые горизонты и облекаясь в новые, более совершенные формы. Эта растяжимость правды и на человека действует возбуждающим образом. Он не прекращает своих поисков не потому, чтоб это была прихоть его бунтующей природы, как утверждают литературные клоповники, а потому, что искания эти столь же естественны, как естествен и самый закон прогрессивного нарастания правды. Ложь знает неизбежность этих исканий, но знает также и неизбежность сопровождающих эти искания недоумений и ошибок. И, на минуту посрамленная, в лицемерном спокойствии ждет очереди для отмщений.

Среднему человеку приходится считаться со всеми этими привилегиями лжи. Повторяю: его иск к жизни и ее благам до крайности скромны. До такой степени скромны, что он сам

всегда признаёт за ложью право защищаться до последней крайности. Быть может, он даже отказал бы себе в праве идти навстречу искомой правде (эту осторожность подсказывает ему «шкура»), но он не может сделать это, потому что все инстинкты тянут его в эту сторону. И вот для него наступает момент ожесточенной свалки. Это — свалка жизни, в которой нет свидетелей, а все сплошь — действующие лица. И в этой свалке его бьют, бьют, бьют без конца!

Ибо ежели и не его лично бьют, так нельзя же ведь сказать: тебя не бьют, а до прочих тебе нет дела! Это будет рассуждение каплуны, а не человеческое!

А так как процесс нарастания правды трудный и медлительный, то встречаются поколения, которые нарождаются при начале битвы, а сходят со сцены, когда битье подходит к концу. Даже передышкой не пользуются. Какой горькой проиной должен звучать для этих поколений вопрос об исторических утешениях!

Утешайся историей и живи одной мыслью с народом — вот обязательные условия существования современного человека. И точно: когда жизнь кидает, вместо хлеба, камень, тогда поневоле приходится искать утешений в истории; но ведь, по правде-то говоря, не история должна утешать, а сама жизнь. Во всяком случае, средний человек имеет право так думать, этого желать. Да если б он думал иначе, если б он не ждал, что сама жизнь непосредственно поступится чем-нибудь в пользу его, то он и не добывал бы, ценою смертного боя, материалы, из которых создаются исторические утешения. И тогда история едва ли имела бы возможность занести на свои страницы достаточное число фактов нарастания добра, которые можно бы принять за отправный пункт для утешений.

Что же касается до единения с народом, то это вопрос едва ли еще не более жестокий, нежели вопрос об исторических утешениях. Конечно, достигнуть или, точнее, представить себе это единение на манер тех испускателей трубных звуков, у которых нет ничего за душой, кроме высокомерного и суетного празднословия, очень легко; но действительное единение с народом, по малой мере, столь же мучительно, как и сдирание с живого организма кожи, ради осуществления исторических утешений. Не призыва требует народ, а подчинения, не руководства и ласки, а самоотречения. Вы задаете себе задачу: мир, валяющийся во тьме, призвать к свету, на массы болящие и недугующие пролить исцеление. Но бывают исторические минуты, когда и этот мир, и эти массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они

сами непостижимо упорствуют, оставаясь во тьме и в недугах. Не потому упорствуют, чтоб не понимали света и исцелений, а потому, что источник этих благ заподозрен ими. В такие минуты к этому валяющемуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как предварительно погрузившись в ту же самую тьму и болея тою же самою проказой, которая грозит его истребить.

Вот какие изумительные задачи выпали на долю среднего человека. С одной стороны, он обязывается завоевывать для истории утешения, а с другой — погружаться в тьму и примиряться с проказой. Добавьте к этому смертный бой ликующей современности, которая как-то особенно злобно привязывается именно к среднему человеку — и картина душевного благополучия будет полная. Я не говорю, что он преднамеренно и тщеславно берет на себя выполнение этих непосильных задач; напротив, они тяготеют над ним фаталистически, и он, даже при желании, не может ускользнуть от них. С каждым шагом вперед он идет навстречу ликующей современности, и не только не может защититься от нее, но не может и отступить. Жизнь защемила его в свои тиски и не выпустит до тех пор, пока не высосет всей его крови до последней капли. А затем выбросит в общую яму его труп и будет туда валить новые и новые трупы, из массы которых история, со временем, выработает свои «утешения».

Положа руку на сердце, говорю: меня мороз подирал по коже от этих мрачных дум. От времени до времени я заглядывал в окно и сквозь окрестную тьму различал вдали целые светящиеся города. То был промышленный уголок Бельгии с его неусыпающими фабриками и заводами. Вот-то где доподлинно добываются исторические утешения! думалось мне, и воображение рисовало целые картины процесса этого добывания. Да и единение с народом тут же кстати пристегнулось. С народом, повинным вечной работе и изнемогающим под игом тьмы и проказы! Поди-ка подступись к этому народу! Ты думаешь о наслаждениях мысли, чувства и вкуса, о свободе, об искусстве, об литературе, а он свое твердит: жрать! Не разнообразно, но зато как определенно! Вот он говорит, что книги истребить надо — войди-ка с ним в единение во имя истребления книг! А может быть, ему и фабрика с заводом не в утешение, а в тягость — что ж, и эта почва для единения не дурна! Как бы то ни было, но уж он не уступит! Кто в проказе — тот с ним, у кого нет проказы — тот против него! Коротко и ясно.

Ты хочешь единения с народом? — прекрасно! выбирай проказу, ложись в навоз, ешь хлеб, сдобренный лебедой, надевай рваный пониток и жги книгу. Но не труби в трубу, не заражай воздуха запахом трубных огрехов! Трубные звуки могут только раздражать, а с таким непочатым организмом, как народ, дело кончается не раздражениями, а представлением доказательств.

Но всероссийские клоповники не думают об этом. У них на первом плане личные счеты и личные отщущения. Посевая смуту, они едва ли даже предусматривают, сколько жертв она увлечет за собой: у них нет соответствующего органа, чтоб понять это. Они знают только одно: что лично они непременно вывернутся. Сегодня они злобно сеют смуту, а завтра, ежели смута примет беспокойные для них размеры, они будут, с тою же холодною злобой, кричать: пали!

Очевидно, тут речь идет совсем не об единении, а о том, чтоб сделать из народа орудие известных личных расчетов. А сверх того, может быть, и розничная продажа играет известную роль. Потому что, сообразите в самом деле, для чего этим людям вдруг понадобилось это единение? С чего они так внезапно заговорили о нем?

Я помню еще от лет детства, как наш сельский батюшка говаривал: всегда бывали господа и всегда бывали рабы, и впредь уповательно так же будет. Говорил-говорил батюшка, да вдруг пришел царь-освободитель и снял с рабов узы. И остался батюшка с носом. Но он не обиделся этим и, вынув из-за пазухи предикку на тему «любите други своя», воскликнул: «Совершилось дело прелюбезное и для всех сердец равно благопотребное! С горних высот раздался глас: рабы да возвеселятся, помещики же да радуются! Размыслим же о сем, любезные слушатели, и для сего предложим себе два вопроса: первое, что сие означает? и второе, что сим достигается?» и т. д.

В сущности, наши консервативные клоповники твердо помнят только дореформенный батюшкин афоризм и хлопочут только об одном: о действительнейших средствах народного порабощения. Но они понимают, что как скоро раз сказано: «рабы да возвеселятся», то упрощенные батюшкины предики уже недостаточны, а главное, они знают, что встретят на пути противников, которым действительно ненавистно народное порабощение. Стало быть, прежде всего нужно упразднить этих людей, стереть их с лица земли, обрызгать «слюною бешеной собаки». А для этого необходимо сделать их подозрительными, дать им кличку, воспользоваться всеми неясностями и недоразумениями жизни, чтоб наплодить массу

новых неясностей и недоразумений. И когда травля будет надлежащим образом организована, когда пробудившееся чувство исторической розни будет доведено до степени неразличения врагов от друзей, тогда...

Что будет тогда — клоповники сами не уясняют себе. Они не прозирают в будущее, а преследуют лишь ближайшие и непосредственные цели! Поэтому их даже не пугает мысль, что «тогда» они должны будут очутиться лицом к лицу с пустотой и бессилием. Покамест они удовлетворены уже тем, что ненавидеть могут свободно. И действительно, они ненавидят все, за исключением своей ненависти. Ненавидят завтрашний день, потому что тайна, которую он хранит в недрах своих, мешает им бездумно предаться удовлетворению инстинктов человеконенавистничества; ненавидят своих собственных детей, потому что видят в них пособников и соучастников завтрашнего дня. Собственно говоря, нельзя представить положения более ужасного. Быть осужденному на вечное омертвление и знать, что тут же рядом нечто страдает, изнывает, стонет, но все-таки живет — разве можно представить себе казнь более жестокою, нежели это пустоутробное, пустомысленное и клокочащее самодовлеющей злобой существование?

Но для живущих дело не в том, чего достигают граждане клоповников, а в том, что бывают исторические минуты, когда их клеветы производят известный переполох в обществе. Мир, конечно, не погибнет от этих клевет, и история не перестанет созидать утешения; но отдельные индивидуумы могут погибнуть. Вот это-то именно и составляет ахиллесову пяту среднего человека. Видя, с какою безнаказанностью действует клевета, он начинает бояться, и в уме у него постепенно созревает деморализирующее «учение о шкуре». Но, раз деморализирован средний человек, деморализация уже делается достоянием всего общества. Все поголовно начинают усчитывать себя и припоминать; у всех опускаются руки, у всех начинают биться сердца беспредметной тревогой. Работа мысли перестает быть плодотворною и сосредоточивается исключительно на одном: на спасении «шкуру».

По совести говорю: общество, в котором «учение о шкуре» утвердилось на прочных основаниях, общество, которого творческие силы всецело подавлены одним словом: случайность — такое общество, какие бы внешние усилия оно ни делало, не может прийти ни к безопасности, ни к спокойствию, ни даже к простому благочинию. Ни к чему, кроме бессрочного вращения, в порочном кругу тревог, и в конце концов... самоумерщвления.

Было уже около шести часов утра, когда я вышел из состояния полудремоты, в которой на короткое время забылся: в окна проникал белесоватый свет, и облака густыми массами неслись в вышине, суля впереди целую перспективу ненастных дней. Мой vis-à-vis тоже проснулся, и я не без смущения заметил, что глаза его были пристально устремлены на меня. Это был человек средних лет, скорее молодой, нежели старый, подвижной и худощавый, не безобразный, но с сильным выражением приказной каверзости в лице, так что я тотчас же мысленно надел ему на голову фуражку с кокардой и форменное пальто. Такое выражение лица нередко встречается у земцев (он и действительно оказался таковым), которые когда-то служили в столоначальниках и ошиблись в надеждах на дальнейшую бюрократическую карьеру. Люди эти слынут в земстве дельцами, сочиняют формочки с бесчисленным множеством граф, называют себя консерваторами, хвастаются связью с землею, утверждают, что «русский мужичок не выдаст», и приходят в умнение от «Московских ведомостей». Нельзя сказать, чтоб они были положительно противны, но известная ограниченность мешает им различать добро от зла. Потому они всегда смотрят в одну точку, говорят одним и тем же тоном одни и те же слова, мыслят азбучно, но с сознанием благонадежности своих мыслей и бесконечно надоедают всем авторитетностью и изобилием пустяков. По-видимому, этот человек узнал меня.

— В Париже побывали? — спросил он меня с напускною развязностью земского человека, который, памятуя, что он в некотором роде исполняет должность пятого колеса в колеснице государственного механизма, не хочет, чтоб его заподозрили, что он чем-нибудь стесняется.

— В Париже, — отвечал я.

— Поездили? погуляли?

— Так же, как и вы.

— Вернитесь домой, что-нибудь в смешном роде напишете?

— Может быть, и в смешном...

Он с минуту помолчал. Ответы мои не удовлетворяли его: почему-то он ждал, что я перед ним, земцем, откроюсь. Потом он уперся руками в колени и опять в упор посмотрел на меня. Именно тем взглядом посмотрел, который говорит: а вот я смотрю на тебя — и шабаш!

— Однако, вы любите-таки посмеяться...

Он откинулся спиной к стене купе и ждал. Но я молчал.

— А пора бы, наконец, и трезвенное слово сказать,— продолжал он, все пристальнее и пристальнее вглядываясь в меня, как будто поставив себе задачей запечатлеть в своей памяти не только слова мои, но и выражение лица.

— Рады стараться!

— Вот видите, вы и теперь шутите. А ведь я, право, не шутя говорю: пора.

— Да, сколько помнится, я никогда пьяных слов и не говорил.

— И опять шутите! Я вам говорю, что пора трезвенное слово сказать, а вы о каких-то пьяных словах...

— В таком случае отвечу вам яснее: по крайнему моему убеждению, все слова, которые я когда-нибудь говорил, были трезвенные.

— Будто?

— Именно. Только надо знать грамоте и понимать, что читаешь — вот что прежде всего.

— Гм...

Он на минуту смолк, однако ж не сконфузился.

— Я, знаете, тамбовец; земец я... — начал он, как бы желая этим сказать, что стоит выше грамотности.

— Отлично.

— Вам, может быть, странным кажется, что я так прямо с вами заговорил?

— Да, странно.

— Но мы живем в такое время, когда церемонии-то приходится сдать в архив.

— Не вижу надобности.

— Право, так... а?

— Повторяю вам: не вижу надобности.

Но, по-видимому, и эти ответы не удовлетворили его, потому что он довольно-таки строго покачал головой и с расстановкою произнес:

— Однако, вы... не патриот!

Земцы вообще прилипчивы и самодовольны, но они редко бывают недоброжелательны. Дома, в своих захолустьях, они с утра до вечера суетятся и хлопочут: покупают новые умывальники для больниц, чинят паромы, откладывают до будущей сессии вопрос о мелком поземельном кредите, о прекращении эпизоотий, об оздоровлении крестьянских жилищ и проч., и так как все это им удается, то они чувствуют себя совершенно довольными. Набегаются день-денской, у всех побываю, со всеми поговорят, везде закусят, а к ночи, усталые, воротятся домой и засыпают до следующего утра. Понятно, что при таких условиях не может быть речи о недобро-

желательном отношении к ближнему. Веруя искренно в свой жизненный подвиг, земец и ближнего своего не решается заподозреть в неверии. Потому что тут дело ясное: вот он, рукомойник — смотри!

Но последнее трудное время, по-видимому, тронуло даже эту душевную ясность. Земцы начинают подозревать и озираться. Рукомойники остаются нелужеными, паромы дают течь, потому что земец решил, что это дело второстепенное и что прежде всего следует смотреть вглубь. Вот он и смотрит; смотрит да смотрит, и вдруг фигу увидит. Вздволнуется, побежит и начинает шевелить бровями. И все разом бровями зашевелят — ужасно у них это серьезно выходит. Пошевелят и порознь и вкуче — и опять фигу увидят... Нельзя сказать, чтоб это было страшно, но как-то bestолково и бесполезно. По крайней мере, я лично очень жалею, что на наших глазах переводится нанвная и добродушная порода людей, вполне довольных получаемым ими содержанием.

Сидевший передо мной экземпляр земца, вероятно, и прежде уже таил в себе семена недоброжелательства, но события последнего времени еще более обострили в нем это качество. Он не просто смотрел вглубь, но потщился укрепить свой ум чтением передовых статей. Представление о рукомойниках и паромах он, по-видимому, совсем уж утратил и весь погрузился в дела внутренней политики. При этом, вероятно, вновь заронились в его мозгу и прерванные честолюбивые мечты столоначальника-неудачника. Представилась возможность не только наверстать потерянное, но и получить рубль на рубль. Творчество — не в ходу; зато на подозрительность — требование. В прежнее время он был бы рад-радехонек, если б его почтили хоть местом начальника отделения; теперь он смотрит уж выше. Даже исконную земскую неряшливость он уж успел стряхнуть с себя. Прежде он ездил в третьем классе и комкал свои пожитки в узел; нынче он в первом классе едет, и в руках его блестит лакированный мешок; прежде он умывался только через день; нынче он даже поясницу каждодневно моет казанским мылом. Вообще при взгляде на этого человека впечатление получалось колючее. До такой степени колючее, что когда он усомнился в моем патриотизме, то мне как-то невольно пришло на мысль: а ведь он, пожалуй, возьмет да вдруг...

— Вы, может быть, опасаетесь, что я закричу караул? — продолжал он, прозорливо комментируя мысленные тревоги, отражавшиеся в моем лице.

— Здесь я не опасюсь этого, потому что за такой подвиг вас, наверное, высадят на станции.

— А в Вержболове, например?

Я должен был ожидать этого вопроса; но есть вопросы, которых всегда ожидаешь и которые всегда же застают врасплох. Я спасовал и сдался на капитуляцию.

— Спрашивайте,— сказал я.

— Прежде всего разуверьтесь,— начал он,— я человек правды — и больше ничего. И я полагаю, что если мы все, люди правды, столкнемся, то весь этот дурной сон исчезнет сам собою. Не претендуйте же на меня, если я повторю, что в такое время, какое мы переживаем, церемонии нужно сдать в архив.

— Ах, что вы! да разве я думал?..

— То-то-с. По моему мнению, мы все, люди добра, должны исповедаться друг перед другом и простить друг друга. Да-с, и простить-с. У всякого человека какой-нибудь грех найдется — вот и надобно этот грех ему простить.

— Ах, боже мой! да ведь это и есть моя мысль!

— Ну-с, так это исходный пункт. Простить — это первое условие, но с тем, чтоб впредь в тот же грех не впадать, — это второе условие. Итак, будем говорить откровенно. Начнем с народа. Как земец, я живу с народом, наблюдаю за ним и знаю его. И убеждение, которое я вынес из моих наблюдений, таково: народ наш представляет собой образец здорового организма, который никакие обольщения не заставят сойти с прямого пути. Согласны?

— Но разве можно сомневаться в том?

— Прекрасно. Несмотря, однако ж, на это, несмотря на то, что у нас под ногами столь твердая почва, мы не можем не признать, что наше положение все-таки в высшей степени тяжелое. Мы живем, не зная, что ждет нас завтра и какие новые сюрпризы готовит нам жизнь. И все это, повторяю, несмотря на то, что наш народ здоров и спокоен. Спрашивается: в чем же тут суть?

Я ничего не ответил на этот вопрос (нельзя же было ответить: прежде всего в твоих безумных подстрекательствах!), но, грешный человек, подмигнул-таки глазком, как бы говоря: вот именно это самое и есть!

— В том суть-с, что наша интеллигенция не имеет ничего общего с народом, что она жила и живет изолированно от народа, питаясь иностранными образцами и проводя в жизнь чуждые народу идеи и представления; одним словом, вливая отраву и разложение в наш свежий и непочатый организм. Спрашивается: на каком же основании и по какому праву эта лишенная почвы интеллигенция приняла на себя не принадлежащую ей роль руководительницы?

Я опять хотел было подмигнуть глазком: но на этот раз он смотрел на меня в упор и ждал. Поэтому я решился ответить ни да, ни нет.

— Удивительно, как вы плавно говорите! — польстил я ему.

— Прекрасно, — отвечал он. — А теперь спрашивается: что необходимо предпринять, чтоб устранить это растлевающее влияние? чтоб вновь вдвинуть жизнь в ту здоровую колею, с которой ее насильственно свела ложь, насквозь пропитавшая нашу интеллигенцию?

Он опять остановился, но на этот раз уже не для того, чтоб выждать от меня ответа, а для того, чтобы дать, так сказать, вылежаться фигуре вопрошения, которую он так искусно пустил в ход. Он даже губы сложил сердечком, словно сам себе подсвистать хотел.

— Ответ на этот вопрос простой, — продолжал он, — необходимо вырвать с корнем злое начало... Коль скоро мы знаем, что наш враг — интеллигенция, стало быть, с нее и начать нужно. Согласны?

Признаюсь откровенно: как я ни был перепуган, но при этом вопросе испугался вдвое («шкура» заговорила). И так как трусость, помноженная на трусость, дает в результате храбрость, то я даже довольно явственно пробормотал:

— Прекрасно. Но, помнится, в девяностых годах прошлого столетия некто Марат именно такого рода целебные средства предлагал...

— То-то вот и есть, что вы всё иностранных образцов ищите! — нимало не смущаясь, прервал он меня. — Марат! что такое Марат?! И какое значение может иметь Марат... для нас?

Тогда я опять понял, что в известных случаях прежде всего необходимо соглашаться, и, разумеется, поспешил исправить свою ошибку.

— Еще бы! — сказал я с увлечением. — Марат! что такое Марат?! там, у себя, он был Марат, а у нас, вероятно, был бы коллежским ассессором!

— То-то вот и есть. Надо говорить дело, а вы... Марат!! Нас, батюшка, Маратами-то не удивишь! Итак, первое дело — побоку интеллигенцию; второе дело — побоку печать!

Но при слове «печать» мне опять сделалось тяжело, и я уже совсем бессознательно проговорил:

— Но Гутенберг...

— Что такое Гутенберг?

— То есть не Гутенберг... а собственно говоря... Позвольте! не лучше ли было бы печать-то простить, а вот, например, суды, земство... их бы вот...

— Суды — всенепременно-с. Но земство — земля-с. Земли касаться не следует-с.

— Ну да, земство — это так,— оправдывался я,— здоровое земство и за ним здоровый народ... И затем, ежели принять в соображение присвоенные земским деятелям оклады...

Я хотел было развить мою мысль, как вдруг случился совершенно неожиданный скандал. Один из наших спутников, вероятно, увидел отличнейший сон и на чистейшем русском диалекте закричал: Ай люли! ай люли!

Это восклицание разом перерезало наш разговор. Собеседник мой обиделся и проворчал:

— Нарезался... свинтус!

Но я, признаюсь, был обрадован, потому что с этими земцами, как ни будь осторожен и консервативен, наверное, в конце концов в чем-нибудь да проштрафишься. Сверх того, мы подъезжали к Кёльну, и в голове моей созрел предательский проект: при перемене вагонов засесть на несколько станций в третий класс, чтоб избежать дальнейших собеседований по делам внутренней политики.

— В Кёльне сядемте опять вместе,— обольщал меня между тем мой *vis-à-vis*,— я уверен, что мы наверное столкнемся. Слушайте! — прибавил он с увлечением,— вы должны! вы непременно должны трезвенное слово сказать! это ваша нравственная обязанность!

— Ай люли! ай люли! — опять запел беспокойный сосед и на этот раз сам проснулся от звуков собственного голоса.

— Фляжку-то не стибрили у тебя? — продолжал он, обращаясь к своему *vis-à-vis*, тоже проснувшемуся,— а я, брат, должно быть, переспал... йнда очумел!

Через десять минут мы были в Кёльне.

Я выполнил в Кёльне свой план довольно ловко. Не успел мой ночной товарищ оглянуться, как я затесался в толпу и по первому звонку уж сидел в вагоне третьего класса. Но я имел неосторожность выглянуть в окно, и он заметил меня. Я видел, как легкая тень пробежала у него по лицу; однако ж на этот раз он поступил уже с меньшею развязностью, нежели прежде. Подошел ко мне и довольно благосклонно сказал:

— В народ идти пожелали?.. Ну, и прекрасно! Только помните мое слово: необходимо, чтоб вы трезвенное слово сказали! Увидимся... в Вержболове!

Он удалился скорым шагом по направлению к своему вагону, но слова его остались при мне и заставили меня задуматься. За минуту перед тем я готов был похвастаться, что ловко отделался от назойливого собеседника, но теперь эта ловкость почему-то представилась мне уже сомнительною. А ну, как вместо ловкости-то я собственными руками устроил себе западню? — смутно мелькало у меня в голове.

Земец, коль скоро ему раз вступило в голову, — что он консерватор, делается строг до непреклонности. На всякое возражение он смотрит, как на противодействие, и ежели, на беду, заподозрит при этом еще иронию, то готов мстить до седьмого колена. Говоря безотносительно, эта мстительность была бы не очень-то страшна, но то-то вот и есть, что времена-то нынче переходчивые: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Смотришь на него, как он усами шевелит, думаешь, что он в каком-нибудь Цивильске на вечные времена погрузнул, а на поверку окажется, что он только нырнул там, а вынырнул-то вон где! Ты ему *там* не потрафил, а он тебя *тут* учтет, да еще так учтет, что небу жарко будет.

Разумеется, при помощи сметки и очень большого запаса осторожности, можно и это дело обладать. А именно: всякому встречному стараться попасть в тон, польстить, оказать услугу, сказать при случае: как это вы с такими способностями да в чертовой дыре засели! Только чересчур уж много хлопот это требует. Ведь нынче и не сочтешь, сколько этих «встречных» развелось. Всех не переслушаешь, всякому не накланяешься. Поди угадай, которого полезно очаровать и про которого можно сказать: а ты, по-прежнему, продолжай в Пирятине смердеть!

Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю: который из них суженый мой? которого мне умницей и красавчиком назвать? Если б можно было всем огулом крикнуть: здорово, молодцы! — это было бы сейчас готово; но ведь они самолюбивы, и каждый непременно требует, чтоб его назвали «молодцом» особо. Смешай-ка его с массой других «молодцов» — он обидится, будет мстить; а попробуй каждого останавливать, перед каждым изъясняться — ей-богу, спина переломится, язык перемелется. Да, пожалуй, еще скажут: вот, мол, сумá переметная, ко всякому лезет, у всех ручку целует! должно быть, в уме какое-нибудь предательство засело, коли он так лебезит!

Но все-таки, если раз судьба уж свела с прохожим или проезжим — держи его крепче за фалды! Нужды нет, что он прямо из-под Наровчата выскочил, все-таки слушай его и удивляйся мудрости его соображений. Самое лучшее: слушай и не

возражай — прохожие это любят. Можно, однако ж, и возразить, но так, чтоб, благодаря возражению, мудрость еще рельефнее выступила — это они тоже любят. А всего больше любят раскаянье. Они будут на бобах разводить, а ты сиди и расканвайся. Можешь даже слегка наклепать на себя — и это в заслугу сочтется. Был, дескать, я разбойником печати, неповинные души погублял, а теперь с тобой, паровчатским мудрецом, посидел — и вот, я весь тут. Никогда они этих ласковых твоих слов не забудут. Потому что, в сущности, они добрые, исключая, разумеется, тех минут, когда задыхаются от злобы. И вот, когда ты подметишь, что он в твою пользу размяк, тогда уж не плошай. Следи за ним, где он нырнул, в которую сторону побежала струя, и где можно предположить, что он вынырнет. Но при этом имей в виду и следующее: если он слишком долго ныряет, то легко может случиться, что течение вновь прибьет его к паровчатским трясинам, а там он уж окончательно пойдет ко дну. Тогда, делать нечего, лови другого прохожего мудреца, к другому примазывайся.

А что, если мой недавний собеседник возьмет да вынырнет? — думалось мне. Ведь он меня тогда с кашей съест! Что я такое? много ли нужно, чтоб превратить мое бытие в небытие? Хотя, с другой стороны, на какую потребу мне бытие? вот так бытие! Так не лучше ли сразу погрузиться в небытие, нежели остаться при бытии, с тем чтоб смотреть в окошко да улыбаться прохожим?

И ведь какую задачу мне задал этот проезжий мудрец: скажи ему трезвенное слово — шутка! Он будет закусывать да усы в очищенной мочить — а я перед ним навтыяжке стой и трезвенные слова говори... шутники!

Право, мне до сих пор совсем искренно казалось, что я никогда никаких других слов, кроме трезвенных, не говорил, а вот отыскался же мудрец, который в глаза мне говорит: нет, совсем не того от тебя нужно. Но что-нибудь одно: или я был постоянно пьян, и в таком случае от пьяного человека нечего и ждать трезвенного слова; или я был трезв, а те, которые слушали меня, были пьяны. А может быть, они и теперь пьяны.

Ужасно мудрено иметь дело с пьяными ценителями. Говори ему, вразумляй, взывай к его совести, пробуждай в нем самосознание, кричи ему: проснись, пьяница! — а его только тошнит в ответ. А именно это-то и случается сплошь и рядом. Пьяный не возражает и не опровергает, а выражается афоризмами. Ни начала, ни конца у этих афоризмов уследить невозможно, а между тем он так самодовольно долбит ими, точно в них, и только в них одних, заключается патент на дальней-

шее существование. «Нет, вы не патриот!» — поди разгрызи этот камень! Спроси его, что он понимает под словом «патриот»? — он, вместо ответа, повторит: нет, вы не патриот! Спроси, почему он именно в данном случае формулирует упрек в недостатке патриотизма? — он и опять повторит: нет, вы не патриот! Да, пожалуй, еще глазком подмигнет, бездельник. Ужасно очутиться лицом к лицу с этой глухой стеной. Сама по себе, стена есть только стена; но сознание, что нельзя от нее отойти, действует на человека необыкновенно мучительно. Весь дрожишь от боли и все-таки стоишь.

Вот если б он сказал: не нужно, мол, никаких ваших слов, ни пьяных, ни трезвенных — это, по крайней мере, было бы складно. Да, пожалуй, оно к тому и придет. Общество погрузилось с некоторых пор в такую смуту, что и само не разбирает, пьяно оно или трезво. К кому обращаться с словом-то? — вот ведь к какому мы вопросу пришли. Будь слово самое трезвенное, все-таки найдутся пьяницы, которые перетолкуют его в пьяном смысле; будь слово самое пьянственное — те же пьяницы будут плескать руками. Велика должна быть сладкая привычка говорить, если даже такая дремучая смута не в силах заставить человека добровольно погрузиться в тину молчания! Но откуда взялась эта привычка? зачем?

Поймите же, пьяницы, сколько нечеловечески горького заключается в этих вопросах, и как должен быть измучен человек, который предлагает их себе! Ведь слово-то дар божий — неужто же так-таки и затоптать его? Ведь оно задушить может, если его не выговорить!.. Но раз подобные вопросы возникли, никакого другого ответа на них нельзя ожидать, кроме бесповоротного осуждения. И небо, и земля, и движение, и жизнь — все исчезает; впереди усматривается только скелет смерти, в пустой череп которой наровчатский проезжий, для страха, вставил горящую стеариновую свечку.

Я невольно вспомнил: не дальше как в июле, три месяца тому назад, я ехал за границу, и спутниками моими были Удав и Дыба. Не скрою: не понравились мне тогда эти люди. Городят какие-то двусмысленности, не то либеральничают, не то «жамкнуть» собираются. Наслушаешься их — точно пустую бочку то вскатишь на гору, то опять с горы спустишь. А теперь с какою благодарностью, можно сказать, даже с любовью я помянул их! Так бы, кажется, и не наслушался музыки их речей, кабы бог привел опять на распутии встретиться! Даже об Твёрдоонтò всплакнул — и у того некоторые словечки были...

Сравните их с этим не помнящим родства Маратом, которого я только что оставил, — и вы сразу почувствуете, как из

области не особенно блестящей, но все-таки человеческой, переноситесь в область чистейшего истуканства. Интеллигенцию — побоку, печать — побоку; суды — побоку; с чем же жить-то останетесь? Земство покуда еще пощадил — жалование ему оттуда выдают; но дай срок! когда он вынырнет, он и земству кóпоти задаст. Он в солнце кишку пожарной трубы направит, чтоб светило умереннее. И все-таки мне не столько солнца жалко, сколько печати. Солнца-то, я знаю, не усмирить, а печать... чик! и нет ее!

Удав и Дыба были довольно разнообразны в выборе сюжетов для собеседования и, сверх того, обладали кой-какою фантазией. Напротив того, проезжий Марат однообразен до утомительности и беден фантазией до нищенства. За душой у него всего один медный грош, и он даже не старается ввести насчет его в заблуждение. Он прямо и всенародно ставит его ребром, как бы говоря: вот вам грош, и знайте, что другого у меня нет.

Удав и Дыба охотно склонялись на сторону «подтягиванья», но, отстаивая это мировоззрение, они отчасти обставляли его теоретическими соображениями, отчасти ссылались на обстоятельства и вообще как бы слегка стыдились. Грустно, мол, но делать нечего. Проезжий Марат хотя тоже до краев преисполнен «подтягиванья», но уже у него нет ни обстановок, ни ссылок, ни стыда, так что «подтягиванье» является совершенно самостоятельной бессмыслицей, не имеющей ни причин, ни предмета.

Склоняясь на сторону «подтягиванья», Удав и Дыба тем не менее не отрицали, что можно от времени до времени и «поотпустить». Проезжий Марат не только ничего подобного не допускает, но просто не понимает, о чем тут речь. Да он и вообще ни о чем понятия не имеет: ни о пределах власти, ни о предмете ее, ни о сложности механизма, приводящего ее в действие. Он бьет в одну точку, преследует одну цель и знать не хочет, что это однопредметное преследование может произвести общую чахлость и омертвление.

Все в мире выясняется только при посредстве сравнительного метода. Часто мы бываем несправедливы к людям потому только, что полагаем, что хуже их не может уж быть. А на поверку оказывается, что природа в этом смысле неистощима. С каким бы удовольствием я побеседовал теперь с Удавом! с каким наслаждением выслушал бы бесконечные рассказы Дыбы о мудрости князя Михаила Семеныча и прозорливости графа Алексея Андренча! По крайней мере, в этих собеседованиях я мог бы уловить образ, слово... Конечно, возра-

жать было и тогда неудобно; но неужто ж непременно надобно возражать?

А теперь вот, гляди на картонное лицо не помнящего родства прохожего и слушай его азбучное гудение! И не моргни.

Наконец, мы и в Вержболове. Все, о чем в течение праздного скитания по заграничным палестинам томилось и тосковало сердце,— все теперь тут, налицо. Осмотр вещам совершился; «отметка о возвращении» оторвана. Тихо, смиренно, благородно. Кто-то в толпе крикнул: «теперь, брат, ау!» Крикнул и собственного голоса не узнал. В станционном ресторане подают сосиски с капустой и предупреждают: «Это у немцев, в Эйдткунене, с трихинами, а у нас и заведения этого нет». Все крестятся, все довольны: слава богу! приехали! Какой-то земец,— но не мой: я нарочно три дня в Берлине прожил, чтобы «мой» схлынул — надевает на шею аннинский крест. Барыни спрашивают друг у друга: ну что провезли? — и от радостного волнения тыкают вилкой и не могут попасть в тарелку.

При входе в спальный вагон меня принял молодой малый в ловко сшитом казакине и в барашковой шапке с бляхой во лбу, на которой было вырезано: *Артельщик*. В суматохе я не успел взглянуть в его лицо, однако ж оно с первого же взгляда показалось мне ужасно знакомым. Наконец, когда все понемногу уgomонилось, всматриваюсь вновь и кого же узнаю? — того самого «мальчика без штанов», которого я, четыре месяца тому назад, видел во сне, едучи в Берлин!

— Слушайте-ка,— сказал я, улучив минуту, когда он проходил мимо меня,— помните, между Бромбергом и Берлином, в какой-то немецкой деревне, я вас без штанов видел?

Однако он прошел, сделав вид, что не расслышал моего вопроса. Мне даже показалось, что какая-то тень пробежала по его лицу. Минуту перед тем он мелькал по коридору, и на лице его, казалось, было написано: уж ежели ты мне на водку не дашь, так уж после этого я и не знаю... Теперь же, благодаря моему напоминанию, он вдруг словно остепенился.

Разумеется, я не настаивал; но явление это не могло, однако ж, не заинтересовать меня. Что собственно не понравилось ему в моем напоминании? То ли, что я когда-то знал его в угнетенном виде, которого он теперь, одевшись в штаны, стыдится, или то, что я был однажды свидетелем, как он хвастался перед «мальчиком в штанах», что он, хоть и без штанов, да зато Разуваеву души не продал, «а ты, немец, контрактом господину Гехту обязался, душу ему заложил»...

И вот теперь, после такого решительного бахвальства, я же встречаю его не только в штанах, но и в суконной поддевке, в барашковой шапке, форма и качество которых несомненно свидетельствуют о прикосновенности к этой метаморфозе господина Разуваева.

Подобные неясности в жизни встречаются довольно нередко. Я лично знаю довольно много тайных советников (в Петербурге они меня игнорируют, но за границей, по временам, еще узнают), которые в свое время были губернскими секретарями и в этом чине не отрицали, что подлинный источник света — солнце, а не стеариновая свечка. И представьте себе, ужасно они не любят, когда им про это губернское секретарство напоминают. И тоже трудно разобрать, почему.

В надежде уяснить себе этот вопрос, я несколько раз, даже по пустыкам, зазывал «мальчика без штанов» в свой купё, но какие вопросы я ни предлагал, он на все отвечал однословно и угрюмо. Наконец я решился дать ему двугривенный. Принял.

— Это на первый раз,— поощрительно присовокупил я, не вступая, впрочем, в дальнейший допрос.

Поклонился, но промолчал.

Миновали Ковно. Пришла ночь, а с нею пора делать постели. Я и еще двугривенный дал. Опять принял и даже как будто повеселел.

— От Разуваева штаны получили? — спросил я как бы мимоходом.

— От него.

— А помните ли вы...

Притворился, что какие-то пассажиры его требуют, и ушел, не давши мне договорить.

Ночь я провел совершенно спокойно и видел веселые сны. Я будто бы пишу, а меня будто бы хвалят, находят, что я трезвенные слова говорю. Вообще я давно заметил: воротись домой, ляжешь в постельку, и начнет тебя укачивать и напевать: «Спи, ангел мой, спи, бог с тобой!»

Утром проснулся, еще семи часов не было. Выхожу в коридор — «мальчик» сидит и папироску курит. Вынимаю третий двугривенный.

— По контракту? — спрашиваю.

— Не иначе, что так.

— Крепче?

— Для господина Разуваева крепче, а для нас и по контракту все одно, что без контракта.

— Значит, даже надежнее, нежели у «мальчика в штанах»?

— Пожалуй, что так.

— А как же теперь насчет Разуваева? помните, хвастались?

Заторопился, стал к чему-то прислушиваться, сделал вид, что нечто услышал, и скрылся.

Вплоть до самой Луги я не мог его уловить. Несколько раз он пробежал мимо, хотя я держал наготове четвертый двугривенный,— и даже с таким расчетом держал, чтоб он непременно заметил его,— но он, очевидно, решил преодолеть себя и навстречу ласке моей не пошел.

Разумеется, это меня возмутило. Вот, думалось мне, как Разуваев «обязал» тебя контрактом, так ты и заочно ему служишь, все равно как бы он всеминутно у тебя перед глазами стоял, а я тебе уж три двугривенных сряду без контракта отдал, и ты хоть бы ухом повел! Нет, надобно это дело так устроить, чтоб на каждый двугривенный — контракт. Коротенький, но точный, и душа чтоб тут же значилась. И непременно в разуваевском вкусе. Чтоб для тебя, «мальчика без штанов», это был контракт, а для меня чтоб все одно, что есть контракт, что его нет.

Наконец, в Луге, все пассажиры разошлись обедать, и я поймал-таки его.

— Вот вам рубль,— говорю.

Принял.

— Слышал я за границей, что покуда я ездил, а на вас мода пошла? — продолжал я.

Усмехнулся и хотел было увильнуть; но потом вспомнил, что я за свой рубль имел хоть на ответ-то право,— и посоветился.

— На нас, сударь, завсегда мода. Потому, господину Разуваеву без нас невозможно.

Проговорив это, он скорым шагом удалился к выходу и через минуту уже сновал взад и вперед по платформе, отрывая зубами куски булki, которая заменяла ему-обед.

Через два часа мы были дома.

ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Милая тетенька!

Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. То расцветали надеждами, то увядали; то поднимали голову, как бы к чему-то прислушиваясь, то опускали ее долу, точно всё, что нужно, услышали; то устремлялись вперед, то жались к сторонке... И бредили, бредили, бредили — без конца!

Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно, потому что была уверенность, что вот-вот опять сейчас расцветешь... В самом ли деле расцветешь, или это так только видимость одна — и это ничего. Все равно: волнуешься, суетишься, спрашиваешь знакомых: слышали? а? вот так сюрприз!

То есть, по правде-то говоря, из нас двоих волновались и «бредили» вы одни, милая тетенька. Я же собственно говорил: зачем вы, тетенька, к болгарам едете? зачем вы хотите присутствовать на процессе Засулич? зачем вы концерты в пользу курсисток устраиваете? Сядемте-ка лучше рядком, сядем да посидим... Ах, как вы на меня тогда рассердились!

— Сидите — вы! — сказали вы мне, — а я пойду туда, куда влекут меня убеждения! *Mais savez vous, mon cher, que vous allez devenir pouilleux avec vos «сядем да посидим»...*¹

Именно так по-французски и сказали: *pouilleux*, потому что ведь нельзя же по-русски сказать: обовшивеете!

Повторяю: я лично не волновался. Однако ж не скрою, что к вашим волнениям я относился до крайности симпатично и не раз с гордостью говорил себе: «Вот она, тетенька-то у меня какова! К болгарам в пользу Баттенбергского принца агитировать ездит! Милану прямо в лицо говорит: дерзай, княже! «Идѐ домов муй?» с аккомпанементом гитары поет — какой еще родственницы нужно!» Говорил да говорил, и никак не

¹ Но знаете, дорогой мой, что вы обовшивеете с вашими «сядем да посидим»...

предвидел, что на нынешнем консервативно-околоточном языке мои симпатии будут называться укрывательством и попустительством...

Но теперь, когда попустительства начинают выходить из меня соком, я мало-помалу прихожу к сознанию, что был глубоко и непростительно неправ. Знаете ли вы, что такое «сок», милая тетенька? «Сок» — это то самое вещество, которое, будучи своевременно выпущено из человека, в одну минуту уничтожает в нем всякие «бреды» и возвращает его к пониманию действительности. Именно так было со мной. Покуда я кока с соком был — я ничего не понимал, теперь же, будучи лишен сока, — все понял. Правда, я лично не агитировал в пользу Баттенбергского принца, но все-таки сидел и приговаривал: ай да тетенька! Лично я не плескал руками ни оправдательным, ни обвинительным приговорам присяжных, но все-таки говорил: «Слышали? тетенька-то как отличилась?» А главное: я «подпевал» (не «бредил», в истинном значении этого слова, а именно «подпевал») — этого уж я никак скрыть не могу! Так вот как соберешь все это в один фокус, да прикинешь, что за сие, по усмотрению управы благочиния, полагается, — даже волос дыбом встанет!

Позвольте, однако ж, голубушка! Мог ли я не попустительствовать и не «подпевать», если вы при каждом случае, когда я хотел трезвенное слово сказать, перебивали меня: rouilleux! Помнится, как-то раз я воскликнул: ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма! — а вы потрепали меня по щечке и сказали: дурашка! Как я тогда обиделся! как горячо начал доказывать, что меня совсем не так поняли! И вдруг, сам не помню как, такую высокую ноту взял, что даже вы всполошились и начали меня успокаивать! А кто меня до этой высокой ноты довел?!

Спрашиваю я вас: примет ли все это в соображение управа благочиния, хоть в качестве смягчающего вину обстоятельства?

Но, кроме того, и еще — хоть вы мне и тетенька, но лет на десяток моложе меня (мне 56 лет) и обладаете такими грасами, которые могут встревожить какого угодно rouilleux. Когда вы входите, вся в кружевах и в прошивочках, в гостиную, когда, сквозь эти кружева и прошивочки, вдруг блеснет в глаза волна... Ах, тетенька! хоть я, при моих преклонных летах, более теоретик, нежели практик в такого рода делах, но мне кажется, что если б вы чуточку распространили вырезку в вашем лифе, то, клянусь, самый заматерелый rouilleux — и тот не только бы на процесс Засулич, но прямо в огонь за вами пошел!

Ужели же и этого не примет в соображение управа благочиния?

Голубушка! не вините меня! не говорите, что я предаю вас, сваливаю на вас мою вину! Во-первых, чем же я виноват, коли инстинкт мне подсказывает: расскажи да расскажи! А во-вторых, предавая вас, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Нынче так все упрощено, что уж нет ни зачинщиков, ни попустителей, ни укрывателей — одни виноватые. Стало быть, все мои ссылки на вас и на кого бы то ни было напрасны и служат только к бескорыстному разъяснению дела, а не к личному моему обелению. И что всего любопытнее: я очень хорошо это понимаю, и все-таки от предательства воздержаться не могу: так и нудит инстинкт, так и подманивает навстречу. Это уж веяние такое, и все мы, которые когда-либо были одержимы «брeдами» или «подпеваниями», — все мы обязываемся принимать его в расчет.

Одно меня утешает: ведь и вы, мой друг, не лишены своего рода ссылок и оправдательных документов, которые можете предъявить едва ли даже не с большим успехом, нежели я — свои. В самом деле, виноваты ли вы, что ваша *mapière de causer*¹ так увлекательна? виноваты ли вы, что до сорока пяти лет сохранили атуры и контуры, от которых мгновенно шалют *les messieurs*?

Знаете ли, впрочем, что? Иногда мне кажется, что управа, рассмотрев наш прежний образ мыслей и приняв во внимание наш образ мыслей нынешний (какой, с божьею помощью, поворот!), просто-напросто возьмет да и сдаст наше дело в архив. Или, много-много, внушение сделает: смотрите, дескать, чтобы на будущее время «брeдней» — ни-ни!

— Помилуйте, вашество! кто же нынче о бреднях думает? Бредни... фуй!

Это, впрочем, скажете, тетенька, вы, а не я. А я уж потом за вами в огонь и в воду...

И поедете вы, вся в кружевах и прошивочках, вашу волну по городу с визитами развозить. «Бредни... но ведь это смех, право! Бредни!.. но разве можно без омерзения об этом говорить!» Вот сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!

Но скорее всего, даже «рассмотрения» никакого мы с вами не дождемся. Забыли об нас, мой друг, просто забыли — и все тут. А ежели не забыли, то, не истребовав объяснения, простили. Или же (тоже не истребовав объяснения) записали в книгу живота и при сем имеют в виду... Вот в скольких

¹ манера беседовать.

смыслах может быть обеспечено наше будущее существование. Не скрою от вас, что из них самый невыгодный смысл — третий. Но ведь как хотите, а мы его заслужили.

Тем не менее я убежден, что ежели мы будем сидеть смиренно, то никакие смыслы нас не коснутся. Сядем по углам, закроем лица платками — авось не узнают. У тех, скажут, человеческие лица были, а это какие-то истуканы сидят... Вот было бы хорошо, кабы не узнали! Обманули... ха-ха!

Но как это, тетенька, подло!

Не бойтесь же, милая. Вот вы теперь в деревню уехали: авось, мол, там меня не достанут! Ну, и прекрасно. Поживите там, подышите воздухом полей, посмотрите, как доят коров и стригут барашков, поговорите с вашим урядником, полюбуйте на житье-бытье мужичков... и вдруг вас осенит мысль: какая я, однако ж, глупенькая была! бреднями занималась! Правду Nicolas (это я) говорил: с нас совершенно достаточно утирающего слезы жандарма! И когда вы это выговорите и не поперхнетесь, тогда смело велите закладывать лошадей и катите спать в Петербург. Ручаюсь, что, кроме похвалы, ничего не услышите.

А в Петербурге вы найдете — меня. Сижу я здесь, как дятел на сосновом суку, и с утра до вечера все долблю: не нужно бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! Приезжайте и будем вместе долбить — поваднее!

Ужасно, какое множество нынче этих дятлов развелось. Шляются, слюною брызжут, очами грозят, долбят да друг на друга посматривают: кто кого передолбит?

Впрочем, вся заслуга отрезвления (ибо я уверен, что этот процесс уже совершился в вас) на вашей, душенька, стороне. Я же как прежде был хорош, так и теперь хорош.

Всегда я думал, что вся беда наша в том, что мы чересчур много шуму делаем. Чуть что — сейчас шапками закидать норвими, а не то так и кукиш в кармане покажем. Ну, разумеется, слушают-слушают нас, да и прихлопнут. Умей ждать, а не умеешь — нет тебе ничего! Так что, если б мы умели ждать, то, мне кажется, давно бы уж дождались.

И в счастья и в несчастья мы всегда предвараем события. Да и всоображение у нас какое-то испорченное: всегда провидит беду, а не благополучие. Еще и не пахло крестьянской волей, а мы уж кричали: эмансипация! Еще все по горло сыты были, а мы уж на всех перекрестках голосили: голод! голод! Ну, и докричались. И эмансипация и голод действительно пришли. Что ж, легче, что ли, от этого вам, милая тетенька, стало?

Не я один, но и граф Твэрдоонтò это заметил. «Когда я был у кормила, — говорил он мне, — то покуда не издавал циркуляров об голоде — все по горло были сыты; но однажды нелегкая дернула меня сделать зависящее по сему предмету распоряжение — изо всех углов так и полезло! У самого последнего мужика в брюхе пусто стало!»

Еще бы! Мужичку только повадку дай! Он лопнуть хочет от сытости, а все кричит: жрать!

Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные на-счет книгопечатания законы издать! Только я один говорил: и без них хорошо! По-моему и вышло: коли хорошо, так и без законов хорошо! А вот теперь посидим да помолчим — смотришь, и законы будут. Да такие ясные, что небо с овчинку покажется. Ах, господа, господа! представляю себе, как вам будет лестно, когда вас, «по правилу», начнут в три кнута жарить!

Вот если бы мы были простые тати — слова нет, я бы и сам скорого суда запросил. Но ведь мы, тетенька, «разбойнички печати»... Ах, голубушка! произношу я эту песносную кличку и всякий раз думаю: сколько нужно было накопить в душе гною, каким нужно было сознать себя негодяем, чтобы таким прозвищем стошнило!

Поэтому-то вот я и говорил всегда: человеческое благополучие в тишине созидаться должно. Если уж не миновать нам благополучия, так оно и само нас найдет. Вот как теперь: нигде не шелохнется; тихо, скромно, благородно. А оно между тем созидается себе да созидается.

Не в словах дело, а в деле — и это я тоже говорил. Можно ли дело делать, когда кругом гвалт и шум? — нельзя! Ну, стало быть, молчи и не мешай!

Словесный хлеб может представлять потребность только для досужих людей; трудящиеся же да вкушают хлеб с лебедой! Вот общее правило, милая тетенька. Давно мы с вами бредим, а много ли набредили? Так лучше посидим да поглядим — «оно» вдруг на нас само собою нахлынет!

Если б при московских князьях да столько разговору было, — никогда бы им не собрать русской земли. Если б при Иоанне Грозном вы, тетенька, во всеуслышание настаивали: непременно нам нужно Сибирь добыть — никогда бы Ермак Тимофенч нам ее из полы в полу не передал. Если б мы не держали язык за зубами — никогда бы до ворот Мерва не дошли... Все русское благополучие с незапамятных времен в тиши уединения совершалось. Оттого оно и прочно.

Вон Франция намеднись какой-то дрянной Тунисишко захватила, а сколько из этого разговоров вышло? А отчего?

Оттого, голубушка, что не успели еще люди порядком наметиться, как кругом уж галденье пошло. Одни говорят: нужно взять! другие — не нужно брать! А кабы они чередом наметились да потихоньку дельце обделали: вот, мол, вам в день ангела... с нами бог! — у кого же бы повернулся язык супротивное слово сказать?!

Человеку дан один язык, чтоб говорить, и два уха, чтобы слушать; но почему ему дан один нос, а не два — этого я уж не могу доложить. Ах, тетенька, тетенька! Говорили вы, говорили, бредили-бредили — и что вышло? Уехали теперь в деревню и стараетесь перед урядником образом мыслей щегольнуть. Да хорошо еще, что хоть теперь-то за ум взялись: а что было бы, если бы...

А я, напротив, сижу на сосновом суку да все старую песню долблю. Старую да хорошую. И может быть, за мою простоту, до чего-нибудь и додолблюсь. Да, кажется, уж и начинаю додалбливаться. Хорошо у нас нынче, тихо! Давно так не бывало. Встречаются люди на Невском: что нового? — Да ничего не слышать. — Ну, и слава богу. Или в клубе: что в газетах пишут? — Ничего не пишут. — Ну, и слава богу... Вот увидите, милая тетенька, что из этого непременно выйдет благополучие. И не я один, все надеются. На днях встречаю князя Букиазба: мы, говорит, не болтовней занимаемся, а дело делаем.

Бог в помощь!

И точно: давно ли, кажется, мы за ум взялись, а какая перемена во всем видится! Прежде, бывало, и дома-то сидя, к чему ни приступишься, все словно бгоропь тебя берет. Все думалось, что-то тетенька скажет? А нынче что хочу, то и делаю; хочу — стою, хочу — сижу, хочу — хожу. А дома сидеть надоест — на улицу выйду. И взять с меня нечего, потому что я весь тут!

Пришел я на днях в Летний сад обедать. Потребовал карточку, вижу: судак «авабля»;¹ спрашиваю: да можно ли? — Нынче все, сударь, можно! — Ну, давай судака «авабля!» — Оказалась мерзость. Но ведь не это, тетенька, дорого, а то, что вот и мерзость, а всякому есть ее вольно!

А какие там, тетенька, салфетки у прислужников под мышками торчат! Совершенно мокрые детские пеленки! Не ходите туда, голубушка!

Итак, повторяю: тихо везде, скромно, но притом — свободно. Вот нынче какое правило! Встанешь утром, просмотришь газеты — благородно. «Из Белебея пишут», «из Конотопа пи-

¹ Испорченное от «au vin blanc». Приведено текстуально. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.) Au vin blanc — в белом вине.

шут»... Не горит Конотоп, да и шабаш! А прежде — помните, когда мы с вами, тетенька, «бредили», — сколько раз он от этих наших бредней из конца в конец выгорал! Даже «Правительственный вестник» — и тот в этом отличнейшем газетном хоре каким-то горьким диссонансом звучит. Все что-то о хлебах публикует: не поймешь, произрастают или не произрастают.

Я думаю, впрочем, тетенька, что в конце концов произрастут. Потому что уж если теперь нам бог, за нашу тихость, не подаст, так уж после того я и не знаю...

«Бредни» теперь все похода ругают, да ведь, по правде-то сказать, и похвалить их нельзя. Даже и вы, я полагаю, как с урядником разговариваете... ах, тетенька! Кабы не было у вас в ту пору этих прошивочек, давно бы я вас на путь истинный обратил. А я вот заглядывался, глазами косил, да и довел дело до того, что пришлось вам в деревне спасаться! Бросьте, голубушка! Подумайте: раз бог спасет, в другой — спасет, а в третий, пожалуй, и не помилует.

Но что всего приятнее: самую видную роль в этой поголовной руготне играют «новообращенные». Старые «управцы» — те усекновляют спокойно, без разговоров, точно пирог с капустой едят; новые — доказывают, полемизируют и предварительно кусают. Иной новобранец до того осмелился, что так-таки прямо в глаза начальству отчеканивает: распри! И не боится. И гребень у него покраснеет, и хвост веером распухнет — тетерев на току, да и полно! Но я-то ведь, тетенька, не забыл. Таким же точно страстным тетеревом он был и тогда, когда — помните? — он же захлебывался в восторге от «бредней»!

Во всяком случае, голубушка, если вы вздумаете наведаться в Петербург, то, пожалуйста, держите ухо востро. Представьте себе, что вам всегда сопутствует ваш добрый урядник — так и ведите себя. Потому что неравно вдруг какой-нибудь доброволец закричит: караул!

И все-то нынче чего-то ищут; даже такие люди ищут, которым давным-давно во всех инстанциях отказано. И только на одном свои права и основывают: пора эти бредни бросить! Но что же они, милая тетенька, вместо бредней предлагают? А предлагают они, голубушка, благополучие России — только и всего.

Только они думают, что без них это благополучие совершиться не может. Когда мы с вами, во время оно, бреднями развлекались, нам как-то никогда на ум не приходило, с нами они осуществляются или без нас. Нам казалось, что, коснувшись всех, они коснутся, конечно, и нас, но того, чтобы при

сем утащить кусок пирога... сохрани бог! Но ведь то были бредни, мой друг, которые как пришли, так и ушли. А нынче — дело. Для дела люди нужны, а люди — вот они!

Ужасно замученный вид имеют эти люди, покуда ищут и разнохивают. Худые, бледные, испытые, с пересохшим горлом, с воспаленными глазами. И только одно твердят: бредни! Встречаться с ними во время этой охоты ужасно опасно, и потому я, как завижу «искателя», сейчас шмыг в ресторан. Хочу — растегай ем; хочу — бутерброд ухвачу! Все нынче можно.

И все эти «искатели» друг друга подсиживают и ругательски друг друга ругают. Встретил я на днях Удава — он Дыбу ругает; встретил Дыбу — он Удава ругает. И тот и другой удостоверяют: вот помяните мое слово, что ежели только он (имярек) «достигнет» — он вам покажет, где раки зимуют!

Вот ведь это какие, тетенька, люди: знают, где раки зимуют!

Но мне-то, мне-то зачем это знать? Конечно, оно любопытно, но иногда, право, выгоднее без любопытства век прожить. Признаюсь, я даже не удержался и спросил Удава: да неужто же нужно, чтобы я знал, где раки зимуют? А он в ответ: уж там нужно или не нужно, а как будут показывать, так и вы, в числе прочих, узнаете.

Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажет, где раки зимуют, завтра — куда Макар телят не гонял, послезавтра — куда вбросил костей не заносил, а в заключение объяснит, как Кузькину мать зовут! Вот сколько наук!

И добро бы мы этих наук не знали, а то ведь наизусть от первой страницы до последней во всех подробностях проштудировали — и все оказывается мало!

Но когда мы окончательно обогатимся этими знаниями, тогда курс наук наших будет полон, и мы начнем показывать товар лицом. Изобретем сначала порох, потом компас, потом книгопечатание, а между прочим, пожалуй, откроем и Америку.

И все-таки сдается: нет уж, пусть лучше ни Удав, ни Дыба не «достигнут»! Побегают, помянутся, да с тем пусть и отъедут. Вот это было бы хорошо! Тетенька! голубушка! помолитесь, чтоб они не достигли!

Представляю я себе, как вы, бедненькая, проводите время в деревне.

Встанете утром, помолитесь и думаете: а ведь и я когда-то «бреднями» занималась! Потом позавтракаете, и опять: ведь и

я когда-то... Потом погуляете по парку, распорядитесь по хозяйству и всем домочадцам пожалуетесь: ведь и я... Потом обед, а с ним и опять та же неотвязная дума. После обеда бежите к бабушке, и вся в слезах: бабушка! отец Андрон! ведь когда-то... Наконец, на сон грядущий, призываете урядника и уже прямо высказываетесь: главное, голубчик, чтоб бредней у нас не было!

Но ведь и робеть чересчур тоже не годится, мой друг. Излишняя робость может грудку высушить — и тогда навеки пропал для вас очень важный оправдательный документ.

На вашем месте я поступил бы так. Прежде всего, безусловно, утаил бы от домашних происходящие в душе вашей тревоги. Домашние — народ узко-себялюбивый и даже тривиальный; не качество идей их увлекает, а удача. Ежели вы устраиваете комфортабельно их жизнь при помощи «бредней» — они будут говорить: ай да тетенька! Если вы того же самого результата достигаете при помощи «антибредней» — они и тогда будут восклицать: ай да тетенька! Ни в тревогах, ни в сомнениях ваших они не примут участия, потому что, на их взгляд, все и всегда ясно. Расскажите им, что именно вас мутит, — они сейчас все до ниточки на бобах разведут. То есть, собственно говоря, ничего не разведут, а будут одно и то же долбить: да ведь это, наконец, ясно! Ибо никто лучше их не понимает, что во всяком деле на первом плане стоит благополучие (с лебедой в резерве) и тишина (с урчанием в резерве). И ежели вы за всем тем не перестанете упорствовать в непонимании сего, то даже малолетки будут к вам приставать: тетенька, да неужто ж вы этого не понимаете? И станут издеваться над вами, так что в конце концов окажется, что все они умники, а вы одна между ними — дура душой.

Но что всего хуже, насмеяться-то они насмеются, а помочь не помогут. Потому что хоть вы, милая тетенька, и восклицаете; ах, ведь и я когда-то бредила! но все-таки понимаете, что, полжизни пробредивши, нельзя сбросить с себя эту хмару так же легко, как сменяют старое, заношенное белье. А домочадцы ваши этого не понимают. Отроду они не бредили — оттого и внутри у них не скребет. А у вас скребет.

Вот к бабушке прибегнуть в горести — это я вам советую. Бабушка справится в требнике и все рассудит: недаром же имя ему Андрон (от «Андроны едут»). И, в заключение, простит, потому что такова его обязанность. Но главная польза, от сего проистекающая, будет заключаться в том, что вы-то сами непременно утешение получите. В раскаянии есть нечто до того сладкое, что оно само себе довлеет. Сидит человек,

и тихие слезы текут по его щекам... Говорят, будто слезы служат выражением страдания, а подите-ка, отыщите что-нибудь слаще этих слез! «Ах, не могу!.. ах, не буду!.. батюшка! поддержите!» — Успокойтесь, сударыня!

А ежели попик у вас ловкий да в семинарии учился хорошо, так он, пожалуй, целую предикку по этому случаю произнесет. «Что привело тебя ко мне, чадо мое? — скажет, — и привело в смущении, в горе, в слезах? Не смерть ли досточтимых родителей? — так ведь, кажется, родителей давно у тебя нет! не болезнь ли любимых детей? — так ведь, кажется, они, слава богу, здоровы! Что же привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожар ли? не утрата ли имущества? не слушание ли подчиненных и присных твоих?» Вот тут-то вы и изложите ему все по порядку. Ручаюсь, что возвратитесь домой утешенно.

Можете переговорить и с урядником, но при этом советую не терять самообладания. Скажите просто: вот, мол, какие слухи ходят, так вы уж, пожалуйста! Только и всего. Как будто вы тут в стороне: заметили — и горюшка мало. Но, ради всего святого, не любитесь в урядника, ибо в таком случае ваши прелестные прошивки пропахнут тютюном и овчицами. Этого, тетенька, и начальство не требует, а что касается до партикулярных людей, то, право, они совершенно равнодушно отнесутся к тому, какие высокие цели руководят вами в этом случае, а будут только примечать, что урядник новое кепё купил да усы фабрить начал. И прозовут они вас «урядницей», и так популяризуют эту кличку, что вам проходу по деревне от нее не будет.

Случаев такого необдуманного увлечения урядниками немало встречается в истории. Я сам лично одну дамочку знал, которая долгое время стригла себе волосы и ужасно гордо изгибала шею, когда ее звали «стрижкой» и «нигилисткой». И вдруг влюбилась в землемера (все землемеры, по природе, консерваторы), купила шиньон, и с тех пор только и слов: «Ах, эти скверные стрижки!», «ах, эти немытые нигилистки!» Но что ж она этим выиграла? Только то и выиграла, что не только «стрижки» и «нигилистки», но и самые землемерши стали ее «землемершею» величать...

Стало быть, во всем должна быть мера, милая тетенька. Мера — в парении чувств и мыслей и мера — в предательстве. Так что ежели который человек всю жизнь «бредил», а потом, по обстоятельствам, нашел более выгодным «антибредить», то пускай он не прекращает своего бреда сразу, а сначала пускай потише бредит, потом еще потише, и еще, и еще, и, наконец — молчок! Тогда он уж бесстрашно может, на всей своей воле, антибредом заняться, и все будут говорить: «Из

какого укромного места этот безвестный рыбарь явился? что-то мы его как будто прежде не замечали!» А между тем — он самый и есть!

Вообще же мой совет таков: как можно больше самообладания. Отказывайтесь от бреда постепенно и не вводя в соблазн. Не клеветайте на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклинайте вашего прошлого! Ибо, по правде говоря, какой же был и бред-то ваш, милая тетенька! Порезвились, пошалили — только начальству удовольствия доставили! С ба-тüşкой, однако ж, можете быть откровенны, а что касается до урядника, то об одном прошу: ради бога, берегите ваши прошивки! Помните, что, по сиротству вашему, эти прошивки суть единственное ваше сокровище. И вы должны сохранить его незапятнанным, дабы дети ваши с гордостью могли воскликнуть: вот они, маменькины прошивки! точно сейчас только со станка сняты!

—

Тетенька! приезжайте в Петербург! не бойтесь, милая, не стыдитесь! Забудьте — и все будет хорошо.

Как только вы приедете, я сейчас вас на острова повезу. Заедем к Дороту; я себе спрошу ботвиньи, вы — мороженого... вот ведь у нас нынче как! Потом отправимся на роипте¹ и будем смотреть, как солнце за будку садится. Потом домой — баиньки. Это первый день.

На второй день, с утра — крестины у дворника. Вы — кума, швейцар Федор — кум. Я — принес двугривенный на зубок. Подают пирог с сигом — это у дворника-то! Подумайте, тетенька, как в самое короткое время уровень народного благосостояния поднялся! С крестин поднимаемся домой — рано! Да не хотите ли, тетенька, в Павловск, в Озерки, в Рамбов? сделайте милость, не стесняйтесь! Явмся на музыку, захотим — сядем, не захотим — будем под ручку гулять. А погулявши, воротимся домой — баиньки!

На третий день — в участок... то бишь утро посвятим чтению «Московских ведомостей». Нехорошо проведем время, а делать нечего. Нужно, голубушка, от времени до времени себя проверять. Потом — на Невский — послушать, как надорванные людишки надорванным голосом вопиют: прочь бредни, прочь! А мы пройдем мимо, как будто не понимаем, чье мясо кошка съела. А вечером на свадьбу к городовому — дочь за подчаска выдает — вы будете посаженной матерью, я шафером. Выпьем по бокалу — и домой баиньки.

¹ стрелку.

На четвертый день — дождик. Будем сидеть дома. На обед: уха стерляжья, filets mignons¹, цыпленочек, спаржа и мороженое — вы, тетенька корсетà-то не надевайте. Хотите, я вам целый ворох «La vie parisienne»² предоставляю? Ах, милая, какие там картинки! Клянусь, если б вы были мужчиной — не расстались бы с ними. А к вечеру опять разведрилось. Ma tante! да не поехать ли нам в «Русский Семейный Сад»? — Поехали.

На пятый день у тетеньки головка болит. Сидите вы, вся в прошивочках, и только плечики у вас вздрагивают. Ах, та tante! как бы я хотел быть этою прошивочкой... вон той, которая сначала в бок, а потом все прямо, прямо, прямо... Да улыбнитесь же, голубушка! И вдруг... вы погрозили пальчиком... «Шалун!» Да кто же, милая, шалун-то? Я ли, шестидесятилетний вертопрах, или пальчик... ах, этот пальчик! Но вы только вздыхаете в ответ и вспоминаете... Помните, тетенька, как лейб-гвардии кирасирского полка штаб-ротмистр Лев Полугаров («к сему заемному письму» и т. д.) посадил вас на ладонку, да так к брачному алтарю и доставил? Вот вы когда еще «бредить»-то начали! Но оставим прошлое и обратимся к действительности. Тетенька! как бы я хотел быть вашим чулочком... Mais vous finirez par prononcer le mot: caleçons... mauvais sujet!³ возмущаетесь вы... Однако ж, хоть вы и возмущаетесь, но, в сущности, ведь не сердитесь... Ведь не сердитесь, милая? За что же тут сердиться — ведь нынче все можно! В таких разговорах проходит день до вечера, а там — опять бáиньки!

Шестой день. «Сегодня я хочу кутить!» говорите вы, и мы отправляемся в «Самарканд». Но там застаем драку. Выбегает к нам сам хозяин и говорит: «Это ничего! Это офицеры купца бьют! сейчас кончат!» Заказываем обед, спрашиваем шампанского и смотрим друг на друга. Припоминаем, какие бывают на свете «разговоры», и никак припомнить не можем. Наконец я говорю: а может быть, в эту самую минуту какая-нибудь комиссия без шума, без хвастовства, заботится об нас, благополучие наше созидает? — Finissez!⁴ — Что? не нравится вам это напоминание, тетенька? все еще, видно, «бредни»-то в головке ходят! Ну, нечего делать, коли не нравится, едем домой и — бáиньки.

На седьмой день мы все слова перезабыли. Сидим друг

¹ филе миньон.

² «Парижской жизни».

³ Ты, чего доброго, в конце концов заговоришь о панталонах... проказник!

⁴ Перестань!

против друга и вздыхаем. Сверх того, я лично чувствую, что у меня во всем теле зуд. Господи! да уж не кузька ли на меня напал?

Вот вам целая неделя. Ежели мало, можно и другую такую же подобрать.

Это подробности, а вот и общие правила:

1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это тривиально и запоздало. Нынче — все можно.

2) О «бреднях» лучше всего позабыть, как будто их совсем не было. Даже в «антибредни» не очень азартно пускаться, потому что и они приедаться стали. Знаете ли, милая тетенька, мне кажется, что скоро всех этих искателей и лаятелей будут в участок брать, а там им, вытрезвления ради, поясницы будут дегтем мазать?

Приезжайте, голубушка!

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Вот, тетенька, какая вы милая! Побывали в Петербурге и сами убедились, как у нас хорошо. Все именно так и произошло, как я в прошлом письме проектировал. И сидели мы, и ходили, и стояли — как кто хотел. А из публичных действий, побывали в «Самарканде», катались по островам, у дочери городского на свадьбе присутствовали и проч. И никто нас за это не забранил. Как приехали вы к нам, так и уехали — на собственном иждивении, без провожатого. А отчего? — оттого, голубушка, что такое нынче общее правило: питать доверие даже относительно таких лиц, которые, судя по их antecedentам, отнюдь доверия не заслуживают.

Предполагается, что жизнь со всеми «сыграет штуку». Одних — «образумит» окончательно, других — ежели и не «образумит», то заставит глотать «брeдни», притворяться, подплясывать, произносить вымученные, исполненные антибрeдней professions de foi¹. Именно сама жизнь это сделает, а совсем не околоточные. Жизнь испуганная, перевернутая вверх дном, замученная, мечущаяся под гнетом паники. А мы с вами будем сидеть и радоваться. Ибо ничто так не веселит, как вид человека, приведенного к одному знаменателю. Все нутро у него колотится и стонет, а он пляшет... ха-ха! Никто его вещественной плеткой не понуждает, а он сам собой кричит: эй, жги, говори! — ха-ха! Значит, понимает, чье мясо кошка съела... ха-ха! Помилуйте! да одной этой забавы по горло достаточно, чтоб распотешить не весьма требовательных зрителей! А ежели к этому, в виде обстановки, прибавить толпы скалящих зубы ретирадников, а вдали, «у воды», массы обезумевших от мякинного хлеба «компарсов» — просто со смеху умереть можно! Особенно ежели в домашнем обиходе нет ни наук, ни искусств, ни промышленности, ни денег, ни дела...

А второе нынешнее правило: не стеснять действий, кои бесспорно человеческому естеству свойственны. Как например:

¹ программы.

пить чай с филипповскими калачами, ходить по улице, даже не имея уважительных для передвижения причин, и т. п. А так как мы с вами именно только такие действия и совершали, то никто нас в бараний рог и не согнул: пускай гуляют. Но ежели бы мы увлеклись и вздумали напомнить, что «eggae humanum est»¹, то нам объяснили бы, что это пословица, вышедшая из употребления, и что не только ссылаться на нее, но и сомнений по ее поводу возбуждать не надлежит. Просто-напросто надо позабыть. Это, тетенька, третье нынешнее правило, и оно так существенно, что я позволю себе остановиться на нем несколько подробнее.

Родоприсхождение этого третьего общего правила, как и всего вообще, чем красна наша жизнь, до крайности просто. «Надоело» — это во-первых. Тошно смотреть (а по другим: «взбесить может»), как люди путаются — пусть лучше прямой дорогой в Демидрон² идут. Во-вторых, и хлопот с еггаге³ много: одних новых околоточных сколько потребуется. А в-третьих, по нынешнему времени, не еггаге нужно, а «внушать доверие». Только и всего. Вспомните древних римлян: заблуждались они да заблуждались (они и пословицу-то эту выдумали), а что из того вышло? — вышло сначала падение западной римской империи, а потом и восточной. А если б они не заблуждались, но ездили в «Самарканд», то римская-то империя и поднесь, пожалуй, процветала бы; вандалы же, сарматы и скифы и сейчас гоняли бы Макаровых телят и в лесах Германии, и на низовьях Дуная и Днепра.

Все это так умно и основательно, что не согласиться с этими доводами значило бы навлекать на себя справедливый гнев. Но не могу не сказать, что мне, как человеку, тронутому «бреднями», все-таки, по временам, представляются кое-какие возражения. И, прежде всего, следующее: что же, однако, было бы хорошего, если б сарматы и скифы и доднесь гоняли бы Макаровых телят? Ведь, пожалуй, и мы с вами паслись бы в таком случае где-нибудь на берегах Мьи?⁴

Похоже на то, что паслись бы. Как ни ненадежна пословица, упразднившая римскую империю, но сдается, что если б она не пользовалась такою популярностью, то многое из того, что ныне заставляет биться наши сердца гордостью и восторгом, развилось бы совсем в другом направлении, а может быть, и окончательно захирело бы в зачаточном состоянии. Могло

¹ человеку свойственно заблуждаться.

² Известное в Петербурге увеселительное заведение, украшение которого составляет девица Филиппо. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

³ заблуждениями.

⁴ Старинное название реки Мойки. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

ли бы, например, состояться призвание варягов, если бы «еггате» своевременно не повредило восточную римскую империю и через то не заставило бы ее околоточных смотреть на этот факт сквозь пальцы? А если бы не состоялось призвание варягов, то не было бы удельного периода, не было бы боярина Кучки и основания Москвы, не было бы основания города Санкт-Петербурга и учреждения института урядников. Вот что наделало еггате *humanum est*. Имеем ли же мы право так строго относиться к нему?

Вообще ничто в мире не пропадает даром, милая тетенька. В сущности, и восточная римская империя не пропала, а только места, насниженные «порфирородными» и «багрянородными», заняли «Мохамедовы сыны». «Порфирородные»-то ушли, а восточные римляне и при «Мохамедовых сынах» остались при прежних занятиях, с тем лишь изменением, что уж не «багрянородные», а Мохамедовы сыны мужей обратили в рабство, а жен и дев (которые получше) разобрали по рукам. Но, бог даст, и Мохамедовы сыны уйдут, а на их месте явятся или Георг греческий, или Карл румынский, или Милан сербский, или, наконец, Баттенбергский принц. А восточные римляне по-прежнему останутся при своих занятиях, и, по-прежнему, Баттенбергский принц мужей обратит в рабство, а жен и дев уведет в плен. И все это совершится при помощи еггате *humanum est*.

Но, может быть, вы скажете: урядники-то могли бы возникнуть и независимо от еггате *humanum est*... Совершенно с вами согласен. Как могли бы возникнуть? — да так, как-нибудь. Тут «тяп», там «ляп» — смотришь, ан и «карабь». В ляповую пору да в тяповых головах такие ли предприятия зарождаются! А сколько мы ляповых пор пережили! сколько тяповых голов перевидели!

Но этого мало. Оставим в стороне события мирового значения и обратимся к нашей обыкновенной, будничной действительности. И тут мы на каждом шагу убеждаемся, какие глубокие следы повсюду оставило после себя еггате *humanum est*. Эти прелестные ботинки, которые так обаятельно держат в плену вашу ножку,— они плод заблуждений, потому что «башмачник» бесчисленное множество столетий заблуждался, плетя лапти или выкраивая из сырых кож безобразные пироги, покуда, наконец, дошел до того перла создания, который представляет собой современная изящная ботинка. Эти прошивочки, сквозь которые пробивается нечто пленительно-розовое,— и они плод заблуждений, потому что трудно даже представить себе, милая тетенька, что вышло бы, если бы горькая необходимость заставила вас украсить вашу грудку *первыми*

кружевами, сплетенными *первой* кружевницей (говорят, будто в Кадниковском уезде плетут хорошие кружева, не верьте этому, голубушка!). Эти отлично выпеченные, мягкие как пух булки, которые мы едим,— плод заблуждений; ибо *первый* хлебник непременно начал с месива, которого в наше время не станет есть даже «торжествующая свинья» (см. «За рубежом», гл. VI). Даже малороссийское сало — уж на что гаже! — и то плод заблуждений, потому что прототип его есть сало, которым современные нам кабатчики смазывают оси своих «купецких» тележек. А у нас с вами оси патентованные (смазываемые особенным составом), потому что мы ездим в изящных каретах, первообраз которых, однако ж, представляет собою... телега!

Когда все это, и мировое и будничное, представляется уму во всех деталях и разветвлениях и когда, в то же самое время, в ушах звенят клики околоточной литературы, провозглашающей упразднение девиза, благодаря которому мы имеем крупновские пушки, ружья-шаспò и филипповские калачи,— право, становится жутко. Так вот и кажется, что сейчас принесут корыто с месивом и скажут: лакай! Или заставят бежать в лес и там собственными зубами зайцев ловить. Изловим, перекусим косому горло, в крови перепачкаемся да так сырем все нутро до самой мездры и выедем! И потеряем при этом и ощущение холода, и ощущение стыда; будем мчаться по горам и по долам без перчаток, с нечищеными ногтями, с обвислыми животами (вспомните: в старину москвичи называли рязанцев «кособрюхими» — стало быть, такой пример уж был), с обросшими шерстью поясницами, а быть может, и с хвостами! Потому что все это: и ощущение холода, и ощущение стыда, и упругие животы, и выхоленные поясницы — все это последствия *ergare humanum est*.

Таковы соображения, которые возникают во мне при мысли о третьем нынешнем общем правиле. И не могу не сознаться, что при существовании их подчинение этому правилу становится делом очень тяжелым, почти несносным.

Тем не менее, как ни жаль расставаться с тем или другим излюбленным девизом, но если раз признано, что он «надоел» или чересчур много хлопот стоит — делать нечего, приходится зайцев зубами ловить. Главное дело, общая польза того требует, а перед идеей общей пользы должны умолкнуть все случайные соображения. Потому что общая польза — это, с одной стороны... а впрочем, что бишь такое общая польза, милая тетенька?

В старину мы были не особенно сильны по части определений и в большинстве случаев полагали так: общая польза есть польза квартальных надзирателей. Или, говоря другими словами, общая польза есть то, что приносит надзирателям доход (безгрешный) или обеспечивает их спокойствие. Но ныне это учение признается уже неудовлетворительным, и сами участковые надзиратели откровенно заявляют, что не ради их общая польза существует, а, напротив того, они ради общей пользы получают присвоенное содержание. Подобно сему должны мыслить и прочие обыватели, хотя бы и без надежды на получение содержания.

Именно так я и поступаю. Когда мне говорят: надоело! — я отвечаю: помилуйте! хоть кого взбесит! Когда продолжают: и без еггаре хлопот много — я отвечаю: чего же лучше, коли можно прожить без еггаре! Когда же заканчивают: не заблуждаться по нынешнему времени приличествует, а внушать доверие! — я принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный вид, беру в руку тросточку и выхожу гулять на улицу.

Теперь лето, и на петербургских улицах пропасть рабочего люда. Необходимо, чтоб эти люди питали доверие. Бредет какой-нибудь Радимич или Корела, с лопатой и киркой на плече, и непременно вздыхает (и об чем это они все вздыхают?). И вот навстречу его вздохам сорвался с цепи человек, у которого на лбу так и горит: «в надежде славы и добра»... Смотрит на него Корела и долго ничего не понимает. Однако ж постепенно окриляется, окриляется — и вдруг мысль: ведь это значит, что недоимки простят! И что же! куда разом все подевалось: и вздохи, и задавленный вид! Пошел Корела как ни в чем не бывало лопатой поковыривать, киркой постукивать... Бог в помощь, Корела!

Вы скажете, может быть, что это с его стороны своего рода «бредни», — так что ж такое, что бредни! Это бредни здоровые, которые необходимо поощрять: пускай бредит Корела! Без таких бредней земная наша юдоль была бы тюрьмою, а земное наше странствие... спросите у вашего доброго деревенского старосты, чем было бы наше земное странствие, если б нас не поддерживала надежда на сложение недоимок?

На днях я зашел в курятную лавку и в одну минуту самым простым способом всем тамошним «молодцам» бальзам доверия в сердца пролил. «Почем, спрашиваю, пару рябчиков продаете?» — Рубль двадцать, господин! — Тогда, махнув в воздухе тросточкой, как делают все благонамеренные люди, когда желают, чтобы, по шучьему велению, двугривенный превратился в полумпериал, я воскликнул: «Истинно говорю вам:

не успеет курица яйцо снести, как эта самая пара рябчиков будет только сорок копеек стоить!»

Почему я это сказал и каким образом оно у меня вышло — я сам не могу объяснить. Вероятнее всего, что я солгал (нынче общее правило: лгать, покуда не уличат). Но надо было видеть, как эти простодушные люди при моих словах встрепетались и ободрились. «Да мы всей душой!», «да для нас же лучше!», «да у нас тогда отбоя от покупателей не будет!» — только и слышалось со всех сторон. И заметьте, что я ни одним словом об «таксе» не намекнул. Ибо «такса» напоминает отчасти о социализме, отчасти о бывшем министре внутренних дел Перовском и отчасти о водевиллисте Каратыгине, который в водевиле «Булочная» возвел учение о «таксе» в перл создания. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce bas monde!*¹ — как сказал некогда Ламартин.

Такова программа всякого современного деятеля, который об общей пользе радеет. Не бредить, не заблуждаться, а ходить по лавкам и... внушать доверие. Ибо ежели мы не будем ходить по лавкам, то у нас, пожалуй, на вечные времена цена пары рябчиков установится в рубль двадцать копеек. Подумайте об этом, тетенька!

Только уж само собой разумеется, что если мы решаемся «внушать доверие», то об егоре надо отложить попечение и для себя и для других. Потому что, в противном случае, возьмет «молодец» в руки счеты, начнет прикладывать да высчитывать, и окажется, что ничего дешевого у нас в будущем, кроме кузьки да гессенской мухи, не предвидится.

Таким образом, оказывается, что «внушать доверие» значит перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искушенную бредом). Например, мы с вами обязываемся воздерживаться от бредней, а Корела пусть бредит. Мы с вами пусть не надеемся на сложение недонмок, а Корела — пусть надеется. И все тогда будет хорошо, и мы еще поживем. Да и как еще поживем-то, милая тетенька!

Но что же нужно сделать для того, чтобы забредило такое подавленное суровою действительностью существо, как Корела? — Очень немногое: нужно только иметь наготове запас фантастических картин, смысл которых был бы таков: вот радости, которые тебя впереди ожидают! Или, говоря другими словами, надобно постоянно и без усталы лгать.

Отсюда, новый девиз: *humanum est mentire*², которому

¹ Все связано, все переплетено в этом жалком мире!

² человеку свойственно лгать.

предназначено заменить вышедшую из употребления римскую пословницу, и с помощью которой мы обязываемся на будущее время совершать наш жизненный обиход. Весь вопрос заключается лишь в том, скоро ли нас уличат? Ежели не скоро — значит, мы устроились до известной степени прочно; ежели скоро — значит, надо лгать и устраиваться сызнова.

Задача довольно трудная, но она будет в значительной мере облегчена, ежели мы дисциплинируем язык таким образом, чтобы он лгал самостоятельно, то есть как бы не во рту находясь, а где-нибудь за пазухой.

Мы всегда были охотники полгать, но не могу скрыть, что между прежним, так сказать, дореформенным лганьем и нынешним такая же разница, как между лимоном, только что сорванным с дерева, и лимоном выжатым. Прежнее лганье было сочное, пахучее, ядреное; нынешнее лганье — дряблкое, безуханное, вымученное.

Дореформенные лгуны составляли как бы особую касту (не всякий сознавал себя достаточно одаренным), вроде старинных «явных прелюбодеев» или нынешних рассказчиков из народного быта. Они лгали не от нужды, а потому, что «веселие Руси есть лгати». Поэтому лганье их было восторженное, художественно-образное и чуждое всякой тенденциозности. Память о лгунах нашей черноземной полосы жива и поднесь; но увы! старые тамбовцы-лгуны постепенно вымирают, а потомки их, пропившиеся и прогоревшие, довольствуются невнятным бормотанием.

Я помню, как при мне однажды тамбовский лгунице рассказывал, как его (он говорил: «одного моего друга», но, по искажениям лица и дрожаниям голоса, было ясно, что речь идет о нем самом) в клубе за фальшивую игру в карты били. Сначала вымазали горячей котлеткой лицо; потом приклеили к голой спине бубнового туза; потом, встряхнув, поставили на колени и велели прощения просить и, наконец уж, начали настоящим образом бить. Кто-то крикнул: вымазать ему, мерзавцу, дегтем спину! — но тут уж полицеймейстер вступился. Передавая эти потрясающие подробности, рассказчик видимо переживал незабвенные минуты, о которых повествовал. Когда речь шла о котлете — его лицо сжималось и голова пригибалась, как бы уклоняясь от прикосновения постороннего тела; когда дело доходило до приклейки бубнового туза, спина его вздрагивала; когда же он приступил к рассказу о встряске, то простирали руки и встряхивали ими воображаемый предмет. Одним словом, выходило и образно и талантливо. Но в то же время было несомненно, что он, по крайней мере, на две трети налгал. Взявши в основу истинное происшествие, он посте-

пепно увлекался художественными инстинктами (а может быть, и состраданием к самому себе) и доходил до небылиц. Скажи он просто: били! — право, этого было бы совершенно достаточно, чтоб пробудить жалость во всех сердцах. Но у него горело воображение, но сердце его учащенно билось и накипевшие слезы просились наружу. Все нутро подстрекало его, кричало: мало! мало! мало!

Так что в заключение, позабыв, что рассказывает о друге, и отождествив себя с ним, он воскликнул:

— Вот она, ключица-то! это мне ее в ту пору переломили! Чисто отделали... а?

Смотрим: ключица как ключица — целехонька! Ах, Иван Иваныч!

Словом сказать, еще немного — и эти люди рисковали сделаться беллетристами. Но в то же время у них было одно очень ценное достоинство: всякому с первого же их слова было понятно, что они лгут. Слушая дореформенного лжеца, можно было рисковать, что у него отсохнет язык, а у слушателей уши, но никому не приходило в голову основывать на его повествованиях какие-нибудь расчеты или что-нибудь серьезное предпринять.

Нынче на сцену выступили лгуны малоталантливые, тусклые по форме и тенденциозные по существу.

По форме современное лганье есть не что иное, как грошовая будничная правда, только вывороченная наизнанку. Лгун говорит «да» там, где следует сказать «нет», — и наоборот. Только и всего. Нет ни украшений, ни слез, ни смеха, ни перла создания — одна дерюжная, черт ее знает, правда или ложь. До такой степени «черт ее знает», что ежели вам в глаза уже триста раз сряду солгали, то и в триста первый раз не придет в голову, что вы слышите триста первую ложь.

По существу, современное лганье коварно и в то же время тенденциозно. Оно представляет собой последнее убежище, в котором мудрецы современности надеются укрыться от наплыва развивающихся требований жизни; последнее средство, с помощью которого они думают поработить в свою пользу обезумевшее под игом злоключений большинство.

Дерюжность формы в особенности делает нынешнюю ложь опасною. Она отнимает возможность выяснить цели лганья, а стало быть, и устеречься от него. Сверх того, лжец новой формации никогда не интересуется, какого рода страдания и боли может привести за собою его ложь, потому что подобного рода предвидения могли бы разбудить в нем стыд или опасения и, следовательно, стеснить его свободу. Раз навсегда сбросив с себя иго напоминаний и уколов, он лжет нагло, бес-

сердечно и самодовольно, так что даже достаточно пронца-тельные люди внимают ему в недоумении или же, в крайнем случае, видят в его лганье простую бессмыслицу.

Представьте себе, что вы в первый раз очутились в Петербурге и желаете знать, каким образом пройти, например, в Гороховую улицу. И вот первый лжец посылает вас на Обводный канал, а по прибытии туда вас принимает второй лжец и говорит: надо идти на Выборгскую сторону. Вы измучились, погубили прѳпасть времени, вы в изумлении спрашиваете себя: зачем понадобилась эта мистификация? — а в эту самую минуту к вам подходит третий лжец и советует поискать Гороховую в окрестностях Екатерингофа. Спрашивается: какой имеете вы резон не последовать этому совету? И вы опять губите время, опять изнуряетесь, не понимаете, что такое случилось?

Вот нынешние лгуны каковы.

Я не спорю, что всю эту процедуру охотно проделал бы и дореформенный лгун; но, выполняя ее, он был бы искренно убежден, что это значит «дураков учить». И долго бы заливался смехом при мысли, «какую рожу дурак состроит, когда в Екатерингоф припрет». Нынешний лгун даже подобными неумными мотивами не задается. Он лжет на всякий случай, но лжет не потому, что у него в горле застряла случайная бессмыслица, а потому, что ложь сделалась руководящим принципом его жизни, исходным пунктом всей его жизнедеятельности. Или, говоря другими словами, *он лжет потому, что, по нынешнему времени, нельзя назвать правду по имени, не рискуя провалиться сквозь землю.*

Мне кажется, что в последних, подчеркнутых мною, словах заключается вся разгадка современного лганья. Прежде мы лгали, потому что была потребность *скрасить* правду жизни; нынче — лжем потому, что *боимся притронуться* к этой правде. Как будто в самом воздухе разлито нечто предостерегающее: «Смотри! только пикни! — и все эти основы, краеугольные камни и величественные здания — все разлетится в прах!» Или яснее: ежели ты скажешь правду, то непременно сквозь землю провалишься; ежели солжешь — может быть, время как-нибудь и пройдет.

Понятное дело, что последнее все-таки выгоднее.

Вероятно, вы удивитесь моим опасениям относительно основ и краеугольных камней. Возможное ли дело, скажете вы, чтоб им угрожала какая-нибудь опасность, коль скоро в каждом городе заведено по исправнику, а в каждом селении

по уряднику, которые только и делают, что наблюдают за незыблемостью краеугольных камней? Да, наконец, и ежечасный опыт ужели не убеждает...

Убеждает, голубушка, и не только убеждает, но даже сомнения не оставляет. Лично я всегда верил в краеугольные камни и продолжаю верить. Нельзя не верить, когда ежечасно собственными глазами видишь, как потрясателя на веревочке ведут в участок, и когда ежедневно узнаешь из газет, как ловко с ихним братом распоряжаются в судебных инстанциях. Но согласитесь, что ужели на каждой российской сосне сидит по вороне, которые все в один голос кричат: посрамлены основы! потрясены! — то какую же цену может иметь мнение человека, положим, благонамеренного, но затерянного в толпе? И притом такого, который, вопреки всем вороньим свидетельствам, утверждает, что никогда околотские надзиратели не были так деятельны, никогда основы не стояли так прочно и незыблемо, как теперь? Ведь человек-то этот, пожалуй, подозрительный! Ведь он-то, пожалуй, самый потрясатель и есть!

А сверх того, право, дело совсем не в защите основ и даже не в том, незыблемо ли они стоят или шатаются. Очень это нужно вороньему роду! Ему нужно одно: чтобы в общественном сознании произошел оптический переполох, благодаря которому и незыблемо стоящие основы казались бы расшатанными и неогражденными. Потому что переполох развязывает им руки и сообщает их крикам авторитетность. Увы! нынче даже в нашей небогатой численным персоналом литературе (еще недавно столь гадливой) завелись целые рои паразитов, которые только и живут, что переполохами да неплатежом арендных денег.

Несомненно, что эти каркающие мудрецы — просто-напросто проходимцы. Но они знают, какого рода карканье требуется в данный момент на рынке, — и это обеспечивает им успех. Не факты действительного грабежа и вопиющего предательства священнейших интересов страны приводят их в негодование, но попытки отнестись к этим фактам сознательно и указать их значение в связи с общим жизненным строем. Подобные указания для них — нож вострый, потому что, когда их формулируют, то они сами сознают себя Юханцевыми и Базенами и начинают мучиться опасениями, как бы не разгадали их игры. Что же удивительного, что они надседаются, каркая: посрамлены основы! потрясены! Это не крик сердца, а только предумышленный отвод глаз. А простодушные люди проходят мимо и думают: должно быть, и действительно наше дело плохо, коль скоро весь сосновый бор поголовно закаркал! И чувствуют, как постепенно ими овладевает оторопь.

Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальная ложь, которая должна прикрыть собой все последующие лжи. Вот почему прочная постановка этой лжи прежде всего необходима каркающим мудрецам.

Как истинно русский человек, и я не изъят от простодушия и соединенных с ним предрассудков, а потому воронье карканье и на меня наводит суеверную оторопь, сопряженную с ожиданием грозящей опасности. Помилуйте! ведь от этих распутных птиц всего ждать можно! Ведь их нельзя ни убедить, ни усовестить, потому что они сами себя заранее во всем убедили и простили. Они не чувствуют потребности ни в одной из тех святынь, которые для каждого честного человека обязательно хранить в своем сердце. Нет для них ничего дорогого, заветного, так что даже с представлением об отечестве в их умах соединяется только представление о добыче — и ничего больше. Все это сообщает их деятельности такой размах, такую безграничность свободы, какая обыкновенному смертному совсем недоступна. С неизреченным злорадством набрасываются эти блудницы на облюбленную добычу, усиливаясь довести ее до степени падали, и когда эти усилия, благодаря общей смуте, увенчиваются успехом, они не только не чувствуют стыда, но с бесконечным нахальством и полнейшею уверенностью в безнаказанности срамословят: это мы сделали! мы! эта безмолвная, лежащая во прахе падаль — наших рук дело!

И мы с вами должны сложить руки и выслушивать эти срамословия в подобающем безмолвии, потому что наша речь впереди. А может быть, ни впереди, ни назади — нигде нашей речи нет и не будет!

Конечно, и это карканье, и его постыдные последствия могли бы быть легко устранены, если б мы решились сказать себе: а нуте, вспомните почтенную римскую пословицу, да и постараемся при ее пособии определить, отчего приплод Юханцевых с каждым годом усиливается, а приплод Аристидов в такой же прогрессии уменьшается? Но, к сожалению, не от нас с вами зависит осуществление этого разумного проекта. Воспоминание о падении римской империи так огорошило воображение простодушных россиян, что, несмотря на то, что после того состоялось открытие Америки и изобретение пороха, они все-таки лучше решаются лгать, нежели заблуждаться.

А как бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы мы да блуждали, а некоторые из нас, может быть, нашли бы и просветы. А основы тем временем стояли бы себе да стояли; архистратиги же, препоставленные для наблюдения за нами,

записывали бы наши блуждания на бумажке и сносили бы эти бумажки в комиссию. В какую комиссию? — это безразлично. Зайдите в любой казенный дом — везде хоть какую-нибудь комиссию да найдете. Так вот туда. А в комиссии бумажки наши рассортировали бы, наклеили бы на картонные листы, предмет к предмету, и затем...

Дальнейший ход дела известен. Но какие бы решения комиссия ни приняла, во всяком случае, дело обошлось бы тихо, благородно. В самом крайнем случае, если бы не последовало даже никаких решений, то ведь и это уж был бы результат громадный. Во-первых, удовлетворена была бы благородная (*humanum est* — что может быть этого выше!) потребность блуждания; во-вторых, краугольные камни были бы основательно ошупаны, и оказалось бы, что они целехоньки...

И что ж! вместо всего этого мы предпочитаем гордиться какою-то фантастическую чепуху на том только основании, что заблуждения, дескать, могут что-то подорвать, а в лганье якобы заключается творческая сила!

Однако я замечаю, что на каждом шагу впадаю в противоречия. С одной стороны, я очень хорошо понимаю, что, ввиду общей пользы, необходимо отказаться от заблуждений; но, с другой стороны, как только начну приводить это намерение в исполнение, так, незаметно для самого себя, слагаю заблуждениям панегирик. Но, право, это зависит не от меня. Вся обстановка нашего существования такова, что никаким образом от двоегласия не убежишь. В молодости за нами наблюдали, чтоб мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службе, так что все усилия наши были направлены к тому, чтоб в одном лице совместить и человека и чиновника. Это ли было не двоегласие? Теперь от нас требуют, чтоб мы исключительно об общей пользе радели, а между тем далеко ли время, когда в «бреднях» (упразднение крепостного права — разве это не величайшая из «бредней»?) не только ничего потрясательного не виделось, но и прямо таковые признавались благопотребными и споспешствующими? Как тут сообразить?

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно восторжествует и что затем хочешь не хочешь, а все остальное придется «бросить». Но куда как будто еще совестно. А ну как в этом «благоразумном» поступке увидят измену и назовут за него ренегатом? С какими глазами покажусь я тогда своим друзьям — хоть бы вам, милая тетенька? Неужто ж на старости лет придется новых друзей, новых тетенок искать? — тяжело ведь это, голубушка!

Некоторые полагают, что ренегатам живется хорошо и что они двойные оклады за свое ренегатство получают. Право, это не так. Конечно, по нужде и ренегата иногда чествуют, но внутренне его все-таки презирают. И те презирают, которых он предал, и те, в пользу которых совершил предательство. Последние, впрочем, не столько презирают, сколько спешат надругаться. Они не могут забыть, что ренегат когда-то был их противником, и потому, как только он сбежал из первоначального лагеря, так сейчас его забирают в лапы: попался! теперь только держись! Один подойдет — в лицо плюнет, другой подойдет — плюху даст. А ренегат притворяется, будто не понимает. Но чего ему это притворство стоит... ах, тетенька! Итак, рассказы о двойных окладах и о том, будто бы ренегатов под образа сажают, положительно принадлежат к области баснословия. Общее правило таково: баловать ренегата лишь до тех пор, пока не успеют выкупать его в помоях; когда же убедятся, что он по уши погрузился в золото и что возврат в первобытное состояние для него уж немислим, то ограничиваются скудными подачками и избыточными пинками. Ренегат, прочно утвердившийся на высоте, — редкость; но и такому обыкновенно, по смерти, втыкают в могилу осиновый кол.

Впрочем, все, что я сейчас об ренегатах сказал, — все это *прежде* было. А впредь, может быть, и действительно их будут кормить брусникой, сдобренной тем медом, о котором в песне поется. Ничего — съедят. Недаром же масса кандидатов на это звание с каждым днем все увеличивается да увеличивается.

И все-таки рано или поздно, а придется «бросить». Ибо жизненная машина так премудро устроена, что если не «бросишь» *motu proprio*¹, то все равно обстоятельства тебя к одному знаменателю приведут. А в практическом отношении разве не одинаково, отчего ты кувыркаешься: оттого ли, что душа в тебе играет, или оттого, что кошки на сердце скребут? Говорят, будто в сих случаях самое лучшее — помереть. Но разве это разрешение?

Итак, во имя «общей пользы»! Воспрянемте, тетенька, и будемте лгать! Господи, благослови!

Прежде всего установим исходный пункт: основы потрясены. Повторяю: это будет ложь несомненная, но она необходима для прикрытия всех остальных лжей. Она огорошит общество и сделает его способным принимать небылицы за правду, действительность накарканную за действительность реальную. А это для нас — самое важное.

¹ по собственному побуждению.

Что́ нужды, что основы и не думают шататься,— пускай простодушные люди верят, что они не только шатаются, но и окончательно посрамлены. Это паразит их воображение, а нам поможет из них веревки вить. Пускай они мечутся в нелепом переполохе — мы скажем им, что это переполох спасительный, в конце которого стоит торжество «общей пользы». Пускай в слепом недоумении они остервеняются ввиду всякой попытки ввести в жизнь элемент сознательности — мы поощрим эти остервенения, потому что как только мы допустим вторгнуться элементу сознательности, так тотчас же, вслед за этим вторжением, исчезнет все наше обаяние, и мы сойдем на степень обыкновенных огородных пугал.

Вот, милая тетенька, что́ такое та общая польза, ради которой мы с таким самоотвержением обязываемся применять к жизни творческую силу лганья. Предоставляю вашей процицательности судить, далеко ли она ушла в этом виде от тех старинных определений, которые, как я упомянул выше, отождествляли ее с пользой квартальных надзирателей. Я же к сему присовокупляю: прежде хоть квартальные «пользу» видели, а нынче...

Подумайте только! пара рябчиков рубль двадцать копеек стоит — надо же чем-нибудь этот факт объяснить! Хорошо, что я нашелся, предсказав, что не успеет курица яйцо снести, как та же самая пара рябчиков будет сорок копеек стоить (это произвело так называемое «благоприятное» впечатление); но, во-первых, находчивость не для всех обязательна, а во-вторых, коли по правде-то сказать, ведь я и сам никакой пользы от моего предсказания не получил. И на другой день с меня те же рубль двадцать взяли, и на третий, и так до сих пор. Стало быть, надо утешить и меня. А чем же целесообразнее можно утешить, как не утверждением, что всему причина — потрясение основ?

Или еще: стонут Древляне, оголтели Радимичи, а Корела даже не помнит, с которых пор одной пушниной питается. Надо утешить и их: успокойся, Корела! дай только с основами управиться, и все будет: и мамон чистым хлебом набьешь, и недоимки очистишь!

Покуда Корела верит в страшные слова, покуда ее можно ошеломлять упоминанием о «потрясенных основах», надо пользоваться ее простодушием. Надо, чтоб она постоянно видела впереди благополучные перспективы, всеминутно верила, надеялась и ждала, но под одним непременным условием: что все сие лишь тогда совершится, когда краугольные камни будут утверждены.

Одно только смущает меня, милая тетенька. Многие думают, что вопрос о пользе «отвода глаз» есть вопрос более чем сомнительный и что каркать о потрясении основ, когда мы отлично знаем, что последние как нельзя лучше ограждены,— просто бессовестно. А другие идут еще дальше и прямо говорят, что еще во сто крат бессовестнее, ради торжества заведомой лжи, производить переполох, за которым нельзя распознать ни подлинных очертаний жизни, ни ее действительных запросов и стремлений.

Несмотря на то, что адепты «общей пользы» грозят заполнить вселенную, мнения об их бессовестности от времени до времени еще прорываются в обществе и, признаюсь, порядочно-таки колеблют мою готовность плыть по течению. Сущность этих мнений заключается в том, что потрясательная практика должна быть тщательно отделена от общего хода жизни и что ведать этой практикой надлежит людям особенным, нарочито к тому приспособленным. Пускай они ловят потрясателей, но пускай эта ловля не препятствует естественному росту жизни...

Не знаю, может быть, я и не прав, но эта теория мне по душе, и кажется, что недолге она восторжествует. Поэтому даже могу подать вам благой совет. Ежели ваш урядник обратится к вам с просьбой: «вместо того, чтобы молочными-то скопами заниматься, вы бы, сударыня, хоть одного потрясателя мне изловить пособили!», то смело отвечайте ему: «мы с вами в совершенно различных сферах работаем; вы — обязываетесь хватать и ловить, я обязываюсь о преуспейнии молочного хозяйства заботиться; не будем друг другу мешать, а останемся каждый при своем!» Я положительно убежден, что сам исправник, ежели только ему верно будет передан ваш ответ,— и тот скажет, что вы правы.

Потому что, ежели мы все бросимся хватать и ловить, то кончится тем, что мы друг друга переловим и останемся в дураках.

И не будет у нас ни молока, ни хлеба, ни изобилия плодов земных, не говоря уже о науках и искусствах. Мало того: мы можем очутиться в положении человека, которого с головы до ног облили керосином и зажгли. Допустим, что этот несчастливый и в предсмертных муках будет свои невзгоды ставить на счет потрясенным основам, но разве это облегчит его страдания? разве воззовет его к жизни?

А лгүны — где они будут тогда? придут ли они на помощь к погибающему? принесут ли ему облегчение? Нет, не придут и не принесут, потому что им незачем приходить и нечего принести. Совершивши свое неистовое дело, они поспешат уйти

прочь, чтобы продолжать пропаганду человеконенавистничества дальше и дальше.

Весь запас, который они могут предложить на предмет дальнейшего существования, ограничивается ранами, скорпионами и лексиконом неистовых восклицаний: держи! лови! Этот запас представляет *единственную правду*, которую каркающие мудрецы имеют за собой. Все остальное — и угрозы, и перспективы — все это не более как лганье, пущенное в ход ради переполоха, имеющего дать им возможность ловить рыбу в мутной воде.

Но можно ли жить с одними скорпионами, хотя бы и сдобренными лганьем?

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Милая тетенька!

Вы упрекаете меня в молчании, а между тем, право, более аккуратного корреспондента, нежели я, едва ли даже представить себе можно. Свидетели могут подтвердить, что я ежемесячно к вам пишу, но отчего не все мои письма доходят по адресу — не знаю. Во всяком случае, это так меня встревожило, что я отправился за разъяснениями к одному знакомому почтовому чиновнику и, знаете ли, какой странный ответ от него получил? «Которые письма не пужно, чтоб доходили,— сказал он мне,— те всегда у нас пропадают». Но так как этот ответ не удовлетворил меня и я настаивал на дальнейших разъяснениях, то приятель мой присовокупил: «Никаких тут разъяснений не требуется — дело ясно само по себе; а ежели и существуют особенные соображения, в силу которых адресуемое является равносильным неадресованному, то тайность сию, мой друг, вы, лет через тридцать, узнаете из «Русской старины».

С тем я и ушел, что предстоит дожидаться тридцать лет. Многонько это, ну, да ведь ежели раньше нельзя, так и на том спасибо. Во всяком случае, теперь для вас ясно, что ваши упреки мной не заслужены, а для меня не менее ясно, что ежели я желаю переписываться с родственниками, то должен писать так, чтобы мои письма заслуживали вручения.

Ясно и многое другое, да ведь ежели примешься до всего доходить, так, пожалуй, и это письмо где-нибудь застрянет. А вы между тем уж и теперь беспокоитесь, спрашиваете: жив ли ты? Ах, добрая вы моя! разумеется, жив! Слава богу, не в лесу живу, а тоже, как и прочие все, в участке прописан!

Вообще я нынче о многом сызнова передумываю, а между прочим и о том: отчего наши письма, от времени до времени, не доходят по адресу? — и знаете ли, *к какому я заключению пришел?* — сами мы во всем виноваты! Письма надо писать

кратко и складно, чтобы сразу можно было понять, в чем суть, а мы пишем пространно и нескладно; в письмах надобно излагать лишь нужные предметы, а остальное посвящать родственным излияниям, а мы наши письма наполняем околичностями, а об родственных чувствах умалчиваем. Вот как. по-настоящему, следует писать: «Милая тетенька! Я, слава богу, жив и здоров, чего и вам от души желаю! Вчера был день рождения покойного дяденьки, и я надеюсь, что вы провели оный в молитве! Но отчаиваться, однако ж, не следует, а надо помнить, что мы не для сего рождены!! Живите — не бойтесь! но, главное, старайтесь находиться в мире с соседями. Потому что всё это сведущие люди¹. И я тоже живу, не боюсь, но стараюсь быть в ладу с дворниками. И, слава богу, веду себя, кажется, хорошо!! На днях призывал меня наш околоточный и говорит: вы так хорошо себя ведете, что ожидайте публичной похвалы!! В чем же, говорю, оная похвала будет состоять?! Однако ж он не открыл, а только усмехнулся и молвил: лучше, как сами своевременно сей сюрприз узнаете. И не велел отлучаться из дома, дабы похвалы не прозевать. И я сижу теперь в ожидании!!! Братцам и сестрицам потрудитесь передать мой сердечный привет: я думаю, выросли. А у нас всё благополучно, только говядина сильно вздорожала, так что вынуждены мы с сим продуктом обходиться осторожно. Вообще, у кого аппетит хорош, тот должен ныне или сокращать оный, или же стараться как можно чаще в гостях обедать. Но тогда те, к коим начнем «запросто» учащать, могут вознегодовать. Затем, целуя ваши ручки, остаюсь любящий вас племянник» и т. д. В таком виде письмо, наверное, ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет, а так-таки целёхонькое и дойдет по адресу.

Но ведь вы у меня такая любопытная, что, наверное, спросите: что же заключалось в том письме, которое до вас не дошло? — Но этого-то именно я и не могу вам открыть, потому что если начну открывать, то и это письмо непременно не дойдет. Скажу только, что письмо было длинное, и содержание его было интересное. Тем не менее, если б мы с вами жили по ту сторону Вержболова (разумеется, оба), то несомненно, что оно было бы вами получено. Я, впрочем, крепко надеюсь на «Русскую старину»: когда-нибудь она это письмо напечатает. Но во всяком случае вы можете быть уверены, что я основ не потрясал.

¹ Писано в 1881 году, когда на «сведущих людях» покоились все упования России, а издано в 1882 году, когда представление о сведущих людях сделалось равносильным представлению о «крамоле». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Вы мой образ мыслей знаете, а дворники знают, сверх того, и мой образ жизни. Я ни сам с оружием в руках не выходил, и никого к тому не призывал и не поощрял. Когда я бываю за границей, то многие даже тайные советники меня, в этом отношении, испытывают и остаются довольны. «Но отчего же у вас такая репутация?» — спрашивал меня на днях один из них в Париже. — Не могу знать, ваше превосходительство, — отвечал я, — так что-нибудь... И так я был счастлив, голубушка, что мог хоть сколько-нибудь поправить свою репутацию в глазах этих могущественных людей! Хотел было, в знак благодарности, несколько сцен из народного быта им рассказать, но вдруг отчего-то показалось подло — я и промолчал.

Как бы то ни было, но в пропавшем письме не было и речи ни о каких потрясениях. И, положив руку на сердце, я даже не понимаю... Но мало ли чего я не понимаю, милая тетенька?.. Не понимаю, а рассуждаю... все мы таковы! Коли бы мы понимали, что, не понимая... Фу, черт побери, как, однако же, трудно солидным слогом к родственникам писать!

Нынче вся жизнь в этом заключается: коли не понимаешь — не рассуждай! А коли понимаешь — умеи помолчать! Почему так? — а потому что так нужно. Нынче всё можно: и понимать и не понимать, но только и в том и в другом случае нельзя о сем заявлять. Нынешнее время — необыкновенное; это никогда не следует терять из виду. А завтра, может быть, и еще необыкновеннее будет, — и это не нужно из вида терять. А посему: какое пространство остается между этими двумя дилеммами — по нем и ходи.

Помнится, впрочем, что я всю жизнь по этому коридору ходил и всё старался, как бы лбом стену прошибить. Иногда стена как будто и подавалась — ах, братцы, скорее за перья беритесь! Но только что, бывало, начнет перо по бумаге скользить — смотришь, ан и опять твердыни вокруг. Ах, тетенька, что такое мы с вами? всем естеством мы люди несвоевременные, ненужные, несведущие! Натурально, что мы можем только путать и подрывать. Однако странно, какая у этих ненужных людей сила. Шутя напутают, а краеугольные камни, смотришь, в опасности.

Вы спрашиваете, голубушка, хорошо ли мне живется? Хорошо-то хорошо, а всё-таки не знаю, как сказать. Притеснений — нет, свобода — самая широкая; даже трепетов нет — помните, как в те памятные дни, когда, бывало, страшно одному в квартире остаться — да вот поди ж ты! Удивительно как-то тоскливо. Атмосфера словно арестантским чем-то насыщена, света нет, голосов не слышать; сплошные сумерки, в которых

витают какие-то вялые существа. Куда бредут эти существа и зачем бредут — они и сами не знают, но, наверное, их можно повернуть и направо, и налево, и назад — куда хочешь. Всем как-то всё равно. В самых интимных кружках разговоры ведутся какие-то прошлогодние, а иногда и прямо нелепые, а когда идешь вечером по улице, то просто даже оторопь берет. Такого обилия неосвещенных окон никто не запомнит: точно все собралось говеть. А если и видишь где-нибудь в окне огонек, то, наверное, там, при трепетном свете керосиновой лампы, какой-нибудь современный Пимен строчит и декламирует:

Еще одно облыжное сказанье,
И извещенне окончено мое...

Тихо, тетенька! чересчур уж тихо. Не то чтобы что-нибудь непосредственно грызло, как, помните, в то время, когда всякий сам перед собой исповедовался, а просто самая жизнь как будто оборвалась. Коли хотите, и среди этой тишины, от времени до времени, раздается полемика, но односторонняя и как-то чересчур уж победоносная. Захрюкает вдруг свинья, или кто-нибудь из подсвинков и поросят — и сразу победят. Налгут, наябедничают и, не вызвавши возражений, потонут в собственном навозе. И никто не удивляется, что только изъеденные трихинами голоса свободно раздаются в пространстве; напротив, все как бы убедились, что это единственно подходящая формула, которую способна была отыскать для себя торжествующая современность.

Такая же тоскливая вялость и в литературе. Трихинные-то голоса, по преимуществу, в ней и раздаются. В былое время только один хлев на всю литературу полагался, а нынче их считают десятками. И везде раздаются победоносное хрюканье, везде кого-нибудь чавкают. Мысль потускнела, утратила всякий вкус к «общечеловеческому»; только и слышишь окрики по части благоустройства и благочиния. Страстность заменена животненной злобою, диалектика — обвинениями в неблагонадежности... может ли быть что-нибудь более омерзительное? И, право, никто, кажется, не жалеет, что уровень литературы так низко пал. Напротив того, и на улицах, и в распивочных домах без всяких околичностей провозглашают: давно пора на эту паскудную литературу намордник надеть! На днях захожу в ресторан закусить — смотрю, Расплюев около буфета так и закатывается! Хлещет литературу по чем попало, да и шабаш. «Расплюев! — говорю я ему, — да вы вспомните, что у вас на лице нет ни одного места, на котором бы следов человеческой пятерни не осталось!» А он в ответ:

«Это, говорит, прежде было, а с тех пор я исправился!» И что же! представьте себе, я же должен был от него во все лопатки удирать, потому что ведь он малый серьезный: того гляди, и в участок пригласит! Но воображаю я, кабы выискался молодец, который сказал бы в Англии, во Франции или в Германии, что на литературу намордник надеть надо, сколько бы он в один день постороннего кала съел!

Я знаю многих, которые утверждают, что только теперь и слышатся в литературе трезвенные слова. А я так, совсем напротив, думаю, что именно теперь-то и начинается в литературе пьяный угар. Воображение потухло, представление о высших человеческих задачах исчезло, способность к обобщениям признана не только бесполезною, но и прямо опасною — чего еще пьяне нужно! Идет захмелевший человек, тыкаясь носом в навозные кучи, а про него говорят: вот от кого услышим трезвенное слово.

Да, хоть и ладно, по-видимому, живется, а все-таки думаешь: куда бы от этой жизни деваться? Злости чересчур уж много завелось — никогда столько не бывало. Иной совсем ничего не смыслит, а тоже, глядя на других, злобствует. И нет этой бессодержательной злобе отпора. Ругаются, пасквильянтствуют, ханжат, брызжут бешеной пеной, стучат пустыми ладьями в пустые перси, грозят очами и — что всего ужаснее — хранят полную уверенность, что противная сторона будет безмолвствовать. Обвинения сыплются как из рога изобилия, обвинения бессмысленные, которые сам обвинитель ни объяснить, ни поддержать не может, но которые тем не менее считаются непререкаемыми. Возражают на это, что ведь и последствий ощутительных от этих обвинений нет... Однако ведь это смотря по тому, что разумеет под именем «ощутительных последствий». Для иного ведь и то уж «ощутительно», что этим паскудным обвинениям нет отпора...

Иногда мне представляется вопрос: поддастся ли наше общество наплыву этого низкопробного озлобления, которое до остервенения набрасывается на все, выходящее за пределы хлевой атмосферы, или же оно будет только наружно окачено им, внутренне же останется верным тем инстинктам порядочности, которая до сих пор, от времени до времени, прорывалась в нем? — И знаете ли, к какому я пришел убеждению? — непременно останется верным порядочности. Как ни запугано наше общество, как ни слабо развито в нем чувство самостоятельности, но несомненно, что внутренние сочувствия его направлены в сторону доброго и плодотворного дела. Это единственное — и, надо сказать, весьма доброкачественное — утешение, которое представляется человеку,

осужденному безмолвно стоять, в качестве обвиняемого, перед сонмищем невежественных и злых уличных лоботрясов.

Но спрашивается: насколько подобные утешения могут поддерживать в человеке охоту к жизни?

Однако, чего доброго, вы упрекнете меня в брюзжании и преувеличениях. Вы скажете, что я нарисовал такую картину жизни, в которой, собственного говоря, и существовать-то нельзя. Поэтому спешу прибавить, что среди этой жизни встречаются очень хорошие оазисы, которые в значительной мере смягчают общие суровые тоны. Один из таких оазисов устроил я сам для себя, а следовательно, и всем прочим не препятствую последовать моему примеру.

Все прошлое лето, как вам известно, я прошатался за границей (ужасно, что там про нас рассказывают!) и все рвался оттуда домой. А между тем ведь там, право, недурно. Какие фрукты в Париже в сентябре! какие рестораны! какие магазины! какая прелестная жизнь на бульварах!

Утром, натурально — газеты. Нарочно выбираешь самые задорные, думаешь: надо же за границей все заграничные чувства испытать, а между прочим и чувство петролейщика. То есть не то чтобы сделаться оным, а так, сидя за кофеем, вдруг воскликнуть: а! так вот оно что! Но, к удивлению, читаешь-читаешь и, после двухчасового шуршанья газетной бумагой, испытываешь только одно чувство: что в голове сумбур. Тогда принимаешься за свои родные газеты (их почта приносит несколько позднее): тут сумбура нет, а только как будто ничего не читал.

Смотришь, утро-то и прошло. Вечером — в театре. Дают: «Niche»¹, «La biche au bois»², «Divorçons»...³ Жюдик в купальном костюме... ах! А в «La biche au bois» — сразу до полутораста почти обнаженных женских тел на сцену брошено! Какой это производит эффект, можно судить по тому, что подле меня один русский сведущий человек сидел, так он ногами всю бархатную обивку на кресле ободрал и все кричал: пошевеливай! Затем, выйдешь из театра — опять во все стороны праздник. Идешь сплошной линией освещенных ресторанов; потребитель на тротуары высыпал; повсюду — гул мужских и женских голосов; повсюду — свет, движение, довольство... Целые снопы огней льются на улицу, испещренную

¹ «Ниниш».

² «Лань в лесу».

³ «Разведемся».

движущимися фонарями фиакров, а над головой темное, звездное небо, и кругом — теплая, влажная сентябрьская ночь. Право, хорошо. Красиво, весело и, что важнее всего, точно как будто это так и быть должно... И все-таки идешь в свой отель и только одну думу думаешь: господи! да когда же домой-то, домой!

Приехали. Уж в Вержболове мне показалось, точно я в рай попал. Представьте себе: желтенькие бумажки берут! Что стоит порция рябчика? — шесть гривен. — Вот тебе желтенькая. Берут и... сдачи два двугривенных дают! Ну, а на это что купить можно? — оказывается, что можно выпить два стакана чаю с лимоном и с булками... И все это пресерьезно, точно в самом деле мену производят: ты мне деньги даешь, а я тебе товар отпускаю... Вот что значит отвычка! видишь поступки самые правильные — и глазам не веришь... Все думаешь: как это так? пять минут назад на желтенькую бумажку и смотреть никто не хотел, а тут с руками ее рвут! Ах, немцы, немцы! если б вы только знали, какое будущее этой бумажке предстоит — вы бы... Но нет, лучше до времени помолчим...

Народы завистливы, мой друг. В Берлине над венскими бумажками насмеваются, а в Париже — при виде берлинской бумажки головами покачивают. Но нужно отдать справедливость французским бумажкам: все кельнерà их с удовольствием берут. А все оттого, как объяснил мой приятель, краснохолмский негоциант Блохин (см. «За Рубежом»), что «у француза баланец есть, а у других прочих он прихрамывает, а кон и совсем без баланцу живут».

Но вот, наконец, и Петербург. Приехали, сыскали рыдван — ах, да не возили ли в нем оспенных? — ну, с богом, трогай! Едем: на улицах чуть брезжит, сверху изморозь, лошади едва ногами перебирают, кнут так и стучит по крышке кареты. Стой! подкова у одной лошади свалилась... И вдруг мысль: а ведь в Париже сегодня «Le monde où l'on s'ennuie»¹ дают... Эх, хорошо бы в обратный путь! Конечно, это ложный позыв, но кто же может поручиться в настоящее загадочное время, где кончается действительное желание и где начинается ложный позыв?

Наконец, однако ж, приехали: тпру-у, ка-торж-ные! Лестница освещена, в квартире топлено, на столе — самовар и мягкие филипповские булки. Хорошо, что и говорить. Вот это именно и мелькало в Париже, когда так страстно звенела в голове мысль: домой! В представлении о самоваре есть что-то до того ласкающее и притягивающее, что многие связы-

¹ «В царстве скуки».

вают с ним даже представление о прочности семейного союза. Как бы то ни было, но цыганским скитаниям — конец. Конец отелям, с их сомнительным проплеванным комфортом, конец нелепой еде в ресторанах и за табльдотами, конец разноязычному говору! Спокойствие, тишина, простор, тепло, настоящий письменный стол, собственные постели, домашняя кухня, пироги... Брусники-то наварили ли? посолили ли рыжичков?

Оказывается, что и насолили и наварили. Да вот еще тетенька отварных белых грибов из деревни прислала!.. ах, тетенька! И какие грибки — один к одному! Шляпки — смуглые, корешки — под самую шляпку срезаны... проказница вы, право! И еще оказывается, что в лавках уж с неделю как кислая капуста оказалась — стало быть, завтра к обеду можно будет кислые щи соорудить, а пожалуй, и пирог с свежей капустой затеять... Целую ночь я жил этой надеждой, да и на другой день утром, разбирая бумаги, все думал: а вот уж щипки из кислой капусты подадут!

Вот тихие удовольствия, которые встречают вас дома с первых же шагов и пользованию которыми никто в целом мире, конечно, не воспрепятствует. Но раз вы дали им завладеть собой, тон всей последующей жизни вашей уж найден. И искать больше нечего. «Дворникам-то, дворникам-то дали ли на водку?» — С приездом, вашескорodie! — «Благодарю! вот вам три марки!» — У нас, вашескорodie, эти деньги не ходят!.. — Представьте себе! «Ну, так вот вам желтенькая бумажка!» — Счастливо оставаться, вашескорodie!

Ну-с, господа домочадцы, давайте теперича жить. Кушайте, гуляйте... что бишь еще? Ну, да, впрочем, там видно будет! А куда кушайте и гуляйте! С дворниками не ссорьтесь, ибо начальство уважать надо. Иностранных слов на улице и в публичных местах не употребляйте, ибо это наводит простодушных слушателей на размышления о сокрытии образа мыслей. Я-то, конечно, знаю, что образ мыслей у вас самый благонадежный, но надобно, чтоб и другие это знали. Поэтому говорите внятно, не торопясь, точно перлы нижете. Пускай слушают.

Кажется, на первый раз довольно, да ведь пора уж и баньки. Ехали-ехали трое суток, не останавливаясь, — авось заслужили! «Господа дворники! спать-то допускается?» — Помилуйте, вашескорodie, сколько угодно! — Вот и прекрасно. В теплой комнате, да свежее сухое белье — вот она роскошь-то! Как лег в постель — сразу качать начало. Покачало-покачало — и вдруг словно в воду канул.

А на другое утро чай с булками и газеты. А нуте, рассказывайте, что у вас там? Представьте себе, тетенька, всё отлично.

Так, впрочем, я и ожидал. Одно только огорчило: письмо мое к вам на почте пропало — ну, да ведь я и другое могу написать. Сел, написал — смотрю: ах, ведь и это должно пропасть! Давай писать третье — и вот оно! А не посмотреть ли в окно, что делается на улице? Дети! бегите! покойника везут! Везут его четверкой под балдахин, впереди несут на подушках орден, сзади, непосредственно за колесницей, следуют огорченные родственники, за ними — бесконечная вереница карет. Кого хоронят? — тайного советника и кавалера. Только что начал было надежды подавать — взял да и умер. Четыре дня тому назад был совершенно здоров, утром ездил с визитами, убеждал в необходимости утвердить потрясенные основы, предлагал средства, понравился и воротился домой бодрый, сияющий, обнадеженный. Но, к несчастью, к обеду пришел другой тайный советник, и для дорогого гостя подали к закуске грибков. Оба покушали, но другой-то тайный советник превозмог, а этот — не превозмог. И вот теперь другой тайный советник идет за гробом и рассказывает:

— И всего-то покойный грибков десяток съел, — говорит он, — а уж к концу обеда стал жаловаться. Марья Петровна спрашивает: что с тобой, Nicolas? а он в ответ: ничего, мой друг, грибков поел, так под ложечкой... Под ложечкой да под ложечкой, а между тем в оперу ехать надо — их абонементный день. Ну, не поехал, меня вместо себя послал. Только приезжаем мы из театра, а он уж и отлетел!

Проехала печальная процессия, и улица вновь приняла свой обычный вид. Тротуары ослизли, на улице — лужи светятся. Однако ж люди ходят взад и вперед — стало быть, нужно. Некоторые даже перед окном фруктового магазина останавливаются, постоят-постоят и пойдут дальше. А у иных книжки под мышкой — те как будто робеют. А вот я сижу дома и не робею. Сижу и только об одном думаю: сегодня за обедом кислые щи подадут...

И представьте себе, даже совсем забыл о том, что мне еще придется свой образ мыслей в надлежащем свете предъявить! Помилуйте! щи из кислой капусты, поросенок под хреном, жаркое, рябчики, пирог из яблоков, а на закуску: икра и балык — вот мой образ мыслей! Полагаю, что этого совершенно достаточно, чтобы заслужить похвалу!

Но вот наконец слышались очаровательные звуки расставляемых тарелок и стаканов... Еще четверть часа — и на столе миска, из которой валит пар... Тетенька! простите меня, но я бегу... Я чувствую, что в моей русской груди дрожит русское сердце!

Если б во всех квартирах существовали подобные оазисы — это был бы идеал общежития. Сообразите одно: какое последует сокращение переписки и как обрадуются дворники! И я твердо убежден, что так это и будет, только не надобно торопиться, а тем менее понуждать. Надобно так это дело вести, чтобы всякий человек как бы добровольно, сам от себя сознал, что для счастья его нужны две вещи: пирог с капустой и утка с груздями. А к этому, разумеется, и прочая обстановка: приличная мебель, удобный экипаж, возможность принять двух-трех приятелей и как следует напиться, а вечером пультка или две по маленькой. Но долгов все-таки делать не надлежит.

Само собой понимается, что осуществление подобного идеала доступно преимущественно для культурного человека, ибо для того, чтоб иметь возможность выбирать между уткой с груздями и поросенком с кашей, нужно иметь вольный доход. У кого есть имение — тот пусть с имения получает; кто в разных местах дивидендами пользуется... пусть получает дивиденды. Однако можно и трудовыми деньгами благородно жить и даже рассчитывать в перспективе на хорошее будущее. Получил за работу рубль: полтину проживи, а полтину за процент отдай. Только и всего. Сколько таких полтин в год наберется! да еще проценты на них! А нынче, тетенька, деньги всякому нужны, стало быть, и процент за них сообразный идет. Тут только не зевай.

Конечно, вы, живя в деревне, можете возразить: не всякому, мой друг, доступно полтинники-то откладывать, потому что есть очень многочисленный класс людей... Угадываю я, милая, про какой вы класс говорите, да ведь я этого «класса людей» и не имею в виду. Я и сам это возражение, за границей, тайному советнику Дыбе сделал — и знаете ли, что он мне ответил? «А прочие пусть пребывают в трудах» — только и всего! Именно так оно на практике и происходит. Есть люди, которые имеют специальностью физический труд, и ежели эта задача выполняется ими исправно, то больше ничего от них и не требуется. Ведь и мы с вами работаем, только в другой сфере, и предки наши тоже работали, а мы теперь пользуемся плодами от трудов их праведных. Таким образом, при правильном порядке вещей, оно и идет: мы — свое дело делаем, а люди физического труда — свое. Но и последним не возбраняется благополучие свое потихоньку воздвигать — и воздвигают. Примеры налицо: Разуваев, Колупаев, а у вас, вы пишете, Финагеич процвел.

А кто этот Финагеич? — не больше, как бывший ваш дворовый человек, который, еще при покойном деденьке, у вас

в доме буфетчиком служил. Помните, бывало, он говорил: я, по милости барской, сыт, обут и одет — никакой мне воли не надобно! А между тем оказывается, что он откладывал и все об воле мечтал. Маленькое тогда полагалось буфетчикам жалованьишко — рублей шесть в год, — а он и его уберегал, да найдет, бывало, гривенничек на полу — и его к числу прочих присовокупит. Поедет покойный деденька в дальнюю оброчную вотчину побывать, Финагеича с собой возьмет, а он там сбереженья свои хорошему мужичку за процент отдаст. И делал он это так тихо и благородно, что деденька так и умер, не зная, что у него в буфете капиталист сидит. Помните, он однажды повеситься хотел, чуть живого из петли вынули — это оттого, как он мне потом сознался, что ему вдруг с чего-то показалось, будто барин об его капитале узнал. Только эмансипация и успокоила его; она же и оказала, что у Финагеича кòдка с соком припасено. Зато он теперь и орудует. Когда яйца в ходу — яйца скупает; когда шерсть нипочем — шерстью занимается. А не то подстерегает, когда с мужичков подати требовать начнут. Кабачок тоже в Ворошилове держит, лавочку. Да и вашей старинной ласки не забывает: на книжку всякую мелочь по домашности отпускает и никакими требованиями об уплате не досаждаёт. Только вы не очень все-таки «книжку»-то запускаяте, потому что, не ровен час, и не увидите, как ворошиловское-то ваше гнездо к Финагеичу в руки перейдет.

Вы в восхищении от Финагеича, а я и того больше, потому что для меня он пример и доказательство. Я всегда говорил: для того чтоб сделаться Финагеичем, нужно только уметь «подстерегать», а кому же и кто в этом препятствие полагал? А если и встречается препятствие, то оно не от чьей-нибудь воли исходит, а есть следствие естественной и ни от кого не зависящей игры экономических законов. Эта игра не допускает, чтобы *все* держали кабаки, *все* торговали яйцами, *все* подстерегали мужичка. И не допускает правильно, потому что если бы все-то подстерегали, тогда и подстерегать было бы некого. Но повторяю: никто в этом не причинен, а само собою оно так делается. Пути никому не заказаны, а успевает, разумеется, тот, кто острым разумом одарен. Помните вашего Ваньку-форейтора? — так пред ним хоть все двери настежь отворите, он все-таки мимо пройдет. На днях приходит, по старой памяти, ко мне — ну, так ослаб, так ослаб, что на ногах не стоит! Жил прежде в извозчиках, а теперь ни один хозяин даже в этой скромной должности его держать не хочет. Ну, и я, с своей стороны, не только ничего ему не дал, а, напротив, сказал: пеняй, братец, сам на себя! Но пеняет ли он

после моего поучения или не пеняет — это уж я сказать не умею.

Однако ж, кажется, я увлекся в политико-экономическую сферу, которая в письмах к родственникам неуместна... Что делать! такова уж слабость моя! Сколько раз я сам себе говорю: надо поостроже за собой смотреть! Ну, и смотришь, да проку как-то мало из этого самонаблюдения выходит. Стар я и болтлив становлюсь. Да и старинные предания в свежей памяти, так что хоть и знаешь, что нынче свободно, а все как будто не верится. Вот и стараешься болтовней след замести.

В сущности, когда, по прибытии из-за границы, я, обращаясь к домочадцам, сказал: кушайте и гуляйте — я именно настоящую ноту угадал. Но когда я к тому прибавил: а дальше видно будет — то заблуждался. Ничего не будет видно.

На днях, пообедавши, достал я старинные книжки: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого — и стал читать. Хорошо — слова нет, но как-то странно... Для чего все это писалось? Блестящие мысли, раздражающие подстрекательства, мечты, бредни, а трезвенных слов — ни одного. Скажите, разве современному человеку мечты нужны? нет, ему гораздо приятнее знать, снабжены ли городские свистками и бодрствуют ли дворники. Ежели снабжены и бодрствуют — он спокоен; ежели не снабжены и спят — он дрожит. Не до Пушкиных нам. Вот когда все устроится прочно, когда во всех сердцах поселится уверенность, что с внутренней смутой покончено, — тогда и опять за Пушкина с Лермонтовым можно будет взяться. Ибо, в сущности, они писали недурно — этого нельзя отрицать.

Не дальше как вчера я эту самую мысль подробно разглядел перед общим нашим другом, Глумовым, и представьте себе, что он мне ответил! «К тому, говорит, времени, как все-то устроится, ты такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина с Лермонтовым, а и Фета с Майковым понимать перестанешь!» Но что всего обиднее: сказать-то не поцеремонился. а обедать остался. За обедом, однако ж, я стал требовать от него объяснения, в каком смысле слова его понимать нужно, и как бы, вы думали, он объяснился? «Да ты, говорит, подойди к зеркалу да и посмотри на себя!» Ну, и домочадцы тут же пристали: посмотри да посмотри! Делать нечего, встал, посмотрелся — ан из глаз-то у меня поросенок под хреном глядит!!

Но обществу до всех этих глумовских превыспренности дела нет; общество хочет жить. Я не знаю, как вам это объяснить, милая тетенька, но именно одна эта идея и господствует

над всем. То есть идея об ограждении человеческой породы от могущих угрожать ей случайностей исчезновения. В одно прекрасное утро вы выходите на улицу и видите, что все живущее съежилось. Вот это-то самое и означает, что «общество» вознамерилось оградить себя от напрасной смерти. Оно не высказывается прямо ни относительно людей, зараженных «бреднями», ни относительно дворников, но как-то уж чересчур проворно перебегает с одной стороны улицы на другую, как только увидит возможность сомнительной встречи. Вы видите целую массу обуреваемых жаждою жизни людей и только удивляетесь храбрости, с которою они рискуют попасть под колеса конножелезнодорожных вагонов и скачущих взад и вперед экипажей.

Да, есть и у трусости своего рода храбрость. Недаром компетентные люди рассказывают, что встречаются субъекты, которые, имея в перспективе завтрашнее сражение, предпочитают накануне покончить с собой при помощи удавки...

Я вовсе не хочу сказать этим, что господствующий в современном обществе тон — предательство и вероломство. Я говорю только, что над общественным организмом, в каких бы условиях существования он ни находился, всегда тяготеет неприменное желание жить. При благоприятных условиях это желание выражается свободно, естественно; при условиях неблагоприятных — спутанно и уклончиво. Если б можно было ходить по улице «не встречаясь», любой из компарсов современной общественной массы шел бы прямо и не озираясь: но так как жизнь сложна и чревата всякими встречами, так как «встречи» эти разнообразны и непредвиденны, да и люди, которые могут «увидеть», тоже разнообразны и непредвиденны, — вот наш компарс и бежит во все лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть под лошадей.

На мой вкус, эта храбрость не симпатична; однако не могу не сказать в ее оправдание, что при известных условиях она принимает почти обязательный характер. В отношении к отдельным и выдающимся личностям излишнее чувство самосохранения, конечно, не должно считаться особенно похвальным качеством, но общество, взятое в целом, руководится в этом случае совсем иными правилами. Оно *обязывается сохранить себя* даже ценою временного обезличения. Так что, ежели вы видите массы компарсов, перебегающих с одной стороны улицы на другую, под влиянием общественного переполоха, то это совсем не значит, что общество изменило своим симпатиям и антипатиям, а значит только, что оно не сознает себя достаточно сильным, чтобы относиться самостоятельно к дворницкому игу.

Эпохи, в которые с особенной силой проявляется это общественное двоегласие, суть эпохи очень печальные и, может быть, даже безнравственные. Но нельзя, не впадая в крайнюю несправедливость, относить к обществу то чувство негодования, которое при этом возбуждается. Не оно тут на первом плане, а тот воздух, те миазмы, которыми оно дышит. Ведь оно дышит этими миазмами не добровольно; не потому, что признает их здоровыми, а потому, что деваться от них некуда. А между тем, повторяю, на нем, на этом еле дышащем обществе, лежит фаталистическая обязанность жить. Жить, то есть оградить будущее идущих за ним поколений.

Наше общество немногочисленно и не сильно. Притом, оно искони идет вразброд. Но я убежден, что никакая случайная вакханалия не в силах потушить те искорки, которые уже загорелись в нем. Вот почему я и повторяю, что хлевное ликование может только наружно окатить общество, но не снесет его, вместе с грязью, в водосточную яму. Я, впрочем, не отрицаю, что периодическое повторение хлевных торжеств может повергнуть общество в уныние, но ведь уныние не есть отрицание жизни, а только скорбь по ней.

То же самое явление обезличения несчетное число раз отражалось и на нашей литературе, и именно по преимуществу на той ее части, которая провозглашала принципы человечности и была наиболее предана интересам родины. Бывали для этой литературы времена очень тяжкие, и длились они беспробудно и бессрочно, но она и за всем тем никогда не умолкала. Как бы инстинктивно чувствовала она, что на ней лежит обязанность оберечь будущее человеческой мысли, будущее лучших человеческих стремлений, и что если она хоть на минуту смолкнет, то молчание это будет равносильно смерти. Благодаря этому, она живет и дондеся. Серая, чахлая, еле дышащая, но живет.

Нет зрелища, более надрывающего человеческое сердце, как зрелище общего уныния, общей скорби по жизни. Но все-таки не надо думать, что общество когда-нибудь погибнет под гнетом этого уныния и что оно вынуждено будет воспринять хлевные принципы в свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже в том случае, ежели она выступает вперед назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себе: нет, этому нельзя стать! не может быть, чтоб бунтующий хлев покорил себе вселенную! Не следует забывать, что хлевные принципы обязаны своим торжеством лишь совершенно исключительным обстоятельствам, которым общество ни в каком случае непричастно. Но ведь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить в свои права. И она вступит. И компарсы,

так усердно, под гнетом паники, перебегающие через дорогу, дабы уйти от компрометирующих встреч, вновь почувствуют присутствие оживляющих искорок и сумеют отличить тех, которые в минуты уныния поддерживали в обществе веру в жизнь, от тех, которые вносили в него только язву междоусобия.

Я твердо верю, что такой момент наступит и что так называемые «бредни» ежели и не восторжествуют вполне, то, во всяком случае, будут иметь свое значение на весах будущего. Поэтому и вас, милая тетенька, прошу: не ослабевайте! Кушайте, гуляйте, почивайте! но все-таки помните, что прошлое обязывает. И ежели ваш урядник будет вас убеждать: сударыня! послушайте, какой приятный лай с Москвы несется — не присоедините ли и вы к нему своего собственного? — то отвечайте кратко, но твердо: во-первых, я не умею лаять, а во-вторых, если б и умела, то предпочла бы лаять самостоятельно.

«Бредни» слишком разнообразны по своим целям, чтобы та или другая могла претендовать на непосредственное и всецелое осуществление. Но важно то, что у всех у них основной принцип один: человечность. Подробности и даже некоторыми существенными чертами можно и поступиться, но если даже только одно общее представление о человечности найдет себе достаточно прозелитов, то и это уже значительный шаг вперед. Человечность прольет в жизнь бальзам умиротворения, сообщит ей смягчающие тоны, удалит трепеты и сделает ее способною развиваться.

Повторяю: я убежден, что честные люди не только пребудут честными, но и победят, и что на стороне человеконенавистничества останутся лишь люди, вконец раздавленные личными интересами. Я, впрочем, отнюдь не отрицаю ни силы, ни законности личных интересов, но встречаются между ними столь низменные и даже столь подлые, что трудно найти почву, на которой можно было бы примириться с ними. Вот эти-то подлые инстинкты и обладают человеконенавистниками.

Будьте же бодры, голубушка, и не смущайтесь духом при виде компарсов, проворно улепетывающих ввиду непредвиденных встреч. Но кстати: так как вы жалуетесь на вашего соседа Пафнутьева, который некогда вас либеральными записками донимал, а теперь поговаривает: «надо же, наконец, серьезно взглянуть в глаза опасности...», то, относительно этого человека, говорю вам прямо: опасайтесь его! ибо это совсем не компарс, а корифей. Давно уж он «сведущим человеком» смотрит, давно протягивает руку к трубе, и в настоящую минуту, быть может, уже подносит ее к губам, чтобы вострубить.

Вообще эти земские грамотей глубоко мне не по душе. Орфографии не знают, о словосочинении — никогда не слыхивали, знаки препинания — ставят *ad libitum*¹, а непременно хотят либеральные мысли излагать. Да и мысли-то какие — по грошу пара! Когда-нибудь я подробнее с вами об этих корифеях поговорю, а теперь только повторяю: опасайтесь Пафнутьева, ибо у него в голове засело предательство. Это корифей, который только для прилику задумчивость на себя напускает, а в действительности он уж давно что следует решил, куда следует перебежал и теперь охорашивается. Таких людей нынче очень много развелось, и все они во что-то «серьезно вглядываются», в чайники, что их куда-то призовут, хоть в переднюю посидеть. Но, право, мне кажется, что подождет-подождет ваш Пафнутьев, а его так-таки никуда и не призовут: пускай в Торопце изнывает! Тогда он и опять к вам с либеральной запиской придет, — только уж вы, сделайте милость, прикажите его в ту пору в три шеи по лестнице гнать, потому что он, в противном случае, весь ваш дом запакостит. Уряднику, разумеется, об его вольнодумстве не доносит — это нехорошо, — а просто собственными средствами распорядитесь.

Помните ли вы тот вечер, когда Пафнутьев в нашем маленьком кружке (тут были: вы, я, маркиз Шассе-Краузе, Иванов, Федотов и в качестве депутата от крестьян ваш сельский староста Прохор Распротàков) прочитал свою первую либеральную записку: «Имеяй уши слышати да слышит»? Помните, как, по окончании чтения, вы отозвали меня в сторону и сказали: «ах, все мое существо проникнуто какою-то невыразимо сладкою музыкой!» А я на это (сознаюсь: я был груб и неделикатен) ответил: не понимаю, как это вы так легко по всякому поводу музыкой наполняетесь! просто дрянцо с пыльцой. Ах, как вы тогда на меня рассердились! Назвали неверующим, бессердечным, *un homme qui ne comprend pas la poésie du soeиг...*²

И я был глубоко несчастлив, слушая ваши укоры, до того несчастлив, что готов был просить у вас прощения и поцеловать Пафнутьева в уста... А теперь, что источают эти уста? Чей суд был правее: ваш или мой?

Нет, ради бога, не смешивайте вероломного корифейства Пафнутьевых с тою гнетущею подавленностью, которую вы, от времени до времени, замечаете в обществе! Примиритесь с последнею и опасайтесь первого.

¹ где им заблагорассудится.

² человеком, который не понимает поэзии сердца.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

А вот вам и еще оазис.

На днях стою у окна и вижу, что напротив, через улицу, в растворенном окне, вставши на подоконник и подоткнув платье, старушка перетирает стекла под зимние рамы. Беру бинокль, взглядываюсь и кого ж узнаю — Федосьюшку!

Помните ли вы Федосьюшку, которая при деденьке у вас в доме ключницей была? Еще странный такой случай с ней был: до сорока пяти лет, покуда крепостною была, ни на какие соблазны не сдавалась, слыла девицею, а как только крепостное право упразднили, так сейчас же забеременела? Помните, как покойный деденька стыдил ее, как ваш тогдашний батюшка, отец Яков, по просьбе деденьки, ее усовещивал: «ты думала любезноверное ликование этим поступком изобразить, ан, вместо того, явила лишь легковерие и строптивость!» Зачем они ее стыдили и усовещивали — теперь я этого совершенно не понимаю; но тогда мне и самому казалось: ах, какую черную неблагодарность Федосьюшка выказала! Однако как ни стыдили Федосьюшку, а она взяла да и родила Домнушку. Теперь этой Домнушке невступно двадцать лет, только она уж не Домнушка, а Ератидушка и обладает очень серьезными женскими атурами, которыми распоряжается с большим тактом. Впрочем, не будем предупреждать события...

Понятно, что один вид Федосьюшки взбудоражил во мне все дорогие воспоминания прошлого. До такой степени взбудоражил, что я не воздержался и на всю улицу крикнул:

— Федосьюшка! ты?!

Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохнулась; но когда увидела мои распростертые руки, то и сама умилилась душой. А через несколько минут мы уже беседовали, как старые приятели.

Тетенька! представьте себе, у Федосьюшки есть шляпка и ротонда! Шляпка, правда, не совсем модная, но года два тому назад и вы охотно надели бы такую. С красным пером. Ро-

тонда тоже не раз в чистке бывала, однако и теперь хоть статской советнице надеть не стыдно. Дома она ходит в чепце с оборками и в люстриновой блузе (исключая, однако ж, те случаи, когда моет окошки), но, идя ко мне, приделась, надела шелковый капот масака и, кажется, даже подмостила под него крахмальную юбку. Словом, старушка — хоть сейчас к любому столоначальнику в посаженные матери.

— Да какая же ты франтиха, Федосьюшка! — изумился я.

— А это меня дочка награждает, — отвечала она, — пойдёт-пойдёт, а потом мне отдаст. Кое я продам, а кое — перешибу и донашиваю.

Стали мы с ней о прошлых временах вспоминать: оказывается, что она благодарная. О крепостном праве вспоминает с удовольствием, говорит, что только тогда и был настоящий страх божий. И об вас вспомнила и много спрашивала: помните, говорит, вы с барышней соловьев в рощу слушать ходили? Призналась, что в повара Тимофея двадцать лет сряду была влюблена, но все не смела, а когда волю объявили, тогда осмелилась. Что, впрочем, совсем это не было с ее стороны строптивостью или желанием показать, что вот она теперь вольная, а надо же было когда-нибудь... А Тимофей, поживши на воле, сначала «ослаб», потом ослеп, а теперь поступил в богадельню. И она к нему раза два в месяц ходит, когда целковый, когда два снесет, да чайку, да сахарку: все же не чужие были!

— У кого же ты теперь живешь, Федосьюшка? — спросил я.

— А тут у дочки, насупротив вас, в квартире и живу. Да меня, признаться, Федосьей-то нынче уж не зовут, а Катериной, да еще Карловной. Да и Катериной-то зваться не велят, а Екатериной. И дочку из Домны в Ератиду переделали.

— Кто же это вас так окрестил?

— Все кавалеры наши... Ератидушка-то сразу к новому имени привыкла, а я долгонько-таки путалась. Пуще всего — анделов прежних жалко; я своему-то анделу двадцать девятого мая прежде праздновала, а нынче двадцать четвертого ноября праздновать велят.

— Господи! так, стало-быть, Домнушка-то...

— Что уж! шила в мешке, видно, не утаишь! В какетках, сударь, она. Так и в участке прописана.

— Кокотка то есть?

— Какотка ли, какетка ли... кто их там разберет! А впрочем, ничего, живем хорошо: за квартиру две тысячи в год платим, пару лошадей держим... Только притесняют уж очень это самое звание. С других за эту самую квартиру положение полторы тысячи, а с нас — две; с других за пару-то лошадей

сто рублей в месяц берут, а с нас — полтора ста. Вст Ератидушка-то и старается.

— Да каким же образом она на эту дорогу попала?

— А как попала?.. жила я в ту пору у купца у древнего в кухарках, а Домнушке шестнадцатый годок пошел. Только стал это старик на нее поглядывать, зазовет к себе в комнату да все рукой гладит. Смотрела я, смотрела и говорю: ну говорю, Домашка, ежели да ты... А она мне: неужто ж я, маменька, себя не понимаю? И точно, сударь! прошло ли с месяц времени, как уж она это сделала, только он ей разом десять тысяч отвалил. Ну, мы сейчас от него и отошли.

— Ах! как же это вы так! — огорчился я за старика.

— Ну, что его жалеть! Пожил-таки в свое удовольствие, старости лет сподобился — чего ему, псу, еще надо? Лежи да поживай, а то на-тко что вздумал! Ну, хорошо; получили мы эта деньги, и так мне захотелось опять в Ворошилово, так захотелось! так захотелось! Только об одном и думаю: попрошу у барыни полдесятинки за старую услугу отрезать, выстрою питейный да лавочку и стану помаленьку торговать. Так что ж бы вы думали, Ератидушка-то моя? — зажала деньги в руку и не отдает!

Федосьюшка закручинилась и уронила слезу. Я хотел было эту слезу залучить в пузырек, чтобы потом подвергнуть ее химическому разложению и определить, сколько в ней частиц семейного союза содержится и сколько других примесей, но, к сожалению, она торопливо отерла глаза и продолжала свое повествование.

Оказывается, что ведь Домнушка-то — умница! Несмотря на свои шестнадцать лет, она сейчас же поняла, что до поры до времени ей незачем в деревню ехать. Получивши от старика-купца десять тысяч, она рассудила, что это только начало и что в будущем ее молодость и красота должны дать ей гораздо больше. Поэтому, рискуя огорчить мамашу, она не только не отдала ей денег, но в короткое время рассорила их, по-видимому, самым непроизводительным образом. Наняла французенку, танцмейстера, учительницу музыки и целых полгода себя «обнатуривала», так что теперь и канкан может станцовать и на фортепианах побренчать, и «La chose» пропеть. Зато во всем прочем выказала бережливость самую рассудительную. «Бывало (сказывала мне Федосьюшка), извозчик двугривенный просит, так она ему никогда больше пятиалтынного не даст». И когда почувствовала, что совсем готова, то начала похаживать по гостинному двору.

Это был решительный шаг, которым она еще раз доказала, какая она умница. Она отлично поняла, что хотя у купцов

шпор нет, но зато у них есть лавки и в них всякий товар. Стало быть, деньги деньгами, а материи, вещи и бакалея — само собой. И точно: скоро ей и опять хороший случай вышел. Купец, да на этот раз уж молодой, встретился с ней на Крестовском и сразу понял, что она умница. И что ж бы вы думали, тетенька! другая, на ее месте, непременно продешевила бы (прежние-то деньги под исход уж шли), а она выдержала себя: дай, говорит, десять тысяч! Привезли они с мамашей этого купца к себе на квартиру и напоили его пьяного... И, должно быть у купца легкая рука была, потому что с тех пор Домнушке так и повалило. Дальше да больше, так что теперь меньше как с «сотельной» и не приступайся к ней.

Купцам она, во-первых, потому нравится, что хоть она и русская, а по-французскому так и «рждт»; во-вторых, потому, что она из их сословия не выходит, а в-третьих, потому, что уж очень чисто себя держит. Федосьюшка сначала была того мнения, что для гостиного двора чистота — пустое дело, но теперь и она убедилась, что купцы чистоту понимать могут. Одним словом, Домнушке нет отбоя от гостинодворских Меркуриев. По вечерам у нее, часов с девяти, почти всегда компания: пьют, в тринку играют, песни поют. Однако дебоширства или политических разговоров, а тем паче превратных толкований, Домнушка не допускает: сиди смирно, благородно, а не то и дворника велит мамаше позвать. И всегда она считается в части с тем, кто в тринку выигрывает. А в час, или много в половине второго ночи, уж ни одного огня в квартире не видно. Так что и соседи, видя, как Ератидушка солидно ведет себя, не нарадуются на нее.

В настоящее время мать и дочь живут душа в душу. Сначала Федосьюшка обижалась тем, что Домнушка не дает ей капиталом распоряжаться, но теперь поняла, что она умница. От времени до времени, впрочем, она получает от дочери то два, то три рубля и вот из этих-то денег побаловывает Тимофея. Одно время старушка домогалась, чтобы ей предоставлен был доход с карт, но Домнушка и тут очень рассудительно отказала ей, сказав, что доход этот должны делить между собой горничная (она же и за лакея) и кухарка. Зато прислуга обожает ее. Да и как не обожать! ведь, сверх карт, купцы, как подопьют, немало и на пол денег роняют — и это тоже прислуге достается. Словом сказать, в самое короткое время даже прислуга в такое блестящее положение пришла, что хоть сейчас кабак открывай!

Но, по-моему, главная заслуга Домнушки все-таки в том состоит, что она гостиному двору не изменяет. Согласитесь сами: ей всего двадцать лет, кругом усы, на каждом шагу

палаши, шпоры — долго ли до греха! Были такие, которые и подсылали, а она подумает, подумает: «нет, скажет, коли уж на какую линию попала, так и надо на этой точке вертеться!» Федосьюшка сказывала мне, что она и к тому купцу с повинною ездила, который ей первые десять тысяч подарил. Ничего, принял радушно, увел в кабинет, погладил и сказал: я и сам на твоём месте так же бы поступил. С тех пор она к нему во все большие праздники ездит, и он всякий раз ей две сотенных подарит. Но вот что удивительно: сам-то он уж нынче ногами не владеет, а возит его в коляске по комнатам девица Агриппина, так даже эта Агриппина к Домнушке никакой зависти не чувствует. Совсем напротив, от времени до времени даже посещает ее и занимается от нее обращением. Вот как умеет Домнушка всех в свою пользу расположить!

Одно только горе у нее: до сих пор ни одного жидка не успела к себе залучить. Но грек уже есть. Такой грек, который, по словам Федосьюшки, торгует орехами, да всё грецкими. И ей, старушке, по фунту и по два дарит.

Сколько успела Домнушка денег в течение пяти лет накопить — этого Федосьюшка доподлинно не знает. Но знает верно, что «умница» отнюдь не намерена бессрочно в «какотках» оставаться: еще годиков пять — и будет. Тогда она выйдет замуж за статского советника (даже и подыскала уж такого!), опять назовется Домной (болярыня Домна Тимофеевна — право, это звучит хоть куда!), и купит имение. Статского советника и теперь все в доме принимают, как родного, кормят пирогами и изредка позволяют посмотреть в замочную скважину, как Домнушка одевается. Но в свои комнаты «умница» допускает его редко и то когда нет гостей; в прочее же время предоставляет его в распоряжение мамыши, которая уводит его в свою комнату, и там они вчетвером, с горничной и кухаркой, дуются в свои козыри.

Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль смущает Домнушку? — Это мысль — во что бы то ни стало приобрести у вас Ворошилово. Разумеется, тогда, когда уж она будет статской советницей и болярыней. Хоть она была вывезена из Ворошилова пятилетком, так что едва ли даже помнит его, но Федосьюшка так много натвердила ей о тамошних «чудесах», что она и спит и видит поселиться там.

— Еще годков пять помыкаемся, — говорила мне Федосьюшка, — да выдем замуж за Ивана Родивоныча, а там и укажем в свое место. Беспременно она у барыни всю усадьбу откупит. Уж ты сделай милость, голубчик, напиши тетеньке-то, чтоб она годков пять покрепилась, не продавала. Слышали мы, что она с Финагенчем позапуталась, так мы и теперь можем

сколько-нибудь денег за процент дать, чтобы ее вызволить. А через пять лет и остальные отдадим — ступай на все четыре стороны!

— Да ведь доходы-то с Ворошилова... — сболтнул было я, но, к счастью, она сама меня прервала.

— И насчет доходу не сумлевайся, — сказала она, — это у тетеньки оно доходу не дает, а у нас — будет давать. Мы ведь по-другому хозяйство-то поведем, мы мужичка-то кругом окружим. Поцарствовали при тетеньке — и будет с них. И Финнагенча сократим — будь спокоен! А то закопался там, старый нес, думает, что и управы на него нет. Да вот еще, милый барин, вы тетеньке что напишите: чтоб рощицу-то, которая против усадьбы, она поберегла. Уж такая эта веселая рощица! Березки всё да дубки, а грибов сколько — страсть! Вот и будет по ней Ератидушка с Иваном Родивоным под ручку гулять!

И, помолчав с минуту, прибавила:

— А главная причина: храм божий в Ворошилове очень хорош! уж так-то хорош, ах, как хорош!

Я дословно передаю вам Федосьюшкину просьбу, милая тетенька, так как, по мнению моему, она заслуживает серьезного с вашей стороны внимания. Если нет у вас крайности, то действительно потерпите с Ворошиловым: Домнушка со временем хорошие деньги вам за него даст. Конечно, только контора Юнкера знает положительно, сколько у «умницы» денег, а я могу лишь предположенья на этот счет делать. Но предполагаю, что много. Ей же, во что бы то ни стало, хочется барыней быть и именно в том самом месте, которое ее мать видела в рабском состоянии. Уж и теперь она задумывается, как бы новый колокол для ворошиловского храма отлить, но покуда еще сомневается, будет ли ее жертва угодна. Но когда она делается статской советницей, тогда, наверное, жертва ее будет угодна. Притом же, у ней и план действий давно готов. Как только *засядет* она в Ворошилове, сейчас же откроет *свой* кабак, а при нем белую харчевню и лавку. Финнагенча вытеснит, так что мужички будут уж на нее одну работать. А статский советник будет на работы выходить и мужичков понуждать. Словом сказать, такую буколику заведут, какая и Виргилию не снилась. Те поля, которые у вас остаются невозделанными и на которых *ничего* не растет, будут у ней и возделаны и, выхолены, и станут на них всякие злаки дыбом расти. И все эти результаты будут достигнуты ею за ничто: где за стакан водки, а где и просто: а нуте-ка, девушки, приходите ко мне гуляючи на денек пожать! Во всяком случае, повторяю: помимо того, что всякому приятно в родном месте

пышным цветом расцвести, для нее и расчет купить Ворошилово; Федосьюшка будет тут ей действительно помощницей, потому что она всякую ворошиловскую былинку знает. Но, с другой стороны, имеются и слабые стороны у этих предположений. Пять лет — много, а тем временем Финагеич, пожалуй, успеет у вас всю округу высосать. А Домнушка на этот счет прозорлива: заметит, что ворошиловский мужичок на ладан дышит,— возьмет да и купит усадьбу у Пафнутьева, а к вам будет только к обедне ездить да колокола лить. Так вы уж за Финагенчем-то присмотрите да и коров-то своих, за год времени, подкормите — будто как настоящие коровы на скотном стоят. А вы еще пишете: Финагеич, за старые услуги, просит ему десятинку сзади парка, против деревни, отрезать... И не думайте! он вас этой десятинкой так поработит, а ежели вы чуть противное слово скажете, так вас по судам из-за нее водить начнет, что рады-радехоньки будете, ежели вас только в места не столь отдаленные ушлют! А вы лучше вот что сделайте: «книжку», на которую вы у Финагеича домашний припас забираете, сочтите и уведоьте меня, сколько в итоге окажется. Я и у Домнушки занимать не буду (воображаю, какой она процент возьмет!), а просто разыграю в вашу пользу лотерею.

Как бы то ни было, у вас теперь два покупателя в перспективе: Финагеич и Домнушка. Что касается до меня, то я положительно на стороне Домнушки. Подумайте! чего один этот срам стоит: за долг по Финагеичевой «книжке» (добро бы «по счету» мадам Изомбар!) отчину и дедину потерять!

Возобновивши знакомство с Федосьюшкой, я начал наблюдать за Домнушкиной квартирой, и могу только повторить: умница! умница! умница!

Каждое утро, в девять часов, стора в одном из окон ее спальни поднимается, и я вижу иногда bruneta, иногда блондина, но большею частью кавалера с проседью, который охорашивается перед трюмо и у которого на лице написано: в гостиный двор тороплюсь, отпираться пора! Умывается ли он — сказать не могу, но думаю, что ежели и умывается, то в лавке; но если и позабудет умыться, то никто на нем не взыщет. В одиннадцать часов поднимаются стору и в других двух окнах, и у среднего, перед туалетом, появляется сама Домнушка, в кофте, порядочно растрепанная, с косичкой («коса», покуда, покоится в картонке), болтающейся на плече. Лицо у нее утомлено; несколько минут она потягивается и зевает (и непременно крестит рот при этом), и изредка заглядывает под кофту, все ли там благополучно. Потом подходит к другому окну, около которого стоит шкаф, и вынимает вчерашнюю

выручку. Сотенные бумажки (одну, но иногда и больше) присоединяет к сотенным, десятирублевые к десятирублевым и т. д. Но если накануне купцы в тринку играли, то попадают и рублевые. Затем, приведя в порядок финансы, защелкнув пачки в каучуковые кружки и записав на бумажке итог, она на целый час исчезает. В это время она пьет кофе, смывает с лица вчерашние поцелуи и делает распоряжения по содержанию себя в чистоте, так чтобы в течение дня уже не возвращаться к этому предмету.

Спальная у нее не роскошно, но очень прилично убрана палевым кретоном. Через четверть часа является горничная и прежде всего собирает разбросанные по стульям и креслам принадлежности женского туалета. Потом начинает убирать постель, меняет белье («прачка каторжная одна чего стоит!» жаловалась мне Федосьюшка), и если заметит след какого-нибудь насекомого, то слегка посыпает матрац персидским порошком. Около половины первого Домнушка опять появляется и начинает отделять себе голову и лицо. До двух часов она не отходит от туалета, то присядет, то встанет, то отойдет подальше, то чуть не к самому стеклу зеркала лицом прильнет. В два часа лицо готово, и она подходит к окну — ну, точно сейчас распустившаяся роза, спрыснутая росой! Ахайте, купцы!

С двух до трех — одеванье. Домнушка стоит перед трюмо и, выгнув голову, смотритесь разом и в трюмо, и в туалетное зеркало, которое отражает ее атуры. Надевши корсет и обнаживши выхоленные плечи, она долгое время принимает самые разнообразные позы. То поднимет руки вверх, то опустит их, то перегнет стан на правый бок, то на левый, то вдруг быстро перевернется, как будто хочет сказать: а вот не поймаешь! И все это ради гостиного двора! И во все время продолжается отделка лица, хотя я должен сознаться, что отделка эта большею частию в том состоит, что Домнушка помуслит пальчик и в одном месте притрет, а в другом — наведет. Не мастер я эволюции-то эти описывать, да многого и не знаю, а можно бы целую книжку написать, и очень была бы в наше время эта книжка полезна, чтоб от превратных толкований отдохнуть. В начале четвертого Домнушка окончательно готова; она опять подходит к денежному шкапу, забирает деньги и исчезает из спальни. У подъезда ее ждет коляска, запряженная парой добрых лошадей, и она, закутанная в соболя, отправляется кататься. Но прежде всего едет к Юнкеру и на вчерашнюю выручку покупает «верные» бумаги, потому что не хочет потерять ни одного дня процентов.

С шести часов сторы в спальне опускаются. Вероятно, в это время Домнушка, снявши корсет, обедает с мамашей, отды-

хает и переодевается к вечеру. В девятом часу в гостиной собираются купцы. Организуется трывка или стуколка, ведется оживленный разговор, но, повторяю, политический элемент, даже в виде простых новостей, устранен раз навсегда. Вместо него введен элемент закуточный, так как с десяти часов на одном из столов появляются разнообразнейших сортов водки и бакалея. Иногда закуска бывает попроще, но иногда — очень богатая, смотря по тому, имеются ли в числе гостей бакалейщики и погребщики. Нужно, однако ж, сказать, что ежели и есть налицо бакалейщики, то Домнушка не всю привезенную ими бакалею ставит на стол, а половину откладывает. Так что ежели бы на другой день и ни один бакалейщик не пришел, то закуска все-таки подается приличная. Но зато случается, что всякий день целую неделю все бакалейщики ходят — тогда происходит избыток. Остатки относятся к статскому советнику, который небольшую часть сам съедает, а большинство продает в мелочную лавочку и из вырученных денег, с своей стороны, составляет капитал.

Однажды только я видел в окно, как чуть было не затеялась драка между купцами. Задрал, конечно, грек, который стал доказывать, что настоящая вера от греков пошла; а один из купцов вломился в амбицию и ответил, что спервоначалу, действительно, так было, но что истинный свет все-таки с Москвы воссиял. И вдруг, не успел грек и рта разинуть, как в одну секунду на обе щеки по плюхе получил. Однако Домнушка и тут нашлась. Потушила лампы и свечи и пригрозила послать за городовым. Купцы, разумеется, присмирели, а так как трывка была в самом разгаре и на столе было много денег, которые, во время смятения, перемешались, то общим советом было положено: отдать эти деньги Ератидушке. А она на другой день на них целую уйму облигаций от Юнкера привезла.

Во втором часу все кончается. Ужина не полагается, потому что купцы, и в течение вообще всей своей жизни, только закусывают, а настоящим образом есть не умеют. Огни во всех окнах потушены, и в квартире водворяется тишина. Кто-то гостит теперь там, за этими спущенными сторами: блондин или брюнет?

Вот, стало быть, целых два оазиса. И много таких я мог бы вам описать, но для этого надо целую бесконечную серию писем. Зедь только слава, будто весь Петербург превратными толкователями начинен, а, в сущности, превратных толкователей только с горсточку, а все остальное — оазисы. Говорят,

будто бы либералов много развелось — вот это, пожалуй, правда; но ведь и либерал тот же оазис, ибо и он от пирога с капустой не прочь — ну, и Христос с ним, пускай кушает! Я полагаю, что со временем и всё одни оазисы будут, только, как я уже прежде сказал, торопиться не надо. Принудительные меры никогда вожделенных результатов не приносили, а вот ежели пара рябчиков, вместо рубля, будет тридцать копеек стоить, да поросенок до пятидесяти копеек в цене упадет — вот это настоящее дело будет! Тогда и либералы не устоят против очевидности. И все в один голос возопиют: посмотрите, какие результаты!

К сожалению, однако ж, я должен сознаться, что принудительные взгляды у нас и до сих пор в большом ходу в той колючей части нашего общества, которая наполняет улицы и публичные места Петербурга. Только и слышишь кругом: в ежовых рукавицах держать надо, в бараний рог надо согнуть! Чудаки, право! не понимают, что если и могут быть результаты от ежовых рукавиц, то тех же самых результатов гораздо приятнее просто сытостью достигнуть можно! Да и как возможно не только целое общество, но даже отдельного человека в бараний рог согнуть? и про какие такие ежовые рукавицы идет речь? где они? откуда их взять? Словом сказать, явно пустое болтают, а проходящие между тем слушают, и мороз их по коже подирает.

Однако ж представьте себе такое положение: человек с малолетства привык думать, что главная цель общества — развитие и самосовершенствование, и вдруг кругом него точно сбесились все, только о бараньем роге и толкуют! Ведь это даже подло. Возражают на это: вам-то какое дело? Вы идите своей дорогой, коли не чувствуете за собой вины! Как какое дело? да ведь мой слух посрамляется! ведь мозги мои страдают от этих пакостных слов! да и учителя в «казенном заведении» недаром же заставляли меня твердить:

Будь, человек, благороден!
Будь сострадательн, добр!

А вы спрашиваете: какое дело? Да опять и насчет вины. Почему я знаю, что вы разумеете под виною? Например, ежели я ничего не похитил из казенного пирога — по-моему, это хорошо, а по-вашему, может быть, это-то именно и есть «вина»? Или, например, я верю в добрую природу человека, по-моему — это хорошо, а по-вашему — это «вина», истинная же заслуга заключается в человеконенавистничестве... Ведь бы на этот счет молодцы: перекрестите лоб, да и думаете, что после этого можете свободно и клеветать, и красть, и убивать!

Но все это еще только полбеда: пускай горланы лают! Главная же беда в том, что доктрина ежовых рукавиц ищет утвердить себя при помощи не одного лая, но и при помощи утруждения начальства. Утруждение начальства — вот язва, которая точит современную действительность и которая не только временно вносит элемент натянутости и недоверия во взаимные отношения людей, но и может сделать последних неспособными к общежитию.

Я недостаточно подробно знаком с памятниками нашей старины, но очень хорошо помню, как покойный папенька говаривал, что в его время было в ходу правило: доносчику — первый кнут. Знаю также, что и в позднейшее время существовал закон, по которому лицо, утруждавшее начальство по первым двум пунктам, прежде всего сажали в тюрьму и держали там до тех пор, пока оно не представит ясных доказательств, что написанное в его доносе есть факт действительный, а не плод злопыхательной фантазии.

По моему мнению, это были правила поистине человеколюбивые, и не потому только, что они ограждали честных людей от подыскиваний своекорыстной ябеды, но и потому, что они воспитывали в обществе чувство гадливости к промышленникам доноса. Я помню, как утруждатели, застигнутые страхом тюрьмы, извивались, доказывая, что их доносы не суть доносы, но извещения, и как, по большей части, усилия их в этом смысле оставались просвещенным начальством без последствий. Я помню, с какою брезгливою чуткостью самое общество относилось к «шептунам». Прежде всего, никто не верил их искренности даже в том случае, когда они доказывали, что за их услугами скрывается очень хорошая специальность: утирать слезы. По-видимому, что может быть приятнее: утирать слезы! — однако ж общество и на это занятие смотрело подозрительно и, во всяком случае, считало уместным присовокуплять: но не утруждая начальства! Одним словом, шептуны чувствовали себя настолько нехорошо, что отдавались этому ремеслу, по большей части, по легкомыслию или недоразумению. Если же впоследствии и упорствовали в нем, то лишь потому, что над ними уж тяготел фатум.

Шептунов из молодых людей почти совсем не было. В основе этого ремесла слишком ясно слышится нота вероломства и измены, чтобы живость и чуткость молодого чувства могли примириться с ним. Мало было и стариков: совершив все земное и до известной степени выжив из ума, старцы удалялись на покой, замаливали старые грехи и посвящали остаток дней своим писанию мемуаров. Главный контингент утруждателей составляли личности средних лет, побитые и

помятые, вроде Расплюева и Загорецкого, или блестящие, но несомненно прогоревшие, вроде Кречинского. Некоторые из последних, несмотря на внешний блеск, были общеизвестны, и на них указывали пальцами, но некоторые настолько искусно умели маскировать себя, что так и умерли неузнанными. Только впоследствии мемуары словоохотливых старичков восстановили этих «неузнанных» в надлежащем свете. Однако ж, во всяком случае, самая необходимость носить маску и скрывать свои действия доказывала, что ремесло утруждателя не считалось ни полезным, ни безопасным.

Ныне, по-видимому, эти отличнейшие традиции приходят в забвение. Подавляющие события последнего времени вконец извратили смысл русской жизни, осудив на бессилие развитую часть общества и развязав руки и языки рыболовам мутной воды. Я, впрочем, далек от мысли утверждать, что в этом изменении жизненного русла участвовало какое-нибудь насилие, но что оно существует — в этом, кажется, никто не сомневается. Вероятнее всего, оно совершилось самой собой, силою обстоятельств.

Я не говорю также, что известительная практика преуспевает, я говорю только, что она начинает входить в нравы. Но, по моему мнению, в этом-то и заключается главное зло, так что гораздо было бы лучше, если бы эта практика преуспевала в виде особой статьи, нежели вторгалась в жизнь, в качестве одного из ее составных элементов. Появляться в обществе людей становится делом трудным и рискованным, ибо нетерпимость и желание зажать противнику рот достигли до высшей степени. И то, что вследствие этого происходит, не может даже назваться доносом в том смысле, в каком мы, люди отживающие, привыкли понимать это слово; нет, это не донос, но прямое приглашение к составлению протокола, с препровождением в участок на зависящее распоряжение. Допустим, что в участке разберут и отпустят, но как бы удивились мы в оные дни, если бы нам сказали, что наступит время, когда участок (по-прежнему квартал, или съезжая) делается посредником в разрешении споров и недоумений по жизненным вопросам?

В особенности прискорбно смотреть на молодых людей: они совсем нынче отучились краснеть и потуплять глаза. Едва соскочив с школьной скамьи, юноша уже ни о чем другом не помышляет, кроме карьеры, и даже с дамочками устраивается мимоходом и как-то наскоро. Несколько чересчур быстро сделанных карьер вскружили головы и смутили молодые сердца. Каким образом достигнуть того, чего так легко достиг, например, N? Понятно, что действия скромные, сопряженные с трудом, не могут в этом случае представляться ни достаточно бле-

стящими, ни достаточно доказательными. Мало того: эти действия почти подозрительны, потому что нынче, милая тетенька, даже в воздержании от рыкания уже усматривается что-то похожее на укрывательство. Стало быть, нужно рыкать. А еще будет целесообразнее, ежели прямо закричать: караул! — тогда уж дорога откроется сама собою. Вот они и рыкают, и караул кричат, не задавая даже себе вопроса: а дальше что?

Ах, да и дамочки нынче какие-то кровопийственные стали. Нагуливают себе атуры, потрясают бедрами — и, представьте, всё с целями внутренней политики! Прежде, бывало, придет краснощекий Амалат-бек, наговорит с три короба *des jolis giens*¹ и вдруг... А теперь дамочка Амалат-беку своему прежде всего говорит: сначала проливай кровь, а потом посмотрим... Право, мне кажется, что прежде лучше было.

И старики не отстают от молодых, но, конечно, по немощам своим они больше проекты по части оздоровления корней строчат, да кстати уж и иллюстрации к этим проектам при-совокупляют. Иной даже об смерти позабыл, думает: поживу еще. А спросите-ка его, зачем ему жить понадобилось, так он, пожалуй, рассердится.

Что же касается до Расплюевых и Загорецких, то ими ныне все трактиры полны. Пьют очищенную, клапшотсы делают и кричат «караул»...

До того дошло, что даже от серьезных людей случается такие отзывы слышать: мерзавец, но на правильной стезе стоит. Удивляюсь, как может это быть, чтоб мерзавец стоял на правильный стезе. Мерзавец — на всякой стезе мерзавец, и в былое время едва ли кому-нибудь даже могло в голову прийти сочинить притчу о мерзавце, на доброй стезе стоящем. Но, повторяю: подавляющие обстоятельства в такой степени извратили все понятия, что никакие парадоксы и притчи уже не кажутся нам удивительными.

Простите, милая тетенька, что письмо мое вышло несколько пестро́: жизнь у нас нынче какая-то пестрая завелась, а это и на течение мыслей влияние имеет. Живется-то, положим, даже очень хорошо, да вдруг сквозь это хорошее житье что-то сомнительное проскочит — ну, и задумаешься. И делается сначала грустно, а потом опять весело. Весело, грустно; грустно, весело. Но приходить в отчаяние все-таки не следует, покуда на конце стоит: весело.

¹ приятных пустяков.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Милая тетенька.

Вы пишете: «а Пафнутьев из Петербурга воротился, да странный какой-то; приехал с визитом в Ворошилово во фраке, в белом галстухе, в круглой шляпе»... Ах, голубушка! да неужто ж вы не догадываетесь, что это он к вам прямо, как был в Петербурге в передней, так и явился!

Пафнутьев — земская косточка, а нынче правило: во все передние Пафнутьевых допускать. Представятся швейцару, расчеркнутся, шаркнут ножкой — и по домам. Видел? — ну, и будет с тебя. Ступай в деревню, разъезжай по соседям, хвастайся, а начальства не утруждай!

Я ничего не читал в газетах о подвигах *вашего* Пафнутьева, но слышал, что он был в Петербурге и нюхал. Сначала находил, что пахнет амбрè, потом, по мере того как надежды на «проникновение» померкали, стал относиться к запахам с притворным равнодушием и, наконец, пустился в почтительное сквернословие. И так как Петербург нынче переполнен Пафнутьевыми, которые все приехали попохоть, чем пахнет, то у всех у них *ваш* Пафнутьев был с визитом и всем говорил, что надобно «взглянуть на положение вещей серьезно», и прежде всего начать с оздоровления корней.

Или точнее: с оздоровления самого же Пафнутьева, потому что корни — земство, а Пафнутьев — излюбленный земский человек. Вот какая иногда выходит игра слов!

Знаю также, что, «отъявившись» где следует, он засел у себя в номере и стал «ждать». Ждал неделю, ждал другую, и, наконец, так ему захотелось у Палкина в трактире машину послушать, что он не выдержал и отлучился. А в это время, как на грех, кто-то *за ним приходил* и, узнав, что его дома нет, сказал: а в нем между тем есть настоящая надобность. Затем, как ни добивался Пафнутьев, кто приходил, какого вида и роста, военный или статский, в одежде или без таковой, молодой или старик, — так ничего и не добился. «Он» же,

с своей стороны, хотя и обещал опять прийти, но не пришел. А между тем, тетенька, ведь и серьезно могло так случиться, что было где-нибудь заседание, и вдруг некто вспомнил: отчего же Пафнутьева между нами нет? Туда-сюда. Послали звать, а его дома не оказалось, швейцар же говорит: к Палкину машину слушать ушли... Посмеялись, пожалели, а к следующему заседанию и аппетит к Пафнутьеву прошел. Пафнутьев! кто бишь это такой? Ба! да это не тот ли, который машину у Палкина слушает? — ну, и пускай слушает! Подумайте, милая, срам-то какой! Добро бы в Публичную библиотеку или в Академию наук, а то к Палкину *машину слушать* затесался!!!

Так он свое счастье и прозевал.

Прозевавши счастье, пустился во все тяжкие. Сперва начал по Милютиным лавкам ходить. Купит фунт изюму, а сам стоит и присматривается: кто бишь этот солидный мужчина, который указательным пальцем во всякой рыбине поковырял, понюхал, полизал и ничего не купил? А ну, как он к нему обернется: а! *господин* Пафнутьев! аншантè! вас-то нам и надо!.. Потом стал француженкам-кокоткам свой фотографический портрет рассылать: придет, мол, ужè милый дружок, увидит, что на столе чья-то морда валяется... «Ба! да ведь это Пафнутьев! его-то нам и надо!» Потом начал по Невскому по ночам шататься, думал: наткнусь на скандал, свидетелем буду... А на другой день в газетах напечатают: случился скандал, при котором с особенно благородной стороны выказал себя свидетель Пафнутьев. А известие это кто следует прочтет и скажет: ба! да не тот ли это Пафнутьев, от которого особливой, по настоящим обстоятельствам, пользы ожидать надлежит?.. Словом сказать, все средства, и дозволенные и предосудительные, пускал в ход. Наконец, видит, что ничего не берет, взял да от нечего делать и заложил свое торопецкое имение в Обществе взаимного поземельного кредита.

И что ж бы вы думали, даже после этого не только не угомонился, но еще пуще прежнего духом возгорел. Ему бы следовало сходить в баню и уехать в Торопец, а он, вместо того, вновь объехал всех земцев-нюхателей и уговорил их собраться у Палкина за общей трапезой для обмена мыслей. Протест, что ли, он затевал или прямо бунт — этого вам сказать не умею, но только не успели сотрапезники по первой мысли обменять, как их тут же, голубчиков, и накрыли. И что же потом оказалось? — что накрыли-то не настоящие накрыватели, а шутники из «Союза Недремлющих Лоботрясов», которые ехали по дороге в трактир «Самарканд» да и надумали: пугнем-ка, мол, Пафнутьевых! И пугнули. Только остальные-то Пафнутье-

вы разбежались, а наш между стульев запутался. Накрыватели же, сказав ему: счастлив твой бог! — простили и уехали. Но Палкин не простил и представил счет. И вынужден был Пафнутьев по этому счету сполна заплатить, потому что, в противном случае, Палкин-трактир угрожал обвинить его в «превратном толковании». На эту уплату ушла половина полученных облигаций, а другую половину он по дороге из Средней Мещанской в Фонарный переулок обронил (даже околоточный по этому случаю сказал ему: стыдитесь, сударь!).

Вот вам и вся эпопея пафнутьевского пребывания в Петербурге. Рассказал мне ее один из недонюхавшихся нюхателей, который и в палкинском бунтовстве запевалой был, но успел счастливо ускользнуть, да вдобавок еще и ложку, впопыхах, в карман запрягал.

— Да вы бы хоть за свою-то часть заплатили Пафнутьеву! — уговаривал я его.

— И то надо заплатить...

Однако ж впоследствии я узнал, что он так, не заплативши, и уехал в Чебоксары. И ложку с собой увез, хотя рукоятка у нее была порыжелая, а в углублении самой ложки присохли неотмываемые следы яичных желтков. Вероятно, в Чебоксарах попу в храмовые праздники эту ложку будут подавать!

Что-то теперь будет Пафнутьев у вас, в Торопце, говорить? То-то, чай, станет хвастаться и лгать! Поэтому, на всякий случай, предупреждаю вас: что бы он ни рассказывал, ни одному его слову не верьте. Так-то спокойнее. Когда вперёд знаешь, что человек врет, то слушать его иногда забавно, иногда скучно бывает, смотря по тому, кто и как врет; но когда человек врет, а собеседник его думает, что он правду говорит, тогда можно с ума сойти. Одному только верьте: что Пафнутьев свою Обираловку заложил и что в следующем году ему процентов нечем будет платить. Однако вы ему тогда денег взаимы не предлагайте, потому что он взять возьмет, а отдать не отдаст. А впрочем, что же я об этом хлопочу! ведь у вас и у самих денег-то нет!

Ах, тетенька, тетенька! как это мы так живем! И земли у нас довольно, и под землей неведомо что лежит, и леса у нас, а в лесах звери, и воды, а в водах рыбы — и все-таки нам нечего есть! А ведь и звери и рыбы — все это для того именно и создано, чтобы человека питать. Оглянитесь кругом — везде питание, да только до наших ртов оно почему-то не доходит, а другим мы сами давать не хотим. Сторожей держим, жалование платим... Вот хоть бы голуби — сколько у вас их на мельницу летает! В Париже давно бы их заарестовали, откормили и на весь бы город соте из них понаделали! А у вас они

так зря и тощие летают. Поклюют-поклюют да в свое место и улетят. Но ведь их и тощих можно кушать. Я помню, однажды мне охотник голубя принес: витютень, говорит. Вижу, что голубь, однако ж перекрестился и съел за витютня. Тощёнок, а ничего. А вы к Финагеичу обращаетесь: привези, голубчик, из городу говядинки, да вермишельцу, да селедочек, а курочка, мол, у нас своя есть. А какая же это курочка! Ей бы за искусство добывать пропитание, наравне с мужичком, премию нужно назначить, а мы ее в суп волокем!

Да и одни ли голуби! а воробьи? а караси в пруде? Правда, что по части невода у вас слабо: старый сопрел, а новым не разжились, так попросите Аfirmьюшку — она и в подол наловит.

Вот от этой-то голодухи и земцы из своих нор в Петербург напользают. Был у нас когда-то мужик, так на этом мужике нынче Колупаев с Разуваемым поехали; была ссуда, были облигации, а куда они подевались, и ума не приложишь; наконец, осталась земля, а ее не угрызешь. О, горе нам, рожденным в свет!

Вообще, что касается земства, я, пародируя стих Лермонтова, могу сказать: люблю я *земщину*, но странную любовью. Или, говоря прямее: вижу в земском человеке нечто двойственное. По наружному осмотру и по первоначальным диалогам каждый из них — парень хоть куда, а как заглянешь к нему в душу (это и не особенно трудно: стоит только на диалоги не скупиться) — ан там **КРЕПОСТНОЕ ПРАВО** засело.

Возьмем хоть мой родной уезд: там с самого начала и до настоящей минуты представителями земства бессменно служат: двое Дракиных, да двое Хлобыстовских, да аптекарь Карл Иваныч, да крестьянин Огрызковской волости Матвей Григорьев, которого по фамилии, из учтивости, называют Вздошниковым. Из них только Вздошников сыт, да и то потому, что способен пустыми щами насыщаться. Дракины голодны, Хлобыстовские голодны, Карл Иваныч — девичью кожу ест. Жалованье им идет хотя изрядное, но для наполнения дворянских желудков все-таки недостаточное, а у Карла Иваныча четырнадцать человек детей, и всех их надо к аптекарской должности подкормить. Один Вздошников вполне своим жалованьем доволен, но тут опять другая беда. С тех пор, как он сел *наравне с господами*, у него развилась страсть к накоплению богатств, и он почти все свое жалованье отдает за процент Хлобыстовским и Дракиным. А последние смотрят

на это уже как на «воспособление средств» и, разумеется, никогда Вздошникову денег не отдадут.

Но как ни скудно житье Дракиных, однако все-таки благодаря жалованью и воспособлениям на зубах у них что-нибудь есть. Поэтому всякий раз, как наступит срок новых выборов, они начинают тревожиться и лебезить. Забаллотируй их земское собрание, им придется опять засесть по деревням, а ведь там, как вам известно, с самой «катастрофы», и земля перестала родить, и коровы перестали телиться, и помольцы перестали на мельницу ездить, а ездят подальше, к купцу Пузанову, у которого и без того пузо от щей с солониной росперло, но зато жернова хороши.

Спрашивается: какие идеалы могут волновать души этих людей? Очевидно, идеалы крепостного права. Какие воспоминания могут освещать их постылые существования? — очевидно, воспоминания о крепостном праве. При нем они были сыты и, вдобавок, пользовались ручным боем. Сытость представляла право естественное, ручной бой — право формальное, означавшее принадлежность к дирижирующему классу.

Каким образом и в силу чего Дракины и Хлобыстовские, с своими крепостными идеалами, вдруг явились в качестве представителей земли — этого я никогда выяснить себе не мог. Никаких деяний «благоразумной экономии», которые оправдывали бы их появление на арене земского хозяйства, они не совершили. При крепостном праве они были помещики, как все другие, то есть взымали денежные и натуральные дани, гоняли мужиков на барщину и т. д. По уничтожении крепостного права явили себя беспомощными и бесталанными, Самые, что называется, коренники деревенские, которые как вышли в отставку в корнетских доспехах, так и не выезжали из деревень, и те, с осуществлением эмансипации, сразу почувствовали себя способными и склонными скорее к городскому, нежели к деревенскому делу. Большинство сообразно с этим и поступило. Заручившись, насколько было возможно, ссудами, облигациями и результатами распродажи движимого и недвижимого, предоставили злакам свободно произрастать, где и как знают, а сами расселились по городам и бодро вступили в ряды бюрократии. Только самые слабые особи остались в насиженных гнездах, как бы во свидетельство, что крепостное право не вовсе умерло, а нечто и завещало. Вот, в силу этого-то завещания, Хлобыстовские с Дракиными и всплыли, когда наладилось «земство». Во-первых, они имели за себя самое широкое досужество, а во-вторых, в окрестности еще не утратилась привычка повторять их имена. Кого выбирать? — разумеется, тех, у кого досуга больше. А у кого

же его больше, нежели у Никанора Дракина, который не только от дела, но и от еды свободен? И выбрали. А затем, Вздошников с Карлом Ивановичем пошли уж как бы на при-дачу, в виде гамбеттовских новых общественных слоев.

С тех пор Дракины кой-что едят. И если б они ограничи-лись отпускаемого им малою едой, никто бы, конечно, за этим не погнался; но они хотят есть всё больше и больше, а это не-благородно, потому что разыгрывающийся аппетит внушает им предосудительные мысли, а предосудительные мысли гонят их в Петербург.

Что все это именно так и случится — в этом я, с самого вступления Дракиных на арену земской деятельности, не со-мневался; но публиковать о моих предвидениях, до настоящей минуты, остерегался. Во-первых, чуть, бывало, заикнусь в этом роде слово сказать, как уж со всех сторон вопиют: ах, что вы! дайте же окрепнуть нашим молодым учреждениям! Во-вторых, представьте себе, ведь тут и в самом деле штука случилась. Едва только занялись Дракины вплотную лужением больнич-ных рукомошников (в этом собственно и состояла их «задача», так как «бесплодная» бюрократия даже с луженьем справиться не могла!), как вдруг пошли слухи, что этим самым они посевают в обществе недовольство существующими поряд-ками и даже подрывают авторитеты!

Я знал, что земцы невинны, что они лудят от чистого серд-ца и ровно ничего не посевают, но мог ли я это доказывать? — Нет, ибо, доказывая, я рисковал двояко: или впасть в ирони-ческий тон, а следовательно, обидеть наши «неокрепшие моло-дые учреждения», или же предпринять серьезную защиту лудильщиков и в таком случае попасть в число их сообщников и укрывателей...

Разумеется, я предпочел молчать.

Но нынче наши «молодые учреждения» не только окрепли, но даже, можно сказать, обнаглели, так что не представляется уже никаких затруднений рассказать, в чем заключалась суть этих лудительных недоразумений.

Что земские люди были призваны для лужения рукомош-ников и для починки мостов — это они поняли вполне пра-вильно. Но дело в том, что лудить можно двояко: или с пред-взятым намерением, или чистосердечно, без намерения. Все равно, как лапти плести: можно с подковыркой, а можно и без подковырки. С подковыркой шеголеватее и прочнее, но зато крамолой припахивает; без подковырки — лапоть совсем ни-куда не годится, но зато о крамоле слухом не слышать!.. Ходи, Корела, без подковырки!

Нечто в этом роде случилось и с нашими земцами. С пер-

вых же шагов они точно с цепи сорвались: давай, братцы, плести лапти с подковыркою! Источник этой решимости был очень хорош: желание оправдать доверие начальства; но так как дело было новое и неслыханное, то понятно, что оно должно было произвести некоторый шум. Бюрократы — недоумевали; «общество» — ликовало и подстрекало. Разрастаясь да разрастаясь, этот шум постепенно опьянил самих земцев. Им бы нужно было, не обращая внимания на подстрекательства «общества», скромно продолжать свое скромное дело, а они вместо того возмечтали. Вздумали лудить самостоятельно, из *разрешения* вывели *право*; начали иронически поглядывать на администраторов и называть бюрократию *бесплодною*, но что всего хуже, допустили к участию в этой расправе женское сословие. Ни одного пирога в губернии не обходилось без ехидной полемики; ни одного бала — без скандалов. То польский, не дождавшись губернатора, водить начнут, то губернаторшу в мазурке в четвертую пару загонят (да еще с кем в паре? — с правителем канцелярии!), а какая-нибудь земская гласная, сверкая атласными плечами, в первой паре плывет. Одним словом, возобновились худшие времена дворянских выборов. Естественно, что их сейчас же остановили. Не *право* дано вам, внушили им, а *разрешение*. *Право* — это потом, когда бабушка будет произведена в дедушки, а до тех пор: люди, но оглядывайся!

Короче, едва успели обе силы встретиться, как тотчас же встали на дыбы. Стоят друг против друга на дыбах — и шаш. Да и нельзя не стоять. Потому что, ежели земство уступит — конец луженью придет, а ведь это заря наших будущих гражданских свобод. Если же Сквозник-Дмухановский уступит — начнется потрясение основ и колебание авторитетов. Того гляди, общество погибнет.

И шла эта распря, то замирая, то разгораясь, вплоть до наших дней. И надо сказать правду, что большая часть ее эпизодов разыгралась исключительно на боках земцев и к полному удовлетворению Сквозника-Дмухановского.

Но нынче все объяснилось. Администраторы самые заматерелые, и те догадались, что лужение есть лужение, и ничего больше; стало быть, если земские деятели в одном месте не долудили, а в другом перелудили, то это беда небольшая. Земцы же, с своей стороны, сознались, что они действительно уклонились (все только лудить да лудить — это хоть кого сбесит!) от своей задачи, но теперь приносят повинную и ходатайствуют об одном: чтобы, независимо от луженья, им разрешено было, преимущественно перед прочими уполномоченными на сей предмет лицами, вопиять: страх врагам!

Вероятно, препятствий к удовлетворению этого ходатайства не будет; однако ж я все-таки считаю долгом заявить, что это новое расширение земских прав (особливо ежели земцы обратят его себе в монополию), по мнению моему, может вызвать в будущем некоторые очень серьезные недоразумения. А именно: как бы при этом не повторилась опять притча о лаптях с подковыркою, уже наделавшая однажды хлопот.

Если земцы будут кричать: страх врагам! чистосердечно и без преднамерения — это будет хорошо; но ежели они будут кричать с подковыркою, то есть увидят в этом кличе лишь средство удовлетворить некоторым тайным преднамерениям, и ежели, вслед за тем, Пафнутьев или Никанор Дракин, с свойственной им ловкостью, сперва обиняком, а потом громче и громче, пустят слух о необходимости перемещения центра тяжести правящей Руси, — тогда ожидайте больших хлопот в будущем. Заметьте, что никто в целом мире не только земцам, но и никому не воспрещал петь «страх врагам». Следовательно, если этот вопрос ныне выдвигается вперед, то он выдвигается принципиально. И именно, в смысле устранения бюрократии (раз навсегда!) от пирога и перенесения ее прав и обязанностей по отношению к пирогу на излюбленных земских людей. Вот какая махинация скрывается под наивным желанием петь: страх врагам!

Еще во времена лудильной распри, Пафнутьев под рукою пропагандировал, что бюрократия выветрилась и поражена бесплодием, а что, напротив того, обитающие в деревнях прапоры плодущи, свежи и хоть сейчас готовы преобразиться в земских ярыжек. Что темное «средостение», которое представляет собой непроницаемая масса бюрократического воинства, мешает видеть добрый русский народ, но что ежели то же самое средостение устроить из Дракиных и Хлобыстовских, то они не только не будут препятствовать видеть русский народ, но в самой скорости так его вышлифуют, что он и качества, и ребра свои как на ладонке покажет.

Благодаря бдительности Сквозника-Дмухановского, пафнутьевская пропаганда была временно приостановлена, но под пеплом она все-таки тлелась, и едва ли я ошибусь, сказав, что нынешний набег земцев на Петербург имеет очень тесную связь с возобновлением этого вопроса.

Петь «страх врагам!» очень выгодно, а дирижировать при этом оркестром — и того выгоднее: Дракины это поняли. Поэтому-то они и поползли такую массой в Петербург, в чаянии доказать, что никто так ловко не сумеет за шиворот взять, как они. С помощью этой песни уже многие на Руси делишки свои устроили — отчего же не устроить себя тем же способом и Ни-

канору Дракину? Поющий эту песню внушает доверие; доверие приводит за собой почести, а почести приближают к казенному сундуку...

Дракины, по природе и по преданию, гостеприимны и простодушны, но они невежественны, нерассудительны и, сверх того, любят урезать. Если поверит Разуваев на полштофа, они полштофа урежут, ежели на штоф поверит, то и на штоф согласны. Формальностей они — не терпят, разговоров и судовороний — не допускают совсем. Виноват? — сознавайся! Сознался — за мной полтинник! не сознаешься — запорррю! Так-то лучше, чем по-чиновничьи писать протоколы, из-за которых доброго русского народа не видно! Помните, какое у нас земство при крепостном праве было? — такое оно и теперь. Тоже без протоколов, как и тогда. Только голоднее, а идеалы всё те же: не то, чтобы что-нибудь, ограждения ради, придумать, а прямо за шиворот или руки к лопаткам.

Нет, вы представьте себе, что пафнутьевские мечтания сбылись, и Дракины, низложив Сквозника-Дмухановского, сделали исключительными вертоградарями провинциального русского эдема. Представьте себе, что вам приходится жить в одной из клеточек этого эдема. Все Дракины между собой родственники или свойственники, все сплелись и переплелись так, что и расплести невозможно. Вы одна не родственница и не свойственница никому из них. У всех у них свои общие интересы, свои общие сплетни и ненависти, свое общее свинство; все они в одну дудку дудят, все одну мысль в голове держат: как бы урезать, опохмелиться и урезать вновь. Вы одни не принимаете участия ни в сплетнях ни в опохмелениях, ни в ненавистях их. Как вы думаете: съедят они вас или не съедят?

Что касается до меня, то я утверждаю: не только съедят, но предварительно еще отравят вашу жизнь своим дыханием. Ведь это только шутки шутят, называя Дракиных излюбленными земскими людьми: в сущности, они и вам, и мне, и всей этой подлинной земской массе, которая кладет шары, даже не седьмая вода на киселе.

Как трудно будет жить в этом эдеме — это даже самое разнузданное воображение не в силах воспроизвести. Сообразите одно: целую массу Дракиных, оголтелых, голодных, ни на что не способных, придется пропитать, обогреть и всем удовлетворить. А сверх того, ведь шаг за околицу нельзя будет сделать, чтоб не натолкнуться на Дракина. Один Дракин — сам излюбленный, другой — его родственник, третий с излюбленным в одной казарме горе тяпал. И все хотят есть. Есть-то хотят, да, вдобавок, еще дело делать никому не дают. Ска-

чут, свищут, гогочут, велят кричать: смерть врагам! Ах, какая это будет жизнь!

А мы-то с вами на Сквозника-Дмухановского жаловались! Ах, тетенька, ведь в нем все-таки хоть до некоторой степени теплилось чувство ответственности! Была, разумеется, и отвага — без этого, какой же бы он был русский человек! — но было и представление о губернском правлении, об уголовной палате, а в особенности о секретарях и столоначальниках. Дракин, напротив, так заблиндировал себя репутацией свежести, что под звуки романса «смерть врагам» может дерзать все, что ему в голову вступит. И если ему вздумается, например, сжить вас со света (ах, как это нынче легко!), то вы уж не отделаетесь от него ни крестом, ни пестом. Он ничего не страшится, ни в чем не сомневается, ни перед чем не останавливается, дышит отвагой — и шабаш. Взятку возьмет — сейчас забудет, в зубы треснет — опять забудет. Все у него делается как-то мимоходом, не в зачет. А ежели его, наконец, изловят и приведут в суд, то он будет говорить: не знаю! не помню! был мертвую, и что делал, ничего не помню.

Вот почему я так и обрадовался, узнав из вашего письма, что Пафнутьев воротился восвояси, не доноухавшись ни до чего. Авось-либо бог и просвещенное начальство защитят нас и присных наших от дракинских козней.



Я отсюда вижу ваше удивление и слышу ваши упреки. Как, — восклицаете вы, — и ты, Цезарь (как истая смолянка, вы смешиваете Цезаря с Брутом)! И ты предпочитаешь бюрократию земству, Сквозника-Дмухановского — Пафнутьеву! Из-за чего же мы волновались и бредили в продолжение двадцати пяти лет? Из-за чего мы ломали копья, подвергались опалам и подозрениям?

Совсем не из-за этого, милый друг. По крайней мере, я все не бредил об том, чтоб бог привел мне дожить до поглощения Дракиным всех отраслей правящей деятельности, и ежели этому суждено сбыться, то уж, конечно, не я по этому поводу воскликнул: «Ныне отпускаеши...»

А сверх того надобно и оговориться: речь идет совсем не об любви к Сквознику-Дмухановскому, а о том, что все в мире относительно. Всякая минута имеет *свою* опасность, и в настоящую минуту эту опасность представляет Никанор Дракин. Он слишком суетится, слишком назойливо стремится выказать Сквозника-Дмухановского в смешном свете, чтобы можно было сомневаться, что ему хочется вскочить на место последнего. Но при этом он совсем не на том настаивает, что, в случае

успеха своей затен, пойдет разными путями с Сквозником-Дмухановским, а только на том, что он *превзойдет* его. И он действительно превзойдет. Вот это-то и нужно *непрерывно* иметь в виду, ибо ежели надоел Сквозник-Дмухановский, то Дракин, с своим желанием «превзойти», надоест вдвое больше.

Если б дело шло о расширении области дракинского лужения, это тронуло бы меня весьма умеренно. Но Пафнугьевы говорят не о лужении, а об том, чтобы проникнуть в сферу шивороты и выворачиванья рук к лопаткам. Вот почва, на которой мы стоим в настоящее время и которую не должны терять из виду, ежели хотим рассуждать правильно.

Было время, когда меня ужасно волновал вопрос, какие исправники благороднее: те ли, которые служат по выборам дворянства, или те, которые определяются от короны. Иногда казалось, что выборные исправники благороднее, иногда — что благороднее исправники коронные. Ах, тетенька! какое это странное время было! и какие изумительные вопросы волновали тогда умы! Однако ж, взвесив все доводы про и contra, я кончил тем, что сходил в баню и порешил: забыть об этом в просе навсегда. И забыл.

И вот теперь приходится опять об нем вспоминать, потому что провозглашатели «средостений» и «оздоровлений» почти силком ставят его на очередь. И вновь перед глазами моими, одна за другой, встают картины моей молодости, картины, в которых контингент действующих лиц в значительной мере наполнялся куроцапами. То было время крепостного права, когда мы с вами, молодые, здоровые и довольные, ходили рука в руку по аллеям парка и трепетно прислушивались к щелканью соловья...

Слышишь, в роще зазвучали
Песни соловья;
Звуки их, полны печали,
Молят за меня...

Так пели и вздыхали мы с вами, отнюдь не подозревая, что окружающий нас мир есть мир куроцапов. Были тогда куроцапы оседлые, которые жили в своих гнездах и куроцапствовали в границах, указанных планами генерального межевания, и были куроцапы кочующие, облеченные доверием, которые разъезжали по дорогам и наблюдали, чтобы основы оседлого куроцапства пребывали незыблемыми. Ничего мы этого не понимали, потому что совсем не об том соловей нам пел. Мы стояли, как очарованные, и всё слушали и слушали, покуда, наконец, потеряв ручкой то место, где у куколок полагается желудочек, вы не произносили: а не пойти ли на скотную к Анфисе

сливок покушать? И мы уходили... но как хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, наполненную палевой маской, она восклицала: кормильцы вы наши! А оттуда в оранжерею: персики, сливы, вишни — всего вдоволь! и опять старый садовник Архип (ах, как он был хорош!): кормильцы вы наши! Но вот наконец и обед. «Сонечка! не лучше ли супцу тебе покушать? У тебя, кажется, животик болит?» Ах, нет, маман, я — ботвиньи!.. Милая вы моя! ну, точно сейчас все это вижу!

И все это счастье, всю эту сытость, мир и благоволение охраняли и обеспечивали нам облеченные доверием куроцапы, зорко следившие за тем, чтобы Анфисушка называла нас именно кормильцами, а не идолами. И помнится, что в числе тогдашних странствующих куроцапов находился и Никанор Дракин или, по крайней мере, старший его братец. Так вот он еще когда в стране шиворота полным хозяином распоряжался! Затем он вдруг стусевался и уступил свое место Сквознику-Дмухановскому. Сдал должность беспрекословно, но сладкие воспоминания все-таки сохранил. И даже тогда, когда перед ним, в виде восполнения, открылась безграничная область лужения, — даже и тут не забыл об утраченном куроцапстве, но втайне роптал: вот кабы опять в страну шиворота заглянуть!

Понятно, что с тех пор он пользуется всяким случаем, чтоб возратить прежнее куроцапствующее значение. Хвастается, лжет, шляется по передним, сочиняет записки, печатает в Берлине брошюры, которых в Россию иначе, как под полойю, отнюдь провезти нельзя. — Что у тебя под полой? — А это... — А! понимаю! ступай с богом! Но не ошибайтесь, тетенька! когда Пафнутьев говорит об земстве, то это значит, что речь идет именно только об нем самом, а когда он прибавляет, что земство лучше свои интересы может устроить, то это значит, что он, совместно с Дракиным, гораздо тверже против Сквозника-Дмухановского знает, где курам вод.

Словом сказать, стдит только оплошать — и крепостное право вновь осенит нас крылом своим. Но какое это будет жалкое, обтрепанное крепостное право! Парки вырублены, соловьи улетели, старая Анфиса давно свезена на погост. Ни волнующихся нив, ни синеющих вдали лесов, ни троек с малиновым звоном, ни кучеров в канаусовых рубашках и плисовых безрукавках — ничего нет! Одни оголтелые Дракины, голодные, алчущие и озлобленные, образовали союз, с целью рыскать по обездоленным палестинам, хватать, ловить...

Не забудьте при этом, что в настоящее время в понятиях о шивороте существует такой хаос, что Дракин и сам едва ли

разберет, в каком случае он явит себя молодцом и в каком только негодяем. Легко сказать: лови превратного толкователя! но где же руководство, в котором были бы точно указаны признаки этого вредного существа? Благодаря этой неясности, большинство простецов приурочивает к этому сословию всякого, кто, по своим понятиям, воспитанию и привычкам, стоит несколько выше общего нравственного и умственного уровня туземцев. А затем каждый отдельный простец уже дифференцирует эти признаки согласно с требованиями своего личного темперамента. Ханжа считает превратным толкователем того, кто вместе с ним не бьет себя в грудь, всуе призывая имя господне; казнокрад — того, кто вместе с ним не говорит, что у казны-матушки денег много; прелюбодей — того, кто брезгливо относится к «чуждых удовольствий любопытству»; кабатчик — того, кто не потребляет сивухи, а в особенности того, кто и другим советует от нее воздерживаться; невежда — того, кто утверждает, что гром и молния не находятся в заведении Ильи-пророка. И все эти люди, каждый имея в виду свой особый предмет, составят один общий хор, который будет гласить: хватай! лови! Понятное дело, что Дракину среди этого сумбура предстоит не житье, а масленица...

Но скажите по совести, стоит ли, ради таких результатов, отказываться от услуг Сквозника-Дмухановского и обращаться к услугам Дракина? Я знаю, что и Сквозник-Дмухановский не бог знает какое сокровище (помните, как слесарша Пошлепкина его аттестовала!), но зачем же возводить его в квадрат в лице бесчисленных Дракиных, Хлобыстовских и Забиякиных? Помилуйте! нам и одного его по горло было довольно!

Но я иду еще дальше и без обиняков говорю, что если уж мы осуждены выбирать между Сквозником-Дмухановским и Дракиным, то имеются очень существенные доводы, которые заставляют предпочесть первого последнему. А именно:

Во-первых, Сквозник-Дмухановский — постылый, а Дракин — излюбленный. Сквозник-Дмухановский пришел ко мне извне и висит над моей головой яко меч дамоклов; об Дракине же предполагается, что я сам себе его вынырчил. Сквозника-Дмухановского я не люблю, и ни для кого это не кажется удивительным. Я иду к нему, потому что иначе деваться мне некуда, и он знает это. Знает, что я не целоваться к нему пришел (ах, тетенька!), а потому, что он может или разрешить мою нужду, или не разрешить. Иной Сквозник-Дмухановский прямо предъявляет таксу; я уплачиваю по ней и ухожу обнадеженный; буде же не имею чем уплатить, то стараюсь выполнить мою нужду так, чтобы меня не увиделли. Другой Сквозник-Дмухановский говорит: я взятку не беру, а действую на

основании предписаний — тогда я ухожу, получив шиш. Но и в том, и в другом случае отношения между нами вполне ясны. И не я один, все эту ясность одинаково сознают. Никто, идя к Сквознику-Дмухановскому, не голосит: ах, хоть бы мне на него, на родимого, глазком взглянуть! но всякий, идучи, втайне произносит: ах, распостылый! Поверьте, что это удивительно облегчает. Ибо когда человек находится в плену, то гораздо для его сердца легче, если его оставляют одного с самим собой, нежели если заставляют распивать чай с своими стражниками. Совсем другое дело — Дракин. Идя к нему, я постоянно должен думать: а черт его знает, почему-нибудь да сказывают же, будто он у меня на лоне возлежал! И, установив себя на этой точке, я обязываюсь поступать по слову его не токмо за страх, но и за любовь. Он будет надоедать мне, преследовать меня по пятам с нелепыми требованиями, будет лезть ко мне с поцелуями, истязать меня дружелюбием, а я должен говорить ему слогом Песни Песней: лоно твоё — как чаша благовонная, и нос твой — как кедр ливанский! И что он ни скажет в ответ, я должен выполнить без ропота, не потому, что нахожусь у него в плену (этого я и допустить не смею), а потому, что у него пупок — как кубок, а груди — как два белых козленка. Вот он какой! И жаловаться на него я не могу, потому что, прежде чем я разину рот, мне уже говорят: ну, что, старичок! поди, теперь у вас не житье, а масленица! Смотришь, а ну меня при таком приветствии и язык пресекается. Никогда я его не излюблял, а все мне говорят: излюбил! Никогда я его не выбирал, а только шары клал, а мне говорят: выбрал! С юных лет я ничего не слыхал ни об любвях, ни об выборах, с юных лет скромно обнажал свою грудь и говорил: ешь! Ели ее и Сквозник-Дмухановский, и Держиморда, и Тяпкин-Ляпкин; недоставало Дракина — и вот он — он! Неужто ж я бы его возлюбил, зная наперед, что он будет меня есть? — Неправда это.

Во-вторых, меня значительно подкупает и то, что Сквозников-Дмухановских, сравнительно, немного, тогда как Дракин на каждом шагу словно из-под земли вырос. Еще при крепостном праве мы жаловались, что станového никак залучить нельзя, а теперь, когда потребность приносить жалобы удесятирилась, беспомощность наша чувствуется еще сильнее. Зато Дракины придут в таком количестве, что недра земли содрогнутся. После упразднения крепостного права, у них только одно утешение и оставалось: плодиться и множиться. Вот они и размножились, как кролики, и в то же время оголтели, обносились и обнищали. Чаю по месяцам не пивали! говяжьего запаха не нюхивали! Понятно, что они придут все, целым кагалом. И званые и незваные, и облеченные доверием и не обле-

ченные. И отцы и дети, и матери и дочери, и племянники и внуки — все тут будут. Одни будут действовать, другие — содействовать. Проходу никому не дадут. Станут рыскать во всех направлениях, станут кричать «ого-го!» и уверять, что спасают общество. И вот попомните мое слово: до поры до времени Пафнутьев еще смирен, но как только возьмет он палку в руки, так немедленно глаза у него, как у быка, кровью нальются. Надоеет он вам; и он надоеет, и жена его надоеет, и дети надоедят. Все будут о «средостениях» говорить и палкой помакивать.

В-третьих, Сквозник-Дмухановский, как человек пришлый, не всю статистику вверенного ему края знает. Не только то, что скрывается в недрах земли, не всегда ему известно, но и то, что делается поблизости. Поэтому недра земли остаются иногда непоруганными, а обыватели имеют возможность утаить в свою пользу: кто — яйцо, кто — поросенка. Напротив того, Дракин, как местный старожил, всю статистику изучил до тонкости. Он знает, сколько у кого запуталось в кошеле медяков; знает, у кого курица яйцо снесла, у кого опоросилась свинья. А сверх того, знает, где именно нужно «шарить», чтоб обрести. И все эти сведения он употребит на пользу себе, а не излюбившим его. Так что ежели с выступлением Дракиных на арену, вам случится печь в доме пирог, то так вы и знайте, что середка принадлежит излюбленному, а края — домочадцам и присным его. Сообразите теперь, сколько затем останется от пирога для вас и ваших присных?

Есть у меня и другие доводы, ратующие за Сквозника-Дмухановского против Дракина, но покуда о них умолчу. Однако ж все-таки напоминаю вам: отнюдь я в Сквозника-Дмухановского не влюблен, а только утверждаю, что все в этом мире относительно и всякая минута свою собственную злобу имеет. И еще утверждаю, что если в жизни регулирующим началом является пословица: «Как ни кинь, все будет клин», то и между клиньями все-таки следует отдавать преимущество такому, который попритутился.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Милая тетенька.

Бывают минуты, когда в общий обиход вдруг начинает входить «хорошее слово». Все горячо и радостно за него хватаются, все повторяют его, носятся с ним, толкуют на все лады, особенно, если «хорошее слово» имеет ближайшее отношение к современной действительности, к тем болям, которые назрели у каждого в душе и ждали только подходящего выражения, чтобы назвать себя. В особенности, в последнее время явилась какая-то жгучая потребность в «хорошем слове». Жить, что ли, в сумерках надоело, но все только об том и думают: ах, хотя бы откуда-нибудь блеснул луч и пронизал сгустившийся туман! И вот, в ответ на эти сетования, появляется «хорошее слово». Все довольны, у всех лица расцветаются улыбкой. Люди самые пришибленные начинают смотреть бодрее; люди самые непонимающие хотя продолжают не понимать, но тоже, глядя на других, радуются. Большинство целуется, поздравляется. Даже заведомо злокозненные мудрецы, которые обыкновенно, яко лев рыкайя ходят, иский кого поглотити, и те стихают, как бы молчаливо преклоняясь перед силой вещей. Но, в сущности, они совсем не притихли, а только обдумывают, как бы им примоститься к «хорошему слову», усыновить его себе.

И усыновляют. Покуда простодушные и верующие люди обнимаются (нельзя не обниматься-то, милый друг! уж очень в этой дерюжной действительности тошно!), в природе происходит некоторое волшебство. Мудрецы уже воспрянули и примостились. «Хорошее слово» удержалось в обращении, но от него уже пахнет тлением. Обычная удачливость мудрецов и на этот раз сказалась во всей силе, ибо им достаточно было одной минуты общего увлечения, чтобы, в глазах публики, в несчетный раз проделать самый заурядный и всем надоевший фокус. Видели в руке червонец? — Видели. — Ну, теперь смотрите! клац! ничего в руке нет!

Вспомните прожитое прошлое и ответьте по совести: не

такова ли именно была история всех наших «хороших слов»? И ведь нельзя сказать, чтоб у них было мало сочувствователей; нельзя даже сказать, чтоб эти сочувствователи были оплошники или ротозен; и все-таки дело как бы фаталистически принимало такой оборот, что им никогда не удавалось настолько оградить «хорошее слово», чтобы в сердцевину его, в самое короткое время, не заползли козни мудрецов. Обыкновенно неудачи подобного рода принято сваливать на увлекающихся: они, дескать, своими увлечениями всякое начинание компрометируют; но ведь мы-то с вами, тетенька, отлично знаем и увлечения, и самых увлекающихся. Право, не опасные это люди были, а только, быть может, чересчур верующие, и даже несколько легковверные. Отчего же не им, верующим, удавалось «хорошее слово» закрепить за собою, а удавалось тем, которые это слово от души ненавидели?

Нечто подобное повторяется на наших глазах с словом «содействие», которое нынче в большом ходу. Несомненно, что это слово принадлежит к числу «хороших», но не менее несомненно и то, что едва успело оно сказаться и войти в обращение, как около него уже выросло чуть не целое столпотворение. И как-то особенно быстро это нынче случилось. Прежде хоть колебание было заметно — трудность задачи, что ли, смущала, или сила сопротивления была значительнее, — а нынче так-таки сразу нет ничего. Не успели простодушные люди нахаться вволю, как «хорошее слово», перейдя через множество предательских уст и согласованное с целой массой хищнических appetites, уж истрепалось, выпачкалось и провоняло. Так что, слушая современные уличные толки по поводу этого слова, не без испуга спрашиваешь себя: куда же девался первоначальный его смысл?

Но для того, чтобы для вас вполне уяснилась процедура этого превращения и чтобы в то же время вы поняли, в какой безнадежной пустоте вращается современная жизнь, допустим на минуту следующее (совершенно, впрочем, произвольное) предположение.

Представим себе, что мы получили дар компетентности по части устранения насущных злоб дня и приступаем к выполнению нашей задачи. Разумеется, первый вопрос, с которым придется нам встретиться на этом поприще, будет следующий: живы ли мы, в силу чего мы живы, и все ли вокруг нас благополучно? И еще более разумеется, что ежели мы люди добросовестные, то, не особенно долго думая, ответим на этот вопрос так: живы-то мы живы, но в силу чего — не знаем и называть благополучием то, что вокруг нас происходит, — не можем.

Отсюда второй вопрос: как поступить, чтоб окружающее нас злополучие обратилось в благополучие? от кого получить полезные на этот счет сведения и указания? В былые времена ответ на этот вопрос был бы вполне определенный: предписать Сквознику-Дмухановскому; но нынче в магическую силу чиновничества уже изверились. Во-первых, оно прозевало краеугольные камни, а во-вторых, не приняло соответствующих мер ограждению основ¹. Каких еще более разительных фактов бессилия и ротозейства нужно, чтоб убедиться, что на Сквозника-Дмухановского надежда плоха?

Существует ли, однако ж, среда, помимо чиновничества, от которой бы можно было получить ответы на тревожащие нас вопросы? Да, говорят нам, такая среда существует. Это среда свежих, непочатых и неиспорченных сил, к которым никогда еще не пробовали обращаться, но у которых, наверно, на все про все трезвенное слово готово. Некоторые называют эту среду народом, другие — обществом, третьи — земством. А околоточные и городовые называют «публикой» («надо же для публики удовольствие сделать», говорят они). Вот к этой-то непорченной среде и следует обратиться с требованием содействия. Что ж, коли так, то лучшего и желать нельзя! Нуте, господа непочатые! распоясывайтесь! содействуйте! признавайтесь, какие такие за вами трезвенные слова состоят!

Тетенька! пожалуйста, вы, однако, не подумайте, что я вас в какую-нибудь нелепую авантюру увлекаю. Боже меня сохрани! Я очень хорошо понимаю, что никакой подобной затеи мы с вами не только предпринять, но и в мыслях держать не должны, да и незачем нам, голубушка, потому что мы и без «содействий» отлично проживем. Я ведь не для пропаганд, а только *exempli gratia*² предположение мое строю, и при-

¹ В сущности, мы с вами давно знаем, что чиновничество наше всегда было по части краеугольных камней слабо. Помните, как купец Крутобедров с вас деньги по заемному письму взysкивал, а вы, вместо уплаты, переезжали из Торопца в Великие Луки, а из Великих Лук в Торопец, и становой не только ни разу вас не изловил, но даже сам лично в тарантас вас усаживал? Правда, что в то время никому и в голову не приходило, что заемные письма именно самые оные краеугольные камни и суть, а только думалось: вот-то глупую рожу Крутобедров состроит, как тетенька, мимо его дома, в Великие Луки переезжать будет! — но все-таки должен же был становой понимать, что какая-нибудь тайна да замыкается в заемных письмах, коль скоро они милую, очаровательную даму заставляют по целым неделям проживать в Великих Луках на постоялом дворе без дела, без кавалеров, среди всякой нечисти? (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

² для примера.

том в письме к родственнице... Право, мне кажется, это можно?

Во всяком случае, продолжаю.

Вот тут-то именно и происходит то волшебство, о котором я упоминал выше. Мы с вами наивно ждали, что на наш клич явятся или Прохор Распротáков, как представитель народных нужд, или Александр Андреич Чацкий, как выразитель аспираций общества; а вышло совсем не так. Оказывается, что Распротáков с утра пахать ушел, а к вечеру боронить будет (а по другим свидетельствам: ушел в кабак и выйти оттуда не предполагает), а об Чацком я уже вам писал, что он нынче, ради избежания встреч, с одной стороны улицы на другую перебегает и на днях даже чуть под вагон впопыхах не попал. И вот, вместо них... господи! да неужто ж опять «они»? Они, Пафнутьевы, Дракины, Хлобыстовские, которые уж в качестве лудильщиков успели наполнить вселенную воплями? Тетенька, да разве они «свежие»? помилуйте! ведь от них уже с которых пор несвежей провизией припахивает!

Но припахивает или нет, а они явились. До них одних своевременно дошел наш клич; они одни с полной готовностью прислушались к нему и, разумеется, как люди бывалые, прежде всего обратили внимание на то, нельзя ли в произнесенном нами хорошим слове «интересные сюжетцы» сыскать?

И сыскали. На эти сюжетцы прямо указало им их прошлое. В старину, когда было в ходу слово «опора», они эксплуатировали в свою пользу «опору», теперь, когда вместо «опоры» произнесено слово «содействие», они не прочь процвести и под сению «содействия». Тем более что в исконном дракинском толковом словаре слово это объясняется так: «Содействовать, то есть наяривать, жарить, хватать за шиворот, гнуть в бараний рог». Все это Никанор в качестве «опоры» давным-давно проделывал и даже только об одном этом и по сей день не забыл. Не естественно ли, после того, что в голове его созревает мысль: да кто же лучше меня всю эту процедуру выполнит?

И вот непорченные, но припахивающие содействователи выползают из своих нор и сползаются в Петербург. Принимаются, прислушиваются, наполняют вздором казенные и частные квартиры и даже на половых в трактирах наводят уныние.

— Такие это распостылые господа,— жаловался мне на днях один половой,— всех гостей у нас распугали. Придет, станет посеред комнаты, жует бутерброд и все в одно место глядит... Ну, промежду гостей, известно, тревога: кто таков и по какой причине?

Да ведь это и естественно. Люди ходят в трактиры для того, чтоб пить, есть и по душе разговоры вести, а совсем не для того, чтобы доставлять кандидатам в сведущие люди «отголоски трактирных мнений» по интересующим их вопросам.

Однако ж делать нечего. Уж если мы кликнули клич, то обязаны и ответы выслушать. И вот начинается процессия содействовательских показаний.

Первым выступает, разумеется, Иванов, ибо где же нет Иванова? — в каждой комнате он есть! Выходя из той мысли, что «потрясение основ» спрятано у кого-нибудь в кармане, он предлагает всех поголовно обыскать. Даже свои собственные карманы выворачивает, сапоги вызывается с себя снять: вот, мол, как должен поступать всякий, кто за себя не боится! А за себя лично он действительно не боится, потому что, с одной стороны, душа у него чиста, как сейчас вычищенная выгребная яма, а с другой стороны, она же до краев наполнена всякими готовностями, как яма, сто лет не чищенная. Следом за Ивановым появляется Федоров — этот когда-то был высечен своими крепостными людьми и никак не может об этом забыть. Понятно, что он утверждает, что только власть сильная и *вооруженная карами* может удержать Россию на краю пропасти. За Федоровым выходит Пафнутьев (тоже был своевременно высечен) с обширной запиской в руках, в которой касается вещей знаемых (с иронией) и незнаемых (с упованием на милость божию), и затем, в виде скромного вывода, предлагает: ради спасения общества гнилое и либеральничающее чиновничество упразднить, а вместо него учредить пафнутьевское «средостение», споспешествуемое дракинским «оздоровлением корней». Пафнутьева сменяет захудавший дворянин Кубышкин, который просит немногого: дабы, до приведения в порядок мыслей, немедленно все учебные заведения закрыть! И в заключение совершенно неожиданно прибавляет: «Изложив все сие по сущей совести, повергаю себя и свою семью, из собственных малолетних детей и сирот-племянниц состоящую, на усмотрение: хотя бы места станového удостоиться, то и сим предоволен буду». За Кубышкиным идут разных шерстей ублюдки. Во-первых, маркиз Шассе-Крузе, которого только в прошлом году княгиня Букиазба воссоединила в лоно православной церкви и который теперь уж жалуется, что, живя в курском имении («приданое жены моей, воспитанницы княгини Букиазба»), только он с семьей да с гувернанткой-немкой и посещает храм божий; «народ же, под влиянием сельского учителя» и т. д. Во-вторых, барон Ферфлюхтер, который ни на что особенно не сетует, а только излагает факты. И в заключение не без язвительности спрашивает: отчего ничего

подобного до сих пор не было в лояльном Остзейском крае, «но будет непременно и там, ежели не смирить своеволие латышей». И наконец князь Мирза-Мамай-Тохтамышев, который, будучи честнее прочих, говорит кратко: ннэ панна-маю!

Вот вам вся процедура «содействия». Смысл ее однообразен: наяривай, жарь, гни в бараний рог! Да ведь мы всё это слышали и переслышали! — восклицаете вы. А чего же, однако, вы ожидали? Посмотрите-ка на Дракина: он, еще ничего не видя, уже засучивает рукава и налаживает кулаки.

Жарь! — вот извечный секрет непочатых, но уже припахивающих тлением людей, секрет, в котором замыкается и идея возмездия, и идея поучения. Всех жарь, а в том числе и их, прохвостов, ибо они и своей собственной шкуры не жалеют. Что такое шкура! одну спустишь — нарстет другая! Эта уверенность до такой степени окрыляет их, что они подставляют свои спины почти играючи...

Но мы, кликавшие клич, что же мы-то будем с этими «содействиями» делать? Начнем ли воздвигать, с помощью их, величественное здание общественного благоустройства или прямо их в помойную яму свалим? По-моему, в помойную яму — ближе. А потом что? Подумайте, ведь нам и после всетаки надобно жить!

В этом-то и заключается горечь современного положения, что жить обязательно. А как жить — ответа на этот вопрос ни откуда нет. Чиновники только предписания посылают да донесений ждут; а излюбленные люди — изрекают истрепанные дореформенные слова да рукава засучивают...

Но вы, пожалуй, возразите: да неужели же в плотной массе Ивановых не найдется таких, которым небезызвестны и другого рода слова? — Не спорю; вероятно, где-нибудь такие Ивановы и водятся, так ведь это, мой друг, Ивановы неблагонамеренные, которых содействие, уж по заведенному исстари порядку, предполагается несвоевременным. Каким же образом они *найдутся*, коль скоро их *не ищут*?

Тетенька! да сознайтесь же, наконец! ведь и мы с вами, когда кликали клич, разве мы имели в виду *этих* Ивановых? разве мы не тревожились, не молились по секрету: ах, кабы бог пронес! ах, кабы эти беспокойные люди пропустили наш клич мимо ушей! И вот бог услышал наше моление: никто из «беспокойных» не явился, а мы лицемерим, притворяемся огорченными! Говорим: вот вам ваш Чацкий, ваш Евгений Онегин, ваши Рудин, Инсаров! Вот как критиковать да на смех поднимать — так они тут как тут, так и жужжат, а как трезвенное слово сказать приходится — тут их и нет!

Заметьте раз навсегда: когда кличут клич, то всегда из нор выползают только те Ивановы, которые нужны, а те, которые не нужны — остаются в норах и трепещут. Это само собою так делается, ибо таков естественный закон благоустройства и благочиния. И надо прибавить, закон очень целесообразный, потому что он устраняет разномыслие и подтверждает единение, с присовокуплением (в небольшой дозе) «средостения» и (больше чем нужно) «оздоровления корней». Благодаря этому закону трепещущие Ивановы безмолвствуют, а дерзающие — славословят. И затем, так как только одни славословия и слышны, то совокупность их и составляет то «содействие», которым мы обязываемся удовольствоваться.

Очень возможно, однако ж, что это объяснение покажется вам ничего не объясняющим... «Ведь это наконец какая-то необъяснимая путаница! — воскликнете вы, — мы кличем клич и потом оказываемся в какой-то нелепой стачке с Пафнутьевыми и Дракиными!» Ах, голубушка, да разве я не понимаю, что объяснения мои и запутанны и загадочны! Но что же мне делать, коли нет у меня других? У меня ли у одного подлинных речей нет или у всех вообще — я даже и этого объяснить не могу. Не знаю. Ничего я не знаю, кроме одного: что надо жить...

Одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту историю, во всех подробностях, на страницах «Русской старины» прочту. Я-то, впрочем, пожалуй, и не успею прочитать, так все равно дети прочтут. Только любопытно, насколько они поймут ее и с какой точки зрения она интересовать их будет?



Впрочем, дети еще туда-сюда: для них устные рассказы старожиллов подспорьем послужат; но внуки — те положительно ничему в этой истории не поверят. Просто скажут: ничего в этой чепухе интересного нет.

Сообразите же теперь, какое горькое чувство, ввиду такой перспективы, должен испытывать современный бытописатель этих волшебств и загадочных превращений. Уже современники читают его не иначе, как угадывая смысл и цель его писаний и комментируя и то и другое каждый по-своему; детям же и внукам и подавно без комментариев шагу ступить будет нельзя. Все в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель представится человеком назойливым и без нужды неясным. Кому какое дело до того, что описываемая смута понятий и действий разливала кругом страдание, что она останавливала естественный ход жизни и что, стало быть, равнодушно присутствовать при ней

представлялось не только неправильным, но даже постыдным? И что при сем ясность, яко несвоевременная и т. д. Не легче ли разрешить все эти вопросы так: вот странный человек! всю жизнь описывал чепуху да еще предлагает нам читать свои описания... с комментариями!

Вот когда вы войдете в кожу такого бытописателя, тогда вы и поймете, какая злая ирония звучит в этих немногих словах: надо жить!

Представьте себе, тетенька, кого я на днях встретил? — Ноздрева! Помните, Ноздрева, с которым мы когда-то у Го голя познакомились? Не пугайтесь, однако ж; это далеко уж не тот буян Ноздрев, которого мы знавали в цветущую пору молодости, но солидный, хотя и прогоревший консерватор. Штука в том, что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный донос, который сначала обратил на себя внимание охранительной русской прессы, а потом дальше да шире — и вдруг с ним совершился спасительный переворот! Теперь он пьет только померанцевку, говорит только трезвенные слова, трактиры посещает исключительно ради внутренней политики, и обе бакенбарды содержит одинаковой длины и одинаковой пушистости. И вдобавок, не дожидаясь, чтоб другие назвали его патриотом, сам себя называет таковым. Словом сказать, стоит на высоте положения и нимало этим не отягощается.

Встретились мы с ним на Невском, и, признаюсь, первым моим движением было бежать. Однако вижу, что человек совсем-таки переродился — делать нечего, подошел. Прежде всего, разумеется, старину помянули. Вспомнили, как мы с ним да с Чичиковым (вот истинный-то охранитель был! и как бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постоялом дворе ели; потом перешли к Мижухеву.

Ах, тетенька, какое это волшебное время было! Вообразите, тогда можно было поросенка под хреном на постоялом дворе достать! А если верить старику Державину, то можно было видеть мужика, который у всех на глазах «ел добры щи и пиво пил»! Ведь это, по-нынешнему, все равно, что шпаги глотать! Где это было? в какой губернии? в каком уезде? и кто в то время становым приставом в том месте был? Признаюсь, у меня даже голос дрогнул при мысли, что все эти факты прошли у нас перед глазами, что они возникли и осуществились без малейшего участия земства, единственно по магию волшебника-станового — и ничего-то мы своевременно не заметили!

Много тогда таких волшебников было, а нынче и вдвое

против того больше стало. Но какие волшебники были искуснее, тогдашние или нынешние,— этого сказать не умею. Кажется, впрочем, что в обоих случаях вернее воскликнуть: как только мать — сыра земля носит!

Разумеется, Ноздрев сейчас же увлек меня в трактир, и там, за порцией селянки, мы разговорились. Увы! ряды стариков ужасно как поредели! Чичиков, Плюшкин, Петух, генерал Бетрищев, Костанжогло, отец и благодетель города полицеймейстер, прокурор, председатель гражданской палаты, дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях — все это примерло и свезено на кладбище. Остались в живых лишь немногие. Собакевич, который, по смерти Феодулии Ивановны, воспользовался ее именем и женился на Коробочке, с тем, чтоб и ее именем воспользоваться. Супруги Маниловы, которые живут теперь в Кобеляках, в ужаснейшей нищете, потому что Фемистоклюс промотал все имение и теперь сам служит в швейцарах в трактире Лопашова. Губернатор, который вышивал по канве и впоследствии блеснул было на минуту на горизонте, но чего-то не предусмотрел и был за это уволен. Теперь он живет в Риме, получая присвоенное содержание и ежегодно поднося папе римскому туфли своей собственной работы *de la part d'un homme d'état russe*¹. И, наконец, Мижув, который служит мировым судьей и ужасно страдает, потому что жена его (тетенька! представьте себе даму, которая на карточках пишет: рожденная Ноздрева!) открыто живет с чичиковским Петрушкой, состоящим при Мижувеве в качестве письмоводителя.

— Ну, а вы-то сами как... служите? — прервал я его.

— Покуда состою председателем земской управы,— ответил он скромно,— а дальше что бог даст!

— В Петербург присмотреться приехали?

— Да, хотелось бы... подействовать...

И он изложил мне свою теорию «содействия»...

А знаете ли, голубушка, ведь Ноздрев-то умный! Покуда Пафнутьевы, Дракины да Ивановы одно и то же долбят: наяривай! жарь! — он очень скромно, но твердо и с достоинством говорит: как угодно! Конечно, с точки зрения практических последствий, нельзя наверное определить, насколько подобное содействие может счестся плодотворным, но, во всяком случае, в смысле карьеры, со стороны Ноздрева это прием удивительно ловкий.

Ничто так не располагает нас к человеку, как выражаемое им нам доверие. Иногда мы и сами понимаем, что это доверие

¹ от одного русского государственного деятеля.

нимало не выводит нас из затруднения и ровно никаких указаний не дает, но все-таки не можем не сохранить доброго воспоминания о характере доверяющего.

— Так как же, старик? По-твоему, «как угодно»?

— Как угодно, вашество! Ах, вашество!

— Ну-ну-ну, старик, успокойся! Будем иметь в виду! Вот, господа! добрые-то всегда так говорят!

И впоследствии, когда где-нибудь откроется вакансия смотрителя, эскутера или эконома, память неволью напоминает нам о добром старике, который, не мудрствуя лукаво, принес нам свое ноздревское сердце и заветную думу всей своей жизни выразил в одном восклицании: как угодно!

— Определить Ноздрева... этот не выдаст!

А Ноздрев, с тех пор, как удачный донос сделал, только о том и мечтает, как бы местечко смотрителя или эконома получить, особливо ежели при сем и должность казначея в одном лице сопрягается. Получив эту должность, он годик-другой будет оправдывать доверие, а потом цапнет куш тысяч в триста, да и спрячет его в потаенном месте. Разумеется, его куда следует ушлют, а он там будет жить да поживать, да процентки получать.

Вот он нынче каков стал: всё только солидные мысли на уме. Сибири не боится, об казне говорит: у казны-матушки денег много, и вдобавок сам себя патриотом называет. И физиономия у него сделалась такая, что не всякий сразу разберет, приложимо ли к ней «оскорбление действием» или не приложимо.

Основания ноздревской теории содействия очень просты. По мнению его, такие слова, как: наяривай, жарь, гни в бараний рог! — имеют чересчур императивный характер и в этом смысле могут представлять хотя благонамеренную, но очень серьезную опасность. Сами по себе взятые, они заслуживают поощрения и похвалы, но ежели их начнут выкрикивать поголовно все Пафнутьевы, то из совокупности этих криков образуется вой, который будет свидетельствовать уже не о содействии, а о разнузданности страстей. Да притом же, наяривание и не всегда осуществимо. Иногда оно признается неудобным ввиду некоторых деликатных веяний; иногда для подобной операции не имеется достаточно опытных исполнителей; иногда исполнители и нашлись бы, но содержание их потребует по-вых расходов... А между тем «содействователи» сбились в косяк и воют. Ведь этак, пожалуй, в самих «содействователей» придется палить, лишь бы из затруднения выйти!

Ноздрев доказывал даже — и небезосновательно, — что все вообще глаголы, употребляемые в повелительном наклоне-

нии, имеют революционный характер. Они всегда декретируют целую систему, и притом декретируют устами таких людей, которые до тех пор ели из одного корыта с поросятами. Понимают ли эти люди значение произносимого ими возгласа, могут ли они уяснить себе, сколько непредвиденных расходов потребует его осуществление,— это более чем сомнительно. По крайней мере, Ноздрев думает,— и я в этом вполне доверяю его опытности,— что они потому только выкрикивают: *наяривай*, что вспомнили, как они то же самое слово провозглашали, *pro domo sua*¹, на конюшнях и псарнях. Но они решительно не понимают, что требование, выраженное в форме столь резкой и даже неучливой, должно стеснить свободу воздействия, и потому отнюдь не может быть терпимым. Ибо стоит лишь стать на покатошь, а там оно уж и само собой под гору пойдет. Сначала воют: *наяривай!* а потом, пожалуй, начнут выть: *довольно наяривать!* будет! Понятно, что подобная перспектива не может не тревожить таких опытных знатоков человеческого сердца, как Ноздрев.

Словом сказать, развивая свою теорию, Ноздрев обнаружил и недюжинный ум, и замечательную чуткость в понимании средств к достижению желаемого. Так что ежели судить с точки зрения «лишь бы понравиться» (самая это отличнейшая точка, милая тетенька!), то лучше теории и выдумать нельзя.

Но я все-таки попытался сделать некоторые возражения.

— Ноздрев! — сказал я ему. — Я уважаю вас, как человека искренно убежденного. Но именно потому, что я уважаю вас, я и решаюсь высказать, что с некоторыми вашими положениями согласиться не могу. Я уступаю вам, что, в смысле свободы действия, выражение «как угодно» не оставляет желать ничего лучшего, но сознайтесь, однако ж, что действительного «содействия» все-таки из него не выжмешь. Коли хотите, это почтительное подтверждение накопленной веками мудрости, это прекрасный порыв благодарного чувства — но и только. Ведь и для «свободы действия» необходимо какое-нибудь содержание, так как в противном случае она перейдет в разгул, а от разгула до потрясения основ рукой подать. Это до такой степени чувствуется всеми, что именно поиски за содержанием и составляют характеристическую черту современности. Допустим, что слово «наяривай» не стоит выеденного яйца, но все-таки оно нечто дает. Допустим, что оно невежливо по форме и глупо по содержанию, но и это следует приписать не предвзятости намерения, а незаконченности на-

¹ в собственных интересах.

ших бытовых форм, невыработанности обывательской фразеологии и недостатку воображения. Нельзя, однако ж, за это одно подвергать простодушных людей расточению, яко революционеров. Неполитично и несогласно с справедливостью отталкивать от себя детей природы, хотя бы последние, по незнанию орфографии и знаков препинания, и допустили некоторые невежества. Пусть лучше в воздухе нехорошо попахнет, нежели огорчать невинных людей, которые чем богаты, тем и рады. Ибо ежели мы таковых от себя отженём, то на ком же будем осуществлять опыты «средостения» и с кем предпримем труд «оздоровления корней»? Ах, Ноздрев, Ноздрев! давно ли вы сами стояли с прочими поросятами у корыта и кричали: наяривай! а вот теперь, как получили надежду добраться до яслей, то мечтаете, что оттуда горизонты увидите! Ничего вы, мой друг, ниоткуда не увидите, кроме фиги, которую и прочие фиговидцы видят. И помяните мое слово...

Но, дойдя до этих пределов, я вдруг сообразил, что произношу защитительную речь в пользу наяривательного содействия. И, как обыкновенно в этих случаях бывает, начал прислушиваться, я ли это говорю или кто другой, вот хоть бы этот половой, который, прижав под мышки салфетку, так и ест нас глазами. К счастью, Ноздрев сразу понял меня. Он был, видимо, взволнован моими доводами и дружески протягивал мне обе руки.

— Вы победили меня! — сказал он. — Но мне кажется, что и я не совсем неправ. Во всяком случае, выйти из этого затруднения довольно легко. Стоит только сблизить обе формулы и составить из них одну: «наяривай... а, впрочем, как угодно!» И все будет в порядке.

Нет, как хотите, а он умный!

Вообще нынче содействия в ходу, и между ними много таких, о которых даже говорить стыдно. Все нынче как-то врозь пошло, все норовит, под видом содействия, междуусобие произвести. И у всех при этом один двигатель: карьера. Может быть, я подробнее напишу вам об этом явлении, но, может быть, и совсем не напишу. Всяко может случиться. В последнем случае придется опять возложить надежду на «Русскую старину»... через тридцать лет. Но как невыносимо обязательное безмолвие ввиду этой нелепой суеты — этого я даже выразить вам не могу...

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Милая тетенька.

Все это время я был необыкновенно расстроен. Легкомысленные приятели до того надоели своими жалобами, что просто хоть дома не сказывайся... Положим, что время у нас стоит чересчур уж серьезное; но ежели это так, то, по мнению моему, надобно и относиться к нему с такою же серьезностью, а не напрашиваться на недоразумения. А главное, я-то тут при чем?.. Впрочем, судите сами.

Приходит один.

— Представь, какая штука со мною случилась! Сажусь я сегодня у Покрова на конку, вынимаю газету, читаю. Только газету-то, должно быть, не ту, какую на конке читать приличествует... И вдруг, слышу монолог: «Такое, можно сказать, время, а господа такие, можно сказать, газеты читают!» Молчу. Однако чувствую, что соседи около меня начинают ежиться. Монолог продолжается. «А в этих газетах — вот в этих — именно самый яд-то и заключается. Где первоначало всему? — в газете! где источник-корень зла? — в газете! А господа вместо того, чтобы поспособствовать: вот мол, господин газетчик, как мы тебя тонко понимаем! — а они, между прочим, даже других в соблазн вводят». И по мере того как монолог развивается, соседи всё пуще и пуще ежатся; одна дама встает и просится выйти; я сам начинаю сознавать, что молчать больше нельзя. Осматриваюсь: наискосок сидит старичок. В потертом пальто, в ваточном картузе, нос красный. Ясно, что был в питейном у Покрова и теперь едет в питейный на Сенную.— Вы это про меня, что ли? — спрашиваю. «Вообще про господ либералов»...— Ну? — «Помилуйте, господин, да неужто ж свои чувства выразить нельзя? Да я, коли у меня чувства правильные...» Кабы я был умен, надо бы мне сейчас уйти, а я остался, начал калякать. Дальше да больше — история. Не успели до Юсупова сада доехать, как уж всем нам оставался один

пеход: участок... Какова штука! вот уж именно нелегкая понесла по конке ездить!

— Чего же ты жалуешься, однако! ведь в участке, конечно, тебя рассудили, оправдали и выпустили?

— Скажите на милость! да разве я в участок ехал? ведь я по своим делам ехал, а вместо того в участке целое утро провел!

— Послушай! зачем же ты ехал? разве не мог ты дома посидеть?

— Конечно, мог бы, да ведь думается...

— А думается, так не ропщи. Не умел сидеть дома — посиди в участке.

Приходит другой.

— Вот так штука со мной сегодня была! Зашел я в трактир закусить, взял кусок кулебяки и спросил рюмку джина. И вдруг сбоку голос: «А наше отечественное, русское... стало быть, презираете?» Оглядываюсь, вижу: стоит «мерзавец». Рожа опухшая, глаза налитые, на одной скуле ушибленное пятно, надругой — будет такое к вечеру; голос с перепоею двоятся. Однако покуда молчу. А «мерзавец» между тем продолжает: «Нынче все так: пропаганды проповедуют да иностранные образцы вводить хотят, а позвольте узнать, где корень-причина зла?» Кабы я умен был, мне бы заплатить, да и удрать, а я, вместо того, рассердился.— Ты это мне, что ли, пьяное рыло, говоришь? — Смотрю, а в буфетную уж штук двадцать женихов из Ножовой линии напоззло. Гогочут. И буфетчик тоже, не то чтоб смеется, а как-то стыдливо опускает глаза, когда в мою сторону смотрит. «Однако, господин.— это «мерзавец» опять говорит,— ежели всякий будет пьяным рылом называть, а я между тем об себе понимаю, что чувства мои правильные...» Словом сказать, протокол. Все женихи в один голос показали: «Господин Расплюев правильные чувства выражали, а господин (имярек) его за это «пьяным рылом» обозвали». Написали, подписали и сегодня же этот протокол к мировому судье отправляют...

— И поделом. Зачем в трактир ходишь! — неволью вырвалось у меня.

— И сам, братец, теперь вижу: черт меня дергал в трактир ходить! Водка — дома есть, а ежели кулебяки нет, так ведь и селедкой закусить можно!

— Еще бы! Но, впрочем, позволь, душа моя! из-за чего ты, однако, так уж тревожишься! Ведь мировой судья, наверное, внемлет, и рано или поздно, а правда все-таки воссияет...

— Чудак ты! да разве я для того в трактир ходил, чтоб правда воссияла? Положим, однако ж, что у участкового миро-

вого судьи правда и воссияет — а что, ежели Расплюев дело в мировой съезд перенесет? А ежели и там правда воссияет, а он возьмет да кассационную жалобу настроит? Сколько времени судиться-то придется?

Стали мы рассчитывать. Вышло, что ежели поискуснее кассационные поводы подбирать да, не балуячи противную сторону, сроки наблюдать, то годика на четыре с хвостиком хватит. Но когда мы вспомнили, что в прежних судах подобное дело наверное протянулось бы лет девяносто, то должны были согласиться, что успех все-таки большой.

И точно: у мирового судьи судоговорение уж было, и тот моего друга, ввиду единогласных свидетельских показаний, на шесть дней под арест приговорил. А приятель, вместо того, чтоб скромненько свои шесть дней высидеть, взял да нагрубил. И об этом уже сообщено прокурору, а прокурор, милая тетенька, будет настаивать, чтоб его на каторгу сослали. А у него жена, дети. И все оттого, что в трактир, не имея «правильных чувств», пошел!

Приходит третий.

— Ах, голубчик, какая со мной вчера штука случилась! Сижу я в «Пуританах», а рядом со мной в кресле мужчина сидит. Доходит дело до дуэта... помните, бас с баритоном во все горло кричат: *loyaltà, loyaltà!*¹ Испокон веку принято в этом месте хлопать, и вчера стали хлопать и кричать *bis!*.. И я грешным делом хлопнул. Только и невдомек мне, что сосед, покуда я хлопал да *bis* кричал, как-то строго на меня посмотрел. Ну, повторили дуэт, а я опять кричу: *bis! bis!* Он и не выдержал: «понравилось?» — говорит. Я туда-сюда; вспомнил, что *loyaltà*-то вместо *libertà*² поставлено — и рад бы хлопанцы-то свои назад взять, ан нет: ау, брат! не воротишь! Наступил антракт, вижу, мужчина мой в проходе остановился, и около него кучка собралась. Поговорят, поговэрят, да на меня глазами и вскинут. Не то чтоб очень строго, а вроде как бы хотят сказать: ах, молодой человек! молодой человек! Потом, вижу, начинает мой мужчина пробираться к выходу и вдруг... исчез! Я за ним, вхожу в коридор: одевается, хочет уезжать. Увидел меня: «вам, говорит, молодой человек, необходимо благой совет дать: ежели вы в публичном месте находитесь, то ведите себя скромно и не оскорбляйте чувств людей, кои, по своему положению...» Сказал, и был таков. Я было за ним, но тут уж полицейский вступился. «Позвольте, говорит, и мне вам благой совет подать: не утруждайте его превосходительства!» Так я

¹ законность, законность!

² свобода.

и остался... Ну, скажи на милость, на кой черт мне эти «Пуритане» понадобились?

— Это уж, братец, твое дело. Я и сам говорю: вместо того, чтоб дома скромненько сидеть, вы все, точно сбесились, на неприятности лезете! Но не об том речь. Узнал ли ты, по крайней мере, кто этот мужчина был?

— Да бесшабашный советник Дыба, сказывали...

— Дыба! ах, да ведь я с ним в прошлом году в Эмсе приятно время провел! на Бедерлей вместе лазали, в Линденбах, бывало, придем, молока спросим, и Лизхен... А уж какая она, к черту, Лизхен! поясница в три обхвата! Всякий раз, бывало, как она этой поясницей вильнет, Дыба молвит: вот когда я титулярным советником был... И крикнет.

— Ах сделай милость, выручи!

— Да ведь он и фамилии твоей не знает?

— То-то, что знает. На беду, капельдинер человек знакомый попался.

— Гм!.. стало быть, Дыба расспрашивал?

— В том-то и дело, что расспрашивал. И когда ему мою фамилию назвали, то он оттопырил губы и произнес: а! это тот самый, который... Нет, ты уж выручи!

Делать нечего, пришлось выручать. На другое утро, часу в десятом, направился к Дыбе. Принял, хотя несколько как бы удивился. Живет хорошо. Квартира холостая: невелика, но приличная. Чай с булками пьет и молодую кухарку нанимает. Но когда получит по службе желаемое повышение (он было перестал надеяться, но теперь опять возгорел), то будет нанимать повара, а кухарку за курьера замуж выдаст. И тогда он, вероятно, меня уж не примет.

— А! господин сопацент! помню! помню! Какими судьбами?

— Да вот, вашество, поблагодарить пришел... Внимание ваше... Бедерлей... Линденбах... Так мне тогда лестно было!

— Что ж, очень рад! очень рад! Что от меня зависело... весьма, весьма приятно время провели! Только, знаете, нынче приятности-то уж не те, что прежде были...

— Ах, вашество! да неужто ж я этого не понимаю! неужто я не соображаю! нынешние ли приятности или прежние! Прежние, можно сказать, были только предвкушением, а нынешние...

— То-то, то-то. Так вы и соображайте свои поступки. Прежние приятности — сами по себе, а нынешние — преимущественно...

Ждал я, что он и мне велит чаю с булками подать, но он не велел, а только халат слегка запахнул. Тем не менее дело

у нас шло настолько гладко, что он повел меня квартиру показывать: однако ж ни кухни, ни кухаркиной комнаты не показал. Но когда я приступил к изложению действительной причины моего визита, то он нахмурился. Сказал, что пора серьезно на современное направление умов взглянуть; что мы всё либеральничали, а теперь вот спрашиваем себя: где мы? и куда мы идем? И знаете ли что, милая тетенька? — мне даже показалось, что, говоря о либералах, он как будто бы намекал на меня. Потом сказал, что он, к сожалению, уж кого следует предупредить, и теперь неловко... И только тогда, когда я неопровержимыми доводами доказал, что спасти невинно павшего никогда для великодушного сердца не поздно, — только тогда он согласился «это дело» оставить.

Можете себе представить радость моего приятеля, когда я ему объявил об результате моего предстательства! Во всяком случае, я теперь уверен, что впредь он в театр ни ногой; я же буду иметь в нем человека, который и в огонь и в воду за меня готов! Так что ежели вам денег понадобится — только черкните: я у него выпрошу.

Приходит четвертый.

— Вообрази, какая со мной штука случилась! Пошел я вчера, накануне Варварина дня — жена именинница, — ко всепощной. Только стою и молюсь...

Приходит пятый.

— Вот так штука! Еду я сегодня на извозчике...

Приходит шестой.

— Нет, да ты послушай, какая со мной штука случилась! Прихожу я сегодня в Милютинины лавки, спрашиваю балыка...

Приходит седьмой.

— Коли хочешь знать, какие штуки на свете творятся, так слушай. Гуляю я сегодня по Владимирской и только что поравнялся с церковью...

Приходит восьмой; но этот ничего не говорит, а только глазами хлопает.

— Штука! — наконец восклицает он, переводя дух.

Словом сказать, образовалась целая теория вколачивания «штуки» в человеческое существование. На основании этой теории, если бы все эти люди не заходили в трактир, не сядились бы на конку, не гуляли бы по Владимирской, не ездили бы на извозчике, а оставались бы дома, лежа пупком вверх и читая «Напа», — то были бы благополучны. Но так как они позволили себе сесть на конку, зайти в трактир, гулять по Владимирской и т. д., то получили за сие в возмездие «штуку».

«Штука» — сама по себе вещь не мудрая, но замечательная тем, что обыкновенно ее вколачивает «мерзавец». Вколачивает, и называет это вколачиванье «содействием». Тот самый «мерзавец», которого все сознают таковым, но от которого никак не могут отделаться, потому что он, дескать, на правильной стезе стоит. Я, однако ж, позволяю себе рассуждать так: мерзавец есть мерзавец — и более ничего. А к тому присовокупляю, что ежели вскоре не последует умаления мерзавцев, то они по горло хлопот наделают. Ибо не в том дело, что они либералов на рюмке джина подлавливают, а в том, что повсюду, во всех щелях и слоях, их мерзкие дела бессмысленнейшую сумятицу заводят.

Как бы то ни было, но ужасно меня эти «штуки» огорчили. Только что начал было на веселый лад мысли настраивать — глядь, ан тут целый ряд «штук». Хотел было крикнуть: да сидите вы дома! но потом сообразил: как же, однако, все дома сидеть? У иного дела есть, а иному и погулять хочется... Так и не сказал ничего. Пускай каждый рискует, коли охота есть, и пускай за это узнает, в чем «штука» состоит!

А мысли у меня тем временем расстроились. С *allegro con brio*¹ на *andante cantabile*² перешли...

Вот наше житишко каково. Не знаешь, какой ногой ступить, какое слово молвить, какой жест сделать — везде тебя «мерзавец» подстережет. И вся эта бесшабашная смесь глупости, распутства и предательства идет навстречу под покровом «содействия» и во имя его безнаказанно отравляет человеческое существование. Ябеда, которую мы некогда знавали в обособленном состоянии (и даже в этом виде она никогда не казалась нам достолюбезною), обмирщилась, сделалась достоянием первого встречного добровольца.

Не правда ли, какая поразительная картина нравов? Да, даже для людей, видавших на своем веку виды, она кажется поразительною и неожиданною. Может быть, в сущности, она и не поразительнее картин доброго старого времени, с которыми мы ее сравниваем, однако ведь надо же принять во внимание, что время-то идет да идет, а картины всё те же да те же остаются. Вот эта-то мысль именно и донимает, что самое время как будто утратило всякую власть над нами. По крайней мере, мне лично по временам начинает казаться, что я стою у порога какой-то загадочной храмины, на дверях кото-

¹ быстро, с блеском.

² медленно, певуче.

рой написано: ГАЛИМАТЪЯ. И стою я у этих дверей, как прикованный, и не могу отойти от них, хотя оттуда так и обдает меня гнилым позором взаимной травли и междоусобия. Там, за этими дверьми, мечутся обезумевшие от злобы сонмища добровольцев-соглядатаев, пугая друг друга фантастическими страхами, стараясь что-то понять и ничего не понимая, усиливаясь отыскать какую-то мудреную комбинацию, в которой они могли бы утопить гнетущую их панику, и ничего не обретая. Злые сердцем, нищие духом, жестокие, но безрассудные, они сознают только требования своего темперамента, но не могут выяснить ни объекта своих ненавистей, ни способов отмщения. Все в этом соглядатайственном мире загадочно: и люди, и действия. Люди — это те люди-камни, которые когда-то сеял Девкалион и которые, назло волшебству, как были камнями, так и остались ими. Действия этих людей — каменные осколки, неведомо откуда брошенные, неведомо куда и в кого направленные. В пустоте родилась их злоба, в пустоте она и потонет. Но — увы! — не потонет смута, которую ее бессмысленное шипение внедрило в человеческие сердца.

С некоторым страхом я спрашиваю себя: ужели же не исчезнут с лица земли эти пустомысленные риторы, эти лицемерствующие фарисеи, все эти шипящие гады, которые с такою назойливою наглостью наполняют современную атмосферу мизмами смуты и мятежа? Шутка сказать, и до сих пор еще раздаются обвинения в «бреднях», а сколько уже лет минуло с тех пор, как эти бредни были да быльем поросли? Неужели мы с тех пор недостаточно измелчали и опошлели? Неужели мы мало кричали: не нужно широких задач! не нужно! давайте трезвенные слова говорить! Помилуйте! ведь уж не о «бреднях» идет в настоящее время речь — ах, что вы! — а о простом, простейшем житии, о самой скромной претензии на уверенность в завтрашнем дне. «Бредни»! — не помните ли, голубушка, в чем бишь они состоят? «Бредни»! да не то ли это самое, что несколько станových, квартальных и участковых поколений усиленно и неустанно вышибали из нас, в чаянии, что мы восчувствуем и пойдём вперед «в надежде славы и добра»? Так неужели же и после того мы не восчувствовали и продолжаем коснеть? — может ли это быть!!! Нет, это не так, это клевета. Мы до такой степени восчувствовали, что нигде, кроме навозной кучи, уж и не чаем обрести жемчужное зерно. Шиллеры, Байроны, Данты! вы, которые говорили человеку о свободе и напоминали ему о совести — да исчезнет самая память об вас! Мы до такой степени и так искренно ошалели, что если бы вы вновь появились в эту минуту, то мы, не обинюясь, причислили бы вас к лику «мошенников пера» и «раз-

бойников печати». Вы не утешили бы, а испугали бы нас. «Ах, можно ли так говорить!», «а ну, как подслушает Расплюев!» — вот что услышали бы вы от наиболее доброжелательных из нас! И Расплюев непременно подслушал бы и пригласил бы вас в участок. А участок нашелся бы в затруднении, кого предпочесть: Расплюева Шиллеру или Шиллера Расплюеву. Не вы теперь нужны, а городовые. И не только на своих постах нужны городовые, но и в мире человеческой совести. Что же делать! проживем и с городовыми! Но пускай же судьба оставит нас с одними ими и избавит от партикулярных шипений и трубных звуков, благодаря которым нет честного человека, который не чувствовал бы себя в тисках ябеды.

Что это отсутствие идеалов и бедность умственных и нравственных задач, эта изменчивость стремлений, заставляющая колебаться в выборе между Шиллером и городовым, очень существенно и горько отзвучит не только на настоящем, но и на будущем общества, — в этом не может быть ни малейшего сомнения. Время, пережитое в болоте кляуз, раздоров и подвохов, не пройдет безнаказанно ни в общем развитии жизни, ни перед судом истории. История не скажет, что это было пустое место, — такой приговор был бы слишком мягок и не согласен с правдою. Она назовет это время ямою, в которой кишели бесчисленные гадюки, источавшие яд, которого испарения полностью заразили всю атмосферу. Она засвидетельствует, что и последующие поколения бесконечно изнывали в борьбе с унаследованной заразой и только ценою мучительных усилий выстрадали себе право положить основание делу человечности и любви.

Но допустим, что нам не к лицу задаваться задачами, в которых на первом плане стоит общество, и тем меньше к лицу угадывать приговоры истории. Допустим, что нашему разумению доступно только маленькое личное дело, дело тех разрозненных единиц, для которых потребность спокойствия и жизненных удобств составляет главный жизненный мотив. Что такое общество? что такое будущее? что такое история? — *Risum teneatis, amici!*¹ Ведь это именно те самые «бредни», о которых я столько раз уж упоминал и которые способны лишь извратить наши взгляды на задачи настоящего! — Пусть будет так. Но ведь и в этих разрозненных существованиях, и в этих мелких группах, на которые разбилась человеческая масса, — ведь и там уже царит бессмысленная распря, раздор и нравственное разложение.

Да, все это уже есть налицо. Взволновав и развратив об-

¹ Друзья, воздержитесь от смеха!

шество, ябеда постепенно вторгается и в семью. Она грозит порвать завещанный преданием связующий элемент и, вместо него, посеять в сердцах одних — ненависть, в сердцах других — безнадежность и горе. На мой взгляд, это угроза очень серьезная, потому что ежели еще есть возможность, при помощи уличных перебегающих и домашних запоров, скрыться от общества живых людей, то куда же скрыться от семьи? Семья — это «дом», это центр жизнедеятельности человека, это последнее убежище, в которое он обязательно возвращается отовсюду, куда бы ни призывали его профессия и долг. Далее этого убежища ему некуда идти. Посудите же, какое чувство он должен испытывать, если даже тут, в этой крепости, его подстерегают то же предательство, та же свара, от которых он едва-едва унес ноги на улице. И вдобавок, свара значительно обостренная, потому что никто не сумеет так всласть обострить всякую боль, как люди, отравляющие друг другу жизнь породственному.

Если б жертвами этих интимных предательств делались исключительно так называемые либералы, можно бы, пожалуй, примириться с этим. Можно бы даже сказать: сами либеральничали, сами кознодействовали, сами бредили — вот и добрадились! Но оказывается, что ябеда слепа и капризна...

На днях я издали завидел на улице известного вам Удава¹ и просто-напросто побоялся подойти к нему: до такой степени он нынче глядит сумрачно и в то же время уныло. Очевидно, в нем происходит борьба, в которой попеременно то гнев берет верх, то скорбь. Но думаю, что в конце концов скорбь, даже в этом недоступном для скорбей сердце, останется победительницею.

У Удава было три сына. Один сын пропал, другой — попался, третий — остался цел и выражается о братьях: так им, подлецам, и надо! Удав предполагал, что под старость у него будут три утешения, а на поверку вышло одно. Да и относительно этого последнего утешения он начинает задумываться, подлинно ли оно утешение, а не египетская казнь.

В фактическом смысле, все это совершилось довольно быстро, но подготовлялось исподволь. Надо вам сказать, что Удав никогда не сознавал никакой связи между обществом и своей личностью. Каждодневно, утром, выходил он «из дома» на улицу, как в справочное место, единственно для совершения обычных деловых подвигов, и, совершив что следует, вновь возвращался «домой». Возвратившись, надевал халат, говорил: теперь по мне хоть трава не расти! и требовал, чтоб

¹ См. «За рубежом». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

его не задерживали с обедом. За обедом он рассказывал анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, после обеда часа два отдавал отдохновенно, а за вечерним чаем произносил краткие поучения о том, какую и в каких случаях пользу для казны принести можно. И все ему внимали; дети поддакивали и ели отца глазами, жена говорила: зато и начальство папеньку награждало!

И вдруг Удав стал примечать, что стены его храмины начинают колебаться; что в них уже появляются бреши, в которые бесцеремонно врывается улица с ее смутною, кляузными, ябедою, клеветою... Дети внимают ему рассеянно; жена хотя еще поддакивает, но без прежнего увлечения. И даже во взаимных отношениях членов семьи заметна какая-то натянутость. Некоторое время, впрочем, Удав крепился и как бы не верил самому себе. По-прежнему продолжал рассказывать анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, и ежели замечал в слушателях равнодушие, то, от времени до времени, покрикивал на них.

Но дальше дело начало усложняться. Однажды, возвратившись в храмину, Удав угадал сразу, что в ней свила себе гнездо тайна. Жена как будто в первый раз видит его, дети смотрят и на него, и друг на друга не то удивленно, не то пронзительно, словно испытывают. За обедом он вновь затянул было обычную песню о казенном интересе, но на первом же анекдоте голос его внезапно пресекся: он убедился, что никто ему не внимает. Тогда он вспомнил об «улице» и как-то инстинктивно дрогнул: он понял, что у всякого из его домочадцев лежит на душе своя собственная ненависть, которую он подхватил на улице и принес домой. И каждого эта ненависть охватила всецело, каждый разрабатывает ее особо, в своем собственном углу, за свой собственный счет...

С тех пор Удавова храмина погрузилась в мрак и наполнилась шипением. А наконец разразилась и история, разом лишившая его двух утешений...

И теперь Удав спрашивает себя: действительно ли он был прав, полагая, что между обществом и его личностью не существует никакой связи?

Быть может, вы скажете, что Удав и его семья ничего не доказывают. А я так, напротив, думаю, что именно такие-то личности и дают наиболее подходящие доказательства. Подумайте! ведь Удав не только никогда не скорбел о том, что ябеда грозит обществу разложением, но втайне даже радовался этой угрозе — и вдруг теперь тот же Удав убеждается, что общественная гангрена есть в то же время и его личная гангрена! Как хотите, но, по-моему, это очень важно. Удав --

авторитет в своей сфере; а потому очень возможно, что и другой, на него глядя, задумается...

А таких семей, которые ябеда превратила в звериные берлоги, нынче развелось очень довольно. Улица, с неслыханною доселе наглостью, врывается в самые неприступные твердыни и, к удивлению, не встречает дружного отпора, как в бывалое время, а только производит раскол. Так что весь вопрос теперь в том, на чьей стороне останется окончательная победа: на стороне ли ябеды, которая вознамерилась весь мир обратить в пустыню, или на стороне остатков совести и стыда?

ПИСЬМО ОСЬМОЕ

Милая тетенька.

Вы, конечно, беспокоитесь, не позабыл ли я о Варваринном дне? — Нет, не забыл, и 4-го декабря, к 3 часам, по обычаю, отправился к бабеньке Варваре Петровне (которую я, впрочем, из учтивости называю тетенькой) на пирог. Старушка, слава богу, здорова и бодра, несмотря на то, что в сентябре ей минуло семьдесят восемь лет. Только в рассудке как будто повредилась, но к ней это даже идет. Хвалилась, что получила от вас поздравительное письмо и большую банку варенья, и удивлялась, зачем вы удалились в деревню, тогда как настоящее ваше место при дворе. Об Аракчееве, как и прежде, хранит благодарное воспоминание и повторила обычный рассказ о том, как в 1820 году она танцевала с ним манимаску. Но при этом призналась, что после манимаски у них состоялся роман, и не без гордости прибавила:

— И вот с тех пор доживаю свой век в девицах!

И действительно, еще недавно я собственными глазами видел документ, на котором она подписалась: «К сей закладной девица Варвара Мангушева руку приложила». И нотариус эту подпись засвидетельствовал — чего бы, кажется, вернее?

А между тем представьте себе, что я узнал — ведь у бабеньки-то сын после манимаски родился! И знаете ли, кто этот сын? — да вот тот самый Петруша Поселенцев, которого мы, лет пятнадцать тому назад, застали, как он ручку у ней целовал! Помните, еще мы удивлялись, как это девушка шестидесяти трех лет рискует оставаться наедине с мужчиной, у которого косяя сажень в плечах. А теперь оказывается, что мужчина-то наш родственник! да и Аракчеев тоже нам родственник! Вот так сюрприз! И живет Петруша в том же доме, где-то по черной лестнице, и каждодневно ходит к бабеньке обедать, когда гостей нет, а когда есть гости, то обедает в конурке у Авдотьюшки, которая, после эмансипации, из кофишенок произведена в камеристки.

Все это я узнал от дяденьки Григория Семеныча, который сообщил мне и другие секретные подробности. В молодости бабенька была очень романтична, и как только увидела Аракчеева, так тотчас же и влюбилась в него. Всего больше ей понравилось в нем, что он бороду очень чисто брил, а еще того пуще пленила идея военных поселений, с которою он тогда носился. «А впоследствии, сударыня, мы и настоящую каторгу учредим», прибавлял он, приводя ее в восхищение. Тем не менее, когда бабенька почувствовала, что манимаска ей даром не прошла, то написала к Аракчееву письмо, в котором грозила утопиться, ежели он на ней не женится. Однако граф урезонил ее, доказав, что ему, как человеку одержимому, жениться не подобает и что ежели она и затем «не уймется», то он поступит с нею по всей строгости законов. В случае же раскаяния, обещал ее поддерживать, а имеющего родиться сына (он даже помыслить не смел, чтоб от него могла родиться дочь — «разве бабу-ягу родите!», прибавлял он шутливо) куда следует определить. И действительно, как только последствия манимаски осуществились, так он тотчас же выхлопотал бабеньке пенсию в три тысячи ассигнационных рублей «из калмыцкого капитала», а сына, назвав, в честь военных поселений, Поселенцевым, зачислил в кантонисты и потом, на одре смерти, выпросил, чтоб его, по достижении законных лет, определили в фельдъегерский корпус. Фельдъегерем Петруша служил лет десять и был произведен в прапорщики, но потом, за жестокое обращение с ямщиками, уволен, и в настоящее время живет на бабенькином иждивении. Ему теперь под шестьдесят, но глуп он совершенно так, как бы в цвете лет. Ничего не делает, даже в дураки с бабенькой ленится играть, но знает фокус: возьмет рюмку с водкой, сначала водку выпьет, а потом рюмку съест. Этот фокус бабенька очень любит, но не часто может доставлять себе это удовольствие, потому что рюмки денег стоят, а денег у нее, по случаю возникшей переписки о сокращении выпуска кредитных знаков, маловато.

Так вот, голубушка, какие дела на свете бывают! Часто мы думаем: девушка да девушка — а на поверку выходит, что у этой девушки сын в фельдъегерях служит! Поневоле вспомнишь вашего старого сельского батюшку, как он, бывало, говаривал: что же после этого твои, человеке, предположения? и какую при сем жалкую роль играет высокоумный твой разум! Именно так.

Само собой разумеется, у бабеньки собрался, по случаю дня ангела, весь родственный синклит. Был тут и дяденька Григорий Семеныч, и кузина Надежда Гавриловна, а с ними: два поручика и один прапорщик — дети Надежды Гавриловны,

два коллежских асессора, Сенечка и Павлуша — дети Григория Семеновича, да еще штук шесть кадетов, из которых часть — дети покойной кузины Марьи Гавриловны, а часть неизвестного происхождения. Из посторонних не позабыл Варварина дядя только тайный советник Стрекоза, тот самый, который уцелел после аракчеевской катастрофы, за то, что оказался невинным. Но генерал Бритый не приехал, потому что накануне его похоронили.

И представьте себе, отчего он умер? — Все припоминал, кого он с вечера 30-го ноября 1825 года назначил кошками на завтра наказать, но, быв внезапно уволен от службы, не наказал? Слишком пятьдесят лет припоминал он эту подробность своей служебной карьеры и все никак не мог вспомнить, как вдруг 30-го прошлого ноября, ровно через пятьдесят шесть лет, солдат Анника, словно живой, так и глядит на него! «Кошек!» гаркнул Бритый, но не остерегся и захлебнулся собственной слюной. А через секунду уж лежал на полу мертвый...

Сначала, разумеется, предметом всех разговоров был Бритый. Бабенка очень уважала покойного и говорила, что теперь таких верных исполнителей предначертаний уже не сыщешь. Известно, что на Бритом лежала обязанность внедрять идею военных поселений посредством шпицрутенов, тогда как Стрекоза ту же самую идею внедрял при помощи допроса с пристрастием. Обе эти личности были фаворитами временщика. Даже суровый Аракчеев — и тот умилялся, видя их немудитое служение, и нередко (в особенности Бритого) гладил их по голове. Стрекоза и до сих пор без слез об этом вспомнить не может. Но бабенка, которую кузина Надежда Гавриловна по-французски называет *un coeur d'or*¹, всегда отдавала предпочтение Бритому, а Стрекозу недолюбливает и нередко даже называет его самого — предателем, а слезы его — крокодиловыми. И все за то, что он чересчур тщился доказать свою «невинность». Бритый, говорит она, прямо пал на колени и показал: все сие исполнял в точности, поколику находил оное своевременным и полезным, а Стрекоза — «вертелся». Впрочем, и Стрекозу она принимает дружески, потому что круг аракчеевцев с каждым годом убывает и в настоящее время имеет, кажется, только двух представителей: бабенку и Стрекозу.

Так-то вот. Теперь убывают аракчеевцы, а потом будут убывать муравьевцы, а потом... Но не станем упреждать событий, а будем только памятовать, что еще старик Державин сказал:

А завтра — где ты, человек?

¹ золотое сердце.

Когда покончили с Бритым, Стрекоза рассказал несколько истинных происшествий из практики своего патрона и в заключение произнес прочувствованное слово в похвалу аракчевской «системе». Представьте себе, мой друг, так умно эта система была задумана, что все, которые в ее район попадали, друг за другом следили и обо всем слышанном и виденном доводили до сведения. Даже те, которые «не являлись к сему склонными» (выражение Стрекозы),— и те, с течением времени, увлекались в общий поток человеконенавистничества, отчасти потому, что их побуждало к тому желание отмщения, отчасти же потому, что их неуклонно подбодряли в этом направлении шпицрутенами. Так что известно было не только, кто что говорил, но и кто что ел, то есть установленную ли пищу или не установленную, в горшке ли сваренную или в другом сосуде. И оттого все были тогда здоровы, потому что ели пищу настоящую, а за все прочее отвечала спина. Но, сверх того, Аракчев, по мнению Стрекозы, был и в том отношении незабвенен, что подготавливал народ к восприятию коммунизма; шпицрутены же в этом случае предлагались совсем не как окончательный *modus vivendi*, но лишь как благовременное и целесообразное подспорье. Словом сказать, если б Аракчев пожелал еще некоторое время, то Россия давным-давно бы была сплошь покрыта фаланстерами, а мы находились бы наверху благополучия. И тогда потребность в шпицрутенах миновала бы сама собою.

Итак, вот какое будущее готовил Аракчев России! Бесспорно, замыслы его были возвышенны и благородны, но не правда ли, как это странно, что ни одно благодеяние не воспринимается человечеством иначе, как с пособием шпицрутенов! По крайней мере, и бабенка, и Стрекоза твердо этому верили и одинаково утверждали, что человек без шпицрутенов все равно, что генерал без звезды или газета без руководящей статьи.

Затем, воздав хвалу прошлому, перешли к современности и очень хвалили. Стрекоза заявил, что в некоторых отношениях нынче даже лучше прежнего, потому что прежде нужна была аракчевская несокрушимость, чтобы «систему» в общество внедрять, а нынче и без Аракчева общество само ничуть не хуже систему выработало. А отсюда прямой вывод: что мы созрели.

— Нынче, сударыня, ежели два родных брата вместе находятся, и один из них не кричит «страх врагам!», так другой уж примечает. А на конках да в трактирах даже в полной мере чистота души требуется.

На что бабушка резонно отозвалась:

— И дельно. Не шатайся по конкам, а дома сиди. Чем дома худо? На улице и сырость, и холод, а дома всегда божья благодать. Да и вообще это не худо, что общество само себя проверить хочет... А то уж ни на что непохоже, как распустили!

От этих бабенькиных речей кадеты пришли в восторг и захопала в ладоши. Но старшие поделились на партии. Коллежский ассессор Сенечка встал и, в знак восхищения, поцеловал у бабеньки ручку; его примеру последовали оба поручика, выразившись при этом: золотые вы, бабенька, слова сказали! Но коллежский ассессор Павлуша и прапорщик глядели хмуро. Дядя Григорий Семеныч тоже поморщился (он ведь у нас вольнодумец) и как-то гадливо посмотрел на Сенечку. Что же касается до кузины Надежды Гавриловны, то она, обращаясь к прапорщику, сказала:

— А ты отчего у бабеньки ручку не поцелуешь... бесчувственный!

На что прапорщик ответил:

— Вы, маменька, ничего не понимаете — оттого и говорите!

Словом сказать, произошла семейная сцена, длившаяся не более двух-трех минут, но, несмотря на свою внешнюю загадочность, до такой степени ясная для всех присутствующих, что у меня, например, сейчас же созрел в голове вопрос: который из двух коллежских ассессоров, Сенечка или Павлуша, будет раньше произведен в надворные советники?

Но не успел я порядком разрешить этот вопрос (он сложнее, нежели с первого взгляда казаться может), как бабенька неожиданно меня огорошила.

— Ну, а ты, либерал, как полагаешь? — обратилась она ко мне.

Поручики фыркнули и подмигнули коллежскому ассессору Сенечке, который беззвучно хихикнул. Стрекоза грустно покачал головой, как бы вопрошая себя, ужели и в храмину целомудренной болярыни успел заползти яд либерализма? А кузина Надежда Гавриловна — помните, мы с вами ее «индюшкой» прозвали? — так-таки прямо и расхохоталась мне в лицо.

— Либерал... ха-ха! Так ты все еще либерал, cousin? Ха-ха! Он... либерал!

Разумеется, я прежде всего сторел со стыда и поспешил оправдаться. Говорил, что действительно некогда был либералом, но в то время это было простительно. Теперь же я убедился, что либеральничанье нужно оставить (и оставил), а надо дело делать.

— Дело... но какое? — пытливо обратился ко мне Стрекоза, очевидно, переносясь мыслью к тем незабвенным временам, когда он чинил допросы с пристрастием.

— Разумеется, настоящее дело... Вот, например, по питейной части... отчего же! я с удовольствием! — бормотал я, застигнутый врасплох и цепляясь за первый попавшийся вопрос насущной современности.

Но тут случилась новая неожиданность. Прапорщик, который все время угрюмо молчал и зализывал зачатки усов, вдруг с треском поднялся и, торжественно протянув мне руку, воскликнул:

— Дядя! я вам... сочувствую!

И заплакал.

Произошла новая семейная путаница. Поручики впились в меня стальными глазами, как бы намереваясь нечто запечатлеть в памяти; коллежский асессор Сенечка, напротив, стыдливо потупил глаза и, казалось, размышлял: обязан ли он, в качестве товарища прокурора, занести о сем в протокол? «Индюшка» визжала на прапорщика: ах, этот дурной сын в гроб меня вгонит! Стрекоза с каждой минутой становился грустнее и строже. Но тетенька, как любезная хозяйка, старалась держать нейтралитет и весело произнесла:

— Ничего! пусть молодые люди проверят друг друга! это не худо! пускай проверят!

И так на меня при этом посмотрела, что я непременно провалился бы сквозь землю, если бы не выручил меня дядя Григорий Семеныч, сказав:

— Да ведь мы, *ma tante*, не для проверки здесь собрались, а на именинный пирог!

Этот окрик слегка расхолодил присутствующих, и хотя в ожидании пирога прошло еще добрых полчаса, однако никакие усилия бабушки оживить общество уже не имели успеха. Так что потребовалось допустить вмешательство кадетов, чтоб разговор окончательно не потух.

— Так чему же вас, душенька, в корпусе учат? — приветливо спрашивала одного из них дорогая именинница.

— Повиноваться начальству, бабенька.

— А еще чему?

— Исполнять свой долг, бабенька.

— Вот и прекрасно. Так ты и поступай. Во-первых, повилуйся начальству, а во-вторых, исполняй свой долг...

Покуда происходил этот опрос, я сидел и думал, за что они на меня нападают? Правда, я был либералом... ну, был! Да ведь я уж прозрел — чего еще нужно? Кажется, пора бы и прост... то бишь позабыть! И притом, надо ведь еще доказать,

что я действительно... был? А что, ежели я совсем «не был»? Что, если все это только *казалось*? Разве я в чем-нибудь замечен? разве я попался? уличен? Ах, господа, господа!

Одним словом, застигнутый нелепою паникой, я все глубже и глубже погружался в пучину неопрятных мыслей и — очень может статься — дошел бы и до настоящего кошмара, если бы случайно не взглянул на Стрекозу. Он смотрел на меня в упор и, казалось, не без коварной иронии, следил за моею тревогой. Но единственная мысль, которую я прочитал в его помертвевшем взгляде, была такова: «сия вина столь неизмерима, что никакое раскаяние не смоет ее!» Прекрасно; но ежели даже чистосердечное раскаяние не может оправить меня в глазах Стрекозы, то что же остается мне предпринять? Помилуйте! Людям самым порочным и несомненно преступным — и тем, с течением времени... Но не успел я вплотную расфантазироваться, как вдруг, совершенно неожиданно для меня самого, на все эти вопросы откуда-то вынырнул самый ясный и самый естественный ответ: да просто-напросто наплевать!

Ответ этот до такой степени оживил меня, что даже шкурная боль мгновенно утихла. И как это удивительно, что такая простая мысль пробилась в голову не сразу, а через целую массу всякого рода неопрятностей! Скажите на милость! мне уж шестой десяток в исходе, и весь я недугами измучен — и все-таки чего-то боюсь! Ну, не срам ли! Что с меня взять-то, подумайте! Ведь и измучить меня всласть нельзя — умру, только и всего. Эка невидаль! Умереть — уснуть! — это все половые в трактире «Британия» знали! Мучишься-мучишься, да еще конца мученья бояться! Наплевать! Стрекоза! наблюдай! Поручики! взирайте с прилежанием! Либерал так либерал! что ж такое!

Гораздо интереснее определить, кто прежде будет произведен в надворные советники, Сенечка или Павлуша? Оба они в одних чинах, но Сенечка уже товарищ прокурора, а Павлуша и поднесь только исправляющий должность товарища. Выходит, что и теперь Сенечка уж опередил и, стало быть, надворным советником раньше будет. Но вряд ли он даже об этой подробности очень-то заботится. Он шире раскидывает умом и глядит куда дальше и глубже. Вон он как играет глазами: то опустит их долу, то вытарашит. То радостное чувство ими выразит, то печальное изумление. Гнева — никогда! или только уж в самых экстренных случаях, когда, что называется, ни лечь ни встать. Ибо он *magistrat*¹, и в этом качестве гневаться не имеет права, а может только печально изумляться, как это

¹ должностное лицо.

люди, живя среди прекраснейших долин, могут погрязать в пороках! И вот, помяните мое слово: не пройдет и года, как он уже будет прокурором, потом женится на генеральской дочери, а затем и окончательно попадет на содержание к государству. И будет язвить и мутить до тех пор...

Но на этом месте мои грезы были прерваны докладом, что подан пирог.

Вы знаете, какие прекрасные пироги бывают у бабенки в день ее именин. Но несколько лет тому назад, по наущению Бритого, она усвоила очень неприятный обычай: независимо от именинного пирога, подавать на стол еще коммеморативный пирог в честь Аракчеева. Пирог этот, впрочем, ставится посреди стола только для формы; съедают его по самому маленькому кусочку, причем каждый обязан на минуту сосредоточиться... Но трудно описать, какая это ужасная горлопятина!

Представьте себе вчерашний дурно пропеченный ситник, внутри которого проложен тонкий слой рубленой убоины — вот вам любимая аракчеевская еда! По обыкновению, мы и на этот раз разжевали по маленькому кусочку; но Стрекоза, который хотел похвастаться перед именинницей, что он еще молодец, разом заглотал целый сукрой — и подавился. К довершению всего, тут случился Петруша (его бабенка нынче заставляет в торжественных случаях прислуживать за столом) и, вспомнив фельдъегерское прошлое, выпучил глаза и начал так сильно дубасить Стрекозу в загорбок, что последний разинул пасть, и мы думали, что непременно оттуда вылетит Иона. Однако, слава богу, все кончилось благополучно; заглотанный кусок проскочил по принадлежности, Стрекоза утер слезы (только подобные казусы и могут извлечь их из его глаз), а пирог бабенка приказала убрать и раздать по кусочку неимущим.

Случай с Стрекозой имел, впрочем, и благотворное действие в том отношении, что на время заставил позабыть о злобах дня и дал разговору другое направление. Стали рассказывать, кто сколько раз в жизни подавился и каким образом. Стрекоза давился раз пятьдесят, и всегда спасался тем, что его колодили в загорбок. Но раз чуть было совсем не отправился на тот свет. Дело было в Грузии; наловили в реке чудеснейших ершей и принесли в лоханке показать Аракчееву. Граф похвалил и потом, взяв одного, самого юркого ерша, проглотил; затем то же самое сделал Бритый, а за ним, по точной силе регламентов, пришлось глотать живого ерша и Стрекозе. Только он не досмотрел, что Аракчеев и Бритый своих ершей заглатывали с головы, и заглотал своего с хвоста. Ну, натурально, света не-

взвидел. К счастью, Аракчеев и тут нашелся. Велел подать ламповое стекло и просунул его Стрекозе в хайло. Таким образом ерш очутился внутри стекла, и затем уж ничего не стоило вынуть его оттуда простыми щипцами. Так что через час Стрекоза, как ни в чем не бывало, уже чинил допрос с пристрастием. А еще, милая тетенька, рассказывал Стрекоза, как он однажды плюху проглотил (однако ж, не подавился); но это уж долго спустя после аракеевской катастрофы, потому что при Аракчееве он сам других плюхи глотать заставлял.

— А больно было щеке, как плюху-то дали? — любопытствовал дядя Григорий Семеныч.

— Не могу сказать, чтоб очень; однако ж...

Другие тоже рассказали каждый по несколько случаев. Чаще всех давилась кузина Надежда Гавриловна, потому что она, в качестве «индюшки», очень жадна и притом не всегда может отличить твердую пищу от мягкой. Бабенька подавилась только один раз в жизни, но так как в этом случае решительную роль играл Аракчеев, то натурально, она нам не сообщила подробностей.

— А я, бабенька, ни разу еще не подавился! — похвастался один из кадетов.

— Тебе еще, миленький, рано. Вот поживешь с наше — тогда и ты...

Словом сказать, всем стало весело, и беседа так и лилась рекою. И что ж! Мне же, или, лучше сказать, моей рассеянности было суждено нарушить общее мирное настроение и вновь направить умы в сторону внутренней политики. Уже подавали пирожное, как бабеньке вдруг вздумалось обратиться с вопросом и ко мне:

— Ну, а ты, мой друг, давился когда-нибудь?

По обыкновению своему, я не обдумал ответа и так-таки прямо и брякнул:

— Да как вам сказать, милая тетенька, вот уж сколько лет сряду, как мне кажется, будто я каждую минуту давясь...

Едва успел я произнести эти слова, как все обернулись в мою сторону в изумлении, почти что в испуге. Даже дядя Григорий Семеныч посмотрел на меня с любопытством, как бы говоря:

— Ну, брат, не ожидал я, что ты так глуп!

Только «индюшка» ничего не поняла и все приставала к подручникам:

— Что еще либерал слиберальничал? Либерал... ха-ха!

Но никто не ответил ей: до такой степени все чувствовали себя подавленными...

Тем не менее мы расстались довольно прилично. Только в

передней Стрекоза остановил меня и, дружески пожимая мою руку, сказал:

— Позвольте мне, как другу почтеннейшей вашей бабеньки, подать вам полезный совет. А именно: ежели вам и впредь вышесказанным подавиться случится, то старайтесь оное проглотить. Буде же найдете таковое для себя неисполнимым, то, во всяком случае, хоть вид покажите, что с удовольствием проглотили.

И так мне, тетенька, от этих Стрекозиных слов совестно сделалось, что я даже не нашелся ответить, что я нелепую свою фразу просто так, не подумавши, сказал и что в действительности я всегда глотал, глотаю и буду глотать. А стало быть, и показывать вид никакой надобности для меня не предстонт.

С подъезда оба поручика и коллежский асессор Сенечка сели на лихачей и, крикнув: «Туда!» — скрылись в сумерках. «Индюшка» увязалась было за дядей, но он без церемоний отвечал: «Ну тебя!» Тогда она на минуту опечалилась: «Куда же я поеду?», но села в карету и велела везти себя сначала к Елисееву, потом к Баллè, потом к колбаснику Кирхгейму...

— А потом уж я знаю куда. *Vonsoir, mon oncle!*¹

Прапорщик побежал домой «книжку дочитывать», а коллежский асессор Павлуша — тоже домой к затрашнему дню обвинительную речь готовить. Но ему, тетенька, выигрышных-то обвинений не дают, а все около кражи со взломом держат, да и то если таковую совершил человек не свыше чином коллежского регистратора. Затем мы с дядей остались одни, и я решил кончить день в его обществе.

Дядя очень несчастлив, милая тетенька. Подобно Удаву, он рассчитывал, что на старости лет у него будет два утешения, а в действительности оказывается только одно. С коллежским асессором Сенечкой случилось что-то загадочное: по-видимому, он, вместе с другими балбесами, увлекся потоком междоусобия и не только сделался холоден к своим присным, но даже как будто следит и за отцом, и за братом. Но что всего больнее: секретно дядя и до сих пор питает предилекцию к Сенечке, а Павлушу хотя и старается любить, но именно только *старается*, ради удовлетворения принципу справедливости.

— И ведь какой способный малый! — говорил он мне об Сенечке. — Какое хочешь дело... только намекни! он сейчас не только поймет, но даже сам от себя добавит и разовьет!

— Да, талантливый он у вас...

¹ Добрый вечер, дядюшка!

— То-то, что чересчур уж талантлив. И я сначала на него радовался, а теперь... Талантливость, мой друг, это такая вещь... Все равно что пустая бутылка: какое содержание в нее вольешь, то она и вместит...

— Да ведь на то ум человеку дан, чтоб талантливость направлять.

— И ум в нем есть — несомненно, что есть; но, откровенно тебе скажу, не особенной глубины этот ум. Вот извернуться, угадать минуту, слицемерничать, и все это исключительно в свою пользу — это так. На это нынешние умы удивительно как чутки. А чтобы провидеть общие выводы — никогда!

— Но что же такое с Сенечкой случилось?

— Карьеры захотелось, да и бомад голову вскружил... Легко это нынче, а он куда далеко, через головы, глядит. Боюсь, чтоб совсем со временем не осрамился...

Дядя помолчал с минуту и потом продолжал:

— Никогда у нас этого в роду не было. Этой гадости. А теперь, представь себе, в самом семействе... Поверишь ли, даже относительно меня... Ну, фрондер я — это так. Ну, может быть, и нехорошо, что в моих летах... допустим и это! Однако какой же я, в сущности, фрондер? Что я такое ужасное проповедую?.. Так что-нибудь...

— Помилуйте, дядя! обыкновенный светский разговор: то — нехорошо, другое — скверно, третье — совсем никуда не годится... Только и всего.

— Ну, вот видишь! И он прежде находил, что «только и всего», и даже всегда сам принимал участие. А намердись как-то начал я, по обыкновению, фрондировать, а он вдруг: вы, папенька, на будущее время об известных предметах при мне выражайтесь осторожнее, потому что я, по обязанности, не имею права оставлять подобные превратные суждения без последствий.

— Вот он какой!

— Да, строгонек. Ну, я сначала было подавился, а потом подумал-подумал и проглотил.

— А я бы на вашем месте...

— Нельзя, мой друг. Помилуй! коллежского асессора! Это в прежнее время допускалось, а нынче... Я помню, покойный папенька рассказывал: закутил он в полку — ну, просто пить без просыпу начал... Узнал об этом дедушка, да и пригласил блудного сына в деревню. И прямо, как приехал сынок — в кабинет! Розог! Только папенька-то ведь умен был: как следует родительскую науку выдержал, да еще ручку у родителя поцеловал. А дедушка, за эту его кротость, на другой день ему тысячу душ подарил! И с тех пор как рукой сняло! До конца

жизни никакого вина папенька в рот не брал! Вот какая в старину чистота нравов была!

— Да, нынче, пожалуй, так нельзя... То есть оно и нынче бы можно, да вот тысячи-то душ у вас на закуску нет... Ну, а Павлуша как?

— Павлуша, покамест, еще благороден. «Индюшкины» поручики и на него налетели: и ты, дескать, должен содействовать! Однако он уклонился. Только вместо того, чтоб умненько: мол, и без того верной службой всемерно и неуклонно содействую — а он так-таки прямо: я, господа, марать себя не желаю! Теперь вот я и боюсь, что эти балбесы, вместе с Семеном Григорьичем, его подкузьмят.

— Пустяки. Что они могут сделать!

— Аттестовать на всех распутиях будут. Павел-то у меня совестлив, а они — наглые. Ведь можно и похвалить так, что после дома не скажешься. Намеднишь Павел-то уж узнал, что начальник хотел ему какое-то «выигрышное» дело поручить, а Семен Григорьич отсоветовал. Мой брат, говорит, очень усердный и достойный молодой человек, но дела, требующие блеска, не в его характере.

— Однако!

— А начальственные уши, голубчик, такие аттестации крепко запечатлевают. Дойдет как-нибудь до Павла очередь к награде или к повышению представлять, а он, начальник-то, и вспомнит: «Что бишь я об этом чиновнике слышал? Гм... да! характер у него...» И мимо. Что он слышал? От кого слышал? От одного человека или двадцатерых? — все это уж забылось. А вот: «гм... да! характер у него» — это запечатлелось. И останется наш Павел Григорьич вечным товарищем прокурора, вроде как притча во языцех.

— Ах, дядя! Но сколько есть таких, которые и такой-то должности были бы рады-радешеньки!

— Знаю, что много. А коли в ревизские сказки заглянешь, так даже удивись, сколько их там. Да ведь не в ревизских сказках дело. Тамошние люди — сами по себе, а служащие по судебному ведомству люди — сами по себе. И то уж Семен Григорьич при мне на днях брату отчеканил: «Вам, Павел Григорьич, не в судебном бы ведомстве служить, а кондуктором на железной дороге!» Да и это ли одно! со мной, мой друг, такая недавно штука случилась, такая штука!.. ну, да, впрочем, уж что!

Дядя остановился с очевидным намерением победить свою болтливость, однако ж не выдержал и через минуту продолжал:

— Знаешь ли ты, что у меня книги начали пропадать?

— Не может быть! Запрещенные?

— А то какие же! Шестьдесят, братец, лет на свете живу, можно было коллекцию составить! И всё были целы, а с некоторых пор стали вот пропадать!

Тетенька! уверяю вас, что меня чуть не стошнило при этом признании.

— Дядя! не довольно ли? не оставим ли мы этот разговор? не поговорим ли по душе, как бывало? — невольно вырвалось у меня.

Восклицание это, видимо, смутило его.

— То-то, что... а, впрочем, в самом деле... да ведь у меня нынче...

Он мялся и бормотал. Ужасно он был в эту минуту жалок.

Но я таки уговорил его хоть на несколько часов вспомнить старину и пофрондировать. Распорядились мы насчет чаю, затопили камин, закурили сигары и начали... Уж мы брили, тетенька, брили! уж мы стригли, тетенька, стригли! Каждую минуту я ждал, что «небо с треском развалится и время на козу падет»... И что же! смотрим, а околоточный прямо противу дома посереде улицы стоит и в носу ковыряет!

И вдруг в соседней комнате шорох...

Как уязвленный, побежал я на цыпочках к дверям и вижу: в неосвещенной гостиной бесшумно скользит какая-то тень...

— Это он! Это Семен Григорьевич из своего клуба вернулся! — шепнул мне дядя.



А дня через три после бабенькинова пирога меня посетила сама «Индюшка».

— Cousin! да перестань ты писать, ради Христа!

— Что тебе вдруг вздумалось? разве ты читаешь?

— Кабы я-то читала — это бы ничего. Слава богу, в правилах я тверда: и замужем сколько лет жила, и сколько после мужа вдовею! мне теперь хоть говори, хоть нет — я стала на своем, да и кончен бал! А вот прапорщик мой... Грех это, друг мой! большой на твоей душе грех!

— Да ведь я не для прапорщика твоего пишу. Собственно говоря, я даже не знаю, кто меня будет читать: может быть, прапорщик, а может быть, генерал от инфантерии...

— Ну, где генералам пустяки читать! Они нынче всё географию читают!

— Ах, Наденька! всегда-то ты что-нибудь внезапное скажешь! Ну, с чего ты вдруг географию приплела?

— Ничего тут внезапного нет. Это нынче всем известно. И André мне тоже сказывал. Надо, говорит, на войне генера-

лам вперед идти, а куда идти — они не знают. Вот это нынче и заметили. И велели во всех войсках географию подучить.

— Ну-ну, Христос с тобой! лучше о другом поговорим. Что же ты про прапорщика-то хотела рассказать?

— Помилуй! каждый день у меня, *grâce à vous*¹, батальон в доме происходит. André и Pierre говорят ему: не читай! у этого человека христианских правил нет! А он им в ответ: свиньи! да возьмет — ты знаешь, какой он у меня упорный! — запрется на ключ и читает. А в последнее время очень часто даже не ночует дома.

— Неужто все из-за меня?

— Не то чтоб из-за тебя, а вообще... Голубчик! позволь тебе настоящую причину открыть!

— Сделай милость, открой!

— Скажи, ты любил хоть раз в своей жизни? ведь любил?

— Наденька! да не хочешь ли ты кофею? пирожков?

— Как тебе сказать... впрочем, я только что позавтракала. Да ты не отвиливай, скажи: любил? По глазам вижу, что любил?

— Я не понимаю, зачем ты этот разговор завела?

— Ну, вот, я так и знала, что любил! Он любил... ха-ха! Вот вы все меня дурой прославили, а я всегда прежде всех угадаю!

— Наденька! да позволь, голубушка, я тебе сонных капель дам принять!

— Ну, так. Смейся надо мной, смейся!.. А я все-таки твою тайну угадала... да!

— Позволь! говори толком: что тебе нужно?

— Да... что бишь? Ах да! так вот ты и описывай про любовь! Как это... ну, вообще, что обыкновенно с девушками случается... Разумеется, не нужно *mettre les points sur les i*², а так... Вот мои поручики всё Золà читают, а я, признаться, раз начала и не могла... зачем?

— То есть что же «зачем»?

— Зачем так уж прямо... как будто мы не пойдем! Не беспокойтесь, пожалуйста! так пойдем, что и понять лучше нельзя... Вот маменька-покойница тоже все думала, что я в девушках ничего не понимала, а я однажды ей вдруг все... до последней ниточки!

— Чай, порадовалась на дочку?

— Уж там порадовалась или не порадовалась, а я свое дело сделала. Что, в самом деле, за что они нас притесняют!

¹ благодаря вам.

² ставить точек над *i*.

Думают, коли девица, так и не должна ничего знать... скажите на милость! Конечно, я потом, замужем, еще более развилась, но и в девицах... Нет, я в этом случае на стороне женского вопроса стою! Но именно в одном этом случае, *parce que la famille... tu comprends, la famille!.. tout est là*¹. Семейство — это... А все эти женские курсы, эти акушерки, астрономки, телеграфистки, землемерши, *tout ce fatras...*²

— Да остановись на минуту! скажи толком: что такое у тебя в доме делается?

— Представь себе, не почуют дома! Ни поручики, ни прапорщик — никто! А прислуга у меня — ужаснейшая... Кухарка — так просто зверем смотрит! А ты знаешь, как нынче кухарок опасаться нужно?

— Ну?

— Вот я и боюсь. Говорю им: ведь вы все одинаково мои дети! а они как сойдутся, так сейчас друг друга проверять начнут! Поручики-то у меня — консерваторы, а прапорщик — революционер... Ах, хоть бы его поскорее поймали, этого дурного сына!

— Наденька! перекрестись, душа моя! разве можно сыну желать... Да и с чего ты, наконец, взяла, что *Nicolas* революционер?

— Сердце у меня угадывает, а оно у меня — вещун! Да и странный какой-то он: всё «сербские папеды» в стихах сочиняет. Запретя у себя в комнате, чтоб я не входила, и пишет. На днях оду на низложение митрополита Михаила написал... А то еще генералу Черняеву сонет послал, с *Гарибальди* его сравнивает... Думал ли ты, говорит, когда твои орлы по вершинам гор летали, что *Баттенберг*... *C'est joli, si tu veux*:³ «орлы по вершинам гор»... *Cependant, puisque la saine politique*⁴.

— Еще бы! об этом даже циркуляром запрещено.

— Вот видишь! и я ему это говорила! А какой прекрасный мальчик в кадетах был? Помнишь, оду на восшествие *Баттенбергского* принца написал:

И Каравелова крамолу
Пятой могучей раздавил.

До сих пор эти стихи не могу забыть... И как мы тогда на него радовались! Думали, что у нас в семействе свой *Державин* будет!

¹ потому что семья... понимаешь, семья... в ней всё!

² весь этот сброд...

³ Что ж, это красиво.

⁴ Однако, так как здравая политика.

«Индюшка» поднялась, подошла к зеркалу, в один миг откуда-то набрала в рот целый пучок шпилек и начала подправляться. И в то же время без умолку болтала.

— А как бы это хорошо было! Одну оду написал — перстень получил! другую оду — золотые часы получил! А иной богатый купец — прямо карету и пару лошадей бы прислал — что ему стоить! Вот Хлудов, например — ведь послал же чудовских певчих генералу Черняеву в Сербию... ну, на что они там! По крайней мере, карета... Словом сказать, все шло хорошо — и вдруг... Можешь себе представить, как я несчастна! Приду домой — никого нет! Кричу, зову — не отвечают! А потом, только что забываться начну — шум! Это они между собой схватились! И всё это с тех пор! Как только эта проверка у нас началась, ну, просто хоть из дому вон беги! Представь себе, в комнатах по три дня не метут! Намеднись, такую рыбу за обедом подали — страм!

Разумеется, я боялся громкодохнуть, чтоб как-нибудь не спугнуть ее. Я рассчитывал таким образом: заговорится она, потом забудет, зачем пришла, — и вдруг уйдет. Так именно и случилось.

— Однако ж я заболталась-таки у тебя, — сказала она, держа в зубах последние три шпильки и прикалывая в разных местах шляпу, — а мне еще нужно к Елисееву, потом к Баллè, потом к Кирхгейму... надо же своих молодцов накормить! Ну, а ты как? здоров? Ну, слава богу! вид у тебя отличный! Помнишь, в прошлом году какой у тебя вид был? в гроб краше кладут! Я, признаться, тогда думала: не жилец он! и очень, конечно, рада, что не угадала. Всегда угадываю, а на этот раз... очень рада! очень рада! Прекрасный, прекраснейший у тебя вид!

Она поспешно воткнула последнюю шпильку и подала мне руку на прощанье.

— Так ты обещаешь? скажи: ведь ты любил? — опять приставала она. — Нет, ты уж не обижай меня! скажи: обещаю! Ну, пожалуйста!

— Да что же я должен обещать? Ах!

— Да вот поделиться с нами твоими воспоминаниями, рассказать l'histoire intime de ton cœur...¹ Ведь ты любил — да? Ну, и опиши нам, как это произошло... Comment cela t'est venu² и что потом было... И я тогда, вместе с другими, прочту... До сих пор, я, признаюсь, ничего твоего не читала, но ежели ты про любовь... Да! чтоб не забыть! давно я хотела у тебя

¹ твою интимную сердечную историю...

² Как это случилось с тобой.

спросить: отчего это нам, дамам, так нравится, когда писатели про любовь пишут?

— Не знаю, голубушка. Может быть, оттого, что дамы преимущественно этим заняты... Les messieurs на войну ходят, а дамы должны их, по возвращении из похода, утешать. А другие messieurs ходят в департамент — и их тоже нужно утешать!

— Именно утешать! Это ты прекрасно сказал. Покойный Pierre, когда возвращался с дежурства, всегда мне говорил: Надька! утешай меня! Il était si drôle, ce cher Pierre! Et en même temps noble, vaillant!»¹ И поручики мои то же самое говорят, только у них это как-то ненатурально выходит: всё о каком-то генерале без звезды поминуют и так и покатываются со смеху. Они смеются, а я — не понимаю. En général, ils sentent un peu la caserne, messieurs mes fils!² То ли дело, Пьер! бывало, возьмет за талию, да так прямо на пол и бросит. Однажды... ну, да что, впрочем, об этом!

Все на свете мне постыло,
А что мило, будет мило!

Это Пушкин написал. А ты мне вот что скажи: правда ли, что в старину любовные турниры бывали? И будто бы тогдашние правительства...

— Наденька! ты таких от меня сведений требуешь...

— Ну-ну, Христос с тобой. Вижу, что наскучила тебе... И знаешь, да не хочешь сказать. Наскучила! наскучила! Так я поеду... куда бишь? ах, да, сначала к Елисееву... свежих омаров привезли! Sans adieux, mon cousin³.

Она раза два еще перевернулась перед зеркалом, что-то подпернула, потом взглянула на потолок, но как-то одним глазом, точь-в-точь как проделывает индюшка, когда высматривает, нет ли в небе коршуна.

— А я поеду своих унимать... наверное, уж сцепились! — доканчивала она в передней и потом, выйдя на лестницу, продолжала. — Так ты поделишься с нами? ты сделаешь мне это удовольствие... а?

И, спускаясь по лестнице, все вскидывала вверх голову и все что-то говорила. Наконец из преисподних швейцарской до меня донеслось заключительное:

— Sans adieux, cousin!

¹ Он был так забавен, милый Пьер! И в то же время благороден, храбр.

² В общем, от моих сыновей пахнет казармой!

³ Я не прощаюсь, кузен.

Повторяю: везде, и на улицах, и в публичных местах, и в семьях — везде происходит процесс вколачивания «штуки». Он застаёт врасплох Удава, проливает уныние в сердце дяди Григория Семеныча и заставляет бестолково метаться даже такую неунывающую особу, как кузина Наденька.

Нужен ли этот процесс, откуда и каким образом он родился — это вопрос, на который я мог бы ответить вам довольно обстоятельно, по который, однако ж, предпочитаю куда оставить в стороне. Для меня достаточно и того, что факт существует, факт, который, рано или поздно, должен принести плод. Только спрашивается: какой плод?

Я знаю, вы скажете, что все эти проверки, добровольческие выслеживания и подсиживания до такой степени нелепы и несерьезны, что даже опасений не могут внушать. Я знаю также, что современная действительность почти сплошь соткана из такого рода фактов, по поводу которых и помыслить нельзя, полезны они или не полезны, а именно только, опасны или малоопасны (и притом с какой-то непосредственной, чисто личной точки зрения). Вследствие долголетней практики этот критерий настолько окреп в нашем обществе, что о других оценках как-то и не слышать совсем. Вот и вы этому критерию подчинились. Прямо так-таки и рассуждаете: опасений нет — стало быть, о чем же говорить?

Но это-то именно и наполняет мое сердце каким-то загадочным страхом. По мнению моему, с таким критерием нельзя жить, потому что он прямо бьет в пустоту. А между тем люди живут. Но не потому ли они живут, что представляют собой особенную породу людей, фасонированных *ad hoc*¹ самой историей, людей, у которых нет иных перспектив, кроме одной: что, может быть, их и не перешибет пополам, как они того всечасно ожидают...

Часто, даже слишком часто, по поводу рассказов о всевозможных «штуках», приходится слышать (и так говорят люди очень солидные): вот увидите, какая из *этого* выйдет потеха! Но, признаюсь, я не только не сочувствую подобным восклицаниям, но иногда мне делается почти жутко, когда в моем присутствии произносят их. Потеха-то потеха, но сколько эта потеха сил унесет! а главное, сколько сил она осудит на фаталистическое бездействие! Подумайте! разве это не самое беспутное, не самое горькое из бездельничеств (я и слово «бездействие» считаю тут неприменимым) — быть зрителем проходящих явлений и только об одном думать: опасны они или не опасны? И в первом случае ощущать позорное ду-

¹ для этой именно цели.

шевное угнетение, а во втором — еще более позорное облегчение?

Ах, ведь и мрачное хлевное хрюканье — потеха; и трубное пустозвонство ошалевшего от торжества дармоеда — тоже потеха. Всё это явления случайные, призрачные, преходящие, которые несомненно не оставят ни в истории, ни в жизни народа ни малейшего следа. Но дело в том, что в данную минуту они угнетают человеческую мысль, оскверняют человеческий слух, производят повсеместный переполох. Дело в том, что, вследствие всего этого, центр деятельности современников перемещается из сферы положительной, из сферы совершенствования в сферу пустомыслия и повторения задов, в сферу бесплодной борьбы, постыдных оправданий, лицемерных самозащит... Неужто же это «потеха»?

«Ну, слава богу, теперь, кажется, потише!» — вот возглас, который от времени до времени (но и то, впрочем, не слишком уж часто) приходится слышать в течение последних десяти — пятнадцати лет. Единственный возглас, с которым измученные люди соединяют смутную надежду на успокоение. Прекрасно. Допустим, что с нас и таких перспектив довольно: допустим, что мы уж и тогда должны почитать себя счастливыми, когда перед нами мелькает что-то вроде передышки... Но ведь все-таки это только передышка — где же самая жизнь?

Не говорите же, голубушка: «вот так потеха!» и не утешайтесь тем, что бессмыслица не представляет серьезной опасности для жизни. Представляет; в том-то и дело, что представляет. Она опасна уж тем, что заменяет своим суматошеством реальную и плодотворную жизнь, и если не изменяет непосредственно жизненной сущности, то загоняет ее в такие глубины, из которых ей не легко будет вынырнуть даже в минуту воссияния.

Сколько лет мы сознаем себя недугующими — и все-таки, вместо уврачевания, вращаемся в пустоте! сколько лет собираемся одолеть свое бессилие — и ничем, кроме доказательств нового бессилия, новой немощи, не ознаменовываем своей деятельности! Даже в самых дерюжных, близких нашим сердцам вещах — в сфере благочиния — и тут мы ничего не достигли, кроме сознания полной беспомощности. А ведь у нас только и слов на языке: погодите, дайте управиться! Вы думаете, что, может быть, тогда потечет наша земля млеком и медом? — То-то и есть, что не потечет!

И не потому не потечет, что ни млека, ни меда у нас нет, — это вопрос особый, — а потому, что нет и не будет конца краю самой управе.

В самом деле, представьте себе, что процесс вколачивания «штуки» уже совершил свой цикл; что общество окончательно само себя проверило, что все извещения сделаны, все плевелы вырваны и истреблены, что околоточные и участковые пристава наконец свободно вздохнули. Спрашивается: ну, а потом? Какое органическое, восстанавливающее дело можем мы предпринять? знаем ли мы, в чем оно состоит? имеем ли для него достаточную подготовку? Наконец, имеем ли мы даже повод желать, чтобы процесс вколачивания «штуки» воистину завершился, и вместо него восприняло начало восстанавливающее дело?

Ах, тетенька! Вот то-то и есть, что никаких подобных поводов у нас нет! Не забудьте, что даже торжество умиротворения, если оно когда-нибудь наступит, будет принадлежать не Вздошникову, не Распротàкову и даже не нам с вами, а все тем же Амалат-бекам и Пафнутьевым, которые будут по его поводу лакать шампанское и испускать победные клики (однако ж, не без угрозы), но никогда не поймут и не скажут себе, что торжество обязывает.

Обязывает — к чему? вы только подумайте об этом, милая тетенька! Обязывает к восстановлению поруганной человеческой совести, обязывает к пробуждению сознательной деятельности, обязывает к признанию права на завтрашний день... И вы хотите, чтоб эта программа осуществилась! Совесть! сознательность! обеспеченность! да ведь это именно то самое и есть, что на конках, в трактирах и в хлевой литературе известно под именем «потрясения основ»! Еще не все шампанское выпито по случаю прекращения опасностей, как уж это самое прекращение представляет настороженному до болезненности воображению целый ряд новых, самостоятельных опасностей! Бой кончился, но не успели простыть борцы, как уже им предстоит готовиться в новый бой!

Нет, это не «потеха»!

Идеал современных проверителей общества (я не говорю о героях конок и трактирных заведений) в сфере внутренней политики очень прост: *чтобы ничего не было*. Но как ни дисциплинирована и обезличена наша действительность — даже она не может вместить подобного идеала. *Нельзя, чтобы ничего не было*. До такой степени нельзя, что даже доказывать эту истину нет надобности. А так как проверители от своих идеалов никогда не отступят, так как они именно на том и будут настаивать, чтобы *ничего не было*, то ясно, что и междуособиям не предвидится конца.

А мы еще говорим: потеха! мы еще спрашиваем себя, какие может принести плоды процесс вколачивания «штуки»!

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Милая тетенька.

Как женщина, вы, разумеется, не знаете, что такое карцер. Поэтому не посетуйте на меня, если я решусь посвятить настоящее письмо обогащению вашего ума новым отличнейшим знанием, которое, кстати, в наше время и бесполезно.

Карцером, во времена моего счастливого отрочества, называлось темное, тесное и почти лишенное воздуха место, в которое ввергались преступные школьники, в видах искупления их школьных прегрешений. Говорят, будто подобные же темные места существовали и существуют еще в острогах (карцер в карцере, всё равно, что государство в государстве), но так как меня от острогов бог еще миловал, то я буду говорить исключительно о карцере школьном.

В том заведении, где я воспитывался, несмотря на то, что оно принадлежало к числу чистокровнейших, карцер представлял собою нечто омерзительное. Он был устроен в четвертом этаже, занят дортуарами, в которые, в течение дня, никто не заходил. Самое помещение занимало темную и крохотную трехугольную впадину в капитальной стене; на полу этой впадины был брошен набитый соломой тюфяк, около которого была поставлена деревянная табуретка. Двигаться в этой конуре было невозможно, да, по-видимому, и не полагалось нужным. В обыкновенное время сюда складывались старые вонючие одеяла, которыми наделяли воспитанников на ночь, потому что хорошие одеяла постилали только днем, напоказ. Вследствие этого, в карцере пахло отчасти потом, отчасти мышами.

Вот в эту-то вонючую дыру и заключали преступного школяра, причем не давали ему свечи, а вместо пищи назначали в день три куска черного хлеба и воды à discrétion¹. Затем, заперев дверь на ключ, приставляли к ней кустодию, в виде солдата Аники, того самого, об котором я в прошлом письме

¹ сколько угодно.

вам писал, что генерал Бритый назначил его к наказанию кошками, но, быв уволен от службы, не выполнил своего намерения. Но так как Аника знал, что распоряжение Бритого надлежащим образом не отменено и потому с часу на час ожидал его осуществления, то понятно, с каким остервенением он прислуживался к начальству, отгоняя от дверей карцера всякого сострадательного товарища, прибежавшего с целью хоть сколько-нибудь усладить горе заключенного.

Многие будущие министры (заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником министров) сживали в этом карцере; а так как обо мне как-то сразу сделалось заранее известным, что я министром не буду, то, натурально, я попадал туда чаще других. И угадывайте, за что? — за стихи! В отрочестве я имел неудержимую страсть к стихотворному парению, а школьное начальство находило эту страсть предосудительною. Сижую, бывало, в классе и ничего не вижу и не слышу, всё стихи сочиняю. Отвечаю невпопад, а когда, бывало, мне скажут: станьте в угол носом! — я, словно сонный, спрашиваю: а? что? Долгое время начальство ничего не понимало, а, может быть, даже думало, что я обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконец-то меня поймали. И с тех пор начали ловить неустанно. Тщетно я прятал стихи в рукав куртки, в голенище сапога — везде их находили. Пробовал я, в виде смягчающего обстоятельства, перелагать в стихи псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймают один раз — в угол носом! поймают в другой — без обеда! поймают в третий — в карцер! Вот, голубушка, с которых пор начался мой литературный мартиролог.

Вероятно, в то время у начальства такой план был: из всех школяров, во что бы то ни стало, сделать Катонов. Представьте себе *теперь* интернат, в котором карцер вонял бы потом и мышами — сколько бы тут шуму поднялось! Встревожилась бы прокуратура; медики бы в один голос возопили: вот истинный рассадник тифов! а об газетчиках нечего и говорить. Сколько бы вышло по этому поводу предостережений, приостановлений, запрещений розничной продажи, печатания объявлений, словом, всего, что неизменно связано с понятием о пребывании в карцере в соединении с свободой книгопечатания! А тогда тифов не боялись, об газетчиках не слыхивали, а только ожидали раскаяния. Не боялись и без обеда оставлять, хотя нынче опять-таки всякий газетчик скажет: какое варварство истощать голодом молодой организм! Впрочем, и обед в то время неинтересный был: ненатурального цвета говядина с рыжей подливкой, суконные пироги с черникой и т. д. Сначала, вместо завтрака, хоть белую пятикопеечную (на ас-

сигнации) булку давали, но потом, в видах вящего укоренения Катонов, и это уничтожили, заменив булку ломтем черного хлеба.

Кроме стихов, составляющих мой личный порок, сажали в карцер еще за ироническое отношение к наставникам и преподавателям. Такого рода преступления были довольно часты, потому что и наставники и преподаватели были до того изумительные, что нынче таких уж на версту к учебным заведениям не подпускают. Один был взят из придворных певчих и определен воспитателем; другой, немец, не имел носа; третий, француз, имел медаль за взятие в 1814 году Парижа и тем не менее декламировал: *à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!*¹ четвертый, тоже француз, страдал какою-то такою болезнью, что ему было велено спать в вицмундире, не раздеваясь. Профессором российской словесности в высших классах был Петр Петрович Георгиевский, человек удивительно добрый, но в то же время удивительно бездарный. Как на грех, кому-то из воспитанников посчастливилось узнать, что жена Георгиевского называет его ласкательными именами: Пепа, Пепочка, Пепон и т. д. Этого достаточно было, чтоб изданные Георгиевским «Руководства», пространное и краткое, получили своеобразную кличку: большое и малое Пепино свинство. Иначе не называли этих учебников даже солиднейшие из воспитанников, которые впоследствии сделались министрами, сенаторами и посланниками. Профессором всеобщей истории был пресловутый Кайданов, которого «Учебник» начинался словами: «Сие мое сочинение есть извлечение» и т. д. Натурально, эту фразу переложили на музыку с очень непристойным мотивом, и в рекреационное время любили ее распевать (а в том числе и будущие министры). Но еще более любили петь посвящение бывшему попечителю Казанского университета, Мусину-Пушкину, предпосланное курсу политической экономии Горлова. Разумеется, начальство зорко следило за этими поступками и особенно отличавшихся певцов сажало в карцер. Я не говорю, чтоб начальство было неправо, но, с другой стороны, по совести спрашиваю: могли ли молодые и неиспорченные сердца иначе поступать?

Вообще тогдашняя педагогика была во всех смыслах мрачная: и в смысле физическом, и в смысле умственном. В первом отношении молодых людей питали дурно и недостаточно, во втором — просвещали их умы Пепиным свинством. И вдобавок требовали, чтоб школьник не понимал, что свинство есть свинство...

¹ Как дорого отечество всем благородным сердцам!

Заключение в карцере потому в особенности было тоскливо, что осуждало юного преступника на абсолютную праздность. Но тогдашние педагоги были так бесстрашны, что даже последствий праздности не боялись. Эта была какая-то организованная крамола воспитателей против воспитываемых, крамола, в которой крамольники получали жалованье и награждались орденами, а те, против которых была направлена их разрушительная деятельность, должны были благодарить, что их кормят свинством. Не то ли же, впрочем, видим мы и... А? что? что такое я чуть было не сказал? Вы, тетенька, сделайте милость, остановите меня, ежели я, паче чаянья, вдруг... А то ведь я, пожалуй, такое что-нибудь сболтну, что после и сам своих слов испугаюсь!

Но самое положительное зло, которое приводил за собой карцер, заключалось в том, что он растлевал юношу нравственно, пробуждая в нем низменного свойства инстинкты и указывая на лукавство, как на единственное средство самоограждения. Потребность в обществе себе подобных, в свободе движения и достаточном питании настолько сильна в молодом организме, что даже незаурядная юношеская устойчивость — и та не может представить ей достаточного противодействия. Тоска, причиняемая обязательно праздностью, и сознание ничем не устранимого бессилия растут с необычайною быстротой, а рядом с этим нарастанием столь же быстро тают и напускная бодрость, и школьный гонор. Шепоты лицемерия, наружной выправки и лукавства так и ползут со всех сторон. И по мере того как они овладевают юношей, идеал начинает ему представляться в таком виде: внешним образом признать обязательность свинства, но исподтишка все-таки продолжать прежнюю систему надругательства. Увертки эти необходимы, потому что иначе нельзя получить право на свободу (начальство прямо говорит: сгною в карцере!), то есть право двигаться, пользоваться даром слова и быть сытым. Понятно, что при данной обстановке нельзя выполнить такую задачу без известной дозы распутства. И вот гнусные голоса диктуют гнусные решения... Представьте себе, милая тетенька, что, угнетаемый ими, я однажды поздравительные стихи написал!

Разумеется, стихи были плохие, но, написав их, я разом доказал начальству две вещи: во-первых, что карцер пробуждает благородные движения души, и во-вторых, что стиховная немочь не всегда бывает предосудительна. Не помню, как я сам смотрел тогда на свой поступок (вероятно, просто-напросто воспользовался плодами его), но начальство умилилось и выпустило меня из карцера немедленно. Повторяю: тогдашнее воспитание имело в виду будущих Катонов, а для

того, чтоб быть истинным Катонем, недостаточно всего себя посвятить твердому перенесению свинств, но необходимо и сердце иметь слегка подернутое распутством.

Вообще карцером достигалось оподление человеческой души. Но кто при этом больше оподлялся, оподлявшие или оподляемые — право, сказать не умею. Кажется, впрочем, что оподлявшие оподлялись более, ибо, делая себе из оподления ремесло, постоянно освежаемое целым рядом повторительных действий, они настолько погрязали в тину, что утрачивали всякий стыд. Оподляемые же оподлялись исключительно только внешним образом. По крайней мере, я отлично хорошо помню, что, получив свободу ценою поздравительных стихов, я тут же опять начал декламировать «сне мое сочинение» и сделал это с такою искренностью, что начальство только руки развело и решилось оставить меня в покое. Но если бы оно надумало вновь ввергнуть меня в вонючую конуру, так ведь у меня, милая тетенька, и еще поздравительные стихи про запас были. Бракосочетается ли кто, родится ли, получит ли облегчение от недуга — сейчас я возьму в руки лиру и отхватаю по всем по трем... Лови!

Все это проходит передо мною как во сне. И при этом прежде всего, разумеется, представляется вопрос: должен ли я был просить прощения? — Несомненно, милая тетенька, что должен был. Когда весь жизненный строй основан на испрошении прощения, то каким же образом бессильная и изолированная единица (особливо несовершеннолетняя) может ускользнуть от действия общего закона? Ведь ежели не просить прощения, так и не простят. Скажут: нераскаянный! — и дело с концом.

Но есть разные манеры просить прощения, — вот с этим я не могу не согласиться.

Бывает так: стоит узник перед узоналагателем и вопиет: пощади! А между тем, все нутро у него в это время трепещет от гнева и прочих тому подобных чувств, и настолько явно трепещет, что сам узоналагатель это видит и понимает. Эта формула испрошения прощения, конечно, самая искренняя, но я не могу ее одобрить, потому что редко подобная искренность оценивается, как бы она того заслуживала, а в большинстве случаев даже устраняется в самом зародыше.

Бывает и так: приходят к узнику и спрашивают: ну, что, раскаялся ли? — а он молчит. Опять спрашивают: да скажешь ли, дерево, раскаялся ты или нет? Ну, раз, два, три... Господи благослови! раскаялся? — а он опять молчит. И этой манеры я одобрить не могу, потому что... да просто потому, что тут даже испрошения прощения нет.

Наконец, бывает и так: узник без всяких разговоров вопиет: пощади! — и с доверием ждет. Эта манера наиболее согласная с обстоятельствами дела и потому самая употребительная на практике. Она имеет характер страдательный и ни к чему не обязывает в будущем. Конечно, просить прощения вообще не особенно приятно, но в таком случае не надобно уже шалить. А если хочешь шалить и на будущее время, то привередничества-то оставь, а прямо беги и кричи: виноват!

Но я не прибегнул ни к одной из сейчас упомянутых манер, а создал свою особую манеру: написал поздравительные стихи. И вот теперь мне кажется, что я слегка перепустил. Положим, что и мое выражение покорности было вынужденное, но процесс сочинения стихов сообщал ему деятельный характер — вот в чем состоял его несомненный порок. Не следовало мне писать стихи, ни под каким видом не следовало. Следовало просто сознать свою вину, сказать: виноват! — и затем, как ни в чем не бывало, опять начать распевать: «сне мое сочинение есть извлечение...»

Все это ужасно запутанно, а может быть, даже и безнравственно, но не забудьте, что в этой путанице главными действующими лицами являлись Катоны, которые готовились сделаться титулярными советниками, а потом...

Впрочем, был у меня один товарищ в школе, который вот как поступил. Учился он отлично: исправно сдавал уроки и из «свинства», и из «сего моего сочинения», и из руководства, осененного крылами Мусина-Пушкина. Вел себя тоже отлично: в фортку не курил, в карты не играл, курточку имел всегда застегнутою и даже принимал сердечное участие в усилиях француза-учителя перевести (по хрестоматии Тампе) фразу: Новгородцы такали, такали, да и протакали. А именно: когда учитель, после долгих и мучительных попыток, наконец восклицал: «*Mais cette phrase n'a pas le sens commun!*»¹ — то товарищ мой очень ловко объяснял, что Новгород означает «колыбель», что выражение «такать» — прообразует мнения сведущих людей, а выражение «протакать» предвещает, что мнения эти будут оставлены без последствий. Так что учитель сразу все понял, воскликнул: *ainsi soit il*² — и с тех пор все недоразумения по поводу новгородского таканья были устранены. И вот этот самый юноша, прилежный и покорный, как только сдал свой последний экзамен, сейчас собрал в кучу все «свинства» и бросил их в ретираду. Можете себе предста-

¹ но это фраза бессмысленна!

² пусть будет так.

вить всеобщее изумление! Даже начальство обомлело, узнав об этом подвиге, но могло только подивиться мудрости совершившего его, а покарать за эту мудрость уже не могло. Ибо оно, милая тетенька, целых шесть лет ставило этого юношу в пример, хвасталось им перед начальством, считало его красною заведением, приставало к его родителям, не могут ли они еще другого такого юношу сделать... И вдруг оказалось, что в течение всех шести лет у этого юноши только одна заветная мысль и была: вот сдам последний экзамен, и сейчас же все прожитые шесть лет в ретирадном месте утоплю! Понятно, что скандальная история была скрыта...

К сожалению, вскоре после выпуска, товарищ мой умер; но ужасно любопытно было бы знать, как поступал бы он в подобных же случаях в течение дальнейшей своей жизненной проходимости?

Вы, конечно, удивитесь, с какой стати я всю эту отжившую канитель вспомнил? Да так, голубушка, подошел к окну, взглянул на улицу — и вспомнил. Есть память, есть воображение — отчего же и не попользоваться ими? Я нынче все так, спроста, поступаю. Посмотрю в окно, вспомню, а потом и еще что-нибудь вспомню — и вдруг выйдет картина. Выводов не делаю, и хорошо ли у меня выходит, дурно ли — ничего не знаю. Весь этот процесс чисто стихийный, и ежели кто вздумает меня подсадить вопросом: а зачем же ты к окну подходил, и не было ли в том поступке предвзятого намерения? — тому я отвечу: к окну я подошел, потому что это законами не воспрещается, а что касается до того, что это был с моей стороны «поступок» и якобы даже нечуждый «намерения», то уверяю по совести, что я давным-давно и слова-то сии позабыл. Живу без поступков и без намерений, и тетеньке так жить совету.

Но ежели мне даже и в такой форме вопрос предложат: а почему из слов твоих выходит как бы сопоставление? почему «кажется», что все мы и дондесь словно в карцере пребываем? — то я на это отвечу: не знаю, должно быть, как-нибудь сам собой такой силлогизм вышел. А дабы не было в том никакого сомнения, то я готов ко всему написанному добавить еще следующее: «а что по зачеркнутому, сверх строк написано: не кажется — тому верить». Надеюсь, что этой припиской я совсем себя обелил!

Правда, что это до известной степени кляуза, но ведь нынче без кляузы разве проживешь? Все же лучше кляузу пустить в ход, нежели поздравительные стихи писать, а тем больше

с стиснутыми зубами, с искаженным лицом и дрожа всем внутренностям пARDону просить. А может быть, впрочем, и хуже — и этого я не знаю.

Жить так, хлопать себя по ляжкам, довольствоваться разрозненными фактами и не видеть надобности в выводах (или трусить таковых) — вот истинная норма современной жизни. И не я один так живу, а все вообще. Все выглядывают из окошка, не промелькнет ли вопросец какой-нибудь? Промелькнет — ну, и слава богу! волокИ его сюда! А не промелькнет — мы крючок запустим и бирюльку вытащим. Уж мы мнем эту бирюльку, мнем! уж жуем мы ее, жуем! Да не разжевавши, так и бросим. Нет выводов! только и слышится кругом. И вот одни находят, что страшно жить среди такой разнокалиберщины, которую даже съютить нельзя; а другие, напротив того, полагают, что именно так жить и надлежит. Чтò же касается до меня, то я и тут не найду конца, страшно это или хорошо. Страшно так страшно, хорошо так хорошо — мое дело сторона!

Шкура чтобы цела была — вот чтò главное; и в то же время: умереть! умереть! умереть! — и это бы хорошо! Подите разберитесь в этой сумятице! Никто не знает, чтò ему требуется, а ежели не знает, то об каких же выводах может быть речь? Проживем и так. А может быть, и не проживем — опять-таки мое дело сторона.

Я лично чувствую себя отлично, за исключением лишь того, что все кости как будто палочьем перебиты. Терся поначалу оподельдоком — не помогает; теперь стараюсь не думать — полèгчало. До такой степени полèгчало, что дядя Григорий Семеныч от души позавидовал мне. Мы с ним, со времени бабенькинова пирога, очень сдружились, и он частенько-таки захаживает ко мне. Зашел и на днях.

— Стало быть, так без выводов ты и надеешься прожить? — пристал он ко мне, когда я ему изложил норму нынешнего моего жития.

— Так и надеюсь.

— Чудак, братец, ты! да ведь коль скоро отправной пункт у тебя есть, посылка есть, вывод-то ведь сам собою, помимо твоей воли, окажется!

— Ежели окажется — милости просим! А я все-таки ничего не знаю!.. И знать не желаю! — прибавил я с твердостью.

— Так что, например, вот ты сейчас об карцере рассказывал — все это так, без заключения, и останется?

— Да, дяденька. По крайней мере, я не вижу, какая может быть надобность...

— Ах, ты! а впрочем, поцелуй меня!

Мы поцеловались.

— Скажу тебе по правде,— продолжал дядя,— давно я таких мудрецов не встречал. Много нынче «умниц» развелось, да другой все-таки хоть краешек заключения да приподнимет, а ты — на-тко! Давно ли это с тобой случилось?

— Как вам сказать... да вот с тех пор, как надоело..

— Что надоело-то?

— Да там... ну, и прочее... Вообще.

— Да говори же, братец, толком! дядя ведь я тебе: не бойся, не выдам!

— Ах, дядя, как это вы, право, требуете... Надоело — только и всего. По-настоящему, оно должно бы нравиться, а мне — надоело!

— Ну, это не резон. Ты встряхнись. Если *должно* нравиться так ты и старайся, чтоб оно нравилось. Тебя тошнит, а ты себя перемоги. А то «надоело»! да еще «вообще»! За это, брат, не похвалят.

— Я, дядя, стараюсь. Коли чувствую, что не может нравиться, то стараюсь устроить так, чтобы, по крайней мере, не не нравилось. Зажму нос, зажму глаза, притаю дыхание. Для этого-то, собственно, я и не думаю об выводах. Я, дяденька, решил и впредь таким же образом жить.

— Без выводов?

— Просто, как есть. По улице мостовой шла девица за водой — довольно с меня. Вот я нынче старческие мемуары в наших исторических журналах почитываю. Факты — так себе, ничего, а чуть только старичок начнет выводы выводить — хоть святых вон понеси. Глупо, недомысленно, по-детски. Поэтому я и думаю, что нам, вероятно, на этом поприще не судьба.

Дядя задумался на минуту, потом посмотрел на меня пристально и сказал:

— Слушай! а ведь тебе страшно должно быть?

— Страшно и есть.

— Ведь ежели ты отрицаешь необходимость выводов, то, стало быть, и в будущем ничего не предвидишь?

— Не предвижу... да, кажется, что не предвижу...

— Ни хорошего, ни худого?

— Да... то есть вроде сумерек. Вот настоящее — это я ясно вижу. Например, в эту минуту вы у меня в гостях. Мы то посидим, то походим, то поговорим, то помолчим... Дядя, голубчик, зачем заглядывать в будущее? Зачем?

— Чудак ты! да как же, не заглядывая, жить? Во-первых, любопытно, а во-вторых, хоть и слегка, а все-таки обдумать, приготовить надо...

— А я живу — так, без заглядыванья. Живу — и страшусь. Или, лучше сказать, не страшусь, а как будто меня пополам перешибло, все кости ноют.

— А помнишь, однажды ты даже уверял, что блаженствуешь?..

— Да как вам сказать? Может быть, и блаженствую... ничего я не знаю! Кажется, впрочем, что нынче это душевным равновесием называется...

— Фу-ты! это тебя тетка Варвара намеднишь в изумление привела!

С этими словами он взял шляпу и ушел. Вид у него был рассерженный, но внутренно, я уверен, что он мне завидовал.

Да нельзя и не завидовать. Почти каждый день видимся и всякий раз все в этом роде разговор ведем — неужто же это не равновесие? И хоть он, по наружности, кипит, видя мое твердое намерение жить без выводов, однако я очень хорошо понимаю, что и он бы не прочь такого житья попробовать. Но надворные советники ему мешают — вот что. Только что начнет настоящим манером в сумерки погружаться, только что занесет крючок, чтобы бирюльку вытащить, смотрит, а в доме опять разнокалиберщина пошла.

Во всяком случае, милая тетенька, и вы не спрашивайте, с какой стати я историю о школьном карцере рассказал. Рассказал — и будет с вас. Ведь если бы я даже на домогательства ваши ответил: «тетенька! нередко мы вспоминаем факты из далекого прошлого, которые, по-видимому, никакого отношения к настоящему не имеют, а между тем...» — разве бы вы больше из этого объяснения узнали? Так уж лучше я просто ничего не скажу!

Читайте мои письма так же, как я их пишу: в простоте душевной. И по прочтении вздохните: ах, бедный! он выводы потерял!

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

А знаете ли что — ведь и надворный советник Сенечка тоже без выводов живет. То есть он, разумеется, полагает, что всякий его жест есть глубокомысленнейший вывод, или, по малой мере, нечто вроде руководящей статьи, но, в сущности, ай-ай-ай как у него по этой части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, как и у нас, грешных.

Сию я намерен был утром у дяди, и вдруг совершенно неожиданно является Сенечка прямо из «своего места». И прежде он не раз меня у отца встречал, но обыкновенно пожимал мне на ходу руку и молча проходил в свою комнату. Но теперь пришел весь сияющий, светлый, в каком-то искристо-шутливом расположении духа. Остановился против меня и вдруг: а дай-ко, брат, табачку понюхать! Разумеется, он очень хорошо знает, что я табаку не нюхаю, но не правда ли, как это было с его стороны мило? Очевидно, ему удалось в это утро кого-нибудь ловко сцапать, так что он даже меня решил, на радостях, приласкать.

Кажется, что это же предположение мелькнуло и у дяди в голове, потому что он встретил сына вопросом:

— Что нынче так рано? или все дела, с божьей помощью, прикончил?

— Да так, дельце одно... покончил, слава богу! — ответил Сенечка, — вот и разрешил себе отдохнуть.

— И Павел сегодня дело о похищении из запертого помещения старых портков округлил. Со всех сторон, брат, вора-то окружил — ни взад, ни вперед! А теперь сидит запершись у себя и обвинительную речь штудирует... ишь как гремит! Ну, а ты, должно быть, знатную рыбину в свои сети уловил?

— Да, есть-таки...

— То-то веселый пришел! Ну, отдохни, братец! Большое ты для себя изнурение видишь — не грех и об телесах подумать. Смотри, как похудел: кости да кожа... Яришься, любезный, чересчур!

— Нет, папаша, не такое нынче время, чтоб отдыхать. Сегодня, куда ни шло, отдохну, а завтра — опять в поход!

Последние слова Сенечка проговорил удивительно серьезно и даже напыжился. Но так как он заранее решил быть на этот раз шаловливым, то через минуту опять развеселился.

— Сегодня мне действительно удалось, — сказал он, потирая руки, — уж месяца с четыре, как я... и вдруг! Так нет табачку? — прибавил он, обращаясь ко мне. — Ну-ну, бог с тобой, и без табачку обойдемся!

Словом сказать, он был так очарователен, что я не выдержал и сказал:

— Ах, Сенечка, если б ты всегда был такой!

— Нельзя, мой ангел! (Он опять слегка напыжился.) И рад бы, да не такое нынче время!

И, как бы желая доказать, что он действительно мог бы быть «таким», если б не «такое время», он обнял меня одной рукой за талию и, склонив ко мне свою голову (он выше меня ростом), начал прогуливать меня взад и вперед по комнате. По временам он пожимал мои ребра, по временам произносил: «так так-то» и вообще выказывал себя снисходительным, но, конечно, без слабости. Разумеется, я не преминул воспользоваться его благосклонным расположением.

— Сенечка! — начал я, — неужто ты до сих пор все ловишь?

— То есть как тебе сказать, мой друг, — ответил он, — персонально я тут не участвую, но...

— Ну да, понимается: не ты, но... И не известно тебе, когда конец?

— Не знаю. Но могу сказать одно: война так война!

Он помолчал с минуту и прибавил:

— И будет эта война продолжаться до тех пор, пока в обществе не перестанут находить себе место неблагонадежные элементы.

Сознаюсь откровенно: при этих словах меня точно искра электрическая пронизала. Помнится, когда-то один из стоящих на страже русских публицистов, выдергивая отдельные фразы из моих литературных писаний, открыл в них присутствие неблагонадежных элементов и откровенно о том заявил. И вот с тех пор, как только я слышу выражение «неблагонадежный элемент», так вот и думается, что это про меня говорят. Говорят, да еще приговаривают: знает кошка, чье мясо съела! И я, действительно, начинаю сомневаться и экзаменовывать себя, точно ли я не виноват. И только тогда успокоиваюсь, когда неопровержимыми фактами успеваю доказать себе, что ничего мяса я не съел.

— Ты, однако ж, не тревожься, голубчик! — продолжал Сенечка, словно угадывая мои опасения, — говоря о неблагонадежных элементах, я вовсе не имею в виду тебя; но...

— Но?

— Но, конечно, ты мог бы... А впрочем, позволь! я сегодня так отлично настроен, что не желал бы омрачать... Папаша! не дадите ли вы нам позавтракать?

— С удовольствием, мой друг, только вот разговоры-то ваши... Ах, господа, господа! Не успеете вы двух слов сказать — смотришь, уж управа благочиния в ход пошла! Только и слышишь: благонадежность да неблагонадежность!

— Нельзя, папаша! время нынче не такое, чтоб другие разговоры вести!

— То-то, что с этими разговорами как бы вам совсем не оглупеть. И в наше время не бог знает какие разговоры велись, а все-таки... Человеческое волновало. Искусство, Гамлет, Мочалов, «башмаков еще не износила»... Выйдешь, бывало, из Британии, а в душе у тебя музыка...

— А помните, папенька, как вы рассказывали: «идешь, бывало, по улице, видишь: извозчик спит; сейчас это лошадь ему разнуздаешь, отойдешь шагов на двадцать да и крикнешь: извозчик! Ну, он, разумеется, как угорелый. Лошадь стегает, летит... тпру! тпру!.. Что тут смеху-то было!

— Да, бывало и это, а все-таки... Нынче, разумеется, извозчицких лошадей не разнуздывают, а вместо того ведут разговоры о том, как бы кого прищемить... Эй, господа! отупеете вы от этих разговоров! право, и не заметите, как отупеете! Ни поэзии, ни искусства, ни даже радости — ничего у вас нет! Встретишься с вами — именно точно в управу благочиния попадешь!

— Дядя! — вступился я, — надо же, однако, раз навсегда разъяснить...

— А коли надо, так и разбирайтесь между собой, а я — уйду. Надоело. Благонадежность да неблагонадежность... черт бы вас побрал!

Дядя не на шутку рассердился, хлопнул дверью и скрылся.

— Старичок! — произнес ему вслед Сенечка, но не только без гнева, а даже добродушно.

— А к старикам надо быть снисходительным, — прибавил я, — и ты, конечно, примешь во внимание, что твой отец... Ах, мой друг, не всё одни увеличивающие вину обстоятельства надлежит иметь в виду, но и...

— Еще бы!

За завтраком Сенечка продолжал быть благосклонным и, сядя за стол, ласково потрепал меня по плечу и молвил:

— Так, так, что ли? война?

И вновь повторил, что война ведется только против неблагонадежных элементов, а против благонадежных *не* ведется. И притом ведется с прискорбием, потому что грустная необходимость заставляет. Когда же я попросил его пояснить, что он разумеет под выражением «неблагонадежные элементы», то он и на эту просьбу снизошел и с большою готовностью начал пояснять и перечислять. Уж он пояснял-пояснял, перечислял-перечислял — чуть было всю Россию не завинил! Так что я, наконец, испугался и заметил ему:

— Остановись, любезный друг! ведь этак ты всех русских поданных поголовно к сонму неблагонадежных причислишь!

На что он уверенно и с каким-то неизреченным пренебрежением ответил:

— Э! еще довольно останется!

Вы понимаете, что на подобные ответы не может быть возражений; да они с тем, конечно, и даются, что предполагают за собой силу окончательного решения. «Довольно останется!» Что ни делай, всегда «довольно останется!» — таков единственный штандпункт, на котором стоит Сенечка, но, право, и одного такого штандпункта достаточно, чтобы сделать человека неуживым.

Взгляните на бесконечно расстилающееся людское море, на эти непрерывно сменяющиеся, набегающие друг на друга волны людского материала — и если у вас слабо по части совести, то вы легко можете убедить себя, что сколько тут ни черпай, всегда довольно останется. И не только довольно, но даже и убыли совсем нет. Так что, ежели не обращать внимания на относительное значение вычерпываемых элементов — а при отсутствии совести что же может побудить задумываться над этим? — то почувствуется такая легкость на душе и такая развязность в руках, что, пожалуй, и впрямь скажешь себе: отчего же и не черпать, если на месте вычерпанной волны немедленно образуется другая?

Какая будет эта новая волна — это вопрос особый, и разрешит его, конечно, не Сенечка. У него взгляд на это дело количественный, а не качественный, и сверх того он находит отличное подкрепление этому взгляду в старинной пословице: было бы болото, а черти будут, которая тоже значительно облегчает его при отправлении обязанностей. Его даже не смущает мысль, что в том, чего, по его мнению, *еще довольно останется*, могут, в свою очередь, образоваться элементы, которые тоже, пожалуй, черпать придется. Он не глядит так далеко, но ежели бы и пришлось опять черпать, черпать без конца, он и тут не затруднится, а скажет только: черпать так черпать! Цель-

ного, органического, полезного он, разумеется, не создаст, а вот рассекать гордые узлы да щипать людскую корпию — это он может.

Главный конек Сенечки и единственное вразумительное слово, которое не сходит у него с языка, — это «современность». Современность будто бы требует господства разнокалиберщины и делает ненужными идеалы. Загородившись современностью, Сенечка охотно готов заколоть в ее пользу будущее. Завтрашний день он еще понимает, потому что на завтра у него наклеивается новое дельце, по которому уже намечены и свидетели; но что будет послезавтра — до этого ему дела нет. Ни до чего нет дела: ни до влияний на общее настроение в настоящем, ни до отражений в будущем.

Он принадлежит к той неумной, но жестокой породе людей, которая понимает только одну угрозу: смотри, Сенечка, как бы не пришли другие черпатели, да тебя самого не вычерпали! Но и тут его выручает туман, которым так всецело окутывается представление о «современности». Этот туман до того застилает перед его мысленным взором будущее, что ему просто-напросто кажется, что последнего совсем никогда не будет. А следовательно, не будет места и для осуществления угроз.

Одним словом, Сенечка — один из тех поденщиков современности, которые мотаются из угла в угол среди разнокалиберщины и не то чтобы отрицают, а просто не сознают ни малейшей необходимости в каких бы то ни было выводах и обобщениях. Сегодня дельце, завтра дельце — это составит два дельца... Чего больше нужно?

— Сенечка, — сказал я, — допустим, что это доказано: война необходима... Но ты говоришь, что она будет продолжаться до тех пор, пока существуют неблагонадежные элементы. Пусть будет и это доказанным; но, в таком случае, казалось бы не лишним хоть признаки-то неблагонадежности определить с большею точностью.

— Да ведь я чуть не целый час перечислял тебе эти признаки!

— Да, но в этом перечислении скорее выразились указания твоего личного темперамента, нежели действительно твердые основания. Многие из указанных тобою признаков и фактов в целом мире принимаются, как вполне благонадежные...

— В целом мире — да, а у нас — нет.

— Однако ведь это не резон, душа моя. Если в общечеловеческом сознании известное действие или мысль признаются благонадежными, то как же я могу угадать...

— Шалишь, брат! Не только можешь угадать, но и знаешь, положительно знаешь! Скажите, какая невинность — не может угадать!

— В том-то и дело, что ты в этом отношении безусловно ошибаешься. Не только положительно, но даже приблизительно я ничего не знаю. Когда человек составил себе более или менее цельное мирозерцание, то бывают вещи, об которых ему даже на мысль не приходит. И не потому не приходит, чтоб он их презирал, а просто не приходит, да и все тут.

— Так пускай приходит. Важная птица! ему какое-то мирозерцание в голову втемяшилось, так он и прав! Нет, любезный друг! ты эти мирозерцания-то оставь, а спустись-ка вниз, да пониже... пониже опустишь! небось не убудет тебя!

— Да если бы, однако ж, и так? если бы человек и принудил себя согласовать свои внутренние убеждения с требованиями современности... с какими же требованиями-то — вот ты мне что скажи! Ведь требования-то эти, особенно в такое горячее, неясное время, до такой степени изменчивы, что даже требованиями, в точном смысле этого слова, названы быть не могут, а скорее напоминают о случайности. Тут ведь угадывать нужно.

— И угадывай!

— Согласись, однако ж, что в выборе между случайностями не трудно и ошибиться. Стало быть, по-твоему, и ошибка может подлежать действию войны?

— Да-с, может-с.

— Так что, собственно говоря, в основании твоей войны лежит слепая случайность?

— Да-с, случайность... ну, что ж такое, что случайность! На то война-с!

Сенечка начал к каждому слову прибавлять слово-ерс, а это означало, что он уж закипает. Право вести войну казалось ему до такой степени неоспоримым, а определение неблагонадежности посредством неблагонадежности же до такой степени ясным, что в моих безобидных возражениях он уже усматривал чуть не намеренное противодействие. И может быть, и действительно рассердился бы на меня, если б не вспомнил, что сегодня утром ему «удалось». Воспоминание это явилось как раз кстати, чтоб выручить меня.

— Ну-ну! — воскликнул он благосклонно, — чуть было я не погорячился! А сегодня мне горячиться грех. Сегодня, душа моя, я должен быть добр. Впрочем, куда это еще секрет, но со временем ты узнаешь и сам увидишь... Да, так о чем же мы говорили? Об том, кажется, что и случайность следует угадывать? — что ж, я думаю, что мой взгляд правильный! Мы

в такое время живем, когда случайность непременно должна быть полагаема на весы. Конечно, тут могут произойти ошибки: степень виновности, содействие или только попустительство и так далее... но ведь в каком же человеческом деле не бывает ошибок? И притом никто не препятствует приносить оправдания... Напротив! раскаяние — ведь это, так сказать, цветок... Ах, голубчик! поверь, что я и сам всем сердцем болею... и всегда, при всяком удобном случае, сколько могу... И может быть, не один заблуждающийся пролил благодарную слезу... Но ты, кажется, не веришь?

— Помилуй! даже очень верю!

— Ты, пожалуйста, не смотри на меня, как на дикого зверя. Напротив того, я не только понимаю, но в известной мере даже сочувствую... Иногда, после бесконечных утомлений дня, возвращаюсь домой, — и хочешь верь, хочешь нет, но бывают минуты, когда я почти готов впасть в уныние... И только серьезное отношение к долгу освежает меня... А кроме того, не забудь, что я всего еще надворный советник, и остановиться на этом...

— Было бы безрассудно... о, как я это понимаю! Ты прав, мой друг! в чине тайного советника, так сказать, на закате дней, еще простительно впасть в меланхолию — разумеется, ежели впереди не предвидится производства в действительные тайные советники... Но надворный советник, как жених в полнощи, непременно должен стоять на страже! Ибо ему предстоит многое совершить: сперва получить коллежского советника, потом статского, а потом...

— Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и задумаешься. Всё язвы да язвы кругом — тяжело, мой друг! Должно же когда-нибудь наступить время для уврачевания их!

— Стало быть и уврачевание входит в твою программу? — радостно изумился я.

— Еще бы! ведь я до сих пор только растрavляю... на что похоже! Правда, я растрavляю, потому что этого требует необходимость, но все-таки, если б у меня не было в виду уврачевания — разве я мог бы так бодро смотреть в глаза будущему, как я смотрю теперь?

— Ах, голубчик! так что ж ты давно мне об этом не сказал?

И поверь мне, что рано или поздно, а дело уврачевания поступит на очередь. И даже скорее рано, чем поздно, потому что не далее как вчера я имел об этом разговор, и вот, в кратких словах, результат этого разговора: не нужно поспешности! но никогда не следует упускать из вида, что чем скорее мы вступим в период уврачевания, тем лучше и для нас, и для

всех! Для всех! — повторил он, прикладывая к носу указательный палец.

— Bravo! Сенечка! так давай же говорить об уврачевании!

— С удовольствием, мой друг, хотя, как я уже объяснил тебе, очередь...

— Да мы будем говорить без очереди... так! В чем же, по-твоему, должно заключаться уврачевание?

— Ну, это будет зависеть... Прежде всего, надо расчистить почву, а потом уж и средства уврачевания определятся сами собой.

— Так, значит, вперед и тут ни на что верное рассчитывать нельзя?

— Вперед, душа моя, только утописты загадывают; действительная же мудрость в том состоит, чтобы пользоваться наличным материалом и с помощью его созидать будущее. Насущных вопросов, право, больше чем достаточно, и ежели хотя часть их подвергнуть рассмотрению — разумеется, в пределах благоразумия, — то и в таком случае дело уврачевания значительно подвигнется вперед. А который из этих вопросов надлежит рассмотреть немедленно и который до времени положить под сукно — это уж покажут обстоятельства. Повторяю: прежде всего надо расчистить почву, а потом уже созидать!

— Эх, кабы ты поскорее ее расчистил! Взят бы да и... только уж, сделай милость, меня-то не прихвати!

— Что ты! что ты! успокойся, мой друг! Так вот к этой самой расчистке я и направляю все мои усилия. Надеюсь, что они увенчаются успехом, но когда именно наступит вождеденный день, — все-таки заранее определить не могу.

— Но надеюсь, что когда этот день наступит... чин коллежского советника... а?

— Ну, чин-то коллежского советника я и так, за выслугу лет, получу...

— Стало быть, Wladimir?.. bravo, Сенечка! bravo!

— Владимир не Владимир, а Анны вторья... это, пожалуй, не невозможно.

Разумеется, я поспешил заранее поздравить его, и, право, мне кажется, он был очень доволен, что перспектива уврачевания разрешалась так удачно при помощи Анны вторья.

Итак, прежде всего: война так война! потом «уврачевание», но в чем оно будет состоять — бабушка еще сказала надвое. Таковы Сенечкины «принципы». И в заключение Анны вторья — это, кажется, самое ясное.

Некоторое время Сенечка сидел в состоянии той приятной задумчивости, которую обыкновенно навевают на человека

внезапно открывшиеся перспективы, полные обольстительнейших обещаний. Он слегка покачивал головой и чуть слышно мурлыкал; я, с своей стороны, сдерживал дыхание, чтоб не нарушить очарования. Как вдруг он вскочил с места, как ужаленный.

— А ведь я позабыл! — воскликнул он, бледнея. — Самое главное-то и забыл! Что, ежели... но нет, неужто судьба будет так несправедлива?.. А я-то сижу и «улучшениями» занимаюсь! Вот теперь ты видишь! — прибавил он, обращаясь ко мне, — видишь, какова моя жизнь! И после этого... Извини, что я тебя оставляю, но мне надо спешить!

Он бегом направился к двери, а через несколько секунд уже был на улице. Не успел я хорошенько прийти в себя от этой неожиданности, как в дверях столовой показалась голова дыди.

— Убежал? — спросил он меня.

— Да, что-то случилось...

— Это он опять на ловлю... вот жизнь-то анафемская! И каждый день так... Придет: ну, слава богу, изловил! посидит-посидит, и вдруг окажется, что изловил да не доловил — опять бежать надо! Ну, и пускай бегают! А мы с тобой давай, будем об чем-нибудь партикулярном разговаривать!

То же самое отсутствие жизненных выводов усматривает и Дыба, и чрезвычайно об этом скорбит. Представьте, какое с ним курьезное на днях происшествие случилось. Встал он утром с постели, как обыкновенно, правой ногой, умылся, справился, не приезжал ли за ним курьер с приглашением прибыть для окончательных переговоров по весьма нужному делу, спросил кофею, взял в руки газету, и вдруг... видит: *«Увольняется от службы по прошению: бесшабашный советник Дыба»*. Сначала, разумеется, не понял и даже с расстановкой произнес:

— Од-но-фа-мн-лец!

Но вслед за тем, как вскочит!.. Караул!

Надо вам сказать, что еще накануне вечером он успел заручиться, что именно теперь-то и нужна его опытность. Заручившись, пошел в клуб; там ему тоже сказали: именно теперь ваша опытность особливую пользу оказать должна. Он, с своей стороны, скромно отвечал, что не прочь послужить, поужинал, веселый воротился домой и целый час посвятил на объяснение молодой кухарке, что в скором времени он, по обстоятельствам, наймет повара, а ей присвоит титул домоправительницы и, может быть, выдаст замуж за главноначальствующего над

курьерскими лошадьми. Во сне видел мероприятия и, должно полагать, веселые, потому что громко смеялся. Еще когда мы вместе с ним Краенчен в Эмсе глотали — уж и тогда он об этих мероприятиях речь заводил. Но никак, бывало, до конца довести рассказа не может: дойдет до середины — и вдруг со смеху прыснет! А я стою смотрю, как он заливается, и думаю: Господи! неужто?

Долго он не мог понять, как это так: прошения он не подавал, а уволен — *по прошению!* и в первые дни даже многим в этом смысле жаловался. Однако ж, наконец, понял. Но понял опять-таки чересчур абсолютно. Впал в уныние, сразу утратил веру в будущее и женился на молодой кухарке, пригласив в посаженные отцы Удава. И на другой день свадьбы к нему опять приехал курьер с приглашением пожаловать для «окончательных переговоров по известному делу». Разумеется, поспешил явиться и на этот раз убедился, что действительно существует такая комбинация, для осуществления которой его опытность необходима. Но в ту самую минуту, как он уже откланивался, курьер подал только что полученный пакет, заключавший в себе краткий пасквиль (очевидно, направленный предательской рукой), в виде пригласительного билета следующего содержания: «Бесшабашный советник Дыба и вильманстрандская уроженка Густя Вильгельмовна покорнейше просят пожаловать такого-то числа на их бракосочетание (по языческому обряду) в Демидов сад, а оттуда на Пески в кухмистерскую Завигаева на бал и ужин». Тщетно доказывал Дыба, что это произошло с ним вследствие уныния, но что, во всяком случае, бракосочетание в Демидовом саду, и притом в зимнее время и по языческому обряду, не может иметь серьезного значения; тщетно уверял, что, по первому же требованию, он даст Густе расчет, а буде во власти будет, то и сошлет ее в места более или менее отдаленные, — будущее его было разбито навсегда! Помилуйте! какой же это деятель, который так быстро приходит в уныние! И затем столь же быстро сообщает этому унынию игривый и даже вызывающий характер, приглашая к участию в оном вильманстрандскую уроженку! ведь этак, пожалуй, и до потрясения основ недалеко!

Все это рассказал мне впоследствии Удав, который в этом случае поступил совершенно по-современному. Отказаться от приглашения Дыбы, вследствие существовавшей между ними старинной дружбы, ему, конечно, было неловко; поэтому он отправился в Демидов сад, обвел молодых вокруг ракитового куста (в это время — представьте! — пели вместо тропаря горловское посвящение Мусину-Пушкину!), осыпал их хмелем —

и затем словно в воду канул. Даже к Завитаеву ужинать не поехал. Да и вообще никто из почетных гостей не прибыл в кухмистерскую (было приглашено: пятьдесят штук тайных советников, сто штук действительных статских советников, один бегемот, два крокодила и до двухсот коллежских асессоров, для танцев), а приехали какие-то «пойги» из Вильманстранда, да штук двадцать подруг-кухарок, а в том числе и моя кухарка. Затем, на другой день (вслед за «окончательными переговорами»), Удав не сказался дома, на третий день — тоже, а сам уж, конечно, к бывшему другу — ни ногой. Так что Дыба, придя в третий раз, потоптался-потоптался перед запертой дверью коварного друга и вдруг решил... ехать ко мне!

В наше смутное и предательское время подобные пассажи со мной случаются нередко. По особенным, совершенно, впрочем, от меня не зависящим причинам, я считаюсь человеком неудобным. Поэтому многие из моих школьных товарищей и даже из друзей, как только начинают серьезно восходить по лестнице чинов и должностей, так тотчас же чувствуют потребность как можно реже встречаться со мной. Дальше — больше, и наконец, когда в черепе бывшего друга, вследствие накопления мероприятий, образуется трещина, то он уже просто-напросто, при упоминании обо мне, выказывает изумление: «а? кто такой? это, кажется, тот, который...» Впрочем, встречаясь со мной за границей, эти же самые люди довольно охотно возобновляют старые дружеские отношения и даже по временам поверяют мне свои административные мечтания. Вместе со мной любят окрестными видами, пьют дрянное местное вино и приговаривают: а у нас и этого нет! Нередко речь между нами заходит и о любви к отечеству, и когда я начинаю утверждать, что любить отечество следует не «за лакомство» (вроде уфимских земель), а просто ради самого отечества, то крепко и сочувственно жмут мне руку. Но в особенности много обращается ко мне сердец, постигнутых катастрофой, в форме отставки, причисления или сдачи на хранение в совет или в старый сенат. Последние еще несколько остерегаются — ведь чем черт не шутит! вдруг занедобятся! — и заходят ко мне только в сумерки, но отставные — так и прут. Видя себя на самом дне реки забвения, они становятся бесстрашными и совершенно не дорожат своей репутацией. Придут, усядутся, бормочут и сами же, слушая свое бормотанье, заливаются смехом. Очевидно, надеются, что я что-то по этому поводу «опишу». Я и описываю, только не то, что они рассказывают — по большей части, этих рассказов и понять нельзя, — а совсем другое. Впрочем, некоторые и из отставных впослед-

ствии раскаиваются, перестают ходить и даже начинают на всех перекрестках ругательски меня ругать. Но успевают ли они этим путем восстановить свою утраченную репутацию — этого я не знаю, потому что не любопытен.

Нередко я спрашиваю себя: примет ли от меня руку помощи утопающий действительный тайный советник и кавалер? — и, право, затрудняюсь дать ясный ответ на этот вопрос. Думается, что примет, ежели он уверен, что никто этого не видит; но если знает, что кто-нибудь видит, то, кажется, предпочтет утонуть. И это нимало меня не огорчает, потому что я во всяком человеке прежде всего привык уважать инстинкт самосохранения.

Из этого вы видите, что мое положение в свете несколько сомнительное. Не удалось мне, милая тетенька, и невинность соблудности, и капитал приобрести. А как бы это хорошо было! И вот, вместо того, я живу и хоронюсь. Только одна утеха у меня и осталась: письменный стол, перо, бумага и чернила. Покуда все это под рукой, я сижу и пою: жив, жив курилка, не умер! Но кто же поручится, что и эта утеха внезапно не улетучится?

Итак, Дыба направился ко мне. Пришел, пожал руку, уселся и... покраснел. Не привык еще, значит.

— А я... поздравьте... вольная птица! — начал он как-то сразу и, повернувшись в кресле, сделал рукой в воздухе какой-то удивительно легкомысленный жест, как будто и в самом деле у него гора с плеч свалилась.

— Ах, вашество! как же это так? стало быть, изволили соскучиться?

— Да, скучно... и притом вижу... не сто́ит!

— А мы-то, вашество, надеялись! И я, и дети мои. Наконец-то, думаем, наступила минута, когда опытность вашего особливую пользу оказать должна!

— Думал и я... то есть, не я, а... но, впрочем, что ж об этом! Не сто́ит! Подал прошение — и квит!

Он помолчал с секунду и потом прибавил:

— Теперь милости просим к нам! Свободные люди! И я и Густя Вильгельмовна — очень, очень будем рады! Чашку кофе откусать или так посидеть... очень приятно!

Но чем больше он говорил, тем больше краснел и как-то нервно подергивался в кресле. Разумеется, я ответил, что сочту за честь, но в то же время никак не мог прийти в себя от изумления. Вот, думалось мне, человек, который, несколько дней тому назад, вполне исправно выполнял все функции, какие бесшабашному советнику выполнять надлежит! Он и надеялся и роптал; и приходил в уныние при мысли, что Уфим-

ская губерния роздана без остатка, и утешал себя надеждою, что Россия велика и обильна и стало быть... И вдруг теперь он сознаёт себя отрешенным от всех ропотов и упований, от всего, что словно битым стеклом наполняло пустую дыру, которую он называл жизнью, что заставляло его вздрагивать, трепетать, умиляться, строить планы, ждать, ждать, ждать... Как ему должно быть теперь нехорошо! С каким удивлением он должен был прислушиваться к собственному голосу, когда говорил извозчику: на Литейную — двугривенный! — к этому голосу, который привык возглашать: к генерал-аншефу такому — четвертак!

— Но что же могло вашество побудить? в цвете лет и сил? в полном разгаре готовности усердия? — допытывался я.

— Надоело. Вижу: суета, а результатов нет. По целым месяцам сидишь, в окошко глядишь: какой результат? И что ж, даже не приглашают! Подал прошение — и квит!

— С точки зрения вашего личного чувства это, конечно, вполне понятно... — начал было я, но он, не слушая меня, продолжал:

— А то вдруг — потребуют... «Ваша опытность...» И только что начинаешь это вслушиваться, как вдруг курьер: такой-то явился! — «Ах, извините! пожалуйста в другой раз!» Воротишься домой, опять к окошку сядешь, смотришь, ждешь... не требуют! Подал прошение — и квит!

— Позвольте, вашество! с точки зрения вашего личного успокоения, это, может быть, и благоразумно; но вы упускаете из вида, что люди в вашем положении не имеют права руководиться одними личными предпочтениями... Ведь за вами стоит не что-нибудь, а, так сказать, обширнейшая в мире держава...

— Знаю, мой друг. Но и за всем тем ничего не могу. Результаты не вижу — это главное!

— А на вашем месте я сел бы опять к окошечку, да и ждал бы. Сегодня — нет результатов, завтра — нет результатов, а послезавтра — вдруг результат!

— Сомнительно. Ну, да теперь уж и ждать нечего. Подал прошение — и квит. Тем хорошо, что, по крайней мере, выяснилось раз навсегда!

— Ну, нет, вашество, не говорите этого! может и вновь такой случай выйти...

— Нет уж, мой друг, нечего по-пустому загадывать! Конеч. И я оччень-оччень рад!

Он на минутку поник головой, задумался, вздохнул и опять повторил:

— Оччень-оччень рад! Подал прошение — и квит!

Отдавши дань грусти, Дыба, однако ж, вспомнил, что ему, как бесшабашному советнику, следует быть любезным. Поэтому, оглядев стены моего кабинета, он продолжал:

— А у вас хорошо... даже очень прилично... да! Обойцы на стенах, драпри... а внизу на лестнице швейцар! Хорошо. Много за квартиру платите?

— Столько-то.

— Тсс... скажите! И много комнат занимаете?

— Столько-то.

— Тсс... а я в Подьяческой на три комнаты меньше имею, а почти то же плачу!

Он еще раз подивился, покачал головой и, протягивая мне руку, сказал:

— Поздравляю!

Разумеется, я был очень польщен. Повел его по всем комнатам, и везде он меня похвалил, а в некоторых комнатах даже выразил приятное изумление. В коридоре повел носом, учуял, что пахнет жареной печенкой, умилился и воскликнул:

— Тсс... печенка?! очень, очень приятное кушанье! Не дорогое, а превкусное.

Так что я сейчас же распорядился подать ему два куса, и, право, даже на мысль мне при этом не пришло: а ну, как он повадится ходить, да в лоск меня обьест!

Поевши, он опять разговорился.

— Стало быть... живете? — спросил он, вновь оглядывая стены моего кабинета.

— Живу, вашество!

— И я живу. И все мы живем. Нельзя. Только надоело... мерзко смотреть! Сутолока какая-то, суета, столпотворение, а результатов — нет! Подал прошение — и квит!

— Это так точно. Но, впрочем, позвольте, вашество, доложить: каких же еще результатов ждать? и будто нам нужны какие-нибудь результаты?

— Результаты, мой друг, должны сами собой явствовать. Спрошу вас: знаете ли вы, что такое силлогизм?

— Ах, вашество!

— Ну, так вот силлогизм... Скажем к примеру так: Кай смертен; Кай — человек; следовательно, все люди смертны. Вот вам и результат!

— Ну, бог с ними, с такими результатами, которые об смерти поминают. Но, кроме того, можно ведь и другим манером этот же самый результат повернуть. Например, так: все люди смертны, Кай — человек, следовательно, Кай смертен. Поди, уличи меня, что я сфальшивил!

— Можно и так. На все лады можно. А вот как этак вам

говорят: Кай — человек, а палка в углу стоит — вот тут уж никакого результата не выйдет!

— Нет, и тут может выйти результат: следовательно, Кай сидит дома, а не прогуливается.

— А он, может быть, без палки гулять вышел?

— А тогда можно будет сказать так: следовательно, Кай и без палки вышел гулять!.. Да я вам, вашество, из какого угодно материала, в одну минуту, таких результатов насочиняю, что отдай всё, да и мало!

— Ну, нет, все-таки...

— Непременно сколько угодно насочиняю... Оттого-то я и говорю: никаких нам результатов не нужно! Я ведь тоже, как и вашество, сижу у окошка да поглядываю... Только вот об результатах не думаю, а просто поглядываю — оттого и кручины не знаю.

— А я так знаю. И вы со временем, когда серьезно взглянете... Мерзко!.. да-с! Вот мы с вами за границей целое лето провели — разве там так люди живут?

— Ах, вашество, да ведь там какая почва земли-то! Разве такая земля без результатов может родить? А у нас и без результатов земля родит!

Он вытаращил на меня глаза, словно не понял силы моего возражения. Но потом пожевал губами, тряхнул головой и, по-видимому, решил понять.

— Н-да?

— Помилуйте, да это факт! Об этом и в «Трудах комиссии несведения концов» записано. У них земля — камень, а у нас — на сажень чернозем, да говорят, что в крайнем случае и еще сажень на пять будет! Тут сколько добра-то?

— Н-да?

Он удивлялся все больше и больше. Разумеется, я воспользовался этим.

— Оттого нам можно без результатов жить, а им — нельзя. Им тяжело, а нам легко. Или опять фабрики-заводы... У других этого добра — пропасть, а у нас — первой-другой, и обчелся!

— И это, стало быть?..

— А то как же, вашество! все надо в счет полагать! Конечно, мы, люди партикулярные, сидим и не догадываемся, а между тем в общей массе, да еще при содействии трудов комиссии несведения концов...

— Стало быть, и климат и местоположение — все нужно в счет полагать?

— Конечно, все. Там — горы, у нас — паспорта; там тепло, у нас — холодно; там местоположение — у нас нет местополо-

жения; там сел да поехал, а у нас в каждом месте: стой, скажи, кто такой! какой такой человек есть? Нет, вашество, нам впору попросту, без затей прожить, а не то чтобы что!

Он опять вытаращил на меня глаза и даже несколько как бы поглупел. Я тоже потерял концы и не знал, на чем я остановился, и почему на том, а не на другом.

— И все-таки... надоело! — наконец молвил он, вспомнив о своем недавнем приключении.

— Надоело — это так! Но что именно надоело — это еще вопрос!

— Суета надоела — вот что!

— И суета, да опять и то, что результатов никаких нет — а я что же говорю? Идем, бежим, а куда — не знаем! Даже на конках теперь во весь опор лошадей пускают! Раздавят человека, а для чего раздавили и какой от этого результат — не знают...

— Именно так!

— Вот хоть бы с вашимством... Пригласили вас, и вы уж совсем было приспособились, и вдруг: «извините, теперь некогда, пожалуйста, в другое время!»

— Вот именно я это самое и утверждал. А вы...

— И я. Объясниться нам нужно — вот и все. Все равно как в журнальной полемике: оба противника, в сущности, одно и то же говорят, а между тем, зуб за зуб!

— Так что ваша ссылка на чернозем...

— Чернозем — это само по себе. Это в своем месте будет значение иметь. А покуда нам нужно было объясниться — вот мы и объяснились.

Он раскрыл было рот, чтобы возразить, но подумал, хлопнул зубами и замолчал.

Я тоже, по-видимому, высказал все, что накопилось у меня на душе.

— Ну, дай вам бог! — сказал он, вставая и берясь за шляпу. — Прекрасная у вас квартирка... прекраснейшая!

В передней он в последний раз протянул мне руку и умилился.

— Так вот мы и познакомились! — произнес он с чувством. — На этот раз, надеюсь, прочно будет... Но если бы даже впоследствии и вышел результат, то, во всяком случае... Милости просим к нам! И я и Густя Вильгельмовна... Посидеть, побеседовать...

Наконец он удалился, а я сел к окошку и стал ждать результатов. И вдруг — курьер! — Откуда, друг? — Из Главного управления по делам печати... ах!

Впрочем, это мне только показалось, что курьер пришел, а в действительности в мой кабинет влетела «Индюшка». И вдруг вся моя квартира пропахла юпочным мельканием, клятиной и вздором.

— Господи, какая скука! — приветствовала она меня. — Хоть бы кто-нибудь пригласил! Вчера ездила-ездила, вижу, у Чистопольцевых огонь, звонюсь, выходит лакей: барыне сына бог послал, а барин сидят запершись в кабинете и донос пишут... Хоть бы запретили!

— Чтò запретили бы? рожать или доносы писать?

— Ах, какой ты! И без того скучно, а ты... Вот Дарья Семеновна — та отлично устроилась. Я, говорит, та chère, с тех пор, как эта скука пошла, каждый день все в баню езжу!

— И ты бы ездила!

— Я не могу: в бане-то надо за номер пять рубликов платить, а у меня Пентюхово-то уж в двух местах заложено... В одном месте по настоящему свидетельству, а в другой раз мне Балалайкин состряпал... Послушай, однако ж, cousin! неужто я тебе так скоро надоела, что ты уж и гонишь меня?

— Христос с тобой, милушка! когда же я тебя гнал?

— Вот сейчас в баню посылал. Не бойся, пожалуйста! не задержу! Я к тебе за делом.

Говоря это, она подошла к зеркалу, высунула язык и начала подлизывать верхнюю губу.

— И ведь какая эта Чистопольцева! — болтала она. — Туда же, радуется: бог сына дал! Скажите, какое лакомство!

— Однако, мой друг, все-таки утешение!

— А по-моему, так хоть бы их совсем не было, этих сыновей... По крайней мере, я бы теперь на свободе, куда бы хотела, туда бы и поехала... Уж эти мне сыновья! да! чтò бишь, я хотела тебе рассказать?

— Не знаю, душа моя. Вот об дочерях ты еще ничего не говорила, так, может быть, об них что-нибудь молвишь...

— Ах нет, не об том. А впрочем, что ж дочери!.. Дочь тогда хороша, когда она на мать похожа, когда она «правила» имеет, а эти нынешние...

— Да успокойся, пожалуйста! вспомни лучше, что ты хотела мне сообщить?

— Ах, да... вот! Представь себе! у нас вчера целый содом случился. С утра мой прапорщик пропал. Завтракать подали — нет его; обедать ждали-ждали — нет как нет! Уж поздно вечером, как я из моей tougnée¹ воротилась, пошли к нему в ком-

¹ поездки.

нату, смотрим, а там на столе записка лежит. «Не обвиняйте никого в моей смерти. Умираю, потому что результатов не вижу. Тело мое найдете на чердаке»... Можешь себе представить мое чувство!

— Ах, бедная!

— Разумеется, побежали на чердак, и что ж бы ты думал? — он преспокойно прислонился себе к балке и спит! И веревка в двух шагах через балку перекинута! Как только воробы глаз ему не выклевали... чудеса!

— Ну, что уж! слава богу, что жив!

— Нет, ты представь себе, какие штуки он надо мной строит! Уж я кротка-кротка, а такую ему, мерзавцу, пощечину вклеила, что в другой раз, если уж он задумает повеситься, так уж... Нет, ты скажи, мать я или нет?

— Коли сама рожала...

— Не только рожала, а меня из-за него, мерзавца, тогда чуть на куски не изрезали... Представь себе: ногами вниз, да еще руки по швам — точно в поход собрался! А сколько я мук приняла, покуда тяжела им ходила... и вот благодарность за все!

— Ну, положим, он тут не виноват...

— И все-таки мог бы мать поблагодарить. А он — вон что, вешаться выдумал! Вот почему я и говорю про Чистопольцеву: дура! И все дуры, которые... Я и бабеньке сегодня говорила: сто́ит ли после этого детей иметь! А у ней этот противный Стрекоза сидит: «иногда, сударыня, без сего невозможно!» Ах, хоть бы его поскорей сенатором сделали! Что бы начальству стоило!

— Что тебе так занудобилось?

— Тогда бабенька за него замуж бы вышла. Говорят, будто семидесяти лет не позволяют — ну, да ведь в память Аракчеева... По крайней мере, повеселилась бы на свадьбе, а то что! Все ходят, словно скованные, по углам, да результатов ждут...

— Ну-ну-ну! отдохни минуточку. Скажи: спрашивала ли ты у своего прапорщика, об каких это он результатах в записке своей упоминал?

— Поручики спрашивали, да разве он скажет?

— Однако ж сказал же он что-нибудь, как вы на чердаке-то его нашли?

— Ничего не сказал. Только удивился, когда я ему плюху вклеила, да немного погодя промолвил: есть хочу! Хорошо, что у меня от обеда целый холодный ростбиф остался!

— Да неужто же наконец...

— Нет, ты представь себе, если б у меня этого ростбифа

не было! куда бы я девалась? И то везде говорят, что я все сама ем, а детей голодом морю, а тут еще такой скандал!

— Ну, что тут! дала бы целковый, и пусть к Палкину идет!

— Это чтоб он опять... слуга покорная! выходки-то его у меня вот где сидят!

Сказавши это, она чем-то ужасно обеспокоилась и опять побежала к зеркалу.

— Душка! сделай милость, посмотри! Кажется, у меня сзади что-то взбилось?

Но в эту минуту в передней раздался звонок, и прапорщик, собственным лицом, предстал перед нами.

— А! господин удушенник! — приветствовала его «Индюшка». — Полюбуйтесь, милый дяденька, на племянничка... хорош?

— А вы, мамаша, уж благовестите?

— И буду благовестить, и буду, и буду, и буду! — зачатила она. — В полк, в казармы поеду! всем разблаговещу, как ты задавиться собирался! Ну, что ж ты не задавился, что ж?

И она, прискакивая и дразня, кружилась вокруг него, приговаривая: — Непременно, непременно! поеду и всем расскажу!

— Ну, да будет, Nadine, — вступился я, — а ты, фендрих, с чего это, в самом деле, вешаться вздумал?

Прапорщик некоторое время колебался, но наконец процедил сквозь зубы:

— Надоело.

— Что надоело?

— Скучно... результатов нет... ничего не поймешь!

— Скучно да надоело! — кипятилась «Индюшка», — так что ж ты не удавился, коли тебе скучно? Скажите! ему скучно! А ты бы у матери прежде спросил, весело ли ей на твои штуки-фигуры смотреть!

— Наденька! да будь же умница!

— Нет, ты скажи ему, родной! скажи этому дурному сыну, что он должен мать уважать!

— Да разве он...

— Нет, ты уж, пожалуйста, скажи! Неужто ж и ты, как эти...

Она затруднилась.

— Ну, вот эти... как их...

— Да понимаю я, не ищи!

Милая тетенька! если б я не знал, что кузина Наденька — «Индюшка», если бы я сто раз на дню не называл ее этим именем, задача моя была бы очень проста. Но ведь она — «Индюшка»! это не только я, но и все знают; даже бабенька, и та иногда слушает-слушает ее, и вдруг креститься начнет,

точно ее леший обошел. Да и в настоящем случае она себя совсем по-индюшечьи вела: курлыкала, нелепо наступала на сына, точно собиралась уклонуть его. Как тут сказать этому сыну: вот птица, которую ты должен уважать?! Однако ж я перемог себя и сказал:

— Взгляни на почтеннейшую свою родительницу и пойми, как ты ее огорчил!

— Вот так! пойми, пойми дурной сын! — радостно подтвердила «Индюшка». — А теперь, родной, вели ему, чтоб он у татап прощения попросил.

— Ах, да зачем это тебе?

— Нет, как хочешь, а я не отстану! Иван! — обратилась она к сыну, — говори: простите меня, мамаша, за то огорчение, которое причинил вам мой поступок!

Но Иван вдруг как-то весь в комок собрался и уперся (даже ноги врозь расставил), как будто от него требовали, чтоб он отечеству изменил.

— Непременно говори! — настаивала «Индюшка». — Говори, сейчас говори: «татап! простите меня, что я вас своим поступком огорчил!»

— Ах ты, господи! — заметался Иван, словно в агонии.

— Нет, нет, нет! говори! Я тебя в смирительном доме сгною, если ты у татап прощения не попросишь... дурной!

Но прапорщик продолжал стоять, расставивши ноги, — и ни с места.

— Да скажешь ли ты наконец... оболтус ты этакой! — крикнул и я в свою очередь, чувствуя, что даже стены моего кабинета начинают глупеть от родственных разговоров.

— Из-ви-ни-те, та-тап, что я о-гор-чил... — чуть-чуть не давился Иван.

— Ну, вот и прекрасно! — подхватил я.

— Нет, погоди! «Своим поступком», — подсказала «Индюшка».

— Сво-им по-ступ-ком...

— Ну, вот, теперь прощаю! Теперь — все забыто. И я тебя простила, и ты меня прости. Я тебя простила за то, что ты свою татап обеспокоил, а ты меня прости за то, что я тебе тогда сгоряча... Ну, пусть будет над тобой мое благословение! А чтобы ты не скучал, вот пять рублей — можешь себе удовольствие сделать!

— Бери! — посоветовал я, почти скрежеща зубами.

Насилу они от меня уехали. Но замечательно, что когда «Индюшка» распростилась со мной, а прапорщик собрался было, проводивши мать, остаться у меня, то первая не допустила до этого.

— Нет уж, сделайте милость! извольте с татап отправляться! — сказала она.— А то вы опять у дяденьки либеральничаний наслушаетесь, да домой давиться приедете!

И, обратившись ко мне, прибавила:

— Хорошо, что у меня тогда холодный ростбиф остался! А то, представь себе, он говорит: хочу есть! — а я...

Остальное она договорила уже в швейцарской.

Так вот как, милая тетенька. Живем мы и результатов не видим. И оттого будто бы нам скучно.

Очень возможно что вы найдете приведенные мною примеры неубедительными. Вы скажете, что и Дыба, и фендрих Ivan, и «Индюшка» — всё это такого рода личности, ссылка на которых положительно ничего не доказывает... Извините меня, но ежели таково ваше мнение, то вы несомненно ошибаетесь. Подобно тому, как в прошлом письме я говорил по поводу свары, свившей гнездо в русской семье, повторяю и ныне: именно примеры низменные, заурядные и представляют в данном случае совершенное доказательство. Ведь им, этим бесшабашным людям, по-настоящему и бог велел без результатов жизнь отбывать, а они, изволите видеть, скучают, беспокоятся, начинают подозревать, что в существования их закралась какая-то пустота. Допустим, что они отчасти не умеют называть эту пустоту по имени, а отчасти формулируют свое недовольство жизнью смутно и нелепо, тем не менее не подлежит сомнению, что им скучно, им надоело. И именно теперь, вот в настоящее время, эта скука настолько обострилась, что они ее явственно чувствуют, тогда как прежде они или не подозревали ее, или мирились с нею.

Конечно, надворный советник Сенечка объявляет себя довольным и даже достаточно нагло утверждает, что жизнь без выводов есть наиболее подходящий для нас *modus vivendi*, но ведь это только так кажется, что он доволен. Вспомните, как он побледнел и испугался при мысли, что нечто забыл; вспомните, с какою стремительностью он бросился из дома, чтобы поправить свой промах,— и вы поймете, что и он не на розах покоится. И это не исключительный случай с ним, а каждый день так бывает. Каждый день он непременно что-нибудь забудет, упустит из вида, не предусмотрит, и каждый день, вследствие этого, пугается и бледнеет. А отчего? — оттого, что вся его неустанная деятельность из одних обрывков состоит, а собрать и съютить всю эту массу бессвязных обрывков — положительно немислимое дело. Если б у него был в виду результат, если б деятельность его развивалась логи-

чески и он сознавал ясно, куда ему надлежит прийти, — он наверное не отдал бы всего себя в жертву разношерстной сутолоке, которой вдобавок и конца нет. Некоторые части разнокалиберщины он бы отсек, другие — и сами собой не пришли бы ему на мысль. А теперь вся эта белиберда так и плывет на него, и уж не оң ею распоряжается, а она им. Одну только цель он выяснил себе довольно определенно — это Анны вторья; но и она находится в зависимости от разнокалиберщины, которая свинцовой тучей повисла над его существованием. Так что и тут он не может не опасаться, что один неудачный или неосторожный шаг — и все его расчеты на Анны вторья будут скомпрометированы. И я положительно убежден, что он по несколько раз в день прокликает час своего рождения, и что только известная степень душевной оголтелости помогает ему выдерживать беспрестанные испуги, вроде того, которого я был случайным свидетелем, и, несмотря ни на что, упорствовать в омуте разнокалиберщины, с тем, чтобы вновь и вновь пугаться без конца.

Не всякий способен сознавать, что скука происходит вследствие отсутствия результатов, но всякий способен испытывать самую скуку. И верьте мне, что томительное ощущение скуки без сознания причин, ее обуславливающих, лежит на душе гораздо более тяжелым бременем, нежели то же самое ощущение, достаточно выслеженное и просветленное сознанием.

Работа мысли, проникновение к самым источникам невзгоды — представляют очень серьезное облегчение. Невзгода, в этом случае, прямо стоит перед человеком, и он или бросается в борьбу с нею, или старается оборониться от нее. Допустим, что ни в борьбе, ни в обороне он успеха не достигнет, но уж и то будет прибыль, что его деятельность найдет какой-нибудь выход. А, наконец, в крайнем случае, у него остается и еще убежище: чувство негодования, которое тоже, в известной мере, может дать содержание человеческому существованию. Но вот когда положение делается поистине ужасным — это когда человек томится и мечется, сам не понимая, отчего он томится и мечется. В этом случае он уж действительно ничего, кроме зияющей пустоты, перед собою не видит.

Большинство именно так и скучает. Просто не знает, куда деваться. «Индюшку» — «никто не приглашает»; Дыбу хоть и «приглашают», но он и сам говорит: лучше бы уж не бредили. Фендрих нигде места найти не может, давиться хочет. Сенечка все что-то начинает, но ничего кончить не в силах. Доносят, ябедничают, выслеживают, раздирают друг друга

и никак не могут понять, отчего даже такая лихорадочная, по-видимому, деятельность не может заслонить пустоту. Положительно, это такая надрывающая картина, которую только с великой натугой может создать самое изобретательное воображение.

Прибавьте ко всему этому бесконечную канитель разговоров о каких-то застоях, дефицитах, колебаниях и падениях, которые еще более заставляют съеживаться скучающее человечество. Я в этих застоях ровно ничего не понимаю и потому не особенно на них настаиваю, но все-таки не могу не занести их на счет, потому что они отравляют мой слух на каждом шагу. Не только книг (кому этот товар нужен?), но даже икры будто бы покупают против прежнего вдвое меньше. А уж коль скоро купчина завыл, то прочим и по закону подвывать полагается!

Куда девались чивые, ничего не жалеющие железнодорожники? Где веселые адвокаты? Адвокаты-то нынче, тенька, как завидят клиента... Ну, да уж бог с ними! смиренный нынче это народ стал! Живут, наравне с другими, без результатов... мило! благородно!

Вот, одним словом, до чего дошло. Несколько уж лет сплошь я сижу в итальянской опере рядом с ложей, занимаемой одним овошенным семейством. И какую разительную перемену вижу! Прежде, бывало, как антракт, сейчас приволокут бурак с свежей икрой; вынут из-за пазух ложки, сядут в кружок и хлебают. А нынче, на все три-четыре антракта каждому члену семейства раздадут по одному крымскому яблоку — веселись! Да и тут все кругом завидуют, говорят: миллионщик!

Р. С. Сейчас приезжал Ноздрев: ждал, говорит, должности, да толку добиться не мог! газету, говорит, издавать решил! Просил придумать название; я посоветовал: «Помои». Представьте себе, так он этому названию обрадовался, точно я его рублем подарил! «Это, говорит, такое название, такое название... на одно название подписчик валом повалит!» Обещал, что на днях первый № выйдет, и я, разумеется, с нетерпением жду.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Милая тетенька.

Представьте себе, ведь Ноздрев-то осуществил свое намерение: передо мною лежат уж два номера его газеты. Называется она, как я посоветовал: «Помои — издание ежедневное». Без претензий и мило. В программе-объявлении сказано: «мы имеем в виду истину» — еще милее. Никаких других обещаний нет, а коли хочешь знать, какая лежит на дне «Помоев» истина, так подписывайся. «Мы не пойдем по следам наших собратьев, — говорится дальше в объявлении, — мы не унизимся до широковещательных обещаний, но позволим сказать одно: кто хочет знать истину, тот пусть читает нашу газету, в противном же случае пусть не заглядывает в нее — ему же хуже!» А в выноске к слову «истина» сделано примечание: «Все новости самые свежие будут получаться нами из первых рук, немедленно и из самых достоверных источников». А в том числе, конечно, будет получаться и клевета.

Внешний вид газеты действует чрезвычайно благоприятно. Большого формата лист; бумага — изумительно пригодная; печать — сделала бы честь самому Гутенбергу; опечаток столько, что редакция может прятаться за ними, как за каменной стеной. Внизу подписано: редактор-издатель Ноздрев; но искусно пущенный под рукою слух сделал известным, что главный воротило в газете — публицист Искарриот. Не тот, впрочем, Искарриот, который удавился, а приблизительно. Ноздрев даже намеревался его ответственным редактором сделать (то-то бы розничная продажа пошла!), но не получил разрешения, потому что формуляр у Искарриота нехорош.

Со стороны внутреннего содержания газета делает впечатление еще более благоприятное. В передовой статье, принадлежащей перу публициста Искарриота, развивается мысль, что ничто так не предосудительно, как ложь. «Нам все дозволяется, — говорит Искарриот, — только не дозволяется гово-

рить ложь». И далее: «Никогда лгать не надо, за исключением лишь того случая, когда необходимо уверить, что говоришь правду. Но и тогда лучше выразиться надвое». Затем рассматривает факты современной жизни, вредные — одобряет, полезные — осуждает, и в заключение восклицает: «так должен думать всякий, кто хочет оставаться в согласии с истиной!» А Ноздрев в выноске примечает: «Полно, так ли? *Ред.*». Вторая передовая статья подписана «Сверхштатный Дипломат» и посвящена вопросу: было ли в 1881 году соблюдено европейское равновесие? Ответ: было, благодаря искусной политике, а чьей — не скажу. Примечание Ноздрева: «Скромность почтенного автора будет совершенно понятна, если принять в соображение, что он сам и есть тот «искусный политик», о котором идет речь в статье. *Ред.*». В фельетоне фельетонист Трясучкин уверяет, что никогда ему не было так весело, как вчера на рауте у княгини Насофеполежаевой. Раут имел отчасти литературный характер, потому что княгиня декламировала: «Ах, почто́ за меч воинственный я свой посох отдаю?», но из заправских литераторов были там только двое: он, Трясучкин, да поэт Булкин. Оба в белых галстуках. И когда княгиня произносила стих: «Зрела я небес сияние», то в гостиную вошел лакей во фраке и в белом галстуке и покурил духами. Так что очарование было полное. А когда, вслед за тем, сюрпризом явился фокусник, то вышел такой поразительный контраст, что все залились веселым смехом. Но ужина не было, «так что мы с Булкиным вынуждены были отправиться к Палкину и пробыли там до шести часов утра». Против имени княгини Насофеполежаевой Ноздрев заметил: «Урожденная Сильвуплэ, дочь действительного статского советника, игравшего в свое время видную роль по духовному ведомству», а против фамилии поэта Булкина: «нет ли тут какого недоразумения?» На второй странице — разнообразнейшая «Хроника», в которой против десяти «известий», в выносках сказано: «Слышано от Репетилова», а против пяти: «Не клевета ли?» За хроникой следует тридцать три *собственных* телеграммы, извещающие редакцию, что мужик сыт. Но и тут выноска: «Истина вынуждает нас сознаться, что телеграммы эти составлены нами в редакции для образца». Третья страница посвящена корреспонденции из городов, коих имена не попали в «Список городских поселений», изданный статистическим отделом министерства внутренних дел. На четвертой странице — серьезная экономическая статья: «Наши денежные знаки», в которой развивается мысль, что ночью с извозчиком следует рассчитывать непременно около фонаря, так как в противном случае легко можно

отдать двугривенный вместо пятиалтынного, «что с нами однажды и случилось». Статья подписана *Не верьте мне*, а в выноске против подписи сказано: «Не только верим, но усерднейше просим продолжать. *Ред. Ноздрев*». Наконец на самом кончике последнего столбца объявление: «ДЕВИЦА!! ищет поступить на место к холостому человеку солидных лет. Письма адресовать в город Копыс Прасковье Ивановне». Выноска: «Очень счастливы, что начинаем предстоящую серию наших объявлений столь любезным предложением усерднейше; надеемся, что и прочие девицы (sic) не замедлят почтить нас своим доверием. *Конторщик Любострастнов*».

Второй номер еще лучше. Начинается передовой статьей: «Военный бред», в которой указывается, что в тылу у нас — Белое море и Ледовитый океан. Статья подписана: «Бывший начальник штаба войск эфиопского принца Амонасро, из «Аиды». Во второй статье, публицист Искаринот сходит с высот теоретических на почву современности и разбирает по суставчикам газету «Пригорюнившись Сидела», доказывая, что каждое ее слово есть измена. Затем помещено письмо Трясучкина, который извещает, что поэт Булкин совсем не «недоразумение», а автор известного стихотворения «Воззри в лесах на бегемота», а редактор Ноздрев в выноске на это возражает: «Но кажется, что это стихотворение, или приблизительно в этом роде, принадлежит перу Ломоносова?» Телеграммы опять составлены в стенах редакции, и по этому поводу Ноздревым сделано следующее «заявление»: «Невозможно, чтоб редакция на свой счет получала телеграммы из всех городов. Она свое дело сделала, т. е. составила и обнародовала образцы, а затем охотники, желающие видеть свои телеграммы напечатанными, обязываются уже на собственный счет посылать таковые в редакцию». На четвертой странице новая экономическая статья экономиста *Не верьте мне*, в которой развивается мысль, что когда играют в карты на мелок, то справедливость требует каждодневно насчитывать умеренные проценты. И в выноске: «Так мы и делаем. *Ред*». В конце опять одно объявление: «КУХАРКА!! такое одно кушанье знает, что пальчики оближешь. Спросить на Невском от 10 до 11 часов вечера девицу «Ребятахвалили». Выноска: «Наши вчерашние ожидания постепенно оправдываются, но пускай же и прочие кухарки поспешат к нам с своими объявлениями. *Конторщик Любострастнов*».

И внизу, под обоими номерами достолюбезная подпись: редактор-издатель Ноздрев!!

Я разом проглотил оба номера, и скажу вам: двойственное чувство овладело мной по прочтении. С одной стороны, в

душе — музыка, с другой — как будто больше чем следует в ретиреде замечтался. И, надо откровенно сознаться, последнее из этих чувств, кажется, преобладает. По крайней мере, даже в эту минуту я все еще чувствую, что пахнет, между тем как музыки уж давным-давно не слышать.

Но что́ всего больше поразило меня в новорожденном органе — это неизреченная и даже, можно сказать, наглая уверенность в авторитетности и долговечности. «Уж мне-то не заградят уста!» «Я-то ведь до скончания веков говорить буду!» — так и брызжет между строками. Во втором номере Ноздрев даже словно играет с персонами, на заставах команду имеющими. «Нас спрашивают некоторые подписчики, — говорит он, — как мы намерены поступить в случае могущей приключиться горькой невзгоды? то есть отдадим ли подписчикам деньги назад по расчету или употребим их на собственные пужды? На это отвечаем положительно и твердо: никакой невзгоды с нами не может быть и не будет. Мы не с тем предприняли дело, чтоб идти навстречу невзгодам, а с тем, чтобы направлять таковые на других. Тем не менее считаем за нужное оговориться, что не невозможен случай, когда спасения подписчиков рискуют оказаться и небезосновательными. А именно: ежели публика выкажет холодность к нашему изданию и не предоставит нам достаточных средств для его-продолжения. Тогда мы еще подумаем, как нам поступить с подписчиками».

Таким образом, оказывается, что ежели вы, например, подпишетесь на «Помои», то для того, чтобы не потерять денег, вы обязываетесь уговаривать всех ваших родственников, чтоб и они на «Помои» подписались... Справедливо ли это?

Но можете себе представить положение бедной «Пригорюнившись Сидела»? Что должны ощущать почтеннейшие ее редакторы, читая, как «Помои» перемыывают ее косточки и в каждой косточке прозревают измену. Ведь у нас так уж истарил повелось, что против слова: «измена» даже разъяснений никаких не полагается. Скажет она: то, что я говорила, с незапамятных времен и везде уже составляет самое заурядное достояние человеческого сознания, и только «Помоям» может казаться диковиною — сейчас ей в ответ: а! так ты вот еще как... нераскаянная! Или скажет: Я совсем этого не говорила, а говорила вот то-то и то-то — и тут готов ответ: а! опять за лганье принялась! опять хвостом вертишь! Словом сказать, выгоднее и приличнее всего окажется простое молчание. «Помои» будут растабарывать, а «Пригорюнившись Сидела» — молчать. Таково их взаимное провиденциальное значение.

По-видимому, тактика Ноздрева заключается в следующем. По всякому вопросу непременно писать передовую статью, но не затем, чтобы выяснить самую сущность вопроса, а единственно ради того, чтобы высказать по поводу его «русскую точку зрения». Разумеется, выищутся люди, которые тронутся таким отношением к делу и назовут его недостаточным,— тогда подстеречь удобный момент и закричать: караул! измена!

Такого рода моменты называются «веяниями», а ведь известно, что у нас, коли вплотную повеет, то всякое слово за измену сойдет. И тогда изменников хоть голыми руками хватай.

Замечательно, что есть люди — и даже немало таких, — которые за эту тактику называют Ноздрева умницей. Мерзавец, говорят, но умен. Знает, где раки зимуют, и понимает, что по нынешнему времени требуется. Стало быть, будет с капиталцем.

Что Ноздрев будет с капиталцем (особливо ежели деньгами подписчиков распорядится) — это дело возможное. Но чтобы он был «умницей» — с этим я, судя по вышедшим номерам, никак согласиться не могу. Во-первых, он потому уж не умница, что не понимает, что времена переходчивы; а во-вторых, он до того в двух номерах обнажил себя, что даже виноградного листа ему достать неоткуда, чтобы прикрыть, в крайнем случае, свою наготу. Говорят, будто бы он меценатами заручился, да меценаты-то чем заручились?

Покамест, однако ж, ему везет. У меня, говорит, в тылу — сила, а ежели мой тыл обеспечен, то я многое могу дерзать. Эта уверенность развивает чувство самодовольства во всем его организме, но в то же время темнит в нем рассудок. До такой степени темнит, что он, в испуге, прямо от своего имени объявляет войны, заключает союзы и дарует мир. Но долго ли будут на это смотреть меценаты — неизвестно.

Не дальше, как сегодня, под живым впечатлением только что прочитанных номеров, я встретился с ним на улице и, по обыкновению, спутался. Вместо того, чтоб перебежать на другую сторону, очутился с ним лицом к лицу и начал растабарывать. «Как, говорю, вам не стыдно выступать с клеветами против газеты, которая, во всяком случае, честно исполняет свою задачу? Если б даже убеждения ее...» Но он мне не дал и договорить.

— Прежде всего, — прервал он меня, — я не признаю клеветы в журналистике. Журналистика — поле для всех открытое, где всякий может свободно оправдываться, опровергать и даже в свою очередь клеветать. Без этого немислимо изда-

вать мало-мальски «живую» газету. Но, главное, надо же, наконец, за ум взяться. Пора раз навсегда покончить с этими гнездами разьевшегося либерализма, покончить так, чтоб они уж и не воскресли. Щадить врага — это самая плохая политика. Одно из двух: или сдать его в плен, или же бить, бить до тех пор...

Так вот он что, милая тетенька, собрался совершить. Покончить с «врагами» — с чьими? с своими собственными, ноздревскими врагами... ах! Спрашивается: неужто ж найдется в мире какая-то «сила», которая согласится войти в союз с Ноздревым, с целью сокрушения ноздревских врагов?!

Нет, как хотите, а Ноздрев далеко не «умница». Все в нем глупо: и замыслы, и надежды, и способы осуществления. Только вот негодяйство как будто скрашивает его и дает повод думать, что он нечто смекает и что-то может совершить.

Вся его сила заключена именно в этом негодяйстве; в нем, да еще в эпидемически развившейся путанице понятий, благодаря которой, куда ни глянешь, кроме мути, ничего не видишь. Пользуясь этими двумя содействиями, он каждодневно будет твердить, что все, кто не читает его паскудной газеты — все это враги и потрясатели. И найдутся простецы, которые поверят ему...

Но вы, милая тетенька, не верьте! Не увлекайтесь ни ноздревскими клеветами, ни намеками на ноздревскую авторитетность и на каких-то случайных людей, которые будто бы поддерживают его авторитетность. Смотрите на Ноздрева как можно проще: как на продукт современного веянья, то есть как на бездельника и глупца. Тогда для вас не только делается ясным секрет его беззастенчивости, но и паскудный лист, в котором он выливает свои душевные помон, перестанет казаться опасным, а пребудет только паскудным, чем ему и быть надлежит.



Как ни странным покажется переход от Ноздрева к литературе вообще, но, делать нечего, приходится примириться с этим. Перо краснеет, возвещая, что Ноздрев вторгся в литературу и, по-видимому, расположился внедриться в ней, но это осязательный факт, и никакое перо не в силах опровергнуть его.

Ноздрева провела в литературу улица, провела постепенно, переходя от одного видоизменения к другому. Началá с Тряпичкина, потом пришла к «нашему собственному кор-

респонденту», потом к Подхалимову и закончила гармоническим аккордом, в лице Ноздрева. А куда проходили эти видоизменения, честная литература с наивным изумлением восклицала: кажется, что дальше идти невозможно! Однако ж оказалось возможным.

Еще в недавнее время наша литература жила вполне обособленно жизнью, то есть бряцала и занималась эстетикой. По временам, однако ж, и в ней обнаруживались проблески, свидетельствующие о стремлении прорваться на улицу, или, вернее сказать, создать ее, потому что тогда и «улицы»-то не было, а была только ширь да гладь да божья благодать, а над нею витало: «Печатать дозволяется, цензор Красовский». Но именно по простоте и крайней вразумительности этого «печатать дозволяется», никакие новшества не удавались, так что самые смелые экскурсии в область злости дня прекращались по мановению волшебства, не дойдя до первого этапа. И в конце концов литература вновь возвращалась к бряцанию и разработке вопросов чистого искусства.

Эта полная отчужденность литературы от насущных злоб сообщала ей трогательно-благородный характер. Как будто она, как сказочная царевна, была заключена в неприступном чертоге и там дремала, окутанная сновидениями. Но в основе этих сновидений все-таки лежало «человечное», так что ежели литература не принимала деятельного участия в негодованиях и протестах жизни, то не участвовала и в ее торжествах. Вот почему и «замаранность» была в то время явлением исключительным, ибо где же и как могла «замараться» царевна, дремлющая в волшебных чертогах? Вообще руководство жизнью составляло тогда привилегию табели о рангах и ревниво оберегалось ею от посторонних вторжений, литературе же предоставлялось стоять притиснутой в углу и пробуждать благородные чувства. Но все-таки повторяю: иногда даже под флагом благородства чувств литература упорствовала проводить нечто свособразное, и тогда происходили коллизии, вследствие которых водворялось молчание, и царевна вновь предавалась исключительно эстетическим сновидениям.

Мне могут возразить здесь: а иносказательный рабий язык! а уменье говорить между строками? — Да, отвечу я, действительно, обе эти характерные особенности выработались во время пребывания литературы в плену и обе несомненно свидетельствуют о ее попытках прорваться сквозь неприятельскую цепь. Но ведь как ни говори, а рабий язык все-таки рабий язык, и ничего больше. Улица никогда между строк читать не умела, и по отношению к ней рабий язык

не имел и не мог иметь воспитательного значения. Так что если тут и была победа, то очень и очень небольшая.

Улица заявила о своем рождении уже на наших глазах. Она создавалась сама собой, вдруг, без всякого участия со стороны литературы. Последняя, в начале пятидесятых годов, была до того истощена, измучена и отуманена, что при появлении улицы даже не выказала особенной способности к уяснению своих отношений к ней. Можно было подумать, что плен, в котором она так долго томилась, сделался ей мил. Он напоминал ей о таланте, знании и высотах ума, словом сказать, обо всем, что было затеснено, забито, но чего самая тьма не могла окончательно потемнить. Напротив того, улица с первого же раза зарекомендовала себя бессвязным галдерисом, низменной несложностью требований, живостью предрассудков, дикостью идеалов, произвольностью отправных пунктов и, наконец, какою-то удручающею безграмотностью. Но в то же время та же улица выказала и чуткость, а именно: она отлично поняла, что литература для нее необходима, и, не откладывая дела в долгий ящик, всей массой хлынула, чтобы овладеть ею. Две силы встретились лицом к лицу: с одной стороны, литература замученная, заподозренная и недоумевающая; с другой — улица, не только не заподозренная, но прямо, как на преимущество, ссылающаяся на родство своих идеалов с идеалами управы благочиния. Понятно, на чьей стороне должен был остаться перевес.

С появлением улицы литература, в смысле творческом, не замедлила совсем сойти со сцены, отчасти за недоступностью новых мотивов для разработки, отчасти за общим равнодушием ко всему, что не прикасается непосредственно к уличному галдению. Конечно, найдутся и теперь два-три исключения, но это уж, так сказать, «последние тучи рассеянной бури», которые набрасывают остальные штрихи в старой картине, а перед новою точно так же останавливаются в недоумении, как и все прочие. Ибо *вход за кулисы посторонним* (т. е. литературе) *воспрещается...*

По наружности кажется, что никогда не бывало в литературе такого оживления, как в последние годы; но, в сущности, это только шум и гвалт взбудораженной улицы, это нестройный хор обострившихся вожделий, в котором главная нота, по какому-то горькому фатализму, принадлежит подозрительности, сыску и бесшабашному озлоблению. О творчестве нет и в помине. Нет ничего цельного, задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки, которые много-много имеют значение сырого материала, да и то материала несвязного, противоречивого. Для чего этот материал может послужить?

ежели для будущего, то, право, будущее скорее сочтет более удобным совсем отвернуться от времени, породившего этот материал, нежели заботиться об его воспроизведении. Мы же, современники, читаем эти обрывки и чувствуем себя под гнетом какой-то безысходной тоски. Странное, в самом деле, положение: ни в жизни, ни в литературе — нигде разобраться нельзя. Везде суета, везде мелькание, свара, сыск, без всякой надежды на обретение мало-мальски твердой опоры, о которую могла бы притупиться эта безмысленная сутолока.

Если б представилась возможность творчески отнестись к картине этой всесторонней жизненной неурядицы, это уже был бы громадный выигрыш в смысле общественного освежения. Соберите элементы удручающей нас смуты, сгруппируйте их, укажите каждому его место, его центр тяготения — одного этого будет достаточно, чтоб взволновать честные сердца и остепенить сердца самодовольных и легкомысленных глупцов. Но тут-то именно и встречаются те неодолимые препятствия, которые на всю область творчества налагают как бы секвестр.

Дело в том, что везде, в целом мире, улица представляет собой только материал для литературы, а у нас, напротив, она господствует над литературой. Во всех видах господствует: и в виде частной инсинуации, частного насилия, и в виде непрекаемо-возбращающей силы. И на каждом шагу ставит «вопросы», на которые сделалось как бы обязательным, *до времени*, закрывать глаза. Тщетно вы станете доказывать, что вопрос самый жгучий именно тогда и утрачивает значительную часть своей жгучести, когда он подвергнут открытому исследованию (допустим, даже самому страстному) — в ответ на эти убеждения вам или скажут, что вы ставите ловушку, или же просто-напросто посмотрят на вас с изумлением. Потому что улицей овладел испуг, и она ищет освободиться от него во что бы то ни стало. А так как она искони от всех недугов исцелялась первобытными средствами, вроде шиворота (в «Помоях» расшалившийся Ноздрев так-таки прямо и сулит «либеральной» прессе... *розги!!*), то и теперь на всякие более сложные комбинации смотрит как на злонамеренный подвиг или как на безумие.

Улица тяжела на подъем в смысле умственном; она погрязла в преданиях, завещанных мраком времен, и нисколько не изобретательна. Она хочет, чтоб торжество досталось ей даром или, во всяком случае, стоило как можно меньше. Дешевле и проще плющить молота ничего мраком времен не завещано — вот она и приводит его в действие, не разбирая, что и во имя чего молот плющит. Да и где же тут разобрать-

ся, коль скоро у всех этих уличных «охранителей» поголовно поджилки дрожат!

И заметьте, милая тетенька, везде нынче так. Везде одна внешняя суета и везде же какая-то блаженная уверенность, что искомое целение само собою придет на крик: *ego vos!*¹ Никогда обстоятельства более серьезные не вызывали на борьбу такого множества легкомысленных и самодовольных людей. Мы, кажется, даже забыли совсем, что для того, чтоб получить прочный результат, необходимо прежде всего потрудиться. Потрудиться не одной кожей, но и всем внутренним существом. Но, может быть, внутреннее-то существо уже до того в нас истрепалось, что и понадеяться на него нельзя...

Как бы то ни было, но литературное творчество в умалении. И едва ли я ошибусь, сказав, что тайна его исчезновения заключается не в собственном его бессилии, а в отсутствии почвы, которую оно могло бы эксплуатировать. Творчество не может сделать шага, чтобы не встретиться с «вопросом», а стало быть, и с материальной невозможностью. Приступится ли оно к жизни так называемого культурного общества — половина этой жизни представляет заповедную тайну, и именно та половина, которая *всей* жизни дает колорит. Спустится ли оно в глубины бытовой жизни — и там его подстерегает целая масса вопросов: вопрос аграрный, вопрос общинный, вопрос о народившемся «кулаке» и т. д. И все эти вопросы — тоже заповедная тайна, хотя в них и только в них одних лежит разъяснение всех невзгод, удручающих бытовую жизнь.

Но ежели везде, куда ни оглянись, ничего, кроме испуга и обязательной тайны, не обретается, то ясно, что самая смелая попытка разложить и воспроизвести этот загадочный мир ничего не даст, кроме беглых, не имеющих органической связи обрывков. Ибо какую же может играть деятельную роль творчество, затертое среди испугов и тайностей?

Мне скажут, быть может: но существует целый мир чисто психических и нравственных интересов, выделяющий бесконечное множество разнообразнейших типов, относительно которых не может быть ни вопросов, ни недоразумений. Да, такой мир действительно есть, и литература отлично знала его в то время, когда она, подобно спящей царевне, дремала в волшебных чертогах. Но, во-первых, типы этого порядка с таким несравненным мастерством уже разработаны отцами литературы, что возвращаться к ним значило бы только повторять зады. А во-вторых — и это главное — попробуйте-ка в настоящую минуту заняться, например, воспроизведением «хва-

¹ я вас!

стунов», «лжецов», «лицемеров», «мизантропов» и т. д. — ведь та же самая улица в один голос возопит: об чем ты нам говоришь? оставь старые погудки и ответь на те вопросы, которые затрагивают нас по существу: кто мы таковы? и отчего мы нравственно и материально оголтели?

Ибо никогда не была психология в фаворе у улицы, а нынче она удовлетворяется ею меньше, нежели когда-нибудь. Помилуйте! до психологии ли тут, когда в целом организме нет места, которое бы не щемило и не болело!

Но, сверх того, психический мир, на который так охотно указывают, как на тихое пристанище, где литература не рискует встретиться ни с какими недоразумениями, — ведь и он сверху донизу изменил физиономию. Основные черты типов, конечно, остались, но к ним прилипло нечто совсем новое, прямо связанное с злобою дня. Появились дельцы, карьеристы, хищники и т. д. Бесспорно, последние типы очень интересны, но ведь ежели вы начнете ваше повествование словами: «Бесшабашный советник такой-то вкупе с бесшабашным советником таким-то начертали план ограбления России» (а как же иначе начать?) — то дальше уж незачем и идти. Ибо вы сейчас же очутитесь в самом водовороте «вопросов» и именно тех вопросов, на которые *до времени* обязательно закрывать глаза.

Но говорят: умел же писать Пушкин? — умел! Написал же он «Повести Белкина», «Пиковую даму» и проч.? — написал! Отчего же современный художник не может обращать свою творческую деятельность на явления такого же характера, которыми не пренебрегал величайший из русских художников, Пушкин?

Ответ на это вовсе не труден. Во-первых, Пушкин не одну «Пиковую даму» написал, а многое и другое, об чем современные Ноздревы благоразумно умалчивают. Во-вторых, живи Пушкин *теперь*, он *наверное* не потратил бы себя на писание «Пиковой дамы». Ведь это только шутки шутят современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть под сению памятника Пушкина. В действительности, они столь же охотно пригласили бы Пушкина в участок, как и всякого другого, стремящегося проникнуть в тайности современности. Ибо они отлично понимают, что сущность пушкинского гения выразилась совсем не в «Пиковых дамах», а в тех стремлениях к общечеловеческим идеалам, на которые тогдашняя управа благочиния, как и нынешняя, смотрела и смотрит одинаково неприязненно.

И еще скажут: есть способ и к современности относиться, не возбуждая подозрительности в улице. Знаю я такой способ и знаю, что он не раз практиковался и практикуется и именно

в литературе поздравского пошиба. Но позвольте же мне, милая тетенька, слогом литератора-публициста Евгения Маркова доложить: ведь искусство есть алтарь, на котором воскуряется фимиам человечности. Не сикофантству, а именно человечности — это уж я от себя своим собственным слогом прибавляю. Каким же образом оно, вместо того, чтобы воспроизводить в перл создания, то есть очеловечивать даже извращенные человеческие стремления, будет брызгать слюною, прибегать к митрогнозии и молотить по головам? А ведь это-то, собственно, и разумеется под «иным способом» относиться к современности.

Таким образом, творчество остается не у дел, отчасти за недоступностью материала для художественного воспроизведения, отчасти за нравственно невозможностью отнестись к этому материалу согласно с указаниями улицы. На месте творчества в литературе водворилась улица с целой массой вопросов, которые так и рвутся наружу, которых, собственно говоря, и скрыть-то никак невозможно, но которые тем не менее остаются для литературы заповедною областью. То есть именно для той единственной силы, которая имеет возможность их регулировать, сообщить им стройность и смягчить их жгучий характер.

Не думайте, однако ж, что я пишу обвинительный акт против возникновения улицы и ее вторжения в литературу — напротив того, я отлично понимаю и неизбежность, и несомненную законность этого факта. Невозможно, чтоб улица вечно оставалась под спудом; невозможно, так как, в противном случае, и в обществе и в стране прекратилось бы всякое жизненное движение. Поэтому, как только появились сколько-нибудь подходящие условия, улица и воспользовалась ими, чтоб засвидетельствовать о себе. Она создалась сама собою, без всяких предварительных подготовок; создалась, потому что имела право на самосоздание. Мало того, что она сама создалась, но и втянула в себя и табель о рангах, которая еще так недавно не признавала ее существования и которая теперь представляет, наравне с прочими случайными элементами, только составную ее часть, идущую за ее колебаниями и даже оберегающую ее право на самоистязание под гнетом всевозможных жизненных неясностей.

Но я иду еще дальше: я объясняю себе, *почему* улица в том виде, в каком мы ее знаем, так мало привлекательна. Почему требования ее низменны, отправные пункты дики и произвольны, а идеалы равносильны идеалам управы благочиния. Все это иначе не может и быть. Это особого рода фатальный закон, в силу которого первая стадия развития всегда прини-

мают формы ненормальные и даже уродливые. Крестьянин, освобождающийся от власти земли, чтобы вступить в область цивилизации, тоже представляет собою тип не только комический, но и отталкивающий. Наконец, всем известен неприятный тип мещанина в дворянстве. Но это еще не значит, что эмансипирующийся человек был навсегда осужден оставаться в рамках отталкивающего типа. Новые перспективы непременно вызовут потребность разобраться в них, а эта разборка приведет за собой новый и уже высший фазис развития. То же самое, конечно, случится и с улицей. Состояние хаотической взбудораженности, в котором она ныне находится, может привести ее только к глухой стене, и раз это случится, самая невозможность идти далее заставит ее очнуться. И тогда же начнется проверка руководивших ею идеалов, а затем и несомненное их упразднение.

Я понимаю, что все это закономерно и неизбежно, что улица имеет право на существование и что дальнейшие ее метаморфозы представляют только вопрос времени. Сверх того, я знаю, что понять известное явление значит оправдать его.

Но оправдать явление — одно, а жить под его давлением — другое. Вот это-то противоположение между олимпийским величием теории и болезненной чувствительностью жизни и составляет болящую рану современного человека.

Можно понимать и оправдывать пустоту, среди которой мы вращаемся, но жить в ней нестерпимо мучительно. Вот почему мы на каждом шагу встречаем людей далеко не выпренных, которые, однако ж, изнемогают, снедаемые бессознательной тоской. И я нимало не был бы удивлен, если б в этой массе тоскующих нашлись и такие, которые сами участвуют в создании пустоты. Ибо и их только незнание, где отыскать выход из обуявшей паники, может заставить упорно принимать жизненные миражи за подлинную жизнь, и легкомысленное мелькание вокруг разрозненных «вопросов» предпочитать трудной, но настоятельно требующейся проверке основных идеалов современности.

Но оставим покуда в стороне широкое русло жизни и ограничимся одним ее уголком — литературою. Этот уголок мне особенно дорог, потому что на нем с детства были сосредоточены все мои упования, и он, в свою очередь, дал мне гораздо больше того, что я достоин был получить. Весь жизненный процесс этого замкнутого, по воле судеб, мира был моим личным жизненным процессом; его незащищенность — моею незащищенностью, его замученность — моею замученностью; наконец, его кратковременные и редкие ликования — моими ликованиями. Это чувство отождествления личной жизни с жизнью излюб-

ленного дела так сильно и принимает с годами такие размеры, что заслоняет от глаз даже ту широкую, не знающую берегов жизнь, перед лицом которой все живущее представляет лишь безымянную величину, вечно стоящую под ударом случайности.

Несомненно, что вторжение в литературу ноздревского элемента не составляет для меня загадки, и я могу довольно обстоятельно объяснить себе, что в этом факте ничего нет ни произвольного, ни неожиданного. Я признаю, что в современной русской литературе на первом плане должна стоять *газета* и что в этой газете *должна* господствовать публицистика подсиживанья, сыска и клеветы. Допускаю также появление на сцену борзописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства...

Все это я допускаю, объясняю себе и признаю. А стало быть, обязываюсь и оправдать.

Но отчего же я чувствую, что сердце мое мучительно ноет при виде этого зрелища? отчего я, сверх того, убежден, что оно способно возбуждать негодование не во мне одном, но и во всех вообще честных людях?

Оттого, милая тетенька, что все мы, яко человеки, не только мыслим, но и живем.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Милая тетенька.

Не дальше как вчера я был на рауте у тайного советника Грызунова (кроме медалей, имеет знак отличия мужского ордена для ношения по установлению).

Грызунов — мой школьный товарищ и, по призванию, экономист. Еще на школьной скамье он постиг некоторые экономические истины и с помощью их объяснял смущавшие нас явления.

— Грызунов! — спросишь его, бывало, — отчего Куропатка (прозвище одного из воспитанников) продал вчера Карасю (прозвище другого товарища) свою булку за два листа бумаги, а сегодня Карась за такую же булку должен был заплатить Куропатке четыре листа?

— Оттого, — разрешал Грызунов без труда, — что вчера, кроме Куропатки, предлагал Карасю свою булку еще Котенок (третий товарищ); стало быть, предложение было большое, а спрос — малый. Нынче Котенок съел свою булку сам; вследствие этого предложение уменьшилось вдвое, и сообразно с этим вдвое же увеличилась и цена булки.

Или:

— Отчего, Грызунов, монета всегда чеканится круглая, между тем как пироги с черникой безразлично пекутся и круглые, и овальные, и четырехугольные?

— Оттого, — объяснял он, — что обыкновенно монету носят в кармане; стало быть, если б ее чеканили, например, четырехугольною, то, непрерывно цепляясь углами за подкладку кармана, она продырила бы ее быстрее, нежели желательное. Пироги же кладутся не в карман, а в рот и, будучи мягки, доходят по назначению, ничего не продырив.

За быстроту, с которою давались эти ответы, Грызунову было дано прозвище восьмого мудреца, а так как мы были тогда того мнения, что плохой тот школяр, который не надеется быть министром, то на долю Грызунова самым естественным обра-

зом выпадал портфель министра финансов. С тем мы и вышли из школы.

С тех пор прошли годы. Грызунов немедленно принялся оправдывать возлагаемые на него надежды. Сначала он сделался «нашим молодым и блестящим экономистом», потом «нашим известным экономистом» и, наконец, — «нашим маститым экономистом». Писал он изобильно и легко, писал обо всем, об чем взгрустнется. И об том, отчего мы бедны, и об том, отчего у нас во всем изобилие; и о том, что изобилие уменьшает цену на предметы, и о том, что хотя, *вообще говоря*, изобилие и уменьшает цену на предметы, но «в то же время, до известной степени, и увеличивает ее». Словом сказать, возьмет из кучи любой вопрос и без труда на него ответит. Природа даровала ему железную поясницу и чугунное при ней днище, и он с признательностью пользовался этим даром. Сядет, посидит, и сколько посидит, столько и напишет. Урвет что-нибудь у Бастиа, или у Рикардо, или даже у Кокорева («нечто о глазомере в связи с смекалкою»), а скажет, что сам выдумал. И, написавши, сидит некоторое время дома и ждет, что его позовут: пожалуйста, Иван Александрыч, министерством управлять! Ждал он таким образом целых двадцать пять лет, его не раз звали, но всегда дело оканчивалось тем, что его же спрашивали: ах, об чем бишь нужно было с вами поговорить? Значит, звать звали, а призвать не призвали. Как это случилось, он не понимает, да и я, признаться, не понимаю. Человек знает, отчего монета кругла (а может быть, и отчего кругла земля?), а никому до этого как будто дела нет. Не повезло ему — вот и все. Иногда он впадал в уныние от этой несправедливости, но вера, что никому в целой России не известны так близко тайны спроса и предложения (а это, тетенька, позамысловатее «Тайн мадридского двора») — спасала его. Несмотря на длинный ряд неудач и разочарований, всякий раз (и это в течение всего двадцатипятилетнего периода!), как в известных сферах возникало движение, он вновь начинал волноваться, надеяться и ждать. Несомненно, ждет и поднесь.

Это постоянное, странно-выжидательное состояние оказывает известное влияние и на его отношения к людям. Когда в воздухе носятся либеральные веяния, он льнет к либералам, а консерваторов называет изменниками. Когда на рынке в цене консерватизм, он прилепляется к консерваторам и называет изменниками либералов. Но это в нем не предательство, а только следствие слишком живучего желания пристроиться.

Я думаю, что Грызунов не жаден и охотно удовольствовался бы половинным содержанием, если б его призвали. Я даже думаю, что, в сущности, он и не честолюбив. Он просто знает

свои достоинства и ценит — вот и все. Но так как и другие знают свои достоинства и ценят их, то он и затерялся в общей свалке.

В последнее время он как-то особенно всполошился. Видит, что пустого места много, а людей, знающих достоверно, отчего монета кругла, — нет. Притом же *fugaces labuntur anni*¹, ему уж шестой десяток в исходе, а он все еще ни при чем. Надо ловить. Поэтому он с утра до вечера мелькает, с утра до вечера всем и каждому предлагает вопросы по всем отраслям человеческого ведения и сам же на них отвечает. И все вопросы труднейшие, так что только в «Задачнике» Малинина и Буренина и можно такие встретить. У разносчика был лоток с апельсинами, сто из них он продал, два сам съел, три (с пятнышками) бедным мальчикам роздал, а пять подарил оклопоточному — сколько всех апельсинов было? Другой такой же претендент на пост или задумается, прежде нежели ответит, или ответит уклончиво, что бабушка надвое сказала, а Грызунов — быстро, отчетливо, звонко: сто десять! Сверх того, чтобы удовлетворить сжигающей его жажде деятельности, он устроил у себя по субботам рауты и, кого ни встретит, всех приглашает: «Субботы не забудьте... это страм!!»

То есть не субботы «страм», а то, что требуются почти нечеловеческие усилия, чтобы устроить по субботам обмен мыслей. Но в хлопотах он не договаривает фразы и спешит хлопотать дальше. И всякому что-нибудь на ходу скажет. Одному — что ввиду общего врага все партии, и либералы и консерваторы, должны в субботу подать друг другу руки; другому — что теперь-то именно, то есть опять-таки в будущую субботу, и наступила пора сосчитаться и покончить с либералами, признав их сообщниками, попустителями и укрывателями превратных толкований; третьему: «слышали, батюшка, что консерваторы-то наши затеяли — ужас! а впрочем, в субботу поговорим!»

Каким образом весь этот разнокалиберный материал одновременно в нем умещается — этого я объяснить не могу. Но знаю, что, в сущности, он замечательно добр, так что стоит только пять минут поговорить с ним, как он уже восклицает: вот мы и объяснились! Даже в том его убедить можно, что ничего нет удивительного, что его не призывают. Он выслушает, скажет: тем хуже для России! — и успокоится.

Таких Лжедмитриев нынче, милая тетенька, очень много. Слоняются, постылые тушинцы, вторгаются в чужие квартиры, останавливают прохожих на улицах и хвастают, хвастают без конца. Один — табличку умножения знает; другой — утверж-

¹ мчатся быстрые годы.

дает, что Россия — шестая часть света, а третий без запинки разрешает задачу «летело стадо гусей». Все это — правá на признательность отечества; но когда наступит время для признания этих прав удовлетворительными, чтобы стоять у кормила — этого я сказать не могу. Может быть, и скоро.

Меня Грызунов долгое время любил; потом стал не любить и называть «красным»; потом опять полюбил. В каком положении находятся его чувства ко мне в настоящую минуту, я определить не могу, но когда мы встречаемся, то происходит нечто странное. Он смотрит на меня несомненно добрыми глазами, улыбается... и молчит. Я тоже молчу. Это значит, что мы понимаем друг друга. Но всякая наша встреча непременно кончается тем, что он скажет:

— А что же субботы... забыл?

А как-то на днях даже прибавил:

— Ведь надо же наконец! Надо, чтоб благомыслящие люди всех оттенков сговорились между собой! Потому что, в сущности, нас разделяют только недоразумения, и стоит откровенно объясниться, чтобы разногласия упали сами собой. Так до субботы... да?

Вот я в прошлую субботу и отправился.

Когда я приехал, все уже собрались в столовой вокруг большого стола, за которым любезная хозяйка разливала чай. Однако ж хотя я и прежде замечал в обстановке и составе грызуновских раутов некоторые неожиданности, но теперь эти неожиданности уже прямо приняли характер каких-то ловушек, которых никаким образом предусмотреть нельзя.

Прежде всего, меня поразило то, что подле хозяйки дома сидела «Дама из Амстердама», необычайных размеров особа, которая днем дает представления в Пассаже, а по вечерам показывает себя в частных домах: возьмет чашку с чаем, поставит себе на грудь и, не проливши ни капли, выпьет. Грызунов отрекомендовал меня ей и шепнул мне на ухо, что она приглашена для «оживления общества». Затем, не успел я пожать руки гостеприимным хозяевам, как вдруг... слышу голос Ноздрева!!

— Любовь к отечеству,— вещает этот голос,— это такое святое чувство, которое могут понимать и возделывать только возвышенные сердца.

Всматриваюсь: действительно — «он»! Во фраке, в белом галстуке и так благороден, что если бы не сидел за столом, то можно было бы принять его за официанта. Изрекает обязательные афоризмы и даже сознает себя вправе изрекать таковые, потому что успех «Помой» растет не по дням, а по часам. Рядом с ним сидит и почтительно вздрагивает плечами бывший

начальник штаба эфиопских войск, юрконький человек, который хотя и побежден египетским полководцем Радамесом (из «Аиды»), но всем рассказывает, что «только наступившая ночь помогла Радамесу спастись в постыдном бегстве». Несколько поодаль, расположился Расплюев, который не сводит с Ноздрева глаз и, очевидно, завидует его спокойному величию.

Да и сам Грызунов почти не отходит от Ноздрева, так что я начинаю подозревать, уж не он ли скрывается под псевдонимом «Не верьте мне», подписанным под блестящими экономическими статьями, украшающими «Помой». По крайней мере, не успел я порядком осмотреться, как Грызунов отвел меня в сторону и шепнул на ухо:

— Ноздрев нынче — сила! да-с, батюшка, сила! И надо с этой силой считаться! Да-с, считаться-с.

Наконец, и я кой-как примостился между собеседниками и приготовился быть свидетелем прохождения раута. Разумеется, я не буду описывать все подробности раута, но думаю, что краткий рассказ будет для вас небезынтересен. Героем являлся Ноздрев, который все время, пока мы сидели за чаем, удерживал за собой первенствующее значение. Он говорил непрерывно и притом о самых разнообразных предметах. И о том, что «недуг залег глубоко», и о том, что редакция «Помой» твердо решила держать в руках свое знамя, и о том, что прежде всего необходимо окунуться в волны народного духа и затем предпринять крещение огнем и мечом.

Высказавши это последнее предположение, он на минуту стыдливо умолк, но, видя, что Расплюев еще чего-то от него ждет, прибавил:

— А потом будем врачевать!

Этот вывод всех присутствующих утешил, убедивши, что Ноздрев обдумал свою программу основательно и, стало быть, положиться на него можно. Что касается до Грызунова, то он положительно млел от восхищения. Все время он шнырял около стола и вторил Ноздреву, восклицая:

— Еще бы! это именно моя мысль! Совершенно, совершенно справедливо!

И затем, подбегая ко мне, шептал:

— Да-с, батюшка, это — сила! Как там ни толкуй, что у Ноздрева одна бакенбарда жиже другой, а считаться с ним все-таки надо... да-с!

Словом сказать, Ноздрев был истинным героем раута. Даже тогда, когда гости наконец оставили столовую и рассеялись по другим комнатам, — и тут компактная кучка постоянно окружала Ноздрева, который объяснял свои виды по всем

отраслям политики, как внутренней, так и внешней. И заметьте, милая тетенька, что в числе слушателей, внимавших этому новому оракулу, было значительное число травленных администраторов, которые в свое время негодовали и приносили жалобы на вмешательство печати, а теперь, глядя на Ноздрева, приходили от нее в восхищение и вместе с редактором «Помой» требовали для слова самой широкой свободы.

— Уничтожьте цензуру,— ораторствовал Ноздрев,— и вы увидите, что дурные страсти, проникнувшие в нашу литературу, рассеются сами собою. Мы, благонамеренная печать, беремся за это дело и ручаемся за успех. Но само собой разумеется, что при этом необходимы соответствующие карательные законы, которые сделали бы наши усилия плодотворными...

А Грызунов, слушая эти речи, снова бегал и восклицал:

— Еще бы! Это именно и моя мысль! Именно это самое я всегда говорил!

И, обращаясь ко мне, прибавлял:

— Удивительно, как быстро растут люди в наше время! Ну, что такое был Ноздрев, когда Гоголь познакомил нас с ним, и посмотри, как он... вдруг вырос!!

Тем не менее Грызунов понял, что восхищаться целый вечер Ноздревым да Ноздревым — хоть кого утомит. Поэтому он решил устроить для гостей дивертисмент, который, впрочем, был им обдуман уже заранее.

Прежде всего к содействию была призвана «Дама из Амстердама», показывавшая себя, с успехом, при всех европейских дворах и прозванная, за свою тучность, Царь-пушкой.

— Господа!— выкрикивал Грызунов, переходя из комнаты в комнату,— Анна Ивановна Зюйдерзее благосклонно изъявила согласие показать опыты «непосредственного самопитания». Не угодно ли в зал? Надеюсь, что вы ничего не имеете против этого?— добавил он, обращаясь к Ноздреву.

Гости высыпали в зал. На середину комнаты вывели Анну Ивановну и на груди у нее утвердили блюдо с ростбифом в одиннадцать костей. Затем она начала кивать головой: кивала-кивала, и через пять минут не только мякоти, но и костей на блюде не осталось. Публика в волнении все больше и больше суживала круг и, наконец, вплотную обступила ее. Кто-то спросил, неужто она замужем, и, получив ответ, что замужем за слонем, находящимся в Зоологическом саду г-жи Рост, молвил: ого! Кто-то другой громко соображал, что может стоить ее содержание, если она съедает, положим, хоть десять ростбифов в день? а третий, сверх того, напомнил: нет, вы считайте, сколько ей аршин материи на платье нужно! А она между тем, ликующая и довольная, пыхтела и отдувалась.

Но, казалось, все еще настоящим образом сыта не была, ибо с такою строгостью посмотрела на маленького сенатора из старого сената, который слишком неосторожно к ней подскокил, что бедняга струсил и поскорей юркнул в толпу.

Но тут, милая тетенька, случился скандал. У одного сенатора — тоже из старого сената — исчез из кармана носовой платок, и так как содержание старичку присвоено небольшое, то он стал жаловаться. Начал язвить, что хоть у него дома платков и много, но из этого еще не явствует, чтоб дозвоительно было воровать; что платок есть собственность, которую потрясать не менее предосудительно, как и всякую другую, что он и прежде не раз заикавался ездить на вечера с фокусниками, а впредь уж, конечно, его на эту удочку не поймают; что, наконец, он в эту самую минуту чувствует потребность высморкаться и т. д. Произошло общее смятение. Грызунову следовало бы сейчас же удовлетворить сердитого старика новым платком, а он, вместо того, предпринял следствие: стал подходить к гостям, засматривать им в глаза, как бы спрашивая: не ты ли стибрил? Наконец, взор его остановился на Ноздреве и Расплюеве. Оба отделились от прочих гостей и оживленно между собой перешептывались, как будто делили добычу. Тогда все и для всех сразу сделалось ясным... Но хозяин, чтобы не потрясти ноздревского авторитета, кончил тем, с чего должен был бы начать, то есть велел подать потерпевшей стороне свой собственный платок. А так как при этом один из присутствующих пожертвовал еще старую пуговицу, то добрый старик был с лихвою вознагражден. Недоразумение прекратилось, и Грызунов, чтоб успокоить гостей, ходил между ними и объяснял:

— Что будете делать... это болезнь! И все-таки, повторяю: Ноздрев — сила!

Таким образом Ноздрев вышел из этого казуса с честью.

Когда волнение улеглось, Грызунов приступил к молодому поэту Мижуеву (племянник Ноздрева) с просьбой прочесть его новое, нигде еще не напечатанное стихотворение. Поэт с минуту отпрашивался, но, после некоторых настояний, выступил на то самое место, где еще так недавно стояла «Дама из Амстердама», откинул кудри и твердым голосом произнес:

Под вечер осени ненастной
Она в пустынных шла местах.
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках...

Но тут опять произошел скандал, потому что едва успел поэт декламировать сейчас приведенные стихи, как кто-то в толпе крикнул:

— Грабят!

А на возглас этот в другом углу другой голос взволнованно отозвался:

— Помилуйте! да тут, пожалуй, сапоги снимут!

Оказалось, однако ж, что это было смятение чисто библиографического свойства. Между гостями каким-то образом затесался старый библиограф, который угадал, что стихотворение, выдаваемое Мижуевым за свое, принадлежит к числу лицейских опытов Пушкина и, будучи под живым впечатлением ноздревских статей о потрясении основ, поспешил об этом заявить. А так как библиограф еще в юности написал об этом стихотворении реферат, который постоянно носил с собою, то он тут же вынул его из кармана и прочитал. Рефератом этим было на незыблемых основаниях установлено: 1) что стихотворение «Под вечер осенью ненастной» несомненно принадлежит Пушкину; 2) что в первоначальной редакции первый стих читался так: «Под вечерок весны ненастной», но потом, уже по зачеркнутому, состоялась новая редакция; 3) что написано это стихотворение в неизвестном часу, неизвестного числа, неизвестного года, и даже неизвестно где, хотя новейшие библиографические исследования и позволяют думать, что местом написания был лицей; 4) что в первый раз оно напечатано неизвестно когда и неизвестно где, но потом постоянно перепечатывалось; 5) что на подлинном листе, на котором стихотворение было написано (*за сообщение этого сведения приносим нашу искреннейшую благодарность покойному библиографу Геннади*), сбоку красовался чернильный клякс, а внизу поэт собственноручно нарисовал пером девицу, у которой в руках ребенок и которая, по-видимому, уже беременна другим: и наконец 6) что нет занятия более полезного для здоровья, как библиография.

Когда все это было непререкаемым образом доказано и подтверждено, приступили с вопросом к Ноздреву (он привел Мижуева к Грызуновым), на каком основании он дозволил себе ввести в порядочный дом заведомого грабителя? А при этом намекнули и на пропавший платок. На что Ноздрев объяснил, что поступок Мижуева объясняется не воровством, а начитанностью; что нынешняя молодежь слишком много читает, и потому нет ничего удивительного, ежели по временам происходят совпадения. Что же касается до обвинения его лично в краже платка, то платок этот, действительно, у него в кармане, но каким путем он туда попал — этого он не ведает, потому что был в то время в беспамятстве. Впрочем, — прибавил он, — платок такой, что не стоит об нем разговаривать. И в удостоверение вынул платок из кармана и показал;

и все убедились, что действительно не стоило об таком платке говорить.

Таким образом, Ноздрев и во второй раз вышел из затруднения с честью.

Однако ж положение Грызунова было очень щекотливое. Еще один или два таких казуса — и репутация Ноздрева неизбежно должна пошатнуться. Издатель-редактор «Помой» находился в положении того вора, которого, несмотря на несомненные улики, присяжные оправдали и которому судья сказал: «Подсудимый! вы свободны: но знайте, что вы все-таки вор и что присяжные не всегда будут расположены оправдывать вас. Идите и старайтесь вперед не воровать». Поэтому, хотя в программе раута стояли «Рассказы из народного быта», но Грызунов, сообразивши, что литературе в его доме не везет (пожалуй, опять кто-нибудь закричит: караул!), решил пропустить этот номер. Не зная, чем наполнить конец вечера (было только половина двенадцатого, а ужина у Грызуновых не полагалось), он с тоской обводил глазами присутствующих, как бы вызывая охотников на состязание. Как вдруг его взор упал на «сведущего человека», и блестящая мысль мгновенно созрела в его голове.

— Мартын Иваныч! вас-то нам и надо!— воскликнул он в восхищении и, подводя нового корифея к Ноздреву, рекомендовал:— Мартын Иваныч Задека! на все вопросы имеет приличные ответы! Скатайте из хлеба шарик, киньте наудачу, и на какой номер попадет — везде выйдет исполнение желаний.

— «Сведущий человек»?— благосклонно переспросил Ноздрев и, вынув из кармана табакерку, хотел было нюхнуть табачку, как один из близстоящих сенаторов, без церемоний взяв у него табакерку из рук, сказал:

— Прежде нежели присвоивать себе чужую табакерку...

Но Ноздрев не дал ему закончить и вновь вышел с честью из затруднения, ответив:

— Что ж, если табакерка принадлежит вам, то возьмите ее!

Задека между тем объяснил присутствующим, что он, действительно, может отвечать на все вопросы, но преимущественно по питейной части.

— Верно... тово?— пошутил Ноздрев, щелкнув себя по галстуку.

— Было-таки,— скромно ответил Задека.

— И дозволите испытать ваши познания?

— Хоть сейчас.

Тогда произошло нечто изумительное. Во-первых, Ноздрев бросил в сведущего человека хлебным шариком и попал на

№ 24. Вышло: «Кто пьет вино с рассуждением, тот может потреблять оное не только без ущерба для собственного здоровья, но и с пользой для казны». Во-вторых, по инициативе Ноздрева же, Мартыну Задеке накрепко завязали глаза, потом налили двадцать рюмок разных сортов водок и поставили перед ним. По команде «пей!» — он выпивал одну рюмку за другой и по мере выпивания выкрикивал:

— Полярная! завода Штритера! оптовой склад там-то!

— Столовое очищенное вино! завода Зазыкина в Кашине! Оптовой склад в Москве!

— Зорная! завода Дюшаро и т. д.

И ни разу не ошибся, а зорной даже попросил повторить.

Но этим не удовольствовались. Чтоб окончательно убедить в правах Задеки на звание «сведущего человека», налили в стакан понемногу (но не поровну) каждый из двадцати водок и заставили его выпить эту смесь. Выпивши, он обязывался определить, сколько в предложенной смеси находится процентов каждого сорта водки. И определил.

Тогда между присутствующими поднялся настоящий вой. Рукоплескали, стучали ногами, обнимали друг друга, поздравляли с «обновлением», кричали, что Россия не погибнет, а кто-то даже запел: «Коль славен»... Один Ноздрев был как будто смущен: очевидно, он не ожидал, что явится новый Ян Усмович, который переймет у него славу...

Я же, признаюсь, стоял в стороне и думал, как бы хорошо было, если б в эту минуту Грызунов возгласил: господа! не угодно ли закусить?

Но этого не случилось. Напротив, лампы стали меркнуть, меркнуть и вдруг потухли. Гости в смятении ринулись в переднюю, придерживая руками карманы.

Я знаю, вы скажете, что я впадаю в карикатуру. Ах, тетенька, да оглянитесь же кругом! Лжедимитриев, что ли, нет? Ноздревых мало? Задек?

А сверх того, что ж такое, если и карикатура? Карикатура так карикатура — большая беда! Не все же стоять, уставившись лбом в стену; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть в человеческом сердце эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человек — и тот ощущает ее.

Улыбнитесь, голубушка!

Р. С. Конечно, вы уж знаете, что бабенка Варвара Петровна скончалась. Сегодня утром происходили ее похороны, на которых присутствовал и я.

Хоронили пышно, как подобает боярыне, которая с Аракчеевым манимаску танцевала.

Из дома гроб везли под балдахин, на траурной колеснице, влекомой цугом в шесть лошадей. Впереди шло попарно шесть протопопов, столько же дьяконов и два хора певчих. За гробом, впереди всех, следовал Стрекоза, совсем расстроенный; по бокам у него неизвестно откуда вынырнули Удав и Дыба, которые, как теперь оказалось, были произведены Аракчеевым из кантонистов в первый классный чин и вследствие этого очень уважали покойную бабенку, но при жизни к ней не ходили, потому что она, по привычке, продолжала называть их кантонистами. Несколько поодаль, шли родственники с дядей Григорием Семенычем во главе. Тут была и Индюшка с своими индейцами, и оба надворных советника, и бесчисленное множество кадетов, и известный вам отставной фельдъегерь Петр Поселенцев. Последний неутешно плакал. Представьте себе: свою маленькую новгородскую усадьбу бабенка завещала продать и проценты с капитала употреблять на чествование памяти Аракчеева в день его рождения, а Петруше отказала всего тысячу рублей. Но видеть фельдъегерские слезы — не дай бог никому.

Кроме упомянутых лиц, был на похоронах еще «сведущий человек», потому что нынче ни крестин, ни свадеб, ни похорон (на похороны их поставляют сами гробовщики) без них справлять не дозволяется. А вверху, над шедшей за гробом процессией, невидимо реял «командированный чин», наблюдавший за направлением умов.

Хотели было погребсти бабенку в Грузине, но сообразили, что из этого может выйти революция, и потому вынуждены были отказаться от этого предположения. Окончательным местом успокоения было избрано кладбище при Новодевичьем монастыре. Место уединенное, тихое, и могила — в уголку. Хорошо ей там будет, покойно, хотя, конечно, не так удобно, как в квартире, в Офицерской, где все было под руками: и Литовский рынок, и Литовский замок, и живорыбный садок, и Демидов сад.

— Маменька, маменька! ничего вам больше не потребуется! — уныло выл Поселенцев, в первый раз осмеливаясь публично назвать бабенку маменькой.

Отпели обедню, вынесли гроб, поставили его с краю зияющего четырехугольника и, после литии, опустили в могилу. И не прошло десяти минут, как могила была окончательно заделана, и перед нашими глазами уже возвышался невысокий холм, на одной из оконечностей которого плотник проворно водружал временный деревянный крест. Стрекоза,

покачиваясь, словно в забытьи, непрерывно кивал всем корпусом, касаясь рукой земли; Дыба и Удав что-то говорили о «пределе», о том, что земная жизнь есть только вступление, а настоящая жизнь начнется — там; это же подтвердил и один из дьяконов, сказав, что как ни мудри, а *мимо* не проскочишь. Из родственников, молодые с любопытством следили за работой землекопов, каменщиков и плотника, старшие же думали: кто же, однако, за бабенькину квартиру остальные три года, до окончания контрактного срока, платить будет? Петр Поселенцев, выплавав все слезы, обратился к могиле и, к великому огорчению присутствующих, воскликнул:

— Тысячу рублей... на всю жизнь... вот так удружила!!

По окончании похорон, дядя Григорий Семеныч пригласил как духовенство, так и прочих ассистентов в ближайшую кухмистерскую на поминальный обед.

Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжал качаться из стороны в сторону, бормоча себе под нос: «вот оно... заключение! ну, и что ж! ну, и извольте!» Очевидно, он разговаривал с бабенькой, которая приглашала его *туда*, а ему «туда» совсем не хотелось, хотя, по обстоятельствам, и предстояло поспешать. Удав и Дыба начали было рассказ о том, какие в грузинских прудах караси водились — вот этикие! — но, убедившись, что карасями современного человека даже на похоронах не проберешь, смолкли. «Индюшка» рассматривала на свет балык и спрашивала у хозяйина кухмистерской, где и почем он его покупал: кадеты и прочая молодежь толпились около закуского стола и молча гремели вилками; дядя Григорий Семеныч глазами торопил официантов, чтоб подавали скорее. Что же касается до Поселенцева, то он разом, одну за другой, выпил шесть рюмок рижского бальзама и в один момент до того ополоумел, что его вынуждены были увести. Собственно об бабеньке сказал несколько слов из приличия (а может быть, и потому, что этого требовал церемониал), старший отец протопоп, а дьяконà при этом пропели вечную память, и затем имя ее точно в воду кануло.

За обедом, однако ж, дело пошло живее. Заязгалась беседа, в основание которой, как и следовало ожидать, легла внутренняя политика.

Да, милая тетенька, даже в виду только-что остывшего праха, эта язва преследует нас! До того преследует, что, не будь ее, я не знаю даже, что бы мы делали и об чем бы думали! Вероятно, сидели бы друг против друга и молча стучали бы зубами...

Первый толчок дал один из батюшек, сказав, что «ныне настали времена покаянные», на что другой батюшка отозвал-

ся. что давно очнуться пора, потому что «все революции, и древние и новые, оттого происходили, что правительства на вольные мысли сквозь пальцы смотрели».

— Сперва одна мысль благополучно пройдет,— соболезновал батюшка,— потом другая, а за ней, смотришь, сто, тысяча... миллион!

Этот же тезис, но гораздо полнее, развил и надворный советник Сенечка, но тут же, впрочем, успокоил присутствующих, сказав, что хотя до сих пор так было, но впредь уж не будет.

— Было у нас этих опытов! довольно было! — воскликнул он,— были и «веянья»! были и целые либеральные вакханалии! и даже диктатура сердца была! Только теперь уж больше не будет! Аттанде-с. С «веяниями»-то придется повременить... да-с!

— Только повременить, а не то, быть может, и совсем оставить? — любопытствовал третий батюшка.

— Ну, там оставить или повременить — это видно будет. А только что ежели господа либералы еще продолжают питать надежды, то они глубоко ошибутся в расчетах!

Сенечка высказал это так уверенно, что дьяконъ слушали-слушали, да и ободрились.

— А мы было приуныли! — отозвался старший дьякон за себя и за прочих дьяконов.— Видим действия несодеянная, слышим словеса неизглаголанная; думаем: доколе, господи! Ан, стало быть, и с концом поздравить можно?

Начались рассказы из современного народного быта, причем рассказчиками являлись, по преимуществу, духовные. «Еду я, намеднись, по конке», «Иду я, намеднись, по Гороховой», «Стоим мы, намеднись, с отцом Петром на паперти» и т. д. И в конце непременно кляуза. Словом сказать, так оживился наш поминальный кружок, что даже причетники, которым был сервирован стол (попроще) в соседней комнате, беспрестанно выбегали оттуда в наш зал с величайшею охотой свидетельствовать. Однако ж Сенечка не решился отбирать показания в кухмистерской; но очень ловко намекнул, что ежедневно, от такого-то до такого-то часа, он бывает у себя в камере.

Шла, впрочем, речь и об «отрадных» явлениях, и в том числе, конечно, о Ноздре.

— Какой был гнилой сосуд! — дивился четвертый батюшка,— а вот упал на него луч и какие вдруг кристальные струи из этакого, с позволения сказать, вместилища потекли!

Дядя Григорий Семеныч сидел и корчился. Неоднократно он порывался переменить разговор, но это положительно не удавалось, потому что все головы были законопачены охран-

тельным хламом, да и у него самого мыслительный источник словно иссяк. Наконец он махнул рукой, шепнув мне:

— Пошла в ход управа благочиния! Нет в мыслях благородства, да и все тут! Хоть бы досидеть как-нибудь!

Среди оживлений проснувшейся ябеды совсем забыли о «сведущем человеке», который притулился между кадетами и, по-видимому, настолько превратно проводил время, что даже забыл, что ему, рано или поздно, придется отвечать.

Наконец этот момент наступил. Дьяконà вспомнили, что в числе похоронных принадлежностей чего-то недостает, стали искать и, конечно, отыскали.

Однако ж на этот раз «сведущий человек» оказался скромным. Это был тот самый Иван Непомнящий, которого — помните? — несколько месяцев тому назад нашли в сенном стогу, осмотрели и пустили на все четыре стороны, сказав: иди и отвечай на вопросы! Естественно, он еще не утратил первобытной робости и потому не мог так всесторонне лгать, как его собрат, Мартын Задека.

И действительно, когда дьяконà приступили к нему с вопросом, скоро ли будет конец внутренней политике, то он твердо ответил, что политика до сведущих людей не относится.

— Вот ежели бы куры внезапно перестали нести яйца, — сказал он, — и потребовалось бы определить, в чем настоящая причина заключается, — тут сведущий человек может прямо сказать: оттого, что их редко щупают!

Сначала ответ этот произвел некоторое недоразумение, но так как в эту самую минуту Стрекоза, словно в забытьи, прокричал: всяк сверчок знай свой шесток! — то все сейчас же поняли и удовлетворились.

— Но неужто ж вы только по вопросу о курах и чувствуете себя призванным дать ответ? — спросил, однако ж, дядя, который был очень доволен, что наконец представился случай завести «партикулярный» разговор.

— Нет, я могу отвечать и на некоторые другие вопросы, не очень, впрочем, трудные; но собственно «сведущим человеком» я числюсь по вопросу о болезнях. С юных лет я был одержим всевозможными недугами, и наследственными, и благоприобретенными, а так как в ближайшем будущем должен быть рассмотрен вопрос о преобразовании Калининской больницы, то я и жду своей очереди.

Тогда мы начали предлагать ему вопросы, он же скромно, но отчетливо и с полным знанием дела, давал на эти вопросы ответы.

Ах, тетенька! Какими только недугами этот человек не был одержим в течение своей многмятежной жизни! И заметьте,

все недугами не русскими и даже не европейскими, а завезенными из Нового Света: перувианскими, бразильскими, парагвайскими!

И какую пользу он должен принести при рассмотрении вопроса о преобразовании Калининской больницы!

Он — по этому вопросу, другой — по другому, третий — по третьему. А то, сказывают, прибыл из губернии еще «сведущий человек», который раз десять был изувечен при переездах по железным дорогам,— так тот по железнодорожному вопросу будет пользу приносить...

Так оно и пойдет чередом.

.....

Обмениваясь мыслями, мы и не заметили, как нас застиг вечер. А бабенькина тень невидимо реяла над нами, как бы говоря: дорожите «сведущими людьми»! ибо это единственный веселый оазис на унылом фоне вашей жизни, которая все более и более выказывает склонность отождествиться с управой благочиния!

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Милая тетенька.

Дядя Григорий Семеныч правду сказал: совсем благородные мысли из употребления вышли. И очень возможно, что именно в этой утрате вкуса к благородному мышлению и заключается объяснение того тоскливого чувства, которое тяготеет над переживаемой нами современностью.

Благородные мысли, благородные чувства (их называют также «возвышенными») нередко представляются незрелыми и даже смешными; но это происходит оттого, что по временам они облакаются в нелепую и напыщенную форму, которая, до известной степени, заслоняет их сущность. В большинстве случаев, к напыщенности прибегают люди, совсем непричастные высоким мыслям и чувствам, а именно: шпионы, кровосмесители, казнокрады и другие злокачественные вередá общественного организма. Не имея ничего за душой, кроме праха, они вынуждаются маскировать этот прах громкими фразами. Казнокрад закатывает глаза, говоря о святости собственности; кровосмеситель старается пламенеть, утверждая, что семейство — святыня; шпион рыдает, заявляя о своем сочувствии к «заблуждающимся, но искренно любящим свое отечество молодым людям» и т. д. И в то же время, и те, и другие, и третьи отыскивают отборнейшие выражения и стараются округлять периоды. Но истинно возвышенное чувство никаких этих округлений не знает и выражается просто, трезво, без вычур. Вот это-то именно и надобно различать. То есть надо раз навсегда сказать себе, что ежели возвышенное чувство кажется нам смешным, то это совсем не значит, что оно в самом деле смешно, а значит только, что в него лицемерно вырядился какой-нибудь негодяй, которому необходимо замести свои следы.

В основе благородных чувств лежит человечность, самоотверженность и глубокая снисходительность к людям. Эти свойства, и сами по себе очень ценные, приобретают еще более

ценное значение в том смысле, что дают жизни богатое и разнообразное содержание. Обнимая собой сполна весь цикл человеческих отношений, они оживляют мысль и деятельность не только отдельных индивидуумов, но и целого общества. Являюся представления об общем благе, об общечеловеческой семье, о праве на счастье; и чем больше расширяются границы этих представлений, тем больше находит для себя, в этих границах, работы человеческая мысль и деятельность. И притом, работы честной, не отравляющей совести сомнением, что в результате может получиться предательство, частный вред или общее бедствие.

Говорят, будто бы чересчур повышенный диапазон мыслей и чувств приводит к расплывчивости, которая делает их мало применимыми к действительности. Между тем действительность-то, дескать, именно и нуждается в просветлении и освежении, так что без этой цели чувства и мысли самые благородные представляют только доброкачественную, но бесплодную игру. Коли хотите, в этом уколе есть капля правды, и капля довольно ядовитого свойства. Действительно, влияние высоких мыслей и чувств на жизнь практическую, обыденную, до сих пор представляется не особенно решительным... Но отчего же это происходит? А оттого, милая тетенька, что действительность чересчур уж ревниво оберегается от папыва каких бы то ни было просветлений и освежений; оттого, что просветления признаются вредными и вносящими в жизнь известные осложнения, которые полагают препятствия к слишком бесцеремонному обращению с ней (а это-то последнее и составляет цель всех вожделений). Или, говоря другими словами, оттого, что между мыслью и действительностью воздвигается искусственная перегородка, которая делает последнюю непроницаемую для первой. Понятно, что при подобных условиях работа мысли фатальным образом осуждается на игру.

Однако ж чаще всего игра переходит в страдание, и тогда вопрос сразу переносится совсем на другую почву. Нелегко переносить эту оторванность от почвы, которую так легкомысленно ставят в укор возвышенной мысли; нелегко предаваться благородной игре, которая затрагивает все внутреннее существо человека, и сознавать, что идеалы человечности, самоотверженности и любви надолго осуждены оставаться только игрою. Тяжелая это игра, и нужно быть изрядным мудрецом, чтобы пребывать бесстрастным среди неосмысленного уличного празднословия, которое так охотно идет с дреколием навстречу мысли, возвышающейся над уровнем толпы. Да и с одним ли уличным празднословием приходится считаться возвышенной мысли? — о, если б только с одним! тогда дело

мысли было бы выиграно, потому что улица, как живой организм, все-таки имеет способность размягчаться и развиваться. Но, кроме улицы, ведь есть Дыба, есть Удав, которые лелеют встречные идеалы, установившиеся и окрепшие; которые заоченели в охране этих встречных идеалов и, во имя их насущной практичности, мерно поднимают и опускают молот, угрожая расплющить все, что заявляет претензию выйти из рамок обыкновенного низменного животолубия.

С этими идеалами, которые говорят: ходи в струне и никаких требований, кроме физических, не предъявляй, ужасно трудно мириться. Даже Удав и Дыба, в сущности, не удовлетворяются ими, а держат их только как камень за пазухой, для ушибания. И у них есть свой «образ мыслей», правда, ограниченный и вредный, но в пределах его они все-таки могут испытывать то чувство удовлетворенности, которое сам по себе доставляет мыслительный процесс. Но они не хотят, чтобы другие мыслили, и этим другим предоставляют лишь сладкий удел выполнять начертанную программу. Даже права вредно мыслить они не признают (только право совершать физические отправления — подумайте, какая жестокость, милая тетенька!) — как же вы хотите, чтоб они признали право мыслить благородно? Благородно мыслить — ведь это значит расплываться, значит смущать толпу всевозможными несбыточностями, значит подрывать, потрясать! И вы думаете, что Удав и Дыба останутся равнодушными зрителями этих оболещений и потрясений!

Вот с чем встречается возвышенная мысль на пути своем и что превращает игру в страдание, до того реальное, что всякий может вложить этому страданию персты в язвы. Это история очень старая и непрерывно повторяющаяся, но именно эта древность и непрерываемость и доказывает, что игра, на которую осуждается возвышенная мысль, совсем не так бесплодна, как это кажется с первого взгляда. Никогда ликование и торжество не делали столько страстных прозелитов, сколько делали их угнетения и преследования. Не говоря уже о том, что возвышенная мысль сама по себе обладает изумительною живучестью, преследование сообщает ей еще новую и своеобразную силу: силу поучения.

Все, что мы видим в мире доброго, светлого и прочного, весь прогресс человеческого общежития — все идет оттуда, из этой расплывающейся, но упорно остающейся верною себе мысли; все оплодотворяется ее самоотверженной живучестью. История человечества гласит об этом во всеуслышание и удостоверяет наглядным образом, что не практики, вроде Шешковского, Аракчеева и Магницкого, устроят будущее, а люди

иных идеалов, люди «расплывающихся» мыслей и чувств. И Шешковский, и Аракчеев, и Магницкий (да и одни ли они? мало ли было таких «практиков» прежде и после?) достаточно-таки поревновали на пользу кандалов, но, несмотря на благоприятные условия, несмотря даже на запечатленный кровью успех, и они, и их намерения, и их дела мгновенно истлели, так что даже продолжатели их не только не решаются ссылаться на них, но, напротив, притворяются, будто имена эти столь же им ненавистны, как и истории. Ведь и чума когда-то в Москве неистовствовала, но кто же ссылается на нее, как на благоприятный прецедент? Так точно и тут: пришли, осквернили вселенную и исчезли... А история с кандалами между тем мало-помалу разъясняется, а Удав с Дыбой хотя и продолжают, по существу, проповедовать, что истина и кандалы понятия равносильные, однако уже настолько не уверены в успехе своей проповеди, что вынуждаются уснащать ее величайшими оговорками. Слышатся выражения: «временно», «не надолго, а только в виду потрясения основ», «а потом, само собой разумеется» и т. д. Словом сказать, цельность миро-созерцания нарушена, и если б Шешковский не сгнил, он непременно самих Удава и Дыбу заподозрил бы в потрясении основ и заключил бы в кандалы, которые, вероятно, еще где-нибудь в уголку найдутся, если хорошенько поискать.

Тем не менее проповедь Удава и Дыбы все-таки одурманивает. Жестокие и противочеловеческие формы, в которые, от времени до времени, облекается возбужденная страсть, дает охранителям благочиния отличнейшей материал, чтобы посеять окрест развращающую панику. Взбудораженная улица охотно соглашается отдать себя на поругание, взамен уступок и посулов, делаемых ее инстинкту самоохранения. Нужды нет, что эти уступки гарантируются ей идеалами благочиния, в основе которых лежат кандалы; нужды нет, что ни Удав, ни Дыба, принявшие это наследие от Шешковского, никаких иных средств охранения не могут изобрести,— паника уживается и с кандалами. Зато ее обнадеживают словами: «временно», «вот погодите», «дайте управиться» и т. д. «Временно» — упраздняется развитие, «временно» — налагается секвестр на мысль, «временно» — общество погружается в беспросветную агонию...

Я знаю и сам, что это маразм действительно только временный, и не потому временный, что так удостоверяют Удав и Дыба, а потому, что улица самая бесшабашная очнется, поняв, что бессрочный маразм может принести только смерть. Но ведь и временно сознавать себя заключенным в съезжий дом — ужасно оскорбительно. И, право, я недоумеваю, как

могут люди не понимать, что съезжий дом, ни бессрочно, ни на срок, не только не представляет искомого идеала, но даже самую зачаточную формою общежития назван быть не может. Ибо съезжие дома предназначаются совсем не для граждан и даже не для обывателей, а для колодников. Что съезжие мысли, съезжие речи могут пользоваться в обществе правом гражданственности — в этом я, конечно, никогда и ни на минуту не сомневался, но в меру, милая тетенька, а главное, чтоб все в своем месте и в свое время было. Когда съезжие мысли мыслят околоточные и городовые, я совершенно понимаю, что иначе оно и не должно быть. Но когда эти же мысли поработают себе общество, закабаляют партикулярных людей, отравляют общественные отношения и отнимают у жизни всякий внеполитический интерес — это я уже перестаю понимать.

Вот это-то обязательное порабощение идеалам благочиния и заставляет меня не раз говорить: да, трудно жить современному человеку! Непозволительно обходиться без благородных мыслей, неприлично отождествлять общество с съезжим домом; невозможно не только «временно», но даже на минуту устранить процесс обновления, который, собственно говоря, один и оберегает общество от одичания. Подумайте! ведь общество, упразднившее в себе потребность благородных мыслей и чувств, не может послужить деятельным фактором даже в смысле идеалов тишины и благочиния. Оно бессильно, дрябло, инертно; оно постепенно разлагающийся труп — и ничего больше.

Примеры этой трупной немощи изобилуют; примеры наглядные, для всех вразумительные. Приведу здесь один, наиболее нам близкий: так называемую потребность «содействия». Слово это у всех на языке и повторяется на все лады, так что, казалось бы, только явись это желанное «содействие», мы в ту же минуту сели бы и поехали. Но именно «содействие»-то и не является, а не является оно... как вы, однако ж, думаете, почему оно не является?

Спрашивается: прав ли я был, утверждая, что при подобных условиях, при этом всеобщем господстве серых тонов, жизнь становится не только трудною, но и прямо постылою?

А между тем не дальше как на днях и именно по поводу этого утверждения я подвергался поруганию. Один из Иванов Непомнящих, которых так много развелось нынче в литературе, взойдя на кафедру и обращаясь к сонмищу благородных слушательниц, восклицал: «Нам говорят, что, при современных условиях, нельзя жить — однако ж мы живем и, право, живем недурно!» Ах, мой любезный! да разве я когда-нибудь говорил, что *всем* нельзя жить, а в том числе и Иванам Непом-

нящим? — Нет, я говорил только, что вообще жизнь, обнаженная от благородных мыслей и побуждений, постыла и невозможна, так как эта обнаженность уничтожает самый существенный ее признак: способность развиваться и совершенствоваться. Но, в частности, для тех или других особей, я никогда возможности «жить да поживать» не отрицал. Напротив, я вполне убежден, что, например, золотарн не только живут, но и едят при исполнении обязанностей... Но, право же, незавидная это жизнь!

Поэтому, милая тетенька, убеждаю вас: не увлекайтесь идеалами благочиния и не соблазняйте тем, что они сулят вам тихое и безмятежное житие! Памятуйте, что это тихое житие равносильно позорному гниению, и не завидуйте гниющему потому только, что они гниют без помехи! Сохраняйте в целости вкус к благородным мыслям и возвышенным чувствам, который завещан нам лучшими преданиями литературы и жизни! Пускай называют людей, хранящих эти предания, «разбойниками печати» — не пугайтесь этой клички, ибо есть разбойники, о которых сама церковь во всеуслышание гласит: «но, яко разбойник, исповедую тя», равно как есть благонамеренные предатели, о которых та же церковь возглашает: «ни лобзашя ти дам, яко Иуда»... Расплывайтесь, но не коченеите! взмывайте крылами в пространство, но не погрязайте в болотной тине! И ежели к вам, от времени до времени, заходит на чашку чая урядник, то и ему говорите, что доблестнее и для самого охранительного дела выгоднее расплываться, нежели погрязать. А я, с своей стороны, буду о том же твердить подчаскам и дворникам.

Не одно благородное мышление в умалении — самая способность толково и правильно выражаться (синтаксис, грамматика, правописание) — и та мало-помалу исчезает, так что в скором времени нам, видимо, угрожает всеобщее косноязычие.

Для доказательства приведу пример, наиболее резко бросающийся в глаза.

В первый раз, как вы будете проезжать через Берлин, пройдитесь по Unter den Linden¹ и остановитесь перед витриной книгопродавца Бока. Вы увидите тут так называемую «вольную» русскую литературу, и, между прочим, очень разнообразный ассортимент брошюр новейшего происхождения, на которые я и обращаю ваше внимание. Их много, все они

¹ Унтер-ден-Линден (дословно: «Под липами»).

трактуют о предметах самого насущного интереса и все отличаются отсутствием благородного мышления. Названия у этих брошюр самые заманчивые, начиная от вопроса: «Что нам всего нужнее?» и кончая восклицанием: «Европа! руки по швам!»

Предостерегаю вас: читать эти брошюры, как обыкновенно путные книги читают, с начала до конца — труд непосильный и в высшей степени бесплодный. Но перелистовать их, с пятого на десятое, дело не лишнее. Во-первых, для вас делается ясным, какие запретные мысли русский грамотей находится вынужденным прятать от бдительности цензорского ока; во-вторых, вы узнаете, до каких пределов может дойти несознанность мысли, в счастливом соединении с пустословием и малограмотностью.

Перед вами русский обыватель, которого нечто беспокоит. Что именно беспокоит? — то ли, что власть чересчур обострилась, или то, что она чрезмерно ослабла; то ли, что слишком много дано свободы, или то, что никакой свободы нет, — все это темно и загадочно. Никогда он порядком не мыслил, а просто жил да поживал (как, например, ваш Пафнутьев), и дожил до тех пор, когда «поживать» стало невмоготу. Тогда он вытарашил глаза и начал фыркать и припоминать. Припомнил нечто из истории Кайдапова, подслушал выражения вроде: «власть», «свобода», «произвол», «анархия», «средостенние», «собор», свалил этот скудный материал в одну кучу и стал выводить букву за буквой. И что же! на его счастье оказалось, что он — публицист!

Но для России он слишком свободномыслящ. Подумайте только: во-первых, он на кого-то за что-то фыркает и к кому-то предъявляет какой-то иск; во-вторых, у него чуть не на каждой строке красуется слово «свобода». Конечно, рядом с «свободой» он ставит слова: «искоренить», «истребить» и «упразднить», но так как эти выражения разбросаны по странице в величайшем беспорядке, то, в уме блюдущего, естественно, возникает вопрос: нет ли тут подвоха? Что упразднить? — хорошо, коли свободу... А ну, как наоборот? Сверх того, он ставит «но» вместо «и»; начнет фразу условными «так как», «хотя», «если» — и бросит; или красную строку напишет: «Смею ли присовокупить?» — и тоже бросит... А это тоже наводит на мысль о подвохе. Почему он поставил «но», тогда как по смыслу речи следовало поставить «и»? Может быть, тут-то оно самое, потрясение, и свило себе гнездо? Ах никому, даже соглядателям, нынче верить нельзя! Слаб стал народ... ах, как слаб! Словом сказать, попробуйте напечатать в Петербурге книгу, в которой есть красная строка: «Смею ли присово-

купить?» — непременно все цензурное ведомство всполошится. А за граница и эту фразу, и «свободу, споспешествуемую средостением», и «анархию, действующую в союзе с произволом», — все съест.

Я предполагаю, что именно в таком виде являлась человеческая мысль в младенчестве. В тот свайно-донсторический период, когда она наугад ловила слова, не зная, как с ними поступить; когда «но» не значило «но», когда дважды два равнялось стсаринновой свечке, когда существовала темная ясность и многословная краткость, и когда люди начинали обмен мыслей словами: «Смею ли присовокупить?» Вот к этому-то свайному периоду мы теперь постепенно и возвращаемся, и не только не стыдимся этого, но, напротив, изо всех сил стараемся, при помощи тиснения, непрерываемо засвидетельствовать пред потомством, что отсутствие благородных мыслей, независимо от нравственного одичания, сопровождается и безграмотностью.

Уволенный от цензурного надзора, русский публицист всегда начинает речь издалёка и прежде всего спешит зарекомендовать себя перед читателем в качестве эрудита. С чрезвычайною готовностью он облетает все части света («Известно, что даже в вольнолюбивой Франции», или «Известно, что в Северо-Американских Штатах» и т. д.), проникает в мрак прошедшего («Известно, что когда египетские фараоны», или: «Известно, что когда благожелательный, но слабый Людовик XVI» и т. д.) и трепетною рукою поднимает завесу будущего, причем возлагает надежду исключительно на бога, а на институт урядников и дворников машет рукою. Так что не успеет читатель оглянуться (каких-нибудь 10—12 страниц разгонистой печати — вот и вся эрудиция!), как уже знает, что сильная власть именуется сильною, а слабая слабою, и что за всем тем следует надеяться, хотя с другой стороны — надлежит трепетать. Такова общая, вступительная часть. «А теперь, посмотрим, в каком виде все сие представляется у нас в настоящую минуту»...

Посмотрим, необузданный бормотун! сказывай, «недозре-
лый умё», какую такую ты усмотрел в отечестве твоём фигу,
которая заставила тебя с надеждою трепетать и «понудила к
перу твои руки»?

Но здесь вы сразу вступаете в дом «умалишенных», и при-
том в такой, где больные, так сказать, преднамеренно предо-
ставлены сами себе. Слышится гам и шум; беспричинный
смех раздаётся рядом с беспричинным плачем; бессмысленные
вопросы перекрещиваются с бессмысленными ответами. Сло-
вом сказать, происходит нечто безнадежное, чему нельзя по-

добрать начала и чего ни под каким видом нельзя довести до конца...

Такова любая страница любой из «вольных» брошюр, обязанных своим появлением современной русской взбудораженности. Таково зрелище внутреннего междоусобия, которым раздрается человек, поставивший себе за правило избегать благородных мыслей, дабы всецело отдаться пустякам.

Основные положения — бог весть откуда взялись; выводы — самого бестрепетного читателя могут испугать своею неожиданностью. Основное положение гласит: «Главная черта, которая проходит через всю тысячелетнюю историю русского народа, есть смирение»; вывод возражает: «К несчастии, наш добрый народ находится в младенчестве и потому склонен к увлечениям». Тысячелетняя старость борется с младенчеством; смирение — с склонностью к увеличениям (приводятся даже примеры буйства). Как же, однако, с этим смиренно-буйным народом поступить? дать ли ему свободу или нарядить в кандалы?.. хорошо, кабы кандалы! но тогда зачем же было ездить в Берлин? Не лучше ли сделать вот как: «С одной стороны, вольнолюбивая Франция доказывает, с другой стороны, конституционная Англия подтверждает, а князь Бисмарк недавно в речи, обращенной к рейхстагу, объяснил...» Ах, тетенька! представьте же себе, что никто ничего не доказывал, ничего не подтверждал и что князь Бисмарк никогда ничего не говорил! Что сам автор брошюры — и тот не знает, кто что доказывал и что подтверждал! Он просто выводит букву за буквой — и шабаш!

Бог справедлив, милая тетенька. Когда мы отворачиваемся от благородных мыслей и начинаем явно или потаенно клясть возвышенные чувства, он, праведный судия, окутывает пеленой наши мыслящие способности и поражает уста наши косноязычием. И это великое благо, потому что рыцари управы благочиния давно бы вселенную слопали, если б гнев божий не тяготел над ними.

Да, милая тетенька, все это косноязычие именно оттого происходит, что нет запроса на благородные мысли. Благородная мысль формулирует себя без утайки, во всей своей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания — весь арсенал грамотности охотно ей повинуются. Вопросительный знак не смеет выскочить там, где слышится утверждение; слова вроде «искоренить», «истребить» — не смеют затесаться там, где не может быть речи ни об искоренении, ни об истребле-

нии. Ясная для самого произносящего речь является вразумительной и для слушателей. Она убеждает умы, зажигает сердца.

Напротив того, мысль, увидевшая свет в атмосфере съезжего дома, прежде всего ищет скрыть свое происхождение и ищет этого по той же самой причине, по которой шулер, являясь в незнакомое общество, непременно рекомендует себя: благородный человек такой-то! Чтоб примирить с собою наивных, она замечает следы, прибегает к несвойственным выражениям и бросается в околесную. Но, стараясь выказать себя благородною, она не знает, в чем состоит благородство, и потому на каждом шагу запутывается. И в то же время не смеет формулировать действительные свои побуждения, ибо сама грустит перед их сермяжным паскудством. Понятно, что и грамматика, и знаки препинания пользуются этим внутренним междоусобием, чтоб объявить себя воюющею стороною.

Все это именно и доказывают самым наглядным образом наши заграничные пропагандисты свободы, спешествующей искоренениями. Разверните их мысль вполне, и вы убедитесь, что вся она резюмируется одним словом: кандалы. А они припутывают сюда «свободу» и «наш добрый, прекрасный народ». Ясно, что никакая грамматика не выдержит подобного двоедушия.

Но повторяю: бог справедлив. Он поражает бормотанием и безграмотностью всех, не признающих благородного мышления, всех, приравнивающих возвышенность чувств потрясению основ. Вы убедитесь в этом не только на заграничной бормочущей публицистике, но и на нашей, домашней, того же безнадежного пошиба. Во всем лагере идеалистов усековения вы ничего не найдете, кроме бездарности, пошлости и бессмысленного, всем явственного лганья. Это спаленная богом пустыня, на пространстве которой, в смысле продуктов мышления, произрастают только самые жалкие его виды: сыск и крючкотворство. Или, пожалуй, другое сравнение: это хлев, обитатели которого ничего, кроме корыта с месивом и чавозной жижи, не только не признают, но и понять не могут.

До какой степени фаталистически безграмотность сопрягается с отсутствием благородства в мыслях — в этом я имел случай убедиться самым осязательным образом.

Года два тому назад (помнится, в самый разгар «диктатуры сердца»), шатаясь за границей, я встретился в одном из водяных городков Германии с инспекторствующим соотечественником. По угнетенному виду, с которым этот человек прочитывал в курзале русские газеты, по той судороге, которая сводила в это время его руки в кулаки, я сейчас же угадал,

что, кроме энфиземы, он страдал еще отсутствием благородных чувств. То было время, когда все порядочные люди предавались «иллюзиям» (хотя это было строжайше воспрещено), а русские, находившиеся за границей, даже гордость какую-то выказывали. Уж на что равнодушны дамочки к судьбам своей родины, но и те волновались и рассказывали что-то чрезвычайное: вот, мол, какое у нас нынче отечество! Один «он», этот угнетенного вида человек, не то фыркал, не то недоумевал.

За табльдотом мы познакомились. Оказалось, что он помпадур, и что у него есть «вверенный ему край», в котором он наступает на закон. Нигде в другом месте — не то что за границей, а даже в отечестве — он, милая тетенька, наступать на закон не смеет (составят протокол и отошлют к мировому), а въедет в пределы «вверенного ему края» — и наступает безвозбранно. И, должно быть, это занятие очень достолюбезное, потому что за границей он страшно по нем тосковал, хотя всех уверял, что тоскует по родине.

Разговорились: помпадур такой-то. И, разумеется, первая фраза — сквернословие.

— А в отечестве-то... а? либеральничают! популярничают! уж об излюбленных людях поговаривать начали... чудеса!

Сказал и усомнился. А вдруг я пожалуюсь соседям-немцам: вот, мол, какие у нас оболтусы произрастают! Однако, видя, что я сижу смиренно, ободрился.

— Раненько бы!

Опять смолк. Смотрит на меня, да и шабаш. Даже есть перестал: сидит и ждет, не скажу ли я что-нибудь сквернословно-сочувственно. Делать нечего, пришлось разговаривать.

— А вам бы, по-настоящему, не издеваться, а радоваться следовало! — наконец произнес я.

— То есть... почему же собственно мне?

— А потому, что вы — помпадур.

— Ну-с?

— А помпадур, как лицо подчиненное, должен иметь за собой наблюдение. Когда сердца начальников радуются — и он обязан радоваться; когда начальство печалится — и у него в сердце, кроме печалей, ничего не должно быть. Так и в уставе о пресечении сказано.

— Стало быть, вы полагаете, что нынешняя система...

— Ничего я об системах не полагаю, а радуюсь, потому что в законах написано: радуйся! И вам тоже советую. А то вы, как дорветесь до помпадурства, так у вас только и на уме, что сидеть да каркать! Когда крестьян освобождали — вы

каркали; когда судебную реформу вводили — тоже каркали. Начальники, ваши благодетели, радуются, а вы — каркаете! Разве это с чем-нибудь сообразно? и где, в какой другой стране, вы можете указать на пример подобной административной неопрятности?

Замечание мое поразило его. По-видимому, он даже и не подозревал, что, наступая на законы вообще, он, между прочим, наступает и на тот закон, который ставит помпадуровы радости и помпадуровы печали в зависимость от радостей и печалей начальственных. С минуту он пробыл как бы в онеменнии, но, наконец, очнулся, схватил мою руку и долго ее жал, смотря на меня томными и умиленными глазами. Кто знает, быть может, он даже заподозрел во мне агента «диктатуры сердца».

— Вы... вас... — бормотал он, — представьте, однако ж, какая приятная неожиданность!

С тех пор мы ежедневно встречались по несколько раз, и он всегда говорил, что первая обязанность помпадура — это править по сердцу министров. Я же, со своей стороны, ободрял и укреплял его в этой мысли, доказывая, что радоваться, когда сердца начальников играют, несомненно покойнее, нежели riskовать слететь с места за показывание кукиша в кармане.

— И с чего вы до сих пор фыркали? какое вы в этом удовольствии для себя находили? — спрашивал я его.

— Признаюсь вам, — отвечал он наивно, — я ведь не знал, что есть такой закон, который начальственную радость на всех подчиненных распространяет.

— То-то вот и есть. У вас там во всех местах полны законов шкапы стоят, а вы даже главного закона не знаете!

Говоря это, я был почти строг; но он успокоил меня, объяснив, что легкомыслие его не предумышленное, а есть простая неопрятность, источник которой заключается в недостаточном образовании, полученном им в кадетском корпусе. Причем сознался, что грамматику прошел только до «Местомимения», и усердно просил меня заняться его перевоспитанием.

Разумеется, я с радостью согласился на его просьбу и на всякий случай выписал из России грамматику Поливанова. Перевоспитание же начал с объяснения, в чем заключается истинное благородство души, но так как при этом беспрестанно приходилось говорить об общем благе, которое он смешивал с «потрясанием», то, признаюсь, мне стоило большого труда, чтобы хотя отчасти устранить это смешение. Но я успел в этом именно только отчасти, ибо хотя он и перестал

говорить о потрясениях, но далее «диктатуры сердца» все-таки не пошел. Я рад был, однако ж, что хоть эту последнюю он признал для себя обязательною и дал мне слово по ее поводу никаких сквернословий на будущее время не испускать. Тогда, внимательно осмотрев его и убедившись в бесполезности дальнейших усовершенствований, я предложил ему изложить одушевлявшие его чувства в форме циркуляра исправникам и становым.

Целых два дня он царапал этот циркуляр, но, наконец, нацарапал и показал мне. Вот этот замечательный документ.

«Господам исправникам, становым приставам и урядникам, а через них и прочим всякого звания людям. Здравствуйте?

А между тем что же мы видим!!

При форме правления всё от него исходяще! и обратно туда возвращающе. Что же надлежит заключить?! Что сердца начальников радующе, сердца (пропущено «подчиненных») тоже, сердца Унывающе... тоже (пропущено почти всё)! А между тем что же мы видим!! Совсем на Оборот. Частые смены начальников Сие внезапно изъясняют, а подчиненные... небрегут?

Посему предлагаю; применяясь к вышеизложенному всемерно примечать внезапности. Ежели внезапность радующе — радоваться и вам? а буде внезапность унывающе — и вам тоже. Но в случае ни того ни Другого — ни того ни другого и вам. Ежели же сие не будет исполнено, то как мне поступить!!!»

Сознаюсь откровенно: впечатление, произведенное на меня этим циркуляром, было не в пользу его. Первым моим движением было: бежать — что я немедленно и исполнил. Долгое время я скитался в горах, пока наконец очнулся и понял, что требования мои чересчур прихотливы. Нельзя, милая тетенька, сразу перевоспитать человека, как нельзя сразу вычистить платье, до которого никогда не прикасалась щетка. Настоящее благородство чувств есть удел исключительный, в известных же случаях достаточно довольствоваться и так называемым неблагородным благородством. А наконец нельзя не признать и того, что в данном случае основная мысль все-таки недурна; вот только редакция... ах, какая это редакция! Как бы то ни было, но я воротился в город примиренный и с твердым намерением довести дело перевоспитания до пределов возможного.

И я успел в этом, успел, разумеется, относительно. Каждый день я заставлял моего ученика и друга (я полюбил его) излагать свои чувства в новой редакции, и всякий раз эта редакция являлась более и более облагороженною. Так что в

последний раз она предстала передо мной уже в следующем виде:

«Господам исправникам, станowym приставам и урядникам. Здравствуйте!

Когда в стране существует форма правления, от которой все исходит, то исполнительные органы обявляются, не увлекаясь личными прихотливыми умствованиями, буквально выполнять начальственные предначертания. И больше ничего. Посему, ежели начальство (как это ныне по всему видится) находит возможным допустить, дабы обыватели радовались, то и вы... Сие допускайте, а не ехидничайте и тем паче не сквернословьте! Я сам, по недостаткам образования, не раз сквернословил, но ныне... Вижу!!

И посему предлагаю: настоящий мой циркуляр исполнить в точности, а в случае не найдете возможности, то доносить мне о том с раскаянием».

Как хотите, а циркуляр — хоть куда! Несколько некстати поставленных знаков препинания, несколько лишних прописных букв, несколько ненужных повторений и, наконец, несчастное «Здравствуйте!» — вот все, в чем можно укорить почтенного автора. Исправьте эти погрешности, и затем хоть сейчас в типографию (разумеется, впрочем, в казенную)! Я даже поправлять не решился, а просто посоветовал целиком свезти циркуляр в «вверенный край». Там правитель канцелярии погладит шероховатости, вставит надлежащие статьи законов, помаслит, округлит — смотришь, ан «вверенный край» и проглотил!

— Позвольте, в знак восхищения, предложить вам порцию мороженого! — попотчевал я его.

Он поблагодарил и съел. А на другой день я отправился в Париж, а он во все лопатки помчался в «вверенный ему край».

С тех пор до меня доходили об нем разные слухи. Сначала писали, что он продолжает мыслить благородно, и вследствие этого слог его циркуляров постепенно совершенствуется; потом стали писать, что он опять начал мыслить неблагородно, и вследствие этого в циркулярах его царствует полнейшая грамматическая анархия. Разумеется, по поводу первых слухов я радовался, по поводу вторых — сокрушался. Как вдруг получаю от него письмо, которое сразу покончило с моими недоумениями.

Вот это письмо:

«Милостивый Государь!

Но ежели исторический Ход событий! — сомненности наши Превращает в несомненности... но что же тогда сказать?!

И именно следующее! При свидании (вероятно, речь идет о наших беседах на водах) имел я отрывочные, но краткие беседы... И вы говорили: когда сердца (очень большой пропуск) — ются тогда и вы то есть... я! А когда сердца В печали тогда и вы то есть я. Между тем что же мы видим! Произошли акты и при сем форма правления выяснилась вполне. А законы и иллюзии со всем Прочим должны исчезнуть и отойти во временное предание!!

Так я с твердостью уповаю.

Полагаю, что вы мой план одобрите но я другого не знаю. Кроме одного: всё исходяще и всё возвращающе. Подобно реке Волге! Исходит из озера Селигера но как случилось что докатила волны до С Израни и далее... Неизвестно!! Согласно с сим и я свои распоряжения здесь делаю, а между тем и бумагу к здешнему Господину Председателю (пропущено: «написал»; не сказано также, к какому председателю), В Копии При сем прилагаемое!

А здесь ощущается всеобщее удивление? И именно по случаю формы Правления! Надеялись никакой формы нет, а вместо того произошли акты. Но я нетолько не удивляюсь, но помню наш разговор. Правду вы тогда сказали Помпадур должен быть радующе, а не умствующе, а тем паче взирающе. И ежели у вас в Известных Местах Есть знакомые, то Прошу Оныя заверить, Говоря Он будет тверд и никаких оснований кроме известных и исходяще за Образец не возьмет. Он, То есть я».

В приложенной к письму бумаге на имя неведомого «Председателя» (вероятно, какой-нибудь крамольной управы) я прочитал следующее:

«Милостивый Государь,
Онуфрий Терентьевич!

Известное и определенное требуется и для службы соответственно людей.

Твердое направление, данное в согласность обстоятельствам, не оставляет никаких колебаний; что характер управления в духе всесословности и силе большинства должен исчезнуть навсегда и бесповоротно и должен перейти к характеру сословности, соединенной только общими целями для блага.

Посему, считаю долгом Вам, Милостивый Государь, рекомендовать и просить, в видах соблюдения должной точности высказанных непреложных оснований, принять на службу предьявителя сего, коллежского асессора Семена Дормидонтовича Стрюцкого, мысли которого по сему предмету и предла-

гаю вам принять к руководству при достижении общими силами блага.

С подлинным верно: Правитель канцелярии Бедный-Макар».

Внизу помпадур собственноручно прибавил:

«Примечание 1-ое. Бумагу Сию писал правитель канцелярии, но мысли мои. И слог поправлял То есть я.

Примечание 2-ое. Стрюцкий — мой крестник».

Итак, труды мои пропали даром. Очевидно, помпадур одичал, и так как ему уже перевалило за пятьдесят, то надеяться на какую-либо воспитательную случайность в будущем представлялось, по малой мере, бесполезным. В сей крайности и повинуюсь правилам общежития, я ответил ему кратко:

«Милостивый Государь.

Прочитав почтеннейшее Ваше письмо и приложенный к оному документ, я с горестью убедился, что чувства, о которых мы так часто и продолжительно с Вами беседовали, покинули Вас навсегда. До такой степени покинули, что Вам кажется уже необъяснимым, почему Волга, восприяв начало из озера Селигера, постепенно катит свои волны к Сызрани (которую вы совершенно неправильно пишете: С Изрань) и далее.

Не находя уместным излагать здесь законы, коим повинуется река Волга в своем течении, могу сказать только одно: законы сии столь непреложны, что смертным остается лишь преклониться пред ними. А в том числе, без сомнения, и помпадурам. Что же касается до решимости Вашей управлять согласно с инструкциями и предписаниями, от начальства издаваемыми, то, одобряя таковую в принципе, я не вижу, однако ж, чтобы она давала Вам повод для похвальбы. Исполнение начальственных предписаний — совсем не заслуга, а естественная со стороны всякого помпадура обязанность, за невыполнение которой угрожает строгость законов.

Все сие, впрочем, я неоднократно имел честь Вам объяснять во время совместного пользования водами, хотя, по-видимому, втуне.

В заключение, предполагая, по множеству грамматических ошибок, которыми усыпано Ваше письмо, что грамматика Поливанова, которую я своевременно, в видах усовершенствования, Вам подарил, утрачена Вами, препровождаю при сем новый ее экземпляр, который и предлагаю употребить по установлению».

Письмо это я послал с таким расчетом, чтоб он мог его получить к Светлому празднику. Но будет ли из этого какой-нибудь прок — сомневаюсь.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Милая тетенька.

В последнее время, я, в качестве литературного деятеля, сделался предметом достаточного количества несочувственных для меня оценок. Между ними есть несколько таких, которые прямо причисляют меня в категорию «вредных» писателей, на том основании, будто бы я, главным образом, имею в виду не обличение безнравственных поступков, а отрицание самого принципа нравственности.

На это я могу ответить одно: неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д. Ройтесь, сколько хотите, во всей массе мною написанного — ручаюсь, ничего дурного не найдете. Стало быть, весь вопрос заключается в том: следует ли признать исчисленные выше явления нормальными, имеющими что-нибудь общее с «принципом нравственности», или, напротив, правильнее отнестись к ним, как к безнравственным и возмущающим честное человеческое сердце? Конечно, есть воры, которые до того привыкли воровать, что воровство уже не представляется им позорным, и есть ханжи, которые до того привыкли колотить руками в пустые перси, что пустосвятство кажется им действительною набожностью; но разве примеры подобных самообманов могут считаться обязательными? Я думаю, что ответ на эти вопросы не может подлежать сомнению и что, стало быть, лагерь, который безрассудно возбуждает по этому поводу разглагольствие, сам на себя налагает клеймо распутства, с которым и перейдет в потомство.

Но есть другой укор, который посылается по моему адресу и в котором, я должен сознаться, имеется значительная доля правды. Укор этот заключается в том, что я повторяюсь. К сожалению, ценители мои не вникают в причины моих повторений и не представляют доказательств их неуместности, а это делает их оценки как бы направленными с единственной целью лично меня уязвить и лишает меня возможности извлечь из них какое-либо для себя поучение.

Тем не менее так как я сам признаю замечание это небез-

основательным, то нахожу полезным дать по этому поводу некоторые объяснения.

Начинаю с констатирования, что моя деятельность почти исключительно посвящена злбам дня. Очень возможно, что с точки зрения высшего искусства эта деятельность весьма ограниченная, но так как я никаких других претензий не заявляю, то мне кажется, что и критика вправе прилагать ко мне свои оценки только с этой точки зрения, а не с иной. Но злоба дня, вот уж почти тридцать лет, повторяется в одной и той же силе, с одним и тем же содержанием, в удручающем однообразии. Как тридцать лет тому назад мы чувствовали, что над нашим существованием витает нечто случайное, мешающее правильному развитию жизни, так и теперь чувствуем, что в той же силе и то же случайное продолжает витать над нами. Никакое правдивое перо не возьмет на себя вычеркнуть из наличности то, что хотя и не в равной степени, но всеми чувствуется, как основная и жгучая боль минуты. Никакой правдивый бытописатель не позволит себе сказать, что случайность изгибла, когда она стоит крепче и действует язвительнее, чем когда-либо. Выше я перечислил некоторые признаки ненормального состояния общественного организма, и, по мнению моему, единственно благодаря господству случайности, эти признаки не только не исчезают и не смягчаются, но делаются характеристичными чертами времени. Они находят себе апологистов, которые ежели и не утверждают прямо, что, например, хищничество есть добродетель, но всякий протест против хищничества приравнивают к потрясению основ. И, благодаря случайности, эти общественные проституты не встречают даже отпора. Примеры гнусных сопоставлений честного протеста чуть не с вооруженным бунтом повторяются на каждом шагу и проходят вполне безнаказанно, благодаря совпадению с случайными веяниями минуты; но самая эта безнаказанность разве не знаменует собой глубокого нравственного упадка? Видеть целый сильно организованный литературный лагерь, утверждающий, что всякое проявление *порядочности* в мышлении равносильно разбою и мошенничеству, что идеалы свободы и обеспеченности суть идеалы анархии и дезорганизации власти, что человечность равняется приглашению к убийствам — право, это такое гнусное зрелище, перед которым не устоит даже одеревенелое равнодушие. А между тем это зрелище проходит перед нами каждый день, и, к удивлению, оно единственное, которое пользуется присвоенною зрелищам сценической постановкой. Каждый день из лагеря хищников, предателей, пустосвятов и проституттов раздаются распутные клики, готовые задушить в обществе всякие признаки *порядочности*. Каждый день из растворенных хлебов вопиют голоса трихинных при-

станодержателей, угрожающие, проклинаящие, требующие пропятия... Спрашивается: ужели не следует как можно громче объяснять обществу, что эти мерзкие вопли — не что иное, как лганье и проституция? Нет, именно следует каждодневно, каждодчасно, каждодминутно повторять: ложь! клевета! проституция! Повторять хотя бы с тем же однообразием форм и приемов, которые употребляются самими клеветниками и проститутами. Повторять, повторять, повторять.

Вот это именно я и делаю. Двадцать пять лет сряду одну и ту же ноту тяну, и ежели замолкну, то замолкну именно с этой нотой, а не с иной. И никогда не затрудняюсь тем, что нота эта звучит однообразно.

Но есть и еще причина, обуславливающая повторения: их требует сам сочувствующий мне читатель. Я ничего не создаю, ничего лично мне одному принадлежащего не формулирую, а даю только то, чем болит в данную минуту всякое честное сердце. Я даже утверждаю, что всякий честный человек, читая мои писания, непременно отождествляет мои чувства и мысли с своими. Это *он* так чувствует и мыслит, а мне только удалось сойтись с ним сердцами. И он доволен, когда ему напоминают об этих *собственных* его чувствах и мыслях, когда их воплощают перед ним в горячем слове или в живом образе — доволен, потому что это самое дорогое его достояние. Эти речи, эти образы, быть может, не задерживаются в его памяти в ярких и резко очерченных формах, но они несомненно оставляют в его сознании общее впечатление сочувственного, родственного. Ибо в этом случае происходит то интимное общение мыслей и чувств, в котором трудно определить, кто кому дает и кто у кого берет. «Это самое я всегда мыслил», говорит читатель и пускает вычитанное в общий обиход, как свое собственное. И он не совершает при этом ни малейшего плагиата, потому что, действительно, эти мысли — его собственные, точно так же, как и я не совершаю плагиата, формулируя мысли и чувства, волнуящие в данный момент меня наравне с читающей массой. Ибо эти мысли и чувства — тоже мои собственные.

Повторяю: человек ни к чему так охотно не возвращается, как к предметам, которые наиболее затрогивают его существование. Он и людей тех особенно любит, о которых знает, что они болеют теми же болезнями, которыми болеет он сам. Вот почему напоминания об этих болях, как бы часто и однообразно они ни повторялись, не представляются ему назойливыми. Ибо только разделенное страдание может помочь отыскать выход из тьмы к свету, и раз желаемое общение в этом смысле установилось, напоминания об его основах не

только не ослабляют общения, но, напротив, скрепляют и подтверждают его.

Примеры такого почти неразложимого взаимного «попустительства» (употребляю модный ныне консервативный термин) между автором и читателем я встречаю на каждом шагу. Часто случается мне получать письма от неизвестных лиц с изложением бесспорно интересных фактов всякого рода неурядицы; однако ж я не могу воспользоваться сообщаемыми фактами по той простой причине, что в виде общих положений, иллюстрированных и подтвержденных, они уж не раз были заявляемы. Большая же или меньшая численность фактов одного и того же пошиба ничего не прибавляет к характеристике времени: ибо если характеристика эта достаточно определена, то само собой разумеется, что иных фактов в данное время не может и быть. Тем не менее я понимаю, почему читатель сообщает мне об этих фактах. Он просто желает высказать, что я прав, и подтверждает мою правоту своими собственными наблюдениями.

Не далее как на днях мне пришлось быть в обществе, где рассказывались факты, как раз соответствующие тому «принципу нравственности», в отрицании которого я обвиняюсь московскими фарисеями. И между прочим передавалась следующая история.

Жил-был сельский священник и имел сына. Сын этот с успехом кончил курс в семинарии, но священствовать почему-то не пожелал. Вероятно, впрочем, причина была простая: не чувствовал молодой человек склонности (а стало быть, и способностей) к выполнению обязанностей, сопряженных с священством. Напротив того, выказывал величайшую охоту к сельскому хозяйству, домоводству и земледельческому труду. Приехал, по окончании курса наук, домой, оделся в сермяжную мужицкую броню, обулся в лапти и начал косить, пахать и боронить.

Кажется, что же тут такого... необыкновенного? — Разумеется, милая тетенька, на мой и ваш взгляд — ничего. Мы люди простые и думаем так: ежели человеку охота пахать — паши, охота сеять репу — сей репу и даже морковь! Но ведь не все так явно отрицают «принципы нравственности», как мы с вами. Есть люди, кои блюдут. А наблюдение в том именно и состоит, чтобы всякое звание пребывало верным свойственному ему занятию, занятиями же несвойственными, а тем паче нарушающими гармонию табели о рангах, гнушалось. Так, например, губернский секретарь обязывается гнушаться занятий, свойственных коллежским регистраторам, коллежский секретарь — занятий, свойственных губернским секретарям,

и т. д. В старину, о негнушающихся губернских секретарях говорили, что они «марают» не только себя лично, но и всех прочих губернских секретарей. А нынче и это толкование, с точки зрения «принципа нравственности», кажется уже недостаточным, и потому говорят: ежели такой-то губернский секретарь унизился до общения с коллежскими регистраторами, то это значит, что он вознамерился сеять между ними последними превратные толкования.

Так именно случилось и с легкомысленным поповским сыном. Не успел он обуть лапти, как местный кабатчик (первая инстанция, сиречь оплот) уж задумался. Стоит у стойки, чешет об косяк брюхо и думает: что за причина такая? И, разумеется, сообщает о своих консервативных сомнениях уряднику. Урядник задумался еще пуще кабатчика. Начал похаживать мимо батюшкинова дома, будто гуляет, а между тем высматривает, не объявится ли ниспровержения властей. Или схоронится за деревом, приложит к глазам руку зонтиком и выглядывает в поле. Видит: идет за сохой в лаптях мужик; вот он остановился, вот опять налег грудью... что за причина такая? Мог бы ходить по приходу славить, яйца собирать, а вместо того... Наконец, урядник не вытерпел и обратился к батюшке:

— Что за причина такая?

А батюшка, который и сам чаял, что возлюбленный сын с ним вкупе и влюбю будет аллилуия славословить — а он, вишь, ведь что выдумал! — вместо того, чтоб объяснить уряднику его и кабатчиково полоумие, ответил уклончиво:

— Сами видите!

Тогда урядник окончательно не вытерпел и донес становому.

Становой сейчас же сообразил, что дело может выйти блестящее, но надо вести его умненько. Поехал в село будто по другому делу, а сам между тем начал собирать «под рукою» сведения и о поповском сыне. Оказалось: обулся поповский сын в лапти, боронит, пашет, косит сено... что за причина такая? Когда таким образом дело «округлилось», становой обратился к батюшке:

— Что за причина такая?

— И сам не мало о сем стужаюсь, — объясняет батюшка, — и не раз вразумлял. Побеседуйте с ним — может быть, ваши вразумления больше подействуют.

Призвал становой поповского сына, спрашивает:

— Землю работаешь?

— Землю.

— Пашешь?

— Пашу.

— Что за причина такая?

Натурально, поповский сын глаза вытарашил. Наконец очнулся и сам предлагает вопрос:

— А разве запрещено?

— Запрещено не запрещено, а несвойственно...

— Так запретите же прямо, коли несвойственно. Я буду сидеть и баклуши бить.

Однако ж запретить становой не решился, а донес исправнику: так и так, в стане проявился поповский сын, кончил курс, мог бы быть дяконом, а вместо того ведет несвойственный образ жизни. Исправник тоже сейчас понял. Велел заложить тройку, подвязать к дуге колокольцы и поскакал в гнездо крамолы. Подкатив к батюшкину дому, молодцом соскочил с телеги:

— Что за причина такая?

— Не мало пытал я о сем с ним беседовать,— оправдывался батюшка,— но слова мои не приемлются. Не вразумите ли вы?

А матушка, с своей стороны, присовокупила:

— А уж для нас-то как бы хорошо было! Взять теперь хоть бы место дякона: и яйца, и новинà, и кудель, и всё такое... А из доходов часть — это само по себе.

Позвали поповского сына, не дали даже последний загон оборонить. И начал его, при отце и матери, исправник стыдить.

— Ах, молодой человек! молодой человек!

Но молодой человек не хочет чувствовать, да и шабаш. Только и слов у него на языке:

— Разве запрещено?

— Ах, молодой человек! да разве закон может всё предусмотреть? И как это вы так резко позволяете себе говорить: запрещено?! Не запрещено-с, а несвойственно-с. Предосудительно-с.

Однако ж как ни стыдил исправник поповского сына, последний точно осатанел. Твердит одно и то же:

— Ваше высочорodie! сделайте божескую милость! позвольте пахать!

Тогда исправник, вместо того, чтоб с кротостью разрешить: паши, братец (только всего два слова и нужно)! — разодрал на себе в гневе вицмундир и воскликнул:

— Прекрасно-с! пашите-с! бороните-с! сейте-с! ха-ха-ха... сейте-с! Только знайте вперед-с: я умываю руки-с!

И, обратившись к батюшке, добавил:

— Жаль, почтеннейший старик! и вас жаль... и его-с... заблудшего-с! И вас, почтеннейшая матушка, жаль... всех-с! очень-очень жаль-с!

Исправник ускакал, а поповский сын сел на лошадь и поехал доборонивать брошенный загон. Батюшка вздохнул ему вслед и начал было: «говорил я тебе...», но поправился и спросил:

— А когда же двойть собираетесь?

Прошло еще недели четыре. Поповский сын за это время успел не только сдвойть пашню, но и посеять озимое. Он уж заранее облизывался при мысли, что еще три-четыре недели — и наступит молотьба, как вдруг, в самый разгар его страдных мечтаний, у батюшкинова дома остановился тарантас, из которого на этот раз вылез уже целый статский советник. Статский советник оказался просвещенно-благожелательный, хотя и без послабления, и во лбу у него блестело «око», в знак питаемого к нему доверия. Тем не менее он начал, как и все прочие:

— Что за причина такая?

У поповского сына даже в глазах позеленело при этом вопросе; однако он сдержался и с твердостью произнес:

— Имею желание молотить!

Статский советник, по-видимому, никак не ожидал, что дело примет такой оборот. Однако око во лбу его все-таки не замутилось гневом, но пристально взглянуло в глаза собеседнику и, к счастью для последнего, обнаружило недоумение, близкое к пониманию.

— Только и всего?

— Только и всего-с.

Дело было округлено; оставалось только выполнить некоторые формальности. Призвали понятых и осмотрели скарб поповского сына — оказалось, что он укрывает три чистых рубахи, новые пестрядинные портки, две пары онуч и зеркальце, перед которым, «по его показанию», он расчесывает по праздникам свои кудри. Распорол матушкины перины — нашли пух. Даже под косицей у батюшки посмотрели, но и там превратных толкований не нашли. Тогда батюшка осмелился и спросил:

— За что же, вашескородие, теперича на нас такое, примерно, поношение? А притом и расход?

Первую половину вопроса статский советник признал правильной и, дабы удовлетворить потерпевшую сторону, обратился к уряднику, сказав: это все ты, каналья, сплетни разводишь! Но относительно проторей и убытков вымолвил кратко: будьте и тем счастливы, что бог простил! Затем, запечатлев урядника, проследовал в ближайшее село, для исследования по доносу тамошнего батюшки, будто местный сельский учитель превратно толкует события, говоря: сейте горьхи, сажайте капусту, а о прочем не думайте!

А через год по делу поповского сына вышла резолюция: поповскому сыну такому-то занятие молотью и ссыпанием зерна в житницы в преступление не вменять, имея лишь наблюдение, дабы молотил чисто.

Но поповский сын не дождался объявления этой резолюции: существование его было уже отравлено. Преемственное посещение блюдущих возымело влияние не столько на него, сколько на окружающую среду. Кабатчик первый произнес слово: сицилист, а за ним то же слово повторять и мужички. Сначала произносили его нерешительно, но потом, с каждым днем, всё ходчее и ходчее. А наконец, и девки перестали припускать поповского сына в хоровод. Не для кого стало и кудри по праздникам расчесывать.

С своей стороны и батюшка с матушкой не по разуму усердствовали. С утра до вечера поповский сын молотил, веял и собирал в житницы, а когда возвращался домой, ему долбили в уши: опомнись! восчувствуй! А под конец даже высватали ему невесту, у которой одна ноздря залегла от природы и один глаз вытек от болезни.

Тогда поповский сын сказал себе: довольно! — и в одно прекрасное утро исчез.

Таков факт. Замечательно, что лицо, передававшее его (и прибавлю: хорошо знакомое с моею литературною деятельностью), обратилось ко мне с словами:

— Вот бы вам поделиться этим фактом с читателями!

Признаюсь, я ждал совсем другого. Я думал, что мне скажут: вот факт, который вполне подтверждает написанное вами тогда-то и тогда-то!

Ничуть не бывало; написанное мною не запечатлелось в памяти самостоятельно, а пробудило лишь потребность всматриваться в проходящие явления и вдумываться в их смысл. Что ж! и за то спасибо!

Поэтому и я передаю вам рассказ о приключениях поповского сына в том самом виде, как его слышал, отнюдь не стесняясь тем, что, быть может, вы упрекнете меня в повторениях. Собственно говоря, не я повторяю, а все вообще повторяются. И ликующие и унывающие — все на один пункт устремили глаза, все одну мысль мыслят. Только одни говорят об искоренении, а другие о развитии. В этом последнем смысле, приведенный сейчас рассказ и в повторении, право, не бесполезен. По моему мнению, он пробуждает благородство чувств, а в этом-то именно и заключается живейшая потребность нашего времени.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Милая тетенька.

Весь вчерашний вечер я провел с общим нашим другом Глумовым.

В последнее время мы виделись очень редко. С ним сделалось что-то странное: не сказывается дома и сам никуда не выходит, смотрит угрюмо, молчит, не то что боится, а словно места себе не находит. Нынче, впрочем, это явление довольно обыкновенное. На каждом шагу мы встречаем людей, которых всегда знали разговаривающими и которые вдруг получили «молчальный дар». Ходят вялые, унылые, словно необыкновенные сны наяву видят. И никому этих сновидений не поверяют, а молчат, молчат, молчат.

Признаться сказать, мне и самому улыбается молчание, и я давненько-таки не иначе представляю себе блаженство, как в этой форме. Но все как-то не соберусь вкусить. Сидеть в своем углу и молчать, то есть не только не разглагольствовать (этого-то я, пожалуй, уж давно достиг), а совсем всякие слова и письма позабыть — это такое тонкое наслаждение, которое доступно лишь тому, кого продолжительная молчальная практика исподволь сделала способным вместить его. Особенно хорошо молчать, когда и кругом всё молчит, а еще лучше, когда все попрятались по углам, так что даже испуганных лиц не видишь. Благодичиние-то какое! благоустройство! Да пора, наконец, и честь знать! Поволновались в свое время, посуетились около «вопросов», посодействовали — и будет. А впредь будем жить так, что хоть кол на голове теши. Пускай нарождаются вопросы еврейские, кабацкие, вопросы об оздоровлениях, искоренениях и средостениях — какое нам дело! Пусть люди стонут, мучатся, ропщут на судьбу, клянут законы божеские и человеческие — я забрался в угол и молчу. Не потому молчу, что умудрился, а потому, что не могу отличить, бодрствую ли я или сплю.

Глумов забрался ко мне спозаранку и прямо объявил, что

«вопросов» тревожить не станет, обменом мыслей заниматься не намерен, а только хочет на несколько часов уйти от одиночества.

— Одичал, брат, я,— сказал он,— некоторое время думал, что лучше и не надо. Однако, должно быть, еще не созрел. Молчал-молчал, да вдруг сегодня испугался. Давеча начал афишку читать — не понимаю, да и конец! Ну, нет, думаю, пойду хоть на лицо человеческое погляжу. Ну, а тебе как живется?

— Что мне делается! По обыкновению, в надежде славы и добра...

— Вот и прекрасно. Так, значит, ты занимайся своим делом, а я буду смотреть на тебя и молчать.

Так мы и поступили. Он сел поодаль и замолчал, а я пригнулся к письменному столу и начал обдумывать предстоящее письмо к вам. Тема навертывалась несомненно благодарная. Весна нынче раньше обыкновенного порадовала нас; так вот поздравить вас с дорогой гостьей, да кстати уж и воспеть животворное действие ее на обывательский дух. Хотел писать о том, как легко ходить по улицам в холодном пальто, и какая чувствуется отрада при виде распустившихся перед Маринской больницей тополей; о том, что мы едим уже сморчки и щи из свежей крапивы, а недавно лакомились даже ботвиньей; о том, что думаем вскорости перебраться на дачу, а там пойдут ягоды, щи из свежей капусты, свежепросольные огурцы... Словом сказать, обо всем, чего так страстно, в течение целой зимы, жаждало наболевшее сердце. Весна-волшебница! — восклицал я мысленно, — ты вливаешь жизнь в одряхлевшие сердца! ты подаешь старцам силу и бодрость молодости! ты расцветашь улыбкой лица человеконенавистников! ты пробуждаешь песню в соловье, поэте и кузнечике! Привет тебе, жизнодавица! привет, волшебница, бескорыстно сыплющая чары на пути своем! И да будет благословенно...

Но только что я обмакнул в чернила перо, чтоб изобразить на бумаге весенние волшебства, как Глумов словно отгадал мои намерения.

— Берегись! — сказал он угрюмо, — пиши правду, а «сочинителей» и без тебя довольно!

Последовало короткое объяснение, но Глумов не только не отказался от своего предостережения, а напротив, даже присовокупил:

— Вот сморчки, щи из крапивы, огурцы — об этом ты можешь писать, потому что это правда; что же касается до влияния жизни в сердца, то этого не существует в действительности, а стало быть, и «сочинять» незачем. Налжешь, введешь

простодушных в заблуждение — что хорошего! А кроме того, и сам нечувствительно в распутство впадешь. Сегодня ты только для красного словца «сочинишь», а завтра, пожалуй, скажешь: а что в самом деле! — а послезавтра и впрямь в тебе сердце начнет играть!

Говоря по совести, Глумов был прав. Хотя «сочинительство» имеет свою привлекательность (и читательская масса к нему пристрастие выказывает), но, в сущности, это ремесло довольно бессовестное. Непременно требуется лгать и притом так лгать, чтобы другие приняли ложь за правду. Ежели это делается «за лакомство», то ясно, что в таком действии участвует прямая подлость; если же делается неведомо зачем, только по глупости, так и тут хорошего мало. В сущности, «сочинять» — все равно что обеденные спичи говорить. «Пью за процветание!» — предлагает один; «пью за преуспеяние!» — вторит другой — а между тем все отлично знают, что никто и ничто не преуспеет и не процветет. Не дай бог к этому привыкнуть. Опасность тут очень серьезная, ибо «сочинитель» солжет раз, солжет другой, а потом и сам своему лганью поверит. И дойдет незаметным образом до «Помоев».

Ввиду этих соображений приходилось выбрать для письма тему хотя и не столь благодарную, но зато более обстоятельную.

Однако ж Глумов, очевидно, только похвастался, что намерен молчать, потому что не успел я передумать сейчас изложенное, как он уже продолжал:

— А ты пиши так: никогда хуже не бывало! — вот это будет настоящая правда!

Меня даже передернуло при этих словах. Ах, тетенька! двадцать лет сряду только их и слышишь! Только что начнешь забываться под журчание мудрецов, только что скажешь себе: чем же не жизни! — и вдруг опять эти слова. И добро бы серьезное содержание в них вкладывалось: вот, мол, потому-то и потому-то; с одной стороны, с точки зрения экономической, с другой — с точки зрения юридической; а вот, мол, и средства для исцеления от недуга... Так нет же! «не бывало хуже» — только и всего!

— А ты бы вспомнил, что с лишком двадцать лет ты эту фразу твердишь и все в одной и той же редакции! — возразил я не без горечи.

— Потому и твержу, что двадцать лет сряду все «хуже никогда не бывало». Не успеешь докончить восклицание — ан опять приходится сызнова начинать. И сравнивать даже незачем: не бывало хуже — вот и все. И прежде, и после, и теперь — всегда!

— Да ты хоть бы дал себе труд объяснить, почему тебе так сдается?

— И объяснять не нужно, потому что само по себе ясно. И не «сдается» мне совсем, а и кожей и внутренностями — всем чувствую... Понимаешь, всем естествен, всегда на всяком месте чувствую: хуже не бывало!

— И все-таки объясниться не лишнее, — упорствовал я. — Вот ты говоришь: хуже не бывало! — а сам между тем живешь да поживаешь! Это тебе заметить могут. Недаром с Москвы благонамеренные голоса несутся: зачем, мол, цензура преграды «им» ставит! пускай на свободе объяснятся!

— А мы, дескать, послушаем, да и изловим... Прекрасно. Так что ж, и за объяснением дело не станет. Крепостное право помнишь? — ну, так вот там и ищи объяснения. Вечная барщина, вечная крепость, вечное ожидание мучительных сюрпризов, от которых освобождала только «красная шапка» да Сибирь. А люди все-таки жили! В каждом губернском архиве ты найдешь бесконечный мартиролог, свидетельствующий о человеческой живучести, а сколько отдельных единиц этого мартиролога замучено домашним образом, сколько досталось в жертву заплечному мастеру под наименованием татей, душегубов, разбойников? Ужели эти люди не имели права говорить: хуже не бывало? Ужели они обязывались сравнивать, объяснять, почему они так говорят? Подумай, ведь новые-то раны наводились по незажившим еще недавним ранам — не естественно ли, при таком условии, что сегодняшние боли терзали сильнее вчерашних? Да, никогда не бывало хуже, никогда! только завтра, быть может, хуже будет!

Глумов волновался и клокотал. Но продолжительная отвычка от словесных упражнений уже сделала свое дело, так что, произнеся свою, сравнительно короткую тираду, он изнемог и замолчал. Что касается до меня, то хотя и мелькнула в моей голове резонная мысль: а все-таки это только уподобление, а не объяснение, — тем не менее я почему-то застыдился и догадки своей не высказал.

Я унесся воображением в далекое прошлое и вспоминал. В самом деле, голубушка, чего мы с вами только не насмотрелись, чему не были свидетелями! Целое организованное неистовство прошло перед нами, целая туча мрака, без просвета, без надежд. А мы прогуливались под сенью тенистых деревьев, говорили о возвышающих душу обманах и внимали пению соловья! Как назвать нас за это? Были ли мы развращены до мозга костей или просто жили как во сне, ничего не понимая и ни в чем не отдавая себе отчета? «Мы были молоды», скажете вы, но ведь это-то именно и страшно. В молодости чело-

век более чуток к страданиям ближнего, молодое сердце легче раскрывается, молодая мысль быстрее усваивает внешние впечатления. А нас точно заколодило. Земля под нами разрывалась от стонов, а мы ходили, как по паркету; хлеб, который мы ели, вопиял, а мы ели да похваливали... Право, что-то проклятое было в этой молодости: как будто она только затем и дана была, чтобы впоследствии, через десять лет, целым порядком фактов напомнить нам о том, что металось перед нашими глазами и чего мы не видели, что немолчно раздавалось у нас в ушах и чего мы не слышали. Напомнить: вот, мол, почувствуйте! — и бросить нам в воздаяние мучительную, наполненную фантомами прошлого старость...

Самые лучшие из нас ограничивались тем, что умывали руки или роптали друг другу на ухо; средние — старались избегать «зрелищ», чтобы не свидетельствовать об них; заурядные — не только не роптали и не избегали, но прямо, с виртуозностью и злорадством, окунались в самый омут неистовств. И все эти категории, вместе взятые, представляли собой так называемое «молодое поколение». И Глумов был тут; и он, наравне с другими, роптал, судачил и рассказывал паскудные анекдоты. И вот теперь, на старости, мы вдруг стали припоминать, изумляться, страдать: как, дескать, нас не рџзорвало! Теперь, когда все для нас кончено, когда уж попы засматриваются на нас, а гробовщики надоедают прислуге вопросом: «скоро ли «барин» умрет? Теперь, ввиду готовой могилы, нам приходится, как каким-нибудь Прошкам и Аксюткам дореформенных времен, вопиять: хуже не бывало!

Было хуже, милая тетенька, но мы тогда пальцем не шевельнули, шага не сделали, чтобы выйти на борьбу с этим худом. Мы думали, что Прошки да Аксютки так ловко вынесут это худое на плечах своих, что нас и не заденет, а на поверку оказалось (на старости-то!), что и у нас спина иссечена! Повторяясь и не встречая отпора, худое на старые незажившие раны наводило новые и новые и, наконец, довело организм до того, что всякий новый — даже сравнительно слабый — укол чувствуется мучительнее, нежели целая свита жесточайших изъязвлений прошлого. Когда мы были сильны и молоды, мы горели возвышенными чувствами и упивались благородными идеями; но мы делали это исключительно для собственного употребления, забывая, что горение и упоение необходимо обеспечить, если хочешь, чтоб они не изгибли в будущем без следа. А теперь, когда они изгибли, мы кричим криком: нет возвышенных чувств! исчезла из обихода благородная мысль! никогда не бывало хуже, никогда!

Вас, быть может, возмутят эти вопли: вы скажете: да это

же, наконец, несправедливо! мы видели не только худшие, но и несомненно жестокие времена — каким же образом утверждать, что может существовать что-нибудь превосходящее жестокость виденного и испытанного нами? — Да, милая тенька, эти вопли действительно несправедливы, но тут совершается одна из тех фатальных несправедливостей, от которых никуда не уйдешь. Это та самая несправедливость, которая не обращает внимания на смягчение и исчезновение отдельных подробностей, а имеет в виду основы. Под игом мысли о непреоборимости этих «основ», человек теряет способность сравнивать, взвешивать и оценивать и весь отдается охватившему его чувству несправедливости.

Возьмите для примера хоть следующее. Прежде говорили: «человек смертен двояко: во-первых, по божескому произволению и, во-вторых, по усмотрению»; а ныне к последней части этого положения прибавляют: «по правилам о Макаре, телят не гонящем, установленном». Кажется, маленькая прибавка сделана (многие даже «упорядочением» ее называют, или «введением произвола в рамки законности»), а какая в ней чувствуется обида! Начать с того, что прежнее положение о порядке пристижения смертью принадлежало к области права обычного, а не писанного. Партикулярный человек следовал ему, как прирожденной идее. Нося эту идею в своем сердце вместе с прочими таковыми же и беспрекословно признавая ее авторитет, он, однако ж, понимал, что право быть смертным «по усмотрению» отнюдь не принадлежит к числу таких, которыми можно было бы кичиться. И вдруг ему не только во всеуслышание напоминают, что он двояко смертен, но еще прибавляют, что по сему предмету существуют какие-то правила! Ужели это не обида? Прежде хоть клейма-то на нем не было, а отныне стоит ему нос показать наружу, чтоб услышать: ах, да ведь это тот самый! А кроме того, и страх. Потому что, если раз на бумажке написано «смертен», так уж прямо, значит, и заруби у себя на носу: теперь, брат, не пронесет!

Вот что значит по изъязвленному месту новые язвы наводить. Даже «упорядочить» ничего нельзя, потому что намерения самые похвальные, словно волшебством, превращаются в благосклонное ковыряние незаживших ран.

— Самообольщение какое-то всех одолело,— продолжал между тем Глумов,— все думается, как бы концы в воду схронить или дело кругом пальца обвести. А притом и распутство. Как змей, проникает оно в общество и поражает ядом неосторожных. Малодушие, предательство, хвастовство, всех сортов лганье... Может ли быть положение горше этого!

Он говорил с расстановкою и притом так решительно, как

будто не только не ждал возражений, но и не предполагал их возможности. Эта уверенность была до того тяжела, что я позабыл мои недавние размышления и почти гневно крикнул:

— Да не раздражай! говори, куда же деваться! ведь надо же существовать!

Но он, вместо ответа, загадочно проворчал:

— Вот! оно самое и есть!

— Ну?

— Я, брат, всю зиму, с октября, вот как провел: в опере не был, Сару Бернар не видал, об Сальвини только из афишек знаю. Сверх того: в книжку не заглядывал, газет не читал... И, что всего важнее, ни разу не ощутил, что чего-нибудь недостает.

— Что же ты делал? лапу сосал?

— Жил. Вся зима, яко ночь единая, прошла. Только сегодня, уж и сам не знаю с чего, опомнился. Встал утром, думаю: никак, уж ноябрь прикатил — глядь, ан на дворе май. Ну, испугался.

— Да, может быть, ты напитки во множестве принимал?

— Не особенно много. И пил и ел — обыкновенную порцию. Кажется, даже размышлял. А ты... размышлял?

— Да тоже... какой, однако ж, у нас разговор нелепый! Представь себе, если все-то начнут так жить, как ты зиму прожил... хороша история будет?

— Нельзя *всем* так жить: загвоздка есть. Мужик, например. Он, поди, пашет теперь, потом начнет сеять, навоз возить, косить, опять пахать, снопы убирать, молотить, веять. А зима наступит, повезет навееянное в город продавать, станет подати платить и, в воздаяние, будет набивать себе мамон толокном. Толокно — это наш главный государственный враг: он «баланец» портит! Подумай! сколько осталось бы к вывозу и как бы поднялся наш рубль, если б мужик мамона не набивал! Ну, да уж с этим надо примириться: ведь и мужичка надо пожалеть! Бдит, братец, он! а покуда он бдит, мы можем всяко жить: и так, как я зиму прожил, и в вечной мелькательной суеде, как живет, например, наш общий друг, Грызунов.

— Только скажу тебе прямо: по-твоему жить — значит пропасть.

— То-то, что для меня не ясно, каким путем удобнее пропасть, или, лучше сказать, как это устроить приличнее. Это-то я понимаю, что пропасть, во всяком случае не минешь, да сдается, что, по-моему-то живя, пропал человек — только и всего, а по-грызуновски мелькая, пропасть-то пропал, да сколько еще предварительно наладил!.. Вот этого-то мне и не хочется.

Глумов помолчал с минуту и продолжал:

— Вопрос о том, что лучше и целесообразнее, скромное лицепопечение или блудливая повадливость...

— Повадливость... да еще блудливая! — не удержался я, — почему ж непременно блудливая?

— Дай срок, все в своем месте объясню. Так вот, говорю: вопрос, которая манера лучше, выдвинулся не со вчерашнего дня. Всегда были теоретики и практики, и всегда шел между ними спор, как пристойнее жизнь прожить: ничего не совершив, но в то же время удержав за собой право сказать: по крайней мере, я навозной жижи не хлебнул! или же, погружившись по уши в золото, в виде награды сознавать, что вот, мол, и я свою капелюку в сосуд преуспеянья пролил...

— Постой! ты сразу так уродливо ставишь вопрос, что даже представить себе нельзя, к каким выводам, кроме произвольных, можно прийти при подобной постановке. Ну, что же может быть общего между деятельным участием в разрешении вопросов преуспеяния и погружением в золото?

— Фатум такой — только и всего. Вот это-то я и называю блудливостью; человек говорит о преуспеянии, а сам лезет прямой дорогой в навоз: что, мол, делать! без компромиссов нельзя! Я уж не говорю о тех практиках, которые погружаются в навоз, находя, что там уютно и тепло, но есть практики честные, которые действительно приходят с намерением сделать нечто доброе... знаешь ли, как они о своей деятельности выражаются? Они говорят: дело в преуспеянии, а не в том, что к нам пристанет нечисть; мы иксы и игреки, которые обязываются внести свою лепту и исчезнуть, — кому же какая надобность справляться, замараны они или не замараны? Оттого, мол, и запустение у нас идет, что люди, которые что-нибудь могут, предпочитают в светозарных одеждах ходить.

— Что ж, мне кажется, это рассуждение вполне правильное и честное!

— Я и не отрицаю; я только констатирую, что честные практики сами признают, что на практической почве не обойдешься без общения с нечистью. Да и не обойдешься. Практика, любезный друг, — это неволя, и притом самая горькая. Это не открытая арена, на которой человеческая мысль чувствует себя свободно, а загрубевшее и поросшее волчцами пространство, над которым властно тяготеет насилие и невежественность. Не с тем туда приходят, чтоб подчинить темные силы заветной идее, а с тем, чтобы подчинить идею темным силам и потом исподволь вызвать у последних благосклонное согласие хоть на какую-нибудь крохотную сделку. Оказывается, значит, что идею-то принесли богатую и плодущую, а в

жизнь ее провели сплюснутую, искалеченную. Выторговали на грош, а поступились на миллион. И поступились не поверхностным только образом, а ценою утраты человеческого образа. Это до такой степени правда, что те, которые поумнее, сунут нос, да и драло. Да ты, братец, вспомни! Небось и у тебя бывали в прошлом примеры... Припомни-ка да тогда и скажи, уродливо или неуродливо я поставил вопрос о слиянии практики с нечистью.

Я начал припоминать — и припомнил. Действительно что-то такое было. Помните, милая тетенька, мы, в конце пятидесятих годов, зазнали в Москве одного начинающего публициста («другом Грановского» он себя называл) — какая это, казалось, милая, симпатичная личность! И мыслей благородных прорпасть, и возвышенных чувств через край, и все это таким приятным слогом выражалось, что мы начитаться не могли. Вот он-то именно и говорил: что мы такое? Мы безвестные величины, которые всего меньше должны думать о себе и всего более об общем благе. И всех призывал к служению. Да! хорошее, доброе было это время!

И что же! не успели мы оглянуться, как он уж окунулся или, виноват — пристроился. Сначала примостился бочком, а потом сел и поехал. А теперь и совсем в разврат впал, так что от прежней елейной симпатичности ничего, кроме греческих спряжений, не осталось. Благородные мысли потускнели, возвышенные чувства потухли, а об общем благе и речи нет. И мыслит, и чувствует, и пишет — точно весь свой век в Охотном ряду патокой с имбирем торговал!

— Ты это об ком вспомнил? — обеспокоился Глумов, проникая в мою мысль.

Я назвал. Разумеется, обиняком.

— Брось! — рассердился он, — ишь ведь... не может забыть!

— Охотно забуду, — возразил я, — но ведь если мы подобные личности в стороне оставим, то вопрос-то, пожалуй, совсем иначе поставить придется. Если речь идет только о практиках убежденных, то они не претендуют ни на подачки в настоящем, ни на чествования в будущем. Они заранее обрекают свои имена на забвение и, считая себя простыми иксами и игреками, освобождают себя от всяких забот относительно «замаранности» или «незамаранности». По-моему, это своего рода самоотвержение.

— А позволь узнать, какое такое общее благо эти иксы и игреки с помощью своего самоотвержения получили?

— Как какое? — вспыхнул я, — а упраздненное крепостное право? а гласный суд?

Глумов окончательно рассердился.

— Ну, давай говорить. Отвечай: был ты в числе сочувственников и распространителей идеи об упразднении крепостного права?

— Был.

— И тебя не травили за это?

— Травили.

— Сочувствовал ты идее гласного судопроизводства?

— Сочувствовал.

— Травили тебя за это?

— Травили.

— А вот князь Букиазба̀ искони был заведомым крепостником, а его не только не травили, но преблагополучно пристроили к крестьянской реформе. Граф Твердоонтò был явным ненавистником гласного суда и чуть было этот суд совсем не слопал.

— Что ж из этого! и крестьянская реформа, и гласный суд все-таки остались!

— Это, любезный друг, уж сама жизнь оставила, а практика-то только того добилась, что ненавистников пристроила, а сочувственников всех поголовно перетравила. Те практиканты, которые на своих плечах эти вопросы вынесли, разве они не разбежались все?

— И все-таки повторяю: не в том важность, кто остался и кто исчез, а в том, что самое дело осталось.

— А ты думаешь, что оно так-таки в целости и осталось? В таком ли виде, например, ты его провидел и ожидал? не потщились ли Букиазба̀ и Твердоонтò вынуть из него сердцевину или, по крайней мере, настолько ее атрофировать, чтобы им можно было орудовать на всей своей воле? Нет, любезный друг, на практикантов надежда плоха. Родители-то наши полтора-два года сряду только и делали, что узелки на память завязывали. Завязали, ничем не обеспечили, да и бросили: пускай, мол, благодарные потомки как знают, так и развязывают. А мы эти узелки бережем, величие и основу в них видим. И никакие самые ловкие практики не заставят нас сказать им: развязывайте, господа! да поможет вам бог! Шутите, господа! пусть лучше совсем затянется узел, чем каких-то профанов к нему допустить! И если в этом случае ты надеешься на ловкость практиков, то, значит, ты очень наивен — и больше ничего.

— Ни на что я не надеюсь, а знаю только, что так жить, чтобы целая зима показалась яко ночь едина, совсем несвойственно.

— Это я и сам знаю, да как же быть? Вот мужик — тот всегда ровно живет, а мы...

Он не дожидаясь и совершенно неожиданно обратился ко мне с вопросом:

— Ты с теткой-то продолжаешь переписываться?

— Продолжаю.

— А она отвечает тебе когда-нибудь?

— Редко и несложно. «Целую тебя несчетно» — только и всего.

— Ну, так вот что. Напиши ты ей, что очень уж она повадлива стала. Либеральничает, а между тем с Пафнутьевым шепчется. «Помой» почитывает. Может быть, благодаря этой повадливости и развелось у нас такое множество гаду, что шагу ступить нельзя, чтоб он не облепил тебя со всех сторон.

Сказал и ушел.



Замечание Глумова на ваш счет застало меня несколько врасплох.

Неужели, милая тетенька, вы и в самом деле повадливы? Право, до сих пор и в голову мне этот вопрос не приходил.

Повадливость бывает двоякого рода: преднамеренная и легкомысленная. В которой из двух вы оказываетесь по-винною?

Преднамеренная повадливость свойственна тем практикантам, которые, как выразился об них Глумов, надеются пролить свою капельку в сосуд преуспеянья. По мнению Глумова, подобная повадливость нередко граничит с вероломством и предательством и почти всегда оканчивается урезками в первоначальных убеждениях и уступкой таких основных пунктов, отсутствие которых самую благонамеренную практику сводит к нулю. Или, говоря другими словами, полного вероломства нет, но полувероломство уж чувствуется.

В повадливости этой категории я, конечно, не решусь вас укорить. Вы — милая: это решено и подписано. Не только о вероломстве, но и о практике вы имеете лишь смутное понятие. Что такое «сосуд преуспеянья»? Зачем он и кому нужен? какие такие бывают вклады, лепты и проч.? Каким путем и что ими достигается? — все эти вопросы дошли до вас в виде отдаленного гула, из третьих-четвертых рук, и притом в самом недостоверном виде. Да и не нужно вам совсем об них знать, потому что вы призваны не для того, чтобы приводить в действие практику, а для того, чтобы служить для нее мишенью. Ради вас поступают люди убеждениями, ради вас вероломствуют. А вы, голубушка, только вздрагиваете и спрашиваете себя: на чем же, однако, они покончат? К какому придут относительно меня соглашению?

Если б вы даже хотели быть вероломною, то вас не допустят до этого. Право на практику и соединенное с нею вероломство (полное и неполное) есть своего рода привилегия, к обладанию которой допускаются лишь избранники. Ваша же привилегия «совсем другого сорта» и заключается в претерпении. Избранники выполняют свое назначение: устраивают компромиссы, входят в соглашения, заключают союзы, а вы несете на себе последствия этой деятельности и не возражаете. Что подобное положение не может быть названо лестным — с этим я готов согласиться, но чтобы следовало сокрушаться по этому поводу — этого не скажу. Думаю даже, что подвергаться практике все-таки пристойнее, нежели практиковать самому.

Тем не менее подобные сокрушения слышатся нынче довольно часто. Надоело сознавать себя пятым колесом в колеснице. Да, пожалуй, даже не колесом, а вольным шляхом, по которому колесница катается себе да катается взад и вперед. Мало привлекательного в этом сознании — это так; но все-таки, на случай, если вас чересчур пристигнет чувство обиды, советую вам спросить себя: хотели ли бы вы быть одним из четырех колес этой катающейся колесницы? Уверю вас, что не успеете вы формулировать ваш вопрос, как всю вашу обиду как рукой снимет.

Роль, на которую мы с вами осуждены, совсем простая. Нам предоставлено жить без забот о себе. Истуканы так живут. Их украшают сусальным золотом, их размалевывают и даже проводят по ним резцом штрихи, с целью сообщить чертам согласное с обстоятельствами выражение, а они молчат да молчат. Бывают между ними такие, которые находят, что все-таки лучше быть истуканом, нежели резцом, но бывают и такие, которые думают: вот когда меня окончательно размалюют — то-то заглядываться на меня станут! Но, по моему мнению, это уж гордость.

Итак, в преднамеренной повадливости я обвинять вас не имею основания. Но существует повадливость легкомысленная, сущность которой заключается не столько в деятельном распутстве, сколько в его укрывательстве и попустительстве. Нет явного сочувствия — скорее я допущу даже стыдливость, — но есть нравственная неустойчивость, которая вносит в отношения к жизненным явлениям элемент дряблости и недомыслия. Вот в этой-то повадливости не повинны ли вы, милая тетенька? Сдается мне, как будто нечто в этом роде сквозит...

Условий, которые благоприятствовали и благоприятствуют развитию в нас легкомысленной повадливости, существует кругом очень достаточно.

Припомню в нескольких чертах наше воспитание. Хотя в смысле буквальной правды и нельзя сказать, что мы с вами получили образование на медные деньги, однако в смысле правды внутренней именно только такое определение и можно назвать выражающим действительную суть дела. Денег на наше образование швырялось с три пропасты, но знаний на эти деньги приобреталось на грош. Люди, которые занимались швырянием денег, не имели понятия ни о том, что такое знание, ни о том, для чего оно нужно. Вся человеческая жизнь приурочивалась к целям, совершенно посторонним знанию, последнее же пристегивалось к ним, как составная часть обязательной привилегии. Конечно, мы уже не застали образовательной обстановки простаковских времен и только по устным рассказам (впрочем, от очевидцев) нам сделались известны такие личности, как г-жа Простакова, Тарас Скотинин и проч., однако ж Митрофанушку и теперь нельзя назвать анахронизмом. Ведь и на него не жалели денег, и у него целых три наставника было, а сверх того, была Еремеевна, на которой лежало общее руководство. Точно то же повторилось и с нами. Для нас нанимали целую уйму Вральманов, Цыфиркиных, Кутейкиных (конечно, несколько усовершенствованных), а общее руководство, вместо Еремеевны, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали нас коротенькими знаниями (был один год, например, когда я *одновременно обучался* одиннадцати «наукам» и в том числе «Пепину свинству», о котором недавно вам писал), а холоп высшей школы внушал, что цель знания есть исполнение начальственных предначертаний.

Сведения доходили до нас коротенькие, бессвязные, почти бессмысленные. Они не анализировались, а механически зубривались, так что будущая их судьба вполне зависела от богатства или бедности памяти учащегося. Ни о каком фонде, могущем послужить отправным пунктом для будущего, и речи быть не могло. Повторяю: это было не знание, а составная часть привилегии, которая проводила в жизни резкую черту; *над* чертою значились мы с вами, люди досужие, правящие; *под* чертою стояло одно только слово: мужик. Вот, чтоб не очутиться на одном уровне с мужиком, и нужно было знать, что Париж стоит на реке Сене и что Калигула однажды велел привести в сенат своего коня.

Мужик! ведь это что-то до того позорное, что достаточно одного сравнения с ним, чтобы заставить правящего младенца сгореть со стыда. Что локти на стол положил — точно мужик! что в носу ковыряешь — точно мужик! смотри, какой кусок в рот запихал — точно мужик! Так и гвоздили со всех сторон.

И что всего замечательнее: усерднее всех в этом смысле гвоздила Еремеевна. Ах, эти холопы! на какой бы служебной ступени они ни были поставлены, есть что-то горькое и слепое в их судьбе! Вечно пресмыкаться и вечно же видеть в этом пресмыкании нечто неизбежное, почти заслуженное!

С таким запасом знания школа ежегодно выбрасывала из своих недр тысячи юношей. Снабженные патентами, эти правящие юнцы переходили из малой казны в большую казну. Полученное скудное знание только в редких случаях давало позыв к дальнейшему самообразованию, в громадном же большинстве пробуждало лишь стремление как можно скорее и полнее воспользоваться добытою привилегией. Слава богу, «не мужик» — и будет с нас. Одной этой заслуги было вполне достаточно, чтобы признать человека способным и достойным. Все дороги открывались перед ним, дороги, уснащенные разнообразнейшими видами прав, привилегий, лакомств и наград. Понятно, какое несметное воинство шалопаев должно было оказаться в результате этой изумительной воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невежественность с системой поощрений и премий за оную.

Я не говорю, чтоб эти шалопаи были сплошь злые или порочные люди; я думаю даже, что, при легкомыслии тогдашнего воспитания, самое шалопайство не могло получить вполне злостного характера. И знаю многих, которые, с течением времени, опомнились. Но когда опомнились? — тогда, милая тетенька, когда старые корабли уже были сожжены, когда уйти назад в прошлое было нельзя, а идти вперед значило погрузиться в тот омут, в котором кишат расхитители, клеветники, сыщики и те неслыханные «публицисты», чудовищная помесь Мессалины и Марата, сумевшие соединить в своем ремесле распутство первой и человеконенавистничество последнего. Картина этой бесовской вакханалии до такой степени испугала их, что они оказались более чистоплотными, нежели можно было ожидать.

Но могут ли эти опомнившиеся предпринять какую-нибудь борьбу? да и не только они, но даже и те «лучшие», которые, переступив через школьный порог, сразу признали шалопайство шалопайством? К сожалению, на эти вопросы приходится отвечать отрицательно. И у тех, и у других багаж до того легок, что невольно приходит на мысль, действительный ли это багаж или только примерный, принесенный с целью хоть что-нибудь держать в руках. Вместо знания — сетования на недостаточность их, вместо сил — жалобы на бессилие. Я согласен, что все это очень опрятно, трогательно и даже трагично, но с чем же тут рудовать?

Но этого мало. Я утверждаю, что только действительное знание, действительный труд могут вполне истребить ту вредную закваску легкомыслия, которую привела за собой беззвучно-взлелеянная молодость. Только они могут заставить забыть те омерзительные вкусы, те пошлые привычки, которые накоплены годами привилегированного досужества. При отсутствии труда и знания никакие благородства не устоят, никакие раскаяния не помогут. Чувство самое искреннее не помешает пробуждению повадливости, которая на все намерения и стремления набросит покров неспособности и бессилия.

Недостаток знания восполнялся в нашем воспитании эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Бессодержательная, болтливая, с склонностью к округлению периодов и далеко не чуждая представления о безделице. В основе лежала ежели не прямо чувственность, то скоропроходящая, мало задерживающая, почти болезненная впечатлительность.

Эта впечатлительность наделала нам прѣпасть вреда; она бросала нас из стороны в сторону и, по временам, приводила туда, где нам совсем не следовало быть. Вспомните наши старые «связи» — какой разнообразнейший калейдоскоп они представляли! Это была какая-то неслыханная окрошка, в которую входили обрывки и отброски всевозможных мирозерцаний. И мы не только не формализировались уродливостью сочетаний, но были совершенно серьезно убеждены, что иначе и прожить нельзя. Была целая самостоятельная наука «о поддержании связей», наука, прямо вытекавшая из общего поветрия повадливости, которое мешало нам обособиться и сосредоточиться в самих себе. Эта наука была в свое время настолько же обязательна, как и та, которая учила, что высший признак благовоспитанности заключается в устранении всякого повода для сравнения с «мужиком».

«Надо поддерживать связи!» — восклицали мы вместе с Грызуновым, а Грызунов и теперь — стоит только в окно посмотреть — мечется, как угорелый, из дома в дом и одну только мысль в голове держит: надо поддерживать связи! надо!

И когда рассудок вступил наконец в свои права, когда он, с помощью целого ряда горьких искусов, доказал, что дружить направо и налево нельзя, а в особенности, когда сделалось вполне ясным, что торжествующая действительность окончательно опаскудилась, — тогда мы застыдились и предпочли остаться в рядах действительности неторжествующей. Но много ли можно насчитать таких, которые при этом воистину свергли с себя ветхого человека? много ли таких, в которых воспоминания о «связях» прошлого не пробуждают подавленного вздоха? Говоря по совести, подобные субъекты составляют

редкое, почти незаметное исключение, и я боюсь, милая тетенька, что и ваша жизнь, наравне с жизнью опомнившегося большинства, распалась на две половины, из которых в одной предьявляют свои права справедливость и стыд, а в другой все еще чувствуется позыв к шалостям (не решаюсь употребить более резкое выражение) прошлого.

Да, этот внутренний разлад несомненно существует. Шалости прошлого въедчивы; однажды войдя в плоть и кровь человека, они извлекаются оттуда тем с большим трудом, что в общепринятой номенклатуре носят наименование шалостей, а не преступлений. Когда перед глазами совершается грандиозное хищничество, предательство или вероломство, то весьма естественно, что такого рода картина возбуждает в нас негодование; но когда перед нами происходит простая «шалость» — помилуйте, стоит ли из-за пустяков бурю в стакане воды поднимать! Шалость, в понятиях большинства, есть нечто грациозное, симпатичное; шалость! — да ведь это почти терпимость! Вот угрюмость, несообщительность, изолированность — это другое дело. Это качества, которые, по общепризнанному шаблону, предполагают беспощадный фанатизм, говорят воображению о гонениях, пытках, кострах. Угрюмый человек — это бич, от которого нечего ждать, кроме ран и скорпионов, это язва, от которой следует бежать. Не нужно предательства, по не нужно и угрюмости. Шаловливый человек — вот истинный «средний человек», с которым в одну минуту насчет чего угодно сговориться можно!

Все истинно-государственные люди были слегка шалунами. Гамбетта — шалун, Бисмарк — шалун. Все рейхс и ландстаги, все парламенты наполнены людьми, которые спят и видят, как бы пошалить. Отчего же не пошалить и нам с вами?

Что вы охотно шалите, голубушка, — это ни для кого не тайна, хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не признаетесь в них. Однако ж обличить вас положительно не трудно.

Пишете вы, например, мне, что совсем порвали связь с Пафнутьевым, а об Мартыне Задеке будто бы и не слыхивали, а между тем мне достоверно известно, что потихоньку вы им обоим назначаете тайные свидания в рощице и что при этом нередко присутствует и Иван Непомнящий. С вашей стороны это, конечно, только шалость, а Пафнутьев пользуется этим и распускает слухи, что, в сущности, тетенька симпатизирует ему и только потому облекает свои симпатии тайною, что боится, чтоб не пронюхали о ваших свиданиях потрясатели основ и подрыватели авторитетов.

Или еще. Вы пишете: за кого ты меня принимаешь, чтоб я стала «Помои» читать! — а между тем мне достоверно извест-

но, что хоть одним глазком, а все-таки вы посматриваете в них. Ах, милая! видно, паскудство еще долго не перестанет быть соблазнительным! Все думается: вот сейчас сядет Ноздрев на пол и начнет проходящих женщин за подолы ловить! или: выйдет вперед Расплюев, с распухлой и распутной физиономией, и начнет рассказывать, какая вчера «игра была». Ну, не умора ли! и как хоть глазком на эту умору не посмотреть? А Ноздрев с Расплюевым пользуются этим и говорят: тетенька-то хоть и отрекается от нас, а все-таки свои пятаки нам отдает!

Вот, милая, какие последствия имеет шаловливость. Я только два примера привел, а если захотеть, какое множество других, еще более ярких, можно подыскать!

Хвалить вас за эту повадливость, конечно, нельзя, но следует ли считать уменьшающим вину обстоятельством ту тайну, в которую вы облакаете ваши шалости?

Я полагаю, что следует. Стыдливость, хоть и колеблющаяся, все-таки представляет послугу, которую, по всей справедливости, необходимо зачесть. Она подает надежду, что еще один шаг в этом направлении, еще одно усилие и...

Сделайте, милая тетенька, это усилие! Не ходите в рощу на свидание с Пафнутьевым, не перешептывайтесь с Мартином Задекою и не заглядывайтесь на публицистов, которые, только по упущению, отвлеклись от прямого своего назначения: выкрикивать в Охотном ряду патоку с имбирем!

Это мой последний совет вам.

И сам я до смерти устал, да и вам бесконечно надоел. И «повторениями», и «блудливым заигрыванием», и «отрицанием принципа нравственности».

Всеми этими замечаниями почтила меня «критика». А мы-то думали, что «критика» у нас пропала, а осталось только шалопайское подлавливание словечек и фраз, с уснащением восклицательными и вопросительными знаками.

Что ж! эти приговоры нимало не удивляют меня. Тем, которые позабыли о существовании благородных мыслей, кажется диковинным и дерзким напоминанием об них. Слышите! о благородных мыслях печалиться! Слышите! говорят, что жизнь тяжела! восклицают певцы патоки с имбирем, и так как у них нет в запасе ни доказательств, ни опровержений, то естественно, что критика их завершается восклицанием: можно ли идти дальше этих геркулесовых столпов кощунства и дерзости!

Само собой разумеется, что это совсем особого рода «кри-

тики», которые не могут заставить ни остановиться, ни отступить. По-прежнему, покуда хватит сил, я буду повторять и напоминать; по-прежнему буду считать это делом совести и нравственным обязательством. Но не могу скрыть от вас, что служба эта очень тяжелая.

Всего тяжелее действует в этом случае ваша повадливость. Тянет вас, голубушка, и к клевете, и к скандалу, и к этим пахучим издевкам, которые у нас носят название «критики» и «полемики». И хоть я убежден вполне, что вы отлично сознаете, что тут, кроме гноя, ничего нет, но, к сожалению, существует какой-то гвоздь, который мешает вам преодолеть вашу исконную шаловливость. А апологисты охотнорядских Маратов, благодаря вашей неосмотрительности, процветают себе да процветают под флагом благонамеренности.

Подумайте об этом, благо на дворе лето, а вместе с тем наступает и пора отдохновения (для других лето — синоним страды, а для нас с вами — отдыха). Углубитесь в себя, сбритесь с мыслями, да и порешите раз навсегда с вопросом о шалостях.

Скажите себе: попробую-ка я хоть на время позабыть о пропаганде сыска, клеветы и человеконенавистничества... Да, не откладывая дела в долгий ящик, и позабудьте. Увидите, что польза будет несомненная, да и сами вы почувствуете себя лучше, спокойнее духом, здоровее.

Сперва вы забудете на время, а потом, помаленьку да полегоньку, и совсем потеряете вкус к паскудству.

Я твердо убежден, что в делах современности от вас зависит многое, почти все. И даже не от деятельного участия вашего в жизненном круговороте, а просто от характера ваших отношений к жизненным явлениям. По-видимому, вы даже не подозреваете, что вы — сила, а между тем нет истины бесспорнее этой. Сознajte же свою силу, но не для того, чтоб безразлично посылать поцелуи правде и неправде, а для того, чтоб дать нравственную поддержку добросовестному и честному убеждению. Право, без этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное.

Быть может, тон настоящего, *последнего* моего к вам письма, до известной степени, изумит вас. Сравнивая его с первым, написанным почти год тому назад, вы не без основания найдете, что тетенькино обличье, с течением времени, несколько видоизменилось. Начал я с безусловных любезностей, а кончил чуть не нравоучением...

Да, это так: не могу я похвалиться выдержкою. По мере того, как намеченная задача развивается передо мной, она настолько проникает меня, что требования мои к ней постепен-

но растут и растут. Но так как одновременно с этим растет и самая задача, то я полагаю, что худого в этом нет. Именно это самое случилось и по вашему поводу. В течение года, *в моем мнении* вы настолько выросли, что первоначальные приемы родственной любезности представляются мне уже недостаточными. Нужно ли прибавлять, что от этого вы не только не подурнели на мой взгляд, но даже похорошели.

Затем передайте мой сердечный привет вашим домочадцам и прощайте. Sapienti sat¹.

Но знаете ли вы, милая тетенька, что означает «sapienti sat»?

Май 1882 г.

¹ Умный поймет.

**ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ
И НЕОКОНЧЕННОЕ**

ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ

<ПИСЬМО ТРЕТЬЕ, РЕДАКЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ ЦЕНЗУРОЙ>

III

Знаете ли, что я выдумал, милая тетенька? — Обратимся-ка мы к содействию общества.

Я слышу отсюда, как вы восклицаете: «Ах, опять эти бредни!» — Нет, это не бредни, мой друг. Коли хотите, это небольшое лганье, но не бредни... отнюдь! Ведь мы устроим наше предприятие не как-нибудь, а умненько. Не будем обязываться ни временем, ни местом, вообще никакими формами, а просто кликнем клич. Господа обыватели! милости просим! чем богаты, тем и рады!

Высказывайтесь. Но чур! высказываться не сговариваясь, а вразброд; не через зачинчиков, а каждый за свой счет; не задавая превратными толкованиями, а попросту, без затей; не настаивая, но предоставляя... Ибо лишь под условием полной независимости «содействий» можно различить, у кого за душой грош, а у кого и совсем нет ничего.

Но для чего же это содействие нам понадобилось? — удивитесь вы.— А для того, голубушка, чтобы прикрыться и прожить. Правда, до сих пор мы и без «содействий» были живы, но нынче так вышло, что, с помощью одних столоначальников, жить как будто стало зазорно. Чиновничество-то, ведь оказывается, не благоустроило нас, а погубило. Бессильное в делах устройства и неблагопоспешное в делах строгости и скорости, оно легкомысленно просмотрело исчезновение наших краеугольных камней и не приняло соответствующих мер к упрочению наших основ. Вместо того чтобы смотреть в оба, оно, своим гнилым либеральничаньем, положило основание смуте, грозящей обществу разрушением. И, кроме того, оно же заслонило собою живую и здоровую Русь. Так обратитесь же к ним, к этим непочатым и неспорченным русским силам, которые не знают ни превратных толкований, ни ватерклозетов, ни конституций — ничего, занесенного к нам с гниющего Запада! Пусть они скажут свое трезвенное слово, пускай помогут нам в деле восстановления потрясенных основ!

Так вопиют все современные русские мудрецы: и те, которые заражают своим дыханием воздух Москвы, и те, которые собственным иждивением издают брошюры в Берлине и Лейпциге. А нам с вами это подавно на руку, потому что мы и прежде были известны, как люди, при которых «содействий» плохо не клади. Стало быть, и прекрасно. Распоясывайтесь же, неиспорченные силы! Сказывайте, какие за вами есть трезвенные слова! Только, повторяю: не скопом, а каждый пусть ра- стабарывает за себя.

И вот, на наш клич изо всех щелей выползают «содействователи». Первым выступает Иванов, который наивно думает, что «потрясение основ» спрятано у кого-нибудь в кармане, и потому предлагает всех обыскать. Лично за себя он не боится. С одной стороны, душа его чиста, как только что вычищенная выгребная яма; с другой стороны, она до краев наполнена всяческими готовностями, как яма, сто лет не чищенная. Естественно, что он горит нетерпением показать свой товар лицом. Следом за Ивановым является Федотов — этот когда-то был высечен своими крепостными людьми и никак не может об этом забыть. Поэтому утверждает, что только власть сильная и вооруженная карами может удержать Россию на краю пропасти. За ним выходит на сцену Пафнутьев (тоже был своевременно сечен) с обширной запиской в руках, в которой касается вещей знаемых (с иронией) и незнаемых (с упованием на милость Божию). И в заключение бормочет, что, ради спасения общества, гнилое и либеральничающее чиновничество следует упразднить, а вместо него учредить «средостение», споспешествуемое «оздоровлением корней». За Пафнутьевым идут разных шерстей ублюдки. Во-первых, маркиз Шассе-Крузэ, который сетует на то, что, живя безвыездно в курском имении, только он с семьей да с гувернанткой-немкой и посещает храм Божий. Во-вторых, барон Ферфлюхтер, который ни на что особенно не сетует, но язвительно спрашивает: почему же ничего подобного не примечается в Остзейском крае? И, наконец, князь Мирза-Мамай Тохтамышев, который пишет кратко: «Иштó з нами изделалось — ннэпаннамаю!»

Вот какое богатство «содействий» сразу на свет Божий выползло. И что хочешь, то с ними и делай! Хочешь — величественное здание общественного благоустройства воздвигай; хочешь — в помойную яму вали! Но я, с своей стороны, полагаю: в помойную яму ближе.

И что в особенности дорого: за каждым Ивановым — масса Ивановых; за каждым Пафнутьевым — легионы Пафнутьевых. И все в один голос каркают: обыскать! в бараний рог согнуть! к одному знаменателю привести! Какое величественное зре-

лице! и как должны быть счастливы мы с вами, тетенька, что догадались отыскать выход благонамеренному огню, сожигающему сердца этих не весьма изобретательных людей!

Но ведь вы и опять, пожалуй, возразите. Неужели, однако ж, скажете вы, в плотной массе Ивановых не найдется таких, которым небезызвестны и другого рода слова? — Не спорю; вероятно, где-нибудь такие Ивановы и ютятся; так ведь это, мой друг, Ивановы *не* благонамеренные, которых содействие нам не нужно. Каким же образом они *найдутся*, коль скоро никто их не *ищет*?

Заметьте раз навсегда: когда кличут клич, то из нор выползают только те Ивановы, которые нужны, а те, которые не нужны — остаются в норах и трепещут. Это само собою так делается, ибо таков естественный закон благоустройства и благочиния. И, надо прибавить, закон очень целесообразный, потому что он устраняет разномыслие и подтверждает вожделенное «единение», с присовокуплением (в небольшой дозе) «средостения» и (больше чем нужно) «оздоровления корней». Благодаря этому закону трепещущие Ивановы безмолвствуют, а дерзающие Ивановы славословят: всех в три кнута жары! И затем, так как только одни эти славословия и слышны, то совокупность их и составляет то «содействие», которое должно нас удовлетворить.

Да, милая тетенька, «жары!» — таков смысл современных содействий. Всех жарь, а в том числе и их, прохвостов. Тем-то и хороши наши Ивановы, Пафнутьевы и проч., что они не только чужой, но и своей шкуры не жалеют. А не жалеют они своей шкуры отчасти потому, что таково ее провиденциальное назначение, отчасти же потому, что если им одну шкуру спустят, то мигом нарастет другая. Эта последняя уверенность до такой степени окриляет их, что они подставляют свои спины почти играючи.

Ввиду столь беззаветной готовности, что надлежит предпринять? — Не знаю, как вы, милая тетенька, а я положительно утверждаю: жарить — только и всего. Во-первых, ведь и мы с вами, когда эту кампанию предпринимали, — разве мы не молили втайне у судьбы: ах, кабы вышло «жарить!». А во-вторых, этого, очевидно, требует современный «общественный гений».

Во всяком случае, достоверно известно, что «содействие общества» ответило нам словом: жары! Небольшое, но золотое это слово. Кроме того, что к нему все испокон века привыкли, самое содержание его до такой степени просто, что достаточно быть заурядным прохвостом, чтобы осуществить его во всех частях. А главное, оно дает нам отличнейшую точку опоры для

воздействий в будущем. Отныне никто уже не обвинит нас в произволе, потому что на все обвинения мы ответим прямо: за нами стоит «общество»! И ежели затем, сильные общественным содействием, мы напишем на нашем знамени: жарь! — то эхо долин может уже сколько угодно перекачивать это слово из одного конца России в другой, и мы не будем иметь надобности краснеть.

Право, с такими «содействователями» жить еще можно, но только, разумеется, чтобы никто не видал. Увидят — засмеют... а нам что за дело! Мы будем свое долбить: жарь! да, пожалуй, ради прилику слегка понатужимся, будто бы собираемся нечто родить, а прохожие, видя эти потуги, будут ахать: вот как тетеньке трудно! соком, должно быть, «содействия»-то наши из нее выходят! Смотришь, ан годик-другой между разговоров и пройдет!

А все оттого, что мы с самого начала это дело умно повели. Соблюди мои условия времени и места, собери Ивановых чередом, да предоставь им выбрать из своей среды зачинщиков — совсем другое бы вышло. Иванов — он на народе конфузлив. Поставь его на юру, да заставь всенародно признаваться — у него язык, пожалуй, к гортани прилипнет или же такое что-нибудь внезапное возвестит, что у нас с вами и уши завянут. А в рассыпную, да ежели притом он удостоверен, что никто об его подвигах не проведаст, он все, что от родителей слышал, то и выложит.

Не скрою от вас, однако ж, что как ни безобидным кажется это простомысленное единогласие, но находятся уже люди, которых и оно начинает тревожить. И не простецы какие-нибудь, как, например, мы с вами, а люди опытные, искушенные жизнью. Слово «жарь» напоминает им нечто приказательное, вроде *mandat impératif*¹, да и самое единомыслие представляется назойливостью, могущею перейти в своеволие и стеснить свободу воздействия. Чего бы, кажется, проще сказать: «что угодно?» — говорят они, — и скромно, и благородно, и без хлопот... Так вот нет же, словно сбесились... «жарь!» крамольники!

В числе таких прихотливых людей оказался и Ноздрев — помните, Ноздрев, с которым мы когда-то познакомились у Гоголя. Не пугайтесь, однако ж; это — далеко уже не тот буйн Ноздрев, которого мы знавали в цветущую пору молодости (помилуйте! на балу сел на пол и ловил дам за подолы!), но солидный, хотя и прогоревший консерватор. Штука в том, что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно удач-

¹ наказа избирателей депутату.

ный донос, который сначала обратил на него внимание охранительной русской прессы, а потом дальше да выше — и вдруг в нем совершился спасительный переворот! Теперь он пьет только померанцевку, трактиры посещает исключительно ради внутренней политики и обе бакенбарды содержит одинаковой длины и одинаковой пушистости. Словом сказать, стоит на высоте положения и нимало не тяготится этим.

Встретились мы с ним на днях на Невском, и, признаюсь вам, первым моим движением было бежать. Однако вижу, что малый-то серьезный, того гляди, городского кликнет; делать нечего, подошел и начал льстить (ужасно во мне эта черта в последнее время обострилась, и все оттого, что комиссия, занимающаяся шкурным вопросом, до сих пор не привела своих трудов к окончанию). Прежде всего, разумеется, вспомнили, как мы с ним и с Чичиковым (вот истинный-то охранитель был! и как бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постоялом дворе ели; потом перешли к Мижуеву...

Ах, тетенька, какое это волшебное время было! Представьте себе: тогда поросенка под хреном на постоялом дворе можно было достать! И можно было видеть мужика, который «ел добры щи и пиво пил!» Где это было? в какой губернии, в каком уезде? и кто в то время был в том месте становым приставом? Признаюсь, у меня даже голос дрогнул при мысли, что все эти факты прошли у нас перед глазами и что они возникли без малейшего участия земства, единственно по маанию волшебника-станового...

Но едва я осведомился об мижуевском здоровье, как Ноздрев почти с нетерпением прервал меня:

— Ну, что там про Мижуева вспоминать! Известно, в земстве больничные рукомойники лудит! Вы лучше про меня спросите! Ведь я, батюшка, охранителем сделался-с! В «деятели» попал! в деятели... да-с!

И он рассказал мне все по порядку. Как, для начала карьеры, он сделал донос; как это блестящее дело обратило на него внимание; как, вследствие этого, он попал в члены (неплатящие) «Общества частной инициативы спасения», как первый возбудил мысль о «содействиях» и после того был выбран в учрежденную при «Обществе» комиссию для разбора обывательских содействий.

— Теперь я состою главным делопроизводителем этого учреждения, — прибавил он солидно, — получаю прекраснейшее содержание, пользуюсь любовью подчиненных и, ежели пожелаю, могу жениться на купчихе с хорошим состоянием.

Некоторое время я слушал его и ничего не понимал. Я даже заглянул ему в лицо, чтобы удостовериться, обе ли бакен-

барды у него целы. Но он смотрел так ясно и, по-видимому, был так уверен, что земля, что бы он ни говорил, не разверзнется под ним, что мне ничего другого не оставалось, как сказать себе, что, по крайней мере, на этот раз он не врет.

Вообще говоря, я не любопытен. Но нынче такое любопытнейшее время настало и такие любопытнейшие люди на сцену выступили, что, право, какого хотите равнодушного человека ожжет. Делать нечего, завернули в трактир и взяли особенный кабинет. Затем рюмку померанцевки, подовый пирог: признавайся!

И начал он мне, милая тетенька, сказки рассказывать...

— Комиссия наша,— говорит,— учреждение не частное, но и не казенное. С одной стороны, как будто частное — но с субсидией; с другой стороны, как будто казенное — но с тем, чтобы никому об этом не говорить. Для начатия действий у нас открыто только два отделения: одно под названием «Что Нужно?», а другое под названием «Что Ненужно?» В ближайшем будущем предполагается, впрочем, открыть еще третье отделение, под названием «И Да и Нет, или: Ненужное не нужнее ли Нужного?» Но так как финансы нашего «Общества» не особенно густы, то, до поры до времени, дела этого отделения отчасти оставляются без рассмотрения, отчасти же распределяются между сторожами, под руководством отставного архивариуса, у которого написано на лбу: «Что сей сон значит?»

— Ноздрев! вы врете! — не удержался я.

— С места не сойти, коли лгу! Да вы, милый человек, не кипятитесь, а лучше велите-ка сразу графинчик на стол поставить. И мне поваднее будет, да и половому не придется за каждой рюмкой в буфет бегать.

— Что графинчик! хоть целую батарею, только, сделайте милость, рассказывайте!

Он выпил, одну за другой, три рюмки, обсосал усы и продолжал:

— Ну-с, так вот. Поустроились мы для начала, да и объявили конкурс. Господа обыватели! Что нужно? Чего не нужно? «Ответствуй, друг! реши мое сомненье!» Посодействуйте! Думали, значит, что десяток-другой выскочит — и шабаш! ан, вышла неожиданность. Не успели объявить, как их словно прорвало, отовсюду так и лезут! Из Карасубазара, и из Пинегы, и из Челябины, и из Копыса; словом сказать, целый бунт!

— Об чем же они пишут?

— Да все одно слово долбят: жарь! Только непременно всякий при этом какую-нибудь сказку скажет. Один пишет:

«А еще присовокупляю, что до приведения в порядок умов необходимо все учебные заведения закрыть». Другой присовокупляет: «Изложив все сие по сущей совести, повергаю себя и свою семью, из собственных малолетних детей и сирот племянников состоящую, на усмотрение». А третий, пользуясь сим случаем, шлет донос на соседа-помещика, на попа, на сельского учителя...

— Какой, однако ж, прекрасный наплыв чувств!

— Нда... наплыв! И мы тоже сгоряча думали, что наплыв...

— Послушайте! да неужто даже этого мало?

— «Мало»! не мало-с, а нахально, возмутительно — вот что-с! Скажите на милость... жары! как будто и слов других в русском лексиконе не нашлось! Приказывать изволят! а? ведь это уж не содействием пахнет, а «разнузданностью страстей»! Без них, изволите видеть, не знают! ах ты, сделай милость! А ежели жарить, по обстоятельствам, признается неудобным? а ежели для такой операции не имеется в виду достаточно опытных исполнителей? а ежели, по обстоятельствам...

— Но ведь они и некоторые практические меры предлагают. Доносят на учителей, на попов, советуют закрыть учебные заведения, произвести всенародный обыск, учредить средостение, оздоровление корней...

Но Ноздрев не слушал меня. В пылу негодования, он опрокинул в рот новую рюмку водки, и так несчастливо, что поперхнулся и весь посинел. С полчаса двое половых колотили его в загривок, пока наконец выходили.

— Порросята! — продолжал он в иступлении, — ласки не понимают! снисхождения оказать нельзя! Язык, изволите видеть, отвалится «как угодно» сказать... Кррамольники!..

— На чем же, однако, вы порешили? — спросил я, весь сжимаясь от страха при виде этого неожиданного иступления.

Ноздрев уже разинул рот, чтоб продолжать свой рассказ, как случилось нечто, совсем неожиданное. В дверях показалась и сейчас же, впрочем, скрылась чья-то голова, и Ноздрев, увидев ее, вдруг побледнел. Затем он как-то судорожно заторопился, схватил двугривенный, который я плохо держал в руках, и не успел я крикнуть: «Держи! лови!», как он уже был за порогом трактира.

Внезапный перерыв разговора, столь благоприятно начавшегося, весьма меня огорчил. Во-первых, я намеревался еще поспорить с Ноздревым и доказать ему, что он чересчур прихотлив. Во-вторых, меня очень интересовало знать, как посту-

пит он с простодушными содействователями, которых усердие, им же самим вызванное, перешло, по его мнению, в «разнузданность страстей». В-третьих, наконец, мне чуялось, что он далеко не все мне открыл и что за фантастическими формами, в которые он облек свой рассказ, скрывается какое-то ядро, которое было бы нелишне раскусить. Раскусить и, разумеется, сейчас же выплюнуть.

Коли хотите, негодование Ноздрева на резкий характер современных обывательских содействий не лишено было известной доли основательности, потому что ежели поставить рядом выражения «жарь» и «как угодно», то, конечно, придется отдать преимущество последнему. Слово «жарь» (особливо в тысячекратно повторенном виде) имеет в себе нечто принудительное, почти революционное. Оно декретирует целую систему, и притом декретирует устами таких людей, которые до сих пор ели из одного корыта с поросятами. Понимают ли эти люди значение произносимого ими возгласа, могут ли они уяснить себе, сколько новых расходов потребует его осуществление — это более чем сомнительно. Я, по крайней мере, думаю, что они потому только и выкрикивают: жарь — что слышали, как их родители то же самое слово провозглашали, *pro domo sua*, на конюшнях и псарнях. Но они положительно не понимают, что жарить не всегда удобно и возможно, что всеобщее сечение потребует целую армию исполнителей с новыми штатами и приличествующим содержанием и что, во всяком случае, требование, выраженное в форме столь резко обязательной, должно стеснять свободу воздействия и вследствие этого казаться опасным. Ибо стоит лишь стать на покатошь, а там уж оно и само собой под гору пойдет. Сначала кричат: «Жарь!», а потом, пожалуй, будут кричать: «Довольно жарить!» Понятно, что подобного рода перспективы не могут не тревожить таких опытных знатоков человеческого сердца, как Ноздрев.

Но, с другой стороны, Ноздрев не прав в том отношении, что хотя, с точки зрения удобства, выражение «как угодно» и не оставляет желать ничего лучшего, но из него, как ни верти, все-таки никакого действительного «содействия» не выжмешь. Коли хотите, это — почтительное подтверждение накопленной веками мудрости, это — прекрасный порыв благодарного чувства, но и только. Тогда как слово «жарь», в одно и то же время, заключает в себе идею содействия и идею подтверждения. Что оно грубовато и не стоит выеденного яйца — это несомненно; но и это следует приписать не разнузданности страстей, а скорее незаконченности наших бытовых форм, невыработанности обывательской фразеологии и недостатку вообра-

жения. Ноздрев и сам не сказал бы ничего другого, если б стоял у корыта, от которого самовольно отлучился; но так как он добрался до яслей, то и возмечтал, что оттуда какие-то горизонты видит. Однако, в сущности, он видит такую же фигу, какую видят и прочие современные фиговидцы, и только трактирные пропойцы могут верить, что он имеет в виду спасение общества. А потому и сдается, что в действительности прав-то не он, а простодушно-грубый Иванов. Ибо последний чутьем угадал, что нужно, и сумел эту нужду облечь в приличествующую ей форму.

Но, во всяком случае, если бы даже слово «жарь» и признано было лозунгом, знаменующим приближение разнузданности страстей, то, по мнению моему, было бы совершенно достаточно заметить Ивановым, что они чересчур уж распелись и что дальнейшее их пение в том же революционном смысле будет мгновенно подавлено силою оружия. Тогда они сами догадаются, что зашли далеко, и будут наново редактировать свои «содействия» приблизительно в таком роде: «жарь, а впрочем, как угодно». И все обойдется благородно. Но было бы в высшей степени несправедливо и даже жестоко подвергать их за сие расточению, как это, по-видимому, намеревается пропагандировать Ноздрев. Не политично отталкивать от себя детей природы, хотя бы последние, по незнанию орфографии и знаков препинания, и допустили некоторые невежества. Пускай лучше в воздухе нехорошо попахнет, нежели огорчать невинных людей, которые чем богаты, тем и рады. Ибо ежели мы таковых от себя отженем, то на ком же будем осуществлять опыты «средостения» и с кем предпримем труд «оздоровления корней»? Да и кто же, наконец, черт побери, пойдет, кроме них, в товарищи... к Ноздреву!!

Ах, это «оздоровление корней»! вы не можете себе представить, голубушка, как мне его хочется! Думается, что как только оно осуществится, так сейчас же исчезнут с лица земли и пустомысленные риторы, и всуе трубящие трубачи, и шипящие жабы, одним словом, все, что с такою безнаказанною назойливостью наполняет современную атмосферу миазмами смуты и мятежа. Подумайте, милая! когда же, в самом деле, трепетам-то нашим конец настанет? когда наступит пора производительности и исследования и прекратится пора ядовитых шипений, науськивающих содействий и пустопорожних трубных звуков? Ведь уж не о «бреднях» идет речь — ах, что вы! — а о простом, простейшем «житии», о самой скромной уверенности в завтрашнем дне. Шекспиры, Данты, Шиллеры, Байроны! вы, которые говорили человеку о свободе и напоминали ему о совести,— не до вас нам! Мы до того ошалели, что, если бы вы

явились в эту минуту, мы, не обвиняясь, причислили бы вас к лику «мошенников пера» и «разбойников печати»! Не вы теперь нужны, а городовые — что ж делать! как-нибудь проживем и с ними! Но пускай же судьба избавит нас хоть от шипений и подлых трубных звуков, благодаря которым нет честного человека, который не носил бы тревоги в сердце своем.

Итак, начало «содействию» положено и находится в опытных руках Ноздрева. Но какое же дальнейшее развитие «Общество частной инициативы спасения» предполагает дать своему предприятию? Ведь не ограничится же оно, в самом деле, занесением на свои скрижали слова «жарь»! Как хотите, а этого недостаточно. История наша в последнее время так быстро шагнула вперед, так много представила непредвиденных и своеобразных фактов, что для разрешения их нужны уж не слова, не отвлеченности, не теории и даже не угрозы. Нужна — «организация», такая «организация», которая непосредственно давала бы практические результаты, которая «жарила» бы не словом, но прямо оставляя знаки на теле. Только тогда, когда содействие явится в форме подобной «организации», только тогда его можно будет назвать подлинным «содействием». Спрашивается: созрело ли какое-нибудь предприятие в этом роде? Разделены ли обыватели на овец и козлищ с тем, чтобы первые пребывали в надежде на сложение недоимок, а последние в унынии ожидали решения своей участи?

Предаваясь этим размышлениям, я уныло доедал свой бифштекс, как вдруг почувствовал, что на моем плече покоится чья-то рука. Оборачиваюсь — половой! Ах, тетенька! все мое столбовое дворянство так во мне и вскипело! И знаете ли, какая мысль прежде всего осенила мою голову? это мысль: как они, однако ж, забылись с тех пор, как пошли толки о средостении и оздоровлении корней!

Да, милый друг. Сегодня он руку на плечо «гостю» положит; завтра — развалится против него на стуле и спросит: а «Московские ведомости» читали? послезавтра — будет испытывать, согласного ли с ним гость образа мыслей, и ежели дело покажется ему не совсем ясным, то подаст ему вчерашнюю разогретую котлетку и скажет: а свежие котлетки тем, которые почище! И будет у нас тогда братство и равенство, а свобода и прежде была.

К счастью, однако ж, дело разрешилось довольно обыкновенным образом.

— Не изумляйтесь, — сказал он мне, — я только временно являюсь в образе полового; в действительности же, я — статский советник и кавалер...

— С кем я имею честь говорить? — прервал я его, в испуге не расслышав его слов.

— Статский советник Расплюев,— повторил он,— член «Общества частной инициативы спасения», как и Ноздрев, который так поспешно от вас сейчас скрылся. А скрылся он, очевидно, потому, что струсил, что я подслушал ваш разговор.

Тетенька! я даже не берусь определить то чувство, которое овладело мною при известии, что мой разговор подслушан. Я помню только, что испуганно осматривался кругом, и мне казалось, что я нахожусь не в трактире, а в каких-то волшебных чертогах, где невидимо реют в воздухе добрые и злые духи, испытывая не только разговоры «гостей», но и сокровенные их помышления. И еще помню, как в сердце мое заползала тоска, и я, в порывах шкурной истомы, мысленно восклицал: в кои-то веки занесла меня несчастная звезда в трактир — и вот я должен погибнуть! Погибнуть в цвете лет и надежд за какой-то праздный разговор о «содействиях», которого я лично даже не возбуждал и в который соблазном вовлек меня Ноздрев!

А Расплюев между тем, словно читая в моих мыслях, говорил:

— Нынче в трактиры следует ходить с осмотрительностью! Нынче и трактирщики, и прислуга — все набраны из членов нашего общества, с целью изучить современное настроение умов. Вон этот половой, которого сейчас в коридоре Тимофеем кликнули,— вы думаете, что он Тимофей? — Нет, он только здесь, при исполнении обязанностей, Тимофей, а у себя дома и вечером в клубе он — князь Сампантрè!

— Как! тот самый Сампантрè?! — воскликнул я в изумлении.

— Тот самый. А вон тот, что в прихожей, при шинелях стоит,— это Амалат-бек.

Объясняя это, Расплюев играл салфеткой, ловко перебрасывая ее (на парижский манер) с одной руки на другую. Что же касается до меня, то я до того растерялся, что не нашел ничего другого сказать, кроме:

— Послушайте! ведь Амалат-бек-то, должно быть, глуп?

К счастью, однако ж, восклицание это не только не обидело его, но даже упростило наши отношения.

— Это в нем восточное,— объяснил Расплюев совершенно естественно,— а вот Сампантрè глуп, так это в нем западное. Выбирайте любое.

— И тем не менее оба наблюдают за настроением общества?

— Наблюдают. И даже докладывают. «Ужас, говорят, что

происходит!» Ну, и прочие Амалат-беки, наслушавшись их, тоже в ужас приходят!

— В чем же, однако ж, ужас-то?

— Да как вам сказать? Мода нынче на «ужасы» пошла. Консерваторы думают, что их радикалы поедят, радикалы — что их слопают консерваторы. Сидят и ужасаются. Только и всего.

— Ну, а вы как насчет «ужасов» думаете?

— Я вообще насчет всего — вольного образа мыслей. Ужас так ужас... наплевать! Это еще покойный Кречинский мне заповедал. Коли хочешь быть счастливым, — сказал он, — имей вольный образ мыслей! С тех пор я и держусь этого правила. Другой бы недели с Амалат-беком не выжил, а я — живу.

— Какую же вы роль между ними играете?

— Я-то? а ни много, ни мало, состою делопроизводителем комиссии «Оздоровления корней»...

— Однако ж!

Я с невольным благоговением взглянул на этого человека, на лице которого, по собственному его свидетельству, не было места, где не оставила бы по себе следа человеческая пятерня, и который тем не менее не задумался подъять на свои рамена тяжелое бремя оздоровления корней. Мне казалось, что, говоря с ним, я стою у самого порога той загадочной храмины, на дверях которой написано: «ГАЛИМАТЬЯ». Там, за этими дверьми, в смятении мечутся сонмища Амалат-беков, пугая друг друга фантастическими страхами и изнемогая в тщетных усилиях отыскать какую-нибудь комбинацию, в которой они могли бы утопить гнетущую их панику. Злые сердцем, но нищие разумом, жестокие, но безрассудные, они сознают только требования своего темперамента, но не могут выяснить ни объекта своих ненавистей, ни способов отмщения. И вот, их взоры обращаются к Ноздреву и Расплюеву. Ноздрев — лихой, Расплюев — организатор. Ноздрев — талант, в котором скверномысленная выдумка зарождается естественно, без усилий; Расплюев — человек рассуждения, который своей службой у Кречинского доказал, что он — устроитель по натуре. И, что дороже всего, оба — распутные. Стало быть, оба пойдут навстречу всяким паскудствам, и оба, в случае надобности, могут заслонить своими телами нищих духом Амалат-беков.

Но, само собой разумеется, что оба же, по распутству, могут и предать.

В судьбе Ноздревых и Расплюевых есть нечто фатально двойственное. С одной стороны, в их природу так глубоко залегла потребность быть в услужении, что они готовы, в пользу «господина», изнушать себя, рисковать своим настоящим и

совсем не думать о своем будущем. И все это они проделывают не ради «сладкого ества», а за грош; не во имя предвзятой мысли, а бессознательно, как бы побуждаемые какой-то фантастической палкой, которая гонит их все вперед да вперед. Но, с другой стороны, никто и не предает так свободно, как они. Изнурение — это долг; предательство — отдохновение, досуг. Как только Расплюев чувствует себя свободным от услужения, он начинает судачить и предавать. Он, который за минуту перед тем хладнокровно перервал горло совершенно постороннему человеку, он первый, в последующую минуту, расскажет во всеуслышание всю процедуру этой операции и первый же наглумится над Амалат-беком, для надобности которого он ее совершил. В мире благоустройства и благочиния таких людей пропасть, и все они умирают в нищете, но и на одре смерти хвастаются, судачат и предают...

Огорчаться ли этими несомненными признаками распутства или утешаться ими, яко ограждающими «житие»? Вот в чем вопрос. Но вы, конечно, не требуете от меня ответа на него. Мне кажется и то уже достаточно горьким, что подобные вопросы могут возникать, не потрясая человеческой совести в самых ее основаниях.

— Так вот как-с,— продолжал между тем Расплюев.— Значит, господин Ноздрев вам уже кое-что сообщил... Продолжения желаете?

— Если вас не затруднит...

— В чем же это может меня затруднить? Мне бы, признаться, в этой чепухе только до нижегородской ярмарки перетерпеть, а там меня уж Утешительный¹ ждет. А вам оно, как литератору, пожалуй, и не без пользы будет. Грешный человек, люблю я литературу. Еще покойный Кречинский меня к ней приучил. Помни, Расплюев, говорит, бывало, что тебе придется быть с людьми комильфо, стало быть, и ты должен иметь «ум здравый, сердце просвещенное». Да, ловкий человек был покойник! Много я от него узнал, а между прочим, и об Амалат-беках он предсказал. «Попомни, говорит, мое слово, Расплюев! не пройдет и десяти лет, как у нас на Руси сначала кузька разведется, потом саранча полетит, а наконец, и Амалат-беки». Так все по его и случилось.

— Кстати, а как давно Кречинский умер?

— Да лет шесть-семь назад. И самую настоящую смертью умер. Метал на ярмарке банк, передернул и получил подсвечником в висок. Тут и душу отдал.

¹ Действующее лицо в «Игроках» Гоголя. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

— Так уж вы, пожалуйста, расскажите...

— С удовольствием. Надо вам сказать, что всю эту историю о «содействиях» затеяли Амата-беки. Сословие это у нас не новое, но прежде оно как-то держалось в стороне, около ресторанов и увеселительных заведений, а нынче уж стало заниматься внутренней политикой. Образование Амата-беки получили более, чем умеренное. Из географии знают только города Европы, где были «счастливы», из истории — слышали, «que nous dansons sur un volcan»¹. В области прочих знаний знакомы лишь с «наукою о подмывании лошадям хвостов», но и тут не следят за новейшими в этой сфере открытиями, представляя это вахмистрам и денщикам. Каким образом эти люди напали на мысль, что их настоящее дело внутренняя политика, — это я вам объяснить не умею, но, представьте себе... напали!

— Но, представьте себе... напали! — машинально повторил за ним и я.

— Напали — и, разумеется, обеспокоились. Куда ни взглянут — везде крамола. Основы — потрясены, краеугольные камни — сдвинуты. И доказательства налицо: управляющие — не присылают из имений доходов, ростовщики — не верят самым подлинным векселям, и в довершение печать открыто проповедует упразднение всей породы Амата-беков. Некоторые принялись даже газеты читать, но так как то, что было напечатано до вчерашнего дня включительно, осталось для них скрытым, то, естественно, что все, напечатанное *сегодня*, наводит на них панический страх. Они, которые еще *вчера* были уверены, что о сю пору «царь Давид на лире играет во Псалтире», вдруг узнают *сегодня*, что речь идет о каких-то бреднях, иллюзиях и что во Франции установилась республика... Ah, c'est trop fort! «Nous dansons sur le volcan!»² — провозглашает князь Букиазба и в смятении ищет, на ком сорвать зло и где самому укрыться.

Вот тут-то именно и пришел к ним на помощь Ноздрев. Он первый указал, что прежде всего необходимо возбудить в обывателях охоту к содействиям; первый объяснил, что только под покровом «содействий» Амата-беки могут безнаказанно возвратиться к мраку времен, и первый же додумался до той формы содействия вразброд, которая должна обеспечить мрак времен от вторжения превратных толкований. Это было целое откровение. До сих пор мы не только гнали от себя всякую мысль о содействиях, но даже упоминание об них преследо-

¹ что мы танцуем на вулкане.

² Ah, это уж чересчур! «Мы танцуем на вулкане!»

вали наравне с превратными толкованиями. И вдруг, Ноздрев словно пелену снял с наших глаз. Это с его стороны — заслуга, и история не забудет ее, потому что, как там себе хотите, а раз пильня пошла в ход... Впрочем, довольно об этом.

В одном ошибся Ноздрев: формулируя свой проект, он не рассчитал, что обыватели неопытны, а Амалат-беки безрас-судны и нетерпеливы. И точно: не успели объявить конкурс, как обыватели нанесли целые вороха бумаги, но увы! эти вороха были сплошь исписаны выражениями старинного рус-ского лексикона, смысл которых исчерпывается словом: «жарь!» Сначала это Амалат-бекам понравилось; но когда вслед за тем они начали простирать руки, то убедились, что эти руки бессильны по-прежнему и что после «содействий» их положение осталось тем же, чем было и до содействий. «*Mais nous continuons de danser sur le volcan!*»¹ — удивился князь Букиазба, который надеялся, что как только разберут вороха содействий, так тотчас же у него в кармане и очутится мрак времен... И вот с тех пор на Ноздрева посыпались упреки; так что в эту минуту он держится только тем, что утром подслуши-вает по трактирам, а вечером в комиссии рассказывает сцены из народного быта.

Но мысль Ноздрева не умерла, а только потребовала прак-тической организации. Надо было вывести обывателей из об-ласти голословных пожеланий и внушить им, что ежели их ре-форматорская изобретательность нейдет далее слова «жарь!», то пускай же они сами, на свой риск, и приводят эту реформу в исполнение. Задачу эту принял на себя — я. Первым делом потребовал для себя двенадцать тысяч рублей в год содержа-ния; вторым — проектировал комиссию; затем... Признаюсь, одну минуту в голове моей мелькнула честолюбивая мысль о средостении, но потом вижу, что народ все картавый собрался, и слова-то этого, пожалуй, порядком не вымолвит, — бросил. Давайте, говорю, братцы, газету издавать! Обрадовались. Вот этот самый князь Сампантрè пятьдесят тысяч из кармана и выложил.

— Однако денег-то у него довольно! — воскликнул я.

— Прòпасть. И преусердный. Так ко всем с деньгами и ле-зет. Ну-с, газету так газету. Только, говорю, нам такого редак-тора надо отыскать, чтобы во всех статьях был мерзавец. Чтòб совести не знал, правды от роду не говаривал и за тычком не гнался. И вот судите, как хотите: не успел я это выговорить — смотрим, ан в дверях Иуда Искариот стоит. Тебя-то нам и нужно. Сейчас ему пятьдесят тысяч в руки: издавай газету

¹ «Но мы продолжаем танцевать на вулкане!»

«Фрегат Надежда!» А он, не будь глуп, взял деньги, да и удавился. И даже куда сумку девал — неизвестно.

— Какой, однако ж, прискорбный случай!

— И представьте себе, с этого Сампантрё точно с гуся вода. Сейчас вынул еще пятьдесят тысяч — издавай другую газету! Только тут уж я вступился. Нет, говорю, газету нам издавать — не судьба! И другие деньги зря пропадут, а если и не пропадут, так все равно Искарюта никто читать не будет. А лучше мы на другой манер Россию опутаем. Заведем по всем городам агентов оздоровления, да и объявим под рукою на премию: кто связанного либерала представит — тому приличное вознаграждение, а кто с либералом потихоньку на свой риск обойдется — тому против первого вдвое.

— Ах, Расплюев! да ведь это — междоусобие!

— Благонамеренное. Нынче, сударь, слов-то ведь не пугаются.

— И они согласились?

— Многие даже нимало не медля по палестинам разъехались, другие — на родственников указали...

— Ах, боже! а я было только-что собрался в деревню на лето ехать!

— Бойтесь?

— Помилуйте! а что, если какой-нибудь Амалат-бек со мной на свой риск обойдется? Или Разуваев руки к лопаткам на премию вывернет?

Расплюев задумался.

— Погодите ездить, — сказал он наконец. — На первых порах, чего доброго, и действительно в этом роде случаи могут быть. Ну, а потом, глядишь, и обойдется. Главное, денег у Амалат-беков скоро не хватит. Мужичок-то польстится, хоть целую тьму либералов сразу наловит, ан заплатит-то ему нечем! Так наши дела и сгибнут измором...

.....
Дальнейшее наше собеседование не интересно. Но представьте себе, тетенька, мою радость! Возвращаюсь домой, беру в руки газету и что же нахожу!

В Симбирске уже образовалось «тайное» общество, именно в расплюевском роде! Состоит оно, очевидно, из местных Амалат-беков и обещает за всякого превратного толкователя, которому руки к лопаткам вывернут, — чистыми деньгами сто рублей! Разумеется, однако ж, если будут деньги, потому что ежели денег не будет, то где же их взять?.. Но каков подъем общественного духа!

Не знаю, как вы отнесетесь к этому известию, но у меня, с тех пор, как я об нем прочитал, просто поджилки дрожат.

Знаю, что похвалы достойно, но в то же время как-то невольно задумываюсь: нет, уж лучше я в Симбирскую губернию не поеду!

Выворотит мужичок руки, приведет, продаст — а потом?.. Потом опять руки развяжут: ступай, невинный, на все четыре стороны! Отдадут ли продавцу сто рублей за то, что в нем любезно-верные чувства играли — этого я не знаю; но на ком же я, искалеченный и проданный, буду обиду свою искать? А ни на ком, голубушка. На Амалат-беках искать нельзя, потому что они тайные; на продавце — тоже нельзя, потому что каким же образом искать на человеке, который одержим игрою любезно-верных чувств!

Закладывай, стало быть, беговые дрожки и кати назад в свое место, благо удовлетворение получил. А через неделю другой мужичок тебя облюбует и в другой раз продаст...

Воображаю я, в какой восторг придет вся Симбирская губерния, прочитав этот клич! Помещики — бросят рациональное хозяйство, мужички — перестанут собирать в житницы... И все поголовно примутся превратных толкователей ловить. Потому что ведь сто рублей — деньги, а превратный-то толкователь — вот он он!

Ах, эта Симбирская губерния! в старину ее страну отставных корнетов называли. И были эти корнеты невежественны и жестоковыжны, и держали свое знамя высоко, за что и бывали нередко сечены крепостными людьми. А теперь народились у них потомки, и тоже хотят высоко знамя держать...

Только сдается мне, что Расплюев, пожалуй, окажется прав. Ведь это играючи можно хвалиться: сто рублей! А как примется мужичок подваливать, так ежели за каждого превратного толкователя по радужной бумажке давать — сколько это денег будет?

Но дело не в том, обанкротится ли симбирское тайное общество симбирских Амалат-беков или будет процветать. Главное, почин практическому содействию дан — вот что дорого.

И не я один, а все благонамеренные люди этому радуются. На днях встречаю известного вам Феденьку Кротикова, который из «своего места» приехал понюхать, чем пахнет.

— Ну, что, как дела?

— Я, топ шер, нынче все с содействием общества прописываю! Чуть что — сейчас воззвание к обществу... жарь!

Согласитесь сами, что если и дальше пойдет так же хорошо, то наша цель — организация *благонамеренного междуособия* — будет осуществлена вполне.

IV

Вы утешаетесь тем, милая тетенька, что, в сущности, затей Амалат-беков по части «содействий» не опасны. Да ведь я и сам знаю, что не опасны. Помилуйте! может ли быть опасным *тайное* общество, которое *во всеуслышание* предлагает сто рублей за каждого превратного толкователя! Да еще выдаст ли?.. ведь, право, не выдаст, а с первого же абзуга попросит обождать! Тайное общество, члены которого по горло задолжали лихачам-извозчикам, портным и фруктовщикам! Тайное общество, члены которого даже по слухам не знают о словосочинении! Тайное общество, члены которого даже притвориться не умеют понимающими, когда при них произносят такие простые слова, как: отечество, убеждение, совесть, свобода, долг! Может ли быть опасною эта невежественная мразь, эта прожженная гольтепа, эта не по своей вине неосуществившаяся юханцевщина! Может ли даже след какой-нибудь после себя оставить это сонмище кавалеров безделицы, в важных случаях вверяющих свои интересы Ноздревым и Расплюевым?

Разумеется, не может — в этом и сомнения быть не должно. Шутка сказать! не помнящие родства сорванцы затеяли благонамеренное междоусобие... какой бессмысленный вздор! Но ведь дело не в том, вздорны или не вздорны эти затеи, опасны ли они или не опасны, а в том, когда же мы наконец получим возможность не думать об них? когда мы перестанем отравлять свою мысль рассматриванием опасности или не опасности? когда мы поймем, что общество живет и развивается действительным деланием, а не воссыланием благодарных молитв за то, что висящие над нами затеи не очень-то опасны, или даже и совсем не опасны?

Я знаю, конечно, что современная наша действительность почти сплошь соткана из такого рода фактов, по поводу которых даже помыслить нельзя: полезны ли они или не полезны? — а именно только и возможен один вопрос: опасны ли они или безопасны? Я знаю также, что, вследствие долголетней практики, этот критерий настолько окреп в нашем обществе, что другого почти и услышать нельзя... Но это-то именно и наполняет меня безнадежностью. С подобным критерием, по мнению моему, нельзя жить, потому что он прямо бьет в пустоту. Но так как, за всем тем, люди живут, то надо думать, что это особенная порода людей, воспитанных и фасонированных ad hoc, людей, у которых нет иных надежд, кроме одной!

чтоб их не перешло пополам, как они всечасно того ожидают.

Поэтому, когда в моем присутствии говорят (а говорят таким образом даже солидные люди): вот увидите, какая «из этого» выйдет потеха! — мне просто жутко делается. Потехато потеха, но сколько эта потеха сил унесет! а главное, сколько сил она осудит на фаталистическое бездействие! Потому что разве это не самое горькое из бездействий — быть зрителем проходящих явлений и только одну думу думать: опасны они или не опасны? И в первом случае чувствовать позорное душевное угнетение, а во втором — еще более позорное облегчение?

И мрачное хрюканье торжествующей свиньи не особенно опасно, и трубное пустозвонство ошалевшего от празднословия дармоеда — тоже не представляет непосредственной опасности. Все это явления случайные, преходящие, которые много-много захватят десятки людей, но ни в истории, ни в жизни народа не оставят следа. Но ведь в данную минуту они угнетают человеческую мысль, они срывают слух человеческий, они производят переполох, и вследствие всего этого, центр деятельности современников перемещается из сферы положительной, сферы совершенствования, в сферу повторения задов, в сферу бесплодной борьбы, бесплодных оправданий и лицемерных самозащит.

«Ну, слава богу! теперь, кажется, потише!» вот возглас, который от времени до времени (довольно, впрочем, умеренно) приходится слышать в течение последних десяти — пятнадцати лет; единственный возглас, с которым измученные люди соединяют смутную надежду на перспективу успокоения. Прекрасно. Допустим, что для нас и подобная перспектива достаточна; допустим, что мы уж и тогда должны почитать себя счастливыми, когда перед нами мелькает нечто вроде передышки... Но все-таки это только передышка... где же самая жизнь? Ведь это такой естественный вопрос, который даже измученный человек может предложить себе без особенной натяжки.

Не говорите же, голубушка: вот будет потеха! и не утешайтесь тем, что бессмыслица не может представлять для жизни серьезной опасности. Она опасна уже тем, что заменяет реальную и плодотворную жизнь, и хотя не изменяет непосредственно ее сущности, но загоняет ее в глубины и окружает путями, от которых не легко освободиться даже в день прояснения.

Сколько лет мы сознаем себя недомогающими — и все-таки вместо врачевания возвращаемся в пустоте. Сколько лет мы

собираемся что-то сделать — и ничем, кроме полного бессилия, не ознаменовываем своих намерений. Даже в самых дерзких и близких нашим сердцам вещах — в сфере благочиния — и тут мы ничего не достигли, кроме сознания полной беспомощности. А ведь у нас только и слов на языке: погодите, дайте только тут управиться, и тогда... Вы, может быть, думаете, что тогда потекут наши реки млеком и медом?.. То-то, что не потекут.

В самом деле, представьте себе, что мы «управились», что источник опасений иссяк и, стало быть, руки у нас развязаны — какое же органическое, восстанавливающее дело можем мы предпринять? Знаем ли мы, в чем это дело состоит? имеем ли для него достаточную подготовку? Наконец, имеем ли мы даже повод желать, чтоб восстанавливающее дело осуществилось? Не забудьте, что даже торжество умиротворения, ежели оно когда-нибудь наступит, опять-таки будет принадлежать не вам, а все тем же Амалат-бекам, которые будут по поводу его лакать шампанское, испускать победные крики, но никогда не поймут и не скажут себе, что торжество обязывает.

Обязывает — к чему? вы только подумайте об этом, милая тетенька! Обязывает к восстановлению поруганной человеческой совести; обязывает к сообщению человеческой деятельности благотворного и сознательного характера; обязывает к признанию за человеком права на завтрашний день... и вы хотите, чтобы Амалат-беки признали когда-нибудь эту программу! Совесть! сознательность! обеспеченность! — да ведь это-то именно и есть потрясение основ! Еще шампанское не все выпито по случаю прекращения опасностей, как самое это прекращение вызывает целый ряд новых, самостоятельных опасностей! Бой кончился, но не успели простыть бойцы, а уж предстоит готовиться в новый бой!

Нет! право, это не потеха!

Идеал Амалат-беков в сфере внутренней политики очень прост: *ничего* чтобы не было. Но как ни дисциплинирована и ни опутана наша действительность — даже и она не может вместить подобного идеала. *Нельзя, чтобы ничего не было.* До такой степени нельзя, что я считаю даже банальным доказывать это. А так как Амалат-беки *никогда* не отступят от своей программы, то и междуособиям не предвидится конца. По моему мнению, именно в этом и заключается сущность той горькой загадки, которую мы переживаем. Программа слишком противоестественно громадна; готовность хотя тоже велика, но все-таки не пропорциональна программе. Поэтому-то и выходит, что, едва отдохнув от побед, Амалат-беки уже вновь седлают коней и летят в бой с новыми опасностями, а когда и

эти опасности будут побеждены, то возникнут и еще новые опасности, и опять надо будет спешить в бой. И все ради того, чтобы ничего не было...

Положительно повторяю, что это не потеха.

Вы достаточно видали Амалат-беков на своем веку и, помнится, не раз отзывались об них даже с благосклонностью, потому что эти люди умеют говорить дамочкам *des jolis riens*¹. Быть может, это и действительно когда-то было, то есть покуда эти люди не занимались внутренней политикой, но теперь они радикально изменились: брызжут пеной, цыркают, как извозчики, и обещают сто целковых (да еще в кредит!) тому, кто приведет прохожего с завернутыми к лопаткам руками...

Венчать ли их за это розами или гнать вон из гостиной — вот в чем вопрос. Мое личное мнение таково: гнать вон. Но в том-то и штука, что едва ли кто меня послушается, мой друг. Нынче и дамочки какие-то кровопийственные сделались, всё походами бредят. Это прежние дамочки любили, чтобы краснощекий Амалат-бек сначала наговорил с три короба *des jolis riens*, а потом вдруг... нынешние же прямо настаивают: проливай кровь! Ах, тетенька, тетенька! Поверите ли, что, когда я представляю себе, как он, исполнив завет дамы сердца и повергнув к ее ногам трофеи, берет ее обгаренными руками за талию, дабы запечатлеть, — право, мною овладевает оторопь... какой ужасный союз сердец! И какое возмутительное, неблагородное надругательство! Ибо, по мнению моему, дамочка до тех только пор благородна, покуда она — куколка. Невинна, как куколка, чиста, как куколка, уютна, как куколка, изумлена, как куколка... ах, милая! Притроньтесь к ней — она уж и глазки закрыла... Что такое случилось? — ах, *ma chère, est-ce que je sais!*² Милая! милая! милая! Да еще вдобавок *un poble coeur*³ или *un coeur d'or*⁴ — выбирайте любое. Но дамочка, которая нагуливает себе бедра и груди с целью увенчать ими Амалат-бека, обгаренного внутренней политикой — нет, воля ваша, а она неблагородная!

Она уже потому не может быть благородна, что представляет лишь женскую разновидность того отпетого отродья Амалат-беков, которое на весь мир смотрит с точки зрения съедаемых шатобрианов, выпиваемых бутылок и растрчиваемых кредитных рублей. Покуда шатобрианы съедались беспрепятственно, покуда на место истраченных кредиток сами собой «высылались из деревни» новые кредитки, Амалат-беки

¹ милые пустячки.

² дорогая, сама не знаю!

³ благородное сердце.

⁴ золотое сердце.

относились довольно индифферентно к загадочному миру нарастающих нужд и требований, о котором они и понаслышке не знали. Но теперь, они почуяли, что в их праздные существования врывается нечто призывающее к сознательности — и вот они корчатся от боли под гнетом охватившей их паники.

Эти люди давно уже потрясли и упразднили все, что можно было упразднить и потрясти. Они совершили этот подвиг грубо, пошло, без участия работы мысли, просто потому, что темпераменты их не могут ужиться ни с какими основами. Но куда они прелюбодействовали, расхищали и продавали в стенах той цитадели, которую построил для них мрак времен, никто не придавал особенного значения их вакханалиям. Теперь они выступают из своей цитадели, и, к удивлению, выступают во имя тех самых основ, которых никто так постыдно и бесшабашно не топтал, как они.

Что-то такое дошло до их ушей, что-то их испугало. Быть может, в воздухе проскользнула мысль, что основы, как и все живое, заключают в себе условия развития и совершенствования... А сеятели смут и комментаторы мракобесия подхватили на лету эту мысль и подняли по ее поводу клеветнический гвалт. Естественно, Амалат-беки взбудоражились. Не думайте, однако ж, чтоб их взбудоражила перспектива действительных упразднений — очень им нужно, стоят ли основы или шатаются! — нет, их взбудоражила перспектива утраты единоторжия упразднений, того сладкого единоторжия, на которое они до сих пор смотрели, как на свою единоличную привилегию, навсегда огражденную от вторжений и вмешательств.

Ах, тетенька! подумайте только! Хищники и кавалеры бездельницы являются в роли защитников и восстановителей основ! люди, которые на вопрос: *qu'est ce que la patrie?*¹ — отвечают мотивом из «Прекрасной Елены»: *je me fiche bien de ma patrie!*², а на вопрос: *qu'est ce que la famille?*³ — по примеру мамзель Гандон (где-то она теперь, наставница юных Амалат-беков?), вздрагивают поясницами и напевают: *la famille se n'est que ça!*⁴ Разве не возмутительно сознавать себя под пятою этих знаменосцев современной благонамеренности?

Понятно, какую роль во всех этих вакханалиях должна играть женщина, Амалат-бекова подруга. В период докровопийственный она была куколкой и закрывала глазки навстречу *jolis riens*; с наступлением периода кровопийственности она

¹ что такое отечество?

² мне дела нет до отечества!

³ что такое семья?

⁴ семья — это только вот что!

нагуливает себе груди, берет в руки бубен и, потрясая бедрами, призывает к междуособию. Что такое междуособие — она не знает, что такое основы — никогда не слыхала, что такое авторитет — ah, vous m'en demandez trop! ¹ Она представляет себе, что ее сейчас повезут на пикник, где ее будут кормить человечьими шатобрианами, а потом она будет переходить от одного Амалат-бека к другому. Она видит, что ее Амалат-бек расвирепел, что он брызжет слюною, и, в соответствии ему, сама свирепеет и брызжет слюною. Еще один шаг, и из нее выйдет петролейщица, которая не усомнится поджечь даже заповедную Амалат-бекову цитадель.

Тетьнька! не увлекайтесь этими примерами! И ежели ваш урядник будет уговаривать вас сделаться членом «Общества благонамеренных междуособий» (некоторые называют его «Обществом Проломленных Голов»), то гоните его в шею. Клянусь, никто вас за это не забранит.

К счастью, голова у Амалат-бековой подруги осталась по-прежнему куклина. Грудь она нагуляла, бубен — купила, но головы ни нагулять, ни купить не могла. По-прежнему эта голова называется tête de linotte ² и tête remplie de foin ³ и по-прежнему, как решето, она не может задержать ничего из того, что случайно в нее попадет. Если прежняя дамочка не могла утаить ни одного из jolis riens, которые запутывались в складках ее платья, то нынешняя ревнительница междуособий тогда только чувствует себя облегченной, когда успеет выбросить на распутие весь запас внутренней политики, которым, вместе с брызгами слюны, облил ее Амалат-бек. Судите, как хотите, но я думаю, что это хорошо. Амалат-беки по всем трактирам поют: Мальбрук в поход поехал; Амалат-бекши ту же пропаганду ведут по всем столицам и курортам Европы. Это одно только и спасает нас. Даже гарсоны в парижских ресторанах говорят: хотя Амалат-беки ваши свирепы, но они глупы и легкомысленны — пользуйтесь этим!

Уже всех Амалат-беков называют по именам, а Амалат-бекши сами со всеми прохожими заигрывают. Амалат-бекша встречает вас в первый раз на улице и уже начинает вас вербовать. У меня, говорит, два имени: одно нелегальное — Федотова; другое легальное — графиня Сапристи́. Это она в конспирацию играет. И затем рассказывает, какими людьми «они» уже заручились, какими предполагают заручиться и сколько у «них» денег собрано. Хвастает-хвастает и вдруг про-

¹ ах, вы слишком многого от меня требуете!

² бестолковой.

³ головой, набитой сеном.

врется. Сначала кажется, денег как будто много, а потом смотришь, фонды-то больше все в ожидании. Пожалуй, придется на первых же порах дела «Общества Проломленных Голов» в кредит вести. Нет, как хотите судите, а по-моему, и это хорошо.

Вспомните, милая, ту сферу иллюзий и бредней, среди которой мы провели нашу молодость, и сопоставьте эти воспоминания с современной действительностью! Как тогда лучше было! И какие скромные, стыдливые дамочки были! Сидят, бывало, два существа: одно мужского, другое женского пола, сидят и бредят. Бредят да бредят — и вдруг уста их солются... Мило, благородно! А нынче что? «Уста»! *qu'est ce que c'est que ça?*¹ «Уста»? *a-t-on jamais entendu pareille chose!*² Какие, черт побери, уста! Да выложите перед Проломленной Головой всю Барковскую преисподнюю — она и тут ни одним мускулом не шевельнет!

Ах, тетенька!

Столичные Амалат-беки имеют единомышленников и в провинции. У каждого из них спрятался в Чухломе или в Щиграх пьяненький братец, дядя или кузен, которые забирают в долг водку и студень у Разуваева, рыскают на земских лошадях и дышат одними вожделениями с своим столичным родственником. В прошлом письме я уже уведомлял вас, какую прокламацию выпустили симбирские корнетские дети, а на днях подобные же прокламации ожидаются от рязанских лгунов, от тамбовских барышников и от тульско-орловско-курских шулеров. Нужды нет, что старинная пословица гласит, что рязанцы мешком солнце ловили, что ефремовцы в кошеле кашу варили, что туляк огурцом зарезался, а Орлы да Кромы — первые воры: и они горазды кричать «страх врагам!».

А нынче это главное. Хозяйство, промышленность, науки, даже тишина — это потом. Ходите в лаптях, носите рубище, живите впроголодь, но кричите: страх врагам! У кого хайло шире, тот да превознесется. Кто наглее лжет, тот да будет почтен. Крики, сутолока, смятение заменяют все: и хлеб, и знание, и самую жизнь. Ежели мы мятемся, бежим сами не знаем куда — это-то и значит, что мы живем.

До последнего времени наше земство, в том виде, как оно конституировалось, представлялось для меня загадкой. До такой степени загадкой, что самый вопрос о том, следует ли касаться этого «молодого, еще не успевшего окрепнуть» учре-

¹ что это такое?

² слыхано ли было что-нибудь подобное!

ждения или не следует,— очень серьезно меня смутил. С одной стороны казалось: вот люди, которые, получив от начальства разрешение вылудить больничные рукомойники, твердо вознамерились выполнить возложенное на них поручение; но, с другой стороны, думалось и так: почему же, однако, эти ревностные лудильщики признаются опасными? отчего нет губернии, которая не оглашалась бы воплями пререканий между «неокрепшими» людьми и чересчур окрепшими администраторами? с какого повода последние, однажды разрешив свободу лужения, не только не дают предаваться этому занятию беспрепятственно, но даже внушают, что оно посеивает в обществе недоброжелательство существующими порядками и подрывает авторитеты?

Ах, это вопросы ужасно сложные, милая тетенька, и ежели принятьсь вплотную разводить их на бобах, то как раз вприсак попадешь. Станешь «неокрепшему» человеку говорить: ты что же это, братец, авторитеты-то вздумал потрясать? — смотришь, а он таким простодушным лудильщиком выглядит, что даже вчуже совестно станет. Или начнешь «окрепшего» человека убеждать: ваше превосходительство! будьте милосерды! ведь ежели эти люди кой-где перелудят или недолудят — человеки ведь они! — смотришь, а его превосходительство в ответ: да, вы, государь мой, должно быть, забыли притчу про места, где Макар телят не гонял!

Так я, милая, и не касался этого «неокрепшего» учреждения — Христос с ним — пусть без меня крепнет!

Но теперь слух идет, что земцы уже окрепли, и потому нет надобности таить, в чем тут штука была. Оказывается, что лудить можно двояко: с преднамерением и без преднамерения. Все равно как лапти плести: можно с подковыркой, можно и без подковырки! С подковыркой прочнее и щеголеватее, но зато крамолой припахивает; без подковырки — никуда не годится, но зато крамолы в них нет... ходи, Корела, без подковырки! Так-то и с нашими земствами случилось. С первых же шагов они точно сговорились: будем лудить с преднамерением. Возмечтали; захотели лудить самостоятельно; разрешение возвели на степень права, и на администраторов начали посматривать иронически. Естественно, администраторы сбесились. Не «право» вам дано, возопили они, а разрешение, разрешение и только разрешение! Право — это после, когда бабушка делается дедушкой, а покуда: луди, но оглядывайся!

Отсюда — распря, ненависть, бесконечное галдение. Как только обе силы встретились — естественно, сейчас же встали на дыбы. Стоят на дыбах друг против друга — и шабаш. Да и нельзя не стоять. Потому что ежели земство уступит — ко-

нец луженью придет; ежели Сквозник-Дмухановский уступит — начнется колебание основ и потрясение авторитетов. Вопрос-то ведь выходит принципиальный!!

Но теперь, благодарение богу, все изменилось к общему удовольствию. Администраторы самые заматерелые — и те догадались, что не только не следует препятствовать земствам в их лудильных стремлениях, но даже можно кой-что к этим «вольностям» прикинуть — например, на тему «страх врагам». Разумеется, и тут не обошлось без колебаний — как хотите, а ведь это все-таки внутренняя политика! — однако ж здравый смысл восторжествовал. Лудите и плещите руками. С своей стороны, земцы очень ловко воспользовались этой минутой просветления, и ныне все в один голос бесстрашно вопиют: страх врагам! Так что ежели они не злоупотребят этим расширением своих прав, то общество русское непременно будет спасено.

Центр тяжести правящей Руси воочию перемещается. Выветрившиеся и пораженные бесплодием исчадия бюрократизма стушеваются, а на место их готовятся выступить свежие, отставные прапора и излюбленные земские ярыжки. Темное средостение, которое представляла собой непроницаемая масса бюрократического воинства и которое мешало видеть добрый русский народ, рушится само собой. Главное: народ понадобилось видеть — и теперь можно будет увидеть его. Хлобыстовские, Дракины и Забиякины в короткое время так его вышлифуют, что он не только качества, но и ребра свои покажет, как на ладонке.

В одном только отношении нужно быть с Дракиными осторожным; к казенным деньгам их припускать нельзя. Утащут, и по трактирам и цыганским таборам разнесут. А другой, спяну, пожалуй, в дупло спрячет и забудет.

Дракины — это наши провинциальные Амалат-беки. Они простодушны и гостеприимны, но невежественны и любят урезать. Ежели поверит Разуваев на целый штоф — штоф урежут, ежели только полштофа поверит — и на полштофа согласны. Формальностей они не терпят, разговоров — не допускают совсем. Коли виноват — сознавайся! Сознался — за мной полтинник! не сознаешься — запорррю каналю! Так-то лучше, чем по-чиновничьи писать протоколы, из-за которых доброго русского народа не видно! Помните, какое у нас земство при крепостном праве было — то же оно и теперь. Только лудить мы научились, да прогорели малость, да вот еще Разуваевы с Колупаевыми одолели нас. Покуда, впрочем, Разуваевы еще к сторонке жмутся да в кулак посмеиваются, но дайте срок, и они начнут лудить. Понятное дело, что сердца

столичных Амалат-беков не могут не биться в ожидании, как заиграет ребрами добрый русский народ, руководимый такими излюбленными земскими ярыжками.

Даже скептический и холодно-официальный Петербург — и тот ждет чего-то чудодейственного. Удав и Дыба прямо (хотя и не без намерения «понравиться») говорят: засадят нас ужо земские Амалат-беки в купель силоамскую, — мы и узнаем, где раки зимуют. Слухи ходят, что даже непаханные земли принесут плод сторицею (Дракин — он земец, он знает, как это делается), а об паханных да еще чего доброго засеянных нечего и говорить. Реки закишат рыбами, леса (опять вырастут — птицами и зверьем. А Амалат-беки будут собирать в сокровищницу и кричать: страх врагам!

Потому что этот победный крик все объемлет: и производительную способность природы, и обрабатывающую силу труда. Цзз... ого-го! Фюить! — Готово.

Выходя из этого общего положения, наши земцы только и делают, что надседаются — кричать. И так как этими криками они успели обеспечить для себя великое будущее, то надо думать, что и впредь они будут то же самое делать. Но как это странно, милая тетенька! выскивались же какие-то диковинные административные Навуходоносоры, которые даже этих простодушных лудильщиков ославили подозрительными! А ныне оказывается, что они только для того и плели лапти с подковыркою, чтоб получить возможность на всей своей воле кричать: страх врагам!

Представьте себе, однако ж, что мечтания Амалат-беков сбылись, что Дракины восторжествовали и, низложив Сквозника-Дмухановского, сделались исключительными вертоградарями русского провинциального эдема. И вам бог послал жить в этом эдеме. Все Дракины между собой родственники или свойственники: сплелись и переплелись так, что и расплести их никак невозможно. Вы одна не родственница. У всех у них свои собственные интересы, свои собственные сплетни и ненависти, свое собственное свинство; все они в одну дудку дудят, все одну мысль в голове держат: как бы урезать, опохмелиться и урезать вновь. Вы одна не принимаете участия ни в сплетнях, ни в ненавистях их. Как вы думаете: съедят они вас или не съедят?

Я утверждаю, что не только съедят, но сделают нечто худшее: отравят вашу жизнь своим дыханием. Ведь это только шутки шутят, называя Дракиных излюбленными земскими людьми, а, в сущности, и вам, и мне, и всей этой подлинной земской массе, для которой, с помощью их, предполагается устроить эдем, — они даже не седьмая вода на киселе.

Как ужасно будет жить в этом эдеме — это даже самое разнузданное воображение не в состоянии воспроизвести. Подумайте только: целую массу Дракиных, оголтелых, ни на что не способных, придется пропитать, обогреть и всем удовлетворить! И затем шагу за околицу нельзя будет сделать, чтоб не наткнуться на Дракина! Один — излюбленный, другой — родственник излюбленного, третий — с излюбленным в одной казарме прапором горе тыпал. И все хотят жрать. Жрать-то хотят, а дело делать никому не дают: скачут, свищут, велят кричать: страх врагам! Только Разуваеву и потрафляют, потому что он, до поры до времени, сивуху в долг верит. Но если он перестанет верить, тогда и ему... но только не поздно ли будет! Пожалуй, Разуваев и сам начнет кричать: страх врагам! но закричит уж по-своему... И тогда Дракиным — **КОНЕЦ!**

Дракины — это отгрызок крепостного права, который долгое время лежал на распутии, забытый и пренебреженный, и который начинает теперь шевелиться, благодаря оживляющим лучам, исходящим от очей столичных Амалат-беков. Дракин — это последняя гнилая отрыжка мрака времен, отрыжка тем более несносная, что она нимало не сознает близости конца, и действует так, как бы впереди ее ждало бессмертие.

А мы-то с вами на Сквозника-Дмухановского жаловались! Ах, тетенька! ведь в нем все-таки до некоторой степени теплилось чувство ответственности! Была, разумеется, и отвага — без этого какой же бы он был русский человек! — но было и представление о губернском правлении, об уголовной палате и, в особенности, о секретарях и столоначальниках. Дракин, напротив, так задрапировал себя репутацией свежести, что под звуки романса «смерть врагам» может дерзать все, что ему в голову вступит. И если он к вам пристанет, то вы уж не отделаетесь от него ни крестом, ни пестом. Он ничего не боится, ни перед чем не останавливается; дышит отвагой — и шабаш. Взятку возьмет — сейчас же забудет, в зубы треснет — опять забудет. Ничем вы его не уломаете, ничем в чувство не приведете.

И вот этим-то прихлебателям русской земли, этим отброскам крепостного права, ничему не научившимся и ничего не забывшим, этим героям взаимного обыскания — предсказывают какую-то будущность! Земство мы! клеветают они во всеуслышанье на всю русскую землю — земство! Мы всё устроим! Мы ребра мужицкие покажем — считайте! Только чур денежного ящика в руки не давать... утащим!

Милая тетенька! Я вижу отсюда ваше удивление и слышу ваши упреки. Как! — восклицаете вы, — и ты, Цезарь (как истая смолянка, вы смешиваете Цезаря с Брутом)! и ты предпочитаешь бюрократию земству, Сквозника-Дмухановского Пафнутьеву! Из-за чего же мы волновались и бредили в продолжение двадцати пяти лет! из-за чего ломали копья, подвергались опалам и подозрениям!

Совсем не из-за этого, милый друг. По крайней мере, я во все не об том бредил, чтоб бог привел меня дожить до реабилитации Дракиных, и если этому суждено сбыться, то уж, конечно, не я по этому поводу воскликну: «Ныне отпускаеши раба твоего...»

Начнемте с того, что дело идет совсем не о благоустройении местных интересов (это только заголовок приличный), а о том, чтобы ловить и выворачивать руки к лопаткам. Вот почва, на которой мы повсеместно стоим, для которой Дракины мнят себя специально созданными и на которую усердно приглашают их сочинители средостений и вещуны потрясений, подрываний и других страшных слов. Эту же почву обязываемся иметь в виду и мы с вами, ежели хотим рассуждать правильно.

Если б дело шло только о благоустройении местных интересов, усиление дракинского элемента тронуло бы меня весьма умеренно. И Дракины, и даже ваш милый Пафнутьев со времени упразднения крепостного права настолько уже выказали свои способности на этом поприще, что всякая попытка усилить их значение в хозяйственной сфере может привести лишь к подтверждению приобретенной ими репутации. Программа их деятельности известна заранее: придут — набаламутят или унесут, и в самом благоприятном случае прольют потоки слез и будут утруждать начальство. Но, натурально, всякое терпенье лопнет. Поглядят-поглядят, как они мечутся, то там недолудят, то тут перелудят — ну, и в сторону их. Ступайте пасите гусей, а не в свое дело не суйтесь. Смотришь, ан на месте Дракиных уж орудуют Колупаев с Разуваевым... Бог в помощь!

Совсем другое дело сфера ловлений и шиворотов, ибо тут Дракины слывут мастерами и молодцами. Ни ума, ни талантов, ни сведений в этой сфере не требуется; требуется только охота к победам и одолениям, и так как этой охотой крепостное право одарило Дракиных в изобилии, то, наверное, они совершат на этом поприще такие подвиги, от которых земля потрясется, леса застонут, и реки выступят из берегов.

Не забудьте, что в настоящее время в понятиях о шивороте

существует такой хаос, что Дракин и сам едва ли разберет (разве что благородное сердце подскажет), в каком случае он явит себя молодцом и в каком — только негодяем. Принято за правило: ловить «превратных толкователей», но так как никакого руководства с точным обозначением признаков превратного толкователя до сих пор в виду не имеется, то большинство приурочивает к этому сословию всякого, кто, по своим понятиям, воспитанию и привычкам, стоит несколько выше общего нравственного и умственного уровня. А затем, каждый отдельный простец уже дифференцирует эти признаки согласно с требованиями своего личного темперамента. Ханжа считает превратным толкователем того, кто вместе с ним не бьет себя в грудь, всуе призывая имя господне; казнокрад — того, кто вместе с ним не говорит: у казны-матушки денег много; прелюбодей — того, кто брезгливо относится к чуждых удовольствий любопытству; кабатчик — того, кто не потребляет сивухи, и в особенности того, кто другим советует от нее воздерживаться; невежда — того, кто утверждает, что гром и молния не находятся в заведовании Ильи-пророка. А между тем именно эти-то люди и возвели в принцип, что прежде всего необходимо ловить и хватать. Понятное дело, что они будут с восторгом взирать, как Дракин, выгнув шею, будет на всем скаку хватать за шиворот. Нет нужды, что он станет хватать зря, что по дороге он нахватает великое множество совсем непричастных людей. Нет нужды, что рыская по палестинам, он передует всех обывательских кур и вылакает все вино... Корела ни за свою спину, ни за своих кур, ни за кабацкое вино не постоит. Кореле сказано: ты будешь счастлив, когда превратные толкователи будут переловлены,— и он готов отдать последнее рубище, лишь бы Дракин ему поскорее счастье доставил. И Дракин не только процветет, но пустит в землю редьку, которой потом не вытащишь.

Было время, когда меня ужасно волновал вопрос, какие исправники лучше: те ли, которые служат по выборам дворянства, или те, которые определяются правительством. Иногда казалось, что выборные исправники — благороднее, иногда, — что благороднее исправники, определенные от короны. Но по временам приходилось и так рассуждать: ведь, кроме благородства, деятельность исправника имеет и воспитательное значение, и в этом отношении я уже не мог не отдать преимущество исправнику коронному. Ведь он в некотором роде сосуд, в котором запечатаны казенной печатью все предначертанья и преднамерения, а выборный исправник — какой же это сосуд? Ах, тетенька! какое это время было! Тем не менее, взве-

сив все доводы pro и contra, я в конце концов порешил так: забыть об этом вопросе совсем. И забыл.

Но теперь провозглашатели «средостений» вновь ставят этот вопрос на очередь, и перед глазами моими одна за другой встают картины моей молодости, картины, в которых действующими лицами являются облеченные доверием куроцапы. То было время крепостного права, когда мы с вами, молодые, довольные, беспечные, ходили рука в руку по аллеям парка и трепетно прислушивались к шелканью соловья...

Слышишь, в роще зазвучали
Песни соловья;
Звуки их, полны печали,
Молят за меня...

Так пели и вздыхали мы с вами, и никогда не приходило нам в голову, что окружающий нас мир есть мир куроцапов. Были тогда куроцапы оседлые, которые жили в своих гнездах и куроцапствовали в пределах, указанных планами генерального межевания, и были куроцапы кочующие, которые разъезжали по дорогам и наблюдали, чтобы благородное куроцапство не встречало помехи со стороны повинных работе. Ничего мы этого тогда не понимали, потому что соловей совсем не об том нам пел. И мы стояли, как очарованные, и слушали, слушали, покуда наконец вы, потеряв ручкой то место, где у вас полагается желу́дочек или животик — кто же это определит, да и зачем было тогда определять? — не предлагали: не пойти ли нам на скотную к Анфисе сливочек поесть? И, не откладывая дела в долгий ящик, шли. Но помните ли вы, как хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, наполненную палевой массой, прибавляла: кормильцы вы наши? А оттуда в оранжерею: персики, сливы, вишни — всего вдоволь! и опять старый садовник Архип: кормильцы вы наши! А вот наконец и обед. «Сонечка, не лучше ли супцу тебе покушать? у тебя, кажется, животик болит? — Ах, нет, тапан, я — ботвиньи!..» Ну точно сейчас я это вижу!

И все это счастье, всю эту сытость обеспечивали нам разъезжавшие по дорогам и облеченные доверием куроцапы!

Вот к этому-то куроцапствующему средостению пытаются вернуть нас теперь. Не ошибайтесь: когда вам говорят о земстве, то это значит, что речь идет об Дракиных, а когда прибавляют, что земство лучше свои интересы может устроить, то это значит, что Дракины тверже против Сквозника-Дмухановского знают, где курам вод. Крепостное право вновь грозит осенить нас крылом своим, но какое это будет жалкое,

обтрепанное крепостное право! Парки вырублены, соловьи улетели, старая Анфиса давно свезена на погост. Ни сливок; ни персиков, ни волнующихся нив, ни синеющих лесов — ничего! Одни оголтелые, бездомные Дракины, которые в удесятеренном виде, голодные, алчущие и озлобленные будут рыскать по обездоленным палестинам, будут хватать и ловить. А кругом — беспредельная нагота, над головою — немилостивое хмурое небо, по дороге — искалеченные и покосившиеся Дракинские логовища, и кабаки, кабаки, кабаки... Нет, лучше до греха оттуда уйти!

Скажите по совести, стоит ли ради таких результатов отказываться от услуг Сквозника-Дмухановского и обращаться к услугам Дракина? Я знаю, что Сквозник-Дмухановский не бог весть какая драгоценность (вспомните слесаршу Пошлепкину, как она об нем отзывалась!), но зачем же возводить его в квадрат в лице бесчисленных Дракиных, Хлобыстовских и Забиякиных, тогда как, по совести говоря, с нас по горло довольно было и его одного?

Но я иду дальше и прямо утверждаю, что если уже мы осуждены выбирать между Сквозником-Дмухановским и Дракиным, то имеются очень существенные доводы, которые заставляют меня предпочесть первого последнему. А именно:

Во-первых, Сквозник-Дмухановский — постылый, тогда как Дракин — излюбленный. Сквозник-Дмухановский пришел ко мне извне и висит надо мной, яко меч Дамоклов; о Дракине же предполагается, что я сам себе его вынянчил. Сквозника-Дмухановского я не люблю и не обязываюсь любить. Я иду к нему, потому что деваться мне некуда, и он знает это. Знает, что я не целоваться к нему пришел (ах, тетенька!), а потому, что он может разрешить мою нужду или не разрешить. Иной Сквозник-Дмухановский прямо предъявляет таксу: я уплачиваю по ней и ухожу утешенный; буде же не имею чем уплатить, то стараюсь выполнить свою нужду так, чтоб меня не увидели. Другой Сквозник-Дмухановский говорит: я взятки не беру, а действую на основании предписаний — тогда я ухожу, получив шиш. Во всяком случае отношения между нами вполне ясны: это отношения карниза, падающего на голову прохожего. И не я один, все это сознают. Все идут к Сквознику-Дмухановскому, внутренне произнося: ах, постылый! И это удивительно облегчает. Ибо когда человек находится в плену, то гораздо для его сердца легче, если его оставляют одного с самим собой, чем когда его заставляют распивать чай с своими стражниками. Совсем другое дело — Дракин. Идя к нему, я постоянно должен думать: а черт его знает, сказывают, будто он у меня на лоне возлежал! И установив себя на

этой точке, обязываюсь поступать по слову его не токмо за страх, но и за совесть. Он будет надоедать, преследовать меня по пятам, приставать с нелепыми требованиями, а я должен говорить ему слогом «Песни песней»: лоно твое, яко чаша благовонная, и нос твой — яко кедр ливанский! Что он ни скажет, я должен выполнить без разговоров, не потому, что нахожусь у него в плену, а потому, что у него пупок — как кубок, а груди — как два белых козленка. Вот он какой. И жаловаться я на него не смею, потому что прежде, нежели я рот разину, мне уж говорят: ну что, старичок! поди, теперь у вас не житье, а масленица! Смотришь, ан у меня при этом приветствии и язык пресекается. Никогда я его не излюблял, а мне все говорят: излюбил! Никогда я его никуда не выбирал, а все кричат: выбрал! С юных лет я не слыхал ни об любвях, ни об выборах; с юных лет скромно обнажал свою грудь и говорил: ешь! Ели ее и Сквозник-Дмухановский, и Держиморда, и Тяпкин-Ляпкин — недоставало Дракина, и вот он — он! Неужто же я его возлюбил для того, чтоб он меня ел?.. Неправда это. Не я, а Амалат-беки его возлюбили, и сулят его в перспективе, чтоб он меня ел, я же, разумеется, буду при этом подплясывать и приговаривать: нос твой — яко кедр ливанский! Согласитесь, что это в сто крат унижительнее, нежели иметь дело с человеком, насчет постылости которого даже споров нет.

Во-вторых, меня значительно подкупает и то, что Сквозников-Дмухановских сравнительно все-таки немного, тогда как Дракин на каждом шагу словно из-под земли вырос. Еще при крепостном праве мы жаловались, что станового никак улучшить нельзя, а теперь, когда потребность приносить жалобы удесятерилась, беспомощность наша чувствуется еще сильнее. Зато Дракины придут в таком множестве, что недра земли содрогнутся. С упразднением крепостного права, у них только одно утешение и оставалось: плодиться и множиться. Вот они и размножились, как кролики, и в то же время оголтели, обносились, отощали. Чаю по месяцам не пивали! говяжьего запаха не нюхивали! И вы думали, что они не набросятся на окрестность со всеми чадами и домочадцами! Проходу никому не дадут — за это вам ручаюсь. Начнут рыскать взад и вперед, будут кур душить и кричать ого-го! и будут уверять, что спасают общество. И вот попомните мое слово: хоть вы и хвалите вашего соседа Пафнутьева за то, что он «вольную» записку о средостениях написал, но как только он получит в руки палку — конец вашим дружеским отношениям. Надоест он вам, и жена его надоест, и дети его надоедят. Всѣ будут о средостениях беседовать и палкой помахивать.

В-третьих, Сквозник-Дмухановский, как человек пришлый, не всю статистику вверенного ему края знает. Не только то, что скрывается в недрах земли, не всегда ему известно, но даже и то, что делается поблизости. Поэтому недра земли остаются непоруганными, а обыватели имеют возможность утаить в свою пользу — кто яйцо, кто поросенка. Напротив того, Дракин, как местный старожил, всю статистику изучил до тонкости. Он знает, сколько у кого в кошеле запуталось медяков, знает, у кого курица снесла яйцо, у кого опоросилась свинья. А, сверх того, знает, где именно нужно шарить, чтоб обрести. Так что ежели вам, с выступлением Дракина на арену, придется печь в доме пирог, то так и знайте, что середка принадлежит ему. Иначе он налетит на вас, яко тать в ночи, возьмет младенцев ваших и избьет их о камни...

Есть у меня и другие доводы, ратующие за Сквозника-Дмухановского против Дракина, но покуда об них умолчу. Полагаю, впрочем, что довольно и того, что сказалось.

**<ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА ТРЕТЬЕГО, ЗАПРЕЩЕННОГО ЦЕНЗУРОЙ.
ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ. НЕОКОНЧЕННАЯ>**

IV

Милая тетенька!

Вы говорите: затеи Амалат-беков до того нелепы, что, право, не стоит обращать на них внимание. Может ли внушать опасение, восклицаете вы, какой-то *секретный* кружок корнетских детей, который во *всеуслышание*, предлагает по сту рублей за каждого превратного тоскователя? Да еще выдаст ли?.. право, ведь не выдаст, а с первого же абцуга попросит обождать? Кружок, члены которого и без того по горло задолжали лихачам извозчикам, фруктовщикам и портным? Кружок, члены которого и по слухам не знают о словосочиненье? Кружок, члены которого даже притвориться не умеют понимающими, когда в их присутствии произносят столь общеизвестные слова, как: отечество, убеждение, совесть, свобода, долг? Может ли быть опасною эта невежественная мразь, эта прожженная гольтепа, эта не по своей вине неосуществившаяся юхачевщина? Может ли даже какой-нибудь след оставить после себя это сонмище кавалеров безделицы, в важных случаях уверяющее свои интересы Ноздревым и Расплюевым? Успокоивая меня этими соображениями, вы, однако ж, присовокупляете: «И у нас в Соломенном Городище с неделю тому назад промелькнула какая-то загадочная барынька, которая поселилась в номерах и всех неопытных фендриков ловила за фалды, приглашая поступить в члены «Союза Проломленных».

Голов». И что же потом оказалось? — собрала она семьдесят пять рублей денег на ремонт краеугольных камней, да задолжала извозчику Конону десять рублей и, не заплатив ни копейки содержательнице номеров, в одно прекрасное утро исчезла. А теперь ее в Навозном поймали и не знают, как быть».

То-то и есть, что «не знают, как быть!» А вот кабы мы с вами вегетин хоть для ограждения прав буквы Ъ затеяли — с нами знали бы, как поступить... И поступили бы.

Что затей «Проломленных Голов» не заключают в себе существенной опасности — в этом и я никогда никакого сомнения не имел. Шутка сказать! Не помнящие родства лоботрясы задумали благонамеренное междоусобие... какой бессмысленный вздор! Но ведь дело не в том, вздорны или не вздорны, опасны или не опасны известные затеи, а в том, когда же мы, наконец, получим возможность не думать об них? когда мы перестанем отравлять свое существование рассмотрением вопроса об их опасности или неопасности? когда мы убедимся, что общество живет и развивается путем действительного делания, а не воссыланием благодарных молитв за то, что висящие над нами затеи оказываются не очень опасными, а иногда и совсем не опасными?

Горько подумать, что вся современная действительность сплошь соткана из таких фактов, по поводу которых даже вопроса о полезности поставить нельзя, а все только об опасности или неопасности. Ведь это покамест единственный критерий, который прочно утвердился в нашем обществе. С ним мы живем день за день, или, лучше сказать, выпучив глаза, смотрим в пустое пространство. Но до которых же пор мы будем испытывать взорами эту пустоту? До которых пор будет тяготеть над нами бессмысленный кошмар?

Как бы то ни было, но когда, в моем присутствии, говорят по поводу того или другого нарождающегося явления (а говорят нынче таким образом даже совсем солидные люди): увидите, что из «этого» выйдет одна потеха — то мне просто жутко делается. Потеха-то потеха, но сколько эта потеха сил унесет! А главное, сколько сил она осудит на фаталистическое бездействие! Потому что, разве это не самое горькое из бездействий — быть зрителем сменяющихся явлений и только одну думу думать: опасны они или не опасны? И в первом случае чувствовать позорное душевное угнетение, а во втором — еще более позорное облегчение?

Ведь и мрачное хрюканье торжествующей свиньи не существенно опасно, и трубное велегласие ошалевшего от праздности путоуста — тоже не заключает в себе коренной опасности.

Все это явления случайные, преходящие, которые много-много захватят десятки людей, но ни в истории, ни в жизни народа не оставят ни малейшего следа. Однако ж в данную минуту они угнетают человеческую мысль, оскверняют человеческий слух и производят повсеместный переполох. И вследствие этого, центр деятельности целой массы современников перемещается из сферы посильного, но положительного труда в сферу бесплодной борьбы, бесчестных обвинений и лицемерных самозащит.

«Ну, слава богу! теперь, кажется, будет потише!» — вот возглас, который от времени до времени (впрочем, с довольно большими промежутками) приходится слышать в течение последних десяти — пятнадцати лет. И это единственный возглас, с которым измученные люди соединяют смутную надежду на перспективу успокоения. Прекрасно. Допустим, что для нас и подобная перспектива достаточна; допустим, что уж и тогда мы должны почитать себя счастливыми, когда перед нами мелькает нечто вроде передышки... Но ведь речь идет не столько об нас, сколько о самой жизни. Передышка передышкой, но где же самая жизнь? Согласитесь, что это такой естественный вопрос, который даже измученный человек вправе предложить себе без большой натяжки. Не говорите же: вот будет потеха! и не утешайтесь тем, что бессмыслица не может представлять для жизни серьезной опасности. Бессмыслица уже тем опасна, что заслоняет собой реальную жизнь, и ежели не изменяет непосредственно ее сущности, то загоняет ее в глубины и окружает такими путями, от которых нелегко освободиться даже в день просияния.

Сколько лет мы сознаем себя недомогающими — и все-таки, вместо врачевания, вращаемся в пустоте. Сколько лет мы собираемся что-то сделать — и ничем, кроме полнейшего бессилия, не ознаменовываем своих намерений. Даже в самых дерзких и доступных нашему пониманию вещах — в сфере благочиния — и тут мы ничего не достигли, кроме сознания крайней беспомощности. А ведь у нас только и слов на языке: дайте сначала вот тут управиться, и тогда... Вы, может быть, думаете, что тогда потекут наши реки млеком и медом? То-то, что не потекут.

В самом деле, представьте себе, что мы, наконец, управились, что источник опасений иссяк, что руки у нас развязаны — какое органическое, восстанавливающее дело можем мы предпринять? Знаем ли мы, в чем это дело состоит? Имеем ли для него достаточную подготовку? Наконец, существует ли такой стимул, который заставлял бы нас желать, чтоб восстанавливающее дело осуществилось?

Ах, тетенька! если б торжество восстанавливающего дела и было решено — ведь и его сумеют эскамотировать в свою пользу Амалат-беки, а настоящие обыватели, как и всегда, останутся ни при чем. По поводу этого торжества Амалат-беки будут лакать шампанское, испускать победные звуки, потрясать знаменами, грозить очами, но никогда не поймут и не скажут себе, что торжество обязывает.

Обязывает — к чему? — вы только подумайте об этом, голубушка! Обязывает к восстановлению поруганной человеческой совести; обязывает к сообщению человеческой деятельности благородного и сознательного характера; обязывает к признанию за человеком права на уверенность в завтрашнем дне... И вы хотите, чтоб Амалат-беки когда-нибудь признали эту программу! Совесть! сознательность! обеспеченность! — да ведь это-то именно и есть потрясение основ! А вы думали что? Еще не все шампанское выпито по случаю прекращения опасностей, как это же самое прекращение вызывает целый ряд новых, самостоятельных опасностей. Допустим, что опасности это фантастические, но в мире случая только фантастическое реально. Да и не в опасностях дело, а в потребности боя. Бой кончился, но не успели остыть бойцы, как уж начинается новый бой, и будет расти и шириться, пока не исчерпает всех причин, его породивших. А где же предел этим причинам?

Нет, это не потеха!

Сами по себе взятые, Амалат-беки, конечно, бессильны, но они наполняют атмосферу бессмыслицею, они срывают жизнь с колен развития, они прививают обществу проказу мятежа. Никогда мятеж не распространялся с такою ужасающей легкостью, как в наши злосчастные дни. Мятеж беспредметный, привередливый, довлеющий сам себе. Не успел я сообщить вам о мятежных симбирских корнетских детях, как вы в свою очередь уведомляете меня о существовании какого-то диковинного «Союза Проломленных Голов». Погодите немного, и мы увидим целую толпу разного наименования добровольцев, которые на свой риск будут устраивать «союзы» с шиворотами, загривками и облавами. Тут явятся и «Чистопсовы охранители», и «Усердные гужееды», и «Веселые лоботрясы», и «Кособрюхие восстановители основ». И все они будут возвещать о новых и новых опасностях, и все будут вызывать на бой. Ибо идеал Амалат-беков в сфере внутренней политики прост, но неосуществим. Этот идеал формулируется так: ничего чтобы не было. Но как ни дисциплинирована наша действительность — даже и она не может вместить такой безграничной программы. Нельзя, чтобы ничего не было. До такой степени нельзя, что

я считаю даже банальным доказывать это. А так как Амалат-бек никогда не отступит от этой программы, то и междуособиям не предвидится конца. В этом-то именно и заключается горечь той глухой загадки, которую мы переживаем. Истинно говорю вам: нет, это совсем не потеха!

В молодости вы довольно-таки знавали Амалат-беков, милая тетенька, не один из них засматривался на ваши прошивочки, и, помнится, вы не роптали на это. Вам нравилось, что эти люди умеют говорить *des jolis riens*, а в случае надобности могут и ложу в театр достать. Увы! все это было тогда, как Амалат-беки еще не занимались внутренней политикой. Но с тех пор они радикально изменились: брызжут пеной, цыркают, как извозчики, и обещают сто целковых (да еще в кредит!) тому, кто приведет прохожего с завернутыми к лопаткам руками. И что всего непростительнее: того же самого цырканья, той же жажды вывернутых лопаток требуют и от своих дамочек...

Венчать ли их за это розами или гнать вон из гостиной — вот в чем вопрос. Мое личное мнение таково: гнать вон. Но вряд ли кто меня послушается. Нынче и дамочки какие-то кровопийственные сделались, все походами да междуособиями бредят. Это прежние дамочки любили, чтобы краснощекий Амалат-бек сначала наговорил с три короба *des jolis riens*, и потом вдруг... Нынешние же прямо настаивают: проливай кровь!

Кстати о дамочках — позвольте небольшое отступление.

Дамочка (разумеется, культурная) всегда представляла лишь женскую разновидность породы Амалат-беков. В период докровопийственный, когда Амалат-беки были смирны, дамочка была куколкой и закрывала глазки навстречу *jolis-riens*; с наступлением периода кровопийственности она нагуливает груди, берет в руки бубен и, потрясая бедрами, призывает к междуособию. Как прежде она не сознавала, что заставляет ее закрывать глазки (*ah, ma chère, est-ce que je sais*), так и нынче не сознает, что заставляет ее потрясать бедрами. Что такое междуособие — она не знает, что такое основы — никогда не слыхала, что такое авторитет — *ah, vous m'en demandez trop!* И Амалат-беки не знают и растолковать не могут. Никто ничего не знает, а между тем бунтуют. Стоит только дамочку поощрить — и из нее выйдет самая отпетая петролсейщица. Тетенька! Не увлекайтесь этими примерами! И ежели ваш урядник будет убеждать вас поступить в «Союз Пролетарских Голов», то гоните его в шею. Ручаюсь, что никто вас за это не забранит.

К счастью, голова у Амалат-бековой подружки осталась, по-прежнему, куклина. Грудь она нагуляла, бубен купила, но головы ни нагулять, ни купить не могла. По-прежнему, эта голова называется *tête de linotte* и *tête remplie de foin*, по-прежнему, как решето, не может удержать ничего, что случайно в нее попадает. Ежели прежняя дамочка не могла утаить ни одного из *jolis-riens*, которые запутывались в складках ее платья, то нынешняя ревнительница междоусобий тогда только чувствует себя облученною, когда успеет выбросить на распутии весь запас внутренней политики, которым, вместе с брызгами слюны, облил ее Амалат-бек.

Судите, как хотите, а, по-моему, это черта очень полезная. Амалат-беки по всем трактирам поют: Мальбрук в поход пошел; Амалат-бекши ту же песню напевают во всех столицах и курортах Европы. Это только одно и спасает нас; иначе они все долга разорили бы, не понимая, что разоряют: отхожее место или храм славы. Даже гарсоны в парижских ресторанах — и те Амалат-бекову шайку знают. «Амалат-беки ваши свирепы, говорят они, но еще более легкомысленны — пользуйтесь этим!»

Уже всех Амалат-беков называют по именам, а Амалат-бекши так-таки прямо со всеми прохожими заигрывают. Амалат-бекша видит вас в первый раз от роду и сейчас же начинает вербовать. «Рекомендуюсь, говорит, я — Федотова». Но так как она совсем не Федотова, и ей было бы крайне обидно, если бы ее взаправду приняли за Федотову, то она тут же, сряду, прибавляет: «впрочем, Федотова — это моя *нелегальная* фамилия, а настоящая — графиня Сапристи́» — это она, извольте видеть, в конспирации играет. И затем начинает выкладывать, какими людьми «они» уже успели заручиться и каких предполагают привлечь; сколько у «них» уже собрано денег и сколько предполагается собрать. Хвастает-хвастает и вдруг проврется. Сначала, кажется, много денег, а потом, смотришь, ан у ней трижды три — сорок пять, да и те только в ожидании. Дело-то, пожалуй, придется в кредит вести.

Как хотите, а, по-моему, это хорошо.

Но вспомните, голубушка, ту сферу иллюзий и бредней, среди которой мы провели нашу молодость, и сопоставьте эти воспоминания с современною действительностью. Как тогда лучше было! и какие были стыдливые дамочки! Сидят, бывало, друг против друга два существа: одно мужеского, другое женского пола, сидят и бредят. Бредят да бредят, — и вдруг уста их сольются! Мило, благородно. И луна смотрит на них, и не стыдится. А нынче? «Уста»! *qu'est ce que c'est que ça?* «Уста»? *a-t-on jamais entendue pareille chose!* Какие, черт побери,

«уста»! Да выложите перед женского пола Проломленной Головой всю Барковскую преисподнюю — она и тут ни одним мускулом не шевельнет!

Ах, тетенька!

Но что всего замечательнее в современных Амалат-беках — это их тяготение к земству. Потомки бюрократической кормежки, верстанные и жалованные, вскормленные хлебом бюрократии и млеком ее вспоенные (а главное, и доднесь этим млеком питающиеся), они легкомысленно отвертываются от своих «начал» и проявляют желание обновиться в новоявленной сллоамской купели, которую, с чужого голоса, они называют «земством». В последнее время это вождеделение сделалось до такой степени общим, что нет того опытного лоботряса, который с первого же слова не огорошил вас «земством». Спросите его: что такое земство? — он пробормочет в ответ что-то невнятное: проклянет чиновничество, похвалит мужичка и, во всяком случае, не определит и не объяснит. Одна ж не потому не объяснит, чтобы не понимал предмета своих вождедений, а потому, что покуда у него еще достаточно храбрости нет. Но загляните к нему в душу (это не очень трудно), и вы наверно прочтете на дне ее: *Крепостное право*.

Не забывайте, тетенька, что у каждого из столичных Амалат-беков спрятан где-нибудь в Чухломе или Щиграх пьяненький братец, или дяденька, или кузен, которые изнывают в покосившихся набок усадьбах и забирают в долг водку и студень у Разуваева. Надо как-нибудь их пристроить и дать им вздохнуть. Уж и теперь они, при всяком общественном бедствии, кричат: страх врагам! в чайанье что-нибудь заработать ребятишкам на молочишко — какой же гвалт они поднимут, ежели обстоятельства припустят их к восстановлению краеугольных камней?

До последнего времени наше земство, в том виде, как оно конституировалось, представлялось для меня загадкой. До такой степени загадкой, что самый вопрос о том, следует ли касаться этого «молодого еще не успевшего окрепнуть учреждения» или не следует, — очень серьезно меня смущал. С одной стороны, казалось: вот люди, которые, получив от начальства разрешение вылудить все больничные рукомошники, готовы головы свои положить, чтобы выполнить это поручение. Отчего же бы, стало быть, не поговорить об них? Но, с другой стороны, думалось и так: почему же, однако, эти ревностные лудильщики признаются опасными? отчего нет губернии, которая бы не оглашалась воплями пререканий между «неокрепшими» людьми и чересчур «окрепшими» администраторами? с какого

повода последние, однажды разрешив свободу лужения, не только не дают предаваться этому занятию беспрепятственно, но даже внушают, что оно посеивает в обществе недовольство существующими порядками и подрывает авторитеты? Стало быть, лучше до времени об этих «опасных» малых помолчать.

Ах, это вопросы ужасно сложные, милая тетенька! и ежели приняться вплотную разводить их на бобах, то как раз впросак попадешь. Станешь «неокрепшему» человеку говорить: ты что же это, братец, авторитеты вздумал потрясать? — смотришь, а он таким простодушным лудильщиком выглядит, что даже вчуже совестно станет. Или начнешь «окрепшего» человека убеждать: ваше превосходительство! будьте милосерды! ведь ежели эти люди кой-где недолудят или перелудят — человек ведь он! — смотришь, а его превосходительство в ответ: а вы, государь мой, что за заступник такой? да вы, стало быть, позабыли притчу про места, где Макар телят не гонял!

Так я и не касался этого «неокрепшего» учреждения. Христос с ним! пусть без меня крепнет!

Но нынче слух идет, что земцы уж совсем окрепли, а потому и надобности нет таить, в чем тут штука была. Оказывается, что лудить можно двояко: с предвзятым намерением или просто без всякого намерения. Все равно, как лапти плесть: можно с подковыркою, а можно и без подковырки! С подковыркою щеголеватее и прочнее, но зато крамолой припахивает; без подковырки — никуда не годится, но зато крамолы нет: ходи Корела без подковырки! Так-то и с нашими земцами случилось. С первых же шагов они точно сорвались: будем лудить с предвзятым намерением. Возмечтали; вздумали лудить самостоятельно, из разрешения вывели какое-то право, и — что всего хуже — начали иронически посматривать на администраторов. В губернии ни одного бала не обходилось без скандала, ни одного пирога — без ехидной полемики. Натурально, администраторы сбесились. Не «право» дано вам, возопили они, а разрешение, разрешение и только разрешение! Право — это потом, когда бабушка будет произведена в дедушки, а покуда: луди, но оглядывайся! Коротко и ясно: хоть ты и получил разрешение, но с тем, чтобы вновь на всяком месте и на всяк час оно испрашивать. Живи и ходатайствуй!

Отсюда — распря, ненависть, бесконечное галдение. Едва успели обе силы встретиться, как тотчас же встали на дыбы. Стоят друг против друга на дыбах, лудить не лудят и от луженья не бегают — и шабаш. Да и нельзя не стоять. Потому что ежели земство уступит — конец луженью придет, а это ведь заря наших будущих гражданских свобод! Ежели Сквозник-Дмухановский уступит — начнется колебание основ и по-

трясение авторитетов. Того гляди, общество погибнет. Вопрос-то ведь выходит... принципиальный!!

И шла эта распря до наших дней, и, надо сказать правду, последствия ее, в большей части случаев, земцы выносили на собственных боках.

Заручившись содействием Дракиных, Амалат-беки начинают чувствовать, что у них все-таки нет центрального пункта, нет общего лозунга, который для всей этой рассеянной братии служил бы вместо маяка. Поэтому они заводят свою литературу. В первый раз, как вы будете проезжать через Берлин, пройдитесь по Unter den Linden и остановитесь перед витриной книгопродавца Бока. Вы встретите тут целую массу русских брошюр с самыми заманчивыми названиями, начиная с вопроса: «Что нам всего нужнее» и кончая восклицанием: «Европа! руки по швам!»

Купите одну из этих брошюр (первую, какая под руку попадется), ибо это — литература наших любезно-верных Амалат-беков. Из них вы познакомитесь с степенью их развития, с их мирозерцанием, с их видами на будущее. Конечно, не сами Амалат-беки тут авторствуют, а их доверенные грамотеи, но для меня уже тот факт знаменателен, что даже в этих жестоковейных людях шевельнулась мысль, что если у них не будет хоть гаденькой литературы к услугам — они погибла. И вот вслед за этой мыслью является потребность в наемных грамотеях, которые должны привести в порядок смуту чувств и вожделений и в возможно непостыдном изложении сообщить их в поучение шлющелому русскому человеку.

В настоящее время грамотей выступил на первый план. Амалат-беки косноязычны и скудны разумом и грамотою. Они мыслят обрывками и чувствуют только одно: что надобно нечто прекратить и искоренить. Но что именно искоренить и как это сделать — этого они не знают. Вот тут и приходит к ним на выручку грамотей. Он тоже не знает, что нужно искоренить, но он умеет выводить буквы, он кой-что еще помнит из истории Кайданова и в довершение всего не боится типографских чернил. Этого совершенно достаточно, чтоб закрепить за ним роль руководителя и мудреца. В большей части случаев таким грамотеем является какой-нибудь честолюбивый земский лудильщик, но встречаются между ними и выброшенные за борт сановники.

Повторяю: прочтите хотя одно из этих отреченных произведений замутившейся человеческой мысли — и вы будете сразу поражены малограмотностью, умственной заганностью и какою-то необычайною неуклюжестью, младенчеством мыслей и образов. Периоды дерутся между собою, предыдущая фраза

побивает последующую, союзы употреблены не в собственном значении: «но» поставлено вместо «и»; условные «так как», «если» не имеют соответствующих выводов; неологизмы на каждом шагу, но неологизмы бессмысленные, не к месту употребленные. При первом же взгляде на страницу делается очевидно, что ее написал человек, который взялся за перо, совершенно не сознавая, какие он будет выводить буквы и какие из этих букв составятся слова. В одной брошюре я встретил красную строку: «Смею ли присовокупить!» — и только. Затем идет другая красная строка, и там уже оказывается, что грамотей нечто присовокупить имеет, и действительно присовокупляет, что ни Петр Великий, ни Александр II ничего путного не сделали, а вот он, выводящий каракули пастух, может указать, что следует сделать, чтоб было и мило, и путно, и на пользу Дракиным послужило.

Бог справедлив, тетенька. Он одинаково не терпит мятежей, как неблагонамеренных, так и благонамеренных, а для того, чтоб лишить мятежников всяких надежд на успех, прежде всего отнимает у них разум. А вместе с разумом понемногу исчезает и представление о правилах словосочинения. Без разума, без знаков препинания, без тысячи понятий о подлежащем, сказуемом и связке — что может предпринять даже самый беззастенчивый земский лудильщик? Он может выводить букву за буквой и гордиться тем, что из букв составляются слова. Это он и делает.

Прочтите, голубушка! Вы воочию убедитесь, какова была человеческая мысль в младенчестве. В тот свайно-исторический период, когда она наугад ловила слова, когда «но» не значило «но», когда дважды два равнялось стеариновой свечке и когда люди начинали обмен мыслей словами: смею ли присовокупить? До сих пор печатное слово, в смысле выражения человеческой мысли, культивировалось людьми, носящими звание литераторов. Литература была выражением не только установившихся в обществе понятий, но и тех таинственных аспираций, которые существуют в обществе в зачаточном виде. По истории литературы вы можете проследить, как общественная мысль развивалась, обогащалась и укреплялась. Да, по истории литературы, а никак не по сборникам циркуляров. И так как дело выражения общественной мысли есть дело сложное и мудреное, то естественно, что для выполнения его требовались люди подготовленные, люди настолько знакомые с историей общественного развития, чтоб не разевать рты и не чураться в виду конечных побед, добытых усилиями человеческого разума. Такими людьми и являлись литераторы.

Бывают разные литераторы, милая тетенька, и я, конечно,

не буду отрицать, что между ними достаточно есть плохих, бедных мыслями и далеко не стоящих на уровне той задачи, которая, так сказать, провиденциально лежит на литературе. Но взятая в общем фокусе литература все-таки выполняет свою задачу. Уклонения и недомыслия, кроме разве очень крупных и бесчестных, игнорируются историей, так что все страницы этой истории являются как бы пронизанными лучами, исходящими от светоча развития мысли. Человеческая мысль не гложет; человеческая мысль обогащается и развивается — вот главный и даже единственный вывод, который дает история литературы. Этого совершенно достаточно, чтоб утешить не до конца забытых шкурным вопросом людей даже в том случае, когда другая идущая рядом история назойливо рассказывает анекдоты из жизни Шешковского.

Но даже и мало выдающиеся литераторы имеют за собой два очень существенных достоинства: во-первых, они пишут так, что их можно понять, и во-вторых, до известной степени стыдятся невежественности и, во всяком случае, не так наивны, чтобы выставлять ее напоказ. Первое дается им привычкой обращаться с печатным словом и дознанным опытом, что без основательного знакомства с правилами словосочинения на арену книгопечатания являться нельзя! Второе — сознанием, что печатное слово имеет в предмете достигать известных результатов и что даже наиболее невежественных людей можно убедить только знанием, а не невежественностью же.

Я знаю, конечно, что бывали примеры, когда люди увлекались велегласием, округленными периодами и даже скверными чревными звуками ликующих трубачей. Но в этом случае играло первую роль именно увлечение, а отнюдь не убеждение. И притом все эти округлости и чревные урчания всегда находили очень ограниченное число прозелитов. Новое доказательство, что общество самое простодушное — и то прежде всего требует от литературы фактических основ и ясности изложения.

Как бы то ни было, но до сих пор служительницею развивающейся общественной мысли исключительно являлась литература. Это была своего рода монополия, справедливости которой я не стану защищать. Это факт, который бросается в глаза всем, и долго ли он будет существовать — едва ли кто-нибудь возьмется это определить. Я полагаю, что литература будет существовать и ныне и присно и во веки веков и что общество не потерпит от этого ни малейшего ущерба. Общество складывается из элементов разнообразных и неравносильных, и каждому из этих элементов найдется место на жизненном пире. Есть люди практики, устроители подробностей, есть люди

идеалов, выразители стремлений будущего, наконец, есть простые лудильщики.

В настоящую минуту мы очень несчастливы. Нашу жизнь намереваются заполнить лудильщики. Они уже усиленно рекомендуют себя на место Сквозника-Дмухановского, и затем, овладев кошельком и спиной обывателя, пойдут и дальше. То есть, пожелают овладеть и обывательскою душою, или, говоря яснее, проникнуть в литературу.

Попытки в этом смысле уже сделаны. По крайней мере, как только вы проедете Вержболово, так в первом же увеселительном германском городке вы увидите произведения новоявленных русских литераторов, которые трепетными руками выводят буквы и гордятся тем, что из этих букв составляются слова.

Почему они печатают себя в Берлине, в Лейпциге, а не в Саратове?.. Признаюсь, этот вопрос иногда представлялся для меня небезыңтересным. Яды — саратовские, изложение — саратовское, а печать — берлинская! И знаете ли, что я надумал?

Был некогда страшный человек Искандер, которого, скажут, много читали. Давно уж он умер, но не умерло утвердившееся убеждение: что надобно прежде всего писать страшные вещи, и потом — непременно печатать их за границей. Так что брошюра, напечатанная за границей, уже без разговоров признается страшною, что для лудильщиков очень лестно. Во всякой брошюре вы непременно найдете и прямые и косвенные нападки на Искандера, но, в сущности, он не только не претит им, но служит как бы идеалом. Повторяю то, что уже неоднократно высказал в этих письмах: Амалат-беки и их грамотей ничего другого в виду не имеют, кроме мятежа и междоусобия. Только они прибавляют к этим словам прилагательное «благонамеренный», — и думают, что никто их не разгадает.

Грамотей всегда начинает издадека. Он прежде всего хочет заявить себя перед читателем не в качестве прохвоста, а в качестве эрудита. Поэтому он облетает мыслью все части света («Известно, что даже в вольнолюбивой Франции» или «Известно, что в Североамериканских штатах» и т. д.), проникает в мрак прошедшего («Известно, что когда египетские фараоны» или «Известно, что когда добрый последний Людовик XVI» и т. д.) и трепетною рукою приподнимает завесу будущего («Но что сулит нам будущее — это будет известно нашим потомкам»). Так что не успеет читатель оглянуться (10—12 страниц разгониистой печати), как он уже знает, что слабая власть приводила народы на край погибели, а сильная власть и погибшие народы возвращает в первобытное состояние. Прекрасно. Но

зачем же было ехать печатать это в Берлине? Я полагаю, что достаточно было бы забежать в Театральную улицу, чтоб вынести оттуда рукопись с надписью: «Печатать дозволяется с удовольствием». Действительно, было бы достаточно, но ведь тогда не представлялось бы надобности провозить книжку через вержболовскую таможенную постройку под полой à l'instar d'Iskander¹.

Затем грамотей ставит общий принцип. Принцип этот он берет наудачу и совершенно произвольный. Например: «Основные черты характера, которые проходят сквозь всю тысячелетнюю историю русского народа, суть следующие: смирение, безропотное повиновение начальству и неуклонность в платеже податей и повинностей». Откуда это взялось? где факты? где доказательства? Ни источников, ни фактов, ни доказательств — ничего. На все требования фактов и доказательств грамотей ничего не отвечает, а только жужжит в ответ: «основные черты характера, которые» и т. д. Но откуда же это взялось? где та история, то исследование, которое доказывает это положение? А он опять жужжит свое: «основные черты характера, которые» и т. д. И на 20 страницах до того дожужжится, что вы воскликнете: хорошо, сказывай, что у тебя дальше? А дальше будет вот что: «но, к несчастью, наш прекрасный [народ] находится в младенчестве и потому склонен к увлечениям». Как, к несчастью? Смирный да еще в младенчестве — чего еще надо? Ведь это, значит, такой народ, из которого хоть веревки вей! Сказывай, грамотей, почему ты находишь в этом несчастье? А он в ответ: «но, к несчастью, наш прекрасный добрый народ»...

¹ по образцу Искандера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ

I

Милая тетенька.

Посылая вам в прошлом году последнее письмо, я думал, что переписка между нами — по крайней мере, в эпистолярной форме — прекратилась. В письмах, о которых идет речь, я сообщил вам все, что знал о текущей современности, и на прощание также высказал несколько пожеланий. Пожелания эти заключались в том, чтоб вы более деятельным и сознательным образом отнеслись к народившейся действительности и отрешились от той повадливости, благодаря которой вы так снисходительно идете навстречу всякому паскудству на том только основании, что это «интересное», «талантливое» или «диковинное» паскудство. Я говорил вам: поддержите честную мысль, честное дело, честных людей, и выражал при этом убеждение, что вы в состоянии выполнить эту задачу, потому что вы — сила. А теперь прибавляю: такая поддержка и вам самим принесет несомненную выгоду, потому что только торжество честной мысли и честного дела может доставить вам ту обеспеченность, без которой немислимо пользование жизнью ни личною, ни общественною. Не то пользование урывками, исподтишка, к которому мы с вами привыкли — и которое, мимоходом сказать, заставляет нас мириться с великим обилием всяческих нечистот — а прямое, открытое пользование, обусловленное прирожденным человеку правом на жизнь.

Формулируя эти пожелания, я не сомневался, что они будут выслушаны вами с благосклонностью.

Я не сомневаюсь в этом и теперь, и если вновь прибегаю к эпистолярному общению с вами, то, во-первых, потому, что переписка с вами сделалась для меня потребностью, во-вторых, потому, что она, по-видимому, ни мало на вас не подействовала, и, в-третьих, потому, что я и за всем тем не впадаю в безнадежность и даже считаю не лишним войти в некоторые разъяснения. А именно: хочу указать на те явления, которые, по мнению моему, как бы специально требуют неотложно вашего участия.

Не бойтесь, однако ж. Я не поведу вас ни в дебри, ни в трупы, не стану требовать от вас ни геройства, ни чрезмерных жертв. Я буду указывать вам на дела средние, какие нам с вами свойственны. Даже кошелька вашего (знаю я, тетенька, как вы его прячете, коль скоро дело идет не о бакалейных и красных товарах) коснусь весьма умеренно.

Начнемте с литературы.

Знаете ли вы, что такое литература? — Сомневаюсь: Думаю,

что вы на этот счет такой взгляд имеете: литература — это ха-ха-ха или хи-хи-хи. И много-много, если «il y a là-dedans un joli mouvement oratoire»¹. Что возбудило, в известном случае, ваш смех, а в другом заставило вас задуматься — надо полагать, что вы это сознаете; но сознание ваше едва ли переходит за пределы той минуты, покуда живые образы непосредственно стоят перед вашими глазами, а горячие речи непосредственно касаются вашего слуха. Но прошла минута, замер в воздухе последний звук, дочитано последнее слово — и на дне сознания остался осадок, в виде «ха-ха-ха» или смутного воспоминания о joli mouvement oratoire. Что бишь такое... ха-ха-ха! Ах нет, ma chère! ха-ха-ха — это прежде было, а сейчас, напротив,— c'était très sérieux...² что бишь такое?

Сознайтесь, голубушка, что если я и преувеличиваю, то очень немного... Сознайтесь также, что если вас, спустя короткое время после описанной выше вожделенной минуты, попросить изложить своими словами, то «joli mouvement oratoire», которое привело вас в восхищение, то вы... но, право, лучше уж не думать об этом!..

Спутались вы, милая. И жизнь-то (или, лучше сказать, жизненное мелькание) одолевает вас, да и традиции, с которыми вы с детства сжились, мешают разобраться в получаемых впечатлениях. Вот вы и не знаете, как тут быть: признать ли для себя обязательными новые течения и принять в них непосредственное участие или же только как-нибудь пережить их.

Но не будем увлекаться в сторону и остановимся исключительно на литературе. И содержание и форма ее в последнее время радикально изменились, а это-то именно вы и проглядели. Я не хочу этим сказать, чтобы вы не признавали законности совершившегося поворота — напротив, многое в нем уже возбуждает в вас сочувственную любознательность,— но едва ли ошибусь, утверждая, что общение с литературой дореформенной и доселе представляет единственное убежище, в котором вы обретаєте для себя неподдельную усладу и утешение.

Дело в том, что дореформенная литература (я, тетенька, не о Шекспирах и Дантах говорю, а о средней литературе) давала вам известные поблажки, которые вы высоко ценили. И, прежде всего, она не заставляла вас ставить себе вопрос: что такое я читаю? — ибо все предлагавшееся ею было не только ясно, но и вполне вам свойственно. Так называемая изящная литература рассказывала вам о браках с препятст-

¹ там есть изящное ораторское движение.

² это было очень серьезно.

виями и без препятствий, а также, с дозволения цензуры, и об адюльтерах. Так называемая серьезная литература повествовала о месте погребения Овидия, о древней гривне, о значении слова «навъе» и т. д. Первою — вы упивались, второю — гордились. Первая, как в зеркале, отражала перипетии вашей собственной жизни, заключившейся в известном цикле обрядов и примирившейся с ним. Вторая — ничего не отражала, но представляла собой некоторое загадочное сокровище, к которому вы суеверно приближались, чтоб смахнуть насевшую пыль и сказать: *n'en parlons pas — c'est sérieux!*¹

Ни та, ни другая не действовали на вас возбуждающим или приказательным образом, не требовали экстраординарных умственных усилий, не укоряли, не бичевали. Властители ваших дум шли с вами об руку, изображая *ваших* папашу и мамашу, *ваших* братьев и сестриц, нянюшку Архиповну, дворецкого Лукьяныча и, наконец, того корнета Белобородовского гусарского полка, который своим появлением перевернул вверх дном всю эту идиллию и довел до продажи с аукциона вашу родовую Заманиловку. И были тут страницы, написанные страстно и горячо, встречались лица, на изображении которых были потрачены громадные запасы мастерства...

Я вовсе не намерен слагать дифирамбы новейшей литературе: я даже заранее соглашаюсь с теми, которые укоряют ее в малосилии и малоталантливости. Но дело в том, что наш жизненный процесс до такой степени усложнился и внутреннее его содержание настолько преобразилось под наплывом народившихся позывов и стремлений, что литература решительно не могла остаться при прежних задачах. Эти задачи не упразднены; они сохранили и теперь свое значение и даже не оттеснены на задний план; но уже не представляется необходимости смаковать их, ревниво следить за их развитием от начала до конца и видеть в них единственный корм, пригодный для питания читателя. И браки, и безбрачия, и адюльтеры продолжают входить в общую картину, в качестве составного элемента, но элемент этот признается уже вполне обследованным, и потому если, например, хотят сказать, что Петр Иванович, *между прочим*, был несчастлив в семейной жизни, то так и говорят: семейная жизнь Петра Ивановича была неудачна, и не находят надобным вспоминать, как он лазил через плетень и как его едва не разорвали собаки, покуда он добивался своего будущего семейного несчастья. Все это давным-давно известно и описано, все это над всеми Петрами Ивановичами повторялось и повторяется в одних и тех же формах,— зачем

¹ не будем об этом говорить — это серьезно!

же нагромождать это описанное, выслеженное и общезвестное в ущерб тем элементам, которые только что наметились и, следовательно, нуждаются в более обстоятельном исследовании? Вот эта-то обязанность осветить новые силы, которые дотоле держались взаперти в темных захолустьях, и составляет задачу современной литературы. И, по мнению моему, нет повода ни хвалить, ни порицать ее за то, что она выполняет эту задачу: ничего другого она и делать не может.

А вы всё браков с препятствиями просите и сердитесь, что литература не дает вам их...

Виноват, впрочем, я выразился не совсем точно. В сущности, вы уж и сами стараетесь преодолеть ваше недовольство и даже делаете попытки привыкнуть. Но вы еще не привыкли — нет. Многие вас уже интересуют и об чем-то напоминают вам, но осложнения, которые силою вещей врываются в жизнь и которые литература всегда прозревает и формулирует первая, еще не настолько вошли в ваш обиход, чтоб вы признали их *своими*. От этого, если вам кое-что и нравится в литературном движении последнего времени, то это нравящееся не задерживается в вашей памяти, не ассимилируется вами. От этого же вы так часто ошибаетесь: говорите «ха-ха-ха», когда надобно говорить: *c'est très sérieux*. И наоборот.

Отсюда же проистекает и то двойственное отношение, которое вы выказываете относительно литературы. Нельзя сказать, что вы не читаете — ах, голубушка, кто же нынче не читает! — но вы не живете тою жизнью, которою живет литература, не страдаете ее страданиями, не принимаете к сердцу ее интересов. Вы читаете по пословице: отзвонил — и с колокольни долой. Вы спешите, как будто у вас бог знает какое экстренное дело есть; вы не наблюдаете за вызванными чтением впечатлениями, не воспитываете, не развиваете их, а мимоходом берете, что вам понравилось, и мимоходом же бросаете взятое на распутии. А в дореформенное время вы совсем не так относились: вы и интересовались, и волновались, и страдали. И, право, в этих волнениях играла решительную роль совсем не относительно большая талантливость (я, впрочем, охотно ее признаю), а просто-напросто сравнительная одинаковость умственного и нравственного уровня.

Главная льгота, которую пользовался писатель дореформенных времен, заключалась в том, что он не сознавал себя ответственным. Процесс брака, как препятственного, так и беспрепятственного, везде и всегда происходит при одних и тех же условиях, и писатель, который берет на себя объяснение этого процесса, не нуждается ни в политической, ни в социальной подкладке, а обязывается только не погрешать перед

«местным колоритом». Так, за немногими исключениями, и поступали дореформенные писатели, отлично понимая, что совесть их в этом деле не заинтересована. Но в то же время и столь же мало была заинтересована и ваша совесть, милая тетенька.

Совесть и ее суд проникли в литературу уже впоследствии, когда жизнь преисполнилась мельканием и суетой. Суматоху эту предстояло определить и разложить, и каждому составному элементу ее приискать соответствующее место. Весьма естественно, что при этой сортировке некоторые элементы выросли, другие умалились, и, между прочим, значительно потерпел любовный вопрос, который стоял в дореформенной литературе на первом плане. Но этого мало: так как большинство выступивших вновь элементов имело политическую или социальную окраску, то для писателя представилось обязательным определить характер его собственных отношений к ним. Ибо иначе не мог бы сладить с их массой, не знал бы, как их разместить. Вот это-то выяснение основных пунктов мирозерцания и вытекающий из него принцип ответственности и составляет характеристическую особенность современного писательского ремесла. Прежде ответственность была уделом лишь избранных, нынче всякий писатель — крупный ли, мелкий ли; даровитый или бездарный — обязывается знать, что на нем прежде всего и неизбежно тяготеет ответственность. Не перед начальством и не перед формальным судом, а перед судом своей собственной совести, к которому, впрочем, совершенно естественно примыкает и суд вашей, милая тетенька, совести.

Современный писатель не может действовать иначе, как под прикрытием совести, а ежели у него ее нет, то он должен выдумать для себя таковую. Это до такой степени верно, что мы видим целую массу пройдох, которые из «обретения совести» сделали довольно выгодное для себя ремесло. Всем нынче стало известно, что слово тогда только оказывает надлежащее действие, когда оно высказано горячо и проникнуто убеждением, но что же, кроме совести и основанного на ней мирозерцания, может дать ему эти качества? А так как, по обстоятельствам времени, сделалось уже ясным, что без помощи слова вселенную уловить нельзя, то нуждающиеся в этой помощи, подыскав подходящего пройдоху, говорят ему:

— Можешь ли ты, пройдоха, за такое-то лакомство, во все колокола звонить, что помои представляют самый целесообразный для человеческого питания корм?

— Могу, — отвечает пройдоха и начинает обдумывать, какую такую совесть надо иметь, чтоб пропагандировать помои.

И непременно найдет, потому что иначе он не напишет ни

повести, ни комедии, ни передовой статьи, ни фельетона, ни даже ученого исследования. Ни честная мысль, ни бесчестная — ничто не может утвердиться, пустить корни, не имея за собою определенного исходного пункта, в котором, как в фокусе, сосредоточены лучи, согревающие и освещающие весь дальнейший путь, со всеми поправками, разветвлениями и дополнениями.

Но ежели я употребляю такие выражения, как «утвердиться», «пустить корни», то, признаюсь вам откровенно, я имею при этом в виду вас, милая тетенька. В вашем мнении необходимо утвердиться литературному деятелю, к вашим убеждениям найти доступ. Писатель не крот, который в темной норе выполняет свое провиденциальное назначение, а существо общественное и общительное, для которого полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью его ближних. Например, с вашею.

Зачатки этой ответной совести несомненно в вас уже есть, но необходимо их развить, указать им надлежащие просветы. Эта задача тоже лежит на литературе и ее деятелях, но она сама по себе так трудна и изнурительна, что нередко уносит за собой целые человеческие жизни. Конечно, литература должна понимать, что уровень ее развития несколько выше, нежели, например, ваш, и что, следовательно, она не вправе даже требовать, что[бы] вы сию же минуту отверзли ей объятия, но с вашей стороны будет положительно непохвально, ежели вы на усилия ее не дадите ответа и вообще оставите ее одинокою и беспомощною. Вы так легко можете устранить эту изолированность простым выражением сочувствия, для которого вы всегда сумеете отыскать приличную и даже милую форму.

Но тут-то именно вы и сплеховали. Я не скажу, конечно, чтоб вы уж совсем ничего не слышали об вашей солидарности с современной литературой, — по-видимому, вы уже подозреваете, что тут есть нечто для вас обязательное — но как только представление об этом начинает формулироваться в вашем сознании с надлежащею ясностью, вы как-то чересчур уж охотно стараетесь довести вашу ответственность до минимума.

Несомненно, что это прием самый удобный. Сначала намекнуть писателю, что некоторые склады его мирозерцания неизвестны, а потом, в решительную минуту, в минуту разъяснений и выводов, оставить его в жертву стихиям: не я начала, а ты; стало быть, ты и шестуй! Ловко-то оно ловко, но, право, как будто и стыдно.

Этот трепет перед началом ответственности служит источ-

ником бесчисленных предательств. Он атрофирует совесть и извращает ум. Так что, например, ежели вы говорите «ха-ха-ха», вместо «с'est très sérieux», то, право, может показаться довольно вероятным, что это делается не от непонимания, а от малодушия...

Бедный русский писатель! ему и сочувствуют-то, словно держат камень за пазухой!

Впрочем, я знаю, что вы упрекнете меня в непоследовательности. Сколько раз, скажете вы, ты сам дискредитировал современную литературу, а теперь вопиешь о сочувствии к ней! Кто познакомил публику с «Помоями», кто изобразил «Торжествующую Свинью»?

Я, милая тетенька, я. И не отрекаюсь. Но я поступал таким образом совсем не из равнодушия или из презрения к литературе, а, напротив, из страстной преданности к ее интересам. Ибо, по мнению моему, литература — это такой сильный организм, который не только без вреда вынесет на своих плечах всякие обличения, но даже окрепнет в них.

Литература — это, так сказать, сокращенная вселенная. И та и другая имеют своих гадов, и в той и в другой существуют трясины, идя мимо которых чувствуется специфический запах, «как будто тухлое разбилось яйцо». Но есть, однако ж, и разница: гадам и трясинам вселенной поставлены непреложные границы, которые не позволяют им, в ущерб другим силам, нарушать общую гармонию, а гадам и пахучим местам литературы таких границ не положено.

Увы! это разница очень существенная. Благодаря ей, по временам, делается до такой степени душно, что самое беспристрастное отношение к литературе не выдерживает. И чем сильнее удивление к храму, в котором благодетельно воспитывается человеческая мысль, чем страстнее преданность к интересам этой мысли, тем сильнее и страстнее становится негодование, возбуждаемое заразными притонами, которые стремятся заломить храм и внести в него заразу, гниение и разврат.

Но все-таки это явление случайное, и темперамент играет в нем гораздо более решительную роль, нежели здоровое отношение к делу. Трудно вынести, трудно дышать — вот разгадка негодований, возбуждаемых внезапным наплывом хлевных элементов. Но, в сущности, будущее не принадлежит этим элементам, и как ни загромождена ими литература, в известный исторический момент, она несомненно выйдет победительницей из испытания. Это непременно надо иметь в виду не потому только, что вера в торжество добра и чести утешает, но и потому, что торжество неизбежно.

Это же самое имею в виду и я. Не имею достаточно силы,

чтоб сдержать негодование, и в то же время глубоко и твердо верю, что повод для негодования должен иссякнуть. Когда он иссякнет — я не знаю, но всеми силами души стараюсь приблизить этот миг. С этою целью я говорю о «Помоях» и указываю на ненормальность такого явления, как «торжествующая свинья». И именно вам и для вас я об этом говорю, потому что только вы можете оказать действительное содействие в деле исчезновения гнусных призраков, таким страшным гнетом давящих литературу.

Но вместо содействия [я] вижу только запутанность и какое-то упорное легкомыслие, от которого мороз подирает по коже. Ежели русский писатель сознает себя беззащитным, если почва уходит у него из-под ног, если даже такое нечистое, почти слепорожденное животное, как свинья, считает себя вправе обливать его хлевными помоями,— вы, одни вы виноваты в этом позорном униженье. Вы косвенным образом поощряете вылазки свиньи, вы отдаете ей в жертву все, что есть на свете честного, добропорядочного, дорогого. Слагая с себя всякую солидарность с литературой, видя в ней только потеху для развлечения праздных минут, вы, по-видимому, даже не подозреваете, что помои, которыми обливают литературу обитатели хлевов, обливают гораздо больше самих вас, нежели литературу. Они обливают развитие вашей жизни, преуспевание ваших свобод. Они обрекают вас на бессрочное совместное жительство со всеми темными силами, от которых вы инстинктивно ищете освободиться.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статьи и комментарии

С. А. Макашина

Подготовка текста:

«За рубежом» — *Т. М. Велембовской*
«Письма к тетеньке» — *М. И. Маловой*
при участии
В. Н. Баскакова и В. Э. Богграда
(рукописные редакции и варианты)

Переводы иноязычных текстов

Е. А. Гунста

ЗА РУБЕЖОМ

Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом — осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий¹. Маршрут поездки в точности отражен в последовательности очерков-глав книги (Салтыков называл их «статьями», «эскизами» и «этюдами»): Германия — Швейцария — Франция — Бельгия (поездом)².

Писалось «За рубежом» почти одновременно с самой поездкой и принадлежит к числу немногих крупных произведений Салтыкова, созданных сразу, без сколько-нибудь длительных перерывов и без столь обычных для него отвлечений на другие параллельные или обгоняющие работы. Первая глава была начата в Туне (Швейцария), продолжена в Баден-Бадене и закончена в Париже, вторая — целиком написана в Париже, остальные пять глав писались уже по возвращении на родину, в Петербурге.

Печаталось «За рубежом» первоначально в «Отечественных записках»: 1880 г., №№ 9—11, и 1881 г., №№ 1, 2, 5 и 6. Пауза в публикации, происходящая на №№ 3 и 4 журнала за 1881 г. произошла, по-видимому, по ини-

¹ Переводчик на французский язык нескольких глав из «За рубежом» Michel Delines (М. О. Ашкинази) обозначил в заглавии жанровое своеобразие произведения словами: «Сатирическое путешествие по Европе: T c h é d i n e. Berlin et Paris, voyage satirique à travers l'Europe...», Р. 1887.

² Более детальный итинерарий заграничной поездки Салтыкова 1880 г. таков (в скобках указываются даты по новому стилю): 28 июня (10 июля): отъезд из Петербурга в Эмс, через Вержболово и Берлин; начало (середина) июля — 30 июля (12 августа): Эмс; 30 июля (12 августа) — 3 (15) августа: Баден-Баден; 3 (15) августа — 17 (29) августа: Тун и Интерлакен (Швейцария), затем снова Баден-Баден; 18 (30) августа — 20 сентября (2 октября): Париж; 25 сентября (7 октября): возвращение в Петербург через Бельгию и Германию.

циативе самого Салтыкова и редакции журнала, в связи с событием 1 марта, убийством народовольцами Александра II. В цензурном отношении печатание глав в журнале, «несмотря на их,— по оценке самого писателя,— резкий тон»¹, прошло без сколько-нибудь значительных осложнений. Лишь в главе пятой, по донесению о ней цензора, пришлось перепечатать одну страницу (см. об этом ниже, в комментариях).

Отдельным изданием — единственным при жизни автора — «За рубежом» вышло в сентябре 1881 г.² Текст отдельного издания отличается от текста журнальной публикации немногочисленными разночтениями. Были устранены несколько цензурных купюр и смягчений и проведена мелкая стилистическая правка. Подготовкой отдельного издания 1881 г. работа писателя над произведением была закончена. В «Сочинениях» Салтыкова «издания автора», «За рубежом» появилось уже после смерти писателя, в томе шестом, вышедшем в свет в начале октября 1889 г. Отличия текста этого издания от предыдущего, 1881 г., — минимальны и сводятся к устранению (вероятно, корректором) нескольких не замеченных прежде опечаток.

Из рукописей «За рубежом» сохранилось немного: беловая наборная рукопись главы I и фрагменты черновых рукописей глав VI и VII. Все они хранятся в Институте русской литературы (Пушкинском доме) АН СССР.

В настоящем издании «За рубежом» печатается по тексту издания 1881 г., проверенному по рукописям и публикации в «Отеч. зап.» и «издании автора» 1889 г. Варианты рукописного и первопечатного текстов, как сказано, немногочисленны. Важнейшие из них приводятся в текстологической части комментариев к главам.

* * *

В литературном наследии Салтыкова «За рубежом» занимает особое место. Это единственное его крупное произведение, в котором дана широкая разработка иностранного материала, нарисована цельная, глубоко критическая картина политической жизни, нравов, культуры современной писателю Западной Европы. «За рубежом» — одна из великих русских книг о Западе. Она стоит в ряду таких произведений нашей литературы, как «Письма русского путешественника» Карамзина, «Письма из Avenue Maigny» Герцена, «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского, «Большая совесть» Гл. Успенского и предшествует «Прекрасной Франции» Горького и гениальным «Скифам» Блока.

Вместе с тем, подобно почти всем названным произведениям, «За рube-

¹ Письмо Салтыкова к Н. К. Михайловскому от 14/26 августа 1880 г.

² «За рубежом». Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрин), СПб., типогр. А. А. Краевского, 1881 г., 360 стр. Тираж 5020 экз. Книга вышла из печати между 9 и 15 сентября (см. под названными датами «объявление» о выходе книги в газетах «Голос» и «Новое время», а также письмо Салтыкова к Н. А. Белоголовому от 24 сентября 1881 г.).

жом» — книга не только о Западе, но о России и Западе и, по существу, о России больше, чем о Западе. Писатель национальный в самом истинном смысле этого понятия, Салтыков и к оценкам иноземной действительности подходил всегда с русской точки зрения. Обращение в «За рубежом» к явлениям и фактам западноевропейской жизни и осмысление их в связи с русской действительностью дало писателю возможность еще глубже проникнуть внутрь социально-политического организма своей страны и народа. Позиция Салтыкова в тех спорах, которые велись на рубеже 70—80-х годов о дальнейших путях развития России, его философско-историческая мысль получили в этой книге новую и важную аргументацию. Слав «зарубежного» и «отечественного» характерен для всех элементов произведения. Как отмечала современная критика: «О чем бы ни говорил Щедрин, касающемся Запада, он ни на минуту не может забыть свои родные отношения и хоть в двух-трех коротеньких фразах, а проведет-таки аналогию, неожиданность и яркость которой неотразимо действуют на читателя»¹.

К основным темам и сюжетам, получившим развитие в «За рубежом», Салтыков стал подходить задолго до того, как у него возникло решение написать эту книгу. Первые пробы писателя ввести в свое обличительное искусство материал, выходящий за пределы «отечественной» природы, относятся к началу 60-х годов. Будущего автора «За рубежом» и тогда интересовала не столько «заграница» как таковая, сколько сатирический эффект сопоставления «чужого» и «своего». Поэтому, когда Салтыков впервые прикоснулся в очерке 1862 г. «Глухов и глуповцы» к материалу иностранной жизни, он подчинил этот материал теме о соотечественниках за границей. Созданный в очерках сатирический образ русского «дикого помещика», попавшего в Европу, Салтыков сопроводил замечанием: «Надобно видеть глуповца вне его родного логовища, вне Глухова, чтобы понять, каким от него отдает тлением и смрадом» (т. 4, стр. 205). Вскоре эта тема получает дальнейшее развитие. Уже в следующем, 1863 г. Салтыков посвящает ей заключительные разделы хроники «Наша общественная жизнь» за май месяц, привлечшие к себе значительное внимание критики и читателей, в частности, Ф. М. Достоевского². «Сомневаюсь,— писал здесь Салтыков,— чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и с

¹ Е. К<артавцев>, Щедрин во Франции.— «Киевлянин», 1881, 13 марта, № 58, стр. 1.

² Осенью 1863 г. Достоевский писал Н. Н. Страхову о замысле «рассказа» (романа) «Игрок»: «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Все это отразится в моем рассказе...» (Ф. М. Достоевский, Письма. Под ред. А. С. Долинина, т. I, М.—Л. 1928, стр. 333). Нет сомнений, что Достоевский имел тут в виду прежде всего упомянутую салтыковскую хронику и ее разделы: «Подвиги русских гулящих людей за границей.— Где источник этих подвигов и кто герои их.— Скверный анекдот с двумя русскими дамами в столице цивилизованного мира».

какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Фонвизину и Гоголю,— остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин,— и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей; действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы!» (т. 6, стр. 99, 601).

Заявление это, входящее одним из «документов» в творческую историю «За рубежом», интересно, в частности, упоминанием писателей, к произведениям и замыслам которых обращались мысли Салтыкова в раздумьях над темой и сюжетами, открывавшими новые и богатые возможности для его собственного сатирического пера. Загоскин назван здесь несомненно как автор комедии «Поездка за границу» (1850), Гоголь — как это и указывает Салтыков, в связи со слухами (они проникли в печать) о будто бы замышлявшемся автором «Мертвых душ» романе «Похождение русского генерала в Италию», Фонвизин — возможно также не вообще и не только как высоко ценимый Салтыковым сатирик, но и конкретно как автор остро критических писем из Франции к гр. П. И. Панину. Правда, эти замечательные письма — «гениально остроумные заметки дикого человека», по отзыву Апол. Григорьева¹ — не предназначались для печати и были опубликованы лишь в 1866 г.² Но в литературно-общественных кругах их хорошо знали и раньше.

В 1869 г. Салтыков вернулся к заключительным разделам майской хроники «Нашей общественной жизни». Несколько доработав и сократив текст, он включил его, под заглавием «Русские «гулящие люди» за границей», самостоятельным очерком в свой сборник «Признаки времени».

Спустя два года, в 1871 г., Салтыков поместил в «Отеч. зап.» рецензию на книгу «Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию» Н. И. Тарасенко-Отрешкова». Здесь тема о «глуповце», попавшем в Европу, требовавшая для своей разработки в большей мере юмора и веселого смеха, чем сатиры и сарказма, осложнилась. Рядом с ней возникла тема об отношении к загранице не «глуповца» только, но и русского образованного человека — тема сопоставления «наших» и «тамошних порядков и жизни» «в смысле общественном». В этой связи Салтыков вновь обратился мыслью к опыту прошлого и сослался на «заметки и письма путешественников сороковых годов», имея тут в виду не только названные им

¹ Из статьи Апол. Григорьева о Карамзине, в издании: Н. М. Карамзин, Письма русского путешественника, изд. Н. П. Карabasникова, СПб. 1914, стр. 71.

² «Сочинения, письма и избранные переводы Фонвизина». Под ред. П. А. Ефремова, СПб. 1866.

(без упоминания автора) «Письма из Avenue Marigny» Герцена, но и неназванные «Письма из-за границы» и «Парижские письма» П. В. Анненкова, «Письма об Испании» В. П. Боткина и другие сочинения, по которым русское общество знакомилось с заграничной жизнью «в смысле общественном». Наряду с упомянутыми выше эти сочинения также должны быть учтены в ряду источников, относящихся к творческой истории или, скорее, предыстории «За рубежом».

Но сам Салтыков в это время еще не бывал за границей, и ему не хватало материала и красок личных впечатлений, чтобы взяться за разработку связанной с нею тем и сюжетов, давно уже тревоживших его творческое воображение. Когда же в 1875 г. Салтыков впервые и на целый год попал в Германию и Францию — посланный туда врачами, он сразу же, едва оправившись от болезни, задумал цикл очерков под названием «Книга о праздношатающихся» или «Дни за днями за границей». «Героями» «книги» должны были быть хорошо известные уже типы и фигуры салтыковской сатиры — «глуповцы» и «ташкентцы», бюрократы и хищники, реакционеры и разного вида обыватели из «культурного слоя», но показанные на необычном для них фоне иностранной жизни. «Вещь, которую я полагаю начать... — писал Салтыков Некрасову, — должна иметь юмористический характер»¹. Но, едва приступив к работе, Салтыков тут же вносит изменения в ее содержание и тональность. Не отказываясь от темы «русские «гуляющие люди» за границей» и от разработки ее средствами юмора — *vis comica*, он осложняет замысел мотивами, требующими обращения также и к другой сфере искусства большой сатиры — *vis tragica*. «Смеху довольно будет, — делится Салтыков новым замыслом с Анненковым, — а связующая нить — культурная тоска». «Хотелось бы и трагического попробовать...» — добавляет он, связывая это «трагическое» с образами великих фигур революционной России — Чернышевского и Петрашевского². Он изменяет название сочинения — не «Книга о праздношатающихся», а «Культурные люди». Но начатая работа не идет дальше первых пяти главок и обрывается на них³.

«Мучительная восприимчивость», с которой Салтыков, по собственному его определению, относился к «современности», не только не оставила его за границей, но обострилась там новизною обстановки. Впечатления писателя от социальной и политической жизни Западной Европы, в частности от парламентских выборов 1875 г. во Франции, рождают в его сознании и выдвигают на первый план новые замыслы. Прежде всего — это желание выступить по вопросу о «государственности» и «национальности». «Вот насчет государственности и национальности надо бы что-нибудь еще сказать, — делится Салтыков своими новыми планами с П. В. Анненковым, — благо Франция прекраснейший пример под глазами. Как ее распинают эти сукины дети в Национальном Собрании! Так поедом и едят. Вот и чужая сторона, а сердце по ней надрывается. Где такое собрание истин-

¹ Письмо к Н. А. Некрасову из Ниццы от 29 октября/10 ноября 1875 г.

² Письмо к П. В. Анненкову из Ниццы от 20 ноября/2 декабря 1875 г.

³ См. об этом в комментариях к «Культурным людям» в т. 13 наст. изд.

ных извергов найдешь!.. Может быть, я об этой государственности и напишу что-нибудь, да только не теперь»¹.

Месяца через три-четыре Салтыков написал на тему о «государственности» небольшую публицистическую статью «В погоню за идеалами», введенную затем в книгу «Благонамеренные речи». В рамках этой же книги или цикла был написан в 1876 г. рассказ «Привет». В нем, повествуя о чувствах и мыслях русского человека, при возвращении из-за границы домой, Салтыков выразил драматическую осложненность своего патриотизма. Рассказ этот также следует рассматривать как один из этюдов к полотну «За рубежом», широко воплотившему замысел произведения о буржуазной государственности и — шире — о политическом быте, нравах и культуре буржуазного общества Европы. Написано это произведение совсем по иному плану и в иной форме, чем это представлялось Салтыкову в 1863 г. и как это было начато в «Книге о празднующихся» («Культурных людях») в 1875 г. Правда, все намечавшиеся ранее темы и подходы к иностранному материалу нашли свое отражение и в «За рубежом». Но идейно и художественно они подчинены здесь новому замыслу — одному из наиболее глубоких у Салтыкова — критике буржуазного Запада в связи с коренными вопросами, стоявшими на историческом череду русской жизни.

Как всегда у Салтыкова, художественно-публицистическая разработка этих фундаментальных тем ведется на материале животрепещущей действительности тех дней — ее «современной минуты». При этом Салтыков со всей полнотой убедительности демонстрирует свой удивительный дар угадывать в «современной минуте» «тень грядущих событий».

В «За рубежом» Салтыков и в области политики, и в области духовной культуры показал под увеличительным стеклом своих мощных обобщений и сатирических заострений ряд таких черт буржуазного общества, которые развились до своего предела значительно позже, уже в наше время, в эпоху общего кризиса капитализма. Этим книга «За рубежом» ценна для понимания некоторых «константных» черт буржуазного общества также и нашего времени. Но прежде всего, конечно, она имеет значение первоклассного источника для познания эпохи, создавшей произведение.

Как сказано, Салтыков попал впервые в Европу в середине 1870-х годов, то есть вскоре после главнейших событий этого времени, франко-прусской войны и Парижской коммуны. Период всемирной истории, наступивший после этих событий, охарактеризован В. И. Лениным как «эпоха полного господства и упадка буржуазии»², то есть как исторический момент начала относительно мирного периода в развитии капитализма и перерождения буржуазного класса из прогрессивной силы общественного развития в силу консервативную и реакционную.

В художественных образах и публицистических характеристиках европейской жизни на страницах «За рубежом» Салтыков поднимается до уди-

¹ Цит. письмо к П. В. Анненкову от 20 ноября/2 декабря 1875 г.

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 143.

вительно. ясного понимания этой закономерности, этого переломного времени в историческом бытии буржуазного класса. При этом не остается вне поля зрения писателя и пробуждение к действию могильщика буржуазии — пролетариата. Он не раз упоминает о рабочем движении, вступавшем после поражения Парижской коммуны в новую фазу, пока что еще медленного собирания сил. Однако Салтыков указывает на недостаточность своих знаний рабочей среды и на трудность, для иностранца, проникновения в нее.

Первой «заграницей», которую увидел Салтыков, была Германия. С нее и начинается сатирико-публицистическое «обозрение» европейской жизни в «За рубежом». В «немецком» «этюде» или «эскизе», образующем главу II книги,— две темы: прусский милитаризм и быт модных космополитических курортов юга Германии— Баден-Бадена, Эмса и других, обзываемых Салтыковым, в сатирическом гневе и презрении, «лакейскими». В разработке второй темы использованы ранее затрагивавшиеся писателем мотивы о «русских культурных людях за границей». Люди эти представлены здесь в окружении всевропейской толпы «праздношатающихся» или — используя другое выражение Салтыкова— «гастро-половых космополитов». Но доминирует первая тема — критика военщины и шовинизма. Эти элементы играли главенствующую роль во всех областях политической, экономической и культурной жизни Германии, только что (после победы над Францией) объединенной на прусско-милитаристской основе. «Мы видим,— писал в 1875 г. Фр. Энгельс,— что истинной представительницей милитаризма является не Франция, а Германская империя прусской нации»¹. «Немецкая» глава в «За рубежом» стала в русской литературе классическим художественным аналогом этой оценки.

Картина бисмарковской Германии, собственно Берлина, превращенного из административного центра Прусского королевства в имперскую столицу, написана мрачными красками. «Уже подъезжая к Берлину,— начинает Салтыков свой рассказ,— иностранец чувствует, что на него пахнуло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подолов из Орфеума». «Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина»,— продолжает он свои впечатления, подчеркивая при этом, что «самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни — это военный». «Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства»,— формулирует писатель с беспощадной лаконичностью и простотой суждение русских путешественников, обсуждающих вопрос «для чего собственно нужен Берлин», и в подтверждение такой формулировки резюмирует итог собственных своих наблюдений: «...вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредоточено в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название «Г л а в н ы й ш т а б...».

Сгущение темных тонов в обличительном образе Берлина очевидно.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 18, стр. 565.

Но, по существу, создаваемые этим образом представления о шовинизме и завоевательных устремлениях прусской военщины, юнкерства и буржуазии объединенной Германии находились в полном соответствии с объективной исторической действительностью. Вместе с тем они оказались и провидческими. Салтыковская сатира уловила в идеологии и политике господствующих классов объединенной Германии те воинствующие националистические силы, развитие которых в относительно близком историческом будущем, на империалистическом этапе капитализма, привело к двум мировым войнам,— к двум величайшим военным катаклизмам в истории человечества.

Другой Германии — оппозиционной и демократической — Салтыков кажется мелком и с некоторым скептицизмом. Но он знает о ее существовании и сохраняет веру в ее будущее. Не желая придавать своим отрицательным впечатлениям характера окончательной оценки, Салтыков смягчает ее суровость оговоркой, что он не имеет «никаких данных утверждать, что Берлин никогда не сделается действительным руководителем германской умственной жизни...».

Рассказ о посещении Швейцарии, тогдашнего центра русской революционной эмиграции, именуемой поэтому «страной превратных толкований», почти всецело посвящен отечественным темам и материалам. Далее следует знаменитая глава IV — о Франции, которой посвящены и две последующие главы книги.

Что же увидел Салтыков во Франции? Он впервые воочию встретился с нею в 1875 г., в эпоху «реакционного поветрия», последовавшего вслед за поражением Парижской коммуны. Для Салтыкова, как и для других передовых людей России, Парижская коммуна была яркой революционной молнией, прорезавшей на короткое время серое небо буржуазной эпохи, хотя тогдашняя русская демократия, за некоторыми исключениями, и не могла вполне понять «тайны» Коммуны, домыслить до конца значение первой великой, хотя и трагически закончившейся победы пролетариата. С падением Коммуны развитые страны стали, в лице своих господствующих классов, еще более беспросветно буржуазными. Грозное выступление парижских рабочих, штурмовавших в 1871 г. твердыни собственнического мира, произвело огромное впечатление на буржуазию всей Европы и в первую очередь самой Франции. Буржуазия в массе своей переходит на сторону реакции и вступает в союзы со всеми охранительными силами — с дворянами-феодалами, монархистами, церковью. От недавнего радикализма французских буржуазных демократов, боровшихся с ненавистной народу империей Наполеона III и требовавших «полного обновления крови, костей и мозга нации», скоро не осталось и следа. Политика республиканской партии — основной, самой влиятельной партии в тогдашней Франции — преследовала после Коммуны цели объединения всех сил буржуазии, примирения всех враждовавших внутриклассовых течений и была насквозь соглашательской. Наиболее ярким выразителем и проводником этой политики был лидер республиканской партии Леон Гамбетта, не раз упоминае-

мый на страницах «За рубежом». Республиканский режим Гамбетты был беспримерно буржуазен и насквозь оппортунистичен. «Я не признаю,— заявил однажды Гамбетта в Палате депутатов,— другой политики, кроме политики умеренности, политики результатов и, если уже произнесено это слово, я скажу — политики оппортунизма». Гамбетта был подлинным героем и кумиром всей либеральной, буржуазной Европы 70-х годов. Ему аплодировали, им восхищались и русские либералы. Оплот европейского либерализма видел в Гамбетте и Тургенев.

Но вот что писал о Гамбетте и его Республике — Третьей республике — Салтыков, относившийся с такой едкой непримиримой критикой к либеральной буржуазии, умевший такой законченной ненавистью ненавидеть всякое соглашательство, всякую политику «умеренности и аккуратности». «Политические интересы везде очень низменны...— писал Салтыков Е. И. Якушкину из Ниццы 7/19 марта 1876 г.— Везде реакционное поветрие. Во Франции Гамбетта играет громадную роль — этого одного достаточно для оценки положения. У Гамбетты одна только мысль: чтоб Франция называлась республикой, а что из этого выйдет — едва ли он сам хорошо понимает. Он буржуа по всем своим принципам... Противно читать здешние газеты (я получаю «Républ. française» и «Rappel»), все они наполнены криком: тише! не вдруг!.. Республика без идеалов, без страстной идеи — на кой черт, спрашивается, она нужна. Мы и в России умеем кричать: тише! не вдруг!»

Уже из этих слов, проникнутых страстным неприятием *буржуазности* «хозяев» тогдашней Франции, видно, с какой зоркостью уловил Салтыков первые, но уже отчетливые признаки «отхода» буржуазии от свободолюбивых идеалов своей исторической «юности» и перемещения на позиции охранения достигнутой «зрелости» — торжествующего статус-кво.

Как видно из цитированного письма к П. В. Анненкову, внимание Салтыкова во Франции привлек прежде всего вопрос о политическом содержании и характере буржуазной «государственности». Изучать этот вопрос, действительно, было удобнее и поучительнее всего на примере Франции. Именно в ней получил свое классическое выражение тот тип *парламентарной демократической республики*, который, по определению В. И. Ленина, явился «наиболее совершенным, передовым из буржуазных государств»¹. Идеи демократии, республики, национального государства были теми основными политическими ценностями, которыми так гордилась в свое время создавшая их на основе «великих принципов 1789 года» французская буржуазия. Но к середине 70-х годов XIX в. буржуазно-демократические институты во многом уже утратили свое первоначальное содержание и все более превращались, употребляя терминологию Салтыкова, в *понятия-призраки*². При помощи этих «призраков», освещенных вели-

¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 162.

² О содержании этого понятия см. в статье Салтыкова «Современные призраки» и в комментариях к ней в т. 6 наст. изд., стр. 381 и 676.

чем и святостью идеалов уже исторически изжитого прошлого, господствующим классам удобнее было маскировать своекорыстие своих экономических и политических интересов и защищать свои позиции в обострившейся борьбе.

Наблюдая Третью республику, Салтыков определил ее в «За рубежом» как «республику без республиканцев». В. И. Ленин впоследствии сказал по этому поводу, что «Щедрин классически высмеял» буржуазную Францию — «Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров...»¹. Хотя в своих теоретических взглядах Салтыков и не стоял на позициях материалистического понимания государства и других общественно-политических институтов, как художник он очень близко подошел к определению их классовой сущности. Это и сделало его критику буржуазной Франции «классической».

За фасадом буржуазно-демократических свобод парламентаризма Салтыков увидел основной порок частнособственнического мира — его расколотость, то, что меньшинство живет за счет большинства, увидел господство социальной несправедливости, в существе своем тождественное, хотя и различное по форме в «передовой» Европе и «отсталой» России. Такой угол социально-политического зрения позволил Салтыкову сблизить в своей сатирической критике «порядок вещей» на Западе и в России. «Разве политико-экономические основания, которые практикуются под Инстербургом, не совершенно равносильны тем, которые практикуются и под Петербургом?» — спрашивает писатель. И отвечает: «Увы, я совершенно убежден, что в этом отношении обе местности могут аттестовать себя равно способными и достойными и что инстербургский толстосум едва ли даже не менее жаден, нежели, например, купец Колупаев, который разостлал паутину кругом Монрепо».

В более общей формуле, очевидной социалистической окраски, эта же мысль выражена в утверждении, что та часть политической экономии, которая трактует о правильном «распределении богатств», совсем пока неизвестна ни в России, ни на Западе.

Конечно, Салтыков с полной отчетливостью видел неизмеримо более высокий экономический уровень передовых стран Запада, по сравнению с Россией, и преимущества многих общественно-политических форм европейской жизни. В отличие от славянофилов и «почвенников», а также народников, идеализировавших, каждый на свой лад, историческую отсталость России и в самой этой отсталости стремившихся найти противовес буржуазному «гниению Запада», Салтыков реалистически смотрел на установившееся господство капитализма и торжество буржуазии. Он понимал неизбежность капиталистического этапа в развитии своей страны и явился в отечественной литературе писателем, раньше других показавшим в живых художественных образах приход на арену российской истории «чумазого». Но общественный идеал с юных лет предстоял перед Салтыковым в «свет-

¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 237.

лом облике всеобщей гармонии»¹. В антагонистическом строе капитализма он не видел выхода ни для старых стран Европы, при всем внешнем блеске их цивилизации, ни для «исторически молодой» России.

Предметом глубокой и блестящей сатирической критики в «За рубежом» явились не только государственные и политические институты буржуазного общества, но и сфера его духовной культуры. Замечательны салтыковские страницы, посвященные критике французской художественной литературы 70-х — начала 80-х годов. Воспитанный на «героической, идейной беллетристике» великих писателей Франции 30—40-х годов: Жорж Санд, Виктор Гюго и Бальзака, сохранив к ним всю горячую любовь своей юности, Салтыков противопоставляет им литературу эпигонов натурализма. Он обнажает связь этого литературного направления с буржуазией периода ее установившегося могущества и вместе с тем начала ее культурно-исторического упадка. В литературе, провозгласившей принципиальный отказ от борьбы за общественные идеалы, он видит «современного французского буржуа, которому «ни идеалы, ни героизм уже не под силу», который «слишком отяжелел, чтобы не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтобы нуждаться в расширении горизонтов. Он давно уже понял, что горизонты могут быть расширены лишь в ущерб ему». Но литература без исканий, без устремленности к идеалу теряет — указывает Салтыков — свой гуманистический смысл и просветительное значение.

Этот художественный суд русского демократа и социалиста над достигшей своей полной зрелости западной буржуазией — одна из великих страниц русской и мировой литературы, свидетельствующая о силе и высоте передовой мысли России. Критикуемая Салтыковым (*сатирически критикуемая*, не следует забывать об этом) литературная Франция Третьей республики — Франция Флобера и Ренана, Золя и Мопассана — продолжала, конечно, и на буржуазной почве создавать культурные ценности выдающегося, непреходящего значения и по-прежнему удерживала свою влияние в Европе. Но общий характер французской литературы глубоко изменился. 70—80-е годы прошлого века в искусстве и литературе Франции явились узловым пунктом, в котором сошлись те линии литературного развития — натурализм, импрессионизм, символизм, — которые обозначали начало кризисных явлений в буржуазном реализме, отхода от общественных, оппозиционно-демократических традиций к эстетизму и артистизму.

Все же «французские» главы в «За рубежом», особенно IV, при всей жесткости их сарказма и критицизма, далеко не так суровы, как «немецкая» глава, и резко контрастируют последней. Отношение Салтыкова к Франции глубже, сложнее, лично-заинтересованнее, чем к Германии. Если в нарисованной писателем мрачной картине немецкой жизни под эгидой прусских милитаристов нет никаких смягчающих теплых тонов, а виден

¹ Слова из рукописного варианта гл. VI в развитых странах «За рубежом». См. стр. 594.

лишь брошенный в темноту узкий луч света — луч просветительской веры и надежды на будущее, то нечто иное предстает перед читателем в панораме французской жизни. Салтыков исполнен ожесточения в отношении «сытых буржуа» Франции. Но, выступая со всей мощью своего сатирического гнева против их «республики без республиканцев» и против их литературы, «в которой нет ни идеалов, ни героизма», Салтыков вместе с тем с глубоким лиризмом исповедуется в любви к революционной и социалистической Франции своей юности, к Франции 1848 г., к Франции Сен-Симона и Фурье, Консидерана и Жорж Санд. О том, чем была эта передовая Франция для русских людей его поколения, для молодых образованных людей второй половины 40-х годов, активным ядром которых был кружок Петрашевского, Салтыков написал удивительные, незабываемые слова: «С представлением о Франции и Париже,— читаем эти слова,— для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание <...> Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда... В особенности эти симпатии обострились около 1848 года... Когда грянула февральская революция, энтузиазм дошел до предела... Громадность события скрадывала фальшь отдельных подробностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес»¹.

Известно, как сказались в биографии Салтыкова его восторги перед «страной чудес». В России февральская революция вызвала не только взрыв энтузиазма среди демократической интеллигенции, но и привела к правительственной реакции, еще более свирепой, чем прежде. Салтыков оказался в Вятке. Он был отправлен туда Николаем I за напечатание повестей, в которых было усмотрено «пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу».

Драматизм личной судьбы, жизнь в захолустье далекой провинции ослабили для Салтыкова остроту непосредственного переживания трагического исхода 1848 г. Он не испытал того идеологического шока от катастрофы революции, который перенес находившийся в эпицентре событий Герцен. Восторженная вера в революционную Францию не могла не потерпеть крушения и у Салтыкова. Но ни страшные «июньские дни», когда буржуазия, руками Кавеньяка, с неслыханной жестокостью подавила восстание парижского пролетариата, ни «позор 2-го декабря», когда «Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию», ни зверства «одичалых консерваторов-версальцев» в дни Ком-

¹ Ср. с этой характеристикой слова В. И. Ленина о том же времени, когда «Франция разливала по всей Европе идеи социализма — и когда восприятие этих идей давало в России теории и учения Герцена, Чернышевского» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 271).

муны, ни наступившие затем «скверные годы» — годы торжества победителей над теми, кто штурмовал парижское небо в 1871 г., — не вытеснили из памяти писателя лучезарного образа «страны чудес», «страны начинаний», «страны упований» его юности. Представление о Франции, как о «светоче, лившем свет *soit hominibus*» — всему человечеству, — на всю жизнь сохранилось в благодарной памяти Салтыкова, хотя он и понимал, со всей ужасавшей его ясностью, что «светоча» уже нет и что теперь на том месте, где он горел, «сидят ожиревшие менялы и курлыкают». Тем не менее воспоминание о «светоче», скрыто или явно, присутствует во всех размышлениях Салтыкова о Франции, оно стало *argièrre-pensée* писателя в думах о ней. И эта патетическая *argièrre-pensée* пробивается наружу даже в наиболее беспощадных оценках французской «сытой и безыдейной республики». Она придает сатирическим обличениям особенные драматизм и глубину и не позволяет социальному критицизму Салтыкова доходить до граней отчаяния, как это, отчасти, случилось с Герценом в его книге «С того берега».

Но светлые тоны, столь контрастные темным краскам в описании Берлина и французских буржуа, господствуют в «За рубежом» не только в воспоминаниях о революционной и социалистической Франции 1848 г. Они присутствуют и в зарисовках внешнего облика Парижа, каким его узнал Салтыков. Эти зарисовки имеют всю цену первоклассных автобиографических свидетельств, хотя они подчинены идейно-художественным задачам произведения и органически входят в его изобразительную ткань.

«Западник» Салтыков не любил бывать «за границей», то есть в Западной Европе, и впервые поехал туда, и то по настоянию врачей, когда ему исполнилось почти что пятьдесят лет. Для него, как для новгородского богатыря Василия Буслаева, это чаще всего было «гулянье неохотное» по «стране святых чудес»¹. Он скучал там и чуть ли не с первого дня начинал вести отсчет времени, оставшегося до назначенного срока возвращения на родину, в Петербург, к своему журналу, к своему письменному столу. Но исторические заслуги Запада он — один из великих русских наследников европейского Просвещения — разумеется, ценил. «Священные камни Европы» существовали и для него. Но кое-что он любил в чужих землях не только «идеологически», но и самой непосредственной живой любовью. Прежде всего и больше всего это относилось к Парижу, а в нем — к жизни улиц и бульваров, к всегда динамичной и «раскованной» жизни парижской толпы, что так контрастировало не только «унылому» Берлину, но и департаментски-чиновничьему предельно-субординированному Петербургу. Парижу и его толпе Салтыков сложил в «За рубежом» хвалу, исполненную радостного восхищения, — один из многих русских гимнов великому городу, совершенно, однако, необычный для жестко-суровых тональностей сатирика.

¹ Слова А. С. Хомякова о Западной Европе (из стихотворения «Мечта»). См.: Орест Миллер, Русские писатели после Гоголя, ч. II, СПб. 1886, стр. 190, 195.

«Солнце веселое, воздух веселый, магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади — все веселое», — передает писатель свои впечатления от французской столицы, повторяя слово «веселый» и производные от него десятки раз. «Самый угрюмый, самый больной человек, — заключает Салтыков, обобщая в этом резюме собственный опыт 1875—1876 гг., — и тот непременно отыщет доброе расположение духа и какое-то сердечное благоволение, как только очутится на улицах Парижа, а в особенности на его истинно сказочных бульварах».

Революционное прошлое Франции и «веселый», «свободно двигающийся» Париж, в котором «вот-вот сейчас что-то начнется», как кажется приезжему иностранцу, — два ярких источника света на темном полотне буржуазной Франции, созданном кистью русского писателя. Обозначен на нем, впрочем, еще один источник света, хотя лучи его едва мерцают — пробуждающаяся активность французского пролетариата. Симпатии Салтыкова на стороне этой «силы будущего», заявляющей о своей готовности свергнуть «владычество буржуазии». Но писатель неявно представляет себе пути и методы революционного рабочего движения. И он недостаточно знаком с ним, о чем заявляет с присущей ему прямоотой. В поле его зрения находится, главным образом, «мирное», «экономическое» движение рабочего класса, широко освещавшееся не только в социалистической, но и в буржуазной печати. Салтыков отмечает, например, что «забастовки рабочих хотя и нередки, но непродолжительны и всегда кончаются к обоюдному удовольствию». В этом, как и в ряде других замечаний об «обоюдном удовольствии», с которым разрешаются классовые конфликты между рабочими и буржуазией, Салтыков правильно подметил тот исторический факт, что после поражения Парижской коммуны рабочее движение во Франции первое время возрождалось не столько на революционной основе, сколько на почве различных мелкобуржуазных идей — бланкизма, прудонизма, POSSИБИЛИЗМА. Усиление революционных настроений в среде французского пролетариата наблюдалось до середины 80-х годов в сравнительно небольшой части рабочих и было поэтому менее заметно для наблюдения. Вследствие этих причин оценки в «За рубежом» рабочего движения того исторического момента сочувственны, но отмечены печатью скептицизма.

«И еще говорят, — заканчивает Салтыков главнейшую из «французских» глав «За рубежом», IV, — что в последнее время в Париже уже начинается движение, имеющее положить конец владычеству буржуазии. Действительно, рабочие кварталы, с осуществлением амнистии, как будто оживились, но размеры движения еще так ничтожны, что ни цели его, ни темперамент, ни шансы на успех — ничто не выяснилось. Покуда имеются в виду только страшные слова, которые, впрочем, не производят особенного впечатления, потому что за ними не слышится той жизненности и страстности, которые одни могут дать начало действительному движению».

Таковы главные черты буржуазного мира Запада, увиденного и изображенного Салтыковым в начале того исторического периода, когда революционность буржуазной демократии уже исчерпала себя (в Европе),

а революционность социалистического пролетариата еще не вышла из состояния кризиса, вызванного поражением Парижской коммуны.

* * *

В этом мире праздно скитаются или, напротив того, деятельно хлопочут, скучают или развлекаются, плетут интриги или тоскуют по родине путешествующие русские. Все они «несут с собой» свою страну, хотя и весьма разную для каждого, все влекут груз сложившихся взглядов и устоявшихся привычек, собственных забот и интересов.

С первых же мгновений пребывания за рубежом они оказываются в сфере двух резко не совпадающих реальностей: европейских впечатлений и вызываемых ими, по ассоциации, отечественных воспоминаний. «Буйные хлеба» на обиженном природою прусском взморье — это впечатлени я. Картины того, как «выпахались поля» и «присмирели хлеба» на чембарских благословенных пажитях, где глубина чернозема достигает двух аршин, — это воспоминания. Весело глядящие дома немецких «бауэров», с выбеленными стенами и черепичной крышей, — впечатлени я; мужичьи почерневшие срубы, с всклокоченной соломенной крышей, — воспоминания. «...Везде изобилие, а у нас — «не белы снега», — обобщает Салтыков калейдоскоп возникающих у русского путешественника сопоставлений «чужого» и «своего», — везде резон, а у нас — фюнты! Везде люди настоящие слова говорят, а мы и поднесь на эзопских притчах сидим; везде люди заправскую жизнью живут, а у нас приспособляются».

...Возникает тема отсталости России — экономической, социально-политической, граждански-правовой, возникают и раздумья о грядущих судьбах страны. Это одна из двух главных тем произведения, и разрабатывается она в «полифоническом» сочетании с развитием другой главной темы — критики буржуазного Запада. Такая «многоголосная» форма позволяет писателю сопоставлять и сочетать в определенном единстве как обе эти контрастирующие темы, так и множество относящихся к ним отдельных «голосов» и материалов.

Критика Салтыковым отечественной отсталости исполнена историзма. Вместе с тем она основана на современности и предпринята ради будущего. «Всегда эта страна, — пишет Салтыков, — представляла собой грудь, о которую разбивались удары истории. Вынесла она и удельную поножовщину, и татарщину, и московские идеалы государственности, и петербургское просветительское озорство и закрепощение. Все выстрадала и за всем тем осталась загадочною, не выработав самостоятельных форм общежития». Слова эти свидетельствуют прежде всего о глубоком историческом осмыслении Салтыковым причин вековой отсталости России от старых стран Запада¹. Вместе с тем в них содержится одно из многих заяв-

¹ Исторически-просветительский подход к вопросу об отсталости России по сравнению с развитыми странами Европы сложился у Салтыкова давно. Еще в 1861 г. он восклицал в очерке «Наши глуповские дела»: «Жизнь веков! Ты, которая была столь обильна дарами для умовцев <...> чем была ты для Глупова?» (т. 3, стр. 495).

лений писателя-демократа и утопического социалиста о том, что ни одна из «форм общежития», возникавших до сих пор на русской национально-государственной почве, не отвечала коренным интересам трудовых масс. Не отвечали этим интересам, в понимании Салтыкова, и те «формы общежития», которые хотя и не существовали (по крайней мере, в полном своем виде) в исторической действительности, но были «выработаны» русской мыслью и являлись, таким образом, идеологическими реальностями.

Салтыков враждебно относился к славянофильскому мифу «святой Руси», как и ко всем другим «почвенническим» и националистическим доктринам. В идеализируемых ими «исконно русских» патриархальных началах он видел феодально-крепостническую основу. С другой стороны, он не верил в общинный социализм народников, в так называемый «русский социализм». Оба этих противостоящих друг другу направления русской общественной мысли представлялись ему утопиями: первое — реакционно-шовинистической; второе — революционно-романтической. И с тем и с другим направлением Салтыков давно уже вел полемику. Спорит он с ними и на страницах «За рубежом», в частности, с народнической апологией общины и с призывом к «смирению», понимаемому в качестве высшей «народной правды», провозглашенным в «пушкинской речи» Достоевского.

Вместе с тем никто из русских «западников» не обладал такой полнотой внутренней свободы по отношению к Европе и ее общественно-политическим формам и институтам («призракам»), как Салтыков. Он не только был непричастен ни к одному из видов западнического доктринаризма в России, вроде, например, англomanии Каткова в конце 50-х годов. Его аналитическому уму был совершенно чужд «сплошной» взгляд на Европу как на нечто целостное и однородное, заслуживающее безоговорочного поклонения или такого же отрицания. Несовершенства общественного устройства в странах Запада он видел так же отчетливо, как и преимущества достигнутых там более высоких «форм общежития». И, быть может, единственную черту, которую в своем просветительско-этническом пафосе Салтыков склонен был приписывать *всей* западноевропейской жизни, хотя все же с существенными оговорками, — это чувство гражданской ответственности («социальности», по слову Герцена), столь долго и сильно подавлявшееся в России крепостническим строем и охранявшим его самодержавием.

«Я был бы неправ, — замечает Салтыков по поводу своей критики прусских порядков, — если бы скрыл, что на стороне Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно общее признание, что человеку свойственно человеческое. Допустим, что признание это еще робкое и неполное и что господин Гехт, конечно, употребит все от него зависящее, чтоб не допустить его чрезмерного распространения, но несомненно, что просвет уже существует и что кнехтам от этого хоть капельку да веселее». В этом признании Салтыков усматривал «начало всего».

Была, впрочем, и другая черта, которую Салтыков еще недавно приписывал всему Западу, — неуклонность поступательного исторического

движения. Признавая в «Господах ташкентцах», что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны, Салтыков вместе с тем заявлял: «Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чаянии, что счастье само свалится когда-нибудь с неба».

Слова эти были написаны до событий Парижской коммуны, определивших перелом в социально-исторической «биографии» буржуазной Европы. Как уже сказано, Салтыков сразу заметил этот перелом и угадал в новом явлении полускрытые еще тенденции предстоящей утраты буржуазным обществом поступательного движения. К буржуазной демократии Салтыков подходил, как к исторической, то есть преходящей, категории. Правда, спустя четыре года после поражения Коммуны, находясь во Франции и подвергая ее «государственность» сокрушительной критике, Салтыков все же не терял еще полностью веры в «заправскую Европу». Он писал тогда П. В. Анненкову: «И все-таки не отчаиваешься: отсюда, а не от инуду правда будет»¹.

Но пять лет существования Французской республики «с сытыми буржуа во главе, в тылу и во флангах», а также германской воинствующе-националистической империи, рассеяли эти надежды. В «За рубежом» Салтыков создает исполненный глубочайшего социального критицизма образ буржуазной Европы, которая «покончила с процессом создания», утратила «движение» и входит в зону духовной неподвижности. «Француз-буржуа,— пишет Салтыков,— хотя и не дошел еще до столбняка, но уже настолько отяжелел, что всякое лишнее движение, в смысле борьбы, начинает ему казаться не только обременительным, но и неуместным. Традиция, в силу которой главная привлекательность жизни по преимуществу сосредоточивается на борьбе и отыскивании новых горизонтов, с каждым днем все больше и больше теряет кредит».

Еще с большей уверенностью констатирует Салтыков отсутствие «движения» (в смысле «отыскивания новых горизонтов») в прусско-юнкерской Германии. «В Берлине,— пишет он,— даже самые камни вопиют: завтра должно быть то же самое, что было вчера!»

Устремляться «в погону за идеалами» в такую Европу, в Европу, «повторяющую зады», подобно тому как стремился в предреволюционный Париж 1847 г. Герцен, русской радикальной демократии было уже незачем. Это не значит, однако, что Салтыков, выступающий в «За рубежом» с такой едкой непримиримой критикой торжествующего европейского буржуа, встал на путь романтического отрицания капиталистически развитой Европы.

Порядок, существующий «под Инстербургом»,— утверждает писатель,— выше «порядка в Монрепо». Но, формулируя такой вывод, Салтыков делает две существенных оговорки. Во-первых, он не считает «прус-

¹ Письмо от 20 ноября/2 декабря 1875 г.

ские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим из смертных». «Я очень хорошо понимаю,— заявляет писатель,— что среди этих отлично возделанных полей речь идет совсем не о *распределении богатств*, а исключительно о *накоплении их*¹, что эти поля, луга и выделенные жилища принадлежат таким же толстосумам-буржуа, каким в городах принадлежат дома и лавки, и что за каждым из этих толстосумов стоят десятки кнехтов, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства». Во-вторых, Салтыков утверждает, что, несмотря на все отмеченные им различия внешних форм и способов ведения хозяйства, «политико-экономические основания», которые практикуются под Инстербургом, «совершенно равносильны тем, которые практикуются и под Петергофом».

Другими словами, Салтыков отчетливо видит социальное расслоение не только в русской, но и в немецкой деревне и тем самым признает единство *принципа* в их социально-экономической структуре. России, формулирует Салтыков (не впервые) свои итоговые выводы, суждено пройти теми же путями, что и странам Запада, и у нее уже существуют и действуют своя буржуазия и свой «пролетариат».

Вывод этот являлся одним из главнейших тезисов, вокруг которого шла борьба в том большом споре эпохи о путях и формах развития страны, который велся тогда всеми направлениями русской общественной мысли и находил отражение в литературе.

В связи со сказанным необходимо, однако, сделать одно замечание. В русской публицистике эпохи 70-х — начала 80-х годов слово «пролетариат» еще редко применялось в его научном значении, установленном Марксом, — класс наемных рабочих в капиталистическом обществе. Гораздо чаще оно означало вообще лиц, не имеющих собственности, ближайшим же образом лишенных земельной собственности крестьян и мещан. Таково в основном значение слова «пролетариат» и в том знаменитом месте из главы I «За рубежом», столь часто цитируемом без учета изложенного обстоятельства, где, споря с народниками, Салтыков пишет: «И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но говорящие таким образом, прежде всего, забывают, что существует громадная масса мещан, которая истари не имеет иных средств существования, кроме личного труда, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса бывших дворовых людей, которые еще менее обеспечены, нежели мещане...» Очевидно, что здесь имеется в виду еще не пролетариат как класс в научном смысле слова, а та социальная среда, из которой рекрутировались его кадры в России, в период утверждения в ней промышленного капитализма.

Но необходимое уточнение не колеблет очевидного и давно констати-

¹ Эти выражения заимствованы из политико-экономической литературы утопических социалистов. Первое означает социалистическую систему организации общества, второе — буржуазную, капиталистическую.

рованного факта: Салтыков полемизирует здесь с народническими теоретиками, с их верой в возможность непосредственного перехода — минуя капитализм и «язву пролетариата» — к социалистическому строю через крестьянскую общину. Народническим взглядам на общину Салтыков противопоставляет свои реалистические наблюдения и выводы, относящиеся к современной форме этого исторического института русской народной жизни. Салтыков спрашивает: «Что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?» И отвечает со всей определенностью, что современная община обеспечивает прежде всего именно интересы «мироедов», Колупаевых и Разуваевых, а также фискальные интересы государства, являясь в руках властей дешевым и удобным средством для сбора налогов по принципу круговой поруки.

Критика в «За рубежом» народнической идеализации общины, как экономической ячейки народоправия и справедливого социального строя, полемика с учением народнических теоретиков об «особых» «русских» условиях, будто бы позволяющих стране избежать капитализма и «язв пролетариата», весьма близко подходили к высказываниям молодого Ленина того периода, когда ему приходилось вести непрерывные бои с народниками. Однако Ленин выступал против народников уже с позиции научного социализма — мировоззрения, общественной опорой которого был пролетариат. У Салтыкова не было и не могло еще быть этой опоры для философско-исторического оптимизма. Рабочего класса и его исторической миссии он еще не видит, по крайней мере, в полную меру ясности. Отсюда не только сильные (резвость, реализм), но и слабые (скептицизм) стороны в полемике Салтыкова. Ленин писал о народниках: «*Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни: отсюда — вера в возможность крестьянской социалистической революции,* — вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством»¹. Салтыков не верил ни в социалистическую природу русской общины, ни в возможность поднять современное ему крестьянство на победоносную борьбу с самодержавием. Отсюда скептицизм Салтыкова, затронувший многие страницы и в «За рубежом».

Кроме полемики с народниками, другой остро-проблемной особенностью русского материала «За рубежом» является вопрос о революции (крестьянской, т. е. буржуазно-демократической по своему объективному смыслу). Вопрос этот стоял на череду того исторического момента в жизни России, которым рождена книга и в ракурсе которого ее следует воспринимать. Это был короткий, но крайне динамичный период нового и резкого обострения общественно-политической борьбы, нового подъема «волны революционного приboя»², когда в России сложилась вторая после эпохи крестьянской реформы, революционная ситуация.

¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 271.

² Там же, т. 5, стр. 45.

Возможность революционного разрешения кризиса самодержавия на рубеже 70—80-х годов признавалась (с весьма разным, конечно, отношением к такой перспективе) представителями всех политических лагерей, общественных направлений и групп — от наносивших террористические удары деятелей «Народной воли» до царя и его министров¹. Большие и радостные надежды на русскую революцию питали социалистические демократы Запада, в том числе К. Маркс и Ф. Энгельс.

Ожидание назревающей в России революции, настроенные политического подъема русской демократии, чувствуется во многих местах первых глав «За рубежом»², но определеннее всего в знаменитой пьесе-диалоге «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Включенный в главу I книги, этот диалог служит своего рода ключом к пониманию идейной сути всего произведения, его историко-философской мысли, которая здесь как бы сильно и сжато «резюмирована». «Диалог», как, впрочем, и вообще первые главы «За рубежом», создававшиеся в условиях некоторого смягчения цензурной практики в условиях кризиса режима, характеризуется известной свободой от эзоповской манеры. Салтыков пишет здесь проще, яснее, без особых затемнений смысла сложными иносказаниями и трудными метафорами.

Немецкий «мальчик в штанах» и русский «мальчик без штанов» ведут между собой совсем не детский разговор. В нем обсуждаются вопросы, относящиеся к философии истории — о социально-экономическом развитии Запада и России и об их будущих судьбах. Образ «мальчика в штанах» олицетворяет положение людей труда, народа, в первую очередь крестьянства в мире развитого западноевропейского капитализма, представленного фигурой «господина Гехта» (Necht по-немецки — шука). Образ «мальчика без штанов» персонифицирует русское крестьянство, существующее в условиях социально-экономической и гражданско-правовой отсталости и всех видов бедности, в условиях «недостаточного развития капитализма» (Ленин). Российский «азиатский» капитализм представлен фигурой одного из салтыковских «чумазых» — «господином Колупаевым».

Русский мальчик, симпатии и любовь к которому автора видны и

¹ 12 июня 1879 г. военный министр Д. А. Милютин записал в своем дневнике: «По возвращении из Крыма я нашел в Петербурге странное настроение; даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово «конституция». Никто не верует в прочность существующего порядка вещей». — «Дневник Д. А. Милютина». Ред. и примеч. П. А. Зайончковского, т. 3, стр. 148.

² В одном из отзывов печати на «За рубежом» читаем: «...в настоящую минуту у нас говорят и пишут о политических чаяниях гораздо больше, чем когда-либо. Политическое чаяние, — à l'ordre du jour. Вот хотя бы Щедрин; наш талантливый и неподражаемый сатирик, — уж чего больше, кажется, скептик, а и он принялся беседовать о политических чаяниях, хотя и в своеобразной форме, не исключаяющей скептицизм» («Журнальные заметки». — «Новороссийский телеграф», Одесса, 1881, 24 февраля, № 1827, стр. 1—2).

сквозь покров сатиры, обличает немецкого в том, что он «за грош черту душу продал», что родители его заключили с «господином Гехтом» «контракт». Немецкий мальчик, в свою очередь, полагает, что русский мальчик поступил гораздо неразумнее, так как отдал Колупаеву свою «душу» «совсем задаром». Но «мальчик без штанов» в этом-то и видит свое большое преимущество: «Задаром-то я отдал — стало быть, и опять могу назад взять...» — заключает он разговор с «мальчиком в штанах», несколько загадочно, но оптимистически заверяя своего собеседника в другом месте: «Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!»

«Как хотите, а это очень и очень интересная разница!» — заключает Салтыков. И она действительно «очень интересна» и важна.

Салтыков устанавливает здесь чрезвычайно существенное общее различие в положении крестьянства в странах Западной Европы и России. Корень различия — в ином историческом положении по отношению к национальной буржуазной революции. Для крестьянских масс Запада революция, освободившая их от гнета феодальной эксплуатации, уже позади. Они живут в сложившемся капиталистическом обществе, где законы буржуазной борьбы за существование царствуют безраздельно. Для русского крестьянства, хотя и освободившегося от наиболее суровых форм личной зависимости от помещиков, мир еще не стал до конца буржуазным, вследствие множества сохранных реформами 60-х годов крепостнических пережитков, включая и такой «пережиток», как самодержавие. Развитие русского капитализма может пойти, применяя определение Ленина, по «прусскому» или по «американскому» пути¹.

В Европе взаимоотношения мелких крестьянских земледельцев с «гроссбуэрами» — «господином Гехтом» определяются «правилами», «контрактом». Это мир развитых капиталистических отношений. Но русский «мальчик без штанов» предпочитает этому царству буржуазной «законности» произвол и хищничество «господина Колупаева» — молодой и некультурной отечественной буржуазии.

Почему предпочитает? Потому что в его патриархально-крестьянском представлении всякий «контракт» связывает, лишает свободы². Он же не только не желает закабалиться к Колупаеву, но и надеется в скором времени совсем и сразу избавиться от него.

Другими словами, Салтыков, признававший неизбежность буржуаз-

¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 340.

² Взгляд русского мальчика, изложенный Салтыковым, был близок взглядам великого выразителя «мужичьих интересов» Толстого. «Если русский народ, — записал он в Дневнике 3 июля 1906 г., — нецивилизованные варвары, то у нас есть будущность. Западные же народы — цивилизованные варвары, и им уже нечего ждать» (Л. Н. Толстой, Полное собр. соч., т. 55, стр. 233). И еще — в записи слов Толстого, сделанной Д. П. Маковицким: «Это одна из тех вещей — мечта, которую не напишу: как там, на Западе, люди — рабы своих же законов, меньше свободны, чем в России...» (Д. Маковицкий, «У Толстого». Запись в дневнике от 15 ноября 1907 г. — Рукопись, Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве).

ного развития для России, допускает здесь возможность революционного типа этого развития, или «американского типа», а не «прусского».

Вложенные в уста «мальчика без штанов» слова: «Надоел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!» и «с Колупаевым мы сочтемся... Это верно!» — исполнены ожиданием предстоящих социальных потрясений, революционных перемен. Об этом же еще яснее идет речь в том месте следующей главы II, где писатель говорит, имея в виду русского человека, склонного восхищаться Европой и «интересной жизнью» в ней: «Пусть примет он на веру слова «мальчика без штанов»: «у нас дома занятнее, и с доверием возвратится в дом свой, чтобы занять соответствующее место в представленной той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нет».

Пожалуй, никогда и нигде Салтыков, с недоверием относившийся к практическим возможностям современного ему революционного движения, целям которого объективно не только сочувствовал, но и служил своим пером, не заявлял о вероятности революции с такой определенностью, как в первых главах «За рубежом», хотя ноты скептицизма звучат и здесь (хотя бы в определении ожидаемой революции как «загадочной драмы»).

Но ближайшие месяцы русской жизни подтвердили обоснованность не надежд, а сомнений Салтыкова. «Праздник» на «улице» русского мальчика не состоялся и на этот раз. Натиск демократических сил в конце 70-х годов на устои самодержавной власти вновь, как и в начале 60-х годов, был отбит. Героическая «Народная воля» исчерпала себя актом 1 марта 1881 г. Вместе с тем истощилась и революционная ситуация в целом. В стране все еще не было в наличии организованных социальных сил, достаточных для того, чтобы подняться и провести революцию. После убийства Александра II, справившееся с первоначальной паникой и колебаниями правительство перешло в контрнаступление. Последние две главы «За рубежом» писались в политической обстановке, резко отличной от обстановки общественного подъема и оптимизма, в которой создавались первые главы книги.

Предвидя наступление новой и жесточайшей реакции, Салтыков создает один из наиболее мрачных и жестоких своих шедевров «Разговор свиньи с правдой». Образ «Торжествующей свиньи», порешившей «сожрать» «правду», стал в творчестве писателя и во всей русской литературе одним из сильнейших воплощений всякой политической и общественной реакции, в какое бы время и на какой бы национальной почве она ни свирепствовала.

Диалог двух мальчиков и диалог «свиньи» с «правдой» являются двумя кульминациями в «За рубежом». В них отразились «апогей» и «перигей» общественных настроений, в которых создавалось произведение. Новая политическая ситуация заставила Салтыкова возвратиться в конце книги к «мальчику без штанов», оптимистически представленному в главе I, и пошному взглянуть на его будущее.

Крестьянский «мальчишка-постреленок», шеголявший по деревенскому обиходу «без штанов», превращается в финале повествования в отлично одетого молодого малого, работающего «артельщиком»¹. Происшедшая метаморфоза вызывает «автора» на следующий диалог с бывшим «мальчиком без штанов»:

— От Разуваева² штаны получили? — спросил я...

— От него...

— По контракту? — спрашиваю.

— Не иначе, что так.

— Крепче?

— Для господина Разуваева крепче, а для нас и по контракту все одно, что без контракта.

— Значит, даже надежнее, нежели у «мальчика в штанах»?

На этот вопрос *ответа не последовало*.

«Автор» с горьким недоумением вспоминает, что сделка, закончившаяся получением «штанов», состоялась вскоре после того, как русский «мальчик» «хвастался» перед немецким, что он хоть и без штанов, да зато Разуваеву души не продал, «а ты, немец, контрактом господину Гехту обязался, душу ему заложил...».

Как следует понимать эти высказывания? С какими мыслями о будущем заканчивал Салтыков одну из наиболее острых и проблемных своих книг, начатую в условиях демократического подъема и революционной ситуации, а завершённую в условиях их поражения?

Как и финалы некоторых других салтыковских произведений, «Истории одного города», «Современной идиллии», «заключение» книги «За рубежом», хотя и лишено полной определенности, исполнено «мрачных дум» и чувства тревоги.

«Контракт», заключенный Колупаевым с выросшим в меру зрелости «мальчиком без штанов», не может означать ничего другого, как признание факта укрепившегося и в России, вслед за Европой, буржуазного порядка вещей. Возобновляя после вятской ссылки литературную работу, Салтыков так излагал свои тогдашние мысли о жизни русского народа: «Будет ли он развиваться самобытно и своеобразно или подчинится законам развития, общим всем народам, для нас это вопрос темный, хотя сознаем, что последнее предположение кажется нам более основательным». Время, действительность давно уже укрепили Салтыкова в обоснованности

¹ Согласно словоупотреблению эпохи, «артельщиками» называли носильщиков на станциях железных дорог и на пароходных пристанях. Доходы артельщиков зависели главным образом от чаевых. Во многих статьях о «За рубежом» слово «артельщик» безоговорочно понимается в значении «железнодорожного пролетария». Отсюда делаются далеко идущие, но несомнительные выводы.

² Цитируемый диалог продолжает беседу двух «мальчиков» из главы I. Однако в ней идет речь не о Разуваеве, а о социально однозначном Колупаеве.

последнего предположения. Но хотя, в реалистическом понимании писателя, капиталистический путь развития был неотвратимой исторической закономерностью, воспринимался он им *трагически*, как своего рода «крестный путь» России, в первую очередь русского крестьянства, отданного промышленной революцией на «поток» и «разорение».

Ясен и смысл *молчания* бывшего «мальчика без штанов» в ответ на недоуменный вопрос о судьбе его недавнего, столь решительно заявленного намерения свести счеты с Колупаевым. Оно свидетельствует о крахе, в изменившейся политической обстановке, имевшихся недавно надежд на радикальные перемены в стране. Вместе с тем откат волны революционного прибоя обнажил и нечто такое, что раньше было полускрыто и сознавалось с меньшей отчетливостью. Порядок буржуазных отношений, складывающихся в стране, отягощенной множеством крепостнических пережитков, с населением, в массе своей находившимся на чудовищно низком уровне экономического достатка и культурного развития, сулил людям труда в России гораздо большую зависимость от капиталистической эксплуатации и большие страдания, чем это знала современность Запада¹. По-видимому, именно в таком смысле следует понимать признание бывшего «мальчика без штанов», что его подчиненность Разуваеву, независимо от наличия или отсутствия «контракта» с ним, будет, пожалуй, «крепче», «надежнее», чем у его западноевропейского коллеги — материально обеспеченного, социально более зрелого и политически грамотного «мальчика в штанах».

Завершающие книгу слова бывшего «мальчика без штанов», а ныне «артельщика», что на них в последнее время пришла «мода», также не допускают нередко предлагаемой оптимистической трактовки. Речь тут идет не о возросших будто бы надеждах на революционную активность крестьянства. (Таких настроений в конце 1881 г. не было и не могло быть.) Слова эти указывают на один из зигзагов правительства Александра III в выборе курса внутренней политики после 1 марта. Конкретно речь тут идет о демагогической тактике, посредством которой власти рассчитывали, по выражению Ленина, некоторое время «подурачить «общество»² апелляциями к его «содействию», а также к «содействию» народных масс в деле утверждения самодержавия.

Разоблачению этой, так называемой народной политики, ее подлинного смысла, Салтыков посвятит вскоре многие страницы своей следующей книги «Письма к тетеньке».

¹ Со своих просветительских позиций Салтыков придавал, в частности, большое — отрицательное — значение общей «некультурности» русского капитализма. «Русский чумазый,— говорит писатель в «Мелочах жизни»,— перенял от западного своего собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни его трудолюбия».

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 46.

Прочитав главу I «За рубежом», П. В. Анненков писал Салтыкову: «Добрейший Михаил Евграфович! Парижское Ваше письмо я получил, когда еще находился под свежим впечатлением прочитанного «За рубежом». Это прелесть. Мне кажется, что одни комментарии к Вашим рассказам могли бы составить порядочную репутацию человеку, который бы за них умело взялся. В виду того, что Вы один из самых расточительных писателей на Руси, комментарии почти необходимы. Сколько собрано намеков, черт, метких замечаний в одном последнем рассказе, так это до жуткости доходит — всего не разберешь, всего не запомнишь»¹.

Анненков указывает здесь (в определенном ракурсе) на сложность и многообразие материала в «За рубежом». Но эти особенности присущи также и приемам изложения, поэтике произведения. В более ранних сочинениях, там, где предмет «исследования» был до конца «изучен» и ясен, Салтыков сознательно придавал иногда повествованию некоторую монотонность и статику. В «Истории одного города», например, по существу нет истории, нет движения. Сменяющие друг друга властители химерического города — от Брудастого — «органчика», до Угрюм-Бурчеева и Перехват-Залихватского — при всем внешнем отличии их друг от друга, выражают одну неизменную сущность — гнет и насилие царизма. В «За рубежом» господствуют динамика, изменчивость, многообразие форм и приемов, что дает писателю возможность выразить свое сложное отношение к обозреваемой им широкой и движущейся панораме русской и западноевропейской жизни.

Динамичность структуры «За рубежом» сочетается с композиционной ясностью, устойчивостью и цельностью, что присуще не всем произведениям Салтыкова. Динамичность определяется во многом самим жанром книги: «автор» путешествует и делится с читателем впечатлениями от постоянно *движущихся*, меняющихся предметов наблюдения. Композиционной же стройности книги способствовало то, что, как уже сказано, ее очерки главы писались сомкнуто, одна за другой, без обычных для Салтыкова отвлечений на другие замыслы и работы.

Жанр «путевых очерков» осложнен введением в изложение ряда других форм и приемов: публицистических «отступлений», автобиографических воспоминаний, историко-бытовых экскурсов, философско-исторических рассуждений, сатирических сцен-диалогов и др. В последней названной форме, новой для себя, Салтыков создал три шедевра: «Мальчик в штанах и без штанов» (гл. I), «Граф и репортер» (гл. III) и «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою» (гл. VI).

«Вторжение» в избранную основную форму элементов других жанровых форм и структурных элементов, осуществленное с полной композиционно-сюжетной свободой, не нарушает, а усиливает у читателя ощущение единства общего строя книги. Многообразие форм и приемов в «За

¹ Письмо от 1 (12) октября 1880 г. из Baden-Baden'a (XIX, 425).

рубежом», как и в других произведениях Салтыкова, «контрапунктно». Все элементы изложения всегда подчинены разработке ведущих «голосов», содействуя тем разносторонности и глубине раскрытия основного замысла. К «За рубежом» в полной мере применимо одно из общих замечаний Н. К. Михайловского о салтыковской поэтике: «Что касается формы в смысле рубрик, на которые теория делит художественные произведения, то Салтыков обращался с ними вполне бесцеремонно, подчиняя их основной струе своего творчества»¹.

Книга «За рубежом» богата широкими обобщениями. В ее типологии много нового и значительного, относящегося к оценкам как русской действительности, так и западноевропейской. Наиболее широкоохватны топонимические образы книги — образы Берлина и Парижа (модификация приема, давшего знаменитые «города» салтыковской сатиры — Крутогорск, Глупов, Ташкент и др.). Об этих образах уже была речь. Но к сказанному выше следует добавить, что, в отличие от однозначности образа Берлина — символа бисмарковской Германии, образ Парижа дан в двух совсем разных значениях и художественных регистрах. Пафосно-мажорному образу Парижа — «светоча» передовой мысли противопоставлен мрачный и грубовато-раблезианский образ «сытого» буржуазного Парижа, который... «вонял» (одно из характерных для салтыковской поэтики отражений политики в быте, см. об этом ниже, прим. к стр. 135)².

Не менее глубоки и широкоохватны образы двух мальчиков из диалога-гротеска в главе I. Помимо той важной проблемно-идеологической нагрузки, которую несут на себе эти образы, о чем также уже говорилось (сопоставление путей капиталистического развития Запада и России, критика народнических иллюзий и т. д.), эти образы замечательны и в другом отношении. В них с великолепным мастерством, психологической тонкостью и предельным лаконизмом раскрыто многое существенное в национальных характерах двух народов — русского и немецкого. Образы эти, как и весь диалог, блещут всеми красками салтыковской палитры и юмора.

Новыми и значительными достижениями обогащается в «За рубежом» салтыковская сатирическая галерея вершителей и проводников внутренней политики российской империи. Прежде всего это «портреты» двух «бесшабашных советников» «У да ва и Ды бы»³, затем находящегося временно не у дел «графа Твэрдо-он-то» и сменившего его на руководящем

¹ И еще: «Салтыков утилизировал все эти роды и виды <словесности>, но тасовал их, как колоду карт...».— Н. К. Михайловский, Критические опыты. II. Щедрин, М. 1890, стр. 150 и 151.

² По поводу этого образа, а также резкой критики в «За рубежом» сексуально-откровенных элементов и описаний у французских «натураллистов», критик Z писал о Салтыкове в одесской газете «Новороссийский телеграф» (№ 1827 от 24 февраля 1881 г.): ...«он и сам похож местами на скифского Рабле и иногда употребляет выражения, которые в приличном обществе не произносятся».

³ Нужно было очень ненавидеть царское самодержавие и его слуг, чтобы найти для их сатирической персонализации фамилии с такой этимологией и с такими историческими ассоциациями.

посту «господина Пафнутьева». Первые два администратора — деятели старой бюрократии, выдвинувшиеся «благодаря беззаветной свирепости при исполнении начальственных предписаний», третий — бюрократ новой формации, администрировавший при помощи созданной им теории повсеместного «смерча» и готовящийся вновь применять эту «теорию», последний — администратор краткого периода «либеральных вольностей». Таким образом каждый из «сановников» представляет вполне определенное направление внутренней политики самодержавия на определенном же, конкретном ее этапе. Вместе с тем — и в этом одно из своеобразий салтыковской типизации — каждый из «сановников» в отдельности и все они в совокупности воплощают коренные и неизменные черты всей вообще политики царского самодержавия, самую суть ее, главное зло режима.

В первый раз так полно и сатирически сильно предстали перед читателем в образе репортера Подхалимова отрицательные черты одной из профессий новой буржуазной интеллигенции в России — «газетчика».

Прочитав первую главу «За рубежом» П. В. Анненков писал И. С. Тургеневу: «Читали Щедрина «За рубежом»? Презабавно, но жалко, что разбрасывается и до полного типа не доходит, а все-таки и сатирические фигурки, которыми ограничивается, изумительны, поучительны и носят в своих карманах дипломы на почетных членов русской культуры»¹.

При всем сочувственном отношении к Салтыкову и высокой оценке его таланта, Анненков допускает в приведенном отзыве определенную односторонность. Художник-реалист Салтыков в полной мере был способен «доходить» «до полного типа» и создавать, когда он ставил перед собою такую задачу, мир живых людей, глубоких человеческих характеров. Но подобно другим гигантам в искусстве критики, обличения и отрицания — Франсуа Рабле, Франсиско Гойе, Оноре Домье, Грибоедову, Гоголю, — Салтыков сочетал в своем таланте мощный реализм, невозможный без психологизма, с мастерством сатирической «графики», построенной на приемах резких заострений и гротеска, при минимуме психологии (ср. у Фр. Гойи живописные портреты — вершины реалистического искусства и «сухне» офорты из серии «Капричос» — вершины в искусстве сатиры и гротеска).

Книга «За рубежом» — художественный суд писателя, демократа и утопического социалиста, над современным ему буржуазным миром Запада и над миром враждебных ему явлений русской действительности. Отсюда своеобразие ее поэтики — как и других сатирических книг Салтыкова — поэтики борьбы и нападения, требовавшей обращения к условным формам, приемам, в частности к гротеску².

¹ Письмо от 21 октября 1880 г. — ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 13.

² Салтыковское искусство гротеска обогатилось в «За рубежом» образцами, не уступающими шедеврам этого рода из «Истории одного города». Такова, например, «трещина в черепе» у «бесшабашных советников» Удава и Дыбы, которая постепенно, по мере утолщения формулярного списка у каждого из них, образовывается для того, «чтоб предписания начальства быстрее доходили по назначению».

Если не считать «мальчика без штанов», за которым стоит образ русского народа, прежде всего крестьянства, среди действующих лиц «За рубежом» нет положительных образов и фигур. Все они принадлежат к враждебному и отрицаемому писателем миру, и все поэтому созданы приемами нарочитого смещения реальных линий, нарисованы остро-сатирическим карандашом. В этой книге нет таких массивных, точно из металла отлитых фигур, как, например, Дерунов из «Благонамеренных речей». Предлагаемая читателю «За рубежом» коллекция образов — в большинстве не живописные или скульптурные «портреты», а графические «профили» и «силуэты». Индивидуальная психология в изображениях, созданных такими зарисовками, почти отсутствует. Напротив того, психология социальная и политическая, определяющая типы «не отдельных лиц, а целых категорий, целых сословий»¹, демонстрируется подчеркнуто и гиперболически, с большой смелостью и широтой обобщения. Таковы, в частности, все образы французских «сытых буржуа» и «республиканцев без республики», как групповые, так и индивидуальные. При этом, в отличие от типов русских политических деятелей, выведенных всюду под сатирическими названиями или анонимно, французские представлены также и под своими собственными именами: Гамбетта, Клемансо, Гриви и др. В этой галерее крупнейших деятелей Третьей республики с наиболее едким сарказмом нарисован образ «сенатора и стыдливого либерала» (также и писателя) Лабуле. В этом образе-гротеске, особенно в почти что буффонадной сцене завтрака «автора» с Лабуле, в ресторане, предметом сатирической критики Салтыкова является «святая святых» собственнического мира — принцип «накопления богатств».

Движущуюся панораму этого пестрого мира, его сменяющиеся явления, слова и поступки появляющихся и тут же или скоро исчезающих лиц, непрестанно «комментирует» участник всех событий — «автор» или «рассказчик». Голос его постоянно звучит в многоголосии повествования — звучит всегда ведущим.

Образ «рассказчика» играет в «За рубежом», как и в других произведениях Салтыкова, важную роль, в частности, в композиции. Путевые впечатления «рассказчика» — движущая сила повествования. А его рассуждения и пояснения, его участие в событиях и беседах дают писателю возможность оценивать все происходящее и поступки действующих лиц со своих позиций — отрицательно (сатирически) или положительно. Такая возможность представляется тем, что для образа «рассказчика» заготовлено несколько «масок». По мере надобности «маски» меняются, вследствие чего происходит как бы переключение регистров не только голоса «рассказчика», но и изменение всей интонационно-тембровой тональности изложения. образу «рассказчика» Салтыков часто придает черты («маску») собственной личности и биографии (литератор, отправляющийся за границу по предписанию врачей, вспоминающий об идейной жизни своей молодости).

¹ «Россия», СПб. 1880, 28 октября, № 43.

сти, сообщающий точный адрес своей парижской квартиры и т. д.). С другой стороны, тот же «рассказчик» выступает в облики идейно-политического антипода писателя (он законопослушный и начальстволюбивый российский обыватель, готовый в любой момент к «предъявлению сердец», или растленный репортер Подхалимов и др.). Поразительны свобода и мастерство, с которыми Салтыков меняет эти «маски», переходит из одной тональности в другую («модулирует»). Так, упомянутая гротескная сцена обеда «рассказчика» с сенатором Лабуле начинается со строго реалистического описания эпизода из парижской жизни самого Салтыкова — его поездки в Версаль весной 1876 г. Философско-историческая публицистика опять-таки самого Салтыкова на темы «утешает ли история» и «можно ли жить с народом, опираясь на оный», иллюстрируется гротеском-диалогом «торжествующей свиньи» с правдой. Это введение струи сатирической фантастики в реальнейшие описания, комического в трагическое, иронического в патетику и т. д., и придает идейно-художественной системе «За рубежом» (как и других произведений) ту полифоническую глубину и широкоохватность, о которой было сказано выше.

Появление очерков «За рубежом» в «Отечественных записках» привлекло большое внимание русского общества и печати. Не было, кажется, ни одной сколько-нибудь видной газеты в столицах и в провинции, которая так или иначе не откликнулась бы на публикацию очередной главы. Однако ознакомление с этой библиографией разочаровывает. За весьма малыми исключениями (они отмечены ниже в комментариях), эти отклики носили чисто информационный характер. Многие же газеты и журналы ограничивались перепечаткой наиболее «сенсационных» мест из очередной главы. Последнее мотивировалось обычно трудностью пересказа и анализа салтыковской прозы, без риска обеднить ее идейно и художественно.

Что же касается серьезных выступлений критики о всем произведении, то их, по существу, не было. Как сказано, отдельное издание «За рубежом» появилось осенью 1881 г. Политическая обстановка в стране после цареубийства 1 марта и контрнаступления правительства сделала невозможным публичное обсуждение одной из самых «резких» по тону книг Салтыкова. Тем более невозможным, что в двух последних главах «За рубежом» писатель уже начал свою беспримерную борьбу с наступавшими силами новой и самой свирепой реакции. Послепервомартовскими главами «За рубежом» *начинается трагический Салтыков 80-х годов*, когда его голос приобрел особенно мощное звучание. Но все, чем могла откликнуться прогрессивная печать на появление отдельного издания «За рубежом», — хотя и высокой, но самой общей оценкой новой книги Салтыкова — признанием ее «*крупным фактом*» в русской литературе и жизни ¹.

¹ «Порядок», СПб. 1881, № 263, 24 сентября.

Глава I

(Стр. 7)

Впервые — ОЗ, 1880, № 9 (вып. в свет 20 сентября), стр. 291—328.

Сохранилась наборная рукопись ОЗ, с правкой автора, его пометками для наборщика о шрифтах и подписью в конце: «Н. Щедрин». Была при-слана в редакцию в два приема: сначала первые два раздела (из Баден-Бадена), а затем все остальное (из Парижа). Третий раздел начинается с новой страницы, на полях которой рукою Салтыкова написано: «(Продолжение статьи: За рубежом) I». Изменений, внесенных автором в перво-начальный слой рукописи, относительно немного (их больше во второй половине главы), и они носят преимущественно характер мелкой стилисти-ческой правки.

Наиболее существенные варианты рукописи и случаи несоответствий рукописного и журнального текстов:

Стр. 8. В абзаце: «Недавно, просзжая через Берлин...» — слова о ста-ром и маленьком чимпандзе даны в рукописи в качестве сноски к фразе, заканчивающейся словами: «...дремлет предсмертною дремотой». При на-боре текста для ОЗ наборщик, по-видимому, не понял или не заметил знака сноски и ввел фразу в основной текст, чем была разбита цельность фраг-мента о старом чимпандзе. В настоящем издании композиция фрагмента дается по рукописи.

Стр. 12. Строка 44. Вместо: «прошел школу графа Алексея Андрееви-ча» — в *рукописи*:

«прошел школу графа Петра Андреевича». О смысле этого колебания Салтыкова см. ниже, в прим. к данному месту.

Стр. 26. Строка 5. После: «И он назвал его «постоянное занятие»... — в *рукописи* продолжено:

Поверите ли, что я целый день после этого руку, согретую предатель-скими пожатиями, мыл!

Стр. 30. Строка 23. Вместо: «сейчас меня мерами кротости» — в *ру-кописи*:

сейчас меня административными мерами.

Стр. 31. Строка 3. Вместо: «всякому человеку сладенького хочется» — в *рукописи*:

на то человеку и вкус дан, чтоб от лакомых кусков не отказываться.

Стр. 37. Строка 31. Вместо: «А бог его знает!» — в *рукописи*:

А бог его знает, что такое бог!

Время и обстоятельства начала работы Салтыкова над главой I «За рубежом», устанавливаются его перепиской со своими соредакторами по «Отеч. зап.». Обращаясь из Баден-Бадена к Н. К. Михайловскому в Петер-

бург, Салтыков писал 14/26 августа 1880 г.: «Посылаю при сем 1-ую половину статьи, приготовляемой мной для сентябрьской книжки. 2-ую половину пришлю к 1-му сентября ст. ст. или немного позже, ибо часть уже написана, но пишется с величайшим трудом, так как не имею пристанища. Не удивляйтесь, что так загодя присылаю 1-ую половину. Я хотел бы знать Ваше мнение насчет цензурности. Поэтому прикажите набрать эту 1-ую половину и прочтите. Буде найдете нужным что изменить (или выпустить) или по цензурным причинам, или по другим, то изменяйте без церемоний. Мне, конечно, хотелось бы сохранить резкий тон статьи, но против невозможности я прать не буду».

Первая половина главы была начата в Туне (Швейцария) и лишь закончена в Баден-Бадене. Вторая половина главы писалась в Париже и была закончена с некоторым опозданием против намеченного срока. В письме к Г. З. Елисееву из Парижа от 31 августа/12 сентября 1880 г. Салтыков писал: «Наконец кончил свою статью и в двух пакетах, которые посылаю в контору, отправляю в Петербург <...> Прошу Вас, в случае надобности, определить ее в цензурном смысле и в случае надобности заступиться. Лучше, ежели сентябрьская книжка без меня выйдет; но думаю, что статья моя, а в особенности конец, произведет впечатление. Мне, по крайней мере, она нравится, хотя я писал ее впопыхах и не все сказалось так, как хотелось. Ну, да все равно, я измучен, и сочинения мои измучены».

Ожидание Салтыкова, что «статья» его «произведет впечатление», подтвердилось. «Этот очерк,— сообщал «Новороссийский телеграф» в корреспонденции из Петербурга,— в течение нескольких дней имел настоящий, в полном значении этого слова, un succès fou¹, по крайней мере, в петербургской журналистике и петербургских салонах»².

Действительно, все крупные столичные газеты поместили отклики на первую главу нового сочинения Салтыкова. Немало отзывов появилось и в органах провинциальной печати. Почти все они были положительными, даже хвалебными, но за малыми исключениями имели общий характер.

Обозреватель «Сына отеч.» указывал на то, что в новом сочинении Салтыков продолжает свою «великую борьбу» за сохранение «живых сил» русского общества: «Читая его, как-то оживаешь, чувствуя, что не все еще заглохло, не все пришиблено, не все искалечено»³. В. Чуйко в «Новостях» подходит к тому же вопросу с другой стороны. Он привлекает внимание к салтыковской критике элементов социального своекорыстия в конституционных требованиях различных слоев русского общества тогдашнего момента. «И всякий требует для себя конституции,— цитирует В. Чуйко салтыковский текст,— мне, говорит, подай конституцию, а прочие пусть по-прежнему довольствуются ранами и скорпионами». «Мне кажется,— заявляет

¹ бешеный успех.

² Журнальные заметки.— «Новороссийский телеграф», Одесса, 1880, 14 октября, № 1710.

³ «Русская литература».— «Сын отечества», СПб. 1880, 26 сентября, № 223.

критик по поводу приведенных слов,— что в этой шутке скрывается глубокая правда <...>, впервые высказанная Щедриным с той беспощадной насмешливостью, которая ему так свойственна. Освободите эту мысль от ее юмористической формы,— и Вы увидите, что взгляд Щедрина на русское общество до крайности пессимистический, беспощадный, почти недопускающий никакой надежды в будущем»¹. Арс. Введенский усматривает в зачине новой книги горькую и трагическую сатиру одновременно на правительство и на общество, на власть и на народ. «В великой книге Паскаля,— пишет критик,— есть одно горестное восклицание, взятое им от св. Августина: «Gore слепым вождям, и горе слепцам, следующим за ними!» — «Vae coecis dicentibus! Vae coecis sequentibus! Эти шесть латинских слов могли бы быть поставлены эпиграфом к новому произведению Щедрина «За рубежом». Странное и тяжелое впечатление производит оно на читателя: не то отчаяние, не то надежды сквозят из-за смеха сатиры». «Положим,— продолжает Арс. Введенский,— в отчаяние прийти можно от одних уже двух старцев «с претензией на государственность», сидевших в вагоне «в государственном безмолвии» друг против друга», но исполненных, казалось, готовности «вынуть казенные подорожные» и сказать спутникам: «а нуте, предъявляйте свои сердца!»²

Во всех отзывах подчеркивается острая злободневность сатиры, умение писателя отзываться на такие струны современности, которые звучат наиболее резко. Критик «Недели» называет Салтыкова «настоящим бойцом современности». Он ограничивает на этом основании возможности писателя быть «собственно художником», хотя и пишет о «непостижимом таланте знаменитого сатирика», который «блистает в этом очерке». Особенно подчеркивается общественное значение «правды» нового выступления. Приводится реплика «автора» из разговора с «бесшабашными советниками», что и хлеб-то в России не родит, потому что «уж очень много свобод у нас развелось». По поводу этой реплики-гротеска, где сарказм Салтыкова особенно резок и беспощаден, критик «Недели» пишет: «Скажут: преувеличение, утировка... но мы-то очень хорошо знаем, что все это голая правда, голая действительность, среди которой мы живем... Да что там бесшабашные советники,— становой, урядник были руководителями нашей мысли; с их взглядами и понятиями необходимо было сообразоваться»³.

Со своих позиций, враждебных Салтыкову, откликнулся на начало новой книги сатирика Ф. М. Достоевский в одной из подготовительных записей к «Дневнику писателя». Текст этой записи см. ниже, в комментариях к гл. II.

Стр. 8. *Юнгфрау* — одна из самых красивых гор в Швейцарии, господ-

¹ В. Ч<у й к о>, Литературная хроника.— «Новости и Биржевая газета», СПб. 1880, 26 сентября, № 255, стр. 3.

² Арс. Введенский, Беллетристика в журналах.— «Страна», СПб. 1880, 28 сентября, № 76.

³ Журнальные очерки.— «Неделя», СПб. 1880, 5 октября, № 40.

ствующая над городом Интерлакенем, в котором Салтыков прожил несколько дней летом 1880 г.

Стр. 9. *...на берегах Иловли.*— Название этой реки в Саратовской губ. (приток Дона) часто упоминалось в газетах 1880 г. в связи с бедствиями засухи и недорода этого года.

...в долине Лана.— На реке Лан (приток Рейна) расположен курорт Бад-Эмс, в котором летом 1880 г. жил и лечился Салтыков.

Стр. 11. *...вздыхают над вопросами об акклиматизации саранчи, колорадского жучка и гессенской мухи.*— В 1879—1880 гг. сельское хозяйство России подверглось не только засухе, но и невиданным нашествиям саранчи, а также колорадского жучка. Они опустошили урожай не только южных губерний, но и средней черноземной полосы. Ухудшение положения деревни, а также трудящегося населения городов, явилось одним из факторов, способствовавших обострению общественно-политической борьбы в стране и вызреванию революционной ситуации. Ироническое сочетание слов «а к к л и м а т и з а ц и я с а р а н ч и» — сатирический выпад против равнодушия и безрукости властей в борьбе с этим народным бедствием.

Стр. 11. *Kraenchen... Kesselbrunnen* — баденские минеральные воды. *«...отпущенных по пачпорту», в Вержболове обыскали.*— Отъезжающие русские приравняются к людям крепостной неволи. «Отпущенные по пачпорту» — термин из времен крепостного права. Так называли помещичьих крестьян, переведенных с барщины на оброк и отпущенных из имения. Вержболово (ныне литовский город Вирбалис) — до войны 1914 г. русская пограничная станция с Германией.

Стр. 12. *...объявили нас от митирогнозии свободными.*— Сатирический псевдоним для обозначения грубой уличной брани. В целях иронического эффекта слово создано Салтыковым по модели научной терминологии из греческих: *meter* — мать и *gnosis* — познание. Ср. ниже аналогичное словообразование: «митирология».

Кажется, мы нынче смирно сидим... Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар — ничего за нами нет.— «Нынче» — то есть после только что закончившейся 1 июля 1880 г. Берлинской конференции, установившей границы Греции, Турции, Сербии, Болгарии, Румынии и тем закрепившей положения Берлинского конгресса 1878 г. Конгресс был созван по инициативе Австро-Венгрии и Англии для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора, завершившего русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Основной целью конгресса и конференции было ограничить русские претензии на Балканах и остановить движение России к проливам.

Стр. 12. *Эйткунен.*— До войны 1914 г. немецкая железнодорожная станция, пограничная с Россией (ныне Краснознаменск Калининградской области).

Один ... назывался по фамилии Дыба; другой ... Удав ... Один прошел школу графа Михаила Николаевича в качестве чиновника для преступлений; другой прошел школу графа Алексея Андреевича, в качестве чиновника для чтения в сердцах.— «У да в» и «Ды ба» — сатирические типы

высших царских бюрократов, непосредственных вершителей и проводников политики самодержавного правительства. «Граф Михаил Николаевич» — военный генерал-губернатор Сев.-Зап. края М. Н. Муравьев, усмиритель восстаний 1863 года в Литве и Белоруссии, за что получил от царя титул графа, а общественным мнением был заклеен как «вешатель». «Граф Алексей Андреевич» — А. А. Аракчеев. Первоначально главою «школы», которую проходили «чиновники для чтения в сердцах»; другими словами — официальные и секретные агенты политической полиции царизма, был назван (в рукописи) «граф Петр Андреевич». Эти имя и отчество, а также титул принадлежали бывшему шефу жандармов и начальнику III Отделения (в 1866—1874 гг.) Шувалову, прозванному за свое всевластие «Петром IV» и «Аракчеевым II». Но он здравствовал, и Салтыков, взвесь цензурную опасность своего первоначального намерения, отказался от него.

Стр. 13. ...*в червленом*... — в темно-красном, багровом.

Шафнер — кондуктор, проводник (нем. Schaffner).

...*ибо нынче и у нас в Петербурге ... вольно!* — Указание на так называемую «диктатуру сердца» — политику графа М. Т. Лорис-Меликова, назначенного в феврале 1880 г. (после взрыва в Зимнем дворце, произведенного С. Н. Халтуриным) начальником Верховной распорядительной комиссии, а после ее ликвидации, в августе того же года, министром внутренних дел и шефом жандармов (что не означало ликвидации «диктатуры»). Считая недостаточными одни административно-судебные меры в борьбе с революционным движением, Лорис-Меликов ослабил систему политических репрессий и цензурного гнета, уволил в отставку наиболее непопулярных реакционных министров, наметил ряд либеральных реформ и пытался привлечь к разработке их представителей прогрессивной и даже радикальной общественности, в частности, Салтыкова. Политика «диктатуры сердца» продолжалась до событий 1 марта 1881 г. После издания Александром III манифеста об укреплении самодержавия Лорис-Меликов и его либеральные коллеги вышли в отставку.

«...*в песках которого ютилось знакомое читателю Монрепо*». — Указание на главный образ в предшествовавшей «За рубежом» салтыковской книге — «Убежище Монрепо». См. т. 13 наст. изд.

Я видел такие обширные полевые пространства в ... Пензенской губернии. — В 1865—1866 гг. Салтыков служил в Пензе управляющим Казенной палатой.

Стр. 15. ...*пропадать пропадом в Петергофском уезде.* — В 1877 г. Салтыков купил имение-дачу в селе Лебяжьем под Ораниенбаумом, Петергофского уезда.

...*до Филиппова заговенья* — то есть до 14 ноября ст. ст.; по названию в православном и народно-бытовом календаре.

Инстербург. — После Великой Отечественной войны — город Черняховск Калининградской области.

...*печорские леса слишком часто нам во сне снятся*... — Печорский уезд.

Архангельской губернии был одним из районов ссылки для революционеров.

Стр. 17. *Кнехт* — работник, батрак (нем. Knecht).

...около каждого «обеспеченного наделом». — Иронически цитируется термин из официальных документов по проведению реформы 19 февраля 1861 г. Реформа эта, признавшая всю землю, находившуюся в пользовании «барских крестьян», собственностью помещиков, обязывала последних «обеспечить крестьян наделом земли». «Наделы», которыми крестьяне не могли прокормиться, должны были выкупаться ими по ценам, намного превышающим действительную стоимость земли.

Стр. 18. *Cur? quomodo? ...quibus auxiliis* — термины римского права, применявшиеся при процессуальном исследовании обстоятельств и причин совершенного преступления. Здесь и ниже Салтыков использует эти латинские термины для эзоповского обозначения государственной власти, под защитой которой набиравшая силы деревенская буржуазия — кулачество — предавалась «кровопивственному процессу» над крестьянскими массами.

...мы, того и гляди, и политическую-то экономию совсем упраздним. — Одна из полемических стрел в лагерь народнических теоретиков, надевавшихся, что России удастся избежать капиталистического пути развития. «Политическая экономия» — означает здесь капитализм и вообще весь противопоставленный идеалам социализма мир общественных отношений, основанных на частной собственности.

...у нас практически заниматься вопросом о «распределении богатств» могут только Политковские да Юханцевы. — Справку о Политковском и учиненном им огромном казнокрадстве см. ниже в прим. к стр. 116. Юханцев — герой сенсационного уголовного процесса растратчиков и аферистов из петербургского «Общества взаимного кредита», похитивших с 1873 по 1878 г. свыше двух миллионов рублей общественных денег (Юханцев был кассиром «Общества»).

Стр. 19. *...всеобщность недовольства...* — О широком распространении настроений недовольства в стране, на рубеже 70—80-х годов, сохранилось множество свидетельств современников. В одном из них, в записи П. А. Валуева, относящейся к этому времени, читаем: «Вообще во всех слоях населения проявляется какое-то неопределенное, обуявшее всех неудовольствие. Все на что-то жалуются и как будто желают и ждут перемены» (цит. по кн.: П. А. Зайончковский, Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов, М. 1964, стр. 100).

Стр. 20. *Когда делили между чиновниками сначала западные губернии, а впоследствии Уфимскую...* — Летом 1880 г., как раз в момент отъезда Салтыкова за границу, в ряде газетных статей было раскрыто дело о хищении высшими чиновниками империи казенных земель в Уфимской и Оренбургской губерниях. Огромные хищения эти (преимущественно земель с ценным корабельным лесом) были произведены в бытность П. А. Валуева с 1872 по 1877 г. министром государственных имуществ. Дело получило широкую огласку, приковало к себе на ряд месяцев исключительное внима-

ние печати и вынудило Лорис-Меликова назначить сенаторскую ревизию. Уже вернувшись из-за границы, Салтыков писал П. В. Анненкову по поводу предстоящей ревизии, порученной сенатору М. Е. Ковалевскому, с которым был близким знаком: «Выплыло нечто ужасное. Из 420 тысяч десятиных казенных оброчных статей осталось налицо только 18 десятиных. Остальное все роздано... Это одно из самых крупных событий, и ужасно любопытно, успеют ли его проглотить и скомкать, или же ему суждено иметь развитие» (письмо от 18 октября 1880 г.).

Стр. 24. *...а толоконников чтоб к нам под начал определили...* — Т о л о к о н н и к — иначе неимущий, бедняк, тот, кто питается дешевой пищей — толокном.

Не в роде тех, какие у нас, в «прекрасном далеке», через час по ложке прописывают... — По-видимому, намек на издававшиеся за границей программные «записки» русской либеральной, в том числе земской, оппозиции (см., например, напечатанную анонимно в 1875 г. брошюру К. Д. Кавелина «Чем нам быть?» и др.) «В прекрасном далеке» — цитата из «Мертвых душ» Гоголя (ч. I, гл. 11).

...в карамзинско-державинском роде — здесь: в значении духа верно-подданничества.

Стр. 25. *...перелагают Давидовы псалмы...* — Современники усматривали здесь намек на писательскую деятельность в области духовно-религиозной литературы бывшего министра внутр. дел, и затем госуд. имуществ П. А. Валуева («Сборник кратких благоговейных чтений на все дни года» и др.).

«О ты, что в горести...» — Начальные строки «Оды, выбранной из Иова...» Ломоносова.

Стр. 26. «*...Вы кому руку-то жмете? ведь это...*» — Подразумевается: доносчик, шпион. Недосказанность — один из приемов в технике эзоповой речи Салтыкова.

Стр. 27. *...это ежели с точки зрения «предостережений» и розничной продажи...* — Правительство добивалось от прессы нужной ему информации путем цензурно-административных репрессий, наиболее популярными среди которых были: объявление органу печати «предостережения» (после третьего «предостережения» следовало закрытие) и запрещение розничной продажи, что сильно било по карману владельцев газет и заставляло их оказывать на своих редакторов соответствующее давление.

Стр. 28. *...брошюры г. Цитовича.* — Профессор Новороссийского университета П. П. Цитович «прославился» в 1878 г. своими ультрареакционными, доносительными пасквилями на деятелей революционной демократии. Эти пасквили, не без таланта написанные, издавались автором отдельными брошюрами в громадных тиражах («Что делали в романе «Что делать?», «Разрушение эстетики», «Реальная критика» и др.). В 1880 г. Цитович предпринял в Петербурге издание официально-консервативной газеты «Берег», вскоре прекратившей свое существование (о «Береге» как объекте салтыковской сатиры см. ниже прим. к стр. 396).

Стр. 29. ...*Департамент Расхищений и Раздач*...— Один из «псевдонимов» царских министерств в салтыковской сатире. Ближайшим образом имеется в виду Министерство государственных имуществ, непосредственно ответственное за расхищение и раздачу казенных земель в Уфимской и Оренбургской губерниях (см. выше, прим. к стр. 20).

Стр. 30. ...*в последнее время русская печать... настаивала на том, чтоб всех русских жарили по суду*.— См. об этом ниже, прим. к стр. 102.

Стр. 31. «*Вот хоть бы земство,— молвил Дыба,— ну, разве это... мечта?..*» — Разговор «автора» с «бесшабашным советником» о земстве — сатира на ту бюрократическую опеку правительства над органами местного самоуправления, которая свела их значение к чисто хозяйственной деятельности, касающейся «пользы» и «нужд» данной губернии или уезда.

Стр. 33. «*Мальчик в штанах и мальчик без штанов*». — Почти сразу после появления диалога в печати (написана «сцена» в конце августа 1880 г. в Париже; см. об этом в письме Салтыкова к А. Н. Островскому от 22 октября 1880 г.) он вызвал полемику между либеральной «Мыслью» и народнической «Неделей» (Н. Н. <Л. Е. Оболенский>, Беллетристика в журналах.— «Мысль», СПб. 1880, № 11, стр. 70—88, и № 12, стр. 238—239; <П. Гайдебуров>, Журнальные очерки.— «Неделя», СПб. 1880, 5 октября, № 40). В этом споре, сосредоточенном на вопросе о «подлинном отношении» Салтыкова к народу, был отмечен, между прочим, полемический характер ряда мест салтыковской «сцены» по отношению к речи Ф. М. Достоевского о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. на торжествах открытия памятника поэту в Москве и сразу же ставшей знаменитой. Наблюдение современников соответствовало истине. Указание на то, что очерки «За рубежом» могут служить «превосходным материалом» для характеристики тех «восточных элементов», засевших в русском человеке, которые вознес в своей речи Достоевский, содержится также в анонимных «Журнальных заметках», напечатанных в «Новороссийском телеграфе» (Одесса, 1880, 13 ноября, № 1740). Салтыков отрицательно отнесся к выступлению Достоевского. По его мнению, автор «Братьев Карамазовых» «эскамотировал», то есть использовал «в свою пользу» Пушкинский праздник (см. письмо к Н. К. Михайловскому от 27 июня 1880 г.). В диалоге двух мальчиков, а также в последующем тексте «За рубежом» не раз встречается ироническая цитация знаменитых мест из речи Достоевского: «новое слово», «скиталец», «гордый человек» и др. Но полемичны по отношению к выступлению Достоевского не частности, а главное и основное в понимании этими писателями России и Запада и их сопоставления. Для Салтыкова, в творчестве которого обличение пассивности народа и общества заняло такое огромное место и звучало так трагически, особенно неприемлем был призыв Достоевского к смирению, обращенный к протестующим, оппозиционным, борющимся кругам русской интеллигенции. Неприемлемо было и понимание смирения как народного идеала и добродетели («Смирись, гордый человек... вот это решение по народной правде и народному разуму»). Словами «мальчика без штанов» («Что Колупаев! С Колупаевым

мы сочтемся... это верно!») Салтыков указывал на существование в народных массах также и совсем других настроений — борьбы, а не послушности. Резко враждебно отнесся Салтыков и к утверждению Достоевского, будто народ русский уже нашел для себя «правду» — в религии. В споре с либеральным публицистом Градовским, по поводу своей речи о Пушкине, Достоевский утверждал (в «Дневнике писателя» к 1880 г.), что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его». Как бы отвечая на это и подобные ему утверждения Достоевского о русском «народе-богоносце», Салтыков вкладывает в уста «мальчика без штанов» такой ответ на вопрос «мальчика в штанах», знает ли его русский «коллега», «что такое бог?»: «А бог его знает, что такое бог! У нас, брат, в селе Успленью-матушке престольный праздник показан — вот мы в спожинки его и справляем!» Элементы спора Салтыкова с пушкинскую речь Достоевского в диалоге двух мальчиков несомненны, что не дает, однако, оснований рассматривать эту знаменитую «сцену» исключительно в качестве художественно-полемического документа, направленного против выступления Достоевского. (Такая тенденция очевидна в комментариях к «За рубежом» Иванова-Разумника, в изд.: М. Е. Салтыков (Щедрин), Сочинения, т. IV, М.—Л. 1927, стр. 647—650. Иначе, объективнее рассмотрен вопрос в кн.: С. Борщевский, Щедрин и Достоевский, М. 1956, стр. 339.) Парадоксально-положительную оценку диалог двух мальчиков, как и вся книга «За рубежом», получил со стороны другого идейного оппонента Салтыкова, Ив. Аксакова. Вот как характеризовал он автора «За рубежом», тенденциозно воспринимая его со своих славянофильских позиций: «При всех его недостатках, это, разумеется, огромный талант и огромный мыслитель. Это своего рода бич божий на петербургский период русской истории и на петербургскую бюрократию — это ее историк. К чему бы он ни прикоснулся, все под его пером является в карикатуре и обращается в пошлость... Но лучше всего его очерки европейской пошлости и нашего там пресмыкания. Я с наслаждением читал «За рубежом»... При некоторой грубости и безвкусице, я должен признаться: задумана эта параллель «мальчик в штанах» и «мальчик без штанов» великолепно. Разумеется, Салтыков на уровне понимания явлений. Гехт и Колупаев удивительно ярко проведены. Щедрин в двух словах выразил нашу славянофильскую мысль: Гехту крестьянин свою душу продал и договор написал, а Колупаеву даром отдал, следовательно, во всякое время назад взять может. Это прямо гениально» (Сергей Шараров, И. С. Аксаков о М. Е. Салтыкове (из моих воспоминаний).— «Русский труд», СПб. 1899, 1 мая, № 18, стр. 16.

Стр. 37. ...*вот мы в спожинки его и справляем.*— Спожинки или дожинки — последние снопы, празднование окончания жатвы; также название в народно-крестьянском обиходе Успенского поста, совпадающего по времени с уборкой урожая (август).

Стр. 38. ...*а нынче еще урядников ругаться наняли.*— Институт полпцейских урядников был введен 1 августа 1879 г. в связи с «неблагополуч-

ным положением» в деревне. В среднем на уезд приходилось по 11 урядников.

Стр. 39. *А я такую сигнацию выдумал: првдъжителю выдается из разменной кассы... плюха!* — После русско-турецкой войны курс русского рубля за границей стоял очень низко. Слова «мальчика без штанов» связаны с каламбуром Салтыкова, сказавшего в ответ на сообщение, что в Германии за рубль только полтинник дают: «Погодите, скоро за него будут только по морде давать» (сообщение К. М. Салтыкова Иванову-Разумнику).

Стр. 40. *...выкупные подавай!* — По «Положениям» 19 февраля 1861 г. крестьянам, для выкупа усадеб и полевых наделов, была предоставлена от государства ссуда (единовременно выплаченная помещикам), которую они должны были погасить в течение сорока девяти лет. Взносы погашения назывались выкупными платежами или просто **в к у п н ы м и**.

Стр. 42. *...двадцать лет, как Вы хвастаетесь, что идете исполнскими шагами вперед, а некоторые из Вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают...* — Предмет критики здесь: официальные и неофициальные апологии послереформенного развития России и, как упомянуто уже, пушкинская речь Достоевского (то место в ней, где говорится, что русскому народу предназначено высказать человечеству **н о в о е с л о в о** — «изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»).

Глава II

(Стр. 42)

Впервые — ОЗ, 1880, № 10 (вып. в свет 21 октября), стр. 615—650.

Написано в Париже, незадолго до отъезда Салтыкова в Россию. «Я продолжаю «За рубежом», и хочется кончить здесь для октябрьской книжки», — сообщал Салтыков Н. К. Михайловскому из Парижа 15 сентября 1880 г. Окончание работы датируется следующими словами из письма к П. В. Анненкову из Парижа же от 2 октября 1880 г.: «все время писал и только вчера отправил в Петербург статью для октябрьской книжки. Сегодня уезжаю из Парижа. В следующем письме к П. В. Анненкову уже из Петербурга, от 18 октября 1880 г., Салтыков заметил: «2-я статья «За рубежом» вышла слабее, а третья, быть может, будет еще слабее... Трудно, очень трудно пишется мне...»

О первой теме главы — изображении политического быта «объединенной» бисмарковской Германии и об образе Берлина — палладиума прусского милитаризма, см. выше во вступительной статье. Другая тема главы — о положении «русского культурного человека в русской деревне», более полно развита Салтыковым в предыдущей книге — «Убежище Монрепо» и в следующей — «Современная идиллия». В примечаниях к этим произведениям читатель найдет исторический комментарий к этой теме, являющейся непосредственным откликом писателя на движение народнических революционеров-пропагандистов («хождение в народ»).

Среди откликов печати на появление главы II следует отметить два — В. Чуйко в «Новостях» и А. Круглова в «России»¹.

Первый примечателен тем, что «За рубежом» рассматривается в нем в сопоставлении (хотя не в пользу Салтыкова) с такими выдающимися произведениями русской и иностранной литератур, как «Письма из Франции и Италии» Герцена и «Reisebilder» Генриха Гейне. Второй интересен общими суждениями о месте и значении Салтыкова в современной литературе и публицистике — суждениями, непосредственно связанными с впечатлениями критика от первых глав «За рубежом» и реакцией на их появление в обществе. «Для многих, — читаем в этом отзыве газеты правого лагеря, — он <Щедрин> «единственный русский писатель»; кроме него, не признается никто другой достойным носить такой громкий титул... Это полуофициальное признание хотя и грешит сильно против правды в стране, где есть такие колоссы, как Л. Толстой, Гончаров, Достоевский и Тургенев, но тем не менее факт все-таки остается фактом... Сил в литературе, равных Щедрину, — нет. Исключение только представляет г. Достоевский. Он один и только один. Ибо Л. Толстой молчит, Гончаров молчит, Тургенев тоже...»

Существенный интерес представляет отзыв о двух первых главах «За рубежом» Достоевского. Это запись мыслей и полемических замечаний, которые, возможно, предполагалось использовать в «Дневнике писателя». Начало записи связано с тем местом главы II, где Салтыков сближает впечатления от жизни берлинских и петербургских улиц и говорит, что и на Невском в предобеденный час голодные чиновники спешат, не осматриваясь по сторонам, потому что «не до гляденья тут, а как бы подобра-поздорову домой добежать, да чтоб по дороге в участок не свели». Отталкиваясь от этого места, Достоевский записал: «Щедрин. Очерки: «За рубежом». «Отеч. зап.». Сентябрь и октябрь 80 г. Отведут в участок». То-то и есть, что совсем не отводят в участок. Вот тут-то бы и сатире. Оскорбление женщине (у Палкина). Кража и оскорбление личное, стрельба в Лорис-Меликова, а они только под козырьки. — Когда-то, лет сорок назад, отвели Щедрина в участок, и вот он испугался. А ведь на прокурорское место. Чуть «Тюрьму и ссылку» не написал². Разговоры с советниками Дыбой и Удавом верх глупости и лакейства. О берлинском офицере. А разве вы не выпячиваете сами-то *грудей* у себя дома? Не ставите себя героем?

Хвалят Щедрина из-за страху перед либерализмом и даже «Отечественными записками»³.

¹ В. Ч<уйко>, Литературная хроника. — «Новости и Биржевая газета», СПб. 1880, 24 окт., № 282; Русский <А. В. Круглов>, Новости текущей журналистики. — «Россия», СПб. 1880, 28 октября, № 43.

² «Прокурорским местом» Достоевский тенденциозно называет должность советника Губернского правления, которую занимал Салтыков в годы своей подневольной жизни в Вятке. «Тюрьма и ссылка» — название второй части «Былого и дум» Герцена.

³ ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 17, л. 9. Впервые с небольшой неточностью приведено в кн.: С. Борщевский, Щедрин и Достоевский, М. 1956, стр. 338. Цитируется по тексту, опубликованному в ЛН, т. 83, М. 1971, стр. 672.

Стр. 43. ...любуется люцернским раненым львом, с надписью: *Helvetiorum virtuti ac fidei*, каковую надпись, в шутовом русском тоне переводит: «любезно-верным швейцарцам, спасавшим, в 1790 году за поденную плату, французское престол-отечество». — Находившиеся на службе у Бурбонов швейцарские наемные войска участвовали в защите последней резиденции Людовика XVI, дворца Тюильри, захваченного 10 августа 1792 г. восставшими парижскими секциями. Памятник швейцарцам, павшим при защите Тюильри, был воздвигнут в 1821 г. в Люцерне по модели Торвальдсена; высеченный в скале, он изображает умирающего льва.

Стр. 44. ...людей-мучеников... — Речь идет о русской революционной эмиграции.

Стр. 48. ...в смысле предупреждения и пресечения. — Предупреждение и пресечение преступлений — термины полицейского и уголовного права.

Стр. 49. В 1848 году Берлин даже бунтовал, но непродолжительно и скудно. — Революционное восстание в Берлине, начавшееся 18 марта 1848 г., продолжалось два дня. Результатом восстания явилась очень умеренная конституция, при сохранении монархии.

Стр. 50. ...встречаются в это время на Невском еще железнодорожники и кокотки... — Речь идет о железнодорожных концессионерах-капиталистах, «героях» салтыковской сатиры в «Дневнике провинциала в Петербурге» (см. т. 10 наст. изд.).

Стр. 53. ...ему воздвигнут на Королевской площади памятник... — Памятник победы над Францией в войне 1870—1871 гг. Королевская площадь Берлина находилась в северной части Тиргартена.

...начнет повествовать об Верте или об Седане. — Верт — город в Нижнем Эльзасе, близ которого 6 августа 1870 г. разыгралось первое крупное сражение франко-прусской войны, закончившееся победой пруссаков; Седан — крепость во Франции, где 2 сентября 1870 г. Мольтке окончательно разгромил французскую армию и часть ее, вместе с Наполеоном III, взял в плен.

Стр. 54. ...«не знает, как блеснуть очаровательнее», как выражается у Островского Липочка Большова. — Из пьесы «Свои люди — сочтемся», д. 1, явл. 1 (в подлиннике «Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее!»).

Стр. 55. ...не могу не припомнить одного любопытного факта из моего прошлого. — Далее излагается эпизод, связанный с именем известного ученого-криминалиста профессора Я. И. Баршева. В годы обучения в Александровском (ранее Царскосельском) лицее Салтыков слушал у названного профессора курс уголовного права и судопроизводства. (Подробнее об этом эпизоде см. в кн.: С. М а к а ш и н, Салтыков-Щедрин. Биография. I, изд. 2-е, М. 1951, стр. 132—133.)

Стр. 56. Рассказывают, правда... что берлинское начальство... отнюдь не церемонится с излюбленными берлинскими людьми. — Эти строки относятся к тому этапу истории социал-демократического движения в Германии, который прошел под знаком осуществленного Бисмарком в 1878 г.

«чрезвычайного закона против социалистов». Как раз в мае 1880 г., то есть незадолго до того, как Салтыков посетил Германию, закон был продлен еще на четыре года (до 1884 г.). Непосредственным толчком к открытию похода имперского правительства и буржуазии против немецких революционных рабочих послужили крупные успехи германской социал-демократии на выборах в рейхстаг в 1874 и 1877 гг., что и имеет в виду Салтыков, говоря о «некоторых парламентских выборах».

Стр. 58. ...*все равно, что быть вверженными в лвиный ров...*— Ремни-сценция библейского рассказа о пророке Данииле, брошенном, за неисполнение царского указа, в ров, в котором содержались львы, и о чудесном спасении его (Книга прор. Даниила, VI, 16—27).

Стр. 60. ...*вассерфрау* — женщины, подающие лечебные воды.

динстманы, пактрегеры — посыльные, носильщики.

...*Кому скажет: лоб!* — Слово «лоб!» провозглашалось в рекрутском присутствии по отношению к новобранцу, принятому на военную службу (от обычая брить лоб принятому и брить затылок не принятому).

Стр. 65. ...*нескромности табльдотного Рю-Блаза*.— Рю и Блаз — одновременно лакей и любовник королевы у героя одноименной драмы Виктора Гюго («Ruy Blase»).

Et voilà comme on'écrit l'histoire — ставшие крылатыми слова из комедии Вольтера «Шарль, или Графиня Живари» (I, 7).

Стр. 67. ...*«во всех ты, душенька, нарядах хороша»* — из поэмы «Душенька» И. Ф. Богдановича.

А то не хотите ли в Фавориту!— Замок Фаворите, начала XVIII в.— одна из популярнейших достопримечательностей в окрестностях Баден-Бадена, а также место увеселительных прогулок.

Стр. 70. ...*сама «вдова» благословила...*— Вдова Наполеона III, ex-императрица Евгения, урожденная Монтихо.

Стр. 72. ...*не имеющие ...понятия об «увенчании здания»...*— то есть о конституции, об «увенчании» ею «здания» реформ 60—70-х годов.

Там, батюшка, нынче Изабелла в ход пошла! — С начала 1880 г. в Испании сильно обострилась борьба клерикалов-консерваторов за уничтожение конституции 1876 г. Вдохновительницей и организатором движения явилась бывшая испанская королева Изабелла II (Мария-Луиза), свергнутая с престола в 1868 г. и жившая с тех пор в Париже. Этой Изабелле — яростной католичке и обскурантке — Салтыков посвятил ряд сатирических строк в рассказе 1869 г. «Испорченные дети» и в очерке 1873 г. «В больнице для умалишенных» (см. в тт. 7 и 10 наст. изд.).

Стр. 73. ...*некогда они <швейцарцы> изменили законному австрийскому правительству, и с тех пор опера «Вильгельм Телль» дается в Петербурге под именем «Карла Смелого»...*— Возникновение легенды о свободолюбивом стрелке Вильгельме Телле связано с национально-освободительной борьбой швейцарских кантонов против австрийского ига Габсбургов (кон. XIII—нач. XIV вв.). Написанная на этот исторический сюжет опера Рос-

сине «Вильгельм Телль» шла на русской и итальянской сценах в Петербурге с политически «нейтрализованным» сюжетом и под измененным названием «Карл Смелый» («Carlo il Temerario»). В 40—60-е годы спектакли оперы пользовались огромным успехом у радикально настроенной молодежи. О революционизирующем воздействии оперы Салтыков писал неоднократно, начиная с первой своей повести «Запутанное дело» (см. по указателю имен в тт. I, 5 и 6 наст. изд.).

Стр. 74. *Петанлерчик* — уменьшит. от петанлер (ф р а н ц. pet-en-l'air) — короткая куртка.

А я вам докладываю: всегда эти «увенчания» были... Возьмем хоть бы вопрос об учреждении губернских правлений...— Сатирическая острота заключается здесь в намеке на то, что при организации губернских правлений в 1775 г. они по смыслу закона являлись учреждениями совещательными при «государевом наместнике» — губернаторе и должны состоять из выборных представителей от сословий. В дальнейшем при введении земских учреждений губернским правлениям был придан исключительно бюрократический характер с подчинением их органам центральной власти.

Еще когда устав а кантонистах был сочинен.— Уставом 1824 г. все кантонисты (солдатские сыновья, прикрепленные с рождения к военному ведомству) были переданы в заведование начальнику военных поселений Аракчееву.

Глава III

(Стр. 75)

Впервые — ОЗ, 1880, № 11 (вып. в свет 20 ноября), стр. 229—265.

Написано в Петербурге, в октябре 1880 г., вскоре после возвращения из-за границы (см. письмо к П. В. Анненкову от 18 октября 1880 г.).

«Зарубежный» материал не получил в этой главе самостоятельной разработки. Швейцария обозначена лишь как место действия — пейзажно и отчасти политически, как тогдашний центр русской революционной эмиграции. По существу же, глава целиком посвящена актуальным вопросам отечественной современности. Основное содержание подчинено двум темам. Первая — продолжение полемики с националистическими концепциями «нового слова». По ходу полемики доказывается реакционность этого «слова» и разъясняются подлинное содержание и причины «русской тоски» — как гражданской тоски по «общему делу», невозможному в условиях политического бесправия при царизме. Вторая сатирическая тема — «оскудение» «бюрократического творчества». «Оскудение усматривается в замене слов «понеже» и «того ради», выразивших «виновность» (причинность, доказательность) распоряжений власти, передаваемыми фельдъегерским словом-выкриком — «п-ш ё л!», знаменующим принцип «чистого администрирования». Первая тема разработана публицистически, вторая — художественно, при помощи образа

«графа Твэрдоонтó», «странствующего администратора», которому всегда казалось, что «наше отечество» нуждается не столько в «изобилии», сколько в «расторопных исправниках». Образ «графа Твэрдоонто» — одно из классических у Салтыкова воплощений бюрократической психологии и механизма российского самодержавия. Вместе с тем этот образ связан с одною из реально-исторических фигур высшей царской администрации, графом Д. А. Толстым (см. об этом ниже, в примеч. к стр. 85).

Но и полемика по поводу «нового слова» также имела не только общий почвенническо-славянофильский адрес, но и вполне конкретный. А именно — программное «Объявление» И. С. Аксакова об издании его новой газеты «Русь». Объявление было напечатано в сентябре (см. об этом письмо Салтыкова к М. М. Ковалевскому от 28 сентября 1880 г.) и помещено, в качестве статьи, в первом номере газеты, начавшей выходить в Москве 15 ноября 1880 г. Критик киевской газеты «Заря» писал по этому поводу: «...появилась «Русь». И теми же свойственными славянофилам «трубными звуками, многоточиями и криками»¹ возвестила «Русь» изумленному человечеству те новые слова, которые она глубоко и долго таила в своей славянофильской груди. Этих слов немного, но в них заключается многое. «Не в высь и ширь, а в глубь и околó!» Это раз. А второе — «у е з д». Слов, повторяем, не много, а смысла в них оказалось пропасть, особенно после того, как Щедрин раскрыл богатую сокровищницу идей, заключающуюся в этих немногих словах». Критик «Зари» имеет здесь в виду ту часть главы III, в которой Салтыков обрушивается на философию и практику общественного абсентеизма, определяемого словами «не совай носа в дело, до тебя не относящееся», и дает свое толкование самому понятию «не относящегося» дела².

Стр. 76. *С акушерками повидаться ездили?* — «Ученые акушерки» — первоначальное название в России женщин-врачей. Вслед за первой русской женщиной-врачом Н. П. Суловой, окончившей в конце 60-х годов цюрихский университет, в Швейцарию устремлялось немало русских девушек, искавших образования и самостоятельности (ст. в т. II наст. изд. очерк «По части женского вопроса» и прим. к нему).

...когда нам в первый раз отворили двери за границу... — Жесткие правила выезда за границу, установленные в царствование Николая I, были существенно облегчены законом от 26 августа 1856 г.

Стр. 79. *...risum teneatis, amicit!* — Из «Ars poëtica» («Наука поэзии») Горация.

Стр. 81. *...нужно начать борьбу. А где же взять сил для борьбы? ...Остается один выход: благородным образом тосковать.* — Эти слова написаны в самый разгар героических попыток «Народной воли» дезорганизовать самодержавное правительство революционным террором. Они — одно

¹ Цитируются слова из гл. III «За рубежом».

² М. Ступин (М. И. Кулишер), Журнальное обозрение («Отеч. зап.», ноябрь). — «Заря», Киев, 1880, 13 декабря, № 35, стр. 2.

из свидетельств неверия Салтыкова в успешность таких попыток и его отрицательного отношения к таким формам политической борьбы (ср. ниже, прим. к стр. 194).

Стр. 83. *Управа благочиния*.— Архаическое уже в момент написания главы наименование органа исполнительной полиции. Салтыков пользуется этим наименованием, здесь и в дальнейшем, для обозначения полицейского отношения царской бюрократии к русскому обществу и его интересам.

Стр. 84. *...под сенью... интерлакенских орешников...*— В августе 1880 г. Салтыков прожил несколько дней в Интерлакене, климатическом курорте, недалеко от Туна.

Стр. 85. *Кунавино* — предместье в Нижнем Новгороде, примыкавшее к ярмарочным постройкам; «славилось» как место всероссийского купеческого разгула.

...граф Твэрдоонтó.— Как сказано выше, в образ графа Твэрдоонто¹ — сатирическая персонафикация высшей царской бюрократии — Салтыков ввел ряд черт, относящихся к личности и биографии графа Д. А. Толстого, которого знал со времен их совместного пребывания в Царскосельском (Александровском) лицее. В 1865 г. Толстой был назначен обер-прокурором св. Синода, в 1866 г., после покушения Д. В. Каракозова на Александра II, он становится также и министром народного просвещения. За период пребывания на этих постах Толстой своей яркой реакционностью вызвал к себе ненависть всех слоев общества. Хорошо знавший Толстого Б. Н. Чичерин, характеризуя его, писал: «...бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, не видевший ничего, кроме петербургских сфер, ненавидевший всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенный всех нравственных побуждений...» По мнению Чичерина, Толстой «был создан для того, чтобы служить оружием реакции» («Воспоминания Б. Н. Чичерина». Московский университет», М. 1929, стр. 192—193). В апреле 1880 г. в связи с изменением правительственного курса, после взрыва в Зимнем дворце, Толстой был уволен с обеих должностей. Отставка Толстого вызвала радость во всех прогрессивных кругах и создала большую популярность Лорис-Меликову, добившемуся этой отставки. В 1880 г. Толстой совершил заграничное путешествие и почти в одно время с Салтыковым был и в Швейцарии и в Париже («странствующий администратор»). Все эти и многие другие факты из политической биографии Толстого нашли отражение в образе графа Твэрдоонто. Отразились в этом образе и опасения Салтыкова, что находящийся не у дел создатель административной «теории повсеместного смерча» может воспрянуть «при первом кличе: шествуйте, сыны!». В мае 1882 г. Толстой был назначен на пост министра внутренних дел и явился в правительстве одним из самых последовательных и жестких проводников курса реакции 80-х годов.

¹ В славяно-русской азбуке буква *т* называлась «твердо», а буква *о* — «он», сочетание *то* читалось по названиям букв «твердо—он». Таким же приемом создана Салтыковым еще одна сатирическая фамилия: князь Букиазба (*б* — буки, *а* — аз).

Стр. 87. *«Так храм оставленный — все храм...»* — Из стихотворения Лермонтова *«Я не люблю тебя...»*.

...граф Пустомыслов... — все тот же граф Твёрдоонтó (неустранный след первоначальных колебаний Салтыкова в наименовании персонажа).

...Вифезда... купель Силоамская. — В Евангелии, воды пруда Вифезда в Иерусалиме и источника Силоам вблизи Иерусалима связываются с исцелениями по слову Христа двух неизлечимых больных (Иоанн, V, 2 и IX, 7). В переносном смысле — средство исцеления.

Стр. 89. *«Граф и репортер».* — Этот «драматический разговор», имеющий своим основным предметом сатирическую характеристику фигуры Твёрдоонто (см. прим. к стр. 85), представляет вместе с тем едкую пародию на репортерский жанр буржуазной печати, в особенности суворинского «Нового времени». Ближайшим прототипом для создания сатирического образа Подхалимова — репортера газеты «И шило бреет» — послужила фигура парижского корреспондента «Нового времени» в конце 70-х годов С. Ф. Шарапова. Под псевдонимом Parisien этот Шарапов, впоследствии довольно известный писатель по сельскому хозяйству, поместил в №№ 693, 695, 711, 712 и 736 «Нового времени» за 1878 г. две своих корреспонденции-интервью: «У Луи Блана» и «У Виктора Гюго». В них Шарапов развязно и даже пошло представил читателям обоих деятелей французской демократии и одновременно устроил пышную саморекламу. Несколько ниже Салтыков раскрывает ближайший объект своей пародии, когда пишет, что Подхалимов успел «сообщить, что Виктор Гюго скупердяй, а Луи Блан — старая баба, что он у всех был, мед-пиво пил...». В письме к А. Н. Энгельгардту от 27 сентября 1881 г. Салтыков писал про Шарапова: «Он Виктору Гюго надоел. Тоже затесался, насилиу отделались. А потом в «Новом времени» описывал, как его брусничкой с г... там кормили». Типичский образ Подхалимова повторен в «Мелочах жизни» и в «Пестрых письмах».

Стр. 90. *Вы, конечно, знаете стих Пушкина: «Красного лета отрава, муха несносная, что ты...»* — Твёрдоонто приписывает Пушкину стих, принадлежащий Е. Баратынскому («Ропот», 1841 г.).

...кстати: вы были на этом празднике... в Москве? — Имеются в виду торжества по случаю открытия памятника Пушкину в Москве, в июне 1880 г. В них отразился подъем литературно-общественной жизни в период второй революционной ситуации, произошла демонстрация либерально-опозиционных сил в защиту «свободной мысли» и печати (Н. Шелгунов), Внутреннее обозрение. — «Дело», 1880, № 6, стр. 111). Об отрицательном отношении Салтыкова к выступлениям на пушкинском празднике Достоевского и Тургенева см. выше, прим. к стр. 33).

...«Мне вручила талисман». — Из стихотворения Пушкина «Талисман».

Стр. 91. *Moïse sauvé des eaux.* — По библейской мифологии, пророк Моисей получил свое имя от нашедшей его у реки, когда он был младенцем, дочери фараона. По-еврейски Моисей — Моше — значит «взятый из воды» (Исход, II, 10).

Стр. 95. *Рассыптесь, молодцы!..* — Здесь и дальше (стр. 104) приводятся

мнемонические тексты воинских трубных сигналов. См. эти же тексты в «Истории одного города».

Стр. 96. *...быстрых разумом Невтонов...*— Из оды Ломоносова 1747 г.

Стр. 96—97. *...проштудируйте осьмой, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый томы...*— томы Свода законов Российской империи. Сатирический материал, связанный с этой темой, разработан Салтыковым в гл. VIII «Современной идиллии» (см. в наст. изд., т. 15 кн. первая).

Стр. 100. *...раб лукавый*...— образ из евангельской притчи (М а т ф., XXV, 23—26).

Стр. 102. *...звук иод.я...*— Йодль (нем. Jodl) — жанр и манера исполнения (на высоких горловых регистрах) народных песен у альпийских горцев.

...и в иностранных, и русских журналах появились слухи о предстоящих в нашей печати льготах.— 1880 г. с его «новыми веяниями» поставил перед правительством вопрос о пересмотре и изменении законов о печати, в том числе и о замене административных репрессий взысканиями по решению судебных органов. Последний пункт особенно выдвигался самими представителями русской печати, в том числе демократической (см., например, анонимную статью Г. Елисеева «Несколько слов по поводу вопросов злобы дня». — «Отеч. зап.», 1880, № 9). Салтыков отнесся ко всем этим толкам о реформе законов о печати крайне скептически. Он писал П. В. Анненкову так: «Знаю, что есть проект о написании нового устава книгопечатания, с устранением административного произвола и заменой его отдачей под суд. Все газеты и журналы по этому поводу ликуют, а в том числе и «Отеч. зап.»; но я лично так думаю: до сих пор я еще не сиживал в кутузке, а в будущем не знаю. Сдается, что не миновать» (письмо от 18 октября 1880 г.). Наступившая с 1881 г. реакция надолго сняла с повестки дня вопрос о преобразовании цензуры.

Глава IV

(Стр. 111)

Впервые — ОЗ, 1881, № 1 (вып. в свет 22 января), стр. 229—278.

Написано в Петербурге в 1880 г. Авторская дата окончания работы, обозначенная в публикации: «25 декабря 1880 г.».

Глава IV посвящена Франции: революционной и социалистической 40-х годов и буржуазно-республиканской 70-х годов.

Во многих отзывах печати подчеркивалась художественно-публицистическая сила и яркость новой главы. «На этот раз,— заявлял один из критиков,— Щедрин был осенен настоящим вдохновением. Политическое положение современной Франции Щедрин рисует красками положительно изумительными»¹.

¹ Z., Журнальные заметки.— «Новороссийский телеграф», Одесса, 1881, 24 февраля, № 1827, стр. 1—2.

В качестве выдающейся черты новой работы писателя подчеркивалось то, что в характеристике иноземной жизни он проявил такую же проницаемость мысли и самостоятельность суждений и оценок, как и при освещении вопросов русской действительности. «В каждом вопросе,— говорилось в одном из отзывов,— он попадает в самую его суть и, кроме того, в мало, сравнительно, знакомой ему западноевропейской жизни, откапывает и указывает такие существенные черты, которые весьма значительно могут повлиять на сложившиеся у нас представления о тамошних взглядах и отношениях...»¹

Были, однако, и другие отзывы. Некоторые из либеральных публицистов, сторонники европейского конституционализма, не признали основательности салтыковской критики буржуазного Запада. По мнению В. Р. Чуйко, Салтыков «смотрит на Францию сквозь мрачные очки своей сатиры». О «результатах» наблюдений Салтыкова над буржуазной государственностью Франции, подытоженных в формуле «республика без республиканцев»,— этот же критик заявляет: «...результаты <...> плачевные, но, к счастью, они не отвечают действительности». Вместе с тем критик предъявляет Салтыкову упрек в идеализации Франции как «светоча» социалистических идеалов, «которых еще никто не знает и не может определить»². Это была критика «За рубежом» с позиций русского буржуазного лагеря, сильно укрепившегося к этому времени. Раздались голоса и в защиту отдельных политических деятелей Третьей республики, «обиженных» салтыковской сатирой (см. ниже, в прим. о Лабуре, выступление в его защиту Г. Градовского и К. Арсеньева).

Либерально-народническая «Неделя», не оспаривая салтыковской критики парламентаризма Третьей республики по существу, считала, однако, это выступление «несвоевременным» (имея в виду, конечно, конституционные надежды этого времени в России). «Как бы ни были справедливы взгляды почтенного сатирика,— писала «Неделя»,— высказывание их, во всяком случае, несвоевременно, а несвоевременность — большой порок в писателе»³.

В отзывах печати не были обойдены вниманием и русские темы главы IV. Некоторые же критики усматривали в них, весьма, впрочем, субъективно, главнейшую суть главы. Таков, например, отзыв Арс. Введенского. Он начинается словами: «Среди нас есть один поэт, мощными чертами вызывающий в нас сознание трагизма нашей жизни,— Щедрин, в главе IV «За рубежом». «Горький смысл» этого выступления писателя

¹ Е. К<артавцев>, Щедрин во Франции.— «Киевлянин», 1881, 13 марта, № 58, стр. 1.

² В. Ч<уйко>, Литературная хроника... Франция и французская литература по определению Щедрина...— «Новости и Биржевая газета», СПб. 1881, 20 февраля, № 49, стр. 2—3.

³ Журнальные очерки.— «Неделя» СПб. 1881, 8 февраля, № 6, стр. 225—231.

критик усматривает в скрытых, но «заданных» автором сопоставлениях современности с изображением тех «суровых, жестоких времен, когда все напоминания о сознательности» представлялись не только «нежелательными», но и «опасными», когда при всей страстности в поисках общественного идеала он «ускользал от практического применения». По поводу этого изображения духовной драмы русских людей 40-х годов критик пишет: «...необходима только аналогия, чтобы понять, как душевно живут и настоящие современные люди...», «Щедрин ... представляет читателю это тяжелое горе. Таков смысл произведения Щедрина; не понимать его — невозможно; извращать — постыдно...»¹.

Стр. 111. *С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах...*— Начальные страницы главы IV — автобиографичны. (Подробнее об этом см. в кн.: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, изд. 2-е, М. 1951, стр. 171 и след.). Они важны, однако, не только в качестве материала для суждений о том, как складывалась личность и мировоззрение самого Салтыкова. В них дана яркая характеристика целого и очень важного этапа в развитии русской общественной мысли. В художественно-публицистической литературе о 40-х годах значение последних как времени формирования социалистической идеологии в демократических слоях русской интеллигенции нигде, быть может, не подчеркнуто более выразительно и сильно, чем это сделано в главе IV «За рубежом».

...прижмул... к ... безвестному кружку...— К кружку М. В. Буташевича-Петрашевского.

Стр. 112. *...не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занда.*— Луи-Филиппу и Гизо — этим символам посленюльской реакции во Франции — Салтыков противопоставляет имена властителей социальных дум своей молодости. Идеи Сен-Симона, Кабе, Фурье сыграли выдающуюся роль в формировании мировоззрения Салтыкова и других петрашевцев.

...оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас...— Вслед за Фурье, Сен-Симоном и др. русские социалисты-утописты обращали свои мечты о «золотом веке» не к прошлому, а к будущему. В известном «Карманном словаре иностранных слов» М. В. Петрашевский утверждал, что «не преданием о прошедшем, но сказаньем о грядущем должно считать... «золотой век» («Карманный словарь иностранных слов, вошедший в состав русского языка», вып. 2, СПб. 1846, стр. 219). Это был один из источников исторического оптимизма Салтыкова.

...даже такое дело, как опубликование «Собрания русских пословиц»,

¹ А. Введенский, «Отечеств. записки», 1881, январь.— «Страна», СПб. 1881, 17 февраля, № 21, стр. 6—7.

являлось прихотливым и предосудительным.—Сборник В. Дала «Пословицы русского народа» был приготовлен к печати еще в конце 40-х годов, но николаевская цензура запретила издание. Книга смогла быть напечатана (в доработанном виде) лишь в 1862 г.

...когда Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию.— Племянник Наполеона I, Шарль-Луи Бонапарт в декабре 1848 г. был избран президентом республики, а 2 декабря 1851 г., опираясь на искавшую «сильного правительства» буржуазию, армию и духовенство, произвел государственный переворот, передавший в его руки всю полноту фактической власти; через год — 2 декабря 1852 г.— он провозгласил себя под именем Наполеона III императором Франции. Свое царствование Бонапарт ознаменовал ожесточенным преследованием рабочего движения, политическими репрессиями, авантюрами, развернутой системой реакции. Его империя просуществовала до франко-прусской войны 1870 г. Салтыков, с отвращением относившийся к «последнему императору Франции», неоднократно называет его в дальнейшем изложении словом «бандит».

Стр. 112—113. ...мы не могли без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало.— 30—40-е годы во Франции были не только периодом расцвета социальных утопий, но и временем интенсивного оживления революционно-политической мысли, питавшейся традициями Великой французской революции (ожесточенные споры «робеспьеристов» с «маратистами», возникновение многочисленных революционно-республиканских обществ вроде «Друзей народа», «Общества прав человека», и т. п. деятельность Бланки, Распайля и т. д.).

...шатобрианы...— ростбифы.

Стр. 113. ...зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана.— «История десяти лет» (Revolution française. Histoire des dix ans. 1830—1840, 1—5) утопического социалиста Луи Блана выходила в Париже в период с 1841 по 1844 г. Резкая критика Июльской монархии в этой работе памфлетного характера пользовалась у современников большим успехом.

...Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо по этому поводу, палата, составленная из депутатов, нагло называвших себя conservateurs endurcis, наконец, февральские банкеты...— Перечисляются политические факты и эпизоды, непосредственно предшествовавшие революционным событиям в феврале 1848 г. Жан-Батист Теста, бывший последовательно с 1834 по 1843 г. министром торговли, юстиции и общественных работ, оказался сильно скомпрометированным в деле об отдаче соляных копей в аренду за большую взятку и был привлечен к суду. Процесс Теста, происходивший в 1847 г., был использован парламентской группировкой буржуазии, так называемой «династической левой», для очередной агитационной кампании в пользу реформы избирательного права. Ответом на все попытки оппозиции добиться расширения избирательного корпуса служили «высокомерные речи Гизо

по этому поводу»: «Избирателей и без того довольно,— говорил Гизо,— всеобщая подача голосов — чуждая система»; «обогащайтесь, трудитесь, и вы сделаетесь избирателями». Однако атаки сторонников реформы продолжались. Движение проявлялось в устройстве ряда оппозиционно-республиканских банкетов. Запрещение Дюшателем и Гизо демократического банкета, назначенного на 22 февраля, послужило сигналом к революции. 23 февраля на улицах Парижа уже шли баррикадные бои. В этот день пало министерство Гизо, а на другой день министр Луи-Филиппа бежал от побеждавшей революции в Лондон.

...пало уже и министерство Тьера... пало регентство.— Революция 1848 г. началась как «восстание» партии реформ, партии буржуазии, против реакционного режима Гизо, то есть против еще более умеренной фракции своего же класса, а перешла в восстание народных масс. Все попытки Луи-Филиппа спасти свой трон были сорваны наступившей революцией; оба министерства и регентство, имевшие своей задачей достигнуть компромисса, погибли почти немедленно после своего возникновения.

...оказалось несостоятельным эфемерное министерство Одилона Барро (этому человеку всю жизнь хотелось кому-нибудь послужить и, наконец, удалось-таки послужить Бонапарту).— Политический деятель и адвокат, лидер «династической оппозиции» в период Июльской монархии, Одилон Барро в последние часы жизни этого режима пытался спасти трон Луи-Филиппа. Позднее этот «тупорожденный либерал», как называл его Герцен, был поставлен Луи Бонапартом во главе первого министерства новой республики. По этому поводу Маркс писал: «Господин Барро поймал-таки, наконец, министерский портфель, призрак которого преследовал его с 1830 г.,— более того, портфель премьер-министра в этом министерстве. Но он достиг этого не так, как он мечтал при Луи-Филиппе,— не в качестве самого передового лидера парламентской оппозиции, а в качестве союзника всех своих заклятых врагов, незунтов и легитимистов...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 8, стр. 138). Ср. эти слова с ремаркой салтыковского текста в скобках.

Но даже ламартиновское словесное распутство — и то не претило...— Во время февральской революции 1848 г. французский поэт и историк Альфонс Ламартин играл большую роль во Временном правительстве. Фактически, однако, выступая под республиканской маской, он боролся против республики. В начале революции Ламартин благодаря своему «цветистому красноречию» пользовался большой популярностью у сторонников движения во Франции и в России. В другом воспоминании о своей молодости Салтыков писал: «*Alea jacta est; la grandeur d'âme est à l'ordre du jour*»,— восклицали мы вслух за Ламартином». Комментарий к этим словам, заимствованным из речей Ламартина («словесного распутства»), см. в наст. изд., т. 10, стр. 695.

Стр. 114. *...учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте, я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат вятского губернского правления.*— При

первых известиях о революции 1848 г. в Петербурге по указу Николая I был учрежден под председательством князя Меншикова особый комитет, которому поручено было «рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы, соблюдают ли данные каждому журналу программы». Первой и единственной жертвой деятельности этого «негласного комитета» стал Салтыков. В мартовской книжке «Отч. зап.» он напечатал повесть «Запутанное дело» (вошла позднее в книгу «Невинные рассказы»). Социалистическая тенденция повести обратила на нее внимание «начальства». Салтыкову было предъявлено обвинение (сформулированное самим Николаем I) в напечатании сочинения, «в котором оказался вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу...». Салтыков был арестован и 28 апреля отправлен в сопровождении жандарма «на служение в Вятку», откуда вернулся лишь в начале 1856 г.

Стр. 114. *...Что красы Санковской Цынскому представил.*— Е. А. Санковская, знаменитая в 30—40-е годы прима-балерина московского балета, были фавориткой московского обер-полицеймейстера Л. М. Цынского.

Стр. 115. *...провожая сыновей, мужей и братьев на смерть за «ключи»* — то есть за «ключи» от храма Рождества Христова в Вифлееме (близ Иерусалима), построенного, по преданию, над местом вертепа, в котором родился Христос. Ссора между католическими и православными монахами Палестины за право хранения «ключей» от вифлеемского храма явилась одним из внешних выражений возникавшего восточного кризиса 50-х годов, перешедшего в Крымскую войну.

...Франция продолжала светить в лице ее изгнанников.— После поражения революции 1848—1849 гг. многие ее участники эмигрировали из Франции в другие страны Европы, в том числе Луи Блан, Ледрю-Роллен, Виктор Гюго, Феликс Пиа и др.

Стр. 116. *Кости старого Политковского стучали в гробе; младенец Юханцев задумывался над вопросом: ужели я когда-нибудь превзойду?* — Смысл этого указания и связи имени Политковского с именем Юханцева (о нем см. прим. к стр. 18) уясняется из следующей записи в дневнике А. В. Никитенко от 5 февраля 1853 г.: «Еще новсе и грандиозное воровство. Был некто Политковский, правитель дел комитета 18 августа 1814 г. В Комитете накопился огромный капитал в пользу инвалидов. Этот Политковский — камергер, тайный советник, кавалер разных орденов и пр. и пр. Он в течение многих лет крал казенный интерес, пышно жил на его счет, задавал пиры, содержал любовниц. На днях он умер. Незадолго до его смерти открылось, что он украл миллион двести тысяч серебром» (А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. I, М. 1955, стр. 360).

...В 1870 году Франция опять напомнила о себе.— Указание на франко-прусскую войну.

...бандит оставил по себе конкретный след в виде организованной шайки, которая и теперь изъявляет готовность во всякое время с легким сердцем рвать на куски свое отечество.— Речь идет о партии политических сто-

рошников Наполеона III, бонапартистах, и их деятельности. Особенную роль они стали играть в момент кризиса республики между 1873 и 1877 гг.

Лично я посетил в первый раз Париж осенью 1875 года. Престол был упразднен, но неподалеку от него сидел Мак-Магон и все что-то собирался съезжать.— Салтыков впервые попал во Францию (в сентябре 1875 г.) в эпоху реакции, последовавшей вслед за разгромом Парижской коммуны. «Политические интересы везде очень изменны... Везде реакционное поветрие»,— писал он тогда из-за границы Е. И. Якушкину (см. письмо от 19/7 марта 1876 г.). Буржуазия после Коммуны была озабочена консолидацией своих сил. Для борьбы с пролетариатом она готова была и на реставрацию империи. Шансы монархистов стояли высоко. Ярким выражением политической ситуации служило президентство бонапартовского маршала Мак-Магона, избранного на этот высший республиканский пост монархическим большинством Национального собрания (27 мая 1873 г., оставался президентом до 1879 г.) вместо «недостаточно консервативного» Тьера. Узнав об избрании Мак-Магона, Салтыков, по свидетельству Г. З. Елисеева, сообщившего писателю эту новость, «вскочил со стула точно ужаленный. «Как, Мак-Магон, эта протухлая крыса...— и далее непечатно,— будет распоряжаться судьбами Франции? Это ужасно!» (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове.— В кн.: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 184).

Стр. 118. ...*к развалинам дворца.*— Тюильрийского, уничтоженного пожаром в дни событий Парижской коммуны.

...*Arc de l'Etoile* — Триумфальная арка на площади Звезды (ныне площадь генерала де Голля).

...*макадам*...— один из видов щебенного покрытия дорог.

Стр. 120. *Contre nous de la tyrannie*...— Слова из «Марсельезы».

...*доктор Г.*— врач Петр Петрович Гагаринов; умер в Ницце 1 декабря 1875 г.

Стр. 121—122. «*Travail attrayant*» — термин Шарля Фурье, обозначающий в его утопической социально-философской системе характер труда в гармоническом обществе будущего (в фаланстерах). Это труд, свободно избранный («librement choisi»), труд без напряжения, вперемежку с праздниками, под звуки песен и музыки.

Стр. 122. *Оттого-то, быть может, и кажется приезжему иностранцу (это еще покойный Погодин заметил), что в Париже вот-вот сейчас что-то начнется.*— Здесь имеются в виду соответствующие места из книги: М. Погодин, Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник, М. 1844 (ч. III, Париж, см., например, стр. 24—25, 58—59, 90—91).

...*непростительно было бы не заглянуть в ту мастерскую, в которой вершатся политические и административные судьбы Франции. Я выполнил это... весной 1876 года. Палаты в то время заседали в Версале, и на очереди стоял вопрос об амнистии... и т. д.*— Первая сессия сената и палаты депутатов первого созыва открылась 8 марта 1876 г., то есть в день, когда

истекали полномочия Национального собрания. При выработке так называемых конституционных законов 1875 г. было специально постановлено, что правительство будет находиться в Версале. Это решение было продиктовано боязнью буржуазии перед пролетарским Парижем — городом революций и недавней Коммуны. Предложение об амнистии коммунаров, осужденных военным судом Тьера на бессрочные и долготлетние каторги и тюрьмы, было внесено почти одновременно и в палату депутатов, и в сенат их «левыми» и «крайне-левыми» фракциями (Виктор Гюго, Клемансо, Наке и др.). Прения по этому вопросу с центральным выступлением Клемансо происходили в заседании палаты депутатов 17 мая, на котором Салтыков, возможно, присутствовал, хотя и намеревался в этот день уехать из Парижа в Баден-Баден (см. об этом в его письме к Н. А. Белоголовому от 16/4 мая 1876 г.). Ход прений и речь Клемансо были подробно изложены на страницах «Отеч. зап.» в «Хронике парижской жизни» Людовика (ОЗ, 1876, № 6, стр. 270—286). Некоторыми деталями этого описания Салтыков воспользовался. Амнистия была отклонена. «Левые» удовлетворились письмом маршала Мак-Магона, в котором он обещал многочисленные помилования. Это обещание осталось на бумаге.

Стр. 122. ...*да ведь французское «mais» — это то самое, что по-русски значит: выше лба уши не растут!* — К этим салтыковским фразеологизмам, созданным для характеристики оппортунистической сути либерализма — его идеологии и практики — неоднократно обращался в своей публицистике В. И. Ленин («Что такое „друзья народа“...», «Шаг вперед, два шага назад», «Услышишь суд глупца», «Мягко стелют, да жестко спать» и др.).

...*это был Лабуле, автор известного памфлета Paris en Amérique, а ныне сенатор и стыдливый клерикал* — французский публицист-сатирик, ученый и общественный деятель Эд. Р. Лабуле де Лефевр, в 60-е годы находился в лагере оппозиции режиму Второй империи. Политическую систему этого режима он сатирически изобразил в сочинениях «Paris en Amérique» (1863) и «Le prince-sapiche» (1868). Произведения эти пользовались большим успехом не только во Франции, но и в России. О первом из них, называемом в салтыковском тексте, Герцен отозвался словами: «Это — прелесть: хуже насмешки над Францией я не читал» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. 27, кн. 2, М. 1963, стр. 416). Сказка-сатира «Le prince-sapiche», направленная против Наполеона III, в свое время оказала воздействие и на Салтыкова (была опубликована в русск. пер. под заглавием «Новая волшебная сказка Лабуле» в «Отеч. зап.», 1868, №№ 2—4). В «Истории одного города» он применил к изображению русского абсолютизма некоторые найденные Лабуле приемы сатирического осмеяния регламентации всех областей жизни, которой характеризовался бюрократически-централизованный режим Второй империи. Однако, при всем своем чисто французском блеске, остроумии и кажущейся резкости, сатира Лабуле была в сущности безобидна. Политическая биография автора подтвердила это. Уже в 1869 г. Лабуле высказался за поддержку Наполеона III, которого он только что «беспощадно» осмеивал. К Парижской коммуне он отнесся резко

враждебно; в Национальном собрании (1871 г.) поддерживал политику Тьера. В 1875 г. Лабуле вместе с Анри Валлоном явился автором предложений (так называемая «поправка Лабуле» и «поправка Валлона»), облегчивших для монархического католического и консервативного большинства Национального собрания принятие антидемократической конституции. «Поправка Лабуле,— писал Энгельс,— не что иное, как призыв к установлению монархии без монарха». В том же 1875 г. Лабуле избирается несменяемым сенатором. В сенате он примыкал к правому центру и являлся скрытым («с т ы д л и в ы м» у Салтыкова) проводником клерикально-монархических тенденций. Он выступал против амнистии коммунаров (заседание 3 июля 1880 г.), против фабричного законодательства, направленного к облегчению положения рабочих. В ноябре 1880 г., то есть незадолго до того, как Салтыков написал IV главу, Лабуле высказался «во имя свободы мысли» в пользу существования клерикальных конгрегаций. Политическая биография Лабуле — живое олицетворение оппортунистического режима Третьей республики и — шире — всей истории французской буржуазной демократии в первое десятилетие после Коммуны, когда очаг реакции переместился «влево», в самое лоно республиканских партий. Сказанное разъясняет, почему Салтыков для изображения всех этих процессов избрал фигуру Лабуле, трактованную им остро-гротескно и беспощадно. Выступление Салтыкова вызвало ряд отрицательных суждений в русской либеральной печати. К. Арсеньев отозвался о «сцене с Лабуле», как о «безусловно неудачной», а Гр. Градовский заявил, что эта «сцена» «недостойна ни таланта автора <Салтыкова>, ни того уважения, в котором, во всяком случае, нельзя отказать имени этого французского публициста» (К. К. Арсеньев, Салтыков-Щедрин, СПб. 1906, стр. 234; Гр. Градовский, Журналистика.— «Молва», 1881, 30 января, № 30, стр. 1).

Стр. 123. ...*все наперерыв поздравляли меня, что я так отлично постиг la sagesse des nations.*— В этом сатирическом пассаже Салтыков иронически опирается на одно место из речи по поводу амнистии, произнесенной адвокатом Лами — представителем «умеренных». Лами напомнил Клемансо, злоупотреблявшему одной французской пословицей, такой афоризм Ж. Санд: «La proverbe «Qui se ressemble s'assemble» est une des nombreuses sottises qui tendent à discrediter la sagesse des nations».

...*а потом и до Гамбетты доберемся...*— Избирательная кампания в феврале 1876 г. принесла лидерство в республиканском союзе Л.-М. Гамбетте — одному из выразителей и проводников соглашательской политики буржуазных республиканцев после Коммуны. «Скопец Гамбетта одержал блистательную победу», — сообщил Салтыков Анненкову об этом событии в письме от 27 февраля 1876 г. «Я не признаю, — заявил Гамбетта в палате депутатов, — другой политики, кроме политики умеренности, политики результатов, и как уже произнесено это слово, я скажу — политики оппортунизма»¹.

¹ Термин, специально созданный Рошфором для характеристики программы Гамбетты.

...*Hôtel des Reservoirs* — здание в Берсале, где во время Коммуны собирались депутаты Национального собрания, сторонники монархии.

Стр. 127. «*Но у нас мы говорим так: иллюзии — и кончен бал... и при том в особенности жеми... illusions perdues ...ха-ха!*» — Сатирическая остроота параллели между французской терминологией («конституция») и русской («иллюзии») уясняется из следующей справки. В сентябре 1880 г. «Торис-Меликов призвал к себе всех редакторов повременных изданий и объявил им, чтобы они отложили в сторону всякие мечтания о центральном представительстве не только в виде конституционных палат, но даже и под видом совещательной Земской думы» («Дневник Е. А. Перетца», М.—Л. 1927, стр. 8). По записи присутствовавшего на этом собрании (вместо находившегося за границей Салтыкова) Г. З. Елисеева, министр внутренних дел требовал, чтобы печать «не смущала и не волновала напрасно общественные умы своими... мечтательными иллюзиями» (см. в заметке «Несколько слов по поводу вопросов злобы дня». — «Отеч. зап.», 1880, № 9, стр. 141; заметка перед напечатанием посылалась в Париж Салтыкову). Для усиления сатирико-комического эффекта и, одновременно, для придания большей ясности намеку Салтыков вкладывает в уста Лабуле выражение: «*Illusions perdues*» («Утраченные иллюзии») — заглавие знаменитого романа Бальзака.

Стр. 127. «*Я говорю: нужда заставит и калачи есть...*» — Уяснение смысла данного места рассчитано на знакомство читателя с первоначальным значением употребленной поговорки. «Нужда заставит калачи есть» — то есть заставит голодающих крестьян среднерусских губерний отправиться на тяжелые работы на нижнюю Волгу и в другие южные губернии, где едят пшеничный хлеб, называемый там калачом.

Стр. 128. *Отлично! очаровательно! Vive Henri Cinq! ...c'est ça! Но ведь он... смоковница-то... сказывала мне намеднись m-lle Круазетт...* — Речь здесь идет о последнем отпрыске королевской династии Франции — графе Шамборском (Генрихе Бурбонском). В реставрационных планах и попытках монархического большинства палаты этот представитель непримиримого легитимизма и белого знамени Бурбонов являлся в 70-е годы главным претендентом на престол Франции (под именем Генриха V). Граф Шамборский не имел детей; на нем таким образом обрывалась старшая королевская ветвь Бурбонов. Указанием на это обстоятельство служит в салтыковском тексте слово «смоковница» (библейский образ бесплодной смоковницы). «M-lle Круазетт» — парижская куртизанка, героиня бульварной печати 70-х годов — была фавориткой Шамбора.

Стр. 131. *...журналист Менандр... в «Старейшей Пенкоснимательнице»... курлыкал да курлыкал, а пришел тайный советник Петр Толстолобов, крикнул: «ты что тут революцию распространяешь... брысь!» — и слопал Менандра!* — Салтыков имеет здесь в виду историю разгрома в конце 1874 г. либеральной редакции «С.-Петербургских ведомостей» («Старейшая Пенкоснимательница»; журналист Менандр — редактор

В. Ф. Корш; Петр Толстоголов — министр народного просвещения с 1875 г. гр. Д. А. Толстой). В письме от 3 января 1875 г. П. В. Анненков сообщил об этом И. С. Тургеневу: «Итак, министр Толстой съел Корша и Суворина с «Петербургскими ведомостями» (см. об этом также: А. И. Дельвиг, Мои воспоминания, т. IV, стр. 479—480).

Стр. 132. *...по поводу... Мак-Магона и его свойства... шел довольно оживленный спор: как следует понимать простоту...*— В этих и других намеках и указаниях на «простоту» Мак-Магона Салтыков издевается над солдафонством, политической и всякой иной безграмотностью первого президента французской республики Энгельс в письме к Марксу по поводу избрания Мак-Магона в президенты называл его «величайшим ослом Франции» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 33, стр. 67).

Стр. 134. *«Что же такое, однако ж, Мак-Магон? Расстреляет ли он или не расстреляет? Вот вопрос, который витал над Парижем в мае 1876 года».*— Речь идет о попытке реставрации монархии, предпринятой легитимистами после так называемого «свидания в Фросдорфе» (резиденции графа Шамборского в Австрии), где произошло примирение — на почве общих задач — враждовавших ранее бонапартистов и орлеанистов.

Стр. 135. *«La république sans républicains»* — республика без республиканцев — программный лозунг Тьера, превращенный Салтыковым в «формулу обличения» государственности современной ему буржуазно-реакционной Франции и всей системы буржуазного парламентаризма (ср. с этим выражение Ф. Энгельса «монархия без монарха»). В. И. Ленин неоднократно обращался к этой «формуле» в своей публицистике («Пересмотр аграрной программы рабочей партии...», «Плеханов и Васильев», «О пролетарской милиции»).

...при самом въезде меня возмутило одно обстоятельство. Париж... вонял! — В «Хронике парижской жизни» Шарля Шассена, помещенной в 10-й книге «Отч. зап.» за 1880 г., читаем: «во время летних жаров по улицам Парижа стал распространяться отвратительный мефетический запах... он исчез после того, как засорившиеся водосточные трубы были... вычищены». Салтыков описывает, таким образом, действительный факт из своих парижских впечатлений в августе 1880 г. Но выражение «Париж вонял!» он употребляет одновременно в качестве многозначительного символа «удушающего» быта и идеологии «сытого» французского буржуа, которому «ни героизм, ни идеалы уже не под силу». Эти строки и продолжающее их «раблезианское» описание «запахов Москвы» (интересное, в частности, как элемент автобиографии писателя, относящийся к годам его школьного детства) вызвали нарекания в «грубости» и «натурализме» (З а у р я д н ы й ч и т а т е л ь, Журнальные заметки.— «Одесск. листок», 1881, 10 февраля, № 32).

Стр. 139. *...в Новотроицком, в «Саратове»... у Воронина.*— Об этих некогда знаменитых московских трактирах, а также об упоминаемом на стр. 328 трактире Лапшова рассказано Вл. Гиляровским (соч. в 4-х тт., т. 4, стр. 341—342).

Стр. 140. ...осуществление идеала, излюбленного «маленьким буржуа», которому недавно воздвигнут памятник в С.-Жермене.— Имеется в виду Тьер. Памятник ему был открыт в 1879 г. в Сен-Жермейском предместье Парижа, во дворе здания Бурбонского дворца, где помещалась палата депутатов.

Стр. 141. ...во цвете лет погиб Монтихин отпрыск... со смертью Лулу.— В 1879 г. умер единственный сын Наполеона III и императрицы Евгении (урожденной Монтихо) Луи («Лулу») Наполеон — бонапартистский претендент на престол. Он погиб от зулусских копий, приняв участие в колониальной экспедиции англичан.

Стр. 142. Франция заняла «надлежащее» место в «советах» европейских держав и вместе с прочими демонстрирует, в водах Эгейского моря, в пользу Греции.— Франция дала согласие участвовать в демонстрации эскадры шести держав — Австрии, Англии, Германии, России и Италии — в Эгейском море (сентябрь 1880 г.). Целью демонстрации было оказать давление на Порту в вопросе о воссоединении с Грецией греческих земель, все еще находившихся под властью Турции («Дневник Д. А. Милютин. 1878—1880 гг.». Ред. и примеч. П. А. Зайончковского, М. 1955, стр. 261).

...Каким же образом графу Твэрдоонтó, вместе с прочими кадетами, не почтить Парижа своим посещением... как не сообщить мосье Гамбетте о своих видах и предположениях насчет харчевенно-ресторанного союза...— В 1879 г. русское правительство пыталось заключить с Францией тайную дипломатическую сделку, направленную против Германии и Австрии («миссия генерал-адъютанта Обручева»). Предложение было отклонено, и Бисмарк благодарил за это французского министра иностранных дел Ваддингтона (С. Татищев, Император Александр II, СПб. 1903, т. II, стр. 573 и 704). Летом и осенью этого года Париж посетило много «достопадных кадетов», в том числе великие князья Владимир Александрович и Константин Николаевич (председатель Государственного совета), товарищ министра иностранных дел А. Г. Жомини и один из ближайших сотрудников военного министра генерал Н. Н. Обручев. Их встречи с официальными руководителями республики вызвали ряд слухов о существовании будто бы заключенного в 1879 г. тайного франко-русского союза (см., например, опровержение этих слухов в № 1626 «Нового времени» от 7 сентября 1880 г.).

...он <буржуа> уже имеет в услужении «гарсонов» вроде Даркура <Сен-Валье> и Ноайля — отчего же не мечтать о «гарсонах» из породы Монморанси, Роган и Конде.— Ирония и сарказм заключаются здесь в том, что перечисляются имена, принадлежащие к числу старейших аристократических родов Франции, к се «голубой крови». Представители этих фамилий, в течение столетий верно служивших белому знамени Бурбонов, оказались теперь в роли политических защитников интересов буржуазной республики. В период, о котором идет речь, граф Даркур был французским послом в Вене, граф Сен-Валье — в Берлине и герцог де Ноайль — в Риме.

Стр. 143. ...даже в стенах Новороссийского университета тайному совет-

нику Панютину, в Одессе суцу, провозглашалось...— Виленский гражданский губернатор с 1863 по 1868 г., участник подавления польского восстания, С. Ф. Панютин выполнял в 1878—1880 г. миссию «ликвидации революционного брожения» в районе одесского генерал-губернаторства и «успокоения» студенческих волнений в Новороссийском университете в Одессе. ...и мушаров...— полицейских шпионов, осведомителей (франц. *touchard*).

Стр. 144. *Признаюсь, эти вопросы немало интересовали меня. Не раз порывался я проникнуть в Бельвиль...*— Бельвиль (*Belleville*) — рабочее предместье Парижа, игравшее видную роль в истории революции 1848 г. Парижской коммуны и дальнейшего развития движения французского пролетариата. В кварталах Бельвиля, в частности, собирався первый общезаконоустановительный (так называемый Парижский) рабочий конгресс в октябре 1875 г.

Стр. 145. *...назойливый празднотоловец, вроде Герольштейнского принца.*— Принц Герольштейнский — авантюрный герой романа Эжена Сю «Тайны Парижа».

Цирк Фернандо.— Этот цирк, находившийся в Бельвиле, служил в 70-х и 90-х годах местом всех больших собраний парижских рабочих.

...в Марсель на рабочий конгресс? — «Конгресс» рабочих синдикатов в Марселе происходил в октябре 1879 г. Он был продолжением парижского (1876) и лионского (1878) рабочих конгрессов. Но в отличие от этих своих предшественников, ярко отразивших тяжелый кризис, который переживало рабочее движение Франции после разгрома Коммуны, марсельский конгресс прошел под знаком усиления революционных настроений наиболее передовых групп французского пролетариата.

Стр. 146. *Гасконь... доставляет лгунов.*— Народные анекдоты, поговорки и поговорки о лгунах и хвастунах гасконцах имеют глубокую традицию, нашедшую отражение и в письменной литературе (например, в баснях Лафонтена).

...ортоланов — ортолан (*ortolan*) — птица овсянка.

...гостившая в России баронесса Каулла.. завтракала с генералом Сиссэ.— Речь идет о генерале Второй империи де Сиссэ, активном бонапартисте, кровавом усмирителе Коммуны, грязном авантюристе, запутавшемся в неопытных денежных делах и из-за них покончившем свою жизнь самоубийством. Когда он был военным министром при Тьере и Мак-Магоне, его любовница, кокетка и прусская шпионка, известная в скандальной хронике всех европейских столиц под именем «баронессы Каулла» и «*la fille Каулла*», похитила и передала Германии мобилизационные планы Французской армии, а также чертеж одного из новых фортов Парижа. Разоблачение этого факта парижской печатью осенью 1880 г. повлекло за собой возникновение судебного дела («дело Сиссэ — Каулла»), тянувшегося до апреля 1881 г. и кончившегося оправданием Сиссэ. На суде выяснилось, что Каулла жила в 70-х годах в Петербурге, являлась любовницей знаменитого растратчика Юханцева (см. о нем выше) и была выслана из

России как прусская шпионка. В этой связи уясняются те места салтыковского текста, в которых говорится о том, как «сам Юханцев кормил» рябчиками Кауллу и как он «по сочувствию стонал в Красноярске» (он отбывал там в это время судебный приговор).

Стр. 150. *...упразднить поповского бога совсем. И вот теперь, в целой Франции, действует бог лаицизированный¹... однако ж... вопрос о конгрегациях... чуть было не произвел разрыва между Гамбеттой и графом Твэрдонто*.— В марте 1879 г. министр народного просвещения, умеренный республиканец Жюль Ферри внес в Сенат законопроект о реформе высшего образования. В проекте имелась статья, запрещающая лицам, принадлежащим к «несутвержденным конгрегациям»², преподавать в светских школах или руководить ими. Обсуждение законопроекта и его юридических последствий, в виде двух репрессивных декретов против католических конгрегаций вообще («декреты 29 и 30 марта»), сопровождалось ожесточеннейшей политической борьбой клерикалов и консерваторов с республиканцами. В борьбе этой пало (19 сентября 1880 г.) министерство де Фрейсинэ, не решившееся под воздействием католической агитации на реализацию «декретов». На смену ему пришло (23 сентября того же года) министерство Жюля Ферри — инициатора похода против конгрегаций. Новый министр начал свою деятельность с энергичного осуществления «декретов». Осенью и зимой 1880 г. по всей Франции шло полицейское закрытие конгрегаций, сопровождавшееся в ряде мест вооруженным сопротивлением монахов и сагитированного ими крестьянского населения. К 1881 г. конгрегации были уничтожены. Ироническая острота указания на то, что антиклерикальная политика республики («Гамбетты») вызвала недовольство «графа Твэрдонто», уясняется из псевдонимических ассоциаций этого сатирического персонажа с личностью гр. Д. Толстого, пытавшегося в качестве обер-прокурора Синода, то есть официального блюстителя религии в России, воспрепятствовать, дипломатическим путем, закрытию монастырей (см. в названном выше сочинении С. Татищева, т. II, стр. 320).

Стр. 150. *...относительно отцов «реколетов»*.— «Реколеты» — члены так называемой реколетской конгрегации, оказавшие особенно упорное сопротивление (вплоть до возведения баррикад) закрытию своего монастыря. «Военными действиями» против монастыря руководил шеф французской охраны — «мосье Кобе».

Стр. 151. *Ту же самую несложность требований простирает современный буржуа и к родной литературе*.— Страницы, посвященные анализу французского натурализма (не столько, однако, его художественной практики, сколько программных установок), принадлежат к числу наиболее глубоких литературно-критических высказываний Салтыкова. В манифесте новой литературной школы, провозглашенном ее законодателем Золя

¹ светский (от франц. laïciser — делать мирским, светским).

² Конгрегации — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному монашескому ордену (незультскому, францисканскому и т. д.).

в «Парижских письмах», для Салтыкова были совершенно непримлемы требования бесстрастного, общественно-безоценочного воспроизведения действительности. Эти требования рассматриваются Салтыковым — в их объективном значении — как элементы идеологии «сытого буржуа», не записанного больше в «расширении горизонтов».

В плане историко-литературного и реального комментария требует разъяснения терминология Салтыкова, всюду употребляющего слово «реализм» вместо «натурализм».

Известность и популярность Золя началась значительно раньше в России, чем на его родине или в других западных странах. Самым крупным фактом в истории отношений французского романиста с русским читателем было сотрудничество Золя в «Вестн. Европы» в период с 1875 по 1880 г. Здесь (задолго до их появления во Франции) печатались его ежемесячные «Парижские письма», в которых впервые и была развернута теория «натурализма» и «экспериментального романа». Эти термины, сопровождавшиеся к тому же постоянными ссылками на «научность», «физиологию», «медицину» и т. п., на русской почве 70-х годов ассоциировались вначале с радикальной общественной программой, а также с демократическими традициями того левого крыла русской «натуральной школы», теоретиками которой являлся Белинский и из недр которой вышли Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков и др. Позднее, когда по мере появления «Парижских писем» все полнее и точнее выяснялась сущность проповедуемых Золя теорий, они стали терять свою первоначальную популярность. Демократического читателя в России начали отталкивать от Золя-теоретика формулируемые им требования «объективизма», отказа от прямых политических суждений и общественных оценок («Я не хочу, как Бальзак, решать, каков должен быть строй человеческой жизни, быть политиком, философом, моралистом...»), его биологизм, его тенденция в человеке видеть «человеческое животное», наконец, его резко полемические выступления против недавних кумиров — Жорж Санд, Гюго и Бальзака. Золя начинает подвергаться ожесточенным нападениям (статьи в «Отеч. зап.», «Деле» и др.). Резкость этих нападков испугала редактора «Вестн. Европы» М. М. Стасюлевича. Вскоре он вынужден был отказаться совсем от сотрудничества Золя, но прежде этого в первых книжках 1879 г. он решил изгнать из «Парижских писем» «однозвучные» термины «натурализм», «натуралистический» и заменил их соответственно «реализм», «реалистический». Известно, однако, что Золя, теоретически обосновывая (в кн. 1879 г. «Экспериментальный роман» и др.) новое литературное течение, не только настаивал на наименовании его «натурализмом», но и прямо ограничивал это понятие от ранее существовавшего «реализма». Салтыков же пишет, явно имея в виду литературные манифесты Золя: «современная французская литература... не без наглости подняла знамя реализма» и т. д. Это объясняется тем, что Салтыков знакомился со статьями Золя, против которых он здесь полемизирует, по «Вестн. Европы» и, естественно, усвоил введенную журналом неправильную терминологию. Характерно, что и Н. Михайловский в «Литературных замет-

ках» («Отеч. зап.», 1879, № 9) также говорит не о «натуралистах», а о «нынешних французских реалистах».

Стр. 152. *Даже в Бальзаке, несмотря на его социально-политический индифферентизм... просачивалась тенденциозность...*— то есть идейность. Отношение Салтыкова к Бальзаку характеризуют следующие строки из письма А. С. Суворина к Ю. Д. Беляеву от 21 декабря 1899 г.: «Мне иностранные книги дали очень много, именно тем, что будили мысль... Вы несомненно талантливый человек, но еще очень молодой. Я помню молодого человека, который назывался Салтыковым, он был старше меня, конечно. У него любимым писателем был Бальзак. Я жил у него в усадьбе с детьми в 1875 г. и из его библиотеки познакомился с Бальзаком» (Ленинградский государственный театральный музей. Архив Ю. Д. Беляева. Нензд.).

Стр. 153—154. *...«Ассомуар»... в нем... на первом плане фигурируют представители... «новых общественных наслоений»...*— Роман «L'Assomoir» («Западная», 1877) посвящен рабочему классу.

Стр. 154. *Капитан Гарсен — тот самый, который во время торжества версальских войск над коммунаой расстрелял депутата Милльера, за «вредное направление» его литературной деятельности...*— В книге А. Зеваэса «История Третьей республики» приведено описание этой казни республиканского депутата и социалиста Милльера, рассказанное самим капитаном Гарсеном. Заимствуем отсюда несколько строк. «Я сказал Милльеру,— повествует палач,— что по приказу генерала <де Сиссэ.— С. М.> он должен быть расстрелян. Он спросил меня: «За что?» Я ответил ему: «Я вас знаю только по имени, но я читал ваши статьи, которые меня возмущали...» По приказу генерала он должен был быть расстрелян в Пантеоне на коленях, прося прощения у общества за то зло, которое он причинил ему... Я велел поставить его на колени, и тогда было приступлено к казни. Он крикнул: «Да здравствует человечество!» — и хотел крикнуть еще что-то, но упал, сраженный пулями (изд. на русск. яз., М.—Л. 1930, стр. 42).

...любимцем, художником по сердцу буржуа и всефранцузской знаменитостью Зола сделался лишь с появлением «Нана».— Появление в 1879—1880 г. романа «Nana» сопровождалось сенсационным успехом. Журнал «Voltaire», где печаталась «Nana», расходился в неслыханном для того времени количестве 400 000 экземпляров (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. 12, кн. 2, М.—Л. 1967, стр. 142). В первые два года роман выдержал сто (!) изданий («Неделя», СПб. 1881, 31 апреля, № 22). Успех романа в первую очередь объяснялся не художественными достоинствами и не социально-обличительной тенденцией произведения, а обилием натуралистичных описаний, употребляя слова Салтыкова, сферы «физической правоспособности» и «любовных подвигов». В России появление «Nana» послужило причиной падения авторитета Золя в кругах демократической общественности (см.: Н. Михайловский, «„Нана“». Роман в двух частях Эмиля Золя...» — «Отеч. зап.», 1880, № 5; В. Басардин. Новейший Нана-турализм.— «Дело», 1880, № 3 и 5; С. Темлинский, Золаизм в России, М. 1880, и др.). Характеристика «Nana» у Сал-

тыкова носит гротескно-сатирический характер. Ирония и сарказм писателя направлены против гипертрофированного внимания к изображению «правды, что под фиговым листком». Эта позиция защищалась Салтыковым и в страстном споре о «Напа», возникшем в марте 1879 г. в Петербурге на квартире у Тургенева (В. В. Стасов, Двенадцать писем И. С. Тургенева и мое знакомство с ним.— «Северный вестник», 1888, № 10, стр. 160). Такой подход соответствовал салтыковской концепции «общественного романа», оспаривавшей традиционное преобладание в этом жанре «любовного элемента». Вместе с тем огромность успеха «Напа» у буржуазного читателя была, в представлении Салтыкова, характерным показателем падения общественных идеалов, сужения «горизонтов» в буржуазном обществе Третьей республики (подробнее см.: А. С. Бушмин, Из истории взаимоотношений М. Е. Салтыкова-Щедрина и Эмиля Золя.— «Русско-европейские литературные связи». Сб. статей к 70-летию со дня рождения акад. М. П. Алексеева, М.—Л. 1966, стр. 360—361). Но, отвергая определенные элементы и тенденции в творчестве Золя, Салтыков признавал его деятельность в целом «весьма замечательной».

Стр. 155. ...экскрементально-человеческой комедии...— Салтыковский обличительный фразеологизм, созданный из раблезиански спародированного термина натуралистов «экспериментальный роман» и названия эпопеи Бальзака «Человеческая комедия».

Вот, например, перед вами Альфред!— Критика в форме пародии — один из жанров, культивировавшихся Салтыковым на протяжении всей его литературной деятельности. Раскрытие связей пародии с ее конкретными объектами (как всегда у Салтыкова, широко обобщенными) представляет известные трудности. Глава IV «За рубежом» помечена 25 декабря 1880 г., то есть датой позднейшей, чем дата выхода в свет «Меданских вечеров» (17 апреля 1880 г.), а с появлением этого сборника и определился состав «целой школы последователей» Золя, о которых Салтыков пишет непосредственно перед текстом пародии. В «школу» эту входили Алексис, Сеар, Энник и некоторые другие второстепенные писатели, доведшие характерные черты натуралистического романа до крайнего проявления. Однако ни у кого из участников «Меданского сборника» не было новеллы или романа, которые можно было бы считать хотя бы за отдаленный образец салтыковской пародии. Для расшифровки объекта пародии знаменательны ее последние строки: «Далее я, разумеется, не пойду, хотя роман заключает в себе десять частей и в каждой не меньше сорока глав. Ни муха, ни торговка, ни перчаточница, ни Селина в следующих томах уже не встретятся...» и т. д. Здесь Салтыков имеет в виду уже самого Золя, так как никто из натуралистов 70-х годов многотомных произведений не писал, а в критике часто проскальзывали упреки, что в каждом новом томе «Рюгон-Макаров» изменяется состав персонажей (в русской критике серия «Рюгон-Макаров» часто называлась именно романом из нескольких частей, по первоначальной наметке Золя — десять). Таким образом, пародия Салтыкова имеет в виду, с одной стороны, произведения эпигонов натурализма Алек-

сиса, Сеара и Энника, а с другой стороны, и прежде всего, самую концепцию натуралистического романа, как она была формулирована в «Парижских письмах» Золя.

...Грюйер — сорт швейцарского сыра.

Стр. 158. ...он на все усовещания ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает... И при этом обляет Виктора Гюго.— Это данное в пародийной форме высказывание «реалиста французского пошиба» опять-таки метит непосредственно в Золя и его формулировки из «Парижских писем» (важна оговорка Салтыкова; что «критические этюды» Золя, в отличие от его романов, он не признает «замечательными»). Насколько точен был Салтыков в своей пародии, показывает, например, следующее положение Золя, приводимое здесь для сравнения с салтыковским сатирическим текстом: «Я не затрагиваю вопроса об оценке политического строя, я не хочу защищать какие-либо политики или религии. Рисуемая мною картина — простой анализ куска действительности, такой, какова она есть». Нападки на Виктора Гюго встречаются в «Парижских письмах» очень часто.

Стр. 159. «*Pitules du diable*» — феерия А. Буржуа, Ф. Лалу и Лорана. Постановка ее в театре Шатле (1874 г.) пользовалась огромным успехом и продержалась в репертуаре несколько лет.

...«*поговорки*»... — пословицы; здесь — в смысле обозначения жанра небольших пьес, построенных на поговорках. Жанр этот культивировался в аристократических и просветительских салонах XVIII в.

Стр. 160. ...*chambres introuvables*. — Так называли парламенты, состоявшие из депутатов, с готовностью принимавших любое предложение правительства.

Стр. 161. ...*рабочие кварталы, с осуществлением амнистии, как будто оживились*. — Закон об амнистии был опубликован 11 июля 1800 г. Амнистия вернула во Францию активных участников Коммуны, что способствовало оживлению рабочего движения.

...*раздается пушечная пальба, возвещающая, что галлы изгнаны*... — В день 25 декабря отмечалось изгнание из России в декабре 1812 г. «великой армии» Наполеона.

Глава V

(Стр. 161)

Впервые — ОЗ, 1881, № 2, стр. 589—620 (вып. в свет 19 февраля).

Появление в печати V главы, посвященной в отличие от предыдущей преимущественно русским политическим темам, предшествовало донесение цензора Лебедева о 2-й книге «Отеч. зап.» за 1881 г. Цензор доносил, между прочим, что «Автор», «осматривая Версаль и рассказывая своим спутникам историю этого знаменитого местечка, вспоминает о производившихся здесь кутежах королей французских, шуточно замечая о расплате за это Людовика XVI. В доказательство возможности обходиться без королей приводит настоящее французское государство, причем иронизирует на тему:

«Несть власть аще не от Бога»; ведет саркастический разговор о том, кто выше — король или император, мазаны или не мазаны были короли французские, и если мазаны, то, вероятно, дурно, так как они лишились мест своих, и что без них французы не погибают и продолжают жить (стр. 608—609)»¹.

Страницы 609—610 журнального текста, на которые указывает донесение, в появившихся книжках журнала вклеены: они, таким образом, вырезались и вновь перепечатывались. Но из них были выброшены, по-видимому, лишь рассуждения о том, как были «мазаны» французские короли и почему они «лишились своих мест», то есть был изъят прозрачный выпад против самодержавия, лишь формально адресованный историческому прошлому французской династии. Текст этот был восстановлен Салтыковым в первом же отдельном издании «За рубежом».

Отклики печати на главу V немногочисленны и бледны; это следует объяснить тем обстоятельством, что большинство газет просто не успело подготовить и напечатать отзывы до событий 1 марта 1881 г. (февральская книжка «Отеч. зап.» вышла за десять дней до этого). После же этих событий возможности обсуждения сколько-нибудь острых общественных вопросов стали еще более затруднительными. Лишь автору одной из статей удалось привлечь внимание читателя к развернутому Салтыковым в этой V главе обличению принципа «личного усмотрения», то есть абсолютистского произвола, обрекавшего русскую жизнь на гражданское и политическое бесправие².

Стр. 161. ...«Колокольчик, дар Валдая»... — Из стихотворения Ф. Глинки «Сон русского на чужбине».

Стр. 162. «*Avènement parisien*» — описка или пропущенная опечатка. Имеется в виду «l'Événement parisien» («Парижское происшествие») — иллюстрированная бульварная газетка, порнографического характера, выходившая в Париже в 80-е годы. Была закрыта (после ряда судебных процессов) по обвинению в оскорблении общественной нравственности».

Musée Cluny — музей прикладного искусства и предметов бытового обихода, преимущественно средних веков.

Стр. 166. ...*ежели он «Альфонс»*. — А л ь ф о н с — тип мужчины, продающего свои любовные услуги женщине, созданный Ал. Дюма-сыном в одноименном романе («*Monsieur Alfonse*», 1875).

Стр. 167. ...*в Пинегу*... — то есть в ссылке. Ниже в таком же значении называются Мезень, Верхоянск, Кола.

Но здесь-то, в Париже, можно бы, кажется, и позабыть о господине

¹ ЦГИАЛ, ф. Петербургского цензурного комитета (777), д. № 60, за 1865 г. «по изданию «Отеч. записок», лл. 375—377; почти полностью донесение напечатано в кн.: В. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М.—Л. 1925, стр. 81—82.

² Н. Богомолов, Наброски из области литературы и журналистики. — «Русский курьер», М. 1881, 17 марта, № 74, стр. 1—2.

Пафнутьеве ...Только у них это не экстрадацией называется, а экспюльсированием...— В начале июля 1880 г. из Парижа специальным декретом префекта полиции были высланы в двухдневный срок все проживавшие там русские политические эмигранты. Эта репрессивная мера явилась результатом тайной дипломатической сделки, которой добилось самодержавие в качестве компенсации за невыдачу Францией народовольца Льва Гартмана. Господин Пафнутьев персонализирует собою в данном контексте русское правительское периода его «либерализма» 1880 г. Менотки (menotte) — наручники; экстрадиция (extradition) и экспюльсирование (expulsion) — юридические термины, означающие: выдачу преступника иностранному государству и его изгнание, высылку.

Стр. 168. *«Время, нами переживаемое, столь бесполезно-жестoko, что потомки с трудом поверят существованию такой человеческой расы, которая могла оноe переносить...»*— Цитата из «Анналов» Тацита в переводе А. Кронеберга.

Стр. 170. *Tolle me, tu, mi...*— Одно из мнемонических «правил» при изучении латинской грамматики.

Стр. 173. *...и дендо, и пердро, и тюрбо.*— Dinde — индюшка; perdrea — куропатка; turgо — палтус (рыба).

Стр. 175. *...осуществить Красный холм в Париже, Версаль претворить в Везегонск, Фонтенбло в Кашин...*— В заштатном городе Красном холме и в уездных городах Везегонске и Кашине Салтыков побывал в годы своей службы тверским вице-губернатором (1860—1862 гг.). С поездкой на ревизию в Красный холм связаны и упоминаемые в тексте имена местных купцов Блохина (торговля яичным товаром) и Зазыкина (виноторговля).

Стр. 177. *Петербургские события.*— Речь идет о волне административно-полицейских репрессий, которыми правительство ответило на событие 2 апреля 1879 г.— покушение на жизнь Александра II революционера-народника А. К. Соловьева.

Я покупал их <газеты.— С. М.> ежедневно и притом самые страшные: «L'Intransigeant», «Le Mot d'Ordre», «La Commune», «La Justice».— Перечисление «страшных» газет, которые ежедневно читал «автор», представляет интерес и для суждений о том, какие направления в политической прессе Франции преимущественно интересовали самого Салтыкова. Газета «L'Intransigeant» («Непримиримый») была основана 14 июля 1880 г. Анри Рошфором; называла себя «органом амнистированных», поддерживала без различия внутренних направлений все радикальные группировки. Газета пользовалась большим распространением среди рабочих. Программу ее см., например, в «Хронике парижской жизни».— «Отч. зап.», 1880, кн. 8, стр. 205. «Le Mot d'Ordre» («Слово порядка») — газета «непримиримых», основанная также Анри Рошфором еще в дни франко-прусской войны; с 1880 г. газета редактировалась фактически Лепелетье и Оливье Пэном, резко выступала против «левой» политики Гамбетты. «La Commune» («Коммуна») — ежедневная социалистическая газета, выходившая всего несколько месяцев в течение 1880 г.; основателем и редактором ее

был Феликс Пиа. «La Justice» («Справедливость») — радикальная газета, орган «крайней левой» (d'extreme gauche), была основана 16 января 1880 г. Ее политическим редактором был Жорж Клемансо, в то время лидер буржуазного радикализма во Франции, главными сотрудниками — Камиль Пельтан, Лонге, Пишон, Мильеран и др. В своем первом номере газета заявила, что будет вести борьбу против «упорных сил инерции и против бесконечных откладываний», то есть против политики оппортунизма.

Стр. 178. ...*в виду Мадлены...* — то есть в виду церкви Магдалины (S-te Madelaine) в Париже, одного из наиболее замечательных памятников зодчества в стиле ампира. «В виду Мадлены» был расположен отель, в котором останавливался Салтыков в Париже и в 1880 и в 1881 г. (Place de la Madelaine, 31).

Стр. 179. ...*несть власть аще...* — Незаконченная сентенция из Библии, гласящая полностью: «несть власть аще не от бога» (Посл. к римл., XIII, 1).

Стр. 180. ...*ему же дань — дань!*», «*звезда бо от звезды*», «*сущие же власти*». — Фрагменты из евангельских афоризмов и сентенций, утверждавших Божественную предустановленность власти. Были использованы в приветственном «Слове» архиепископа и писателя Георгия Конисского, обращенном к Екатерине II, посетившей Могилев. «Слово» это считалось образцом ораторского искусства (см. т. II наст. изд., стр. 602).

Стр. 187. ...*быть может, со временем мы увидим мервских исправников, подобно тому как уже видим исправников карских, батумских...* — Мерв был присоединен к России в 1884 г.; Карс включен в состав России по Сан-Стефанскому договору в 1877 г., но в 1921 г. по Карсскому договору вновь отошел к Турции; Батум был присоединен к России по Берлинскому трактату в 1878 г.

Стр. 190. *Старосмыслов получил прогоны...* — В марте 1880 г., после указов о временном подчинении Верховной распорядительной комиссии III Отделения и Корпуса жандармов, Лорис-Меликов предпринял «ревизию» делопроизводства III Отделения. Было разобрано и пересмотрено около 1500 дел преимущественно о лицах, арестованных по обвинению в государственных преступлениях. По словам документов, комиссия нашла, что многие из числа подвергшихся полицейскому надзору по обвинению в политической неблагонадежности... уже сознали свои заблуждения и даже заслужили одобрительную аттестацию подлежащего начальства, а потому комиссия полагала: подвергнуть списки поднадзорных... пересмотру с целью освободить лиц, исправившихся в поведении и нравственности, или вовсе от полицейского надзора, или с некоторыми ограничениями («Правительственный вестник», 1880, 5 апреля; «Дневник Е. А. Перетца», М.—Л. 1927, стр. 3—4). В результате в течение 1880 г. был освобожден из-под надзора, возвращен из ссылок и даже из эмиграции ряд лиц. Эти мероприятия Лорис-Меликова афишировались в либеральной печати чуть ли не в качестве широкой политической амнистии. Повествование о Старосмысловых насыщено рядом откликов на эти злободневные сюжеты.

Впервые — ОЗ, 1881, № 5 (вып. в свет 18 мая), стр. 227—256.

Сохранились фрагменты двух черновых рукописей — №№ 188 и 189. В рукописи № 188 рассуждение «утешает ли история?», представляющее существенный интерес, более пространно, чем в окончательной редакции. Приводим этот текст (им начиналась глава):

Я уже сказал в предыдущей главе, что за границей для русского гулящего человека самая опасная вещь — это одиночество. Оно заставляет человека мыслить, то есть сравнивать, припоминать, ставить вопросы, разоблачать. И в результате приводит к какому-то гложущему унынию, которое продолжается до тех пор, пока под руку не подвстрется краснохолмский купец или тайный советник.

Это самое случилось и со мной, после отъезда Блохиных и Старосмыловых. Воротившись с проводин, я ощутил такое одиночество, такую наготу вокруг, что сразу затосковал. Начал искать, вспоминать и однажды, дав волю мысли, не мог уже обуздать ее. Везде побывал, и на берегах Невы, и на берегах Пинеги и Вилюя, и в раззолоченных палатах концессионера, и в курной избе самарского мужика; везде спрашивал себя: ужели это не сон? и наконец остановился на очень странном вопросе: утешает ли история?

Что история утешает, в этом я никогда не сомневался. Это положение, которому нельзя не верить, во-первых, потому что в противном случае пришлось бы человеческое существование навсегда отдать в жертву случайности и смуте, а во-вторых, потому что истина эта и сама по себе вооружена доказательствами, перед осязательностью которых самый упорный скептик должен сознать себя безоружным. История не только говорит нам о правде и ее завоеваниях, но и указывает на осязательные результаты этих завоеваний. Несомненно, что формы человеческого общежития совершенствуются; несомненно, что факты человеческой деятельности расширяются; несомненно, что безвестные общественные глубины постоянно освещаются и выделяют из недр своих все новых и новых герулов, вандалов¹ и проч.

Но раз признавши непреложность афоризма: история утешает, мысль невольным образом ставит рядом с ним вопрос: кто же и каким образом пользуется утешениями истории? Ибо признавать за историей свойство подавать утешения — одно, а наслаждаться этими утешениями, непрестанно ощущать на себе действие их — другое. Первое доступно всякому правдивому человеку, не лишенному способности логично рассуждать, что же касается до второго, то тут одной справедливости, одних эгоистических признаний уже недостаточно...

Я думаю так, что наслаждаться утешениями истории, претворять их себе в плоть и кровь может только тот, кто до такой степени сознает себя гражданином царства правды, что даже мучительно медленный и бесчеловечно жестокий процесс <ее> осуществления (о котором история, впрочем, и не умалчивает) не в силах ни поколебать, ни затемнить тот светлый облик всеобщей гармонии, который, как живой, всегда предстает перед глазами. Такие люди могут быть названы избранныками человеческой семьи и остаются в этой семье единицами.

Средний человек принимает утешения истории лишь с большими ого-

¹ Герулы и вандалы — германские племена, участвовавшие вместе с другими варварами во вторжениях на территории Западной Римской империи, что привело к ее гибели в конце V в. Салтыков употребляет эти названия иносказательно, для обозначения новых, свежих сил исторического развития. — *Ред.*

ворками. Не будучи ни малодушным, ни даже избалованным, он в большей части случаев видит утешение истории лишь в туманном будущем и гораздо чутче относится к процессу зарождения правды, процессу, равносильному сдиранию кожи с живого организма.

* * *

Глава VI появилась в печати не через месяц, как предполагал Салтыков, а через два месяца после предыдущей. Перерыв в публикации был вызван чрезвычайными событиями марта — апреля 1881 г. Они вторглись в первоначальные планы окончания «За рубежом» и изменили их. Убийство по приговору «Народной воли» Александра II, смятение и растерянность в правящих сферах, ненстойкий натиск со стороны реакционной печати, Манифест 29 апреля о незыблемости самодержавия — все эти и относящиеся к ним факты и явления в русской жизни того момента нашли тревожный, глубоко драматический отклик в двух последних главах «За рубежом», с центральной для них сценой «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдой». Отклик этот с величайшим нетерпением ожидался читателями, особенно в провинции¹.

Выступление Салтыкова было встречено с повышенным вниманием в прогрессивных кругах общества и с крайним ожесточением злобы и негодования в реакционном лагере.

«Такие публицистические вещи, как «За рубежом», — писала по поводу глав VI и VII либеральная «Сибирск. газ.», имевшая связи со ссыльными революционерами, — составляют литературную эпоху; как некогда Гоголь в вечных художественных образах создал лучшую историческую картину современного ему общества, так теперь Щедрин раскрывает нам текущую русскую жизнь, отрезвляет общественное сознание и не дает ему окончательно сбиться с толку»². «Новая глава... «За рубежом», — подчеркивал обозреватель газеты «Голос», — прочтется с глубоким сочувствием всеми, для кого русское общество, его жизнь, его судьбы — не пустой, не задевающий сердца звук. Со свойственной ему чуткостью, сатирик отзывается на самые больные, тяжкие стороны переживаемого нами момента...»³

С развернутым общим отзывом о значении творчества Салтыкова для жизни русского общества выступила по поводу главы VI газета «Порядок» — ведущий орган либерального лагеря, вскоре закрытая правительством. «Перед нами, — говорится в этом отзыве, — новое произведение одного из тех писателей, <...> которые силою своего таланта <...> вносят в общество сознание окружающих зол, зовут его к свободе мысли и совести, учат ненавидеть и презирать рабство. Превосходный ценитель и анализатор нашей действительности, г. Щедрин, произведения которого нужно будет впоследствии читать не иначе, как с историей в руках, до такой степени невероятно тяжелы и непонятны для наших потомков будут времена, которые мы переживаем, г. Щедрин отражает в своей сатире всю горечь и

¹ См. об этом, например, в газетах «Одесский листок», 1881, 26 мая, № 115, с. 2.

² «Сибирская газета», Томск, 1881, 2 августа, № 23, стр. 686.

³ «Голос», СПб. 1881, 23 мая, № 141.

«уныние», отравляющие жизнь современного русского человека...»¹ К положительным отзывам либеральной печати прикнул на этот раз и такой хулигатель Салтыкова, как В. Буренин (впрочем, его злобные выступления против сатирика не раз перемежались и раньше и позже с хвалебными). Он называет Салтыкова «крупным самобытным художником» и ставит его в ряд с Достоевским (также с Некрасовым) по «энергии и неустанности в работе», по «отзывчивости на злобу дня», по «темпераменту настоящего публициста», по «силе дарования». В заключение критик пишет о главе VI: «Новый сатирический очерк Салтыкова <...> не ровен и как бы не договорен: иные страницы дышат задушевым болезненным чувством, на иных юмор вспыхивает яркими искрами и горький смех переходит в надрывающий сарказм; но есть и такие, в которых ощущается усталость... Однако, читая первые и вторые и третьи, равно проникаешься удивлением к упорству сатирика в стремлении откликнуться на темы дня, к его неутомимому исканию разных *удобных* форм для такого отклика» на самые «страшные картины». «В этом упорном искании сказывается живучесть его сатирической природы. Как бы ни были неблагоприятны условия для выражения сатирического мнения об тревогах и злобах дня, как бы ни была скользкая иная тема <...> Салтыков умеет всегда извернуться таким образом, что *скажет свое слово*, порою запутанно, неясно, порою сильно и ярко, но непременно скажет...»²

Что касается отзывов на главу VI реакционной печати, все они были сосредоточены на диалоге «торжествующей свиньи» с «правдой» и в значительной мере объективно носили саморазоблачительный характер (см. ниже).

Стр. 191. *В среде, где нет ни подлинного дела, ни подлинной уверенности в завтрашнем дне, пустяки играют громадную роль.*— Рассуждение о господстве «пустяков» в обществе, находящемся под гнетом абсолютистской власти, не знающем развитых форм политической жизни, аргументируют отрицательное отношение Салтыкова к тактике революционного террора народовольцев. В их деятельности он не усматривает «истинно-жизненного течения». См. ниже прим. к стр. 194. Теме «пустяков» в ее философско-историческом толковании Салтыков посвятил через несколько лет книгу «Мелочи жизни» (1886—1887).

Стр. 194. *...побывал на берегах... Вилюя, задал себе вопрос: ужели есть такая нужда, которая может загнать человека в эти волшебные места?..*— Намек на Чернышевского (и других революционеров), находившегося в это время (начиная с 1872 г.) на положении ссыльнопоселенца в Вилюйске, «городе — призраке», в 601 километре на северо-запад от Якутска.

...в надежде славы и добра...— Начальные слова из «Стансов» Пушкина, усвоенные салтыковской сатирой в качестве «знака» сатирической характе-

¹ «Порядок», СПб. 1881, 27 мая, № 144, с. 1—2.

² «Новое время», 1881, 22 мая, № 1878.

ристики либералов — умеренности их политических упований, робости их борьбы.

...Должно быть, случилось что-нибудь ужасное — ишь ведь как гады закопошились! Быть может, осуществился какой-нибудь новый акт противочеловеческого изуверства...— Эти строки относятся непосредственно к акту 1 марта 1881 г. Они были изъяты из текста в публикации «Отеч. зап.» (редакцией?) и восстановлены в отдельном издании. (Страницы 229—230, на которые приходится эти строки в журнале, вклеены; значит, они вырезались, исправлялись и перепечатывались.) Как свидетельствует Л. Ф. Пантелеев, Салтыков, по временам, раздражался крайне резкими суждениями насчет деятелей 1 марта и отзывался о них «весьма сурово, как о глупцах» («Салтыков в воспоминаниях современников», стр. 200 и 730—731). Салтыков не верил в достижение решающих успехов в борьбе с самодержавием методом террористических ударов по его правительству. Напротив того, в качестве непосредственного политического результата таких ударов он предвидел подъем новой волны реакции и укрепление самодержавия. В этом смысле нужно понимать слова о «гадах», которым убийство Александра II дало «радостный повод для своекорыстных обобщений». К таким «обобщениям» относится, например, выступление К. П. Победоносцева — фанатика и изувера реакции — на созванном новым царем заседании Совета министров 8 марта 1881 г. По записи в дневнике военного министра Д. А. Милютина, «это было уже не одно опровержение предложенных ныне <либеральных> мер, а прямо огульное порицание всего, что было совершено в прошлое царствование; он осмелился назвать великие реформы императора Александра II преступной ошибкой» («Дневник Д. А. Милютина», т. 4, М. 1950, стр. 35).

Стр. 197. *...ишрял сизым орлом по поднебесью...*— Из «Слова о полку Игореве».

Стр. 198. *Вопрос первый: утешает ли история.*— Этому вопросу, занимающему важное место в философии истории Салтыкова, посвящена специально XII хроника «Нашей общественной жизни» (1864 г.), не попавшая своевременно в печать. См. в наст. изд., т. 6, стр. 362 и след.; см. также приведенный выше вариант рукописного текста, относящегося к теме «исторических утешений».

Стр. 199. *...молодцы из Охотного ряда, сотрудники с Сенной площади...*— Торговцы (хозяева и приказчики) двух известных столичных рынков, в Охотном ряду в Москве и на Сенной площади в Петербурге, активно сотрудничали с полицией в подавлении студенческих и других демонстраций и манифестаций 80-х годов. Впоследствии они упрочили за собой постыдное имя «охотнорядцев» для обозначения погромщиков и хоругвеносцев реакции в социальных низах.

Стр. 200. *«Торжествующая свинья...»* — Как всегда у Салтыкова, образ «торжествующей свиньи», порешившей «сожрать» «правду», наделен большой силой обобщения, в данном случае обобщения политической и общественной реакции. В таком значении этот образ сразу же получил широкое

распространение в обществе и печати. «Торжествующая свинья» — не миф и не фантазия, — писала газета «Порядок». — Имя ей — легион...» «В ней все типично...» («Порядок», СПб. 1881, 27 мая, № 144). «Царство торжествующей свиньи» — обозначает один из современников-революционеров всю полосу глубокой реакции 80-х годов (<П. Ф. Николлаев>), Очерк развития социально-революционного движения в России... Нелег. изд., Казань, 1888). Вместе с тем Салтыков вводит в комментируемый текст ряд сигналов для узнавания исходного смысла образа «торжествующей свиньи»: «свиное хрюканье у московского корыта», «московские газетные трихины» и др. Это очевидные намеки на послепервомартовскую реакционную печать и литературу, ближайшим образом на «Москов. вед.» Каткова и, отчасти, «Русь» Н. Аксакова. Отклики обеих газет на события 1 марта 1881 г. достигли не только предела реакционности. Они были исполнены прямыми политическими угрозами по адресу всех инакомыслящих, в первую очередь петербургской либеральной печати. «То, что они зовут «либерализмом», — инсинуировали «Москов. вед.», — по-русски зовется звонким словом *измена* — измена своему народу...» Об «изменниках своего народа, свивших гнездо в С.-Петербурге», — пишет, со своей стороны, «Русь». Послепервомартовские статьи этих газет, особенно первой, пестрят такими «оценками» литераторов противоположного лагеря, как «пагубные силы», «русские из Панургова стада», «вражеская крамола», «революционная сволочь» и т. д.¹ (см. также в «Дополнительных письмах к тетеньке»: «Сколько раз, скажете Вы, ты сам дискредитировал современную литературу... Кто познакомил публику с «Помоями», кто изобразил «Торжествующую свинью?» — наст. том, стр. 523). Для современников исходный и ближайший смысл образа «торжествующей свиньи» был ясен. «Очерк Щедрина, — писал один критик в отзыве на гл. VI, — симпатичен каждому, начиная с молодежи и кончая нашей либеральною печатью, так как и она в обидчике («Торжествующей свинье») может видеть своего противника — «Московские ведомости» (Л. Симонова, От журнала к журналу. «За рубежом» Н. Щедрина. — «Улей», СПб. 1881, 28 мая, № 104, стр. 1). В сцене с «Торжествующей свиньей», — читаем в статье другого критика, — необыкновенно зло обрисовывается «истинный характер тех инквизиторских вопросов, с которыми обращались из Москвы к либералам в недавние смутные и тревожные дни» («Неделя», СПб. 1881, 24 мая, № 21, стр. 727). Катков счел невозможным оставить выступление Салтыкова без ответа. Он напечатал в своей газете статью, специально посвященную VI и VII главам «За рубежом», предельно грубую по отношению к Салтыкову («бессмысленное бормотание», «дикий сумбур», «сатирик более мычит, жевет и хрюкает, чем говорит...» и т. д.) (М. Н. Катков, В мире курьезов. — «Москов. вед.», 1881, 14 июля, № 193, стр. 4—5). Оппозиционная печать единодушно расценила выступление Каткова как саморазоблачение

¹ Цитаты заимствованы из мартовских за 1881 г. «передовиц» в «Московских ведомостях» (№№ 72, 73 и 78) и «Руси» (особое прибавление к № от 10 марта).

«Москов. вед.» в отношении таких салтыковских иносказаний, как «литературные клоповники», «торжествующая свинья» и др. «Катков уносит своих солидных читателей,— писал один из критиков,— в легкомысленный «мир курьезов», чтобы принять облик наивности и непонимания по поводу последней сатиры Щедрина» («Порядок», СПб. 1881, 19 июля, № 196 («За неделю»). В заключение можно высказать предположение, что исходный смысл эпитета «торжествующая свинья» связан с манифестом нового царя о неизбежности самодержавия. Опубликование манифеста 29 апреля явилось действительно торжеством всех реакционных сил общества. «Теперь мы можем вздохнуть свободно,— писали те же «Москов. вед.».— Конец малодушию; конец всякой смуте мнений! Перед этим непререкаемым, перед этим столь твердым, столь решительным словом монарха должна наконец поникнуть многоглавая гидра обмана...» и т. д. («Москов. вед.», 1881, 30 апреля).

Стр. 203. *Le général Capotte*.— Слово *capote* (пишется с одним «t») значит по-французски «солдатская шинель». Салтыков пользуется этим словом, превращенным в сатирическую фамилию, в переносном смысле, равнозначным русскому выражению (введенному Салтыковым же) «городовое пальто», то есть шпион, осведомитель. В сатирическом жизнеописании Капотта Салтыков использовал ряд черт из биографии международного политического сыщика-авантюриста 60—80-х годов полковника Этьена де Будри младшего, действительно дальнего родственника Марата, сотрудничавшего одновременно с русской и французской полицией и жившего в 70-х годах в России.

Стр. 205. *...мужика расковать, а заковать интеллигенцию...*— Орест Миллер замечает по поводу этого места: «Капотт, надо думать, имеет при этом в виду иронически оппонировать Достоевскому, который в предсмертном своем «дневнике» именно нашей интеллигенции и влагает в уста стих: «А мужика опять скуем!» (Орест Миллер, Русские писатели после Гоголя, ч. II. СПб. 1886, стр. 197). Цитата из «Дневника писателя за 1881 год» Ф. М. Достоевского (вышел в свет в начале февраля) приведена не точно. В источнике: «А народ опять скуем!»

Стр. 214. *Цензор Красовский — Бирюков — Фрейганг...*— соединены в одну фамилию имена трех цензоров николаевского царствования.

Стр. 215. *«Но что вы скажете о Гамбетте и о рара Trinquet? не воссияют ли они?»*— Алексис-Луи Тренке, рабочий, по профессии сапожник, видный участник Парижской коммуны, после ее разгрома был сослан на каторгу в Нумею. В июне 1880 г. социалисты парижского избирательного округа Pêre Lachaise демонстративно избрали в муниципальный совет «каторжника» Тренке. Выборы были произведены под знаком кампании за амнистию коммунаров при яростном сопротивлении республиканской партии и ее вождя Гамбетты. Кампания увенчалась успехом. Закон об амнистии был обнародован 11 июля 1880 г. Вернувшийся в январе 1881 г. с нумейской каторги Тренке заявил своим, торжественно встретившим его, избирателям: «Я стою за республику», но еще больше за революцию! Граждане,

в стране нашей ничего не изменилось, и все предстоит сделать; да здравствует революция!»

...*Иван Непомнящий*...— одно из обозначений трудового крестьянства у Салтыкова.

Глава VII

(Стр. 220)

Впервые — ОЗ, 1881, № 6 (вып. в свет 17 июня), стр. 545—570.

Сохранилась рукопись фрагмента главы, соответствующая тексту от абзаца: «В смысле свободы мышления...» — на стр. 222, до фразы-абзаца: «Через десять минут мы были в Кёльне» — на стр. 280.

Главнейшие варианты рукописного текста:

Стр. 223, строка 3. Вместо: «заковать в кандалы» — в *рукописи*:
побить камнями.

Строка 9. Вместо: «перед домашним обыском» — в *рукописи*:
перед гильотиной.

Строка 11. Вместо: «какая трель всенародно раздаётся из любого литературного клоповника» — в *рукописи*:

какую трель всенародно отбивает любая изъеденная трихинами свинья!

Строка 18. После: «злодейских замыслов» — в *рукописи*:

Ах, свинья, свинья! и откуда у тебя этот решительный тон взялся!

Строка 23. Вместо: «становится жутко, потому что хлевные идеалы... беззастенчивою рукой» — в *рукописи*:

становится жутко и страшно при одной мысли таких перспектив.

Стр. 224, строка 14. Вместо: «уколы неумолимой действительности не в силах поколебать в них эту блаженную уверенность...» — в *рукописи*:

муки неумолимой действительности не в силах возвратить к сознанию постыдности настоящего.

Стр. 225, строка 34. Вместо: «Поэтому, ежели в глазах <...> исторических утешений» — в *рукописи*.

Поэтому, ежели человеку веры нет дела до торжествующей свиньи, то средний человек отнюдь не может относиться к этому торжеству равнодушно. Ежели для человека веры безразличны все роды относительной правды, которые оспаривают друг у друга верх, то для среднего человека это составляет предмет глубоких и мучительных опасений. Он не подавлен ни будущим, ни прошедшим, он весь и всеми помыслами находится в настоящем и от него одного ждет успокоения своих тревог.

Стр. 226, строка 22. Вместо: «Легко понять <...> очереди для отмщений» — в *рукописи*:

И именно в те минуты, когда <нрзб> правда близка к осуществлению, — именно тогда-то борьба принимает злобный, почти безумный характер. Кроме того, что ложь имеет затем еще то преимущество, что неминуемое торжество правды не влечет для нее никаких отмщений <нрзб> бог не знает мести; она принесит за собой прощение, и даже не прощение, а просто оценку и восстановление истинного смысла явления. Но и этого мало: цикл правды никогда до сих пор не представлялся завершившимся, и сомнительно, можно ли ждать, чтоб он когда-нибудь завершился. Эта растяжимость правды и эта неисощимая способность развиваться, открывать для себя новые, более и более совершенные формы, не могут и на человека не действовать возбуждающим образом. Так что человек никогда не представляется удовлетворенным, но вечно ищущим все новой и новой правды. И это совсем не прихоть и не бунт, как утверждают литературные клоповники, а естественное требование самой человеческой природы, вполне согласное с законом прогрессивного развития самой правды.

Стр. 228, строка 18. Вместо «навстречу ликующей современности» — в *рукописи*:

навстречу смертному бою.

Строка 21. После слов: «до последней капли» — в *рукописи*:

Только тогда она выбросит его труп, чтобы ежемгновенно прибавлять к нему новые и новые трупы, из которых история, капля по капле, вырабатывает свои утешения¹.

В заключительной VII главе Салтыков продолжает начатую им в предыдущей главе борьбу с перешедшей, после 1 марта 1881 г., в наступление реакцией. Главные удары направляются, однако, не против правительственной политики, реакционный курс которой не вполне еще определился в первые месяцы нового царствования, а против идеологов реакции, шедших в этом отношении «вперед правительства»². Ближайшим образом имеются в виду то *sredo* и то требование реакции, которые формулировались в передовых статьях Каткова в «Москов. вед.» и И. Аксакова в «Руси». Материал этих статей, как всегда у Салтыкова, с одной стороны, широко обобщается, а с другой — приводится в сопровождении сигналов узнавания конкретного прототипа (скрытое, без кавычек, цитирование характерных словечек и фразеологизмов катковской и аксаковской публицистики: «единение с народом», «дух здравого смысла», «смотреть вглубь», «трезвое слово», «твердая почва», «люди добра», «непочатый организм» и др.).

Настроениям тревоги и растерянности, все шире и глубже захватывавшим прогрессивные круги, Салтыков стремится противопоставить философию исторического оптимизма. Вновь возникает тема «исторических утешений» — одна из постоянных в творчестве писателя. Трудная обстановка момента накладывает на рассуждения Салтыкова печать скептицизма и горечи. Особенно «жестоким» представляется писателю-демократу вопрос о «единении с народом», которому усиленно и не без

¹ Этот текст не вошел в журнальную публикацию, но был восстановлен, в несколько иной редакции, при подготовке отдельного издания.

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 336.

успеха прививалась в это время подозрительность и прямая ненависть по отношению к революционной и оппозиционной интеллигенции. Однако скептицизм не переходит у Салтыкова в пессимизм. Свои «мрачные думы» он «обуздывает» просветительской верой в то, что и в минуты торжествующего зла история не перестает «созидать утешения» и что «прогрессивное нарастание правды и света», несмотря ни на что, происходит в мире постоянно.

Появление главы VII произвело большое впечатление на современников. О чувствах и мыслях читателей, принадлежавших к левой части общества, дает представление отзыв, появившийся в народнической «Неделе». «Не смех уже звучит в этом очерке,— пишет автор,— звучит в нем страстный протест благородного величия, истомившегося и подавленного зрелищем окружающей мертвенной пустыни. Невольное умиление, почти благоговение <...> зарождаются в душе при мысли об этом чудном, нестоицимом таланте, этом бессмертном, вечном духе... Этакая свежая, юная отзывчивость, этакая страшная сила зрелого, могучего гения! С чувством глубокой благодарности будет повторяться имя М. Е. Салтыкова в отдаленнейших временах, как имя неутомимого бойца, не только не падавшего под тяжестью современной смуты, но ей самой наносившего меткие, во весь могучий размах, удары... Это клич той «музы пламенной сатиры», которую призывал когда-то к себе великий поэт...»¹

Не оставили без «внимания» выступление Салтыкова и те, против кого оно было направлено. Катков отозвался на него упомянутой выше самооблачительной статьей «В мире курьезов». Аксаков же посвятил полемике с рассуждением сатирика о «единении с народом» резкие реплики в двух передовых статьях своей «Руси»².

Обращаясь к Н. К. Михайловскому с просьбой прислать ему номер «Руси», в котором появилась первая статья, Салтыков писал: «Я прочитал в «Новом времени», что Аксаков в этом № прочел мне «отповедь», и потому интересуюсь. Может быть, и напишу что-нибудь по этому поводу, если стоит» (письмо от 7/19 июля 1881 г.). Ответ Аксакову написан не был.

Стр. 223. *Псой Стахиц Замухрышкин* — один из растленных «героев» в «Игроках» Гоголя.

Стр. 224. *Этот изумительный тип глубоко верующего человека нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его.* — Признание автобиографично. Оно комментируется следующими строками из письма Салтыкова к Анненкову от 2 декабря 1875 г. Сообщая своему адресату о замысле нового произведения «Дни за днями за границей» (или «Книга о празднующихся»), Салтыков писал: «В виде эпизода, хочу написать рассказ «Паршивый». Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы

¹ «Неделя», 1881, 21 июня, № 25, стр. 1—2.

² «Русь», 1881, 27 июня, № 33, стр. 1—4, и 1 августа, № 38, стлб. 851—856.

проезжают на родину и насвистывают: «Боже, царя храни», вроде того, как Бабурин пел. И все ему говорят, стыдно, сударь! у нас царь такой добрый — а вы что? Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался он равнодушен ко всем надругательствам и все в нем старая работа <...> до ссылки начатая, продолжается? Я склоняюсь к последнему мнению...» О том же занимавшем его сюжете сообщает Салтыков и Некрасову в письме от 8 мая 1876 г.: Тут <в «Культурных людях». — С. М.> «будет еще рассказ «Паршивый», — человек, от которого даже все передовики отвернулись, который словно окаменел в своих мечтаниях: ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего — только свет! свет! свет!» Эти замыслы остались не воплощенными. Наконец уже значительно позднее Салтыков пытался осуществить свой замысел в форме «сказки», которая, по его словам, была «почти готова» (Л. П а н т е л е е в, Из воспоминаний прошлого, т. II, СПб. 1908, стр. 165—166. Вошло в кн.: «Салтыков в воспоминаниях современников», стр. 190). По-видимому, сатирическое, то есть остро контрастное, «зрение» Салтыкова и присущий ему скептицизм оказались теми барьерами, которые он никогда не смог преодолеть, несмотря на свое страстное стремление создать образ положительного героя.

Стр. 227. *...бывают исторические минуты, когда... массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они... упорствуют, оставаясь во тьме и недугах. Не потому упорствуют, чтоб не понимали света и исцелений, а потому, что источник этих благ заподозрен ими.* — Одним из путей борьбы правительства и реакции с революционным движением были попытки привлечения к этой борьбе широких слоев народа и общества — программа «единения с народом». На официальном языке эпохи это был период так называемой «народной политики» или «игнатьевской эры» (по имени министра внутренних дел Н. П. Игнатьева, назначенного на этот пост 4 мая 1881 г.). Путем широко развернутой социально-экономической, а отчасти и политической, демагогии правительство надеялось, по выражению Глеба Успенского, «вышибить днице у интеллигенции» (подразумевается — революционно-народнической), то есть изолировать активно-революционные элементы страны от общества, народа, превратив последние в союзников самодержавия по борьбе с «крамолой». Эта охранительная тактика, лежавшая также в основе всех «либеральных» начинаний Лорис-Меликова, с особым размахом и в наиболее «чистом» виде стала осуществляться новым министром Игнатьевым. На летние месяцы 1881 г. падают первые еврейские погромы на юге, погром интеллигенции, учиненный «охотнорядцами» в Москве, и многочисленные «деревенские истории» с задержанием и избиванием крестьянами мирных пропагандистов-народников, учителей и т. д. — истории, столь ярко запечатленные в тогдашних очерках Глеба Успенского, особенно в цикле «Без определенных занятий». Широкое распространение среди крестьянских масс получил слух о том, будто убийство Александра II было местью «образованных», «господ» за отмену им крепостного права. Слух этот содействовал усилению подозрительности крестьян по отношению к интеллигенции.

Стр. 232. «*А пора бы, наконец, и трезвенное слово сказать*». — «Трезвое слово», или, в иронической парафразе Салтыкова, «трезвенное слово» — один из фразеологизмов реакционной националистической публицистики 70—80-х годов. «Русского трезвого слова» требовала эта публицистика от общества, земства и правительства в ответ на «распространение гнилостных миазмов западного нигилизма». Ближайшим образом Салтыков сатирически отталкивается здесь от передовой статьи П. Аксакова в номере «Руси» от 15 мая 1881 г. Статья эта заканчивается словами: «Терпение русского народа, национальную гордость России нельзя безнаказанно подвергать испытаниям. Пора, пора, наконец, сказать трезвое, твердое слово!»

Стр. 233. *Сидевший передо мной экземпляр земца... Через десять минут мы были в Кельне*. — Земству, «погрузившемуся в дела внутренней политики», и его реакционной роли в период «нигнатьевской эры» Салтыков через несколько месяцев специально посвятит главы V—VI «Писем к тетеньке». Отсылая читателя к комментариям к этим главам, укажем здесь, что диалог автора с земцем, происходящий в купе железнодорожного вагона, построен в форме пародии на один из «земских» фельетонов А. Суворина, в котором излагается беседа автора с неким земцем на волжском пароходе (А. Суворин, Дельный разговор. — «Новое время», 1881, № 1867). «Конечно, этот земец карикатура, — отмечала современная критика, — но тем не менее карикатура, не лишенная реальной правды и, во всяком случае, воспроизводящая довольно метко отрицательные стороны типа усердных земских деятелей самой последней формации, вроде гг. де Каррьера и Мичурина» (В. Буренин, Литературные очерки. — «Новое время», 1881, 26 июня, № 1912. А. А. де Каррьер — лидер крайне правой дворянской группы в Елизаветградском земстве; Б. А. Мичурин — лидер такой же группы в Рязанском земстве).

Стр. 235. *...Марат именно такого рода целебные средства предлагал...* — В период кризиса самодержавия на рубеже 70—80-х годов большинство земств не раз выражало правительству готовность участвовать в борьбе с революционерами. Для характеристики агрессивных настроений правых групп в земствах, их писанных и неписанных проектов «упразднения интеллигенции», Салтыков пользуется образом Марата. Однако он имеет в виду не историческую фигуру известного деятеля Великой французской революции, а тот ходячий образ кровожадного садиста, который был создан дворянскими и буржуазными историками. Ближайшим образом имеется в виду знаменитая фраза Марата из его прокламации от 14 июля 1790 г. Марат заявлял в ней, обращаясь к массам: «Пять или шесть сотен отрубленных голов <контрреволюционеров> обеспечили бы нам «спокойствие, свободу и счастье».

Стр. 238. *Был, дескать, я разбойником печати...* — Полностью цитируется так: «мошенники пера и разбойники печати». Выражение впервые было употреблено реакционным беллетристом и публицистом Болеславом Маркевичем в «Москов. вед.» 1875 г. по адресу радикальной журналистики, но было тотчас же подхвачено этой последней в качестве *mot de passe* для писате-

лей реакционного лагеря, в частности, для того же Маркевича, Каткова и его сотрудников. Салтыков пользовался этим выражением очень часто (см., например, I и III главы «Писем к тетеньке», а также главы «Первое марта», «Первое июня» и, особенно, «Первое мая» в цикле «Круглый год»).

Стр. 240. ...о мудрости князя Михаила Семеныча и прозорливости графа Алексея Андреевича! — Имеются в виду кн. М. С. Воронцов-Дашков и гр. А. А. Аракчеев.

ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ

Замысел «ряда писем, касающихся исключительно современности»¹, возник у Салтыкова сразу же после того, как он окончил, во второй половине июня 1881 г., печатание в «Отеч. зап.» «За рубежом». В двух последних главах этого произведения, написанных под непосредственным впечатлением от событий 1 марта, Салтыков уже начал разрабатывать те вопросы, которые ставила перед русским обществом политическая действительность периода начавшегося вхождения страны в новую полосу реакции, оказавшейся одной из наиболее тяжелых в жизни России.

Накануне отъезда за границу на летний отдых и лечение Салтыков глухо сообщил Н. К. Михайловскому, соредктору по журналу: «Буду высылать статьи»². А уже через неделю спрашивал его из Висбадена: «Прочитали ли Вы мое письмо к тетеньке? — и продолжал, впервые раскрывая содержание и план новой работы: — Я предполагал написать штук 7 или 8. Второе письмо (о лгунах и лганье) кончаю, 3-е (о вероломстве) тоже скоро напишу и пришлю для августовской книжки (будет около 1½ листов). В дальнейших письмах пойдет дело о содействии общества, то есть о приглашении к содействию и проч. Но опасуюсь, что уже на I-м письме, пожалуй, произойдет осечка, то есть вырежут»³.

Ни первое, ни второе «письма» не вызвали, однако, замечаний цензуры и появились в «Отеч. зап.» беспрепятственно. «Осечка» с далеко идущими последствиями произошла на третьем «письме», посвященном разоблачению «Священной дружины» — тайной «добровольной организации», созданной под покровительством царского двора для охраны Александра III и борьбы с революционерами. По требованию высших властей «письмо» было вырезано из сентябрьской книжки журнала. Этим вмешательством замысел цикла был резко нарушен, и писателю пришлось перестраивать работу. Изъятие «письма» III сделало невозможным опубликование также и «письма» IV. Об этом Салтыков писал Г. З. Елисееву: «А так как приготовленная мною еще в Париже статья для октябрьской книжки была продолжением и разъяснением сентябрьского письма, то и ее я должен был похерить»⁴. Вырезанное «письмо» пришлось заменить другим «письмом» III,

¹ Письмо к Н. А. Белоголовому от 11/23 июля 1881 г. из Висбадена.

² Письмо к Н. К. Михайловскому от 29 июня 1881 г. из Петербурга.

³ Письмо к Н. К. Михайловскому от 7/19 июля 1881 г. из Висбадена.

⁴ Письмо к Г. З. Елисееву от 18 октября 1881 г. из Петербурга.

вновь написанным, и все дальнейшие «письма» строить в зависимости от этих изменений. Получились, таким образом, как бы две «редакции» цикла: одна неоконченная, прерванная вмешательством властей — «письма» I, II, запрещенные III и продолжавшее его, оставшееся в рукописи, IV; другая, завершенная — «письма» I, II, вновь написанное взамен вырезанного III и все остальные от IV (также вновь написанного) до IX.

Несмотря на то, что все «письма», возникшие после катастрофы с «письмом» III, писались с сугубой оглядкой на цензуру, Салтыкову удалось восстановить в них, хотя и с неизбежным ослаблением первоначальной политической остроты, значительную часть материала запрещенного «письма» и, в особенности, его продолжения¹.

Таким образом, первоначальные редакции «писем» III и IV не могут быть смонтированы с дальнейшей частью цикла. Энциклопедической ошибкой всех предыдущих изданий, начиная с «марковского» 1900—1901 гг. и до изд. 1933—1941 гг. включительно, был именно такой монтаж (в отношении двух редакций «письма» III). Невозможна и простая замена позднейших редакций «писем» III и IV первоначальными, так как все продолжение цикла органически связано именно с позднейшими редакциями. Существовавшие вначале планы воплощения замысла были прерваны цензурным вмешательством, и с начатого пути автор вынужден был свернуть. Очевидно, что, исходя из этих обстоятельств, первоначальные редакции «писем» III и IV должны печататься в особом разделе, что и сделано в настоящем издании.

Начиная с ноябрьской книжки «Отеч. зап.» за 1881 г. печатание «писем» продолжалось, хотя и не без цензурных трений, но без перерывов, из номера в номер и закончилось в майской книжке за 1882 г. Всех «писем» по журнальному счету, обозначавшемуся римскими цифрами, было девять (I—IX). В качестве «Post scriptum'a» к этим письмам Салтыков намеревался вначале напечатать еще один очерк, над которым работал летом 1882 г., о «еврейском вопросе». Однако затем передумал и включил этот очерк, получивший название «Июльское веяние», в сборник «Недоконченные беседы» (см. об этом в прим. к названному очерку в т. 15, кн. вторая). В отдельном издании цикла, вышедшем в 1882 г., девять «писем» первоначальной публикации были разбиты на пятнадцать (каждый «сюжет» получил свое «письмо») и римская нумерация заменена словесными обозначениями².

¹ Подробности см. в статье: Вас. Гиппиус, М. Е. Салтыков-Щедрин и реакция начала 80-х годов. — «Сборник О-ва ист., филос. и соц. наук при Пермском гос. университете», вып. III, Пермь, 1929. Указания на наиболее крупные восстановления текста см. также ниже в комментариях к отдельным «письмам».

² «Письма к тетеньке», Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина), тип. А. А. Краевского, СПб. 1882. Издание вышло в свет в середине октября. См. об этом в письме Н. А. Белоголового к П. Л. Лаврову от 20 октября 1882 г. (ЦГАОР, ф. П. Л. Лаврова, п. 32, лл. 112—113, неизд.).

Соотношение композиции «писем» в журнальной публикации и в отдельном издании видно из следующей таблицы:

	«Отеч. зап.»	Отдельное изд.
1881 г. № 7 —	I («июльское письмо»)	Первое письмо
№ 8 —	II («августовское письмо»)	Второе письмо
№ 9 —	III («сентябрьское письмо») было вырезано из журнала.	---
№ 11 —	III («ноябрьское письмо») заменившее вырезанное «сентябрьское»	Третье письмо Четвертое письмо
№ 12 —	IV («декабрьское письмо»)	Пятое письмо Шестое письмо
1882 г. № 1 —	V («январское письмо»)	Седьмое письмо Восьмое письмо
№ 2 —	VI («февральское письмо»)	Девятое письмо Десятое письмо
№ 3 —	VII («мартовское письмо»)	Одиннадцатое письмо Двенадцатое письмо
№ 4 —	VIII («апрельское письмо»)	Тринадцатое письмо Четырнадцатое письмо
№ 5 —	Письмо девятое и последнее («майское письмо»)	Пятнадцатое письмо

При подготовке отдельного издания Салтыков пересмотрел текст журнальных публикаций «писем» и внес в него ряд изменений. Что касается текста «Писем к тетеньке» в Собрании сочинений «издания автора», 1889 г., то он, по существу, тождествен изданию 1882 г. (том 6 «издания автора» с «Письмами к тетеньке» вышел в свет в декабре 1889 г., т. е. спустя полгода после смерти писателя, и неизвестно, успел ли он просмотреть текст).

В настоящем Собрании «Письма к тетеньке» печатаются по изданию 1882 г., с устранением из текста, по рукописям и первопечатным публикациям, типографских ошибок, искажений и недосмотров.

Авторские рукописи «Писем к тетеньке» сохранились хотя и в значительном количестве, но все же далеко не полностью (все в ИРЛИ АН СССР — Пушкинском доме). Лишь одна из них и аборная — та, которая содержит текст второй половины первоначальной редакции «письма» III, вырезанного из журнала. Все остальные рукописи — черновые. Они относятся к «письмам» II—IX журнальной нумерации и для некоторых из них содержат по две редакции (разной степени полноты). Во всех случаях рукописный текст отличается от печатного, представляя собою первоначальные или, во всяком случае, ранние редакции.

Наиболее существенные варианты рукописного текста приводятся в комментариях к «письмам».

В разделе настоящего тома «Из других редакций и неоконченное» печатаются: 1) вырезанное из журнала «письмо» III, 2) продолжавшее его, оставшееся в рукописи, «письмо» IV (публикуется в двух редакциях — полной и незаконченной), 3) «половина 1-го письма»¹ из начатого Салтыковым, но тут же брошенного нового цикла «Дополнительные письма к тетеньке».

* * *

1 марта 1881 года геронческая «Народная воля» достигла, наконец, той ближайшей цели, к которой так настойчиво стремилась. Брошенной И. И. Гриневичским бомбой был смертельно ранен император Александр II. Террористический удар, нанесенный грозным Исполнительным комитетом «Народной воли», вызвал величайшую панику и растерянность в правящих кругах. Но «основ» самодержавия он не только не сокрушил, но и не поколебал и скорее оказался вредным для дела революции, для общественной жизни страны в целом. Как и предсказывал Г. В. Плеханов, на воронежском съезде «Земли и воли», вместо конституции и народовластия, о чем мечтали народолюбцы, к императорскому инициалу «А» прибавилась еще одна «палочка». На престол взошел сын убитого царя, ставший Александром III. Чувства смятения, страха, неуверенности в царской семье и в правительственных сферах прошли не сразу. Колебания в выборе политики продолжались и после того, как новый император решился казнить первоартовцев и выступил с манифестом о неизбежности самодержавия (29 апреля). Провозглашенный манифестом (инициатором его и автором текста был К. П. Победоносцев) реакционный курс, отказ царизма от каких-либо уступок конституционного характера, не был реализован сразу и сочетался в первое время с тактикой выжидания и «либеральных» загрываний с «обществом». Лишь убедившись в том, что убийство Александра II не вызвало ни последующих террористических актов, ни массовых выступлений крестьянства (несмотря на экономические трудности и социально-напряженное положение в деревне), ни подъема оппозиционной активности в среде либеральной интеллигенции, правительство приступило к последовательному осуществлению объявленной политики.

Определяя обстановку, сложившуюся в стране к исходу революционной ситуации 1879—1881 гг., В. И. Ленин писал: «...только сила, способная на серьезную борьбу, могла бы добиться конституции, а этой силы не было: революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации, либеральное общество оказалось и на этот раз настолько еще политически неразвитым, что оно ограничилось и после убийства Александра II одними ходатайствами <...> Второй раз, после освобождения крестьян, волна революционного прибоя

¹ Определение Салтыкова из его письма к Г. З. Елисееву от 1 января 1883 г. из Петербурга.

была отбита, и либеральное движение вслед за этим и вследствие этого второй раз сменилось *реакцией*...»¹

Ленинская характеристика относится как раз к тому историческому моменту, который ближайшим образом воссоздан в «Письмах к тетеньке». Для проникновения в социальную психологию, в духовный быт и настроение русского общества этого периода первая восьмидесятилетняя книга Салтыкова имеет значение важного первоисточника. В таком качестве она неоднократно и использовалась в литературе, в частности, Александром Блоком в поэме «Возмездие» и Максимом Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина».

Салтыков начал свою «переписку» с тетенькой, то есть с русским «обществом», или, точнее говоря, с русской либеральной интеллигенцией, летом 1881 г., в самый разгар так называемой «эры народной политики». Проводником ее был избран гр. Н. П. Игнатьев, сменивший в начале мая на посту министра внутренних дел, лидера либеральной бюрократии гр. М. Л. Лорис-Меликова. Лозунги «народности», провозглашавшиеся Игнатьевым, имели своим назначением прикрыть реакционную суть проводимой им тактики привлечения народа и общества на сторону правительства в его борьбе с «крамоллой». Тактика эта, прозванная современниками «диктатурой улыбок и приглашений», исходила, как и тактика «диктатуры сердца» Лорис-Меликова, из признания несостоятельности одних только полицейских методов борьбы с революционным движением и, вместе с тем, подсказывалась правящим кругам теми сдвигами вправо, которые происходили в это время в русском обществе.

В «Письмах к тетеньке» нет недостатка в ударах салтыковской сатиры и публицистики по самодержавию и всем его идеологическим и государственно-административным силам периода их нового движения к реакции. Но писатель-социолог Салтыков понимал, что путь к политической реакции мог быть успешным лишь в условиях соответствующей общественной обстановки. «Исследование» этой обстановки с расчетом содействовать ее изменению в направлении противоборства реакции составляет главное в замысле предпринятой Салтыковым «переписки» с «тетенькой». Задуманные в плане «прямой социально-политической агитации»² эти регулярные беседы с читателем, затрагивавшие в се главнейшие вопросы текущей общественной жизни, явились своего рода «аналогом», разумеется, совсем в другом идеологическом ключе, почти одновременному «Дневнику писателя» Достоевского. Конечно, у Салтыкова на первый план выдвигалось рассмотрение общественно-политического, а не лично-нравственного отношения к волновавшим читателя злободневным вопросам текущей жизни. Но в определении самой сути замысла «Писем к тетеньке» Салтыков мог бы, на свой

¹ В. И. Ленин, Гонители земства и Аннибалы либерализма.— Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 44.

² Вас. Гиппиус, Дополнительное письмо к тетеньке.— «Звенья», т. III—IV, М.—Л. 1934, стр. 739.

лад, повторить слова Достоевского о предстоящем выходе его «Дневника...»: «Это будет отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном, прочитанном»¹. Среди газетно-журнальных отзывов на появившиеся в «Отеч. зап.» салтыковские «письма» не раз встречаются упоминания рядом имен Салтыкова и Достоевского. И всегда эти писатели, идеологические антиподы, сопоставляются указаниями на присущее им обоим свойство остро чувствовать современность в ее главнейших, русловых течениях и на способность зажигать этим чувством читателя и вести его за собой.

Однако сопоставления эти не были и не могли быть всеобъемлющими. Салтыкова не с кем было сравнивать по силе изображения и бичевания собственно реакции, в каких бы формах и видах она ни выступала. Реакция была своего рода катализатором его обличительного искусства. А. Н. Пыпин писал в 1881 г. находившемуся в ссылке Г. А. Лопатину, имея в виду как раз «Письма к тетеньке»: «До чего дошла мерзость, вы тоже, вероятно, можете судить из прекрасного далека. *В настоящую меру изобразить ее может только Салтыков...*»²

Адресат салтыковских «писем» — либеральная и полулиберальная интеллигенция занимала к моменту кризиса самодержавия на рубеже 70—80-х годов видное место в общественной жизни страны. В ее руках находилась, в частности, большая часть газетно-журнальной печати в Петербурге и в провинции. В ее среде были сильны конституционные настроения. При определенных условиях она могла бы быть серьезным фактором в борьбе с самодержавием.

Салтыков высоко ценил принципиальное значение интеллигенции, как образованной прослойки общества, и писал о ней: «Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе»³. Но просветительский пафос в *общей оценке* интеллигенции сочетался у Салтыкова с сурово реалистическим пониманием ее практического бессилия противостоять, на данном этапе, в данной конкретной ситуации, как политической реакции, так и отрицательным явлениям в общественной жизни, болезненным процессам в собственном организме. Убийство Александра II вызвало в образованных кругах и в массах совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали народовольцы. Последствие этого события, явившегося кульминацией в политической борьбе с самодержавием на том этапе, трагически обострило сознание неудачи всего революционного подъема, длившегося с середины 70-х годов. Неудача воспринималась как новый (после срыва шестидесятничества) акт в духовной драме русской революционной демократии. Настроения разочарования, скепти-

¹ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худож. произвед., т. XI, М.—Л. 1929, стр. 508.

² Письмо от 24 ноября 1881 г. Неизд. Поскольку письмо сохранилось в бумагах А. Н. Пыпина, оно, возможно, не было отправлено.— ЦГАЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 250, л. 80 об.

³ Из «Введения» к «Мелочам жизни».

цизма захватывали широкие круги интеллигенции, в первую очередь молодежь. Революционное народничество уже вступило в период глубокого кризиса, предвещавшего скорую гибель этого направления как активно борющейся политической силы.

Наряду с означенными процессами шли и другие, сливаясь и взаимодействуя с первыми. Восьмидесятые годы, годы наступления реакции, годы идейного и организационного распада движения народнической революции были, вместе с тем, годами усиления буржуазных элементов в русской культуре. Внешне это сказывалось прежде всего в быстром росте и укреплении кадров новой интеллигенции, стремившейся к «европеизации», к эмансипации от оппозиционно-демократических традиций прошлого. В течение последней трети XIX в. дворянско-помещичья, равно как и разночинно-демократическая интеллигенция шестидесятничества, в значительной мере заменяется бессловной буржуазной интеллигенцией¹. Часть этой новой интеллигенции еще признает примат общественных интересов (национальная революция по-прежнему не совершилась, она все еще впереди!), но уже чужда идейной «одержимости» людей 40-х годов, радикализма и страсти к «делу» (революционному делу) шестидесятников — качеств, дорогих для Салтыкова.

Расширение социальной базы интеллигенции и ее участия в частном предпринимательстве (как в сфере материального производства, так и в области духовной культуры) отражало, объективно, борьбу российского капитализма, поднявшегося на дрожжах крестьянской реформы, за более определенный буржуазный характер развития страны.

Все эти и многие другие факты и обстоятельства, относящиеся к социально-политической «биографии» русской интеллигенции и к ее роли в жизни страны конца 70-х — начала 80-х годов, нашли свое отражение в образе «тетеньки» — одном из самых сложных у Салтыкова². Сложность образа — в его многозначности и в частой смене элементов и «знаков» этой многозначности. В «тетеньке» нельзя видеть олицетворения какой-либо одной группы интеллигенции, одного определенного направления в ней или одной характеристической особенности этой прослойки. образу «тетеньки» нельзя отказать в целостности. Но целостность эта не монолитна. Она достигнута, помимо мастерства в зарисовке «личных» черт, воссоздающих внешний облик и индивидуальный характер «тетеньки», искусством широкой типизации материала, весьма различного исторически, социально и идеологически. Из образа «тетеньки» безусловно исключен лишь материал, относящийся к интеллигенции крайних флангов двух противостоящих лагерей — с одной стороны, революционного, с другой — реакционного и официально-правительственного. «Агитировать» эти группы, находящиеся в состоянии актив-

¹ Л. К. Ерман, Интеллигенция. — «Советская историческая энциклопедия», т. 6, М. 1965, стр. 115.

² Образ «тетеньки» обстоятельно проанализирован в кн.: А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, «Наука», М.—Л. 1959, стр. 199.

ной идеологической и политической борьбы, разумеется, не входило в задачу писателя. Все же остальные слои и прослойки образованных слоев русского общества так или иначе представлены в главном образе произведения. Сигналами для узнавания «представительства» разных групп либеральной и полулиберальной интеллигенции в образе «тетеньки» служат разбросанные там и тут характеристические черты и признаки этих групп, относящиеся к их социально-политической «биографии» и «поведению». Несколько примеров пояснят сказанное.

С одной стороны, «тетенькины» воспоминания о «родной Заманиловке», о «бывшем дворецом человеке Финагиче», «дворецком Лукьяныче», ее наивные реплики на французско-институтском жаргоне, вынесенном «из Смольного», рисуют ее «особой», принадлежащей к дворянско-помещицкому обществу, выросшей еще на «лоне крепостного права». Но в формировании духовного облика «тетеньки» участвовала не только «нянюшка Архиповна», а потом Смольный институт. Среди друзей ее молодости названы люди, прошедшие школу идей передовых столичных кружков 30-х и 40-х годов — идей Белинского, Грановского, Герцена. Дата «рождения» «тетеньки» обозначена *концом 30-х годов*. Это время действия кружка Станкевича.

С другой стороны, «тетенька» — активная участница разночинно-интеллигентского, демократически-народнического и либерально-оппозиционного Sturm und Drang'a середины — второй половины 70-х годов. Она участвует в «хождении в народ», сочувствует Вере Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова, устраивает благотворительные концерты в пользу курсисток, горячо поддерживает освободительные тенденции в движении зарубежных славян. В одном из писем к Н. А. Белоголовому Салтыков конкретизирует эту последнюю ипостась «тетеньки», сближая ее с подписчиками «Отеч. зап.», то есть с народнической, радикально-демократической и либерально-оппозиционной интеллигенцией 70-х — начала 80-х годов. («Вот она, милая тетенька-то, какова!» — восклицает Салтыков в письме к Н. А. Белоголовому от 18 февраля 1887 г. по поводу уменьшения на 25%, по сравнению с прошлым годом, хода подписки на «Отеч. зап.».) Вместе с тем Салтыков не скрывает, что либеральные симпатии и манифестации не мешают «тетеньке» по временам «перешептываться» с реакционным земцем Пафнутьевым и «почитывать» беспринципно-буржуазную печать, вроде ноздревской газеты «Помои».

Образ «тетеньки» почти всюду «звучит» в ключе иронии (но не сарказма). Очевидны как идеологические отталкивания писателя от образа, так и сатирическая критика его. Главнейшим предметом обсуждения является «нравственная нестойкость», «дряблость», «шатание» «тетеньки», ее «повадливость». Однако «повадливость» «тетеньки», хотя иногда и с эпитетом «блудливая», признается не «преднамеренной». Вследствие этого образ «тетеньки» не является всецело отрицательным, хотя Салтыков и судит «тетеньку» судом своей сатиры, но он не выносит ей окончательного и беспощадного приговора, какой, например, он вынес в «За рубежом» французской реакционной буржуазии. «Тетенька», в глазах ведущего с нею пе-

реписку «племянника»; остается «в ряду действительности не торжествующей». С точки зрения «борьбы за идеал», она не безнадежна, и в ее недостатках писатель склонен винить прежде всего ее «воспитание» и те объективные условия русской жизни, «которые благоприятствовали и благоприятствуют развитию... легкомысленной покладливости».

С образом «тетеньки» неразрывно связан образ эпистолярно беседующего с нею «племянника» — одна из многих разновидностей характерной для салтыковской поэтики фигуры «рассказчика». Известный исследователь Салтыкова, Вас. В. Гиппиус, уделивший много внимания изучению «Писем к тетеньке», писал по поводу этой книги и образа автора «писем»: «С исключительной тонкостью создан здесь самый образ автора-обличителя. Он заgrimирован под «бывшего либерала», якобы простодушно вспоминающего о своих недавних «бреднях». Но «благонамеренный» тон автора все время скользит между очевидной иронией и допущением этой благонамеренности как реальной опасности для самого пишущего. Когда корреспондент «тетеньки» рисует ей целую программу жизни без «бредней», заполненную домашними обедами и хождениями к городовым и дворникам на свадьбы и крестины, когда он восклицает: «Воспряньте, тетенька, и будем лгать» — это не только ирония, но вместе и необходимо шаржированное изображение той перспективы пошлости, к которой логически приводит всякая терпимость (или, по щедринскому выражению, покладливость). Но автор не ограничивается этим: ироническая проповедь отказа от «бредней» то и дело перебивается невольными оговорками и сомнениями, а это дает возможность автору в ответственных местах говорить своим собственным голосом, уже без иронии»¹.

Действительно, при всех изменениях (модуляциях) в предмете, интонациях и идеологических акцентах бесед «племянника» с «тетенькой», читатель всегда явственно слышит голос самого Салтыкова. Образ «племянника» — объективная художественная реальность. Но Салтыков, верный своей поэтике, не отделяет его вполне от собственного «я». Это позволяет ему непрестанно и субъективно страстно утверждать свои взгляды на исследуемую действительность, освещать ее лучами света своей радикально-демократической идеологии, внушать читателю свои «исторические утешения», хотя оптимизм их никогда почти не свободен вполне от примесей горечи и сомнений².

¹ Вас. Гиппиус, Творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. — В кн.: «М. Е. Салтыков-Щедрин. К пятидесятилетию со дня смерти. Статьи и материалы», Л. 1939, стр. 60—61.

² «Как ни запугано наше общество,— заявляет, например, от собственного лица Салтыков,— как ни слабо развито в нем чувство самостоятельности, но несомненно, что внутренние сочувствия его направлены в сторону доброго и плодотворного дела». Это убеждение Салтыков называет «единственным утешением», которое предоставляется современному «честному человеку». Заключается же эта мысль скептическим вопросом: «Но спрашивается: насколько подобные утешения могут поддерживать в человеке охоту к жизни?»

На современников звучание голоса писателя-демократа, идейное могущество его борьбы с растлевающими воздействиями реакции, страстность призывов ко всем видам и формам сопротивления ей, резкое разоблачение «измен либерализма»¹ производили огромное впечатление.

Высоко ценил «Письма к тетеньке» Тургенев, искавший и находивший в них противовес собственным своим невеселым наблюдениям над русской жизнью «из прекрасного далека». Упоминания «Писем к тетеньке» не раз встречаются в переписке Тургенева с Салтыковым 1881—1882 гг.: «Согласен с Вами, что в наше время писательское ремесло стало на Руси чем-то позорным; согласен и с тем, что всякий Разуваев норовит надеть на нашего брата намордник; а все-таки — нет, нет — и выйдет новое письмо к тетеньке — и радуемся, и рукоплещем» (29 декабря 1881 г.); «...последнее «Письмо к тетеньке» — прелесть» (1 февраля 1882 г.); «Получил я Ваше последнее «Письмо к тетеньке»... и без лести скажу Вам, что чтение этого письма было единственным лучом среди дряг и передряг, в которых я теперь пребываю» (26 февраля/10 марта 1882 г.); «...в Вашем «Письме к тетеньке» худо только одно, что оно последнее!» (26 мая/7 июня 1882 г.)².

Получив же отдельное издание, Тургенев писал Салтыкову: «...великое Вам спасибо за присылку «Писем к тетеньке»; я перечел их с наслаждением... Сила Вашего таланта дошла теперь до «резвости», как выражался покойный Писемский»³.

Высокую, по-видимому, даже восторженную оценку, дал «Письмам к тетеньке» П. В. Анненков. Он поблагодарил Салтыкова за присылку книги «архирейским трезвоном во все колокола», о чем сообщил И. С. Тургеневу⁴.

«Кто не знает, кто не читал «Писем к тетеньке»?!» — таким риторическим вопросом начинается один из многочисленных отзывов, сопровождав-

¹ В. И. Ленин, Из прошлого рабочей печати о России.— Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 94.

² И. С. Тургенев, Полное собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. XIII, кн. 1-я, стр. 174, 195, 266.

³ Там же, кн. 2-я, стр. 89.

⁴ Письмо к И. С. Тургеневу от 29 октября/10 ноября 1882 г. (ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 13). Что касается письма к Салтыкову, то оно неизвестно. В ответном письме от 1 ноября 1882 г. Салтыков благодарил Анненкова («много Вам благодарен») и за общий отзыв о книге, и за высказанное по ее поводу «замечание», заключавшееся, по-видимому, в размышлении о трудностях воздействия литературы на общество. «Замечание Ваше,— писал Салтыков,— вполне верно: несмотря на мою плодотворную литературную деятельность, она оказывается не особенно плодотворною. Вещи остаются на прежних местах, и дела идут по-старому. Но чему приписать этот печальный результат (ноль)? тому ли, что моя деятельность чересчур мелка и не задевает сущности вещей, или же особенному патологическому состоянию, в котором находится русское общество?» Из дальнейших строк видно, что, при всей своей писательской скромности, Салтыков склонен был винить в этом «печальном результате» (столь преувеличенном) все же не себя, а «патологическое состояние» русского общества — «тетеньку». В изд. 1933—1941 гг. письмо Салтыкова ошибочно комментировано в связи с «Современной идиллией», а не с «Письмами к тетеньке».

ших появление каждого очередного «письма» и выход в свет отдельного издания¹.

Впечатления, которые производили ежемесячные беседы Салтыкова с читателем-«тетенькой», их пафос, ныне давно уже утраченный, отражены не только в печатных отзывах, но и во многих эпистолярных и мемуарных источниках. Суть этих впечатлений хорошо «резюмирована» в воспоминаниях известного историка А. А. Кизеветтера, писавшего: «В течение 80-х годов популярность Салтыкова достигла апогея. Его общественные сатиры читались с упоением. Каждая книжка журнала с его новым «Письмом к тетеньке» составляла своего рода событие... Именно в 80-х годах Салтыков, все расширяя диапазон своей сатиры, превратился <...> в настоящего библейского пророка, силою гневного и властного вдохновения сдерживающего покровы с самых глубоких язв современности. Его грозные обличения стали отливаться в символические образы ослепительной художественной силы. Люди моего поколения отлично помнят, какое громовое впечатление произвела в свое время та сатира Салтыкова, в которой он представил распространившееся в обществе глумление над передовыми идеалами освободительной эпохи в образе «торжествующей свиньи», порешившей «сожрать солнце»².

«Письма к тетеньке» находились, в частности, среди тех произведений Салтыкова, которые идеологически подкрепляли в борьбе с самодержавием, реакцией и с теми либералами, которые пошли на сделку с этими силами — либералами «применительно к подлости», — выходивших на арену истории первых пролетарских революционеров в России. Вспоминая о своем участии в создании, вместе с Г. В. Плехановым, В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом и др. первой русской марксистской «Группы «Освобождение труда», Л. Г. Дейч свидетельствует: «Как раз летом этого же 1883 года³ в «Отч. записках» печатались замечательные «Письма к тетеньке» Щедрина, которые вызывали у Плеханова, да и у всех нас, остальных, большой восторг. Георгий Валентинович приводил из них на память большие выдержки <...> Щедрина он признавал одним из самых умных наблюдателей и наилучшим изобразителем разных сторон русской действительности, что ввиду занятой тогда Плехановым вместе с нами, его единомышленниками, марксистской позиции он считал исключительно важным»⁴.

Бывший народовец, а затем большевик, соратник В. И. Ленина,

¹ «Русская мысль», 1883, № 2.

² А. А. Кизеветтер, На рубеже двух столетий (Воспоминания 1881—1914 гг.). Изд. «Orbis», Прага, 1929, стр. 152—155. Элементы образа «торжествующей свиньи», порешившей сожрать «правду» (не «солнце») из гл. VI «За рубежом», присутствуют также и в «Письмах к тетеньке», равно как и в «Дополнительном письме к тетеньке».

³ Ошибка памяти: не 1883, а 1881 и 1882 гг.

⁴ Л. Г. Дейч, М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры (по личным воспоминаниям). — «Лит. наследство», т. 11—12, М. 1933, стр. 503.

М. С. Олминский, много и долго изучавший творчество великого сатирика, писал, что «очень часто обозревал Щедрина разные слои русского населения с <...> главной заботой — найти такой слой, достаточно широкий и сильный, который боролся бы за лучшее будущее, стремился бы к сознательности, к выработке крепких убеждений и к проведению их в жизнь¹. Попытка «найти такой слой» в лице русской либеральной интеллигенции, персонафицированной в образе «тетеньки», не могла увенчаться успехом. И хотя Салтыков кончает последнее «письмо» уверениями по адресу «тетеньки», что она «сила», что «в делах современности» от нее «зависит многое, почти все», но утверждения эти следует рассматривать скорее как метод преувеличения убежденного агитатора-пропагандиста, просветителя, напряженно, всеми доступными ему средствами стремящегося внушить своей аудитории — российской прогрессивной интеллигенции уверенность в ее социально-политических возможностях, поддержать в ней веру в общественные идеалы и укрепить сознание необходимости борьбы за эти идеалы. Пропаганда «утопий, социальной бодрости, исторического оптимизма, шедшего от глубочайшей убежденности в правоте своего дела, в атмосфере реакции 80-х годов, была, разумеется, огромной морально-политической победой Салтыкова, говорившей о верности его заветам «наследства». Но вместе с тем Салтыков отчетливо сознавал, что объективных признаков, свидетельствовавших об изменении «тетенькиного» облика в направлении пропагандируемых им идеалов, наличная действительность не давала². В 1882 г. писатель мог наблюдать в социальном характере «тетеньки» скорее лишь усиление настроений общественной пассивности («кругом все молчит...», «...все живое попряталось по углам» и др.) и рост буржуазных элементов в ее идейном обиходе. Вот почему, заканчивая свою беседу с «тетенькой», Салтыков счел необходимым еще раз разъяснить ей основные причины этих явлений, указать на источники, которые их питают, и вновь призвать ее *сознать свою пока еще скрытую силу*. «Сознайте же свою силу, — призывает Салтыков русскую прогрессивную интеллигенцию, — но не для того, чтоб безразлично посылать поцелун правде и неправде, а для того, чтоб дать нравственную поддержку добросовестному и честному убеждению. Право, без этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное». Этот заключительный призыв резюмирует главное в эпистолярных беседах писателя-демократа с «русской публикой», предпри-

¹ М. Олминский, Статьи о Щедрине, ГИЗ, М.—Л. 1930, стр. 58.

² Указывая на то, что «тетенька» в течение года «выросла», Салтыков не случайно оговаривается — *«в моем мнении»*, и оговорку эту подчеркивает курсивом. Следует думать, что Салтыков имеет здесь в виду ближайшим образом обилие сочувственных его «Письмам к тетеньке» отзывов в печати, а также откликов в личных письмах к нему. Такого активного и широкого внимания со стороны читателя не удавалось при жизни писателя, пожалуй, ни одно другое его сочинение. Иное мнение о значении упомянутого курсива — мнение принципиального значения — см. в кн.: А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, «Наука», М.—Л. 1959, стр. 211.

нятых с прямым расчетом поддержать общественное мнение страны в его борьбе с наступающими силами «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции»¹ 80-х годов.

Письмо первое

(Стр. 247)

Впервые, с нумерацией «I» — ОЗ, 1881, № 7 (вып. в свет 19 июля), стр. 317—328.

Рукописи не сохранились.

Написано летом 1881 г. в Петербурге, незадолго до отъезда (30 июня) за границу. В письме к Н. А. Белоголовому из Висбадена, от 11/23 июля Салтыков сообщал: «В Петербурге кое-что задумал, половину написал, а теперь стал в тупик, хотя в голове и ясно. В июльской книжке (ежели выйдет) прочтете начало проектированного мною целого ряда писем, касающихся исключительно современности. Увидите, что письмо написано сразу; точно так же накануне отъезда написал начало второго письма...»

В первом «письме» дается общая характеристика состояния русского общества — «тетеньки» — в начале послепервомартовской эры. Состояние это Салтыков характеризует многозначительными для всего цикла словами «т и ш и н а» и «о т р е з в л е н и е», обозначая ими резкое понижение общественно-политической активности в оппозиционных и либеральных кругах, усиление в них настроений пассивности, индифферентизма, отказ от «б р е д н е й», то есть от мечтаний о высоких общественных идеалах и борьбы за них, что во многом облегчало правительству переход к политике реакции. О трудном восприятии Салтыковым этого времени, отразившемся в новом цикле, дают представление слова из цитированного письма его к Н. А. Белоголовому от 11/23 июля 1881 г.: «Такой тоски, такого адского отворачивания к жизни я никогда не испытывал...»

Стр 247. *Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно...* — Имеется в виду период резкого обострения политической борьбы и общественного возбуждения середины — конца 70-х годов, период кризиса самодержавия и возникновения в стране революционной ситуации.

...зачем вы, тетенька, к болгарам едете? Зачем вы хотите присутствовать на процессе Засулич? Зачем вы концерты в пользу курсисток устраиваете? — Перечисляются некоторые из характерных форм общественной активности периода «второго демократического подъема» в России (Ленин). Восстание 1876 г. против турецкого ига в Болгарии, жестоко подавленное,

¹ В. И. Ленин, Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? — Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 295.

вызвало горячий отклик в русском обществе. Создавались комитеты помощи, организовывались сбор средств в пользу пострадавших болгар и поездки солидарности к ним. Салтыков глубоко сочувствовал национально-освободительной борьбе болгар и других балканских народов. Но он скептически относился к славянскому движению в России, возглавлявшемуся славянофилами. Кроме того, Салтыков отчетливо видел захватнические цели, которые преследовало царское правительство, выступая под лозунгом «защиты братьев славян». Подробнее об отношении Салтыкова «к славянскому вопросу» см. в его очерке 1876 г. «День прошел — и слава богу» (т. 12 наст. изд.; см. также «Салтыков в воспоминаниях современников», стр. 584—586 и 816—817). Весьма показательным для обостренной общественной обстановки того времени оказался судебный процесс Веры Засулич. Ее судили в 1878 г. за то, что она покушалась на жизнь петербургского градоначальника Трепова. Присяжные вынесли подсудимой оправдательный приговор. Он был встречен громким одобрением присутствовавшей публики. Молодежь, собравшаяся у здания суда, ответила на приговор небывалой еще в России уличной демонстрацией.

К болгарам в пользу Баттенбергского принца агитировать ездит! — Прусский офицер принц Александр Баттенберг, племянник русской императрицы Марии Александровны (жены Александра II), был выдвинут царским правительством на престол созданного после русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Болгарского княжества. Проводил реакционную политику. В 1879 г. к Баттенбергу ездили делегации петербургского и московского славянских комитетов.

...Милану прямо в лицо говорит: дерзай, княже! — В 1876 г. сербский князь Милан IV, проводивший реакционную и авантюристическую политику, объявил войну Турции, к которой страна не была подготовлена. Лишь вмешательство России спасло Сербию от поражения. В годы «славянского движения» 70-х годов пользовался в русских славянофильских и сочувствующих им кругах репутацией «героя» национального сербского освобождения.

«Иде́ дому в муй?» — «Kde domov můj» — слова песни из пьесы чешского драматурга Й. К. Тыла «Фидловачка». Текст песни стал затем национальным гимном. Сейчас составляет первую, чешскую, часть гимна СССР.

Стр. 248. *...ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма!* — Сатирически используемый образ жандарма, утирающего слезы, восходит к исполненному сентиментального монархизма рассказу о назначении в 1826 г. гр. А. Х. Бенкендорфа шефом жандармов. В ответ на вопрос Бенкендорфа, в чем будут заключаться его обязанности, Николай I будто бы протянул ему платок и сказал: «Вот, отпрай им слезы вдовых, сирых и всех несчастных!»

Стр. 251. *...как вам будет лестно, когда Вас, «по правилу», начнут в три кнута жарить!* — Об отношении Салтыкова к законопроекту 1880 г., предусматривавшему «освобождение печати от ведения администрации и представления преступлений печати преследованию и рассмотрению исключи-

тельно суда...» см.— <Г. З. Елисеев>, Несколько слов по поводу вопросов злости дня.— «Отеч. зап.», 1880, № 9, отд. II, стр. 140—142; см. также в гл. III «За рубежом» (наст. том, стр. 102—103 и 373).

...Если б мы не держали язык за зубами — никогда бы до ворот Мерва не дошли... Вон Франция намеднись какой-то дрянной Тунисишко захватила, а сколько из этого разговоров вышло? — Обострившееся в связи с англо-афганской войной 1878—1880 гг. соперничество Англии и России в Средней Азии заставляло царское правительство проявлять заботу о возможной скрытности военных экспедиций, организуемых для подчинения еще не присоединенных к России частей среднеазиатских ханств, в частности Мерва в Туркмении. Вопрос о Мерве служил в конце 70-х — начале 80-х годов предметом нескольких запросов лондонского кабинета в Петербург. Дипломатическое ведомство России отлачивалось, в то время как Скобелев со своим отрядом к лету 1881 г. действительно дошел «до ворот Мерва». Однако распоряжением военного министра Д. А. Милютина дальнейшее продвижение русских войск, во избежание усиления трений с Англией, было приостановлено, и они вошли в Мерв лишь в 1884 г. Попыткам замалчивания колониально-завоевательных целей военных экспедиций царской России в Среднюю Азию Салтыков иронически противопоставляет (по сути же сближает) открытую колониальную политику буржуазно-республиканской Франции, захватившей весной 1881 г. Тунис. Эта акция вызвала большой шум внутри страны (запросы в Сенате, кризис министерства Ферри и др.) и вызвала ряд внешнеполитических осложнений.

Стр. 252. ...*вот, мол, вам в день ангела ... с нами бог!* — Современникам было ясно, что слова эти метят в прославленного генерала Скобелева. Ему был присущ особый военно-верноподданнический шик, заключавшийся в том, что он любил приурочивать свои военные победы к так называемым царским дням, «преподнося» их в качестве подарка в дни рождений и именин членов императорской фамилии. Со словами «С нами бог и государь!» («государя», в отличие от «бога», Салтыков не мог воспроизвести по цензурным условиям) Скобелев ходил в свои знаменитые штурмы и атаки.

Стр. 255. *Домашние* — иносказание для обозначения обывателя, человека «толпы». «Домашние» («домочадцы») противопоставлены «тетеньке» — интеллигенции, обществу; они никогда «не бредили».

...*на первом плане стоит благополучие (с лебедой в резерве) и тишина (с урчанием в резерве)*... — Иносказания, заключенные в скобки, означают: первое — материальную обездоленность, нищету, голод; второе — полицейский произвол, административные репрессии. Весь период построен на иронической интонации, сигналами которой и являются ремарки в скобках.

«*Андроны сбѹт*» — поговорка, применяемая к тем, кто «несет» чепуху, вздор, говорит бессмыслицу.

Стр. 257. *Pointe* — здесь: так называемая «Стрелка» на островах в Петербурге; излюбленное место для прогулок, куда приезжали любоваться закатом солнца в Финском заливе.

Стр. 259. ...*кузька* — вредитель хлебных злаков, хлебный жук.

Письмо второе

(Стр. 260)

Впервые, с нумерацией «II» — *ОЗ*, 1881, № 8 (вып. в свет 20 августа), стр. 599—614.

Начато в конце июня 1881 г. в Петербурге, окончено в конце июля, в Висбадене¹.

Сохранились черновые рукописи двух ранних редакций: неполной первоначальной (№ 191²) и полной последующей (№ 192).

Варианты рукописного текста

№ 191

Стр. 264, строки 15—18. Вместо. «Когда же заканчивают <...> гулять на улице» — в *рукописи*:

Не сердитесь на меня, голубушка, что я в моих письмах как будто «по древу растекаюсь» — право, иначе не могу. Нельзя нынче унылого и однообразного тона держаться, нужно пример подавать. И в жизни, и в публицистике, и в письмах к родным — везде. Так именно я и поступаю. Иду, например, по улице и стараюсь иметь вид открытый, веселый и непременно легкомысленный.

Стр. 265—266, строка 28 — стр. 266, строка 2. Вместо: «Таким образом <...> римскую пословицу» — в *рукописи*:

Одним словом, если уже признано, что еггеге, ради общей пользы, необходимо упразднить, то ничего другого не остается, как «растекаться по древу», то есть внушать доверие Или точнее: лгать. *Humanum est mentire*. Вот новый жизненный девиз.

Стр. 268, строки 17—32. Вместо: «Я не спорю <...> притронуться к этой правде» — в *рукописи*:

Мне кажется, однако ж, что это посконное лганье, которое представляется нам лишь дурною и досадною привычкой, обязано своим происхождением явлению далеко не столь простому и бессодержательному, как это кажется с первого взгляда. И именно, ежели взглядеться в это дело попри-

¹ См. об этом в летних письмах Салтыкова 1881 г. из Висбадена: Н. К. Михайловскому от 7/19 июля, Н. А. Белоголовому от 11/23 июля и Г. З. Елисееву от 15/27 июля. В последнем письме читаем: «...я с самого приезда сюда двух строк из себя выжать не могу, хотя очень хотелось бы к августовской книжке что-нибудь прислать. Постараюсь, впрочем, сделать это, и до 5-го числа (ст. ст.) прошу оставить место листа на 1½».

² Нумерация рукописей — здесь и дальше, указывается по описанию рукописей Салтыкова, составленному Л. М. Добровольским и М. И. Маловой. — «Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома», IX, М.—Л. 1961.

стальнее, то в основе его окажется невозможность назвать правду по имени без того, чтобы что-нибудь при этом не треснуло.

Подобные минуты в жизни обществ всегда совпадают с тем, когда, как ныне у нас, «все можно» только еггате нельзя. «Все можно», но ничто из этого *всего* не интересует. Казалось бы, что самое подходящее в этом случае было бы пустить в ход еггате, но пугает воспоминание о падении Римской империи. Затем представляется один выход: прожить *как-нибудь*, стараясь, по возможности, не встречаться с правдою, так как правда неизбежно должна навести нас на мысль об еггате. И вот, мы сначала скрашиваем правду, смешиваем быть с небылицею, а напоследок, потихоньку да полегоньку, упраздняем ее.

Стр. 268, строка 41 — стр. 269, строка 5. Вместо: «Возможное ли дело <...> сомнения не оставляет» — в *рукописи*:

Возможное ли дело. скажете вы, чтобы что-нибудь угрожало им, коль скоро чуть ли не в каждом городе учреждено по губернскому правлению и по окружному суду, которые только и делают, что упрочивают основы и утверждают краеугольные камни? — Вполне с вами согласен, голубушка, что эти опасения более нежели странны; но ведь не я собственно опасуюсь, а поголовно все наши мудрецы, уж сколько лет кряду, криком кричат: основы потрясены! семейство, собственность, государство — все расшатано, поругано, обращено в прах!

Стр. 271, строки 27—42. Вместо: «В молодости за нами <...> назовут за него ренегатом?» — в *рукописи*:

С одной стороны, я не могу не признать, что идея общей пользы <должна? призвана?> первенствовать над всеми нашими действиями и размышлениями, но, с другой стороны, не могу позабыть и того, что в основании всей моей прошлой жизни лежали и бредни и заблуждения, и я отнюдь не чувствовал себя от этого худо. Конечно, когда-нибудь надобно же «решиться и бросить», но тут встречается такого рода опасение: а ну как за это назовут ренегатом!

Тема «Письма второго» — по определению Салтыкова — «о лгунах и лганье»¹. Отталкиваясь от наблюдения отдельных явлений во внутренней политике правительства первых месяцев царствования Александра III, Салтыков находит для обличения этой политики формулу, гласящую: «Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальная ложь, которая должна прикрыть собой все последующие лжи». — Формула раскрывала подлинный смысл так называемой «народной политики» нового министра внутренних дел гр. Н. П. Игнатьева (был назначен на этот пост в начале мая 1881 г.).

Эта демагогическая политика имела своим назначением, как говорил В. И. Ленин, некоторое время «подурачить «общество»², чтобы прикрыть отступление правительства к прямой реакции. Маня широкие слои населения радужными перспективами в сфере экономических и политических ме-

¹ Письмо к Н. К. Михайловскому от 7/19 июля 1881 г.

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 42.

роприятий, правительство ставило их осуществление в зависимость от участия «общественных сил» страны в «искоренении крамолы»¹ и в укреплении «основ» самодержавной власти, «потрясенных» развитием революционного движения. Игнатев был наиболее подходящей фигурой для проведения этой политики демагогии и обмана. Она была близка самой его натуре. «Кому в России неизвестна была печальная черта его характера,— писал об Игнатеве Е. М. Феоктистов,— а именно, необузданная, какая-то ненасытная склонность ко лжи? Он лгал вследствие потребности своей природы, лгал, как птица поет, собака лает, лгал на каждом шагу...»² В Константинополе, когда Игнатев был там русским послом, он получил от турок прозвище «отец лжи» и «mentig-pasha» («лгун-паша»). Салтыков же, как раз в дни разработки темы о «лгунах и лганье», писал Н. А. Белоголовому: «А Игнатев совсем изолгался...»³

Однако обличение лжи о «расшатанных» и «неогражденных» «основах» — лжи, предпринятой в целях создания «переполоха», развязывающего руки реакции,— направлено не только против непосредственных проводников такой политики. В не меньшей мере оно направлено и против ее идеологов — «каркающих мудрецов». Под этими «мудрецами», именуемыми также «проходимцами» (в рукописи — «негодьями»), ближайшим образом имелись в виду такие проповедники реакции, как Катков со своими «Московскими ведомостями» и И. Аксаков со своею «Русью». «А Катков и Аксаков,— отзывался о них в те дни Салтыков,— орут пуше прежнего, все кричат: мало! мало! Собственно говоря, они-то и наводят страх...»⁴

Явления и деятели, против которых была направлена сатира «Письма второго», были ясны современникам. После прочтения «письма» Д. А. Милютин (ушедший в отставку военный министр, один из представителей либеральной бюрократии) записал в своем дневнике: «В «Отеч. записках» явилась новая сатирическая статья Щедрина... в которой зло бичуется нынешнее апатическое настроение русской публики, сбитой с толку [ультрарусофильскими проризаниями московской прессы] статьями московской ретроградной газеты и таинственным туманом, застилающим деятельность правительства»⁵.

Стр. 260. ...судя по их antecedентам...— То есть судя по их прошлому, по их прежней деятельности (от франц. antécédent).

¹ Из первого циркуляра Игнатьева губернаторам.— «Правительственный вестник», 1881, 6 мая.

² Е. М. Феоктистов, За кулисами политики и литературы, Л. 1923, стр. 199.

³ Письмо от 11 июля 1881 г.

⁴ Письмо к Н. А. Белоголовому от 19 ноября 1881 г.

⁵ «Дневник Д. А. Милютина», т. 4, М. 1950, стр. 106 (запись от 2 сентября 1881 г.). Слова, взятые в квадратные скобки, зачеркнуты в подлиннике.

А ежели к этому, в виде обстановки, прибавить толпы скалящих зубы ретирадников, а вдали, «у воды», массы обезумевших от мякинного хлеба «компарсов»...— Иносказания, здесь употребленные, разъясняются следующим образом: «скалящие зубы ретирадники» — воинствующие деятели реакции; «обезумевшие от мякинного хлеба компарсы» — бедствующее, голодающее русское крестьянство (франц. слово *compars* обозначает на театральном языке статиста, а в переносном смысле — третьестепенное лицо); «у воды» — выражение, заимствованное из театрального жаргона: поставить что-либо на сцене или разместить на ней кого-либо «у воды» означало сделать это вдали, на заднем плане.

Стр. 261. *«errare humanum est»*.— Изречение одного из античных мыслителей (чаще всего приписывается Сенеке Ритору), превратившееся в пословицу. Используется Салтыковым для обозначения свободного поступательного развития человека и общества, невозможного без отдельных ошибок и преходящих заблуждений. Аналогично используется в дальнейшем слово «еггаге».

Стр. 262. *В сущности, и Восточная римская империя не пропала...*— В данном абзаце в пролическое развитие тезиса *«errare humanum est»* влечены намеки, относящиеся к злободневным в те годы «восточному» и «балканскому» вопросам. В целях широты обобщения политическая современность сочетается с фактами византийской истории. Иносказания, здесь употребленные, — прозрачны: «п о р ф и р о р о д н ы е» и «б а г р я н о р о д н ы е» (титулы сыновей византийских императоров, дававшиеся в зависимости от факта рождения сыновей в период царствования их отцов или до и после него) — византийские императоры; «м о х а м е д о в ы с ы н ы» — турецкие султаны; «в о с т о ч н ы е р и м л я н е» — те многоплеменные народы, которые находились с IV по XV в. под властью Византийской империи, а затем под властью Турецкой империи. Из-под владычества этой последней выделены в XIX в., при помощи, главным образом, России, в «самостоятельные» государства Греция, Румыния, Сербия и Болгария, чьи коронованные правители продолжали по отношению к своим «освобожденным» подданным ту же политику всесторонней эксплуатации трудящихся, как и византийские императоры, и турецкие султаны. На это и указывает сатирически Салтыков, перечисляя имена Георга греческого, Карла румынского, Милана сербского и Баттенбергского принца.

...урядники-то могли бы возникнуть...— Об учреждении института урядников см. выше, прим. к стр. 38.

Стр. 264. ...смотрит на него корела...— и вдруг мысль: ведь это значит, что недоимки простят.— Исключительная обременительность платежей (так называемых выкупных), наложенных реформой 19 февраля 1861 г. на крестьян (к о р е л а), привела уже к 70—80-м годам к колоссальному росту недоимочности, что вынудило правительство принять осенью 1881 г. закон о ежегодном понижении выкупных платежей и о «сложении» недоимки по этим платежам.

Стр. 264. ...*полумпериал* — российская золотая монета с курсовой ценой в 80-х годах 7 руб. 50 коп.

Стр. 265 «...не успеет курица яйцо снести, как эта самая пара рябчиков будет только сорок копеек стоить!» — Салтыков издевается над совершенно расстроенной, после русско-турецкой войны 1877—1878 гг., денежной системой страны (курс кредитного рубля упал с 87 до 63 коп. зол.) и над неумелыми циркулярно-бюрократическими попытками правительства упорядочить эту систему. Одной из таких попыток явился, в частности (неосуществленный), проект ввести в крупнейших городах империи «таксу» на продукты питания, что вызвало неудовольствие и протесты со стороны заинтересованных торговых предпринимателей, а также насмешки в печати.

...отчасти о бывшем министре внутренних дел Перовском...— Одни из самых последовательных крепостников и проводников полицейской системы Николая I Л. А. Перовский возглавлял Министерство внутренних дел в 1841—1852 гг. По словам А. В. Никитенко, «Перовский составил себе прекрасную репутацию в публике тем, что смотрит строго за весами, за мерами, за тем, чтобы русские купцы не мошенничали, без чего они, впрочем, как без воздуха, не могут жить...» (А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. I, Гослитиздат, М. 1955, стр. 262). Введенная Перовским такса на мясо и другие продукты породила, при полицейских методах ее контроля, произвол и вызвала резко отрицательное к себе отношение со стороны населения.

...о водевиле Каратыгине, который в водевиле «Булочная» возвел учение о «таксе» в перл создания.— Впервые водевиль П. А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» был представлен в бенефис автора на сцене Александринского театра 26 октября 1843 г. После этого представления с водевилем произошла «история», о которой П. А. Каратыгин рассказывает в своих «Записках» следующее: «...на другой день бенефиса, неожиданно-негаданно, последовало запрещение повторить «Булочную»... Но так как главный интерес в ...спектакле заключался именно в этой пьесе, то дирекция поручила режиссеру справиться в цензуру о причине этого запрещения. Что же по справкам оказалось? В этом водевиле Клейстер <главное действующее лицо.— С. М.> поет куплет, в котором, между прочим, говорится:

«Сам частный пристав *забирает* // Здесь булки, хлеб и сухари».

Частный пристав Васильевской части — где происходит место действия — вломился в амбицию, приняв слово: «забирать» в смысле брать даром, без денег; он счел это личностью и обратился с жалобой к тогдашнему обер-полицмейстеру Кокошкину; тот доложил об этом министру внутренних дел Льву Алексеичу Перовскому, и в конце концов последовало приказание остановить представление этого водевиля» (П. А. Каратыгин, Записки.— «Academia», Л. 1930, т. II, стр. 54—55).

«*Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce bas monde!*» как сказал некогда Ламартин.— В разных вариантах Салтыков не раз цитирует это изречение, неизменно приписывая его Ламартину, хотя, возможно, оно при-

надлежит швейцарскому философу Ш. Бонне, автору «La contemplation de la nature» (1764).

...перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искушенную бредом).— Речь идет о сравнительной характеристике двух направлений политики правительства в деле привлечения на свою сторону, для борьбы с революционным движением, «общественных сил». Если в период «диктатуры сердца» Лорис-Меликова власти апеллировали, главным образом, к политическому правосознанию либеральных кругов, стремясь обеспечить их союзничество более или менее отдаленными перспективами «увенчания здания», то игнатъевская «народная политика» играла уже не столько на струнке политических реформ (после манифеста «о незыблемости самодержавия» это было и трудно), а на манящих, главным образом, широкие слои крестьянства, экономических реформах. «В крестьянах,— по словам П. Валуева,— усматривалась опора против пробудившихся в высших классах стремлений так называемого конституционального свойства, то есть стремлений к известной доле участия в политической жизни страны». В том же «Дневнике» П. Валуева, откуда взята предыдущая цитата, имеется запись от 4 ноября 1881 г., характеризующая демагогическую охранительную основу «народной политики» и тот откровенный цинизм, с каким она проводилась правительством, в частности в деле о понижении выкупных платежей, на которое Салтыков неоднократно делает намеки в данной главе. «В государственном совете,— записал Валуев,— на днях будет слушаться дело о выкупе. Большинство (в департаментах) в пользу повсеместного понижения,— чтобы возбудить в народе чувства привязанности к государю. Satis. Выходит, что в «народе» и крестьянах, несмотря на катково-аксаковский лозунг «царь и народ» и пр., нужно *бакчишами* возбуждать чувства привязанности; и что рубль за душу составляет для «русской души покупную цену» (П. Валуев, Дневник 1877—1884 гг., П. 1919, стр. 176).

Стр. 266. ...вроде старинных «явных прелюбодеев».— Уголовные статьи царского законодательства о браке и семье не раз подвергались насмешкам Салтыкова, и обыватель, объявленный по суду «явным прелюбодеем», нередко появляется в его сатире (см., например, главу «Органчик» в «Истории одного города»). Трудность получения развода в царской России ввели в бракоразводную практику нечто вроде «касты» подставных лиц, которые за плату принимали на себя звание «явных прелюбодеев» и тем способствовали защите «интересов» нанявших их клиентов.

...«веселие Руси есть лгати».— Сатирическая парафраза слов князя Владимира Святославича «веселие Руси есть пити». Слова эти будто бы (по «Повести временных лет») были произнесены князем при так называемом «испытании веры», в качестве аргумента против принятия киевским государством магометанской религии, воспрепятствовавшей употреблению вина.

Стр. 269. ...целые рои паразитов, которые только и живут, что переполохами да неплатежом арендных денег.— Намек на Каткова, уклонившегося от дополнительного взноса денег за аренду типографии Московского

университета, где печатались «Моск. вед.». Валуев записал в своем «Дневнике» 8 ноября 1881 г.: «Катков добился прекращения иска к нему Московского университета на 33 т. р. Гр. Игнатьев объявил министру народного просвещения повеление прекратить» (цит. изд., стр. 176).

Сознают себя Юханцевыми и Базенами... — О Ю х а н ц е в е — одном из героев громкого процесса растратчиков и аферистов в конце 70-х годов см. выше примеч. к стр. 18, «За рубежом». Маршал Наполеона III Аш. Фр. Б а з е н изменнически сдал в 1870 г. пруссакам крепость Мен с 173-тысячной армией.

Стр. 270. *...припод Аристидов.* — Имя древнегреческого полководца и политического деятеля Аристида, по прозвищу «Справедливый», сделалось нарицательным для обозначения честного, неподкупного государственного деятеля.

Стр. 271. *А ну как в этом «благоразумном» поступке увидят измену и назовут за него ренегатом?* — Темы «благоразумия» и «отрезвления», с одной стороны, «предательства» и «ренегатства» — с другой, занимают в «Письмах к тетеньке» значительное место. Они разработаны здесь разветвленно, представлены многими фразеологическими обобщениями (прежде «бредни» — теперь «распни!» и др.), историко-типологическими обобщениями (40-х и 80-х годов), обличительным материалом против конкретных выразителей линии «измен либерализма» в русской общественной жизни (Катков, Суворин и др.) и т. д.

Письма третье и четвертое

(Стр. 276—292)

Впервые, с нумерацией «III» — ОЗ, 1881, № 11 (вып. в свет 18 ноября), стр. 265—296.

Написано в конце октября — начале ноября в Петербурге. Сохранилась черновая рукопись (№ 198).

Варианты рукописного текста

Стр. 278, строки 28—37. Вместо: «Помнится, впрочем, что <...> смотришь, в опасности» — в рукописи:

И я должен сказать по совести, что как ни узок этот коридор, но ходить по нему можно. Потому что хоть на стенах и написано: «не рассуждай!» и «молчи!» — но зато есть надежда на будущее. За стенами коридора возбуждаются всевозможные жизненные вопросы и возбуждаются не праздню. Работа кипит, вопросы выясняются, и ответы, конечно, не заставляют себя ждать. Естественно, что при таком положении вещей длинные письма к родственникам оказываются неблагоприятными. Ибо что такое мы с вами? — мы люди праздные и несведущие, которые могут только напутать и подорвать разыскания серьезных людей. Однако ж как подумаешь, какая у этих праздных людей сила! Шутя напутал, а солидные предприятия погубить должны!

Строки 38—43. Вместо: «Вы спрашиваете, голубушка <...> Как-то тоскливо» — в *рукописи*:

Вы спрашиваете, голубушка, ладно ли мне живется? — право, не знаю, как и сказать. Ладно-то, как будто и ладно, а все-таки, по моему мнению, постылее житья, нежели то, про которое «не знаешь, как сказать», на свете нет. Ничего особенного, никаких выдающихся трепетов, как случилось в бойкие эпохи, когда страшно, бывало, одному в квартире быть, но и за всем тем как-то удивительно тоскливо, безжизненно, почти безнадежно.

Стр. 279, строки 3—12. Вместо: «Всем как-то все равно <...> И извещение окончено мое...» — в *рукописи*:

На улицах тихо, почти мертво, в самых интимных кружках ведутся разговоры прямо нелепые, неискренние, с оглядкой; идешь [мимо дома, видишь в окне свет,— никак не подумает: вот труженик, который над умственной работой изнывает! а непременно: вероятно, кто-нибудь донос строчит!]¹, за всяким освещенным окном прозреваешь что-то подозрительное, как будто там при свете лампы и среди глубокой тишины созревает донос.

Стр. 280, строки 28—32. Вместо: «Возражают на это, что <...> обвинения нет отпора...» — в *рукописи*:

потому только, что в составе их участвуют «оглашенные свиньи». Положим, что сущность этих обвинений не сопровождается ощутительными последствиями (поэтому-то я и говорю, что жить все-таки ладно), но по чему же, однако, они остаются безнаказанными? Отчего нет им отпора?

Стр. 289, строки 31—32. Вместо: «Благодаря этому <...> но живет» — в *рукописи*:

Правда, что она <литература> — возьмем хоть настоящую минуту — не богата ни выдающимися талантами, ни выдающимися произведениями, но все-таки, пока она не молчит, будущее принадлежит ей.

Стр. 290, строка 27. После: «...способного развиваться» — в *рукописи*:

Точно так же и злобное цыркание. Как бы ни разнообразны были формы, в которых оно проявляется, и как бы различны ни казались цели, которые оно преследует, вся эта кажущаяся разноголосица утопает в одной основной мысли: человеконенавистничество, насилие и оцепенение общественного организма.

Новым письмом «III», разделенном в отд. изд. на письма «третье» и «четвертое», Салтыков возобновил печатание «Писем к тетеньке», прерванное катастрофой с первоначальным письмом «III», вырезанным, по распоряжению властей, из сентябрьской книжки «Отеч. зап.» (см. об этом в разделе наст. тома «Из других редакций...»). Этот инцидент не только нарушил замысел ближайших «писем», но и вызвал у Салтыкова сомнения относительно возможности продолжения начатого цикла вообще. Через неделю по возвращении из-за границы в Петербург Салтыков писал

¹ Текст, взятый в квадратные скобки, в рукописи зачеркнут.

Г. З. Елисееву: «Отечество встретило меня не весьма приветливо: из сентябрьской книжки вырезали мое письмо... И октябрьская книжка выйдет без меня, да, кажется, вообще «Письма» придется оставить. А так как у меня вся мозговая деятельность была направлена в эту сторону, то и не знаю, что дальше будет...»¹

Решив все же продолжать «Письма к тетеньке», Салтыков постарался сделать это сначала по возможности цензурно. Первое по возобновлении «письмо» он назвал в письме к Н. А. Белоголовому «несколько глуповатым», пояснив при этом, что «ничто иное нынче не по сезону»². На языке Салтыкова это означало, что он оказался в необходимости приглушить политическую остроту своего первого, после цензурного конфликта, выступления. Но по силе критики общественного «двоегласия», «безразличия» и «уныния» новое III «письмо» не уступает, а кое в чем и превосходит прежнее, запрещенное. Различие лишь в том, что обличение реакции перенесено здесь в сферу быта и материал лишен открыто демонстрируемых сатирических связей с конкретными явлениями правительственной политики и определенными выступлениями идеологов реакции. Письма «третье» и «четвертое» посвящены ироническому прославлению двух «оазисов» тишины и благонамеренности, из которых «политический элемент» устранен раз навсегда. Первый «оазис» представлен квартирой обывателя, второй — квартирой кокетки. Примечательно замечание Салтыкова, что «и либерал — тоже оазис». Письмо содержит ряд интересных вариаций и формулировок, относящихся к постоянно разрабатывавшейся Салтыковым теме исторического оптимизма, например: «Я убежден, что честные люди не только пребудут честными, но и победят и что на стороне человеконенавистничества останутся лишь люди, вконец раздавленные личными интересами».

Стр. 276. *...отчего не все мои письма доходят по адресу — не знаю.* — Отсюда начинаются многочисленные намеки на цензурную катастрофу, постигшую «сентябрьское» письмо (см. в наст. томе стр. 667 и след.).

Стр. 277. *Писано в 1881 году, когда на «сведущих людях» покоились все упования России, а издано в 1882 году, когда представление о «сведущих людях» сделалось равносильным представлению о «крамоле».* — Примечание появилось в первом отд. изд. «Писем к тетеньке», 1882 г. «Сведущими людьми» на официальном языке эры «народной политики» назывались избранные правительством эксперты из числа предводителей дворянства и земских деятелей, которые дважды, в течение 1881 г., призывались в Петербург. Первый раз, в мае, для обсуждения вопроса о понижении выкупных платежей, второй раз, в сентябре, для обсуждения вопросов питейного и переселенческого. Реальное значение этих консультаций с «местными деятелями» оказалось ничтожным. Однако и эта демагогическая и вполне невинная игра в «представительство», которой за-

¹ Письмо к Г. З. Елисееву от 30 сентября 1881 г.

² Письмо к Н. А. Белоголовому от 19 ноября 1881 г.

нимался гр. Н. П. Игнатьев, была признана вредной и прекращена, когда в мае 1882 г. к управлению был призван «министр борьбы» гр. Дм. Толстой.

...стараюсь быть в ладу с дворниками.— «Положением об усиленной и чрезвычайной охране», опубликованным 8 сентября 1881 г., в Петербурге было введено обязательное дежурство дворников, превращенных фактически в одну из вспомогательных сил политической полиции столицы.

...если бы мы с Вами жили по ту сторону Вержболова...— то есть за границей.

Стр. 278. *...как в те памятные дни, когда, бывало, страшно одному в квартире остаться...*— Имеются в виду апрельские дни «страшного», как назвал его Салтыков, 1879 г. Покушение А. К. Соловьева на Александра II вызвало крутую волну полицейских репрессий и подозрительности.

Стр. 279. *...какой-нибудь современный Пимен строчит и декламирует: «Еще одно облыжное сказанье, // И извещение окончено мое...»*— Сатирическая парафраза начальных строк монолога Пимена из пушкинского «Бориса Годунова».

...среди этой тишины, от времени до времени, раздается полемика, но односторонняя и какая-то чересчур уж победоносная.— Неоднократные, на протяжении всех «Писем к тетеньке», сетования на то, что возможность вести «полемику» предоставлена лишь одной, официально торжествующей стороне, конкретизируется рядом мест в переписке Салтыкова начала 80-х годов. Так, например, в письме к А. М. Жемчужникову от 25 января 1882 г. читаем: «И еще странно: торжествуют Катков, Аксаков и притом торжествуют официально, так что всякое равновесие в борьбе потеряно».

Расплюев.— Этот образ Сухово-Кобылина заимствован, как и ниже образ Кречинского, а также гоголевского Ноздрева из материала запрещенного «сентябрьского письма».

Стр. 281. *...испытать... чувство петролейщика.*— Клеветническое прозвище «петролейщиков» (франц. pétroleurs — поджигатели) было дано реакционно-буржуазной печатью Третьей республики парижским коммунарам.

Вечером — в театре... Жюдик в купальном костюме...— Сатирический пассаж о французском театре легкого жанра почти буквально повторяет рассказы из писем Салтыкова к В. П. Гаевскому и др., посвященные шутивому описанию парижских театральных впечатлений писателя. См., например, письма от 30 августа/11 сентября и от 13/25 сентября 1881 г., а также в воспоминаниях П. Д. Боборыкина «Монрепо» («Салтыков в воспоминаниях современников», стр. 130).

Стр. 282. *«Le monde ou l'on s'ennuie»* — пьеса Эд. Пайерона, поставленная в Париже в 1881 г. Под названием «В царстве скуки» долгие годы шла и в России, на многих столичных и провинциальных сценах.

Стр. 282. ...желтенькие бумажки — кредитные билеты рублевого достоинства.

Стр. 287. *Да и старинные предания в свежей памяти...* — Автобиографический намек на вятскую ссылку 1848—1855 гг.

Стр. 287. *Глумов* — образ из драматургии Островского, настолько, однако, переработанный и прочно усвоенный салтыковской сатирой, что воспринимается как одно из наиболее глубоких и оригинальных ее созданий. Подробнее см. в коммент. к гл. I сборника «Недоконченные беседы» (т. 15, наст. изд., кн. вторая).

...такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина с Лермонтовым, а и Фета с Майковым понимать перестанешь! — Резкость полемических заострений против Фета и Ап. Майкова объясняется как эстетическими взглядами этих поэтов, отрицавших примат общественных интересов в искусстве, так и их политической позицией сторонников консервативного дворянско-помещичьего лагеря. Подробнее см. в т. 5 наст. изд. (по указателю имен).

Стр. 290. *И компарсы ...под гнетом паники, перебегающие через дорогу...* — Здесь франц. слово *comparse* применено для обозначения нестойких, «повадливых» элементов общества, а не народных масс, как на стр. 260.

...лай с Москвы несется. — Имеется в виду публицистика «Москов. вед.» Каткова и «Руси» И. Аксакова.

Стр. 291. *Пафнутьев*. — См. об этом образе в комментариях к письмам «пятому» и «шестому».

...эти земские грамотеи... — Намек на «земские» брошюры Фадеева, Кошелева и др., изданные за рубежом. См. об этом ниже, на стр. 677, в прим. к первой редакции «письма» IV.

Имеяй уши слышати да слышит. — Сентенция из Евангелия (Матф., XI, 15).

Стр. 295. *От гостинодворских Меркуриев...* — Меркурий — бог торговли в древнегреческой мифологии.

Стр. 300. *Вот, стало быть, целых два оазиса. И много таких я мог бы Вам описать, но для этого надо целую ... серию писем.* — Это мимоходом высказанное намерение Салтыков осуществил через два года в серии «Пошехонских рассказов», снабженных презрительно-негодующим эпитаграммой «По Сеньке и шапка». Гиперболическая дерзость сатирика в «Пошехонских рассказах» (в их начале) и в комментируемом повествовании об «о а з и с е» кокотки Ератидушки уясняется в свете статьи Н. К. Михайловского — «Записки современника», гл. IV («О порнографии»), напечатанной в № 5 «Отеч. зап.» за 1881 г. Констатируя наступление в литературе «порнографической весны», как результата реакции, уничтожающей все «животворящие идеи» в обществе, Михайловский восклицает по адресу последнего: «Оно требует порнографии и получает ее!..»

Стр. 304. ...и дамочки нынче какие-то кровопийственные стали. — Строки о «кровопийственных дамочках» взяты из первоначальной редакции «пись-

ма» IV. Они относятся к разоблачениям «Священной дружины». См. ниже прим. к стр. 491.

...письмо мое вышло несколько пестро: жизнь у нас нынче какая-то пестрая...— Эти формулировки легли через три года в основу цикла «Пестрые письма» (см. в т. 16 наст. изд., кн. первая).

Письма пятое и шестое

(Стр. 305—320)

Впервые, с нумерацией «IV» — ОЗ, 1881, № 12 (вып. в свет до 21 декабря), стр. 555—582.

Написано в первой половине ноября (до 19-го) ¹.

Сохранилась черновая рукопись (№ 199).

Варианты рукописного текста

Стр. 305, строки 11—12. Вместо: «Ступай в деревню <...> не утруждай!» — в рукописи:

Разъезжай по соседям и пой пипс dimittis... ²

Стр. 306, строка 23. После: «...его-то нам и надо!» — в рукописи:

Потом, услышав, что в Петербурге образовался «Союз Амалат-беков» с целью воспитания друг друга в духе неробения, а буде возможно, то и в духе премудрости,— кинулся и туда. Думал, что как только он туда явится, так все Амалат-беки и возопиют: А! Пафнутьев! его-то нам и надо! Аи вместо того вышел скандал, потому что секретарь союза, Расплюев, доложил, что это тот самый Пафнутьев, который двадцать лет тому назад брошюру «Имейя уши слышать да слышит!» написал. Его и забаллотировали.

Стр. 309, строка 42 — стр. 310, строка 37. Вместо: «когда наладилось «земство» <...> поняли вполне правильно» — в рукописи:

Они представляли собой признанную культуру, сверх того в уезде еще не утратили привычки повторять их имена. А Вздошников с Карлом Ивановичем так уж на придачу пошли, в виде гамбеттовских новых общественных слоев.

Тем не менее я долгое время и сам сомневался в правильности моих заключений. С одной стороны, мне вполне ясно представлялось, что все эти Дракины, столь неожиданно возведенные в звание излюбленных земских чинов, суть не что иное, как люди, которые, получив от начальства разрешение вылудить все наличные больничные рукомоиники, готовы головы свои положить, чтобы выполнить это поручение; но с другой стороны, представлялось и так: почему же, однако, эти ревностные лудильщики, с первых же шагов своего появления на арену лужения, признаются посевающими в обществе недовольство существующими порядками и подрывающими авторитеты? Или — вы сами, конечно, это помните — до последнего времени

¹ См. письма Салтыкова к Н. А. Белоголовому от 19 и к Г. З. Елисееву от 23 ноября 1881 г.

² ныне отпускаши... (лат.)

не было той губернии, которая не оглашалась бы воплями пререканий между «нашими молодыми, неокрепшими учреждениями» и учреждениями старыми, окрепшими до степени окаменелости.

К счастью, нынче «молодые учреждения» сами настолько окрепли, что нет уже надобности скрывать, в чем тут штука была.

Стр. 321, строка 16. После: «это слово от души ненавидели?» — в *рукописи*:

И как только яд этих ненавистников проник в сердцевину «слова», так оказалась в нем гниль, которая разрасталась и разрасталась, покуда, наконец, не запахло тлением.

Строки 22—25. Вместо: «И как-то особенно быстро <...> сразу нет ничего» — в *рукописи*:

Покуда простодушные люди разводили руками (правда, на этот раз поцелуев не было), люди злокозненные наматывали себе на ус и приспособлялись.

Стр. 331, строки 31—40. Вместо: «Вообще нынче <...> выразить вам не могу...» — в *рукописи*:

Post scriptum. Вы помните, милая тетенька, что к вам, в Ворошилов, приезжала какая-то дамочка и склоняла вашего урядника поступить членом какого-то «Союза торжествующих лоботрясов». Но, не успев будто бы в этом намерении, уехала в Великие Луки, с тем чтоб оттуда пробраться в Опочку и Новоржев.

«Декабрьское письмо» посвящено земству, воплощенному в образе Пафнугиева (либеральные земцы, претендующие на участие в государственном управлении) и в групповых образах Дракиных и Хлобыстовских (реакционные земцы, носители крепостнических идеалов и тенденций)¹. Для уяснения политического смысла и сатирической остроты «письма» необходима некоторая осведомленность в истории земского движения конца 70-х — начала 80-х годов. Годы второго демократического подъема в России явились годами оживления также и среди земских либералов. В их кругах явственно обнаружилось конституционные стремления, достигшие своего апогея в период лорис-меликовской «диктатуры сердца». Но, в конечном итоге, эти стремления оказались, по замечанию В. И. Ленина, лишь «бессильным» порывом «И это несмотря на то, что сам по себе земский либерализм сделал заметный шаг вперед в политическом отношении»². «Классовое бессилие» русского либерализма, его умеренность, нерешительность и лояльность по отношению к самодержавию, а с другой стороны, деятельность органов охраны режима, преследовавших даже ничтожные ростки политического протеста или недовольства, где бы они ни проявлялись, не только свели до минимума значение «земской оппозиции» как фак-

¹ Все эти «фамилии» появились впервые в очерке 1866 г. «Завещание моим детям», вошедшем в сборник «Признаки времени» (т. 7).

² В. И. Ленин, Гонители земства и Аннибалы либерализма.— Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 39.

тора в борьбе за политическую свободу, но и позволили земству еще раз сыграть свою роль «орудия укрепления самодержавия» (Ленни). В 80-е годы по мере углубления аграрного кризиса, толкавшего помещичье хозяйство на путь прямой экономической реакции, помещикам было уже не до конституционных демонстраций, хотя бы и самого невинного свойства. В их среде все более укрепляются крепостнические настроения, и рупором их делаются те самые земства, которые столь недавно провозглашались «защитой гражданских свобод». Именно из земской среды скоро начнут выходить проекты наиболее реакционных контрреформ 80-х годов (например, идея земских начальников), осуществляемых затем правительством.

На этой-то пока еще полускрытой реакционной метаморфозе земства фиксирует внимание декабрьское «письмо», во многом предвосхищая эту метаморфозу, ставшую исторической явью лишь несколько лет спустя. Обличение земства как в данном «письме», так и в ряде других мест цикла, полемически связано с брошюрой генерала Р. А. Фадеева и министра двора гр. И. И. Воронцова-Дашкова «Письма о современном положении России», изданной в 1881 г. в Лейпциге (см. о ней ниже на стр. 670).

Исполненная сарказма критика реакционных и крепостнических тенденций в земстве («стоит только оплошать — и крепостное право вновь осенит нас крылом своим») привлекло к декабрьскому «письму» внимание цензуры. Наблюдавший за «Отч. зап.» цензор Н. Лебедев направил 11 декабря 1881 г. в Петербургский цензурный комитет донесение о «письме», заканчивавшееся следующим заключением: «Из содержания этой статьи явствует, что автор не сочувствует той части прессы, которая за идеал совершенствования России принимает земское начало и которая в земских людях видит краеугольный камень государственной незыблемости и общественного порядка в нашем отечестве. Но представления земских людей в таком мрачном свете, как это делает автор в своей сатире, едва ли может служить причиною к аресту книги...» На другой день отзыв А. Лебедева был доложен Главному управлению по делам печати, которое согласилось с мнением цензора не препятствовать распространению декабрьского «письма»¹. Наличия в «письме» о земстве ряда заимствований из запрещенного «письма» о «Священной дружине» цензура не заметила.

Стр. 305. ...*Пафнутьев из Петербурга воротился*...— В образе Пафнутьева Салтыков еще в «Признаках времени» изобразил тип помещика-либерала конца 60-х годов, превратившегося позднее в либерального земца, который и фигурирует под тем же именем в комментируемом «письме»². Описание «эпопей пафнутьевского пребывания в Петербурге» представляет сатиру на придуманные гр. Игнатьевым надувательские спо-

¹ ЦГНА.Л, ф. 777, «дело» СПб. Цензурного комитета по изд. «Отч. записок», № 60 за 1865 г.; ф. 776, «дело» 1 отд. Гл. упр. по делам печати. № 65 за 1881 г.

² Ср. также использование образа «Пафнутьева» в «За рубежом», где, однако, это имя олицетворяет правительственный «либерализм» 1880 г.

собы «общения правительства с народом» в форме созывов земских «сведущих людей» для участия их в обсуждении некоторых вопросов управления (см. об этом выше, прим. к стр. 277). Двухкратное приглашение в 1881 г. земских «экспертов» в Петербург и их деятельность, равнозначную «толчению воды в ступе», речь Игнатьева 24 сентября 1881 г. (на открытии второго совещания), в которой он демагогически заявил под шумные аплодисменты, что «сведущие люди» призваны для того, «чтобы самые жизненные вопросы страны не были решаемы без выслушивания местных деятелей» («Правительственный вестник», 25 сентября 1881 г.); последовавший почти вслед за этим заявлением резкий отказ удовлетворить ходатайство ряда земских собраний о приглашении их представителей в учрежденную 20 октября 1881 г. так называемую Кахановскую комиссию, имевшую своей задачей как раз «преобразование местного управления»,—наконец, верно-подданнически охранительные адреса тамбовского и саратовского земств (в октябре 1881 г.) — все эти сюжеты, привлекавшие к себе в тот момент большое внимание прессы и общества, и составляют ближайшую конкретно-историческую основу к той части «письма», которая посвящена описанию «неудачного набега земцев в Петербург».

Стр. 306. *«анишанте»*—сокращенная форма приветствия на франц. языке: *enchanté de vous voir* — рад видеть вас.

«Союз Недремлющих Лоботрясов» — одно из наименований в салтыковской сатире «Священной дружины», см. прим. к запрещенной редакции «письма» III, стр. 666 и след. наст. тома.

Стр. 307. *По дороге из Средней Мещанской в Фонарный переулок.*— Эта улица и этот переулок Петербурга были средоточием публичных домов.

Стр. 308. *«Люблю я земщину, но странную любовью».*— Сатирическая парафраза первого стиха «Родины» Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странную любовью».

Вздошников.—Этот «крестьянский» представитель земства скоро превратится в салтыковской сатире вполне закономерно в «купца Вздошникова» (см. «Современную идиллию», гл. 16—18).

...девичью кожу есть...—Средство от кашля, приготавливавшееся в смеси с сахаром и яичным белком.

Стр. 309. *...с самой «катастрофы»...*—Так крепостники называли крестьянскую реформу.

Стр. 310. *...в виде гамбеттовских новых общественных слов.*—Ср. выше, «За рубежом», стр. 153—154.

...лужение больничных рукомыльников...—Опасаясь влияния либерально-оппозиционных элементов в земских учреждениях, правительство передало им, при их учреждении, только хозяйственные дела, касающиеся «польз» и «нужд» данной губернии и уезда. Впервые эту сатирическую характеристику, ставшую классической, Салтыков применил в рассказе 1868 г. «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» (вошел в сборник «Признаки времени», см. т. 7 наст. изд.).

Стр. 312. *...если этот вопрос ныне выдвигается вперед, то ... именно в*

смысле устранения бюрократии (раз навсегда) ... Вот такая махинация скрывается под наивным желанием петь: страх врагам! — Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 гг. вызвал оживление тенденций «олигархического» порядка в некоторых группировках дворянско-помещичьей части земства. Сторонники этих взглядов, наиболее ярко выраженных в упомянутой брошюре Р. Фадсева и И. Воронцова-Дашкова «Письма о современном состоянии России», стремились к дворянско-аристократической «конституции» и были противниками бюрократии. «<На> страх врагам» — слова из царского гимна «Боже царя храни...».

Стр. 314. ...*Лафнютев воротился восвояси, не донохавшись ни до чего.* — Намек на неудачу ходатайств ряда земств о допущении их представителей к работам Кахановской комиссии (см. прим. к стр. 305). Земцы были допущены в комиссию лишь в 1883 г., когда они сыграли там, как это и предсказывал Салтыков, реакционнейшую роль инициаторов и вдохновителей контрреформ 80-х годов.

...и ты, Цезарь (как истая смолянка, вы смешиваете Цезаря с Брутом)! — Со словами «И ты, Брут?» — в шекспировском «Юлии Цезаре» умирающий Цезарь обращается к Бруту, которого он считает в числе своих убийц. «Смолянка» — воспитанница Смольного института — женского привилегированно-аристократического учебного заведения в Петербурге.

Ныне отпущаси... — Из Евангелия (Лук. II, 25—32).

Стр. 315. ...*определяются от короны* — от государства, правительства. «*Слышишь, в роще зазвучали...*» — Из стихотворения Гейне «Серенада», в переводе Фета.

Куроцаны — сатирическое наименование, которым Салтыков пользуется для общего или отдельного обозначения различных чинов дореформенной земской уездной и сельской полиции: исправников, становых, десятских, сотских и др.

Стр. 316. *Печатает в Берлине брошюры.* — См. об этом ниже, стр. 677, в комментарии к первоначальной редакции «письма» IV.

Стр. 318. ...*лоно твоё — как чаша благовонная, и нос твой — как кедр ливанский* — сатирическая реминисценция из «Песни песней» (VII, 3 и 5).

Стр. 321. ...«*содействие*», которое нынче в большом ходу. — Отсюда начинается ряд вариаций и прямых восстановлений текста, вырезанного цензурой «письма» III первоначальной редакции, посвященного разработке темы «содействия». Примечания к отдельным местам этого текста см. в комментарии к названному «письму».

Стр. 322. ...*чиноенничество... прозвало краеугольные камни... не приняло соответствующих мер к ограждению основ.* — Намек на возникшие после 1 марта в некоторых правительственных и реакционно-славянофильских кругах теории о несостоятельности государственного аппарата самодержавия, в первую очередь полицейского, «прозевавшего» нарастающее революционное движение и выполнение приговора «Народной воли» над Александром II. На созванном новым императором Александром III 8 марта

1881 г. заседании Совета министров, государственный контролер Сольский «высказал смелую мысль, что армия чиновников составляет менее твердую опору самодержавия, чем представители всех сословий населения» («Дневник Д. А. Милютина», т. 4, стр. 35). Об этом же говорилось в записке об антиправительственных настроениях, представленной Александру III гр. Игнатьевым, вскоре после его назначения на пост министра внутренних дел. По его мнению, «редкий современный русский чиновник не осуждает правительство и начальство...». На этом основании министр заявлял о существовании «чиновничьей крамолы» и ставил вопрос об очищении государственного аппарата от неблагонадежных чиновников (П. А. Зайончковский, Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов, М. 1964, стр. 393—394).

Стр. 323. ...*аспирации*...— устремления (франц. aspirations).

Стр. 325. ...*вот вам ваш Чацкий, ваш Евгений Онегин, ваши Рудин, Инсаров*.— Эти литературные герои Грибоедова, Пушкина и Тургенева псевдонимически обозначают в данном случае передовые силы русского общества, его свобододолюбивую интеллигенцию.

Стр. 327. *Представьте себе... кого я на днях встретил? — Ноздрев!* — Весь эпизод с «Ноздревым» заимствован, правда в сильно измененном виде (в том числе в социальной характеристике самого Ноздрева), из первоначальной редакции «письма» III.

...*«ел добры щи и пиво пил!»* — Из стихотворения Г. Р. Державина «Осень во время осады Очакова»: «Запасшися крестьянин хлебом //Ест добры щи и пиво пьет...»

Стр. 328. *Губернатор, который... блеснул было на минуту на горизонте, но чего-то не предусмотрел и был за это уволен*.— Намек на «ех-диктатора» — бывшего харьковского генерал-губернатора Лорис-Меликова, «не предусмотревшего» событий 1 марта и за это уволенного.

Стр. 331. ...*фиговидцы*...— идеологи и деятели реакции, не понимающие жизни и вносящие в нее бессмыслицу и хаос (от поговорки «глядеть в книгу — видеть фигу», то есть ничего не понимаю); они же *сикофанты*, то есть клеветники и доносчики (от греч. *συκον* — фи́га и *φαίνω* — вижу, обнаруживаю).

Письма седьмое и восьмое

(Стр. 332—343)

Впервые, с нумерацией «V» — ОЗ, 1882, № 1 (вып. в свет 20 января), стр. 253—284 Начато в середине ноября, закончено в середине декабря¹. Сохранилась черновая рукопись (№ 200).

¹ Письма Салтыкова к Г. З. Елисееву от 23 ноября и к Н. А. Белоголовому от 21 декабря 1881 г.

Варианты рукописного текста

Стр. 335, строки 16—20. Вместо: «То-то что знает <...> мою фамилию назвали» — в *рукописи*:

— Интересовался. На мою беду капельдинер испокон века меня знает. Ведь он хоть и называет меня молодым человеком, а мне шестой десяток пошел... Как же! Театралом был... Андреенова... Смирнова... как капельдинерам меня не знать.

— Да разве он говорил что-нибудь, Дыба-то?

— То-то что говорил. Когда ему меня назвали

Стр. 338, строка 22. После: «...атмосферу миазмами смуты и мятежа?» — в *рукописи*:

Ужели никогда не наступит пора производительности и исследования и не прекратится пора ядовитых мнений, науськивающих содействий и пустопорожних трубных звуков?

Стр. 339, строка 41. После: «...распря, раздор и нравственное разложение» — в *рукописи*:

В том-то и дело, что смута, взволновав и развратив общество, развратила и семью. Она порвала в ней связующий элемент и посеяла в ней не только вражду, но и подлинное горе. Конечно, бывают выжившие из ума старушки (я сам знаю одну такую), которые, слушая рассказы о приключившейся «чепухе», очень простодушно говорят: Это ничего, пускай общество немножко само себя проверит; но ведь не все же выжили из ума, и не всем так легко удается смешивать разврат с проверкою. Есть массы людей, которые не многого требуют у жизни, но которые чувствуют, как горе, великое горе так и ломится в двери убежища, в котором они надеялись укрыться от жизненных невзгод. Есть семьи, которые прямо распадаются, перестают быть семьями, есть другие, которые еще держатся, благодаря авторитету, с одной стороны, и лицемерию, с другой, и, наконец, есть семьи, в которых уж до такой степени внедрилась подозрительность, что недостает только ничтожного повода, чтоб она превратилась в ненависть. Тут речь идет уж не об обществе — пускай себе оно гниет! — а о присных наших, о тех людях, с которыми мы встречаемся на каждом шагу, к которым мы имеем отношения приязни, гостеприимства, общих интересов. Страшно слышать старика, который говорит: я все радовался, что семья есть, а на последях выходит, что лучше, если б ее не было. А такие старики не в редкость.

И что всего страшнее — это то, что на дне этого горького горя лежит сознание самой непроходимой глупости. Когда старики вопияли, видя, как дети их погибают жертвою фанатизма,— это было зрелище ужасное; но стократ ужаснее зрелище вопиющего при виде чада, утопающего в бездне глупости. Старики, ежели они не окончательно искалечены рабством и не вполне выжили из ума, инстинктом чувствуют позор глупости. Встречаются даже такие, которые, будучи уже тронуты рабством, при этом виде приходят в себя и чувствуют нравственное перерождение. Нет ничего унижительнее пошлости уже по тому одному, что она несовместима с подвигом.

Обличения «январского письма» направлены на ту особенность политического быта и общественной атмосферы современности, о которой советский исследователь истории русского царизма говорит: «Период министер-

ства Игнатьева характеризуется широким распространением различного рода провокаций, доносов и предательств. Именно в это время получает свое развитие деятельность жандармского подполковника Судейкина, ведавшего полицией сыском в Петербурге»¹. Характеризуя эту атмосферу, член Государственного совета А. В. Головин в начале января 1882 г. писал Д. А. Милютину: «Манья доносов распространяется во всех слоях общества. Я получаю анонимные письма с доносами на моих лакеев, в том, что они говорят обо мне дурно»².

В письме к Н. А. Белоголовому Салтыков следующими словами раскрывает содержание своей очередной «беседы» с «стенкой»: «Январское письмо, ежели не подгадит цензура, Вам понравится. Идет в нем речь о семейных распрях, как плоде современной внутренней политики. И весело и ужасно в одно и то же время. Вообще, не ручаюсь, что живописую Россию, но что Петербург в моих письмах отражается вполне — это верно»³.

Цензура «не подгадила», хотя отзыв цензора Н. Лебедева был неблагоприятным. «Это пятое письмо,— докладывал он в Петербургский цензурный комитет,— написано в том же пессимистическом духе, как и предыдущие; и в нем Щедрин старается представить жизнь в настоящее время в России в самом мрачном виде, почти невозможную для порядочного, мыслящего человека. Русское общество представляется им кишашим шпионами, соглядатаями, <...> лицами, которые, прикрываясь патристическими стремлениями, готовы предать всякого не разделяющего их точки зрения. <...> трудно догадаться, кого он обвиняет в таком растленном состоянии общества: само ли общество, так низко падшее, или правительство, будто бы поощряющее эти непривлекательные стороны природы человеческой; кажется, он считает одинаково виновным и то, и другое...» Хотя Цензурный комитет и не настаивал на аресте книжки «Отеч. зап.», он все же доложил о статье Щедрина «как характеризующей направление журнала» Совету Главного управления по делам печати. Вмешательство дружественного журналу члена Совета В. М. Лазаревского остановило дальнейшее течение этого дела⁴.

Стр. 333. ...иностранные образцы — западноевропейские конституционные формы государственности.

Стр. 334. Сижу я в «Пуританах»...— Как и в других операх Винченцо Беллини, в «Пуританах» ярко отразились национально-освободительные чаяния итальянского народа. Свободолюбивые мечты, окрашивающие му-

¹ П. А. Зайончковский, Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов, М. 1964, стр. 382.

² Там же.

³ Письмо к Н. А. Белоголовому от 21 декабря 1881 г.

⁴ ЦГИАЛ, ф. 776 — 1) «Дело» канцелярии Главного управления по делам печати, № 35 за 1865 г., лл. 331—333; 2) «Дело» 1 отд. канцелярии Главного управления по делам печати, № 37 за 1881 г. о заключ. члена Совета Лазаревского, л. 21. Выдержки из этих материалов опубликованы в кн.: В. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 93—94.

зыку «Пуритан», способствовали популярности оперы в демократически-оппозиционных кругах петербургской молодежи. По словам «Записок» П. Кропоткина, опера «служила радикалам форумом для демонстраций», в частности, при исполнении тех мест, которые, как это было известно, шли на русской сцене в цензурно смягченном и искаженном виде. Одно из таких искажений приводится Салтыковым, слушавшим «Пуритан» еще в 40-е, а затем в 60-е годы.

Стр. 336. ...*читая Напа...*— Об отношении Салтыкова к этому роману Эмиля Золя см. в комментариях к IV гл. «За рубежом».

Стр. 337. ...*allegro con brio... andante cantabile*— музыкальные термины, указывающие характер исполнения: быстро, с большим одушевлением («с огнем») — в первом случае, в умеренном темпе, певуче — во втором.

Стр. 338. ...*это те люди-камни, которые когда-то сеял Девкалион...*— Сюжетный мотив из греческого мифа, описанного в «Метаморфозах» Овидия. Согласно этому мифу, сын Прометея Девкалион и его жена Пирра были единственными людьми, спасшимися от потопа. Зевс, задумав создать новый людской род, приказал им бросать через плечо «кости великой родительницы» (земли): камни, брошенные Девкалионом, превратились в мужчин, Пиррой — в женщин.

Стр. 339. «*Risum teneatis amici!*» — См. прим. к стр. 79.

Стр. 340. *У Удава было три сына...*— Повествование о истории, случившейся в семье «бесшабашного советника» (уход двух сыновей в революцию), представляет одну из вариаций на остро волновавшую Салтыкова тему о суде истории и потомства, в лице детей, над настоящим. К разработке этой темы Салтыков неоднократно обращался в своих произведениях 70-х годов («Господа Молчалины», «Непочтительный Коронат», особенно «Больное место» и пр.).

Стр. 344. ...*из калмыцкого капитала...*— Начиная с 1834 г. калмыки, ранее не платившие податей, были обложены сборами, зачислявшимися в «общественный калмыцкий капитал». Он хранился сначала в Министерстве внутренних дел, а потом в Министерстве государственных имуществ и стал предметом хищений.

Стр. 345. ...*после аракчеевской катастрофы...*— По-видимому, это выражение следует отнести к потере Аракчеевым после смерти Александра I своего могущества.

...*муравьевцы* — соратники и единомышленники генерал-губернатора Северо-Западного края М. Н. Муравьева, жестоко подавившего восстание 1863 г. в Литве и Белоруссии.

«*А завтра — где ты, человек?*» — Из оды Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского».

Стр. 346. ...*Аракчеев... подготавливал народ к восприятию коммунизма.*— В данном случае Салтыков пользуется словом «коммунизм» (в нарочито обывательской, вульгаризаторской, ради сатирических целей, интерпретации этого понятия как универсальной уравниловки) для обличения той теории

и практики бюрократически-полицейской регламентации и административного попечительства, которыми характеризовались правовой институт и политический быт самодержавия. Своего предела казарменная регламентация жизни достигла в аракчеевской системе «военных поселений». Последние фигурируют у Салтыкова с той же иронической интонацией, как и слово «коммунизм», под именем «ф а л а н с т е р» — идеальных поселений человечества, в социальной утопии Шарля Фурье.

Стр. 347. *А кухня Надежда Гавриловна — помните, мы с вами ее «индюшкой» прозвали?* — Одна из вариаций светских героинь салтыковской сатиры, продолжающая образы «Natalie» из «Круглого года» и той куклы-обольстительницы, которая фигурирует под именем «Индюшки» в «сказке» «Игрушечного дела людшки» («Отеч. зап.», 1880, № 1), на что и ссылается Салтыков.

Стр. 349. *«Умереть — уснуть».* — Слова из монолога Гамлета («Быть или не быть») в одноименной трагедии Шекспира.

...трактир «Британия»... — излюбленное место сходов и диспутов участников передовых кружков студенческой, литературной и театрально-артистической молодежи в Москве 30—40-х годов. Помещалась «Британия» недалеко от Университета на территории, ныне занятой площадью имени 50-летия Октября.

Стр. 350. *Сукрой* — круглый ломоть хлеба, во всю ковригу (Даль).

...оттуда вылетит Иона. — Сатирическая реминисценция евангельского рассказа о трехдневном пребывании пророка Ионы во чреве кита, откуда затем он вышел невредимым (М а т ф., XII, 39—41).

... в Грузии... — село Грузино Новгородской губ. на р. Волхове, резиденция Аракчеева, подарено ему Павлом I. Было одним из центров военных поселений.

Стр. 351. *...вот уже сколько лет сряду, как мне кажется, будто я каждую минуту давясь...* — Прозрачный эзоповский смысл этого признания Салтыкова был сразу же замечен враждебной писателю печатью и послужил предметом «доносительных» выступлений против него В. Буренина, в очередных фельетонах его серии «Критические очерки» в «Новом времени» (№ 2168 от 12 марта и № 2194 от 9 апреля 1882 г.). Отповедь на эти выступления появилась в газете «Светоч» (СПб. 1882, 13 марта, № 23, ст. «Русская печать»).

Стр. 352. *предилекция* — предпочтенье, большая любовь (ф р а н ц. grédilection).

Стр. 355. *...где генералам пустяки читать. Они нынче все географию читают.* — Намек на генерала М. Д. Скобелева, выступавшего в защиту балканских народов против политики Германии и Австро-Венгрии и считавшего, что война с этими государствами явилась бы единственным средством «поправить наше экономическое и политическое положение» («Дневник П. А. Валуева. 1877—1884 гг.», П. 1919; запись от 30 июля 1881 г., стр. 170). В этой связи, в одной из своих речей в Петербургском офицерском собрании в конце 1881 г. Скобелев заявил: «...нам скоро необходимо

будет основательно пополнить наши недостаточные знания географии земель западных». Эта фраза обошла все газеты, попала в заграничную прессу и вызвала много толков.

Стр. 356. *...мои поручики все Зола читают...*— Этот сатирический выпад метит не вообще в Золя, а в Золя как автора «Напа»; см. в наст. томе прим. к гл. IV «За рубежом».

Стр. 357. *...оду на низложение митрополита Михаила написал...*— Митрополит сербский Михаил принимал активное участие в политической жизни страны, был сторонником русской ориентации внешней политики Сербии. В 1881 г. победа австрийского влияния принесла ему отставку со всех занимаемых постов и удаление на жительство из Сербии в Россию.

...генералу Черняеву сонет послал, с Гарибальди его сравнивает...— В 1876 г. «завоеватель Ташкента» генерал М. Г. Черняев, по приглашению короля Милана, стал главнокомандующим сербской армией в войне Сербии с Турцией. Это назначение (оно привело вскоре к поражению сербской армии) дало повод прославянской либеральной печати сравнивать Черняева с Гарибальди. Услышав впервые сопоставление наклонного к авантюризму царского генерала с героем итальянского национально-освободительного движения, Салтыков воскликнул: «Нет ничего общего между Гарибальди и русским генералом Черняевым!» («Салтыков в воспоминаниях современников...», стр. 583).

...Что Баттенберг... Еще бы, об этом даже циркуляром запрещено...— О немецком принце Баттенберге, посаженном русской дипломатией на престол «освобожденной» Болгарии под именем князя болгарского Александра I, см. справку в прим. к «письму первому». Оживленное обсуждение в прессе 1881 г. болгарских событий вызвало издание специального циркуляра Министерства внутренних дел от 29 апреля 1881 года. В этом циркуляре, который и имеется здесь в виду, говорилось: «Ввиду совершившегося в Болгарии поворота и необходимости поддержать князя Александра, потому что удаление его повлекло бы анархию, желательно, чтобы наша пресса относилась с осторожностью к настоящим событиям в Софии, тем более что неосторожные суждения могли бы дурно повлиять на весь Балканский полуостров...»

...И Каравелову крамолу // Пятой могучей раздавил.— В 1881 г., когда глава партии либералов Петко Каравелов был министром-президентом болгарского кабинета, Баттенберг, опираясь на консервативные элементы правительства, при помощи русского генерала Эрнота произвел государственный переворот: упразднил конституцию («Тырновскую»), уволил в отставку Каравелова и заставил его эмигрировать.

Стр. 358. *Вот Хлудов, например,— ведь послал же чудовских певчих генералу Черняеву в Сербию...*— Московский купец А. И. Хлудов, собиратель древнерусских рукописей и книг, был меценатом известного церковного хора Чудова монастыря в московском Кремле.

Стр. 359. *Все на свете мне постыло, // А что мило, будет мило...*— «Тетенька» весьма произвольно вспоминает две строки из стихотворения

Пушкина «Если жизнь тебя обманет...»: «Настоящее уныло.. // Что пройдет, то будет мило...»

Стр. 360. ...*фасонированных ad hoc* — подготовленных к этому (ф р а н ц. *se fasonner à quelque chose*).

Потеха-то — потеха, но сколько эта потеха сил унесет.— Отсюда и до конца «письма восьмого» текст с небольшими изменениями заимствован из первоначальной редакции «письма» IV.

Письма девятое и десятое

(Стр. 363—373)

Впервые, с нумерацией «VI» — ОЗ, 1882, № 2 (вып. в свет 18 февраля), стр. 539—572. Написано во второй половине января¹.

Сохранилась черновая рукопись (№ 201).

В а р и а н т ы р у к о п и с н о г о т е к с т а

Стр. 364, строки 3—8. Вместо: «Но так как Аника <...> горе заключенного» — в *рукописи*:

Счастливо избегнув наказания кошками (не забудьте, однако ж, что он только на этот раз избег, но вообще в его прошлом было кошек очень достаточно), он возмечтал, а возмечтал, принял участие в так называемом бунте военных поселян. За это он был подтвержден в рядовые без выслуги и за малым ростом попал в рабочую команду заведения. Естественно, он обозлился, но обозлился совсем не в ту сторону, то есть не против начальства, а против подначальных. И надо было видеть, с каким остервенением он стерег вверженных ему малолетков-преступников, с каким стоицизмом отвергал гривенники, прилагаемые с целью облегчения участи заключенного передачею ему булки, куска говядины или какого-нибудь лакомства!

Строки 16—25. Вместо: «Сижу, бывало, в классе <...> начальство не одобрило» — в *рукописи*:

Главную темой для стихотворений служило, разумеется, стремление «к ней». Разумеется, я стремился «к ней» с чужого голоса, вместе с прочими стихотворцами, появлявшимися в тогдашних журналах, а начальство полагало, что я стремлюсь от себя, и считало это стремление преждевременным. В результате происходило что-то похожее на борьбу. Сначала я прятал стихи в школьной конторке, но ее обыскивали и находили, что нужно. Потом я стал прятать стихи в рукав, в голенище сапога, в пах — их и там находили. Даже переложения псалмов — и тех не одобряли.

Стр. 365, строки 27—30. Вместо: «Натурально, эту фразу <...> более любили петь» — в *рукописи*:

Эту фразу воспитанники любили петь хором, а в том числе пел и я. Но еще более любили петь на голос «Верую...».

¹ «Третьего дня покончил с февральским письмом, а завтра уже начну мартовское», — сообщал Салтыков Н. А. Белоголовому в письме от 25 января 1882 г.

Стр. 367, строка 13 — стр. 368, строка 23. Вместо: «и сделал это с такую <...> титулярными советниками, а потом» — в *рукописи*:

есть извлечение... и хотя делал это с таким видом, как будто чрезвычайно мне эта фраза нравится, но, в сущности, никак внутренне не мирился с нею. И оподлявшие очень хорошо понимали, но, видя, с какою спартанскою ловкостью я свершаю подвиг юношеской борьбы с «свинством», были вынуждаемы оставлять меня в покое. А в случае, если б они решились, несмотря на мое спартанство, вновь засадить меня в вонючую конурку, то у меня, про запас, были и другие поздравительные стихи.

Теперь, вспоминая обо всем этом, я рассуждаю так: поздравительных стихов я ни под каким видом не должен был писать. Положим, это было выражение покорности вынужденное, но оно имело деятельный характер — вот в чем состоял его порок. Не в том дело, что я покорялся — к этому меня фаталистически вынуждала всемогущая власть инстинкта молодого самосохранения — а в том, что я должен был делать это не деятельно, а страдательно. Я просто должен был просить пощады, без всяких разговоров. Бывают такие случаи: человек в цепях стоит перед цепеналагателем и вопиет: пощади! Бывают даже и такие случаи, когда человек вопиет: пощади! и в то же время цепеналагатель совершенно ясно слышит: нет во всем моем существе ни единого умственного и нравственного побуждения, которое вссцело не презирало бы тебя, цепеналагателя! Эта формула покорности самая правильная, потому что она устанавливает вполне верные отношения. В сущности, цепеналагатель не только презренен, но и бессилен. Презренен — потому, что он, в некотором роде Левиафан, глумится над отдельным субъектом, которого он застал врасплох; бессилен — потому, что он только над такими застигнутыми врасплох личностями и может потешить свое злопыхательство, а над положением вещей никакой власти не имеет. Он вырывает из этого положения ту или другую личность, заковывает ее в цепи, а положение вещей все-таки потом кричит ему в уши: презренный! презренный! Да и закованный человек хотя и смиряется, но все-таки не может всем своим нутром не вопиать: презренный! презренный!

Но тогда до этого еще не додумались, да и взаимные отношения еще не до такой степени обострились, чтобы могло иметь место такое беззаветное озлобление. А в юношеском возрасте и серьезности этой быть не могло. Но все-таки, согласитесь заранее, что писать поздравительные стихи не было никакой надобности.

Стр. 371, строки 26—30. Вместо: «Факты — так себе <...> поприще не судьба» — в *рукописи*:

Факты — читаю, а выводы — всегда пропускаю. Потому пропускаю, что мне кажется, словно я другие и гораздо более верные сам могу сделать. И выходит, стало быть, что старик трудился напрасно.

Стр. 375, строка 34. После: «...благонадежность да неблагоприятность!» — в *рукописи*:

душа-то у вас точно в цепях закована!

Стр. 376, строка 9. После: «...всю Россию не завинил!» — в *рукописи*:

Ест и перечисляет, и чем больше перечисляет, тем больше у него аппетита прибывает. А ясных признаков все-таки не дает, так что как ни верти, а выходит, что неблагоприятный элемент есть неблагоприятный элемент — только и всего.

В этом отношении он напоминает портного, который заказов на новые платья не принимает, а только берет в починку старое. И нима-ло не конфузится этим, а, напротив, утверждает, что в этом-то и заключается настоящая мудрость.

В отличие от большинства других «писем» журнального текста, подвергшихся в отдельном издании более или менее механическому расчленению, «февральское письмо» написано так, что и сюжетно и композиционно оно естественно распадалось на два вполне самостоятельных очерка, которые и получили в дальнейшем наименование писем «девятого» и «десятого». Реальный комментарий устанавливает автобиографичность многих деталей «девятого письма». Рассказанные в нем эпизоды из жизни «одного чистокровнейшего заведения», предназначенного быть «рассадником министров», восходят к сатирически заостренным и обобщенным воспоминаниям о реально виденном и пережитом самим Салтыковым в пору его пребывания в стенах Александровского (бывш. Царскосельского) лицея¹. Но, конечно, когда Салтыков писал эти страницы, он менее всего думал о своей будущей биографии. Лицейские воспоминания понадобились ему ради иных целей. Он воспользовался ими прежде всего как колоритным материалом для создания одной из наиболее блестящих и острых своих сатир на всю систему школьного образования и воспитания в царской России. Однако сатира на школьное воспитание является, в свою очередь, лишь «смысловой поверхностью», «предметным слоем», в котором при продвижении вглубь вскрывается вся окружающая действительность периода реакции. С неотразимо внушающей силой Салтыков заставлял современного себе читателя видеть в образе «ка р ц е р а» — всю тогдашнюю Россию, в галерее образов школьных воспитателей и руководителей — весь аппарат административно-полицейского контроля и чиновничье-бюрократической опеки абсолютистского государства над народом и обществом; наконец, в изображенной системе школьного воспитания, при которой «оподлялись» как воспитуемые, так и воспитатели, — то, по словам Ленина, «массовое политическое развращение населения, которое производится самодержавием повсюду и постоянно»².

Следующее, «десятое» письмо посвящено теме раскрытия окружающей действительности как «жизни без выводов», жизни настолько разорванной и спутанной «современной смутой», что даже обывательский идеал безыдейного благополучия не может быть в ней осуществлен. Это «письмо», не требующее особых пояснений, примечательно сатирическим образом находящегося в борьбе с «крамолой» прокурора надворного советника Сенечки — этого «истинного деятеля современности» и ее «подепшика».

¹ Подробности см. в кн.: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, I, изд. 2-е, М. 1951, стр. 118—170.

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 58.

Стр. 363. *Кустодия* — страж (церковно-слав. от греч. custodia).

Стр. 364. *Многие будущие министры (заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником министров) сживали в этом карцере.*— В Александровском (бывш. Царскосельском) лицее, учрежденном, как гласил устав, для «образования юношества, предназначенного к важным частям службы государственной», учились в одно время с Салтыковым «будущие министры»: А. В. Головин (министр просвещения); М. Х. Рейтерн (министр финансов); бар. А. П. Николаи (министр просвещения) и, наконец, гр. Д. А. Толстой (министр просвещения, обер-прокурор синода, министр внутренних дел).

В отрочестве я имел неудержимую страсть к стихотворному парению...— В автобиографической записке 1878 г. Салтыков сообщал, что еще в первом классе Лицея «почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленною стихотворною деятельностью» (см. в т. 17 наст. изд.). Но большая часть стихотворений не дошла до нас. Ныне достоверно принадлежащими Салтыкову считаются всего тринадцать стихотворений (см. т. 1 наст. изд., стр. 355—361 и 444—445 и в разделе Дополнения и поправки, т. 17). См. выше вариант комментируемого текста, дополняющий ранее известные автохарактеристики юношеских поэтических опытов Салтыкова.

...план был: из всех школяров... сделать Катонов — то есть подготовить государственных деятелей, беспощадных по отношению к политическим противникам самодержавия (по имени госуд. деятеля Древнего Рима Катона Старшего).

Стр. 365. *...наставники и преподаватели были... изумительные...*— Галерея наставников и преподавателей «чистокровнейшего заведения» — портретна. Это все лицейские учителя и воспитатели Салтыкова, хотя и охарактеризованные с гротесковыми заострениями. Воспитатель, взятый «из придворных певчих» — это лицейский гувернер Ф. П. Калиныч; немец, «не имевший носа» — преподаватель немецкой словесности де Олива, француз, «участвовавший во взятии в 1814 г. Парижа и тем не менее декламировавший «à tous les cœurs bien pès que la patrie est chère!»¹ — преподаватель французской словесности Р.-А. Жилле; другой француз, который «страдал какой-то болезнью» — воспитатель А. Бегень; и далее названные собственными своими именами — преподаватели российской словесности П. П. Георгиевский и всеобщей истории И. К. Кайданов.

...«Учебник» начинался словами: «Сие мое сочинение есть извлечение» и т. д.— Этими словами начиналась книга «Руководство к познанию всеобщей политической истории И. Кайданова, профессора истории в Александровском лицее».

¹ Строка из вольтеровского «Танкреда». Она запомнилась Салтыкову со времени обучения в Дворянском институте. См. Макашин, цит. книга, стр. 106 и 499.

ровском лицее». По этой книге, неоднократно переиздававшейся, учился и Салтыков.

...любили петь посвящение... Мусину-Пушкину.— Вот текст этого посвящения: «Его превосходительству, господину попечителю Казанского учебного округа, тайному советнику, почетному члену императорской Академии наук и разных ученых и других обществ члену, орденов: св. Владимира 2-й ст. большого креста, св. Анны 1-й ст., украшенного императорскою короною, и 4-й ст., св. Станислава 1-й ст. и прусских: За заслуги и Железного креста кавалеру, Михаилу Николаевичу Мусину-Пушкину, в знак глубочайшего уважения от сочинителя». Посвящение предпослано книге профессора Казанского университета И. А. Горлова «Теория финансов» (Казань, 1841; СПб. 1845). В 40-е годы книга эта являлась основным руководством по политической экономии для студентов высших школ. Учился по ней в лицее и Салтыков. Позднее Чернышевский жестоко высмеял Горлова— последователя Сея— как представителя архаических, реакционных взглядов в политэкономии (см. его статью «Труд и капитал»). О «посвящении» Мусину-Пушкину Салтыков говорит неоднократно в последующем изложении: см. также в рассказе 1878 г. «Похороны» («Сборник»). В этом рассказе, а также в рукописном варианте комментируемого текста (см. выше) указывается, что воспитанники любили петь это посвящение на мотив главного песнопения православной церкви («Символа веры»): «Верую во единого господа...»

Стр. 366. *Не то ли же, впрочем, видим мы и...*— Подразумевается: и теперь, в наше время. Недосказанность— один из приемов в технике эзопова языка Салтыкова.

Стр. 368. *...перевести (по хрестоматии Тампе) фразу: Новгородцы такали, такали да и протакали...*— Ссылка на «хрестоматию Тампе», из которой Салтыков узнал, в годы лицейского ученичества, о приводимой им исторической поговорке, неточна. Как установил Л. Р. Ланский, имеется в виду следующее пособие: «Дитрих-Август Таппе. Сокращение Российской истории Н. М. Карамзина в пользу юношества и учащихся российскому языку, с знаками ударения и толкованием труднейших слов и речений на немецком и французском языках и ссылкой на грамматические правила», 2 часть, СПб. 1819. Из этого издания память Салтыкова заимствовала как русский текст поговорки, так и сатирически звучащие переводы ее на французский и немецкий языки. Ср. в наст. изд. т. 8, стр. 94 и 500 и т. 10, стр. 176 и 707.

Стр. 373. *...является Сенечка прямо из «своего места».*— Из «своего места»— то есть из судебного департамента Сената, или из судебной палаты и т. д.— вообще из какого-либо учреждения, относящегося к судебному ведомству. Ближайшим образом «Сенечка», принадлежавший «к той неумной, но жестокой породе людей, которая понимает только угрозу»,— тип тех прокуроров, под надзором которых производились в 70—80-е годы дознания и предварительные следствия по так называемым

государственным преступлениям и которым поручалось обвинение в многочисленных политических процессах той поры.

Стр. 374. *Помнится, когда-то один из стоящих на страже русских публицистов, выдергивая отдельные фразы из моих литературных писаний, открыл в них присутствие неблагонадежных элементов и откровенно о том заявил.*— Речь идет о статье В. П. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты», напечатанной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1869 г. Статья содержала ряд скрытых, но достаточно прозрачных политических выпадов против салтыковской сатиры, которая зачислялась в рубрику «неблагонадежных материалов и неблагонадежных понятий». Салтыков тогда же выступил с разоблачением подлинной сути брошенных ему и его «литературной партии» обвинений. В декабрьской книжке «Отч. зап.» за 1869 г. он напечатал (без подписи) резкую полемическую статью программного характера под названием «Человек, который смеется» (см. в т. 9 наст. изд.). Позднее Салтыков несколько раз вскользь возвращался к этим безобразовским обвинениям — в «Итогах», «Убежище Монрепо», «Круглом годе».

Стр. 375. *«Башмаков еще не износила».*—Из монолога Гамлета в 1-м действии трагедии Шекспира.

Стр. 376. *«Штандпункт»* — точка зрения (нем. Standpunkt).

Стр. 379. *...как жених в полночи...*— из Евангелия (М а т ф., XXV, 6).

Стр. 381. *...взял в руки газету, и вдруг... видит: «Увольняется от службы по прошению...»*— Вся эта часть «письма десятого» является сатирическим откликом на живо интересовавшие Петербург 1881—1882 гг. многочисленные перемещения, отставки, увольнения, назначения и т. п. в правительственных сферах, часто совершенно неожиданные для самих увольняемых или назначаемых. Так, например, министр почт и телеграфов Л. С. Маков узнал о своем «упразднении» лишь через день после царского указа и от случайно зашедшего к нему посетителя (см. об этом в «Дневнике» П. Валуева от 19 марта 1881 г.). Эта министерская и чиновничья «чехарда» была вызвана сначала событием 1 марта и последовавшим вскоре кратким периодом резких колебаний правительства, а затем твердым поворотом государственного руля на курс реакции.

Стр. 383. *...приехали какие-то и «пойги» из Вильманстранда.*— «Пойга» — мальчик, юноша (по-фински); Вильманстранд — в то время город Выборгской губ. (по-фински Лаппенранта).

Письма одиннадцатое и двенадцатое

(Стр. 396—410)

Впервые, с нумерацией «VII» — ОЗ, 1882, № 3 (вып. в свет 18 марта), стр. 251—280. Начато не ранее 26 января — закончено в феврале¹.

¹ Письмо к Н. А. Белоголовому от 25 января 1882 г.

Сохранилась черновая рукопись, без начала (№ 202). В конце ее (л. 5 об.) записи карандашом, рукою Салтыкова: «Не понимают благородных идей. Безграмотность (письмо). Говорят, что я повторяюсь.— [Нельзя] (Надо кол на голове тесать). Что такое человек? Прежде говорили, что человек смертен. Ныне прибавляют: и сверх того подлежит искоренению».

Варианты рукописного текста

Стр. 411, строка 17. Вместо: «или даже у Кокорева» — в *рукописи*: или у Мальтуса.

Стр. 414, строка 41. После: «...все-таки надо... да-с!» — в *рукописи*:

Однажды, впрочем, и Расплюев рискнул свое слово вставить, предложив вопрос:

— А как же насчет врачевания? Ежели теперича все огнем поналить, да мечом порубить — стало быть...

На это Ноздрев совершенно ясно и вразумительно ответил:

— Вот именно это самое я и хотел сказать.

[После чего все недоразумения моментально исчезли, публика начала подниматься из-за стола, чтоб рассеяться по другим комнатам. Здесь Ноздрев все-таки не переставал быть центром и все говорил, все говорил.

— Прежде всего необходимо опознаться, потом сосчитаться, а наконец, и ударить разом со всех сторон: с фронта, и с тыла, и с обоих флангов.

Или:

— Невод необходимо заводить так, чтобы сразу уловить все подлежащее уловлению. Если же мы будем вытаскивать по одному пискарю на улов, то даже через тысячелетие хорошей ухи мы не соберем.

Однажды в видах большей убедительности он даже попытался иллюстрировать свои сентенции анекдотом:

— В последнюю войну,— начал он,— будучи в Систове в качестве чиновника по интендантской части...

Но сейчас же спохватился и махнул рукой, точно отгоняя дьявольское наваждение, присвокупил:

— Только те, которые истинно любят свое отечество, могут понимать, сколь сладко может волновать это чувство патриотические сердца.

Одним словом, Ноздрев торжествовал на всех пунктах; но Грызунову показалось, что раут его как будто начинает заминаться и что некоторые из гостей даже избегают кабинета, в котором Ноздрев расположил свою главную квартиру. Под влиянием этой мысли он выдвинулся вперед]¹.

Стр. 415, строки 25—27. Вместо: «Прежде всего <...> тучность, царь-пушкой» — в *рукописи*:

Прежде всего, была призвана к содействию «Дама из Амстердама», причем оказалось, что она совсем не голландка, а наша соотечественница, девица Анна Ивановна Астраханская, прозванная «Дамой из Амстердама», потому что в песне поется: «Ехал принц Оранский через реку По, // бабе Астраханской отпустил бомо».

Стр. 415, строка 32. После: «...обращаясь к Ноздреву» — в *рукописи*:

¹ В квадратные скобки взят зачеркнутый текст.— *Ред.*

Это обращение к Ноздреву было очень ловко со стороны Грызунова, потому что Ноздрев в противном случае мог обидеться. Он составлял great attraction этого вечера и собственно с этою целью был приглашен. Следовательно, всякое вмешательство побочного «развлечения» могло только доказывать, что главная приманка не удовлетворила своему назначению. Грызунов очень тонко понял эту штуку, и Ноздрев, с своей стороны, тоже отнесся к его приглашению очень благосклонно.

Подвергнув в предыдущих «письмах» сатирической критике реакцию в различных формах ее политического и бытового выражения («народная политика», «призыв к содействию», земство, суд, семья и т. д.), Салтыков переходит к обличению «реакционного поветрия» в сфере идеологии. Главная тема «мартовского письма» — вторжение «улицы» в литературу (собственно, в газету) и буржуазного расчета и приспособленчества в науку. «Улица» — важное понятие-образ в поэтике и «социологии» Салтыкова. Впервые это иносказание появилось в его сочинениях конца 60-х годов (статья «Уличная философия»). Оно обозначало общественное мнение «толпы», ближайшим образом полуинтеллигентной, городской, не освещенное светом сознательности и передового идеала. Объективно возникновение и развитие «улицы» — своего рода «массовой культуры» того времени — было одним из явлений, сопутствовавших пореформенному процессу вовлечения страны в орбиту интенсивного буржуазно-промышленного развития. Пролетаризация многомиллионных крестьянских масс, рост городов, стремительное развитие капиталистической индустрии быстро и масштабно расширяли социальную базу грамотности и полуобразованности среди городского, особенно столичного, населения.

В конкретных исторических условиях начала 80-х годов политическая реакция и ее идеологи — с одной стороны, укреплявшаяся отечественная буржуазия и ее печать — с другой стороны, стремились использовать «улицу» в своих интересах, и не безуспешно. Именно «улица» — полуинтеллигентный, шовинистически настроенный обыватель — создала в 70—80-е годы огромный успех суворинскому «Новому времени», вызвала к жизни бульварные газеты «Свет», «Минута» и др., а в художественной литературе поддерживала не Салтыкова и не Толстого или Достоевского, а быстро канувших в Лету Авсеенок, Маркевичей, Дьяковых-Незлобиных. Однако в понимании Салтыкова «улица» являлась конкретным носителем реакции в качестве ее страдательной, а не активно-сознательной и направляющей силы (как, например, дворянско-помещичья среда). Поэтому-то Салтыков, жестко обличая «улицу», не произносит, однако, над этой враждебной ему силой («в том виде, как мы ее знаем») окончательного приговора. Он не только не отказывает «людям толпы», «людям улицы» в будущем, но, стремясь предугадать линию дальнейшего движения, предвидит для «улицы» «новый и уже высший фазис развития», который выведет ее из-под власти «Ноздревых» — все той же реакции и превратит ее в положительную и созидательную силу. В этой смелой постановке вопроса о будущем

«улицы», чьи «идеалы» только что сближались с охранительным кодексом «управы благочиния», ярко сказывается характернейшая черта мировоззрения Салтыкова — демократа и просветителя, — его постоянная борьба за пробуждение масс к сознательной жизни, за их идейное воспитание, с целью вырвать эту социальную силу из плена темноты и страдательного служения реакции и заставить ее работать в направлении прогрессивных общественных идеалов.

Стр. 396. *«Помои» — издание ежедневное.* — Наименованием «Помои» Салтыков заклеймил как газеты реакционного лагеря, злобно и клеветнически выступавшие против освободительного движения и его деятелей, так и буржуазную печать, отмеченную чертами беспринципности, продажности, торгашества. В конце 1879 г. Салтыков писал П. В. Анненкову: «Я — литератор до мозга костей, литератор преданный и беззаветный — и, представьте себе, я дожил до «Московских ведомостей», «Нового времени», дожил до того, что даже за «Голос» берешься как за манну небесную. Думается: как эту ту же самую азбуку употреблять, какую употребляют «Московские ведомости», как теми же словами говорить? Ведь все это, и азбука и словарь, — все поганое, провонялое, в нужнике рожденное. И вот, все-таки теми же буквами пишешь, какими пишет и Цитович, теми же словами выражаешься, какими выражаются Суворин, Маркевич, Катков!» (письмо к П. В. Анненкову от 10 декабря 1879 г.). Страстным презрением, звучащим в этой диатрибе, напоено и сатирическое выступление против «помойной» прессы в «мартовском письме». Ближайшим прототипом для ноздревских «Помой» послужило суворинское «Новое время». В статье 1912 г. «Карьера» Ленин писал: «Новое время» Суворина на много десятилетий закрепило за собой <...> прозвище «Чего изволите?»¹. Эта газета стала в России образцом продажных газет. «Нововременство» явилось выражением, однозначным с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалимство. «Новое время» Суворина — образец бойкой торговли «на вынос и расписочно». Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 44). Указание, что Ноздрев «осуществил свое намерение» о выпуске «новой газеты», в которой «все новости самые свежие будут получаться <...> из первых рук, немедленно и из самых достоверных источников», следует сопоставить с такими словами Салтыкова из письма его к Белоголовому, относящемуся как раз ко дням начала работы над 11-м «письмом»: «А псы Краевский и Суворин процветают. Последний получил разрешение издавать еще газету — в Москве. Вероятно, это будет вроде перепечатки «Нового времени», по сути в том, что телеграммы будут получаться в Москве и за Москвой раньше. На этой струне играли «Московские ведомо-

¹ Прозвище это также создано Салтыковым. См. «В среде умеренности и аккуратности» («Господа Молчалины»), гл. I, «Круглый год», гл. I, и др. — *Ред.*

сти», и в этом смысле Суворин, вероятно, нанесет им удар. И то хорошо, что хотя одна гадина съест другую» (письмо к Н. А. Белоголовому от 25 января 1882 г.).

...*Главный воротило в газете — публицист Искарриот.*— Намек на Иуду Искарриота революционного движения Дьякова-Незлобина, проделавшего путь от участия в нечаевском кружке 70-х годов и эмиграции к ренегатству. Еще находясь за границей, Дьяков напечатал в 1875—1876 гг. в катковском «Русск. вест.» ряд грязных пасквилей на деятелей революционной эмиграции (вышли в 1881 г. сборниками «Рассказы» и «Кружковщина»), был затем корреспондентом «Моск. вед.» в Сербии, в 1880 г. вернулся в Россию и стал соредактором и основным сотрудником в казенно-полицейской газете «Берег», издававшейся в 1880—1881 гг. одним из публицистов крайней реакции П. Цитовичем (см. о нем в комментарии к «За рубежом») на средства департамента полиции. Принято думать, что именно «Берег» и изображен в «Помоях», а его редактор-издатель Цитович — дан сатирически в образе «Ноздрева». Такое представление неправильно. Этот казеннокоштный орган «истинно русской мысли» с самого начала своего короткого существования дискредитировал себя решительно во всех прослойках читательской аудитории, не сумев даже оказать услуг государственному аппарату самодержавия и был закрыт в 1881 г. за ненадобностью; он не имел, строго говоря, никакого влияния и «прсславился» лишь непристойно-грубой, хулиганской «словесностью» по адресу либерально-радикальной журналистики. Салтыковская сатира была по более могущественным и активным силам реакционной и буржуазной печати — все тем же «Моск. вед.», «Новому времени» и др. «Берег» же затронут в ней лишь мимоходом, как совпадавший по основному тону с названными органами и вообще с «уличной» литературой.

Стр. 397. *«Ах, почто за меч воинственный // Я свой посох отдала?»* — Из «Орлеанской девы» Шиллера в переводе Жуковского (4-е действ.). Выбор текста связан, возможно, с темой о «кровопийственных дамочках». См. ниже прим. к стр. 491.

«Урожденная Сильвулле» — «Урожденная Пожалуйста» (ф р а н ц. s'il vous plaît).

Стр. 398. *Статья подписана: «Бывший начальник штаба войск эфиопского принца Амонасро из «Аиды».*— Намек на националистическую публицистику неоднократно упоминавшегося уже генерала Фадесва, который одно время командовал армией египетского хедива в Африке.

Искарриот... разбирает по суставчикам газету «Пригорюнившись сидела».— Под этим псевдонимом подразумевается печать либерального лагеря: «Голос» (Краевского), «Порядок» (Стасюлевича) и др. Газеты этого направления отрицательно относились к революционному движению 70—80-х годов, что не спасало их, однако, от самых резких обвинений в политической неблагонадежности, в «проповеди анархии» и т. п. как со стороны реакционной прессы, так и со стороны цензуры (обе названные газеты после многократных цензурных кар были прекращены властями).

«Воззри в лесах на бегемота...» — Из «Оды, выбранной из Иова...» Ломоносова.

Стр. 400. *По всякому вопросу непременно писать передовую статью...*— Намек на знаменитые передовицы «Моск. вед.», писавшиеся Катковым в течение почти двух десятиков лет ежедневно по самым разным вопросам внутренней и внешней политики (отдельно изданные эти «передовые» заняли 25 объемистых томов большого формата).

...*Прямо от своего имени объявляет войны, заключает союзы и дарует мир.*— Намек на того же Каткова, точнее, на то исключительное влияние, которое он приобрел как вдохновитель и трубадур реакции, на внутреннюю и внешнюю политику Александра III.

Стр. 403. *...два-три исключения...*— К таким «исключениям» Салтыков бесспорно относил Л. Толстого, Тургенева, Гл. Успенского, а также, несомненно, самого себя.

«Последние тучи рассеянной бури».— Неточно из стихотворения Пушкина «Туча».

Стр. 405. *Ego vos!* — Неточно (нужно Quos ego!) из «Энеиды» Вергилия; грозный окрик Нептуна разбушевавшимся стихиям.

Стр. 407. *...слогом литератора-публициста Евгения Маркова.*— Выпад против критических статей этого писателя (ранее близкого к демократическому лагерю, потом отошедшего от него), в которых он выступал апологетом теории самодовлеющего искусства. В статье «Когда же наступит мир в литературе?» («Голос», 15 декабря 1881 г.) Марков, резко выступая против Некрасова и созданной им «поэзии злободневности», противопоставляет ей «безмятежную музу Пушкина» и спрашивает: «не пора ли нашей литературе отдохнуть от опустошающих споров «минуты» под сенью гения Пушкина?» Эти слова в легкой перефразировке и с очевидным намеком также на юбилейные пушкинские статьи Каткова в «Московских ведомостях» 1881 г. прямо используются Салтыковым несколько выше, там, где он пишет: «Ведь это только шутки шутят современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть под сению памятника Пушкина».

Стр. 409. *Я признаю, что в современной русской литературе на первом плане должна стоять газета и что в этой газете должна господствовать публицистика подсиживания, сыска и клеветы.*— Газетное дело в России, после отмены крепостного права, быстро оказалось (за исключением официальной казенной печати) в подчинении стремительно развивавшегося капитализма. Уже первым русским буржуазным газетам «Голосу», «С.-Петербургским ведомостям», «Новому времени» и др. были присущи черты их европейских собратьев — торгашество, оппортунизм, беспринципность. Попытки литераторов революционно-демократического лагеря, в частности, Некрасова, создать газету своего направления пресекались цензурой. Сказанным объясняется отрицательные суждения Салтыкова о современной ему газете и «газетности» в литературе. Подробнее см. в статье: С. М а к а ш и н, Щедрин о положении и задачах литературы.— «Лит. наследство», т. 11—12, М. 1933, стр. 327 и след.

Стр. 410. *Грызунов — мой школьный товарищ и по призванию эконо-*

лист.— В образе Грызунова дана острая сатирическая зарисовка одной из характерных фигур в галерее новой буржуазированной интеллигенции пореформенной России. Натурой при создании образа «Грызунова» Салтыкову послужила отчасти фигура известного экономиста и публициста либерального лагеря В. П. Безобразова. Он был своего рода ученым экспертом по экономическим вопросам при царском правительстве, равно как и при российской буржуазии. В течение десятков лет Безобразов являлся постоянным участником всех официальных и официозных совещаний по вопросам финансовому, банковскому, кредитному и т. п., организатором всякого рода «экономических экспедиций» и «статистических обследований», или «раутов», с участием виднейших представителей делового мира (современники прощически называли эти собрания «экономическим парламентом»), неутомимым публичным лектором, профессором (впоследствии и академиком) по кафедре финансового права и политической экономии и одновременно «по высочайшему желанию» преподавателем этих предметов для великих князей. Деятельность Безобразова не раз давала Салтыкову красочный материал для сатирической разработки темы самоудовлетворенной «благонадежности», а также приспособленчества науки к самодержавной власти и к денежному мешку (см. памфлет 1869 г. «Человек, который смеется», а также образы Велентьева и Полосатова в «Господах ташкентцах» и «Недоконченных беседах»). Безобразов был младшим лицейским товарищем Салтыкова (о чем говорится и в комментируемом тексте). Недолгое время, сразу по возвращении из вятской ссылки, Салтыков жил в Петербурге в одном доме с Безобразовым и был с ним дружески связан.

...дано прозвище восьмого мудреца...— Семью мудрецами называют полупоупендарных мудрецов Древней Греции, живших в VII и VI вв. до н. э. Они излагали свои мысли в кратких образных изречениях (гномах).

Стр. 411. ...пожалуйста, Иван Александрыч, министерством управлять! — Парафраза из «Ревизора» Гоголя.

Стр. 412. ...*fugaces labuntur anni*...— Усеченная цитата из Горация («Оды», 11, 14, 1—2): «Eheu! fugaces, Postume, Postume, labuntur anni» («Увы! мимолетно, Постумий, Постумий, проносятся годы». — Перев. А. Фета).

...«тушинцы» — самозванцы (от «Тушинского царька» — прозвище второго самозванца в эпоху Смутного времени).

Стр. 416. ...Мижугу (племянник Ноздрева)...— У Гоголя — не племянник, а зять Мижугува.

...Под вечер осени ненастной...— Неточно из «Романса» Пушкина.

Стр. 417. ...это было смятение чисто библиографического свойства.— Страницы, посвященные издевательствам над «библиографами» или, как точнее определили бы мы сейчас, — над текстологами, являют собою один из блестящих образцов салтыковской сатиры на «ученую» схоластику, заменяющую подлинное изучение материала механической регистрацией мелочей, бездумным фактографированием. Реальный комментарий раскрывает эпизод с «библиографами» как сатирическое выступление Салтыкова в раз-

горевшейся в 1880—1881 гг. газетно-журнальной полемике вокруг выходившего тогда нового издания сочинений Пушкина под редакцией П. А. Ефремова. (См. существенную для реальной расшифровки салтыковского текста статью П. Анненкова «Новое издание сочинений Пушкина»; вошла в сборник: «П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 424—447.)

...приносим нашу искреннейшую благодарность покойно...у библиографа Геннади.— Известный библиограф и библиофил, Г. Н. Геннади, упоминается здесь как неудачливый редактор собрания сочинений Пушкина (1869—1871 гг.). Это издание принесло ему скандальную славу, выраженную С. А. Соболевским в эпиграмме: «О, жертва бедная двух адových исчадний: // Тебя убил Дантес и издает Геннади».

Стр. 418. *Мартын Иванович Задека*.— Имя этого полуполюгендарного составителя популярнейшего в начале XIX столетия сочинения, содержавшего толкователь снов и гадательную книгу, используется для сатирической персонификации деятельности пресловутой «подкомиссии сведущих людей по устройству питейного дела», созданной гр. Игнатьевым (см. выше, прим. к стр. 305).

Стр. 419. «*Коль славен...*» — Первые слова православного гимна «Коль славен наш господь в Сионе...».

Стр. 420. «*...командированный чин*» — секретный агент политической полиции.

Стр. 422. *Аттанде-с* — подождите (ф р а н ц. attendez), карточный термин, входит в эпитаф гл. VI «Пиковой дамы» Пушкина.

Письма тринадцатое и четырнадцатое

(Стр. 425—441)

Впервые, с нумерацией «VIII» — в ОЗ, 1882, № 4 (вып. в свет 19 апреля), стр. 531—556. Написано в марте: «...хотел непременно кончить «Письма к тетеньке» в апрельской книжке...— сообщал Салтыков Г. З. Елисееву 28 марта.— А выходит, что конца не вышло. Написалось мало, и заключение пришлось отложить до мая».

Сохранились черновые рукописи №№ 203 и 204.

Варианты рукописного текста

Стр. 427, строки 35—38. Вместе: «Не говоря уже о том <...> силу поучения» — в рукописи:

Как это ни странно кажется, но в действительности явление это поясняется очень просто тем, что под слоем угнетения и преследований всегда трепещет возвышенное чувство, возвышенная мысль, которые обладают изумительную живучестью. Такую живучестью, что самые окрепшие идеалы благочиния, строгости и строгости, преподаваемые Удавом и Дыбою к непоколебимому исполнению, не в силах задавить их. Совсем напротив: преследование сообщает возвышенной мысли своеобразную силу, силу страдания, самоотвержения, примера. Ввиду этой борьбы, которая, в буквальном смысле, даже борьбы не представляет, улица невольно задумывается и обращается к тем лучшим инстинктам, которые таятся в ней. Эта задумчи-

вость, это обращение к лучшим инстинктам и есть первая победа возвышенной мысли над идеалами благочиния.

Стр. 428, строка 24. Вместо: «одурманивает» — в *рукописи*:

достигает известных размеров, повергая общество в состояние оупения, граничащее с шемящей тоской.

Стр. 429, строка 21. Вместо: «Подумайте! ведь» — в *рукописи*:

Не говоря уже о том, что картина общественной одичалости сама по себе представляет нечто в высшей степени позорное (я знаю, что этим соображением не всякого проймешь).

Строки 32—37. Вместо: «мы в ту же минуту <...> но и прямо постылю?» — в *рукописи*:

и дело общественного освежения двинется беспрепятственно к вожденному концу. Но именно «содействия»-то и не является, а не является оно потому, что общество, подавленное непрерывной паникой, утратило вкус к благородному мышлению, что ему нечего извлечь из себя, нечего предложить, кроме того же «шнворота», которого и без того не занимать стать, благодаря неистощимым запасам, накопленным идеалистами благочиния.

Согласитесь, что при этих условиях жить не только трудно, но просто противно, бесплодно, тоскливо...

Строка 42. Вместо: «восклицал» — в *рукописи*:

подвергал меня поруганию и бичеванию за то, что я сомневаюсь в приятностях жизни, оголенной от благородных мыслей и побуждений.

Стр. 435, строки 23—25. Вместо: «А вдруг я пожалуюсь <...> ободрился» — в *рукописи*:

Взглянул на меня, думал, не прочтет ли чего-нибудь в сердце моем, но вспомнил, что очки, с помощью которых он читал в книге сердец, остались в вверенном ему крае, и пошел наудалую.

Стр. 436, строка 32 — стр. 437, строка 10. Вместо: «объяснив, что легкомыслие его <...> этот замечательный документ» — в *рукописи*:

сказав, что вся беда в том, что до сих пор он был знаком с законами больше понаслышке, но что теперь, воротившись <в> вверенный ему край, он постарается восполнить этот недостаток кадетского воспитания, а покамест дает мне слово не только не сквернословить насчет диктатуры сердца, но радоваться ей.

И действительно, с этих пор он стал обнаруживать то неблагородное благородство, которое у людей, случайно обратившихся, нередко принимает назойливые и даже неприличные формы: начал закатывать глаза, прижимать руку к сердцу, заигрывать с кельнерами, так что я вынужден бывал сдерживать его и разьяснять, в чем должна состоять помпадурова радость и какие ее проявления могут считаться приличными и какие — неприличными.

Наглотавшись воды, он возвращался в свой номер и садился за писание циркуляров. Каждый день он положил себе писать по одному циркуляру и, выполнив эту задачу, бежал показать написанное мне. Один из этих циркуляров я догадался списать и охотно поделюсь им с вами. Вот он:

Стр. 437, строка 27 — стр. 438, строка 29. Вместо: «Сознаюсь откровенно <...> попотчевал я его» — в *рукописи*:

Вы, может быть, удивитесь, милая тетенька, но я совершенно искренно говорю: право, циркуляр хоть куда. Конечно, редакция подгуляла, но не нужно забывать, что и мысль, руководившая помпадуром, не вполне благородная, но имеет источником благородство, едва отрешившееся от неблагородства, или, говоря другими словами, благородство неблагородное. Со временем, когда необходимость сорадоваться начальникам окончательно выяснится для помпадура, все эти шероховатости сгладятся, пропуски исчезнут, и знаки препинания сами собой уставятся по местам.

Все это я высказал и самому помпадуру, когда он меня спросил:

— Ну-с, как полагаете?

— Лучше, нежели я ожидал,— ответил я.— Спрячьте, и когда возвратитесь в вверенный вам край, то покажите правителю канцелярии: он что нужно исправит. Но главное, продолжайте упорствовать в благородных мыслях, ибо только это одно может доставить вам победу над синтаксисом и грамматикой. Затем позвольте мне предложить вам порцию мороженого.

Стр. 443, строка 38 — стр. 444, строка 3. Вместо: «Повторяю, человек ни к чему <...> скрепляют и подтверждают его» — в *рукописи*:

Но эти мысли и чувства — любимые, и в этом заключается вся тайна того, что повторение их не представляется назойливым. Человек любит возвращаться к предметам, которые всего ближе затрагивают его существование, и никому не кажется это удивительным. Столь же мало удивительного и в том, что люди, болеющие одними болями, не видят ничего неестественного в том, что им напоминают об этих болях. Ведь не для того же только напоминают, чтобы бередить живые раны, а для того, чтобы вызвать в сердцах сознание о необходимости их уврачевания. Современный человек страдает от этих болей, а опыт прошедшего указывает ему, что исцеление не там, где указывают откормленные обитатели хлевов. Он с гадливостью прислушивается и к хрюканью торжествующей свиньи, и к визгу ликующих поросят, и с благодарностью относится к голосам, которым хоть мало-мальски удастся заслонить это злоеющее хрюканье.

[Все, высказанное выше, давно уже у меня на душе, и я давно уж собираюсь высказать, что творческие мои претензии настолько скромны, что даже явное недоброхотство некоторых из моих ценителей трогает меня единственно своею назойливостью. Когда меня называют безнравственным человеком, идиотом и чуть не сообщником убийц — это до того глупо, что, право, даже не обидно; но скучно, что Мараты Охотного ряда да и метеоры <?> Ножевой линии сделали для себя из этого какую-то профессию. Скучно и гадко, что есть какая-то сила, которая дает возможность отребью человечества безвозвратно лгать и клеветать.]¹

На полях этой страницы вписано карандашом:

Я ничего своего, лично мне одному принадлежащего не говорю; а говорю только то, чем болеет в данную минуту всякое честное сердце. Человек, который сознал что-нибудь, любит, чтоб ему повторяли, и, всегда храня в сердце рану, любит, чтоб ему напоминали об ней.

«Апрельское письмо» разрабатывает темы, имеющие характер выводов из предыдущего изложения. Ставятся вопросы об «умалении благородного мышления», о «вольной» печати российской реакции за рубежом и др. Но главными примечательными особенностями «апрельского письма» являются два сюжета. Это, во-первых, глубоко диалектическое размышление Салты-

¹ В квадратные скобки взят зачеркнутый текст.— *Ред.*

кова о прогрессивном значении реакционных периодов, сообщающих преследуемой передовой мысли «новую и своеобразную силу: силу поучения»¹. Это, во-вторых, одно из главных программных выступлений Салтыкова о предмете и назначении своей литературной деятельности. Выступление это явилось ответом на одну из тех ожесточенных атак, которым подвергался Салтыков весной 1882 г. со стороны реакционного лагеря (см. ниже в прим.).

Стр. 428. *...съезжий дом* — полицейская управа, а также помещение для арестованных при полиции.

Стр. 429. *...не дальше как на днях... я подвергся поруганию.*— Имеется в виду состоявшееся 2 марта 1882 г. в Москве («в доме княгини Трубецкой, что в Большом Знаменском переулке») публичное чтение некоего И. Н. Павлова², креатуры Каткова, имевшее своим предметом, как гласили газетные объявления, в «Руси» и «Моск. вед.» (см., напр., в № 60), «последние произведения Щедрина», то есть «Письма к тетеньке». Салтыков узнал о содержании этого резко враждебного ему выступления из отчета о павловском «чтении», который не замедлили поместить «Моск. вед.» в № от 5 марта. Текст отчета необходимо привести здесь, так как ряд мест «апрельского письма» и следующего построен на явной и полускрытой полемике с положениями, заимствованными непосредственно из отчета. Приводим его: «Третье чтение И. Н. Павлова о современной литературе, происходившее 2 марта, было посвящено разбору ложных видов литературы, являющихся оттого, что в литературное, то есть в поэтическое, художественное произведение вносятся чуждые ему политические, социальные и научные задачи. Единственное назначение литературного произведения, по словам г. Павлова, поддерживать и оживлять веру в вечные разумные и нравственные законы. Добиваться посредством изящной литературы какой-либо другой пользы, значит, исказить ее сущность. Как на одного из главных представителей ложной политическо-социальной литературы г. Павлов указал на Щедрина, который, избрав своим орудием сатиру, придал ей смысл, обратный тому, какой должна она иметь. Вместо того, чтобы показывать ничтожность частных уклонений от общего нравственного закона пред самим законом и возбуждать таким образом смех над бессилием и нелепостью этих уклонений, Щедрин направляет смех на веру в нравственный закон и, исходя из частных, отрицает общее. Но и самые частности, изображаемые в его сатирах, принадлежат не настоящей действительности, а какой-то им вымышленной и невозможной. Ложь сатиры Щедрина очевидна, и она не выдержит самой пристрастной

¹ Ср. с этим размышлением Салтыкова замечание Ленина о том, что революционеры «далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 331).

² Критик и публицист реакционно-славянофильского лагеря И. Н. Павлов (сын писателей Ник. Филип. и Каролины Павловых) сотрудничал под своей фамилией и под псевдонимом «Н. Бицын» в «Моск. вед.», «Руси» и «Русск. вест.»; в 1880 г. редактировал журнал «Кругозор».

критики; тем не менее, благодаря тому, что Щедрин обладает низшею формой таланта, состоящею в изобретении хлестких и курьезных слов, он имеет немало поклонников, принимающих грубо-нелестные фантазии сатирика за действительность. В «Губернских очерках» было и содержание, но мало-помалу оно оскудевало, и, наконец, осталась только форма. «Письма к тетеньке» жалкая болтовня, даже не умная» («Моск. вед.», 1882, 5 марта, № 64, стр. 3, стлб. 4).

Узнав о предстоящей враждебной Салтыкову акции, сочувственный писатель лагерь намеревался выступить в его защиту. Об этом свидетельствует письмо историка литературы Н. И. Стороженко к председателю Общества любителей российской словесности С. А. Юрьеву, товарищу детских и школьных лет Салтыкова.

«Многоуважаемый и дорогой Сергей Андреевич,— читаем в письме, помеченном 26 февраля 1882 г.— Вам, вероятно, известно из газет, что престлник Каткова Ипполит Павлов будет на той неделе топтать в грязь Щедрина, о чем Катков с торжеством заявил в «Московских ведомостях». По-моему, такую гадость нельзя оставить без протеста, тем более, что, по слухам, у Павлова бывают очень многие из тех лиц, которые посещают и наши заседания. Хорошо было бы, если бы кто-либо из нас отправился на эту проклятую лекцию и разнес бы (1 сл. нрзбр) мерзавца в ближайшем заседании Общества, само собой разумеется, не упоминая о нем, говоря вообще об общественном значении сатиры Щедрина» (ЦГАЛИ, ф. 636, оп. 1, ед. хр. 478, л. 3—3 об.).

Стр. 430. «*Но яко разбойник, исповедую тя...*», «*...ни лобзания ти дам, яко Иуда...*» — Слова из православной молитвы, читаемой во время обедни.

...самая способность толково и правильно выражаться (синтаксис, грамматика, правописание) — и та мало-помалу исчезает... — Раскрытие реакционной идеологии и политики путем демонстрации нарушения норм речевой и письменной культуры — один из характернейших приемов салтыковской сатиры. Создается своего рода формула разоблачения, согласно которой «безграмотность сопрягается с отсутствием благородства в мыслях». Эта формула используется для создания различных образцов языкового (грамматического, стилевого и орфографического) примитива, контрастного норме полноценного, богатого и правильного языка, ассоциируемого с «благородным мышлением», то есть прогрессивной идеологией. В плане реального комментария сочиняемые салтыковским «помпадуром» безграмотные письма и циркуляры, утверждающие «форму правления», разъясняются как гротескные пародии на языковой жанр и политический смысл манифеста Александра III о неизбежности самодержавия¹, на его же «высо-

¹ Этот документ, составленный, как уже упоминалось выше, К. Победоносцевым, особенно прозрачно проступает в качестве непосредственного объекта салтыковской сатиры в следующем месте текста: «Произошли акты <т. е. 1 марта 1881 г. и последующие события.— С. М.> и при сем форма правления выяснилась вполне. А законы и иллюзии со всем прочим должны исчезнуть... Так я с твердостью уповаю».

чайшие резолюции», стяжавшие себе известность своей орфографической безграмотностью и грубостью. Кроме того, для иллюстрации своих общих положений Салтыков широко пользуется примерами, взятыми из русских зарубежных книг и брошюр, принадлежащих перу деятелей оппозиции самодержавию справа. Эта часть «апрельского письма» представляет собой сокращенный и данный в иной связи и мотивировке вариант текста из первоначальной редакции «письма IV». См. комментарий к нему.

Стр. 432. ...«недозревший ум»... «понудила к перу твои руки». — Из «Первой сатиры» А. Кантемира.

Стр. 441. *В последнее время я, в качестве литературного деятеля, сделался предметом достаточного количества несочувственных для меня оценок.* — В течение марта — начала апреля 1882 г. Салтыков подвергся ряду нападений со стороны ведущих печатных органов реакционного лагеря. Об одном из них — публичной лекции И. Н. Павлова только что говорилось. Вслед за Павловым через несколько дней выступил В. П. Буренин, наиболее воинствующий тогда представитель газеты «Новое время». Большую половину своего очередного фельетона из серии «Критических очерков» Буренин посвятил Салтыкову («Новое время», 1882, 12/24 марта, № 2168). Фельетон этот, в ряду других враждебных выступлений Буренина, не оставившего без своего отзыва ни одного из «Писем к тетеньке», выделяется ничем не сдерживаемым бешенством личного озлобления. Это обстоятельство следует ближайшим образом поставить в связь с тем фактом, что данное выступление нововременского «критика» было предпринято с целью нанести Салтыкову возможно более чувствительные контрудары за ту дискредитацию, которой подверглись и сам Буренин, и его газета в «мартовском письме», где они были задеты в сатирических образах газеты «Помощь» и ее «фельетониста Трясучкина».

Кроме Павлова и Буренина, Салтыков подвергся в это же время нападкам со стороны московского «Русск. вест.». В апрельской книжке журнала¹ была напечатана статья видного публициста катковского лагеря, бывшего московского полицмейстера П. Щебальского. Статья называлась «Наши беллетристы-народники» и была специально посвящена «фаланге» тех писателей, на знамени которых «красуется изображение маститого сатирика Щедрина». Эта фаланга, — писал автор, — чуждается белья и чистых комнат; это — «литература кабака и харчевни». Ряд выпадов насчет «политической мудрости нашего Ювенала «Отечественных записок»» содержала также помещенная в том же номере «Русск. вест.» статейка некоего «Н.» «Клуб анархистов в Лондоне», вполне доносительного характера.

Отповедь, данная Салтыковым этим «распутным кликам», превратившаяся в страстную декларацию писателя о предмете и назначении своей литературной деятельности, вызвала, в свою очередь, новую и еще более

¹ Он выходил по первым числам каждого месяца, то есть на 15—20 дней раньше «Отеч. зап.», и поэтому апрельская книжка журнала могла быть известна Салтыкову в момент написания «апрельского письма».

резкую статью упомянутого П. Щербальского (П. Щербальский, «Письма к тетеньке» г. Щедрина...— «Русский вестник», 1882, № 8, стр. 858—880. См. также об этом: К. Арсеньев, Русская обществ. жизнь в сатире Салтыкова...— «Вестник Европы», 1883, № 5, стр. 179—216).

Стр. 447. ...*двоить* — подразумевается двоить пашню, то есть пахать ее дважды, вдоль и поперек.

Статский советник... во лбу у него блесело «око», в знак питаемого к нему доверия.— Не дреманное око — одно из бытовых наименований агентов политической полиции и политического сыска. Впоследствии Салтыков назвал этими словами одну из своих «сказок».

Стр. 448. *Я думал, что мне скажут: вот факт, который вполне подтверждает написанное вами тогда-то и тогда-то!* — Рассказ о приключениях поповского сына является одной из вариаций неоднократно разрабатывавшейся Салтыковым темы о тяжелом положении русского интеллигента (народника) в деревне, в обстановке господствовавшего там добровольческого сыска и полицейского произвола. Ближайшим образом Салтыков имеет здесь в виду свой рассказ 1874 г. «Охранители» (из цикла «Благонамеренные речи»), где в эскизах «помещика Анпетова» он изобразил картину полицейских репрессий, применявшихся к деятелям народнических пропагандистских кружков в русской деревне 70-х годов.

Письмо пятнадцатое

(Стр. 449)

Впервые, с подзаголовком «Письмо девятое и последнее» — в ОЗ, 1882, № 5 (вып. в свет 20 мая), стр. 229—248.

Авторская дата, стоящая в журнальной публикации: «Май 1882 г.».

Сохранились черновые рукописи (№№ 203, 204 и 205). Существенные варианты содержит лишь последняя рукопись.

Варианты рукописного текста

Стр. 449, строки 2—3. Вместо: «Весь вчерашний вечер <...> другом Глумовым» — в рукописи:

Ежели есть золотари (я писал вам об них в предыдущем письме), которые удостоверят, что им живется отлично, то рядом с ними существует целая категория людей, которые впадают в противоположную крайность и наполняют вселенную ропотом и пенями. Увы! К этой последней категории принадлежит и наш общий друг Глумов.

Строка 14 — стр. 450, строка 13. Вместо: «Признаться сказать <...> смотреть на тебя и молчать» — в рукописи:

Что лежит в основании этого явления — испуг или тоска, развившаяся до размеров отвращения к жизни, — это я объяснить не умею. Разумеется, я охотнее объяснил бы его испугом, потому что с ним все-таки можно справиться. Но ежели тут закралось отвращение к жизни, то, по моему мнению, это просто опасно. Тоска, доведенная до подобного уровня, раз вцепившись в свою жертву, не отцепится от нее, не истерзавши до конца. И, что всего прискорбнее, ежели она делает человека равнодушным к смерти, то достигает этого исключительно путем общего расслабления. Не потому человек становится равнодушным к смерти, что между жизнью и ею есть подвиг, за который стоит претерпеть, а потому что между жизнью и смертью лежит до того постылый промежуток, что мысль невольно цепенеет перед обязательным прохождением этой скорбной путины.

Тем не менее весь вчерашний вечер я провел вместе с Глумовым. Забрался он ко мне довольно рано и прямо объявил, что никаких «вопросов» тревожить не станет, обменом мыслей заниматься не намерен, а только желает пробить некоторое время в человеческом обществе.

— Одичал, брат, я, — сказал он, — даже страшно. Ну, а ты как живешь?

— Что ж я? слава богу! В надежде славы и добра...

— И прекрасно. Так, значит, ты занимайся своим делом, а я буду сидеть и молчать.

Признаться сказать, я отнесся к этому намерению без неудовольствия. Ведь я и сам иногда охотно молчу. Молчание, милая тетенька, имеет втягивающую силу, и я начинаю серьезно подозревать, что оно само по себе может вполне удовлетворить человека. Сидеть в углу и молчать — это такое глубокое наслаждение, что я никогда не представлял себе блаженства иначе как в этой форме. Особливо, когда и кругом все молчит, а еще лучше, когда все живое попряталось по углам, так что даже испуганных лиц не видишь. А начальству-то как будет хорошо, как все замолчат! Да и пора наконец! Повольнались в свое время, посуетились около всевозможных вопросов, попраздносиловили — и будет. Пускай нарождаются вопросы еврейские, кабацкие, вопросы об оздоровлениях и средостениях — мне какое дело! Пускай люди стонут, мечутся, клянут судьбу, ропщут на законы божеские и человеческие — а я забрался подальше и молчу. Не потому молчу, что умудрился, а потому, что устал. Истома разливается по всему организму, та свиная истома, при которой действительность отождествляется с сновидением. Жизнь прекратилась, остался покой.

Стр. 453, строки 11—12. Вместо: «вот, мол, восчувствуйте! <...> прошлого старость...» — в *рукописи*:

и развернуть перед нами прошлое во всей безобразной наготе, бросить в воздушные безнадёжную, мучительную старость.

Стр. 454, строки 5—12. Вместо: «эти вопли действительно несправедливы <...> чувству несправедливости» — в *рукописи*:

действительно, тут совершается одна из величайших несправедливостей, в смысле оценки жизненных явлений, но ведь это несправедливость фатальная, и никаким образом вы от нее не уйдете. Это несправедливость, свойственная порядку явлений, в котором отдельные подробности могут улучшаться и смягчаться, но главные основы остаются все те же. Повторяю: по избитному месту даже простые уколы принимать ужасно больно, а о плетях и говорить нечего.

Строки 24—34. Вместо: «с прочими таковыми же <...> теперь, брат, не пронесет!» — в *рукописи*:

с другими подобными идеями («не укради», «не убий» и проч.) он не имел повода раздражаться ею, и если случайно и вспоминал, то думал при этом: авось как-нибудь пронесет! Представьте же себе, что теперь ему не только об этом не напоминают, но даже внушают, что имеются по сему предмету «правила»... какая обида! Ужели он недостаточно твердо знал, что он всячески смертен? протестовал ли он против этого? изъяснял ли словом или движением о своих сомнениях? А ведь он все-таки чувствовал, что право быть смертным по усмотрению отнюдь не принадлежит к числу таких, которыми можно и не кичиться! И он не кичился, но покорялся ему, и был даже благодарен, когда ему не напоминали об нем! И вдруг он слышит не простое *memento mori*, а с «правилами» в придачу! Разве это не обида? А кроме обиды, и страх. Ибо если есть «правила», то обыватель уж говорит прямо: теперь, брат, не пронесет!

Заключительное «майское письмо» писалось в условиях укреплявшегося курса реакции, накануне назначения на пост руководителя внутренней политики вместо «прогонявшегося с двора» гр. Н. П. Игнатьева, «министра борьбы» гр. Д. А. Толстого («злым гением России» называли его современники). Обращаясь к Н. А. Белоголовому, Салтыков писал ему 8 июня 1882 г.: «Письма к тетеньке» я кончил и, как оказывается, совершенно кстати. Во-первых, надо же было и кончать, а во-вторых, любопытно, о чем бы я теперь писать стал? Теперь надо писать о светопреставлении...» В предыдущем же письме, к тому же адресату, от 15 мая, Салтыков признавался, что зрелище российской действительности того момента повергает его в состояние «не злобы, а безвыходного горя и отчаяния». Эти настроения наложили явственный отпечаток на заключительное «письмо». Однако, опасаясь впасть в пессимизм, Салтыков изъяснял из первоначального текста некоторые далеко идущие негативные формулировки («Тоска, развившаяся до размеров отвращения к жизни» и др.) и закончил свои беседы с «тетенькой» страстным просветительским призывом к русскому обществу «сознать свою силу», если и не для «деятельного участия <...> в жизненном круговороте», то хотя бы для моральной поддержки «добросовестному и честному убеждению», что также считал делом «первостепенной важности».

Стр. 449. *Пускай нарождаются вопросы еврейские, кабацкие...*— О «кабацком вопросе» см. примечание к письмам одиннадцатому и двенадцатому; об «еврейском вопросе» Салтыков откликнулся специальной статьей «Июльское веяние» в «Отеч. зап.», 1882, № 8. См. комментарии к этой статье, вошедшей в сборник «Недоконченные беседы» (т. 15, кн. вторая наст. изд.).

Стр. 452. *Недаром с Москвы благонамеренные голоса несутся: зачем, мол, цензура преграды «им» ставит! пускай на свободе объяснятся!*— Указание на упомянутую выше статью П. Щербальского «Наши беллетристы-народники» в «Русском вестнике», в которой автор мимоходом задал провокационный вопрос: не лучше ли было бы дать Салтыкову и всем писателям демократического лагеря возможность высказаться «с о в е р ш е н н о

полно и откровенно», «назвать людей по именам» и т. д. См. также статью: Ник, Либералы на свободе.— «Русь», 1881, 24 декабря, № 59.

Стр. 454. *...а ныне к последней части этого положения прибавляют: «по правилам о Макаре телят не гонящем установленным».*— Намек на Положение 14 августа 1881 г. «О мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» и на Положение 18 апреля 1882 г. «О полицейском надзоре». Ими определялось управление Российской империи в административно-полицейском отношении.

Стр. 455. *...Сару Бернар не видал, об Сальвини только из афишек знаю...*— Знаменитая французская драматическая актриса и не менее знаменитый итальянский трагик гастролировали в Петербурге в театральный сезон 1881/82 г.

Стр. 456. *...есть практики честные... Они говорят: дело в преуспевании, а не в том, что к нам пристанет нечисть...*— Диалог «племянника» и Глумова о теоретиках и практиках — одна из многих вариаций на эту тему у Салтыкова. С особенной остротой эта тема разработана в его произведениях начала 60-х годов «К читателю», «Каплуны», «Наша общественная жизнь» и др. См. в наст. изд. тт. 3, 4 и 6.

Стр. 457. *Помните... мы в конце пятидесятых годов, зазнали в Москве одного начинающего публициста («другом Грановского» он себя называл)...*— Намек на Каткова и на проделанную им эволюцию от позиций умеренного либерализма в 40—50-е годы до роли одного из идеологов и вдохновителей реакции 80-х годов. В 1845—1850 гг. Катков был адъюнктом Московского университета по кафедре философии и здесь сблизился с Т. Н. Грановским, профессором того же университета по кафедре всеобщей истории. Указание дальнейшего текста на «греческие спряжения» служили для современников еще одним сигналом к узнаванию в анонимном образе намека на Каткова—инициатора и неутомимого пропагандиста системы классического образования.

Стр. 461. *...был один год... когда я одновременно обучался одиннадцати «наукам» и в том числе «Пепину свинству»...*— Признание автобиографическое. Подробнее см. выше, прим. к стр. 365 и в кн.: С. Макашин, Салтыков. Биография. 1, 2-е изд., М. 1951, стр. 128, след.

Стр. 462. *Неслыханные «публицисты», чудовищная повесть Мессалины и Марата, сумевшие соединить в своем ремесле распутство первой и человеконенавистничество последнего.*— Речь идет все о тех же «публицистах» реакционно-охранительной и буржуазно-беспринципной печати — Каткове, Щербальском, Буренине и др. В характеристике этих «публицистов» наряду с именем Мессалины — жены римского императора Клавдия (I в. до н. э.), прославившейся своим распутством, Салтыков пользуется также именем Марата — одного из наиболее выдающихся деятелей Великой французской революции. В отношении к этому имени Салтыков, подобно многим своим современникам, находится в плену буржуазной легенды, превратившей исторический облик этого преданного «друга народа» в химерическую фи-

гуру кровожадного садиста, «человеконенавистника». Салтыков тем легче подпал под влияние этой легенды, что и просветительский морализм его собственного мировоззрения диктовал ему резко отрицательное отношение к террору, хотя бы и революционному. Личность Марата, смело призывавшего народные массы к беспощадной расправе с аристократами — врагами революции, неизменно воспринималась Салтыковым в социально- и политически-отрицательном аспекте (ср. дальше выражение «о х о т н о р я д с к и е М а р а т ы»).

Стр. 467. *Sapienti sat.*— Выражение из комедии «Формион» римского комедиографа Публия Теренция Салтыков упotreбляет его, здесь и в других местах, в эзоповском значении. Он подчеркивает этими словами, что сказал все, что хотел и мог сказать. Об остальном нужно догадываться.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ письма к тетеньке. III

<Первоначальная редакция, запрещенная властями>

(Стр. 471)

Начато в середине августа 1881 г. в Висбадене, закончено в конце этого же месяца в Париже¹. Текст под заглавием «Письма к тетеньке. III» был набран и отпечатан для ОЗ, 1881, № 9, но по требованию властей изъят из книжки журнала.

Сохранились две черновых рукописи (№№ 193 и 194) и остаток наборной рукописи (№ 195). Существенные варианты содержит лишь первая рукопись.

В а р и а н т ы р у к о п и с н о г о т е к с т а (№ 193)

Стр. 471, строка 23 — стр. 472, строка 9. Вместо: «Чиновничество-то, ведь оказывается...» и кончая словами «...пусть растабарывает за себя» — в рукописи:

Пора рассчитаться с чиновничеством! вопиют московские мудрецы купно с берлинскими и лейпцигскими брошюристами. Оно — корень всему злу! Оно своим гнилым либеральничанием (Сквозник-то Дмухановский либерал — раскусите-ка эту штуку!) положило основание смуте, грозящей обществу разрушением! Оно! оно! оно!.. А если оно, так посодействуйте вы, господа! Только, как я уже выше сказал, не скопом, а каждый сам за себя!

Стр. 472, строка 27. После: «...вместо него учредить «средостение» — в рукописи:

¹ Письма к Н. К. Михайловскому 1881 г.: из Висбадена, от 14/26 августа и из Парижа от 29 августа/10 сентября.

не в форме, однако ж, собрания выборов (которое он иронически называет «палатою зачинщиков»), а в форме «единения», спешествующее «оздоровлением корней». Маркиз Шассе-Круазе — громко сетует на упадок нашей общей матери, православной церкви, присовокупляя при сем, что живя... <незакончено>.

Стр. 478, строка 6. После: «...сейчас же выплунуть» — в рукописи зачеркнуто:

[Повторяю, я был чересчур тороплив, он — недостаточно пьян, — вот в чем состояла моя погрешность. Шатаюсь столько десятков лет по свету и на каждом шагу сталкиваясь с Ноздревыми, я должен был понимать, что никакая навязанная солидность, никакие клятвы, ни подачки, ни даже угрозы не в силах дисциплинировать их; но для того, чтобы извлечь из этой распушенности всю пользу, которую она может дать, все-таки нужно, чтоб Ноздрев был не натошак, а, как говорится, «в своем виде». Приведенный в «свой вид» и затем слегка раззадоренный, Ноздрев теряет самообладание, выбрасывает все, что попало ему в нутро, и вообще становится полезным членом общества. Вот почему, я обязывался прежде всего его накатать, а потом приступить к исследованию...]

Стр. 481, строка 2. После: «...не расслышав его слов» — в рукописи:

— Статский советник Дубина, — повторил он, — я подслушал ваш разговор с Ноздревым и должен сказать вам, что если вы не получили от него интересующих вас сведений, то, во-первых, потому, что он и сам посвящен далеко не во все тайны нашего предприятия, а во-вторых, потому, что он, по-видимому, заметил меня и поспешил скрыться. Я тоже член «Общества частной инициативы спасения», но уже во второй степени и в качестве председателя «Комиссии практического оздоровления корней»¹, имею тайный надзор за некоторыми из моих товарищей...

— Однако ж! — воскликнул я, невольно проникаясь почтением к человеку, подъявшему на своих раменах бремя оздоровления.

— Да-с, — отвечал он, ловко (на манер парижских гарсонов) перебрасывая салфетку с одной руки на другую, и затем, подмигнув одним глазом, прибавил: — На чай от вашей милости будет?

Разумеется, я не затруднился обещать ему под-имения, лишь бы он был откровенен.

— Основная мысль нашего «общества», — начал он, — заключалась в возбуждении в среде обывателей охоты к «содействиям». Каким образом созрела мысль об этих «содействиях» — это я не умею вам объяснить, но думаю, что, во всяком случае, эта мысль удачная и не безвыгодная. Да и время для ее осуществления наступило самое благоприятное. Умники-то повывелись или попрыгались; остались одни сердечные люди, которые смотрят на содействие довольно серьезно: не лезут с умствованиями, а изъясляют содействие. В чем именно должно состоять «содействие» — на этот счет существуют разные мнения. Идеалисты полагают, что оно должно, по преимуществу, иметь в виду изобилие плодов земных; простаки думают, что временно можно обойтись и без плодов земных, главной же задачей минуты должно быть оздоровление корней. Последнее мнение восторжествовало, как наиболее соответствующее мраку времен, но в то же время я должен отдать справедливость и Ноздреву: он много поревновал в пользу этого мнения. И таким образом у нас образовалось, в форме

¹ Первоначально в рукописи было — «Комиссии для восстановления потрясенных основ», затем исправлено на «Комиссии средостенний с целью оздоровления корней» и снова зачеркнуто.

«Комиссии для освидетельствования содействий», то первичное ядро, о котором вы слышали от Ноздрева. Но по мере того, как со всех сторон России стекались предложения «содействий», члены «Общества частной инициативы» убеждались все более и более, что в них выразилось последнее слово мрака времен,— и только. Не приказательный характер слова «жарь» и не опасение перехода в разнузданность страстей остановили наше внимание, а то, что мы, и по получении отзывов о содействиях, увидели себя совершенно в том же положении, в каком были и до возбуждения содействий. Коли хотите, в слове «жарь», наиболее излюбленном нашими содействателями, слышится известная система, но ведь системы-то эти мы и без того знаем, а напоминать нам об них, значит, только указывать на их недостаточность...

— Позвольте! но ведь, кроме этих напоминаний, в получаемых вами «содействиях» заключается также и извещение с драгоценными указаниями на лиц сомнительных, не имеющих надлежащей полноты чувств, и, наконец, прямо опасных...

— Есть и это, и даже во множестве. Но, во-первых, Общество наше, как частное, не имеет надлежащих полномочий для расследований. А во-вторых, какая же власть согласится подвергнуть целую половину России расследованию по извещению другой? Вы только представьте себе это зрелище, этот стон, и наконец... этот смех! Потому что ведь, наверное, девяносто девять сотых из этих «обнесенных» окажутся вне всяких улик и, стало быть, останутся ненаказанными!

— Однако ж, мне кажется, что если человек и не уличен, но в сердцах благонамеренных людей сложилось убеждение...

— Можно и так. Но, во всяком случае, было бы полезнее, если б это «убеждение» осуществляло себя само, не прибегая к формальностям. Этого-то рода «содействие» и необходимо в данную минуту. Ежели ты убежден, и притом говоришь «жарь», то жарь воистину, жарь на свой страх, за свой счет. Не хвались, не жалуйся, не докучай, а действуй, действуй!

— Однако послушайте! ведь и это в своем роде «превратное толкование»? — изумился я.

Из всех «Писем к тетеньке» «письмо» III первоначальной редакции, вырезанное из сентябрьской книжки «Отеч. зап.» за 1881 г., но тем не менее сразу же распространившееся другими путями,— пользовалось у современников наибольшей и громкой известностью.

Сообщая Н. К. Михайловскому о ходе своей работы над «Письмами к тетеньке», Салтыков писал 7/19 июля 1881 г. из Висбадена: «Второе письмо (о лгунах и лганье) кончаю, 3-е (о вероломстве) тоже скоро напишу и пришлю для августовской книжки... В дальнейших письмах дело пойдет о содействии общества, то есть о приглашении к содействию и проч. ...» Таков был первоначальный план. Тема «письма» III определялась в нем как тема «о вероломстве», а разработка темы «о содействии общества» относилась к последующим «письмам».

Однако план этот оказался нарушенным. В августовской книжке появилось лишь «письмо» II, посвященное, как и проектировал Салтыков, «лгунам и лганью». Что касается последующих писем, то о них писатель, по-прежнему находившийся в Висбадене, сообщал Н. К. Михайловскому 14/26 августа: «Я пишу третье письмо о «содействии общества». Предметом 4-го пись-

ма послужит книга Фадеева, которую я, впрочем, называть не буду. А буду трактовать о ее содержании — анонимно». Таким образом произошла неожиданная замена «предметов» как III так и IV «писем». Нарушение первоначальных планов было вызвано обстоятельствами чрезвычайного характера.

В июле и августе 1881 г. Салтыков часто встречался в Висбадене с отдыхавшим там гр. М. Т. Лорис-Меликовым, лишь незадолго до того уволенным в отставку с поста министра внутренних дел. Более месяца они даже жили под одной крышей на вилле Sonnenbergstrasse, 16; Лорис-Меликов занимал бельэтаж, а Салтыков с семьей — нижний. Несмотря на свое положение *ex-министра* и *ex-«диктатора»*, Лорис-Меликов и в это время располагал обширной информацией о закулисных политических делах Петербурга. Об одном из них он считал необходимым информировать Салтыкова. В беседе, происходившей 29 июля/12 августа, писателю была раскрыта тайна созданной в марте 1881 г., с ведома Александра III, так называемой «Священной дружины» — конспиративного добровольного общества, преимущественно из среды военной аристократической молодежи, ставившего своей целью неофициальную охрану царя и подпольную вооруженную борьбу с революционерами.

Получив эти сведения, — они изложены в письмах Салтыкова от 29 июля/10 августа, 2/14 и 12/24 августа 1881 г. к находившемуся за границей же Н. А. Белоголовому, — писатель принял решение разоблачить санкционированную царем организацию как в печати, так и путем прямого осведомления о ней революционеров. Он меняет тему «письма» III и посвящает его вместо «вероломства» — «Священной дружине». Такая замена была отчасти облегчена тем, что новый конкретный объект сатиры включался в общую тему «о содействии общества», уже ранее сформулированную и творчески продуманную.

Принявшись за работу, Салтыков предполагал прислать для сентябрьской книжки два письма — на новом материале — III и IV, тесно связанных между собой. Однако работа шла туго, отчасти по нездоровью писателя, а более всего, нужно думать, из-за трудности самой задачи: провести в легальной печати разоблачение тайного общества, действовавшего под эгидой императорского двора.

Надежда закончить одновременно оба «письма» скоро отпадает. «К сентябрьской книжке я пришлю только одно «письмо» — больше не могу», — извещает Салтыков Н. К. Михайловского из Висбадена 15/27 августа. Работа над «письмом» завершается уже в Париже, куда Салтыков приехал 20 августа/1 сентября. Отсюда оно и было послано в Петербург 29 августа/10 сентября в сопровождении таких слов, обращенных к Н. К. Михайловскому: «Вместе с сим посылаю 3-е письмо к тетеньке... Не знаю, как и кончил статью. Думаю, что она и неудовлетворительна и не весьма цензурна». В последнем предположении Салтыков не ошибся. «Письмо» III произвело в цензуре подлинный переполох. При этом, однако, по вопросу о запрещении его или только об изменении отдельных мест возникли разно-

гласия между цензорами разных рангов, включая и самого министра внутренних дел гр. Н. П. Игнатьева, которому докладывалось «дело». Непримиримее других оказался постоянно наблюдавший за «Отеч. зап.» цензор П. Лебедев. Он настаивал на том, что статья «подлежит уничтожению в целости и что исключение нескольких более или менее резких мест, отличающихся нахальностью,—этим предлагало первоначально ограничиться Главное управление по делам печати,—едва ли может устранить тот возбуждающий характер статьи, которым она отличается». В подтверждение своей мысли, Лебедев указывал на «направление статьи, имеющее целью представить общественное положение России в самом мрачном виде и предать позору и <...> оплеванию все меры честных людей, стоящих на стороне правительства и готовых к борьбе с враждующими элементами». По основному пункту обвинения, по вопросу о «Священной дружине» (наименование это, впрочем, не употреблялось, цензоры всюду пользуются салтыковским псевдонимом), Петербургский цензурный комитет (повторяя слова из донесения Н. Лебедева) считал необходимым предупредить Главное управление, «во-первых, что учреждение общества частной инициативы спасения, известное не из официальных источников, а только по слухам, принадлежит к числу внутренних и не подлежащих оглашению событий августейшего дома; во-вторых, что личный состав этого общества, включающего в себя, быть может, и членов августейшего семейства, не может быть ни оглашен, а тем менее подвергав пощуре и осмеянию, и что вследствие сего статья Щедрина не может быть опубликована без установленного законом предварительного одобрения министра императорского двора». Но министром императорского двора был в это время гр. И. И. Воронцов-Дашков, стоявший во главе «Священной дружины» и выведенный в «письме» III под именем А м а л а т - б е к а; он-то и должен был участвовать в решении судьбы салтыковской сатиры. «Письмо» было вырезано по требованию министра внутренних дел гр. Игнатьева, предварительно ознакомившего с его содержанием Александра III¹. Среди читателей «письма», по-видимому, специально для этого размноженного, был также ряд министров и сановников, в частности, член Государственного совета А. В. Головин и Д. А. Милютин. В дневнике последнего записано под 29 ноября 1881 г.: «...писал сегодня А. В. Головину, возвращая ему присланный им для прочтения отпечаток не пропущенной цензурой статьи Салтыкова (Щедрина), одного из «Писем к тетеньке». Это одна из самых злых сатир его на современное настроение в Петербурге. Смешно, и в то же время крайне грустно»².

¹ Указание, что «письмо» было вырезано по просьбе министра внутренних дел и что предварительно оно было читано Александром III, исходит от самого Салтыкова. См. его письмо к Г. З. Елисееву от 18 октября 1881 г.

² «Дневник Д. А. Милютина. 1881—1882 гг.», т. 4, Ред. П. А. Зайончковского, М. 1950, стр. 120. В дневнике имеется еще одна запись, относящаяся к салтыковскому разоблачению «Священной дружины», более ранняя, от 20 октября, когда цензурная судьба «Писем к тетеньке» еще не была решена: «Остроумный Щедрин (Салтыков) уже осмелел это чудовищное яв-

Попытки Салтыкова по возвращении из Парижа (вернулся 22 сентября/4 октября) «личными переговорами», в том числе с министром Игнатьевым, уладить дело и добиться помещения «письма», «с некоторыми изменениями», в следующей, октябрьской книжке ни к чему не привели¹.

Тем не менее «третье письмо» дошло, хотя и окольным путем, до своей адресатки — «тетеньки». В том же 1881 г. оно было напечатано в № 46 Женевского издания «Общее дело» и вскоре после того вышло в отдельном издании (Женева, М. Elpidine, 1882), три раза затем повторенным². Но, кроме того, немедленно после запрещения, статья быстро распространилась подпольным путем в разного рода списках и гекто-литографированных изданиях и ходила «по рукам со всевозможными комментариями»³. Среди подпольных изданий «третьего письма» существовало и литографированное издание, сделанное специально по заказу «Добровольной охраны» и «Священной дружины», то есть, нужно думать, по заказу Воронцова-Дашкова⁴. В легальной русской печати «письмо» III впервые (крайне несправно) было напечатано в 1892 г. в XI томе «Собрания соч.» Щедрина издания «наследников автора»⁵.

В настоящем издании «письмо» печатается по тексту страниц, вырезанных из ОЗ, 1881, № 9⁶.

Стр. 471. *Обратитесь-ка мы к содействию общества.*— Обращение к обществу с призывом о содействии в деле борьбы с «крамолой» было пред-

ление в своем третьем «Письме к тетеньке», которое будет напечатано в «Отечественных записках» с большими выпусками» (цит. изд., стр. 113).

¹ См. об этом в письмах Салтыкова к Г. З. Елисееву от 30 сентября и 18 октября 1881 г.

² 2-е изд. Женева. М. Elpidine [1885—1886 гг.], 3-е изд. Carouge [Женева]. М. Elpidine, 1895 г., и последнее переиздание в серии «Собрание лучших русских произведений», часть 79, Берлин, 1904, изд. Гуго Штейница.

³ См. об этом в письме Салтыкова к Г. З. Елисееву от 18 октября и 23 ноября 1881 г. Библиографию некоторых из гектографированных изданий, а также «списков», отобранных в разное время Департаментом полиции при обысках у революционеров, см. 1) в описи «Щедринские архивные фонды в СССР» напеч. в № 13—14 «Литературного наследства» (рубрика: Гос. архив революции и внешней политики), и 2) в статье Ю. П. Пищулина «М. Е. Салтыков-Щедрин и «Священная дружина». — «Русск. литература», 1968, № 1, стр. 126—183.

⁴ Об этом свидетельствует надпись М. К. Лемке на полях того текста «третьего письма», над которым он работал (находится у автора этих строк). В Московском Историческом музее в архиве кн. Н. С. Щербатова, одного из активных членов «Священной дружины», сохранился литографированный экземпляр «третьего письма» (44 стр. + обложка) со следующей позднейшей надписью владельца: «Запрещенное произведение Щедрина (Салтыкова). Насмешки над добровольной охраной его величества и над св. дружиной. 1882» (Арх. № 321, связка 14).

⁵ А не в «нивском» издании 1905—1906 гг., как ошибочно указывается в ряде библиографических справочников.

⁶ ЦГАЛИ, ф. 777, оп. 2, 1865 г., ед. хр. 60, л. 389.

принято самодержавием вскоре после убийства Степняком-Кравчинским шефа жандармов Мезенцова. 20 августа 1878 г. в «Правительственном вестнике» был опубликован текст этого обращения, в котором между прочим говорилось: «Правительство должно себе найти опору в самом обществе и потому считает необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилении вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений».

«Общество» вначале реагировало на этот призыв, ставший основным лозунгом внутренней политики самодержавия периода его кризиса на рубеже 70—80-х годов, весьма слабо и к «содействиям» отнеслось пассивно. Однако по мере усиления революционного террора «Народной воли» положение с «содействиями» стало меняться. Консервативно-реакционные слои населения стали довольно активно участвовать в «политике содействия». Правительство же стремилось всячески поощрять эту политику, отчасти демагогическую, отчасти же свидетельствовавшую об усилиях самодержавия расширить и упрочить свою социальную базу. Так, например, циркуляр гр. Игнатьева при вступлении его в должность министра внутренних дел главным образом был посвящен указаниям на необходимость и важность «постоянного и живого содействия общественных сил страны» «поставленной правительством задаче искоренения крамолы». Циркуляр приглашал всех «честных людей страны» «собственным начинанием» и «энергичным действием» помочь полиции в деле борьбы с «мятежным духом» и т. д. и т. п. («Правительственный вестник», 1881, 6 мая, № 98.) Таким образом, обращаясь к теме «содействия», Салтыков обращался к специальной разработке одной из наиболее острых общественно-политических тем тех дней, которая эпизодически затрагивается почти и во всех других «письмах».

Чиновничество-то, ведь, оказывается, не благоустроило нас, а погубило... Так вопиют все современные русские мудрецы, и те, которые заражают своим дыханием воздух Москвы, и те, которые собственным изданием издают брошюры в Берлине и Лейпциге.— Речь идет здесь о модных в то время реакционно-славянофильских «народных», «земских» и т. п. политических программах «спасения России» путем обращения к «народу», заключающему в себе «громадные и не использованные еще силы для устоев» (подразум.— самодержавия)¹. Общим для всех этих программ было то, что в них резко критиковалась царская бюрократия, ее слабость, неумелость, ее «либерализм» в борьбе с «крамолой» и, наконец, ее оторванность от «подлинно охранительных сил народа» (там же). Говоря о «Москве», Салтыков имеет в виду все тех же Каткова и Аксакова с их газетами «Моск. вед.» и «Русь»; под «мудрецами», издающими брошюры в Берлине и Лейпциге, следует разуметь в первом случае известного либерального славянофила и земца А. Кошелева, издавшего летом 1881 г. в Берлине (изд. Б. Бера) брошюру под названием «Где мы? Куда и как идти?», и во

¹ Цитаты из брошюры Р. Фадеева и И. Воронцова-Дашкова (о ней см. ниже).

втором случае не менее известного в свое время генерала и реакционного публициста Р. А. Фадеева и министра двора И. И. Воронцова-Дашкова, издавших тоже летом 1881 г. в Лейпциге анонимно свои нашедшие «Письма о современном состоянии России»¹.

Стр. 472. *И вот на наш клич из всех щелей выползают «содействователи».*— Характеристика выводимых «содействователей» и их проектов «приведения» обывателя «к одному знаменателю» остро памфлетна по отношению к тем проектам реформ, «конфиденциальных записок», «верноподданнических адресов» и т. п., с которыми в изобилии выступали после 1 марта 1881 г. и деятели реакционного лагеря, и либеральные бюрократы, и земцы. Сначала выведятся апологеты сильной власти — И в а н о в ы, Ф е д о т о в ы, П а ф н у т ь е в ы. Из них последний, Пафнутьев, метит в выше упомянутого генерала Фадеева, а второй — Федотов — в некоего, ныне совершенно забытого националистического публициста, Д. Губарева и в его вышедшую в 1881 г. в Штутгарте (под инициалами Г. Д.) книгу «Что народу нужно?» — цитаты из которой приводятся в салтыковском тексте. Затем следуют «разных шерстей убудки» с феодально-аристократическими титулами («князь», «маркиз», «барон») и с иностранными, а также «инородческими» фамилиями, этимология которых содержит в себе скрытый семантический материал для эмоционально-сатирической характеристики персонажа. Так, например, слово «ферфлюхтер» (verflüchfer) значит по-немецки — проклятый, слово «шассе-круазе» (chasser-croiser) взято из французской танцевальной терминологии и, в данном случае, обозначая человека-перебежчика, предателя, может быть переведено по-русски выражением «и нашим и вашим».

Стр. 319. *Ноздрев.*— Ноздрев, как тип «содействователя», характерен не столько для основного контингента членов «Священной дружины», вербовавшихся преимущественно из среды аристократической, военной, так называемой золотой молодежи, сколько для тех реакционно-крепостнических элементов земства, для тех дворянских «корнетов», которые, «прогорая» в своих помещичьих палестинах, толпами устремлялись в Петербург для всяческих авантюрных «содействий», добывая себе бюрократическую карьеру и становясь здесь «деятелями». Такое понимание образа «Ноздрева» вытекает как из его предыдущей литературной биографии, данной Гоголем, так и из ее продолжения, дописанного Салтыковым: Ноздрев — «прогоревший консерватор», сделавший удачный донос и ставший деятелем-охранителем.

Стр. 475. *«Общество частной инициативы спасения»* — как уже указывалось, сатирическое обозначение «Священной дружины» или, как ее называли сами дружинники, «Святой дружины» (см. о ней выше, на стр. 666).

¹ Авторство этих «Писем...» нередко приписывается одному Р. А. Фадееву. Однако в письме к Н. А. Белоголовому от 25 июля/6 августа 1881 г. из Висбадена Салтыков сообщает, по-видимому, со слов М. Т. Лорис-Меликова: «Что касается до авторов «Писем о современном состоянии России», то это Фадеев и Воронцов-Дашков».

В упомянутой зарубежной брошюре Р. Фалеева и И. И. Воронцова-Дашкова «Письма о современном состоянии России» имеется рассуждение о пассивности общества, о практических трудностях привлечения его к делу борьбы с «крамолой». Указывая, что «обществу в массе известно о заговоре едва ли менее, чем правительству», что общество «заговору не сочувствует, однако ж молчит о нем», авторы видят причину этой пассивности в том, что бюрократия и полиция задушили «общество» и не дают ему никакого «простора действия», при наличии которого члены общества встали бы всеми силами и сообща противодействовать пагубному направлению... «и не колеблясь соединили бы свои усилия с усилиями правительства». Как «наглядный образчик» к сказанному авторы приводят такой известный им эпизод. «К одному из первых наших писателей <Достоевскому.— С. М.> явился молодой человек и рассказал, что недавно еще он был ярым нигилистом, членом тайных лож, но, прочитав разоблачения этого писателя <роман «Бесы».— С. М.> и сверив их с собственным опытом, пришел к убеждению, что наш нигилизм есть дело напускное, иноземное, направленное внешними и внутренними врагами исключительно к ослаблению России; что, узнав это раз, он не может оставаться безучастным к подобному явлению: убедившись же, как бывший заговорщик, в недостаточности правительственных средств для искоренения зла, предлагает учредить общество, которое разоблачило и убило бы нравственно шайку нигилистов... Что отвечал писатель? Он выразил, конечно, полное сочувствие видам обращенного нигилиста, но от образования всякого общества отказался по уверенности, что членов охранительного общества, соединившихся по собственному почину, потребуют к ответу за недозволенные общества... а в случае утверждения плана их властями, они станут во всех глазах чем-то вроде полицейских агентов и утратят всякое значение» (стр. 13 назе. брошюры). Достоевский отказался принять участие в практическом осуществлении предложения одного из ренегатов революции, но предложение это запомнили и «всеподданнейше» донесли о нем авторы «Писем», один из которых — Воронцов-Дашков («Амалат-бек» у Салтыкова) и возглавил скоро уже усовершенствованную и не боящуюся полицейских репрессий организацию «охранительного общества... членов, соединившихся по собственному почину». Возможно, что это наименование из брошюры, которую как раз в дни работы над «Письмами к тетеньке» читал Салтыков. ближайшим образом послужило ему объектом сатирической парафразы («Общество частной инициативы спасения») для обозначения «Священной дружины».

Стр. 480. ...организация, которая... «жарила» бы не словом, но прямо оставляя знаки на теле.— Указание на террористические замыслы «Священной дружины» против революционеров (в частности, Гартмана, Рошфора и Кропоткина), о которых Салтыков был осведомлен Лорис-Меликовым.

Стр. 481. *Расплюев*.— Фигурой «Расплюева» — шулера и морально растленного героя из драматической трилогии Сухово-Кобылина — Салтыков

пользуется для сатирической персонализации тех элементов подпольного аппарата «Священной дружины», на которых, в отличие от высокопоставленных политических вдохновителей и покровителей этого «учреждения», держалась вся фактическая работа по непосредственной организации всякого рода шпионских и провокаторских авантур (ср. в характеристике «Расплюева» такие указания и определения: «организатор», «устроитель», он готов «в пользу «господина» изнурять себя» и т. п.).

Стр. 481. *Нынче в трактиры нужно ходить с осмотрительностью.*— Трактир, кабак, ресторан — были аренами филерской деятельности «дружинников». В дневнике одного из них — генерала В. Смельского есть, например, такая запись: «Шувалов читал умную записку неизвестного мне брата Дружины о том, что Дружина должна помогать полиции, что надо завести агентов в среде прислуги гостиниц, шамбр-гарнье, кухмистерских и проч. публичных заведений мелкого пошиба. («Из дневника В. Н. Смельского»). — «Голос минувшего», 1916, кн. 1—2.)

князь Сампантре.— Как давно уже расшифровано (между прочим, впервые в цензорском донесении), под этой сатирической фамилией¹ фигурирует у Салтыкова в данном контексте князь П. П. Демидов-Сан-Дonato, один из виднейших членов «Священной дружины», щедро субсидировавший из своих миллионных доходов ее начинания.

Амалат-бек — герой одноименной воинственно-националистической повести А. Марлинского. Этой романтической фигурой кавказского героя Салтыков воспользовался для сатирического изображения «набольшого» «Священной дружины», министра двора и начальника царской охраны гр. И. И. Воронцова-Дашкова, сделавшего свою карьеру в кавказских войнах. Прозрачность псевдонима была усугублена дополнительными (несколько ниже) указаниями на то, что Амалат-беки «знакомы лишь с наукой о подмывании лошадей хвостов». Это указание сопоставлялось читателем тех дней с только что состоявшимся летом 1881 г. назначением Воронцова-Дашкова на должность главноуправляющего Государственным коннозаводством.

Сампантре глуп, так это в нем западное.— Язвительный намек на весьма шумевшие в газетах и сатирических журналах начала 70-х годов хлопоты П. П. Демидова о присвоении ему титула его умершего дяди А. Н. Демидова — князя Сан-Дonato. Титул этот был куплен миллионером А. Н. Демидовым в Италии вместе с княжеством Сан-Дonato и долго не признавался царским правительством.

Стр. 485. *...народ все картавый собрался.*— Намек на аристократический состав «Священной дружины»: картавость как характерный социально-речевой признак аристократии.

Стр. 486. *«Фрегат «Надежда»* — название одного из морских рассказов

¹ Этимология ее — от украинского «Сам пап тре» (сам барин трет) — шуточное название дешевых сортов табака.

А. Марлинского. Д. Заславский усматривал здесь намек на газету «Московский телеграф», негласно субсидировавшуюся известным железнодорожным дельцом Поляковым, также входившим в «Священную дружину». «Расплюева» же, предложившего издавать газету, Д. Заславский раскрывает как Корнилия Бороздина — агента «Священной дружины» среди журналистов (Д. З а с л а в с к и й, «Взволнованные лоботрясы», изд. Политкаторжан, М. 1931, стр. 22 и 113). Следует, однако, указать, что «литературная деятельность» «Священной дружины» была вначале так тщательно законспирирована, что вряд ли в июле месяце 1881 г. и находясь за границей Салтыков мог что-либо знать о ней. Правильнее видеть в комментируемых строках предварительный набросок темы о реакционной и «репильной» печати тех дней вообще, специально разработанной в «одинадцатом письме». Тема эта тесно примыкала к теме «содействий» «третьего письма».

В Симбирске уже образовалось «Тайное общество», именно в расплюевском роде. — Исторический факт «мутного» 1881 г., почерпнутый Салтыковым из газеты «Порядок». В номере этой газеты от 19/31 июля 1881 г. (в разделе «Дневник») было перепечатано «заявление» за подписью «Многие», появившееся в № 249 «Симбирской земской газеты». Вот его текст: «Желая исполнить долг верноподданных и охранить темный народ от смуты, мы, заявители, согласились между собой сделать складчину — и объявляем, что каждый крестьянин, который задержит злоумышленника, рассказывающего в народе о переделах и о других незаконных предметах и представит этого злоумышленника начальству — этот крестьянин имеет тот час же по представлении смутителя получить сто рублей, которые мы представляем при сем в редакцию «Земской газеты». — Многие».

⟨Письма к тетеньке. IV⟩

Две первоначальные редакции: 1) более ранняя, полная,
2) последующая, незаконченная⟩

(Стр. 488—517)

Через месяц после цензурной катастрофы с первоначальной редакцией «письма» III Салтыков писал Г. З. Елисееву в Ниццу (18 окт. 1881 г.): «Вы, вероятно, получили сентябрьскую книжку «Отечественных» записок» без моей статьи: она была вырезана по просьбе м-ра внутр. дел. А так как приготовленная мною еще в Париже статья для октябрьской книжки была продолжением и разъяснением сентябрьского письма, то и ее я должен был похерить». Эта «похеренная» статья, написанная в августе — сентябре 1881 г. в Париже, была первоначальным «письмом» IV, дошедшим до нас в двух рукописях: первой (№ 196) — законченной и второй (№ 197) — незаконченной. Несмотря на то, что рукописи эти содержат целые страницы сходного текста, перед нами *две редакции* продолжения запрещенного «письма», представляющие самостоятельный интерес и поэтому полностью печатаемые в настоящем издании. Первоначаль-

чальная редакция (№ 196) обличительно заострена против Амалат-беков, соединившихся с Дракиным (реакционным земством) для борьбы со Сквозником-Дмухановским (провинциальной администрацией). Последующая редакция отмечена перегруппировкой обличительных акцентов и несет на себе следы дополнительных усилий автора обойти предполагаемые цензурные препоны. «Тайное общество» заменяется «секретным кружком», вновь введенному эпизоду с провинциальной барынькой, вербующей в члены «Союза проломленных голов», придан подчеркнуто-мористический характер. Однако главное отличие второй редакции от первой — другое окончание, перекрывающее обличение с Амалат-беков, а также Амалат-бекш (большой эпизод о последних вовсе отпал) на реакционно-оппозиционные брошюры и книги «русских грамотеев», печатаемые за рубежом по заказу Амалат-беков¹.

Первая часть первоначального «письма» IV занята подведением итогов по материалу, разработанному в «письме» III. Разобрав вопрос о том, опасны или не опасны «затеи Амалат-беков», Салтыков после отступления о «кровопийственных дамочках», подругах Амалат-беков, обращается к основной теме «письма» IV — к вопросу о крепостнических настроениях в земстве, питающих затеи Амалат-беков. Непосредственным конкретным поводом для постановки и разработки этой темы явился ряд русских реакционных политических брошюр, вышедших в июле—августе 1881 г. в Германии (познакомился с ними Салтыков в Висбадене), в первую очередь, упоминавшиеся уже неоднократно «Письма о современном положении в России». Именно к этой брошюре относятся слова Салтыкова из висбаденского письма к Н. Михайловскому от 14 августа: «Предметом 4-го письма² послужит книга Фадеева, которую я, впрочем, называть не буду. А буду трактовать о ее содержании — анонимно». И действительно, все изложение «письма» IV построено памфлетно по отношению к этому и другим не названным произведениям реакционной «вольной печати», как иронически именует Салтыков эту зарубежную литературу земских «грамотеев». Знание «скрытого плана» письма необходимо для понимания современным читателем заключающихся в нем обличений крепостнических настроений в реакционной части земства 80-х годов. Эту не попавшую своевременно в печать тему о земстве и о «тяготении» к нему Амалат-беков Салтыков развил в «пятом письме» (считая по отдельному изданию), используя в нем и ряд мест из комментируемого текста (с заменой Амалат-беков — Пафнутьевыми).

¹ Отрывки из рукописей первоначального «письма» IV впервые были опубликованы в статье: Вас. Гиппиус, М. Е. Салтыков-Щедрин и реакция начала 80-х гг.— «Сб. общ. историч. философ. и соц. наук при Пермском ун-те», вып. III, Пермь, 1929.

² Речь здесь идет, разумеется, о первоначальной редакции «письма» IV и встречающиеся в литературе (Н. Яковлев, Письма С.-Щедрин, 1925, стр. 210, и Е. В. Максимова, В тисках реакции, стр. 92) отнесения этого указания к четвертому декабрьскому письму журнальной редакции (или письмам 5 и 6 отдельного издания) не вполне правильно.

Стр. 488. ...тайное общество, которое во всеуслышание предлагает сто рублей за каждого превратного толкователя.— То же, что симбирское «Тайное общество» «письма» III первоначальной редакции. См. прим. на стр. 674.

Стр. 489. И мрачное хрюканье торжествующей свиньи... и трубное пустозвонство ошалевшего от праздности ловкого дармоеда.— Эти иносказания, наделенные обобщающей силой характеристики политической реакции 80-х годов вообще и ее прессы в частности, направлены вместе с тем и на вполне определенных деятелей этой реакции: В первом случае речь идет о М. Н. Каткове и его «Моск. вед.», во втором о К. Аксакове и его «Руси». Однако в последующей редакции «письма» IV (рук. № 197) вторая сатирическая стрела переадресована Р. Фадееву и его «Письмам». Сигналом для опознания нового конкретного намека в общем обличении служили произведенные изменения в тексте. Вместо слов «пустозвонство ошалевшего от празднословия дармоеда» появились новые: «велегласие ошалевшего от праздности пустоуста». Этими словами Салтыков высмеивал то место из книги Р. Фадеева («первое письмо», стр. 20—21), где автор развивал «теорию», о «пустоте» или «пустом месте», образовавшемся в русской общественной жизни между правительством, как орудием власти, и обществом, соприкасающемся с этой властью лишь наружно.

Стр. 491. Нынче и дамочки какие-то кровопийственные сделались, всё походам бредят... Прямо настаивают: проливай кровь! — Незадолго до своего отъезда из Висбадена в Париж, где он должен был встретиться с Н. А. Белоголовым, Салтыков обратился к последнему с таким «специальным» письмом (от 12/24 августа 1881 г.): «Хотел было прекратить дальнейшую переписку, многоуважаемый Николай Андреевич <ввиду скорой личной встречи.— С. М.>, но, право, жить страшно становится. Узнал я, что «Святая дружина» наняла искусного дуэлиста и бретера... чтобы оскорбить Рошфора и затем убить его на дуэли. Подобным же образом предполагают поступить с Креспоткиным. Ежели сойдут эти два устранения благополучно, то весьма может быть, что пойдут и дальше... Каким бы образом раскрыть все это и в особенности предупредить Рошфора?» Письмо, из которого взяты приведенные строки, было впервые опубликовано В. Розенбергом в № 230 «Русских ведомостей» за 1912 г., а в № 251-м этой газеты появилась реплика на публикацию, принадлежащая перу П. Кропоткина, в которой содержится следующая интересующая нас подробность. Подтверждая сведения, содержащиеся в письме Салтыкова, П. Кропоткин писал: «...в Женеве я узнал еще некоторые дальнейшие подробности о «Священной дружине», а также и то, что в Женеве сведения о ней, тоже исходившие от Лорис-Меликова, были получены через М. Е. Салтыкова-Щедрина, который нарочно приезжал в Швейцарию, или на границу Швейцарии, и вызывал на свидание одного из эмигрантов, чтобы сообщить ему эти сведения, для предупреждения кого следует. Вскоре мы узнали, что в Женеву приедет одна русская дама, которая будет заведывать приведе-

нием в исполнение решения «Дружины» <т. е. решения об убийстве Рошфора.— С. М.>. «Свидание с эмигрантом» — это, конечно, свидание с Белоголовым (хотя формально он не был эмигрантом), у которого Салтыков прожил в Туне «в начале августа» два дня. По-видимому, в Туне Салтыков и получил от своего друга, бывшего в курсе всех дел женевской эмиграции, последнюю информацию о подготавливаемом покушении «Священной дружины», в том числе и о таинственной русской даме, посланной «заведывать» его исполнением. Этот авантюрный сюжет, могший, однако, закончиться кровавой развязкой, явился не только предметом сатирического разоблачения Салтыкова (как в комментируемом пассаже о «кровопийственных дамочках», так и в ряде других мест «письма»), но и исходным пунктом для проведения сатирической параллели между современными дамочками, жаждущими «пролития крови», и «дамочками-куколками» «докровопийственного периода», — давними героинями салтыковской сатиры (см., напр., «Круглый год»).

Стр. 493. *«Общество Проломленных голов».* — Проломленные головы — по Далю — бранное прозвище орловцев. В этом «фольклорном» иносказании содержится, по-видимому, намек на какой-то эпизод из деятельности орловской организации «благонамеренной крамолы». В газете «Порядок» за первые числа августа 1881 г. глухо упоминается о «не в меру ретивой патриотке и доверчивых орловских обывателях».

Графиня Сапристи. — Иронический эффект этой фамилии заключается в том, что междометие *s a r g i s t i* (собств. *sacristi!*) означает по-французски бранное восклицание, равнозначное русскому «черт побери!».

Стр. 507. *Погодите немного, и мы увидим целую толпу разного наименования добровольцев... Тут явятся и «Чистопсовы охранители», и «Усердные гущееды», и «Веселые лоботрясы», и «Кособрюхие восстановители основ».* — Строки эти, как часто бывало у Салтыкова, оказались провидческими. «Священная дружина» за время своего недолгого существования все же сумела организовать довольно разветвленную сеть своих агентов в губернских центрах. В сатирические наименования «добровольцев» вплетены дразнительные народные прозвища населения различных русских областей («к о с о б р ю х и е» — рязанцы, «г у щ е е д ы» — новгородцы, «п р о л о м л е н н ы е г о л о в ы» — орловцы и др.).

Стр. 512. *Вы встретите тут целую массу русских брошюр с самыми заманчивыми названиями, начиная с вопроса: «Что нам всего нужнее?» и кончая восклицанием: «Европа, руки по швам!»* — Как уже указывалось (см. прим. к стр. 471), Салтыков имеет здесь в виду в первую очередь анонимно изданную брошюру Р. Фадеева, написанную при участии И. Воронцова-Дашкова, «Письма о современном состоянии России» (Лейпциг, 1881), а затем книги Д. Губарева «Что народу нужно?» (Штутгарт, 1881) и А. Кошелева «Где мы? Куда и как идти?» (Берлин, 1881). Две последние книги лишь попутно задеваются, первой же уделяется как в этом «письме», так и во множестве других мест цикла большое внимание, о чем невозможно догадаться современному читателю, так как писатель памфлетизи-

рует и полемизирует против брошюры «анонимно», ни разу не называя ее и прибегая лишь к открытой цитации текста. Внимание, уделенное Салтыковым «Письмам...», не случайно. В этой брошюре наиболее откровенно аргументированы все главные положения тактики «обращения к обществу» за «содействием» в борьбе с «крамолой», которая легла в основу первых шагов внутренней политики правительства Александра III после 1 марта. Несостоятельность только полицейской борьбы с революционным движением, бессилие бюрократии в деле охраны «самодержавной России» и, как вывод отсюда,— необходимость замены бюрократических способов управления «широким развитием земской самодеятельности, в котором одном лишь... может заключаться наша родная конституция, сохраняющая царя царем, а не главою исполнительной власти...» — таковы главнейшие программные положения брошюры Р. Фадеева, лишь слегка замаскированные той «верноподданнической фрондой», над которой издевается Салтыков. При своем появлении летом 1881 г. «Письма...» вызвали большой шум, они были отмечены почти всей периодической прессой, при этом отмечены сочувственно. Не только, например, «Новое время» солидаризировалось с программой, развернутой в книге (см. фельетоны в №№ 1893 и 1902 за 1881 г.), но и либеральный «Порядок» писал о ней так: Мы «останавливаемся на этой книге как на каком-то целом «событии» — и притом событии <...> «самого утешительного и отрадного свойства» (фельетон в № 189 от 12 июля 1881 г.). Заслуга разоблачения в легальной русской печати реакционной сущности «Писем...» принадлежит, как и в случае со «Священной дружиной», всецело Салтыкову.

...какой-нибудь честолюбивый земский лудильщик... — Намек на А. И. Кошелева и его вышеназванную брошюру «Где мы? Куда и как идти?». Брошюра эта вышла в Берлине в конце 1881 г., но Салтыков имел случай ознакомиться с ней раньше. В письме к Н. Белоголовому от 25 июля 1881 г. из Висбадена Салтыков писал: «Вчера вечером приехал сюда Кошелев и привез свою новую брошюру, половину которой прочел сегодня утром Лорису и мне, а вторую половину предложил нам выслушать сегодня вечером. Подобного унылого переливания из пустого в порожнее я давно не слышал. И вот такую-то литературую думают отрезвить правительство».

Стр. 513. *«Смею ли присовокупить!»* — Именно с этой буквально воспроизведенной фразы начинаются «фрондирующие» тирады Фадеева, над которыми издевается Салтыков, попутно высмеивая весь стиль книги, написанной «по-военному», в манере приказаний, не привыкших встречаться с возражением и не рассчитанных на действия убеждением. Вот соответствующая цитата из Фадеева: «Смею ли присовокупить».

Не будучи славянофилом, невольно приходишь к заключению, что если со времени Петра мы далеко продвинулись в просвещении и мужестве, то общественное развитие России едва ли не придется начать сызнова, со дня кончины царя Алексея Михайловича...» и т. д. (стр. 13 «Писем о современном состоянии России»).

Стр. 515. *Почему они печатают себя в Берлине, в Лейпциге, а не в*

Саратове?.. Яды — саратовские, изложение — саратовское, а печать — берлинская! — В центре внимания земской общественности 1880—1881 гг. стоял вопрос о реформе учрежденных положением 27 июня 1874 г. «присутствий по крестьянским делам», вызывавших многочисленные нарекания земств. В декабре 1880 г. Лорис-Меликов обратился со специальным циркуляром к губернаторам, в котором, сообщая возникшие предположения о возможных изменениях положения 1877 г., предлагал обсудить их также и в губернских и уездных земских собраниях, причем приглашал их высказать свои «соображения и о других мерах по устройству местных по крестьянским делам учреждений». На протяжении 1881 г. почти все земства дали свои заключения, в том числе высказались кузнецкое уездное (С а р а т о в с к о й г у б.) и с а р а т о в с к о е уездное земские собрания. Они выступили (особенно первое) с откровенно крепостническими проектами, предусматривавшими, между прочим, учреждение специального института «участковых начальников» из местных дворян-помещиков (прообраз будущих земских начальников). Последним предполагалось вверить всю полноту опеки над крестьянством и «заботу об охранении порядка» в его среде. В эти саратовские проекты и метит сатирическая стрела Салтыкова.

Искандер — псевдоним А. И. Герцена. Это одно из двух-трех прямых упоминаний его имени в сочинениях Салтыкова, хотя и не попавшее в печать.

Грамотей всегда начинает издадека... он обзирает мысленно все части света... — Отсюда начинается ряд насмешек над упомянутой выше книгой Д. Г. <Д. Н. Губарева> «Что народу нужно?», вышедшей в Штутгарте летом 1881 г. Малограмотная книга эта сплошь начинена различными выписками из всевозможных авторов и множеством исторических примеров, нужных автору для следующего главного заключения: «Чтобы противостоять революционному движению, правительство должно находить опору в партии, сильной и готовой вступить за управление; кроме того, история нам указывает, что нужно быстрое и энергичное противодействие. Всякие уступки революционной партии вызывали с ее стороны новые требования...» (стр. 114). Ряд мест салтыковского текста (например, о «добром последнем Людовике XVI» и т. д.) построен на прямом сатирическом отталкивании от соответствующего материала книги Губарева.

Неоконченное

Дополнительные письма к тетеньке

(Стр. 517)

Летом или осенью 1882 г., после завершения журнальной публикации «Писем к тетеньке», у Салтыкова возник замысел нового цикла — «Дополнительные письма к тетеньке». Идею его Салтыков, в общей форме, изложил в письме к П. В. Анненкову от 1 ноября 1882 г.

В нем он писал, отвечая на замечание Анненкова по поводу «Писем к тетеньке», — о трудности практического воздействия на русское общество: «...современное русское общество так настроилось, что совсем не задерживает впечатлений. Легкость, с которой в продолжение 25 лет давалось и опять отнималось многое очень существенное, породила в обществе очень много постыдных привычек и, между прочим, привычку относиться ко всему происходящему спустя рукава. Понятно, что обладателя подобной привычки трудно чем-нибудь пронять. Я еще до получения Вашего письма неоднократно задумывался над этим вопросом и даже проектировал несколько дополнительных «писем к тетеньке», но не знаю, выполню ли эту задачу» (подчеркнуто мною. — С. М.). Через два месяца, в письме к Г. З. Елисееву от 1 января 1883 г., Салтыков сообщил о неудаче, постигшей его в попытках осуществить новый замысел: «Хотел было написать фельетон, то есть начать целый ряд коротеньких дополнительных фельетонных писем к Тетеньке, и написал уже половину первого письма, как вдруг словно обрезало. Не могу, и все тут». По-видимому, здесь передавались впечатления о только что пержитой неудаче и, следовательно, дату сохранившейся рукописи — половины первого из начатых «Дополнительных писем к тетеньке» следует датировать декабрем 1882 г.

Отказавшись от замысла «Дополнительных писем к тетеньке», Салтыков попытался позднее приспособить половину написанного им «письма» к другой своей работе — к «Письму к пошехонцам», связанном с циклом 1884 г. — «Пестрые письма» (см. наст. изд., т. 16, кн. первая). С этой целью он начал переделывать ранее написанный текст. В рукописи второй редакции «незаконченного письма» (рук. № 207) были зачеркнуты заглавие «Дополнительные письма к тетеньке», а также первые двадцать строк текста и заменены другим заглавием — «Послание пошехонцам» и другим текстом на полях: «Господа пошехонцы! Я надеюсь, что вы не будете на меня в претензии...» и т. д. Однако эта переделка не была доведена до конца, и говорить о «Послании к пошехонцам», как о законченном произведении, невозможно. Публикацию в таком качестве «Послания к пошехонцам» Ивановым-Разумником в книге «Неизданный Щедрин» (Изд-во писателей, Л. 1932) следует признать эдиционно-текстологической ошибкой.

Впервые «Дополнительное письмо к тетеньке» было в отрывках приведено В. П. Кранихфельдом в ростовской газете «Утро Юга» (№ от 6 января 1914 г.). Полностью опубликовано Вас. Гиппиусом в сборнике «Звенья», т. III—IV, «Academia», М.—Л. 1934, стр. 739—756. «Дополнительное письмо» содержит одно из наиболее значительных поздних высказываний Салтыкова о литературе, обогащающее его многочисленные литературно-критические суждения, разбросанные в таких его произведениях 70—80-х годов, как «Круглый год» и «Недоконченные беседы». Существенно важны в «Дополнительном письме» и «формулы» раскрытия образа «тетеньки». Подробнее обо всем этом см. в сопроводительной статье Вас. Гиппиуса к названной публикации.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ¹

Абделькадер, правильное Абд-Эль-Кадир (1808—1883), вождь национально-освободительной борьбы алжирского народа — 157.

Августин Аврелий (354—430), епископ, церковный писатель и проповедник — 558.

Авсеев Василий Григорьевич (1842—1919), писатель, сотрудничал в «Русск. вест.», автор «антинигилистических» романов — 649.

Адам (Библия) — 182.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист славянофильского лагеря, в 1880—1885 гг. редактор-издатель газеты «Русь» — 564, 570, 598, 601, 602, 604, 622, 629, 630, 670, 676.

«Объявление» — 570.

Аксельрод Павел Борисович (1850—1928), участник революционного движения, один из основателей группы «Освобождение труда», первой русской марксистской организации — 615.

Александр I (1777—1825), российский император в 1801—1825 гг. — 639.

Александр II (1818—1881), российский император в 1855—1881 гг. — 513, 528, 548, 571, 584, 592, 595, 597, 603, 608, 610, 618, 629, 635.

Александр III (1845—1894), российский император в 1881—1894 гг. — 550, 560, 597, 599, 605, 608, 636, 652, 658, 667, 668, 678.

Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь в 1645—1676 гг. — 678.

Алексис Поль (1847—1901), французский писатель, последователь натурализма, входил в т. н. меданскую группу писателей — 589.

Альфонсин, французская шансонетка — 51, 159, 209

Андреевны Елена Ивановна (1819—1857), балерина — 637.

Анненков Павел Васильевич (1813 или 1812—1887), литературный критик, историк литературы и мемуарист, сотрудник «Отеч. зап.», корреспондент Салтыкова — 531, 532, 535, 543, 551, 553, 562, 565, 569, 573, 581, 583, 602, 614, 650, 654, 679.

«Новое издание сочинений Пушкина» — 654.

«Парижские письма» — 531.

«Письма из-за границы» — 531.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), временщик при Павле I и Александре I, главный начальник военных поселений — 13, 26, 74, 75, 210, 343—346, 350, 351, 390, 420, 427, 428, 556, 559, 560, 569, 605, 639, 640.

Арид (м и ф.) — 10, 11.

Аристид Справедливый (510—467 гг. до н. э.), афинский полководец и политический деятель — 270, 626.

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), публицист, литературный критик, автор многих статей и первой книги о Салтыкове — 574, 581, 660.

«Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова» — 660.

«Салтыков-Щедрин» — 581.

Ахиллес (м и ф.) — 93, 95, 230

Ашкинази (лит. псевдоним — Michel Delines) Михаил Осипович (1851—1911), переводчик русских классиков на французский язык — 527.

Базен Ашиль-Франсуа (1811—1838), французский маршал, клеврет Наполеона III, в октябре 1870 г. открыл прусским войскам путь на Париж — 269, 626.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 154, 222, 338, 479.

Балле, владелец продовольственного магазина в Петербурге — 352, 358.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — 152, 155, 537, 582, 587, 588, 589.

¹ В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены, за исключением статей и книг о Салтыкове.

Указатель составила А. М. Малахова.

- «Человеческая комедия» — 155, 589.
 «Утраченные иллюзии» («*Illusions perdues*») — 127, 582.
- Баратынский** (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт — 572.
 «Ропот» — 90, 572.
- Барков** Иван Семенович (по другим данным — Степанович) (ок. 1732—1768), русский поэт и переводчик, автор скабрёзных стихов, расхваливавшихся в списках — 494, 510.
- Бароиш** Пьер-Жюль (1802—1870), французский политический деятель, в 1848 г. член Национального собрания, в президентство Луи-Наполеона — генеральный прокурор, а с 1850 г. — министр внутренних дел — 114.
- Барро** Одилон (1791—1873), французский политический деятель при Луи-Филиппе, премьер-министр первого кабинета в президентство Луи-Наполеона — 113, 577.
- Баршев** Яков Иванович (1807—1891), профессор уголовного права и судопроизводства в Александровском (Царско-сельском) лицее — 567.
- Басардин** В., литературный псевдоним Л. И. Мечникова (см.).
- Бастиа** Фредерик (1801—1850), французский вульгарный экономист, проповедник «гармонии интересов» труда и капитала — 411.
- Баттенберг** Александр (1857—1893), сын принца Гессенского, был выдвинут русским правительством на престол Болгарии, под именем Александра I князя Болгарского, занимал его с 1879 по 1886 г. — 247, 248, 262, 357, 618, 623, 641.
- Бегень** А., воспитатель в Александровском (Царскосельском) лицее — 645.
- Бедеккер** Карл (1801—1859), составитель популярных путеводителей по странам и городам Западной Европы — 42, 166.
- Безобразов** Владимир Павлович (1828—1889), либеральный экономист, географ и публицист, младший лицейский товарищ Салтыкова — 647, 653.
- «Наши охранители и наши прогресисты» — 647.
- Белинский** Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 111, 587, 612.
- Беллини** Винченцо (1801—1835), итальянский композитор — 638.
- «Пуритане» — 334, 335, 638, 639.
- Белоголовый** Николай Андреевич (1834—1895), врач, литератор и общественный деятель, с 1881 г. фактический редактор органа русской эмиграции «Общее дело», друг Салтыкова, автор воспоминаний о нем — 528, 580, 605, 606, 612, 617, 620, 622, 628, 631, 636, 638, 642, 647, 650, 651, 662, 667, 671, 676, 677, 678.
- Беляев** Юрий Дмитриевич (1876—1917), театральный критик и драматург — 533.
- Бенкендорф** Александр Христофорович, граф (1783—1844), генерал-адъютант, начальник III Отделения и шеф жандармов с 1826 г. — 618.
- Бер** Б., берлинский издатель — 670.
- «*Берег*», реакционная газета, издавалась в Петербурге в 1880 г., под редакцией П. П. Цитовича — 562, 651.
- Бернар** Сара (1844—1923), французская актриса, в 1882 г. гастролировала в Петербурге, Москве, Одессе — 455, 663.
- Бестужев** (лит. псевдоним — Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), писатель, декабрист — 673, 674.
- «Аммалат-бек» — 673; Амалат-бек — 304, 362, 481—488, 490—494, 496—498, 503, 504, 506—510, 512, 515, 631, 663, 671, 673, 674, 675.
- «Фрегат «Надежда» — 486, 673.
- Бибилов** Дмитрий Гаврилович (1792—1870), генерал-адъютант, министр внутренних дел с 1852 по 1855 г. — 114.
- Библия** — 178, 180, 291, 568, 572, 590, 592, 593, 630.
- Биньон**, французский ресторан — 161, 164.
- Бируков** Александр Степанович (1772—1844), цензор С.-Петербургского цензурного комитета в 1821—1826 гг., цензуровал Пушкина — 214, 599.
- Бисмарк** Отто, князь (1815—1898), первый канцлер объединенной Германской империи (1871—1890); провел в 1878 г. исключительный закон против социалистов — 49, 141—143, 145, 149, 433, 464, 533, 552, 567, 584.
- Блан** Луи (1811—1882), французский социалист-утопист, публицист и историк; деятель революции 1848 г. — 111—113, 572, 575, 576, 578.
- «*Histoire de dix ans. 1830—1840*» («История десятилетия. 1830—1840») — 113, 576.
- Бланки** Луи-Огюст (1805—1881), французский революционер, коммунист-утопист, организатор ряда тайных политических обществ и заговоров — 540, 576.

Блок Александр Александрович (1880—1921) — 528, 609.

«Возмездие» — 609.

«Скифы» — 528.

Блохин, торговец личным товаром в городе Красный холм Тверской губ.—166, 172—181, 191, 193, 216, 282, 592, 593.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель — 629.

«Монрепо» — 629.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1803), поэт — 67, 568.

«Душенька» — 67, 568.

Богомолов Николай Михайлович (1841—1888), литератор, с 1879 г. сотрудник московской либеральной газеты «Русск. курьер» — 591.

«Наброски из области литературы и журналистики» — 591.

Бодри д'Ассон, депутат Национального собрания Франции, легитимист — 141.

«*Боже, царя храни...*», гимн царской России, музыка А. Ф. Львова, слова В. А. Жуковского — 312, 603, 635.

Бок, владелец книжного магазина в Берлине на Unter den Linden — 430, 512.

Бонне Шарль (1720—1793), французский естествоиспытатель и философ-материалист — 625.

«*La contemplation de la nature*» — 625.

Борель, ресторан в Петербурге (по имени первого владельца) — 51.

Бороздин Корнилий Александрович (1828—1896), историк и публицист официального направления, член «Священной дружины» — 674.

Борщевский Соломон Самофлович (1895—1962), литературовед — 564, 566.

«Щедрин и Достоевский» — 564, 566.

Боткин Василий Петрович (1811—1869), писатель, критик, переводчик — 531.

«Письма об Испании» — 531.

Брант Леопольд Васильевич, беллетрист и критик 1830—1840 гг., единомышленник Булгарина, писал свои критические статьи по прямому заказу III Отделения — 111.

Бребан, владелец ресторана в Париже — 43.

Брут Марк Юний (85—42 гг. н. э.), римский политический деятель, был одним из инициаторов заговора против Цезаря и принял участие в его убийстве — 314, 499, 635.

Будри (Младший) Этьен де, француз-

ский полковник, международный политический сыщик-авантюрист, сотрудничал одновременно в русской и французской охранках, в 70-х гг. жил в России — 599.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), журналист и писатель; издатель-редактор реакционной газеты «Северная пчела»; совмещал литературную работу с деятельностью в III Отделении, упоминается у Салтыкова как синоним продажного литератора и политического доносчика — 111.

Бурбоны, королевская династия, занимавшая престол во Франции с 1589 г.; Великая французская революция свергла ее, реставрация 1814—1830 гг. ненадолго воскресила династию в лице Людовика XVIII и Карла X — 117, 135, 208, 215, 216, 567, 582, 584.

Буренин (лит. псевдоним — З и В. Моноументов) Виктор Петрович (1841—1926), публицист и критик, принадлежал первоначально к демократической журналистике, впоследствии же стал одним из наиболее воинствующих представителей группы «Нового времени» (с 1876 г.) — 596, 604, 640, 659, 663.

«Критические очерки» — 640, 658.

«Литературные очерки» — 604.

Буренин Константин Петрович (ум. в 1882), автор учебников по физике и математике, выдержавших множество изданий — 412.

«Собрание арифметических задач» (совместно с А. Малинным) — 412.

Бушмин Алексей Сергеевич, литературовед — 589, 611, 616.

«Из истории взаимоотношений М. Е. Салтыкова-Щедрина и Эмиля Золя» — 589.

«Сатира Салтыкова-Щедрина» — 611, 616.

Бюффе Луи-Жозеф (1818—1893), французский политический и государственный деятель, либерал, премьер-министр и министр внутренних дел Франции в марте 1875 — феврале 1876 гг. — 129.

Ваддингтон Уильям Генри (1826—1894), французский буржуазный государственный деятель, дипломат, археолог, в 1877—1878 гг. министр иностранных дел — 584.

Валлон Анри (1812—1904), французский историк и политический деятель; в качестве депутата Национального собрания способствовал проведению конституцион-

ных законов 1875 г., названных его именем, которые установили во Франции режим т. н. Третьей республики — 581.

Валуев Петр Александрович, граф (1814—1890), министр внутренних дел в 1861—1863 гг., министр государственных имуществ в 1872—1879 гг., председатель Комитета министров в 1879—1890 гг. — 561, 562, 625, 626, 640, 647.

«Дневник 1877—1884» — 625, 626, 640, 647.

«Сборник кратких благоговейных чтений на все дни года» — 562.

Василий Буслаев, герой двух былин Новгородского цикла XIV—XV вв. — 539.

Вашетт, ресторан в Париже — 164.

Введенский Арсений Иванович (1844—1909), литературный критик, автор ряда статей о Салтыкове — 558, 574, 575.

«Беллетристика в журналах» — 553.

«Отечественные записки», 1881, январь» — 574, 575.

Венера Милосская — 168, 172, 178, 219.

Вергилий (Виргилий) Марон Публий (70—19 гг. до н. э.) — 652.

«Энеида» — 405, 652.

Верди Джузеппе (1813—1901).

«Аида» — 398, 414, 651; Амонасро — 398, 651; Радомес — 414.

Верньо Пьер-Викторнъен (1753—1793), деятель Великой французской революции, один из лидеров жирондистов, депутат, а затем председатель Законодательного собрания — 130.

«Вестник Европы», ежемесячный историко-политический и литературный журнал, выходивший в Петербурге. Редактор-издатель (в 1866—1908 гг.) М. М. Стасюлевич, редактор К. К. Арсеньев — 587, 660.

Вефур, дорогой ресторан в Париже — 43.

Владимир Александрович, вел. князь (1847—1908), брат Александра III — 584.

Владимир Святославич (ум. в 1015 г.), князь Киевский, ввел христианство на Русь — 625.

Вольтер (Мари-Франсуа Аруз; 1694—1778) — 123, 150, 159, 645.

«Танкред» — 645.

«Шарль, или Графиня Живари» — 65, 568.

Воронин, владелец трактира в Охотном ряду — 139.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916), граф, начальник царской охраны. После убийства Александра II министр императорского двора и уделов (с августа 1881 г.), один из организаторов «Священной дружины» — 633, 635, 668—673, 677.

«Письма о современном состоянии России» (совместно с Фадеевым) — 633, 635, 670, 671, 675—678, 679.

Ворт, немецкий дамский портной — 52.

Вуазен, ресторан в Париже — 164.

Габсбурги, германо-австрийская династия, правившая на протяжении веков рядом стран Западной Европы — 568.

Гаварди (наст. имя — Анри де Дюфур; 1824—1910), французский литератор и политический деятель, легитимист, с 1875 г. — сенатор — 141.

Гагаринов Петр Петрович (ум. в 1875 г.) — врач — 579.

Гавевский Виктор Павлович (1826—1888), товарищ Салтыкова по лицу, крупный чиновник, журналист и историк литературы; член-учредитель Литературного фонда и многолетний его председатель — 629.

Гайдебуров Павел Александрович (1841—1894), журналист и публицист, редактор-издатель газеты «Неделя» — 563.

«Журнальные очерки» — 563.

Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882), французский политический и государственный деятель, лидер левой парламентской оппозиции в годы «Второй империи»; лидер буржуазных республиканцев в годы Третьей республики, премьер-министр и министр иностранных дел в 1881—1882 гг. — 70, 88, 111, 123, 127—132, 140, 142, 146, 149—151, 154, 167, 168, 180, 181, 205, 211, 215, 219, 464, 534, 535, 554, 581, 586, 592, 599, 631, 634.

Гандон Бланш, французская опереточная певица, много гастролировавшая в Петербурге; была выслана за пределы России после ряда грязных скандалов — 492.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 357, 641.

Гарсен, капитан национальной гвардии, один из наиболее жестоких усмирителей Парижской коммуны 1871 г., награжденный за свое усердие чином генерала — 154, 588.

- ... *Гартман* Лев Николаевич (1850—1908), революционер, народник — 592, 672.
- Гейне* Генрих (1797—1856) — 566, 635.
«Серенада» — 315, 501, 635.
«Reisebilder» — 566.
- Геннади* Григорий Николаевич (1826—1880), библиограф — 417, 654.
- Генрих IV* (1553—1610), французский король с 1589 г. (фактически с 1594 г.), первый из династии Бурбонов — 144.
- Генрих V* (Henri Cinq), см. Шамбор.
- Георг I* (1845—1913), греческий король с 1863 г. — 262, 623.
- Георгиевский* Петр Егорович (у Салтыкова — Петрович; 1792—1852), профессор русской словесности в Царскосельском лицее с 1828 г. — 365, 645.
- «Руководство к изучению словесности» («Пепино свиństwo») — 365, 461.
- Геркулес* (м и ф.) — 154, 465.
- Герсон*, магазин шерстяных изделий в Берлине — 52.
- Герцен* (Искандер; Iskander) Александр Иванович (1812—1870) — 515, 516, 528, 531, 538, 539, 542, 543, 566, 580, 587, 612, 679.
«Былое и думы» — 566.
«Письма из «Avegneue Marigny» — 528, 531.
«Письма из Франции и Италии» — 566.
«С того берега» — 539.
«Тюрьма и сылка» («Былое и думы») — 566.
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 43.
- Гизо* Франсуа-Пьер-Гийом (1787—1874), французский историк и государственный деятель в царствование Луи-Филиппа — 112, 113, 575—577.
- Гиппиус* Василий Васильевич (1890—1942), литературовед, автор работ о Салтыкове — 606, 609, 613, 674, 680.
«Дополнительное письмо к тетеньке» — 609.
«М. Е. Салтыков-Щедрин и реакция начала 80-х годов» — 606, 674.
«Творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина» — 613.
- Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898), английский политический и государственный деятель, неоднократно премьер-министр в либеральных кабинетах с 1868 по 1895 г. — 88.
- Глинка* Федор Николаевич (1766—1880), поэт — 591.
- «Сон русского на чужбине» — 161, 591.
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852) — 327, 415, 474, 483, 530, 553, 562, 595, 602, 629, 653, 671.
«Игроки» — 483, 602; Замухрышкин — 223, 602; Утешительный — 483.
«Мертвые души» — 24, 530, 562; Бетрищев — 328; Коробочка — 328; Костанжогло — 328; Маняловы — 328; Мижув — 328, 416, 417, 475, 653; Ноздрев — 327—331, 395—402, 404, 406, 413—419, 422, 465, 474, 476—485, 488, 504, 612, 629, 636, 648, 649, 650, 652, 653, 665, 666, 671; Петрушка — 328; Петух — 328; Плюшкин — 328; Собакаевич — 328; Фемистоклос — 328; Чичиков — 328, 473.
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»; Иван Иванович — 101.
«Ревизор» — 411, 653; Держиморда — 52, 318, 503; Пошлепкина — 317, 502; Сквозник-Дмухановский — 52, 101, 311—319, 322, 496—499, 501—504, 511, 515, 664, 675; Тряпичкин — 401; Тяпкин-Ляпкин — 78, 80, 82, 318, 503; Хлестаков — 101, 411, 653.
Гойя Франсиско Хосе де (1746—1828), испанский живописец — 553.
«Капричос» — 553.
- Головин* Александр Васильевич (1821—1886), министр народного просвещения России с декабря 1861 по апрель 1866 г. — 638, 645, 668.
«Голос», ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге А. А. Краевским в 1863—1884 гг. (с 1871 г. — совместно с В. А. Бильбасовым) — 528, 595, 650, 651, 652.
Гольбах Поль-Анри (1723—1789), французский философ-материалист, сотрудник «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» — 159.
- Гончаров* Иван Александрович (1812—1891) — 566.
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (63—8 гг. до н. э.) — 570, 638, 653.
«Наука поэзии» («Ars poetica») — 79, 339, 579, 638.
«Оды» — 412, 653.
- Горлов* Иван Яковлевич (1814—1890), профессор политической экономии и статистики Казанского и С.-Петербургского университетов — 365, 382, 646.
«Теория финансов» — 365, 646.

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — 528, 609.

«Жизнь Клина Самгина» — 609.

«Прекрасная Франция» — 528.

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист и литературный критик — 564, 574, 581.

«Журналистика» — 581.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1835) — 457, 612, 663.

Гранье де Кассаньяк Бернар-Адольф (1806—1880), французский политический деятель и публицист, неистовый бонапартист, участник всех монархических заговоров против Третьей республики с первого дня ее существования до своей смерти — 129, 131.

Гранье де Кассаньяк Поль (1843—1904), сын предыдущего, французский политический деятель и публицист, один из лидеров клерикальной группы бонапартистов в Третьей республике — 129, 131.

Гриви Франсуа-Поль-Жюль (1807—1891), французский адвокат и государственный деятель, правый республиканец, в 1879—1887 гг. президент Французской республики — 129, 142, 215, 554.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 553, 636.

«Горе от ума»; Загорецкий — 303, 304; Репетилов — 397; Чацкий — 323, 325, 636.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), литературный критик и поэт — 530.

«Воспоминания» — 530.

Грингмут (лит. псевдоним С. Темлинский) Василий Андреевич (1851—1907), публицист, редактор «Москов. вед.» — 588.

«Золанизм в России» — 588.

Гриневицкий Игнатий Иоахимович (1856—1881), революционер, народоволец; 1 марта 1881 г. бросил бомбу, убившую Александра II и смертельно ранившую его самого — 608.

Губарев Дмитрий Николаевич, реакционный земский деятель и публицист — 671, 677, 679.

«Что народу нужно?» — 671, 677, 679.

Гутенберг (по отцу — Генсфлейш) Иоганн (между 1394—99—1468) — 235, 236, 396.

Гюго Виктор-Мари (1802—1885) — 111, 135, 151—153, 158, 537, 568, 572, 580, 587, 590.

«Отверженные»; Гаврош — 119.

«Рюи Блаз» («Ruy Blase») — 568;

Рюи-Блаз — 65, 568;

Давид, полулегендарный царь Израильско-Иудейского государства (X в. до н. э.) — 25, 484, 562.

Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф — 576, 640, 677.

«Пословицы русского народа» (у Салтыкова — «Собрание русских пословиц») — 112, 575, 576.

Дамокл (м и ф.) — 317, 502.

Данши (Б и б л и я) — 568.

Данте Алигьери (1265—1321) — 222, 338, 479, 518.

Дантес Жорж-Шарль, барон Геккерен (1812—1895), французский монархист, бежавший в Россию после буржуазной июльской революции 1830 г., убийца А. С. Пушкина, офицер Кавалергардского полка — 654.

Дантон Жорж-Жак (1759—1794), деятель Великой французской революции и один из крупнейших ее ораторов — 130.

Даркур, граф, французский дипломат, посол Третьей республики в Вене — 142, 584.

Девкалион (м и ф.) — 338, 639.

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), участник революционного движения, один из создателей первой марксистской группы «Освобождение труда» — 615.

«М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры (по личным воспоминаниям)» — 615.

Деказ Луи-Шарль, герцог де (1819—1886), французский дипломат и политический деятель, монархист, с 1873 по 1877 г. — министр иностранных дел в разных кабинетах, вел с иностранными державами тайные переговоры о помощи в деле реставрации монархии во Франции — 129.

«Дело», литературно-политический журнал демократического направления, выходивший в Петербурге в 1866—1888 гг. — 572, 587, 588.

Дельвиг Андрей Иванович (1813—1887), генерал-лейтенант, инженер и меуарист — 583.

«Полвека русской жизни (Воспоминания)» — 582.

Демидов Анатолий Николаевич (1812—

1670), владелец металлургических заводов и крупный землевладелец. был женат на племяннице Наполеона I, купил титул князя Сан-Донато — 673.

Демидов Павел Павлович, князь Сан-Донато (1839—1885), уральский горнозаводчик, миллионер, член «Священной дружины» — 673.

Демидрон, увеселительное заведение в Петербурге — 261.

Демосфен (ок. 384—322 гг. до н. э.), древнегреческий оратор и политический деятель, вождь антимакедонской партии в Афинах — 130.

Демулен Камилль (1760—1794), политический деятель и выдающийся оратор Великой французской революции — 130.

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 24, 327, 345, 357, 562, 636, 639.

«На смерть князя Мещерского» — 345, 639.

«Осень во время осады Очакова» — 327, 636.

Дидро Дени (1713—1784) — 159.

Добровольский Лев Михайлович (1900—1963), библиограф, архивист, источниковед — 620.

Домье Оноре (1808—1879), французский карикатурист и живописец — 553.

Дорог, владелец ресторана в Петербурге — 257.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 528, 529, 542, 558, 563—565, 572, 596, 599, 609, 610, 649, 672.

«Бесы» — 672.

«Братья Карамазовы» — 563.

«Дневник писателя» — 558, 563, 566, 599, 609, 610.

«Зимние заметки о летних впечатлениях» — 528.

«Игрок» — 529.

«Пушкинская речь» — 542, 563, 564, 565, 572.

Драконт, древнейший афинский законодатель — 182.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), жандармский генерал, управляющий III Отделением (с 1839 г.) и начальник корпуса жандармов — 113.

Дьяков (лит. псевдоним — Незлобин) Александр Александрович (1845—1895), беллетрист и фельетонист; участник революционного движения, а затем его ренегат и обличитель — 651.

«Кружковщина» — 651.

«Рассказы» — 651.

Дюма (сын) Александр (1821—1895), французский писатель и драматург — 591.

«Альфонс» («Monsieur Alfonse») — 166, 591.

Дюшарю, владелец винного завода — 419.

Дюшатель Шарль-Мари (1803—1867), французский политический деятель, в 1847—1848 гг. министр внутренних дел в кабинете Гизо — 113, 577.

Ева (Б и б л и я) — 182.

Евангелие — 314, 430, 565, 572, 573, 635, 647.

Евгения Монтихо (1826—1920), императрица Франции, дочь испанского графа де Монтихо, с 1853 г. жена Наполеона III, реакционная и клерикальная фанатичка, она непосредственно вмешивалась в государственные дела, оказывала влияние на политику правительства — 70, 141, 143, 215, 568, 584.

Евгеньев-Максимов (наст. фамилия — Максимов) Владислав Евгеньевич (1883—1955), литературовед — 591, 638, 675.

«В тисках реакции» — 591, 638, 675.

Евтропий (ум. ок. 370 г. н. э.), римский историк, автор «Breviarum historico Romano» («Краткой истории Рима») — сочинения, ставшего классическим пособием при изучении римской истории и латинского языка — 105, 169.

Екатерина II Алексеевна (1729—1796), императрица всероссийская с 1762 г. — 168, 693.

Елисавета (Б и б л и я) — 183.

Елисеев Григорий Захарович (1821—1891), журналист и публицист, редактор Салтыкова по изданию «Современника» и «Отеч. зап.» — 557, 573, 579, 582, 605, 608, 618, 620, 628, 630, 654, 668, 669, 674, 680.

«Несколько слов по поводу воров слезы дня» — 573.

Елисеев Григорий (1804—1892) и Степан (1806—1879) Петровичи, владельцы гастрономических и винных магазинов в Москве и Петербурге — 352, 358, 359.

Ермак Тимофеевич (ум. в 1584 г.) — 194, 251.

Ерман Лев Константинович, историк — 611.

«Интеллигенция» — 611.

Ефремов Петр Александрович (1830—1907), библиограф и литературовед, в 1880—1881 гг. под его редакцией вышло

шеститомное собрание сочинений Пушкина — 530, 654.

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт, один из создателей сатирич. Козьмы Прутова, корреспондент Салтыкова — 629.

Жилле Рени Акинфиевич (род. в 1765 г.), преподаватель французской словесности в Александровском (Царскосельском) лицее — 645.

Жomini Александр Генрихович, барон (1817—1888), писатель и дипломат, в 1879—1880 гг. товарищ министра иностранных дел — 584.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 651.

Жюдик (Дамьен) Анна (1850—1911), французская опереточная певица, гастролировала в Петербурге (1874—1875) и в Москве — 212, 281, 629.

Завицaев, владелица кухмистерской на Песках в Петербурге — 382.

Загоскин Михаил Николаевич (1780—1852), писатель — 530.

«Поездка за границу» — 530.

Задека Маргын Иванович, полугенеральный составитель популярнейшего в начале XIX века сочинения, содержавшего толкователь слов и гадательную книгу — 418, 419, 423, 464, 465, 654.

Зайончковский Петр Андреевич, историк — 546, 554, 636, 638, 668.

«Кризис самодержавия на рубеже 1370—1880 годов» — 636, 638, 668.

Зыбкин, торговец вином в г. Красный холм Тверской губ. — 176, 419, 592.

«Заря», либеральная политическая и литературная газета, издававшаяся в Киеве в 1880—1886 гг.; издатель-редактор П. А. Андреевский, с 1885 г. — П. А. Купернин — 570.

Заславский Давид Иосифович (1880—1957), публицист, автор ряда работ о Салтыкове — 674.

«Взволнованные лоботрясы» — 673.

Засулич Вера Ивановна (1851—1919), участница народнического, затем социал-демократического революционного движения, 24 января 1878 г. стреляла в петербургского градоначальника Трепова — 247, 248, 612, 615, 617, 618.

Захарий (Б и б л и я) — 183.

«Звенья», сборники материалов и до-

кументов по истории русской литературы». искусства, общественной мысли, выпускались изд. «Academia» с перерывами в 1932—1951 гг. — 609, 680.

Зевас (наст. фамилия — Бурсон) Александр (род. в 1873 г.), французский буржуазный политический деятель и историк, адвокат и публицист — 588.

«История Третьей республики (1870—1926)» — 588.

Зевс (м и ф.) — 639.

Золя (Зола) Эмиль (1840—1902) — 153 — 155, 356, 537, 586—590, 638, 641.

«Западня» («Ассомуар») — 153, 151, 588.

«Нана» («Nana») — 91, 154, 155, 336, 588, 589, 638, 641.

«Парижские письма» — 586, 587, 589, 590.

«Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» — 589.

«Экспериментальный роман» — 587.

Иван I Васильевич (Грозный; 1530 — 1584), великий князь с 1533 г., с 1547 г. — «царь и великий князь всея Руси» — 251.

Иванов-Разумник (наст. фамилия — Иванов) Разумник Васильевич (1878—1946), литературовед и социолог — 564, 569, 680.

«Неизданный Щедрин» — 680.

Инатъев Николай Павлович, граф (1832—1908), дипломат и государственный деятель, в 1881—1882 гг. — министр внутренних дел, при его участии основана «Священная дружина» для борьбы с революционным движением — 603, 609, 621, 622, 624—626, 629, 634, 636, 654, 662, 668, 670.

Изабелла II (Мария-Луиза; 1830—1904), королева Испании с 1833 г.; свергнута с престола в 1868 г., эмигрировала в Париж, яростная католичка и обскурантка — 72, 568.

Излер Иван Иванович (1811—1877), владелица увеселительного сада «Минеральные воды» в Петербурге («Новая деревня») — 221.

Изомбар А., содержательница магазина «Дамские моды» на Невском проспекте в Петербурге — 298.

Иисус Христос (Е в а н г е л и е) — 564, 565, 572, 578.

Илья (Б и б л и я) — 317, 500.

Иона (Б и б л я) — 350, 640.
Искандер, см. Герцен А. И.
Иуда Искариот (Е в а н г е л и е) — 396,
398, 430, 485, 486, 651, 658.

Кабе Этьенн (1788—1856), французский утопический коммунист — 112, 575.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк русского права, публицист, в 1857—1861 гг. профессор Петербургского университета — 562.

«Чем нам быть?» — 562.

Кавеньяк Луи-Эжен (1802—1857), французский политический деятель, генерал; после февральской революции 1848 г. — военный министр, затем военный диктатор; в июне 1848 г. возглавил кровавую расправу с восставшими парижскими рабочими, в декабре 1848 г. вынужден был уступить власть Луи-Наполеону — 114, 538.

Кайданов Иван Кузьмич (1780—1843), автор учебников по истории, написанных в монархическом духе, господствовавших в учебных заведениях первой половины XIX в.; профессор Александровского (Царскосельского) лицея — 365, 431, 512, 645.

«Руководство к познанию всеобщей политической истории» — 365, 431, 512, 645.

«Как по морю да по Хвалынскому...», русская народная хоровая песня — 172.

Калигула Гай Цезарь (12—41 гг. н. э.), римский император с 37 г., славившийся своей жестокостью и самодурством — 461.

Калинич Фотий Пегрович, учитель чиstopисания и гувернер младших классов Александровского Царскосельского лицея — 645.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1709—1744) — 659.

«Первая сатира» — 432, 659.

Каравелов Петко (1843—1903), болгарский политический деятель, лидер либеральной партии, в 1880 г. — министр финансов, в ноябре 1880 — апреле 1881 — премьер-министр; после государственного переворота, произведенного кн. А. Баттенбергом, эмигрировал в Восточную Румынию — 357, 641.

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер, член ишутинского кружка, совершивший 4 апреля 1866 г. покушение на Александра II — 571.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 24, 328, 528, 530, 562, 645.

«Письма русского путешественника» — 528, 530.

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879), актер-комик Александринского театра с 1823 г., водевиллист — 265, 624.

«Булочная, или Петербургский немец» — 265, 624.

«Записки» — 624.

Карбасников Николай Петрович (ум. в 1921 г.), петербургский издатель и книгопродавец — 530.

Карл Великий (742—814), король франков с 771 г., император Западной Римской империи с 800 г. — 11.

Карл I Гогенцоллерн (1839—1914), князь Румынии в 1866—1881 гг., после провозглашения Румынии королевством (в 1881 г.) — король — 262, 623.

Карл X (1757—1836), французский король с 1824 г., свергнут Июльской революцией 1830 г. — 160.

Кассаньяк, см. Гранье де Кассаньяк.

Карриер Анатолий Аркадьевич де, елизаветградский уездный предводитель дворянства и почетный попечитель Херсонской учительской семинарии; земский деятель, лидер правой дворянской группировки в Елизаветградском уезде — 604.

Картавцев Евгений Епафродимович (1850—1931), публицист и критик, обозреватель газеты «Киевлянин» — 529, 574.

«Щедрин во Франции» — 529, 574.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — 542, 598, 601, 602, 605, 622, 625, 626, 630, 650, 651, 652, 658, 659, 663, 670, 676.

«В мире курьезов» — 598, 602.

Катон Марк Порций Старший (234—149 гг. до н. э.), политический деятель и писатель Древнего Рима, сенатор — 351—368, 645.

Каулла (Kaoulla), «баронесса Каулла», светская авантюристка и прусская шпионка — 146, 147, 585.

«Киевлянин», ежедневная газета редакционного направления, издававшаяся в Киеве в 1864—1919 гг. — 529, 574.

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933), историк и публицист, с 1922 г. жил в эмиграции — 615.

«На рубеже двух столетий (Воспоминания. 1831—1914 гг.)» — 615.

Кирхгейм, владелец колбасного магазина в Петербурге — 352, 358.

Клавдий (10 г. до н. э.—54 г. н. э.), римский император с 41 г.—663.

Клейнмихель Петр Андреевич, граф (1793—1869), генерал-адъютант, одна из наиболее одиозных фигур царствования Николая I, главноуправляющий путей сообщения и публичными зданиями в 1842—1855 гг.; был замешан в крупных хищениях, уволен в отставку Александром II сразу после воцарения — 114.

Клемансо Жорж Бенжамен (1841—1929), французский политический деятель и публицист, с 1876 г. член палаты депутатов, где и примкнул к левым республиканцам; с 1881 г. лидер партии радикалов — 128—132, 135, 554, 580, 581, 593.

Кобе Ж., начальник французской полиции безопасности (*chef de sûreté*), умеренный буржуазный республиканец — 150, 586.

Ковалевский Михаил Евграфович (1849—1884), сенатор, судебный деятель, в 1880 г. ревизовал Уфимскую и Оренбургскую губернии по делу о расхищении башкирских земель — 562.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), юрист, историк, социолог и политический деятель; осенью 1880 г. Салтыков и Ковалевский жили в Париже в одном доме и часто общались — 570.

Кок Шарль Поль де (1794—1871), французский писатель; у Салтыкова упоминается нарицательно для обозначения фривольной литературы — 91.

Кокорев Василий Александрович (1817—1889), миллионер, крупный капиталист, учредитель и руководитель ряда промышленных и финансовых предприятий 60—70-х гг., начавший свою карьеру сидельцем в питейном доме, а потом откупщиком в питейном доме — 411, 648.

Кошкин Сергей Александрович (1796—1861), генерал-адъютант, в 40-х гг. петербургский обер-полицейстер — 624.

«Коль славен наш господь в Сионе...», христианский гимн, в царской России считался также и государственным гимном — 419, 654.

Конде, французский старейший аристократический род, боковая ветвь Бурбонов — 142, 584.

Конисский Георгий (1717—1795), архиепископ, белорусский писатель — 593.

Консидеран Виктор (1808—1893), французский социалист-утопист, ученик Ш. Фурье — 538.

Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), управляющий морским министерством с 1855 г., в 1862—1863 гг. наместник Царства Польского — 584.

Корнелий Непот (ок. 100—27 гг. до н. э.), римский историк и писатель — 182.

Корш Валентин Федорович (1828—1883), журналист и историк литературы, с 1863 г. редактор «С.-Петербургских ведомостей», был снят с редакторства в 1874 г. за выступление против гимназической реформы Д. А. Толстого — 583.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист и общественный деятель славянофильского направления — 630, 670, 677, 678.

«Где мы? Куда и как идти?» — 670, 677, 678.

Кравчинский (лит. псевдоним — Степняк) Сергей Михайлович (1851—1895), революционер-народник, писатель и публицист, в августе 1878 г. убил в Петербурге шефа жандармов Мезенцова, после чего эмигрировал — 670.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889), издатель и журналист, редактор-издатель «Отечественных записок» в 1839—1884 гг. (с 1868 г. только номинально) и газеты «Голос» (1863—1884) — 528, 650, 651.

Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), литературный критик и публицист, исследователь Салтыкова — 680.

Красовский Александр Иванович (1780—1857), цензор Петербургского цензурного комитета в 1821—1828 гг., председатель Комитета иностранной цензуры в 1832—1857 гг. — 214, 402, 599.

Кронеберг Андрей Иванович (1814?—1855), критик и переводчик, сотрудник «Отеч. зап.», «Современника» и «Библиотеки для чтения» — 592.

Кронеберг Иван Яковлевич (1788—1838), филолог-классик, составитель латино-русского словаря, ставшего основным пособием в классической гимназии — 169.

«Латино-русский лексикон, с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова и с показанием собственных имен до древней географии и мифологии относящихся» — 169.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — 639, 672, 676.

«Записки революционера» — 639.

Круазетт Софи (1848—1901), француз-

ская актриса, светская куртизанка Парнжа, героиня бульварной печати 70-х годов, фаворитка графа Шамбора — 123, 148, 160, 582.

Круглов (лит. псевдоним — Русский) Александр Васильевич (1833—1915), писатель, поэт и литературный критик, сотрудничал в «России» — 566.

«Новости текущей журналистики» — 566.

«Кругозор», литературный, критический и научный журнал, издавался в Москве в 1830 г., еженедельно, вышло 20 номеров; издатель-редактор И. Н. Павлов — 657.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), писатель, поэт и драматург казенно-патриотического направления, его пьесы установили канон историко-патриотического жанра в литературе 40—50-х гг. — 111.

Кулишер (лит. псевдоним—М. Ступин), Михаил Игнатьевич (1847—1919), историк литературы, этнограф, юрист, фактический редактор киевской газеты «Заря» в 1880—1886 гг. — 570.

«Журнальное обозрение» («Отеч. зап.», ноябрь) — 570.

Кучка (XII в.), суздальский боярин, владел селами и деревнями по реке Москве, на месте одной из них Юрием Долгоруким была основана Москва — 262.

Лабале Эдуард-Рене Лефевр де (1811—1883), французский юрист, политический деятель и публицист-сатирик, с 1875 г. сенатор — 122—128, 178, 554, 555, 574, 580—582.

«Paris en Amerique» — 122, 580.

«Le prince-caniche» — 580

Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — 606.

Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890), член Совета Главного Управления по делам печати, при его посредстве Некрасов и Салтыков защищали интересы «Отч. зап.» в цензуре — 638.

Ламартин Альфонс (1790—1869), французский поэт, историк и политический деятель; фактический глава Временного правительства во время февральской революции 1848 г., один из главных ее ораторов — 113, 265, 577, 624.

Лами Этьенн-Мари-Виктор, французский адвокат и литератор, представитель «умеренных» в палате депутатов — 581.

Ланский Леонид Рафаилович, литературовед — 646.

Лафонтен Жан де (1621—1695), французский поэт-баснописец — 106, 555.

«Ворона и лисица» — 106, 585.

Лебедев Николай Егорович (ум. в 1903 г.), цензор Петербургского цензурного комитета в 1860—1870-е гг., цензуровал «Отч. зап.» — 590, 633, 638, 668.

Левиафан (Б и б л и я) — 643.

Ледрю-Ролен Александр-Огюст (1807—1874), французский политический деятель в 1848 г. член Временного правительства, один из вождей мелкобуржуазной демократии — 578.

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк русской общественной мысли, журналистики, цензуры — 669.

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 532, 535, 536, 538, 545—547, 550, 580, 583, 601, 608, 609, 614—617, 621, 632, 633, 644, 650, 657.

«Гонители земства и Аннибалы либерализма» — 608, 609, 632.

«Из прошлого рабочей печати в России» — 614.

«Карьера» — 650.

«Мяко стелют, да жестко спят» — 580.

«О пролетарской милиции» — 583.

«Пересмотр аграрной программы рабочей партии» — 583.

«Плеханов и Васильев» — 583.

«Услышишь суд глупца...» — 580.

«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — 580, 617

«Шаг вперед, два шага назад» — 580.

Лепелетье Эдмон-Адольф (1846—1913), французский литератор и публицист левореспубликанского направления, участник и историк Парижской коммуны 1871 г. — 592.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 287, 308, 572, 630, 634.

«Отчизна» — 308, 634.

«Я не люблю тебя...» — 87, 572.

Лжедмитрий I (ум. в 1606 г.), авантюрист, самозванец, выдававший себя за сына Ивана IV; под именем царя Дмитрия Ивановича занимал русский престол в 1605—1606 гг. — 412, 419.

Лжедмитрий II (Тушинский вор; ум. в 1610 г.), авантюрист, выдавал себя за

сына Ивана IV, Дмитрия Ивановича, будто бы «чудесно» спасшегося в 1606 г. — 412, 419, 653.

Ликург, легендарный законодатель Древней Спарты (Древняя Греция), с именем которого спартанцы связывали свои основные и наиболее древние установления и обычаи — 182.

Томоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 25, 398, 562, 573, 651.

«На день восшествия на престол Елизаветы Петровны» — 96, 573.

«Ода, выбранная из Иова» — 25, 398, 562, 651.

Лонге Шарль (1833—1903), французский социалист, прудонист, член Генерального совета Интернационала и Коммуны, зять К. Маркса — 593.

Лопатин Герман Александрович (1845—1918), революционер, член Генерального Совета I Интернационала, первый переводчик «Капитала» Маркса в России, неоднократно арестовывался и отбывал тюрьму и ссылку — 610.

Лопашов Алексей Дмитриевич, владелец трактира в Москве — 328, 583.

Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф (1825—1898), начальник «Верховной распорядительной комиссии по борьбе с революционным движением» в 1880—1881 гг., министр внутренних дел — 560, 562, 566, 571, 582, 593, 603, 609, 625, 632, 636, 667, 671, 672, 674, 676, 679.

Луи-Филипп, герцог Орлеанский (1773—1850), король Франции с 1830 г., свергнут революцией 1848 г., эмигрировал в Англию — 112, 113, 115, 160, 208, 575—577.

Людювик, лит. псевдоним Шассена Ш.-Л. (см.).

Людювик XIV (1638—1715), французский король с 1643 г. — 142, 180.

Людювик XV (1710—1774), французский король с 1715 г. — 179, 180.

Людювик XVI (1754—1793), французский король с 1774 г., гильотинирован — 141, 179, 180, 432, 515, 567, 590, 679

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855), яркий реакционер и гаситель просвещения, вызвавший в качестве члена Главного правления училищ, а затем попечителя Казанского университета и учебного округа (1819—1826) своими крупными мерами и доносами на писателей и ученых негодование даже в самых умеренных кругах современников — 427, 428.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 287, 630.

Макашин Сергей Александрович, литературовед — 567, 575, 645, 652, 663.

«Салтыков-Щедрин. Биография» — 567, 575, 613, 645, 663.

«Щедрин о положении и задачах литературы» — 652.

Мак-Магон Мари-Эдмонд-Патрис-Морис (1808—1893), французский государственный и военный деятель, вместе с Наполеоном III капитулировал при Седане в 1870 г., во главе армии версальцев подавил Парижскую коммуну в 1871 г., президент Франции в 1873—1879 гг. — 116, 117, 123, 125, 127, 129, 131—134, 140, 142, 154, 579—580, 583, 585.

Маков Лев Саввич (1830—1883), министр почт и телеграфов с августа 1880 г., в марте 1881 г. это ведомство было присоединено к Министерству внутренних дел, и он перестал быть министром — 647.

Маковицкий Душан Петрович (1856—1921), врач, друг Л. Н. Толстого — 547.

«У Толстого» («Яснополянские записки») — 547.

Малинин Александр Федорович (1834—1888), автор учебников по физике и математике, выдержавших множество изданий — 412.

«Собрание арифметических задач» (совместно с К. Бурениным) — 412.

Малова Марфа Ивановна, архивист, текстолог и библиограф — 620.

Мальтус Томас Роберт (1766—1834), английский экономист, апологет капитализма, автор реакционной теории народонаселения, оправдывающей нищету трудящихся масс при капитализме — 648.

Маньи, парижский ресторан, где собирались с начала 60-х гг. на товарищеские обеды писатели — 43, 161.

Марат Жан-Поль (1743—1793), деятель Великой французской революции, издатель газеты «Друг народа», якобинец — 207—210, 216, 235, 239, 240, 462, 466, 576, 599, 604, 656, 663, 664.

Мария Александровна (1824—1880), российская императрица с 1855 г., жена Александра II — 618.

Мария-Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI — 141.

Маркевич (лит. псевдоним — Шогород-

ний обыватель) Болеслав Михайлович (1822—1881), писатель, автор «антинигилистических» романов и политических фельетонов, направленных против деятелей освободительного движения и демократических писателей; в своих статьях злобно третирует Салтыкова — 605, 650.

Марков Евгений Львович (1835—1903), писатель, литературный критик и этнограф — 407, 652.

«Когда же наступит мир в литературе?» — 652.

Маркс Адольф Федорович (1838—1904), издатель и книгопродавец — 606.

Маркс Карл (1818—1883) — 533, 544, 546, 577, 583.

Марлинский А. — См. Бестужев А. А. «Марсельеза», французская (и интернациональная) революционная песня, государственный гимн Франции, слова и музыка написаны в ночь с 25 на 26 апреля 1792 г. военным инженером Руже де Лилем — 11, 120, 144, 579.

Марцинкевич, содержатель одного из первых петербургских танцклассов в 40-х гг. — 150.

Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878), генерал-майор, шеф жандармов и начальник III Отделения с 1876 г., убит революционерами (С. М. Кравчинским) 4 августа 1878 г. — 670.

Мендельсон-Бертольди Эрнст (1816—1909), берлинский банкир, глава крупного банковского дома, неоднократно финансировалшего русское правительство в 70—80-е гг. — 85.

Меньшиков Александр Сергеевич, светл. кн. (1787—1869), генерал-адъютант, адмирал; в 1829—1853 гг. начальник Главного морского штаба; в 1848 г. был назначен председателем негласного Комитета 2 апреля по контролю за печатью и цензурой, привлечшего внимание Николая I к двум первым повестям Салтыкова — 578.

Меркурий (м и ф.) — 295, 630.

Мессалина Валерия (I в. н. э.), жена римского императора Клавдия, известная жестокостью и множеством любовных похождений: имя ее стало нарицательным для обозначения распутства — 462, 663.

Мечников (лит. псевдоним — В. Басардин) Лев Ильич (1838—1888), публицист, географ и социолог — 588.

«Новейший нана-турализм» — 588.

Милан Обренович (1851—1901), сербский

князь в 1868—1882 гг. (под именем Милана IV), затем король в 1882—1889 гг. (под именем Милана I) — 247, 262, 618, 623, 641.

Миллер Орест Федорович (1833—1889), историк литературы — 539, 599.

«Русская литература после Гоголя» — 539, 599.

Мильер Жан-Батист (1817—1871), французский революционер и социалист, в феврале 1871 г. был избран депутатом Национального собрания, после революции 18 марта вышел из его состава; 26 мая без суда расстрелян версальцами на ступенях Пантеона — 154, 588.

Мильеран Александр-Этьенн (1859—1943), французский политический деятель, адвокат, с начала 80-х гг. примыкал к буржуазным радикалам. впоследствии президент Французской республики (1920—1924 гг.) — 593.

Милютин Алексей Яковлевич, фабрикант, в 1735 г. выстроил торговые здания на Невском проспекте в Петербурге (Милютин ряд) — 306, 336.

Милютин Дмитрий Алексеевич, граф (1816—1912), с 1878 г. генерал-адъютант, в 1861—1881 гг. военный министр — 546, 584, 597, 619, 622, 636, 638, 668.

«Дневник» — 546, 584, 597, 622, 636, 638, 668.

«Мишута», литературно-политическая газета «бульварного» характера и охранительного направления, издавалась в Петербурге с ноября 1880 г. — 649.

Мирабо Оноре-Габриель Рикетти, граф де (1749—1791), деятель Великой французской революции, выдающийся оратор — 130.

Михаил (в миру — Иованович Милое; 1826—1898), сербский митрополит с 1859 г., сторонник сотрудничества Сербии с Россией; за выступления против проавстрийской политики Милана Обреновича в 1881 г. был лишен сана митрополита, эмигрировал в Россию — 357, 641.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — 528, 552, 556, 557, 563, 565, 587, 588, 602, 605, 620, 621, 630, 664, 666, 667, 675.

«Критические опыты. Н. Щедрин» — 552.

«Литературные заметки» — 587.

«О порнографии» — 630.

Мишурин Б. А., лидер правой дворянской группировки в Рязанском земстве — 604.

Моисей (Библия) — 91, 573.

«*Мольва*», политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге вместо закрытых «Биржевых ведомостей» В. А. Полетикой в 1879—1881 гг.— 581.

Мольтке (Старший) Хельмут Карл Бернхард, граф (1800—1891), фельдмаршал, начальник прусского, а с 1871 г. Германского имперского Генерального штаба; ближайший политический соратник Бисмарка — 49, 142, 567.

Монморанси, старейший аристократический род во Франции — 142, 584.

Монтихо, испанский графский род — 70, 568, 584.

Мона Шарлемань-Эмиль (1818—1888), французский реакционный политический деятель, накануне революции 1848 г. был в правительстве Гизо парижским супрефектом; отставленный с этого поста Временным правительством, примкнул к бонапартистам — 114.

Мопассан Ги де (1850—1893) — 537.

«*Московские ведомости*», одна из старейших русских газет; в 80-е гг. является главным глашатаям реакции, статьи ее редактора М. Н. Каткова оказывали большое влияние на политику правительства — 231, 257, 480, 598, 599, 601, 605, 622, 626, 630, 650—652, 657, 658, 670, 676.

«*Московский телеграф*», политическая и литературная газета, издавалась в Москве в 1881—1883 гг.— 673.

Мочалов Павел Степанович (1800—1818), трагик, актер московского Малого театра, особенно прославивший себя в роли Гамлета, где он, по словам Белинского, создавал образ «порабощенной силы, рвущейся к лучшему будущему»; кумир радикальной молодежи 40—60-х гг.— 375.

Муравьев Михаил Николаевич, граф (1796—1866), генерал-адъютант, в 1857—1861 гг. министр государственных имуществ, в 1863—1865 гг. генерал-губернатор Сев.-зап. края с 1866 г. председатель верховной комиссии по делу Д. В. Каракозова — 12, 26, 28, 72, 73, 99, 100, 341, 345, 559, 560, 639.

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—1862), попечитель Казанского учебного округа в 1829—1845 гг.— 365, 368, 382, 642, 646.

«*Мысль*», ежемесячный литературно-научный журнал, издавался в Петербур-

ге в 1880—1882 гг.; издатели-редакторы Н. П. Вагнер и Л. Е. Оболенский — 563.

Н, сотрудник «Русского вестника» — 659.

«Клуб анархистов в Лондоне», — 659.

Навуходоносор II, царь Вавилонии (604—562 до н. э.), Библия (Исаия, XIV; Даниила, IV) представляет его олицетворением жестоких гонений, властителем, «полагающим вселенную всю пусту» — 497.

Наке Альфред (1834—1916), французский политический деятель, республиканец и социалист — 580.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 180, 208, 576, 590.

Наполеон III (Луи-Наполеон Бонапарт; 1808—1873), президент Второй республики (1848—1851), французский император с 1852 г., свергнут с престола революцией 4 сентября 1870 г.— 112—115, 117, 143, 152, 154, 199, 534, 538, 567, 569, 576—578, 579, 580, 584, 626.

«*Наполеон IV*» («Лулу»; Евгений-Людвиг-Жан-Жозеф), «императорский принц» (1856—1879), сын Наполеона III, ставленник бонапартистов на французский престол — 141, 148, 584.

«*Не белы снеги...*», русская народная солдатская песня — 161, 165, 541.

«*Недся*», еженедельная либерально-народническая газета, издавалась в Петербурге с марта 1866 г. под фактическим редакторством П. А. Гайдебурова — 558, 563, 574, 588, 598, 602.

Незлобин, лит. псевдоним А. А. Дьякова (см.).

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 287, 531, 587, 596, 603, 652.

Немезида, богиня возмездия у древних греков — 55.

Ник, литературный псевдоним рецензента газеты «Русь» — 663.

«Либералы на свободе» — 663.

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), мемуарист и литературный критик — 578, 624.

«Дневник» — 578, 624.

Николаев Петр Федорович (1844—1910), участник революционного движения, социолог и публицист — 598.

«Очерк развития социально-революционного движения в России» — 597 598.

Николаи Александр Павлович, барон

(1821—1899), министр народного просвещения в 1881—1882 гг.— 645.

Николай I (1796—1855), российский император в 1825—1855 гг.— 538, 570, 573, 618, 624.

Ноайль, маркиз, французский посол в Риме — 142, 584.

«*Новое время*», газета, издававшаяся в Петербурге в 1868—1917 гг., под ред. А. С. Суворина с 1876 г.; один из прототипов газеты «Что изволите?» в салтыковской сатире — 528, 572, 584, 596, 602, 604, 640, 650, 651, 652, 659, 678.

Ной (Б и б л и я) — 182.

Ньютон (у Салтыкова — Невтон) Исаак (1642—1727) — 96.

Обручев Николай Николаевич (1830—1904), генерал-адъютант, один из ближайших сотрудников военного министра Д. А. Милютина, в прошлом участник революционного движения 60-х гг., в 1881—1898 гг. начальник главного штаба — 584.

Оболенский Леонид Егорович (1845—1906), писатель и издатель, участник революционного движения 60-х гг.— 563.

«Журнальные заметки» — 563.

«*Общее дело*», сжемесичная зарубежная газета; издавалась в Женеве с мая 1877 г. группой русских эмигрантов при деятельном участии Н. А. Белоголового, друга Салтыкова — 669.

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — 518, 639.

«*Метаморфозы*» — 639.

Олива Франц Адамович, де, с 1821 г. преподаватель немецкой словесности в Александровском Царскосельском лицее — 365, 645.

Ольминский (наст. фамилия — Александров) Михаил Степанович (1863—1933), деятель революционного движения, публицист и критик; автор первых марксистских работ о Салтыкове — 615, 616.

«*Статьи о Щедрине*» — 615, 616.

Омальский Анри-Эжен-Филипп-Луи, герцог (1822—1897), сын французского короля Луи-Филиппа, эфемерный претендент орлеанистов на королевский престол, после февральской революции жил в Англии — 148.

Орлеаны, младшая ветвь королевской династии Бурбонов во Франции, занимавшая престол в 1830—1848 гг.— 141, 215.

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 54, 563, 567, 630.

«На всякого мудреца довольно простоты»; Глумов — 287, 449—459, 630, 660, 663.

«Свои люди — сочтемся» — 567; Липочка Большова — 54, 106, 567.

«*Отечественные записки*», самый влиятельный демократический журнал 70—80-х гг., издавался с 1868 г. под редакцией Некрасова и Салтыкова-Щедрина, был закрыт правительством в 1884 г.— 527, 528, 530, 555, 556, 565, 566, 569, 573, 578, 579, 580, 582, 583, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 597, 600, 605—607, 610, 612, 617, 618, 620, 622, 626, 627, 631, 633, 636, 638, 639, 642, 647, 654, 656, 660, 662, 664, 666, 668, 669, 674.

Оффенбах Жак (Якоб; 1819—1880).

«*Прекрасная Елена*» — 492.

Павел I (1754—1801), российский император в 1796—1801 гг.— 640.

Павлов (лит. псевдоним — Н. Бицын) Ипполит Николаевич (1839—1882), педагог и журналист, сын Н. Ф. и К. К. Павловых — 657—659.

Павлов Николай Филиппович (1805—1864), писатель и переводчик, критик и публицист — 657.

Павлова Каролина Карловна (1810—1894), поэтесса и переводчица — 657.

Пайерон Эдуард (1834—1899), французский драматург — 282, 629.

«В царстве скуки» («*Le monde ou l'on s'ennuie*») — 282, 629.

Палкин, ресторан в Петербурге — 76, 305—307, 391, 397, 566.

Панин Петр Иванович, граф (1721—1789), генерал-аншеф, военный и политический деятель царствований Елизаветы и Екатерины II — 530.

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), участник революционного движения 60-х гг., мемуарист — 579, 597, 603.

«Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове» — 579, 597.

«Из воспоминаний прошлого» — 603.

Панютин Степан Федорович (1822—1885), тайный советник, был послан в конце 70-х гг. в Одессу для «успокоения» студенческих волнений в Новороссийском университете — 143, 585.

Паскаль Блез (1623—1662), французский математик, физик и философ — 558.

«*Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets*» («*великая книга*») — 558.

Пельтан (Пеллетан) Камилл (1816—1915), французский политический деятель, журналист; противник Тьера, автор статей, сочувственных Парижской коммуны — 592—593.

Перец Егор Абрамович (1833—1899), в 1878—1883 гг. государственный секретарь — 582, 593.

«Дневник» — 582, 593.

Перовский Лев Алексеевич, граф (1792—1856), министр внутренних дел в 1841—1852 гг. — 112, 114, 265, 624.

«*Песнь песней*», собрание древних любовных песен и стихов, включенное в Библию — 318, 502, 635.

Пет Луций Тразев (ум. в 66 г.), римский сенатор, глава стоической оппозиции при Нероне — 182.

Петипа Мариус Иванович (1822—1910), известный балетмейстер, в качестве служащего императорской балетной сцены (в Петербурге) имел «генеральский» чин действительного статского советника — 205.

Петр I Великий (1672—1725), русский царь с 1682 г., с 1721 г. — император — 48, 613, 678.

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866) — 531, 538, 575, 603.

«Карманный словарь иностранных слов» — 575.

Пиа Феликс (1810—1889), французский писатель, журналист и политический деятель, член Парижской коммуны, затем эмигрант в Англии — 578, 592.

Пирра (м и ф.) — 639.

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель — 614.

Пишон Стефан-Жан-Мари (1857—1933), французский адвокат, политический деятель и дипломат — 593.

Пищулин Юрий Петрович, литературовед — 669.

«М. Е. Салтыков-Щедрин и «Священная дружина» — 669.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — 608, 615.

Плутарх (ок. 46—126 гг.) — 53.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор Синода в 1880—1905 гг., член Государственного совета с 1872 г., один из вдохновителей реакции 80-х гг. — 608, 658.

«*Повесть временных лет*», летопись, составленная в начале XII в. в Киево-

Печерском монастыре — 625.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк — 122, 579.

«Год в чужих краях» — 122, 579.

«Дорожный дневник» — 122, 579.

Полежаев Александр Иванович (1804—1838), поэт — 287.

Поливанов Лев Иванович (1838—1899), педагог, директор частной гимназии в Москве, автор учебников и пособий по русскому языку и словесности — 436.

«Учебник русской грамматики для средних учебных заведений» — 436.

Политковский Александр Гаврилович (1801—1863), крупный чиновник, тайный советник, на протяжении многих лет растративший громадные суммы т. н. invalidного капитала — 18, 116, 561, 578.

Поляков Самуил Соломонович (1837—1888), капиталист, миллионер, «железнодорожный делец» — 674.

«*Порядок*», газета, издавалась в Петербурге в 1881—1882 (по январь), под редакцией М. М. Стасюлевича — 555, 595, 598, 651, 674, 677, 678.

«*Правительственный вестник*», официальная газета, выходившая в Петербурге в 1869—1917 гг. — 253, 593, 622, 634, 670.

Прометей (м и ф.) — 639.

Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) — 540.

Псалмы, ветхозаветные религиозные песни и молитвы, входящие в состав Библии — 25, 364, 642.

Псалтырь, одна из книг Библии (Книга псалмов) — 484.

Пусачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — 180.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 90, 223, 287, 359, 406, 417, 542, 563, 564, 572, 596, 602, 623, 629, 630, 636, 642, 652—654.

«Евгений Онегин»; Евгений Онегин — 325, 636,

«Если жизнь тебя обманет...» — 359, 641, 642.

«Борис Годунов» — 279, 629; Писмен — 279, 629.

«Пиковая дама» — 406, 654.

«Повести Белкина» — 403.

«Под вечер, осенью ненастной» — 416, 417.

«Романс» — 416, 653.

«Стансы» — 194, 264, 596, 623.

«Талсман» — 90, 573.

«Туча» — 403, 652.

Пыпин Александр Николаевич (1833—

1904), историк литературы и критик, сотрудник «Современника» в 1861—1866 гг., автор статей и книги о Салтыкове — 610.

Пэн Оливье, деятель Парижской коммуны — 592.

Рабле Франсуа (1494—1553), французский писатель-сатирик и ученый-гуманист — 552, 553, 583.

Распайль (Распай) Франсуа-Венсен (1794—1878), французский демократ и утопический социалист, участник революций 1830 и 1848 гг. — 576.

Рейтерн Михаил Христофорович, граф (1820—1890), министр финансов в 1862—1878 гг. — 645.

Ренан Жозеф-Эрнест (1823—1892) — 537.

Рикардо Давид (1772—1823), английский экономист, представитель классической школы буржуазной политической экономии — 411.

Робеспьер Максимильен-Мари-Издор де (1758—1794), деятель Великой французской революции, вождь якобинцев — 576.

Роган, герцоги, один из старейших аристократических родов во Франции — 142, 584.

Розенберг Владимир Александрович (1860—1932), журналист, один из редакторов газеты «Русские ведомости» — 676.

Россини Джоакино Антонио (1792—1868), итальянский композитор — 568, 569.

«Вильгельм Телль» («Карл Смелый») — 73, 568, 569.

Рост, владелица зоологического сада в Петербурге — 415.

Рошфор Анри (1830—1913), французский публицист и политический деятель, левый республиканец — 581, 592, 672, 676.

«Русская старина», журнал исторических публикаций и историко-литературных материалов, основанный в 1870 г. М. И. Семевским и им редактировавшийся — 276, 277, 326, 331.

«Русский вестник», литературный и политический журнал, издававшийся в Москве с 1856 по 1906 г. М. Н. Катковым (до 1886 г.) — 647, 651, 657, 660, 662.

«Русь», газета славянофильского направления, издавалась в Москве в 1880—1886 гг. (2 раза в месяц) И. С. Аксаковым — 570, 598, 601, 602, 604, 657, 630, 663, 670, 676.

Рюрик (ум. в 878 г.), полулегендарный предводитель варяжской дружины, по летописному преданию — родоначальник

древнейшей русской княжеской династии Рюриковичей — 13.

Салтыков Константин Михайлович (1872—1932), сын М. Е. Салтыкова — 565.

Салтыков (Н. Щедрин) Михаил Евграфович (1826—1889).

«Благонамеренные речи» — 532, 554, 660; Дерунов — 554.

«Большое место» («Сборник») — 639.

«В больнице для умалшенных» (не закончено) — 568.

«В погону за идеалами» («Благонамеренные речи») — 532.

«В среде умеренности и аккуратности» — 650.

«Введение» («Мелочи жизни») — 610.

«Глулов и глуловцы» — 529.

«Господа Молчалины» («В среде умеренности и аккуратности») — 639, 650.

«Господа ташкентцы» — 543, 653; Велентьев — 653; Полосатов — 653.

«Губернские очерки» — 658.

«День прошел — и слава богу» («В среде умеренности и аккуратности») — 618.

«Дневник провинциала в Петербурге» — 567.

«Завещание моим детям» («Признаки времени») — 632.

«Запутанное дело» — 569, 578.

«Игрушечного дела людшки» — 640.

«Испорченные дети» («Для детей») — 568.

«История одного города» — 549, 551, 553, 573, 580, 625; Брудастый — 551; Перехват-Залихватский — 551; Угрюм-Бурчез — 551.

«Итоги» — 647.

«Июльское веяние» («Недоконченные беседы») — 606, 662.

«К читателю» («Сатиры в прозе») — 663.

«Каплуны» («Сатиры в прозе») — 663.

«Круглый год» — 605, 640, 647, 670, 677, 680.

«Культурные люди» (не завершено) — 531, 532, 603.

«Мелочи жизни» — 550, 572, 596, 610.

«Наша общественная жизнь» — 529, 530, 597, 663.

«Наши глуловские дела» — 541.

- «Невинные рассказы» — 578.
 «Недоконченные беседы (Между делом)» — 606, 630, 653, 662, 680.
 «Непочтительный Коронат» («Благонамеренные речи») — 639.
 «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» («Признаки времени») — 634.
 «Органчик» («История одного года») — 625.
 «Охранители» («Благонамеренные речи») — 660; Арапетов — 660.
 «Паршивый» («Культурные люди») — 603.
 «Первое июня» («Круглый год») — 605.
 «Первое марта» («Круглый год») — 605.
 «Первое мая» («Круглый год») — 605.
 «Пестрые письма» — 572, 631, 680.
 «Письмо к пошехонцам» («Пестрые письма») — 680.
 «По части женского вопроса» («Благонамеренные речи») — 570.
 «Подвиги русских гулящих людей за границей» («Наша общественная жизнь») — 529.
 «Похороны» («Сборник») — 646.
 «Пошехонские рассказы» — 631.
 «Привет» («Благонамеренные речи») — 532.
 «Признаки времени» — 530, 632, 633, 634.
 «Русские «гулящие люди» за границей» («Признаки времени») — 530.
 «Сборник» — 646.
 «Скверный анекдот с двумя русскими дамами в столице цивилизованного мира» («Наша общественная жизнь») — 529.
 «Современная идиллия» — 549, 566, 573, 614, 634.
 «Современные призраки» — 535.
 «Убежище Монрепо» — 560, 565, 647.
 «Уличная философия» — 649.
 «Человек, который смеется» — 647, 653.
Сальвини Томмазо (1829—1916), итальянский трагический актер, неоднократно гастролировал в Петербурге, в частности весной 1882 г. — 455, 662.
 «Самарканд», ресторан в Петербурге — 261.
Санд Жорж (Аврора Дюдеван; 1804—1876) — 112, 151, 153, 155, 537, 538, 575, 587.
 «Лукреция Флориани» — 153.
 «Орас» — 153.
Сандо Леонар-Сильвен-Жюль (1811—1883), французский писатель — 581.
Санковская Екатерина Александровна (1816—1878), прима-балерина, с 1836 по 1854 г. солистка Московского Большого театра — 114, 578.
 «Санкт-Петербургские ведомости», старейшая русская газета, в 1863—1874 гг. при арендаторе-редакторе В. Ф. Корше — один из наиболее либеральных органов печати — 583, 652.
 «Свет», ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, издавалась в Петербурге в 1882—1917 гг., издатель-редактор В. В. Комаров — 649.
Сеар (лит. псевдоним — Никола Керлио) Анри (1851—1924), французский писатель, последователь натурализма, входил в т. н. меданскую группу писателей — 589—590.
Сей Жан-Батист (1767—1832), французский буржуазный экономист, родоначальник вульгарной политической экономии — 646.
Сен-Валье, граф, французский дипломат, в 1877—1892 гг. — посол в Берлине — 142, 584.
Сенека Луций Анней Старший (ок. 54 до н. э. — ок. 39 н. э.), римский ритор и историк — 623.
Сен-Жюст Луи-Антуан (1767—1794), деятель Великой французской революции, член Конвента и Комитета общественного спасения, один из руководителей якобинской диктатуры — 130.
Сен-Симон де Ревруа Анри-Клод (1760—1825), французский социалист-утопист — 112, 538, 575.
Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616) — 222.
 «Сибирская газета», издавалась в Томске в 1881—1889 гг. (с 1882 г. — два раза в неделю); издатель П. И. Макушин (до 1883 г.), редактор А. Ефимов — 595.
 «Симбирская земская газета», еженедельная газета, издавалась в Симбирске в 1876—1896 гг., издание земской управы — 674.
Сиссэ Эрнст-Луи-Октав-Курто де (1810—1882), французский генерал и политический деятель, один из усмирителей Парижской коммуны, командовал корпусом версальцев; военный министр (1871, 1873, 1874—1876), в 1880 г. в связи с об-

винением в государственной измене вышел в отставку — 146, 585, 588.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1845—1882), генерал-от-инфантерии, в 1880—1881 гг. руководил т. н. Ахал-Текинской военной экспедицией в Туркмении — 619, 640.

«Слово о полку Игореве» — 194, 597.

Смельский Всеволод Николаевич (ум. в 1906 г.), генерал-майор, в 1881—1882 гг. чиновник особых поручений секретной части петербургского градоначальника, участник «Священной дружины» — 672, 673.

«Из дневника» — 673.

Собольский Сергей Александрович (1803—1870), поэт и библиограф, автор многочисленных эпиграмм, акrostихов, каламбуров, пародий — 654.

Соловьев Александр Константинович (1846—1879), революционер-народник, совершивший 2 апреля 1878 г. неудачное покушение на Александра II — 592, 629.

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк — 51.

«История России с древнейших времен» — 51.

Сольский Дмитрий Мартынович, граф (1833—1910), государственный контролер Совета министров в 1878—1889 гг. — 635.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), основатель в Москве литературно-философского кружка 30-х гг. (Белинский, Грановский, Бакунин и др.) — 612.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, публицист и общественный деятель, редактор-издатель «Вест. Евр.» в 1866—1908 гг. — 587, 651.

Стороженко Николай Ильич (1836—1906), историк литературы, профессор Московского университета с 1872 г., товарищ председателя «Общества любителей российской словесности» — 658.

Страхов, магазин шерстяных изделий в Петербурге и в Москве — 52.

Страхов (лит. псевдоним — Н. Косица) Николай Николаевич (1828—1896), публицист, критик, философ-идеалист, один из идеологов «почвенничества», сотрудник «Времени» и «Эпохи» — журналов бр. Достоевских — 529.

Суворин (лит. псевдоним — Незнакомец) Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист и издатель; в начале своей деятельности был связан с демократическим лагерем и лично с Салтыковым; с 1876 г.

издавал газету «Новое время», которая вскоре превратилась в самую беспринципную из всех русских газет — 573, 583, 588, 604, 626, 650.

«Дельный разговор» — 604.

Судейкин Григорий Порфирьевич (ум. в 1883 г.), жандармский подполковник, главный инспектор петербургской политической полиции в 80-х гг. — 638.

Сулова Надежда Прокофьевна (1843—1919), первая русская женщина-врач — 570.

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), драматург — автор трилогии — 629, 672.

«Свадьба Кречинского»; Кречинский — 303, 482, 483, 629; Расплюев — 279, 303, 304, 333, 334, 339, 414, 416, 465, 481—483, 486—488, 504, 629, 631, 648, 672, 673.

«Сын отечества», «политическая, литературная и ученая» газета, рассчитанная на массового читателя, выходила в Петербурге в 1862—1901 гг. под редакцией А. В. Старчевского — 557.

Сю Эжен (1804—1857) — 152, 585.

«Парижские тайны» («Тайны Парижа») — 585; Герольштейнский — 145, 585.

Тайны мадридского двора. Изабелла, бывшая королева Испании», лубочный роман из придворной жизни немецкого писателя Георга Борна — 411.

Таппе, в действительности Таппе Дитрих Август — автор хрестоматии, по которой учился Салтыков в лицее — 368, 646.

«Сокращение Российской истории Н. М. Карамзина в пользу юношества и учащихся российскому языку...», 2 части, СПб., 1819 — 368, 646.

Тарасенко-Отрешков Наркис Иванович (1805—1873), журналист и экономист — 530.

«Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию» — 530.

Тарновский, московский брендт-майор — 114.

Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906), историк и публицист — 584, 586.

«Император Александр II» — 584, 586.

Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120 гг.), крупнейший древнеримский историк — 168, 182, 592.

«Анналы» — 168, 592.

Телль Вильгельм (ум. в 1352 г.), вождь крестьян и горцев лесных районов Швейцарии против австрийского владычества Габсбургов (XIV в.), герой средневековой народной легенды «Сказание о стрелке» — 568.

Темлинский С., лит. псевдоним Грингмута В. А. (см.).

Теренций Публий (ок. 185—159 гг. до н. э.), римский комедиограф — 664.

«Формион» — 467, 664.

Теста Жан-Батист (1780—1852), французский государственный деятель, в 1817 г. привлекался к суду по делу об отдаче соляных копий в аренду за большую взятку — 113, 576.

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), обер-прокурор Синода в 1865—1880 гг., одновременно министр народного просвещения в 1866—1880 гг., министр внутренних дел в 1882—1889 гг. — 570, 571, 582, 586, 629, 645, 662.

Толстой Лев Николаевич, граф (1828—1910) — 547, 566, 649, 652.

«Дневник» — 547.

Торвальдсен Бартель (Альберто, 1768—1814), датский скульптор, превознесенный современниками, как возродитель античного стиля — 567.

Тренке (Trinquet) Алексис-Луи (1835—1882), французский революционер, участник Парижской коммуны 1871 г., член ее Комиссии общественной безопасности, с 1880 г. член Парижского муниципального совета — 215, 216, 599.

Трепов Федор Федорович (1812—1889), генерал-адъютант, петербургский градоначальник в 1866—1878 гг.; в 1878 г. на него было совершено покушение В. И. Засулич — 612, 618.

Трубецкая, княгиня — 657.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 535, 553, 566, 573, 583, 589, 614, 636, 652.

«Накануне»; Инсаров — 325, 636.

«Рудин»; Рудин — 325, 636.

Тыл Иосиф Казган (1808—1856), чешский драматург, актер и режиссер — 618.

«Фидловачка» — 618.

Тьер Луи-Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, историк, организовал и возглавил политическое подавление Парижской коммуны, в 1871—1873 гг. президент республики — 113, 130, 132, 140, 154, 577, 579, 580, 583—585.

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — 528, 603, 652.

«Без определенных занятий» — 603.

«Большая совесть» — 528, 603.

Уэльский Альберт-Эдуард, принц, (1841—1910), с 1901 г. король Великобритании Эдуард VII — 146.

Фадеев Ростислав Андреевич (1824—1883), генерал-майор, военный писатель и реакционный публицист; в 1876 г. был военным советником в Сербии — 630, 633, 635, 651, 666, 670—672, 675, 676, 678.

«Письма о современном состоянии России» (совместно с И. И. Воронцовым-Дашковым) — 630, 633, 635, 651, 666, 670—672, 675—678, 679.

Феваль Поль (1817—1887), французский беллетрист, автор бульварных романов — 91.

Федр (I в. н. э.), римский баснописец — 169.

Феоктистов Евгений Михайлович (1829—1898), крупный чиновник (в 1873—1896 гг. — начальник Главного управления по делам печати), публицист, мемуарист — 622.

«За кулисами политики и литературы» — 622.

Фернандо, цирк в рабочем предместье Парижа — Бельвиле, где устраивались массовые сходки и собрания — 145, 585.

Ферри Жюль (1832—1893), французский государственный деятель, инициатор борьбы с католическими конгрегациями; в 1879—1885 гг. в различных кабинетах занимал посты министра просвещения и иностранных дел; в 1880—1881 и 1883—1885 гг. стоял во главе кабинета — 153, 585, 586, 619.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт — 287, 629, 635, 653.

«Серенада» (перевод) — 315, 501, 635.

Филиппо Луиза, французская шансонетка, выступавшая в увеселительных заведениях Петербурга — 261.

Филиппов Андрей Григорьевич, московский первой гильдии купец, владелец хлебопекарен, имел булочные и кондитерские как в Москве, так и в Петербурге — 261, 263, 282.

Флобер Гюстав (1821—1880) — 155, 577.
Фонвизин Денис Иванович (1744—1792) — 530.

«Недоросль»; Вральман — 461; Еремеевна — 461, 462; Кутейкин — 461; Мит-

рофан — 461; Простакова — 461; Скотинин — 461; Цыфиркин — 461.

Фрейганг Андрей Иванович (род. в 1806 г.), цензор Петербургского цензурного комитета в 1848—1854 гг. — 214, 599.

Фрейсине Шарль-Луи де Сольс де (1828—1923), французский государственный деятель и дипломат, с 1877 г. в течение почти 20 лет входил в правительство большей частью министром иностранных дел и военным министром, в 1879—1880 гг. и в ряде последующих лет возглавлял кабинет Совета министров — 150, 586.

Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — 112, 538, 575, 579, 640.

Халтурин Степан Николаевич (1856—1882), революционер-народоволец, в феврале 1880 г. с целью покушения на Александра II произвел взрыв в Зимнем дворце — 560.

Хлудов Алексей Иванович (1818—1882), московский купец — 358, 641.

Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860), один из вождей и теоретиков славянофильства, поэт, драматург, публицист и богослов — 539.

«Мечта» — 539.

Хохрякова (лит. псевдоним — Л. Симонина) Людмила Христофоровна (1838—1900), писательница, этнограф и журналистка — 598.

«От журнала к журналу», «За рубежом» Н. Щедрина» — 598.

Цезарь Гай Юлий (100—44 гг. до н. э.) — 314, 498, 499, 635.

Цитович Петр Павлович (1844—1913), юрист, реакционный публицист, профессор Пловороссийского (1873—1879) и Киевского (с 1884 г.) университетов — 28, 49, 91, 562, 650, 651.

«Разрушение эстетики» — 562.

«Реальная критика» — 562.

«Что делали в романе «Что делать?» — 562.

Цицерон Марк Туллий (106—43 гг. до н. э.), оратор, писатель и политический деятель Древнего Рима, поборник «согласия сословий» — 130.

Цынский Лев Михайлович, генерал-майор, московский обер-полицейстер в 1834—1845 гг. — 114, 578.

Ченслер Ричард (ум. в 1556 г.), английский мореплаватель; в 1553 г. командовал кораблем в экспедиции, возглавляе-

мой Х. Уиллоби, целью которой было достижение Китая и Индии сев.-вост. проходом; пересек Северное море, прошел вдоль берегов Норвегии и достиг устья Сев. Двины — 194.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1899) — 531, 538, 587, 596, 603, 646.

«Труд и капитал» — 646.

Черняев Михаил Гаврилович (1828—1898), генерал-майор, участник завоевания Средней Азии; в 1875—1876 гг. редактор-издатель реакционной газеты «Русск. мир», в 1876 г. командующий сербской армией — 357, 358, 641.

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), юрист-государствовед, профессор государственного права в Московском университете, историк, публицист и меценат — 571.

«Воспоминания. Московский университет» — 571.

Чуйко Владимир П., литературный критик и обозреватель газеты «Новостн» — 557, 558, 565, 566, 574.

«Литературная хроника» — 557, 558, 565.

«Литературная хроника... Франция и французская литература по определению Щедрина...» — 574.

Шамбор (Henri Cinq) Анри-Шарль д'Артуа, граф, герцог Бордоский (1820—1883), последний представитель старшей ветви Бурбонов, внук Карла X, претендент на французский престол — 128, 134, 135, 141, 143, 582, 583.

Шарапов (лит. псевдоним — Parisien) Сергей Федорович (1855—1911), журналист, корреспондент «Нового времени» в Париже — 564, 572.

«У Виктора Гюго» — 572.

«У Луи Блана» — 572.

«И. А. Аксаков о М. Е. Салтыкове (из моих воспоминаний)» — 564.

Шассен (лит. псевд. Людовик) Шарль-Луи (1831—1901), французский корреспондент, обозреватель «Отеч. зап.», редактор парижского журнала «Демос-та-тиэ» — 580, 583, 592.

«Хроника парижской жизни» — 5.0, 583, 592.

Шасспо Антуан-Альфонс (1833—1905), французский рабочий, изобретатель ружья, названного его именем — 263.

Шевальдышев, владелец гостиницы в Москве — 135, 139.

Шекспир Уильям (1564—1616) — 222, 479, 518, 635, 640, 647.

«Гамлет» — 375, 640, 647; Гамлет — 319, 375, 640, 647;

«Юлий Цезарь» — 314, 635; Брут — 635; Цезарь — 635.

Шелгунов Николай Васильевич (1821—1891), революционный демократ, критик и публицист — 572.

«Внутреннее обозрение» — 572.

Шешковский Степан Иванович (1727—1793), обер-секретарь тайной экспедиции при первом департаменте Сената с 1767 г.; «Сыскных дел мастер», имя его стало синонимом жестокости и изуверства; вел следствие по восстанию Пугачева и по делу Новикова — 427, 428, 514.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 338, 339, 479, 651.

«Орлеанская дева» — 397, 651.

Шор, владелец гостиницы в Москве — 136.

Штейниц Гуго, немецкий издатель — 669.

Штриттер, петербургский водочный заводчик — 89, 419.

Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889), генерал-адъютант, шеф жандармов и главный начальник III Отделения в 1866—1873 гг. — 556, 560, 672.

Щебальский Петр Карлович (1810—1886), реакционный публицист и историк, член Главного Управления цензуры, сотрудник «Русск. вест.» — 659, 660, 662, 663.

«Наши беллетристы-народники» — 659, 662.

«Письма к тетеньке» г. Щедрина — 560.

Щербатов Николай Сергеевич, князь (1853—1929), московский помещик, член «Священной дружины», впоследствии директор исторического музея в Москве — 669.

Эзон — 63, 165, 541, 561, 562, 640.

Эккартсгаузен Карл (1752—1803), немецкий писатель-мистик — 72.

«Ключ к тайнам природы» — 72.

Элидин (Elpidine) Михаил Константинович (ок. 1835—1908), владелец типографии в Женеве, издатель русской эмигрантской литературы — 669.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893), профессор, химик, публицист-народник — 572.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — 533, 546, 577, 581, 583.

Эник Леон (1851—1935), французский писатель, последователь натурализма, входил в т. н. меданскую группу писателей — 589—590.

Эррот Казимир Петрович, русский генерал, военный министр Болгарии в 1880—1881 гг., министр-президент в 1881 г. — 641.

Ювенал Децим Юний (род. в 60-х гг. — ум. после 127 г.) — 659.

Юнкер Иван Васильевич, купец первой гильдии, основатель (в 1819 г.) и глава петербургского и московского банкирских домов — 297, 299, 300.

Юпитер (м и ф.) — 182.

Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888), критик и переводчик — 658.

Юханцев Константин Николаевич, кассир Общества взаимного поземельного кредита, спекулянт, совершивший крупные мошенничества; «герой», банковского процесса 1879 г. — 18, 69, 116, 146, 147, 184, 269, 270, 561, 578, 585, 626.

Якушкин Евгений Иванович (1826—1905), этнограф и юрист, корреспондент Салтыкова — 535, 579.

Ян Усмович (Усмошвеч), легендарный богатырь, вместе с Алешей Поповичем победитель печенегов; упоминается в русских летописях X—XI вв. — 419.

«*Avénement parisien*». См. «*L'Événement parisien*».

«*La Commune*» — 177, 592.

«*L'Événement parisien*» — 162, 591.

«*L'Intransigeant*» — 177, 592.

Iskander. См. Герцен.

«*La Justice*» — 177, 592.

«*Le Mot d'Ordre*» — 177, 592.

Myeris, французская каскадная актриса — 159.

«*Pilules du diable*» («Пилюли дьявола»), французская феерия А. Буржуа, Ф. Лалу и Лорана — 159, 162, 590.

«*Rappel*», французская газета радикально-республиканского направления, выходившая в Париже с 1869 г. — 535.

«*République française*», французская газета — 535.

«*La vie parisienne*», парижский иллюстрированный еженедельник, выходил с 1862 г. — 258.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗА РУБЕЖОМ

I	7
II	42
III	75
IV	111
V	161
VI	191
VII. Заключение	220

ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ

Письмо первое	247
Письмо второе	260
Письмо третье	276
Письмо четвертое	292
Письмо пятое	305
Письмо шестое	320
Письмо седьмое	332
Письмо восьмое	343
Письмо девятое	363
Письмо десятое	373
Письмо одиннадцатое	396
Письмо двенадцатое	410
Письмо тринадцатое	425
Письмо четырнадцатое	441
Письмо пятнадцатое	449

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ И НЕОКОНЧЕННОВ

Письма к тетеньке

<Письмо третье, редакция, запрещенная цензурой>. III «Знаете ли, что я выдумал, милая тетенька?...»	471
<Продолжение письма третьего, запрещенного цензурой. Первая редакция>. IV «Вы утешаетесь тем, милая тетенька...»	488
<Продолжение письма третьего, запрещенного цензурой. Вторая редакция. Неоконченная>. IV «Милая тетенька! Вы говорите...»	504
Дополнительные письма к тетеньке. I «Милая тетенька! Посылая Вам...»	517
Примечания	527
Указатель личных имен и названий периодической печати	681

К сведению подписчиков

В связи с увеличением общего объема Собрания сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина в 20-ти тт.— тома 15, 16, 18 и 19 выйдут двумя полутомами.

Издательство «Художественная литература»

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 14

Редактор *В. Фридлянд*. Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *Л. Титова*. Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*.

Сдано в набор 16/XI 1971 г. Подписано к печати 16/X 1972 г. Бумага № 1.
60 × 90^{1/16}. 44,0 печ. л. 44,0 усл. печ. л. 45,95 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 46,01.
Тираж 52 500 экз. Заказ № 953. Цена 1 р. 65 к.

Издательство «Художественная литература».
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16